

Виктор Гюго Отверженные

Аннотация

Ореолом романтизма овеяны все произведения великого французского поэта, романиста и драматурга Виктора Мари Гюго (1802—1885). Идея животворной любви, милосердия, торжества добра над злом — вот стержень его романа «Отверженные». Среди «отверженных» и Жан Вальжан, осужденный на 20 лет каторги за то, что украл хлеб для своей голодающей семьи, и маленькая замарашка Козетта, превратившаяся в очаровательную девушку, и дитя парижских улиц Гаврош...

Том I

Перевод: Н. А. Коган Дебора Григорьевна Лившиц

Часть I «Фантина»

Книга первая Праведник

Глава первая. Шарль Мириэль

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; епископскую кафедру в Дине он занимал с 1806 года. Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, все-таки будет, пожалуй, бесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом Мириэля. Правда или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его поступки. Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать-двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько маловат ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни целиком посвятил свету и любовным похождениям.

Но вот произошла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение старого французского общества, гибель семьи, трагические события 93-го года, быть может еще более грозные для эмигрантов, следивших за ними издали со все возрастающим страхом, — не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов,

которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, даже если она разбивает ему жизнь и уничтожает его материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; известно было лишь, что из Италии Мириэль вернулся священником.

В 1804 году Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в полном уединении.

Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касавшееся его прихода, – теперь уже трудно установить, какое именно, – привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:

– Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?

– Государь, – ответил Мириэль. – Вы видите доброго человека, а я – великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу.

В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого кюре, и немного времени спустя Мириэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в Динь.

Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни Мириеля, никто не знал. Семья Мириеля была мало известна до революции.

Мириелю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря, если прибегнуть к выразительному языку южан, околесица.

Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти рассказы и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.

Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.

Их единственная служанка, Маглуар, ровесница Батистины, бывшая прежде «служанкой кюре», получила теперь двойное звание: «горничной мадмуазель Батистины» и «экономки его преосвященства».

Батистина была высокая, бледная, худощавая, кроткая девушка. Она олицетворяла собой идеал всего, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку светился ангел. Это была девственница, более того – это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.

Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых, из-за мучившей ее астмы.

Когда Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно

после бригадного генерала. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит; к генералу же и префекту первым поехал Мириэль.

Когда епископ вступил в управление епархией, город стал ждать, как он проявит себя на деле.

Глава вторая.

Священник Мириэль превращается в Монсеньора Бьенвеню

Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.

Дворец представлял собой огромное, прекрасное каменное здание, построенное вначале прошлого столетия Анри Пюже – доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским, с 1712 года епископом Диньским. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и обширный двор со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой – длинной и роскошной галерее, расположенной в нижнем этаже и выходившей в сад, Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, на котором присутствовали Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ и князь Амбренский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции, аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бертон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, а знаменательная дата – 29 июля 1714 года – была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.

Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.

Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.

Мириэль не имел состояния, его семья была разорена во время революции. Сестра его пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ, Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, распределил эту сумму следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:

Смета распределения моих домашних расходов

На малую семинарию – тысяча пятьсот ливров

Миссионерской конгрегации – сто ливров

На лазаристов в Мондидье – сто ливров

Семинарии иностранных духовных миссий в Париже – двести ливров

Конгрегации св. Духа – сто пятьдесят ливров

Духовным заведениям Святой Земли – сто ливров

Обществам призрения сирот – сто ливров

Сверх того, тем же обществам в Арле – пятьдесят ливров

Благотворительному обществу по улучшению содержания тюрем – четыреста ливров

Благотворительному обществу вспомоществования заключенным и их освобождения – пятьсот ливров

На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств – тысяча ливров

На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии – две тысячи ливров

На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп – сто ливров

Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное обучение девочек из бедных семей – тысяча пятьсот ливров

На бедных – шесть тысяч ливров

На мои личные расходы – тысяча ливров

Итого – пятнадцать тысяч ливров.

– Господни смотритель! Сколько больных у вас в настоящее время? – спросил он.

– Двадцать шесть, ваше преосвященство.

– Да, я насчитал столько же, – подтвердил епископ.

– Кровати стоят слишком близко одна к другой, – добавил смотритель.

– Да, я заметил.

– Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.

– И мне так показалось.

– А когда выпадает солнечный день, садик не вмещает всех выздоравливающих.

– Я тоже об этом подумал.

– Во время эпидемий – в нынешнем году был тиф, а два года тому назад горячка – у нас бывает иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.

– Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.

– Ничего не поделаешь, ваше преосвященство, – сказал смотритель, – приходится мириться.

Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи.

С минуту епископ хранил молчание.

– Сударь, – спросил он смотрителя больницы, – сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?

– В столовой вашего преосвященства? – с изумлением вскричал смотритель.

Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.

– Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, – сказал он как бы про себя. –

Послушайте, господин смотритель, вот что я хочу сказать, – продолжал он громче. – Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек.

Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же хозяева – вы.

На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.

За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи.

Как видим, он называл ее сметой распределения своих домашних расходов.

Батистина приняла такое распределение средств с полнейшей покорностью. Для этой святой души епископ Диньский являлся одновременно и братом и пастырем; другом – по закону кровного родства и наставником – по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала и не возражала, когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, Маглуар, тихонько ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старушки и старик.

А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии Маглуар и умелому хозяйничанью Батистины угостить его хорошим обедом.

Однажды – это было месяца через три после его прибытия в Динь – он сказал:

– А все-таки я очень стеснен в средствах!

– Еще бы! – вскричала Маглуар. – Ведь ваше преосвященство не требовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами.

– А ведь верно! – сказал епископ. – Госпожа Маглуар! Вы совершенно правы.

Он написал соответствующее ходатайство.

Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование преосвященнейшему владыке на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».

Это вызвало шум среди местной буржуазии; один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал в раздраженном тоне министру вероисповеданий Бигу де Преаме неконфиденциальную записку, из которой мы дословно приводим следующие строки:

«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато – Арну, и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Священники все на один лад – жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает, как все. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох уж эти мне попы! Поверьте, ваше сиятельство, до тех пор, пока император не освободит нас от всех этих долгополох, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Я за Цезаря, и только за Цезаря. И т. д. и т. д.».

Зато эти деньги очень обрадовали Маглуар.

– Вот и хорошо, – сказала она Батистине – Его преосвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас. Наконец-то!

В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:

Сумма на содержание экипажа и на разъезды

На мясной бульон для лазаретных – тысяча пятьсот ливров больных

На общество призрения сирот в Эксе – двести пятьдесят ливров

На общество призрения сирот в Драгиньяне – двести пятьдесят ливров

На подкидышей – пятьсот ливров

На сирот – пятьсот ливров

Итого – три тысячи ливров

Таков был бюджет епископа Мириэля.

Что касается побочных епископских доходов с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освящения церквей или часовен, венчаний т. д., то епископ ревностно взимал деньги с богатых, но все до последнего гроша отдавал бедным.

В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие – все стучались в двери Мариэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не

могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.

Напротив. Так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, – так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало. И он грабил самого себя. По обычаю епископы проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»¹. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, – говаривал он – Бьенвеню служит поправкой к „монсеньору“.

Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем одно – он правдив.

Глава третья. Доброму епископу трудная епархия

Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять приходских церквей. Объехать все это – нелегкое дело. Но епископ преодолевал трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке – если предстояло ехать по равнине, и верхом – в горы. Старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.

Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как его преосвященство слезает с осла. Горожане вокруг пересмеивались.

– Господин мэр и вы, господа горожане! – сказал епископ. – Мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверю вас, я приехал на осле по необходимости, а вовсе не из тщеславия.

Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами он далеко не ходил. Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где не сочувствовали беднякам, он говорил:

– Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые приходят в негодность. И бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства.

В деревнях, где люди были падки до наживы и стремились поскорее убрать с поля свой урожай, он говорил:

– Посмотрите на жителей Амбрена. Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболит во время жатвы и не может работать, то

¹ Бьенвеню (bienvenu) – желанный; желанный гость (франц.).

священник упоминает о нем в проповеди, и в воскресенье после обедни все поселяне-мужчины, женщины, дети – идут на поле этого бедняги, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар.

Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил:

– Посмотрите на горцев Девольни, той дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья. Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей.

В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил:

– Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; он выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку.

В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылался на кейрасцев.

– Знаете, как они поступают? – говорил он. – Маленькое селенье в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают наставников, которые и учат детей, переходя из деревни в деревню и проводя неделю в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, – два, а те, которые обучают грамоте, счету и латыни, – три. Эти последние – великие ученые. Ну не стыдно ли оставаться невеждами? Поступайте же, как кейрасцы.

Таковы были его речи, глубокомысленные и отечески – заботливые; если ему не хватало примеров, он придумывал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, – этой особенностью отличалось и красноречие Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительнее.

Глава четвертая.

Слово не расходится с делом

Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старых женщин, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник. Маглуар любила называть его ваше «высокопреподобие». Однажды, встав с кресла, он подошел к книжному шкафу за книгой. Книга стояла на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее.

– Госпожа Маглуар! – сказал он. – Принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки.

Одна из его дальних родственниц, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей. У нее было несколько престарелых, близких к смерти родственников по восходящей линии, и сыновья ее являлись их прямыми наследниками. Младшему сыну предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно епископ молча слушал это простодушное и простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда де Ло без конца излагала со всеми подробностями все эти наследования и все эти «надежды», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады:

– Ах, боже мой! О чем вы задумались?

– Я думаю, – ответил епископ, – об одном странном изречении, которое я нашел, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует».

В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только звания покойного, но и все ленные и аристократические титулы его родных, епископ вскричал:

– Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они воспользоваться для утоления своего тщеславия даже могилой!

При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в Динь приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречив. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил блаженным и прекрасным. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, он же и ростовщик, Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После угон проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре:

– Посмотри! Вон господин Жеборан покупает себе на одно су царствия небесного.

Когда дело касалось сбора милостыни, епископа, не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый, богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и ультравольтерианцем, – подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо.

– Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз.

Маркиз оглянулся и сухо возразил:

– Ваше преосвященство! У меня есть свои бедные.

– Так отдайте их мне, – сказал епископ. Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:

– Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои! Во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восьмьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями – дверью и окном, и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие – дверь. Причиной этому является налог на двери и окна. Поселите в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей – вот вам и лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у них нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные смолой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!

Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп и Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ к сердцам. В хижинах и в горах он чувствовал себя как дома. О самых возвышенных вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.

Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами и со знатью.

Он никого не осуждал, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил:

– Проследим путь, по которому прошел грех.

«Бывший грешник» – так он с улыбкой называл себя сам, – он не впадал в крайности ригоризма и открыто, не хмуря бровей, подобно свирепым святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:

«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.

Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей лишь в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но такой грех простителен. Это падение, но падение коленопреклоненного, которое может завершиться молитвой.

Быть святым – исключение; быть справедливым – правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.

Как можно меньше грешить – вот закон для человека. Совсем не грешить – это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».

Когда люди начинали громко кричать и спешили выразить свое возмущение, он говорил, улыбаясь:

– Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, на которое способен каждый. Вот почему те, у кого совесть нечиста, испугались и спешат отвести от себя подозрение.

Он был снисходителен к женщинам и беднякам, презираемым обществом. Он говорил:

– В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые.

Еще он говорил:

– Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что у нас нет бесплатного обучения; оно несет ответственность за темноту. Когда душа полна мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто порождает мрак.

Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о разных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия.

Как-то он услышал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре должен был состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму; улики имелись только против нее. Она могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову мысль: он оклеветал любовника, обвинив его в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Обезумев от ревности, она изблещила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии и восхищались ловкостью прокурора. Вызвав ревность, он из гнева извлек истину, а из мести – правосудие. Епископ слушал молча. Наконец он спросил:

– Где будут судить этого мужчину и эту женщину?

– В суде присяжных.

– А где будут судить королевского прокурора? – спросил епископ.

В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не очень образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и ходатаем по делам. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в

последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы в таких выражениях:

– Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место.

Его ответ был передан епископу, и тот сказал:

– Кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне.

Он сейчас же отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти свою душу.

Он рассказал ему о величайших истинах, которые в то же время являются самыми простыми.

Он был ему отцом, братом, другом и, только для того чтобы благословить его, – епископом.

Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии.

Смерть представлялась ему бездной. И с трепетом стоя у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспреданно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму.

Епископ помог ему увидеть свет.

На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.

Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, еще накануне угрюмый и подавленный, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его умиротворилась, и уповал на бога.

Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему:

– Убиенный людьми воскрешается богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там.

Когда он спустился с эшафота, в его глазах светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало – бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре:

– Я только что отслужил торжественную панихиду.

Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали:

– Это желание порисоваться.

Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.

А для епископа зрелище гильотины явилось ударом, от которого он долго не мог оправиться.

Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от галлюцинации. До тех пор, пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее – потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить: против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинают ее. Гильотина – это сгусток закона, имя ее – *vindicta*², она сама не нейтральна и не позволяет оставаться нейтральным вам.

Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот-это

² Наказание (*лат.*)

видение. Эшафот – не помост, эшафот – не машина, эшафот – не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее непонятной зловещей инициативой, можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо и эти канаты обладают волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот – это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его плоть, пьет его кровь. Эшафот – это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.

Итак, впечатление было страшное и глубокое; на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественное спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который, выполнив любую свою обязанность, испытывал обычно радость удовлетворения, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра:

– Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?

С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.

Каждый мог в любое время дня и ночи позвать епископа Мириэля к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он целыми часами молча просиживал рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, напротив, он старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил:

– Относитесь к мертвым, как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах – то душа вашего дорогого усопшего.

Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, вперившую взор в могилу, указав на скорбь, вззирающую на звезды.

Глава пятая.

О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны

Домашняя жизнь Мириэля так же полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил епископ Диньский, представила бы привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи.

Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот короткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям, потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обеда съедал за завтраком ржаного хлеба и запивал его молоком от своих коров. Потом работал.

Епископ – очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии (обычно это каноник) и почти каждый день – старт их викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегаций, раздавать привилегии, просматривать целые тома духовной литературы – молитвенники, катехизисы, часословы и т. д. и т. д., писать пастырские

послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и – мэров, вести корреспонденцию с духовными особами, вести корреспонденцию с гражданскими властями: с одной стороны – государство, с другой – папский престол. Словом, у него тысяча дел.

Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треб, он в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим; время, которое оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе: вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и для другой работы у него было одно название – «садовничать». Ум – это сад», – говорил он.

В полдень, если погода была хорошая, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями.

Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собою свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом.

Время от времени он останавливался, беседовал с мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных, когда деньги иссякали, он посещал богатых.

Так как он подолгу носил своя сутаны и не хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без теплой фиолетовой мантии. Летом это несколько тяготило его.

По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак.

Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой, а Маглуар прислуживала им за столом. Это были в высшей степени скромные трапезы. Однако, если у епископа оставался к ужину кто-нибудь из приходских священников, Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь.

Любой священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из вареных овощей и постного супа. Поэтому в городе говорили: «Когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монахи.

После ужина он с полчаса беседовал с Батистиной и Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать то на листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек образованный, даже в известной степени ученый. После него осталось пять или шесть рукописей, довольно любопытных, и среди них рассуждение на стих из книги Бытия «Вначале дух божий носился над водами». Он сопоставляет этот стих с тремя текстами – с арабским стихом, который гласит: «Дули ветры господни»; со словами Иосифа Флавия: «Горный ветер устремился на землю»; и, наконец, с халдейским толкованием Онкелоса: «Ветер, исходивший от бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он разбирает богословские труды епископа Птолемаидского Гюго, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа.

Иногда во время чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого писал несколько строк тут же, на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к книге, в которую они были вписаны. Перед нами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного: Переписка лорда Жермена с генералами Клинтоном и Корнвалисом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо и в Париже у книгопродавца Писо, набережная Августинцев.

Вот эта заметка:

«О ты, Сущий!

Екклезиаст именует тебя Всемогушим, Книга Маккавеев – Творцом, Послание к ефессянам – Свободой, Барух – Необъятностью, Псалтирь – Мудростью и Истиной, Иоанн – Светом, Книга Царств – Господом, Исход называет тебя Провидением, Левит – Святостью, Ездра – Справедливостью, вселенная – Богом, человек – Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен».

Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался в нижнем этаже один.

Здесь необходимо дать точное представление о жилище епископа Диньского.

Глава шестая. Кому он поручил охранять свой дом

Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был двухэтажный: три комнаты внизу, три наверху, под крышей – чердак. За домом – сад в четверть арпана. Женщины занимали второй этаж, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой открывалась прямо на улицу, служила ему столовой, вторая – спальней, третья – молельней. Выйти из молельни можно было только через спальню, а из спальни – только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял сельским священникам, приезжавшим в Динь по делам и нуждам своих приходов. Бывшая больничная аптека – небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад. – превратилась в кухню и в кладовую.

Кроме того, в саду стоял хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали коровы, епископ каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», – говорил он.

Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в Дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там себе комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим «зимним салоном».

Как в этом «зимнем салоне», так и в столовой мебель состояла из простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой стоял еще старенький буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, накрытый белыми салфетками и дешевыми кружевами, епископ превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне.

Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни его преосвященства; епископ брал деньги и раздавал их бедным.

– Лучший алтарь, – говорил он, – это душа несчастного, который утешился и благодарит бога.

В молельне стояли две соломенные скамеечки для коленопреклонений; одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал семь или восемь человек гостей – префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона, нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из «зимнего салона», приносить скамеечки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом набиралось до одиннадцати сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат.

Бывало и так, что собиралось сразу двенадцать человек; тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом.

В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье искрошилась, да и держался он на трех ножках, так что сидеть на нем можно было, только прислонив его к стене. В комнате у м – ль Батистины было, правда, громадное деревянное кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайской тафтой, но поднять его на второй этаж пришлось через окно, так как лестница оказалась слишком узкой: на него, следовательно, также нельзя было рассчитывать.

Когда-то Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести для гостиной мебель с диваном гнутого красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках.

Однако это должно было стоить по меньшей мере пятьсот франков; увидев, что за пять лет ей удалось отложить только сорок два франка и десять су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала?

Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Стеклопанная дверь, выходящая в сад; напротив двери – кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи; у кровати, за занавеской, – изящные туалетные принадлежности, свидетельствующие о том, что здесь живет человек, не утративший светских привычек; еще две двери: одна возле камина – в молельню, другая возле книжного шкафа – в столовую; набитый книгами шкаф со стеклянными дверцами; облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор, обычно нетопленный, в камине две железные подставки для дров, украшенные сверху двумя вазами в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром и считавшимися образцом роскоши в епископском доме; над камином, на черном потертom бархате, – распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облешей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг.

Перед столом кресло с соломенным сиденьем. Перед кроватью скамеечка из молельни.

На стене, по обе стороны кровати, висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи, золотыми буквами на тусклом фоне холста, уведомляли о том, что портреты изображают; один – епископа Сен – Клодского Шалио, а другой – Турто, главного викария Агдского, аббата Граншанского, принадлежавшего к монашескому ордену Цистерцианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их. Это были священнослужители и, по всей вероятности, жертвователи – два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особах ему было известно лишь то, что король их назначил – первого епископом, а второго викарием – в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда Маглуар сняла портреты, чтобы стереть с них пыль, епископ узнал об этом, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью четырех облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского.

На окне в спальне епископа висела старомодная, из грубой шерстяной материи, занавеска, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что, во избежание расхода на новую, Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов напоминал крест. Епископ часто показывал на него.

– Как хорошо получилось! – говорил он.

Все комнаты и в первом и во втором этаже были чисто выбелены, как это принято в казармах и больницах.

Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний диньских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю; перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ.

– Это ничего не отнимает у бедных, – говаривал он.

Следует, однако, заметить, что от прежних богатств у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой холщовой скатерти каждый день радовал взор Маглуар. И так как мы изображаем здесь епископа Диньского таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил:

– Мне было бы не легко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилкой.

Кроме этого серебра, у епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол.

В спальне епископа, над изголовьем его кровати, висел маленький стенной шкафчик, куда Маглуар каждый вечер убирала шесть серебряных приборов и разливательную ложку. Ключ от шкафчика всегда оставался в замке.

В саду, вид которого портили неприглядные строения, были четыре аллеи, расходившиеся крестом от сточного колодца; пятая аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. Четыре квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На трех Маглуар разводила овощи, на четвертом епископ посадил цветы. В саду росли фруктовые деревья. Как-то раз Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродушного лукавства:

– Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вырастить здесь салат, чем эти цветочки.

– Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар, – ответил епископ. – Прекрасное столь же полезно, как и полезное.

И, помолчав, добавил:

– Быть может, еще полезнее.

Три-четыре грядки, разбитые на этом квадрате земли, пожалуй, не меньше занимали епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час-два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и бросая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником: он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он не стремился сделать выбор между Турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался ни в защиту Жюсье, ни в защиту Линнея. Он не изучал растений, он просто любил цветы. Он глубоко уважал людей ученых, но еще более уважал людей несведущих и, отдавая дань уважения тем и другим, каждый летний вечер поливал грядки из зеленой жестяной лейки.

В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходящая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду, и днем и ночью. Прохожий в любой час мог открыть дверь, – стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта всегда отпертая дверь тревожила обеих женщин, но епископ Диньский сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите» В конце концов они прониклись его спокойствием или по крайней мере сделали вид, что прониклись. На Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или по крайней мере излагают его мысли: «Вот в чем тончайшее различие: дверь врача никогда не должна запирается, дверь священника должна быть всегда отперта». На другой книге, под заглавием Философия медицинской науки, он сделал еще одну заметку: «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть больные; во-первых, те, которых врачи называют своими, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными».

Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, как его зовут. В приюте особенно нуждается тот, кого имя стесняет».

Однажды некий достойный кюре – не помню, кто именно: кюре из Кулубру или кюре из Помпьеры – вздумал, должно быть, по наущению Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем и ночью для каждого, кто бы ни пожелал войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: *Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant qui custodiunt eam*³. И заговорил о другом.

Он часто повторял:

– Священник должен обладать не меньшим мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, – добавлял он, – должно быть спокойным.

Глава седьмая.

Крават

Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был епископ Диньский.

После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Бэ, который скрывался прежде в Олиульских ущельях, один из ближайших его помощников, Крават, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами, уцелевшими от разгрома шайки Гаспара Бэ, в Ниццском графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах Жуг-де-л'Эгль и оттуда, низкими берегами рек Ибайи и Ибайеты, пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обобрал ризницу. Его грабежи опустошали весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он ускользал от них, а иногда оказывал и открытое сопротивление. Это был смелый негодяй. И вот в самый разгар вызванного им смятения в те края прибыл епископ, который объезжал тогда Шателарский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться. Крават хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем, – это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов.

– Поэтому-то я и полагаю ехать без конвоя, – сказал епископ.

– Хорошо ли вы обдумали это, ваше преосвященство? – спросил мэр.

– Так хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов; я уеду через час.

– Уедете?

– Уеду.

– Один?

– Один.

– Нет, ваше преосвященство! Вы не уедете.

– Послушайте, – сказал епископ, – там, в горах, есть маленький бедный приход, я не посещал его уже три года. Там живут мои добрые друзья – смирные и честные пастухи. Из тридцати коз, которых они пасут, им принадлежит только одна. Они плетут из шерсти красивые разноцветные шнурки и играют на самодельных свирелях. Надо, чтобы время от времени им говорили о господе боге. Что бы они сказали про епископа, который подвержен страху? Что бы они сказали, если бы я не приехал к ним?

– Но разбойники, ваше преосвященство, разбойники!

³ Если господь не охраняет дом, вотще сторожат охраняющие его (лат.)

– В самом деле, – сказал епископ, – я чуть было не забыл о них. Вы правы. Я могу встретиться с ними. По всей вероятности, они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о боге.

– Ваше преосвященство, да ведь их целая шайка! Это стая волков!

– Господин мэр, а может быть, Иисус Христос повелевает мне стать пастырем именно этого стада. Пути господни неисповедимы!

– Ваше преосвященство, они ограбят вас!

– У меня ничего нет.

– Они вас убьют!

– Убьют старика священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Полноте! Зачем?

– О боже! Что, если вы все-таки повстречаетесь с ними!

– Я попрошу у них милостыню для моих бедных.

– Не ездите, ваше преосвященство, ради бога, не ездите! Вы рискуете жизнью.

– Господин мэр, – сказал епископ, – неужели в этом все дело? Я живу на свете не для того, чтобы пещись о собственной жизни, а для того, чтобы пещись о душах моих ближних.

Пришлось оставить его в покое. Он уехал в сопровождении мальчика, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шума и вызвало беспокойство во всей округе.

Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здоров и невредим, добрался до своих «добрых друзей» пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую сельскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертого штофа, обшитыми потускневшим галуном.

– Ничего, – сказал епископ, – объявим все-таки с кафедры о мессе. Дело как-нибудь уладится.

Начались поиски в соседних церквях. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы подобающим образом одеть даже соборного певчего.

В это время в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника и немедленно усаkali. Ящик открыли, в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох – все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором было написано: «Монсеньору Бьенвеню от Кравата».

– Я ведь говорил, что все уладится! – сказал епископ. И добавил, улыбаясь: – Тому, кто довольствуется простым священническим облачением, бог посылает архиепископскую мантию.

– Не знаю, ваше преосвященство, – покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник, – бог или дьявол.

Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил:

– Бог.

На обратном пути в Шателар и в самом Шателаре люди сбегались со всех сторон посмотреть на своего епископа. Батистина с Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре:

– Ну что, разве я был не прав? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на бога, а привез все сокровища собора.

Вечером, перед тем как лечь спать, он сказал:

– Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки – вот истинные вору; пороки – вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли думать о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку? Будем думать о том, что угрожает нашей душе. Обратившись к сестре, он сказал:

– Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозволено богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал из-за нас в грех.

Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам известны; вообще жизнь его текла однообразно: каждый день в определенные часы он делал то же, что и накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц.

Что касается сокровищ Амбреноского собора, то мы затруднились бы ответить на вопрос, что с ними случилось. Это были красивые, соблазнительные вещи, пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены.

Половина дела была сделана, оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена записка, довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу: «Вопрос в том, куда это должно быть возвращено – в собор или в больницу».

Глава восьмая. Философия за стаканом вина

Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек неглупый; он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с препятствиями, вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шел к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспевания и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший мелкие услуги своим сыновьям, зятям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся, пожалуй, всего лишь детищем Пиго – Лебрена. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими «брениями простака епископа». Порою со снисходительной самоуверенностью он позволял себе шутить над этим даже в присутствии самого Мириэля.

Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу*** (то есть сенатору) и Мириэлю привелось вместе обедать у префекта. За десертом сенатор, подвыпивший, но не утративший величественной осанки, вскричал:

– Ваше преосвященство! Давайте побеседуем. Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга, они не могут не перемигнуться. Мы с вами – два авгура. Сейчас я сделаю вам одно признание: у меня есть своя философия.

– Вы правы, – ответил епископ. – Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелешь, так и выспишься. Вы покоитесь на пурпурном ложе, господин сенатор.

Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал:

– Давайте говорить откровенно.

– Начистоту, – согласился епископ.

– Я утверждаю, – продолжал сенатор, – что маркиз д'Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом.

– Они похожи на вас, ваше сиятельство, – прервал его епископ.

– Я терпеть не могу Дидро, – продолжал сенатор. – Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в бога и еще больший ханжа, чем Вольтер. Вольтер высмеял Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет *fiat lux*⁴. Вообразите каплю покрупнее, а ложку побольше – и перед вами мир. Человек – это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог? Знаете что, ваше преосвященство, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Долой великое Все, которое мне докучает! Да здравствует Нуль, который оставляет меня в покое! Между нами будь сказано, ваше преосвященство, чтобы выложить все, что есть на душе, и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравомыслящий. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет скряги нищим. Отречение! С какой стати? Жертва! Чего ради? Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья другого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа своего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь – это все! Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, или внизу, словом, где-то? Не верю, ни на волос не верю! Ах так! От меня хотят жертвы и отречения, я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над *fas* и *nefas*⁵. Зачем? Затем, что мне придется дать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти – лови меня, кто может! Заставьте тень схватить рукой горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывало Изиды, скажем напрямик: нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна. Проникнем в самую суть, черт возьми! Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканные наслаждения. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Я твердо стою на земле, ваше преосвященство. Бессмертие человека-это еще вилами на воде писано. Ох уж мне прекрасные обещания! Попробуйте на них положиться! Нечего сказать, надежный вексель выдан Адаму. Сначала вы – душа, потом станете ангелом, голубые крылья вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал, – кажется, Тертуллиан? – что блаженные души будут перелетать с одного небесного светила на другое. Допустим. Превратятся, так сказать, в звездных кузнециков. А потом узрят бога. Та-та та – чепуха все эти царствия небесные. А бог – чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в Монтере, но почему бы, черт побери, не шепнуть об этом приятелю? *Inter pocula*⁶. Пожертвовать землей ради рая – это все равно, что выпустить из рук реальную добычу ради призрака. Дать одурaczyć себя баснями о вечности! Ну нет, я не так глуп. Я ничто. Я господин Ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соединенных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор: страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание? В ничто. Но я приду туда настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну, а дальше все идет само собой; могильщик уже там, нас с вами ждет Пантеон, все проваливается в бездонную яму. Конец. *Finis!* Окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне – смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-

⁴ Да будет свет (*лат.*)

⁵ Правдой! и неправдой (*лат.*)

⁶ За стаканом вина (*лат.*)

нибудь мне сказать? Да ведь это просто смешно! Бабушкины сказки. Бука – для детей, Иегова – для взрослых. Нет, наше завтра – мрак. За гробом все мы ничто и все равны между собой. Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем, – все равно, вы придете к небытию. Вот она, истина. Итак, живите, живите наперекор всему. Пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Уверяю вас, ваше преосвященство, у меня и в самом деле есть своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить детской болтовней. Но, само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой голытьбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами. И они все это жуют. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть бог. И то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю господина Нежона. Милосердный бог мил лишь сердцу толпы.

Епископ захлопал в ладоши.

– Отлично сказано! – вскричал он. – Какая великолепная штука этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь, он не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этой превосходной философией, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что могут безмятежно пожирать все: должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным. Они могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, а потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей и для вас существующей философией, изысканной, утонченной, доступной только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем радостям жизни. Эта философия извлечена из неведомых глубин, вытащена на свет божий специальными исследователями. Но вы – добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в бога оставалась философией народа, – так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

Глава девятая.

Сестра о брате

Чтобы дать представление о жизни епископа Диньского в семейном кругу и о том, как обе благочестивые женщины подчиняли свои поступки, свои мысли, даже свою инстинктивную, чисто женскую робость привычкам и желаниям епископа, причем последнему даже не приходилось для этого высказывать их вслух, лучше всего привести здесь письмо Батистины к подруге ее детства, виконтессе де Буашеврон. Мы располагаем этим письмом.

«День, 16 декабря 18...

Дорогая моя! Не проходит дня, чтобы мы не говорили о вас. Это вообще вошло у нас в привычку, а сейчас для этого есть особая причина. Представьте себе, что Маглуар, занимаясь мытьем и чисткой потолков и стен, сделала несколько открытий: теперь обе наши комнаты, которые прежде были оклеены старыми обоями, сверху побеленными, не обезобразили бы и такого дворца, как ваш. Маглуар сорвала все обои, и под ними оказалось много интересного. В моей гостиной, где нет никакой мебели и где мы развешиваем белье после стирки, – она пятнадцати футов высотой, а величиной около восемнадцати квадратных футов, – потолок покрыт по старинной моде живописью с позолотой, а балки там такие же, как у вас. Когда здесь помещалась больница, то все это было затянуто

холстом. Кроме того, там деревянные панели времен наших бабушек. Но всего интереснее моя спальня. Под десятью, если не больше, слоями обоев Маглуар обнаружила картины, – хоть и не особенно хорошие, но вполне сносные. Это Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой, он же в каких-то садах – забыла название, ну, в тех, куда римские матроны отправлялись на одну ночь. Что же еще? У меня есть римляне, римлянки (одно слово нельзя разобрать) и тому подобное. Маглуар отмыла все это, летом она исправит кое-какие мелкие повреждения, снова все покроет лаком, и моя спальня превратится в настоящий музей. Кроме того, она нашла где-то на чердаке два деревянных столика в старинном вкусе. За то, чтобы вызолотить их заново, просят два шестифранковых экю, но лучше отдать эти деньги бедным; к тому же они очень некрасивы, мне больше хотелось бы круглый стол красного дерева.

Я по-прежнему вполне счастлива. Мой брат так добр! Он отдает все, что у него есть, неимущим и больным. Мы очень стеснены в средствах. Зима здесь суровая, необходимо хоть чем-нибудь помогать тем, кто нуждается. А у нас почти тепло и светло. Это все-таки большая роскошь, не правда ли?

У брата есть свои привычки. Он говорит, что всякий епископ должен быть таким. Представьте себе, что двери нашего дома никогда не запираются. Стоит кому-либо войти, и он сразу попадает в комнату брата. Мой брат ничего не боится, даже ночью. В этом-то и проявляется его храбрость, – так он говорит.

Он не хочет, чтобы я или Маглуар боялись за него. Он подвергает себя всяческим опасностям и хочет, чтобы мы делали вид, что даже не замечаем этого. Надо уметь понимать его.

Он выходит из дому в дождь, шагает по слякоти, путешествует зимой. Он не боится ни темноты, ни опасных дорог, ни подозрительных встреч.

В прошлом году, совершенно один, он поехал в местность, где хозяйничали грабители. Нас он не пожелал взять с собой. Целых две недели он пробыл в отсутствии. Когда он вернулся, оказалось, что с ним ничего не случилось; его считали мертвым, а он был здоров и невредим. «Посмотрите, как меня ограбили!» – сказал он и открыл чемодан, набитый драгоценностями из собора Амбренской Богородицы, которые ему подарили грабители.

В этот раз, по дороге домой, я не могла удержаться, чтобы не побранить его немного, но старалась говорить в то время, когда колеса повозки стучали, чтобы нас не услышал кто-нибудь из посторонних.

В первое время я думала про себя: «Никакие опасности не могут остановить его, это необыкновенный человек». Теперь я, наконец, привыкла. Я знаками показываю Маглуар, чтобы она не прекословила ему. Он рискует собой, сколько хочет. Я увожу Маглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, так как твердо знаю, что если с ним случится несчастье, это будет и мой конец. Я уйду к богу вместе с моим братом и моим епископом. Маглуар было труднее, чем мне, свыкнуться с тем, что она называла его «безрассудствами». Но теперь все вошло в колею. Мы обе молимся, вместе дрожим от страха, потом засыпаем. Если бы самому дьяволу вздумалось войти к нам в дом, никто не помешал бы ему. В самом деле, чего нам бояться в этом доме? Тот, кто сильнее всех, всегда с нами. Дьявол придет и уйдет, а бог обитает здесь постоянно.

Этого с меня довольно. Теперь брату уже не нужно что-либо говорить мне. Я понимаю его без слов, и мы отдаемся на волю providения.

Так надо держать себя с человеком, который велик духом.

Я спрашивала брата относительно семейства де Фо, о котором вы спрашивались. Вам известно, что он все знает и как много он помнит, – ведь он по-

прежнему добрый роялист. Это действительно очень старинное нормандское семейство из Канского округа. Уже пятьсот лет тому назад Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо были дворянами, причем один из них владел Рошфором. Последний в роде, Ги-Этьен-Александр, был командиром полка и еще кем-то в легкой коннице в Бретани. Его дочь Мария-Луиза была замужем за Андриеном-Шарлем де Грамоном, сыном герцога Луи де Грамона, пэра Франции, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Можно писать «Фо» по-разному, меняя окончание: Faux, Fauq, Faoucq.

Дорогая моя! Попросите вашего досточтимого родственника, кардинала, молиться за нас. А ваша милая Сильвания хорошо сделала, что не стала тратить те краткие мгновения, которые проводит с вами, на письмо ко мне. Ведь она здорова, работает так, как вы этого хотите, и по-прежнему меня любит. Больше мне ничего и не нужно. Вы передали мне ее поклон, и я счастлива. Здоровье мое не так уж плохо, а между тем я все худею и худею. Прощайте, бумаги у меня больше нет, и я вынуждена на этом кончить письмо. Шлю вам самые лучшие пожелания.

Батистина.

P.S. Дорогая моя! Ваша невестка с детьми все еще здесь. Ваш внучек прелестен. Вы знаете, ведь ему скоро минет пять лет! Вчера он увидел на улице лошадь с наколенниками и спросил: «Что у нее с коленками?» Он так мил! А его младший брат тащит по полу старую метлу и, воображая, что это карета, кричит: «Н-но!»

Как явствует из письма, обе женщины применились к привычкам епископа, – это свойственно лишь женской душе, которая понимает мужчину лучше, чем он сам себя понимает. Храня кроткий и непринужденный вид, епископ Диньский совершал порой высокие, смелые и прекрасные поступки, казалось, даже не сознавая этого. Женщины трепетали, но не вмешивались. Изредка Маглуар отваживалась сделать замечание до того, как поступок был совершен, но она никогда не делала замечаний во время совершения поступка или после. Если дело было начато, никто ни единым словом, ни единым движением не мешал ему. В иные минуты – ему не приходилось говорить им об этом, а может быть, он и сам этого не сознавал, так безгранична была его скромность – обе женщины смутно сознавали, что он действует как епископ, и тогда они превращались в две тени, скользящие по дому. Они служили ему, отказавшись от проявления собственной воли, и если повиноваться значило исчезнуть – они исчезали. Изумительно тонкий инстинкт подсказывал им, что порой заботливость может только стеснять. Поэтому даже, когда им казалось, что он в опасности, они до такой степени проникали если не в мысли его, то в самую сущность его натуры, что переставали его опекать и поручали его богу. Впрочем, Батистина говорила, как читатель только что узнал из ее письма, что кончина брата будет и ее кончиной, Маглуар не говорила этого, но она это знала.

Глава десятая.

Епископ перед неведомым светом

Спустя некоторое время после того как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, который, по мнению всего города, был еще более безрассуден, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками.

Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот – произнесем сразу эти страшные слова – был когда-то членом Конвента. Звали его Ж.

В тесном мирке жителей города Диня о члене Конвента Ж. упоминали почти с ужасом. Вообразите только – член Конвента! Члены Конвента существовали в те времена, когда люди говорили друг Другу «ты» и «гражданин»! Не человек, а чудовище. Он не голосовал за смерть короля, но был близок к этому. Он чуть что не цареубийца. Страшный человек. Каким образом по возвращении законных государей его не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову – надо все же проявлять милосердие, – но пожизненная ссылка ему бы не помешала. Чтобы хоть другим было неповадно! И т. д. и т. д. Тем более, что он безбожник, как и все эти люди... Пересуды гусей о ястребе. Однако был ли Ж. ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой строгости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки и мог остаться во Франции.

Он жил в сорока пяти минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке дикой горной долины. По слухам, у него был там клочок земли, была какая-то лачуга, какое-то логово. Никого вокруг: ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача.

Но епископ помнил о нем и, время от времени поглядывая в ту сторону, где купа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена Конвента, думал: «Там живет одинокая душа». А внутренний голос говорил ему: «Ты должен навестить этого человека».

Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной вначале, после минутного размышления уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти невыносимой. В сущности говоря, он разделял общее мнение, и член Конвента внушал ему, хотя он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом «неприязнь».

Однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет. Но овца овце рознь!

Добрый епископ был в большом затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно.

Но вот однажды в городе распространился слух, что пастушонок, который прислуживал члену Конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич и он вряд ли переживет эту ночь. «И слава богу!» – добавляли при этом некоторые.

Епископ взял свой посох, надел мантию – его сутана, как мы уже говорили, была изношена, а кроме того, по вечерам обычно поднимался холодный ветер, – и отправился в путь.

Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места, проклятого людьми. С легким замиранием сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую изгородь, поднял жердь, закрывавшую вход, оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед, и вдруг в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, увидел логовище зверя.

Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина; виноградная лоза обвивала ее фасад.

Перед дверью, в старом кресле на колесах, простом крестьянском кресле, сидел человек с седыми волосами и улыбался солнцу.

Возле старика стоял мальчик-подросток, пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком. Епископ молча смотрел на эту сцену. Тут старик заговорил.

– Благодарю, – сказал он, – больше мне ничего не нужно.

Оторвавшись от солнца, его ласковый взгляд остановился на ребенке.

Епископ подошел ближе. Услышав шаги, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь.

– За все время, что я здесь, ко мне приходят впервые, – сказал он, – Кто вы, сударь?

Епископ ответил:

– Меня зовут Бьенвеню Мириэль.

– Бьенвеню Мириэль! Я слышал это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?

– Да, меня.

– В таком случае, вы мой епископ, – улыбаясь, сказал старик.

– До некоторой степени.

– Милости просим.

Член Конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Он только сказал:

– Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным.

– Сударь, – ответил старик, – скоро я буду здоров.

Помолчав немного, он добавил:

– Через три часа я умру.

И продолжал:

– Я кое-что смыслю в медицине и знаю, как наступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни; сегодня холод поднялся до колен; сейчас он уже доходит до пояса, я это чувствую; когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня нисколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды: мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа. Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно! Кончить жизнь – простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд.

Старик обернулся к пастушку:

– Иди ложись. Ты просидел возле меня всю ночь. Ты устал.

Мальчик ушел в хижину.

Старик проводил его взглядом и добавил, как бы про себя:

– Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть – добрые соседи.

Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В подобном расставании с жизнью он не ощущал присутствия бога. Скажем прямо – ибо и мелкие противоречия великих душ должны быть отмечены так же, как все остальное, – епископ, который при случае так любил подшутить над своим «высокопреосвященством», был слегка задет чем, что здесь его не называли «монсеньером», и ему хотелось ответить на это обращением: «гражданин». Он вдруг почувствовал, что склонен к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но ему совсем несвойственной. В конце концов этот человек, этот член Конвента, этот представитель народа, был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости.

Между тем член Конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы.

Епископ обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, но теперь он внимательно разглядывал члена Конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное, вызвало бы в нем угрызения совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член Конвента представлялся ему как бы существом вне закона, даже вне закона милосердия.

Ж., державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным, звучным голосом, был одним из тех восьмидесятилетних старцев, которые у физиологов возбуждают удивление. Революция видела немало таких людей, созданных по образу и подобию своей эпохи. В этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Близкий к кончине, он сохранил

все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство самое смерть. Магометанский ангел смерти Азраил отлетел бы от него, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Ж. умирает потому, что он сам этого хочет. В его агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. Отсюда начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей мощью жизни и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту Ж. походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя мрамором.

Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ сел на него. Вступление было *ex abrupto*⁷.

– Я рад за вас, – сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. – Вы все же не голосовали за смерть короля.

Член Конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах «все же».

Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил:

– Не радуйтесь за меня, сударь, я голосовал за уничтожение тирана.

Его суровый тон явился ответом на тон строгий.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил епископ.

– Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран – невежество. Вот за уничтожение этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой – ложь, тогда как знание – это власть, источник которой – истина.

Управлять человеком может одно лишь знание.

– И совесть, – добавил епископ.

– Это одно и то же. Совесть – это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы.

Монсеньор Бьенвеню с некоторым удивлением слушал эти речи, совершенно новые для него.

Член Конвента продолжал:

– Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал: «Нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение продажности женщины, рабства мужчины, невежества ребенка. Голосуя за Республику, я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю! Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы низвергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившись на человеческий род, превратился в чашу радости.

– Радости замутненной, – сказал епископ.

– Вы могли бы сказать – радости потревоженной, а теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которому тысяча восемьсот четырнадцатый год, – радости исчезнувшей.

Увы, наше дело не было завершено, я это признаю; мы разрушили старый порядок в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей. Недостаточно уничтожить злоупотребления, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался.

– Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.

– У справедливости тоже есть свой гнев, ваше преосвященство, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, Французская революция – это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа.

Несовершенное, – пусть так, – но благороднейшее. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнении; она смягчила умы; она успокоила, умиротворила, просветила; она пролила на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция – это помазание на царство самой человечности.

⁷ Внезапно; без предисловий (*лат.*)

Епископ не мог удержаться и прошептал:

– Да? А девяносто третий год?

С какой-то зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:

– А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов. Тучи сгущались в течение тысячи пятисот лет. Прошло пятнадцать веков, и они, наконец, разразились грозой. Вы предъявляете иск к удару грома.

Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение.

Однако он не показал виду и ответил:

– Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но только более высоким. Удару грома не подобает ошибаться.

В упор глядя на члена Конвента, он добавил:

– А Людовик Семнадцатый? Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо.

– Людовик Семнадцатый! Послушайте! Кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат Картуша, невинное дитя, которое повесили на Гревской площади и которое висело там, охваченное веревкой под мышками, до тех пор, пока не наступила смерть, дитя, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом Картуша, не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика Пятнадцатого – другое невинное дитя, заточенное в Тампль единственно по той причине, что он был внуком Людовика Пятнадцатого.

– Сударь, – прервал его епископ, – мне не нравится сопоставление этих имен.

– Картуша? Людовика Пятнадцатого? За которого из них вы желаете вступиться?

Воцарилось молчание. Епископ почти жалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.

– Ах, господин священнослужитель, – продолжал член Конвента, – вы не любите грубой правды! А ведь Христос любил ее. Он брал плетью и выгонял торговцев из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин. Когда он вскричал *Sinite parvu-los*⁸, то не делал различия между детьми. Он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вараввы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть «высочеством». В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях.

– Это правда, – тихо проговорил епископ.

– Я настаиваю на своей мысли, – продолжал член Конвента. – Вы назвали имя Людовика Семнадцатого. Давайте же условимся. Скажите, кого мы будем оплакивать: всех невинных, всех страдающих, всех детей – и тех, которые внизу, и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к временам, предшествующим девяносто третьему году, и начать лить наши слезы не о Людовике Семнадцатом, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа.

– Я оплакиваю всех, – сказал епископ.

– В равной мере! – вскричал Ж. – Но если чаши весов будут колебаться, пусть перетянет чаша страданий народа. Народ страдает дольше.

Снова наступило молчание. Его нарушил член Конвента. Он приподнялся на локте и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем, – машинальный жест, присущий человеку, когда он вопрошает и когда он судит, – вперил в епископа взгляд, исполненный необычайной, предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв.

⁸ Пустите детей (*лат.*)

– Да, сударь, народ страдает давно... Но постойте, все это не то. Зачем вы пришли расспрашивать меня и говорить о Людовике Семнадцатом? Я вас не знаю. С тех пор как я поселился в этих краях, я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мальчугана, который мне помогает. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и, должен сознаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ – этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал стука колес вашей кареты. Очевидно, вы оставили ее там, за рощей, у поворота дороги. Итак – я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Я повторяю свой вопрос: кто вы такой? Вы епископ, то есть князь церкви, один из тех парченосцев и гербоносцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Диньская епархия – это содержание в пятнадцать тысяч франков да десять тысяч франков побочных доходов, всего двадцать пять тысяч в год. Вы один из тех, у кого отличные повара и ливрейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя напоказ, развалившись в парадной карете, с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком! Вы сановник! Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол, все чувственные радости жизни – вы обладаете ими, как и ваши собратья, и, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так, но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не говорит мне о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподать мне урок мудрости. С кем я говорю? Кто вы?

Епископ опустил голову и ответил:

– Vermis sum.⁹

– Земляной червь, разъезжающий в карете! – проворчал член Конвента.

Роли переменились: теперь член Конвента держался высокомерно, а епископ смиренно.

– Пусть будет так, сударь, – кротко сказал он. – Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода, мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание – не добродетель, что милосердие – не долг и что девяносто третий год не был безжалостен?

Член Конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень.

– Прежде чем вам ответить, – сказал он, – я прошу вас извинить меня... Я виноват перед вами. Вы пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть любезным. Вы оспариваете мои взгляды, – я должен ограничиться возражениями на ваши доводы. Ваши богатства и наслаждения – это мои преимущества в нашем споре, но было бы учтивее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться.

– Благодарю вас, – молвил епископ.

– Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили, – продолжал Ж.На чем мы остановились? Что вы мне сказали? Что девяносто третий год был безжалостен?

– Да, безжалостен, – подтвердил епископ. – Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?

– А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем Те Деум по поводу драгонад?

Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул: он не нашел возражения, но такого рода ссылка на Боссюэ оскорбила его. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны логики вызывает порой смутное ощущение боли.

⁹ Я червь (лат.)

Между тем член Конвента стал задыхаться, голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал:

– Я хочу сказать вам еще несколько слов. Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год – увы! – покажется ее опровержением. Вы считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карье – разбойник, но как вы назовете Монревелия? Фукье-Тенвиль – негодяй, но каково ваше мнение о Ламуаньон-Бавиле? Майяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Со-Тавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет подобрали бы вы для отца Летелье? Журдаи – Головорез, чудовище, но все же не такое чудовище, как маркиз де Луваа. О сударь, сударь, мне жаль Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году, при Людовике Великом, сударь, привязали к столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали неподалеку. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги. Изголодавшийся и бледный малютка видел эту грудь и надрывался от крика. А палач говорил женщине-матери и кормилице: «Отрекись!», предоставляя ей выбор между гибелью ее ребенка и гибелью души. Что вы скажете об этой пытке Тантала, примененной к матери? Запомните, сударь, Французская революция имела свои причины. Будущее оправдает ее гнев. Мир, сделавшийся лучше, – вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно. Я умолкаю. У меня на руках слишком хорошие карты. К тому же – я умираю.

Уже не глядя на епископа, член Конвента спокойно закончил свою мысль:

– Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг вперед.

Член Конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор Бьенвеню возразил почти с тою же резкостью, с какой он начал разговор:

– Прогресс должен верить в бога. У добра не может быть нечестивых слуг. Атеист – плохой руководитель человечества.

Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно-бледной щеке, и едва слышно, прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной глубины небес:

– О ты! О идеал! Ты один существуешь! Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением.

Немного помолчав, член Конвента поднял руку и, указав на небо, сказал:

– Бесконечное существует. Оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом, и оно бы не было бесконечным; другими словами, бесконечное не существовало бы. Но оно существует. Следовательно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть бог.

Последние слова умирающий произнес громким голосом, трепеща от восторга; казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил, глаза его закрылись. Напряжение истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновение он прожил те несколько часов, которые ему оставались. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута.

Епископ понял это, мешкать долее было нельзя; ведь он пришел сюда как священнослужитель. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения; он взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую, морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему.

– Этот час принадлежит богу. Разве вам не было бы горько, если б наша встреча оказалась напрасной?

Член Конвента открыл глаза. Тень какой-то суровой торжественности лежала теперь на его лице.

– Ваше преосвященство! – медленно заговорил он, и эта неторопливость вызывалась, быть может, не столько упадком физических сил, сколько чувством собственного достоинства. – Я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления – и боролся с ними. Я видел тиранию – и уничтожил ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну – и я защищал ее, Франции угрожала опасность – и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства; подвалы казначейства ломились от сокровищ, пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра, – а я обедал за двадцать два су на улице Арбр-Сек. Я помогал угнетенным и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда приветствовал шествие человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Сличалось и так, что я оказывал помощь вам, моим противникам. Во Фландрии, в Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, аббатство святой Клары в Болье, – в тысяча семьсот девяносто третьем году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро где только мог. Меня стали преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, прокляли, осудили на изгнание. Несмотря на свои седины, я давно уже чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я – проклятый богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, хотя ни к кому не питаю ненависти. Теперь мне восемьдесят шесть лет. Я умираю. Чего вы от меня хотите?

– Вашего благословения, – сказал епископ и опустился на колени.

Когда епископ поднял голову, лицо члена Конвента было величаво-спокойно. Он скончался. Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене Конвента Ж.; вместо ответа епископ указал на небо. С той поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилились.

Малейшее упоминание о «старом нечестивце Ж.» приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу.

Само собой разумеется, что это «пастырское посещение» доставило местным сплетникам повод для пересудов. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего? – говорили они. – Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры – закоренелые еретики. Так зачем ему было ездить туда? Чего он там не видел? Верно, уж очень любопытно было поглядеть, как дьявол уносит человеческую душу».

Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, мнящих себя остроумными, позволила себе такую выходку.

– Ваше преосвященство, – сказала она епископу. – Все спрашивают, когда вам будет пожалован красный колпак.

– О, это грубый цвет, – ответил епископ. – Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке якобинца, глубоко чтят его в кардинальской шапке.

Глава одиннадцатая.

Оговорка

Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует впасть в большую ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе недоумение, придавшее еще большую кротость его характеру. И только.

Хотя монсеньор Бьенвеню меньше всего был политическим деятелем, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к современным событиям, если предположить, что монсеньор Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-то отношение.

Итак, вернемся на несколько лет назад.

Немного времени спустя после возведения Мириэля в епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому случаю Мириэль был приглашен Наполеоном на совет епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод этот заседал в Соборе Парижской Богоматери и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии, человек привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он ответил:

– Я там мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я произвел впечатление распахнутой настежь двери.

В другой раз он сказал:

– Что же тут удивительного? Все эти высокопреосвященства – князья церкви, а я – всего лишь бедный сельский епископ.

Он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей, а как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих собратьев, у него вырвались, между прочим, такие слова:

– Какие красивые стенные часы! Какие красивые ковры! Какие красивые ливреи! До чего это утомительно! Нет, я бы не хотел иметь у себя всю эту бесполезную роскошь. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди, которые голодают! Есть люди, которым холодно. Есть бедняки! Есть бедняки!»

Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши – ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о торжественных службах и обрядах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник – это нелепо, место священника – подле бедняков. Но можно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякими невзгодами, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запачкавшись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который, находясь у пылающего костра, не ощущал бы его жара? Можно ли представить себе постоянно работающего у раскаленной печи человека, у которого не было бы ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, – это его бедность.

По-видимому, именно так думал и епископ Диньский.

Впрочем, не следует предполагать, чтобы по отношению к некоторым щекотливым пунктам он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри своего времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства;

однако, если бы оказать на него достаточно сильное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галликанцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что Мириэль выказал крайнюю холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот возвращался с острова Эльбы, и не отдал распоряжение по епархии о служении в церквях молебнов о здравии императора во время Ста дней. Кроме сестры Батистины, у него было два брата: один – генерал, другой – префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладел к первому после того, как, командуя войсками в Провансе и приняв под свое начало отряд в тысячу двести человек, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал дать ему возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более сердечной.

Итак, монсеньора Бьенвеню тоже коснулся дух политических разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, свои мрачные мысли. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум, поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу мысль, – мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто было бы прекрасно, если бы монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновение не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей – истины, справедливости и милосердия, – ярко сияющих над бурной житейской суетой.

Признавая, что бог создал монсеньора Бьенвеню отнюдь не для политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но справедливое сопротивление всесильному Наполеону. Однако то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает нас обезоруживать. В 1813 году Законодательный корпус, до той поры безмолвный и осмелевший после ряда катастроф, подло нарушил свое молчание: это не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году при виде предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо пятившихся назад и оплевывавших недавнего идола, каждый счел своим долгом отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего достойного осмеяния, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как епископ Диньский, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны.

За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил добро и был доброжелателен,

что является другой формой того же добра. Это был пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был – этого у него отнять нельзя – снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки. Привратник диньской ратуши, когда-то назначенный на эту должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный крестом за Аустерлиц и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманно слова, которые по тогдашним законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» – таково было его выражение, – чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном, изображение императора, вследствие чего в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, – говорил он, – чем носить на сердце трех жаб!» Он любил во всеуслышание издеваться над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах? Пусть убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» – говаривал он, радуясь, что может в одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил его и назначил на должность привратника собора.

За девять лет монсеньор Бьенвеню добрыми делами и кротостью снискал себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила и своего епископа.

Глава двенадцатая. **Одиночество монсеньора Бьенвеню**

Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, вокруг каждого епископа вьется стая аббатов. Именно этих аббатов очаровательный св. Франциск Сальский и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власть имущего, у которого не было бы своих приближенных; нет баловня фортуны, у которого не было бы своих придворных. Искатели будущего вихрем кружатся вокруг великолепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб. Каждый сколько-нибудь влиятельный епископ окружен стражей херувимчиков-семинаристов, которые обходят дозором епископский дворец, следят за порядком и караулят улыбку его преосвященства. Угодить епископу – значит стать на первую ступень, ведущую к иподьяконству. Надо же пробить себе дорогу, – апостольское звание не брезгует доходным местечком. Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епископы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие, принятые в высшем обществе, несомненно, умеющие молиться, но умеющие также домогаться того, что им нужно; епископы, которые, олицетворяя собой целую епархию, заставляют ждать себя в передней и являются соединительным звеном между ризницей и дипломатией, – скорее аббаты, нежели священники, скорее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет приблизиться к ним! Люди влиятельные, они щедро раздают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умеющей подделаться к ним молодежи богатые приходы, каноникаты, места архидиаконов, попечителей и другие выгодные должности, постепенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь сами, эти планеты движут вперед и своих спутников, – настоящая солнечная система в движении! Их сияние бросает пурпурный отсвет и на их свиту. С их пиршественного стола перепадает крохи и их приближенным в виде теплых местечек. Чем больше епархия покровителя, тем

богаче приход фаворита. А Рим так близко! Епископ, сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумевший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве кардинальского служки в конклав, вы входите в римское судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член судилища, вы камерарий, вы монсеньор, а от преосвященства до эминенции только один шаг, а эминенцию и святейшество разделяет лишь дымок сжигаемого избирательного листка. Каждая скуфья может мечтать превратиться в тиару. В наши дни священник – это единственный человек, который может законным путем взойти на престол, и на какой престол! Престол державнейшего из владык! Зато каким питомником упований является семинария! Сколько краснеющих певчих, сколько юных аббатов ходят с кувшином Перетты на голове! Как охотно честолюбие именует себя призванием, и – кто знает? – быть может, даже искренне, поддаваясь самообману. Блажен надеющийся!

Монсеньор Бьенвеню, скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к «значительным особам». На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париже он «не принял». Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старики, грубоватые, как и он сам, так же как он, замуравшие себя в этой епархии, которая не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа, с той лишь разницей, что они были люди конченные, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьенвеню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в священники, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Повторяем: люди хотят, чтобы им помогли пустить ростки. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, – опасное соседство: он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед, к успеху, и вообще слишком большой любовью к самопожертвованию; от этой чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество монсеньора Бьенвеню. Мы живем в обществе, окутанном мраком. Преуспевать – вот высшая мудрость, которая капля за каплей падает из черной тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством.

Заметим мимоходом, какая, в сущности, гнусная вещь – успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача – это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха, этого близнеца таланта, есть одна жертва обмана – история. Только Ювенал и Тацит немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействует у него в передней. Преуспевайте – такова теория! Благосостояние предполагает способности. Выиграйте в лотерею, и вы умница. Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке – в этом вся штука! Будьте удачливы – все остальное приложится; будьте баловнем счастья – вас сочтут великим человеком. Не считая пяти-шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняются только близорукостью. Позолота сходит за золото. Будь ты – хоть первым встречным – это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу. Пошлость – это состарившийся Нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микеланджело или Наполеоном, немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом; пусть лже – Корнель написал Тиридату; пусть евнуху удалось обзавестись гаремом; пусть какой-нибудь военный Прюдом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи; пусть аптекарь изобрел картонные подошвы для армии департамента Самбр – и – Маас и, выдав картон за кожу, нажил капитал, дающий четыреста тысяч ливров дохода; пусть уличный разносчик женился на ростовщице и от этого брака родилось семь или восемь миллионов, отцом которых является он, а матерью она; пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан; пусть

управляющий торговым домом оказался по увольнении таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, – во всем этом люди видят Гениальность, так же как они видят Красоту в наружности Мушкетона и Величие в шее Клавдия. Звездообразные следы утиных лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.

Глава тринадцатая.

Во что он верил

Нам незачем доискиваться, был ли епископ Диньский приверженцем ортодоксальной веры. Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добродетели, даже если их верования и отличны от наших. Что думал епископ о таком-то догмате или о таком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас несомненно одно: спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Тление не может коснуться алмаза. Мириэль веровал всей душой. *Credo in Patrem*¹⁰, – часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку: «С тобою бог!»

Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверхверы у епископа был избыток любви. Именно поэтому, *quid multum amavit*¹¹, его и считали уязвимым среди «серьезных людей», «благоразумных особ» и «положительных характеров», пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинует педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению божию. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таится бессознательная жестокость, которую он бережет для животных. В епископе Диньском эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, по-видимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Екклесиаста: «Кто знает, куда идет душа животных?» Внешнее безобразие, грубость инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты он, казалось, молил бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого лингвиста, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один, и не замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле: это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный. И сестра услышала, как он произнес: «Бедное создание! Оно в этом не виноватое. Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так, но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Ассизский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья.

¹⁰ «Верую в бога-отца» (лат.)

¹¹ За многолюбие (лат.)

Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение.

Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвеню был человек пылких, быть может, даже необузданных страстей Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно, мысль за мыслью, осевшей в нем, ибо в характере человека, так же как и в скале, которую долбит капля воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы; эти образования уничтожить нельзя.

В 1815 году – мы, кажется, уже упоминали об этом – епископу исполнилось семьдесят пять лет, но на вид ему можно было дать не более шестидесяти. Он был невысокого роста, имел некоторую склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком; он сохранил твердую поступь и почти прямой стан – подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов: Григорий XVI в восемьдесят лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться дурным епископом. У монсеньора Бьенвеню был, говоря языком простонародья, «осанистый вид», но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой «осанке».

Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно; казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестящие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид, когда невольно хочется сказать о человеке: «Какой добрый малый!» – если он молод, и «Какой добрый старик!» – если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добрый старик – и только. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, этот добрый старик преображался на глазах, становясь все значительнее; его высокий спокойный лоб, величественный благодаря увенчивавшим его сединам, казался еще величественнее в часы, когда епископ предавался размышлениям; нечто возвышенное исходило от этой доброты, не перестававшей излучать свое сияние; вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Благоговение, невыразимое благоговение медленно охватывало вас, проникая в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, много переживших и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой. Итак, молитва, богослужения, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на бога, наука и труд заполняли все дни его жизни. Именно заполняли, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером, перед сном, после того как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда, даже в очень поздние часы его домашние, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там он оставался наедине с самим собою, сосредоточенный, безмятежный, спокойный и благоговеющий; ясность его сердца можно было сравнить с ясностью небесного эфира. Взмолванный зримым во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может он и сам не мог бы сказать, что

совершается в его душе; он чувствовал, как что-то излучается из него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной!

Он думал о величии вездесущего бога, о вечности грядущей – чудесной тайне, о вечности минувшей – тайне еще более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине; не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал бога, он поражался ему. Он размышлял об удивительных столкновениях атомов, которые составляют материю, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве, соотношения в пространстве, бесчисленное в бесконечном и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения – вечный круговорот завязок и развязок; отсюда жизнь и смерть.

Он садился на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светила сквозь чахлые и кривые ветви плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяла его.

Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого огороженного пространства, где высокое небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклоняться богу в его прекраснейших и совершенных творениях? В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать?.. Садик для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его – то, что можно возделывать и собирать; над головой – то, что можно обдумывать и изучать. Немного цветов на земле и все звезды на небе.

Глава четырнадцатая.

О чем он думал

Еще несколько слов.

Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя распространенные сейчас выражения, внушить мысль о том, что епископ Диньский в некотором роде «пантеист» и что он придерживался – в похвалу это ему или в порицание, вопрос особый – одной из тех присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших монсеньера Бьенвеню, не считал бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце.

Никаких теорий – и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения; ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри. Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас; эти мрачные врата открыты перед вами, но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда! Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изъясняют свои идеи богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности.

Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное заблуждение. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она как бы ослепляет самое природу; таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе,

но на земле существуют люди, – впрочем, люди ли это? – которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы. Монсеньор Бьенвеню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьенвеню не был гением. Его утратили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы, именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Епископ Диньский избрал кратчайшую тропу – Евангелие.

Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии, не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила – вот и все.

Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь, но как любовь, так и молитва никогда не могут быть чрезмерны, и если бы молитва, которой нет в текстах Священного писания, являлась ересью, то и св. Тереза и св. Иероним были бы еретиками.

Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом; он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдание и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному – найти самому и передать другим наилучший способ жалеть и поддерживать. Все сущее было для этого редкого по своей доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить. Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земли золото; он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастья мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. «Любите друг друга!» – говорил он, считая, что этим сказано все, и ничего больше не желая; в этом и заключалось все его учение. «Послушайте, – сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек, считавший себя философом. – Да взгляните же вы на то, что происходит в мире: война всех против каждого; кто сильнее – тот и умнее. Ваше „любите друг друга“ – глупость». «Что ж, – ответил епископ, не вступая в спор, – если это глупость, то душа должна замкнуться в ней, как жемчужина в раковине». И он замкнулся в ней, жил в ней и вполне удовлетворялся ею, отстраняя от себя грозные проблемы, притягивающие нас и в то же время повергающие в ужас. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке – для апостола в божестве, для атеиста в небытии: судьбу, добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преображение через смерть, повторение существований, берущее начало в могиле, непостижимую власть преходящих чувств над неизменным «я», сущность, субстанцию. Nil и Ens, душу, природу, свободу, необходимость; те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли; те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, св. Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды.

Монсеньер Бьенвеню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум. строго хранил в душе благоговение перед неведомым.

Глава первая. После целого дня ходьбы

В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, в городок Динь вошел путник. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и крепкий, в расцвете сил. Ему можно было дать лет сорок шесть, сорок семь. Надвинутая на лоб фуражка с кожаным козырьком наполовину закрывала его загорелое от солнца, обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаша из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди; на нем был скрученный в жгут шейный платок, синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с дырой на другом, старая и рваная серая блуза, заплата на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым шпагатом; за спиной у путника висел туго набитый солдатский ранец, тщательно застегнутый и совершенно новый, в руках он держал огромную суковатую палку; подбитые железными гвоздями башмаки были надеты на босу ногу; голова у него была острижена, а борода сильно отросла.

Пот, зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец.

Короткие его волосы стояли торчком; видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать.

Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья – он вошел в Динь той же дорогой, которою семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместья, расположенного в нижней части города, заметили, что он остановился под деревьями бульвара Гассенди и пил воду из фонтана, в конце аллеи. Вероятно, его мучила жажда, потому что дети, которые шли за ним следом, видели, что шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана, на Рыночной площади.

Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Друо 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему.

Жандарм, не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию.

В те времена в Дине был богатый постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяином этого постоялого двора был некто Жакен Лабар, пользовавшийся в городе уважением за родство с другим Лабаром, который держал в Гренобле постоялый двор «Три дельфина» и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора немало слухов ходило в тех краях о постоялом дворе «Три дельфина». Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возчиком, приезжал туда несколько раз, причем раздавал кресты солдатам и пригоршни золотых монет горожанам. Достоверно одно: вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры; поблагодарив мэра, он сказал: «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», – и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в двадцать пять лье, отсвет славы Лабара из «Трех дельфинов» озарял и Лабара из «Кольбасского креста». В городе о нем говорили: «Это двоюродный брат того, гренобльского».

К этому-то постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились, жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех раздавался в соседней комнате. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем; на плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоз.

Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил:

– Что вам угодно, сударь?

– Поесть и переночевать, – ответил вошедший.

– Это можно, – сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил: – Разумеется, за плату.

Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек.

– Деньги у меня есть, – сказал он.

– В таком случае к вашим услугам, – ответил трактирщик.

Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук палки, присел на низенький табурет перед камином. День лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны.

Между тем трактирщик, продолжая снова взад и вперед, внимательно разглядывал путника.

– Скоро ли обед? – спросил тот.

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты, валявшейся на столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии.

Путник ничего не заметил.

Он снова спросил:

– Скоро ли обед?

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, видимо ожидавший ответа, поспешно развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем подошел к путнику, который казался погруженным в далеко не веселые размышления.

– Сударь! – сказал он. – Я не могу оставить вас у себя.

Незнакомец привстал.

– Как так? Вы боитесь, что я не заплачу? Хотите, я отдам плату вперед? Говорят вам, у меня есть деньги.

– Дело не в этом.

– А в чем же?

– У вас есть деньги...

– Да, – еще раз подтвердил незнакомец.

– Но у меня-то, – продолжал трактирщик, – нет свободной комнаты.

– Так устройте меня в конюшне, – спокойно возразил незнакомец.

– Не могу.

– Почему?

– Там нет места – все занято лошадьми.

– Ну что ж, – снова возразил незнакомец, – в таком случае отведите мне уголок на чердаке. Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда.

– Я не могу дать вам обед.

Эти слова, произнесенные сдержанным, но решительным тоном, заставили незнакомца насторожиться. Он встал.

– Ах, вот оно что! – вскричал он. – Но послушайте, я умираю от голода. Я без отдыха иду с самого восхода солнца. Я прошел двенадцать лье. Я плачу деньги. И хочу есть.

– У меня ничего нет, – сказал трактирщик.

Незнакомец захохотал и повернулся к камину и к плите.

– Ничего? А все это?

– Все это заказано другими.

– Кем?

– Господами возчиками.

– Сколько же их?

– Двенадцать.

– Да тут хватит еды на двадцать человек.

– Все это они заказали для себя и уплатили вперед.

Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голоса:

– Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь.

Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул:

– Уходите отсюда.

В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки; он живо обернулся и уже открыл рот, чтобы возразить что-то, но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо:

– Послушайте, довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут? Ваше имя – Жан Вальжан.

А теперь – сказать вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. Вы умеете читать?

С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик сказал:

– Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда.

Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел.

Он направился вдоль главной улицы. Он шагал наудачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин «Кольбасского креста» стоит на пороге и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем; и тут подозрительные, испуганные взгляды всех этих людей сказали бы ему: что его появление не замедлит всполошить весь город.

Но ничего этого он не видел. Те, кто удручен горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом.

Так он брел некоторое время, все вперед, выбирая наудачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам, надеясь найти какое-нибудь пристанище. Богатый трактир закрыл перед ним свои двери; теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу.

Вдруг в конце улицы блеснул огонек; сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней.

Это и в самом деле был кабачок, – кабачок на улице Шафо.

На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Какие-то люди сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом.

В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоялым двором, были две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела во дворик, заваленный навозом.

Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь.

– Кто там? – спросил хозяин.

– Человек, который хотел бы поужинать и переночевать.

– За чем же дело стало? Здесь получите и ужин и ночлег.

Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала прищельца с одной стороны, огонь очага-с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его.

Кабатчик сказал:

– Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите ближе и погрейтесь, приятель.

Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нывшие от усталости ноги; вкусный запах шел от котелка. Лицо прищельца, насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение какого-то неопределенного удовлетворения, к которому примешивался скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию.

Вообще у него был мужественный, энергичный и вместе с тем грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление: сначала оно казалось кротким, а потом суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под груды валежника.

Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец; прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к Лабару, чтобы поставить к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая, утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра д'Асс и... (забыл название, – кажется, Эскублоном). И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда казался очень усталым, попросил подвезти его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и рассказал посетителям «Кольбасского креста» о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал кабатчику незаметный знак. Тот подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы.

Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал:

– Немедленно убирайся отсюда.

Незнакомец обернулся и кротко ответил:

– Ах, так? Вы уже знаете?..

– Да.

– Меня прогнали из одного трактира.

– А теперь тебя выгоняют из этого.

– Куда же мне деваться?

– Куда хочешь.

Путник взял свою палку, ранец и вышел.

На улице мальчишки, которые провожали его от самого «Кольбасского креста» и, видимо, поджидали здесь, стали бросать в него камнями. Он в гневе повернул назад и погрозил им палкой; детвора рассыпалась в разные стороны, словно птичья стайка.

Он зашагал дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот весела железная цепь, прикрепленная к колокольчику. Он позвонил.

Окошечко в воротах приоткрылось.

– Господин привратник! – сказал прохожий, почтительно снимая фуражку. – Сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь.

Голос ответил ему:

– Тюрьма не постоянный двор. Пусть тебя арестуют, тогда открою.

Окошечко захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая, выбеленная комната, с кроватью, затянутой пологом из набивного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двустольным ружьем, висевшим на стене. Посреди комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестящий, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую мяску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым, открытым лицом; он подбрасывал на коленях ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.

На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы он один. Вероятно, он подумал, что этот дом, где царит радость, не откажет ему в гостеприимстве и что там, где он видит столько счастья, быть может, найдется для него крупица сострадания.

Он стукнул в окно тихо и нерешительно.

Никто не слышал его.

Он стукнул еще раз.

И услышал, как женщина сказала:

– Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучится.

– Нет, – ответил муж.

Он стукнул в третий раз.

Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее.

Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник слева доходил ему до плеча; из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял, – подняв голову; открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навывкате, выступавшая вперед нижняя челюсть и то не поддающееся описанию выражение лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома.

– Извините, сударь, – сказал путник, – не можете ли вы за плату дать мне тарелку похлебки и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Могли бы? За плату?

– Кто вы такой? – спросил хозяин дома.

Человек ответил:

– Я иду из Пюи – Муасона. Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лье. Скажите, вы могли бы? За плату.

– Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, – сказал крестьянин. – Но почему вы не идете на постоянный двор?

– Там нет места.

– Ну, этого не может быть. Ведь сейчас не ярмарка и не базарный день. У Лабара вы были?

– Да.

– И что же?

– Не знаю, право, но он меня не пустил, – в замешательстве ответил путник.

– А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо?

Замешательство незнакомца возрастало.

– Он тоже не пустил меня, – пробормотал он.

Лицо крестьянина отразило недоверие; он оглядел пришельца с головы до ног и вдруг в ужасе вскричал:

– Да уж не тот ли вы человек?

Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.

Между тем, услышав слова крестьянина: «Да уж не тот ли вы человек?», женщина вскочила с места, схватила детей на руки и поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась за спиной мужа, со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя. «Воровское отродье!».

Все это произошло с невероятной быстротой. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца так, словно перед ним была ядовитая змея, потом снова подошел к двери и сказал:

– Убирайся.

– Ради бога, хоть стакан воды! – попросил путник.

– А не хочешь ли пулю в лоб? – ответил крестьянин и захлопнул дверь; путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, задвинулся поперечный железный брус.

Между тем мрак все сгущался. С Альп дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через дощатый забор и очутился в саду. Затем подошел к землянке, дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие; она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссейные рабочие на краю дороги. Должно быть, незнакомец решил, что это и в самом деле такой шалаш; он страдал от холода и голода; с голодом он уже примирился, но перед ним было по крайней мере убежище от стужи. Обычно такого рода жилище по ночам пустует. Он лег на живот и ползком пролез в землянку. Внутри было тепло, он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза. Голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки.

Он попал в собачью конуру.

Он и сам был силен и страшен; вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире.

Он выбрался из сада, пятясь к выходу и размахивая палкой; чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему, известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «закрытая роза».

Когда он не без труда вторично перелез через забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже соломенной подстилки, выгнанный из жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень; говорят, что какой-то прохожий слышал, как он воскликнул: «Собаке – и той лучше, чем мне!»

Вскоре он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле дерево или стог сена, где можно было бы укрыться.

Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, очутившись вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле; перед ним простирался пологий холм с низким жнивьем, – такие холмы после жатвы напоминают стриженую голову.

Горизонт был совершенно черен – и не только из-за ночного мрака: темноту сгущали низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь кверху, заволакивали

все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отсвет.

Земля из – за этого была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно злое впечатление; холм с его однообразными, унылыми очертаниями, мутным сизым пятном вырисовывался на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отталкивающего, убогого, угрюмого, давящего. На все поле и на весь холм – только одно уродливое дерево; качаясь и вздрагивая под ветром, оно стояло в нескольких шагах от путника.

Человек этот, по-видимому, не принадлежал к числу людей тонкого духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений; однако это небо и холм, равнина и дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновенья, когда сама природа кажется враждебной.

Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году Динь, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город.

Было около восьми часов. Не зная города, он опять отправился наудачу.

Он дошел до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по Соборной площади, он погрозил кулаком церкви.

На углу площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном.

Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.

В это время из церкви вышла старая женщина. Она заметила лежащего в темноте человека.

– Что вы здесь делаете, друг мой? – спросила она.

– Разве вы не видите, добрая женщина? Я ложусь спать, – ответил он резко и злобно.

Доброй женщиной, вполне достойной этого имени, была маркиза де Р.

– На этой скамье? – снова спросила она.

– Девятнадцать лет я спал на голых досках, – сказал человек, – сегодня досплю на голом камне.

– Вы служили в солдатах?

– Да, добрая женщина, в солдатах.

– Почему же вы не идете на постоянный двор?

– Потому что у меня нет денег.

– Как жаль! – сказала маркиза де Р. – У меня в кошельке только четыре су.

– Все равно. Давайте.

И он взял четыре су. Маркиза де Р. продолжала:

– Этих денег вам не хватит на постоянный двор. Но, скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания.

– Я стучался во все двери.

– И что же?

– Меня отовсюду гнали.

Добрая женщина прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом.

– Вы говорите, что стучались во все двери? – еще раз спросила она.

– Да.

- А в эту?
- Нет.
- Так постучитесь.

Глава вторая.

Мудрость, предохраняемая благоразумием

В этот вечер, после обычной прогулки по городу, епископ Диньский довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему об обязанностях, который, к сожалению, так и остался незавершенным. Он тщательно собирал все сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд делился на две части: в первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, во второй – об обязанностях каждого человека, в зависимости от общественного его положения. Общечеловеческие обязанности – суть великие обязанности. Их четыре. Апостол Матфей определяет их так: обязанности по отношению к богу (Матф., VI), обязанности по отношению к самому себе (Матф., V. 29, 30), обязанности по отношению к ближнему (Матф., VII, 12], обязанности по отношению к творениям Божиим (Матф., VI, 20, 25). А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными в других местах: обязанности государей и подданных – в Послании к Римлянам; судей, жен, матерей и юношей – у апостола Петра; мужей, отцов, детей и слуг – в Послании к Ефессянам; верующих – в Послании к Евреям; девственниц – в Послании к Коринфянам. Все эти предписания он старательно объединял в одно гармоническое целое, которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ.

В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на четвертушках бумаги. Как всегда в это время, в комнату вошла Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над его кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую.

Столовая представляла собой продолговатую комнату с камином, с дверью, выходявшей прямо на улицу (мы уже говорили об этом), и окном в сад.

Маглуар действительно кончала накрывать на стол.

Не отрываясь от дела, она разговаривала с Батистиной.

На столе горела лампа; стол стоял близко от камина, где был разведен довольно яркий огонь. Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят:

Маглуар – низенькую, полную, подвижную; Батистину – кроткую, худощавую, хрупкую, немного выше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и которое верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы целой страницы, скажем, что с виду Маглуар была «из простых», а Батистина – «из господ». Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее золотой крестик – единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме; белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами; передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный на талии зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху двумя булавками, довершал ее туалет; на ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят жительницы Марселя. Платье Батистины было скроено по фасону 1806 года; короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, клапаны и пуговицы. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным «под ребенка», как тогда говорили. Маглуар производила впечатление неглупой, живой и добродушной женщины, хотя неодинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали выражению ее лица оттенок

грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, сочетая почтительность с фамильярностью, но стоило монсеньору заговорить, и – мы уже убедились в этом – она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью: у нее были большие голубые глаза навывкате и длинный, с горбинкой, нос, но все лицо ее, все ее существо – мы уже говорили об этом вначале – дышало невыразимой добротой. Она и всегда была предрасположена к кротости, а вера, милосердие, надежда – эти три добродетели, согревающие душу, – мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа сделала ее агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка! Милое исчезнувшее воспоминание!

Батистина так часто рассказывала о том, что произошло в епископском доме в тот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей.

В ту минуту, когда вошел епископ, Маглуар что-то горячо говорила Батистине. Она беседовала с Батистиной на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери.

По-видимому, Маглуар, закупая провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается по улицам и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собой и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие происшествия. Поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть настороже и позаботиться о том, чтобы их дома были закрыты, входы загорожены, а двери снабжены засовами и накрепко заперты.

Маглуар особенно подчеркнула последние слова, но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодно, теперь грелся, сидя у камина, и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу Маглуар. Она повторила ее. Тогда Батистина, которой хотелось доставить удовольствие Маглуар, не вызвав при этом неудовольствия брата, осмелилась робко спросить у него:

– Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?

– Да, я мельком слышал об этом, – ответил епископ.

Отодвинув стул и опершись обеими руками о колени, он обратился к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил:

– Итак, в чем же дело? Что случилось? Нам, стало быть, угрожает большая опасность?

Маглуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее, незаметно для себя самой.

Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел остановиться у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гассенди и бродил по городу до самых сумерек.

Наружность у него самая разбойничья – настоящий висельник.

– В самом деле? – спросил епископ.

Этот снисходительный вопрос ободрил Маглуар; она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала:

– Да, ваше преосвященство. Так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят. А полиция никуда не годится (полезное повторение). Жить в горной местности и не поставить на улице ни одного фонаря! Выходишь, а кругом тьма кромешная! Вот я и говорю, ваше преосвященство, да и барышня тоже говорит, что...

– Я ничего не говорю, – прервала ее Батистина – Все, что делает мой брат, хорошо!

Словно не слыша этого возражения, Маглуар продолжала:

– Вот мы и говорим, что наш дом ненадежен и что если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мюзбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки,

что были прежде; они в сохранности, так что это минутное дело. Право, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы только на нынешнюю ночь, потому что, право, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи любой прохожий. И потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите», будь это хоть глухой ночью. О господи, да чего уж тут! Незачем и спрашивать разрешения... В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.
– Войдите! – сказал епископ.

Глава третья.

Героизм слепого повиновения

Дверь открылась.

Она открылась широко, настежь; видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно.

Вошел человек.

Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега.

Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку, выражение его глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее.

У Маглуар не хватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела.

Батистина обернулась, увидела входящего человека и в испуге приподнялась со стула; потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным.

Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд.

Он уже открыл рот, видимо, собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом:

– Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье, к месту назначения. Вот уже четыре дня, как я иду пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь! Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали: «Убирайся!» Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я залез в собачью конуру. Собака укусила меня и выгнала вон, словно это не собака, а человек. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом. Но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться хотя бы в какой-нибудь нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь спать на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Целый капитал. Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет... Я заплачу. Отчего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал, я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. Вы+ позвольте мне остаться?

– Госпожа Маглуар! – сказал епископ. – Поставьте на стол еще один прибор.

Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа.

– Погодите, – продолжал он, словно не поверив своим ушам, – тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник Галерник. Я прямо с каторги.

Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его.

– Вот мой паспорт. Как видите – желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочесть? Я и сам умею читать. Выучился в заключении. Там есть школа для тех, кто желает учиться. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт «Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец...» – ну да это вам безразлично... – «пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен». Ну вот! Все меня выбрасывали вон. А вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня?

– Госпожа Маглуар! – сказал епископ. – Постелите чистые простыни на кровати в алькове. Мы уже говорили о том, как повиновались епископу обе женщины.

Маглуар вышла исполнить его приказания.

Епископ обратился к незнакомцу:

– Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель.

Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты суровом и мрачном, изобразилось чрезвычайное изумление, недоверие, радость. Он забормотал, словно помешанный:

– Правда? Быть этого не может! Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон? Меня? Каторжника? Вы называете меня «сударь», вы не говорите мне «ты». «Убирайся прочь, собака!» – вот как всегда обращаются со мной. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда! Сейчас я буду ужинать! Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей! Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати! Вы позволили мне остаться? Право, вы добрые люди! Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощенья, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда?

– Я священник и живу в этом доме, – сказал епископ.

– Священник! – повторил пришелец. – Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы – кюре, не так ли? Кюре из этой вот большой церкви? Ну и дурак же я, право! Не заметил вашей скуфейки.

С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел.

Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:

– Вы добрый человек, господин кюре, вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо – хороший священник! Вам, значит, не понадобятся мои деньги?

– Нет, – ответил епископ, – оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? Кажется, вы сказали – сто девять франков?

– И пятнадцать су, – добавил путник.

– Сто девять франков пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы их заработать?

– Девятнадцать лет.

– Девятнадцать лет!

Епископ глубоко вздохнул.

Путник продолжал:

– У меня покуда все деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грассе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют: ваше преосвященство. Это был епископ Майоркский в Марселе. Епископ – это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю, но уж очень мне все это непонятно! Вы подумайте только – наш брат и он! Он служил обедню на тюремном дворе, там поставили престол, а на голове у епископа была

какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ.

Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь. Вошла Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол.

– Госпожа Маглуар! – сказал епископ. – Поставьте этот прибор как можно ближе к огню. – И, повернувшись к гостю, добавил: – Ночной ветер в Альпах – это очень холодный ветер. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь?

Всякий раз, как он произносил слово сударь ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. Сударь для каторжника – это все равно, что стакан воды для человека, умирающего от жажды. Опозоренные жаждут уважения.

– Как тускло горит лампа! – заметил епископ.

Маглуар поняла епископа; она пошла в его спальню, взяла с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол.

– Господин кюре! – сказал пришелец. – Вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник.

Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке.

– Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучит голод и жажда – добро пожаловать! И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку: этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя.

Человек изумленно взглянул на него.

– Правда? Вы знали, как меня зовут?

– Да, – ответил епископ, – вас зовут «брат мой».

– Знаете что, господин кюре! – вскричал путник. – Входя к вам, я был очень голоден, но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной, – у меня как будто и голод пропал.

Епископ посмотрел на него и спросил:

– Вы очень страдали?

– Ох! Арестантская куртка, ядро, прикованное к ноге цепью, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары! Двойные кандалы за ничтожную провинность. Карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, – все равно кандалы. Собаки, и те счастливее нас! Девятнадцать лет! А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. Вот и все.

– Да, – сказал епископ, – вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этих печальных мест, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления; если же вы вынесли оттуда доброжелательность, кротость и мир, то вы лучше любого из нас.

Между тем Маглуар подала ужин: постный суп с размоченным хлебом и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смокв, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина. На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям.

– Прошу к столу! – с живостью сказал он.

Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. Батистина, державшаяся невозмутимо спокойно и непринужденно, заняла место слева от брата.

Епископ прочитал перед ужином молитву и, по своему обыкновению, налил всем суп. Гость жадно набросился на еду.

Вдруг епископ заметил:

– Однако у нас на столе как будто чего-то не хватает.

В самом деле, Маглуар положила на стол только три прибора, по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался ужинать гость, обычай дома требовал раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов – невинное тщеславие! Наивное притязание на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования.

Маглуар поняла намек; она молча вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.

Глава четвертая. Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье

А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за ужином, лучше всего привести здесь отрывок из письма Батистины к г-же де Буашеврон, где с простодушной добросовестностью передана беседа каторжника с епископом:

«...Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал:

– Господин кюре, служитель божий! Для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но, признаться, возчики, которые не разрешили мне поужинать с ними, едят куда лучше вас.

Между нами говоря, это замечание немного меня задело. Мой брат ответил:

– У них больше работы, чем у меня.

– Нет, – возразил человек, – у них больше денег. Я вижу, вы бедны. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы правда священник? Если господь бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником.

– Бог более чем справедлив, – ответил мой брат. Затем он спросил:

– Скажите, господин Жан Вальжан, вы ведь направляетесь в Понтарлье?

– Да, по принудительному маршруту.

Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал:

– Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, а дни жаркие.

– Вы идете в хорошие места, – сказал мой брат. – Во время революции семья моя была разорена. Сначала я нашел убежище в Франш – Конте и там некоторое время жил трудами своих рук. Мне очень хотелось работать. И я нашел, чем заняться. Там есть из чего выбирать. Писчебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые заводы, сталелитейные и меднолитейные заводы, не менее двадцати железоделательных заводов; из них четыре очень крупных, находятся в Лодсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере. По-моему, я не ошибаюсь; именно эти предприятия перечислил мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне.

– Сестрицам – сказал он. – Кажется, у нас есть родственники в этих краях?

Я ответила:

– Прежде были, и при старом режиме один из них, господин де Люсене, служил в Понтарлье начальником городской стражи.

– Так, так, – продолжал брат, – но в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал. В Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют «сырнями». Тут мой брат, не забывая угощать этого человека, подробно разъяснил ему, что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов: «большие сараи», принадлежащие богатым, где держат по сорок-пятьдесят коров и где за лето выделывают от семи до восьми тысяч сыров, и «артельные сыроварни», принадлежащие беднякам, – то есть крестьянам с предгорий, которые содержат коров сообща и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется «сыроделом»; сыродел три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы.

За едой этот человек стал понемногу приходить в себя. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, считая, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне. Он много раз принимался хвалить ремесло «сыродела», словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразило вот что. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, брат в продолжение всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о том, кто он такой и кто такой мой брат. Казалось бы, для него, как для епископа, это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную, заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленной советами и моралью, а может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещевая вести в будущем более нравственную жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его прошлом. Ведь в прошлом он и совершил проступок, а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. Говоря о горных жителях Понтарлье, «которые мирно трудятся под самыми облаками» и которые, – добавил он, – «счастливы, потому что безгрешны», брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти нечаянно вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил, что этот человек, по имени Жан Вальжан, и без того слишком много думает о своем позоре и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему, хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, – это обращаться с ним как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравоучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была тайная мысль моего брата. Так или иначе, если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной; весь вечер он был таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судьей Гедеоном или с нашим приходским священником.

К концу ужина, когда мы ели смокву, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания на окружающее. Он молчал и казался очень усталым. Когда бедная старушка

Жербо ушла, брат прочитал молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал: «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель?» Маглуар поспешила убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала Маглуар отнести гостю шкуру шварцвальдской косули, которая лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что шкура такая старая, шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная; там же он купил и ножичек, ручка которого сделана из слоновой кости, я пользуюсь им во время еды.

Маглуар сейчас же вернулась, потом мы помолились богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу».

Глава пятая. Спокойствие

Пожелав сестре спокойной ночи, монсеньор Бьенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой отдал своему гостю и сказал:

– Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату.

Путник последовал за ним.

Как известно, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился альков, или же выйти из нее можно было только через спальню епископа.

В ту минуту, когда они проходили через спальню, Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела, перед тем как лечь спать.

Епископ проводил гостя до самого алькова. Там его ожидала постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на столик.

– Ну, желаю вам спокойной ночи, – сказал епископ. – Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого.

– Спасибо, господин аббат, – сказал путник.

Не успел он произнести эти миролюбивые слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было – предостережение или угроза? Или он просто повиновался безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому? Он живо обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло закричал:

– Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой!

Помолчав, он прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное:

– Подумали ли вы о том, что делаете? Почему вы знаете, может быть, мне случилось на своем веку убить человека?

– Про то ведает милосердный бог, – ответил епископ.

Торжественно подняв руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего головы, и, не оглядываясь, пошел к себе.

Когда в алькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала престол. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву.

Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую бог открывает ночью очам тех, кто бодрствует.

А путник так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это обычно делают каторжники, потом, одетый, бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном. Когда епископ возвращался из сада в спальню, пробило полночь. Через несколько минут все в домике спало.

Глава шестая.

Жан Вальжан

Ночью Жан Вальжан проснулся.

Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье, в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезальщиком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье, отца – Жаном Вальжаном, или Влажаном, – по всей вероятности, «Влажан» было прозвище, получившееся от сокращения слов *voila Jean*¹².

Жан Вальжан был задумчив, но не печален, – свойство привязчивых натур. А в общем этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и заурядным. Еще в раннем детстве он потерял отца и мать. Мать, вследствие дурного ухода, умерла от родильной горячки. Отец, тоже подрезальщик, убился насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры, вдовы с семью детьми – мальчиками и девочками. Сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор, пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему – год. Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и стал поддерживать вырастившую его сестру. Это совершилось само собой; Жан Вальжан угрюмо выполнял свой долг. Так, в тяжелом труде, за который он получал гроши, проходила его молодость. Никто не слыхал, чтобы у него была подружка. Ему некогда было влюбляться.

Вечером он приходил домой усталый и молча съедал свою похлебку. Пока он ел, сестра его, тетюшка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из детей. Нагнувшись над столом, почти уткнувшись носом в похлебку, не убирая длинных волос, падавших на глаза и свисавших над миской, он продолжал есть, казалось, ничего не замечая и не мешая сестре делать свое дело. В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улочки, жила фермерша Мари – Клод; малыши из семейства Вальжан, почти всегда голодные, иной раз прибегали к Мари – Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом закоулке, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что молока больше проливалось им на фартучки, чем попадало в рот. Если б мать узнала об этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал Мари – Клод за молоко, и дети избегали кары.

В сезон подрезки деревьев он зарабатывал восемнадцать су в день, а потом нанимался жнецом, поденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Нужда все сильнее зажимала в тиски злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба. Без хлеба – в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба!

В один воскресный вечер Мобер Изабо, владелец булочной, что на Церковной площади в Фавероле, уже собирался ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную

¹² Вот Жан.

решеткой стеклянную витрину своей лавчонки. Он прибежал вовремя и успел заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла. Изабо бросился на улицу: вор убегал со всех ног; Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан.

Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду «за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении». У него оказалось ружье, – он отлично стрелял и немного промышлял браконьерством, – и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, недалеко ушел от разбойника. Однако заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы – горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу, контрабандист – в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей; они развивают суровость нрава, не всегда уничтожая человечность.

Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Нашей эпохе знакомы грозные мгновения: это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как зловещ этот миг, когда общество отстраняется и навсегда отталкивает от себя мыслящее существо! Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ.

22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главнокомандующим Итальянской армией, которого в послании Директории к Совету пятисот от 2 флореаля IV года называют Буона – Парте; в тот самый день в Бисетре заковывали в цепи большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы – сейчас ему около девяноста лет – все еще хорошо помнит беднягу, который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимал своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может также, из глубины его смутных представлений – представлений бедного невежественного человека – просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными ударами молота ему заклепывали железный ошейник, он плакал; слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести: «Я был подрезальщиком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что преступление, в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей.

Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге, с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его жизнью, перестало существовать, вплоть до имени; он даже перестал быть Жаном Вальжаном, он превратился в номер 24601. Что случилось с его сестрой? Что случилось с ее семерыми детьми? Кому до этого дело? Что станет с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень?

Все та же история. Эти злополучные живые существа, эти создания божии, потерявшие отныне всякую опору, покровителя, пристанище, разбрелись куда глаза глядят – кто знает, куда именно, быть может, в разные стороны, – и потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно, в безрадостном шествии рода человеческого, исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня сельской церкви забыла их; межа их собственного поля забыла их; после нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз услышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его

заклучения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен – Сюльпис, на улице Хлебопеков. При ней оставался только один мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом 3, где работала фальцовщицей и брошюровщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время – задолго до рассвета. В одном доме с типографией помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час, – целый час зимой, на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, «потому что он мешает». Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданище: сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же в темноте, съежившись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха привратница из жалости брала его к себе в каморку, где стояла убогая кровать, прятка да два деревянных стула, и мальчуган спал там, в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда. Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и позволив ему увидеть судьбу тех, кого он любил когда-то, снова захлопнулось; больше он ничего о них не слышал – ничего и никогда. Никакие вести о них больше не приходили, он никогда больше их не видел, ему ни разу не случилось их встретить, и в дальнейшем нашем горестном повествовании о них не будет больше ни слова.

К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаям этих невеселых мест. Он бежал. Двое суток он бродил по полям, на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего: дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне; боится дня – потому что светло, ночью потому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится, как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал тридцать шесть часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет. На шестой год снова пришла его очередь бежать; он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке. Был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под килем строившегося судна; он оказал сопротивление схватившей его страже. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное в специальном пункте кодекса законов, каралось увеличением срока на пять лет, из коих два года Жан Вальжан должен был носить двойные кандалы. Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с таким же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется на тринадцатом году, он бежал в последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия – три года. Деятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба. Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба, как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной причиной голод.

Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму дрожа и рыдая; он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаянья; он вышел оттуда мрачным.

Что же произошло в этой душе?

Глава седьмая. Глубина отчаянья

Попробуем рассказать об этом.

Общество обязано взглянуть в такого рода явления, ибо оно само создает их.

Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум. А несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палящим солнцем, лежа на голых досках арестантских нар, он исследовал свою совесть и стал размышлять.

Он назначил себя судьей.

И прежде всего призвал к суду самого себя.

Он признал, что был осужден вовсе не невинно. Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что если бы он попросил хлеба, ему, быть может, и не отказали бы; что, так или иначе, лучше было подождать, чтобы ему дали хлеба или из сострадания, или за работу; что на слова «разве может человек ждать, когда он голоден?» – нетрудно привести множество возражений: что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова, крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая; что, следовательно, надо было запастись терпением; что так было бы лучше даже и для несчастных детей; что он, жалкий, ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи; что, так или иначе, выход, который вел из нищеты в бесчестье, – дурной выход; словом, он признал себя виновным.

Затем он спросил себя:

Один ли он был виновен во всей этой роковой истории? И, прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюбивый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестока и чрезмерна была кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чаш весов, и притом именно та, на которой лежит искупление? Не сглаживается ли чрезмерностью наказания совершенный проступок и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил? И, наконец, не является ли это наказание, отягченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать, своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности, – преступлением, возобновляемым каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет?

Он спросил себя: вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать всех своих членов безрассудной своей неосмотрительности, с одной стороны, и беспощадной предусмотрительности – с другой, навсегда зажимая несчастного человека в тиски между отсутствием и чрезмерностью – отсутствием работы, чрезмерностью наказания?

Он спросил себя: не чудовищно ли, что общество так обращается именно с теми из своих членов, которые по воле случая, распределяющего жизненные блага, одарены наименее щедро и, следовательно, наиболее достойны снисхождения?

Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор.

Он приговорил его к своей ненависти.

Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия; наконец он

пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, беззаконием, все же никак не являлось и актом справедливости.

Гнев может быть безрассуден и слеп; раздражение бывает неоправданным; негодование же всегда внутренне обосновано так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования.

К тому же человеческое общество причиняло ему только зло. Он всегда видел лишь тот разгневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему лишь затем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь-война и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда выйдет оттуда.

В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи-игнорантинцы и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут усилить могущество зла.

Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он предал суду провидение, сотворившее общество, и тоже вынес ему приговор.

Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны в нее проник свет, а с другой – тьма.

Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым; именно там он осудил провидение и почувствовал, что становится нечестивым.

Здесь мы не можем не остановиться для минутного размышления.

Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? Может ли душа под влиянием судьбы совершенно переродиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности не было ли в душе Жана Вальжана той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может погасить до конца?

Это важные и неизученные вопросы, причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний ответил бы нет, если бы увидел в Тулоне Жана Вальжана, когда тот, в часы отдыха – часы его размышлений, – сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел у судебного ворота, мрачный, серьезный, молчаливый, задумчивый – пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо.

Да, несомненно, – и мы вовсе не собираемся скрывать это, наблюдатель-физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг, он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить; он отвратил бы свой взгляд от бездн, зияющих в этой душе, и, как Данте со врат ада, стер бы с этого существования слово, которое перст божий начертал на челе каждого человека, – слово надежда.

Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы только что попытались разобраться, с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг, по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор? Сознал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это, больше того – мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен, и даже после того как он испытал столько горя, многое в нем самом оставалось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке; можно сказать, он заранее ненавидел все и вся. И он брел во тьме, ощупью находя путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней или по внешней причине им овладевал порыв гнева, приступ невыносимого страдания; мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске этого мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего.

Но молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было? Он не помнил.

Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто, притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преображения в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безрассудные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему: «Беги!» Разум сказал бы ему: «Останься!» Но перед столь сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию.

Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой; ни один из обитателей каторги не мог с ним в этом сравниться. На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял орудие, которое теперь называют домкратом, а в старину называли *orgueil*, и от которого, кстати сказать, произошло название улицы Монторгейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан-Домкрат. Однажды, при ремонте балкона тулонской ратуши, одна из чудесных кариатид Пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подросли рабочие.

Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников, беспрестанно мечта о побеге, в конце концов из умения сочетать ловкость с силой создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство сохранения равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами – людьми, которые завидуют насекомым и птицам. Вскрабкаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. Уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины и ног, вдавливая локти и пятки в неровности камня, он, словно по волшебству, взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога.

Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год зловещий хохот-хохот каторжника, звучащий, как отголосок сатанинского смеха. Казалось, он был постоянно занят созерцанием чего-то страшного.

И действительно, он был поглощен своими мыслями.

Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой натуры и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, Жан Вальжан всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним, уступ за уступом, круто вздымаясь в недоступную для глаза высь, какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков, людей и событий, – громада, чьи очертания ускользали от него, чья давящая масса преисполняла его отчаянием; пред ним была колоссальная пирамида, называемая нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной груди он вдруг различал то совсем рядом с собой, то вдаль, на недостижимых высотах, какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру: надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре, а на вершине в солнечном нимбе, самого императора в сверкающей короне. И казалось ему, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак окружающей его ночи, делает его еще более зловещим. Все это – законы, предрассудки, события, люди, предметы – кружилось, пронеслось над его головой, повинаясь сложному и таинственному велению, которое бог продиктовал цивилизации, и все это топтало и уничтожало его с какой-то невозмутимой жестокостью, с неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубину бедствия, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, люди, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу.

Таково было умонастроение Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений?

Если бы зерно проса, попавшее между мельничными жерновами, могло думать, у него, наверно, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана.

В конце концов все это – действительность, населенная призраками, фантасмагория, населенная образами из реальной жизни, – привело его в особое душевное состояние, которое почти невозможно выразить словами.

Случалось, в самый разгар своего тяжкого, мучительного труда он вдруг останавливался. Он задумывался. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более смятенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным, все, что окружало его, казалось неправдоподобным. Он говорил себе: «Это сон» Он глядел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него: надсмотрщик казался ему привидением; и вдруг это привидение ударяло его палкой.

Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через подвальное оконце.

Подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только возможно сделать из этого какие-либо определенные выводы, мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен – таким воспитала его каторжная тюрьма – к дурным поступкам двоякого рода: во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в беспамятстве и является как бы мстью за все, что он выстрадал; во-вторых, – к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три

последовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада: через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокая обида, вызванная перенесенными несправедливостями, возмущение даже против добрых, невинных и праведных, если бы они существовали. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам – та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить – все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жана Вальжана как весьма опасного человека.

Душа его черствела из года в год – медленно, но непрерывно. Черствое сердце – сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу.

Глава восьмая.

Море и мрак

Человек за бортом!

Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.

Человек исчезает, потом появляется снова, погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед; матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека; голова несчастного – лишь крошечная точка в необъятной громаде волн.

Он испускает отчаянные крики, но они замирают в глубинах вод. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, иступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа, он ходил по палубе вместе с другими, он имел право на свою долю воздуха и солнца, он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, упал – все кончено.

Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и растрепанные ветром, держат его в своих ужасных объятиях; бездна уносит его в своей качке, водяные ключья валов кружатся над его головой, разнузданная чернь вод оплевывает его, невидимые провалы хотят его поглотить; погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака; отвратительные неведомые растения хватают его, цепляются за ноги, тянут к себе; он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены; валы перебрасывают его друг другу, он глотает их горечь; коварный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды – воплощенная ненависть.

И все же он борется.

Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, он плывет. Он – это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, – сражается с неистощимым.

А где же корабль? Там, вдали. Едва заметный в бледном сумраке горизонта.

На человека налетают шквалы; его душит пена. Он поднимает глаза – над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он – жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего, страшного мира.

Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем могут они помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он – он хрипит, задыхаясь, в предсмертной муке.

Он чувствует себя погребенным меж двух бесконечностей-меж океаном и небом: первый-могила, второе – саван.

Надвигается ночь, он плывет уже столько часов, силы его приходят к концу; этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся из виду; он один среди гигантской темной пучины; он тонет, коченеет, корчится, он чувствует под водой движение бесформенных чудищ, невидимого; он зовет на помощь.

Людей больше нет. Где же бог?

Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.

Ничего не видно на горизонте. Ничего – в небе.

Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню – они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности.

Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом ужас и изнеможение. Под ним – омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды! Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы; тот, кто устал, решается умереть. Он перестает бороться, уступает, сдается и наконец исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана.

О беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на дороге! Океан, куда падает все, чему дает упасть закон! О зловещее исчезновение опоры! О нравственная смерть!

Море-это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море – это безграничное страдание.

Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?

Глава девятая.

Новые горести

Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова: «Ты свободен!» – наступила неправдоподобная, неслыханная минута; луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но он очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом.

У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить сто семьдесят один франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за девятнадцать лет уменьшил его капитал приблизительно на двадцать четыре франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в сто девять франков пятнадцать су, которая и была ему отсчитана при выходе из каторжной тюрьмы.

Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным. Попросту говоря – обворованным.

На другой день после освобождения, проходя через Грасс, он увидел перед воротами винокуренного завода людей, выгружавших бутылки. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил; хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день; тот ответил: «Тридцать су».

Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжаи запротестовал. Ему сказали:

«Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки».

Он опять счел себя обворованным.

Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу.

Освобождение – это еще не свобода. Выйти из острога – еще не значит уйти от осуждения.

Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грассе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.

Глава десятая.

Человек проснулся

Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополуночи, Жан Вальжан проснулся. Он проснулся оттого, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, и оно нарушило его сон.

Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла. Он не привык отдыхать подолгу.

Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружающую его темноту, потом опять закрыл их, пытаясь уснуть.

Если у человека было много разных впечатлений днем, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон приходит легче, чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять.

Он находился в том состоянии духа, когда все мысли и представления бывают смутны. В голове у него был хаос. Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, бесконечно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаламученной, мутной воде. У него возникало и исчезало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Эту мысль мы сейчас откроем: он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которые Маглуар разложила за ужином на столе.

Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь... В нескольких шагах... Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха-служанка убирала их в шкафчик у изголовья кровати... Он отлично заметит этот шкафчик... С правой стороны, если идти из столовой... Они были тяжелые и притом из старинного серебра... За них, вместе с разливательной ложкой, можно было выручить по меньшей мере двести франков... Вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет... Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не «обокрало» его.

Целый час он провел в колебаниях и сомнениях, во внутренней борьбе. Пробило три. Он снова открыл глаза, приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который, лежа, бросил в угол алькова; затем свесил ноги, коснулся ими пола и сел, почти не сознавая, как это произошло.

Некоторое время он сидел задумавшись, в позе, которая, наверно, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствовавшего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на циновку у кровати; потом принял прежнее положение и застыл на месте, снова погрузившись в задумчивость.

Среди этого страшного раздумья мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое; она появлялась, исчезала и появлялась снова, она точно давила его; и потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике, по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались на одной вязаной подтяжке. Шахматный рисунок этой подтяжки с механической назойливостью мелькал перед его глазами.

Он сидел все в той же позе и, может быть, просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз: четверть или половину. Этот звук словно сказал ему: «Иди!»

Он встал, в нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался: все в доме молчало; тогда мелкими шагами он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная; светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате царил полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, и разрежавшийся, когда луна показывалась из-за облаков, походил на сизую дымку, проникающую в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и, по местному обыкновению, запиралось только на задвижку. Он открыл окно, холодная резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинул сад тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. За ней, в отдалении Жан Вальжан различил верхушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга; это свидетельствовало о том, что там была аллея бульвара или обсаженный деревьями переулок.

Покончив с этим осмотром и, по-видимому, приняв окончательное решение, он направился к алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул какой-то предмет, положил его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку, затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный с одного конца, как копье.

Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент. А возможно – дубинка.

Днем каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и давали орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается острием, которое вонзают в горную породу.

Он взял подсвечник в правую руку и, затаив дыхание, неслышным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует.

Глава одиннадцатая.

Что он делает

Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума.

Он толкнул дверь.

Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью крадущейся в комнату кошки.

Дверь подалась едва заметным, бесшумным движением, слегка расширившим отверстие.

Он подождал секунду, потом еще раз толкнул дверь уже смелее.

Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял столик, который углом своим загораживал вход.

Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире.

Он решился и в третий раз толкнул дверь сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо, плохо смазанная, вдруг издала во мраке резкий и протяжный звук.

Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глас, возвещающий час Страшного суда.

Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что петля внезапно ожила, превратилась в страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом.

Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению. Дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь; сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди; не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим.

Он застыл на месте, превратившись в соляной столб, не смея пошевелиться. Прошло несколько минут. Дверь была отворена настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Оттуда не доносилось ни звука. Он прислушался. В доме стояла тишина. Скрип ржавой петли не разбудил ни одной души.

Первая опасность миновала, но в душе у него продолжала бушевать страшная буря. Однако он не отступил. Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда счел себя погибшим. Теперь он хотел одного – поскорее покончить с тем, что задумал. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату.

В комнате царило полное спокойствие. Можно было различить смутные, неясные очертания предметов, – днем это были просто разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло со сложенной на нем одеждой или налой, но теперь, в этот час, все представлялось лишь темным силуэтом или белесоватым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа.

Внезапно Жан Вальжан остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал.

Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и мудрым искусством вмешивается в наши действия, как бы желая навести нас на размышления. Уже около полудня большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, туча, словно нарочно, разорвалась, и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежал в постели почти одетый; рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали его руки до кистей. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе; рука с пастырским перстнем на пальце, сотворившая столько добрых дел и оказавшая столько милостей, свесилась с кровати. Лицо его было озарено мягким выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение невидимого света трепетало на челе спящего. Душам праведников снится небо, полное тайн.

Отблеск этого неба лежал на лице епископа.

И в то же время оно светилось изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом. То была его совесть.

Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, вокруг его головы словно засверкал венец. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана не поддающимся описанию полусветом. Луна в небе, уснувшая природа, недвижимый сад, мирный дом, ночной час, эта минута, это безмолвие – все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя его седины и сомкнутые веки, его лицо, исполненное надежды и веры, его голову старика и его младенческий сон.

Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, хотя сам того не ведал.

Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, на этого светлого старца. Никогда в жизни не видел он ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника. Сон в уединении, в присутствии такого человека, заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой.

Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе все самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочесть что-либо определенное. Какое-то угрюмое изумление – и только. Он смотрел – вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Он был явно взволнован и потрясен. Но что означало это волнение?

Его взгляд не отрывался от старца. Единственно, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, – это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами: той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов был размоzzжить этот череп или поцеловать эту руку.

Прошло несколько секунд, его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку; потом, все так же медленно, рука его опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой – железный брусок; короткие волосы ошетинились над его нахмуренным лбом.

Под этим страшным взглядом епископ спал все тем же глубоким и мирным сном. Освещенное луной распятие, вырисовывавшееся над камином, словно раскрывало им объятия, благословляя одного, даруя прощение другому.

Внезапно Жан Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья; он поднял железный брус, видимо желая взломать замок, но ключ торчал в скважине; он открыл дверцу; первое, что он увидел, была корзинка с серебром; он взял ее, прошел большими шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и, с ловкостью тигра перепрыгнув через забор, скрылся.

Глава двенадцатая.

Епископ за работой

На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бьенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала сильно встревоженная Маглуар.

– Ваше преосвященство, ваше преосвященство! – кричала она. – Вы не знаете, где корзинка, в которой я держу серебро?

– Знаю, – ответил епископ.

– Слава богу! – обрадовалась она. – А то я понять не могла, куда это она делась.

Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее Маглуар.

– Вот она, – сказал он.

– То есть как? – удивилась она. – Пустая? А серебро?

– Ах, вы беспокоитесь о серебре? – проговорил епископ. – Я не знаю, где оно.

– Господи помилуй! Оно украдено! Это ваш вчерашний гость – вот кто его украл!

В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, Маглуар побежала в молельню, заглянула в альков и снова вернулась к епископу. Тот стоял нагнувшись и, вздыхая, рассматривал росток ложечника, сломанный корзинкой при падении на клумбу. Услышав крик Маглуар, епископ выпрямился.

– Ваше преосвященство! – кричала она. – Он ушел! Серебро украдено!

В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя доска забора была оторвана.

– Посмотрите! Вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулок Кошфиле! Как же ему не совестно! Он украл наше серебро!

Епископ помолчал, затем поднял на Маглуар серьезный взгляд и кротко спросил:

– А где сказано, что это серебро наше?

Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал:

– Госпожа Маглуар! Я был неправ, пользуясь, и так долго, этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк.

– Господи Иисусе! Дело ведь не во мне и не в барышне, – возразила Маглуар. – Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы будете теперь кушать?

Епископ взглянул на нее с удивлением.

– Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?

Маглуар пожала плечами.

– У олова неприятный запах.

– А железных?

Маглуар сделала выразительную гримасу.

– У железных привкус.

– В таком случае, – сказал епископ, – мы обзаведемся деревянными.

Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, слушавшей его молча, и Маглуар, тихонько ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком.

– Ведь надо же придумать! – бормотала Маглуар, суетясь у стола. – Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал!

Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь!..

Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь.

– Войдите, – сказал епископ.

Дверь открылась. Необычная группа возбужденных людей появилась на пороге. Три человека держали за шиворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый – Жан Вальжан. Жандармский унтер-офицер, по-видимому, главный из трех жандармов, остановился в дверях. Затем вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному.

– Ваше преосвященство... – начал он.

При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, в изумлении поднял голову.

– Преосвященство! – прошептал он. – Значит, это не простой священник...

– Молчать! – сказал жандарм. – Перед тобой его преосвященство епископ.

Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст.

– Ах, это вы! – воскликнул он, обращаясь к Жану Вальжану. – Очень рад вас видеть. Но послушайте, ведь я вам отдал и подсвечники. Они тоже серебряные, как и все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему же вы не захватили их вместе с вашими приборами?

Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать человеческий язык.

– Ваше преосвященство, – сказал жандармский унтер-офицер, – так значит, то, что нам сказал этот человек, – правда? Он бежал нам навстречу. У него был такой вид, словно он спасался от погони. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро.

– И он вам сказал, – улыбаясь, прервал епископ, – что это серебро ему подарил старичок священник, в доме которого он провел ночь? Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Это недоразумение.

– В таком случае, мы можем отпустить его? – спросил унтер-офицер.

– Разумеется, – ответил епископ. Жандармы выпустили Жана Вальжана, тот невольно попятился.

– Это правда, что меня отпускают? – произнес он почти невнятно, словно во сне.

– Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? – ответил один из жандармов.

– Друг мой! – сказал епископ. – Не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они.

Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул их Жану Вальжану. Обе женщины смотрели, не говоря ни слова, не делая ни одного движения, не бросая ни одного взгляда, которые могли бы помешать епископу.

Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки два подсвечника.

– А теперь, – сказал епископ, – идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду, и днем и ночью.

Затем он обернулся к жандармам:

– Господа! Вы можете идти.

Жандармы вышли.

Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание.

Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом:

– Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком.

Жана Вальжана, не помнившего, чтобы он что-нибудь обещал, охватило смятение. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. И торжественно продолжал:

– Жан Вальжан, брат мой! Вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее богу.

Глава тринадцатая.

Малыш Жерве

Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от кого-то. Быстрым шагом он шел среди полей, сворачивая на первые попавшиеся дороги и тропинки и не замечая, что кружится на одном месте. Он проблуждал так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества неведомых ему доселе ощущений. Он чувствовал, как в нем поднимается глухая злоба. На кого? – этого он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление; он боролся с ним и противопоставлял ему ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это состояние угнетало его. Он с тревогою замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя; что же теперь заменит его? Были мгновения, когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло; это бы меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и долетавший до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы – ведь уже столько времени они не возникали перед ним!

Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами.

Когда солнце склонялось к западу и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой, бурой, пустынной равнине. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего – даже колокольни какой-нибудь отдаленной сельской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста вилась тропинка, пересекавшая равнину.

Погруженный в мрачное раздумье, которое придавало еще более устрашающий вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку. Он обернулся и увидел на тропинке маленького савояра, мальчика лет десяти; мальчик, напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной, – это был один из тех ласковых и веселых малышей, что бродят по свету в рваных штанишках, сквозь которые светятся голые коленки.

Не прерывая пения, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони мелкие монеты – должно быть, весь свой капитал. Среди медяков была одна монета в сорок су.

Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую до сих пор ему удавалось ловко подхватывать всю целиком тыльной стороной руки. Однако па этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику, по направлению к Жану Вальжану.

Жан Вальжан наступил на нее ногой.

Мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это.

Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану Вальжану.

Место было безлюдное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только еле слышные крики перелетных птиц, летевших стаей где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, вплетавшему в его волосы золотые нити и заливавшему кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана.

– Сударь! – сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая слагается из неведения и невинности. – А моя монета?

– Как тебя зовут? – спросил Жан Вальжан.

– Малыш Жерве, сударь.

– Убирайся прочь! – сказал Жан Вальжан.

– Сударь! – повторил мальчик. – Отдайте мне мою монету.

Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил.

– Мою монету, сударь! – еще раз повторил мальчик.

Жан Вальжан по-прежнему смотрел в землю.

– Мою монету! – кричал ребенок. – Мою светленькую монетку! Мои деньги!

Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силился сдвинуть с места толстый, подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище.

– Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су!

Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом:

– Кто это?

– Я, сударь, – ответил ребенок. – Малыш Жерве! Я! Я! Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су! Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте!

И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган заговорил почти угрожающим тоном:

– Вот что! Отодвинете вы, наконец, ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу!

– Ах, ты все еще здесь! – вскричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост; не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил:

– Уходи, куда цел!

Мальчуган с испугом посмотрел на него и задрожал всем телом; несколько секунд он пробыл в оцепенении, а затем пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть.

Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в раздумье, услышал его плач.

Несколько мгновений спустя ребенок исчез.

Солнце село.

Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Целый день он ничего не ел; возможно, у него была лихорадка.

Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое, неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул: только сейчас он почувствовал вечерний холод.

Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли палку.

Тут он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную его ногой в землю и блестящие между камнями.

Его передернуло, точно от действия гальванического тока. «Что это?» – пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляд от светлого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз.

Так прошло несколько минут. Вдруг он бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину и, весь дрожа, стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежища.

Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы.

Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в ту сторону, где скрылся ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел.

Тогда он закричал изо всей силы:

– Малыш Жерве! Малыш Жерве!

Потом замолчал и прислушался.

Никакого ответа.

Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос.

Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют.

Он снова зашагал, потом пустился бежать; время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне громким и в то же время жалобным голосом:

– Малыш Жерве! Малыш Жерве!

Если бы даже мальчик и услышал его, он бы, конечно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко.

Дорогой Жан Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил:

– Господин кюре! Вы не видели тут мальчика?

– Нет, – ответил священник.

– Мальчика по имени Малыш Жерве?

– Я никого не видел.

Жан Вальжан вынул из своего мешка две пятифранковые монеты и протянул священнику.

– Господин кюре! Вот вам на бедных. Господин кюре! Это мальчуган лет около десяти.

Кажется, он был с шарманкой и сурком. Он прошел здесь... Знаете, он из этих, из савояров.

– Я его не видел.

– Малыша Жерве? А он не из ближнего села? Вы не знаете? Можете сказать?

– Если он такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает.

Жан Вальжан поспешно вынул еще две пятифранковые монеты и отдал священнику.

– На ваших бедных, – сказал он.

И вдруг добавил в каком-то исступлении:

– Господин аббат, велите меня арестовать. Я вор.

Священник испугался; он стегнул лошадь и усакал.

Жан Вальжан побежал в ту же сторону. Он пробежал довольно большое расстояние, смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Раза три он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточки: это оказывалось кустиком или камнем почти вровень с землей.

Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз взгляделся в даль и прокричал в последний раз:

– Малыш Жерве! Малыш Жерве! Малыш Жерве! Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз: «Малыш Жерве!», но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие; ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести; в полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул:

– Я негодай!

Сердце его не выдержало, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет.

Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился – мы это видели – от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясный отчет в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился христианскому поступку и кротким словам старика: «Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой ангельской кротости гордость, живущую внутри нас, как оплот зла. Он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным натиском, какому он когда-либо подвергался; что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда, а если уступит, то придется ему отказаться от той ненависти, которою в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным, и что сейчас завязалась борьба, титаническая и решительная борьба между его злобой и добротой того человека.

Вглядываясь в открывшиеся ему духовные просветы, он шел, как пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел, угрюмо смотря вперед? Слышал ли он таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу; что отныне для него уже не может быть середины, и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них; что теперь он должен в известном смысле либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника; что если он хочет стать добрым, он должен сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище?

Здесь нужно еще раз задать себе вопросы, которые мы уже задавали себе ранее: отразилась ли в его сознании хотя бы тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье совершенствует ум, – мы уже говорили об этом; однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, на его пути появился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели.

Одно было достоверно, в одном он не сомневался: он стал другим человеком, все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, коснувшиеся его сердца.

Таково было его душевное состояние, когда он встретил Малыша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить; не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют «силой инерции»? Да, это было так и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто: это украл не он, не человек, – украл зверь; послушный привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум его метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся, испустив крик отчаяния.

Странное явление, возможное лишь в тех условиях, в каких находился он! Укрыв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже был неспособен.

Так или иначе, это последнее злодеяние оказало на него решающее действие: оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, оставив все неясное и туманное по одну сторону, а свет – по другую, подействовало на его душу так же, как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой.

Прежде всего, даже не успев еще постичь и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему деньги; потом, убедившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул: «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был; но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он – только призрак, а перед ним облеченный в плоть и кровь, с палкой в руках и ранцем, полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым, решительным лицом и с множеством гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан.

Мы уже говорили, что чрезмерность страданий сделала его до известной степени ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой Жана Вальжана, его страшное лицо. Он готов был спросить себя, кто этот человек, и человек этот внушил ему отвращение.

Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она заслоняет действительность.

Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого.

Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя; и в то же время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинстве той глубине мерцающий огонек, который он принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан

Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик и что это – епископ.

Он попеременно всматривался в двух людей, стоявших перед его сознанием, – в епископа и в Жана Вальжана. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей такого рода восторженному состоянию, по мере того как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарней в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень. И вдруг исчез. Остался один епископ. И он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием.

Жан Вальжан долго плакал. Он плакал горючими слезами, плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок.

Пока он плакал, сознание его все прояснялось и, наконец, озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, первый проступок, длительное искупление, внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, – кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более омерзительная, что она произошла уже после того, как епископ его простил, – все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной; всмотрелся в свою душу – и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось, что он видит Сатану в лучах райского солнца.

Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. Достоверным можно считать лишь то, что в эту самую ночь кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и прибывавшего в Динь около трех часов утра, видел, проезжая по Соборной площади, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей дома монсеньера Бьенвеню.

Книга третья В 1817 году

Глава первая. 1817 год

1817 год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для Брюгьера де Сорсума. Все парикмахерские, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен – Жермен – де – Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный подвиг Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до шести лет высокие сафьяновые шапки с наушниками, напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета во все белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили

им название департаментов. Наполеон находился на острове св. Елены, и так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел, м – ль Биготтини танцевала, царил Потье; Одри еще не успел прославиться. Г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толлерону. Обер – камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, посмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации, на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели от бивуачных костров австрийцев, построивших бараки возле Гро-Кайу. Две-три таких колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне¹³. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были: Вольтер в издании Туке и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою – Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Ключи еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала кое-кому из своих друзей еще не изданную Урику. В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада – двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созрел будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля – Луи Курье. Нашелся лже – Шатобриан в лице Маршанжи; лже – Маршанжи в лице д'Арленкура еще не появился. Клара Альба и Малек-Адель считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим современным писателем. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти. В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые, изображая акробатические упражнения, придавали особую остроту афишам Фанкони и собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Автор Агнесы Паэр, добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке,

¹³ Игра слов, построенная на двойном смысле Champ-de-Mai – Майское собрание (буквально – Майское поле) и Champ-de-Mars – Марсово поле (буквально – Мартовское поле).

дирижировал камерными концертами у маркизы де Сасене на улице Виль – л'Эвек. Девушки распевали Сент – Авельского отшельника, текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал Желтый карлик, преобразился в Зеркало. Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцог Беррийский, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женился на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м – ль Марс. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета Конституционалист была действительно конституционной. Минерва писала фамилию Chateaubriand¹⁴ так: Chateau-brant. Буква t на конце вместо d вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года: Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Сулыт не выиграл ни одного сражения; Наполеон – и это правда – уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходят, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эру революций навсегда закончил король Людовик XVIII, прозванный «бессмертным автором хартии». На откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово Redivivus¹⁵. Пьетэ подготовлял в доме э 4 на улице Терезы тайное собрание с целью упрочить монархию. Главари правой говорили в затруднительных случаях: «Надо написать Бако». Канюэль, О'Магони и де Шапделен, поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся с Троговым. Декад, до некоторой степени либерал, был властителем дум. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме э 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю Пилоржу различные варианты Монархии согласно хартии. Делававшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Де Фелес подписывался буквой А; Гофман – буквой Z. Шарль Нодье писал Терезу Обер. Развод был упразднен. Лицеи назывались теперь коллежами. Ученики коллежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству о том, что на портрете, выставленном повсюду, герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имеет более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, – крупная неприятность! Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае де Тренкелаг; Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с Клозелем де Кусергом; де Салабери был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу Два Филибера в Одеоне, на фронто

¹⁴ Шатобриан

¹⁵ Воскресший (лат.)

которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочесть «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под заглавием: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», – говорил наивный издатель. Общее мнение гласило, что Шарль Луазон будет гением века; его уже начинала грызть зависть-признак славы, и про него сочинили стишок:

*Луазон – воришка, плут,
Хоть в орла рядится он, —
Ножки сразу выдают,
Что гусенок – Луазон.¹⁶*

Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на лионскую епархию, то ею теперь управлял архиепископ Амазийский де Пен. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Далекой долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому не ведомый Сен-Симон вынашивал свою величественную мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д'Анже делал попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтин, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламенне. Какая-то штука, которая дымила и пыхла на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия – словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Де Воблан, преобразовавший Французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился достойным создателем нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен – Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции Делава по причине его благочестия. Дюпюитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были пустить в ход кулаки. Кювье, глядя одним глазом в Книгу Бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой до степени «презренного Грегуара». Оборот речи, который мы только что употребили: «низведен до степени», Руайе – Коллар объявил неологизмом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороговой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев, как граф д'Артуа вошел в Собор Парижской Богоматери, громко сказал: «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку входили на Бал дикарей!» Крамольные речи. Полгода тюрьмы. Изменники

¹⁶ Перевод стихов в «Отверженных» принадлежит В. Левику.

распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали среди бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр – Бра, обнажали свои продажные душонки и проявляли верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: Please adjust your dress before leaving¹⁷. Вот что всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими живописными подробностями, иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, полезны, ибо для человечества нет мелких фактов, как для растительного мира нет мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и складывается облик столетий. В этом-то 1817 году четверо юных парижан выкинули «забавную штуку».

Глава вторая. Двойной квартет

Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора, четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент – это парижанин: учиться в Париже – все равно что родиться в Париже.

Эти молодые люди нечего собой не представляли; всем случалось видеть им подобных – четыре образчика «первого встречного». Не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, – восклицал романс, – Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее; первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.

Этих Оскаров звали: одного – Феликс Толомьес из Тулузы, второго – Листолье из Кагора, третьего – Фамейль из Лиможа и последнего – Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фэйворитку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину – уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.

Фэйворитка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах безмятежность-спутницу труда, а в душе налет невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую – старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытные, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели белокурая Фантина, переживавшая пору своей первой иллюзии. Далия, Зефина и в особенности Фэйворитка не могли бы сказать о себе того же.

Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод: влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей – в Гюстава. Бедность и кокетство – дурные советчицы: первая ропщет, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате –

¹⁷ Перед уходомправляйте одежду (англ.)

падение, а потом камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляет блеск всего, что непорочно и неприступно. Увы, что случилось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод! У Фэйворитки, побывавшей в Англии, были две поклонницы – Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и хвастун, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фэйворитка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старуха, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» – «Нет». – «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фэйвориткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.

Причиной, которая свела Далию с Листолье, – а быть может, и не с одним Листолье, – и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. А Зефина завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».

Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.

Мудрость и целомудрие – вещи разные; доказательством этому служит то, что Фэйворитка, Зефина и Далия – разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств, – были девушками мудрыми, а Фантина – девушкой целомудренной.

«Целомудренной? – спросите вы. – А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной.

Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.

Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле – Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото – на головке, жемчуг – во рту.

Она работала, чтобы жить; потом – тоже для того, чтобы жить, – она полюбила, ибо существует и сердечный голод.

Она полюбила Толомьеса.

Для него – любовное похождение, для нее – истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишачие толпами студентов и гризеток, видели зарождение этой химеры. Фантина в

лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.

Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он был умнее их всех.

Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков ренты скандально много для горы св. Женевьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой он сам говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок – колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы – жизнерадостностью, здоровье – иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря на много раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете – великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Iron по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?

Однажды Толомьес отвел в сторону трех остальных членов компании и с загадочным видом сказал им:

– Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фэйворитка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: *Faccia gialluta, fa o miracolo!* (Желтолицый, сотвори чудо!) – так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес! Когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» А родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, время пришло. Давайте потолкуем.

Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха вырвался из всех четырех глоток, а Блашвель вскричал: – Вот так идея!

По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма; они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.

Следствием этого загадочного разговора явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.

Глава третья. Четыре пары

В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «около – парижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двучеловечья сменилась вагоном, пакетбот – пароходом; сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен – Клу. Париж 1862 года – город, предместьем которого является вся Франция.

Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались; стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фэйворитка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот

щастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен – Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду!», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, поиграли в кольца на тенистой лужайке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, купили дудок в Нельи, всюду ели яблочные пирожные и были вполне счастливы.

Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутивными шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»?

Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фэйворитка и сказала наставительным, материнским тоном: «По дорожкам ползает улитка. Это к дождю, дети мои».

Все четыре девушки были умопомрачительно хороши собой. Поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фэйворитка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прижавшись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать унылыми прядями; Зефина и Далия носили прически с локонами. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем Дельвенкур отличался от Блондо.

Блашвель, казалось, был создан для того, чтобы по воскресеньям носить на руке кашемировую шаль Фэйворитки с цветной каймой по краям.

Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновой ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого – он курил.

«Этот Толомьес просто изумителен! – с почтительным уважением говорили о нем приятели. – Какие панталоны! Какая энергия!»

А Фантина была воплощенная радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение – сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломы, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, скрывающие тайну, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно

предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было барежевое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого – «канзу» (искаженное на канебьерский лад: quinze aout) – означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, в сочетании со шляпками, украшенными цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывавшее и в то же время что-то обнажавшее, казалось дерзкой находкой приличия; пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это случается. Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом и тонкой лодыжкой, восхитительные руки, белая кожа с сетью голубых жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий изящный затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка сдерживаемая мечтательностью, скульптурные, изысканные формы – такова была Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе – живую душу. Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что видят, уловили бы в юной швеи сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе красоту стиля и красоту ритма. Стил – форма идеала, ритм – его движение. Мы уже сказали, что Фантина была воплощенная радость; Фантина была воплощенная стыдливость.

Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотым прутом. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать серьезного, почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы; нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обуславливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная очаровательная ямочка – таинственная примета целомудрия, – благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.

Любовь-грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.

Глава четвертая.

Толомьес так весел, что поет испанскую песенку

Весь этот день от начала до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг-то были птицы.

Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, лесом, сияли радостью жизни.

И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин, – все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, все, кроме той, которая любила «Вечно ты разыгрываешь недотрогу», – говорила ей Фэйворитка.

Таковы истинные радости. Счастливые пары – это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, – все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза, – вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится полубогом. А легкие вскрики, преследование друг друга в зеленой траве, девическая талия, которую обнимают на бегу, словечки, звучащие, как музыка, обожание, предательское звучание одного какого-нибудь слога, вишни, вырванные губами из губ, – все это искрится, проносясь мимо, в каком-то божественном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как изобразить их. «Отплытие на Киферы!» – восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятия всем влюбленным, а д'Юрфе видит среди них друидов.

После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен – Клу весь Париж; это было причудливое, прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев, но зато покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.

Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Предлагаю ослон!», и, условившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси – происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анакоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты – этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди раскачали большую сетку – качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Качая красавиц и вызывая дружный смех и взлет юбок, складки которых восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец, – ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, – напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже

навешенную образом какой-нибудь красоти, высоко взлетающей на веревке меж двух деревьев:

*Soy de Badajoz
Amor me llama,
Toda mi alma
Es en mis ojos,
Porque enseñas
A tus piernas.¹⁸*

Одна только Фантина отказалась качаться.

– Терпеть не могу, когда ломаются, – ядовито пробормотала Фэйворитка.

После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что из этого! «В воскресенье не устают, – говорила Фэйворитка, – по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.

Время от времени Фэйворитка восклицала:

– Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.

– Терпение, – отвечал Толомьес.

Глава пятая. У бомбарды

Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда»; то был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого Бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорм.

Большая, но неуютная комната с альковом и кроватью в глубине (по случаю воскресенья ресторанчик был переполнен: пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем); два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку; лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна; два стола: на одном гора пышных букетов вперемешку со шляпами, мужскими и дамскими, за другим – четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок. Кружки пива, бутылки вина; не слишком большой порядок на столе и большой беспорядок под ним.

Ногами под столом вы громко топотали¹⁹, – как сказал Мольер.

18

Я из Бадахоса.
Любовь меня зовет.
Вся душа моя
В моих глазах,
Когда ты показываешь
Свои ножки. (исп.)

¹⁹ Из комедии Мольера «Шалый, или Все невпопад». Перевод Е. Полонской.

Так обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал.

Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб – гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Нельи; белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развевалось над куполом Тюильрийского дворца. Площадь Согласия, вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах; они еще не совсем исчезли в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления Ста дней, с таким припевом:

*Верните нам отца из Тента,
Верните нашего отца.*

Жители предместий, разодетые по-праздничному, а иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили; типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; раздавались взрывы смеха. Все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов; одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Англеса к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами: «По зрелом размышлении, ваше величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Простой люд провинций беспокоен, парижский – ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом; теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем – это добродушные каналы».

Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва; однако это случается, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презируемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках; она являлась там воплощением свободы и, подобно тому как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи Реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. Это далеко не «добродушные каналы», как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу – то же, что афинянин по отношению к греку; никто не спит слаще его, ничье легкомыслие и лень не проявляются так открыто, никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он; и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства; он способен на любое проявление беспечности, но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику – и вы увидите 10 августа, дайте ему ружье – и вы увидите Аустерлиц. Он – точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об отечестве – он вербует в солдаты; речь идет о свободе – он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь! Власы его напоены гневом, словно у эпического героя; его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны! Любую улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинские ущелья. Пробьет час, и этот житель предместья вырастет, этот маленький человечек поднимется во весь рост, взгляд его станет грозным, дыхание станет подобным буре, и из этой жалкой, тщедушной груди вырвется вихрь, способный потрясти громады Альпийских гор. Именно

благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет – в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите! До тех пор, пока его припев всего лишь Карманьола, он ниспровергает одного Людовика XVI; дайте ему запеть Марсельезу – и он освободит весь мир. Написав на полях донесения Ангlesa эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.

Глава шестая, в которой все обожают друг друга

Застольные речи и любовные речи! И те и другие одинаково неуловимы: любовные речи – это облака, застольные – клубы дыма.

Фамейль и Далия что-то напевали; Толомьес пил; Зефина смеялась, Фантина улыбалась, Листолье дул в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фэйворитка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла:

– Блашвель, я обожаю тебя.

Это вызвало у Блашвеля вопрос:

– А что бы ты сделала, Фэйворитка, если б я тебя разлюбил?

– Я! – вскричала Фэйворитка. – Ах, не говори этого, даже в шутку! Если б ты разлюбил меня, я бросилась бы на тебя, искусила, исцарапала, облила бы тебя водой, велела бы арестовать тебя.

Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фэйворитка продолжала:

– Да я бы просто закричала: «Держи его!» Стану я с тобой церемониться, шельма ты этакая! Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился.

Далия, не переставая что-то жевать, шепотом спросила Фэйворитку среди общего гама:

– Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?

– Я-то? Да я его ненавижу, – так же тихо ответила Фэйворитка, снова берясь за вилку. – Он скупой. Я люблю мальчика, который живет напротив моего окна. Такой милый молодой человек! Ты не знаешь его? Сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит: «О господи, кончился мой покой! Сейчас он начнет кричать. Голубчик! Да у меня просто голова разламывается!» Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы чуть не на крышу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает двадцать су в день у одного адвоката, пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах, как он мил! И до того в меня влюблен! Увидел как-то раз, что я ставлю тесто для блинчиков, – руки у меня были все в тесте, – и говорит: «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова голову потерять из-за этого мальчика. Но это ничего не значит, я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, а? Вот врунья!

Фэйворитка помолчала немного, потом продолжала:

– Знаешь, Далия, такая тоска! Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не унимается, а Блашвель ужасный скупердяй; на рынке ничего нет, один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане! Масло так дорого! И потом, погляди только, какая гадость, – мы обедаем в комнате, где стоит кровать; это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете.

Глава седьмая.

Мудрость Толомьеса

Одни пели, другие болтали; голоса сливались в нестройный шум. Толомьес прекратил его. – Полно молоть вздор, да еще без передышки! – воскликнул он. – Для блестящей беседы надо обдумывать слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. На спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие; будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно. Не надо торопиться. Взгляните на весну: если она поторопится, то прогорит, вернее сказать – замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном. Послышался глухой ропот.

– Толомьес! Оставь нас в покое, – сказал Блашвель.

– Долой тирана! – заявил Фамейль.

– Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье! – вскричал Листолье.

– На то и воскресенье, – продолжал Фамейль.

– Мы совершенно трезвы, – добавил Листолье.

– Толомьес! – произнес Блашвель. – Оцени мою канальскую выдержку.

– Да, поистине монканальмскую, – скаламбурил Толомьес.

Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки немедленно умолкли.

– Друзья! – вскричал Толомьес тоном человека, который опять стал пользоваться авторитетом. – Придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур – это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, а разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расплывшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур. Я уважаю его, но в меру его заслуг, – не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть, и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра, Моисей – по поводу Исаака, Эсхил – по поводу Полиника, Клеопатра – по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит – «поварешка». А теперь возвращаюсь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам: поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств даже в островах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиарая и лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. *Est modus in rebus*²⁰. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыни, любите яблочные олады, так не злоупотребляйте же ими. Даже яблочные олады требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору – *gula punit Gulax*. Расстройство пищеварения уполномочено господом богом читать мораль желудкам. Запомните: каждая наша страсть, даже любовь, обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь вовремя написать на всем слово *finis*²¹, нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирайте на замок свой аппетит, загоняйте в кутузку фантазию и отводить собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я, как-никак, занимался юридическими науками, – а это подтверждают сданные мною экзамены, – из того,

²⁰ Во всем должна быть мера (*лат.*) – стих из «Сатир» Горация.

²¹ Конец (*лат.*)

что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по-латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда Мунаций Деменс был квестором по делам об отцеубийстве, из того, что я, по-видимому, буду доктором права, из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях. И я прав – это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел вовремя принять героическое решение и отречься, как Сулла или как Ориген!

Фэйворитка слушала, с глубоким вниманием.

– Феликс! – сказала она. – Какое красивое слово! Мне нравится это имя. Оно латинское. Оно значит – Счастливец.

Толомьес продолжал:

– Квириты, джентльмены, кавальеры, друзья мои! Хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью? Нет ничего проще!

Рецепт таков: лимонад, усиленные физические упражнения, тяжелая работа; надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода, а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс из трав, не забудьте свинцовую примочку, омовения свинцовым раствором и припарки из сахарной воды с уксусом.

– Я предпочитаю женщину, – сказал Листолье.

– Женщину! – возразил Толомьес. – Берегитесь женщины! Горе тому, кто верит себя ее изменчивому сердцу! Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея – это ее конкурент.

– Толомьес, ты пьян! – вскричал Блашвель.

– И еще как! – добавил Толомьес.

– В таком случае будь весел, – продолжал Блашвель.

– Согласен, – отвечал Толомьес.

Наполнив стакан, он встал.

– Слава вину! *Nunc te, Vascche, sanam!*²² Прошу прощения у дам, – это по-испански. И вот доказательство, сеньоры: каков народ, – такова и посуда. Кастильская арроба вмещает шестнадцать литров, кантаро в Аликанте – двенадцать, альмуд Канарских островов – двадцать пять, куартин Балеарских островов – двадцать шесть, бочка царя Петра – тридцать. Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он! Сударыни, дружеский совет: не стесняйтесь путать своих соседей, сделайте одолжение! Ошибаться – неотъемлемое свойство любви. Любовное приключение создано не для того, чтобы ползать на коленях и доводить себя до отупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело впадает в ошибки, это сладостное любовное приключение! Кто-то сказал: «Человеку свойственно ошибаться»; я же говорю: «Влюбленному свойственно ошибаться». Сударыни, я боготворю вас всех! О Зефина, о Жозефина, ваше неправильное личико было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается Фэйворитки, – о нимфы и музы! – как-то раз, переходя через канаву на улице Герен – Буассо, Блашвель увидел красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых, туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась Фэйвориткой. О Фэйворитка, у тебя ионические губы! Некогда

²² Ныне пою тебя, Вакх! (*лат.*)

существовал греческий живописец по имени Эвфорион, прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой рот. Слушай же! До тебя не было в мире существа, достойного его кисти. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву, – это ты сотворила ее. Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О Фэйворитка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня, но, кто бы мы ни были, не надо доверять именам. Они обманчивы. Меня зовут Феликс, но я очень несчастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить тому, что они как будто бы обозначают. Было бы ошибкой обращаться за беарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Беарн. Мисс Даляя. На вашем месте я бы назвал себя Розой. Цветок должен обладать ароматом, а женщина – умом. Я ничего не скажу о Фантине – это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная; это призрак, принявший образ нимфы и облекшийся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь гризетки, но ищет убежища в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазурь, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает; это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем видимом мире! О Фантина, знай: я, Толомьес, – всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь химер! Итак, все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О Фантина, дева, достойная называться маргариткой или жемчужиной, вы – сама расцветающая заря! Сударыни, второй совет: не выходите замуж! Замужество – это прививка; быть может, она окажется удачной, а быть может, и неудачной. Избегайте этого риска. Впрочем, что я! О чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы; все, что можем сказать мы, мудрецы, не помешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так, но вот что вам надо запомнить, красавицы: вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток, о женщины, вы вечно грызете сахар. О пол грызунов! Твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар. Так вот, слушайте внимательно, сахар – это соль. Всякая соль сушит. А сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови; отсюда свертывание, а затем застой крови; отсюда бугорки в легких; отсюда смерть. Вот почему сахарная болезнь граничит с чахоткой. Итак, не грызите сахар, и вы будете жить! Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы! Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Сходитесь, расходитесь с дамами, как в кадрили. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде. Никакой пощады, война не на жизнь, а на смерть! Хорошенькая женщина – это *casus belli*²³, хорошенькая женщина – это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал сабинянок, Вильгельм – саксонок, Цезарь – римлянок. Человек, у которого кет возлюбленной, парит, как ястреб, над чужими любовницами. Я обращаю ко всем этим несчастным бобылям великолепный клич Бонапарта, который он бросил итальянской армии: «Солдаты, у вас ничего нет. У врага есть все». Толомьес остановился.

– Передохни, Толомьес, – сказал Блашвель.

И тотчас Блашвель затащил, а Листолье и Фамейль дружно подхватили одну из тех песен с жалобным напевом, какие поют мастеровые, – песен, состоящих из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетая и исчезая вместе с ним. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьеса:

²³ Повод к войне (*лат.*)

*Отцов-глупцов не в меру
Снабжали прихожане,
Чтобы Клермон – Понеру
Стать папою в Сен – Жане.
Но кто родился шляпой,
Вовек не будет папой,
И у отцов-глупцов приход
Забрал обратно весь доход.*

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса; он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал:

– Долой мудрость! Забудьте все, что я вам говорил. К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост за веселье! Будем веселы! Пополним наш курс юридических наук безрассудством и пищей. Да здравствует процесс судебного разбирательства и процесс пищеварения! Пусть Юстиниан и Пирушка вступят в брак! О радость глубин! Живи, мироздание! Мир – это крупный бриллиант. Я счастлив. Птицы изумительны. Как празднично все кругом! Соловей – это бесплатный Элевью. Приветствую тебя, лето. О Люксембургский сад! О георгики, которые разыгрываются на улице Принцессы и в аллее Обсерватории! О задумчивые солдатики! О прелестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью! Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона. Душа моя уносится в девственные леса и в саванны. Все прекрасно. В сиянии лучей жужжат мухи. Солнце чихнуло, и родился колибри. Поцелуй меня, Фантина! Он ошибся и поцеловал Фэйворитку.

Глава восьмая.

Смерть лошади

– А ведь у Эдона лучше кормят, чем у Бомбарды! – вскричала Зефина.

– Я предпочитаю Бомбарду, – заявил Блашвель. – Здесь больше роскоши. Больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами.

– Лучше б у них так сверкали тарелки, – возразила Фэйворитка.

Блашвель настаивал на своем:

– Посмотрите на ножи. У Бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости.

– Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра, – заметил Толомьес.

Он смотрел в эту минуту на купол Дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчика. Наступило молчание.

– Толомьес! – вскричал Фамейль. – Только что у нас с Листолье был спор.

– Спор – хорошая вещь, – ответил Толомьес, – но ссора лучше.

– Мы спорили о философах.

– Отлично.

– Ты кому отдаешь предпочтение – Декарту или Спинозе?

– Дезожье, – сказал Толомьес.

Объявив это безапелляционное решение, он выпил и продолжал:

– Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молотить вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из силлогизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирают потайной ящичек с парадоксами. Знайте, сударыни, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, – это мадера из

виноградников, которые находятся на высоте трехсот семнадцати туаз над уровнем моря! Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его! Триста семнадцать туаз! А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти триста семнадцать туаз за четыре франка пятьдесят сантимов!

Тут его опять прервал Фамейль:

– Толомьес! Твое мнение – закон. Кто твой любимый автор?

– Бер...

– ...кен?

– Нет... шу.

Толомьес продолжал:

– Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне алмею, и с Тигелионом Керонейским, если бы раздобыл мне гетеру. Ибо знайте, сударыни, что в Греции и в Египте тоже имелись свои Бомбарды. Нам известно это от Апулея. Увы! Всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях творца! Nil sub sole novum²⁴, – сказал Соломон; Amor omnibus idem²⁵, – сказал Вергилий; медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галиот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одну из галер Самосской эскадры. Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Несмотря на то, что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа – душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись два противоположных женских типа: распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка.

Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега и оратор остановились как вкопанные. Это была старая тощая кляча, вполне заслуживавшая места на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком Бомбарды, одер, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь!», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем, чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием:

*Ей был отчизной мир, где возу и карете
Равно враждебен темный рок,
И разделяв судьбу всех кляч на этом свете,
Она сломилась, как цветок.*

– Бедная лошадка! – вздохнула Фантина.

А Далия вскричала:

– Вот те на! Фантина, кажется, собирается оплакивать лошадей. Надо же быть такой дурой! Тут Фэйворитка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном:

– Ну, а где же сюрприз?

²⁴ Нет ничего нового под солнцем (лат.)

²⁵ Любовь у всех одна и та же (лат.) – стих из «Георгик» Вергилия.

– Совершенно верно. Час пробил, – ответил Толомьес. – Господа! Время удивить наших дам настало. Сударыни! Обождите нас здесь несколько минут.

– Сюрприз начинается с поцелуя, – сказал Блашвель.

– В лоб, – добавил Толомьес.

Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй, потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам.

Фэйворитка захлопала в ладоши.

– Это уже и сейчас интересно, – сказала она.

– Только не уходите надолго, – негромко проговорила Фантина. – Мы вас ждем.

Глава девятая. Весел конец веселья

Оставшись одни, девицы по двое оперлись на подоконники и принялись болтать, высываясь из окон и перебрасываясь шутками.

Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка Бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились в пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля.

– Возвращайтесь скорее! – крикнула Фантина.

– Интересно знать, что они принесут нам? – сказала Зефина.

– Уж, конечно, что-нибудь красивое, – ответила Далия.

– Мне бы хотелось, – сказала Фэйворитка, – чтобы это было что-нибудь золотое.

Вскоре они загляделись на проносившиеся по набережной экипажи, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно огромная, желтая с черным, тяжело нагруженная и громыхающая колымага, утратившая свою форму под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезающих голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, с яростью врезалась в толпу; она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот содом веселил девушек. Фэйворитка восклицала:

– Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей.

Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину.

– Как странно! – сказала она. – Я думала, что дилижансы никогда не останавливаются по пути.

Фэйворитка пожала плечами.

– Нет, эта Фантина просто поражает меня! Я иной раз захожу к ней просто из любопытства.

Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представь себе, что я пассажир и говорю кондуктору дилижанса: «Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо». Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни.

Так прошло некоторое время. Вдруг Фэйворитка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна.

– Что же это? – произнесла она. – А сюрприз?

– Да, да, – подхватила Далия, – где же этот знаменитый сюрприз?

– Как долго их нет! – вздохнула Фантина.

Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то, похожее на письмо.

– Что это? – спросила Фэйворитка.

Лакей ответил:

– Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа.

– Почему же вы не принесли ее сразу?

– Потому, – отвечал слуга, – что господа приказали передать ее вам не раньше, чем через час. Фэйворитка вырвала бумагу у него из рук. Это и в самом деле было письмо.

– Странно! – сказала она. – Адреса нет. Но вот что здесь написано:

«Это и есть сюрприз».

Она быстрым движением распечатала письмо, развернула его и прочла (она умела читать):

О возлюбленные!

Знайте, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужчины и женщины называют нас блудными сыновьями; они жаждут нашего возвращения и собираются заковать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пятерка горячих коней уже будет мчать нас к папашам и мамашам. Выражаясь высоким слогом Боссюэ, мы дали стрекача. Мы уезжаем, мы уехали. Мы несемся в объятия Лафита на крыльях Кальяра. Тулузский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна – это вы, о прекрасные наши малютки! Мы возвращаемся в лоно общества, долга и порядка, возвращаемся рысью, со скоростью трех лье в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнеситесь же к нам с уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним то же. Прощайте!

Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом.

Блашвель.

Фамейль.

Листолье.

Феликс Толомьес.

Post-scriptum. За обед заплачено».

Девушки переглянулись.

Фэйворитка первая нарушила молчание.

– Что ж? – воскликнула она. – Как-никак, это забавная шутка.

– Да, очень смешно, – подтвердила Зефина.

– Это, должно быть, выдумка Блашвеля, – продолжала Фэйворитка. – Если, так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история!

– Нет, – сказала Далия, – это выдумка Толомьеса. Тут не может быть никакого сомнения.

– В таком случае, – возразила Фэйворитка, – смерть Блашвеля и да здравствует Толомьес!

– Да здравствует Толомьес! подхватили Далия и Зефина.

И покатались со смеху.

Фантина тоже смеялась.

Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь; она отдалась Толомьесу, как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.

Книга четвертая

Доверить другому – значит иногда бросить на произвол судьбы

Глава первая, в которой одна мать встречает другую

В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопеков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым. и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Сержант Ватерлоо».

Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, загораживавший улицу перед харчевней «Сержант Ватерлоо», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.

Это был передок телеги, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживала два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колеса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей отвратительную бурую охру, какою часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо-под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, которых вполне можно было в нее впрячь, и что-то в ней напоминало о каторге, но каторге циклопической и сверхчеловеческой; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, Шекспир – Калибана. Для чего же этот передок стоял здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее, а во-вторых, чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого иных оснований.

Середина цепи спускалась почти до земли; в этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две девочки; одной было года два с половиной, другой – года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, мать одной из девочек увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»

Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распутившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой – темные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овеивал прохожих своим благоуханием, казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими милыми головками, осиянными счастьем и залитыми светом, высился гигантский передок телеги, почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки

были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, – что могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов?

Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:

Шах-надо, – рыцарь говорил...

Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.

Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня!

Прекрасной, нежной Иможине, —

ответила мать, продолжая петь романс, и обернулась.

Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок; она держала его на руках.

Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок.

Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет.

Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с игравшими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевом, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был прелестный: розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызвали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осеялись великолепными ресницами. Она спала.

Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

А ее мать казалась печальной. Убогая одежда выдавала работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким, завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, не просыхали от слез. Она была бледна; у нее был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, повязанный в виде косынки, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые руки были покрыты веснушками, кожа на исколотом иглой указательном пальце загорела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.

Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней внимательней, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, легкомыслия и музыки, – наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как блестящие звездочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается черная ветка.

Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».

Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.

Орошенная Толомьесом, Фантина сразу узнала нужду. Она потеряла из вида Фэйворитку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для нее уже не было никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал, – увы! подобные разрывы всегда бесповоротны, – она оказалась совершенно одинокой, между тем ее привычка к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне ее научили только подписывать свое имя; она обратилась к писцу, и тот написал по ее поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь считает их за детей? Все пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не считал за человека это невинное создание, и в душе у нее поднялась злоба на этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастливая не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Ей необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль – Приморский. Быть может, там найдется кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжелой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием перед жизненными невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева отдала дочери – это был единственный оставшийся у нее повод для тщеславия, на сей раз – святого. Она продала все, что имела, и получила двести франков; после уплаты мелких долгов у нее осталось очень мало – около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда прекрасным весенним утром она покинула Париж, унося на руках свое дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка, а у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она покашливала.

Нам не придется больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи – Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.

К концу дня Фантина, проделавшая, чтобы не очень устать, часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трех до четырех су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопеков.

Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением.

Чары существуют. Две девочки очаровали ее.

Она смотрела на них с глубоким волнением. Присутствие ангелов возвещает близостьрая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня!

Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье у двери; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.

– Меня зовут госпожа Тенардье, – сказала мать двух девочек. – Мы с мужем держим этот трактир.

И она снова замурлыкала:

*Шақ надо, – рыцарь повторил, —
Я уезжаю в Палестину.*

Мамаша Тенардье была рыжая, плотная, нескладная женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. Странная вещь – на лице ее лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишены воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие, и тогда не случилось бы то, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял – вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.

Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее.

Она работница; муж ее умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идет искать ее в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла сегодня утром, но она несла на руках ребенка, устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять шла пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало, – она ведь еще такая крошка! Пришлось снова взять ребенка на руки, и ее сокровище уснуло. Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть... На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то, что мать удерживала ее, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.

Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала.

– Поиграйте втроем.

В этом возрасте дети легко сближаются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.

Гостья оказалась очень веселой; веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок. Женщины продолжали беседу.

– Как зовут вашу крошку?

– Козетта...

Козетта – читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.

– Сколько ей?

– Скоро три.

– Как моей старшей.

Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство. Произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк, – сколько страха и сколько счастья!

Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.

– Как быстро сходится детвора! – вскричала мамаша Тенардье. – Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!

Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила мамашу Тенардье за руку, впилась в нее взглядом и сказала:

– Вы не согласились бы оставить у себя моего ребенка?

Тенардье сделала движение, не означавшее ни согласия, ни отказа и выражавшее лишь изумление.

Мать Козетты продолжала:

– Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа не позволяет. С ребенком не найдешь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать!» Да, да, пусть они будут как три сестры. Да ведь я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?

– Надо подумать, – ответила Тенардье.

– Я стала бы платить шесть франков в месяц.

Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни!

– Не меньше семи франков. И за полгода вперед.

– Шестью семь сорок два, – сказала Тенардье.

– Я заплачу, – согласилась мать.

– И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, – добавил мужской голос.

– Всего пятьдесят семь франков, – сказала г-жа Тенардье, сопровождая подсчет все той же песенкой:

Так надо, – рыцарь говорил...

– Я заплачу, – сказала мать, – у меня есть восемьдесят франков. Хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать, и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь за моей дорогой крошкой.

– Есть у девочки одежда? – снова раздался мужской голос.

– Это мой муж, – пояснила Тенардье.

– Разумеется есть, у нее целое приданое, у дорогой моей бедняжечки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И еще какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шелковые платица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.

– Вам придется все это отдать, – снова сказал мужской голос.

– А как же иначе! – удивилась мать. – Было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!

Хозяин просунул голову в дверь.

– Ладно, – сказал он.

Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка; она снова завязала дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи,

принадлежавшие Козетте, и на утро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. Есть такие разлуки, которые как будто протекают спокойно, но они полны отчаяния.

Соседка супругов Тенардые повстречалась на улице с матерью Козетты и, придя домой, сказала:

– Я только что встретила женщину, – она так плакала, что просто сердце разрывалось.

Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:

– Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватало пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.

– А ведь я об этом и не думала, – ответила жена.

Глава вторая.

Беглая характеристика двух темных личностей

Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.

Что представляли собой эти Тенардые?

Пока что скажем о них два слова. Мы дополним наш набросок несколько позже.

Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, – к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе отдельные недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.

Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если их подогреет злое пламя. В характере жены таилась скотская грубость, в характере мужа – прирожденная подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая растет лишь в сторону зла. Есть души подобные ракам.

Вместо того чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардые.

Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардые. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете черные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем.

Этот Тенардые, если верить его словам, был некогда солдатом-сержантом, как он говорил.

По-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его подвигов. Он намалевал ее сам, так как с грехом пополам умел делать все, – и намалевал скверно.

То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от Клелии к Лодоиске и, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и переходя от м – ль де Скюдери к г-же Бурнон – Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартеlemi – Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и распространял свое разрушительное действие даже на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардые как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. В них топила она остатки своего разума.

Именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась

мечтательницей рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какую премудрость за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сентиментов – почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримесным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, – «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать – пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда ее поэтически свисавшие локоны начали сесть, когда в Памеле проглянула мегера, она превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Бедняжку младшую чуть было не назвали Гюльнаррой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа Дюкре-Дюминилля, она отделалась именем Азельмы.

Впрочем, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и социальный оттенок. В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта – если еще существуют виконты – зовут Тома, Пьером или Жаком. Это перемещение имен, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» – аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое вторжение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.

Глава третья. Жаворонок

Чтобы благоденствовать, недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо. Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы папаше Тенардье удалось избежать опротестовывания векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственно. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбочки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря – в лохмотья. Кормили ее объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки.

Мать Козетты, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своем ребенке. Тенардье неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».

Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги. Не прошло и года, как Тенардье сказал: «Можно подумать, что она благодетельствовала нас! Что для нас значат ее семь франков?» И он потребовал двенадцать. Мать, которую они убедили, что ее ребенок счастлив и «растет отлично», покорилась и стала присылать двенадцать франков.

Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Грустно, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы» Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той все казалось, что это место отнято у ее детей и что девочка ворует, воздух, принадлежащий ее дочуркам. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у нее Козетты, ее собственные дочери,

несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардые доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое создание! Она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрекам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари. Тенардые дурно обращались с Козеттой; Эпонины и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте – копия матери. Меньше формат, вот и вся разница.

Прошел год, потом другой.

В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардые! Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»

Все думали, что мать бросила Козетту.

Между тем папаша Тенардые, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности, ребенок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что «эта тварь» все растет и ест, и пригрозив отправить ее к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! – восклицал он. – Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить пятнадцать франков.

Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе.

Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух сестренек; как только она немножко подросла – то есть едва достигнув пятилетнего возраста, – она стала служанкой в доме.

– В пять лет! – скажут нам. – Да ведь это неправдоподобно!

Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не слышали о недавнем процессе Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал»? Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардые тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле – Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.

Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. «Она себе на уме!» – говорили про нее Тенардые.

Несправедливость сделала ее угрюмой, нищета – некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, пожалуй, не могло бы уместиться столько печали.

Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в дырявых обносках, с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.

В околотке ее прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое создание, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.

Только этот бедный жаворонок никогда не пел.

Глава первая.

Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла

Что же, однако, случилось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала?

Оставив свою маленькую Козетту у Тенардьё, она продолжала путь и пришла в Монрейль – Приморский.

Это было, как мы помним, в 1818 году.

Фантина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрейль-Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател.

Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием.

Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше – подчеркнуть его.

Монрейль – Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности – имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла.

Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль – Приморский, в производстве «черного стеклянного товара» произошли неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому не известный человек, которому пришла мысль при изготовлении этих изделий заменить древесную смолу камедью и, в частности при выделке браслетов, заменить кованые металлические застёжки литыми.

Это ничтожное изменение произвело целую революцию.

В самом деле, это ничтожное изменение сильно снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих – благодеяние для края, во-вторых – улучшить выделку товара – выгода для потребителя, в-третьих – дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, – выгода для фабриканта.

Итак, одна идея дала три результата.

Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател, – что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя, – что еще лучше. В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении; сведения о его прошлом были самые скудные.

Говорили, что когда он пришел в город, у него было очень мало денег – самое большее, несколько сот франков.

Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края.

Когда он появился в Монрейле – Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего.

По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки, с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в городок Монрейль – Приморский, в здании ратуши вспыхнул пожар. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двух детей, которые оказались детьми жандармского капитана; по этой причине никому не пришлось в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали дядюшка Мадлен.

Глава вторая.

Мадлен

Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым взглядом и добрым сердцем. Вот и все, что можно было о нем сказать.

Благодаря быстрым успехам той отрасли промышленности, которую он так изумительно преобразовал, Монрейль – Приморский стал крупным центром торговых операций. Испания, потреблявшая много черного гагата, ежегодно давала на него огромные заказы. Монрейль – Приморский в этом промысле чуть ли не соперничал теперь с Лондоном и Берлином. Дядюшка Мадлен получал такие барыши, что уже на второй год ему удалось выстроить большую фабрику, где были две обширные мастерские: одна для мужчин, другая для женщин. Всякий голодный мог явиться туда в полной уверенности, что получит работу и кусок хлеба. От мужчин Мадлен требовал усердия, от женщин – хорошего поведения, от тех и других – честности. Он отделил мужские мастерские от женских для того, чтобы сохранить среди девушек и женщин добрые нравы. Здесь он был непреклонен. Только в этом вопросе он и проявлял своего рода нетерпимость. Его суровость имела тем больше оснований, что Монрейль – Приморский, как гарнизонный город, был местом, полным соблазнов. Словом, его приход туда был благодеянием, а сам он – даром провидения. До дядюшки Мадлена весь край был погружен в спячку; теперь все здесь жило здоровой трудовой жизнью. Могучий деловой подъем оживлял все и проникал повсюду. Безработица и нищета были теперь забыты. Не было ни одного самого ветхого кармана, где бы не завелось хоть немного денег; не было такого бедного жилища, где бы не появилось хоть немного радости. Дядюшка Мадлен принимал на работу всех. Он требовал одного:

«Будь честным человеком! Будь честной женщиной!»

Как мы уже сказали, среди всей этой кипучей деятельности, источником и главным двигателем которой был дядюшка Мадлен, он богател и сам, но, как ни странно это для простого коммерсанта, он, видимо, не считал наживу своей основной заботой. Казалось, он больше думал о других, чем о себе. К 1820 году – это все знали – у Лафита на его имя было помещено шестьсот тридцать тысяч франков, но, прежде чем отложить для себя эти шестьсот тридцать тысяч франков, он израсходовал более миллиона на нужды города и на бедных.

Больница нуждалась в средствах. Он содержал в ней за свой счет десять коек. Монрейль – Приморский делится на верхний и нижний город. В нижнем городе, где жил дядюшка Мадлен, была только одна школа – жалкая лачуга, грозившая развалиться; он построил две новые – одну для девочек, другую для мальчиков. Он из собственных средств назначил двум учителям пособие, превышающее вдвое их скудное казенное жалованье; и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал: «Самые важные должностные лица в государстве – это кормилица и школьный учитель». Он на свой счет основал детский приют – учреждение, почти неизвестное в то время во Франции, и кассу вспомоществования для престарелых и увечных рабочих. Так как его фабрика сделалась рабочим центром, вокруг нее очень быстро вырос новый квартал, где поселилось немало нуждающихся семей; он открыл там бесплатную аптеку.

В первое время, когда он только начинал свою деятельность, добрые люди говорили. «Это хитрец, который хочет разбогатеть». Когда он занялся обогащением края, прежде чем разбогатеть самому, те же добрые люди сказали: «Это честолубец». Последнее казалось тем более вероятным, что человек этот был религиозен и даже соблюдал некоторые обряды, что в ту пору считалось очень похвальным. Каждое воскресенье он ходил к ранней обедне. Его набожность не замедлила встревожить местного депутата, которому всюду чудились конкуренты. Этот депутат, заседавший во времена Империи в Законодательном собрании, разделял религиозные воззрения одного из членов конгрегации, известного под именем Фуше – герцога Отрантского, который был его другом и покровителем. При закрытых дверях он слегка подсмеивался над богом. Однако, узнав, что состоятельный фабрикант Мадлен

ходит в семь часов утра к ранней обедне, он увидел в нем возможного кандидата на свое место и решил превзойти его; он взял себе в духовники иезуита и стал ходить и к обедне и к вечерне. В те времена честолюбцы добивались у бога земных благ земными поклонами. От этого страха перед соперником выиграл не только бог, но и бедняки, ибо почтенный депутат тоже взял на себя содержание двух больничных коек – всего их стало двенадцать.

Но вот, в 1819 году однажды утром в городе распространился слух, что по представлению префекта за заслуги, оказанные краю, король назначает дядюшку Мадлена мэром Монрейля – Приморского. Лица, называвшие пришельца честолюбцем, с восторгом подхватили этот слух, дававший приятную для каждого человека возможность кричать: «Ага! Что мы говорили?» Весь город пришел в волнение. Слух оказался обоснованным. Несколько дней спустя о назначении сообщалось в Монитере. На следующий день Мадлен от него отказался. В том же 1819 году изделия, выработанные по новому способу, изобретенному Мадленом, попали на промышленную выставку; согласно заключению испытательной комиссии, король пожаловал изобретателю орден Почетного легиона. Новое волнение в городе. «Так вот чего он хотел! Ордена!» Дядюшка Мадлен отказался и от орденского креста.

Решительно этот человек был загадкой. Добрые люди вышли из затруднения, сказав: «В таком случае это авантюрист».

Как мы видели, край был обязан ему очень многим, а бедняки были обязаны ему всем; он принес столько пользы, что нельзя было не проникнуться к нему уважением, и был так приветлив, что нельзя было не полюбить его; рабочие его фабрики преклонялись пред ним, и он принимал их преклонение с какой-то печальной серьезностью. Когда его богатство стало общепризнанным фактом, «люди из общества» начали раскланиваться с ним, и в городе его стали называть «господин Мадлен»; рабочие и детвора по-прежнему звали его «дядюшка Мадлен», и это обращение вызывало у него добродушную улыбку. Как только он пошел в гору, приглашения посыпались на него дождем. «Общество» заявляло на него свои права. Маленькие чопорные гостиные Монрейля – Приморского, которые, разумеется, в свое время были закрыты, для ремесленника, широко распахнули двери перед миллионером. Ему было сделано множество лестных предложений. Он отклонил их.

Добрые люди и на этот раз не остались в долгу. «Это невежественный и невоспитанный человек. Неизвестно еще, откуда он взялся. Он, наверное, не сумел бы держать себя в порядочном обществе. Вполне возможно, что он не знает даже и грамоте».

Когда он начал зарабатывать деньги, про него сказали – «Торгаш». Когда он начал сорить деньгами, про него сказали «Честолубец». Когда он оттолкнул от себя почести, про него сказали. «Авантюрист». Когда он оттолкнул от себя общество, про него стали говорить «Грубиян».

В 1820 году, через пять лет после его водворения в Монрейле-Приморском, услуги, оказанные им краю, были так очевидны, воля всего населения так единодушна, что король снова назначил его мэром города. Он снова отказался, но префект не принял его отказа, все именитые лица города явились просить его, народ, столпившийся на улице, умолял его согласиться, и мольбы эти были так горячи, что в конце концов он уступил. Было замечено, что на его решение, пожалуй, больше всего повлиял возглас какой-то старухи из простонародья, которая сердито крикнула ему с порога своего домишки «От хорошего мэра может быть большая польза. Как не совестно идти напопятную, если выпал случай сделать добро?»

Это была третья фаза его восхождения. Дядюшка Мадлен превратился в господина Мадлена; господин Мадлен превратился в господина мэра.

Глава третья. Суммы депонированные у Лафита

Впрочем, он продолжал держать себя так же просто, как и в первые дни. У него были седые волосы, серьезный взгляд, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Обычно он носил широкополую шляпу и длинный редингот из толстого сукна, застегнутый доверху. Обязанности мэра он выполнял добросовестно, но вне этих обязанностей жил отшельником. Он редко разговаривал с кем-либо. Он уклонялся от расточаемых ему любезностей, кланялся на ходу, быстро исчезал, улыбался, чтобы избежать беседы, и давал деньги, чтобы избежать улыбки. «Славный медведь!» – говорили о нем женщины. Больше всего он любил прогулки по окрестным полям.

Он всегда обедал в одиночестве, держа перед собой открытую книгу. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги; книги – это друзья, бесстрастные, но верные. По мере того как вместе с богатством увеличивался и его досуг, он, видимо, старался употребить его на то, чтобы развивать свой ум. С тех пор как он поселился в Монрейле-Приморском, речь его с каждым годом становилась все более изысканной и более мягкой, что было замечено всеми.

Он часто брал с собой на прогулку ружье, но редко им пользовался. Когда же ему случалось выстрелить, он обнаруживал такую меткость, что становилось страшно. Он никогда не убивал безвредных животных. Никогда не стрелял в птиц.

Он был уже далеко не молод, но о его физической силе рассказывали чудеса. Он предлагал помощь всякому, кто в ней нуждался: поднимал упавшую лошадь, вытаскивал увязшее колесо, останавливал, схватив за рога, вырвавшегося быка. Он всегда выходил из дому с полным карманом денег, а возвращался с пустым. Когда он заходил в деревни, оборванные ребятишки весело бежали за ним следом, кружась возле него, словно рой мошек.

Можно было предположить, что когда-то он жила в деревне, потому что у него был большой запас полезных сведений, которые он сообщал крестьянам. Он учил их уничтожать хлебную моль, обрызгивая амбары и заливая щели в полу раствором поваренной соли, и выгонять вредных жуков, развешивая повсюду, на стенах, на крыше, на пастбищах и в домах, пучки цветущего шалфея. У него были «рецепты», как выводить с полей куколь, журавлиный горох, лисий хвост – сорные травы, заглушающие хлебные злаки. Он охранял кроличий садок от крыс, сажая туда морскую свинку, запаха которой они не выносят.

Однажды он увидел, что местные жители усердно трудятся над уничтожением крапивы; взглянув на кучу вырванных с корнем и уже засохших растений, он сказал: «Завяла. А ведь если бы знать, как за нее взяться, она могла бы пойти в дело. Когда крапива еще молода, ее листья – вкусная зелень, а в старой крапиве – такие же волокна и нити, как в конопле и льне. Холст из крапивы ничем не хуже холста из конопли. Мелко изрубленная крапива годится в корм домашней птице, а толченая хороша для рогатого скота. Семя крапивы, подмешанное к корму, придает блеск шерсти животных, а ее корень, смешанный с солью, дает прекрасную желтую краску. Кроме того, это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. А что нужно для крапивы? Немного земли, и никаких забот и ухода. Правда, семя ее, по мере созревания, осыпается, и собрать его бывает нелегко. Вот и все. Приложите к крапиве хоть немного труда, и она станет полезной; ею пренебрегают, и она становится вредной. Тогда ее убивают. Как много еще людей, похожих на крапиву! – После минутного молчания он добавил: – Запомните, друзья мои: нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только дурные хозяева»

Дети любили его еще и за то, что он умел делать хорошенькие вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов.

Когда он видел, что дверь церкви затянута черным, он входил туда; похороны привлекали его так же, как других привлекают крестины. Чужая утрата и чужое горе притягивали его к себе, потому что у него было доброе сердце; он смешивался с толпой опечаленных друзей, с родственниками, одетыми в траур, и священнослужителями, молившимися за усопшего. Казалось, он охотно погружался в размышления, внимая погребальным молитвам, полным

видений иного мира. Устремив взгляд в небо, как бы порываясь к тайнам бесконечного, он слушал скорбные голоса, поющие на краю темной бездны, называемой смертью.

Он творил множество добрых дел тайком, как обычно творят дурные. Вечером он украдкой проникал в дома, тихонько пробирался по лестницам. Какой-нибудь бедняга, поднявшись на свой чердак, находил дверь отпертой, а иной раз даже взломанной. «Здесь побывали воры!» – восклицал несчастный. Он входил к себе, и первое, что бросалось ему в глаза, была золотая монета, кем-то забытая на столе. Побывавшим у него «вором» оказывался дядюшка Мадлен. Он был приветлив и печален. Народ говорил: «Богач, а совсем не гордый. Счастливец, а с виду невеселый».

Предполагали, что это какая-то загадочная личность, и уверяли, что никому и никогда не разрешается входить к нему в спальню, которая якобы представляет собой монашескую келью, где красуются старинные песочные часы, скрепленные кости и череп. Об этом говорилось так много, что несколько жителей Монрейля – Приморского, молодых и нарядных, однажды явились к нему домой и попросили: «Господин мэ! Покажите нам вашу спальню. Мы слышали, что это настоящая пещера». Он улыбнулся и тотчас же ввел их в эту «пещеру». Насмешницы были жестоко наказаны за свое любопытство. Это была комната, обставленная самой обыкновенной мебелью, правда, из красного дерева, но довольно некрасивой и оклеенная обоями по двенадцать су за кусок. Единственное, что привлекло внимание дам, были два старомодных подсвечника, стоявших на камине, по-видимому серебряных, «потому что на них была проба». Замечание вполне в духе провинциального городка.

Люди тем не менее продолжали говорить, что никому не разрешается входить в эту комнату и что это келья отшельника, могила, склеп.

Шушукались и о том, что у него имеются «колоссальные» суммы, лежащие у Лафита, причем будто бы эти суммы вложены с таким условием, что могут быть взяты оттуда полностью и в любое время, «так что, – добавляли кумушки, – господин Мадлен может в одно прекрасное утро зайти к Лафиту, написать расписку и через десять минут унести с собой свои два или три миллиона». В действительности, как мы уже говорили, эти «два или три миллиона» сводились к сумме в шестьсот тридцать или шестьсот сорок тысяч франков.

Глава четвертая.

Господин Мадлен в трауре

В начале 1821 года газеты возвестили о смерти епископа Диньского мириеля, прозванного монсеньером Бьенвеню и почившего смертью праведника в возрасте восьмидесяти двух лет. Епископ Диньский – добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, – за несколько лет до кончины ослеп, но он радовался своей слепоте, так как сестра его была рядом. Заметим, кстати, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым – это поистине одна из самых необычных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя: «Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне»; видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня; каждую минуту проявлять нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилом, к которому тяготеет этот ангел, – все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни – это уверенность

в том, что вас любят; любят ради вас самих, вернее сказать – любят вопреки вам; вот этой уверенностью и обладает слепой. В такой скорби ощущать заботу о себе – значит ощущать ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью! Любовью, целиком сотканной из добродетели. Где есть уверенность, там кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И эта найденная и испытанная душа – женщина. Чья-то рука поддерживает вас – это ее рука; чьи-то уста прикасаются к вашему лбу – это ее уста; совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание – это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негнувшийся тростник, касаться руками Провидения и брать его в объятия – великий боже, какое это блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами; если она удаляется, то лишь затем, чтобы вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, – это она. На вас нисходит ясность, веселье, восторг; вы – сияние среди ночи. А тысяча мелких забот! Пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место. Самые тонкие, едва уловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме.

Из этого рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай.

Извещение о его смерти было перепечатано местной монрейльской газетой. На следующий день Мадлен появился весь в черном и с крепом на шляпе.

В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение Мадлена. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. «Он надел траур по епископу Диньскому», – говорили в гостиных; это предположение сильно повысило Мадлена в глазах монрейльской знати, и все немедленно прониклось к нему уважением. Микроскопическое сен – жерменское предместье городка решило снять карантин с Мадлена, по всей видимости, родственника епископа. Мадлен заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького «большого света», считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него:

– Скажите, господин мэр, покойный епископ Диньский был, вероятно, в родстве с вами?

– Нет, сударыня, – ответил он.

– Почему же вы носите по нем траур? – снова спросила старушка.

– Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме, – ответил он.

Было замечено еще одно обстоятельство: каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебывало очень много.

Глава пятая.

Зарницы

Мало-помалу все проявления неприязни исчезли. Вначале Мадлен, согласно неписаному закону, которому всегда подвластен тот, кто преуспевает, был окружен грязными сплетнями и клеветой, затем их заменили злобные выходки, затем только злые шутки, а затем прекратилось и это; уважение сделалось полным, искренним, единодушным, и, наконец, настало время, – это было около 1821 года, – когда слова «господин мэр» произносились в Монрейле – Приморском почти с таким же благоговением, с каким слова «его преосвященство» произносились в Дине. Люди приезжали за десять лье, чтобы

посоветоваться с Мадленом. Он решал споры, предупреждал тяжбы, мирил врагов. Каждый для защиты своей правоты приглашал его в заступники. Казалось, душа его заключала в себе весь свод естественных законов. Это была какая-то эпидемия преклонения перед ним, которая в течение лет семи, заражая одного жителя за другим, наконец охватила весь край. Только один человек в городе и во всем округе не поддавался этой болезни, несмотря на все добрые дела дядюшки Мадлена, словно какой-то инстинкт, непоколебимый и неподкупный, стоял на страже и не давал ему покоя. В иных людях и в самом деле как бы таится инстинкт животного; природный и неистребимый, как всякий инстинкт, он внушает симпатии и антипатии, неумолимо отделяет одну породу существ от другой, никогда не колеблется, не смущается, не дремлет и не изменяет себе; он ясен в своей слепоте, безошибочен, властен, не подчиняется советам разума, разлагающему воздействию рассудка и, независимо от того, к чему приводит людей судьба, тайно уведомляет человека-собаку о близости человека-кошки, а человека-лису – о близости человека-льва.

Иной раз, когда Мадлен проходил по улице, спокойный, приветливый, осыпаемый всеобщими благословениями, какой-то высокий человек в рединготе серо-стального цвета и в шляпе с опущенными полями, вооруженный толстой палкой, внезапно оборачивался и провожал его взглядом до тех пор, пока мэр не скрывался из виду; потом, скрестив руки и медленно покачивая головой, он поднимал верхнюю губу к самому носу, – многозначительная гримаса, которую можно было бы истолковать так: «Кто этот человек? Я уверен, что где-то видел его прежде. Во всяком случае, меня-то он не проведет». Этот суровый, почти угрожающе суровый человек принадлежал к числу людей, которые даже при беглой встрече внушают наблюдателю тревогу.

Его звали Жавер, и служил он в полиции.

В Монрейле – Приморском он исполнял тягостные, но полезные обязанности полицейского надзирателя. Он не был свидетелем первых шагов Мадлена. Своей должностью он был обязан протекции Шабулье, секретаря графа Англеса – министра, состоявшего в то время префектом парижской полиции. Когда Жавер появился в Монрейле – Приморском, Мадлен успел уже стать крупным фабрикантом с большим состоянием и из дядюшки Мадлена превратиться в господина Мадлена.

У некоторых полицейских чинов бывают особые лица: выражение их представляет странную смесь низости и сознания власти. У Жавера было именно такое лицо, но низость в нем отсутствовала.

Если бы человеческие души были доступны для глаза, то, по нашему глубокому убеждению, все явственно увидели бы одну странность, а именно – соответствие каждого из представителей человеческого рода какому-нибудь виду животного мира; и это помогло бы легко убедиться в истине, пока еще едва прозреваемой мыслителем и состоящей в том, что – от устрицы до орла, от свиньи до тигра – все животные таятся в людях и каждое в отдельности – в отдельном человеке. А бывает и так, что даже несколько в одном. Животные суть не что иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие пред нашим взором призраки наших душ. Бог показывает их нам, чтобы заставить нас задуматься. Но так как животные – это всего лишь тени, то бог не одарил их восприимчивостью в полном смысле этого слова; да и к чему им это? Наши души, напротив, существуя реально и обладая конечной целью, получили от бога разум, то есть восприимчивость к воспитанию. Правильно поставленное общественное воспитание всегда может извлечь из души, какова бы она ни была, то полезное, что она содержит. Разумеется, все сказанное верно лишь в отношении видимой земной жизни и не предпрещает сложного вопроса о предшествующем и последующем облике существ, которые не являются человеком. Видимое «я» никоим образом не дает мыслителю права отрицать «я» скрытое. Сделав эту оговорку, продолжаем.

Итак, если читатель на минуту предположит вместе с нами, что в каждом человеке таится представитель животного мира, нам будет легко определить, что представлял собой полицейский надзиратель Жавер.

Астурийские крестьяне убеждены, что среди волчат одного помета всякий раз попадается щенок, которого мать сразу же убивает, потому что иначе, если б он вырос, то непременно сожрал бы остальных волчат.

Придайте этому псу, детенышу волчицы, человеческое лицо, и перед вами Жавер.

Жавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Когда Жавер вырос, он понял, что находится вне общества, и отчаялся когда-либо проникнуть в него. Он заметил, что общество беспощадно устраняет из своей среды два класса людей: тех, кто на него нападает, и тех, кто его охраняет; у него был выбор только между этими двумя классами; в то же время он чувствовал в себе задатки моральной стойкости, порядочности и честности, которым сопутствовала необъяснимая ненависть к цыганской среде, откуда он вышел сам. Он поступил в полицию. И преуспел. В сорок лет он был полицейским надзирателем.

В молодости он служил на юге надсмотрщиком на галерах.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, поясним, что именно мы имели в виду, употребив выражение «человеческое лицо» в применении к Жаверу.

Человеческое лицо Жавера состояло из вздернутого носа с двумя глубоко вырезанными ноздрями, к которым с двух сторон примыкали огромные бакенбарды. Вам сразу становилось не по себе, когда вы впервые видели эти две чащи и две пещеры. Когда Жавер смеялся, что случалось редко, смех его был страшен: тонкие губы раздвигались и обнажали не только зубы, но и десны, а вокруг носа широко расползались свирепые складки, словно на морде хищного зверя. Когда Жавер бывал серьезен, это был дог; когда он смеялся, это был тигр. Далее: узкий череп, массивная челюсть, волосы, закрывавшие лоб и свисавшие до самых бровей, над переносицей звездообразная неизгладимая морщина, словно печать гнева, мрачный взгляд, злобно сжатые губы, вид начальственный и жестокий.

Этот человек состоял из двух чувств, очень простых и относительно хороших, но доведенных им до крайности и сделавшихся поэтому почти дурными, – из уважения к власти и из ненависти к бунту; а в его глазах воровство, убийство, все существующие преступления являлись лишь разновидностями бунта. Он был проникнут слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, от первого министра до сельского стражника; он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил: «Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает неправ». О вторых он говорил: «Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из них выйти не может».

Он всецело разделял доходящие до абсурда убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать грешников и которые изгоняют низы общества на берега некоего Стикса. Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив, скромен и надменен, как все фанатики. Взгляд его леденил и сверлил, как бурав. Вся его жизнь заключалась в двух словах: наблюдать и выслеживать. Он проложил прямую линию на самом извилистом пути в мире, он верил в полезность своего дела, свято чтил свои обязанности, он был шпионом, как бывают священником. Горе тому, кому суждено было попасть в его руки! Он арестовал бы родного отца за побег с каторги и донес бы на родную мать, уклонившуюся от полицейского надзора. И он сделал бы это с чувством внутреннего удовлетворения, которое дарует добродетель. Наряду с этим – жизнь, полная лишений, одиночество, самоотречение, целомудрие, никаких удовольствий. Олицетворение беспощадного долга, полиция, понятая так, как спартанцы понимали Спарту, неумолимый страж, свирепая порядочность, сыщик, изваянный из мрамора, Брут в шкуре Видока – вот что такое был Жавер.

Вся его особа изобличала человека, который подсматривает и таится. Мистическая школа Жозефа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ. Вы не видели его лба, прятавшегося под шляпой, вы не видели его глаз, исчезающих под бровями, вы не видели его подбородка, потонувшего в шейном платке, вы не видели его рук, закрытых длинными рукавами, вы не видели его палки, которую он носил под поллой редингота. Но вот являлась необходимость – и изо всей этой тьмы, словно из засады, вдруг выступал узкий и угловатый лоб, злобный взгляд, угрожающий подбородок, огромные руки и увесистая дубинка.

В свободные минуты, которые выпадали не часто, он, ненавидя книги, все же читал их, благодаря чему не был совершенным невеждой. Это проявлялось в некоторой напыщенности его речи.

Как мы уже сказали, у него не было никаких пороков. Когда он бывал доволен собой, то позволял себе понюшку табаку. Только это и роднило его с человечеством.

Легко понять, что Жавер был грозой для того разряда людей, который в ежегодном статистическом отчете министерства юстиции значится под рубрикой: Темные личности.

При одном имени Жавера они обращались в бегство, появление самого Жавера приводило их в оцепенение.

Таков был этот страшный человек.

Жавер был недремлющим оком, постоянно устремленным на Мадлена. Оком, полным догадок и подозрений. В конце концов Мадлен заметил это, но, видимо, не придавал этому никакого значения. Он ни разу ни о чем не спросил Жавера, не искал с ним встречи и не избегал его; казалось, он с полным равнодушием выносил этот тяжелый и почти давящий взгляд. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и непринужденно.

По нескольким случайно вырвавшимся у Жавера словам можно было заключить, что, побуждаемый характерным для этой породы людей любопытством, которое вызывается столько же инстинктом, сколько и волей, он тайно разыскивал все следы, какие только мог оставить за собой в прошлом дядюшка Мадлен. Очевидно, ему удалось узнать – иногда он намекал на это, – что кто-то наводил где-то какие-то справки о некоем исчезнувшем семействе. Как-то раз он сказал вслух, разговаривая сам с собой: «Теперь, кажется, он у меня в руках!» После этого целых три дня он был задумчив и не произносил ни слова. Должно быть, нить, которую он уже считал пойманной, порвалась.

Впрочем, человеческое существо не может не ошибаться – такова необходимая поправка к некоторым словам, иначе смысл их мог бы показаться чересчур непреложным; сущность инстинкта состоит именно в том, что он может поколебаться, сбиться со следа и потерять дорогу. В противном случае инстинкт одержал бы верх над разумом и животное оказалось бы умнее человека.

Очевидно, Жавер был отчасти сбит с толку полнейшей естественностью и спокойствием Мадлена.

Но однажды странный образ действий Жавера, видимо, произвел впечатление на Мадлена. И вот при каких обстоятельствах.

Глава шестая.

Дедушка Фошлеван

Как-то утром Мадлен шел по одному из немощеных монрейльских переулков. Внезапно он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей. Он подошел к ним. У старика крестьянина, которого звали дедушка Фошлеван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой.

Этот Фошлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались в это время у Мадлена. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фошлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским писцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фошлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком.

При падении лошадь сломала обе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фошлеван испускал душераздирающие вопли. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок – и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом – приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом.

Но вот подошел Мадлен. Все почтительно расступились.

– Помогите! – кричал старик Фошлеван, – Добрые люди, спасите старика!

Мадлен обратился к присутствующим:

– Нет ли домкрата?

– За ним пошли, – отвечал один крестьянин.

– А скоро его сюда доставят?

– Да пошли-то в самое близкое место, в Флашо, к кузнецу, но на это понадобится добрых четверть часа.

– Четверть часа! – вскричал Мадлен.

Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой увязала все глубже и все сильнее придавливала грудь старика Фошлевана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра.

– Нельзя ждать четверть часа, – сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг.

– Ничего не поделаешь!

– Да ведь будет поздно! Разве вы не видите, что телега уходит все глубже?

– Как не видеть!

– Послушайте, – продолжал Мадлен, – пока еще под телегой довольно места, можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем? Кто хочет заработать пять луидоров?

Никто в толпе не сдвинулся с места.

– Десять луидоров! – сказал Мадлен.

Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал:

– Тут нужна дьявольская сила. Как бы тебя самого не придавило!

– Ну же! – настаивал Мадлен. – Двадцать луидоров!

Опять молчание.

– Желания-то у них хватает... – произнес чей-то голос.

Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил, когда тот подошел.

– А вот силы не хватает, – продолжал Жавер. – Чтобы поднять на спине такую телегу, надо быть страшным силачом.

Пристально глядя на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово:

– Господин Мадлен! В своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете.

Мадлен вздрогнул.

Равнодушным тоном, но не сводя с Мадлена глаз, Жавер добавил:

– Это был один каторжник.

– Вот как! – отозвался Мадлен.

– Каторжник из Тулонской тюрьмы.

Мадлен побледнел.

Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил:

– Задыхаюсь! У меня ребра трещат! Домкрат! Сделайте что-нибудь! Ох!

Мадлен оглянул толпу.

– Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров и спасти жизнь бедному старику?

Ни один из присутствовавших не шевельнулся. Жавер продолжал:

– В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это тот каторжник.

– Ох! Сейчас меня раздавит! – крикнул старик.

Мадлен поднял голову, встретил все тот же ястребиный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, как он уже был под телегой.

Наступила страшная минута ожидания и тишины. На глазах у всех Мадлен, почти плашмя лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали: «Дядюшка Мадлен! Вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему: «Господин Мадлен! Уходите! Видно, уж мне на роду написано так умереть! Оставьте меня! Не то и вас задавит!» Мадлен ничего не отвечал.

Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги.

Вдруг вся эта громада пошатнулась, телега начала медленно приподниматься, колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос:

«Скорей! Помогите!» Это крикнул Мадлен, напрягший последние силы.

Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен.

Мадлен встал на ноги. Он был смертельно бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и говорил, что это сам господь. А на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного неземного страдания, и он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз.

Глава седьмая.

Фошлеван становится садовником в Париже

Фошлеван при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в здании его фабрики; уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, написанную рукой дядюшки Мадлена: «Я покупаю у вас телегу и лошадь». Телега была сломана, а лошадь околела. Фошлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями монахинь и местного священника, Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале Сент – Антуан в Париже.

Вскоре после этого случая Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог бы ощутить пес, который под одеждой хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности

принуждали его являться к мэру и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение.

На благоденствие, созданное дядюшкой Мадленом в Монрейле – Приморском, кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался, однако, не менее показательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы не хватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки, и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства есть один непогрешимый барометр: это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налогов сократились в Монрейльском округе на три четверти, – тогдашний министр финансов де Виллель часто приводил этот округ в пример другим. Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантины совершенно новым, она не могла проявить особого мастерства и зарабатывала очень мало, но ей хватало и этого; главная задача была разрешена: она жила своим трудом.

Глава восьмая.

Госпожа Виктюрьен тратит тридцать пять франков во имя нравственности

Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, она воспряла духом. Жить честным трудом – какая это милость неба! В самом деле, к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы, о многом забыла, стала думать теперь только о Козетте и возможном будущем и зажила почти счастливо. Она сняла комнатку и обмобилировала ее в кредит, в расчете на будущий заработок; в этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни.

Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке.

В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардье. Но писать она не умела, а научилась только подписывать свое имя, и ей приходилось для переписки с ними обращаться к писцу.

Писала она часто. Это было замечено. В женской мастерской начали поговаривать о том, что Фантина «пишет письма» и что она «завела шашни».

Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего. «Почему этот господин выходит только в сумерки? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему та дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому. Почему она посылает за почтовой бумагой, когда дома у нее „полным-полно“ этой бумаги?» и т. п., и т. п. Есть особы, которые, ради того чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря, совершенно им безразличных, расходуют больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел; и все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням, часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, дарить горничную, давать на чай привратнику. Для чего? Да просто так. Из страстного желания увидеть, узнать, раскопать. Из непреодолимой потребности разболтать.

А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротства, разоряют целые семейства, разбивают жизни, к великой радости того, кто «раскрыл все» без всякой выгоды для себя, повинувшись одному лишь инстинкту. И это очень печально.

Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей напоминают камин, быстро пожирающие дрова; они требуют много топлива, а топливо – это ближний.

Итак, за Фантиной стали наблюдать.

Многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам.

Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а возможно, и о человеке, которого любила когда-то.

Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, – мучительный и трудный процесс.

Было установлено, что она пишет письма не реже двух раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу, и оплачивает их почтовым сбором. Ухитрились узнать и адрес: «Милостивому государю, господину Тенардье, трактирщику в Монфермейле». Выпытали все в кабачке у писца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного вина без того, чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фантины есть ребенок. «Судя по всему, это шлюха». Нашлась кумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардье и, вернувшись, сказала: «Я истратила тридцать пять франков, зато все узнала. Я видела ребенка!»

Эта кумушка была мегера по имени г-жа Виктюрье, блюстительница и опекуна всеобщей добродетели. Г-же Виктюрье было пятьдесят шесть лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий. Как ни странно, когда-то эта женщина была молода. В молодости, в самый разгар 93-го года, она вышла замуж за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была худощавая, злющая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть покойного монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Во время Реставрации она стала святошей, столь ревностной, что священники простили ей ее монаха. У нее сохранилась землянка, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в Аррасском епископстве. Вот эта-то самая г-жа Виктюрье съездила в Монфермейль и вернулась со словами: «Я видела ребенка».

На все это ушло немало времени. Фантина уже больше года работала на фабрике, как вдруг, однажды утром, надзирательница мастерской вручила ей от имени мэра пятьдесят франков и, заявив, что она уволена, посоветовала ей, также от имени мэра, уехать из города.

Это случилось в тот месяц, когда супруги Тенардье, которые уже получали двенадцать франков вместо первоначальных шести, только что потребовали пятнадцать франков вместо двенадцати.

Фантина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. Пятидесяти франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фантина к тому же была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она покинула мастерскую и пошла домой.

Итак, теперь ее проступок был известен всем.

Фантина чувствовала, что она не в силах защищаться. Кто-то посоветовал ей обратиться к мэру; она не посмела. Мэр дал ей пятьдесят франков, потому что был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорила этому приговору.

Глава девятая. Торжество госпожи Виктюрьен

Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь да пригодилась.

Между тем сам Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств! Мадлен почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, не отказывая в подаянии, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. Мадлен во всем полагался на нее. Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот, облеченная всей полнотой власти и вполне убежденная в своей правоте, надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фантину.

Пятьдесят франков она взяла из суммы, которая была предоставлена Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся работникам.

Фантина стала искать места служанки; она ходила из дома в дом. Никто не хотел ее брать. Уехать из города она не могла. Старьевщик, которому она задолжала за мебель – и какую мебель! – сказал ей: «Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют, как воровку». Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей: «Вы молоды и красивы, значит, можете заплатить». Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы, без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков.

Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая двенадцать су в день. Содержание дочери стоило ей десять су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить Тенардье.

Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за умением довольствоваться малым идет умение жить ничем. Это как бы две комнаты: в первой темно, во второй непроглядный мрак.

Фантина узнала, как зимой обходятся без дров, как отказываются от птички, которая за два дня съедает у вас проса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете, падающем из окна противоположного дома. Мы и не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су иные слабые создания, состарившиеся в честности и в нужде. В конце концов такое умение становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и приободрилась.

Как-то раз она сказала соседке: «Знаете что? Если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб. И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше. Что ж! Страдания, тревога и кусочек хлеба, с одной стороны, огорчения – с другой, все это вполне насытит меня».

Жить вместе с Козеттой было бы для Фантины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней. Но разве это возможно? Заставить ребенка делить ее лишения? И потом она ведь должна Тенардье! Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу! Где взять их?

Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина, истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам, грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать: Моргорита, если была в этом надобность, но верившая в бога, что является высшей ученостью.

Внизу, на дне, много таких праведниц; когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое «завтра».

В первое время Фантине было так стыдно, что она не решалась выйти из дому.

Когда она шла по улице, ей казалось, что люди смотрят ей вслед и показывают на нее пальцем; все смотрели на нее, но никто не здоровался; едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра.

В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас по крайней мере никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как хотелось Фантине вернуться в Париж! Но это было невозможно.

Волей-неволей пришлось привыкать к потере уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два она осмелела и как ни в чем не бывало выходила на улицу... «Мне все равно», – говорила она.

И шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной.

Госпожа Виктюрье видела из окна Фантину, когда та проходила мимо, видела, в каком жалком состоянии находится «эта тварь», поставленная благодаря ей «на надлежащее место», и торжествовала. У злых людей – свои, подлые радости.

Непосильная работа изнуряла Фантину: сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке: «Пощупайте, какие у меня горячие руки».

И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия.

Глава десятая. Последствия торжества

Ее уволили с фабрики в конце зимы; прошло лето, снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня, вечер сливается с утром, туман, сумерки, окошко серо, в него ничего не видно. Небо – словно пробоина во мраке, а день – как темный подвал. У солнца нищенский вид. Ужасное время года! Зима все превращает в камень – и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фантине покоя.

Она зарабатывала слишком мало. Долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами; содержание их приводило ее в отчаяние, а уплата почтовых сборов разоряла. Однажды они написали, что ее маленькая Козетта ходит в холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше десяти франков. Получив письмо, Фантина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула из прически гребень. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса.

– Какие замечательные волосы! – вскричал цирюльник.

– А сколько бы вы дали мне за них? – спросила она.

– Десять франков.

– Стригите.

Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье.

Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине Бедный Жаворонок продолжал зябнуть.

Фантина думала. «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженую голову; она все еще была красива.

Черное дело свершалось в сердце Фантины. Лишившись отрады расчесывать волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену; однако, без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики и что именно он является причиной всех ее бед, она начала ненавидеть и его – его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь.

Услышав однажды это пение и этот смех, старуха работница сказала про нее: «Ну, эта девушка плохо кончит».

И вот, со злобой в сердце, словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, бродячий музыкант, проходимец; он бил ее и вскоре бросил с таким же отвращением, с каким она сошлась с ним. Она обожала своего ребенка.

Чем ниже она опускалась, чем темнее становилось все вокруг нее, тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого ангелочка. Она говорила: «Когда я разбогатею, моя Козетта будет со мной» – и смеялась от радости. Кашель привязался к ней, и она часто обливалась потом. Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания: «Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете сорок франков, девочка умрет».

Фантина громко расхохоталась и сказала старухе соседке:

– Они сошли с ума! Сорок франков! Сколько это? Два наполеондора! Где же мне взять их? До чего глупы эти крестьяне!

Она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз.

Потом она спустилась с лестницы и вприпрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать.

Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее:

– Чего это вы так развеселились? Она ответила:

– Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать сорок франков. Одно слово – крестьяне!

Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы; на империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры.

Фантина замешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся девушку и крикнул:

– Эй ты, хохотунья! У тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый.

– Что это еще за резцы? – спросила Фантина.

– Резцы, – важно отвечал зубной лекарь, – это передние зубы Два верхних зуба.

– Какой ужас! – вскричала Фантина.

– Два наполеондора! – прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. – Везет же людям!

Фантина убежала и заткнула уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед:

– Поразмысли, красotka! Два наполеондора на улице не валяются. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там.

Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите.

– Вы только представьте себе! Это какой-то изверг. И как только таким людям позволяют разъезжать по городам? Вырвать у меня два передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы

могут еще отрасти, но зубы! Чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого этажа! Он сказал, что вечером будет в «Серебряной палубе».

– Сколько же он тебе предложил? – спросила Маргарита.

– Два наполеондора.

– Это сорок франков.

– Да, – сказала Фантина, – это сорок франков.

Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на лестницу, чтобы перечитать письмо Тенардье.

Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней:

– Скажите, вы не знаете, что это такое – сыпная горячка?

– Знаю, – ответила престарелая девица, – это такая болезнь.

– И на нее требуется много лекарств?

– О да! Страшно много.

– А что при этом болит?

– Да все болит, все тело.

– И к детям она, значит, тоже пристаёт?

– К детям-то всего чаще.

– А от нее умирают?

– Сколько угодно, – ответила Маргарита. Фантина спустилась по лестнице и еще раз перечитала письмо.

Вечером она вышла из дому. Люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры.

На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, от нее остался лишь маленький огарок.

Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге.

– Господи помилуй! – воскликнула она. – Вся свечка сгорела! Видно, случилось недоброе!

Она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженою голову.

За эту ночь Фантина постарела на десять лет.

– Иисусе! – изумилась Маргарита. – Что с тобой случилось, Фантина?

– Ничего, – ответила Фантина. – Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни, у нее будут лекарства. Я довольна.

С этими словами она показала старой деве два наполеондора, блестевшие на столе.

– Господи Иисусе! – снова вскричала Маргарита – Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?

– Достала, – ответила Фантина и улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра.

Два передних зуба были вырваны.

Она отослала в Монфермейль сорок франков.

А между тем со стороны Тенардье это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта была здорова.

Фантина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на щеколду, в одну из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты, так же как и до конца своей судьбы, лишь все ниже и ниже нагибаясь. У Фантины уже не было кровати, у нее оставалась только какая-то рвань, которую она называла одеялом, тюфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный стул. Забытый в углу маленький розан засох. В

глиняном кувшине из-под масла, в другом углу, теперь была вода; зимой вода замерзала, и различный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фан-тина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а быть может, из равнодушия, она перестала чинить свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки, – это было заметно по некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы устраивали ей скандалы и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее блестели, она ощущала постоянную боль в спине, в верхушке левой лопатки. Она сильно кашляла. Она ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по семнадцать часов в сутки, но вдруг подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую плату, сбавил цену на рубашки настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к девяти су. Семнадцать часов работы за девять су! Кредиторы Фантины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее почти всю обстановку, все повторял: «Когда же ты мне заплатишь, негодная?» Господи боже! Чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной, в ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Тенардье написал ей, что, право же, он был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны сто франков, и притом немедленно; в противном случае он вышвырнет Козетту, хотя она только еще оправляется после тяжелой болезни, на холод, на улицу, а там – будь что будет, пусть околеваает, это ее дело. «Сто франков! – подумала Фантина. – Но разве есть ремесло, которое может дать сто су в день?» – Ну что ж, – сказала она. – Продадим остальное. И несчастная стала публичной женщиной.

Глава одиннадцатая. Christus nos liberavit²⁶

Что же такое представляет собой история Фантины? Это история общества, покупающего рабыню.

У кого? У нищеты.

У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение.

Святой завет Иисуса Христа правит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что европейская цивилизация упразднила рабство. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину, имя его – проституция.

Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и при этом величайший позор.

В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней Фантины. Окунувшись в грязь, женщина превращается в камень.

Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает; она обещана, и она сурова. Жизнь и общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все, что было ей отпущено на всю жизнь. Она все почувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорилась судьбе с той покорностью, которая так же похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает. Она ничего больше не боится. Пусть

²⁶ Христос наш освободитель (лат.)

разверзнутся над ней хляби, небесные, пусть прокатит над ней свои воды весь океан! Что ей до этого? Она – губка, насыщенная до предела.

Так по крайней мере кажется ей самой, но человек ошибается, если думает, что возможно исчерпать свою судьбу и что чаша его выпита до дна.

Что же представляют собой все эти судьбы, гонимые вперед? Куда они идут? И почему они такие, а не иные?

Тот, кому это ведомо, видит весь этот мрак.

Он один. Имя ему – бог.

Глава двенадцатая.

Досуги господина Баматабуа

Во всех маленьких городках, в Монрейле – Приморском – в частности, всегда есть особая порода молодых людей, которые в провинции проедают свои полторы тысячи ливров ренты с таким видом, с каким все им подобные пожирают в Париже двести тысяч франков в год. Это существа, относящиеся к многочисленным видам пустоцветов, – это круглые нули, паразиты, ничтожества, у которых есть немного земли, немного глупости и немного ума; люди, которые в гостинной показались бы деревенщиной, а в кабаке считают себя аристократами, которые говорят: «Мои луга, мои леса, мои крестьяне», освистывают актрис в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, и задирают гарнизонных офицеров, чтобы доказать, что они люди храбрые, охотятся, курят, зевают, пьют, пахнут табаком, играют на бильярде, глазают на приезжих, когда те выходят из дилижанса, днюют и ночуют в кофейнях, обедают в трактире, держат собаку, которая грызет кости у них под столом, и любовницу, которая накрывает на стол, торгуются из-за гроша, утрируют моду, восхищаются трагедией, презирают женщин, донашивают старые сапоги до дыр, подражают Лондону, глядя на него сквозь призму Парижа, и Парижу, глядя на него сквозь призму Понта-а-Мусон, к старости окончательно тупеют, ничего не делают, ни на что не годны, но особого вреда не приносят.

Феликс Толомьес, несомненно, был бы одним из таких господ, если бы он никогда не выезжал из своей провинции и ни разу не побывал в Париже.

Будь они богаче, про них сказали бы: «Это щеголи». Будь они победнее, про них сказали бы: «Это лодыри». Но в сущности говоря, это просто бездельники. Среди таких бездельников есть скучные, есть скучающие, есть мечтатели; попадают и негодяи.

В те времена щеголь состоял из высокого воротничка, широкого галстука, часов с брелоками, трех разноцветных жилетов, надетых один на другой, причем синий и красный надевались снизу, из оливкового фрака с короткой талией, длинными заостренными фалдами и двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных очень тесно и доходящих до самых плеч, а также из более светлых, тоже оливковых, панталон, украшенных по швам неопределенным, но всегда нечетным числом шелковых кантов, от одного до одиннадцати, – предел, которого никто не переступал. Присоедините к этому полусапожки с железными подковками на каблуках, цилиндр с узкими полями, волосы, взбитые копной, огромную трость и речь, расцвеченную каламбурами Потье. Вдобавок ко всему – усы и шпоры. Усы в те годы являлись отличительным признаком штатских лиц, шпоры – пешеходов.

У провинциального франта шпоры бывали длиннее, а усы свирепее.

Это происходило во времена борьбы южноамериканских республик с испанским королем, борьбы Боливара с Морильо. Шляпы с узкими полями составляли принадлежность роялистов и назывались «морильо»; либералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название «боливаров».

Месяцев через восемь после того, о чем было рассказано на предыдущих страницах, в первых числах января 1823 года, вечером, на улице, покрытой только что выпавшим снегом,

один из этих франтов, из этих бездельников, человек «благонамеренный», ибо голова у него была увенчана «морилью», закутанный в широкий теплый плащ, довершавший в зимнюю пору модный наряд, забавлялся тем, что поддразнивал некое создание женского пола, разгуливавшее в открытом бальном платье и с цветами на голове перед витриной офицерской кофейни. Франт курил сигару, ибо таково было решительное требование моды. Всякий раз как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо вместе с облаком сигарного дыма какое-нибудь замечание, казавшееся ему верхом остроумия и веселости, как, например – «Вот так уродина! Да уберешься ли ты наконец? Эх ты, беззубая!» и т. п. и т. п. Звали франта господин Баматабуа. Женщина, уныло разряженное привидение, сновавшее взад и вперед по снегу, – не отвечала ему, даже не смотрела на него и молча, с мрачной настойчивостью, продолжала свою прогулку, каждые пять минут снова и снова подвергаясь его насмешкам, словно осужденный солдат, прогоняемый сквозь строй. Такое невнимание, должно быть, раздосадовало шалопаю; воспользовавшись моментом, когда она повернулась к нему спиной, он подкрался к ней сзади, нагнулся, давясь хохотом, схватил пригоршню снега и внезапно сунул его за вырез платья, между ее обнаженными лопатками. Девушка испустила дикий вопль, обернулась и, как пантера, бросилась на мужчину, впиваясь ему в лицо ногтями и обливая его потоком отборной брани, которой могла бы позавидовать пьяная солдатня. Эти ругательства, выкрикиваемые осипшим от водки голосом, вылетали из обезображенного рта, в котором действительно недоставало двух передних зубов. То была Фантина.

На шум из кофейни гурьбой высыпали офицеры, столпились прохожие, и вокруг живого клубка, в котором трудно было разобрать, где был мужчина и где женщина, образовался широкий круг зрителей, хохотавших, гикавших, хлопавших в ладоши; мужчина отбивался, шляпа с него слетела, а женщина колотила его ногами и кулаками, рыча от ярости, беззубая, простоволосая, стриженная, вся посиневшая, страшная.

Внезапно от толпы отделился высокий человек, схватил женщину за лиф ее атласного, забрызганного грязью платья и сказал:

– Иди за мной.

Женщина подняла голову, и ее истошный крик внезапно оборвался. Глаза ее остекленели, посиневшее лицо стало мертвенно-бледным, она задрожала от ужаса. Она узнала Жавера. Франт воспользовался этим обстоятельством и улизнул.

Глава тринадцатая.

Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции

Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и широким шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Тьма-тьмущая зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия.

Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую постовыми низкую комнату со стеклянной зарешеченной дверью, выходящей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой, к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-нибудь увидеть. Любопытство подобно чревоугодию. Увидеть – все равно что полакомиться.

Войдя в комнату, Фантина, неподвижная и безмолвная, опустилась на пол в углу, съежившись, как испуганная собачонка.

Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать.

Этот разряд женщин всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет, наказывает их, как ей угодно, и по своему усмотрению отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не выдавало никаких чувств. Между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту – он сознавал это – табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд. Творил суд и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно лучше разрешить трудную задачу, стоявшую перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел на улице, как общество в лице домовладельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. Он сам видел это, он, Жавер. Он молча писал.

Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу и, вручив ее сержанту, сказал:

– Возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму. – И, обернувшись к Фантине, добавил: – Ты отсидишь шесть месяцев.

Несчастная задрожала.

– Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! – вскричала она. – Шесть месяцев зарабатывать семь су в день! Что же будет с Козеттой? С моей дочкой! С моей дочкой! Но ведь я и так должна Тенардые больше ста франков, знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель?

Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу, истоптанному грязными сапогами всех этих людей.

– Господин Жавер! – говорила она, в отчаянии ломая руки. – Умоляю вас, пощадите меня! Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что я говорю правду! Клянусь богом, я не виновата. Этот господин, которого я не знаю, ни с того ни с сего сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается совать снег за ворот, когда мы ходим по улице и никого не трогаем? Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова! А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова. Уродина! Беззубая! Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала, я думала про себя: «Ну что ж, господин забавляется». Я вела себя с ним хорошо, я с ним не разговаривала. Но он сунул мне снег за шиворот. Господин Жавер, добрый господин надзиратель! Неужели же там, за дверью, не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась. Но знаете, в первую минуту не владеешь собой. Бывает, и погорячишься. И когда вам на спину неожиданно попадает что-нибудь холодное... Я виновата, что испортила шляпу этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения. О господи, мне это ничего не стоит, я бы попросила у него прощения. Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только семь су в день, правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день, а ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков, или мне привезут мою крошку. Боже всемогущий! Я не могу взять ее к себе. То, что я делаю, так гадко! О моя Козетта, мой ангелочек, что только с ней будет, с моей бедной деткой! Вы знаете, эти Тенардые – крестьяне, трактирщики, их не урезонишь. Подайте им деньги, и никаких разговоров. Не сажайте меня в тюрьму! Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон, на большую дорогу, иди куда глаза глядят, зимой! Вы должны сжалиться над ней, вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь, но она еще не может, она

ведь совсем маленькая. В конце концов я не такая уж дурная женщина. Не подлость и не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. Сжальтесь надо мной, господин Жавер!

Не поднимаясь с колен, согнувшись чуть не до самого пола, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашляя сухим отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая. Великая скорбь – это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных. В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика полу сюртука. Она смягчила бы каменное сердце, но деревянное сердце смягчить нельзя.

– Ну, – сказал Жавер, – довольно, я выслушал тебя! Ты все сказала? Теперь ступай. Ты отсидишь шесть месяцев, сам бог не сможет тут ничего поделать.

При этих торжественных словах: «Сам бог не сможет тут ничего поделать», она поняла, что приговор произнесен. Она приникла к полу и прошептала:

– Смилуйтесь!

Жавер повернулся к ней спиной.

Солдаты схватили ее за руки.

За несколько минут до того, никем не замеченный, в комнату вошел человек Закрыв за собой дверь и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы Фантины.

В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал:

– Подождите!

Жавер поднял глаза и узнал Мадлена. Он снял шляпу и поклонился ему принужденно и с досадой.

– Извините, господин мэ... – начал он.

Это обращение «господин мэ» произвело на Фантину странное действие. Она вскочила, вытянулась во весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли, обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к Мадлену. устремила на него помутившийся взгляд, выкрикнула:

– Ах, вот что! Так это ты – господин мэ?

И, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо.

Мадлен вытер лицо и сказал:

– Инспектор Жавер! Отпустите эту женщину на свободу.

Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал, и почти одновременно, самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю. Увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, это было столь чудовищно, что он счел бы святотатством одну мысль о возможности такого факта. В глубине души он с отвращением сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем, может стать, некогда был этот мэ, и к его ужасу совершившееся преступление начинало представляться ему вполне естественным. Когда же мэ, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал: «Отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось; он лишился дара мысли и дара речи; доступный ему предел изумления был превзойден. Он онемел.

Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла голую руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя:

– На свободу! Меня отпустят! Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев! Кто это сказал?

Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверно, ослышалась. Этот изверг мэ не мог сказать такую вещь! Дорогой господин Жавер! Ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу? Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот

изверг, этот старый негодяй мэр один виноват во всем. Вообразите, господин Жавер: он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен каких-то негодниц. Ну разве это не чудовищно! Уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом! И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег, с этого-то и начались все несчастья. Прежде всего вам, господам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение – вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Вы зарабатываете шитьем рубах двенадцать су, вдруг заработок падает до девяти су, и вы никак не можете прожить на это. Ну и живи, как знаешь. А ведь у меня моя маленькая Козетта, вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр. Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он сунул мне ком снега за ворот и испортил платье. А у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте, господин Жавер: я никогда умышленно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут они гораздо лучше. О господин Жавер! Ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили? Правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, теперь я вовремя вношу квартирную плату, все скажут вам, что я честная женщина. Ой, господи! Простите меня, я нечаянно дотронулась до заслонки и надымила.

Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его в карман и спросил Фантину.

– Сколько, вы говорите, у вас долгу?

Фантина, не сводившая глаз с Жавера, тут обернулась к нему.

– Не с тобой говорят!

И обратилась к солдатам:

– Вы видели, ребята, как я плюнула ему в лицо? А, старый мошенник мэр, ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь! Я боюсь только господина Жавера, доброго господина Жавера!

Потом она снова обратилась к Жаверу:

– Видите ли, господин полицейский надзиратель, надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле, все это очень просто, мужчина для забавы сунул женщине за ворот снегу и насмешил господ офицеров, – надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете! А потом приходите вы, – вы должны ведь навести порядок; вот вы и уводите женщину, которая провинилась; но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу; это ради малютки, ведь если бы вы посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри больше не попадайся, чертовка! О, больше я не попадусь, господин Жавер! Пусть делают со мной все что угодно, я и не пикну. Сегодня, видите ли, я закричала потому, что мне стало нехорошо, я не ожидала, что этот господин сунет мне снегу за ворот, и потом, я уже говорила вам, я не совсем здорова, я кашляю, и здесь, в желудке, у меня словно клубок какой-то, так и жжет. Доктор сказал мне: «Лечитесь». Да вот, дотроньтесь, дайте руку, не бойтесь, вот здесь...

Она больше не плакала, голос ее звучал кротко, она прижимала к своей нежной белой груди грубую ручищу Жавера и смотрела на него с улыбкой.

Вдруг она быстро поправила платье, опустила задравшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески кивая головой солдатам, она проговорила вполголоса:

– Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили. Я ухожу.

Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице.

До этой минуты Жавер стоял неподвижно, уставив глаза в пол; он был похож на сдвинутую с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали.

Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову, лицо его выражало сознание своей неограниченной власти – выражение, тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти: свирепое у дикого зверя, жестокое у ничтожного человека.

– Сержант! – крикнул он. – Разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто вам разрешил отпустить ее?

– Я, – сказал Мадлен.

Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду, подобно тому как пойманный вор выпускает из рук только что украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась; не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, она в зависимости от того, кто говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера, с Жавера на Мадлена.

Было ясно, что Жавер, как говорится, совершенно «спятил», если позволил себе сказать сержанту то, что он сказал, после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра? Решил ли, что «начальство» не могло отдать такого приказания и что господин мэр попросту оговорился? А может быть, перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались у него на глазах, он убедил себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим, сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство – словом, все общество в целом олицетворяется в нем одним, в Жавере?

Как бы там ни было, но когда Мадлен произнес: «Я», полицейский надзиратель Жавер обернулся к мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаяния взглядом, весь дрожа едва заметной мелкой дрожью, и – неслыханное дело! – сказал, опустив глаза, но твердым голосом:

– Господин мэр! Это невозможно.

– Как так? – спросил Мадлен.

– Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина.

– Полицейский надзиратель Жавер, – возразил Мадлен примирительным и спокойным тоном, – послушайте. Вы честный человек, и мы легко пойдем друг друга. Вот как обстояло дело. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину; там еще оставались люди, я расспросил их и все узнал. Виноват был этот господин, и по-настоящему полиции следовало арестовать именно его.

Жавер ответил:

– Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэр.

– Это мое дело, – возразил Мадлен. – Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему, как мне угодно.

– Прошу прощения, господин мэр, но оскорбление вашей особы касается не только вас, оно касается правосудия.

– Полицейский надзиратель Жавер! – возразил Мадлен. – Высшее правосудие – это совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю.

– А я, господин мэр, не знаю, верить ли мне своим глазам.

– В таком случае ограничьтесь повиновением.

– Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев.

Мадлен мягко ответил ему:

– Запомните хорошенько: она не проведет в тюрьме ни одного дня.

После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним, глубоко почтительным тоном:

– Мне очень жаль, что я должен послушаться господина мэра, это первый раз в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так

угодно господину мэру, случаем, касающимся этого горожанина. Я был там. Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Ему принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади, четырехэтажный, из тесаного камня. Вот что бывает на белом свете! Как хотите, господин мэр, а этот проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за которую отвечаю я, и я арестую девицу Фантину.

Тогда Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, каким он никогда еще в этом городе не говорил:

– Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции.

Согласно статье девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовных законов, подобные проступки подсудны мне. Приказываю отпустить эту женщину на свободу.

Жавер хотел было сделать еще одну последнюю попытку:

– Однако, господин мэр...

– Что касается вас, то напоминаю вам статью восемьдесят первую закона от тринадцатого декабря тысяча семьсот девяносто девятого года о произвольном аресте.

– Позвольте, господин мэр...

– Ни слова больше.

– Но я...

– Ступайте, – сказал Мадлен.

Жавер принял этот удар грудью, как русский солдат, не дрогнув, не опустив глаза. Он низко поклонился господину мэру и вышел.

Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед.

Она тоже была во власти странного смятения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок двух враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка; один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина; один говорил, как ее злой дух, другой – как добрый ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом, – вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, – этим освободителем оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен! И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление! Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу?.. Она не знала, что думать, она трепетала. Она слушала, она смотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом Мадлена в ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается ее сердце и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таящее в себе радость, доверие и любовь.

Когда Жавер вышел, Мадлен обернулся к ней и медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как человек выдержанный, который не хочет дать волю слезам, сказал ей:

– Я слышал ваш рассказ. Я ничего не знал об этом. Думаю, что все это правда, больше того: чувствую, что все это правда. Я не знал даже, что вы ушли из моей мастерской. Отчего же вы не обратились ко мне? Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить; я заплачу ваши долги, я пошлю за вашим ребенком или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если не пожелаете сами. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а став счастливой, снова станете честной. Более того, – слушайте, я это утверждаю – если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед богом. О бедная женщина! Это было выше сил бедной Фантины. Взять к себе Козетту! Бросить эту гнусную жизнь! Жить свободно, богато, счастливо, честно и с Козеттой! Внезапно увидеть, как посреди ее горестей расцветает райское блаженство! Она взглянула на человека, который говорил ей все

это, почти бессмысленным взглядом и могла лишь простонать: «О – о-о!» Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом, и, прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами. Тут она лишилась сознания.

Книга шестая

Жавер

Глава первая.

Начало умиротворения

Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную им в том доме, где – жил он сам, и поручил ее сестрам – те сразу же уложили ее в постель. У нее открылась сильнейшая горячка. Почти всю ночь она была без памяти и громко бредила. Однако под утро она все же уснула.

На другой день около полудня Фантина проснулась и слышала у своей постели, совсем близко, чье-то дыхание; она отвернула полог и увидела стоявшего подле нее Мадлена, – он устремил взгляд куда-то вверх ее головы. Взгляд этот был полон тревоги и сострадания и молил о чем-то. Она проследила направление этого взгляда и увидела, что он был обращен к висевшему на стене распятию.

Отныне Мадлен совершенно преобразился в глазах Фантины. Ей казалось, что от него исходит сияние. Видимо, он был погружен в молитву. Она долго смотрела на него, не осмеливаясь нарушить его задумчивость. Наконец она робко проговорила:

– Что это вы делаете?

Мадлен стоял здесь уже целый час. Он ждал, когда Фантина проснется. Взяв ее руку, он пощупал пульс и спросил:

– Как вы себя чувствуете?

– Хорошо, я немного поспала, – ответила она, – кажется, мне лучше. Это скоро пройдет.

Отвечая на вопрос, который она задала ему вначале, и как будто только что услышав его, он сказал:

– Я молился страдальцу, который там, на небесах.

И мысленно добавил: «За страдальцу, которая здесь, на земле».

Ночь и утро Мадлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал:

– Вы много выстрадали, бедная мать. О, не сетуйте, ваш удел – удел избранных! Именно таким путем люди создают ангелов. Люди не виноваты: они не умеют делать это по-иному. Тот ад, из которого вы вышли, – начало рая. Пройти через него было необходимо.

Он глубоко вздохнул. А она улыбалась ему своей особенной улыбкой, которой недостаток двух передних зубов придавал высшую красоту.

Этой же ночью Жавер написал письмо. Утром он сам сдал это письмо в почтовую контору Монрейля – Приморского. Оно было адресовано в Париж, надпись на конверте гласила: «Господину Шабулье, секретарю префекта полиции». Так как происшествие в полицейском участке получило широкую огласку, почтмейстерша и еще несколько человек, видевшие письмо до того, как оно было отправлено, и узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке.

Мадлен поспешил написать супругам Тенардь. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал триста, с тем чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на

остальные немедленно привезли ребенка в Монрейль – Приморский, где его ожидает больная мать.

Тенардые был потрясен.

– Черт побери, – сказал он жене, – мы не выпустим из рук ребенка. Вот когда эта пичуга превратится в дойную корову! Я догадываюсь, в чем тут дело. Какой-нибудь простофиля втюрился в мамашу.

Он прислал в ответ искусно составленный счет на пятьсот с чем-то франков. В этом счете фигурировали два других неоспоримых счета, один от врача, другой от аптекаря, которые лечили и снабжали лекарствами Эпонину и Азельму, перенесших длительную болезнь. А Козетта, как мы уже говорили, была здорова. Пришлось сделать лишь маленькую подтасовку имен. Под счетом Тенардые приписал: «Получено в счет долга триста франков».

Мадлен немедленно послал еще триста франков и написал: «Поскорее привезите Козетту».

– Черта с два! – сказал Тенардые. – Нет, мы не выпустим из рук ребенка.

Между тем Фантина все не поправлялась. Она по-прежнему лежала в больнице.

Вначале сестры приняли «эту девку» и ухаживали за ней с брезгливым чувством. Кто видел барельефы в Реймском соборе, тот помнит, как презрительно оттопырены губы дев мудрых, взирающих на дев неразумных. Это извечное презрение весталок к блудницам вытекает из чувства женского достоинства. Сестры оказались во власти этого глубочайшего инстинкта, еще усиленного в них набожностью. Однако Фантина очень быстро обезоружила их. Все ее слова были проникнуты кротостью и смирением, страстная материнская любовь невольно смягчала сердце. Однажды сестры услышали, как она громко бредила в жару:

– Я была грешницей, но когда ко мне вернется мое дитя, это будет означать, что бог простил меня. Пока я вела дурную жизнь, мне не хотелось, чтобы моя Козетта была со мной, я не могла бы вынести ее удивленного и грустного взгляда. Но ведь я грешила ради нее, вот почему бог прощает меня. Когда Козетта будет здесь, я почувствую на себе благословение божие. Я взгляну на нее, и при виде этого невинного создания мне станет легче. Она ничего еще не знает. Понимаете, сестрицы? Ведь это ангел. Пока они такие маленькие, крылышки у них не опадают.

Мадлен навещал ее два раза в день, и всякий раз она спрашивала его:

– Скоро я увижу мою Козетту?

Он отвечал:

– Возможно, что завтра утром. Я жду ее приезда с минуты на минуту.

Бледное лицо матери сияло.

– О, как я буду счастлива! – говорила она.

Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее как будто ухудшалось с каждой неделей. Этот ком снега, попавший ей на голую спину между лопаток, вызвал внезапное исчезновение испарины, и болезнь, назревавшая в ней в течение нескольких лет, вдруг разразилась с необычайной силой. В то время при исследовании и лечении грудных болезней уже начинали руководствоваться полезными советами Лаэнека. Врач выслушал Фантину и покачал головой.

Мадлен спросил врача:

– Ну как?

– У нее, кажется, есть ребенок, которого она хочет видеть? – вопросом на вопрос ответил врач.

– Да.

– Так поторопитесь с его приездом.

Мадлен вздрогнул.

Фантина спросила у него:

– Что сказал врач?

Сделав над собой усилие, Мадлен улыбнулся.

– Он сказал, что надо поскорее послать за вашим ребенком и что это вылечит вас.
– О да! – воскликнула она. – Он прав. Почему только Тенардье так долго держат у себя мою Козетту? Но она приедет. О, наконец-то счастье близко, оно тут, я уже вижу его! Тенардье, однако, «не выпускал ребенка из рук» и все увиливал. То Козетта не совсем здорова и нельзя ей пускаться в путь зимой. То ему надо получить в деревне мелкие просроченные долги и т. д., и т. д.
– Я пошлю кого-нибудь за Козеттой, – сказал Мадлен – А если понадобится, поеду сам. Под диктовку Фантины он написал следующее письмо, которое дал ей подписать:

«Господин Тенардье!

Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Остаюсь уважающая вас

Фантина».

Тем временем произошло важное событие. Тщетно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу – нашу жизнь. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхности.

Глава вторая.

Каким образом Жан может превратиться в Шана

Однажды утром, когда Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монфермейль, ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жавер. Услышав это имя, Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер избегал его более чем когда-либо, и с тех пор Мадлен ни разу его не видел.

– Пусть войдет, – сказал он.

Жавер вошел.

Мадлен продолжал сидеть у камина, с пером в руке, не поднимая глаз от папки с протоколами о нарушении порядка на общественных дорогах, которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он не переменил позы. Он невольно вспомнил о бедной Фантине и счел уместным проявить холодность.

Жавер почтительно поклонился г-ну мэру, который сидел к нему спиной. Мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах.

Жавер сделал два-три шага вперед и молча остановился.

Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у цивилизации, это странное сочетание римлянина, спартамца, монаха и солдафона, этого неспособного на ложь шпиона и непорочного сыщика, – физиономист, которому была бы известна его затаенная и давняя ненависть к Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фантины, непременно сказал бы себе, наблюдая Жавера в эту минуту: «Что-то случилось». Всякому человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы, ни гнева, ни подозрительности; он остановился в нескольких шагах от мэра, за его креслом, и теперь стоял почти навтыжку с непритворным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением; полный непоказного смирения и спокойной покорности, он ждал без единого

слова и жеста, когда г-ну мэру угодно будет обернуться, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем угадать, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние.

Наконец мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил:

– Ну! Что такое? В чем дело, Жавер?

Жавер молчал, словно собираясь с мыслями, потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простодушия:

– Дело в том, господин мэр, что совершено преступление.

– Какое?

– Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу и притом самым грубым образом. Считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения.

– Кто этот низший чин администрации? – спросил Мадлен.

– Я, – сказал Жавер.

– Вы?

– Я.

– А кто же то должностное лицо, которое имеет основания быть недовольным этим низшим чином?

– Вы, господин мэр.

Мадлен приподнялся. С суровым видом, по-прежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал:

– Господин мэр! Я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения.

Мадлен в изумлении хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его:

– Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам. Но этого недостаточно. Подать в отставку – это почетно. Я совершил проступок, я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали.

Помолчав, он добавил:

– Господин мэр! В прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо.

– Да почему? За что? – вскричал Мадлен. – Что за вздор! Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступление? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили...

– Выгнали, – поправил его Жавер.

– Хорошо, выгнали. Пусть будет так. Но я не понимаю...

– Сейчас поймете, господин мэр. Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально:

– Господин мэр! Полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас.

– Донесли?

– Да. В полицейскую префектуру Парижа.

Мадлен, смеявшийся почти так же редко, как Жавер, вдруг рассмеялся.

– Как на мэра, вмешавшегося в распоряжения полиции?

– Нет, как на бывшего каторжника.

Мэр сделался бледен, как полотно.

Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал:

– Я думал, что это так. У меня давно уже были подозрения Сходство, справки, которые вы навели в Фавероле, ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком

Фошлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, что-то еще... всякие мелочи! Так или иначе, я принимал вас за некоего Жана Вальжана.

– За... Как вы его назвали?

– За Жана Вальжана Это каторжник, которого я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на тулонских галерах. Говорят, что по выходе из острога Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение – ограбил на большой дороге маленького савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его разыскивали. Я и вообразил себе... Словом, я это сделал. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру.

Мадлен уже несколько минут снова занимался своими протоколами; тут он спросил с выражением полнейшего равнодушия:

– И что же вам ответили?

– Что я сошел с ума.

– Ну?

– Ну, и они были правы.

– Хорошо, что вы сами это сознаете!

– Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся.

Листок бумаги, который держал Мадлен, выскользнул у него из рук; он поднял голову, пристально посмотрел на Жавера и сказал с непередаваемым выражением:

– Ах, вот как!

Жавер продолжал:

– Вот как это было, господин мэр. Говорят, что в нашем округе, возле Альи – Высокая – Колокольня, жил старикашка по имени Шанматье. Это был настоящий голяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно, нынешней осенью, дядю Шанматье арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им у... впрочем, это неважно. Там имели место кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматье поймали с поличным: ветка яблони так и осталась у него в руке. Негодяя сажают в кутузку. Пока что дело пахло исправительным домом, не больше. Но тут-то и вмешивается провидение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой самой аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право, за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот, господин мэр, не успел этот Шанматье войти туда, как Бреве закричал: «Эге! Я знаю этого человека. Это старый острожник. Погляди-ка на меня, дружище! Ты – Жан Вальжан!...» – «Жан Вальжан? Какой Жан Вальжан?» – Шанматье прикидывается удивленным. «Не валяй дурака, – говорит Бреве, – Ты – Жан Вальжан! Двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне. И я был там вместе с тобой». Шанматье отпирается. Еще бы! Вы, конечно, понимаете почему! Начинается расследование. Раскапывают всю эту историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шанматье был подрезальщиком деревьев в разных местах, в том числе в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где, по его словам, он был тележником и где у него дочь-прачка, что не доказано, и, наконец, он появляется в этих краях. Ну-с, кем же б+л Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. При крещении Вальжану было дано имя Жан, а его мать носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе с каторги он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан Матье. Он отправляется в Овернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан Матье. Наш приятель не возражает, и вот вам – Шанматье! Вы следите за моим рассказом? Навели справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там уже не оказалось. Где она, неизвестно.

Знаете, среди людей этого класса нередко исчезновения целого семейства. Вы ищете, но его уже и след простыл. Если эти люди не грязь, то они – пыль. От начала этих событий прошло тридцать лет, и в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жана Вальжана. Обращаются за справками в Тулон. Кроме Бреве, остались только два каторжника, которые когда-то видели Жана Вальжана. Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпай и Шенильдье. Их выписывают с каторги и привозят в Аррас. Устраивают им очную ставку с так называемым Шанматье. У них нет сомнений, Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст – ему пятьдесят четыре года, тот же рост, та же наружность, – словом, тот же человек, тот самый. Как раз в это время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан Вальжан находится в Аррасе в руках полиции. Вы понимаете, как это удивило меня? Ведь я-то считал, что этот Жан Вальжан здесь и что я держу его в руках! Я написал судебному следователю. Он вызвал меня, мне показали Шанматье...

– И что же? – прервал его Мадлен.

Лицо Жавера, не умевшего лгать, было печально, Он ответил:

– Господин мэ! Правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек, несомненно, Жан Вальжан. Я тоже узнал его.

– Вы уверены в этом? – спросил Мадлен очень тихо.

Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте.

– Еще бы!

Задумавшись, он машинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе, мелкий песок для просушки чернил, затем добавил:

– И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, как я мог думать иначе. Простите меня, господин мэ.

Обращая эти значительные, молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех: «Ступайте!», Жавер, этот высокомерный человек, был сейчас, сам того не сознавая, исполнен простоты и достоинства. Мадлен ответил на его просьбу следующим внезапным вопросом:

– А что говорит этот человек?

– Да что уж, господин мэ, его дело плохо! Если это Жан Вальжан, тут рецидив.

Перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок – для ребенка это шалость, для взрослого проступок, для каторжника преступление. Это кража, и притом за оградой владений. Тут уж пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. А тут еще история с маленьким савояром, которая, надеюсь, всплывет. Черт побери, тут есть от чего открещиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан – хитрая бестия! Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься, стал бы бесноваться, кричать – и котелок закипает, когда ставишь его на огонь, – другой не согласился бы стать Жаном Вальжаном и так далее и тому подобное. А этот делает вид, что ничего не понимает, и говорит: «Я Шанматье, я не был на каторге!» Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупицу, и это куда умнее. О, это ловкая шельма! Ну да все равно, доказательства налицо. Его опознали четыре человека. Старый мошенник будет осужден. Дело передано в аррасский суд! Я еду туда. Меня вызывают свидетелем.

Между тем Мадлен, снова повернувшись к письменному столу, спокойно разбирал бумаги, читая их – и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу:

– Ну, довольно, Жавер. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Вот что, Жавер, немедленно сходите к тетушке Бюзопье, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольв, и скажите ей, чтобы она подала

жалобу на возчика Пьера Шенелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой ее и ее ребенка. Он должен понести наказание. Затем пойдите к господину Шарселе – улица Монтр-де-Шампиньи. Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене ле Босе на улице Гаро – Блан, и составьте протоколы. Впрочем, я даю вам слишком много поручений. Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать? Если не ошибаюсь, вы сказали, что дней через восемь или через десять едете в Аррас по этому делу?..

– Нет, господин мэр, раньше.

– Когда же?

– По-моему, я уже говорил вам, господин мэр: дело разбирается в суде завтра, я еду сегодня с вечерним дилижансом.

Мадлен сделал едва уловимое движение.

– И сколько времени оно продлится?

– Самое большее – день. Приговор будет вынесен не позже чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показание и сейчас же вернусь.

– Хорошо, – сказал Мадлен и жестом отпустил Жавера.

Однако Жавер не уходил.

– Господин мэр! – сказал он.

– Что еще? – спросил Мадлен.

– Господин мэр! Мне остается напомнить вам об одном обстоятельстве.

– О каком?

– О том, что я должен быть уволен со службы.

Мадлен встал.

– Жавер! Вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это оскорбление касается только меня. Жавер! Вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте.

Жавер взглянул на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала его немудрая, но чистая и неподкупная совесть, и спокойно возразил:

– Я не могу согласиться с вами, господин мэр.

– Повторяю, это касается только меня, – сказал Мадлен.

Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал:

– Я же ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас. Но это еще ничего. Подозревать – наше право, право полиции: хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, – в этом, пожалуй, кроется уже некоторое беззаконие. Но вот, не имея доказательств, в порыве гнева, из мести, я донес на вас как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо! Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть! Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я счел бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. И что же? – спросите вы. Так вот, послушайте, господин мэр, еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг. По отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь я не оказался строг по отношению к самому себе, все то справедливое, что я делал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. Как! Значит, я был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком! Но в таком случае все те, которые говорят: «Что за подлец этот Жавер!», оказались бы правы! Господин мэр! Я не хочу, чтобы вы были добры ко мне; ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и мне, Жаверу, она не нужна. Доброта, которая отдает предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху, – такую доброту я считаю дурной добротой.

Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Боже мой! Быть добрым очень легко, быть справедливым – вот что трудно! Окажись вы тем, за кого я вас принимал, – ого! я бы уж не был добр с вами; вы бы тогда увидели! Господин мэ́р! Я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодяями, я часто повторял себе: «Смотри у меня! Если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди!» И вот я споткнулся, я сам совершил промах. Ну что ж! Уволен, прогнан, вышвырнут! Поделом! У меня есть руки, пойду землю пахать, ни от какой работы не откажусь. Господин мэ́р! Интересы службы требуют, чтобы был показан пример. И я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера.

Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадежным и убежденным тоном, придававшим своеобразное величие этому необычному поборнику чести.

– Посмотрим, – проговорил Мадлен и протянул ему руку.

Жавер отступил и произнес непримиримо суровым тоном:

– Прошу прощения, господин мэ́р, но это недопустимо. Мэ́р не подает руки доносчику.

– Да, доносчику! – добавил он сквозь зубы. – С той минуты, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик.

Тут он низко поклонился и направился к выходу.

В дверях он обернулся и сказал, по-прежнему не поднимая глаз:

– Господин мэ́р! Я не оставлю службы до тех пор, пока не назначат заместителя.

Он вышел. Мадлен долго сидел в задумчивости, прислушиваясь к твердым и уверенным шагам, постепенно затихавшим на каменных плитах коридора.

Книга седьмая Дело Шанматье

Глава первая. Сестра Симплиция

Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монрейле – Приморском, но и то небольшое, что проникло туда, оставило в этом городе такое яркое воспоминание, что в нашей книге оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них во всех подробностях.

Среди этих подробностей читатель встретит обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине.

После посещения Жавера, около полудня, Мадлен, как обычно, отправился навестить Фантину.

Прежде чем войти в ее палату, он вызвал к себе сестру Симплицию.

Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры милосердия, лазаристками. Одну из них звали сестра Перепетуя, другую – сестра Симплиция.

Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в услужение к богу, как она поступила бы на всякое другое место. Она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно: и капуцина и урсулинку. Деревенщину обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто; волопас становится кармелитом без особых затруднений; невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготавливает почву для сближения и сразу уравнивает сельского жителя с монахом. Блуза пошире ват вам и ряса.

Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня родом из Марин близ Понтуаза; дерзкая, честная и краснощекая, она говорила на языке простонародья, бормотала псалмы, брюзжала, подслащивала лекарственный отвар, в зависимости от степени ханжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих, приставала к ним с господом богом и сердито глушила их агонию молитвами.

Сестра Симплиция была бела чистейшей белизною воска. Рядом с сестрой Перепетуей она напоминала восковую свечу, стоящую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слиты воедино безграничная свобода и полное порабощение: «Не будет у них иной обители – кроме больницы, иной кельи – кроме угла, сдающегося внаем, иной часовни – кроме приходской церкви, иного монастырского двора – кроме улицы города или же больничной палаты, иной ограды – кроме послушания, иной решетки – кроме страха божия, иного покрывала – кроме скромности». Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал, сколько сестре Симплиции лет; она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особа – мы не смеем сказать «женщина» – кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная, не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кротка, что казалась хрупкой, и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными. От ее речей словно веяло тишиной; она говорила ровно столько, сколько было необходимо; звук ее голоса в одинаковой степени мог бы наставить грешника в исповедальне и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о боге. Подчеркнем одну особенность. Полная неспособность лгать, полная неспособность сказать, даже по необходимости, даже невольно, что бы то ни было, не соответствующее истине, – такова была отличительная черта характера сестры Симплиции, такова была высшая ее добродетель. Эта непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Масье. «Как бы искренни, как бы чисты мы ни были, в нашей правдивости всегда можно найти трещинку – трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции». Мелкая ложь, невинная ложь – да полно, существует ли она! Ложь – это воплощение зла. Солгать чуть-чуть – невозможно; тот, кто лжет, лжет до конца; ложь-это олицетворение дьявола; у Сатаны есть два имени: он зовется Сатаной, и он зовется Ложью. Так думала она. И как думала, так и поступала. Отсюда и происходила та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, – белизна, сияние которой распространялось даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка, у нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен – Венсен де Поль, она приняла имя Симплиции, и выбор ее был не случаен. Как известно, Симплиция Сицилийская – это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракуз, не согласилась сказать, что родилась в Сежесте, хотя эта ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души.

У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась: она питала пристрастие к лакомствам и любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом полатыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник.

Благочестивая девушка привязалась к Фантине, очевидно, чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней.

Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и каким-то странным тоном, который припомнился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине.

Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине.

Фантина каждый день ждала появления Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость. Она говорила сестрам: «Я только тогда в живу, когда приходит господин мэр».

В этот день ее сильно лихорадило. Увидев Мадлена, она сейчас же спросила:

– А Козетта?

– Скоро, – ответил он, улыбаясь.

Мадлен держал себя с Фантиной как обычно. Только вместо получаса он, к великому удовольствию Фантины, просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должна нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо: «Ей значительно хуже».

Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры.

Глава вторая.

Проницательность дядюшки Скофлера

Из мэрии он направился на другой конец города, к некоему фламандцу Скауфлеру, а на французский лад – Скофлеру, который отдавал внаем лошадей и «кабриолеты по желанию». Чтобы кратчайшим путем добраться до этого Скофлера, надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал Мадлен. По слухам, священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при случае подать добрый совет. В ту минуту, когда Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее: уже миновав дом священника, г-н мэр остановился, постоял, потом вернулся и дошел до ворот этого дома; в воротах была калитка с железным стукальцем; он быстро взялся за стукальце и приподнял его, потом снова остановился и как бы замер в раздумье, однако по прошествии нескольких секунд, вместо того чтобы громко постучать, он тихонько опустил стукальце и пошел дальше с поспешностью, какой до того не обнаруживал.

Мадлен застал Скофлера дома, за починкой сбруи.

– Дядюшка Скофлер! – сказал он. – Есть у вас хорошая лошадь?

– У меня все лошади хорошие, господин мэр, – возразил фламандец. – Что значит, по-вашему, «хорошая лошадь»?

– Такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день.

– Черт возьми! – воскликнул фламандец. – Двадцать лье!

– Да.

– Запряженная в кабриолет?

– Да.

– А сколько времени она будет отдыхать после такого конца?

– Если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день.

– И проделать такой же путь?

– Да.

– Черт возьми! Черт возьми! Как вы сказали? Двадцать лье?

Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламандцу. Это были цифры: пять, шесть и восемь с половиной.

– Видите? – сказал он. – Всего девятнадцать с половиной, то есть все равно, что двадцать лье.

– Господин мэр, – сказал фламандец – У меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. Вам, наверно, случалось ее видеть. Это коняшка из нижнего Булоне. Горяча, как огонь.

Сперва ее думали объездить под седло – куда там! Брыкается, скидывает на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней и делать. Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этого-то ей и надо было. Послушна, как овечка, быстра, как ветер. Дело в том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Везти – согласна, нести на себе – ни за что. Видно, уж так она про себя и порешила.

– И она пройдет такое расстояние?

– Пройдет все ваши двадцать лье. Крупной рысью и меньше, чем за восемь часов, но только при некоторых условиях.

– При каких же?

– Во-первых, на полдороге вы дадите ей часок передохнуть; она поест, и пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоялого двора не отсыпал у нее овса, а то я заме» чал, что на постоянных дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают.

– За этим последят.

– Во-вторых... А что, этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр?

– Да.

– А умеет ли господин мэр править?

– Умею.

– Хорошо, но только, господин мэр, вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь.

– Согласен.

– Но послушайте, господин мэр, ведь если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой.

– Об этом мы уже договорились.

– Я возьму с вас тридцать франков в сутки. Простойные дни оплачиваются так же. Ни на грош меньше, и прокорм коня за ваш счет, господин мэр.

Мадлен вынул из кошелька три наполеондора и положил их на стол.

– Вот вам за два дня вперед.

– А в-четвертых, для такого конца кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем маленьком тильбюри.

– Согласен.

– Экипаж легкий, но открытый.

– Это мне безразлично.

– Но подумали ли вы, господин мэр, о том, что у нас зима?

Мадлен не ответил.

– И что стоят холода? – продолжал фламандец. Мадлен хранил молчание.

– И что может пойти дождь?

Мадлен поднял голову и сказал:

– Завтра, в половине пятого утра, тильбюри вместе с лошадью должны стоять у моих дверей.

– Слушаю, господин мэр, – ответил Скофлер; потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно на деревянном столе, добавил тем равнодушным тоном, каким фламандцы так искусно прикрывают хитрость: – Да! Только сейчас вспомнил! Ведь господин мэр еще не сказал, куда едет. Куда это вы едете, господин мэр?

Он только об этом и думал с самого начала разговора, но, сам не зная почему, не решался задать этот вопрос.

– Надежны ли передние ноги у вашей лошади? – спросил Мадлен.

– О да, господин мэр! Только придерживайте ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге отсюда до вашего места?

– Не забудьте: надо быть у моих дверей точно в половине пятого утра, – ответил Мадлен и вышел.

Фламандец остался «в дураках», как он сам признавался впоследствии.

Не прошло и двух-трех минут после ухода мэра, как дверь отворилась снова, это был мэр.

У него был все тот же бесстрастный и задумчивый вид.

– Господин Скофлер! – спросил он. – Во сколько вы цените лошадь и тильбюри?

– А разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня?

– Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги. Во сколько вы цените кабриолет и лошадь?

– В пятьсот франков, господин мэр.

– Вот они.

Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и уже не вернулся.

Скофлер горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков. Впрочем, лошадь вместе с тильбюри стоила не больше ста экю.

Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. Куда бы, черт возьми, мог ехать господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос.

– Он едет в Париж, – сказала жена.

– Не думаю, – возразил муж.

Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и начал внимательно исследовать.

– Пять, шесть, восемь с половиной. Да это, должно быть, расстояние между почтовыми станциями! Он обернулся к жене.

– Понял.

– Ну?

– Пять миль отсюда до Эсдена. шесть от Эсдепа до Сен – Поля, восемь с половиной от Сен-Поля до Арраса. Он едет в Аррас.

Тем временем Мадлен вернулся домой. Обрато он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение и он хотел избежать его. Он поднялся в свою комнату и заперся там, что было в порядке вещей: он любил рано ложиться. Тем не менее фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого, и сказала об этом возвращавшемуся домой кассиру, добавив:

– Уж не захворал ли господин мэр? Он был сегодня не такой, как всегда.

Комната кассира приходилась как раз под комнатой Мадлена. Кассир не обратил на слова привратницы никакого внимания, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся: сквозь сон он услышал над головой какой-то шум. Он прислушался. Это были шаги: казалось, кто-то ходил взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги Мадлена. Это удивило его: обычно в спальне Мадлена было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира снова донесся какой-то звук, похожий на стук открывшейся и снова захлопнувшейся дверцы шкафа. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина – и снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни Мадлена. Отблеск дрожал; казалось, его отбрасывала не лампа, а скорее топящийся камин. Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что окно было широко открыто. При таком холоде открытое окно вызывало недоумение. Кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся. Те же медленные, размеренные шаги раздавались над его головой.

Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было по-прежнему открыто.

Вот что происходило в комнате Мадлена.

Глава третья.

Буря в душе

Читатель, вероятно, догадался, что Мадлен был не кто иной, как Жан Вальжан.

Мы уже однажды заглядывали в тайники этой совести; пришел час заглянуть в нее еще раз. Приступаем к этому не без волнения и не без трепета. Ничто в мире не может быть ужаснее такого рода созерцания. Духовное око никогда не найдет света ярче и мрака глубже, чем в самом человеке; на что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее. Есть зрелище более величественное, чем море, – это небо; есть зрелище более величественное, чем небо, – это глубь человеческой души.

Создать поэму человеческой совести, пусть даже совести одного человека, хотя бы и ничтожнейшего из людей – это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Совесть – это хаос химер, вожделений и дерзаний, горнило грез, логовище мыслей, которых он сам стыдится, это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей. Попробуйте в иные минуты проникнуть в то, что кроется за бледным лицом человеческого существа, погруженного в раздумье, и загляните вглубь, загляните в эту ушу, загляните в этот мрак. Там, под видимостью спокойствия, происходят поединки гигантов, как у Гомера, схватки драконов с гидрами, там сонмища призраков, как у Мильтона, и фантазмагорические круги, как у Данте. Как темна бесконечность, которую каждый человек носит в себе и с которою в отчаянье он соразмеряет причуды своего ума и свои поступки. Алигьери встретил однажды на своем пути зловещую дверь, перед которой он заколебался. Перед нами сейчас такая же дверь, и мы стоим в нерешимости на пороге. Войдем однако ж. Нам осталось немного добавить к тому, что уже знает читатель о судьбе Жана Вальжана после его встречи с Малышом Жерве. Как мы видели, с этой минуты он стал другим человеком. Он стал таким, каким его хотел сделать епископ. Произошло нечто большее, чем превращение, – произошло преобразование.

Он сумел исчезнуть, продал серебро епископа, оставив себе лишь подсвечники – как память; незаметно перебираясь из города в город, он исколесил всю Францию, попал в Монрейль – Приморский, и здесь ему пришла в голову счастливая мысль, о которой мы уже говорили, он совершил то, о чем мы уже рассказали, ухитрился стать неуловимым и недоступным, и, обосновавшись в Монрейле – Приморском, счастливый сознанием, что совесть его печалится лишь о прошлом и что первая половина его существования уничтожается второю, зажил мирно и покойно, полный надежд, затаив в душе лишь два стремления: скрыть свое имя и освятить свою жизнь; уйти от людей и возвратиться к богу.

Эти два стремления так тесно переплелись в его сознании, что составляли одно; оба они в равной степени поглощали все его существо и властно управляли малейшими его поступками. Обычно они дружно руководили его поведением: оба побуждали его держаться в тени, оба учили быть доброжелательным и простым, оба давали одни и те же советы. Бывало, однако ж, что между ними возникал разлад. И в этих случаях, как мы помним, человек, которого во всем Монрейле – Приморском и его окрестностях называли г-ном Мадленом, не колеблясь жертвовал первым ради второго, жертвовал своей безопасностью ради добродетели. Так, например, вопреки всякой осторожности и всякому благоразумию, он хранил у себя подсвечники епископа, открыто носил по нем траур, он расспрашивал всех появлявшихся в городе маленьких савояров, наводил справки о семьях, проживающих в Фавероле, и спас жизнь старику Фошлевану, несмотря на внушающие тревогу намеки Жавера. Очевидно, руководясь примером мудрецов, святых и праведников, он считал, – мы уже об этом упоминали, – что в первую очередь следует заботиться о благе ближнего, а потом уже о своем собственном.

Правда, надобно заметить, что никогда еще с ним не случилось чего-либо подобного тому, что произошло сейчас. Никогда еще два помысла, управлявшие жизнью несчастного человека, о страданиях которого мы рассказываем, не вступали в столь жестокую борьбу между собою. Он смутно, но глубоко ощутил это после первых же слов, которые произнес Жавер, войдя в его кабинет. В то мгновение, когда было названо имя, погребенное им в такой непроницаемой тьме, он впал в оцепенение и словно опьянел от роковой своенравности своей судьбы, но вскоре его пронизала дрожь, которая предшествует сильным потрясениям; он склонился, как дуб под напором урагана, как солдат под натиском врага. Он чувствовал, как нависают над его головой тучи, несущие в себе громы и молнии. Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было идти, бежать, донести на себя, освободить Шанматье из тюрьмы и сесть самому; эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули по живому телу; но потом она исчезла, и он сказал себе: «Нет! Нет! Что я!» Он подавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом.

Разумеется, было бы чудесно, если бы после святых напутствий епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, так прекрасно начав искупление, этот человек ни на миг не дрогнул даже пред лицом столь ужасного стечения обстоятельств и продолжал все той же твердой поступью идти к разверстой бездне, в глубине которой сияло небо; это было бы прекрасно, но этого не случилось. Мы обязаны дать здесь полный отчет о том, что свершалось в этой душе, и должны говорить лишь то, что имело место в действительности. В первую минуту инстинкт самосохранения одержал в ней верх над всеми другими чувствами: Мадлен собрался с мыслями, подавил волнение, подумал о Жавере и о сопряженной с этим опасности; с решимостью отчаянья, отложив решение вопроса, он постарался отвлечься от того, что предстояло сделать, и призвал свое спокойствие, – так борец подбирает с земли щит, выбитый у него из его рук.

Остаток дня он провел в том же состоянии: вихрь в душе, внешне – полное бесстрашие; он только принял так называемые «предварительные меры». Все было еще беспорядочно и неопределенно в его мозгу; смятение, царившее там, было настолько сильно, что ни одна мысль не имела отчетливой формы, и он мог бы сказать про себя одно – что ему нанесен жестокий удар.

Он, как обычно, отправился в больницу навестить Фантину и, движимый инстинктом доброты, затянул свое посещение, решив, что должен поступить так и попросить сестер хорошенько позаботиться о ней, если бы ему пришлось отлучиться. Смутно предчувствия, что, может быть, ему придется поехать в Аррас, но далеко еще не решившись на эту поездку, он сказал себе, что, будучи вне всяких подозрений, беспрепятственно может присутствовать в суде при разборе дела, и заказал у Скофлера тильбюри, чтобы на всякий случай быть готовым.

Пообедал он с аппетитом.

Придя к себе, он стал размышлять.

Он вдумался в положение вещей и наше ч его чудовищным, до такой степени чудовищным, что вдруг под влиянием почти необъяснимого чувства тревоги, встал и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы еще что-нибудь не вторглось к нему. Он ограждал себя от возможного.

Еще через минуту он задул свечу. Свет смущал его.

Ему казалось, что кто-то может его увидеть. – Кто же был этот «кто-то»?

Увы! То, что он хотел прогнать, вошло в комнату; то, что он хотел ослепить, смотрело на него. То была его совесть.

Его совесть, иначе говоря – бог.

Однако в первую минуту ему удалось обмануть себя: его охватило чувство безопасности и одиночества; заперев дверь на задвижку, он счел себя неприступным; погасив свечу, он счел

себя невидимым. Он овладел собой и, облокотившись на стол, закрыв лицо руками, начал думать во мраке.

«Что же случилось? Не сплю ли я? Что же это мне сказали? Правда ли, что я видел Жавера и что он так говорил со мной? Кто такой Шанматье? Говорят, он похож на меня. Неужели? Подумать только, что еще вчера я был так спокоен и ничего не подозревал. Что я делал вчера в это время? Чем мне грозит это происшествие? Чем оно кончится? Как быть?»

Вот такая буря бушевала в его душе. Мозг его утратил способность удерживать мысли, они убегали, как волны, и он обеими руками сжимал лоб, чтобы остановить их.

Ураган, потрясавший его волю и рассудок, ураган, во время которого он пытался отыскать просвет и принять решение, рождал лишь мучительную тревогу.

Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе не было ни одной звезды. Он вернулся к столу и сел на прежнее место.

Так прошел первый час.

Однако расплывчатые очертания его мыслей постепенно стали принимать более определенные, более устойчивые формы, и ему удалось представить себе в истинном свете свое положение если не в целом, то хотя бы в деталях.

И прежде всего он понял, что, несмотря на всю исключительность и всю рискованность этого положения, он оставался полным его хозяином.

Но это открытие только усилило его растерянность.

Независимо от суровой и священной цели, направлявшей его поступки, все, что он делал до сего дня, было лишь ямой, которую он рыл для того, чтобы похоронить в ней свое имя. В часы глубокой сосредоточенности, в бессонные ночи он больше всего боялся одного – услышать когда-нибудь, как произнесут его имя; он говорил себе, что эта минута будет означать конец всему, что в день, когда снова раздастся это имя, рассыплется в прах его новая жизнь и – кто знает? – быть может, и его новая душа. Он содрогался при одной мысли, что это возможно. Право, если бы в одну из таких минут кто-нибудь сказал ему, что придет час, когда это имя вновь прозвучит в его ушах, когда эти омерзительные два слова – «Жан Вальжан», внезапно выплыв из мрака, встанут перед ним, что этот грозный свет, предназначенный рассеять тайну, которой он себя окружил, блеснет вдруг над его головой, но лишь сгустит эту тьму; что это имя уже не будет для него угрозой, что эта разорванная завеса лишь углубит тайну, что это землетрясение лишь упрочит фундамент его здания, что в результате этого ужасного происшествия его жизнь станет, если он того захочет, более светлой и в то же время более непроницаемой и что после сличения с призраком Жана Вальжана добрый, почтенный «господин Мадлен» окажется еще более уважаемым, более почитаемым и более спокойным, чем прежде, – если бы кто-нибудь сказал ему это, он бы покачал головой и счел эти слова бессмыслицей. И вот все это случилось на самом деле; все это нагромождение невероятностей стало фактом, бог допустил, чтобы этот бред превратился в действительность.

Мысли его прояснились. Он все более и более отчетливо представлял себе свое положение.

Ему казалось, что он пробудился от какого-то страшного сна и теперь, среди ночи, скользит, дрожа и тщетно силясь удержаться, по откосу, на самом краю бездны. И он ясно различал во мраке незнакомого, чужого человека, которого рок принимал за него и толкал в пропасть.

Для того, чтобы пропасть снова закрылась, кто-то из них неизбежно должен был упасть в нее – либо он сам, либо тот, другой.

От него требовалось одно: не мешать судьбе.

Теперь в его сознании воцарилась полная ясность, и он сказал себе, что место его на галерах пусто, что оно все время ждет его, независимо ни от чего, что ограбление Малыша Жерве должно привести его туда, что это пустое место будет ждать его и притягивать к себе до тех пор, пока он его не займет, что это неминуемо и неизбежно. И еще он сказал себе, что у него нашелся заместитель, что по-видимому, некоему Шанматье выпало на долю это несчастье;

что же касается его самого, то, отбывая каторгу под именем Шанматье и живя в обществе под именем г-на Мадлена, он может отныне быть спокоен, если только сам не вздумает помешать людям обрушить на голову этого Шанматье камень позора, – тот камень, который, подобно могильному камню, раз опустившись, не поднимется никогда.

Все это было так мучительно и так необычно, что в глубине его души вдруг возникло одно из тех неописуемых ощущений, которые человеку дано испытать не более двух-трех раз в жизни, нечто вроде судорог совести, будоражащих все, что есть в сердце неясного, какую-то смесь иронии, радости, отчаянья, – нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать взрывом внутреннего смеха.

Он снова зажег свечу.

«Что же это? – сказал он себе. – Чего мне бояться? Зачем думать об этом? Я спасен. Все кончено. Существовала лишь одна полуоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь; теперь эта дверь замурована, и навсегда! Этот Жавер, который так долго мучил меня, этот опасный инстинкт, который, кажется, разгадал меня – да, наверное, разгадал, можно поклясться в этом! – и преследовал неотступно, эта страшная охотничья собака, которая вечно делала надо мной стойку, наконец-то запуталась, потеряла след и погналась за другой дичью! Отныне Жавер удовлетворен и оставит меня в покое, он поймал Жана Вальжана! Кто знает, быть может, даже он захочет теперь переехать в другой город! И все это совершилось помимо меня! Я тут ни при чем! Да в конце концов что же во всем этом плохого? Честное слово, люди, увидев меня, могли бы подумать, что у меня случилось несчастье! Но ведь если кто и попал в беду, то никак не по моей вине. Это дело рук провидения. Очевидно, такова его воля! Разве я имею право расстраивать то, что устроено им? Так чего же я теперь добиваюсь? Во что собираюсь вмешаться? Ведь это не мое дело. Как? И я еще недоволен? Чего же мне еще надо? Цель, к которой я стремился в течение стольких лет, мечта моих бессонных ночей, то, о чем я молил небо, безопасность, – я достиг ее! Так угодно богу. Я не должен противиться его воле. А почему богу угодно так? Он хочет, чтобы я продолжал начатое, чтобы я творил добро, чтобы в будущем я стал прекрасным, поощряющим примером, наконец, чтобы наложенная на меня епитимья и вновь обретенная мной добродетель дали мне хоть немного счастья! Право, не понимаю, отчего я побоялся зайти к этому славному кюре и, поведав ему все как на исповеди, попросить у него совета. Без сомнения, он сказал бы мне то же самое. Решено, пусть все идет само собой! Пусть все вершит господь!

Так беседовал он со своей совестью, вглядываясь в ее сокровенные глубины, наклонясь над краем того, что можно назвать бездной его души. Он встал со стула и зашагал по комнате.

«Вот что, – сказал он, – довольно думать об этом. Решение принято!»

Но он не испытал при этом ни малейшей радости. Напротив.

Нельзя запретить мысли возвращаться к определенному предмету, как нельзя запретить морю возвращаться к своим берегам. Моряк называет это приливом, преступник – угрызаниями совести. Бог вздымает душу, как океан.

Через несколько секунд он опять, помимо воли, возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать, выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь таинственной силе, которая приказывала ему: «Думай!», как две тысячи лет назад приказала другому осужденному: «Иди!»

Чтобы нас правильно поняли, мы должны, прежде чем продолжать рассказ, сделать одно необходимое замечание.

Люди, конечно, разговаривают сами с собой; нет такого мыслящего существа, с которым бы этого не случалось. Быть может даже, Слово никогда не представляет собой более чудесной тайны, нежели тогда, когда оно, оставаясь внутри человека, переходит от мысли к совести и вновь возвращается от совести к мысли. Только в этом смысле и следует понимать часто встречающиеся в этой главе выражения вроде: «он сказал», «он воскликнул». Мы говорим,

мы беседуем, мы восклицаем в глубине своего «я», не нарушая при этом нашего безмолвия. Все внутри нас в смятении; все говорит за исключением уст. Реальные душевные движения невидимы, неосвязаемы, но тем не менее они реальны.

Итак, он спросил себя: к чему же он пришел? Он задал себе вопрос: что же представляет собой это «принятое решение»? Он признался самому себе, что уловки, допущенные его умом, были чудовищны, что слова «пусть все идет само собой, пусть все вершит господь» ужасны. Допустить ошибку, совершаемую судьбою и людьми, не помешать этому, участвовать в ней своим молчанием, словом, ничего не делать – значит все делать! Это последняя ступень недостойного лицемерия! Это преступление, низкое, подлое, коварное, мерзкое, гнусное!

Впервые за восемь лет несчастный ощутил горький привкус злого умысла и злого дела.

И он с отвращением плюнул.

Он продолжал допрашивать себя. Он сурово спросил, что означали его собственные слова: «Я достиг цели!»? И ответил, что его жизнь действительно имела цель. Но какую? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Неужели ради такой мелочи он сделал все то, что сделал? Разве не было у него иной, высокой, истинной цели? Спасти не жизнь свою, но душу. Снова стать честным и добрым. Быть праведником! Ведь только этого, одного лишь этого всегда хотел он сам, и именно это заповедал ему епископ! Закрывать дверь в прошлое? Боже всемогущий, да разве так он закроет ее? Совершив подобный поступок, он снова откроет ее настежь! Он вновь станет вором, и притом презреннейшим из воров! Он украдет у другого его существование, жизнь, спокойствие, его место под солнцем! Он станет убийцей! Он убьет, убьет душу этого жалкого человека, он обречет его на ужасную смерть заживо, на смерть под открытым небом, которая называется каторгой! И напротив, донести на себя, спасти этого человека, ставшего жертвой роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана – вот это действительно значит завершить свое обновление и навсегда закрыть перед собой двери ада, из которого он вышел. Попав туда физически, он выйдет оттуда морально. Да, он должен сделать это! Если же не сделает – значит, он ничего не сделал! Вся его жизнь окажется бесполезной, покаяние сведется на нет, и ему останется сказать одно: к чему было все, что было? Он почувствовал, что епископ здесь, возле него, что, мертвый, он присутствует тут еще более ощутимо, нежели живой, что он пристально смотрит на него, что отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями станет ему отвратителен, а каторжник Жан Вальжан станет чист и достоин восхищения в его глазах; что все видели его личину, а он, епископ, видит истинное его лицо; что люди видели его жизнь, а он, епископ, видит его совесть. Итак, надо ехать в Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего! Вот она, величайшая из жертв, горчайшая из побед, самое тяжкое из усилий, но – увы! – так надо. Горестный удел! Он может стать праведным перед лицом бога, только опозорив себя в глазах людей!

– Что ж, – сказал он, – надо решиться! Надо исполнить долг! Надо спасти человека!

Он произнес эти слова громко, не заметив, что говорит вслух.

Он собрал свои счетные книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку долговых расписок от нескольких мелких торговцев, находившихся в стесненных обстоятельствах. Он написал письмо, запечатал его, и тот, кто находился бы в комнате в эту минуту, мог бы прочесть: «Г-ну Лафиту, банкиру, улица Артуа, Париж».

Он вынул из ящика бумажник, где лежало несколько банковых билетов и паспорт, с которым он ездил на выборы еще в нынешнем году.

Наблюдая, как, погруженный в глубокое раздумье, он занимался всеми этими делами, никто не мог бы догадаться, что происходило в его душе. Только губы его порой шевелились, да время от времени он вдруг поднимал голову и устремлял пристальный взгляд в какую-

нибудь точку стены, как будто именно там находилось нечто, от чего он ждал ответа и разъяснения.

Кончив письмо к Лафиту, он положил его вместе с бумажником в карман и опять зашагал по комнате.

Мысли его не отклонялись от прежнего направления. Он все так же ясно видел свой долг, начертанный сверкающими буквами, которые пламенели перед его глазами и перемещались вместе с его взглядом: Ступай! Назови свое имя! Донеси на себя!

Еще он видел перед собой, словно ожившими и принявшими осязаемую форму, два помысла, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрыть свое имя, освятить свою душу. Впервые они появились перед ним каждый в отдельности, и он обнаружил разницу между ними. Он понял, что один из них безусловно добрый, тогда как другой мог стать злым; что один означает самоотречение, а другой – себялюбие; что один говорит: ближний, а другой говорит: я; что источник одного свет, а другого – тьма.

Они боролись между собой, и он наблюдал за их борьбой. Он продолжал размышлять, а они все росли перед его умственным взором; они приобрели исполинские размеры, и ему казалось, что в глубине его сознания, в той бесконечности, о которой мы только что говорили, среди проблесков, перемежавшихся с темнотою, некое божество сражается с неким великаном.

Он был исполнен ужаса, но ему казалось, что доброе начало берет верх.

Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута; что епископ отметил первую фазу его новой жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома – великое испытание.

Между тем стихшее на миг лихорадочное возбуждение снова стало овладевать им. В мозгу его проносились тысячи мыслей, но они лишь продолжали укреплять его решение.

Была минута, когда он сказал себе, что, пожалуй, принимает все происходящее слишком близко к сердцу, что, в сущности говоря, этот Шанматье ничего собой не представляет и что как-никак он совершил кражу.

Но он ответил себе: «Если этот человек действительно украл несколько яблок, это грозит месяцем тюрьмы – и только. Отсюда еще далеко до каторги. Да и кто знает, украл ли он? Доказано ли это? Имя Жана Вальжана тяготеет над ним и, видимо, исключает необходимость доказательств. Королевские прокуроры всегда поступают так. Каторжник – значит вор».

Спустя мгновение ему пришла в голову другая мысль; быть может, если он выдаст себя, героизм его поступка и безупречная жизнь в течение семи лет, а также все то, что он сделал для края, будет принято во внимание, и его помилуют.

Однако это предположение тут же исчезло, и он горько улыбнулся, вспомнив, что кража сорока су у Малыша Жерве превращает его в рецидивиста, что это дело, несомненно, всплывет, и, согласно строгой букве закона, его приговорят к бессрочным каторжным работам.

Он отогнал от себя все иллюзии и, отдаляясь все больше от земного, стал искать утешения и силы в другом. Он сказал себе, что надо исполнить свой долг; что, может быть даже, исполнив его, он будет менее несчастен, нежели уклонившись от его исполнения; что если он допустит, чтобы все «шло само собой» и останется в Монрейле – Приморском, уважение, которым его окружают, его добрая слава, его добрые дела, всеобщее почтение и благоговение, его милосердие, богатство, известность, его добродетель – все это будет отравлено горечью преступления; и чего стоили бы все его благие дела, завершающиеся таким гнусным делом! Если же он принесет себя в жертву, то все – каторга, позорный столб, железный ошейник, зеленый колпак, непрерывная работа, беспощадные оскорбления – все будет проникнуто небесной благодатью!

И наконец он сказал себе, что обязан поступить так, что такова его судьба, что не в его власти нарушить то, что предназначено свыше, что, так или иначе, приходится выбирать: либо кажущаяся добродетель и подлинная мерзость, либо подлинная святость и кажущийся позор.

Он не терял мужества, но множество мрачных мыслей утомило его мозг. Он невольно стал думать о другом, о совершенно безразличных вещах.

В висках у него стучало. Он все еще ходил взад и вперед. Пробило полночь – сначала в приходской церкви, потом в ратуше. Он сосчитал двенадцать ударов на тех и других башенных часах и сравнил звук обоих колоколов. Ему вспомнилось, что несколько дней назад он видел у торговца старым железом дряхлый колокол с надписью: «Антуан Альбен из Роменвиля».

Ему стало холодно. Он растопил камин, но не догадался закрыть окно.

Между тем на него снова нашло оцепенение. Он сделал над собой усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробило полночь. Наконец ему это удалось.

«Ах да! – подумал он, – я решил донести на себя».

И вдруг он вспомнил о Фантине.

– Как же так? – сказал он. – А что будет с этой несчастной?

И тут на него снова нахлынули сомнения. Образ Фантины, внезапно всплывший в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменялось.

– Что же это! – воскликнул он. – Ведь до сих пор я принимал в расчет одного себя! Думал лишь о том, что должен делать. Молчать или донести на себя. Укрыть себя или спасти свою душу? Превратиться в достойное презрения, но всеми уважаемое должностное лицо или в опозоренного, но достойного уважения каторжника? Все это относится ко мне, только ко мне, ко мне одному! Но, господи боже, ведь все это себялюбие! Не совсем обычная форма себялюбия, но все же себялюбия! А что, если я немного подумаю и о других? Ведь высшая святость состоит в том, чтобы заботиться о ближнем. Посмотрим, вникнем поглубже. Если исключить меня, вычеркнуть меня, забыть обо мне – что тогда получится из всего этого?

Предположим, я доношу на себя. Меня арестуют, Шанматье выпускают на свободу, меня снова отправляют на каторгу, все это хорошо, а дальше? Что происходит здесь? Да, здесь! Здесь – целый край, город, фабрики, промышленность, рабочие, мужчины, женщины, дети, весь этот бедный люд! Все это создал я, это я дал им всем средства к существованию; где бы только ни дымилась труба, топливо для очага и мясо для котелка даны мною; я создал довольство, торговый оборот, кредит, до меня не было ничего; я пробудил, ободрил, оплодотворил, обогатил весь край, вдохнул в него жизнь; если исчезну я, исчезнет его душа. Если уйду я, все замрет. А эта женщина, которая столько выстрадала, которая стоит так высоко, несмотря на свое падение, и причиной несчастья которой невольно явился я! А этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери! Разве я не обязан что-нибудь сделать и для этой женщины, чтобы искупить зло, причиненное ей мною? Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет. Ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я донесу на себя. Ну, а если я не донесу на себя? Что же будет, если я не донесу на себя? Задав себе этот вопрос, он остановился; на миг им овладела нерешительность, он задрожал; но это длилось недолго, и он спокойно ответил себе:

– Ну что ж, человек этот пойдет на каторгу, это правда, но ведь, черт возьми, он вор!

Сколько бы я ни говорил себе, что он не украл, – он украл! А я, я останусь здесь и буду продолжать начатое. Через десять лет у меня будет десять миллионов, и я раздам их всему краю, – мне самому ничего не надо, на что мне деньги? Все, что я делаю, я делаю не для себя! Общее благоденствие растет, промышленность пробуждается и оживает, заводов и фабрик становится все больше, семьи, сотни семейств, тысячи семейств счастливы!

Население увеличивается, на месте отдельных ферм возникают деревни, на месте голых

пустырей возникают фермы; нужда исчезнет, а вместе с нуждой исчезнут разврат, проституция, воровство, убийство, все пороки, все преступления! И эта бедная мать воспитает своего ребенка! И весь край заживет богато и честно! Да нет, с ума я, что ли, сошел, совсем уж потерял рассудок, что пойду доносить на себя? Право же, надо все обдумать и не ускорять событий. Как? Только потому, что мне хочется разыграть великого и благородного человека – да ведь это в конце концов всего только мелодрама! – только потому, что я думаю лишь о себе, о себе одном и собираюсь спасти от наказания, может быть, чрезмерно сурового, но, в сущности говоря, справедливого, неведомо кого, какого-то вора, какого то негодяя, – должен погибнуть целый край! Несчастливая женщина должна умереть в больнице, а бедная малютка, – как собачонка, на мостовой! Но ведь это чудовищно! И мать даже не увидит своего ребенка! А ребенок так и погибнет, почти не зная матери! И все это ради старого плута и вора, который крадет яблоки и, несомненно, заслужил каторгу, если не этим проступком, то каким-нибудь другим! Хороша же эта совесть, если она спасает преступника и жертвует невинными спасает старого бродягу, которому в конечном счете и жить-то осталось всего несколько лет, которому на каторге к тому же будет лишь немногим хуже, чем в его лачуге, и приносит в жертву население целого края, матерей, жен, детей! Бедняжка Козетта! У нее ведь никого нет в мире, кроме меня, а сейчас она, наверное, посинела от холода в берлоге Тенардье! Какие, должно быть, негодяи эти люди! И я не выполню своего долга по отношению ко всем этим несчастным! Я пойду доносить на себя! Сделаю эту неслыханную глупость! Представим все в худшем свете. Предположим, что в этом поступке кроется нечто дурное и что когда-нибудь совесть упрекнет меня. Пойти для блага других на укоры совести, которые будут мучить меня одного, на дурной поступок, который пятнает только мою душу, – да ведь это и есть самопожертвование, это и есть добродетель.

Он встал и снова зашагал по комнате. На этот раз ему показалось, что он удовлетворен. Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли; истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли. Ему казалось, что, опустившись на самое дно этой мысли, роясь ощупью в этих темных недрах, он, наконец, отыскал один из таких алмазов, одну из таких истин, что он держит ее в руках, и он смотрел на нее, ослепленный ее блеском.

«Да, – думал он, – это так Я на правильном пути. Я нашел решение. Пора на чем-нибудь остановиться. Выбор сделан. Пусть все идет само собой. Не надо больше колебаться, не надо пятиться назад. Этого требуют не мои, а общие интересы Я – Мадлен и останусь Мадленом. Горе Жану Вальжану! Это уже не я. Я не знаю этого человека, ведать о нем не ведаю. Если есть сейчас кто-то, кого зовут Жан Вальжан, пусть устраивается как хочет! Я тут ни при чем. Это роковое имя, реющее среди мрака. И если случится так, что вдруг оно остановится и обрушится на чью-то голову, – что ж, тем хуже для этой головы!»

Он посмотрелся в зеркальце, стоявшее на камине, и сказал:

– Ну вот! Я принял решение, и мне стало легче. У меня теперь совсем другой вид.

Он походил еще немного, потом внезапно остановился.

– Вот что! – сказал он. – Не следует отступать перед каким бы то ни было последствием принятого решения. Есть нити, которые еще связывают меня с Жаном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть вещи, которые могли бы выдать меня, немые предметы, которые могли бы заговорить, как живые свидетели. Решено: все это должно исчезнуть!

Он пошарил в кармане, достал из него кошелек, открыл его и вынул ключик.

Он вставил этот ключик в едва заметную замочную скважину, затерянную в темном узоре обоев, которыми были оклеены стены. Открылся тайничок, нечто вроде потайного шкафа, вделанного в стену между углом комнаты и железным колпаком камина. В тайничке лежали лохмотья – синяя холщовая блуза, потертые штаны, – старый ранец и толстая терновая палка с железными наконечниками на обоих концах. Кто видел Жана Вальжана в ту пору, когда он

проходил через Динь в октябре 1815 года, легко узнал бы все принадлежности этого нищенского одеяния.

Он сохранил их, как сохранил и серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал, а подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду.

Он украдкой оглянулся на дверь, словно боясь, что она вдруг откроется, несмотря на задвижку, потом резким и быстрым движением схватил все в охапку и, даже не взглянув на предметы, которые так благоговейно и с таким риском для себя хранил в течение стольких лет, бросил в огонь все – лохмотья, палку и ранец.

Затем снова запер потайной шкаф и с величайшими предосторожностями, уже ненужными теперь, когда шкаф был пуст, приставил к дверце высокое кресло.

Через несколько секунд комната и стена противоположного дома озарились дрожащим багровым отблеском сильного пламени. Все пылало. Терновая палка трещала, и от нее почти до середины комнаты летели искры.

Ранец вместе с лежавшим в нем отвратительным тряпьем догорел, и в золе блеснул какой-то кружок. Нагнувшись, можно было легко узнать в нем серебряную монету. Вероятно, это была та самая монета в сорок су, которая была украдена у маленького савояра.

Но Мадлен не смотрел в огонь и продолжал все тем же мерным шагом ходить по комнате из угла в угол.

Внезапно взгляд его упал на серебряные подсвечники, которые смутно поблескивали на камине в отсветах огня.

«Ах да! – подумал он. – В этом тоже сидит Жан Вальжан. Надо уничтожить и это».

Он взял подсвечники.

Огня было еще довольно, чтобы быстро расплавить их и превратить в бесформенную массу. Нагнувшись над очагом, он погрелся. Ему стало очень хорошо.

– Как славно! Как тепло! – проговорил он.

Он помешал горящие угли одним из подсвечников.

Еще секунда, и они очутились бы в огне.

Но в это самое мгновение ему почудилось, что внутренний голос крикнул ему: «Жан Вальжан! Жан Вальжан!»

Волосы у него встали дыбом, словно он услышал нечто ужасное.

«Да, да, кончай свое дело! – говорил голос. – Заверши его! Уничтожь эти подсвечники!

Истреби это воспоминание! Забудь епископа! Забудь все! Погуби Шанматье! Отлично!

Можешь поздравить себя! Итак, это решено окончательно и бесповоротно. Этот человек, этот старик не понимает, чего от него хотят; быть может, он ничего не сделал дурного; это невинный человек, чье несчастье заключается лишь в твоём имени, невинный человек, над которым твоё имя тяготеет, как преступление. Его примут за тебя, его осудят, и остаток его жизни пройдет в грязи и позоре! Отлично! Ты же будь порядочным человеком. Оставайся мэром, продолжай пользоваться уважением и почётом, обогащай город, корми неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, исполненный добродетели и окружённый восхищением; а пока ты будешь жить здесь, среди радости и света, некто, на кого наденут твою красную арестантскую куртку, будет носить твоё обесчещенное имя и влачить на каторге твою цепь! Да, ты ловко все это устроил! О, презренный!»

Пот градом катился у него со лба. Он смотрел на подсвечники диким взглядом. Однако тот, кто говорил внутри него, ещё не кончил. Голос продолжал:

«Жан Вальжан! Множество голосов будут благодарить и благословлять тебя, и притом очень громко, но раздастся один голос, которого не услышит никто и который проклянет тебя из мрака. Так слушай же, низкий человек! Все эти благословения падут вниз, не достигнув неба, и только проклятие дойдет до бога!»

Голос, вначале совсем слабый, исходивший из самых темных тайников его души, постепенно становился громче и теперь, оглушительный и грозный, гулко отдавался в его ушах. Ему казалось, что, выйдя из глубины его существа, голос звучал теперь уже вне его. Последние слова он услышал так явственно, что с ужасом оглянулся по сторонам.

– Кто здесь? – спросил он вслух в полной растерянности.

Потом с каким-то бессмысленным смехом ответил себе:

– Как я глуп! Кому же здесь быть?

И все же здесь был некто; но этот «некто» не принадлежал к числу тех, кого может видеть человеческий глаз.

Мадлен поставил подсвечники на камин. И снова начал то монотонное и зловещее хождение, которое тревожило сон человека, спавшего в нижнем этаже, и заставляло его испуганно вскакивать с постели.

Это хождение облегчало и в то же время как бы опьяняло Мадлена. Когда с нами случается что-либо необычное, мы стараемся двигаться, словно предметы, встречаемые нами на пути. могут подать нам благой совет. Но через несколько секунд он совсем запутался.

Оба решения, которые он принял – сперва одно, потом другое, – внушали ему теперь одинаковый ужас. Оба помысла, руководившие прежде его жизнью, казались ему теперь одинаково пагубными. Какая роковая случайность – этот Шанматье, которого приняли за него! То самое средство, которое, как ему казалось сначала, было ниспослано судьбой, чтобы упрочить его положение, теперь толкало его в пропасть!

Он заглянул в будущее. Донести на себя, боже всемогущий! Выдать себя! С безмерным отчаяньем он перебрал в памяти все то, с чем ему предстояло расстаться, все то, к чему предстояло вернуться. Итак, ему предстояло сказать «прости» этому существованию – такому мирному, чистому, радостному, этому всеобщему уважению, чести, свободе! Он не будет больше гулять по полям, не услышит, как запоют птицы в мае, не будет раздавать милостыню детям! Не почувствует больше сладости обращенных на него признательных и любящих взоров! Расстанется с этим домом, который выстроил сам, с этой маленькой комнаткой! Все казалось ему сейчас таким чудесным! Он не будет больше читать эти книги, не будет писать за этим некрашеным столиком. Старуха привратница, его единственная служанка, не будет приносить ему больше утренний кофе. И вместо этого – боже правый! – каторга, железный ошейник, арестантская куртка, цепь на ноге, непосильный труд, карцер – все эти уже изведенные ужасы! И это в его-то годы, после того как он был тем, кем он был! Если бы еще он был молод! Но на старости лет слышать «ты» от первого встречного, давать себя обыскивать надзирателю, получать от надсмотрщика палочные удары! Ходить в подбитых железом башмаках, надетых на босые ноги! Каждое утро и каждый вечер подставлять ногу под молоток, проверяющий звенья цепи! Терпеть взгляды любопытных, которым будут говорить: «Вот это знаменитый Жан Вальжан, тот самый, что был прежде мэром в Монрейле – Приморском!» А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, в зеленом колпаке, надвинутом на глаза, подниматься под кнутом сержанта, в паре с другим каторжником, по судовой лестнице, возвращаясь в плавучий острог! О, какая мука!.. Ужели судьба может быть так же зла, как мыслящее существо, и так же уродлива, как человеческое сердце?

И он снова и снова возвращался к мучительной дилемме, лежавшей в основе его тяжелого раздумья: остаться в раю и там превратиться в демона или же вернуться в ад и стать там ангелом?

Что делать, боже всемогущий, что делать?

Буря, укрощенная с таким трудом, снова забушевала в его мозгу. Мысли его опять начали мешаться. В них появились неподвижность и тупость, свойственные отчаянию. В мозгу его назойливо звучало слово «Роменвиль» и вместе с ним два стиха из песенки, которую он

слышал когда-то. Ему вспомнилось, что Роменвиль – это рощица близ Парижа, куда влюбленные ходят в апреле рвать сирень.

Он потерял равновесие – не только духовное, но и физическое. Он ступал, словно маленький ребенок, которого пустили ходить одного.

Минутами, борясь с усталостью, он силился вновь овладеть своим рассудком. Он пытался в последний раз, и уже окончательно, поставить перед собой вопрос, который довел его почти до полного изнеможения. Должен ли он донести на себя? Или должен молчать? Ему не удавалось мыслить отчетливо. Бесчисленные доводы, возникавшие в его мозгу, теряли форму и, колеблясь, рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что, какой бы путь он ни избрал, некая часть его существа непременно и неизбежно умрет; направо ли, налево ли – перед ним зияет могила; сейчас он переживает предсмертную агонию – агонию своего счастья или своей добродетели.

Увы! Сомнения вновь овладели им. Он был так же далек от решения, как и вначале.

Так билась в мучительной тоске эта злополучная душа. За тысячу восемьсот лет до того, как жил этот несчастный, в ту пору, когда оливковые деревья дрожали под жестоким ветром, дувшим из бесконечности, таинственный мессия, воплотивший в себе все страдания и всю святость человечества, тоже долго отстранял рукою страшную, таящую угрозу чашу, полную мрака, которая предстала пред ним, изливая тьму. в звездных глубинах неба.

Глава четвертая.

Страдание принимает во сне странные образы

Пробило три часа полуночи; он шагал почти без отдыха уже пять часов подряд и, наконец, в изнеможении опустил на стул.

Он заснул, и ему приснился сон.

Сон этот, как и большинство снов, не имел прямого отношения к действительности и соприкасался с ней лишь тем, что было в нем зловещего и мучительного, но он произвел на него большое впечатление. Кошмар поразил его так сильно, что впоследствии он его записал. В числе бумаг, написанных его рукою, сохранилась и эта рукопись. Считаем нужным привести здесь дословно ее содержание.

Без описания этого сна, каков бы он ни был, история той ночи была бы неполной. Это эпизод из мрачных скитаний больной души.

Вот он. На конверте мы читаем следующую надпись:

Сон, который приснился мне в ту ночь

«Я находился в поле. В широком и унылом поле, где не было травы. Я не мог понять, когда это происходило, – днем или ночью.

Я гулял с братом, с товарищем моих детских лет, о котором, признаться, я никогда не вспоминаю и которого почти совсем забыл.

Мы разговаривали, встречали прохожих. Мы говорили об одной нашей соседке, которая когда-то жила рядом с нами и, с тех пор как поселилась в комнате, выходящей на улицу, всегда шила у открытого окна. Продолжая разговор, мы почувствовали, что нам стало холодно, оттого что это окно было открыто.

В поле не было ни одного дерева.

Мимо нас проехал всадник. Это был совершенно голый человек, тело у него было пепельного цвета, и сидел он верхом на лошади землистого цвета. У человека не было волос; мы видели его голый череп, а на черепе жилы. В руках он держал хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо, не сказав ни слова.

Брат сказал мне: «Пойдем оврагом».

Мы пошли оврагом, в овраге не было видно ни кустика, ни мха. Все было землистого цвета, даже небо. Пройдя несколько шагов, я заметил, что мои слова остаются без ответа. И понял, что брата уже нет рядом со мной.

Я вошел в деревню. Я подумал, что, должно быть, это Роменвиль (почему Роменвиль?)²⁷.

Улица, по которой я пошел, была пустынна. Я пошел по другой. На перекрестке стоял человек, прислонясь к стене дома. Я спросил у человека: «Что это за местность? Где я?» Человек ничего не ответил. Я заметил, что дверь одного из домов открыта, и вошел в дом.

Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонясь к стене. Я опросил у человека: «Чей это дом? Где я?» Человек ничего не ответил.

При доме был сад. Я вошел в сад. Сад был пуст. За первым же деревом я увидел стоящего человека. Я спросил у него: «Что это за сад? Где я?» Человек ничего не ответил.

Я блуждал по деревне и вдруг понял, что это город. Все улицы были пустынные, все двери открыты. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не шагало по комнатам, не гуляло в садах. Но за каждым выступом стены, за каждой дверью, за каждым деревом стоял молчаливый человек. И везде был только один человек. Эти люди смотрели, как я проходил мимо.

Я вышел из города и стал бродить по полям.

Спустя некоторое время я обернулся и увидел толпу, шедшую за мной следом. Я узнал всех людей, которых видел в городе. У них был странный взгляд. Не заметно было, чтобы они торопились, и все же они шли быстрее меня. Они шли совершенно бесшумно. Через минуту эта толпа настигла меня и окружила. Лица у этих людей были землистого цвета.

И вот первый из тех, кого я видел и к кому обращался с вопросом, войдя в город, спросил меня: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно уже умерли?»

Я хотел было ответить, но увидел, что возле меня никого нет».

Он проснулся. Он продрог. Створки все еще открытого окна раскачивались на петлях от холодного утреннего ветра. Огонь погас. Свеча догорела. Было еще совсем темно.

Он встал и подошел к окну. Ни одна звезда еще не светила в небе.

В окно видны были двор его дома и улица. Сухой и резкий стук, внезапно раздавшийся на мостовой, заставил его опустить глаза.

Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых то причудливо удлинялись, то укорачивались во мраке.

Мысли его еще не совсем выплыли из мглы сновидения «Как странно! – подумал он. – Их нет в небе, они спустились на землю».

Однако мгла рассеялась: другой звук, подобный первому, окончательно разбудил его, – он всмотрелся и понял, что это были не звезды, а фонари экипажа. Отбрасываемый ими свет помог ему различить его очертания. Это было тильбюри. запряженное белой лошадкой. Услышанный им стук – был топот копыт по мостовой.

«Что это за экипаж? – подумал он. – Кто мог приехать так рано?»

В эту минуту кто-то тихонько постучался к нему в дверь. Он задрожал и крикнул страшным голосом:

²⁷ Скобки поставлены рукой Жана Вальжана (Прим авт.)

– Кто там?

Чей-то голос ответил:

– Это я, господин мэр.

Он узнал голос старушки, своей привратницы.

– Что такое? – спросил он. – Что вам нужно?

– Господин мэр! Только что пробило пять часов утра.

– Ну и что же?

– Кабриолет подали, господин мэр.

– Какой кабриолет?

– Тильбюри.

– Какое тильбюри?

– А разве вы не заказывали тильбюри, господин мэр?

– Нет, – ответил он.

– А кучер говорит, что приехал за господином мэром.

– Какой кучер?

– Кучер от господина Скофлера.

– От Скофлера?

Услышав это имя, он вздрогнул, словно перед его глазами сверкнула молния.

– Ах да! – сказал он. – От Скофлера!

Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она бы ужаснулась.

Наступило довольно длительное молчание. Он бессмысленно смотрел на пламя свечи и, собирая вокруг фитиля горячий воск, мял его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она отважилась спросить еще раз:

– Что прикажете ответить ему, господин мэр?

– Хорошо, скажите, что я сейчас сойду.

Глава пятая. Палки в колесах

В ту эпоху почтовое сообщение между Аррасом и Монрейлем – Приморским осуществлялось при помощи кареток времен Империи. Каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей, в них было только два места – одно для почтаря, другое для пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почтительном расстоянии; такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах Германии. Ящик для писем, огромный, продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а каретка – в желтый. Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались уродливыми и горбатыми; издали, когда они ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами; передняя часть туловища у них короткая и они тащат за собой огромную заднюю часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи, после прихода парижской почты, прибывала в Монрейль – Приморский около пяти часов утра. В эту ночь почтовая карета, следовавшая в Монрейль – Приморский по эсенской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькое, запряженное белой лошастью тильбюри, которое направлялось в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо тильбюри получило довольно чувствительный толчок. Почтарь крикнул этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью.

– Спешит как на пожар! – заметил почтарь.

Человек, который так спешил, был тот самый, кого мы только что видели в мучительном единоборстве с самим собою, единоборстве, достойном сострадания.

Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не знал. Он ехал наудачу. Куда? Конечно, в Аррас; но, быть может, он ехал и не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий это поймет. Кому не приходилось хотя бы раз в жизни вступать в мрачную пещеру неведомого?

Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильней, чем когда бы то ни было, им владела нерешительность первых минут.

Зачем он ехал в Аррас?

Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера: каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и разобраться самому, этого требует простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем; не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать; на расстоянии все кажется преувеличенным; быть может, увидев Шанматье, вероятно, негодая, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место; там, правда, будет Жавер, будут Бреве, Шенильдье и Кошпай, но разве они узнают его? – Какая нелепость! А Жавер теперь далек от всяких подозрений; все предположения и догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье, а ведь ничего нет упрямее предположений и догадок; следовательно, никакой опасности и не существует.

Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их как бы ни была жестока его судьба, в конце концов она в его руках, он волен в ней. Он цеплялся за эту мысль.

Однако, откровенно говоря, он предпочел бы не ездить в Аррас.

И все же он туда ехал.

Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной и уверенной рысью, делая два с половиной лье в час.

По мере того как кабриолет подвигался вперед, Мадлен чувствовал, как в нем самом что-то отступает.

Перед восходом солнца он был в открытом поле, Монрейль – Приморский остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт; он смотрел не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра есть свои призраки, так же как и у вечера. Он не видел их, но, помимо его сознания, мрачные силуэты деревьев и холмов, путем почти физического проникновения, добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе.

Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе: «А люди там спокойно спят!»

Топот копыт, позвякивание бубенчиков, стук колес по мощеной дороге сливались в приятный однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело, и тоскливым – когда ему грустно.

Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсден. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь и дать ей передохнуть.

Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе: у этих лошадей большая голова и большое брюхо, короткая шея, но вместе с тем широкая грудь, широкий круп, крепкие бабки и поджарые сильные ноги, – некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала за два часа пять лье, на ней не было заметно ни малейшего следа испарины.

Он не вышел из тильбюри. Конюх, принесший овес, нагнулся и начал рассматривать левое колесо.

– И много вы проехали? – спросил он.

– А что? – отозвался путник, по-прежнему погруженный в свои мысли.

– Я говорю – вы издалека? – повторил конюх.

– Я проехал пять лье.

– Ого!

– Почему «ого»?

Конюх снова нагнулся, с минуту помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал:

– Потому что если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверти лье.

Путник выскочил из тильбюри.

– Что вы говорите, друг мой?

– Говорю, что вы просто чудом проехали пять лье, не свалившись вместе с лошадью в придорожную канаву. Да вы взгляните сами.

Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовой кареты сломались две спицы; ступица тоже пострадала: гайка на ней еле держалась.

– Скажите, друг мой, – спросил путник, – нет ли здесь у вас тележника?

– Как не быть, сударь!

– Так я попрошу вас, сходите за ним.

– Да он здесь, в двух шагах. Эй! Дядюшка Бургальяр!

Дядюшка Бургальяр стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу.

– Вы можете немедленно починить колесо?

– Могу, сударь.

– Когда мне можно будет выехать?

– Завтра.

– Как завтра?

– Тут хватит работы на целый день. А что, сударь, разве вы так спешите?

– Очень спешу. Мне необходимо выехать не позже, чем через час.

– Это невозможно, сударь.

– Я не постою за деньгами.

– Никак невозможно.

– Ну, хорошо. Через два часа.

– Нет, сегодня нельзя. Надо сделать заново две спицы и ступицу. Нет, сударь, вы не сможете выехать сегодня.

– Дело, по которому я еду, не терпит. А что, если не чинить это колесо, а просто заменить его новым?

– Это как же?

– Да ведь вы тележник?

– Точно так, сударь.

– Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь сейчас же.

– Колеса взамен вот этого?

– Да.

– Нет, у меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса делаются под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу.

– Так продайте мне пару колес.

– Не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси.

– А вы попробуйте.

- Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас здесь глухое место.
- А нет ли у вас кабриолета напрокат?
- Тележник с первого взгляда догадался, что тильбюри наемное. Он пожал плечами. – Недурно же вы разделяетесь с кабриолетами, которые берете напрокат. Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал.
- А не найдется ли у вас продажного кабриолета?
- Нет, не найдется.
- Как? Даже двуколки? Как видите, я не привередлив.
- У нас здесь глухое место. Правда, – добавил тележник, – есть у меня в сарае старая коляска. Хозяин ее, из наших городских, поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит, разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее напрокат, мне не жалко, да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо, и, кроме того, это ведь коляска, тут потребуется не одна лошадь, а пара.
- Я найму пару почтовых лошадей.
- А вы куда едете, сударь?
- В Аррас.
- И хотите добраться туда за один день?
- Непременно.
- Это на почтовых-то лошадях?
- Почему бы и нет?
- А ничего, если вы приедете туда часа этак в четыре утра?
- Нет, это поздно.
- Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях... А разрешение на это при вас, сударь?
- Да.
- Так вот, на почтовых лошадях вы, сударь, будете в Аррасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога. На станциях лошадей мало, все они заняты в поле. Сейчас начинается пахота, требуются сильные упряжки, лошадей нанимают, где только можно, и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции. Да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков.
- Хорошо, я поеду верхом. Отпрягите лошадь. Ведь найдется же у вас продажное седло.
- Найдись-то найдется, да ходит ли ваша лошадь под седлом?
- Правда, я совсем забыл! Нет, под седлом она не ходит.
- Ну, значит...
- Да неужели я не найду в деревне наемную лошадь?
- Лошадь, которая без передышки добежит до самого Арраса?
- Да.
- В наших краях нет таких лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее, потому что здесь никто вас не знает. Но ни купить, ни нанять такую лошадь вам не удастся за пятьсот, даже за тысячу франков.
- Как же быть?
- Сказать по чести, самое лучшее, если я починю ваше колесо и вы отложите поездку до завтра.
- Завтра будет поздно.
- Ничего не поделаешь!
- Кажется, здесь проходит почтовая карета на Аррас. Когда она должна прибыть?
- Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам, и туда и оттуда.
- Скажите: неужели на починку этого колеса вам необходим целый день?
- Целый день, да еще какой работы!
- А если взять помощника?

– Хоть десятерых.

– Нельзя ли связать спицы веревками?

– Спицы-то можно, а вот ступицу нельзя. Да и обод еле держится.

– Нет ли в городе человека, который отдает внаем лошадей?

– Нет.

– Нет ли другого тележника?

Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили.

– Нет.

Он почувствовал невыразимую радость.

В дело вмешалось провидение – это было ясно. Это оно сломало колесо тильбюри и задержало его в дороге. Он сдался не сразу, он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь; он честно и добросовестно исчерпал все средства; он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками; ему не в чем упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше, то не по своей вине; это не его воля, это воля провидения.

Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно, полной грудью. Ему показалось, что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась.

Он решил, что теперь бог на его стороне и что этим он явил ему свое присутствие.

Он сказал себе, что сделал все возможное и что сейчас ему остается одно: спокойно вернуться обратно.

Если бы беседа с тележником происходила в трактире, она не имела бы свидетелей, никто не услышал бы ее, дело тем бы и кончилось, и, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю, но разговор происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие стать зрителями. Пока путник расспрашивал тележника, около них остановились случайные прохожие. Какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал.

В ту минуту, когда путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказали, и решил повернуть обратно, мальчуган вернулся. Его сопровождала пожилая женщина.

– Сударь! – сказала она. – Правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет?

При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что отпустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его.

Он ответил:

– Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет. И поспешил добавить:

– Но здесь его нет.

– Есть, – ответила старуха.

– У кого же это? – спросил тележник.

– У меня, – ответила старуха.

Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его.

У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из ивовых прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник ускользает из их рук, вмешались в дело:

– И не двуколка это, а настоящая трясушка, кузов у нее стоит прямо на оси; сиденье, правда, подвешено на кожаных ремнях, но внутри она так отсырела, что с нее течет; колеса проржавели; и уедешь на ней не намного дальше, чем на этом тильбюри; одно слово-рухлядь! Несдобровать тому, кто на ней поедет, и т. д., и т. д.

Они говорили правду, но эта трясушка, эта рухлядь, эта плетенка, какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах и на ней можно было ехать в Аппас.

Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил тильбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра.

Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад обрадовался при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает.

И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам.

Выезжая из Эсдена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший – «Стойте! Стойте!» Он остановил двуколку быстрым движением, в котором было что-то лихорадочное и судорожное, как будто у него появилась надежда.

Это был сын той старухи.

– Сударь! – сказал он. – Ведь это я раздобыл двуколку.

– Ну и что же?

– А вы мне ничего не дали.

Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, счел это требование чрезмерным, почти дерзким.

– Ах, это ты, негодный мальчишка? – крикнул он. – Ничего ты не получишь!

Он стегнул лошадь и пустил ее крупной рысью.

Он потерял много времени в Эсдене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была резвая и везла за двоих, но стоял февраль, дороги были размыты дождями. И к тому же двуколка – не тильбюри. Она была неуклюжа и очень тяжела. А вдобавок множество подъемов.

Чтобы добраться от Эсдена до Сен – Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять лье!

В Сен – Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвести ее в конюшню. Верный обещанию, данному им Скофлеру, он стоял возле яслей, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны.

Трактирщица вошла в конюшню.

– Не угодно ли вам позавтракать, сударь?

– В самом деле, – сказал он, – я проголодался.

Он последовал за женщиной; у нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низенькую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой.

– Только поскорее, – сказал он, – мне надо сейчас же ехать. Я спешу.

Толстуха фламандка поспешила поставить ему прибор. Он смотрел на служанку с удовольствием.

«В этом все дело, – подумал он, – я не завтракал сегодня».

Ему принесли еду. Он откусил кусок хлеба, потом медленно положил его на стол и больше до него не дотронулся.

За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник спросил его:

– Отчего это хлеб у них такой горький?

Извозчик был немец и не понял вопроса. Путник вернулся в конюшню к своей лошади.

Через час он выехал из Сен – Поля, направляясь в Тенк, откуда до Арраса было всего пять лье.

Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром, он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть множество предметов в первый и последний раз – что может быть печальнее этого и вместе с тем многозначительней!

Путешествовать – значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом

туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом.

После яркой вспышки – тьма; вы смотрите, спешите, вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение; каждое событие – это поворот дороги; и вдруг приходит старость. Вы чувствуете толчок, вокруг темно; вы смутно различаете перед собой темные врата, угрюмый конь жизни, который вез вас, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто, неведомый вам, распрягает его во мраке.

Вечерело; уже дети выходили из школы, когда путник въехал в Тенк. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в Тенке. Когда он выезжал оттуда, – рабочий, мостивший щербом дорогу, поднял голову и сказал:

– До чего заморили лошадь!

В самом деле, бедное животное плелось шагом.

– Вы куда едете, в Аррас? – спросил рабочий.

– Да.

– Ну, таким ходом вы не скоро туда попадете.

Путник остановил лошадь и спросил рабочего:

– Сколько отсюда до Арраса?

– Добрых семь лье.

– Как же так? По почтовому расписанию значится только пять с четвертью.

– А-а! Вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу, – сказал рабочий. – В четверти часа езды отсюда она загорожена, проезда нет.

– В самом деле?

– Сверните влево, на дорогу, которая ведет в Каранси, потом переправьтесь через реку и, когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на Аррас, через Мон-Сент-Элуа.

– Но ведь скоро стемнеет. Я могу заблудиться.

– Так вы не здешний?

– Не здешний.

– Это хуже. Тем более что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь, – сказал рабочий, – я вам дам совет. Лошадь у вас устала, воротитесь-ка вы в Тенк. Там есть хороший постоялый двор, там и переночуете. А завтра поедете в Аррас.

– Я должен быть в Аррасе сегодня вечером.

– Это другое дело. Но все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите там пристяжную. А конюх проводит вас по проселочной дороге.

Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал той же дорогой, но уже крупной рысью, с хорошей пристяжной. Конюх, величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки.

Времени было потеряно много – путник это чувствовал.

Стало совсем темно.

Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась из одной колеи в другую. Путник сказал почтарю:

– Гони рысью, получишь на выпивку вдвойне.

На одной из рытвин переломился валец.

– Сударь! – сказал почтарь. – Сломался валец. Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь.

Ночью трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в Тенк? А завтра мы могли бы рано утром быть в Аррасе.

– У тебя есть веревка и нож? – спросил путник.

– Есть, сударь.

Почтарь срезал с дерева ветку и сделал валец.

На это ушло еще двадцать минут, зато дальше поехали вскачь.

Равнина была окутана мраком. Короткие черные клочья тумана низко стлались по холмам и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали белесоватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал так, будто кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг словно застыло от страха. Сколько ужаса таит в себе могучее дыхание ночи!

Холод пронизывал путника до костей. Он не ел со вчерашнего дня. Ему смутно припомнилось другое ночное странствие – по широкой равнине в окрестностях Диня. С тех пор прошло восемь лет, но, казалось, это было вчера.

На какой-то далекой колокольне пробили часы. Он спросил конюха:

– Который час?

– Семь часов, сударь. В Аррасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье.

В эту минуту ему впервые пришло в голову, – и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, – что, возможно, все его усилия напрасны; что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела; что он должен был осведомиться хотя бы об этом; что опрометчиво было ехать наобум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра; что это дело не могло затянуться надолго, – вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени; что после него оставалось только установить личность обвиняемого, то есть выслушать пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей; словом, что он придет, когда все уже будет кончено!

Конюх гнал лошадей во всю мочь. Они переправились через реку и миновали Мон-Сент-Элуа.

Мрак все сгущался.

Глава шестая. Испытание сестры Симплиции

А Фантина в эту самую минуту была преисполнена радости.

Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейший жар; ее мучили сны. Утром, во время обхода врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас дали знать, как только придет г-н Мадлен.

Все утро она была уныла, неразговорчива и, комкая пальцами простыню, бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее ввалились и смотрели в одну точку. Они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и сияли, как звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света.

Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она неизменно отвечала: «Хорошо. Но мне хотелось бы видеть господина Мадлена».

Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла последний стыд и последнюю радость, она была собственной тенью, теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой двадцатипятилетней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны, свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отставших белокурых волосах появилась седина. Увы! Как искусно болезнь надевает на нас личину старости!

В полдень врач пришел еще раз, дал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу г-н мэр, и покачал головой.

Обычно Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты.

Около половины третьего Фантина начала волноваться. В течение двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини: «Сестрица, который час?»

Но вот пробило три часа. После третьего удара Фантина, которая обычно лежала почти неподвижно, села на постели, судорожно стиснула свои худые, желтые руки, и монахиня услышала, как из ее груди вырвался глубокий вздох, который говорит о том, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь.

Однако никто не вошел, дверь оставалась закрытой.

Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробило четверть четвертого. Фантина снова откинулась на подушку.

Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складки.

Прошло полчаса, прошел час. Никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь, потом снова падала на подушку.

Все понимали, о чем она думает, но она не произносила ничьего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным, зловещим кашлем. Казалось, на нее нисходил мрак. Она была бледна, как смерть, губы у нее посинели. Время от времени она улыбалась.

Пробило пять часов. И сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко:

– Завтра я ухожу, нехорошо он поступил, что не пришел сегодня!

Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что г-н Мадлен запаздывает.

А Фантина смотрела теперь вверх, на полог своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, как дуновение ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина:

*Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек,
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!
Вчера мне пречистая дева предстала, —
Стоит возле печки в плаще золотом
И молвит мне: «Ты о ребенке мечтала, —
Я дочку тебе принесла под плащом».
— Скорей, мы забыли купить покрывало,
Беги за иголкой, за ниткой, холстом.
Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек,
«Пречистая, вот колыбель, поджидая,
Стоит в уголке за кроватью моей.
Найдется ль у бога звезда золотая,
Моей ненаглядной дочурки светлей?»
— Хозяйка, что делать с холстом? — Дорогая,
Садись, для малютки приданое шей!
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!
— Ты холст постирай. — Где же? — В речке прохладной.
Не пачкай, не порть, — сядь у печки с игой
И юбочку сделай да лифчик нарядный,
А я на нем вышью цветок голубой
— О горе! Не стало твоей ненаглядной!
Что делать? — Мне саван готовь гробовой.*

*Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек,
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!*

Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою маленькую Козетту и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра милосердия, закаленная строгой, суровой жизнью, почувствовала, что на глаза у нее навернулись слезы.

На башенных часах пробило шесть: Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания на происходившее вокруг нее.

Сестра Симплиция послала служанку к фабричной привратнице узнать, не пришел ли домой г-н мэр и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась.

Фантина по-прежнему лежала неподвижно; казалось, она вся ушла в свои мысли.

Служанка шепотом сообщила сестре Симплиции, что г-н мэр уехал сегодня утром, когда еще не было и шести часов, в маленьком тильбюри, запряженном белой лошадью, – уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает куда. Некоторые видели, как он свернул на аррасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его на дороге в Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали.

Женщины шептались, стоя спиной к постели Фантины; сестра задавала вопросы, а служанка высказывала догадки. Тем временем Фантина, с присущей некоторым органическим недугам лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесками.

Вдруг она крикнула:

– Вы говорите о господине Мадлене? Почему вы шепчетесь? Что с ним? Отчего он не приходит?

Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге.

– Отвечайте же! – кричала Фантина.

Служанка пролепетала:

– Привратница сказала, что он не может прийти сегодня.

– Дитя мое, – сказала сестра, – успокойтесь. лягте.

Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время душераздирающим голосом:

– Не может прийти? Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать.

Служанка прошептала на ухо монахине: «Скажите, что он в муниципальном совете».

Сестра Симплиция слегка покраснела: служанка советовала ей солгать. Она и сама понимала, что сказать больной правду – значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина. Но краска быстро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину спокойные, грустные глаза и сказала:

– Господин мэр уехал.

Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерная радость засияла на лице страдальцы.

– Уехал! – вскричала она. – Он поехал за Козеттой!

Она протянула обе руки к небу, преображенная неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились: она тихо читала молитву.

Помолившись, она сказала:

– Сестрица, сейчас я лягу, я буду делать все, что мне прикажут. Я была дурной, простите меня за то, что я говорила так громко, я знаю, что нехорошо говорить громко, но, видите ли, милая сестрица, я так рада! Господь бог так добр, господин Мадлен так добр, подумайте только: он поехал в Монфермейль за моей маленькой Козеттой!

Она легла, помогла монахине поправить подушки и поцеловала висевший у нее на шее серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией.

– Дитя мое, – сказала сестра, – теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше.

Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры; испарина встревожила монахиню.

– Сегодня утром он уехал в Париж. А ведь ему даже незачем проезжать через Париж.

Монфермейль немного левее. Помните, вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил:

«Скоро, скоро!» Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Тенардье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут Козетту. Им же уплачено сполна. Власти не позволят им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица! Не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова, у меня больше нигде ничего не болит, я увижу Козетту... Мне даже хочется есть.

Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку! И потом она так мила, да вот вы увидите сами! Если бы вы знали, какие у нее пальчики – хорошенькие, розовые! У нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные! Вот такие! Теперь она уже, наверно, совсем большая. Шутка сказать. семь лет! Настоящая барышня. Я зову ее Козеттой, но ее настоящее имя Эфрази.

Послушайте, сегодня утром я посмотрела на пыль на камине, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей! Людям надо всегда помнить, что жизнь у нас не вечная! О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней! Правду ли говорят, что на дворе холодно? По крайней мере взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он придет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль – это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он казался таким длинным! Но дилижансы ходят очень быстро! Завтра он будет здесь с Козеттой – Скажите: сколько отсюда до Монфермейля?

Сестра, не имевшая ни малейшего понятия о расстояниях, ответила:

– Я уверена, что завтра он уже может быть здесь.

– Завтра! Завтра! – повторяла Фантина. – Завтра я увижу Козетту! Знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова. Я схожу с ума от радости. Я готова танцевать. Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившейся в ней перемены. Она порозовела, голос ее звучал естественно и живо, на лице сияла улыбка. Она смеялась и тихо разговаривала сама с собой. Радость матери – это почти то же, что радость ребенка.

– Вот что, – сказала монахиня, – теперь вы счастливы, так будьте послушны и перестаньте разговаривать.

Фантина положила голову на подушку и вполголоса произнесла:

– Да, да, ложись, будь умницей, ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права. Все, кто здесь, правы.

Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова.

Сестра задернула полог, надеясь, что она уснет.

Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полог, он увидел при свете ночника устремленные на него большие спокойные глаза Фантины.

Она сказала ему:

– Господин доктор! Ведь мне позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей?

Врач решил, что она бредит. Она добавила:

– Посмотрите, тут как раз хватит места.

Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело: г-н Мадлен уехал на день или на два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять больную, решившую, что г-н мэр отправился в Монфермейль; в сущности говоря, это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру.

Он снова подошел к кровати Фантины, и та продолжала:

– Видите ли, утром, когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком, а ночью я буду слушать, как она спит, – ведь я-то все равно не сплю по ночам.

Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки!

– Дайте руку, – сказал врач.

Она протянула руку и вскричала со смехом:

– Ах да! Ведь и правда, вы еще не знаете! Я выздоровела. Завтра приезжает Козетта.

Врач был поражен. Ей в самом деле было лучше. Одышка уменьшилась. Пульс стал полнее.

Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое, истощенное тело.

– Господин доктор! – продолжала она. – Вам сказала сестрица, что господин мэр уехал за моим сокровищем?

Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей хинную настойку без всякой примеси и успокоительное питье, на случай если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре:

– Ей лучше. Если бы, на счастье, господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком – как знать? – бывают иногда такие изумительные переломы; известны случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много загадочного! Быть может, мы еще и спасем ее.

Глава седьмая.

Приезжий обеспечивает себе обратный путь

Было около восьми часов вечера, когда оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота почтовой гостиницы в Аррасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента; отослав пристяжную лошадь и рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, он сам отвел в конюшню свою белую лошадку; затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть – здесь не было его вины. И в глубине души он не досадовал на это.

Вышла хозяйка гостиницы.

– Изволите переночевать, сударь? Изволите поужинать?

Он отрицательно покачал головой.

– А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала.

При этих словах он нарушил молчание.

– Вы думаете, что ей не под силу будет пуститься в обратный путь завтра утром?

– Помилуйте, сударь! Ей надо отдыхать по крайней мере двое суток.

Он спросил:

– Кажется, здесь помещается почтовая станция?

– Да, сударь.

Хозяйка проводила его в контору, он показал свой паспорт и справился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монрейль – Приморский с почтовой каретой; место рядом с почтарем оказалось еще не занятым; он оставил его за собой и заплатил за него.

– Только не опаздывайте, сударь, – сказал конторщик, – карета отправляется ровно в час ночи.

Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу.

Он совсем не знал Арраса; улицы были малолюдны; он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через речку Креншон, он очутился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел горожанин с большим фонарем. После некоторого колебания путник решился обратиться к этому человеку, но предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать.

– Сударь! – сказал он. – Скажите, пожалуйста, где находится здание суда?

– Вы, должно быть, нездешний, сударь, – ответил прохожий, уже почти старик, – пойдемте со мной. Я как раз иду в ту сторону, где находится суд, то есть, собственно говоря, где находится префектура, – здание суда сейчас ремонтируется и судебные заседания происходят в префектуре.

– И суд присяжных тоже заседает там? – спросил он.

– Конечно. Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзье, который был епископом в восемьдесят втором году, выстроил там большую залу. В этой-то зале и заседает суд.

Дорогой старик сказал ему:

– Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас поздновато. Обычно заседания кончаются в шесть часов.

Однако, когда они вышли на широкую площадь, старик показал ему на четыре высоких освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания.

– Право, сударь, вам везет, вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это и есть судебная зала. Там светло. Значит, еще не все кончено. Очевидно, дело затянулось и назначено вечернее заседание. А что, вас интересует это дело? Должно быть, уголовный процесс? Вас вызвали в качестве свидетеля?

Он ответил:

– Я приехал не ради какого-либо дела. Просто мне надо повидать одного адвоката.

– Ах так! – сказал старик. – Вот и дверь, сударь. Та, возле которой стоит часовой. Вам надо будет только подняться по главной лестнице.

Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в комнате, где было много народа и где группы людей вперемежку со стряпчими в судейских мантиях перешептывались между собой.

Сердце всегда невольно сжимается при виде фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти группы кажутся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо, темными ульями, где жужжащие привидения сообща замышляют козни.

Эта просторная комната, освещенная единственной лампой, была прежде одной из приемных зал епископского дворца, а теперь служила залой ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большой залы, где заседал суд присяжных.

Было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшемуся стряпчему.

– Сударь! – спросил он. – В каком положении дело?

– Дело кончено, – ответил стряпчий.

– Кончено!

Это слово было повторено таким тоном, что стряпчий обернулся.

- Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?
 - Нет. Я никого здесь не знаю. И каков приговор – обвинительный?
 - Конечно. Ничего иного нельзя было и ждать.
 - Каторжные работы?..
 - Пожизненная каторга.
 - Значит, личность установлена? – произнес путник таким слабым голосом, что его с трудом можно было слышать.
 - Какая там личность? – ответил стряпчий. – Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Женщина убила своего ребенка, детоубийство доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении, и она приговорена к пожизненной каторге.
 - Так это женщина? – проговорил он.
 - Разумеется, женщина. Девица Лимозен. А вы о ком говорите?
 - Да так, ни о ком. Но если дело кончено, то почему же зала все еще освещена?
 - Сейчас там слушается другое дело. Оно началось часа два назад.
 - Какое же дело?
 - Тоже очень простое. Бродяга, рецидивист, каторжник совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничья физиономия! За одну физиономию я бы сослал его на галеры.
 - Сударь! – спросил путник. – Есть ли возможность попасть в залу?
 - Не думаю. Очень много народа. Правда, сейчас перерыв. Многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится.
 - Где вход?
 - Здесь. Через эту большую дверь.
- Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли, как раскаленное железо. Узнав, что еще не кончено, он вздохнул; но он и сам не мог бы сказать, испытывал он чувство облегчения или же глубокой скорби.
- Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один день два несложных и коротких дела. Начали с детоубийства, а теперь разбиралось дело каторжника, рецидивиста, «обратной кобылки». Рецидивист украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано; зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, свидетельские показания тоже, но остается еще речь защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден: товарищ прокурора очень искусен и никогда не «упускает» своих подсудимых; это человек умный, он даже стихи пишет.
- У двери в залу заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него:
- Скажите, скоро ли откроют двери?
 - Совсем не откроют, – ответил пристав.
 - Как! Не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв?
 - Заседание уже началось, – ответил пристав, – но дверей открывать не будут.
 - Почему?
 - Потому что зала полна.
 - Как? Неужели нет ни одного места?
 - Ни одного. Дверь закрыта, и никого больше в залу не пустят.
- Помолчав, судебный пристав добавил:
- Правда, за креслом председателя есть еще два-три свободных места, но председатель разрешает занимать их только должностным лицам.
- С этими словами пристав повернулся к нему спиной.

Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через залу ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая. Быть может, он советовался с самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня, еще не кончился и каждую секунду вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки, он прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он расстегнул куртку, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и при свете фонаря набросал одну строчку: «Г-н Мадлен, мэр Монрейля – Приморского». Затем быстрым шагом снова поднялся по лестнице, протолкался сквозь толпу, подошел к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном:
– Передайте господину председателю. Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение.

Глава восьмая. Вход для избранных

Сам того не подозревая, мэр Монрейля – Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булону, вышла за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла: из ста сорока одной общины Монрейльского округа не нашлось бы ни одной, которая не была бы обязана ему чем-либо. Он умудрялся даже, если в том была нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Были случаи, когда он поддержал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булони, механическую льнопрядильню во Фреване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере – на – Канше. Имя г-на Мадлена с благоговением повторяли всюду. Аррас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю – Приморскому, которым управляет такой мэр. Член королевского суда в Дуэ, председательствовавший на этой сессии суда присяжных в Аррасе, не хуже других знал это имя, окруженное глубоким и единодушным уважением. Когда судебный пристав, осторожно приоткрыв дверь из совещательной комнаты в залу заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известно читателю, добавил: «Этот господин хочет присутствовать на заседании», – председатель живо обернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек, передал ее приставу и сказал: «Пропустите». Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей залы на том же месте и в той же позе. Как сквозь сон, услышал он чьи-то обращенные к нему слова: «Покорнейше прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной, теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее и, так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть: «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену».

Он скомкал записку, словно в этих немногих словах таился для него странный и горький привкус.

Он последовал за приставом.

Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете, освещенном двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленым сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного пристава, с которым он только что расстался: «Сударь! Это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний за креслом господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, по которым он только что проходил.

Судебный пристав ушел. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это ему не удавалось. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни, тогда-то эти нити и рвутся чаще всего. Он находился сейчас в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и вместе с тем грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он.

Он ничего не ел более суток, он был весь разбит от тряски экипажа, но не чувствовал этого; ему казалось, что он вообще ничего не чувствует.

Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное собственноручное письмо Жана – Никола Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено, должно быть по ошибке, девятым июня II года и в котором Паш посылал местной общине список министров и депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения, подумал бы, что это письмо сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его раза три кряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фантине и о Козетте.

Все еще погруженный в размышления, он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от залы заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его, вначале спокойный, остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее; потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, крупные капли потекли по вискам.

Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест, – тот не поддающийся описанию жест, который должен выражать и так ясно выражает: «Черт возьми! Да кто же может меня заставить?» Затем он решительно повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату; теперь он был вне ее, в коридоре, в длинном и узком коридоре со ступеньками и переходами, образовавшем множество углов и поворотов, скупо освещенном фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного, – словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался: ни малейшего шума ни впереди, ни позади, он пустился бежать, словно спасаясь от погони.

Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задышавшись, шатаясь от усталости, он прислонился к стене. Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным; весь дрожа, он выпрямился.

И тут, один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может, и не только от холода, он задумался.

Перед этим он думал всю ночь, думал весь день; теперь внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил: «Увы!»

Так прошло с четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и той же дорогой пошел назад. Шел он медленно, словно его давила непосильная ноша.

Казалось, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет обратно.

Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит в глаза тигру.

Он не мог отвести от нее взгляд.

Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери.

Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из залы; но он не слушал и не слышал. Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери. Он судорожно схватился за ручку; дверь отворилась. Он был в зале заседаний.

Глава девятая. Место, где складываются убеждения

Он шагнул вперед, машинально закрыл за собой дверь и остановился, озираясь по сторонам. Перед ним было просторное, скудно освещенное помещение, то полное неясного гула, то полное тишины; здесь на глазах у толпы развертывались перипетии уголовного процесса во всей их убогой и зловещей торжественности.

В том конце залы, где он находился сейчас, – судьи в потертых мантиях, грызущие ногти с рассеянным видом или полузакрыв глаза; в другом конце – толпа оборванцев; адвокаты, сидящие в разных позах; солдаты с честными и суровыми лицами; стены, обшитые старыми панелями, все в пятнах; грязный потолок, столы, покрытые саржей, которая из зеленой сделалась желтой; почерневшие захватанные двери; на гвоздях, вбитых в обшивку стен, лампы, какие горят в кабачках и больше коптят, чем светят, сальные свечи в медных подсвечниках на столах; полумрак, неприглядность, уныние; и тем не менее, все это вместе создавало впечатление строгости и величия, ибо здесь ощущалось присутствие того высокого человеческого начала, которое зовется законом, и того высокого божественного начала, которое зовется правосудием.

Никто в толпе не обратил на него внимания. Все взоры сходились в одной точке, все смотрели на деревянную скамью, прислоненную к дверке в стене, по левую руку от председателя; на этой скамье, освещенной свечами, меж двух жандармов сидел человек. Это был тот самый человек.

Вошедший не искал его: он увидел его сразу. Его глаза инстинктивно остановились на этой фигуре, как будто они заранее знали ее место.

Ему показалось, что он видит самого себя, только сильно постаревшего; разумеется, это лицо не было точной копией его лица, но манера держать себя, общий вид были поразительно схожи: те же всклокоченные волосы, тот же беспокойный звериный взгляд, блуза, точно такая же, какая была на нем в тот день, когда, исполненный ненависти и затаив в душе отвратительный клад страшных помыслов, накопленных им в течение девятнадцати лет каторги, он вошел в Динь.

И он сказал себе, содрогнувшись: «О боже! Неужели я опять стану таким?»

Судя по внешнему виду, этому человеку было по меньшей мере шестьдесят лет. В нем чувствовалось что-то грубое, тупое и растерянное.

При скрипе отворившейся двери все посторонились, чтобы пропустить его, председатель повернул голову и, догадавшись, что вошел мэр Монрейля-Приморского, поклонился. Товарищ прокурора, который встречался с г-ном Мадленом в Монрейле – Приморском, куда ему неоднократно приходилось ездить по делам службы, узнал его и тоже поклонился. Новоприбывший едва все это заметил. Он был во власти галлюцинации; он смотрел не туда. Судьи, секретарь, жандармы, множество физиономий с написанным на них выражением жестокого любопытства – все это уже было однажды, двадцать семь лет тому назад. Он вновь увидел перед собой эти зловещие образы, они были здесь, они шевелились, они существовали. Это был уже не результат усилия памяти, не мираж, – нет, теперь это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящая толпа, настоящие люди из плоти и крови. Свершилось: чудовищные призраки прошлого вновь обступили его, они воскресли со всей грозной силой реальности.

Зияющая бездна разверзлась перед ним.

Он ужаснулся, закрыл глаза и воскликнул в самой сокровенной глубине своей души:

«Никогда!»

Благодаря трагической шутке судьбы, будоражившей все его мысли и доводившей его почти до безумия, он видел здесь свое второе «я». Человека на скамье подсудимых все присутствовавшие звали – Жан Вальжан!

У него на глазах происходило нечто невероятное: перед ним воспроизводился самый ужасный момент его жизни, и его роль играл его призрак.

Все, все было здесь: та же обстановка, тот же ночной час, почти те же лица судей, солдат и зрителей. Только теперь над головой председателя висело распятие, которого не было в трибуналах тех времен, когда судили его. Когда выносили приговор ему, бог отсутствовал.

Позади него был стул; он почти упал на него, ужаснувшись при мысли, что его могут увидеть. На судейском столе лежала целая груда папок, и он воспользовался этим, чтобы спрятать за ней лицо от всей залы. Теперь он получил возможность видеть, не будучи видимым. Мало-помалу он начал приходить в себя. К нему вернулось ощущение действительности; он достиг той степени спокойствия, при которой можно слушать.

В числе присяжных был господин Баматабуа.

Новоприбывший взглядом поискал Жавера, но не увидел его. Стол секретаря заслонял свидетельскую скамью. Кроме того, как мы уже упоминали, зала была освещена очень скудно.

В ту минуту, когда он вошел, защитник заканчивал речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности; дело тянулось три часа. Уже три часа толпа наблюдала за тем, как сгибался под бременем страшного подобия правды какой-то человек, какой-то неизвестный, какое-то жалкое существо, необычайно тупое или необычайно хитрое. Как мы уже знаем, это был бродяга, которого поймали в поле по соседству с участком, именуемым «левадой Пьеррона»; в руках у него была ветка со спелыми яблоками, отломленная от яблони, росшей на этой леваде. Кто был этот человек? Произвели дознание, заслушали свидетелей, показания совпали, судебное разбирательство внесло полную ясность в это дело. Обвинение гласило: «Перед нами не просто вор, укравший несколько яблок, не простой мародер; перед нами разбойник, бывший каторжник, неисправимый, опаснейший негодяй, скрывавшийся от полицейского надзора, злоумышленник по имени Жан Вальжан, которого уже давно разыскивает правосудие и который восемь лет назад, возвращаясь с тулонских галер, совершил на большой дороге вооруженное нападение на маленького савояра по имени Малыш Жерве; это преступление предусмотрено статьей 383 уголовного кодекса, и мы оставляем за собой право судить за него впоследствии, когда личность подсудимого будет установлена судом. Теперь он совершил новую кражу. Мы имеем дело с рецидивистом. Судите его за новую провинность, а за старую он будет предан суду позднее». Слушая обвинение, видя единодушные свидетельских показаний, подсудимый, казалось, находился в недоумении. Он или принимался жестиковать, словно хотел сказать знаками – «Нет, нет», или тупо смотрел в потолок. Говорил он плохо, отвечал сбивчиво, но вся его фигура являла собой олицетворенное отрицание. Он выглядел идиотом рядом с этими ополчившимися против него учеными людьми, совсем чужим среди этого общества, крепко державшего его в своих руках. А между тем ему угрожало страшное будущее; справедливость обвинения становилась с каждой минутой все более и более явной, и толпа с большим беспокойством, нежели он сам, ждала приговора, все более и более неотвратимого и чреватого для него неисчислимыми бедствиями. В случае если бы личность была установлена, а дело Малыша Жерве в дальнейшем тоже закончилось бы обвинением, можно было предвидеть не только каторгу, но и смертную казнь. Что представляет собой этот человек? Почему он так безучастен? Что это – слабоумие или притворство? Понимает он слишком хорошо или ничего не понимает? Вот вопросы, которые разделяли публику, да,

пожалуй, и самих присяжных, на два лагеря. В этом процессе было нечто пугающее и в то же время загадочное, драма была не только мрачной, она была неясной.

Защитник произнес неплохую речь, пользуясь тем провинциальным языком, который в течение долгого времени считался образцом судебного красноречия и когда-то употреблялся не только где-нибудь в Роморантене или в Монбризоне, но и в Париже, а ныне, став классическим, сделался достоянием лишь официальных представителей правосудия, которых он привлекает своей торжественной звучностью и напыщенностью. На этом языке муж именуется супругом, а жена супругой, Париж – средоточием искусств и цивилизации, король – монархом, епископ – святым Прелатом, помощник прокурора – красноречивым представителем обвинения, защитительная речь – словесами, коим мы только что внимали, век Людовика XIV – великим веком, театр – храмом Мельпомены, царствующая фамилия – августейшей династией, концерт – музыкальным празднеством, начальник военного округа – доблестным воином, который и пр., воспитанники семинарии – нашими кроткими левитами, ошибки, приписываемые прессе, – клеветой, изливающей свой яд на столбцах печатных органов, и пр., и пр. Итак, адвокат начал с выяснения вопроса о краже яблок, что являлось предметом, мало подходящим для высокого стиля, но ведь и сам Бенинь Боссюэ в одной надгробной речи вынужден был упомянуть о курице и с честью вышел из затруднения. Адвокат установил, что явных доказательств кражи яблок не было. Никто не видел, как его клиент, которого он, в качестве защитника, упорно называл Шанматье, перелезал через стену и обламывал ветку. Когда его задержали, при нем оказалась эта ветка (которую адвокат предпочитал именовать «ветвью»), но он сказал, что нашел ветку на дороге и подобрал ее. Есть ли хоть одно доказательство противного? Конечно, ветка была сломана и похищена вследствие вторжения в огороженный участок, а потом брошена испугавшимся мародером; конечно, вор существовал; но на чем основана догадка, что этим вором был именно Шанматье? Только на предположении, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, это предположение как будто бы подкреплено вескими доводами: подсудимый когда-то жил в Фавероле, подсудимый занимался подрезкой деревьев, имя Шанматье вполне могло произойти от Жана Матье, – все это совершенно справедливо; наконец четыре свидетеля, не колеблясь, самым определенным образом признали в Шанматье каторжника Жана Вальжана. Всем этим заявлениям, всем этим показаниям он, адвокат, может противопоставить одно – запирательство своего подзащитного, запирательство заинтересованного лица; но если даже допустить, что подсудимый действительно является каторжником Жаном Вальжаном, доказывает ли это, что именно он совершил кражу яблок? Это не более, как презумпция, но отнюдь не доказательство. Правда, обвиняемый – защитник «чистосердечно» признает это – избрал «дурную систему самозащиты». Он упорно отрицает все – и кражу, и тот факт, что был когда-то на каторге. Признавшись в последнем, он, без сомнения, поступил бы благоразумнее и снискал бы этим благосклонность судей; защитник и советовал ему поступить так, но подсудимый решительно отказался, очевидно, надеясь спасти себя, не признаваясь ни в чем. Это неправильно, но разве не следует принять во внимание узость его кругозора? Этот человек явно тупоумен. Длительные несчастья на каторге, длительная нищета после каторги – все это привело его к одичанию и т. д., и т. д. Он плохо защищает самого себя, но разве это причина, чтобы осудить его? Что до обвинения по делу Малыша Жерве, то он, адвокат, не собирается обсуждать его, ибо оно не имеет касательства к данному процессу. В заключение защитник обратился к присяжным и к судьям с просьбой применить к подсудимому, в случае если его тождество с Жаном Вальжаном покажется им несомненным, не то страшное наказание, которое применяется к галернику – рецидивисту, а обычное полицейское взыскание, какое налагается на освобожденного каторжника, самовольно покинувшего указанное ему место жительства. После адвоката выступил товарищ прокурора. Он говорил горячо и цветисто, как все товарищи прокурора.

Он похвалил защитника за его «лояльность» и весьма искусно воспользовался этой лояльностью. Он обратил против подсудимого все уступки, сделанные защитником. Защитник, по-видимому, признает, что подсудимый – Жан Вальжан. Что и принято к сведению. Итак, подсудимый – Жан Вальжан. Итак, этот пункт обвинения признан и не подлежит опровержению. Затем прокурор обратился к первоисточникам и первопричинам преступности вообще и, прибегнув к искусной антономазии, обрушился на безнравственность романтической школы, бывшей тогда в расцвете и носившей название «сатанинской школы», которым ее наградили критики из Еженедельника и из Орифламмы; влиянию этой извращенной литературы он и приписал, не без некоторой доли правдоподобия, проступок Шанматье, или, вернее сказать, проступок Жана Вальжана. Потом он перешел к самому Жану Вальжану. Что представляет собой Жан Вальжан? Тут следовала характеристика Жана Вальжана. Чудовище, исчадие ада и т. д., и т. д. Образчик подобного рода характеристик можно найти в рассказе расиновского Терамена, который не имеет существенного значения для самой трагедии, но ежедневно оказывает немалые услуги любителям судебного красноречия. Публика и присяжные «содрогнулись». Прокурор покончил с характеристикой и, в порыве ораторского вдохновения, рассчитанного на то, чтобы возбудить восторги читателей завтрашнего номера Ведомостей префектуры, продолжал: «И такой человек и пр., и пр., бродяга, нищий, не имеющий никаких средств к существованию и пр., и пр., приученный своей прошлой жизнью к преступным деяниям и не поддавшийся исправлению на каторге, как это доказывает нападение на Малыша Жерве, совершенное им, и пр., и пр., пойманный на большой дороге с поличным, с украденной ветвью в руках, в нескольких шагах от ограды, через которую он перелез, и пр., и пр., отрицает очевидность, кражу, отрицает факт перелезания через ограду, отрицает все, вплоть до своего имени, вплоть до того, что он – Жан Вальжан. Помимо сотни других улик, которые мы не будем здесь повторять, его опознали четыре свидетеля: неподкупный полицейский надзиратель Жавер и трое из его бывших сотоварищей по бесчестию, каторжники Бреве, Шеннльдье и Кошпай. Что же противопоставляет он этому сокрушительному единодушию? Запирательство. Какая закоренелость! Господа присяжные заседатели, творите правосудие и пр., и пр.

Подсудимый слушал разинув рот, с удивлением и не без восхищения. Видимо, его поражало, что человек может говорить так красиво. Время от времени, в наиболее патетических местах обвинительного заключения, в те минуты, когда красноречие, выйдя из берегов, изливается в потоке позорящих эпитетов и поражает подсудимого раскатами грома, он покачивал головой справа налево и слева направо, как бы в знак печального и немого протеста, которым он и ограничился с самого начала прений. Зрители, сидевшие от него ближе других, слышали, как он несколько раз повторил вполголоса: «А все оттого, что они не спросили у господина Балу!». Товарищ прокурора обратил внимание присяжных на его придурковатый вид, явно рассчитанный, обличавший отнюдь не слабоумие, но ловкость, хитрость, привычку обманывать правосудие и указывавший со всей очевидностью на «глубокую испорченность» этого человека. В заключение он предупредил, что еще займется делом Малыша Жерве, и потребовал сурового приговора.

Как мы уже упоминали, в данную минуту этот приговор означал пожизненную каторгу. Защитник встал, назвал речь «господина товарища прокурора» «изумительной», потом привел все возражения, какие только мог, но силы изменяли ему; было ясно, что почва ускользает у него из-под ног.

Глава десятая.

Система запирательства

Пора было прекратить прения сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом:

– Подсудимый! Имеете ли вы что-нибудь добавить в свое оправдание?

Человек стоял на месте, комкая свой безобразный колпак, и, казалось, не слышал вопроса.

Председатель повторил его еще раз.

На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного; он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, защитника, присяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, находившийся перед его скамьей, еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящее извержение. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно.

Он сказал:

– Вот что. Я был тележником в Париже и служил у господина Балю. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах. Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении – никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь рука об руку, только бы согреться; но хозяева этого не любят, – по-ихнему, это лишняя проволочка времени.

Орудовать с железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое. Тут быстро надорвешься. На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченный человек. А мне уже стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно. Да и потом в Париже нехороший народ! «Старый хрыч, старый дурак!» – только и слышишь, как дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день, мне платили дешевле дешевого, хозяева пользовались тем, что я стар. Правда, у меня была дочь прачка, стирала белье на речке. Она тоже немного прирабатывала, и вдвоем мы все-таки кое-как перебивались. Но и ей приходилось нелегко. Целый день по пояс в бадье, ветер прямо в лицо; мороз не мороз – все равно приходится стирать; у иных белья мало, и они не могут ждать подолгу: а если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо, брызги так и обдают вас со всех сторон. Юбка промокает снизу доверху. Все мокро насквозь. Она работала и в прачечной, в приюте Красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бадье. Стираешь под краном, а полощешь рядом, в лохани. Помещение закрытое, и не так мерзнешь. Зато от горячей воды валит густой пар, а это очень вредно для глаз. Она, бывало, придет вечером, часов около семи, и сразу завалится спать, – уж очень сильно она уставала. Муж ее бил. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка, не бегала по танцулькам. Такая уж смиренная уродилась. Помнится мне, был вторник на масленой неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот оно что! Думаете, вру? Спросите, кого хотите. Да что я – «Спросите»! Экий я дурень! Ведь Париж – что омут, кто знает там дядюшку Шанматье? А все-таки я вам опять скажу про господина Балю, вот съездили бы вы к господину Балю. А то я не понимаю, что вам от меня нужно.

Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом, очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз прервал себя на полуслове, чтобы поздороваться с кем-то, сидевшим в публике. Все свои выкрики, явно неожиданные и для него самого, он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели засмеялись. Взглянув на публику и видя, что все хохочут, он, не понимая причины этого смеха, тоже засмеялся.

Это было страшно.

Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово.

Он напомнил «господам присяжным», что «ссылка на упомянутого Балю, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, совершенно бесполезна. Он

обанкротился, и разыскать его так и не удалось». Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил внимательно выслушать его слова и добавил:

– Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый! Я обращаюсь к вам в последний раз и призываю вас в ваших же интересах точно ответить на следующие два вопроса: во-первых, действительно ли вы перелезли через стену левады Пьеррона, действительно ли сломали ветку и украли яблоки, – другими словами, совершили кражу с вторжением в чужие владения? Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном? Отвечайте – да или нет? Подсудимый тряхнул головой с видом смышленного человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал:

– Для начала...

Потом посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал.

– Подсудимый! – строгим тоном снова начал товарищ прокурора. – Будьте осторожны. Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас.

Совершенно очевидно, что ваше имя не Шанматье, что вы каторжник Жан Вальжан, укрывавшийся вначале под именем Жана Матье – девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев.

Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену левады Пьеррона и совершили кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов.

Подсудимый уже сел, но когда товарищ прокурора замолчал, он внезапно вскочил с места и крикнул:

– Вы злой человек, очень злой! Вот что я хотел сказать. Только сначала я растерялся. Я ничего не крал. Мне и поесть случается не каждый день. Я возвращался из Айи, шел после проливного дождя, земля была совсем желтая, везде лужи, только на краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать, а на меня все наговаривают и твердят: «Отвечайте!» Вон и жандарм – он, видно, славный малый – толкает меня под локоть и шепчет: «Да отвечай же!» А я не умею все как следует объяснить, я ведь совсем неученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал, я поднял то, что валялось на земле. Вы говорите: «Жан Вальжан, Жан Матье!» – а я и знать не знаю этих людей. Это, должно быть, крестьяне. А я работал у господина Балу, на Госпитальном бульваре, и зовут меня Шанматье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. Я и сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтоб там родиться. А оно было бы не плохо. Я думаю, мои отец с матерью бродяжничали. По правде сказать, мне я самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали Малышом, а теперь кличут Стариной. Вот и все мои имена, хотите – верьте, хотите – нет. Я жил в Оверни, жил в Фавероле. Ну так что же из этого, черт побери! Разве нельзя жить в Оверни или Фавероле, не побывав при этом на каторге? Говорят вам, я ничего не крал, я – дядюшка Шанматье. Я работал у господина Балу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне ваши глупости, и все! Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвались?

Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю:

– Господин председатель! Ввиду сбивчивых, но весьма искусных заpirательств подсудимого, которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему не удастся, – об этом мы предупреждаем его заранее, – мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить сюда арестантов Бреве, Кошпайя и Шенильдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них – допрос касательно тождества личности подсудимого с личностью каторжника Жана Вальжана.

– Я вынужден заметить господину товарищу прокурора, – ответил председатель, – что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание и даже наш город немедленно после дачи показаний. Мы разрешили ему это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого.

– Совершенно верно, господин председатель, – продолжал товарищ прокурора. – Ввиду отсутствия съера Жавера, я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им в этой самой зале несколько часов назад. Жавер – человек, пользующийся всеобщим уважением. Суровой и безукоризненной честностью он возвышает свою, пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показание: «Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, ни в вещественных уликах, чтобы опровергнуть заpiresательство подсудимого. Я сразу узнал его. Этого человека зовут не Шанматье; это бывший каторжник Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Девятнадцать лет он отбывал каторжные работы при усугубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершал попытки к бегству. Помимо кражи у Малыша Жерве и на леваде Пьеррона, я подозреваю его еще в краже, совершенной у его преосвященства, покойного епископа Диньского. В бытность мою помощником надзирателя на тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто. Повторяю, я сразу узнал его». Это не допускавшее кривотолков показание, видимо, произвело сильное впечатление и на публику и на присяжных. Заканчивая свою речь, товарищ прокурора настоятельно потребовал, чтобы, ввиду отсутствия Жавера, были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля – Бреве, Шенильдье и Кошпай.

Председатель отдал приказание одному из приставов, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бреве. Публика ждала с замиранием сердца; все как один затаили дыхание.

На бывшем каторжнике Бреве была черная с серым куртка – обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем: «Он старается быть полезным». Священники одобрительно отзывались о его набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху Реставрации.

– Бреве! – сказал председатель. – Вынесенный вам приговор позорит вас, и вы не можете быть приведены к присяге.

Бреве опустил глаза.

– Тем не менее, – продолжал председатель, – даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, чувство справедливости и чести. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я на это надеюсь, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить. Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним словом, и о правосудии, которому одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. – Подсудимый, встаньте! – Бреве! Хорошенько взгляните в подсудимого, напрягите память и скажите, повинуюсь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек – ваш бывший товарищ по каторге Жан Вальжан.

Бреве взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям.

– Да, господин председатель. Я первый узнал его и стою на своем. Этот человек – Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в тысяча семьсот девяносто шестом году и освобожден в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него

придурковатый вид, – может, он поглупел с годами, а на каторге он был себе на уме. Я узнаю его, у меня сомнений нет.

– Садитесь, – сказал председатель, – а вы, подсудимый, продолжайте стоять.

Ввели Шенильдье. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда ради этого дела. Это был человек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, тщедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный; вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмадье.

Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенильдье вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредоточиться и спросил у него, так же как спрашивал у Бреве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана.

Шенильдье покатылся со смеху.

– Вот тебе раз! Узнаю ли я его! Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня воротишь нос, старина?

– Садитесь, – сказал председатель.

Судебный пристав ввел Кошпайя. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шенильдье, с галер и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин, настоящий пиренейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах и из пастуха незаметно превратился в разбойника. Кошпай был такой же дикий и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает вчерне, делая их дикими зверями, а общество довершает ее работу, превращая их в каторжников. Сделав попытку растрогать его патетическими и торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в стоящем перед ним человеке узнает Жана Вальжана.

– Это Жан Вальжан, – сказал Кошпай. – У нас его даже звали Жан Домкрат, такой это был силач.

Каждое показание этих людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого, – ропот, который все возрастал и становился все более длительным, всякий раз, как новое свидетельство добавлялось к предыдущему. Подсудимый выслушивал их с тем удивленным выражением, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным орудием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, услышали, как он пробормотал сквозь зубы: «Вот так так! Тоже нашелся!» После второго он сказал громче и почти одобрительно: «Ловко!» После третьего он вскричал! «Ну и брехун!»

Председатель обратился к нему:

– Подсудимый, вы все слышали. Что вы скажете теперь?

Он ответил:

– Я ведь говорю: «Ну и брехун!»

Громкий ропот поднялся в публике и даже среди части присяжных. Было ясно, что участь этого человека решена.

– Приставы! – сказал председатель. – Водворите тишину. Я закрываю прения.

В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал:

– Бреве, Шенильдье, Кошпай! Взгляните-ка сюда!

Все, услышавшие этот голос, почувствовали ледянящий душу ужас, так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял

посреди залы. Председатель, товарищ прокурора, г-н Баматабуа, еще два десятка человек узнали его и воскликнули в один голос:

– Господин Мадлен!

Глава одиннадцатая. Удивление Шанматье растет

Это и в самом деле был он. Лампа на столе секретаря освещала его лицо. Шляпу он держал в руке, в его одежде не было заметно ни малейшего беспорядка, редингот его был тщательно застегнут. Он был очень бледен и чуть дрожал. Волосы его, которые к моменту приезда в Аррас только начинали седеть, были теперь совсем белые. Они побелели за тот час, что он находился здесь.

Все головы повернулись в его сторону. Впечатление было неописуемое. В первую минуту присутствовавшие не поняли, что происходит. В голосе прозвучала мука, но человек, выступивший вперед, казался таким спокойным, что сначала все были в недоумении. Все спрашивали себя, кто это крикнул. Никто не мог поверить, чтобы этот страшный возглас мог вырваться из груди этого тихого человека.

Однако неуверенность длилась лишь несколько мгновений. Не успели председатель и товарищ прокурора вымолвить слово, не успели жандармы и служители двинуться с места, как человек, которого в эту минуту все еще называли господином Мадленом, подошел к свидетелям Кошпайю, Бреве и Шенильдье.

– Вы не узнаете меня? – спросил он.

Все трое остолбенели от изумления и отрицательно покачали головой. Кошпай, оробев, отдал честь по – военному. Повернувшись к присяжным и к судьям, г-н Мадлен кротко сказал им:

– Господа присяжные! Прикажите освободить подсудимого. Господин председатель!

Прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я – Жан Вальжан.

Все замерли. Поднявшийся было ропот изумления сменился гробовым молчанием. В зале ощущался тот почти благоговейный трепет, какой охватывает толпу, когда у нее на глазах совершается нечто великое.

Лицо председателя выразило печаль и сочувствие; он обменялся с товарищем прокурора быстрым взглядом и шепотом сказал несколько слов заседателям. Затем обратился к публике и спросил тоном, который поняли все:

– Нет ли здесь врача? Потом заговорил товарищ прокурора.

– Господа присяжные! – сказал он. – Необычайный и непредвиденный случай, взволновавший всех присутствующих, внушает нам, так же как и вам, лишь одно чувство, называть которое нет надобности. Все вы знаете, хотя бы понаслышке, почтенного господина Мадлена, мэра Монрейля-Приморского. Если в зале присутствует врач, мы присоединяемся к просьбе господина председателя оказать помощь господину Мадлену и проводить его домой.

Господин Мадлен не дал товарищу прокурора договорить. Он прервал его мягким, но не допускающим возражений тоном. Вот подлинные слова, которые он произнес, – слова, которые были записаны одним из свидетелей этой сцены немедленно после судебного заседания и которые до сих пор звучат в ушах тех, кто их слышал, хотя это было около сорока лет назад.

– Благодарю вас, господин товарищ прокурора, но я в здравом уме. Сейчас вы убедитесь в этом. Вы чуть было не совершили большой ошибки. Отпустите на свободу этого человека! Я выполняю свой долг, несчастный осужденный – это я. Я единственный человек, кому ясно все то, что происходит здесь, и я говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит всевышний, и мне этого довольно. Можете меня арестовать, я здесь. А ведь я старался делать

все, что было в моих силах. Я укрылся под вымышленным именем; я разбогател, стал мэром; я хотел вернуться в среду честных людей. Видимо, это невозможно. О многом я не могу говорить сейчас, я не собираюсь рассказывать вам свою жизнь; когда-нибудь о ней узнают. Я обокрал епископа-это правда; я обокрал Малыша Жерве – это правда. Вам сказали, что Жан Вальжан был опасным негодяем – и сказали не напрасно. Но, быть может, не он один виноват в этом. Послушайте, господа судьи: человек, так низко павший, как я, не имеет права укорять провидение или давать советы обществу; но, видите ли, позорное существование, из которого я пробовал выбраться, губительно само по себе. Каторга создает каторжника. Вдумайтесь в это, прошу вас. До галер я был бедным крестьянином, очень неразвитым, почти совсем темным; каторга переделала меня. Я был тупым – я стал злым; я был поленом – я стал раскаленной головней. Впоследствии снисходительность и доброта спасли меня, подобно тому как суровость погубила раньше. Но, простите, вы ведь не можете понять всего того, о чем я говорю с вами. Дома у меня, в камине, в куче золы вы найдете монету в сорок су, которую я украл у Малыша Жерве семь лет назад. Больше мне нечего добавить. Арестуйте меня. О боже! Господин помощник прокурора качает головой, вы говорите: «Господин Мадлен сошел с ума». Вы не верите мне! Как это мучительно! Но по крайней мере не осуждайте этого человека! Как? Эти люди не узнают меня? Хотел бы я, чтобы здесь был Жавер. Вот кто узнал бы меня сразу! Невозможно передать оттенок добродушной и безнадежной грусти, прозвучавшей в этих словах.

Он обернулся к трем каторжникам:

– А вот я вас сразу узнал! Бреве! Помните ли вы...

Он запнулся, помолчал, колеблясь, потом спросил:

– Помнишь ли ты вязанные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?

Бреве вздрогнул от удивления и испуганно осмотрел говорившего с головы до ног. Тот продолжал:

– Шенильдье или Шельмадье, как ты называешь себя! У тебя сожжено все правое плечо, потому что как-то раз ты прислонился плечом к жаровне с раскаленными углями, чтобы уничтожить три буквы: П. К. Р.²⁸ Но они видны до сих пор. Отвечай: это правда?

– Правда, – ответил Шенильдье.

Он обратился к Кошпайю:

– Кошпай! На сгибе левой руки у тебя выжжена порохов синяя надпись. Это дата высадки императора в Канне, первое марта тысяча восемьсот пятнадцатого года. Засучи рукав.

Кошпай засучил рукав, все взгляды устремились на его обнаженную руку. Жандарм ближе поднес лампу; дата была видна.

Несчастный обернулся к публике и к судьям с улыбкой, которую все, видевшие ее, до сих пор не могут вспомнить без содрогания.

То была улыбка торжества, то была также улыбка отчаянья.

– Теперь вы видите, что я Жан Вальжан, – сказал он.

В этой зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов; здесь были только напряженные взгляды и растроганные сердца. Ни один человек не помнил о той роли, которую ему надлежало играть; товарищ прокурора забыл, что он здесь для того, чтобы обвинять, председатель – что он здесь для того, чтобы председательствовать, защитник – что он здесь для того, чтобы защищать. Поразительная вещь: ни один вопрос не был задан, ни один из представителей власти не вмешался. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают все души и всех свидетелей превращают в зрителей. Никто, быть

²⁸ П.К.Р. – пожизненные каторжные работы.

может, не отдавал себе отчета в своих чувствах; никто, конечно, не понимал, что перед ним сияет свет великой души; но все чувствовали себя внутренне ослепленными.

Теперь уже не было сомнений, что перед судом стоит настоящий Жан Вальжан. Это было ясно как день. Его появление рассеяло мрак, окутывавший дело еще несколько минут назад. Никакие объяснения были уже не нужны, все присутствовавшие, словно пронзенные электрической искрой, словно по наитию, поняли сразу и с первого взгляда простую, но изумительную историю человека, который пришел донести на себя, чтобы другой человек не был осужден вместо него. Подробности, колебания, мелкие затруднения потонули во всепоглощающем сиянии этого поступка.

Впечатление длилось недолго, но оно было непреодолимо.

– Я не хочу больше нарушать порядок судебного заседания, – продолжал Жан Вальжан. – Никто не задерживает меня, и я уйду. У меня еще много дела. Господин товарищ прокурора знает, кто я, знает, куда я еду, и может арестовать меня, когда ему будет угодно.

Он направился к выходу. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не поднялась, чтобы ему помешать. Толпа расступилась, давая ему дорогу. В эту минуту в нем было что-то божественное, что-то такое, благодаря чему тысячи людей почтительно расступаются перед одним человеком. Он медленно прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, достоверно одно – она распахнулась перед ним, когда он подошел к ней. На пороге он обернулся и сказал:

– Господин товарищ прокурора! Я в вашем распоряжении.

Затем он повернулся к публике:

– Вы все, – все, кто находится здесь, – наверное, считаете меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой! А я, когда подумаю о том, чего я чуть было не сделал, считаю себя достойным зависти. И все-таки я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось.

Он вышел, и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо тот, кто совершает высокие деяния, может быть уверен в том, что в толпе всегда найдутся люди, готовые оказать ему услугу.

Менее чем через час вердикт присяжных снял всякое обвинение с лица, именуемого Шанматье, и Шанматье, немедленно выпущенный на свободу, ушел пораженный, решив, что все сошли с ума, и ничего не понимая во всем этом бреде.

Книга восьмая Удар рикошетом

Глава первая.

В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы

Светало. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз, однако бессонница ее была полна радостных видений; под утро она заснула. Воспользовавшись этим, сестра Симплиция, ни на шаг не отходявшая от больной, пошла приготовить ей новую порцию хинной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренней мглой. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула – перед ней стоял г-н Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно.

– Как! Это вы, господин мэр? – воскликнула она.

Он спросил вполголоса:

– Как здоровье этой бедной женщины?

– Сейчас ничего. Но, знаете, вчера она порядков напугала нас.

И тут сестра рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фантине было очень худо, а теперь лучше, так как она думает, что г-н мэр уехал в Монфермейль за ее дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать г-на мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда.

– Это хорошо, – сказал он, – вы правильно поступили, что не разуверили ее.

– Да, господин мэр, – продолжала сестра, – но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного, без ребенка?

Он задумался.

– Бог наставит нас, – сказал он.

– Однако нельзя же солгать, – прошептала сестра.

В комнате стало совсем светло. Лицо г-на Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза.

– О боже! – вскричала она. – Что это с вами случилось, сударь? Ваши волосы совсем побелели.

– Побелели? – повторил он.

У сестры Снмплиции не было зеркала; она порылась в сумке с инструментами и вынула оттуда зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. Г-н Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал:

– В самом деле!

Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо, думая о другом.

От всего этого на сестру пахло чем-то леденящим и неведомым.

Он спросил:

– Можно мне повидать ее?

– А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком? – произнесла сестра, с трудом решившись на такой вопрос.

– Непременно, но на это понадобится не менее двух, а то и трех дней.

– Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр, – робко продолжала сестра, – то она так и не узнала бы, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще немного, а когда ребенок приедет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним. И тогда не пришлось бы прибегать ко лжи.

Господин Мадлен задумался, потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью:

– Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться.

Монахиня, видимо, не заметила этого «быть может», придававшего словам мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтительно ответила ему, понизив голос:

– Она спит, но раз это нужно, господин мэр, войдите к ней.

Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную, затем вошел в комнату, где лежала Фантина, подошел к кровати и приоткрыл полог. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздирающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну, щеки алели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее, сейчас никто не поверил бы, что перед ним почти безнадежно больная. Она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть.

Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок; она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу.

Некоторое время Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как два месяца назад, в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут, и оба делали то же, что и тогда: она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а волосы Мадлена совсем побелели.

Сестра не вошла к Фантине, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании.

Вдруг Фантина открыла глаза, увидела его и сказала совершенно спокойно и с улыбкой:

– А Козетта?

Глава вторая. Фантина счастлива

Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости; она вся была воплощенная радость. Этот простой вопрос: «А Козетта?» – задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала:

– Я знала, что вы здесь. Я спала, но видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. Вы были в каком-то сиянии, вас окружали ангелы.

Он поднял глаза к распятию.

– Но скажите же мне, где Козетта? – продолжала она. – Почему вы не положили ее ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась.

Он бессознательно ответил ей что-то, но впоследствии не мог припомнить, что именно.

К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к Мадлену.

– Голубушка! – сказал врач. – Успокойтесь! Ваш ребенок здесь.

Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы.

– О, принесите же мне ее! – вскричала она.

Трогательная иллюзия матери! Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках.

– Нет, – возразил врач, – не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас.

Она перебила его:

– Но ведь я уже здорова, здорова! До чего он глуп, этот доктор! Вы слышите? Я хочу видеть моего ребенка, хочу и все!

– Вот видите, как вы горячитесь, – сказал врач. – До тех пор, пока вы будете так себя вести, я не разрешу вам держать у себя дочку. Недостаточно увидеть ребенка, надо жить для него.

Когда вы будете благоразумны, я сам приведу его к вам.

Бедная мать опустила голову.

– Простите меня, господин доктор, очень прошу вас, простите меня! В прежнее время я бы не стала так разговаривать, но со мной случилось столько несчастий, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю: вы боитесь, чтобы я не разволновалась, я буду ждать, сколько вы захотите, но, клянусь вам, мне не причинило бы вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее; она так и стоит у меня перед глазами со вчерашнего вечера. Знаете, что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней, и все. Разве не понятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым ради меня ездили в Монфермейль? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне Козетту. У меня уже нет жара, я выздоровела. Я чувствую, что у меня все

прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больна, и не стану двигаться, чтобы сделать приятное сестрицам. Когда все увидят, что я спокойна, то скажут: надо дать ей ребенка.

Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и «быть умницей», как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость, – старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней Козетту. Однако, как она ни сдерживалась, она все же не могла не забросать г-на Мадлена вопросами:

– Хорошо ли вы съездили, господин мэр? О, какой вы добрый, что поехали за ней! Скажите мне только одно: как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня. Как это грустно! Она забыла меня за столько времени, бедная крошка! Дети ведь такие беспамятные! Все равно что птички. Сегодня видят одно, завтра другое и сразу все забывают. По крайней мере чистое ли было на ней белье? В чистоте ли держали ее эти Тенардьё? Как они ее кормили? О, если бы вы знали, как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в пору нужды! Теперь все прошло. Я так рада! Ах, как бы мне хотелось увидеть ее! Скажите, господин мэр, понравилась вам моя дочурка? Ведь, правда, она красавица? Вы, наверно, очень озябли в дилижансе? Скажите, неужели нельзя принести ее сюда хоть на минуточку? А потом сейчас же унести обратно? Вы ведь здесь хозяин, и если бы вы захотели...

Он взял ее за руку.

– Козетта красавица, – сказал он, – Козетта здорова, вы скоро увидите ее, только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла, а от этого у вас кашель.

В самом деле, приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове. Фантина не стала возражать; она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах.

– Не правда ли, Монфермейль – довольно красивое место? Летом туда ездят на прогулку. Как идут дела у Тенардьё? В тех краях бывает мало народу. Это не постоянный двор, а какая-то харчевня.

Не выпуская ее руки, Мадлен смотрел на нее с тревогой; было ясно, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра.

Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины:

– Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее! Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться.

Во дворе играл ребенок-дочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в развертывающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы! В какие только человеческие переживания не вторгаются иногда детские игры! Песенку этой девочки и услышала Фантина.

– О! – вскричала она. – Это моя Козетта! Я узнаю ее голосок!

Ребенок исчез так же быстро, как появился; голосок умолк; Фантина прислушивалась еще некоторое время, потом лицо ее омрачилось, Мадлен услышал, как она прошептала:

– Какой дурной человек этот доктор. Он не позволяет мне увидеть мою дочку! У него и лицо злое.

Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой:

– Какие мы с ней будем счастливые! Во-первых, у нас будет садик! Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверно, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками. А я буду смотреть

на нее. А потом она пойдет к причастию. Кстати! Когда же она в первый раз пойдет к причастию?

Она начала считать по пальцам.

– ...Один, два, три, четыре... сейчас ей семь. Значит, через пять лет. Она наденет белую вуаль и ажурные чулочки, она будет похожа на маленькую женщину. О добрая моя сестрица! Вы еще не знаете, до чего я глупа – я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию!

Она рассмеялась.

Он уже не держал руку Фантины. Он слушал ее слова, как слушают дуновение ветерка, – опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он машинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его.

Она больше не говорила, она больше не дышала; она приподнялась на своем ложе, ее худое плечо выглянуло из-под спустившейся сорочки; лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно; расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты.

– Боже мой! – вскричал он. – Что с вами, Фантина?

Она не ответила, она не отрывала глаз от того, на что смотрела; она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак оглянуться.

Он обернулся и увидел Жавера.

Глава третья. Жавер доволен

Вот что произошло.

Пробило половину первого ночи, когда г-н Мадлен вышел из залы аррасского суда.

Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в Монрейль – Приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту, а затем зашел в больницу навестить Фантину.

Едва он успел покинуть залу заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монрейля-Приморского, заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, получит свое объяснение впоследствии и пока что требует осуждения Шанматье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии с мнением всех – публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признаниям г-на Мадлена – другими словами, истинного Жана Вальжана – все дело в корне изменилось и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенций, к сожалению, уже не новых, относительно судебных ошибок и т. д., и т. д.; председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили Шанматье непричастным к делу.

Однако товарищу прокурора требовался какой-нибудь Жан Вальжан, и, потеряв Шанматье, он ухватился за Мадлена.

Немедленно после освобождения Шанматье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос «касательно нового обвиняемого, касательно особы г-на мэра города Монрейля – Приморского и касательно необходимости его задержать». Эта коллекция «касательных» принадлежит перу г-на товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак, а правосудие должно было вершиться своим

порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек незлой и довольно неглупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покорило, что когда-то мэр Монрейля – Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово император, а не Буонапарте.

Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монрейль – Приморский с нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу.

Жавер вернулся в Монрейль – Приморский немедленно после дачи показаний.

Жавер только что встал, когда нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного.

Нарочный тоже был из агентов полиции, человек многоопытный, и он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил: «Полицейскому надзирателю Жаверу предписывается задержать съера Мадлена, мэра Монрейля-Приморского, в лице коего суд на заседании от сего числа опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана».

Если бы при входе Жавера в переднюю больницы его увидел человек посторонний, то он никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что происходит в его душе, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жавер был холоден, спокоен, серьезен, его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым шагом. Однако, если бы человек, изучивший его, внимательно присмотрелся к нему, он ощутил бы трепет. Застежка кожаного воротничка Жавера, вместо того чтобы быть сзади, как полагалось, приходилась под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение.

Жавер был цельной натурой и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире; он был методически строг в отношении пуговиц своей одежды.

Если ему случилось неправильно застегнуть воротничок – значит, в душе его произошла такая буря, какую можно было бы назвать внутренним землетрясением.

Захватив с собой одного капрала и четырех солдат с ближайшего полицейского участка, он пошел прямо в больницу, оставил солдат во дворе и попросил ничего не подозревавшую привратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают г-на мэра, указать ему, где лежит Фантина.

Дойдя до палаты Фантины, Жавер повернул ключ, с осторожностью сиделки или сыщика отворил дверь и вошел.

Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Под мышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за спиной.

С минуту он простоял никем не замеченный. Внезапно Фантина подняла глаза, увидела его и заставила обернуться Мадлена.

В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер стал страшен, хотя он и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Ни одно человеческое чувство не способно вселить такой ужас, какой иногда способна вселить радость.

То было лицо Сатаны, который вновь обрел своего грешника.

Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавера. Вся тина со дна взбаламученного моря всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял след и в течение нескольких минут принимал Шанматье за другого, исчезло, вытесненное гордостью сознания, что он угадал истину с самого начала и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого в торжестве, распустилось пышным цветом на его узком лбу.

Здесь во всей своей наготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии.

Жавер был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою необходимость и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции – в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, полицейская совесть, общественная кара – все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона грома и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; окруженный ореолом, он словно стал выше ростом; в его победе еще жил отзвук вызова и поединка: он стоял надменный, блистательный; какое-то пугающее животное начало свирепого ангела мщения, казалось, проступало в нем; в грозной тени свершаемого им дела неясно вырисовывался пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, порок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле.

Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого.

Честность, искренность, прямотуше, убежденность, преданность долгу – это свойства, которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными; величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порок-заблуждение. Безжалостная искренняя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое сияние, зловещее, но внушающее уважение. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра.

Глава четвертая.

Законная власть восстанавливает свои права

Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры, она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, в испуге крикнула:

– Господин Мадлен, спасите меня!

Жан Вальжан – отныне мы уже не будем называть его иначе – поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине:

– Успокойтесь Он пришел не за вами.

Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему:

– Я знаю, что вам нужно.

Жавер ответил:

– Живо! Идем!

В тоне, каким были произнесены эти два слова, слышалось что-то иступленное, что-то дикое. Жавер не сказал: «Живо! Идем!» Он сказал: «Живидем!» Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки; то была уже не человеческая речь, то было рычание.

На сей раз он поступил не так, как обычно: он не объявил о цели своего прихода, он даже не предъявил приказа об аресте. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал: «Живо! Идем!»

Произнося эти слова, он не сделал ни шагу; он только метнул на Жана Вальжана взгляд, который он закидывал, как крюк, притягивая к себе несчастные жертвы.

Этот взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем.

При окрике Жавера Фантина открыла глаза. Но ведь г-н мэр здесь. Чего же ей бояться?

Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул:

– Эй, как тебя там! Идешь ты или нет?

Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и г-на мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней. Она задрожала.

И тут она увидела нечто невероятное, нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду.

Она увидела, как сыщик Жавер схватил за шиворот г-на мэра; она увидела, как г-н мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир.

Жавер действительно взял за шиворот Жана Вальжана.

– Господин мэр! – вскричала Фантина.

Жавер разразился хохотом, своим ужасным хохотом, обнажавшим его зубы до десен.

– Никакого господина мэра здесь больше нет!

Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник редингота. Он сказал:

– Жавер...

– Я для тебя «господин полицейский надзиратель», – перебил его Жавер.

– Сударь! – снова заговорил Жан Вальжан. – Мне бы хотелось сказать вам несколько слов наедине.

– Громко! Говори громко! – крикнул Жавер. – Со мной не шепчутся!

Жан Вальжан продолжал, понизив голос:

– Я хочу обратиться к вам с просьбой...

– А я приказываю тебе говорить громко.

– Но этого не должен слышать никто, кроме вас...

Какое мне дело? Я не желаю слушать!

Жан Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил быстро и очень тихо:

– Дайте мне три дня! Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины! Я уплачу все, что нужно. Вы можете меня сопровождать, если хотите.

– Да ты шутишь! – крикнул Жавер – Право же, я не считал тебя за дурака! Ты просишь дать тебе три дня. Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки! Ха-ха-ха! Здорово! Вот это здорово!

Фантина затрепетала.

– За моим ребенком! – вскричала она – Поехать за моим ребенком! Значит, ее здесь нет?

Сестрица, ответьте мне: где Козетта? Дайте мне моего ребенка! Господин Мадлен! Господин мэр!

Жавер топнул ногой.

– И эта туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка! Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями! Ну нет! Теперь все это переменится. Давно пора!

Он пристально посмотрел на Фантину и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник редингота Жана Вальжана:

– Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет.

Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан! Его-то я и держу! Вот и все!

Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки, она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, какой-то хрип вырвался у нее из горла, зубы застучали, она в отчаянье протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающая, которая ищет, за что бы ей ухватиться, и

опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати, потом упала на грудь; рот и глаза остались открытыми, взор погас.

Она была мертва.

Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку ребенка, потом сказал Жаверу:

– Вы убили эту женщину.

– Довольно! – в ярости крикнул Жавер – Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения. Обойдемся без них. Стража внизу. Немедленно иди за мной, не то – наручники!

В углу комнаты стояла старая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств; Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновение ока оторвал от нее изголовье, уже и без того еле державшееся и легко уступившее его могучим мускулам, вынул из него прут, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери.

Жан Вальжан, с железным брусом в руках, медленно направился к постели Фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу:

– Не советую вам мешать мне сейчас.

Достоверно известно одно – Жавер вздрогнул.

У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз с Жана Вальжана.

Жан Вальжан оперся локтем о спинку кровати и, опустив голову на руку, стал смотреть на неподвижно распростертую Фантину. Он долго стоял так, погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо, забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно безграничное сострадание. Несколько минут спустя он нагнулся к Фантине и начал что-то тихо говорить ей.

Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом, женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая?

Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно одно сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего. часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрезжила в затуманенных зрачках, полных удивления перед тайной могилы.

Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку, как это сделала бы мать для своего дитяти; он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза.

Лицо Фантины в эту минуту, казалось, озарило непостижимое сияние.

Смерть – это переход к вечному свету.

Рука Фантины свесилась с кровати. Жан Вальжан опустил на колени, осторожно поднял ее руку и приложился к ней губами.

Потом встал и обернулся к Жаверу.

– Теперь я в вашем распоряжении, – сказал он.

Глава пятая. По мертвецу и могила

Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму.

Арест г-на Мадлена произвел в Монрейле – Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот факт, что

слова – бывший каторжник заставили почти всех отвернуться от него. В течение каких-нибудь двух часов все добро, сделанное им, было забыто, и он стал только каторжником. Правда, подробности происшествия в Аррасе еще не были известны. Целый день в городе слышались разговоры:

– Вы еще не знаете? Он каторжник, отбывший срок. – Кто он? – Да наш мэр. – Как!

Господин Мадлен? – Да. – Неужели? – Его и звали-то не Мадлен, у него какое-то жуткое имя – не то Бежан, не то Божан, не то Бужан... – Ах, боже мой! – Его посадили. – Посадили! – В тюрьму, в городскую тюрьму, покамест его не переведут. – Покамест не переведут! Так его переведут? Куда же это? – Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дороге совершенный им в былые годы. – Ну вот! Так я и знала! Слишком уж он был добрый, слишком хороший, до приторности. Отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему на дороге. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто. Особенно возмущались им в так называемых «салонах».

Одна пожилая дама, подписчица газеты Белое знамя, высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно:

– Меня это несколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам!

Так рассеялся в Монрейле-Приморском миф, называвшийся «г-ном Мадленом». Только три-четыре человека во всем городе остались верны его памяти. Старуха привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу.

Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в каморке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на задоре, улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь – сестры Перепетуи и сестры Симплиции, бодрствовавших у тела Фантины.

Около того часа, когда г-н Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты г-на Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх, повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. Потом она опять села на стул и погрузилась в свои мысли. Славная старушка проделала это совершенно бессознательно.

Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и воскликнула:

– Господи Иисусе! Подумать только! Я повесила его ключ на гвоздик!

В эту самую минуту окно ее каморки отворилось, в отверстие просунулась рука, взяла ключ и подсвечник и зажгла восковую свечу от сальной, горевшей на столе.

Привратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, делая усилие, чтобы у нее не вырвался крик.

Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого редингота.

То был г-н Мадлен.

В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова, сердце у нее «захолонуло», как выразилась она, рассказывая впоследствии об этом приключении.

– О господи! Это вы, господин мэр? – вскричала она наконец. – А я-то думала, что вы...

Она запнулась, конец ее фразы был бы непочтительным по отношению к началу. Жан Вальжан все еще оставался для нее господином мэром.

Он dokonчил ее мысль.

– В тюрьме, – сказал он. – Я и был там. Я выломал железный прут в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимусь к себе наверх, а вы пришлите ко мне сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела бедной женщины.

Старуха повиновалась.

Он не стал просить ее о молчании; он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам.

Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасной ключ от калитки, но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным.

Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату.

Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротится за свечой и снова вошел в комнату.

Эта предосторожность была нелишней; как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание.

Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток. Нигде не было никаких следов беспорядка позапрошлой ночи.

Привратница «прибралась в комнате», но, на этот раз, аккуратно разложила на столе вынутые из золы два железных наконечника его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня.

Он взял листок бумаги, написал на нем: «Вот два железных наконечника моей палки и украденная у Малыша Жерве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных», потом переложил на этот листок серебряную монету и два куска железа так, чтобы они сразу бросились в глаза каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна – в них он завернул серебряные подсвечники. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения; заворачивая подсвечники епископа, он жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им при побеге.

Об этом свидетельствовали хлебные крошки, найденные на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже.

Кто-то два раза тихо постучал в дверь.

– Войдите, – сказал он.

Вошла сестра Снмплция.

Она была бледна, глаза ее были заплаканы. Свеча дрожала в ее руке. Жестокие удары судьбы обладают той особенностью, что до какой бы степени совершенства или черствости мы ни дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясения этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день и теперь вся дрожала.

Жан Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку.

– Сестрица! Передайте это нашему кюре! Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него.

– Можете прочесть, – сказал он.

Она прочитала: «Я прошу господина кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь.

Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину. Остальное – бедным».

Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков.

Наконец ей удалось выговорить:

– Не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз несчастную страдальцу?

– Нет, – сказал он, – за мной погоня, меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой.

Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи привратницы, громко и пронзительно кричавшей:

– Клянусь господом богом, сударь, что за весь день и за весь вечер сюда не входила ни одна душа, а я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей!

Мужской голос возразил:

– Однако в этой комнате горит свет.

Они узнали голос Жавера.

Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, загораживала правый угол. Жан Вальжан задул восковую свечу и стал в этот угол.

Сестра Симплиция упала на колени возле стола.

Дверь отворилась.

Вошел Жавер.

Из коридора слышалось перешептывание нескольких человек и уверения привратницы.

Монахиня не поднимала глаз. Она молилась.

Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала.

Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге.

Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал для себя ни возражений, ни ограничений. И, разумеется, духовная власть стояла для него превыше всякой другой: он был набожен, соблюдал обряды и был так же педантичен в этом отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня – существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь затем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину.

Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться.

Однако в нем говорило и другое чувство, чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. Следующим его побуждением было – остаться и по крайней мере осмелиться задать вопрос.

Перед ним была та самая сестра – Симилия, которая не солгала ни разу в жизни. Жавер знал об этом и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней.

– Сестрица! – сказал он. – Вы одна в этой комнате?

Наступила ужасная минута. Бедная привратница едва не лишилась сознания.

Сестра подняла глаза и ответила:

– Да.

– Значит, – продолжал Жавер, – простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг, – значит вы не видели сегодня вечером одну личность, одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан?

– Нет, – ответила сестра.

Она солгала. Она солгала дважды, раз за разом, без колебаний, без промедления, с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву.

– Прошу прощения, – сказал Жавер и, низко поклонившись, вышел.

О святая девушка! Вот уже много лет, как тебя пет в этом мире; ты уже давно соединилась в царстве вечного света со своими сестрами-девственницами и братьями-ангелами. Да зачтется тебе в раю эта ложь!

Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства: на столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще чадившая.

Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся от Монрейля – Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан.

Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток и что на нем была надета блуза. Где он взял ее? Неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старик рабочий, который не оставил после себя ничего, кроме блузы. Не была ли это та самая блуза?

Еще несколько слов о Фантине.

У всех нас есть одна общая мать-земля. Этой-то матери и возвратили Фантину.

Кюре считал, что хорошо поступил, – и, может быть, действительно поступил хорошо, – сохранив возможно большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном, для бедных. В конце концов о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым – то есть общей могилой.

Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежит всем и никому, в углу, где хоронят бесплатно и где бедняки исчезают без следа. К счастью, бог знает, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших; прах ее смешался с прахом других людей. Она была брошена в общую яму. Ее могила была подобна ее ложу.

Часть II «Козетта»

Книга первая Ватерлоо

Глава первая.

Что можно увидеть по дороге из Нивеля

В прошлом (1861) году, солнечным майским утром, прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла – Гюльп. Он шел по широкому обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа – Сеньер – Исак. На западе уже виднелась крытая шифером колокольня Брен – л'Алле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади раскинувшуюся на холме рощу и, на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью: «Старая застава э 4», кабачок, фасад которого украшала вывеска: «На вольном воздухе. Частная кофейная Эшабо».

Пройдя еще четверть лье, он спустился в небольшую долину, где, вытекая из-под мостовой арки в дорожной насыпи, струился ручей. Не густые, но ярко-зеленые деревья, оживлявшие долину по одну сторону шоссе, разбегались на противоположной стороне по лугам и в живописном беспорядке тянулись к Брен – л'Алле.

Направо, на краю дороги, виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымившаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась на ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представлении по случаю храмового праздника. За углом постоялого двора, вдоль лужи, в которой плескалась стая уток, пролегал скверно вымощенная дорожка, углублявшаяся в чащу кустарника. Туда и направился прохожий.

Пройдя около сотни шагов вдоль ограды XV столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами; стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бороны, сквозь зубья которых пробивались

весенние цветы. Ворота были заперты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый, заржавленный молоток.

Солнце светило ярко; ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Смелая птичка, видимо влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева.

Прохожий нагнулся и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись и появилась крестьянка.

Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит.

– Сюда попало французское ядро, – сказала она и добавила: – А вот здесь, повыше, на воротах, около гвоздя, – это след картечи, но она не пробила дерева насквозь.

– Как называется эта местность? – спросил прохожий.

– Гугомон, – ответила крестьянка.

Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и заглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто, похожее издали на льва.

Он находился на поле битвы при Ватерлоо.

Глава вторая. Гугомон

Гугомон – вот то зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон, первый неподатливый сук под ударом его топора.

Некогда это был замок, ныне – всего только ферма. Гугомон для знатока старины – «Гюгомон». Этот замок был воздвигнут Гюго, сиром де Сомерель, тем самым, который внес богатый вклад в шестое капелланство аббатство Вилье.

Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор.

Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле XVI века, похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят величественное впечатление. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот – навозная яма, мотыги, лопаты, тачки, старый колодец с каменной плитой на месте передней стенки и железной вертушкой на воротах, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену часовни, – таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры роются в пыли. Рычит большая собака; она шерит клыки и заменяет теперь англичан.

Англичане не могли не вызвать изумления. Четыре гвардейские роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии.

Гугомон, изображенный на карте в горизонтальной плоскости, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугомоне двое ворот: южные – ворота замка, и северные – ворота фермы. Наполеон направил против Гугомона своего брата Жермона; здесь столкнулись дивизии Гильемино, Фуа и Башлю; почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб. Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не смогла.

Строения фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколотенные к двум перекладинам, и на них отчетливо видны глубокие шрамы, следы атаки.

В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах: две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. За этот вход бились ожесточенно. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн.

Еще и сейчас ураган боя ощущается на дворе; здесь запечатлен его ужас; неистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре, это живет, а то умирает; кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши; проломы похожи на раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда.

Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты.

Англичане укрепились там; французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное, крыло здания – все, что осталось от Гугомонского замка. Замок служил крепостью, часовня – блокаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон – из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, из всех окон, из всех отдушин, из всех щелей в стенах, – притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь.

В разрушенном крыле замка сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания; в этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, рассеявшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Лестница проходила сквозь два этажа; осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене; на первой из них высечено изображение трезубца. Эти недосыгаемые степени крепко сидят в своих гнездах. Остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высются два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждую весну зеленеет вновь. Оно начало прорасти сквозь лестницу с 1815 года.

Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времен бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой уцелел – грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре выбеленные стены, против престола дверь, два полукруглых окошка, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу, на земле, старая разбитая оконная рама – такова эта часовня. Около аналая прибита деревянная, XV века, статуя святой Анны; голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем выбитые из нее, подожгли ее. Пламя охватило ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь, сгорел пол, не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию.

Стены испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть: Henquines²⁹, А дальше: Conde de Rio Maior³⁰. Marques y Marquesa de Almagro (Habana)³¹. Встречаются и французские

²⁹ Энкинес (*исп.*)

³⁰ Граф де Рио Майор (*исп.*)

имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили: здесь нации поносили одна другую.

Возле двери часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Легро.

Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь: почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому, что из него не черпают больше воды. Почему же из него не черпают больше воды? Потому что он набит скелетами.

Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильом ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу.

Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжение многих дней и ночей приют несчастному разбежавшемуся населению. Еще и сейчас видны явственные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника.

Гильом ван Кильсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы «стеречь замок», забился в погреб.

Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножнами сабель, принудили запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гильом должен был приносить им пить, черпая воду из колодца. Для многих то был последний глоток в жизни. Колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть.

После сражения поторопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной, – дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф – неперенное дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все. Говорят, что в ночь после погребения из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи.

Колодец стоит посреди двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца – вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли крапивой.

Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и время от времени из соседних рощ сюда залетает пичужка, чтобы попить из него и тут же улететь.

Единственный жилой дом среди развалин – ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой, в готическом стиле, пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором.

Семья, ныне живущая в этом доме, представляет собой потомство давно умершего садовника ван Кильсома. Седая женщина рассказывала мне:

³¹ Маркиз и маркиза де Альмагро (Гавана) (*исп.*)

– Я все видела. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя сестра была постарше, она боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали ухом к земле. А я повторяла за пушкой: «Бум, бум!»

Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад.

Вид фруктового сада ужасен.

Он состоит из трех частей, вернее сказать – из трех актов драмы. Первая часть-цветник, вторая – фруктовый сад, третья – роща. Все они обнесены общей оградой: со стороны входа – строения замка и ферма, налево – плетень, направо – стена, в глубине – стена. Правая стена – кирпичная, стена в глубине – каменная. Прежде всегоходишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной облицованной тесаным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру; ныне же это руины и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще и теперь насчитывают сорок три уцелевшие балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи. А одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце, точно сломанная нога.

Вот в этот-то цветник, находящийся ниже фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа.

Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных саженей, в течение часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, стены и сейчас готовы принять бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на разной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь в южной стене, на которую были брошены главные силы. Снаружи стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду – на английскую гвардию, на тридцать восемь орудий, паливших одновременно, на ураган ядер и пуль, и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоо.

Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обагрилась кровью. Батальон Нассау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батареи Келлермана, вся изрыта картечью.

Но и этот фруктовый сад, как всякий сад, не остается безучастным к приходу весны. И здесь распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади; протянутые между деревьями веревки с сохнувшим бельем заставляют прохожих пригибаться; ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный, с вывороченными корнями, зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блакман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нантского эдикта. Совсем рядом склонилась старая, больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны; вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок.

Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь бурлил поток английской, немецкой и французской крови; здесь колодец, битком набитый трупами; здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский, убит Дюпла, убит Блакман, искалечена

английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, – и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: «Сударь, дайте мне три франка! Если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо».

Глава третья. 18 июня 1815 года

Возвратимся назад – это право каждого повествователя – и перенесемся в 1815 год и даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги.

Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Чтобы Ватерлоо послужило концом Аустерлица, провидению оказался нужным небольшой дождь; достаточно было тучи, пронесшейся по небу, вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира. Битва при Ватерлоо могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Почему? Потому что земля размокла и надо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвезти артиллерию.

Наполеон был артиллерийским офицером, он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изумительного полководца сказалась в одной фразе его доклада Директории по поводу Абукира – «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию – вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал их исход пушкой. Его гений – гений точного прицела. Рассекать каре, распылять полки, разрывать строй, уничтожать и рассеивать плотные колонны войск – вот его цель; разить непрестанно – это он доверил ядру. Эта устрашающая система в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым мрачного мастера ратного дела.

18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь сто пятьдесят девять орудий, у Наполеона – двести сорок.

Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы вовремя и битва могла бы начаться в шесть утра. Она была бы закончена к двум часам дня, то есть за три часа до прибытия пруссаков.

Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении кормчего?

Не осложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не износились ли за двадцать лет войны клинок и ножны, не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это ни прискорбно, братъ верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться в предчувствии неверного будущего, дуновения которого ощущал? Перестал ли – что так важно для главнокомандующего – сознавать опасность? Не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким? Над совершенными гениями старость не имеет власти; для Данте, для Микеланджело стареть – значило расти; неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон чувство победы? Не дошел ли он до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни, не видел осыпающихся краев бездны? Не лишился ли он дара предвидения

катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе и кто с высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь, в гибельном ослеплении, увлекал свои шумные, послушные легионы в бездну? Не овладело ли им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возникший судьбы просто в беспримерного сорвиголову?

Мы этого не думаем.

Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам, пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Мон – Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море – вот что для Наполеона представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказало бы будущее.

Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоо; одно из основных действий рассказываемой нами драмы связано с этой битвой, но история самой битвы не является предметом нашего повествования; к тому же она описана, и описана мастерски, Наполеоном – с одной точки зрения, и целой плеядой историков³² – с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, останемся лишь далеким зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над землей, удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное; мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему взглядов. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о роке – этом загадочном обвиняемом, – то мы судим его, как судит народ-этот простодушный судья.

Глава четвертая.

А

Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоо, надо вообразить лежащую на земле громадную букву А. Левая сторона этой буквы – дорога на Нивель, правая – дорога на Женап, поперечная черта буквы А – проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен – л'Алле. Верхняя точка буквы А – Мон-Сен-Жан, там находился Веллингтон; левая нижняя точка – Гугомон, там стояли Рейль и Жером Бонапарт; правая нижняя точка – Бель-Альянс, там находился Наполеон. Немного ниже, где поперечная черта пересекает правую сторону буквы А, расположен Ге – Сент. В центре поперечной черты находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва – символ высокого героизма императорской гвардии.

Треугольник в верхушке А, между двумя палочками и поперечной чертой, – это плато Мон-Сен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось сражение.

Фланги обеих армий тянулись вправо и влево от дорог на Женап и Нивель. Д'Эрлон стоял против Пиктона, Рейль – против Гиля.

За вершиной буквы А, за плато Мон-Сен-Жан, находится Суанский лес.

Что же касается равнины, то вообразите себе обширное волнообразное пространство, где каждый следующий вал встает над предыдущим, а все вместе поднимаются к Мон-Сен-Жан, доходя до самого леса.

Два неприятельских войска на поле битвы – это два борца. Это схватка врукопашную. Один старается повалить другого. Цепляются за все; любой куст – опора, угол стены – защита;

³² Вальтером Скоттом, Ламартином, Волабелем, Шарасом, Кине, Тьером (*Прим. авт.*)

отсутствие самого жалкого домишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, кстати пробежавшая наперерез тропинка, лесок, овраг – все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего всматриваться в каждую группу деревьев, проверять каждый холмик. Оба полководца тщательно изучили равнину Мон Сен-Жан, ныне именуемую равниной Ватерлоо. За год до этого ее исследовал с мудрой предусмотрительностью на случай большого сражения Веллингтон. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались у Веллингтона, худшие – у Наполеона. Английская армия находилась наверху, французская внизу.

Вряд ли стоит изображать здесь Наполеона утром 18 июня 1815 года, на коне, с подозрительной трубой в руках, на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен. Спокойный профиль под форменной шапочкой Бриеннской школы, зеленый мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду, серый редингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь под алым бархатным чепраком. По углам которого вышиты буква N с короной и орлы, на шелковых чулках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага Маренго, – весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними и осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами.

Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок истину; но в настоящее время вместе с историей наступает и прояснение.

Ясность истории неумолима. История таит в себе странное, божественное свойство: будучи сама светом и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака, один нападает на другого, вершит над ним правосудие, мрачные черты деспота сталкиваются с обаянием полководца. Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке.

Опозоренный Вавилон умаляет славу Александра, поработенный Рим умаляет славу Цезаря, разрушенный Иерусалим умаляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе!

Глава пятая. **Quid obscurum сражений**³³

Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан – в большей степени, чем для французов.

Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. В углублениях, словно в бассейнах, скопилась вода; в некоторых местах вода заливала оси обозных повозок; с подпруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колосья пшеницы и ржи, примятые потоком движущихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в узких долинах со стороны Папелота, оказалось бы невозможным.

Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поля битвы; и теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться; для этого необходимо было выглянуть солнцу и

³³ Темная сторона (*лат.*)

обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому! Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.

Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Ге – Сент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего у себя в тылу Папелот.

Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево – таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейгский батальон.

Атака правого французского крыла на Папелот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугомону, оттуда к Брен – л'Алле, оттуда к Галю, – ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Папелот был отбит, Ге – Сент взят приступом.

Отметим следующую подробность. В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Молодые солдаты яростно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам; отсутствие опыта восполняла неустранимость; особенно блестяще проявили они себя как стрелки; солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом; новобранцы выказали чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички, пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону.

После взятия Ге – Сента исход битвы стал сомнительным.

В этом дне от двенадцати до четырех часов есть неясный промежуток; середина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево: части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, тапки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с ярко-красной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлинненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленями и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер, – все это представляется как отдельные картины, но не как ряды войск, построенные по правилам стратегии, и представляет интерес для Сальватора Розы, но не для Грибовалы.

Во всякой битве есть что-то общее с бурей. *Quid obscurum, quid divinum!*³⁴. Каждый историк различает несколько поразивших его в схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла; приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то: как рыхлый грунт – здесь быстрее, а там медленнее – поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Эти издержки предвидеть нельзя.

³⁴ Нечто темное, нечто божественное (*лат.*)

Линия расположения войск колыхается и извивается, словно нить; бесцельно проливаются потоки крови; фронт колеблется; выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы; людские рифы непрерывно перемещаются; там, где только что была пехота, появляется артиллерия; туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны – словно дымки: только сейчас здесь было что-то, теперь ищите – его уже нет. Просветы в рядах передвигаются; черные валы налетают и откатываются. Какой-то кладбищенский ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? – Колебание. Устойчивость математически точного плана отражает минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос, Рембрандт напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мельчает, переходя в стычку, дробится и разделяется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого Наполеона, «относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий». В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основы контура борьбы, и ни одному самому добросовестному повествователю не дано запечатлеть полностью облик грозной тучи, имя которой – битва. Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоо. Но все-таки после полудня исход битвы начал определяться.

Глава шестая. Четыре часа пополудни

К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гиль – правым крылом, Пиктон – левым. Смелый принц Оранский, вне себя, кричал бельгийцам и голландцам: «Нассау! Брауншвейг! Ни шагу назад!» Уже ослабевший Гиль стал под защиту Веллингтона. Его сразила пуля, попавшая ему в голову. Пиктон был убит в ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры: Гугомон и Ге – Сент; Гугомон еще держался, но весь пылал; Ге – Сент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражавшихся перебили друг друга на этом молотильном току. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, которое нес принц из рода де Пон. Серых шотландцев более не существовало, могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса; от тысячи двухсот коней уцелело шестьсот; из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен, Матер убит. Понсонби пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Марх умер. Две дивизии – пятая и шестая – разгромлены. Гугомон был обречен, Ге – Сент взят, – оставался еще один оплот: центр. Он держался твердо. Веллингтон усилил его. Он вызвал туда Гиля, находившегося в Мерб – Брене, он вызвал туда Шассе, находившегося в Брен-л'Алле. Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди – откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим

Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка XVI века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была размещена в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществлен, что Гаксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься; на краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами.

Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, находился в выгодном положении.

Уязвимое место этой позиции представлял Суанский лес, граничивший в то время с полем боя и прорезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки – расстроиться, артиллерия – погибнуть в болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь превратилось бы в беспорядочное бегство.

Веллингтон присоединил к своему центру бригаду Шассе, снятую с правого крыла, бригаду Уинки, снятую с левого крыла, и, кроме того, дивизию Клинтон. Своим англичанам, бригаде Митчела, полкам Галкета и гвардии Метленда он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту, нассауские части, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый «Музей Ватерлоо». Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в ложине тысяча четыреста гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженно прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет.

Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным валом. Но работа над этим укреплением не была завершена; не хватило времени обнести ее палисадом.

Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрашный, верхом на коне, весь день простоял впереди существующей и доныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил: «Милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти?»

«Поступать так, как я», – ответил Веллингтон. Клинтону он отдал краткий приказ: «Держаться до последнего человека». Было ясно, что день кончится неудачей. «Можно ли думать об отступлении, ребята? Вспомните о старой Англии!» – кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.

Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, все остальное исчезло; полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан; произошло попятное движение, фронт английской армии скрылся. Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» – воскликнул Наполеон.

Глава седьмая. Наполеон в духе

Император, хотя ему и нездоровилось и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя, блаженная наша улыбка принадлежит богу. *Ridet Caesar, Pompeius flebit*³⁵ – говорили воины легиона *Fulminatrix*'a³⁶. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.

Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы близ Россомы, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен – л'Алле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, придёт в срок; он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам; спутник его слышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова – «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже больше не были заодно.

Он ни на секунду не сомкнул глаз, каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны; ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал: «Это снялся с позиций арьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта, во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке!» – говорил Наполеон.

Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром.

В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий: посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности – бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше! – воскликнул Наполеон. – Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие».

Утром, на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с россомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся, с охапкой соломы под ногами вместо ковра, и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Забавная шахматная доска!»

Из-за ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру, солдаты не спали, промокли и были голодны, однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста!» В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то сказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот

³⁵ Смеется Цезарь, Помпей заплачет (*лат.*)

³⁶ Молниевержца (*лат.*)

суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал – сегодня». Император посмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не так прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, это была обычная манера Наполеона. «Он любил пошутить», – говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности, у него был веселый нрав», – говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, не столько остроумными, сколько своеобразными», – говорит Бенжамен Констан. Эти шутки исполнина стоят того, чтобы на них остановиться. Он называл своих гренадер «ворчунами»; он щипал их за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами», – говорил один из них. Во время тайного переезда с острова Эльба во Францию, 27 февраля, военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и ответил сам: «Император чувствует себя отлично». Кто способен на такую шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеон несколько раз хохотал. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружились перьями и положили лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения.

В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, под барабанный бой, под звуки сигнальных труб, могучая, огромная, ликующая, император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!»

С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия (это может показаться невероятным) успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя по выражению самого императора, «фигуру шести римских цифр V». Несколько мгновений спустя после приведения войска в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья, этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов д'Эрлона, Рейля и Лобо и предназначенные открыть бой, ударив на Мон – Сен – Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, заметил: «Вот двадцать четыре прелестных девушки, генерал».

Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него сапер первого корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления: заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строившихся сомкнутой коленной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль!»

Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень поросшего травой холмика, вправо от дороги из Женапа в Брюссель; это была вторая его стоянка за время битвы. Третья, – в семь часов вечера – между Бель-Альянс и Ге – Сент, была очень опасна; это довольно высокий бугор, существующий еще и теперь; за ним, в ложбине, расположилась гвардия. Вокруг бугра ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной – *scabra rubigine*. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся шестидесятисантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся

при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина! Как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину». Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорокашестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины. Теперь неровностей долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует, но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя!» Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в гору, отлогую по направлению к нивельской дороге, и почти отвесную со стороны женапской дороги. Высоту ее можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель: слева – могила англичан, справа – немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина – усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам возов земли, употребленной для насыпи, высотой в сто пятьдесят футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу на плато Мон – Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Ге – Сента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкарники не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали невозможно было догадаться.

Что же это был за ров? Поясним. Брен – л'Алле – одна бельгийская деревня. Оэн – другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких впадинах, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы и образует овраги. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон – Сен – Жан между женапским и нивельским шоссе; сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролежала глубоко внизу. Оба ее откоса были скрыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. Почти на всем своем протяжении эта дорога, как и прежде, представляет собою траншею, кое-где достигающую двенадцати футов глубины; ее крутые откосы местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен – л'Алле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте, с указанием имени погибшего: «Господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя» и даты его гибели: «февраль 1637».³⁷ февраля 1637» (*прим. авт.*)]] Дорога так глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там погиб под обвалившимся откосом крестьянин Матье Никез, о чем свидетельствует второй каменный крест; его верхушка исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на травянистом скате, слева от дороги между Ге-Сент и фермой Мон-Сен-Жан. В день битвы эта дорога, на существование которой ничто тогда не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине кручи или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, – иначе говоря, страшно опасна.

Глава восьмая.

³⁷ Вот эта надпись: «Всемогущий, всеблагий бог с тобою. Здесь по воле несчастного случая был раздавлен телегой господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя [неразборчиво].»

Император задает вопрос проводнику Лакосту

Итак, утром в день битвы под Ватерлоо Наполеон был доволен.

Он имел для этого все основания: разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен.

И вот сражение началось; однако все его разнообразнейшие перипетии – упорное сопротивление Гугомона и стойкость Ге – Сента; гибель Бодюэна; Фуа, выбывший из строя; непредвиденное препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа; роковое легкомыслие Гильемино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами; увязшие в грязи батареи; пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Угсбриджем на пролежавшую внизу дорогу; слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь в брызги грязи; бесполезный маневр Пире при Брен – л'Але, почти полностью уничтоженные пятнадцать эскадронов его кавалерии; сорвавшаяся атака против правого английского крыла, неудавшийся прорыв левого; странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах; разъединение штурмовых колонн; внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок батареи; замешательство Буржуа, Донзело, Дюрюта; отброшенный назад Кио; ранение лейтенанта Вье – этого геркулеса, воспитанника Политехнической школы – как раз в тот момент, когда он, под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Ге – Сента; дивизия Марконье, зажата между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная во ржи Бестом и Пакком и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи; принц Саксен-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа д'Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн; захваченные знамена 105-го и 45-го полков; тревожное сообщение черного гусара-пруссак, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Плансенуа; опоздание Груши; тысяча пятьсот человек, убитых в гугомонском фруктовом саду менее чем за час; тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Ге-Сента, – все эти бурные события, словно гроззовые облака, пронесившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно-спокойное чело. Наполеон привык смотреть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался подсчетом прискорбных подробностей; цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму – победу. Пусть начало оказалось неудачным – это его нисколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы; он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» – казалось, говорил он року.

Сочетая в себе свет и тьму, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло – ее терпимость. Он имел – или верил в то, что имеет, – на своей стороне потворство, можно сказать, почти сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости.

Однако тому, у кого позади были Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не следовало бы доверять Ватерлоо. Над его головой уже зловеще хмурилось небо.

В тот момент, когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Мон – Сен – Жан как бы облысело и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стремянах. Победа молнией сверкнула перед его глазами.

Загнать Веллингтона в Суанский лес и там разгромить – вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за Креси, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур.

Обдумывая эту грозную развязку, император в последний раз оглядел в подзорную трубу поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, с благоговением взирала на него снизу вверх. Он размышлял; он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в купы деревьев, в квадраты ржи, в тропинки; казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально всматривался он в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки из сваленных деревьев – одну на женапской, повыше Ге-Сента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, а другую – на нивельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады Шассе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню Святителя Николая, что на повороте дороги в Брен-л'Алле. Наклонившись, он о чем-то вполголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности тая коварный умысел.

Император выпрямился и погрузился в раздумье.

Веллингтон отступил.

Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом.

Внезапно обернувшись, Наполеон отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна.

Наполеон был одним из гениев-громовержцев.

И вот теперь молния ударила в него самого.

Он отдал приказ кирасирам Мило взять плато Мон – Сен – Жан.

Глава девятая.

Неожиданность

Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях-исполинах. Их было двадцать шесть эскадронов, а в тылу за ними, как подкрепление, стояли: дивизия Лефевра – Денуэта, сто шесть отборных кавалеристов, гвардейские егеря – тысяча сто девяносто семь человек и гвардейские уланы – восемьсот восемьдесят пик. У них были каски без султанов и кованые кирасы, седельные пистолеты в кобурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов, под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре и, развернувшись в две шеренги между женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлермана, а на правом – кирасир Мило, обладала, так сказать, двумя железными крылами.

Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их.

Громадные эскадроны тронулись.

И тут глазам представилось грозное зрелище.

Вся эта кавалерия, как один человек, с саблями наголо, с развевающимися на ветру штандартами, с поднятыми трубами, подобная бронзовому тарану, пробивающему брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубину, поглотившую уже столько людей, скрылась в дыму, потом, вырвавшись из мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью, сквозь облако сыпавшейся на нее картечи, по страшному, покрытому грязью склону плато Мон – Сен – Жан. Кавалеристы поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые; в промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий

топот. Две дивизии двигались двумя колоннами: дивизия Ватье – справа, дивизия Делора – слева. Издали казалось, будто на гребень плато вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве словно некое чудо.

Ничего подобного не было видано со времени взятая тяжелой кавалерией большого московского редута. Недоставало Мюрата, но Ней был тут. Казалось, что вся эта масса людей превратилась в сказочное диво и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь местами разорванное огромное облако дыма, извивались и вздувались, как щупальца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар – хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица. А надо всем этим – кирасы, словно чешуя гидры.

Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних орфических эпopeях, повествовавших о полулюдях – полуконях, об античных гипантропах, этих титанах с человеческими головами и лошадиным туловищем, которые вскачь взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные, боги и звери одновременно.

Странное совпадение чисел: двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, укрываясь за батареей, английская кавалерия, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии: семь каре на первой, шесть – на второй, взяв ружья наизготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч коней, бежавших крупной рысью, мерный стук их копыт, бряцанье сабель, звяканье кирас и могучее, яростное дыхание. Наступила грозная тишина, потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение.

Вдруг произошло нечто трагическое: налево от англичан, направо от нас раздался страшный вопль, кони кирасир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы. Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся во власть необузданной ярости, готовые к смертоносной атаке на неприятельские каре и батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролегавшая в ложбине дорога на Оэн.

Мгновение это было ужасно. Перед ними, непредвиденный, круто обрывающийся под копытами коней меж двух своих откосов зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, третий столкнул туда второй; кони взвивались на дыбы, откидывались, падали на круп, скользили по откосу вверх ногами, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности, вся колонна словно превратилась в метательный снаряд; сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху; всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти. Это было началом проигрыша сражения.

Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на оэнской дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные в овраг на следующий день.

Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя.

Наполеон, прежде чем отдать кирасирам Мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако белая часовенка на пересечении этой дороги с нивельским шоссе насторожила его, и он спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона.

Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам.

Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был бог.

Победа Бонапарта при Ватерлоо уже не входила в расчеты XIX века. Готовился другой ряд событий, где Наполеону не было места. Немилость рока давала о себе знать задолго до этого сражения.

Пробил час падения необыкновенного человека.

Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный в конечном счете мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая, неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли правила и основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы – все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания, и бездна им внемлет.

На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено.

Он мешал богу.

Ватерлоо – не битва. Это изменение облика всей вселенной.

Глава десятая. Плато Мон-Сен-Жан

Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея.

Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по кирасирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее.

Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не остановились ни на одно мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности. Колонна Ватье пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал идти стороною, левой, пришла в целости.

Кирасиры ринулись на английские каре.

Они неслись во весь опор, отпустив поводья, с саблями в зубах и с пистолетами в руках, – такова была эта атака.

В сражениях бывают минуты, когда душа человека ожесточается и превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском.

И тут наступило нечто страшное.

Весь фронт английских каре был атакован одновременно. Неистовый вихрь налетел на них.

Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колени, встречал кирасир в штыки, второй расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки; фронт каре разверзлся, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь.

Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы,

перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах кирасир, кирасиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные конями. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, не видели во время других битв. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя! Каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры – не кавалерия, а ураган. Каждое каре превратилось в вулкан, атакованный тучей, лава боролась с молнией.

Крайнее каре справа, лишенное защиты с двух сторон и подвергавшееся наибольшей опасности, было почти полностью уничтожено при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане и хранивший полнейшее спокойствие, опустив меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминая об Аргосе. Сабля кирасира, отсекая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца.

Кирасирам, сравнительно немногочисленным да еще понесшим потери во время катастрофы в овраге, противостояла чуть ли не вся английская армия, но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой, роковой ошибкой.

Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у кирасир оказалась английская кавалерия. Впереди – каре, позади – Сомерсет; Сомерсет означал тысячу четыреста гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую – Трип с бельгийскими карабинерами; кирасиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться сразу от всех. Но разве это имело для них значение? Они стали вихрем. Их доблесть перешла границы возможного.

А в тылу у них непрерывно гремела батарея. Вот почему эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции «Музея Ватерлоо».

Против таких французов могли устоять только такие же англичане.

То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв душ и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот; их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра – Денуэта. Плато Мон – Сен – Жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту; в этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились врукопашную. Каре продолжали держаться. Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегли на плато. Битва длилась два часа.

Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь кирасиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой в ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя вполголоса: «Великолепно!»³⁸.

³⁸ Splendid! – подлинное его выражение. (Прим. авт.)

Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору, к ферме Бель-Альянс, тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями.

Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойцами, когда оба, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый?

Борьба на плато продолжалась.

Докуда дошли кирасиры? Никто не мог бы это определить. Достоверно одно: на следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги – на Нивель, Женап, Ла – Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок были найдены трупы кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из тех, кто поднял труп, до сих пор проживает в Мон – Сен – Жане. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.

Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась.

Кирасиры не достигли желанной цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало и тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю.

Но поражение англичан казалось неизбежным: армия истекала кровью. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. «Подкреплений нет, – отвечал Веллингтон. – Пусть умирает!»

Почти в ту же минуту – это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий – Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму?

Рожу, что ли?»

Однако английская армия была более истощена. Яростные броски исполинских эскадронов в кованых кирасах со стальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк, иными батальонами командовали теперь капитаны или лейтенанты; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Ге – Сенте, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы из бригады Ван – Клузе устилали своими телами ржаное поле вдоль нивельской дороги. Не осталось почти ни единого человека от голландских гренадер, которые в 1811 году вместе с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Угсбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. У французов во время атаки кирасир выбыли из строя Делор, Леритье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар, у англичан Альтен был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван-Меерен убит, Омштеда убит, генеральный штаб Веллингтона опустошен – на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат; в 79-м полку горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров, уничтожено четыреста пятьдесят рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда, с полковником Гаке во главе, – его впоследствии судили и разжаловали, – испугавшись рукопашной схватки, показал тыл и бежал через Суанский лес, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, тоже ринулись назад; голландцы под саблями французской кавалерии вопили «Спасите!» От Вер – Куку до Гренандаля, на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя, вся местность, по свидетельству очевидцев, которые живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII-в Генте. Если не считать слабого

резерва, построенного эшелонами за лазаретом на ферме Мон – Сен – Жан, и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, орудия были сбиты с лафетов.

Эти факты подтверждает Сиборн, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к тридцати четырем тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский кригс – комиссар Винцент и испанский кригс – комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие услышали, как он прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!» Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах, в стороне Фришмона. И тут в этой исполинской драме наступил перелом.

Глава одиннадцатая.

Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова

Трагическое заблуждение Наполеона всем известно; он ждал Груши, а явился Блюхер – смерть вместо жизни.

Судьба совершает порой такие крутые повороты: не владычество над всем миром, а остров св. Елены.

Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу выше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба XIX века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя.

Между тем один лишь час промедления (так говорит генерал Мюфлинг) – и Блюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона: «Битва при Ватерлоо была бы проиграна».

Ясно, что Блюхеру давно пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион – ле – Моп и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях по самые ступицы. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту; улица, ведущая к мосту, была подожжена французами; зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг Шапель – Сен – Ламбер.

Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь.

Еще в полдень император первый увидел в подзорную трубу нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там, вдали, облако; мне кажется, это войско», – сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальматскому, спросил: «Суль! Что вы видите в направлении Шапель – Сен – Ламбер?» Маршал, приставив к глазам свою зрительную трубу, ответил: «Четыре, а то и пять тысяч человек, ваше величество. Очевидно, Груши!» Между тем все это было неподвижно и тонуло в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали «облако», замеченное императором. Некоторые утверждали: «Это колонны на бивуаке». Большинство говорило: «Это деревья». Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона.

Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем выстроиться боевым порядком; но в пять часов, при виде бедственного

положения Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать передышку английской армии».

Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Плансенуа запылало, и прусские ядра посыпались градом, залетая даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве за Наполеоном.

Глава двенадцатая.

Гвардия

Остальное известно: вступление в бой третьей армии, дислокация сражения, восемьдесят шесть внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Бюловым Пирха 1-го, предводительствуемая самим Блюхером кавалерия Цитена, оттесненные французы, сброшенный с оэнского плато Марконье, выбитый из Папелота Дюрют, отступающие Донзело и Кио, окруженный Лобо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящая в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов, и среди этого ужасного развала – вступающая в бой гвардия.

Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала: «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики. Весь день небо было пасмурно. Вдруг, в тот самый момент, – а было восемь часов вечера, – тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль нивельской дороги, зловещий багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило. Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре де Морван – все были тут! Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались во мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно-гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили, но Веллингтон крикнул: «Ни с места, гвардейцы, целься вернее!» Полк красных английских гвардейцев, залегших за плетнями, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами, солдаты сшиблись друг с другом, и кровопролитная битва началась. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики: «Спасайся, кто может!» – вместо прежнего: «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаясь все возрастающим градом снарядов, с каждым шагом теряя все больше людей. Тут не было ни робких, ни нерешительных, Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.

Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взглядом, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплюснутым крестом Большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепно, со сломанной шпагой в руке, он восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно: он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» – крикнул он Друэ д'Эрлону. Под сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточек людей, он кричал: «Значит, на мою долю ничего? О, я хотел бы, чтобы

меня пробили все эти английские ядра!» Несчастный, ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль!

Глава тринадцатая. Катастрофа

Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер.

Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно – у Гугомона, Ге-Сента. Папелота, Плансенуа. За криками: «Измена!» последовало: «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него и, без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, обегая его, кричат: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дюрюта мечутся в смятении, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риландта. Опаснейшая из схваток – бегство; друзья убивают друг друга ради собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о друга и разбрызгиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом втянуты в этот людской поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман – перед Ванделером, Лобо – перед Бюловым, Мораппером, Пирхом, Домон и Сюбервик – перед принцем Вильгельмом Прусским, Гийо, который повел в атаку императорские эскадроны, падает, затоптанный конями английских драгун. Наполеон галопом пронесется вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император!», теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и мертвым. Руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса – все запружено обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы; нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, – царит один невообразимый ужас. Там – Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там – львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство!

В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение, но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома справа от дороги, в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссаки ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, грозивший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась истреблением побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю: старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катр – Бра, миновали Госели, Фран и Шарлеруа,

миновали Тюэн и остановились лишь на границе. Увы! Но кто же это так позорно бежал? Великая армия.

Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы божьей простирается над Ватерлоо. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. Оттого-то в ужасе склонились все эти головы; оттого-то сложили оружие все эти великие души. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная, что сказать, что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. *Nos erat in fati*³⁹. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерлоо – это стержень, на котором держится XIX век. Исчезновение великого человека было необходимо для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прекословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако: появился метеор. Там побывал бог.

В сумерки, в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу редингота и остановили угрюмого, погруженного в раздумье, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешился и, сунув поводья под мышку, брел одиноко, с блуждающим взглядом, назад к Ватерлоо. То был Наполеон, еще пытавшийся идти вперед – великий лунатик, влекомый погибшей мечтой.

Глава четырнадцатая. Последнее каре

Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступавших, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть; они ожидали этого двойного мрака и, непоколебимые, дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого, лишенный связи с разбитой наголову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие на равнине Мон – Сен – Жан. Там, покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридрихсбург. В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы плато Мон – Сен – Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине, у подножия песчаного склона, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало сражаться. Командовал им незаметный офицер, по имени Камброн. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь по временам, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали, в ночной тьме, к затихающим мрачным громовым раскатам.

Когда от всего легиона осталась лишь горсточка, когда знамя этих людей превратилось в лохмотья, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял священный ужас перед полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся теснились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек; сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В темноте они слышали, как заряжают орудия, зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо, к пушкам английских батарей приблизились

³⁹ Так было суждено (*лат.*)

запальники. И тогда английский генерал Кольвиль – по словам одних, а по словам других – Метленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, в волнении крикнул: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «Merde!»

Глава пятнадцатая. Камброн

Из уважения к французскому читателю это слово, быть может, самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не следует повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено.

На свой страх и риск мы переступим этот запрет.

Итак, среди этих исполинов был титан – Камброн.

Крикнуть это слово и затем умереть – что может быть величественнее? Ибо желать умереть – это и есть умереть, и не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя. Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, – это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, это не Блюхер, который совсем не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, – это Камброн. Поразить подобным словом гром, который вас убивает, – это значит победить!

Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской стене Гугомона, оэнской дороге, опозданию Груши, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным наземь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог победе грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников – это непостижимо!

Это значит оскорбить молнию. В этом есть эсхилловское величие.

Слово Камброна прозвучало как взрыв, сопровождающий образование трещины. Это треснула грудь под напором презрения; избыток смертной муки вызвал взрыв. Кто же победил?

Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражения, Блюхер не закончил бы его. Камброн, этот пришелец последнего часа, этот никому не ведомый солдат, эта бесконечно малая частица войны, чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая; и в ту минуту, когда он доведен до бешенства, ему предлагают это посмешище – жизнь. Ну как тут не выйти из себя? Вот они, все налицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы, у них сто тысяч победоносного войска, а за этой сотней тысяч еще миллион, их пушки с зажженными фитилями уже разверзли пасти, императорская гвардия и великая армия у них под пятой, они только что сокрушили Наполеона, – и остался один Камброн; для протеста остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать! И вот он подбирает слово, как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной, эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом величайшей и жалкой победы, перед победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом; он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность; он не только плюет на нее, – изнемогая под гнетом многочисленности, силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это – значит быть победителем!

В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово, воплотившее Ватерлоо, как Руже де Лиль нашел Марсельезу, – это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль.

Свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени Империи, – этого было бы недостаточно, – он бросает его прошлому от имени революции. Его услышали, и в Камблоне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер.

В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал: «Огонь!» Сверкнули батареи, дрогнул холм, все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи; за клубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали неподвижно, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу. Так погибли французские легионы, еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато Мон – Сен – Жан, на мокрой от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне, в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющейся в Нивель.

Глава шестнадцатая. Qlot libras in duce?⁴⁰

Сражений при Ватерлоо – загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона – это паника⁴¹, Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу; Веллингтон ничего в нем не понимает. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснения сбивчивы. Одни запинаятся, другие невнятно лепечут. Жomini разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы; Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода; только Шарас – хотя в оценке некоторых вещей мы с ним и расходимся – уловил своим острым взглядом характерные черты катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и, ослепленные, они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой, к великому изумлению королей, все королевства, то было крушение силы, поражение войны.

В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли. Разве отнять Ватерлоо у Веллингтона и Блюхера – значит лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоо. Благодарение небу, величие народов не зависит от мрачных походов меча и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоо – всего лишь бряцание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гете, а в Англии над Веллингтоном – Байрон. Нашему веку присуще возникновение широкого круга идей, в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их природным свойством, оно вытекает из их сущности и несколько не зависит от случая. Возвышение их в XIX веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоо. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так после грозы вздувается ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражение. Слава богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются

⁴⁰ Какая цена полководцу? (лат.)

⁴¹ «Оконченный бой, заверченный день, исправление ошибочных мер, огромный успех, обеспеченный завтра, – все было потеряно из-за мгновения панического страха» (Наполеон. Мемуары, продиктованные на острове св. Елены). (Прим. авт.)

выигрышным билетом, на который герои и завоеватели – эти игроки – могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана, и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоо с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, а воле божьей то, что было волей божьей. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Квинта в игре.

Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция.

Водружать там льва не стоило.

Впрочем, Ватерлоо – это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги – это противоположности. Никогда бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего, очной ставки более необычной. С одной стороны – точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая правила, война, ведущаяся с часами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем; с другой – интуиция, провиденье, своеобразие военного мастерства, сверхчеловеческий инстинкт, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенный ею, но в то же время смущенным. Веллингтон – это Барем войны, Наполеон – ее Микеланджело; и на этот раз гений был побежден расчетом.

Оба кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал Груши – тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера – тот прибыл.

Веллингтон – это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита наголову, но и посрамлена. Кто был этот двадцатилетний корсиканец, что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея против себя все, а за себя – ничего, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на объединенные силы Европы и самым невероятным образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках, рассеял одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвицем Болье, за Болье Вурмсера, за Вурмсером Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, злоба шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово, и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала: «Ватерлоо». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером.

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины – никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и разобраться в нем. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета. Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.

Итак, живя в XIX веке, мы относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «Монастырь» – говорит: «болото». Способность монастырей к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы не можем подумать без ужаса о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши. И все же религиозный вопрос существует. В нем есть таинственные, почти грозные стороны. Да будет нам позволено взглянуть в них пристальной.

Глава семнадцатая. Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?

Существует весьма почтенная либеральная школа, которая не осуждает Ватерлоо. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоо – лишь поразительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, явилось полной неожиданностью. В сущности, Ватерлоо по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это – Европа против Франции; Петербург, Берлин, Вена – против Парижа; status quo⁴² против дерзання; 14-е июля 1789 года, штурмуемое 20 марта 1815 года; сигнал к боевым действиям монархических держав против не поддающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет, – такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несло на своем хребте «священное право». Правда, если Империя была деспотической, то королевская власть, в силу естественной реакции, должна была по необходимости стать либеральной, и невольным следствием Ватерлоо, к великому сожалению победителей, явился конституционный порядок. Ведь революция не может быть побеждена до конца; будучи предопределенной и совершенно неизбежной, она возникает снова и снова: до Ватерлоо – в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны, после Ватерлоо – в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол фореятора, а на шведский – сержанта, пользуясь неравенством для доказательства равенства; Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее Прогрессом, а если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, назовите его Завтра. Это Завтра неотвратимо творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это Завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, – оратора, Фуа повержен наземь у Гугомона – и вновь поднимается на трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспособливает для божественной своей работы и человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем: завоевателем вовне, подагриком – внутри государства. Ватерлоо, одним ударом покончив с мечом, разрушавшим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век, движение которого Ватерлоо стремилось остановить, перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная, победа была, в свою очередь, побеждена свободой.

⁴² застой (лат.)

Словом, бесспорно одно: все, что торжествовало при Ватерлоо, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанной с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале: «18 июня 1815 года», все, что поощряло Блюхера рубить саблями отступающих, что с высоты плато Мон-Сен-Жан нависло над Францией, словно над своей добычей, – все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово: «расчленение». Прибыв в Париж, контрреволюция увидела кратер вблизи; она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии.

Будем же видеть в Ватерлоо лишь то, что есть в Ватерлоо. Завоевание свободы не было его целью. Контрреволюция была либеральной поневоле, так же как Наполеон благодаря сходному стечению обстоятельств был революционером поневоле. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла.

Глава восемнадцатая. Восстановление священного права

Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула.

Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало во времена варваров. Но только у варварства 1815 года, уменьшительное название которого – контрреволюция, не хватило дыхания; оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что Империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания, но то был мрачный свет. Скажем больше: черный свет. В сравнении с днем – это ночь. Но когда эта ночь исчезла, наступило словно затмение.

Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладил из памяти восторг 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в XIX веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Трестальон прославился. Девиз *non pluribus impar*⁴³ вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на Карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед, быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского.

Кладбище Мадлен, страшная братская могила 93-го года, украсилось мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Из глубины Венсенского рва поднялась надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Энгиенский умер в том месяце, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился четырехлетний призрак, именовать которого Римским королем считалось государственным

⁴³ Превыше всего (*лат.*) – девиз Людовика XIV, «Короля-Солнца».

преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был пленен, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом, и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом, после полудня, пастух сказал в лесу пруссаку: «Пройдите здесь, а не там».

1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая, нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась браком с 1789 годом, «священное право» замаскировалось хартией, то, что было фикцией, прикинулось конституцией, предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перебрались и покрылись лаком либерализма. Так меняют кожу змеи.

Наполеон и возвысил и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее! А между тем народ – это пушечное мясо, влюбленное в своего канонира, – искал его глазами. Где он? Что он делает? «Наполеон умер», – сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоо. «Это он – да умер? – воскликнул солдат. – Много вы знаете!» Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась огромная, зияющая пустота.

И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный союз. «Прекрасный союз», – это было заранее предсказано роковым полем Ватерлоо⁴⁴.

Перед лицом этой старинной преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда – Свобода. Молодое поколение обратило к нему восторженный взор. Странное явление – увлекались одновременно и будущим – Свободой, и прошедшим – Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу. Франция поручила следить за ним Моншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу тронам. Александр прозвал его: «моя бессонница». Страх внушало им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям не любо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала св. Елены.

Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это Реставрацией.

Вот что такое Ватерлоо.

Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияния того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню Собора Парижской Богоматери.

Глава девятнадцатая. Поле битвы ночью

Вернемся – этого требует наша книга – на роковое поле битвы.

18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера; она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей

⁴⁴ Sainte Alliance – Священный союз: «Belle Alliance» «Прекрасный союз» – название постоянного двора и холма, места третьей стоянки Наполеона во время битвы под Ватерлоо.

прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно иногда проследить это ужасное сообщничество ночи.

Когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела.

Англичане заняли лагерную стоянку французов; ночевать в лагере побежденного – обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россома. Пруссак, увлекшись преследованием, ушли дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Батгерсту.

Изречение *Sic vos pop vobis*⁴⁵ очень подходит к деревушке Ватерлоо. Там не происходило никакого сражения; деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Мон-Сен-Жак был обстрелян из пушек, Гугомон сожжен, Папелот сожжен, Плансенуа сожжено. Ге-Сент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей; однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоо, стоявшего в стороне, достались все лавры.

Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть в войне устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть в ней, признаться, и уродство. Одна из самых невероятных его форм – это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы.

Кто совершает это? Кто порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделяют свои делишки за спиною славы?

Некоторые философы, в том числе Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, – говорят они, – и никто другой; оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем – герой, ночью – вампир. Они, мол, имеют некоторое право обшарить того, кого собственными руками превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов – на это неспособна одна и та же рука.

Достоверно лишь, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, особенно солдаты современные.

За каждой армией тянется хвост, – вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники – полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, по никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и воруящие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры – весь этот сброд волочился во время похода за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация за них не ответственны. Они говорили по-итальянски – и следовали за немцами, говорили по-французски – и следовали за англичанами. Один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски на тарабарско-пикарском наречии, обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на поле битвы под Серизолой в ночь после победы.

Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж – дозволенное зло является одним из проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости

⁴⁵ «Так вы не для себя...» (*лат.*) – начало стиха, который приписывался Вергилию.

главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.

Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали. Зловеще светила луна над этой равниной.

Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к оэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о ком мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоо, понимая победу как грабеж. На нем была блуза, смахивавшая на солдатскую шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было – очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. Время от времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользкая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».

Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.

Вглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоявшей у Нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л'Алле, небольшую повозку маркитанта с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.

Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Внизу лежала обагренная кровью земля, а луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. Ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые зацепившейся корой от падения, покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густой кустарник. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.

Издали неясно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.

Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом и напоминавшей рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.

Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге.

При одной мысли о том, сколько храбрых там погибло и какую смертью, сердце невольно содрогается.

Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями, – и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами

лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»

Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сравняли дорогу с полем и лежали вровень с краями ложбины, как утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной – такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через Нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной стороны – со стороны Женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.

Ночной бродяга, которого мы видели мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал отвратительный смотр мертвецам. Он шагал по крови.

Вдруг он остановился.

В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и человеческих останков выступала рука, освещенная луной.

На одном из пальцев этой руки что-то блестело; то был золотой перстень.

Бродяга нагнулся, присел на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.

Собственно, он не встал – он остался на коленях, в неловкой позе оторопевшего человека, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рта головой.

Повадки шакала вполне уместны при совершении некоторых действий.

Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели. Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.

– Гляди-ка! – сказал он. – Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милей выходец с того света, чем жандарм!

Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.

– Вот оно что! – пробормотал бродяга. – Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!

Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок по дороге во тьме если не бездыханного, то во всяком случае потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью.

Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если только это слово здесь подходит, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.

На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.

Бродяга сорвал его, и крест тут же исчез в одном из тайников его шинели.

Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил его себе.

Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза.

– Спасибо, – пробормотал он слабым голосом. Резкость движений прикасавшегося к нему человека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание.

Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышались шаги: вероятно, приближался патруль.

– Кто выиграл сражение? – чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер.

– Англичане, – ответил грабитель.

Офицер продолжал:

– Поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе. Это было уже сделано. Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил:

– Карманы пусты.

– Меня ограбили, – сказал офицер – Жаль! Это досталось бы вам.

Шаги патрульных слышались все отчетливее.

– Кто-то идет, – прошептал бродяга, собираясь встать.

Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его:

– Вы спасли мне жизнь. Кто вы?

Грабитель быстрым шепотом ответил:

– Я, как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутывайтесь из беды как знаете.

– В каком вы чине?

– Сержант.

– Ваша фамилия?

– Тенардь.

– Я не забуду – сказал офицер. – А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси.

Книга вторая Корабль «Орион»

Глава первая. Номер 24601 становится номером 9430

Жан Вальжан был опять арестован.

Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся тем, что приведем две краткие заметки, опубликованные в газетах несколько месяцев спустя после удивительного происшествия в Монрейле-Приморском. Это короткие заметки, но не следует забывать, что в то время еще не существовало Судебной газеты.

Первую заметку мы заимствуем из газеты Белое знамя. Она датирована 25 июля 1823 года. «Один из округов Па-де-Кале явился ареной необычайного происшествия. Неизвестно откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад, благодаря новым способам производства, возобновил старинный местный промысел – выделку искусственного гагата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не будем скрывать, обогатил округ. За его заслуги он был избран мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был не кто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу, по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в острог. По-видимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе г-на Лафита свой превышавший полмиллиона вклад; эту сумму он нажил, как говорят, вполне законно, на своем предприятии. Узнать, куда он ее спрятал, после того как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось».

Вторая, более подробная заметка взята из Парижской газеты от того же числа.

«Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции, он переменял имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупное предприятие. Но в конце концов он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорского надзора. Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста скончалась от душевного потрясения. Этот негодяй, обладающий силой Геркулеса нашел способ бежать, но спустя три или четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дилижансов, курсирующих между селом Монфермейль (округ Сены и Уазы) и столицей. Говорят, что он воспользовался несколькими днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют в шестьсот-семьсот тысяч франков. Согласно обвинительному акту он запрятал деньги в таком месте, которое было известно ему одному, и конфисковать деньги не удалось. Как бы то ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Барского округа, где ему было предъявлено обвинение в вооруженном нападении на большой дороге, около восьми лет тому назад, на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках фрейский патриарх, —

*Приходят из Савойи каждый год
И сажают забитый дымоход.
Искусно в вашем доме прочищают.*

Бандит отказался от защиты. В мастерски построенном и красноречивом выступлении государственного прокурора доказывалось, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король, по бесконечному милосердию своему, пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же отправлен в Тулон на галеры».

Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монрейле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, в частности Конституционалист, изобразили смягчение приговора как торжество партии духовенства.

Жан Вальжан переменял на каторге номер. Он стал называться номером 9430.

Чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, заметим, что вместе с господином Мадленом из Монрейля-Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все, что предвидел он в тревожную, полную сомнений ночь, сбылось: не стало его, не стало и души города. После его падения в Монрейле начался жестокий дележ, неизбежный при крушении выдающегося человека, роковой распад процветавшего дела, который ежедневно втихомолку совершается в обществе и который история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей; подмастерья объявляют себя хозяевами. Возникли зависть и соперничество. Обширные мастерские г-на Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили край, другие оставили ремесло. Все начало делаться в малых, а не в больших масштабах; для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло; возникли конкуренция и ожесточение. Г-н Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал — и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания тотчас сменился духом борьбы, сердечность — черствостью, благожелательное ко всем отношение организатора — взаимной ненавистью. Нити, завязанные г-ном Мадленом, спутались и порвались, способ производства подменили,

продукцию обесценили, доверие убили; с уменьшением заказов снизился и сбыт, заработок рабочих упал, мастерские остановились, наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все.

Даже государство заметило, что где-то кого-то не стало. Меньше чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество г-на Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монрейля-Приморского удвоились, и в феврале 1827 года г-н де Виллель сделал об этом публичное заявление.

Глава вторая, в которой читатели найдут двестише, сочиненное, быть может, дьяволом

Прежде чем продолжить нашу повесть, мы считаем нелишним рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора.

В окрестностях Монфермейля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа – это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто читает все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это монфермейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерки, в лесной глуши, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы – огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый – приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты увидишь, что этот человек – обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров; то же, что принимают за его рога, – просто-напросто торчащие у него за спиной вилы, зубья которых в измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и через неделю умираешь. Второй способ – наблюдать за ним, дожидаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет; тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть «сокровищем», которое туда, без сомнения, спрятал черный человек. В этом случае ты умрешь через месяц. Наконец, третий способ – совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног. Тогда ты проживешь до года.

Все три способа имеют свои неудобства, но второй представляет по крайней мере то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц, ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смелчаки, которые всюду пытаются счастье, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если верить преданию, и особенно – двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил злобный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошerville, близ Руана, и на его могиле родятся жабы.

Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубоки; потеешь, роешь, трудишься целую ночь (это делается ночью), рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда, наконец, докопаешься до дна ямы, когда «сокровище» – твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экю или камень, а то скелет или окровавленный труп; порой это привидение,

сложенное вчетверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике, а бывает и так, что вообще ничего не находишь. Обо всем этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона:

*Fodit, et in fossa thesauros condit opaca
As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque.*⁴⁶

Как будто и теперь еще там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает, но следует принять во внимание, что Трифон жил в XII веке и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бэкона, а карты-до Карла VI.

Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и прах; что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрываться прямо вам в лицо.

Так вот, вскоре после того как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этом самом сельце заметили, что один старый шоссейный рабочий, по прозвищу Башка, частенько «делает вылазки» в лес. В тех краях поговаривали, будто Башка был когда-то на каторге; он находился под наблюдением полиции, а так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за низкую плату на починку шоссе между Ганьи и Ланьи. На этого Башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтителен, слишком смирен, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Подозревали его в связи с разбойничьей шайкой, в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяница. А заметили за ним вот что.

С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил со своей киркой в лес. Его встречали под вечер на пустынных лужайках, в лесной чаще, где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали Башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал постороннего взора и что в его поступках кроется тайна.

В селе говорили: «Ясно, как божий день, что где-то появился дьявол. Башка видел его и теперь разыскивает. У кого, у кого, а у него хватит смекалки заграбастать кубышку Люцифера». Вольнодумцы добавляли: «Еще посмотрим, кто кого надует: Башка Сатану или Сатана Башку». Старухи при этом усиленно крестились.

Однако блуждания Башки по лесу кончились, и он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом.

Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что-то кроется, – не баснословные сокровища, упоминаемые в легенде, а какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссейный рабочий, несомненно, разгадал. Больше всех заинтересовались этим школьный учитель и трактирщик Тенардьё, друживший с кем попало и не погнушавшийся сблизиться с Башкой.

– Правда, он был на каторге, – говорил Тенардьё. – Но, господи боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено!

⁴⁶ Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища: деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто. (лат.)

Однажды вечером школьный учитель заявил, что в былое время правосудие занялось бы вопросом о том, что делал Башка в лесу, и, конечно, принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке водой.

– Подвергнем его пытке вином, – сообразил Тенардье.

Оба приложили все старания, чтобы напоить старого бродягу. Башка выпил много, но сказал мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел сочетать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Все же, упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также объединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные выражения, Тенардье и школьный учитель представили себе такую картину.

Однажды Башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под кустом лопату и кирку, «вроде как припрятанные». Но он решил, что эта лопата и кирка принадлежат водовозу, дядюшке Шестипечному, и на этом успокоился. Однако вечером, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, что по дороге, ведущей в глубь леса, идет «один человек, не из местных жителей, которого он, Башка, прекрасно знал». В переводе Тенардье это означало: товарищ по каторге. Башка наотрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или сундучка. Башка удивился. Только несколько минут спустя ему пришло на ум последовать за «знакомцем». Но было уже поздно: тот скрылся в лесной чаще, тьма сгустилась, и Башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать за лесной опушкой. «Ночь была лунная». Спустя не то два, не то три часа Башка увидел, что из кустарника вышел тот самый человек, и нес он уже не сундучок, а кирку и лопату. Башка дал ему возможность удалиться, даже не заговорив с ним, ибо знал, что этот втрое сильнее его, вооружен киркой и, конечно, убьет его, если припомнит или если увидит, что и его узнали. Трогательное выражение чувств у двух повстречавшихся старых друзей! Но лопата и кирка были для Башки как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, но ничего не нашел. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырыл киркой яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму лопатой. Так как сундучок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, то, значит, в нем были деньги. Вот почему Башка предпринял розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежевскопана. Напрасно!

Он ничего не «добыл». В Монфермейле стали об этом забывать. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли: «Будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи всю эту кутерьму не зря затеял: тут наверняка объявился дьявол».

Глава третья,

из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы потом разбить его одним ударом молотка

В конце октября того же 1823 года жители Тулона увидели, что после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в Бресте, а в то время он еще числился в средиземноморской эскадре.

Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело внушительное впечатление, выйдя на рейд. На нем развевался – теперь уже не помню, какой – флаг; в его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов; «Орион» отвечал выстрелом на выстрел; итого двадцать два выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно правилам этикета, а также установленному порядку на рейдах и цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех

военных кораблей при восходе и заходе солнца, при открытии и закрытии ворот и пр., и пр., цивилизованный мир на всем земном шаре каждые двадцать четыре часа производит сто пятьдесят тысяч холостых выстрелов. Если считать, что каждый пушечный выстрел стоит шесть франков, то это составляет девятьсот тысяч франков в день, триста миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. Тем временем бедняки умирают с голоду.

1823 год был годом, который Реставрация окрестила «эпохой Испанской войны»

Эта война заключала в себе много событий и множество особенностей. Здесь дело шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов, о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви мадридской, – иначе говоря, выполняющей долг старшинства; об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением северным кабинетам; о его светлости герцоге Ангулемском, прозванном либеральными газетами «героем Андюжара», который в позе триумфатора, не вязавшейся с его безмятежным обликом, укрощал старый реальный террор инквизиции, схватившийся с химерическим террором либералов; о воскресших, к великому ужасу знатных вдов, санкюлотах, под именем *descamisados*⁴⁷; о монархизме, ставящем препоны прогрессу, получившему название анархии; о внезапно прерванной подспудной деятельности теорий 89-го года; о запрете, наложенном Европой на совершающую кругосветное путешествие французскую мысль; о стоящем рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кариньяне – впоследствии Карле-Альберте, который принимал участие в крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув к своему мундиру гренадерские, красной шерсти, эполеты. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдатах Империи, постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой; о трехцветном знамени, развевающемся на чужбине над героической горсточкой французов, подобно тому как развевалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя; о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам; о духе свободы и нововведений, усмиренном штыками, о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами; о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано ее мыслью. Наконец, здесь дело шло о продажности вражеских генералов, о нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков; о полном отсутствии военной опасности, наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе. Здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, здесь был позор для некоторых, а славы не было ни для кого. Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV, и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная, участь: она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики. Эта война насчитывает несколько серьезных операций, – взятие Трокадеро является одной из блестящих военных побед; но в целом, повторяем, трубы этой кампании звучали надтреснуто, все вместе внушало сомнение, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот лжетриумф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно, к победе примешивалась мысль о лихоимстве: казалось, здесь скорее имеет место подкуп генералов, чем выигранные сражения, и солдаты-победители возвращались униженными. Эта война действительно умаляла достоинство нации, в складках ее знамени читалось: «Французский банк». Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилась осажденная ими Сарагоса, в 1823 году хмурились оттого, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей, и

⁴⁷ Безрубашечники (*исп.*)

начинали жалеть о Палафоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой Растопчина, чем Бальестероса.

Еще важнее то обстоятельство, что, оскорбляя дух французской армии, война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, сына демократии, было завоевание рабства для других.

Отвратительное противоречие! Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе – это французская революция: сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. «Слепец, кто этого не видит!» – воскликнул Бонапарт.

Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную испанскую нацию и покушением на французскую революцию. И творила это чудовищное насилие Франция; правда, по принуждению, ибо, за исключением войн освободительных, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. «Пассивное повиновение» – вот что определяет их действия. Армия представляет собою странный шедевр расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества и вопреки человечеству.

Для Бурбонов война 1823 года была роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем ее запрета. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантур «священного права». Франция, восстановив *el rey peto*⁴⁸ в Испании, легко могла восстановить неограниченную королевскую власть и у себя. Приняв послушание солдата за согласие нации, Бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легкоеверие губит троны. Не следует дремать ни под тенью мансенилового дерева, ни под крылом армии.

Но возвратимся к кораблю «Орион».

Во время маневров армии под командованием принца-генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что «Орион» принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт.

Появление военного корабля в гавани таит в себе некую притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище величественно, а толпа любит все величественное.

Линейный корабль, борющийся со стихией, – пример одного из прекраснейших столкновений человеческого гения с могуществом природы.

Линейный корабль представляет собой сочетание частей, от самых тяжелых, какие только существуют, да самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться с тремя состояниями вещества сразу – твердым, жидким и газообразным – и бороться против всех трех. У него есть одиннадцать железных когтей, чтобы цепляться за гранит на дне морском, и больше крыльев и надкрылий, чем у летучих насекомых, чтобы ловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа – компас, дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн – дерево, против скал – железо, медь и свинец, против мрака – свет, против беспредельного простора – магнитная стрелка.

Чтобы получить представление о гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти

⁴⁸ Единственно достойный король (*исп.*) – формула испанского абсолютизма.

внутри шестизэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. Вон та огромная балка – рея; массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная, насколько хватает глаз, – грот-мачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна шестидесяти саженьям, а ее диаметр у основания равен трем футам. Английская грот-мачта возвышается на двести семнадцать футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты, у нас – якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей одного стопушечного судна имеет четыре фута в высоту, двадцать футов в ширину и восемь футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль? – спросите вы. Три тысячи кубических метров. Это настоящий плавучий лес.

Кроме того, надо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном сорок лет тому назад, о простом парусном судне; паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В наше время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собою изумительную машину под парусами, поверхность которых равна трем тысячам квадратных метров, и с паровым котлом в две тысячи пятьсот лошадиных сил.

Не говоря уже об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюитера представляет собою один из величайших образцов человеческой изобретательности. Силы его так же неистощимы, как неистощимы дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью; оно собирает ветер в свои паруса, оно не теряется среди необъятной водной равнины, оно плывет, оно царит.

Но наступает час, когда буря переламывает рею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку, когда ветер гнет, словно тростник, грот-мачту вышиною в четыреста футов, когда якорь, который весит десять тысяч фунтов, ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда чудовищные пушки испускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи.

Зрелище величайшей силы, пришедшей в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться. Вот почему в гаванях наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая зачем, толкуются около удивительных орудий войны и мореходства.

И вот ежедневно, с утра до вечера, набережные, мол и откосы шлюза Тулонской гавани были усеяны толпами празднующихся и «зевак», как говорят в Париже, у которых только и было дело, что глазеть на «Орион».

Корабль был поврежден уже давно. Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои ракушек, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскоблить их, а затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепления подводной части. Вблизи Балеарских островов наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала, а так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на бакборте и решетчатый помост на гальюне, а также повредил руслени фок-мачты. Вследствие этих повреждений «Орион» возвратился в Тулонскую гавань.

Он бросил якорь около Арсенала. Судно снаряжали и чинили. Со стороны штирборта корпус корабля не был поврежден, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух.

Однажды утром толпа, глазевшая на корабль, оказалась свидетельницей несчастного случая. Экипаж занят был креплением парусов. Марсовой, который должен был взять верхний угол грот-марселя на штирборте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся, толпа, собравшаяся на набережной Арсенала, испустила крик; голова перевесила туловище, и человек

повернулся вокруг реи, простирая руки к бездне. Падая, он успел ухватиться за перты под реей, сначала одной, а затем и другой рукой, и повис в воздухе. Под ним, на головокружительной глубине, расстилалось море. От сильного толчка при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в праще.

Помочь ему – значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос – все это были недавно призванные на военную службу местные рыбаки – не отважился на это. Несчастный марсовой устал; разглядеть его лицо, искаженное смертельным ужасом, было невозможно, но по всем его движениям было ясно, что силы у него иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждая его попытка подтянуться только усиливала колебание снасти. Он не кричал, чтобы не изнемочь окончательно. Все ожидали, что он вот-вот выпустит веревку, и время от времени отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жердь, ветка олицетворяют собою жизнь; страшно видеть, как отделяется от них живое существо и падает, словно спелый плод. Вдруг все заметили человека, карабкающегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде – значит, каторжник; на нем была зеленая шапка – значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову; человек этот был немолод.

Действительно, один из каторжников, посланных из острога работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру и, среди смятения и суматохи, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью для спасения марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. Никто не заметил, как легко была разбита цепь. Вспомнили об этом впоследствии.

В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, он, казалось, взглядом измерял ее длину. Эти секунды, пока ветер раскачивал марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед. Толпа перевела дыхание. Он бегом побежал по рее. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую захватил с собою, а другой оставил висеть свободным, затем начал на руках скользить по веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога: вместо одного человека теперь над бездной висели двое.

Казалось, паук готовился схватить муху; только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова; все трепещут, у всех сдвинуты брови. Все затаили дыхание, словно боясь усилить малейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных.

Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз вовремя: еще минута, и изнемогший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другою, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул к себе наверх матроса. С минуту он подержал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по рее до эзельгофта, а оттуда до марса, и тут передал его на руки товарищей.

Толпа принялась рукоплескать; некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали, женщины на набережной обнимались, слышен был единодушный, звучащий какой-то яростью умиления крик: «Помиловать его!»

А он, считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников, и желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней рее. Все взоры устремились на него. И тут толпу охватил страх: то ли от усталости, то ли по причине головокружения, он вдруг приостановился и как будто покачнулся. Вдруг толпа испустила громкий вопль-каторжник упал в море.

Падение грозило ему гибелью. Фрегат «Альхесирас» стоял на якоре возле «Ориона», и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их; всех снова охватила тревога. Человек не выплывал. Он канул в море, не возмущив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погружали лот, ныряли. Тщетно! Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли.

На следующий день в тулонской газете появилась заметка: «17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавшей на борту „Ориона“, спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части Арсенала. В тюремных списках человек этот числился под э 9430, имя его – Жан Вальжан».

Книга третья

Исполнение обещания, данного умершей

Глава первая.

Вопрос о водоснабжении в Монфермейле

Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Теперь это довольно большой торговый городок, украшенный выбеленными виллами, а по воскресным дням – жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это было всего лишь сельцо, затерянное среди лесов. Правда, здесь кое-где попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее Монфермейль был всего лишь сельцом. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхавшие на даче судейские еще не набрели на него. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели деревенский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как сельцо стояло на высоком месте.

За водой приходилось идти довольно далеко. Конец села, который ближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из родничка на склоне горы, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.

Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжелой обязанностью.

Зажиточные дома, аристократия, в том числе хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды старичку, который исполнял обязанности водовоза в Монфермейле и зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.

Мысль о воде приводила в ужас несчастное создание, которое читатель, может статься, не забыл, – маленькую Козетту. Вспомните, что держать Козетту было выгодно супругам Тенардье по двум причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает, почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной мысли, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно торжественно. В первую половину зимы погода стояла мягкая; не было еще ни морозов, ни метелей. Приехавшие из Парижа фокусники получили у мэра разрешение поставить балаганы на главной улице, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на Церковной площади до самой улицы Хлебопекров, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоянные дворы и кабаки, внося шумную и веселую струю в спокойную жизнь глухого села. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу *Caracara Polyborus*; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Старые brave солдаты-бонапартисты, жившие на покое в селе, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что трехцветная кокарда – явление исключительное, созданное богом для их зверинца.

В сочельник возчики и странствующие торговцы сидели в харчевне Тенардье вокруг стола, на котором горели свечи. Харчевня ничем не отличалась от любого кабака: столы, оловянные жбаны, бутылки; пьяницы, курильщики; мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в жарко пылавшей печи; супруг ее пил с гостями, толкуя о политике. Кроме разговоров политических, главной темой которых была война в Испании и его светлость герцог Ангулемский, в шуме голосов можно было различить замечания, имевшие чисто местный интерес:

– Вон сколько выжали вина в Нантерском и Сюренском округах! Кто считал, что получит бочек десять, получил двенадцать. Из-под давила ручьями текло. – Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? – В тех местах не надо ждать, пока поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. – Стало быть, это совсем слабое вино? – У них вина еще слабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зеленый.

И т. д.

Слышались выкрики мельника:

– Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадает всякая всячина, копать с ней нам недосуг, вот и приходится пускать все как есть под жернов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набиты гвозди. Посудите сами, сколько трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы не виноваты. Косарь, сидевший у простенка за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:

– Что трава сырая, беды никакой нет. Ее даже спорей косить. Роса полезна. Но все одно, трава эта ваша молоденькая и пока что неподатливая. Уж очень нежна, так и клонится под косой.

И т. д.

Козетта сидела на своем обычном месте: на перекладине кухонного стола около очага. В лохмотьях, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для девочек Тенардье. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились смех и звонкие голоса Эпонины и Азельмы.

В углу, возле печки, на гвозде висела плетень.

Порой в харчевню врывался пронзительный плач ребенка. Это кричал сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, – говорила она, – наверно, из-за холода». Ему шел четвертый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». «А ну его! Надоел он мне!» – отзывалась мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.

Глава вторая. Два законченных портрета

До сей поры в этой книге чета Тенардье была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами. Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Возраст г-жи Тенардье приближался к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женою не было разницы в возрасте.

Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с супругой Тенардье сохранил еще некоторые воспоминания об этой белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, подвижной дылде. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она все делала по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала – одним словом, была и грозой, и ясным днем, и злым духом этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта – мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке ее голоса: стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Она представляла собой сочетание рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали «Это жандарм»; понаблюдав, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик», увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.

Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий, тщедушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал несокрушимым здоровьем, – с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он всем напоказ пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его допьяна. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой – старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и притом материалиста. Чтобы придать своим словам вес, он часто упоминал имена Вольтера, Реналля, Парни и даже, как ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-философ. Такая разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один против целого эскадрона «гусар смерти» прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить свой дом блестящей вывеской, а окрестному люду – прозвать его харчевню «кабачком сержанта Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на «Убежище». В селе толковали, что он когда-то готовился в священники.

Однако мы полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии фламандцем из Лилля, в Париже – французом, в Брюсселе – бельгийцем и чувствовал себя как дома по обе стороны границы. Его подвиг под Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитроумные уловки, рискованные предприятия – из этого состояла его жизнь; нечистая совесть влечет за собой тревожнения. Не лишено вероятности, что в бурные времена, связанные с 18 июня 1815 года, Тенардь принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, всюду разъезжая, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей – муж, жена и дети – в какой-нибудь тележке, запряженной хромоногой лошаденкой, за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню. «Деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, все же не могли обеспечить его надолго.

В движениях Тенардь было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он осенял себя крестом. Это был краснобай, который выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них орфографические ошибки. Тенардь был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.

Сверх того Тенардь, человек коварный и хорошо владевший собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид мошенников – наихудший; ему свойственно лицемерие. Это не означает, что Тенардь был не способен прийти в такую же ярость, как и его жена, что, впрочем, бывало с ним не столь уж часто. Но так как он злобил на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь, подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!

Помимо всех своих прочих свойств, Тенардь был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. В его взгляде бы то нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего, щурясь, смотреть в подозрительную трубу. Тенардь был государственным мужем.

Всякий входящий первый раз в его харчевню при взгляде на жену Тенардь говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И хозяином и хозяйкой был ее супруг. Она лишь исполняла, придумывал он. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда лишь знака, и мастодонт повиновался. Для г-жи Тенардь, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение: никогда, даже если бы и возник у нее разлад с «господином Тенардь» (гипотеза, впрочем, немыслимая), она «при чужих людях» ни в чем бы не стала ему перечить. Она никогда не совершала ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя их единодушие имело конечной целью зло, но в покорности жены своему мужу таилось благоговейное преклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного

деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; иные формы уродства имеют право существовать даже в недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником; в иные она чувствовала лишь его когти. Эта женщина была существом, способным внушать страх; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина – тот был поглощен одной мыслью: разбогатеть.

Однако это ему не удавалось. Для такого великого таланта не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо было прокормиться.

Само собой разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в узком смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.

В 1823 году у Тенардье накопилось около полутора тысяч франков неотложных долгов, и это очень его тревожило.

Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа людей, которые прекрасно понимали то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных – товаром, иначе говоря, гостеприимство понимали в самом глубоком и современном значении этого слова. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся боем своего ружья.

Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.

Порой у него фейерверками взлетали исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, – толковал он ей однажды яростным шепотом, – уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки;

останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую кошну;

почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребенка; ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!»

Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, – омерзительный и ужасный союз.

Муж раздумывал и соображал, а жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, она жадно жила настоящей минутой.

Таковы были эти два существа. Козетта испытывала двойной гнет: ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по своему:

Козетту избивали до полусмерти – в этом виновата была жена; она ходила зимой босая – в этом виноват был муж.

Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была она слабосильна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней! Свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой билась и запутывалась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ рабства. Это была мушка в услужении у пауков.

Бедный ребенок все терпел и молчал.

Что же происходит в этих младенческих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, столь беззащитные, оказываются среди таких людей?

Глава третья.
Людям – вино, а лошадям – вода

Приехали еще четыре путешественника.

Козетту одолевали тяжкие думы; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.

Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»

Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей, на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых

постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было

достаточно, но это была жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то

такого гостя все сочли бы дикарем. И все же на секунду девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила

стакан, быстро подошла к кадке с водой и отвернула кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.

– Вот тебе на! – проговорила хозяйка. – Воды больше нет! – И замолчала. Девочка затаила дыхание. – Ничего! – продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. – Хватит!

Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце.

Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.

Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую погоду без фонаря только кошке по двору шататься». И Козетта дрожала от страха.

Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубым голосом крикнул:

– Почему моя лошадь не поена?

– Как не поена? Ее поили, – ответила Тенардье.

– А я говорю – нет, хозяйка! – возразил торговец.

Козетта вылезла из-под стола.

– Сударь! Право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

– Вот тоже выискалась: от горшка два вершка, а наврала с целую гору! – воскликнул торговец. – Говорят тебе, дрянь ты этакая, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то ее повадки знаю.»

Козетта стояла на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:

– Пила, вволю пила.

– Врешь! – завопил торговец. – Не пила. Сейчас же дать ей воды!

Козетта залезла обратно под стол.

– Что верно, то верно, – сказала трактирщица, – если скотина не поена, ее надо напоить.

Она огляделась по сторонам:

– А где же другая скотина?

Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, почти под ногами посетителей.

– Ну-ка вылезай! – крикнула она.

Козетта выползла из своего убежища.

– Ты, щенок! Ступай напои лошадь!

– Сударыня! – робко возразила Козетта. – Воды-то ведь больше нет!

Тенардье настезь распахнула дверь на улицу:

– Беги принеси. Ну, живо!

Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.

Ведро было больше ее самой, девочка могла свободно поместиться в нем.

Трактирщица опять подошла к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, попробовала и проворчала:

– Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело! А зря я лук-то не отцедила.

Пошарив в ящике стола, где валялись мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:

– На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб! Вот тебе пятнадцать су.

На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула ее в карман.

С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь.

– Ну, живей! – крикнула трактирщица.

Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.

Глава четвертая. На сцене появляется кукла

Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светила на небе.

Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше десяти лет, но во всем Монфермейле не нашлось ни одной столь богатой или расточительной матери, которая купила бы эту куклу своему ребенку. Эпонина и Азельма часами любовались ею; даже Козетта, правда – украдкой, нет-нет, да и взглядывала на нее.

Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла ее. Бедное дитя замерло на месте. Козетта еще не видала этой куклы вблизи. Лавочка показалась ей дворцом, а кукла – сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, черную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую ее от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такою «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала; «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаза от волшебной лавки. Чем дольше она смотрела, тем сильнее изумлялась. Ей казалось, что она видит рай. За большой куклой сидели куклы поменьше, и ей представлялось, что это

феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самим богом.

Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности.

– Как! Ты все еще тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? Погоди у меня, уродина! – кричала Тенардьё; выглянув в окно, она увидела застывшую в восхищении Козетту.

Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.

Глава пятая. Малютка одна

Харчевня Тенардьё находилась в той части села, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шея.

Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопекров и мимо церкви, путь освещали ей огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ей стало страшно, поэтому она изо всех сил громыкала ведром. Этот шум разгонял ее одиночество.

Мрак становился все гуще. На улицах не было ни души. Все же ей встретилась одна женщина; поравнявшись с девочкой, она пробормотала:

– Куда это идет такая крошка? Уж не оборотень ли это?

Всмотревшись, женщина узнала Козетту:

– Гляди-ка! – сказала она. – Да это Жаворонок!

Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, на котором обрывается Монфермейль со стороны Шея. Пока ее путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. Время от времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи – то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало ее. Она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, как это свойственно испуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Темная пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела все пристальнее, и вот она услышала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Она схватила ведро, страх придал ей мужества. «Ну и пусть! – воскликнула она – Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.

Однако, сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почесывать голову. Теперь ей представилась тетка Тенардьё, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребенок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди – призрак хозяйки, позади – духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из села она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, она продолжала свой путь.

Она бежала бегом, еле сдерживая рыдания.

Ее охватил ночной шум леса. Она больше ни о чем не думала, ничего не замечала.

Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны – всеобъемлющий мрак; с другой – пылинки.

От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала – она ходила по ней несколько раз в день. Странное дело: она не заблудилась! Остаток инстинкта незаметно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидеть что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарнике. Так она дошла до родника. Это было узкое естественное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окруженное мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», выложенное большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.

Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к роднику. Нашупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьем и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватила за нее, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы ее утроились. Нагибаясь над ручьем, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала ее падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила на траву.

Тут она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу.

Волей-неволей надо было отдохнуть. Она присела на корточки и замерла.

Козетта закрыла глаза, потом опять открыла; она не понимала, для чего она это делает, но не открыть и не закрыть глаз она не могла. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.

Небо над ее головой было затянуто тяжелыми темными тучами, напоминавшими полотнища дыма. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребенком.

Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную неведомую ей звезду, и звезда пугала ее. Планета действительно в эту минуту стояла низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила.

Казалось, то была пламенеющая рана.

С равнины дул холодный ветер. Мрачен был лес, не шелестели листья и не брезжил тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый, уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооруженные когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Вырванный сухой вереск, гонимый ветром, пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали. От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, тот чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью не проходит один по лесу без страха. Тени и деревья – два опасных сгустка темноты. В неясной глубине возникает призрачная действительность. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчетливостью привидения. Видишь, как в пространстве – или в мозгу – проплывает нечто смутное и неуловимое, словно мечты задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной черной пустоты. И боязно и хочется оглянуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, которые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи – отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное колыхание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, – перед всем этим чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение во мраке невыразимо страшно для ребенка.

Леса – обители тайны и ужаса, трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.

Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как ее обволакивает безмерный мрак природы. Ее охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало ее сердце. В глазах у нее появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.

Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло ее к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как закоченели ее руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил ее, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею – бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажженным свечам. Ее взгляд упал на ведро, стоявшее перед ней. И так сильна была ее боязнь хозяйки, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватила обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.

Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжелое, и она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватила за ведерную дужку. На этот раз она прошла дальше, но скоро ей пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понунив голову, словно старуха; тяжелое ведро оттягивало и напрягало ее худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; время от времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплескиваясь из ведра, обливала ее голые ножки. Это происходило в лесу, зимней ночью, вдали от человеческого взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это душераздирающее зрелище.

Увы! Видела это, конечно, и ее мать!

В мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.

Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания давили ей горло, но плакать она не смела – так боялась она хозяйки даже вдали от нее. Она привыкла всегда и везде представлять ее рядом с собою.

Идя очень медленно, она почти не продвигалась вперед. Напрасно старалась она сокращать время стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться в Монфермейль, и что Тенардые опять прибудет ее. Тревога примешивалась к ее ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Дойдя до знакомого старого каштана, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, а затем, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И все же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже мой, боже мой!»

В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая черная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший ее. Человек молча взял за дужку ведра, которое она несла.

Во всех случаях жизни человек слышит предупреждающий голос инстинкта.

Ребенок не испугался.

Глава шестая, которая, пожалуй доказывает сообразительность башки

После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже.

Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитав самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.

В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале.

Как своей одеждой, так и всем своим обликом он воплощал тот тип, который можно назвать типом благородного нищего. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью – довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто так беден и так полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до ниток редингот из грубого темно-желтого сукна, – в те времена этот цвет не казался странным, – закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях, черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, прорезанному морщинами лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу, свидетельствовавшему о пережитых страданиях, можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но судя по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, чувствовавшейся во всех движениях, ему нельзя было дать и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он что-то нес в носовом платке, правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно остругана и не казалась слишком грубой; сучки были обрублены, набалдашник сделан из красного сургуча – под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью.

Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.

В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара.

Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы и стенные. Они говорили: «Уже два часа – вон король возвращается в Тюильри».

И одни выбегали навстречу, другие сторонились, – проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило впечатление. Оно было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; он был не в силах ходить, и ему хотелось мчаться; этот хромо́й человек охотно взнуздывал бы молнию. Спокойный и суровый, он проезжал среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди мельком успевали заглянуть в нее. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, здоровое, румяное лицо, свеженапудренные волосы со взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисавшей на штатское платье, орден Золотого руна, крест св. Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена Святого Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, он надевал ее и редко отвечал на приветствия. Он холодно глядел на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то успех, который он там имел, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».

Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.

Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не знал этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д'Авре его заметить. В этот день герцог д'Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он оказал его величеству: «Подозрительная личность!» Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и, так как уже начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции графа Англеса. Сбив полицейского со следа, человек в желтом рединготе ускорил шаги, но он не раз еще оглянулся, желая убедиться, что за ним никто не идет. В четверть пятого, то есть когда уже совсем стемнело, он проходил мимо театра Порт-Сен Мартен, где в этот день давали пьесу Два каторжника. Афиша, освещенная театральными фонарями, видимо поразила его; он опешил, но тут остановился, чтобы прочесть ее. Немного погодя он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана. Пешеход спросил:

– Есть свободное место?

– Только одно, рядом со мной, на козлах, – ответил кучер.

– Я беру его.

– Садитесь.

Но, прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал платы вперед.

– Вы едете до Ланьи? – спросил кучер.

– Да, – ответил тот.

Он уплатил за проезд до Ланьи.

Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать лошадей.

Он закутался в плащ. Было холодно. Пассажир, казалось, не замечал ничего. Проехали Гурне и Нельи-на-Марне.

Около шести часов вечера подъехали к Шелю Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.

– Я сойду здесь, – сказал пассажир.

Он взял свой узелок и палку и соскочил с дилижанса.

Минуту спустя он исчез из виду.

В трактир он не вошел.

Когда через некоторое время дилижанс снова двинулся по направлению к Ланьи, то не встретил этого человека на главной улице Шеля.

Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.

– Этот человек не здешний, я его не знаю, – сказал он. – У него такой вид, точно он без гроша в кардане, а между тем не скаречничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно. Не иначе, как сквозь землю провалился.

Но человек не провалился сквозь землю, – он бодро шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул влево, на проселочную дорогу, ведущую в Монфермейль, – можно было подумать, что он прекрасно знает его окрестности и уже не раз бывал здесь.

Он быстрым шагом пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, обсаженное деревьями шоссе из Ганьи в Ланьи, он услышал шаги. Укрывшись во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Две-три звездочки сияли на небе.

В этом месте начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монфермейль. Он взял правее и полями скоро дошел до леса.

В лесу он замедлил шаг и стал присматриваться к каждому дереву, словно искал что-то и держался таинственной, ему одному известной дороги. Вдруг ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ощупью добрался до прогалины, где лежала груда больших белевших в темноте камней. Подойдя к ним, он окинул их зорким взглядом сквозь ночной туман, точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, высилось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.

Против дерева – это был ясень – рос каштан, болевший отпадением коры. Взамен повязки к нему была прибита цинковая пластинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до нее.

Он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрыта.

Потом осмотрелся и пошел лесом.

Это и был тот человек, который встретился с Козеттой.

Пробираясь сквозь кусты по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он мгновенно очутился возле нее и молча взялся за дужку ведра.

Глава седьмая.

Козетта в темноте, бок о бок с незнакомцем

Козетта, как мы уже сказали, не испугалась.

Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.

– Дитя мое! Твоя ноша слишком тяжела для тебя.

Козетта подняла голову и ответила:

– Да, сударь.

– Дай, я понесу, – сказал он.

Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней.

– Это действительно очень тяжело, – пробормотал он и спросил: – Сколько тебе лет, малютка?

– Восемь лет, сударь.

– И ты идешь издалека?

– От ручья, который в лесу.

– А далеко тебе еще идти?

– Добрых четверть часа.

Путник помолчал немного, потом вдруг спросил:

– Значит, у тебя нет матери?

– Я не знаю, – ответила девочка и, прежде чем он успел снова заговорить, добавила: – Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет. Наверно, никогда и не было, – помолчав, сказала она.

Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи девочки, стараясь в темноте разглядеть ее лицо.

Худенькое, жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете.

– Как тебя зовут?

– Козетта.

Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал.

Спустя мгновение он опросил:

– Где ты живешь, малютка?

– В Монфермейле, – может, вы знаете, где это?

– Мы идем туда?

– Да, сударь.

Немного погодя он снова спросил:

– Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?

– Госпожа Тенардье.

– А чем эта твоя госпожа Тенардье занимается? – спросил незнакомец; он старался говорить равнодушным тоном, но голос у него как-то странно дрожал.

– Она моя хозяйка, – ответила девочка – Она содержит постоялый двор.

– Постоялый двор? – переспросил путник – Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня.

– А ведь мы туда идем, – ответила девочка.

Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то удивительным спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на радость и надежду, устремленную к небесам.

Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:

– Разве у госпожи Тенардье нет служанки?

– Нет, сударь.

– Разве ты у нее одна?

– Да, сударь.

Снова наступило молчание. Потом Козетта сказала:

– Правда, у нее есть еще две маленькие девочки.

– Какие маленькие девочки?

– Понина и Зельма.

Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.

– Кто же они, эти Понина и Зельма?

– Это барышни госпожи Тенардье. Ну, просто ее дочери.

– А что же они делают?

– О! – воскликнула Козетта – У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.

– Целый день?

– Да, сударь.

– А ты?

– А я работаю.

– Целый день?

Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:

– Да, сударь.

Помолчав, Козетта добавила:

– Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.

– Как же ты играешь?

– Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла в их куклы. У меня есть только оловянная сабелка, вот такая.

Девочка показала мизинчик.

– Ею ничего нельзя резать?

– Можно, сударь, – ответила девочка, – например, салат и головы мухам.

Они дошли до села; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее – теперь он хранил мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:

– Тут что же, ярмарка?

– Нет, сударь, это Рождество.

Когда они подходили к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки.

– Сударь!

– Да, дитя мое?

– Вот мы уже совсем близко от дома.

– И что же?

– Можно мне теперь взять у вас ведро?

– Зачем?

– Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет.

Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.

Глава восьмая.

О том, как неприятно впускать в дом бедняка, который может оказаться богачом

Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все еще красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица со свечой в руке.

– А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!

– Сударыня! – задрожав, сказала Козетта. – Этот господин хочет переночевать у нас.

Угрюмое выражение на лице тетки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой, – это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, чтобы разглядеть вновь прибывшего.

– Это вы, сударь?

– Да, сударыня, – ответил человек, дотронувшись рукой до шляпы.

Богатые путешественники не бывают столь вежливы. Этот жест, а также беглый осмотр одежды и багажа путешественника, который произвела хозяйка, заставили исчезнуть ее любезную гримасу, сменившуюся прежним угрюмым выражением.

– Входите, милейший, – сухо сказала г-жа Тенардье.

«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особое внимание его изрядно потертому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в таких случаях означало у него: «Голь перекатная».

– Ах, любезный! – воскликнула трактирщица. – Мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.

– Поместите меня, куда вам будет угодно – на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную комнату, – сказал путник.

– Сорок су.

– Сорок су? Ну что ж!

– Ладно!

– Сорок су! – шепнул один из возчиков кабатчице. – Да ведь комната стоит всего-навсего двадцать!

– А ему она будет стоить сорок, – ответила она тоже шепотом. – Дешевле я с бедняков не беру.

– Правильно, – кротко заметил ее муж, – пускать к себе такой народ – только портить добрую славу заведения.

Тем временем человек, положив на скамью узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды для своей лошади, отправился поить ее. Козетта опять уселась на свое обычное место под кухонным столом и взялась за вязание.

Человек налил себе вина и, едва пригубив, с каким-то особым вниманием стал разглядывать ребенка.

Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливым ребенком, она была бы миловидна. Мы уже бегло набросали этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от постоянных слез. Уголки рта были опущены с тем выражением привычного страдания, которое бывает у приговоренных к смерти и у безнадежно больных. Руки ее, как предугадала мать, «потрескались от мороза». При свете, падавшем на Козетту и подчеркивавшем ее ужасающую худобу, отчетливо были видны ее торчащие кости. Ее постоянно знобило, и от этого у нее образовалась привычка плотно сдвигать колени. Ее одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала дырявая холстина; ни лоскутка шерсти! Там и сям просвечивало голое тело, на котором можно было разглядеть синие или черные пятна-следы прикосновения хозяйской длани. Тонкие ножки покраснели от холода. В глубоких впадинах над ключицами было что-то до слез трогательное. Весь облик этого ребенка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест-все выражало и обличало одно: страх.

Козетта была вся проникнута страхом, он как бы окутывал ее. Страх вынуждал ее прижимать к груди локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так выразиться, привычкой ее тела, способной лишь усиливаться. В глубине ее зрачков таился ужас.

Этот страх был так велик, что, хотя Козетта вернулась домой совершенно мокрая, она не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько принялась за работу.

Взгляд восьмилетнего ребенка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные минуты казалось, что она недалеко от слабоумия или от помешательства.

Мы уже упоминали, что она не знала, что такое молитва, никогда не переступала церковного порога. «Разве у меня есть для этого время?» – говорила ее хозяйка.

Человек в желтом рединготе не спускал глаз с Козетты.

Вдруг трактирщица воскликнула:

– Постой! А хлеб где?

Стоило хозяйке повысить голос, и Козетта, как всегда, быстро вылезла из-под стола.

Она совершенно забыла о хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала.

– Сударыя! Булочная была уже заперта.

– Надо было постучаться.

– Я стучалась, сударыня.

– Ну и что же?

– Мне не отперли.

– Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, – сказала Тенардьё, – и если соврала, то ты у меня заплащешь. А покамест дай сюда пятнадцать су.

Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки там не было.

– Ну! – крикнула трактирщица. – Оглохла ты, что ли?

Козетта вывернула карман. Пусто. Куда могла деться денежка? Несчастная малютка не находила слов. Она окаменела.

– Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? – прохрипела Тенардьё. – А может, ты вздумала их украсть?

С этими словами она протянула руку к плетке, висевшей на гвозде возле очага.

Это грозное движение вернуло Козетте силы.

– Простите! Простите! Я больше не буду! – закричала она.

Тенардьё сняла плетъ.

В это время человек в желтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили, играли в кости и ни на что не обращали внимания.

Козетта в смертельном страхе забилась в угол за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать свое жалкое полуобнаженное тельце. Трактирщица занесла руку.

– Виноват, сударыня, – вмешался неизвестный, – я только что видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилося по полу. Не эти ли деньги?

Он наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.

– Так и есть, вот она, – сказал он, выпрямляясь, и протянул тетке Тенардьё серебряную монетку.

– Она самая! – воскликнула тетка Тенардьё. Отнюдь не «она самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребенка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»

Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тетка Тенардьё, и ее большие глаза, устремленные на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то безотчетная доверчивость.

– Ну как, будете ужинать? – спросила трактирщица у приезжего.

Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.

– Кто он, этот человек? – процедила она сквозь зубы – Уверена, что за ужин ему заплатит нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришлось в голову красть деньги, валявшиеся на полу.

Тут дверь отворилась, и вошли Эпонина и Азельма.

Это были две хорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, премиленькие, одна – с блестящими каштановыми косами, другая – с длинными черными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи несколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет. Кроме того, они были здесь повелительницами. В их одежде, в их веселости, в том шуме, который они производили, чувствовалось сознание своей верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливо, но с обожанием:

– А, вот, наконец, и вы пожаловали!

Притянув поочередно каждую к себе на колени, мать пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила.

– Хороши, ничего не скажешь! – воскликнула она.

Девочки уселись в углу, возле очага. Они принялись тормошить куклу, укладывали ее то у одной, то у другой на коленях и весело щебетали. Время от времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.

Эпониная и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам вместе не было и двадцати четырех лет, но они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны – зависть, с другой – пренебрежение.

Кукла у сестер Тенардье была полинявшая, старая, поломанная, но Козетте она казалась восхитительной – ведь у нее за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы, – это выражение понятно всем детям.

Вдруг тетка Тенардье, продолжавшая ходить взад и вперед по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и, вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.

– А вот я тебя и поймала! – крикнула она. – Так-то ты работаешь? погоди, вот возьму плетку, она тебя заставит работать!

Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.

– Сударыня! – улыбаясь почти робко, промолвил он. – Ну что уж там, пусть поиграет!

Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был такой редингот, смел выражать свою волю, – этого трактирщица допустить не могла.

– Раз девчонка ест мой хлеб, она должна работать, – резко сказала она. – Я кормлю ее не для того, чтобы она бездельничала.

– Что же это она делает? – спросил незнакомец мягким тоном, какого трудно было ожидать от человека, одетого, словно нищий, с плечами, широкими, словно у носильщика.

Трактирщица снизошла до того, что ответила ему:

– Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Старые все, можно сказать, износились. Скоро мои дочки останутся босые.

Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:

– Когда же она окончит эту пару?

– Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре. Этакая лентяйка!

– Сколько могут стоять эти чулки, когда они будут готовы?

Трактирщица окинула его презрительным взглядом.

– Не меньше тридцати су.

– А вы бы уступили их за пять франков? – снова спросил человек.

– Черт возьми! – засмеявшись грубым смехом, вскричал возчик, слышавший этот разговор. – Пять франков? Тыфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!

Тут Тенардье решил, что пора ему вмешаться в разговор.

– Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков. Мы ни в чем не отказываем путешественникам.

– Но денежки на стол! – резко и решительно заявила его супруга.

– Я покупаю эти чулки, – ответил незнакомец и, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: – И плачу за них.

Потом он повернулся к Козетте!

– Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя мое.

Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на нее.

– И вправду, гляди-ка! – воскликнул он. – Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!

Тенардье подошел и молча положил деньги в жилетный карман.

Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо ее исказилось злобой.

Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:

– Сударыня! Это правда? Я могу поиграть?

– Играй! – в бешенстве крикнула тетка Тенардье.

– Спасибо, сударыня, – молвила Козетта.

Уста ее благодарили хозяйку, а ее маленькая душа возносила благодарность незнакомцу.

Тенардье снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:

– Кто он, этот желтый человек?

– Мне приходилось встречать миллионеров, которые носили такие же рединготы, – с величественным видом ответил Тенардье.

Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.

Эпониная и Азельма не обращали никакого внимания на происходившее вокруг. Они только что успешно завершили ответственную операцию – завладели котенком. Бросив на пол куклу, Эпониная, которая была постарше, пеленала котенка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье и судорожные движения. Поглощенная этой важной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, как только ты попытаешься запечатлеть его.

– Знаешь, сестричка, вот эта кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она тепленькая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она будет моей дочкой. Я буду мама. Я приду к тебе в гости, а ты на нее посмотришь. Потом ты увидишь ее усики и удивишься. А потом увидишь ее ушки, а потом хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь: «Боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».

Азельма с восхищением слушала Эпониину.

Между тем пьяницы затаили непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардье подзадоривал их и вторил им.

Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпониная пеленали котенка, Козетта пеленала саблю. Потом она взяла ее на руки и, тихо напевая, стала ее убаюкивать.

Кукла – одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов у девочек. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто есть некто, – в этом все будущее женщины. Мечтая и болтая, готовя игрушечное приданое и маленькие пеленки, нашивая платица, лифчики и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка – в девушку, девушка – в женщину. Первый ребенок – последняя кукла.

Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же невыносима, как женщина без детей.

Козетта сделала себе куклу из сабли.

Тетка Тенардье подошла к «желтому человеку». «Мой муж прав, – решила она, – может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»

Она облокотилась на стол.

– Сударь... – сказала она.

При слове «сударь» незнакомец обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший», или «любезный».

– Видите ли, сударь, – продолжала она (ее слащавая вежливость была еще неприятней ее грубости), – мне очень хочется, чтобы этот ребенок играл, я ничего не имею против, если вы

так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у нее никого нет. Она должна работать.

– Значит, это не ваш ребенок? – спросил незнакомец.

– Что вы, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У нее, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее все, что можем, но мы сами небогаты. Вот уж полгода, как мы пишем к ней на родину, а нам не отвечают ни слова. Ее мать, надо думать, умерла.

– Вот как! – проговорил незнакомец и снова задумался.

– Хороша же была эта мать! – добавила трактирщица. – Бросила родное дитя!

В продолжение этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз с хозяйки. Но слушала она рассеянно, до нее долетали лишь обрывки фраз. Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда были приплетены Пресвятая дева и младенец Иисус. Трактирщица направилась к ним, чтобы принять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в ее неподвижных глазах; она опять принялась укачивать подобие младенца в пеленках, которое она соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»

Уступая настояниям хозяйки, «желтый человек», «миллионер», согласился, наконец, поужинать.

– Что прикажете вам подать, сударь?

– Хлеба и сыру, – ответил он.

«Наверно, нищий», – решила тетка Тенардье.

Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребенок под столом продолжал петь свою.

Вдруг Козетта умолкла: обернувшись, она заметила куклу, которую девочки Тенардье позабыли, занявшись котенком, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.

Она выпустила из рук запеленутую саблю, которая не могла удовлетворить ее вполне, затем медленно обвела глазами комнату. Тетка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпониная и Азельма играли с котенком; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, – на нее никто не обращал внимания. Каждая минута была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и схватила ее. Мгновение спустя она снова была на своем месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было редким для нее – оно таило в себе неистовство наслаждения.

Никто ничего не заметил, кроме незнакомца, медленно жевавшего хлеб с сыром – из этого состоял весь его скудный ужин.

Это блаженство длилось с четверть часа.

Но как осторожна ни была Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выступила из мрака, и теперь ее освещал яркий огонь очага. Эта розовая, блестящая нога поразила взгляд Азельмы, и она сказала Эпонине:

– Гляди-ка, сестрица!

Девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!

Эпониная встала и, не отпуская котенка, подошла к матери и стала дергать ее за юбку.

– Да оставь ты меня в покое! Ну! Что тебе надо? – спросила мать.

– Мама! – сказала девочка. – Посмотри!

Она показала пальцем на Козетту.

А Козетта, в порыве восторга, ничего не видела и не слышала.

Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое возникает по пустякам и за которое такие женщины получают прозвище «мегеры».

На этот раз уязвленная гордость еще сильнее разожгла ее гнев. Козетта преступила все границы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет голубую орденскую ленту ее августейшего сына, была бы разгневана не больше.

Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:

– Козетта!

Козетта вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.

– Козетта! – повторила кабатчица.

Козетта взяла куклу и со смешанным чувством благоговения и отчаяния осторожно положила ее на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки и – страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребенка! – заложила их. Наконец пришло то, чего не вызвало у Козетты ни путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни плетка, ни злое слова хозяйки, – пришли слезы. Она захлебывалась от рыданий.

Незнакомец встал из-за стола.

– Что случилось? – спросил он.

– Да разве вы не видите? – воскликнула кабатчица, указывая на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.

– Ну и что же? – снова спросил человек.

– Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! – ответила Тенардь.

– И только-то? – сказал незнакомец. – Что ж тут такого, если она даже и поиграла в эту куклу?

– Она трогала ее своими грязными руками! Своими отвратительными руками! – продолжала кабатчица.

При этих словах рыдания Козетты усилились.

– Да замолчишь ты наконец! – крикнула тетка Тенардь.

Незнакомец направился к входной двери, открыл ее и вышел.

Как только он скрылся, кабатчица, воспользовавшись его отсутствием, так пнула ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.

Дверь отворилась, незнакомец появился вновь. Он нес в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил ее перед Козеттой и сказал:

– Возьми это тебе.

По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погруженный в задумчивость, он успел разглядеть игрушечную лавку, до того ярко освещенную плашками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.

Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с куклой, казался ей надвигавшимся на нее солнцем, ее сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забила под стол в самый дальний угол, к стене.

Она больше не плакала, не кричала, – казалось, она не осмеливалась дышать.

Кабатчица, Эпониная и Азельма стояли как истуканы. Пьяницы, и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.

Тетка Тенардь, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое – то есть вор?»

На лице супруга Тенардь появилась та выразительная складка, которая так подчеркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нем во всей своей животной силе. Кабатчик смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновение. Подойдя к жене, он шепнул:

– Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластайся перед этим человеком!

Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.

– Ну что ж ты, Козетта, – сказала тетка Тенардье кисло-сладким тоном, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, – почему ты не берешь куклу?

Только тут Козетта осмелилась выползти из своего угла.

– Козетточка! – ласково подхватил Тенардье. – Господин дарит тебе куклу. Бери ее. Она твоя.

Козетта глядела на волшебную куклу с ужасом. Ее лицо было еще залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья.

Если бы вдруг ей сказали: «Малютка! Ты – королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство. Ей казалось, что как только она дотронется до куклы, ударит гром.

До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает.

Однако сила притяжения победила. Козетта, наконец, приблизилась к кукле и, обернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:

– Можно, сударыня?

Нет слов передать этот тон, в котором слышались отчаяние, испуг и восхищение.

– Понятно, можно! – ответила кабатчица. – Она твоя. Господин дарит ее тебе.

– Правда, сударь? – переспросила Козетта. – Разве это правда? Она моя, эта дама?

Глаза у незнакомца были полны слез. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в ее ручонку.

Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука «дамы» жгла ее, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту у нее высунулся язык. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.

– Я буду звать ее Катериной, – сказала она. Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и слились с лентами и ярко-розовым муслиновым платьем куклы.

– Сударыня! А можно мне посадить ее на стул? – спросила она.

– Можно, дитя мое, – ответила кабатчица.

Теперь пришел черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.

Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.

– Играй же, Козетта! – сказал незнакомец.

– О, я играю! – ответила девчурка.

Этого проезжего, этого неизвестного, которого, казалось, само провидение послало Козетте, кабатчица ненавидела сейчас больше всего на свете. Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать мужу, это было выше ее сил. Она поспешила отправить дочерей спать и спросила у желтого человека «разрешения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово утомилась», – с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта ушла спать, унося в объятиях Катерину.

Время от времени тетка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел ее муж, чтобы, по ее выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более злобными, что не решалась произносить их громко.

– Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта маленькая уродина играла! Дарит ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Еще немного, и он начнет величать ее «ваша светлость», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Или совсем уже рехнулся, старый дурак?

– Ничего не рехнулся! Все это очень просто, – возразил Тенардье. – А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать все, что хочет. Если этот старичина – филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?

Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот, ни другой не терпели возражений. Незнакомый облокотился на стол и снова задумался. Прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чужак, вынимавший столь непринужденно из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.

Прошло несколько часов. Полунощница отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражки разошлись, кабак закрылся, комната опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть все на том же месте и в той же позе. Порой он только менял руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор, как ушла Козетта, он не произнес ни слова.

Супруги Тенардье из любопытства и приличия остались в комнате.

– Всю ночь он, что ли, собирается так провести? – ворчала Тенардье.

Когда пробило два, она сдалась.

– Я иду спать, – заявила она мужу. – Делай с ним что хочешь.

Супруг присел к столу, зажег свечу и начал читать Французский вестник.

Так прошел час. Почтенный трактирщик прочел по крайней мере раза три Французский вестник от даты выхода и до фамилии издателя. Незнакомец не трогался с места.

Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек остался неподвижен. «Уж не заснул ли он?» – подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло отвлечь его от дум.

Наконец Тенардье, сняв колпак, осторожно подошел к нему и осмелился спросить:

– Не угодно ли вам, сударь, идти почивать? Сказать «идти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась пышность и вместе с тем почтительность. Такие слова обладают таинственным, замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счета. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.

– Да, – сказал незнакомец, – вы правы. Где ваша конюшня?

– Сударь! – усмехаясь, произнес Тенардье. – Я провожу вас, сударь.

Он взял подсвечник, незнакомец взял узелок и палку, и Тенардье повел его в комнату на первом этаже, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в виде лодки и занавески из красного коленкора.

– Это что такое? – спросил путник.

– Это наша спальня, – ответил трактирщик. – Мы с супругой теперь спим в другой комнате.

Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.

– Мне больше по душе конюшня, – резко сказал незнакомец.

Тенардье сделал вид, что не расслышал этого неучтливое замечания.

Он зажег две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно яркий огонь.

На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и цветов померанца.

– А это что такое? – спросил незнакомец.

– Это подвенечный убор моей супруги, – ответил Тенардье.

Незнакомец окинул убор взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудовище когда-то было невинной девушкой!»

Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот домишко, чтобы открыть в нем кабак, эта комната была именно так обставлена; он купил эту мебель и цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».

Когда путешественник оглянулся, хозяин уже исчез. Тенардье скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал выказывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.

Трактирщик удалился в свою комнату. Жена лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:

– Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.

– Какая прыткая! – холодно ответил Тенардье.

Больше они не обменялись ни словом, несколько минут спустя их свеча потухла.

А путешественник, как только хозяин ушел, положил в угол узелок и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись. Потом снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору; коридор вывел его на лестницу. Тут он услышал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и очутился возле трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей, низом ступеней. Там, среди старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На этой-то постели и спала Козетта.

Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на нее.

Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.

Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. Время от времени Козетта тяжело вздыхала, словно собиралась проснуться, и почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.

Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная темная комната. Незнакомец вошел туда. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые маленькие, беленькие кровати. Это были кровати Эпонины и Азельмы. За кроватками, полускрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, тот самый, что кричал весь вечер.

Незнакомец предположил, что рядом с этой комнатой находится комната супругов Тенардье.

Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых всегда горит скудный огонь, если только он горит, и от которых веет холодом. В камине не было огня, в нем не было даже золы, но то, что стояло в нем, привлекло внимание путника. Это были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Незнакомец вспомнил прелестный старинный обычай детей в рождественский сочельник ставить в камин свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него чудесный подарок. Эпонины и Азельма не упустили такого случая: каждая поставила в камин по башмачку.

Незнакомец нагнулся.

Фея, то есть мать, уже побывала здесь, – в каждом башмаке блестела новенькая монета в десять су.

Путник выпрямился и уже собирался уйти, как вдруг заметил в глубине, в сторонке, в самом темном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, грубое, ужасное деревенское сабо, разбитое, все в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта с трогательной детской доверчивостью, которая постоянно терпит разочарования и все-таки не теряет надежды, поставила свое сабо в камин.

Как божественна, как трогательна была эта надежда в ребенке, который знал одно лишь горе!

В этом сабо ничего не лежало.

Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.

Затем, неслышно ступая, вернулся в свою комнату.

Глава девятая. Тенардые за работой

На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардые, сидя в трактире за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путнику в желтом рединготе. Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Оба не произносили ни слова. Он размышлял, она испытывала то благоговейное чувство, с каким человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним дивное творение человеческого разума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.

Спустя добрых четверть часа, сделав несколько поправок, Тенардые создал следующий шедевр:

Счет господину из э 1

Ужин – 3 фр.

Комната – 10 фр.

Свеча – 5 фр.

Топка – 4 фр.

Услуги – 1 фр

Итого – 23 фр.

Вместо «услуги» было написано «услуги».

– Двадцать три франка! – воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось легкое сомнение.

Тенардые, как все великие артисты, был, однако, не удовлетворен.

– Пфа! – пыхнул он.

То было восклицание Кастрьери, составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция.

– Ты прав, господин Тенардые, он и правда нам столько должен, – пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей – Это справедливо, но многовато. Он не станет платить.

Тенардые засмеялся сухим своим смехом.

– Заплатит! – проговорил он.

Этот его смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось таким тоном, не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок столы; супруг расхаживал взад и вперед по комнате. Немного погодя он воскликнул:

– Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!

Он уселся возле камина и, положив ноги на теплую золу, предался размышлениям.

– Кстати, – снова заговорила жена, – ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня сердце разорвется из-за этой ее куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть ее в доме!

Тенардые закурил трубку, выговорил между двумя затяжками:

– Счет этому человеку подашь ты.

И вышел.

Когда он скрылся за дверь, в комнату вошел путник.

Тенардьё мгновенно показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.

Человек в желтом рединготе держал в руке палку и узелок.

– Так рано и уже на ногах? – воскликнула кабатчица. – Разве вы покидаете нас, сударь?

Она в замешательстве вертела в руках счет, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее грубое лицо выражало несвойственные ей смущение и беспокойство.

Представить такой счет человеку, «ни дать ни взять – нищему», она считала неудобным.

У незнакомца был озабоченный и рассеянный вид.

– Да, сударыня, я ухожу, – ответил он.

– Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?

– Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?

Тенардьё молча подала ему сложенный счет. Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.

– Сударыня! Хорошо ли идут у вас дела в Монфермейле? – спросил он.

– Так себе, сударь, – ответила кабатчица, изумленная тем, что счет не вызвал возмущения. –

Ах, сударь! – продолжала она жалобным и плаксивым тоном, – тяжелое время теперь! Да и людей-то зажиточных здесь очень мало. Все, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов. А тут, видите ли, еще и эта девчонка влетает нам в копеечку!

– Какая девчонка?

– Ну, девчонка-то, помните? Козетта. «Жаворонок», как ее тут в деревне прозвали.

– А-а! – протянул незнакомец.

– И дурацкие же у этих мужиков клички! – продолжала трактирщица. – Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Сами знаете, сударь, как обдирает нас правительство. Кроме того, у меня есть родные дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка!

Незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, задал ей вопрос:

– А что, если бы вас освободили от нее?

– От кого? От Козетты?

– Да.

Красное, свирепое лицо кабатчицы расплылось в омерзительной улыбке.

– О, возьмите ее, сударь, оставьте у себя, уведите, унесите, осыпьте сахаром, начините трюфелями, выпейте ее, скушайте, и да благословит вас пресвятая дева и все святые угодники!

– Хорошо.

– Правда? Вы возьмете ее?

– Возьму.

– Сейчас?

– Сейчас. Позовите девочку.

– Козетта! – крикнула Тенардьё.

– А пока, – продолжал путник, – я уплачу вам по счету. Сколько с меня следует?

Взглянув на счет, он не мог скрыть удивление:

– Двадцать три франка!

Он посмотрел на трактирщицу и повторил:

– Двадцать три франка?

В тоне, в каком незнакомец повторил эти три слова, слышались и восклицание и вопрос.

У трактирщицы было достаточно времени, чтобы подготовиться к атаке. Она ответила твердо:

– Да, сударь! Двадцать три франка.

Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.

– Приведите малютку, – сказал он.

Тут на середину комнаты выступил сам Тенардье.

– Этот господин должен двадцать шесть су, – сказал он.

– Как двадцать шесть су? – вскричала жена.

– Двадцать су за комнату и шесть су за ужин, – холодно ответил Тенардье. – Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать с господином проезжим. Оставьте нас одних, жена.

Тетка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что на подмостки вышел великий актер, и молча удалилась.

Как только они остались одни, Тенардье предложил путнику стул. Путник сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло необычно добродушное и простоватое выражение.

– Послушайте, сударь! – сказал он. – Скажу вам прямо: я обожаю это дитя.

Незнакомец пристально взглянул на него.

– Какое дитя?

– Смешно! – продолжал Тенардье. – А вот привязываешься к ним. На что мне эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.

– Да кого же? – переспросил незнакомец.

– А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажется, собираетесь увезти ее от нас? Так вот, говорю вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребенком, и это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у нее есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной ее болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать для бога. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли, все равно что родной ребенок. Я привык к ее лепету в доме.

Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.

– Прошу меня простить, сударь, – продолжал Тенардье, – но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека вполне порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье... но мне надо знать. Понимаете? Предположим, я отпущу ее и пожертвую своими чувствами, но я желал бы знать, куда она уедет, мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать ее: пусть она чувствует, что ее добрый названный отец недалеко, что он охраняет ее. Одним словом, есть вещи выше наших сил. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, ведь так?

Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьезно и решительно:

– Господин Тенардье! Отъезжая из Парижа на пять лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу ее, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда вас больше не видела. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом, она исчезает. Вы согласны? Да или нет?

Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так понял и Тенардье, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, изучая его, как математик. Он выслеживал его из личных интересов, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже разгадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот те вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кто же он? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все и не знал ничего. Как бы то ни было, завязав разговор с этим человеком и будучи уверен, что тут кроется тайна, что путник не без умысла пожелал остаться в тени, Тенардье чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была при всей ее загадочности проста, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он все взвесил в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямо и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решительный момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытие со всех своих батарей.

– Сударь! – заявил он. – Мне нужны полторы тысячи франков.

Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:

– Приведите Козетту.

Что же делала все это время Козетта?

Проснувшись, она побежала к своему сабо. В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времен Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка был изображен прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Козетта не знала, что такое золотой, она никогда не видела золота, и она поспешила спрятать монету в карман передника, как будто она украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой – неоспоримая ее собственность, она догадалась, чей это дар, однако испытывала смешанное чувство радости и страха. Она была довольна; более того: она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нем успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом не переставала размышлять об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле – таком богатом и добром. С момента встречи со стариком в лесу все для нее словно изменилось. Козетта, испытывавшая счастья меньше, чем самая незаметная пташка, не знала, что значит жить под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студеным ветром беды, теперь же ей казалось, что она

укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь – тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже была не одинока; кто-то стоял подле нее.

Она поспешила приняться за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого выпала монета в пятнадцать су, отвлекал ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, позабыв о метле, обо всем на свете, уйдя в созерцание звезды, блиставшей в глубине кармашка.

В одну из таких минут ее застигла тетка Тенардье.

По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила ее ни одним тумачком и не обругала ее.

– Козетта! – сказала она почти кротко. – Иди скорее.

Спустя минуту Козетта вошла в кабачок. Незнакомец развязал сверток. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки – одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета.

– Дитя мое! – сказал незнакомец. – Возьми все это и пойдешь скорее переоденься.

День еще только занимался, когда жители Монфермейля, отпирая двери, увидели, как по Парижской улице шел бедно одетый старик, ведя за руку девочку в трауре, державшую розовую куклу. Они шли по направлению к Ливри.

Это были незнакомец и Козетта.

Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее.

Козетта уходила. С кем? Об этом она не имела понятия. Куда? Этого она не знала. Одно ей было понятно она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.

Бедное, кроткое существо, чье сердце до сей поры знало одно лишь горе!

Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя в небо. Луидор она положила в кармашек нового передника. Время от времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею идет сам господь бог.

Глава десятая.

Кто ищет лучшего, тот может найти худшее

Тетка Тенардье, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда путник и Козетта ушли, Тенардье, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.

– И только-то? – удивилась она.

Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки. Удар попал в цель.

– Да, ты права! – сказал он. – Я дурак! Дай-ка мне шляпу.

Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и выскочил из дома, но сперва ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал в указанном направлении.

«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в желтое, а я – болван, – рассуждал он сам с собой. – Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все – с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, – все это очень странно; тут много таинственного. Но пойманную тайну из рук не выпускают.

Секреты богачей – это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать». Все эти мысли вихрем кружились у него в голове. «Я болван», – повторял он.

Если выйти из Монфермейля и дойти до поворота на Ливри, то видно далеко, как эта дорога бежит в сторону плато. Тенардье надеялся увидеть старика и девочку. Он всматривался в даль, насколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и девочка, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил туда.

Правда, они опередили его, но девочка идет медленно, а Тенардье шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.

Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.

– Надо было захватить с собой ружье, – пробормотал он.

Тенардье принадлежал к числу тех двойственных натур, которые незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя наполовину. При ровной и спокойной жизни Тенардье обладал всеми данными, чтобы «прослыть» – мы не говорим «быть» – честным, как принято выражаться, торговцем, честным гражданином. В других условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам Сатана, сидя на корточках в углу трущобы, где жил Тенардье, иной раз предавался размышлениям над этим высочайшим образцом человеческой низости.

После минутного колебания Тенардье подумал! «Ну нет! А то они успеют скрыться!»

И он продолжал свой путь быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы, которая выследила стаю куропаток.

В самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискось большую прогалину, вправо от лесной дороги на Бельвю, и дошел до заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил множество догадок. Шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардье догадался, что путник и Козетта присели там отдохнуть. Девочка была так мала, что ее не было видно, зато видна была голова куклы.

Тенардье не ошибся. Незнакомец сел, чтобы дать Козетте передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого он искал.

– Прошу прощения, сударь, – проговорил он, запыхавшись, – извольте получить ваши полторы тысячи франков.

С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета.

Тот взглянул на него.

– Что это значит?

– Это значит, сударь, что я беру Козетту обратно, – почтительно ответил Тенардье.

Козетта вздрогнула и прижалась к старику. А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отчеканивая каждый слог.

– Вы бе-ре-те об-рат-но Козетту?

– Да, сударь, беру. Сейчас объясню, почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдать ее вам. Видите ли, я человек честный. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. А мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы скажете «Мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребенка предъявителю этой записки. Ясно?

Вместо ответа человек порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами.

Трактирщик задрожал от радости.

«Прекрасно! – подумал он. – Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить»

Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Путник открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику.

– Вы правы, – сказал он. – Прочтите.

Тенардье взял бумажку и прочел:

«Монрейль-Приморский, 25 марта 1823 года.

Господин Тенардье!

Отдайте Козетту подателю сего письма Все мелкие расходы будут вам оплачены Уважающая вас

Фантина».

– Вам знакома эта подпись? – спросил путник.

Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардье узнал ее.

Возражать было нечего. Тенардье был зол, и вдвойне на то, что приходится отказаться от денег и на то, что был побежден.

– Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, – сказал незнакомец. Тенардье пришлось отступать по всем правилам.

– Подпись довольно ловко подделана, – проворчал он сквозь зубы. – Ну да ладно!

Затем он сделал еще одну безнадежную попытку.

– Пусть так, сударь, – сказал он, – раз вы являетесь подателем записки. Но ведь надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то порядочный.

Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:

– Господин Тенардье! В январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков, но в феврале вы послали ей счет на пятьсот; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; по условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остается тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.

Тенардье испытал то же чувство, какое испытывает волк, схваченный стальными челюстями капкана.

«Черт, а не человек!» – подумал он и поступил так, как поступает волк: рванулся из капкана. Ведь однажды его уже выручила наглость.

– Господин-имени-которого-не-имею-чести-знать! – сказал он решительно, оставив всякую вежливость. – Я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.

– Идем, Козетта, – спокойно сказал незнакомец.

Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал палку, лежавшую на земле.

Тенардье принял во внимание увесистость дубинки и уединенность местности.

Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.

Они уходили все дальше. Тенардье глядел на широкие, чуть согнутые плечи незнакомца и на его внушительные кулаки.

Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, – подумал он, – пошел на охоту без ружья!»

И все же ему не хотелось сдаваться.

– Мне надо знать, куда он пойдет, – пробормотал он. Держась на известном расстоянии, он пошел за ними. У него оставались насмешка: клочок бумажки с подписью «Фантина» и утешение; полторы тысячи франков.

Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шел медленно, понунив голову, задумчивый и грустный. Зимой лес стал совсем сквозным, и Тенардьё не мог потерять их из виду, хоть и держался на довольно значительном расстоянии. Время от времени незнакомец оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардьё. Тогда он быстро углубился с Козеттой в кустарник, в котором легко было скрыться.

– Тьфу ты пропасть! – воскликнул Тенардьё и ускорил шаг.

Густота кустарника принудила его близко подойти к ним. Войдя в самую чащу, незнакомец обернулся. Напрасно Тенардьё укрывался за кустами, – ему так и не удалось остаться незамеченным. Незнакомец бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал идти. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг незнакомец снова оглянулся и снова увидел трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Тенардьё, был так мрачен, что тот счел дальнейшее преследование бесполезным. И повернул домой.

Глава одиннадцатая.

Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею

Жан Вальжан не умер.

Упав в море, точнее, бросившись туда, он был, как известно, без кандалов. Он поплыл под водой до стоявшего на рейде корабля, к которому было принаймовано гребное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился вплавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробной беглых каторжников, что увеличивало его прибыльность. Затем Жан Вальжан, подобно всем несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо близ Боссе. Затем направился к Гран-Вилару, около Бриансона, в Верхних Альпах. То было отчаянное бегство вслепую, путь крота, подземные ходы которого никому неведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Эне, находящемся в области Сиврие; в Пиренеях, в Аконе, расположенном в округе Гранжде-Думек; около деревушки Шавайль и в окрестностях Периге в Брюни (кантон Шапель-Гонаг). Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле.

Первой его заботой в Париже было купить траурную одежду для девочки лет семи-восьми и подыскать себе жилье. Затем он направился в Монфермейль.

Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже совершал в окрестностях Монфермейля таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения.

Но его считали умершим, и это еще сильнее сгущало окутывавшую его тьму. В Париже ему попала в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Теперь Жан Вальжан был спокоен, почти умиротворен; у него было такое чувство, словно он и в самом деле умер.

В тот день, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардьё, он в сумерки вошел с ней в Париж через заставу Монсо. Здесь он сел в кабриолет, кабриолет доставил его на эспланаду Обсерватории, и тут он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба глубокой ночью направились по пустынным улицам, прилегавшим к Лурсин и Гласьер, в сторону Госпитального бульвара.

Для Козетты это был необычайный, полный впечатлений день. Они ели под плетнями купленные в одиноких харчевнях хлеб и сыр, часто пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, но устала, – Жан Вальжан заметил это

по тому, с какой силой она при ходьбе тянула его за руку. Он посадил ее к себе за спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.

Книга четвертая Лачуга Горбо

Глава первая. Хозяин Горбо

Если бы сорок лет тому назад одинокий прохожий, вздумавший углубиться в трущобы глухой окраины Сальпетриер, поднялся по бульвару до Итальянской заставы, он дошел бы до одного из тех мест, где, так сказать, исчезает Париж. Нельзя сказать, чтобы это была совершенная глушь, – здесь попадались прохожие; нельзя сказать, чтобы это была деревня, – здесь попадались городские домики и улочки. Но это был и не город, – на улицах лежали колеи, как на больших дорогах, росла трава; это было и не село, – дома были слишком высоки. Что же представляла собой эта окраина, и обитаемая и безлюдная, пустынная и в то же время кем-то населенная? То был бульвар большого города, парижская улица, ночью более жуткая, чем лес, а днем более мрачная, чем кладбище.

Это был старый квартал Конного рынка.

Если прохожий отваживался выйти за пределы четырех обветшалых стен Конного рынка, если он решался миновать Малую Банкирскую улицу, и, оставив вправо конопляник, обнесенный высокими стенами, потом луг, где высились кучи молотой дубовой коры, похожие на жилища гигантских бобров, затем огороженное место, заваленное строевым лесом, пнями, горами опилок и щепы, на верхушке которых лаяли сторожевые псы, затем длинную низкую полуразвалившуюся стену с грязной черной дверцей, покрытой мхом, сквозь который весной пробивались цветы, и далее, уже в самом глухом месте, отвратительное ветхое строение, на котором большими печатными буквами было выведено: ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫВЕШИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ, то этот отважный прохожий достигал конца улицы Винь-Сен-Марсель, мало кому известной. Там, недалеко от завода, между двумя садами, виднелась в ту пору лачуга; с первого взгляда она казалась маленькой хижинкой, на самом деле она была огромна, как собор. На проезжую дорогу она выходила боковой стороной – отсюда обманчивое представление о ее величине. Почти весь дом был укрыт от взоров. Видны были только дверь и окно.

Лачуга была двухэтажная.

Внимательный глаз прежде всего заметил бы такую странность: дверь годилась бы разве только для чулана, окно, будь оно пробито в тесаном камне, а не в песчанике, могло бы украшать какой-нибудь особняк.

Дверь представляла собой ряд полусгнивших досок, соединенных поперечными перекладинами, похожими на плохо обтесанные поленья. Она открывалась внутрь, на крутую лестницу с высокими, покрытыми грязью, пылью и осыпавшейся штукатуркой ступеньками такой же ширины, как дверь. С улицы видно было, как эта лестница, совершенно прямо, словно приставная, уходила между двух стен в темноту. Верхняя часть грубого проема пряталась за узкой доской с выпиленным в середине треугольным отверстием, служившим и слуховым оконцем, и форточкой, когда дверь была закрыта. На внутренней стороне двери размашистой кистью, обмакнутой в чернила, была изображена цифра 52, а над дверью – теми же чернилами – цифра 50; это ставило вас в тупик. Куда же вы попали? Закрытая дверь утверждала, что номер дома 50; она же, открытая, возражала: нет, это номер 52. На треугольной форточке вместо занавески висело грязное тряпье.

Окно было широкое и довольно высокое, с решетчатыми ставнями и большими стеклами. Однако на этих стеклах было множество самых разнообразных повреждений, которые были скрыты и одновременно подчеркнуты искусно наложенным пластырем из бумажных наклеек, а полуоторванные и расшатанные ставни служили не столько защитой для обитателей лачуги, сколько угрозой для прохожих. То там, то тут на этих жалюзи не хватало поперечных планок; их простодушно заменили прибитыми перпендикулярно досками; таким образом, то, чему надлежало быть жалюзи, превратилось в ставни.

Дверь, казавшаяся отвратительной, и окно, казавшееся благопристойным, несмотря на его обветшалость, выступая на фоне одного и того же дома, производили впечатление двух случайно встретившихся нищих, которые решили идти вместе и шагают бок о бок; их прикрывают одинаковые лохмотья, но по внешности они не похожи друг на друга: один напоминает профессионального попрошайку, другой – бывшего дворянина.

Лестница вела в главную, обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутренним каналом этого здания служил длинный коридор, по правую и левую сторону которого расположены были разных размеров клетушки, в случае крайней необходимости годные для жилья, но скорее похожие на кладовки, чем на комнаты. Окнами они выходили на заброшенные участки. Все это темное, унылое, тусклое, печальное и мрачное строение, в зависимости от того, в крыше или в дверях образовались щели, пронизывал бледный луч солнца или ледяной северный ветер. Своеобразной и живописной подробностью такого рода жилищ являются громадные пауки.

Налево от входной двери, со стороны бульвара, на высоте человеческого роста находилось замурованное слуховое оконце, образовавшее квадратное углубление, полное камешков, которые туда бросали проходившие мимо дети.

Часть здания была недавно разрушена. Другая, уцелевшая, позволяет судить о том, чем оно было когда-то. Всему зданию не более ста лет. Для собора сто лет – юность, для жилого дома – старость. Человеческому жилью как бы свойственна бренность человека, жилищу бога – его бессмертие.

Почтальоны называли эту лачугу номером 50—52, но в квартале она известна была как дом Горбо.

Поясним происхождение этого названия.

Любители мелких происшествий, собирающие для собственного удовольствия коллекции анекдотов и хранящие в своей памяти словно насаженные на булавки самые незначительные даты, знают, что в прошлом столетии, около 1770 года, в Шатле было два прокурора. Одного звали Корбо, другого Ренар⁴⁹ – два имени, предугаданные Лафонтеном. Этот факт был уж очень соблазнителен для судебных писцов, и они не преминули сделать его поводом для зубоскальства. По всем галереям Дворца правосудия разошлась написанная в стихах, хотя и довольно нескладных, пародия:

*На груду папок раз ворона взобралась,
Арестный лист она во рту зажала
Лиса, приятным запахом прельстясь,
Из лесу прибежала
И перед ней такую речь держала:
«Здорово, друг!...» и т. д.*

Почтенные законники, смущенные плоской шуткой и уязвленные хохотом, раздававшимся им вслед, решили отделаться от своих фамилий и обратились с ходатайством к королю.

⁴⁹ По-французски ворона – le corbeau (корбо), лисица – le renard (ренар).

Челобитье подано было Людовику XV как раз в тот момент, когда папский нунций справа, а кардинал Ларош-Эмон – слева, оба благоговейно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества туфли на босые ножки г-жи Дюбарри, встававшей со своего ложа. Король, который заливался смехом, глядя на двух епископов, стал теперь весело смеяться над двумя прокурорами и милостиво разрешил судейским крючкам переменить – вернее, слегка изменить их фамилии. Господину Корбо от имени короля разрешено было к заглавной букве его фамилии добавить хвостик и прозываться Горбо; господину Ренару посчастливилось меньше: он получил разрешение приставить к букве Р букву П и именоваться Пренар⁵⁰, так что новая фамилия подходила к нему не меньше, чем старая. Итак, согласно местному преданию, этот самый Горбо и был владельцем здания под э 50—52 на Госпитальном бульваре. Он же и был творцом огромного окна.

Вот почему лачуга называлась домом Горбо.

Напротив дома э 50—52, среди других деревьев бульвара, рос большой вяз, почти на три четверти засохший, прямо перед ним начиналась улица заставы Гобеленов, в ту пору не застроенная, немощеная, обсаженная чахлыми деревьями, то зелеными, то бурыми, в зависимости от времени года, и обрывающаяся у самой парижской окружной стены. Клубы дыма из труб соседней фабрики распространяли по всему кварталу запах купороса.

Застава была близко. Стена, опоясывавшая Париж, еще существовала в 1823 году.

Застава уже сама по себе вызывала в воображении мрачные образы. Здесь пролегалa дорога, ведущая в Бисетр. Через эту заставу во времена Империи и Реставрации, в день казни, входили в Париж приговоренные к смерти. Здесь произошло в 1829 году таинственное убийство, именуемое «убийством у заставы Фонтенебло», виновников которого не могло обнаружить правосудие, – темное дело, оставшееся неразъясненным, страшная загадка, оставшаяся неразгаданной. Сделайте несколько шагов, и вы окажетесь на роковой улице Крульбарб, где, как в мелодраме, под раскаты грома Ульбах поразил кинжалом пастушку из Иври. Еще несколько шагов, и вы подойдете к безобразным, с обрезанными верхушками, вязам заставы Сен-Жак, к детищу филантропов, пытающихся скрыть эшафот, к жалкой и позорной Гревской площади – площади лавочников и мещан, отшатнувшихся перед зрелищем смертной казни, но не дерзнувших мужественно отменить ее или открыто выступить в ее защиту.

Тридцать семь лет тому назад, если не считать площади Сен-Жак, которой словно было определено внушать ужас, самым мрачным уголком на этом мрачном бульваре была, вероятно, эта мало привлекательная и в наше время часть его, где стояла лачуга э 50—52. Только двадцать пять лет спустя здесь начали появляться дома горожан. Это было угрюмое место. Грустные мысли овладевали вами; вы чувствовали, что находитесь между большущей Сальпетриер, высокий купол которой можно было разглядеть оттуда, и Бисетром, близ ограды которого вы находились, то есть между безумием женщины и безумием мужчины. На всем доступном глазу расстоянии виднелись бойни, окружная стена и редкие фасады фабрик, похожих на казармы или монастыри. Всюду бараки, строительный мусор, старые стены, черные, словно траурный покров, новые стены, белые, словно саван; всюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в линию постройки, вереница длинных и холодных плоских фасадов и гнетущее уныние прямых углов. Ни признака складки, неровности почвы, никакой архитектурной прихоти. Все вместе – леденящее душу, однообразное, отвратительное зрелище. Ничто так не удручает, как симметрия. Симметрия – это скука, а скука – сущность печали. Отчаяние зевает. Если можно вообразить себе что-нибудь страшнее ада, где страдают, то это ад, где скучают. Если бы такой ад действительно существовал, то эта часть Госпитального бульвара могла бы служить аллеей, к нему ведущей.

⁵⁰ По-французски Пренар (prenard) означает, взяточник, лихоимец.

Однако с приближением ночи, в час, когда меркнет свет, особенно зимой, чье леденящее дыхание срывает с вязов последние бурые листья, когда мрак непроницаем и небо беззвездно или когда ветер пробьет луне в облаках оконце, бульвар становится страшным. Черные его линии уходят во мрак и пропадают в нем, словно отрезки бесконечности. Прохожий невольно вспоминает бесчисленные предания, связанные с виселицей. В уединенности квартала, где совершено было столько преступлений, таилось что-то жуткое. В темноте всюду чудились западни, смутные очертания теней внушали подозрение, длинные четырехугольные углубления меж деревьев напоминали могилы. Днем это было безобразно; вечером это было мрачно; ночью это было зловеще.

Летом в сумерках на старых замшелых скамьях у подножия вязов сидели старухи. Они назойливо просили милостыню.

Впрочем, этот квартал, на вид скорее старый, чем старинный, уже тогда стремился к преобразению. Кто хотел его видеть, тому надо было спешить. Ежедневно из общей картины исчезала какая-нибудь подробность. В настоящее время, как и все последние двадцать лет, вокзал Орлеанской железной дороги, расположенный рядом с этим старым предместьем, непрерывно его видоизменяет. Всюду, где на окраине столицы появляется железнодорожная станция, умирает предместье и рождается город. Кажется, что вокруг этих крупных центров движения от грохота мощных машин, от дыхания чудовищных коней цивилизации, пожирающих уголь и изрыгающих пламя, земля, полная новых ростков, дрожит и разверзается, готовая поглотить древние жилища человека и породить новые. Старые дома рушатся, новые дома воздвигаются.

С тех пор как станция Орлеанской железной дороги вторглась во владение Сальпетриер, старинные узкие улицы, граничащие со рвами Сен-Виктор и Ботаническим садом, дрогнули под стремительным потоком дилижансов, фиакров и omnibusов, который проносится по ним в определенное время три-четыре раза в день, оттеснив дома вправо и влево. Есть явления, на первый взгляд неправдоподобные, и тем не менее они вполне соответствуют действительности: как верно то, что в крупных городах солнце вызывает к жизни дома, обращенные фасадом на юг, так же несомненно и то, что непрерывное движение экипажей расширяет улицы. Признаки новой жизни очевидны. В этом старинном провинциальном квартале, в самых глухих закоулках, возникает мостовая, всюду расползаются и тянутся тротуары даже там, где еще нет прохожих. Однажды, в памятное июльское утро 1845 года, там вдруг задымились черные котлы с асфальтом; можно считать, что в этот день цивилизация добралась до улицы Лурсин и что Париж вступил в предместье Сен-Марсо.

Глава вторая. **Гнездо совы и славки**

Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо.

Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, крепко-накрепко запер ее за собой и поднялся по лестнице, неся на руках Козетту.

Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер другую дверь. Он тотчас же заперся, войдя в комнату, напоминавшую довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу топилась печь, в которой виднелись раскаленные уголья. Фонарь, горевший на бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был отгорожен чуланчик, где стояла складная кровать. Жан Вальжан так бережно опустил девочку на кровать, что она не проснулась.

Он высек огонь и зажег свечу, – все это было заранее приготовлено на столе; затем, как и накануне, он устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление,

граничившие почти с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, кто с ней, и продолжала спать, не ведая, где она.

Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ее ручку.

Девять месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки.

То же горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце.

Он опустил на колени перед кроватью Козетты.

Наступил день, а девочка все еще спала. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачное оконце и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Тяжело нагруженная телега каменщика, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу.

– Да, сударыня! – внезапно проснувшись, вскрикнула Козетта. – Сейчас! Сейчас!

Она спрыгнула с кровати и со слипавшимися еще от сна глазами протянула руки в угол комнаты.

– Боже мой! А где же метла? – воскликнула она.

Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана.

– Ах да! Я и забыла! – сказала она. – С добрым утром, сударь!

Дети быстро и легко осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей – радость и счастье.

В ногах Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она забрасывала вопросами Жана Вальжана. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардь? Не придет ли она за ней? и т. д. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!».

Это была отвратительная конура, но Козетта чувствовала себя в ней свободной.

– Надо мне ее подмести? – спросила она наконец.

– Играй, – ответил Жан Вальжан.

Так прошел день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива подле этой куклы и подле этого человека.

Глава третья.

Два несчастья при слиянии образуют счастье

На рассвете Жан Вальжан снова был у постели Козетты. Он стоял неподвижно и, глядя на нее, ждал ее пробуждения.

Что-то неизведанное проникало в его душу.

Жан Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет он был один на свете. Ему не довелось стать отцом, любовником, мужем, другом. На каторге это был злой, мрачный, целомудренный, невежественный и нелюдимый человек. Сердце старого каторжника было нетронуто. О сестре и ее детях он сохранил смутное, далекое воспоминание, которое в конце концов почти совершенно изгладилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы отыскать их, и, не сумев найти, забыл их. Таково свойство человеческой природы. Все прочие сердечные привязанности его юности, если только он когда-либо имел их, канули в бездну.

Когда он увидел Козетту, когда он взял ее с собою, увел, спас, он вдруг почувствовал, как дрогнула его душа. Все, что было в ней страстного и нежного, вдруг пробудилось и устремилось навстречу этому ребенку. Подходя к кровати, на которой она спала, он дрожал от радости; он был подобен молодой матери, чувствующей родовые схватки и не понимающей, что это такое, ибо смутно и отрадно великое, таинственное движение сердца, начинающего любить.

Бедное, старое, неискушенное сердце!

Но ему было пятьдесят пять лет, а Козетте – восемь, поэтому вся любовь, какую он мог бы испытать в жизни, устремившись к ребенку, обернулась каким-то неизъяснимым сиянием.

Это было второе светлое видение, представшее перед ним. Епископ зажег на его горизонте зарю добродетели; Козетта зажгла зарю любви.

Первые дни протекли в этом ослеплении любовью.

Сама того не замечая, изменилась и бедная крошка Козетта. Когда мать покинула ее, она была еще так мала, и она совсем ее не помнила. Как все дети, она, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за все, пыталась любить. Но это ей не удавалось. Все ее оттолкнули – и Тенардье, и их дети, и другие дети. Она любила собаку, но собака издохла; после этого никому и ничему не нужна была ее привязанность. Страшно сказать, но мы уже об этом упоминали: в восемь лет у нее было холодное сердце. Винить ее нельзя, она не утратила способности любить, но – увы! – она лишена была этой возможности. И потому с первого же дня все ее мысли и чувства превратились в любовь к этому старому человеку. Она испытывала неизвестное ей доселе ощущение блаженства.

Этот добрый человек уже не казался ей ни стариком, ни бедняком. Она находила Жана Вальжана прекрасным, так же как находила красивой эту конуру.

Таково действие зари, детства, юности, радости. Немалое значение имела здесь новизна места и образа жизни. Нет ничего краше розового отблеска счастья на чердаке. У каждого из нас в прошлом есть такой светлый уголок.

Природа воздвигла между Жаном Вальжаном и Козеттой огромную преграду: между ними лежало полвека. Но эту преграду смела жизнь. Судьба внезапно столкнула и с неодолимой силой обручила этих двух лишенных корней человек, столь разных по возрасту, но столь близких по переживаниям. Эти жизни дополняли одна другую. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт Жана Вальжана – ребенка. Встретиться – значило обрести друг друга. В таинственный миг, когда соприкоснулись их руки, они словно срослись. Увидевшись, эти души словно сознали, как они необходимы друг другу, и слились нерасторжимо.

Отделенные от всего мира кладбищенской стеной, Жан Вальжан и Козетта словно олицетворяли собой Вдовство и Сиротство, если понимать эти слова в их наиболее общем и доступном для всех значении. И Жан Вальжан как бы велением неба стал отцом Козетты. Таинственное ощущение, которое возникло у Козетты, когда Жан Вальжан взял ее за руку в темной чаще леса Шель, было порождено не иллюзией, а действительностью.

Вмешательство этого человека в судьбу ребенка было проявлением воли божьей.

Жан Вальжан удачно выбрал убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности.

Комната с чуланом, которую он занимал с Козеттой, выходила окном на бульвар. Это было единственное окно в доме, так что нечего было опасаться нескромного взгляда соседей, живших и напротив и рядом.

Нижний этаж дома э 50—52 представлял собою нечто вроде обветшавшего сарая с навесом, который служил складом для огородников и не имел никакого сообщения с верхним.

Отделенный от него дощатым потолком, в котором не было ни люка, ни лестницы, он являлся как бы глухой перегородкой между этажами лачуги. Как мы уже говорили, второй этаж состоял из множества комнатушек и нескольких чердаков, и лишь один из них был занят старухой, согласившейся вести хозяйство Жана Вальжана. Все остальные помещения пустовали.

Старуха именовалась «главной жилищей», а в сущности была привратницей; она-то в рождественский сочельник и сдала комнату Жану Вальжану. Выдав себя за разорившегося на испанских ценных бумагах рантье, он изъявил желание поселиться здесь с внучкой.

Уплатив за полгода вперед, он поручил старухе обставить комнату и чулан так, как мы уже видели. Это она с вечера протопила печь и все приготовила к их приходу.

Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливую жизнь.

С самого раннего утра Козетта смеялась, болтала, пела. У детей, как у птиц есть своя утренняя песенка.

Случалось, что Жан Вальжан брал ее маленькую красную, потрескавшуюся от холода ручку и целовал. Бедняжка, привыкшая только к побоям, не понимала, что это означает, и отходила смущенная.

Иногда, умолкнув, она с серьезным видом глядела на свое черное платье. Козетта не носила больше лохмотьев, она носила траур. Она уходила от нищеты и вступала в жизнь.

Жан Вальжан начал учить ее грамоте. Нередко, заставляя ее разбирать по складам, он вспоминал, что научился на каторге читать с целью творить зло. Теперь у него была иная цель: он учил читать ребенка. И старый каторжник улыбался задумчивой ангельской улыбкой.

В этом он чувствовал предначертание свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и он отдавался мечтам. У добрых мыслей, как и у дурных, есть свои бездонные глубины.

Учить грамоте Козетту и не мешать ей вволю играть – в этом и заключалась почти вся жизнь Жана Вальжана. Иногда он говорил ей о матери и заставлял молиться за нее.

Она звала его «отец», иного имени его она не знала.

Он мог часами смотреть, как она одевает и раздевает куклу, и слушать ее лепет. Отныне жизнь казалась ему исполненной смысла, люди представлялись добрыми и справедливыми, он никого больше мысленно не упрекал теперь, когда его полюбил ребенок; ему хотелось дожить до глубокой старости. Перед ним рисовалась будущность, освещенная Козеттой, словно сиянием. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. Иногда он с какою-то радостью думал о том, что она будет некрасива.

Пусть это только наше мнение, но если уж говорить все до конца, то мы полагаем, что когда Жан Вальжан полюбил Козетту, он нуждался в любви, чтобы укрепить в своем сердце стремление к добру. Он только что увидел людскую злобу и ничтожность общества в их новых проявлениях. Но то, что предстало пред ним, роковым образом ограничивало действительность, выявляя лишь одну ее сторону: женскую судьбу, воплощенную в Фантине, и общественное мнение, олицетворенное в Жавере. На этот раз Жан Вальжан отправлен был на каторгу за то, что поступил хорошо; его сердце вновь исполнилось горечи; отвращение и усталость вновь овладели им; даже воспоминание об епископе порой как бы начинало тускнеть, хотя позже оно возникало вновь, яркое и торжествующее; но в конце концов и это священное воспоминание поблекло. Кто знает, быть может, Жан Вальжан был на пороге отчаяния и полного падения? Но он полюбил и вновь стал сильным. Увы! В действительности он был несколько не крепче Козетты. Он оказал ей покровительство, а она вселила в него бодрость. Благодаря ему она могла пойти вперед по пути жизни; благодаря ей он мог идти дальше по стезе добродетели. Он был поддержкой ребенка, а ребенок был его точкой опоры. Неисповедима и священна тайна равновесия весов твоих, о судьба!

Глава четвертая. Наблюдения главной жилицы

Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-нибудь церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с нею.

Козетта оказалась очень веселой девочкой.

Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками.

Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую он

застал в первый день; только стеклянную дверь, ведущую в каморку Козетты, он заменил обыкновенной.

Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сердобольные старушки подавали ему су, Жан Вальжан принимал милостыню и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просившего подавание, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету и быстро удалялся. Это имело свою отрицательную сторону. В квартале его заметили и прозвали «нищим, подающим милостыню».

Старуха, «главная жилица», существо хитрое, съедаемое завистливым любопытством к ближнему, зорко следила за Жаном Вальжаном, а он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красоты у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та ничего не знала и ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, и это показалось любопытной кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, как старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель находящейся как раз против него двери незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо для большей предосторожности, повернулся к двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку у полы редингота и, вытащив оттуда желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха, к великому своему ужасу, разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в испуге.

Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же? – подумала старуха. – Ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в это время должна быть заперта». Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения.

История с тысячефранковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала толки среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель.

Несколько дней спустя Жан Вальжан, в одном жилете, пилил в коридоре дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась тщательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов зашиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, это были билеты по тысяче франков.

Кроме того, она обнаружила в карманах множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, – это она уже видела, – но объемистый бумажник, большой нож и – подозрительная подробность! – несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман редингота являлся вместилищем предметов «на случай», для всяких непредвиденных обстоятельств.

Так обитатели лачуги дожили до конца зимы.

Глава пятая.

Пятифранковая монета, падая на пол, звенит

Неподалеку от церкви Сен-Медар, на краю забитого колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из

полицейских. Это был старый, семидесятипятилетний псаломщик, все время бормотавший молитвы.

Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без Козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, который только что зажгли. Казалось, этот сгорбившийся человек, как всегда, бормочет молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему и протянул подавание. Вдруг нищий в упор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение было молниеносное, однако Жан Вальжан вздрогнул. Ему почудилось, что при свете уличного фонаря перед ним мелькнуло не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, а знакомый и грозный образ. У него были такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Сперва он оцепенел от ужаса, потом отпрянул, не смея ни дышать, ни говорить, ни стоять на месте, ни бежать, и глядел на нищего, а тот, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанную тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. Нищий был такого же роста, одет в такие же лохмотья, имел такой же облик, как обычно. «Полно! – подумал Жан Вальжан. – Я сошел с ума! Мне померещилось! Это невозможно!» Он вернулся домой, глубоко потрясенный.

Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицо Жавера.

Ночью, обдумывая происшедшее, он пожалел, что не заговорил с нищим, – это заставило бы его еще раз поднять голову.

На следующий день, в сумерки, он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте.

– Здравствуй, милый человек! – решительно обратился к нему Жан Вальжан, подавая су.

Нищий поднял голову и жалобно произнес:

– Спасибо, добрый господин. Без сомнения, это был старый псаломщик. Жан Вальжан успокоился. «Какой же это, черт возьми, Жавер? – подсмеиваясь над собой, думал он. – Уж не начинает ли у меня портиться зрение?» И он выкинул из головы эту мысль.

Спустя несколько дней, часов около восьми вечера. Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. Вдруг он услышал, как отворилась и затворилась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилища, кроме него, проживавшая в доме, всегда ложилась спать с наступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то подымается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые и шумные, как у мужчины, но старуха ходила в грубых башмаках; к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан Вальжан задул свечу.

Шепнув Козетте: «Ложись тихонько», он послал ее спать; пока он целовал ее в лоб, шаги стихли. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на стуле, спиной к двери, в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ни единого звука, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь, увидел в замочной скважине свет. Этот свет казался зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью и, держа свечу в руке, подслушивал.

Спустя несколько мгновений свет исчез. Но Жан Вальжан не услышал шагов; по всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял обувь.

Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на кровать; всю ночь он не смыкал глаз.

На рассвете, когда его сморил сон, он проснулся от скрипа открывавшейся двери в одной из пустовавших комнат в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, прильнув к замочной скважине, попытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его двери. Действительно, это оказался мужчина, – на сей раз он прошел

мимо комнаты Жана Вальжана не останавливаясь. В коридоре было еще так темно, что различить его лицо не представлялось возможным, но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном рединготе, с дубинкой под мышкой. То была страшная фигура Жавера!

Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз в окно, выходившее на бульвар. Но для этого надо было открыть окно – на это он не осмелился.

Несомненно, этот человек вошел со своим ключом, как к себе домой. Но кто дал ему ключ? Что бы это значило?

В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее пронизательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя, как всегда.

Подметая комнату, она сказала:

– Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил?

В те времена в этом квартале восемь часов вечера считалось уже глубокой ночью.

– Да, слышал. Кто это был? – спросил он самым естественным тоном.

– Это новый жилец, который поселился в доме.

– А как его зовут?..

– Не знаю. Не то Дюмон, не то Домон. Что-то вроде этого, – ответила старуха.

– А кто же он, этот господин Дюмон?

Старуха взглянула на него своими острыми глазками и ответила:

– Такой же рантье, как и вы.

Может, у нее никакой задней мысли и не было, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста.

Когда старуха ушла, он сложил столбиком сотню франков, хранившихся у него в шкафу, и, завернув в бумагу, положил в карман. Как ни осторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканья денег, одна монета все же выскользнула у него из рук и со звоном покатилась по полу.

В сумерках, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар. Нигде не было ни души.

Бульвар казался пустынным. Правда, там можно было спрятаться за деревьями.

Он снова поднялся к себе.

– Идем, – сказал он Козетте и, взяв ее за руку, вышел из дома.

Книга пятая Ночная охота с немой сворой

Глава первая. Стратегические ходы

К этим страницам, а также и к другим, с которыми читатель познакомится в дальнейшем, необходимо дать пояснение.

Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры, как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу; Париж – его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне отошел в прошлое. Но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он еще существовал. Быть может, там, куда автор поведет читателей и где он скажет: «На такой-то улице стоял такой-то дом», нет теперь ни улицы, ни

дома. Читатели проверят, если захотят взять на себя труд это сделать. Ему же современный Париж неведом, и он пишет, видя перед собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзией. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя, стены чужды, деревья – случайность на твоём пути, дома, в которые неходишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь, – обыкновенный булыжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе недостает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти ты горячо любишь, что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу своей души, своей крови, своего сердца ты оставил на этих мостовых. Все эти места, которых ты не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть и беспрестанно возникают перед тобой, словно печальные видения. Они как бы становятся для нас землей обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно воскрешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери.

Да будет же нам дозволено говорить о минувшем, как о настоящем. Предупредив читателя, мы продолжаем.

Жан Вальжан мгновенно ушел с бульвара и углубился в лабиринт улиц, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь, чтобы удостовериться, что за ним не следят. Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечаток его копыт, такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и свору гончих. У охотников этот прием называется «ложным уходом в логово».

Стояло полнолуние. Это было на руку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в голову, что теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем пустынным улочкам, близким к улице Поливо, за ним никто не идет.

Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сделали ее натуру пассивной. Кроме того, – к этой ее особенности нам придется еще возвращаться, – она привыкла, не очень в них разбираясь, к странностям старика и к прихотям судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности.

Жан Вальжан знал не более Козетты, куда они идут. Он уповал на бога, как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он; он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Вот почему у него не было никакой определенной мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера: это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер, не знавший, что он – Жан Вальжан. Ведь он был переодет. Ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно: он решил не возвращаться в лачугу Горбо. Словно поднятый зверь, он искал нору, где мог бы схорониться, пока не найдет надежного жилья.

Жан Вальжан покружил по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, как будто еще оставались в силе строгие порядки средневековья и давался сигнал о тушении огня. Разными способами, согласно требованиям высокой стратегии, он пробрался с Податной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пюи л'Эрмит. На этих улицах были ночлежки, но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и напали на его след, то сейчас уже утеряли.

Когда на башне Сент-Этьен-дю-Мон пробило одиннадцать, он перешел улицу Понтуаэ против полицейского участка, помещавшегося в доме э 14. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин: они один за другим прошли по теневой стороне улицы мимо фонаря полицейского участка – их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому э 14. Шедший во главе показался Жану Вальжану безусловно подозрительным.

– Идем, детка, – сказал он Козетте и поспешил уйти с улицы Понтуаэ.

Он сделал круг, обогнул запертый по случаю позднего времени Патриарший проезд, миновал улицу Деревянного меча, Самострельную и пошел по Почтовой улице.

Там есть перекресток, где в настоящее время находится коллеж Ролен и откуда ответвляется Новая Сент-Женевьевская улица.

(Само собою разумеется, Новая Сент-Женевьевская улица – улица старая, а по Почтовой улице почтовая карета проезжает раз в десять лет. В XIII столетии Почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название – Горшечная.)

Луна ярко освещала перекресток. Жан Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света.

И действительно, не прошло и трех минут, как они появились снова. Теперь их было уже четверо: все – высокого роста, в долгополых темных рединготах, круглых шляпах, с толстыми дубинами в руках. Их злое шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огромный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан.

Они собрались на середине перекрестка словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто казался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал направление, в котором скрылся Жан Вальжан, другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Сомнений не оставалось: Жан Вальжан узнал Жавера.

Глава вторая.

К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки

Неизвестность для Жана Вальжана кончилась; по счастливой случайности, для этих людей она еще длилась. Он воспользовался их нерешительностью: для них это было потерянное время, для него – выигранное. Выйдя из-за ворот, он пошел по Почтовой улице, в сторону Ботанического сада. Козетта начала уставать, он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего; уличные фонари не были зажжены, так как светила луна.

Он ускорил шаг.

Быстро дошел он до горшечной фабрики Гобле, на фасаде которой была отчетливо видна освещенная луной старинная надпись:

*Здесь фабрика Гобле я сына.
Прохожий покупать спеши!
Горшки, тазы, котлы, кувшины —
Все предлагаем от души.*

Оставив позади себя Ключевую улицу и фонтан Сен-Виктор, он направился вдоль Ботанического сада по сбегаящим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна. Улицы были пустынные. Никто за ним не шел. Он облегченно вздохнул.

Он дошел до Аустерлицкого моста. В ту пору еще взимали мостовую пошлину. Жан Вальжан подошел к будке сборщиков и протянул су.

– С вас полагается два су, – сказал старый инвалид. – Вы несете ребенка, хотя он сам может ходить. Платите за двоих.

Жан Вальжан уплатил, досадуя, что его переход через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж.

Одновременно с ним по мосту проезжала большая повозка, направлявшаяся также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрываясь в ее тени.

На середине моста у Козетты затекли ноги; ей захотелось пойти самой. Он спустил ее на землю и повел за руку.

Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, надо было пересечь довольно обширное открытое и освещенное пространство. Жан Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Правда, его искали, но погони за ним не было.

Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась Зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем вступить на нее, он оглянулся.

С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину.

Четыре темные тени только что появились на мосту.

Тени эти направлялись от Ботанического сада на правый берег.

Эти четыре тени были его четыре преследователя.

Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь.

В нем брезжила надежда, что эти люди, быть может, еще не успели взойти на мост в то время, когда он, держа Козетту за руку, пересекал освещенное пространство, и не заметили его.

В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежавшую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены.

Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.

Глава третья.

Смотри план Парижа 1727 года

Пройдя шагов триста, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы V. Которую же избрать?

Не колеблясь, он выбрал правую.

Почему?

Потому, что левое ответвление вело в предместье, то есть в заселенную местность, а правое – в поля, то есть в безлюдье.

Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана.

Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика.

Время от времени он оглядывался. Он старался держаться теневой стороны тянувшейся перед ним прямой улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел, кругом царил глубокая тишина, и он, несколько успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте, неясное движение.

Жан Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, скользнув в нее, еще раз сбить загонщиков со следа.

Он добежал до какой-то стены.

Стена нисколько не мешала двигаться дальше; она тянулась вдоль переулка, пересекавшего улицу, по которой шел Жан Вальжан.

Снова надо было решать, куда идти: направо или налево.

Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену.

Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток которой она собой представляла. Вот где было спасение!

В ту минуту, когда Жан Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи.

Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь, и кого-то подстерегавший.

Жан Вальжан отпрянул.

Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, расположенная между предместьем Сент-Антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других – преобразили. Вспаханные поля, дровяные вклады и старые дома исчезли. Теперь там появились новые широкие улицы, площади, цирки, ипподромы, вокзалы, тюрьма Мазас: словом, прогресс и его исправительное средство.

Полвека тому назад на народном языке, который весь основан на преданиях и именуется Институт «Четырьмя нациями», а Комическую оперу – «Фейдо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». Ворота Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское древо, Малая Польша. Малый Пикпюс – все эти старинные названия уцелели до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа.

Малый Пикпюс, который, кстати сказать, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощеные, улицы почти не застроены. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри. Нигде ни лавчонки, ни экипажа; изредка в окнах кое-где мерцали огоньки свеч; после десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где – низенькие домишки и длинные, высотой с дом, ограды.

Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во время Революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал был окончательно погребен под выросшими на нем новыми зданиями. В настоящее время он не существует.

Малый Пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тъери на улице Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена на Торговой улице, в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упоминали, по форме был похож на букву V, образуемую разветвлением Зеленой дороги, левая ветвь которой носила название Пикпюс, а правая – Полонсо. Обе ветви этой буквы V на концах были соединены как бы перекладиной.

Перекладина эта называлась Прямой стеной. Здесь кончалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны Сены и доходил до конца улицы Полонсо, слева оказывалась Прямая стена, сворачивавшая под прямым углом, впереди – стена этой улицы, а направо – продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, именовавшийся тупиком Жанро.

Здесь-то и остановился Жан Вальжан.

Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост на углу Прямой стены и Пикпюс, Жан Вальжан отступил. Сомнений не было. Призрак подстерегал его.

Что делать?

Возвращаться обратно было уже поздно. То, что он сейчас заметил и что двигалось в темноте на некотором расстоянии от него, – это были, конечно, Жавер и его небольшой отряд. По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Видимо, Жавер хорошо знал этот маленький лабиринт и принял меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, вполне соответствовавшие действительности, закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим вихрем. Он посмотрел на тупик Жанро: там преграда. Он взглянул на Пикпюс. там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлой, залитой лунным сиянием мостовой. Идти вперед – наткнуться на этого человека. Идти назад – попасть в лапы Жавера. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. В отчаянии взглянул он на небо.

Глава четвертая. В поисках спасения

Чтобы понять дальнейшее, надо точно представить себе Прямую стену и, в частности, тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оставался влево. Почти весь этот переулок с правой стороны, до улочки Пикпюс, был застроен убогими домишками; с левой тянулся ряд особняков строгой архитектуры; по мере приближения к улочке Пикпюс они повышались на один – на два этажа. Таким образом, будучи высоким со стороны улочки Пикпюс, этот ряд особняков был значительно ниже со стороны улицы Полонсо. На том углу, о котором мы упоминали, он становился совсем низким и переходил в стену. Но стена не обрывалась на улице; окружая срезанный конец квартала, в этом месте она была скрыта своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой – на Прямой стене.

От этих двух углов стена по улице Полонсо доходила до дома э 49, а по Прямой стене, где отрезок ее был значительно короче, – до мрачного здания, о котором мы уже упоминали и боковой фасад которого она срезала, образуя новый вдававшийся вглубь угол. Эта боковая сторона производила мрачное впечатление; в ней было только одно окно или, точнее, две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые.

Облик местности, восстанавливаемый здесь нами с величайшей точностью, несомненно пробудит самое живое о ней воспоминание у старожилов этого квартала.

На срезанном углу стояло нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных вкривь и вкось, причем верхние были шире нижних, и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота, обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад.

За срезанной стеной виднелась липа, со стороны улицы Полонсо стену обвивал плющ.

Жана Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, этот ряд домов привлек к себе своей мрачностью и уединенностью. Он окинул его быстрым взглядом. У него мелькнула мысль, что если ему удастся проникнуть внутрь, то, пожалуй, он будет спасен. Вначале это были только предположение и надежда.

В средней части фасада, выходившего на Прямую стену, возле всех окон на всех этажах имелись в конце желобков старые свинцовые воронки. Разнообразные разветвления водосточных труб, которые тянулись от верхнего желоба ко всем этим воронкам, образовали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Множеством своих изгибов они напоминали высохшие, лишенные листьев виноградные лозы, выющиеся по фасадам старинных ферм.

Это своеобразное дерево с жестяными и железными сучьями прежде всего бросилось в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту, где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом? Но труба была расшатана, попорчена и еле держалась. Кроме того, все окна безмолвного этого жилья, даже слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по стене Жана Вальжана. А как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания?

Он отказался от намерения взобраться по водосточной трубе и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо.

Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не может заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот. Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липа и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может по крайней мере спрятаться и провести остаток ночи.

Время шло. Медлить было опасно.

Он ощупал ворота и обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри.

С большей надеждой на успех он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала их еще менее крепкими; доски сгнили; железные полосы – их было всего три – заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду.

Осмотрев их повнимательней, он обнаружил, что это были не ворота. На них не было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посередине. Их пересекали соединенные одна с другой железные полосы. Сквозь щели досок он разглядел кое-как скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад.

Потрясенный, он вынужден был признать, что это подобие двери – не что иное, как деревянная обшивка какого-то строения. Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы лицом к лицу со стеной.

Глава пятая.

Что было бы немыслимо при газовом освещении

В этот миг до него донесся отдаленный глухой и мерный шум. Жан Вальжан осторожно выглянул из-за угла. Взвод солдат, состоявший человек из восьми, выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надвигалось на него.

Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все дверные проемы и проходные аллеи.

По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь.

Среди солдат были также два помощника Жавера.

Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То было ужасное мгновение! Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти, которая в третий раз разверзалась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату Козетты, – иначе говоря, жизнь в могиле.

У него оставалась одна возможность.

Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две сумы: в одной из них заключались мысли святого, в другой – опасные таланты каторжника. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам. Вследствие своих многократных побегов с тулонской каторги, он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером потрясающего искусства взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями в сходящиеся под прямым углом отвесные стены, в случае нужды – даже до высоты шестого этажа, пользуясь малейшими выступами и выбоинами в камнях. Это было то искусство, что стяжало страшную и громкую славу уголку двора Консьержери в Париже, откуда двадцать лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни Батмоль.

Жан Вальжан измерил глазами стену, над которой виднелась липа. Высота стены равнялась приблизительно восемнадцати футам. Угол, образуемый этой стеной и боковой стороной большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника – вероятно, с целью уберечь этот уголок, весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих, которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже.

Высота каменной кладки равнялась примерно пяти футам; от верхушки до гребня стены надо было преодолеть расстояние не более чем в четырнадцать футов.

Стена заканчивалась гладким камнем, без карниза.

Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не может взобраться на стену. Бросить ее? Но это и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе невозможно. Чтобы успешно совершить это необычайное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение.

Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь, на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот миг королевством, он не задумываясь отдал бы его за веревку.

Крайним обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет.

Полный отчаяния взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро.

В ту пору газовых рожков на улицах Парижа не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии один от другого. Их поднимали и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закреплявшейся в выемке прибитой к столбу перекладины. Катушка, на которую наматывалась веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Веревка помещалась в металлическом футляре.

Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком, Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок шкафчика и мгновение спустя вернулся к Козетте. В руках у него была веревка. В борьбе с судьбой руки, эти мрачные изобретатели отчаянных средств, действуют стремительно.

Мы уже говорили, что в эту ночь уличных фонарей не зажигали. Фонарь в тупике Жанро тоже не горел; можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висит ниже, чем всегда.

Между тем поздний час, безлюдье, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновения и возвращения, его странное поведение – все это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте давно бы уже громко плакал. Она ограничилась тем, что дернула Жана Вальжана за полу редингота. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее.

– Отец! Мне страшно! – тихо сказала она. – Кто это там идет?

– Тише! – ответил несчастный. – Это тетка Тенардье.

Козетта задрожала.

– Молчи. Не мешай мне. Если ты будешь кричать, если будешь плакать, помни: Тенардые за тобой следит, она придет и заберет тебя.

Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями – это было тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, – он снял свой шейный платок, обернул его вокруг тела Козетты под мышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боли, привязал к платку морским узлом один конец веревки, взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковой стороной дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой – перила. Не более как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены.

Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Тенардые повергли ее в оцепенение.

Вдруг она услышала тихий голос Жана Вальжана:

– Прислонись к стене!

Она повиновалась.

– Не говори ни слова и не бойся, – сказал Жан Вальжан.

И тут она почувствовала, что ее поднимают.

Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене.

Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к себе на спину, взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался по верху стены до ее срезанного угла. Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу.

Это оказалось счастливым обстоятельством, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан видел землю глубоко внизу под собой.

Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, только хотел он соскользнуть с гребня стены, как сильный шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовой голос Жавера:

– Обыщите тупик! За Прямой стеной следят, за Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике!

Солдаты ринулись к тупику Жанро.

Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной или присутствие духа, но только Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.

Глава шестая.

Начало загадки

Жан Вальжан очутился в каком-то большом и странном саду, – в одном из тех унылых садов, которые кажутся созданными для того, чтобы глядеть на них только зимой и только ночью.

Сад был продолговатой формы, в глубине его находилась тополевая аллея, по углам высились купы старых деревьев, а посередине, на открытой полянке, можно было различить огромное одиноко стоявшее дерево, несколько кривых, взъерошенных плодовых деревьев, похожих на высокий кустарник, грядки овощей, парник для дынь с блестящими в лунном свете стеклянными колпаками и заброшенный сточный колодец. Каменные скамьи казались черными от покрывавшего их мха. Низкие темные прямые кусты окаймляли дорожки. Часть дорожек заросла травой, другие покрылись зеленой плесенью.

Рядом с Жаном Вальжаном было строение, крыша которого послужила ему спуском, куча хворосту, а за нею, возле самой стены, каменная статуя, – ее изувеченное лицо казалось смутно белевшей во мраке бесформенной маской.

Строение представляло собой развалины, где можно было различить разрушенные комнаты, одна из которых, загроможденная всяким хламом, служила, видимо, сараем. Большое здание, выходявшее на Прямую стену и в Пикпюс, двумя своими внутренними стенами, сходявшимися под прямым углом, обращено было в сад. Внутренние стены выглядели еще мрачнее, чем фасад. Окна были зарешечены, нигде ни огонька. В верхних этажах над окнами выступали навесы, как в тюрьмах. Одно крыло здания отбрасывало на другое тень, расстилавшую по саду длинное черное покрывало.

Других домов не было видно. Глубь сада уходила в туман и мрак. Можно было лишь смутно различить скрещивавшиеся стены, как будто за ними находились другие участки обработанной земли, и низкие крыши домов на улице Полонсо.

Трудно было вообразить себе что-нибудь более дикое и пустынное, чем этот сад. В нем не было ни души, что естественно для такого позднего времени, но, видимо, это место даже и днем не предназначалось для прогулок.

Первой заботой Жана Вальжана было отыскать свои башмаки и надеть их, а затем войти с Козеттой в сарай. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт. Девочка, все еще продолжавшая думать о тетке Тенардье, разделяла его желание спрятаться как можно лучше. Козетта дрожала и прижималась к Жану Вальжану. Слышен был шум, который производил патруль, обшаривавший тупик и улицу, стук прикладов о камни мостовой, оклики Жавера, обращенные к полицейским, занявшим посты, его проклятия вперемешку со словами, разобрать которые было трудно.

Через четверть часа похожий на громовые раскаты грохот стал понемногу стихать. Жан Вальжан затаил дыхание.

Осторожным движением руки он закрыл Козетте рот.

Впрочем, уединенное место, где они находились, дышало таким необычайным спокойствием, что даже этот ужасающий шум, такой неистовый и близкий, не мог нарушить его. Казалось, стены здесь сложены из тех глухих камней, о которых говорит Священное писание.

Внезапно среди глубокой тишины возникли иные звуки. Звуки дивные, божественные, невыразимые, настолько же сладостные, насколько прежние были ужасны. Это был гимн, лившийся из мрака, ослепительный свет молитвы и гармонии – в черном, устрашающем безмолвии ночи пели женские голоса, звучавшие девственной чистотой и детской наивностью, – те неземные голоса, которые еще слышит новорожденный и уже различает умирающий. Пение доносилось из мрачного здания, возвышавшегося над деревьями сада. По мере того как удалялся оглушительный шум скопища демонов, хор ангелов, казалось, приближался в темноте.

Козетта и Жан Вальжан упали на колени.

Они не понимали, что происходит, не знали, где они, но оба, мужчина и ребенок, кающийся и невинная, чувствовали, что надо склониться ниц.

В этих голосах было что-то странное: невзирая на них, здание продолжало казаться безлюдным. Словно то было нездешнее пение в необитаемом жилище.

Пока голоса пели, Жан Вальжан ни о чем не думал. Он видел уже не темную ночь он видел голубой небосвод. Ему казалось, что душа его расправляет крылья – те крылья, которые чувствует в себе каждый из нас.

Пение смолкло. Быть может, оно длилось долго. Этого Жан Вальжан сказать бы не мог. Часы экстаза пролетают как одно мгновение.

Вновь воцарилась тишина. Ни звука на улице, ни звука в саду. То, что угрожало, то, что ободряло, – все исчезло. Только с гребня стены доносился тихий, унылый шелест сухих травинков, колеблемых ветром.

Глава седьмая.

Родолжение загадки

Дул прохладный ночной ветер – значит, было около двух часов ночи. Бедняжка Козетта молчала. Она сидела возле Жана Вальжана, положив головку к нему на плечо, и он решил, что она уснула. Он наклонился и взглянул на нее. Глаза Козетты были широко раскрыты, их сосредоточенное выражение встревожило Жана Вальжана.

Она вся дрожала.

– Тебе хочется спать? – спросил он.

– Мне очень холодно, – ответила девочка.

Спустя мгновение она спросила:

– А она все еще здесь?

– Кто? – спросил Жан Вальжан.

– Госпожа Тенардь.

Жан Вальжан уже забыл о средстве, к которому прибегнул, чтобы заставить Козетту молчать.

– А, вот оно что! Она уже давно ушла, – ответил он. – Не бойся!

Девочка облегченно вздохнула, словно с души ее спала тяжесть.

Земля была влажная, сарай открыт со всех сторон, ветер с каждой минутой свежел. Старик снял редингот и укутал Козетту.

– Теперь тебе теплее? – спросил он.

– О да, отец!

– Хорошо. Подожди меня. Я сейчас вернусь.

Выйдя из сарая, он пошел вдоль большого здания, отыскивая лучшее пристанище. Ему попадались двери, но они были заперты. На всех окнах первого этажа были решетки.

Миновав внутренний угол здания, он подошел к окнам с полукруглым верхним стеклом, в которых виднелся слабый свет. Он встал на цыпочки и заглянул в одно из окон. То были окна довольно обширной, вымощенной широкими плитами и разделенной арками и колоннами залы, где ничего нельзя было различить, кроме тусклого огонька и длинных теней. Свет сочился из ночника, горевшего в углу. Зала была пуста, все там было неподвижно. Однако, всмотревшись, Жан Вальжан заметил на полу что-то словно покрытое саваном, походившее на фигуру человека. Это существо лежало ничком, прижавшись лицом к каменным плитам, крестообразно раскинув руки, не шевелясь, как бы в смертном покое. Возле него на полу тянулось что-то похожее на змею; можно было подумать, что шею этой жуткой фигуры обвивает веревка.

Зала тонула в густом тумане, как это бывает в больших, едва освещенных помещениях, и это придавало всему еще более зловещий вид.

Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он бывал свидетелем множества мрачных зрелищ, однако ничего более ужасного и леденящего душу, чем эта неожиданно возникшая перед ним загадочная фигура, выполнявшая какой-то таинственный ночной обряд в непонятном месте, он не видал. Страшно было подумать, что это мертвец, но еще страшнее вообразить себе, что это живой человек.

У Жана Вальжана хватило присутствия духа, прильнув к оконному стеклу, поглядеть, не шевельнется ли это существо. Напрасно ожидал он некоторое время, показавшееся ему очень долгим: распростертая на полу фигура хранила неподвижность. Внезапно его охватил невыразимый ужас, и он пустился бежать. Он мчался по направлению к сараю, не смея оглянуться. Ему казалось, что если он обернется, то увидит, как за ним, размахивая руками, гонится это существо.

Задыхаясь, он добежал до развалин. Колени у него подгибались; он обливался потом.

Где он находился? Кто мог бы вообразить, что нечто подобное этой усыпальнице существует в самом центре Парижа? Что это за странный дом? Что это за здание, полное ночных тайн, –

здание, которое ангельскими голосами созывает души во мраке, а когда те приходят на зов, вдруг показывает им это страшное видение? Оно обещало открыть им сияющие врата рая, а открывало отвратительные двери склепа! Тем не менее это было настоящее здание, настоящий дом, имевший свой номер. Это был не сон. Чтобы поверить в это, Жан Вальжан должен был прикоснуться руками к камням развалин.

Холод, волнение, тревога, то, что он пережил в этот вечер, – все это вызвало у него лихорадку, мысли его путались.

Он подошел к Козетте. Она спала.

Глава восьмая. Загадка усложняется

Девочка уснула, положив голову на камень.

Жан Вальжан сел рядом. Глядя на девочку, он постепенно успокаивался и обретал присутствие духа.

Он ясно сознавал истину, которая отныне легла в основу его жизни – до тех пор пока Козетта с ним, если что и будет ему нужно, то не для себя, а для нее; если он и будет бояться, то не за себя, а за нее. Он не чувствовал холода, хотя прикрыл рединготом ее.

Внезапно его слух поразил какой-то странный шум.

Будто где-то звенел колокольчик. Звук доносился из сада; хотя и негромкий, он слышался явственно. Он напоминал бессвязную ночную песенку бубенчиков, которые подвешивают скоту на пастбищах.

Звук заставил Жана Вальжана обернуться.

Вглядевшись в темноту, он заметил, что в саду кто-то есть.

Существо, похожее на человека, двигалось между стеклянными колпаками грядок, где росли дыни, и то наклонялось, то вставало, то останавливалось, делая равномерные движения, словно тащило что-то или расстилало по земле. Казалось, что существо хромает.

Жан Вальжан вздрогнул; его охватил привычный для всех гонимых трепет страха. Им все враждебно, все внушает подозрение. Дневного света они боятся потому, что он может их выдать, ночной темноты – потому, что она помогает застичь их врасплох. Только что его пугала пустынность сада, сейчас – то, что в саду кто-то есть.

От ужасов призрачных Жан Вальжан перешел к ужасам реальным. Он говорил себе: «Может быть, Жавер и полицейские не ушли отсюда; наверное, они оставили на улице засаду; если человек в саду обнаружит мое присутствие, то закричит и выдаст меня». Тихонько поднял он на руки уснувшую Козетту и отнес ее в самый дальний угол сарая, положив за грудой старой, отслужившей свой век мебели. Козетта не шевельнулась.

Он начал наблюдать оттуда за поведением человека, ходившего среди гряд. Странно было то, что бубенчик звенел при каждом его движении. Когда человек приближался, то приближался и звон; когда он удалялся, то удалялся и звон; когда он делал какое-нибудь резкое движение, раздавалось тремоло бубенчика; когда он останавливался, звук затихал. По-видимому, бубенчик был привязан к человеку; но что бы это означало? Кем мог быть человек, которому подвесили колокольчик, словно быку или барану?

Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан Вальжан дотронулся до рук Козетты. Они были холодны как лед.

– Боже! – пробормотал он и тихонько окликнул ее: – Козетта!

Она не открыла глаз.

Он тряхнул ее.

Она не проснулась.

«Неужели она умерла?» – подумал он и встал, дрожа всем телом.

Самые мрачные мысли закружились у него в голове. Бывают минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, точно сонмы фурий, и силой проникают во все клеточки нашего мозга. Если вопрос касается тех, кого мы любим, то чувство тревоги за них рисует нам всякие ужасы. Жан Вальжан припомнил, что сон на открытом воздухе холодной ночью может быть смертельно опасным.

Козетта, бледная, неподвижная, лежала на земле у его ног.

Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но так слабо, что ему показалось, будто дыхание ее вот-вот прервется.

Как согреть ее? Как разбудить? Только об этом он и думал. Как сумасшедший, выбежал он из сарая.

Во что бы то ни стало, не позднее чем через пятнадцать минут, Козетта должна быть у огня и в постели.

Глава девятая. Человек с бубенчиком

Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами.

Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него.

– Сто франков! – крикнул он, обратившись к нему.

Человек подскочил и уставился на него.

– Вы получите сто франков, только приютите меня на ночь!

Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.

– Как! Это вы, дядюшка Мадлен? – воскликнул человек.

Это имя, произнесенное в ночной час, в незнакомой местности, незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться.

Он был готов ко всему, только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромо́й старик, одетый по-крестьянски. На левой ноге у него был кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Лицо его находилось в тени, и разглядеть его было невозможно.

Старик снял шапку.

– Ах, боже мой! – воскликнул он, трепеща от волнения. – Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен? Господи Иисусе, как вы сюда вошли? Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом не было бы; откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука. Если не знать, кто вы, можно испугаться. Без сюртука! Царь небесный! Неужто и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы сюда вошли?

Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревенской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось тоном, выражавшим изумление и детское простодушие.

– Кто вы и что это за дом? – спросил Жан Вальжан.

– Черт возьми! Вот так история! – воскликнул старик. – Да ведь я же тот самый, кого вы сюда определили, а этот дом – тот самый, куда вы меня определили. Вы разве меня не узнаете?

– Нет, – ответил Жан Вальжан, – Но вы-то откуда меня знаете?

– Вы спасли мне жизнь, – ответил старик.

Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.

– Ах, это вы! Теперь я вас узнал.

– Слава богу! Наконец-то! – с упреком в голосе проговорил старик.

– А что вы здесь делаете? – спросил Жан Вальжан.

– Как что делаю? Прикрываю дыни.

Действительно: в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, которой намеревался прикрыть грядку с дынями. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые видел Жан Вальжан, сидя в сарае.

Старик продолжал:

– Я сказал себе: «Луна светит ярко, значит, ударят заморозки. Наряжу-ка я мои дыни в теплое платье!» Да и вам, – добавил он, глядя на Жана Вальжана с добродушной улыбкой, – право, не мешало бы одеться. Но как же вы здесь очутились?

Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменились. Спрашивал теперь он, непрощенный гость.

– А что это у вас за звонок висит?

– Этот? А для того, чтобы от меня убегали, – ответил Фошлеван.

– То есть как, чтобы от вас убегали?

Старик Фошлеван подмигнул с загадочным видом.

– А вот так! В этом доме живут только женщины; много молодых девушек. Они вообразили, что встретиться со мной опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят.

– А что это за дом?

– Вот тебе на! Вы хорошо знаете.

– Нет, не знаю.

– Но ведь это вы определили меня сюда садовником.

– Отвечайте мне так, будто я ничего не знаю.

– Ну, хорошо! Это монастырь Малый Пикпюс.

Жан Вальжан начал припоминать. Случай, вернее, провидение забросило его в монастырь квартала Сент-Антуан, куда два года тому назад старик Фошлеван, изувеченный придавившей его телегой, был по его рекомендации принят садовником.

– Монастырь Малый Пикпюс! – повторил он про себя.

– Ну, а все-таки как же это вам, черт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен? – снова спросил Фошлеван. – Хоть вы и святой, а все-таки мужчина, а мужчин сюда не пускают.

– Но вы-то живете здесь?

– Только я один и живу.

– И все-таки мне необходимо здесь остаться, – сказал Жан Вальжан.

– О господи! – воскликнул Фошлеван.

Жан Вальжан подошел к старику и многозначительно сказал ему:

– Дядюшка Фошлеван! Я спас вам жизнь.

– Я первый вспомнил об этом, – заметил старик.

– Так вот. Вы можете сегодня сделать для меня то, что когда-то я сделал для вас.

Фошлеван схватил своими старыми, морщинистыми, дрожащими реками могучие руки Жана Вальжана и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил.

– О, это было бы милостью божьей, если бы я хоть чем-нибудь мог отплатить вам! Мне спасти вам жизнь! Располагайте мною, господин мэр!

Радостное изумление словно преобразило старика, он просиял.

– Что я должен сделать? – спросил он.

– Я вам объясню. У вас есть комната?

– Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты.

Действительно, домишко был так хорошо скрыт за развалинами и так недоступен для взгляда, что Жан Вальжан не заметил его.

– Хорошо, – сказал он. – Теперь исполните две мои просьбы.

– Какие, господин мэр?

– Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете.

– Как вам угодно. Я уверен, что вы не можете сделать ничего дурного, вы всегда были божьим человеком. К тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это дело ваше. Я весь ваш.

– Решено! Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком.

– А-а! Тут, оказывается, еще и ребенок? – пробормотал Фошлеван.

Он молча последовал за Жаном Вальжаном, как собака за хозяином.

Через полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника.

Жан Вальжан надел свой шейный платок и редингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком; повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситник, поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено, старик сказал:

– Ах, дядюшка Мадлен, вы сразу не узнали меня! Вы спасаете людям жизнь и забываете о них! Это нехорошо. А они о вас помнят. Вы – неблагодарный человек!

Глава десятая, в которой рассказывается о том, как Жавер сделал ложную стойку

События, закулисную, так сказать, сторону которых мы только что видели, произошли при самых простых обстоятельствах.

Когда Жан Вальжан, арестованный у смертного ложа Фантины, в ту же ночь скрылся из городской тюрьмы Монрейля-Приморского, полиция предположила, что бежавший каторжник направился в Париж. Париж – водоворот, в котором все теряется. Все исчезает в этом средоточии мира, как в глубине океана. Нет чащи, которая надежней укрыла бы человека, чем толпа. Это известно всем беглецам. Они погружаются в Париж, словно в пучину; существуют пучины, спасающие жизнь. Полиции это тоже известно, и она ищет в Париже тех, кого потеряла в другом месте. Искала она здесь и бывшего мэра Монрейля-Приморского. Жавера вызвали в Париж, чтобы руководить розысками. Он оказал большую помощь в поимке Жана Вальжана. Его усердие и сообразительность были замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Вот почему господин Шабулье, и прежде покровительствовавший Жаверу, перевел полицейского надзирателя Монрейля-Приморского в парижскую префектуру. Здесь Жавер оказался человеком полезным во многих отношениях и, надо отдать ему справедливость, внушил к себе уважение, хотя это последнее слово и кажется несколько неожиданным, когда речь идет о подобных услугах.

Жавер больше не думал о Жане Вальжане, – гончие, начав травлю нового волка, забывают о вчерашнем, – как вдруг однажды, в декабре 1823 года, заглянул в газету, хотя вообще не читал их; на этот раз Жавер, как монархист, пожелал узнать о подробностях торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Когда он уже дочитывал интересовавшую его статью, в конце страницы одно имя привлекло его внимание-это было имя Жана Вальжана. В газете сообщалось, что каторжник Жан Вальжан умер; форма этого сообщения была

настолько официальна, что Жавер не усомнился в его правдивости. Он ограничился замечанием: «Вот уж где запирают накрепко!» Затем он отложил газету и перестал думать о Жане Вальжане.

Спустя некоторое время префектура Сены и Уазы прислала в полицейскую префектуру Парижа донесение о том, что в Монфермейле похищен ребенок, по слухам – при странных обстоятельствах. Девочка семи или восьми лет, – говорилось в донесении, – доверенная матерью местному трактирщику, была похищена незнакомцем; имя девочки – Козетта, она дочь девицы Фантины, умершей неизвестно когда и в какой больнице. Донесение попало в руки Жавера и заставило его призадуматься.

Имя Фантины было ему знакомо. Он припомнил, что Жан Вальжан заставил его расхотаться, попросив три дня отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой девки. Вспомнил он также, что Жан Вальжан был арестован в Париже в тот момент, когда собирался сесть в дилижанс, отъезжавший в Монфермейль. Наблюдения, сделанные тогда же, наводили на мысль, что он воспользовался этим дилижансом вторично и что еще накануне он совершил свою первую поездку в окрестности этого сельца, ибо в самом сельце его не видели. Что ему надо было в Монфермейле, никто не мог угадать. Теперь Жавер это понял. Там жила дочь Фантины. Жан Вальжан ездил за ней. И вот ребенка похитил незнакомец. Кто бы это мог быть? Жан Вальжан? Но Жан Вальжан умер. Никому не говоря ни слова, Жавер сел в омнибус, отъезжавший от гостиницы «Оловянное блюдо» в Дровяном тупике, и поехал в Монфермейль. Он надеялся все привести там в полную ясность, но нашел полную неизвестность.

В первые дни взбешенные Тенардье болтали о происшедшем. Исчезновение Жаворонка наделало в сельце шуму. Появились всевозможные версии их рассказа, превратившегося в конце концов в историю о похищении ребенка. Следствием этого и было донесение, полученное парижской префектурой. А между тем, когда досада улеглась, Тенардье благодаря своему удивительному инстинкту смекнул, что не всегда стоит беспокоить прокурора его величества и что жалобы на «похищение ребенка» прежде всего направят на него самого и на множество темных его дел зоркое полицейское око. Свет – вот то, чего больше всего страшатся совы. И потом, как объяснит он получение тысячи пятисот франков? Он резко изменил свое поведение, заткнул жене рот и притворялся удивленным, когда его спрашивали об «украденном ребенке». Что такое? Он ничего не понимает. Ну, конечно, первое время он жаловался, что у него так быстро «отняли» его дорогую крошку; он любил ее, и ему хотелось, чтобы она побыла у него еще денек-другой; но за ней приехал ее «дедушка», что вполне естественно. Он придумал «дедушку», и это производило хорошее впечатление. Именно в таком виде и услышал эту историю приехавший в Монфермейль Жавер. «Дедушка» заслонил собою Жана Вальжана.

Однако Жавер некоторыми вопросами, словно зондом, проверил рассказ Тенардье. «Кто был этот „дедушка“ и как его звали?» Тенардье простодушно отвечал: «Богатый земледелец. Зовут его, кажется, Гильом Ламбер. Я видел его паспорт».

Ламбер – фамилия хорошая, внушающая полное доверие. Жавер возвратился в Париж. «Жан Вальжан действительно умер, а я простофиля», – сказал он себе.

Он стал уже забывать обо всей этой истории, как вдруг в марте 1824 года до него дошел слух о какой-то проживающей в квартале Сен-Медар странной личности, которую окрестили «нищим, который подает милостыню». Болтали, будто это богатый рантье; имени его никто не знал; жил он с восьмилетней девочкой, которая помнит только, что она из Монфермейля. Опять Монфермейль! Это заставило Жавера насторожиться. Бывший псаломщик, а ныне соглядатай под личиной нищего, которому этот человек подавал милостыню, добавил несколько подробностей. «Этот рантье нелюдим, выходит на улицу только по вечерам, ни с кем не разговаривает, разве только с бедными, ни с кем дела не имеет. На нем старый желтый редингот стоимостью в несколько миллионов, так как он весь подбит банковыми

билетами». Последнее обстоятельство подстрекнуло любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического рантье и вместе с тем чтобы не вспугнуть его, он взял однажды у псаломщика его лохмотья и устроился на том месте, где старый соглядатай, сидя каждый вечер на корточках и гнусая псалмы, следил за прохожими.

«Подозрительная личность» действительно подошла к переодетому Жаверу и подала ему милостыню. Жавер поднял голову и вздрогнул, решив, что узнал Жана Вальжана, так же как вздрогнул Жан Вальжан, когда предположил, что узнал Жавера.

Но он мог ошибиться в темноте: ведь о смерти Жана Вальжана было объявлено официально; у Жавера оставались большие сомнения, а в таких случаях, будучи человеком щепетильным, Жавер никогда никого не задерживал.

Он дошел следом за стариком до лачуги Горбо и тут без особого труда заставил разговариваться старуху. Та подтвердила, что желтый редингот подбит миллионами, и рассказала о случае с билетом в тысячу франков. Она «сама его видела»! Она «сама его трогала»! Жавер снял комнату и в тот же вечер в ней водворился. Он подошел к двери таинственного жильца в надежде услышать звук его голоса, но Жан Вальжан, заметив сквозь замочную скважину огонек его свечи, не произнес ни слова и расстроил планы сыщика.

На следующий день Жан Вальжан решил переехать. Звук падения оброненной им пятифранковой монеты привлек внимание старухи, – услышав звон денег, она подумала, что жилец собирается съезжать с квартиры, и поспешила предупредить Жавера. Ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер поджидал его, спрятавшись со своими двумя помощниками за деревьями бульвара.

Жавер попросил в префектуре дать ему в помощь людей, но не назвал имени того, кого надеялся изловить. Это была его тайна, и он не хотел открывать ее по трем причинам: во-первых, малейшее неосторожное слово могло возбудить подозрение Жана Вальжана; во-вторых, наложить руку на старого беглого каторжника, считающегося умершим, на преступника, который в полицейских списках числился в рубрике самых опасных злодеев, было таким блестящим делом, которое старые ищейки парижской полиции не уступили бы новичку, и Жавер боялся, что у него отнимут галерника; наконец, артист своего дела, Жавер любил неожиданность. Он ненавидел заранее возмещенные удачи, которые утрачивают благодаря разговорам о них свежесть и новизну. Он предпочитал совершать свои самые блестящие дела в тиши, а потом внезапно объявлять о них.

Жавер следовал за Жаном Вальжаном, переходя от дерева к дереву, от угла одной улицы до угла другой, ни на минуту не теряя его из виду. Даже когда Жан Вальжан считал себя в полной безопасности, Жавер не спускал с него глаз.

Почему же он не задержал Жана Вальжана? Потому что он все еще сомневался.

Не следует забывать, что как раз в ту эпоху полиция была ограничена в своих действиях: ее стесняла свободная печать. Незаконные аресты, о которых было напечатано в газетах, наделали шуму, дойдя до сведения палат и внушив робость префектуре. Посягнуть на свободу личности считалось делом серьезным. Полицейские боялись ошибиться; префект возлагал всю ответственность на них; промах вел за собой отставку. Можно себе представить, какое впечатление произвела бы в Париже следующая заметка, перепечатанная двадцатью газетами: «Вчера гулявший со своей восьмилетней внучкой седовласый старец, почтенный рантье, был арестован как беглый каторжник и препровожден в арестный дом»! Кроме того, повторяем, Жавер был в высшей степени щепетил; требования его совести вполне совпадали с требованиями префекта. Он действительно сомневался.

Жан Вальжан шел впереди в темноте.

Печаль, беспокойство, тревога, усталость, новая неожиданная беда – вынужденное бегство ночью и поиски убежища для себя и для Козетты, необходимость принаравливать свои шаги к шагам ребенка незаметно для него самого настолько изменили походку Жана Вальжана и придали ему такой старческий вид, что даже полиция в лице Жавера могла ошибиться – и

ошиблась. Невозможность подойти поближе, одежда старого эмигранта-наставника, заявление Тенардье, превратившее Жана Вальжана в «дедушку», наконец, уверенность в смерти его на каторге – все вместе усиливало нерешительность Жавера.

У него было возникла мысль потребовать, чтобы старик предъявил документ. Но если этот человек не Жан Вальжан и не старый почтенный рантье, то, по всей вероятности, это один из молодцов, искусно впутанных в темный клубок парижских преступлений, один из главарей опасной шайки, подающий милостыню, чтобы прикрыть этим другие свои качества, – старый, испытанный прием! Конечно, у него есть сообщники, соучастники, есть квартиры, где он намеревался укрыться. Петли, которые он делал, кружа по улицам, доказывали, что это не просто старик. Задержать его сразу же – значило бы «зарезать курицу, несущую золотые яйца». Почему бы не повременить? Жавер был совершенно уверен, что он от него не уйдет.

Итак, он шел несколько озадаченный, сотни раз спрашивая себя, кто же эта загадочная личность.

И лишь на улице Понтуаэ при ярком свете из кабачка он узнал Жана Вальжана; теперь сомнений у него уже не оставалось.

В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубокий внутренний трепет: мать, нашедшая ребенка, и тигр, схвативший добычу. Жавер ощутил именно такой трепет.

Как только он уверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он подумал о том, что взял с собой всего лишь двух помощников и послал за подкреплением к полицейскому приставу улицы Понтуаэ. Прежде чем сорвать ветку терновника, надевают перчатки.

Из-за промедления и остановки в переулке Ролен для совещания с полицейскими Жавер чуть было не потерял след. Однако он быстро сообразил, что Жан Вальжан постарается положить между собою и своими преследователями препятствие – реку. Он склонил голову и задумался, подобно ищейке, обнюхивающей землю, чтобы не сбиться с пути. С присущим ему непогрешимым инстинктом Жавер пошел прямо к Аустерлицкому мосту и спросил сборщика пошлины:

– Вы не видали мужчину с маленькой девочкой?

– Да, я взял с него два су, – ответил сборщик.

Этот ответ осветил положение. Жавер ступил на мост как раз в ту минуту, когда Жан Вальжан, держа Козетту за руку, переходил освещенное луной пространство. Увидев, что он направился к Зеленой дороге, Жавер вспомнил о тупике Жанро, представлявшем собой ловушку, вспомнил и о единственном выходе из прямой стены на Пикпюс. Он, как выражаются охотники, «обложил зверя» тут же, обходным путем, послав одного из своих помощников стеречь этот выход. Он задержал направлявшийся в Арсенал для смены караула патруль и заставил его следовать за собой. В подобной игре солдаты – козыри. Кроме того, есть правило: хочешь загнать кабана – будь опытным охотником и имей побольше собак. Приняв все эти меры, представив себе, что Жан Вальжан зажат между тупиком справа, полицейским – слева, а сзади – им самим, Жавером, он понюхал табаку.

И вот началась игра. Это был момент упоительной сатанинской радости; он позволил человеку идти впереди себя, зная, что человек в его власти, желая по возможности отдалить момент ареста и наслаждаясь сознанием, что этот с виду свободный человек на самом деле пойман. Он обволакивал его сладострастным взглядом паука, позволяющего мухе полетать, или кота, позволяющего мышам побегать. Когти и клешни ощущают чудовищную чувственную радость, порождаемую барахтаньем животного в их мертвой хватке. Какое наслаждение – душить!

Жавер ликовал! Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; оставалось сжать кулак.

Как бы ни был решителен и силен, как бы ни был охвачен решимостью отчаяния Жан Вальжан, Жаверу, у которого была столь многочисленная свита, мысль о сопротивлении беглеца казалась невозможной.

Он медленно подвигался вперед, обыскивая и обшаривая по пути все углы и закоулки, словно карманы вора.

Когда же он достиг центра паутины, то мухи там не оказалось.

Легко себе представить его ярость.

Он расспросил своего дозорного, стерегшего Прямую стену и Пикпюс. Тот, находясь безотлучно на своем посту, не видел, чтобы здесь проходил мужчина.

Случается, что олень уже взят за рога – и вдруг его как не бывало; он уходит, хотя бы даже вся свора собак повисла на нем. Тут самые опытные охотники разводят руками. Даже Дювивье, Линьивиль и Депрез – и те не знают, что сказать. Одна из таких неудач заставила Артонжа воскликнуть: «Это не олень, а оборотень!»

Сейчас Жавер охотно повторил бы этот возглас.

Его разочарование больше походило на бессильную ярость.

Как Наполеон допустил ошибки в войне с Россией, Александр – в войне с Индией, Цезарь – в африканской войне, Кир – в скифской, так и Жавер допустил ошибки в походе на Жана Вальжана. Жавер, быть может, сделал промах, медля признать в нем бывшего каторжника.

Ему следовало довериться первому впечатлению. Жавер сделал промах, не арестовав его прямо на месте, в лачуге Горбо. Он сделал промах, не арестовав его на улице Понтуаз, когда окончательно удостоверился, что это Жан Вальжан. Он сделал промах, совещаясь на перекрестке Ролен со своими помощниками, облитый ярким лунным светом. Конечно, обмен мнениями полезен; не мешает знать и выпросить, что думают ищейки, заслуживающие доверия. Но охотник, преследующий таких беспокойных животных, как волк и каторжник, должен быть очень предусмотрительным. Жавер, озабоченный тем, чтобы пустить гончих по верному следу, вспугнул зверя, дав ему учуять свору и скрыться. Основной промах Жавера заключался в том, что, напав на Аустерлицком мосту на след Жана Вальжана, он повел страшную и вместе с тем детскую игру, стараясь удержать такого человека, как Жан Вальжан, на кончике нити. Жавер мнил себя сильнее, чем он был на самом деле; он решил, что может поиграть в кошки-мышки со львом. В то же время Жавер думал, что он недостаточно силен, когда счел необходимым послать за подкреплением. Роковая предусмотрительность, повлекшая за собою потерю драгоценного времени! Хотя Жавер и совершил все эти ошибки, все же он оставался одним из самых знающих и исполнительных сыщиков, когда-либо существовавших на свете. Он в полном смысле слова был тем, что на охотничьем языке называется «выжлец». Но кто же без греха?

И на великих стратегов находит затмение.

Подобно тому, как множество свитых бечевек образуют канат, нередко огромная глупость является всего лишь суммой глупостей мелких. Рассучите канат, бечеву за бечевой, рассмотрите, каждую в отдельности, мельчайшие решающие причины, приведшие к большой глупости, и вы легко поймете все. «И только-то», – скажете вы. Но скрутите, свяжите их снова – и вы увидите, как это страшно. Это Аттила, который стоит в нерешительности между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе: это Аннибал, который мешкает в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.

Как бы то ни было, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан ускользнул от него, он не потерял головы. Полный уверенности, что бежавший от полицейского надзора каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь рыскал по кварталу. Первое, что ему бросилось в глаза, это непорядок с уличным фонарем: его веревка была обрезана. Однако эта важная улика ввела его в заблуждение и заставила направить поиски в сторону тупика Жанро. В этом тупике встречаются довольно низкие стены, выходящие в сады, которые прилегают к огромным невозделанным участкам земли. По-видимому, Жан

Вальжан бежал в этом направлении. Если бы он забежал в тупик Жанро подальше, это было бы его гибелью. Жавер так тщательно обшарил сады и участки, словно искал иголку.

На рассвете он оставил двух сметливых людей на страже, а сам вернулся в префектуру, устыженный, словно пойманный вором сыщик.

Книга шестая Малый Пикпюс

Глава первая. Улица Пикпюс, номер 62

Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего мрачного: там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, да слонявшийся по двору привратник. Над стеной, в глубине, можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представления о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, было мрачное место.

Порог встречал вас улыбкой; дом молился и стenal.

Если вам удавалось пройти мимо привратника, – что было отнюдь не просто, вернее почти для всех невозможно, ибо существовало некое «Сезам, откройся!», которое следовало знать, – итак, если вам удавалось миновать привратника, то вы входили направо, в маленькие сенцы, откуда вела наверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами и такая узкая, что подниматься по ней мог только один человек; если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плинтусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и коричневый плинтус продолжали вас преследовать с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была заперта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратную комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымытую, чистую, холодную, оклеенную светло-желтыми обоями с зелеными цветочками, по пятнадцати су за рулон. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна почти во всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите; прислушиваетесь, но ни шагов, ни звука голоса не слышите. Стены голы, комната ничем не обставлена; даже стула, и того нет.

Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене, напротив двери, четырехугольное отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты – я бы даже сказал, почти петли, примерно дюйма в полтора по диагонали. Зеленые цветочки светло-желтых обоев спокойно и ровно тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не разлетаясь от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной худобы, которая позволила бы ему попытаться влезть или вылезть сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами – душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней была вделана в стену жестяная пластинка, вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой

пластинке была прорезана щель, точь-в-точь как в почтовом ящике. Направо от зарешеченного отверстия висел проволочный шнур, прикрепленный к рычажку звонка. Если за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть.

– Кто там? – спрашивал голос.

Это был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным.

Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие, словно по другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновение тьма.

Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил:

– Войдите направо.

Тогда вы замечали направо, против окна, дверь с застекленной верхней рамой, выкрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скудным светом, льющимся сквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и растрепанной циновкой, – в настоящую ложу с высоким, по грудь, барьером, к которому была прибита сверху пластинка черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой; только не деревянной позолоченной решеткой, как в Опере, но уродливой, грубо, кое-как сколоченной решетчатой рамой из железных брусьев, прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки.

Несколько мгновений спустя, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Но не дальше как в шести дюймах за нею перед вами вставала преграда из черных ставен, связанных и укрепленных деревянными перекладинами светло-коричневого цвета. То были складные ставни, состоявшие из длинных и тонких полос, закрывавших всю решетку. Они всегда были закрыты.

Спустя несколько минут за ставнями раздавался голос:

– Я здесь. Что вам угодно?

Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы.

При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни приоткрывалась, и дух превращался в видение. За решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее, рот и подбородок; все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанной в черный саван. Голова говорила с вами, но не смотрела на вас и не улыбалась.

Падавший из-за вашей спины свет был рассчитан на то, чтобы вы видели фигуру светлой, а она вас – темным. Освещение было символическим.

Ваш взор силится проникнуть сквозь отверстие. Плотная мгла окутывает фигуру в трауре. Ваши глаза стараются разглядеть во мгле, что окружает это видение. Но вскоре вы убеждаетесь, что разглядеть ничего нельзя. Вы видите ночь, пустоту, тьму, зимний туман, смешанный с испарениями, исходящими от могил; вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего нельзя уловить, даже вдоха, мрак, в котором ничего нельзя различить, даже призрака.

Вы видите внутренность монастыря.

Это внутренность угрюмого и сурового дома, именуемого монастырем бернардинок Неустанного поклонения. Ложа, где вы находитесь, – приемная. Голос, который вы слышали, – голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за стеной, возле

квадратного отверстия, и защищенной, словно двойным забралом, железной решеткой и жестяной пластинкой с множеством отверстий.

В приемной было окно, выходившее на свет божий, а внутри монастыря ни одного окна не было, – вот почему в забранной решеткой ложе царил такой мрак. Взоры мирян не смели проникать в это священное место.

Однако по ту сторону мрака был свет; в смерти таилась жизнь. Хотя Малый Пикпюс был самым строгим из всех монастырей, мы постараемся проникнуть туда, поможем проникнуть туда и читателю и расскажем, не переступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видел, а потому и не мог рассказать.

Глава вторая. Устав Мартина Верга

Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок, соблюдавших устав Мартина Верга.

Следовательно, эти бернардинки принадлежали не к Клерво – как бернардинцы, но к Сито – как бенедиктинцы; иными словами, их покровителем был не святой Бернар, а святой Бенедикт.

Кто когда-либо перелистывал старые фолианты, тот знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Саламанке, а подчиненная ей – в Алкале.

Конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы.

Слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычного для латинской церкви. Только с одним орденом св. Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации с уставом Мартина Верга, еще четыре конгрегации: две в Италии – Монте-Кассини и св. Юстины Падуанской; две во Франции – Ключи и Сен-Мор, и еще девять орденов – Валоамброза, Грамон, целестинцы, камальдульцы, картезианцы, смиренные, орден Масличной горы, орден св. Сильвестра и, наконец, Сито; Сито, являвшийся для других орденом-стволом, представлял собою отпрыск ордена св. Бенедикта. Основание Сито св. Робертом, аббатом Модемским в епархии Лангр, восходит к 1098 году. Однако св. Бенедикт еще в 529 году, в возрасте семнадцати лет, изгнал дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме и удалившегося потом в пустыню Субиако (он был тогда стар; уж не пожелал ли он стать отшельником?).

После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из ивовых прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав бернардинок – бенедиктинок Мартина Верга. Они носят черную одежду и апостольник, который, согласно велению св. Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускающаяся до самых глаз, – вот их одежда. Все – черное, кроме белой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обет носят на поясе четки.

Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают «неустанное поклонение», так же как бенедиктинки, называемые сестрами Святого причастия, которым в начале этого столетия принадлежали в Париже два монастыря: один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден бернардинок – бенедиктинок Малого Пикпюса, о которых идет речь, был совершенно не похож на орден сестер Святого причастия, обосновавшихся на Новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставах было множество различий; различна была и одежда. Бернардинки – бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники, бенедиктинки Святого причастия и с Новой Сент-Женевьевской улицы – белые; кроме того, у них на груди висело серебряное или медное

позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахини Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тамплъ неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть совершенно разными. Только в соблюдении одного этого правила и заключается сходство сестер Святого причастия и бернардинок Мартина Верга, подобно двум другим, резко отличным один от другого и порой даже враждующим орденам: итальянской Оратории, основанной Филиппом де Нери во Флоренции, и французской Оратории, основанной Пьером де Берюль в Париже, которые тем не менее сходятся в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также Пресвятой девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом. Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга.

Бернардинки-бенедиктинки, соблюдающие этот устав, весь год едят постное, постом и в многие другие показанные им дни вообще воздерживаются от пищи, встают, прерывая первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи читать молитвенник и петь утреню. Весь год они спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моются, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разговаривают между собой лишь во время короткого отдыха и в течение полугода – от 14 сентября, праздника Воздвиженья, и до Пасхи – носят рубашки из колючей шерстяной материи.

Полгода – это послабление, по уставу их следует носить весь год; но шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Надо было ограничить ношение такой одежды. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно несколько дней лихорадит.

Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах – вот их обеты, отягченные к тому же уставом.

Настоятельница избирается сроком на три года монахинями, которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница может быть избрана вновь только дважды; таким образом, самый долгий допустимый срок правления настоятельницы – девять лет.

Монахини никогда не видят священника, совершающего богослужение, так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель стоит на амвоне, они опускают на лицо покрывала. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь – это архиепископ, стоящий во главе епархии. Впрочем, еще садовник; но садовник – старик; чтобы он всегда был в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик.

Монахини подчиняются настоятельнице, и подчинение их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всей ее самоотреченности. Они повинуются, словно голосу Христа, *ut uocī Christi*, жесту, малейшему знаку, *ad nutum, ad primum signum*, повинуются немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, *prompte, hilariter, perseveranter et caeca quadam obedientia*, словно подпилот в руке рабочего, *quasi limam in manibus fabri*, и не имеют права ни читать, ни писать без особого разрешения – *legere vel scribere non addiscerit sine expressa superioris licentia*.

Каждая из них совершает то, что называется искуплением. Искупление – это раскаяние во всех грехах, во всех ошибках, во всех провинностях, во всех насилиях, во всех несправедливостях, во всех преступлениях, совершаемых на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая «искупление», стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди

руки, с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, крестообразно раскинув руки; это все, что она может себе позволить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом есть почти божественное величие.

Так как этот обряд выполняется у столба, на котором горит свеча, то в монастыре так же часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини из смирения даже предпочитают последнюю формулу, заключающую в себе мысль о каре и унижении. «Совершать искупление» является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если сзади ударит молния.

Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая коленопреклоненная монахиня. Стояние длится час. Монахини сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение.

Настоятельницы и монахини носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например: мать Рождество, мать Зачатие, мать Введение, мать Страсти господни. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены.

Если ты на них смотришь, то видишь только их рот. У всех желтые зубы. Зубная щетка никогда не проникала в монастырь. Чистить зубы – значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертано: погубить свою душу.

Они не говорят моя или мой. У них нет ничего своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют наша, например: наше покрывало, наши четки; даже о своей рубашке они скажут: «наша рубашка». Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету: молитвеннику, святыне, образку. Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они обязаны отдать его. Они вспоминают слова св. Терезы, которой одна знатная дама во время своего пострижения сказала: «Позвольте мне послать за Библией – ею я очень дорожу». – «А! Так вы чем-то дорожите? Тогда не идите к нам».

Всем монахиням воспрещается затворять свои двери, иметь свой уголок, свою комнату. Кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, она произносит: «Хвала и поклонение святым дарам престола!» А другая отвечает: «Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос поспешно отвечает: «Во веки веков!» Как всякий обряд, это, в силу привычки, делается машинально; часто одна отвечает: «Во веки веков» еще до того, как первая успела произнести: «Хвала и поклонение святым дарам престола», тем более что это довольно длинная фраза. У визитандинок входящая произносит: Ave Maria⁵¹, а та, к кому входят, отвечает: Gratia plena⁵². Это их приветствие, которое действительно «исполнено прелести».

Каждый час в монастырской церкви слышатся три удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обет, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе произносят, если пробило, например, пять часов: «В пять часов и на всякий час хвала и поклонение святым дарам престола!» Если пробило восемь: «В восемь часов и на всякий час» и т. д., смотря по тому, какой час прозвонил колокол.

Этот обычай, преследующий цель прерывать мысль и неустанно направлять ее к богу, существует во многих общинах; видоизменяется лишь форма. Так, например, в общине

⁵¹ «Радуйся, Мария» (лат.) – первые слова молитвы.

⁵² «Благодатная» (лат.) – буквально, исполненная благодати, прелести (продолжение той же молитвы).

Младенца Иисуса говорят: «В этот час и на всякий час да пламенеет в сердце моем любовь к Иисусу!»

Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже пятьдесят лет совершают службу торжественно, придерживаясь строгого монастырского распева, и всегда полным голосом в продолжение всей службы. Всюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус, Мария, Иосиф». Заупокойную службу они поют на низких нотах, едва доступных женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое.

Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако «правительство», как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава.

Они выхлопотали право, хоть и в слабое себе утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Вожиар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине.

По четвергам монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют, установленные щедрой рукою церкви когда-то во Франции и до сих пор еще устанавливаемые ею в Испании и в Италии. Часы стояния монахинь бесконечны. Что же касается количества и продолжительности молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной монахини: «Молитвы белиц тяжки, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее». Раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Все монахини поочередно опускаются перед ними на колени на каменный пол и каются вслух в тех провинностях и грехах, которые они совершили в течение недели. После исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитимью.

Кроме исповеди вслух, во время которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый повин для малых прегрешений. Повиниться – значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как «матушка», не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что та может встать. Винятся во всяких пустяках: разбили стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько секунд к богослужению, сфальшивили, когда пели в церкви, и т. д. Повин совершается добровольно; повинница (это слово здесь этимологически вполне оправданно) сама обвиняет себя и сама выбирает для себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре клирошанки поют псалмы перед большим аналоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то клирошанка при пении псалма, начинавшегося с Ессе⁵³, громко взяла вместо Ессе три ноты – ut, si, sol; за свою рассеянность она должна была приносить повин в продолжение всей службы. Грех ее усугубило то, что весь капитул рассмеялся.

Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то, будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден лишь ее рот. Только настоятельница имеет право общаться с посторонними. Прочие могут видаться с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка кто-либо из посторонних выразит желание повидать монахиню, которую знал или любил в миру, то ему приходится вести длительные переговоры. Если разрешения о свидании просит женщина, то его иногда дают; монахиня приходит, и посетительница беседует с ней через ставни, которые открываются

⁵³ Сей (лат.)

лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, мужчинам в подобной просьбе отказывают.

Таков устав св. Бенедикта, строгость которого еще усилил Мартин Верга.

Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом три из них сошли с ума.

Глава третья. Строгости

В этом монастыре надо по крайней мере два года, а иногда и четыре, пробыть белицей и четыре года послушницей. Редко кто принимает великий постриг ранее двадцати трех – двадцати четырех лет. Бернардинки-бенедиктинки из конгрегации Мартина Верга не допускают в свой орден вдов.

В кельях они разнообразными и ведомыми им одним способами предаются умерщвлению плоти, о чем они никому не должны говорить.

В тот день, когда послушница принимает постриг, она облачается в свой лучший наряд, голову ей убирают белыми розами, помадят волосы, завивают их; затем она простирается ниц; на нее набрасывают большое черное покрывало и читают над ней отходную. Затем монахини становятся в два ряда: один, проходя мимо нее, печально поет: «Наша сестра умерла», а другой отвечает ликующе: «Жива во Иисусе Христе!»

В описываемую нами эпоху при монастыре существовал закрытый пансион. Воспитанницы пансиона девушки благородного происхождения и почти все богатые; среди них находились девицы Сент-Олер, Белиссен и одна англичанка, носившая знатную католическую фамилию Тальбот. Девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, прививалось отвращение к миру и к светскому кругу интересов. Одна из них как-то сказала нам: «При виде мостовой я вся содрогалась». Они носили голубые платья и белые чепчики, на груди у них приколото было изображение Святого духа из золоченого серебра или меди. По большим праздникам, как, например, в день св. Марты, в знак особой милости они удостоивались величайшего счастья – облачаться в монашескую одежду, целый день выстаивать службы и совершать обряды по уставу св. Бенедикта. Вначале монахини давали им свои черные одежды. Однако настоятельница запретила давать одежду, сочтя это делом богопротивным. Это разрешалось только послушницам. Любопытно, что исполнение роли монахинь, допускаемое и поощряемое в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и вызывать в этих детях влечение к монашеской жизни, доставляло воспитанницам истинное удовольствие и душевный отдых. Они просто-напросто забавлялись. Это было ново, это их развлекало. Наивная детская забава бессильна, однако, убедить нас, мирян, в том, что держать в руках кропильницу и часами стоять перед аналоем, самозабвенно распевая псалмы, – величайшее блаженство.

Воспитанницы исполняли все монастырские правила, за исключением умерщвления плоти. Иные, по выходе из монастыря и будучи уже несколько лет замужем, не могли отвыкнуть от того, чтобы не произнести скороговоркой: «Во веки веков!» всякий раз, когда стучались к ним в дверь. Как и монахини, воспитанницы виделись с родными только в приемной. Даже матери и те не имели права целовать их. Вот образец подобной строгости. Как-то одну воспитанницу посетила ее мать в сопровождении трехлетней дочери. Воспитанница плакала, ей очень хотелось обнять свою сестренку. Нельзя. Она умоляла позволить девочке хотя бы просунуть ручку сквозь прутья решетки, чтобы она могла ее поцеловать. Но и в этом ей было отказано, отказано почти с негодованием.

Глава четвертая.

Веселье

И все же девушки оставили о себе в этой суровой обители много прелестных воспоминаний. В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Звонили к рекреации. Одна из дверей поворачивалась на своих петлях. Птицы щебетали: «Чудесно! А вот и дети!» Поток юности заливал сад, выкроенный крестом, точно саван. Сияющие личики, белые лобики, невинные глазки, блещущие радостным светом, – все краски утренней зари расцветали во мраке. После псалмопений, благовеста, похоронного звона, богослужений внезапно раздавался шум нежнее гудения пчелок, – то шумели девочки! Распахивался улей веселья, и каждая несла в него свой мед. Играли, перекликались, собирались кучками, бегали; в уголках стрекотали прелестные белозубые ротики; черные рясы издали надзирали за смехом, тени наблюдали за солнечными лучами. Ну и пусть себе! Кругом все лучилось и все смеялось. На долю этих мрачных стен тоже выпадали ослепительные минуты. Они присутствовали при этом кружении пчелиного роя, как бы слегка посветлев от бьющей ключом радости. Точно дождь розовых лепестков проливался над трауром. Девочки резвились под присмотром монахинь – взор праведных не смущает невинных. Благодаря детям в веренице строгих часов был час простодушного веселья. Младшие прыгали, старшие плясали. Небесной чистотой веяло от этих детских игр. Нет ничего более очаровательного и ничего более величественного, чем зрелище свежих, распускающихся душ. Гомер вместе с Перро охотно пришли бы поохотиться сюда, в этот мрачный сад, где царили юность, здоровье, шум, крики, беспечность, радость и счастье, способные развеселить всех прабабок – из эпоса и из побасенок, из дворцов и хижин, начиная с Гекубы и кончая бабушкой из старых сказок.

В этой обители, быть может, чаще, чем где бы то ни было, слышались те детские «словечки», в которых так много очарования и которые заставляют нас задумчиво улыбаться. Именно в этих четырех мрачных стенах однажды пятилетняя девочка воскликнула: «Матушка! Одна старшая только что сказала, что мне осталось пробыть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!»

Здесь же произошел следующий памятный разговор:

Мать-изборщица. О чем ты плачешь, дитя мое?

Шестилетняя девочка (рыдая). Я сказала Алисе, что знаю урок по истории Франции. А она говорит, что я не знаю, хотя я знаю!

Алиса (девяти лет). Нет, не знает.

Мать-изборщица. Как же так, дитя мое?

Алиса. Она велела мне открыть книгу где попало и задать ей оттуда любой вопрос и сказала, что ответит на него.

– Ну и что же?

– И не ответила.

– Постой! А о чем ты ее спросила?

– Я открыла книгу где попало, как она сама велела, и задала ей первый вопрос, который мне попался на глаза.

– Какой же это был вопрос?

– Вот какой: Что же произошло потом?

Там же было сделано глубокомысленное замечание по поводу довольно прожорливого попугая, принадлежавшего одной монастырской постоялице:

«Ну не душка ли он? Склевывает верх тартинки, как человек!»

На одной из плит найдена была исповедь, заранее записанная для памяти семилетней грешницей:

**«Отец мой, я грешна в скупости.
Отец мой, я грешна в прелюбодеянии.
Отец мой, я грешна в том, что смотрела на мужчин».**

На дерновой скамейке розовый ротик шестилетней девочки пролепетал сказку, которой внимало голубоглазое дитя лет четырех-пяти:

«Жили-были три петушка; в их стране росло много-много цветов. Они сорвали цветочки и спрятали в свои кармашки. А потом сорвали листики и спрятали их в игрушки. В той стране жил волк; и там был большой лес; и волк жил в лесу; и он съел петушков».

А вот другое произведение:

«Раз как ударят палкой!
Это Полишинель дал по голове кошке.
Ей было совсем не приятно, ей было больно.
Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму».

Там же бездомная девочка-найденыйш, которую воспитывали в монастыре из милости, произнесла трогательные, душераздирающие слова. Она слышала, как другие девочки говорят о своих матерях, и прошептала, сидя в своем углу:

«А когда я родилась, моей мамы со мной не было!»

В монастыре жила толстая сестра-привратница, которая постоянно сновала по коридорам со связкой ключей. Звали ее сестра Агата. Старшие-то есть те, которым было больше десяти лет, – прозвали ее «Агата-ключ».

В трапезную, большую продолговатую четырехугольную комнату, свет проникал лишь из крытой, с резными арками галереи, приходившейся вровень с садом. Это была мрачная, сырая и, как говорили дети, полная зверей комната. Все близлежащие помещения наградили ее своей долей насекомых. Каждому углу трапезной воспитанницы дали свое выразительное название. Был угол Пауков, угол Гусениц, угол Мокриц и угол Сверчков. Угол Сверчков был рядом с кухней, и его особенно чтили. Там было теплее. От трапезной прозвища перешли к пансиону; как некогда в коллеже Мазарини, их носили четыре землячества. Каждая воспитанница принадлежала к одному из четырех землячеств, в зависимости от того, в каком углу она сидела за трапезой. Однажды посетивший монастырь архиепископ заметил входившую в класс хорошенькую, румяную девочку с чудными белокурыми волосами; он спросил у другой воспитанницы, очаровательной брюнеточки со свежими щечками, стоявшей возле него:

- Кто эта девочка?
- Это паук, ваше высокопреосвященство.
- Вот оно что! А вон та?
- Сверчок.
- А эта?
- Гусеница.

– Вот как! Ну, а ты?

– А я мокрица, ваше высокопреосвященство.

У каждого закрытого пансиона есть свои особенности. В начале этого столетия Экуан был одним из тех суровых и почти священных мест, где в уединении протекало детство пансионеров. В Экуане в День святых даров перед крестным ходом их делили на «дев» и на «цветочниц». Там были также «балдахинщицы» и «кадилыщицы»; первые несли кисти от балдахина, вторые кадили, шествуя перед чашей со святыми дарами. Цветы, разумеется, несли «цветочницы». Впереди выступали четыре «девы». Утром этого торжественного дня нередко можно было слышать в спальней такой вопрос:

– А кто у нас дева?

Госпожа Кампан приводит следующие слова «младшей», семилетней воспитанницы, обращенные к «старшей», шестнадцатилетней, возглавлявшей процессию, тогда как младшая шла сзади: «Так ты же дева, а я нет».

Глава пятая. Развлечения

Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькое отчечаш» и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай: «Миленькое беленькое отчечаш, господь его сотворил, господь его говорил, господь его в рай посадил. Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, пресвятую деву Марию посередине. Пресвятая дева приказывала мне ложиться, ничего не страшиться. Отец мой – господь, мать – богородица, братья – три апостола, сестрицы – три пречистые девы. Сорочка младенца Христа тело мое прикрывает, святой Маргариты крестик грудь мою осеняет. Идет госпожа наша мать божия в поля, о сыне рыдает, святого Иоанна встречает. „Святой Иоанн, откуда идешь?“ – «От Ave salus⁵⁴ иду». – «А не видал ли ты милосердного бога? Не там ли он?» – «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, малый венчик терний белых на челе». Кто молитву эту скажет трижды ввечеру, трижды поутру, будет в раю».

В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем известки. А в наши дни изглаживается ее след и из памяти молодых девушек тех времен, ныне уже старух.

Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, единственная дверь которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола, с двумя деревянными скамьями по бокам, тянулись во всю длину трапезной. Стены были белые, столы черные; только эти два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была непривлекательная, даже детей кормили скудно. Подавалось одно блюдо: мясо с овощами или соленая рыба – вот и все яства. Но и эти грубые дежурные блюда, предназначенные только для пансионеров, составляли исключение в монастырской пище. Дети ели молча, под присмотром сменявшейся еженедельно монахини, которая время от времени со стуком открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, осмеливалась летать и жужжать. Тишина была приправлена чтением вслух житий святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе стояли муравленные миски, в которых воспитанницы сами мыли чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи, жесткое мясо или тухлую рыбу; за это полагалось наказание. Миски назывались «круговыми чашами».

⁵⁴ Вечерня (лат.)

Девочка, нарушившая молчание, должна была сделать «крест языком». Где? На полу. Она лизала пол. Прах, это завершение всех земных радостей, призван был карать бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели.

В монастыре хранилась книга, которую печатали только в одном экземпляре и которую запрещалось читать. Это был устав св. Бенедикта. Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. *Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabit*⁵⁵.

Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они с жадностью принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их захлопывать книгу и прерывать чтение. Эта чрезвычайно рискованная затея доставила им не очень большое удовольствие. Несколько туманных страниц «о грехах отроков» – вот что показалось им «самым интересным».

Они играли в аллее сада, обсаженной чахлыми фруктовыми деревьями. Несмотря на надзор и на строгость наказаний, им удавалось, когда ветер раскачивал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко, гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной, – письмо, написанное двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно: «Грушу или яблоко стараешься спрятать как можно лучше. Когда перед ужином поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь лежа в кровати, а если это не удастся, то съедаешь в ретиреде». Это было одним из самых острых наслаждений воспитанниц.

Однажды, – произошло это опять-таки в одно из посещений монастыря архиепископом, – молодая девушка, мадмуазель Бушар, приходившаяся сродни Монморанси, держала пари, что попросит у него отпуск на один день, – поблажка, совершенно немыслимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот, когда архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадмуазель Бушар, к неописуемому ужасу товарок, вышла из ряда и сказала: «Ваше высокопреосвященство! Отпустите меня на один день!» Мадмуазель Бушар была цветущая, статная девушка, с прелестным румяным личиком. Де Келен улыбнулся. «Как, милое дитя, всего на один день? – спросил он. – На три, если вам угодно! Я даю вам три дня!» Настоятельница ничего не могла поделать, – ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц! Судите сами, каково было впечатление! Однако угрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы приведем, рассказав его вкратце, одно истинное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре.

Итак, приблизительно в это же время в обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением и которую все величали «госпожа Альбертина». О ней было известно лишь, что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой денежные соображения, связанные с устройством блестящей партии.

Эта женщина, едва достигшая тридцати лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взором. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила; она никогда не говорила; нельзя было даже с уверенностью сказать, что она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы.

Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она отличалась грацией призрака. Когда она

⁵⁵ Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним (*лат.*)

появлялась, веяло холодом. Как-то видя, как она проскользнула мимо, одна монахиня сказала другой: «Ее считают мертвой». – «А может, она и вправду мертвая», – ответила ей та. О г-же Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные «бычий глаз». И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно – «бычий глаз», и отстаивала службы г-жа Альбертина. По обыкновению она находилась там в одиночестве, так как с хоров, расположенных в верхней части храма, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение, а монахиням это возбранялось. Однажды с амвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, пэр Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и архиепископ Безансонский, в Безансоне он и скончался в 1830 году. В этот день герцог де Роган в первый раз говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Г-жа Альбертина обычно держалась во время богослужений и проповедей спокойно и стояла не шевелясь. В этот же день, увидев герцога де Рогана, она слегка выпрямилась и в полной тишине громко произнесла: «Вот как? Огюст?» Все в изумлении повернули головы, проповедник поднял глаза, но г-жа Альбертина вновь впала в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее, неподвижное лицо, затем все исчезло, и безумная вновь превратилась в труп.

Однако эти два слова развязали языки многим, кто только способен был болтать в монастыре. Чего-чего только не таило в себе это восклицание: «Вот как? Огюст?»! Чего только оно не скрывало! Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было ясно, что г-жа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала г-на де Рогана; что она сама занимала высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно; что, возможно, она была его родственницей и, наверное, достаточно близкой, раз ей было известно его имя.

Две весьма суровые герцогини, де Шуазель и де Серан, часто посещали общину – они имели туда свободный доступ, по всей вероятности, в силу привилегии *Magnates mulieres*⁵⁶ и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старухи проходили мимо, то бедные девушки дрожали и опускали глаза.

Герцог де Роган, сам того не подозревая, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, находясь в ожидании епископского сана, был назначен главным викарием при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе во время богослужения в монастыре Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла видеть его сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером; говорили, что он очень следит за своей внешностью и отлично причесан, что его великолепные каштановые волосы чудными завитками обрамляют его лоб, что подпоясан он дивным широким муаровым поясом и что его черная сутана – изящнейшего покроя. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек.

Ни один звук из внешнего мира не проникал в монастырь. Тем не менее выпал год, когда до монастыря долетели звуки флейты. Это было настоящее событие, и тогдашние пансионеры до сих пор помнят о нем.

Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже почти забытую: «О Зетюльбе, приди царить в душе моей!», и ее можно было услышать два-три раза в день.

Девушки часами слушали эту арию, матери-изборщицы впали в отчаяние, юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все

⁵⁶ Знатных дам (*лат.*)

воспитанницы в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой «Зетюльбе». Звуки флейты доносились со стороны Прямой стены. Пансионерки отдали бы все, пошли бы на все, рискнули бы всем, лишь бы увидеть «молодого человека», наглядеться на того, кто так восхитительно играет на флейте и, сам того не ведая, играет на струнах их сердец. Нашлись воспитанницы, которые, проскользнув через черный ход, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконце, выходящее на Прямую стену, увидеть хоть что-нибудь. Напрасно! Одна даже, подняв руку над головой и просунув ее сквозь решетку, стала махать белым платком. Две оказались еще смелее. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели, наконец, «молодого человека». Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.

Глава шестая. Малый монастырь

В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания: большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый малый монастырь. Это был особый флигель, с садом, где жили одной семьей старые монахини, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией: пестрая смесь инокинь, черных, серых и белых, разных орденов и разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, лоскутный монастырь. Со времен Империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам дозволено было приютиться здесь, под крылышком бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им пособие; монахини Малого Пикпюса с готовностью приняли их. То было причудливейшее смешение. Каждая гостья соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам разрешали в виде развлечения посещать их; вот почему многие юные головки навсегда запомнили св. Василию, св. Схоластику и св. Якобу. Одна из таких пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале XVIII века то самое здание Малого Пикпюса, которое впоследствии перешло к бенедиктинкам конгрегации Мартина Верга. Старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена – белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который она охотно показывала, и завешала ее монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня; ныне остался один манекен. Кроме этих досточтимых сестер, светские пожилые женщины вроде г-жи Альбертины тоже получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К их числу принадлежали г-жа де Бофор д'Отпуль и маркиза Дюфрен. Была там еще одна обитательница, известная только тем, что она необыкновенно громко сморкалась. Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения поселиться в монастыре. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрасимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что ненавидит их, и притом она переживала тот период, когда ее обуряло свирепое благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или через семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хотя она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно. Покидая монастырь, она оставила память о себе в той келье, где она жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Эти два слова довольно точно рисуют ее портрет. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно

хранила деньги и драгоценности, наклеенную внутри записочку со стихами, написанными ее рукой красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров:

*Imparibus mentis pendent tria corpora ramis:
Dismas et Gesmas, media est divina potestas;
Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.
Nos et res nostras conservet summa potestas.
Hos versus dicas, ne tu furto tua perdas.⁵⁷*

Эти вирши на латыни VI века вызывают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников – Димас и Гестас, как принято думать, или же Дисмас и Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальерок твердо верит.

Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, как настоящий крепостной вал, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась и посторонняя публика через проделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквях, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите, что зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных скамьях, налево скучены монахини-клирошанки, направо – воспитанницы, а в центре – послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда из сада. Во время служб, на которых, по уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.

Глава седьмая. Силуэты во мраке

В течение шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадмуазель де Блемер, в монашестве – мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора Жития святых ордена св. Бенедикта. Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, за что ее все обожали.

Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена. Женщина образованная, начитанная, ученая, книжница, наштигованная латынью,

⁵⁷ Неравные по заслугам, висят на крестах три тела: Дисмас и Гесмас, а посередине царь небесный; ввысь стремится Дисмас, а несчастный Гесмас – вниз. Нас и наше имущество да сохранит всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра (лат.)

напичканная греческим, начиненная еврейским, своеобразный знаток истории, она была скорее бенедиктинцем, чем бенедиктинкой.

Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес. Наиболее уважаемыми среди матерей-изборщиц были: св. Гонория, казначей; св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом; мать Святые ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи; св. Жозеда (девица Коголлудо); св. Аделаида (девица д'Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуэнтес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенса), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.

К числу самых красивых принадлежала прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Роз. В миру ее звали бы мадмуазель Роз, а в монастыре она получила имя – мать Вознесение.

Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионеров. Обычно она набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.

Из послушниц больше всего любили св. Ефразию, св. Маргариту, св. Марфу, впавшую в детство, и св. Михаилу – всех смешил ее длинный нос.

Эти женщины относились к детям кротко. Они были суровы только к себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. Сверх того – бесконечные попечения о них. Но если девочка, проходя мимо монахини, заговаривала с ней, монахиня никогда не отвечала.

Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучащий на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о событиях повседневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обительницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы – один и один удар; для ее помощницы – один и два. Шесть и пять ударов означали: «Время идти в класс», и воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили: «идти в шесть-пять». Четыре-четыре – звон для г-жи де Жанлис. Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», – говорили пансионеры, не отличавшиеся снисходительностью. Десять ударов возвещали о важном событии: это означало, что распахивалась настежь «монастырская дверь» – ужасная железная доска, вся ошетиленная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа.

Кроме него и кроме садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионеры видели еще двух мужчин; один из них – священник, старый и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса; другой – учитель рисования, г-н Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как «ужасно старый горбун Ансьошка».

Отсюда явствует, что мужчины были подобраны тщательно.

Такова была эта любопытная обитель.

Глава восьмая. Post corda lapides⁵⁸

Обрисовав внутренний облик монастыря, следует в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление.

Сент-Антуанский монастырь Малый Пикпюс заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, Прямой стены, Пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омаре. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких зданий и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, представлял собою ряд строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной наземь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка Прямой стены, который находился между Пикпюс и Полонсо; перекладину заменял высокий, строгий серый фасад за решеткой, выходящий на Пикпюс; ворота э 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие, низкие, побелевшие от слоя пыли и золы, ворота, под сводом которых пауки ткали паутину; эти ворота отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда из обители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратная зала, служившая буфетной, которую воспитанницы прозвали «кладовой». В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине – кухни, трапезная – филиал монастырской, и церковь. Между воротами под э 62 и углом тупика Омаре находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо, вследствие чего его стены с внутренней стороны оказывались еще выше, чем с внешней. В середине сада возвышался холмик; на холмике росла прекрасная остроконечная конусообразная ель, от которой, словно от наверхья щита, расходились четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между разветвлениями больших так, что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы крест, положенный на колесо. Аллеи, примыкавшие к неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородинные кусты. В глубине сада от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу Прямой стены, и до здания малого монастыря на углу Омаре, тянулась аллея тополей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте к этому двор, разные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо соседства, вместо перспективы – длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону Полонсо, – и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет тому назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена на том месте, где с XIV и до XVI века находилось помещение со знаменитой залой для игры в мяч, прозванное «вертепом одиннадцати тысяч чертей».

Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже. Названия – Прямая стена и Омаре – очень давние, улицы, носящие их, еще старше. Тупик Омаре назывался тупиком Могу; Прямая стена называлась улицей Шиповника, ибо господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.

Глава девятая. Сто лет под апостольником

⁵⁸ После сердец – о камнях (*лат.*)

Теперь, когда мы познакомились с тем, что представлял собою монастырь Малый Пикпюс в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители.

В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о г-не Миромениле, хранителе печати при Людовике XVI, и о г-же Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. То и дело произнося эти два имени, она испытывала чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала чудеса: будто оно похоже было на город и будто в монастыре были проложены улицы.

Она говорила на пикардийском наречии, и это очень забавляло воспитанниц. Каждый год она торжественно возобновляла свои обеты и, прежде чем произнести их, говорила священнику: «Святой Франсуа передал свой обет святому Евсевию, святой Евсей – святому Прокопию... и т. д., и т. д., а мой я передаю вам, святой отец». И воспитанницы смеялись исподтишка, или, вернее, из-под покрывала, милым приглушенным смешком, заставлявшим матерей-изборщиц хмурить брови.

Иногда столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости «бернардинцы не уступали мушкетерам». Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае «четырёх вин», существовавшем до революции в Шампани и Бургундии. Когда какая-нибудь знатная особа – маршал Франции, принц, герцог или пэр – проезжала через один из городов Шампани или Бургундии, то городской совет выходил ее приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде ладьи четыре сорта вина. На одном кубке красовалась надпись: «Обезьянье вино», на другом – «Львиное вино», на третьем – «Баранье вино», а на четвертом – «Свиное вино». Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянения веселит, вторая раздражает, третья оглушает, наконец, четвертая оскотинивает. Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства Фонтевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, – что также не было воспрещено уставом, – когда ей хотелось тайком полюбоваться этим предметом. Как только раздавались чьи-нибудь шаги в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, и она, обычно болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее упорство, самые настойчивые отступали перед ним. Разумеется, это давало пищу для пересудов праздным или скучающим обитательницам монастыря. Что же это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный, – предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Быть может, священная книга? Редкостные четки? Чудотворные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, монахини бросились к шкафу, пожалуй, быстрее, чем это позволяло приличие, и отперли его. Предмет был завернут в тройной полотняный покров, как освященный дискос. Это оказалось фазенцское блюдо, на котором изображены были улетающие амур, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клистирными трубками. Сцена преследования изобиловала смешными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался; он отбивается, трепещет крылышками и пытается взлететь, но клистирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке! Это блюдо, очень интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года: оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше.

Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, «потому что приемная слишком мрачна», – говорила она.

Глава десятая. Происхождение «неустанного поклонения»

Впрочем, это почти загробная приемная, о которой мы старались дать некоторое понятие, – явление местное, оно не повторяется с тою же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампль, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, место черных ставен были кофейного цвета шторы, а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески; на стенах красовались картины – портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже голова турка.

В монастырском саду на улице Тампль рос знаменитый индийский каштан, считавшийся самым красивым и высоким во Франции. В XVIII веке его называли патриархом всех каштановых деревьев королевства.

Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампль был занят бенедиктинками ордена Неустанного поклонения, отличными от тех, которые были подчинены ордену Сито. Орден Неустанного поклонения не принадлежит к числу очень древних; он насчитывает всего двести лет. В 1649 году святые дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа: Сен-Сюльпис и Сен-Жан-ан-Грев; то было неслыханное, страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре назначил торжественный крестный ход с участием всего духовенства обители; богослужение совершал папский нунций. Но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин – г-жу Куртен, маркизу де Бук, и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное «чтимой святыне алтаря», хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых женщин и, по их мнению, могло быть смыто лишь «неустанным поклонением» в какой-либо женской обители. Обе они, одна – в 1652 году, другая – в 1653, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахини из конгрегации Святых даров, матери Катерине де Бар, на основание, с этой благочестивой целью, монастыря ордена св. Бенедикта. Первое разрешение основать такой монастырь было дано Катерине де Бар г-ном де Мец, аббатом Сен-Жерменским, с тем, чтобы ни одна девица не принималась туда иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которые являлись бы доходом с шести тысяч ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал монастырю жалованную грамоту; аббатская хартия и королевская грамота в 1654 году были утверждены счетной палатой и парламентом.

Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок «Неустанного поклонения святым дарам». Их первый монастырь был «заново воздвигнут» на улице Кассет на средства маркизы де Бук и графини Шатовье.

Как видим, этот орден не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он подчинялся аббату Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердца Христова подчинялись магистру ордена иезуитов, а монахини ордена Милосердия – магистру ордена лазаристов.

Он нисколько не походил и на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которой мы только что описали. В 1657 году папа Александр VII особой грамотой разрешил бернардинкам Малого Пикпюса неустанное поклонение по примеру бенедиктинок ордена Святых даров. Тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.

Глава одиннадцатая. Конец Малого Пикпюса

С начала Реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хиреть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который в XIX веке сошел на нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва, – потребность человечества, но, подобно всему, чего коснулась революция, оно из враждебного прогрессу явления превратится в явление, благоприятствующее ему.

Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году малый монастырь исчез, пансион тоже. Там уже не было ни дряхлых старух, ни молодых девушек. Одни умерли, другие рассеялись. *Volaverunt*⁵⁹.

Устав конгрегации Неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех; все меньше и меньше желающих принять постриг; орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы идти в послушницы, но в клирошанки – ни одной. Сорок лет тому назад монахинь было более ста; пятнадцать лет тому назад осталось всего двадцать восемь. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая – признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь растет тяжесть искусства, обязанности каждой становятся все менее посильными; недалек час, когда останется не более двенадцати согбенных, измученных спин, способных нести тяжкий крест устава св. Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным независимо от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушает. И монахини стали умирать. Когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула: *Hiс jaseo. Vixi annos viginti et ires*⁶⁰. По причине упадка монастырь отказался от воспитания девушек.

Мы не в силах были пройти мимо этого своеобразного таинственного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, – быть может, не без пользы для себя, – грустной истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне нам представляются новыми. Это запертый сад. *Hortus conclusus*. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением, – во всяком случае, с уважением, которое совместимо с подробным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от осанны Жозефа де Местра, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием.

Заметим между прочим, что со стороны Вольтера это не логично, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Жана Каласа; даже для тех, кто отрицает воплощение божества, – что представляет собой распятие? Убиение праведника.

В XIX веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются, и хорошо делают, – лишь бы, отучившись от одного, научились другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходит известное разрушение, и пусть происходит, – но при условии, чтобы оно сопровождалось созиданием.

А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться хотя бы для того, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое-это привидение, способное подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки. Будем начеку! У прошлого свое лицо – суеверие и своя маска – лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску.

Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, свобода защищает.

⁵⁹ Разлетелись (*лат.*)

⁶⁰ Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года (*лат.*)

Книга седьмая В скобках

Глава первая. Монастырь – понятие отвлеченное

Эта книга-драма, в которой главное действующее лицо – бесконечность.

Человек в ней лицо второстепенное.

Встретив на своем пути монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь – достояние как Востока, так и Запада, как мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства – является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности.

Здесь не место развивать некоторые идеи. Однако, не изменяя нашей сдержанности, мысленно делая оговорки и даже негодуя, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы чтим. Какой предмет для созерцания, для глубоких дум это отражение бога на экране, которым служит ему человечество!

Глава вторая. Монастырь – факт исторический

С точки зрения истории, разума и истины монашество подлежит осуждению.

Монастыри, расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромаждающие страну, являются помехами для движения и средоточиями праздности там, где надлежит быть средоточиям труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным – это то же, что омела по отношению к дубу или бородавка к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмужалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности, в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по каким был благотворным в период его чистоты.

Затворничество отжило свое время. Монастыри, полезные, когда современная цивилизация нарождалась, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, монастыри, благотворные в X веке, спорны в XV, отвратительны в XIX. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации – Италию и Испанию, олицетворявших одна – свет, другая – великолепие Европы в течение ряда веков. И если в наши дни эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года.

Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений средних веков. Подобный монастырь – средоточие всех ужасов. Монастырь католический, в подлинном значении этого слова, облит зловещим сиянием смерти.

Особенно мрачен испанский монастырь. Там, в темноте, под сводами, полными мглы, под куполами, тонущими в мути теней, громоздятся массивные исполинские алтари, высокие, как соборы; там, в потемках, свисают на цепях огромные белые распятия; там вытягиваются на черном дереве большие нагие Иисусы из слоновой кости, окровавленные, более того, –

кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия распятия окутанные покрывалами существа, у которых тело истерзано власяницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением из ивовых прутьев, колени изранены от стояний на молитве. Это женщины, которые мнят себя супругами Христа; призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желания? Нет. Любят ли они? Нет. Их нервы превратились в кости; их кости превратились в камень. Их покрывала сотканы из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущаяся привидением, благословляет их и держит в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри. Гнездилища грозного благочестия; вертепы девственниц; средоточия дикости. Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался Восток. Архиепископ, небесный кизляр-ага, шпионил за этим сералем душ, уготованных для бога, и держал его на запоре. Монахиня была одалиской, священник – евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью прекрасный юноша сходил нагой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, которой распятый заменял султана. Единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. In-rase⁶¹ заменял собой кожаный мешок. То, что на Востоке кидали в море, на Западе бросали в недра земли. И там и тут женщины ломали себе руки; на долю одних – волны, на долю других – могила; там – утопленницы, здесь – погребенные. Чудовищная параллель!

Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделяются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. «Предлог для пышных фраз», – говорят люди ловкие. «Это пышные фразы», – вторят им простаки. Жан-Жак-фразер; Дидро-фразер; Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сирвена, – фразер. Некто – кто именно, не помню – недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон – жертва и что, право, надо пожалеть «этого бедного Олоферна». А факты между тем нелегко сбить с толку, они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в восьми лье от Брюсселя, – вот оно, подлинное средневековое перед глазами у всех нас! – в аббатстве Вилье, ямы от «каменных мешков» среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу Диля – четыре каменные темницы, наполовину под землей, половину под водой. Это были in-rase. В каждой из таких темниц целы остатки железной двери, отхожее место и зарешеченное оконце, которое с наружной стороны находится в двух футах от воды, а с внутренней – в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице мокрый. Мокрая земля заменяла ложе заключенному в in-rase. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другой – подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, – ящика, слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него помещали живое существо, прикрывая его гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть. Можно осязать. In-rase, темницы, железные крючья, ошейники, высоко прорезанное слуховое окно, в уровень с которым протекает река, каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, с той только разницей, что

⁶¹ Подземная темница пожизненного заключения (лат.)

здесь мертвецом был живой человек, грязь, заменяющая пол, дыра отхожего места, стена, сквозь которую просачивается вода!.. А нам говорят – фразеры!

Глава третья. При каких условиях можно уважать прошлое

Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком оно до сих пор существует в Тибете, – род чахотки для цивилизации. Оно останавливает жизнь. Оно опустошает страну. Монастырское заточение – это оскотление. Оно было бичом Европы. Добавьте к этому частое насилие над совестью, принудительное пострижение, феодальный строй, опиравшийся на монастырь, право первородства, разрешавшее старшим отправлять в монастыри младших членов больших семей, жестокости, о которых мы только что упоминали, in-расе, замкнутые уста, заточенные мысли, великое множество несчастных душ, брошенных в темницу вечных обетов, принятие схимы, погребение заживо. Добавьте к захирению всей нации страдания этих людей, и, кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед сутаной и покрывалом, этими двумя саванами, изобретенными человечеством. Однако, вопреки философии, вопреки прогрессу, в некоторых местах и в некоторых отношениях дух монашества стойко держится в самый разгар XIX века; непонятное усиление аскетизма изумляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорное желание отживших установлений продлить свою жизнь похоже на назойливость затхлых духов, которые требовали бы, чтобы мы все еще душили ими волосы, на притязание испорченной рыбы, которая захотела бы, чтобы ее съели, на надоедливые просьбы детского платья, которое пожелало бы, чтобы его носил взрослый, на нежность покойника, который вернулся бы на землю, чтобы обнимать живых.

«Неблагодарный! – говорит одежда. – Я прикрывала вас в непогоду, почему же теперь я вам больше не нужна?» – «Я родилась в морском просторе», – говорит рыба. «Мы были розой», – твердят духи. «Я любил вас», – говорит покойник. «Я просвещал вас», – говорит монастырь. На это есть один ответ: «То было когда-то».

Мечтать о бесконечном продлении того, что истлело, и об управлении людьми с помощью этого набальзамированного тлена, укреплять расшатавшиеся догматы, освежать позолоту раки, подновлять монастыри, вновь освящать ковчеги с мощами, восстанавливать суеверия, подкармливать фанатизм, приделывать новые ручки к кропилам и рукоятки к шпагам, возрождать монашество и милитаризм, веровать в возможность спасти общество путем размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему – все это кажется странным. Однако находятся теоретики, развивающие подобные теории. Эти теоретики, – впрочем, люди умные, – применяют простейший прием: они покрывают прошлое штукатуркой, которую именуют общественным порядком, божественным правом, моралью, семьей, уважением к предкам, авторитетом веков, священной традицией, законностью, религией, и шествуют, крича: «Вот вам получайте, добрые люди!» Но подобная логика была знакома еще древним. Ее применяли аруспии. Они натирали мелом черную телку и заявляли: «Она белая». *Bos cretatus*⁶². А мы в иных случаях почитаем прошлое и щадим его всюду, лишь бы оно соглашалось мирно покоиться в могиле. Если же оно упорно хочет восстать из мертвых, мы нападаем на него и стараемся убить.

Суеверия, ханжество, пустосвятство, предрассудки – эти призраки, несмотря на всю свою призрачность, цепляются за жизнь: они зубасты и когтисты, хотя и эфемерны; с ними надо вступить в рукопашную и воевать, не давая передышки, ибо одним из роковых

⁶² Набеленный мелом бык (*лат.*) Ювенал (Сатира 10).

предназначений человечества является вечная борьба с привидениями. Трудно схватить за горло тень и повергнуть ее наземь.

Монастырь во Франции, в середине XIX века – это сборище сов среди бела дня. Монастырь, открыто исповедующий аскетизм в центре города, пережившего 1789, 1830 и 1848 годы, этот Рим, пышно распустившийся в Париже, – настоящий анахронизм. В обычное время, чтобы обнаружить анахронизм и заставить его исчезнуть, надо только разобраться в годе его чеканки. Но мы живем не в обычное время.

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины – никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и разобраться в нем. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета. Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.

Итак, живя в XIX веке, мы относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «Монастырь» – говорит: «болото». Способность монастырей к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы не можем подумать без ужаса о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

Глава четвертая. Монастырь с точки зрения принципов

Люди собираются и живут сообща. По какому праву? По праву объединения.

Они запираются у себя. По какому праву? По праву каждого человека отворять или запираť свою дверь.

Они не покидают своих четырех стен. По какому праву? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя.

Но что они делают там, у себя?

Они говорят шепотом; они опускают глаза долу; они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или грубый холст. Никто из них не владеет собственностью. Вступая в общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения: дворянином, вельможей, теперь равен простому крестьянину. Кельи у всех одинаковые. Все подвергаются обряду пострижения, носят одинаковые сутаны, едят черный хлеб, спят на соломе и все превращаются в прах. То же вретиче на теле, то же вервие вокруг чресел. Если положено ходить босыми, все ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Имя уравнивает всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга «брат».

Вы прерываете меня, восклицая: «Но ведь это идеальный монастырь!»

Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять это в соображение. Потому-то в предыдущих главах книги я и говорил об одном монастыре с уважением. Если забыть о средних веках, забыть об Азии, отложить до другого времени вопросы исторический и политический, то, с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я, при условии совершенно добровольного пострижения и пребывания в монастыре, всегда готов относиться к общинному началу

монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община – там коммуна; где налицо коммуна – там право. Монастырь является продуктом формулы: Равенство, Братство. О величие свободы! Какое блистательное преобразование! Достаточно одной свободы, чтобы превратить монастырь в республику.

Продолжаем.

Мужчины и женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубую одежду, они все равны, они зовут друг друга братьями и сестрами, все это так; но ведь они еще что-то делают?

Да.

Что же?

Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки.

Что это означает?

Глава пятая.

Молитва

Они молятся.

Кому?

Богу.

Молиться богу – что это значит?

Существует ли бесконечность вне нас? Едина ли она, имманентна ли, перманентна?

Непрерывно ли субстанциональна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она ограниченной там, вне нас, не обладая субстанцией? Непрерывно ли разумна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она конечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы – понятие относительное?

И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечности, внутри нас? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множественное число!) друг на друга? Не находится ли, так сказать, эта вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом, как первая? Мыслит ли она? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало и есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Низшее «я» – это душа, высшее «я» – это бог.

Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться.

Не будем ничего оспаривать у человеческого духа; уничтожать дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к Неведомому: мысль, мечта, молитва. Неведомое – это океан. Что такое сознание? Это компас в Неведомом. Мысль, мечта, молитва – могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет величественное лучеиспускание души? К мраку; то есть к свету.

Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом Человека – по меньшей мере, возле него – стоит право Души.

Сокрушать фанатизм и благоговеть перед бесконечным – таков закон. Не будем ограничиваться тем, что, преклонив колена перед древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, униженные светилами. У нас есть долг: трудиться над душой человеческой, защищать тайное от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоравливать верования, освобождать религию от суеверий, уничтожать все, что паразитирует во имя бога.

Глава шестая. Неоспоримая благодать молитвы

Всякий способ молиться хорош, лишь бы молитва была от души. Переверните молитвенник вверх ногами, но душою слейтесь с бесконечностью.

Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце; эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой.

Возводить недостающее нам чувство в источник истины – на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца.

Любопытны замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии, зрящей бога. Она напоминает крота, восклицającego: «Как они жалки со своим солнцем!»

Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины своей мудростью, они, в глубине души, не слишком уверены в собственном атеизме; остается лишь дать им другое название. Но во всяком случае, если они и не верят в бога, то уже само величие их разума подтверждает существование бога.

Мы приветствуем в них философов и неумолимо осуждаем их философию.

Продолжаем.

Достойна восхищения и та легкость, с какою иные отделиваются словами. Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля».

Утверждение: «растение хочет» вместо утверждения: «растение произрастает», было бы действительно весьма плодотворно, если бы к нему добавляли: «вселенная хочет». Почему? Потому, что вывод был бы такой: растение хочет, значит у него есть свое «я»; вселенная хочет, значит у нее есть свой бог.

Мы же, в противоположность этой школе, ничего не отмечаем а priori, и все же присутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допустить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое.

Отрицать волю бесконечности, то есть волю бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали.

Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится «измышлением разума».

Всякий спор с нигилизмом бесполезен: нигилист, если только он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании.

С его точки зрения допустимо, что он сам для себя – «измышление разума».

Однако он не замечает того, что все, отрицавшееся им, принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум».

Короче говоря, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая все сводит к односложному «нет».

На «нет» есть лишь один ответ: «да».

Нигилизм заводит в тупик.

Небытия нет. Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Ничто есть что-то.

Человек живет утверждением в еще большей мере, чем хлебом.

Видеть и показывать недостаточно. Философия должна быть действенной; ее стремлением и целью должно быть совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами – должен выявить в человеке-жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем аристотелевым Ликеем. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться – какая жалкая цель и какое суетное тщеславие! Наслаждается и

скот. Мыслить – вот подлинное торжество души. Протянуть жаждущему человечеству чашу познания, дать всем людям в качестве эликсира познание бога, заставить совесть побрататься в их душах со знанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза, – таково назначение реальной философии. Нравственность – это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать, надо, чтобы он стал удобоварим для человеческого разума. Именно идеал вправе сказать: «Приимите, ядите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Мудрость – святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке; став единственным и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию.

Философия не должна быть башней, воздвигнутой для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и только из любопытства.

Откладывая развитие нашей мысли до другого раза, пока что мы скажем: нам непонятны ни человек как точка отправления, ни прогресс как цель без двух движущих сил – веры и любви. Прогресс есть цель, идеал есть образец.

Что такое идеал? Это бог.

Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность – понятия тождественные.

Глава седьмая.

Порицать следует с осторожностью

На истории и философии лежат обязанности, вечные и в то же время простые: бороться против первосвященника – Кайафы, против судьи-Дракона, против законодателя – Тримальхиона, против императора Тиверия, – все это ясно, определено, четко и ничего туманного в себе не содержит. Но право жить обособленно, при всех связанных с этим неудобствах и злоупотреблениях, требует признания и пощады. Отшельничество – проблема чисто человеческая.

Говоря о монастырях, этих местах заблуждения, но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества, но и самоотвержения, мучений, но и мученичества, следует почти всегда и допускать их, и отвергать.

Монастырь – противоречие. Его цель – спасение; средство – жертва. Монастырь – это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением.

Отречься, чтобы властвовать, – вот, по-видимому, девиз монашества.

В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад, как залог райского блаженства.

Пострижение в монахи или в монахини – самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью.

По-нашему, насмешки тут неуместны. Здесь все серьезно: и добро и зло.

Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.

Глава восьмая.

Вера, закон

Еще несколько слов.

Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней, мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских, но мы всюду чтим того, кто погружен в размышление.

Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени.

Вера! Вот что необходимо человеку. Горе не верующему ни во что!

Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый, и есть труд невидимый.

Созерцать – все равно что трудиться; мыслить – все равно что действовать. Руки, скрещенные на груди, работают, сложенные пальцы творят. Взгляд, устремленный к небесам, – деяние.

Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии.

В наших глазах затворники – не праздные люди, отшельники – не тунеядцы.

Размышлять о Сокровенном – в этом есть величие.

Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник и философ сходятся. Смерть неизбежна. Тут аббат ордена трапистов перекликается с Горацием.

Вкрапывать в свою жизнь мысль о смерти – правило мудреца и правило аскета. В этом и мудрец и аскет согласны друг с другом.

Существует материальное развитие – его мы хотим. Существует также нравственное величие – к нему мы стремимся.

Люди опрометчивые, торопящиеся с выводами, говорят:

– Что такое эти неподвижные фигуры, обращенные мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают?

Увы! Перед лицом тьмы, которая окружает и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем: «Быть может, нет деяния выше того, что творят эти души». И добавляем: «Быть может, нет труда более полезного».

Людам нужны вечные молельщики за тех, кто никогда не молится.

По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве.

Молящийся Лейбниц – это величественно; Вольтер, поклоняющийся божеству, – это прекрасно. *Deo erexit Voltaire*⁶³.

Мы стоим за религию против религий.

Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы.

Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на XIX век, – время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в нравственный принцип и поглощены скоропреходящими и гнусными материальными благами, всякий, удаляющийся от мира, в наших глазах достоин уважения. Монастырь – отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все-таки жертва. Вменить себе в долг суровую ошибку – это не лишено благородства.

Если беспристрастно и всесторонне исследовать истину до конца, то нельзя не признать, что в монастыре, самом по себе, в монастыре, как в отвлеченном понятии, бесспорно есть нечто величественное. Особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном принятии монашеского пострига звучит протест.

Суровая и безотрадная монастырская жизнь, отдельные черты которой мы только что обрисовали, – это не жизнь, ибо в ней нет свободы, и не могила, ибо в ней нет успокоения; это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую – бездна, где мы будем находиться. Это грань, узкая и неопределенная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно; здесь угасающий луч жизни сливается с тусклым лучом смерти; это полумрак гробницы.

⁶³ Богу вознес молитву Вольтер (*лат.*)

Не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как и они, верой, мы не могли смотреть без благоговейного и сочувственного трепета, без страдания, смешанного с завистью, на эти самоотверженные существа, пугливые и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и ищущие неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, изумленные, трепещущие, в иные мгновения полувознесенные могучим дыханием вечности.

Книга восьмая Кладбища берут то, что им дают

Глава первая, где говорится о способе войти в монастырь

В такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван. Он перелез через садовую ограду на углу улицы Полонсо. Гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, оказался хором монахинь, певших утрению; зала, представшая перед ним во мраке, оказалась молельней; призрак, который он увидел простертым на полу, оказался сестрой, «совершающей искупление»; бубенчик, звук которого поразил его, оказался бубенчиком садовника, привязанным к колену дедушки Фошлевана.

Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, сели перед ярко пылавшим очагом ужинать; ужин их состоял из куска сыра и стакана вина; после ужина они сейчас же улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке была занята Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан сказал:

– Я должен остаться здесь навсегда.

Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.

Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до утра.

Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Налетевший на него новый шторм забросил их в монастырь, и Жан Вальжан думал теперь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении монастырь был и самым опасным и самым безопасным местом: самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, – таким образом, для Жана Вальжана монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме, самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь?

Поселиться там, где поселиться невозможно, – это единственное спасение.

Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырскую ограду так просто не перелезть. Как же он оказался здесь, да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. Что это за ребенок? Откуда они оба взялись? В монастыре Фошлеван ничего не слыхал о Монрейле – Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что с вопросами к нему нельзя было подступиться; да Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительным лицом. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что времена нынче тяжелые и г-н Мадлен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же он

замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это не отвратило от него Фошлевана, – как многие из наших северных крестьян, он был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, конечно, пожелал в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимо, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это – каким образом г-н Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, дотрагивался до них, говорил с ними – и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и представлял себе ясно только одно: г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь моя очередь». А его совесть добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.

Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой – стану я его спасать? Конечно». Однако ж как помочь ему остаться в монастыре? Трудная задача! Перед такой, почти неосуществимой попыткой Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардийский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Старый дед Фошлеван прожил всю жизнь для себя, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем в жизни не интересовавшийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, найдя возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью на это накинулся, с какой умирающий, обнаружив стакан хорошего вина, которое он никогда не пробовал, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.

Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.

Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где было бы бесполезно дать психологическую характеристику дедушке Фошлевану. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушию. Потерпев в силу разных причин крушение, он из письмоводителя превратился в возчика и поденщика. И все же ни ругань, ни щелканье кнутом, что входило в круг его обязанностей и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, не убили в нем письмоводителя. Он обладал природным умом; его речь была правильна; он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Это прямо барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так: «не то мещанин, не то мужик; в общем ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел и был изрядно потрепан, все же оставался человеком, вполне добровольно повиновавшимся первому побуждению, – драгоценное качество, препятствующее человеку творить зло! Недостатки и пороки, – а у него они были, – не укоренялись в нем; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем знакомстве с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.

Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:

– Как же вы думаете теперь войти сюда уже по всем правилам?

Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.

Старики принялись совещаться.

– Прежде всего, – сказал Фошлеван, – вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад – мы пропали.

– Это верно.

– Господин Мадлен! Вы попали сюда в очень хорошее время, то есть, я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных очень больна. Значит, на нас особенно не будут обращать внимания. Сдается мне, что она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит, – святая. Сказать по правде, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы, что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить панихиду, а потом заупокойную обедню. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь.

– Однако, – заметил Жан Вальжан, – это помещение находится в углублении стены, она скрыта какими-то развалинами, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.

– И монахини к ней не подходят.

– Так в чем же дело? – воскликнул Жан Вальжан.

Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь нас никто не увидит».

– А девочки? – возразил Фошлеван.

– Какие девочки? – удивился Жан Вальжан.

Только Фошлеван собрался ему ответить, как раздался удар колокола.

– Монахиня скончалась, – сказал он. – Слышите похоронный звон?

Он сделал знак Жану Вальжану прислушаться. Последовал второй удар колокола.

– Это похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно в течение двадцати четырех часов, до выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрет, все равно прибегут сюда и будут всюду совать свой нос. Эти херувимчики – настоящие чертенята!

– Кто? – спросил Жан Вальжан.

– Девочки. Вас мигом обнаружат, можете не сомневаться. А потом станут кричать: «Глядите: мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Перемены у них не будет. Весь день пройдет в молитвах. Слышите колокольный звон? Я вам говорил: каждую минуту удар колокола. Это похоронный звон.

– Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?

А про себя Жан Вальжан подумал: «Здесь Козетта могла бы получить воспитание».

– Конечно, есть! – воскликнул Фошлеван. – Маленькие девочки! Ну и визг подняли бы они тут! И задали бы стрекача! Здесь мужчина – все равно что чума. Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.

Жан Вальжан глубоко задумался.

– Этот монастырь – наше спасение, – шептал он про себя. Затем сказал вслух:

– Да, самое трудное – это остаться здесь.

– Нет, – возразил Фошлеван, – самое трудное – выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца.

– Выйти?

– Да, господин Мадлен, чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти. Переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:

– Не дай бог, если вас тут застанут. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А монахиням требуется, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг послышался более затейливый звон другого колокола.

– Ага! – сказал Фошлеван. – Это сбор капитула. Зовут матерей – изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Скажите, – только не подумайте, что я собираюсь вас допрашивать, – как вы сюда вошли?

Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену на эту страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного тигров, и вдруг вам дают дружеский совет возвратиться в лес. Жан Вальжан представил себе весь квартал: всюду слежка, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка – сам Жавер.

– Немыслимо! – воскликнул он. – Дедушка Фошлеван! Считайте, что я упал сюда с неба.

– Я-то этому верю, охотно верю, мне об этом нечего и говорить, – сказал Фошлеван. – Бог, наверно, взял вас на руки, чтобы разглядеть получше, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, но ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел осмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи – это такой народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда даже приподымает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут?

– Козетта.

– Это ваша девочка? Вернее сказать, вы ее дед?

– Да.

– Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь. Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной – ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на Зеленой дороге, у нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставляю до завтра у нее. А потом малютка вернется с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?

Жан Вальжан покачал головой.

– Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в корзине и под чехлом, как Козетта.

Фошлеван почесал у себя за ухом, что служило у него признаком крайнего замешательства. Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.

– Это уходит врач покойников, – сказал Фошлеван, – Он поглядел и сказал: «Так и есть: она умерла». После того, как доктор подпишет пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обряжают игуменьи; если монахиня, то обряжают монахини. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника.

Садовник – он ведь отчасти могильщик. Гроб ставят в нижний, выходящий на улицу, церковный придел, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня и факельщиков за мужчин не считают. В этом самом приделе я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб – и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят с грузом внутри. Вот что такое похороны. De profundis⁶⁴.

⁶⁴ Из глубины взываю (лат.) – начало зауспокойной молитвы.

Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлеван.

Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Старый садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее.

– Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, кладбище Вожирар собираются закрыть. Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метъен. Здешним монахиням дают там поблажку – их отвозят на кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. И чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен...

– Погребен, – сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой.

– Ну, конечно, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением! – подхватил Фошлеван.

Раздался четвертый удар колокола. Фошлеван быстрым движением снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и пристегнул его к колену.

– На этот раз звонят мне. Меня требует настоятельница. Так и есть, я укололся шпёнком от пряжки. Господин Мадлен! Не двигайтесь с места и ждите меня. Видно, какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.

Он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!»

Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, мимоходом оглядывая грядки с дынями.

Не прошло и десяти минут, как дедушка Фошлеван, бубенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и тихий голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».

Дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы.

Приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном, стоявшем в приемной стуле настоятельница ожидала Фошлевана.

Глава вторая.

Фошлеван в затруднительном положении

При некоторых критических обстоятельствах людям с определенным характером и определенной профессии свойственно принимать взволнованный и вместе с тем значительный вид – особенно священникам и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности можно было прочесть на лице настоятельница – некогда очаровательной и просвещенной мадмуазель Блемер, а ныне матери Непорочность, обычно жизнерадостной.

Садовник остановился на пороге кельи и робко поклонился. Перебравшая четки настоятельница взглянула на него и спросила:

– А, это вы, дедушка Фован?

Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.

Фошлеван снова поклонился.

– Дедушка Фован! Я велела позвать вас.

– Вот я, матушка, и пришел.

– Мне нужно с вами поговорить.

– И мне нужно с вами поговорить, – сам испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. – Мне тоже надо кое-что сказать вам, матушка.

Настоятельница поглядела на него.

– Вы хотите сообщить мне что-то?

– Нет, попросить.

– Хорошо, говорите.

Старик Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецей, – сила; его не боялись и потому на эту удочку попадаются. Прожив два с лишним года в монастыре, Фошлеван добился признания. Если не считать работы в саду, ему, в постоянном его одиночестве, ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от закутанных в монашеские покрывала женщин, сновавших взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой мелькание теней. Наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальнзоркость, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван все знал и молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери – изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал свое место и выходил из сторожки, только когда необходимость требовала его присутствия в огороде либо в саду. Тактичность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставлял все ему выбалтывать двух человек: в монастыре – привратника, и потому он знал подробности всего, что происходило в приемной, а на кладбище-могильщика, и потому он знал все обстоятельства похорон. Так он получал двоякого рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие – на их смерть. Но он ничем не злоупотреблял. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего и ни в чем не смыслящий, без сомнения глуховатый – сколько достоинств! Заменить его было бы трудно.

Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, въехал в аллею, ведущую к кладбищу Вожира. Следовавший за ним хромой старик был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницу – все прошло благополучно, без малейшей заминки.

Заметим кстати, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые совершаются ради исполнения долга. Монахини совершили его, не только не смущаясь, но с полного одобрения их совести. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, – вмешательство, всегда требующее отпора.

Превыше всего – монастырский устав; что же касается закона, – там видно будет. Люди!

Сочиняйте законы, сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю – это всего лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу.

Земной властитель перед лицом высшей власти – ничто.

Фошлеван, очень довольный, ковылял за колесницей. Его два переплетавшихся заговора: один – с монахинями, другой – с г-ном Мадленом, один – в интересах монастыря, другой – в ущерб этим интересам, – удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана представляла собой то незыблемое спокойствие, которое сообщается другим. Фошлеван не сомневался в успехе. Оставались сущие пустяки. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьека. Он обводил его вокруг пальца. Он делал с ним, что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал каждому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе.

Когда похоронная процессия достигла аллеи, ведущей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дороги и, потирая свои ручки, пробормотал:

– Комедия!

Катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры со сторожем. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой.

Фошлеван взглянул на незнакомца.

– Вы кто будете? – спросил он.

– Могильщик, – ответил тот.

Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица, как в эту минуту у Фошлевана.

– Могильщик?

– Да.

– Вы?

– Я.

– Могильщик здесь дядюшка Метье?

– Был.

– То есть как это был?

– Он умер.

Фошлеван был готов к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою.

Фошлеван остолбенел.

– Не может быть! – заикаясь, пролепетал он.

– Очень даже может!

– Но могильщик – это же дядюшка Метьен! – слабо возразил Фошлеван.

– После Наполеона – Людовик Восемнадцатый. После Метьена – Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина!

Внезапно побледнев, Фошлеван всматривался в Грибье.

Это был высокий, тощий, с землистого цвета лицом, очень мрачный человек. Он напоминал неудачливого врача, который взялся за работу могильщика.

Фошлеван расхохотался.

– Бывают же такие смешные случаи! Дядя Метьен умер! Умер добрый дядюшка Метьен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюреньского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. Старина Метьен умер! Да, жаль, он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Верно, приятель? Мы сейчас с вами пойдем пропустим по стаканчику.

– Я человек образованный. Я окончил четыре класса. Я не пью.

Погребальные дороги снова тронулись в путь и покатали по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаг. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.

Могильщик шел впереди.

Фошлеван опять стал приглядываться к свалившемуся с неба Грибье.

Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень сильны.

– Приятель! – окликнул его Фошлеван.

Тот обернулся.

– Я могильщик из монастыря.

– Мой коллега, – отозвался могильщик.

Фошлеван, человек хотя и малограмотный, но весьма проницательный, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем.

– Значит, дядюшка Метьен умер, – пробурчал он.

– Бесповоротно, – подтвердил могильщик. – Господь бог справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метьену. И дядюшка Метьен умер.

– Господь бог... – машинально повторил Фошлеван.

– Да, господь бог, – внушительно повторил могильщик. – Для философов он – предвечный отец; для якобинцев – верховное существо.

– А не познакомиться ли нам поближе? – пробормотал Фошлеван.

– Мы это уже сделали. Вы – деревенщина, я – парижанин.

– Пока не выпьешь вместе, по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку – раскупоришь и душу. Пойдем выпьем. От этого не отказываются.

– Нет, дело прежде всего.

«Я пропал», – подумал Фошлеван.

До аллеи, ведущей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось несколько шагов.

– Деревенщина! – снова заговорил могильщик. – У меня семеро малышей, которых надо прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.

С удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:

– Их голод – враг моей жажды.

Похоронные дроги обогнули кипарисы, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав по траве, углубились в чащу. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свой шаг, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая, размытая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла ход.

Фошлеван приблизился к могильщику.

– Там отличное аржантейльское вино! – прошептал он.

– Поселянин! – снова заговорил могильщик. – Мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Притане. Он мечтал о том, что я буду литератором. Но на него свалились несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Но я все-таки исполняю обязанности писца по вольному найму.

– Значит, вы не могильщик? – воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту хрупкую веточку.

– Одно другому не мешает. Я совмещаю эти две профессии.

Фошлеван не понял последнего слова.

– Пойдем выпьем, – сказал он.

Тут надо сделать одно замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, обходил молчанием один пункт: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник намеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Несмотря на все свое волнение, Фошлеван и не думал раскошеляться.

Могильщик продолжал, презрительно улыбаясь:

– Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. У кого есть почти законченное образование, тот становится философом. Работу пером я сочетаю с работой заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы знаете тот рынок? Это Зонтичный рынок. Все кухарки из госпиталей Красного креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатикам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам копаю могилы. Такова жизнь, селянин!

Похоронные дроги двигались вперед. Тревога Фошлевана дошла до предела; он озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.

– А между тем, – продолжал могильщик, – нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Из траурной кареты вышел певчий, за ним священник.

Одно из передних колес катафалка задело кучу земли, за которой виднелась отверстая могила.

– Комедия! – растерянно повторил Фошлеван.

Глава шестая. Между четырех досок

Кто лежал в гробу? Нам это известно. Жан Вальжан.

Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было хоть и с трудом, но дышать.

Удивительно, до какой степени от спокойной совести зависит спокойствие человека вообще!

Затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня.

Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Вальжан не сомневался. Нельзя себе представить положение более критическое, нельзя себе представить спокойствие более безмятежное.

От четырех гробовых досок веяло умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.

Из глубины гроба он имел возможность наблюдать, и он наблюдал за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.

Вскоре после того как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. Толчки становились реже – он понял, что с мостовой съехали на утоптанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжают Аустерлицкий мост. Во время первой остановки он догадался, что подъехали к кладбищу; во время второй он сказал себе: «Могила».

Внезапно он почувствовал, что гроб приподняли, потом послышалось трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму.

Потом у него как будто закружилась голова.

По всей вероятности, факельщик и могильщик качнули гроб и опустили его изголовьем вниз.

Жан Вальжан окончательно пришел в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.

Он ощутил какой-то особенный холод.

Леденящий душу торжественный голос раздался над ним. Над ним медленно, – так медленно, что он мог уловить каждое из них, – произносились латинские слова, которых он не понимал:

*Qui dormiunt in terrae puluere, evigilabunt: alii in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper*⁶⁵.

Детский голос ответил:

– *De profundis.*

Строгий голос продолжал:

– *Requiem aeternam dona ei, Domine*⁶⁶.

⁶⁵ «Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное мучение, пусть всегда это помнят» (лат.)

Детский голос ответил:

– Et lux perpetua luceat ei⁶⁷.

Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли.

Вероятно, гроб окропили святой водой.

«Скоро кончится! – подумал он. – Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет.

Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».

Строгий голос возгласил вновь:

– Requiescat in pace⁶⁸.

Детский голос ответил:

– Amen.

Жан Вальжан, напрягши слух, уловил что-то вроде удаляющихся шагов.

«Вот уже и уходят, – подумал он, – я один». Вдруг он услышал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.

То был ком земли, упавший на гроб.

Упал второй ком.

Одно из отверстий, через которые дышал Жан Вальжан, забилося землей.

Упал третий ком.

Затем четвертый.

Бывают обстоятельства, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.

**Глава седьмая,
из которой читатель уяснит себе, как возникла поговорка: «Не знаешь, где
найдешь, где потеряешь»**

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда похоронные дроги удалились, когда священник и певчий уселись в траурную карету и уехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.

Фошлеван принял отчаянное решение.

Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:

– Я плачу!

Могильщик удивленно взглянул на него.

– Что такое, деревенщина?

Фошлеван повторил:

– Я плачу!

– За что?

– За вино.

– За какое вино?

– За аржантейльское.

– Где оно, твое аржантейльское вино?

– В «Спелой айве».

⁶⁶ «Вечный покой даруй ему, господи» (лат.)

⁶⁷ «И да светит ему вечный свет» (лат.)

⁶⁸ «Да почиет в мире» (лат.)

– Пошел к черту! – буркнул могильщик и сбросил землю с лопаты в могилу.

Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:

– Скорей, приятель, пока «Спелая айва» еще не закрыта!

Могильщик набрал еще на одну лопату земли. Фошлеван продолжал.

– Я плачу! – повторил Фошлеван и схватил могильщика за локоть. – Послушай, приятель! Я монастырский могильщик, я пришел тебе подсобить. Это дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем выпьем по стаканчику.

Продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал: «А вдруг он выпьет да не охмелеет?»

– Если вам так хочется, провинциал, я согласен, – сказал могильщик. – Выпьем. Но после работы, не раньше.

С этими словами он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.

– Это аржантейльское вино, – по шесть су!

– Ах вы, звонарь! – сказал могильщик. – Динь-дон, динь-дон, только это вы и знаете.

Пойдите прогуляйтесь.

И опять сбросил с лопаты землю.

Фошлеван сам не понимал, что говорит.

– Да идемте же выпьем! – крикнул он, – Ведь платить-то буду я!

– После того как уложим ребенка спать, – сказал могильщик и в третий раз сбросил с лопаты землю.

– Видите ли, ночью будет холодно, – воткнув лопату в землю, добавил он, – и покойница начнет звать нас, если мы оставим ее без одеяла.

Тут могильщик, набирая землю лопатой, нагнулся и карман его блузы оттопырился.

Блуждающий взгляд Фошлевана упал на этот карман и задержался на нем.

Солнце еще не скрылось за горизонтом; в глубине кармана можно было разглядеть что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули с яркостью, удивительной для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенило.

Осторожно, чтобы не заметил могильщик, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил белый предмет.

Могильщик в четвертый раз сбросил с лопаты в могилу землю.

Когда он обернулся, чтобы набрать пятую лопату, Фошлеван с самым невозмутимым видом сказал:

– Кстати, новичок, а пропуск при тебе?

Могильщик приостановился.

– Какой пропуск?

– Да ведь солнце-то заходит!

– Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак.

– Сейчас запрут кладбищенские ворота.

– И что же дальше?

– А пропуск при тебе?

– Ах, пропуск!

Могильщик стал шарить в кармане.

Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.

– Нет, – сказал он, – у меня нет пропуска... Должно быть, забыл его дома.

– Пятнадцать франков штрафа, – заметил Фошлеван.

Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.

– А, разрази их господь! – воскликнул он. – Пятнадцать франков штрафа!

– Три монеты по сто су, – пояснил Фошлеван.

Могильщик выронил лопату.

Теперь настал черед Фошлевана.

– Ну, ну, юнец, – сказал Фошлеван, – не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков – это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не платить. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно; солнце заходит, оно уже достигло купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.

– Это верно, – согласился могильщик.

– За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут кладбище.

– Правильно.

– В таком случае с вас пятнадцать франков штрафа.

– Пятнадцать франков!

– Но время еще есть... Вы где живете?

– В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

– Время у вас еще есть, если только вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.

– Это верно.

– Как только вы окажетесь за воротами, мчитесь домой, берите пропуск, бегите обратно, сторож вас впустит. А раз у вас будет пропуск, платить не придется. И тогда уже вы зароете покойника. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал.

– Я обязан вам жизнью, провинциал!

– А ну, живо! – скомандовал Фошлеван.

Вне себя от радости могильщик потряс ему руку и пустился бежать.

Когда он скрылся среди деревьев и шаги его замерли, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:

– Дядюшка Мадлен!

Никакого ответа.

Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а скатился в могилу, припал к изголовью гроба и крикнул:

– Вы здесь?

В гробу царил тишина.

Фошлеван, еле переводя дух – так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал у крышки гроба верхнюю доску. В сумеречном свете он увидел лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан, мертвенно-бледный, лежал неподвижно.

Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:

– Он умер!

Снова выпрямившись, он с такой яростью скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.

– Так вот как я спас его! – вскричал он.

Бедняга, всхлипывая, заговорил сам с собой. Принято думать, что монолог несвойствен человеческой природе, – это неверно. Сильное волнение нередко заявляет о себе во всеуслышание.

– В этом виноват дядюшка Метъен, – причитал он. – Ну с какой стати этот дуралей умер? Зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ожидал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Медлен! Вон он лежит в гробу! Он достиг всего. Кончено! Ну разве во

всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка? Что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, да разве это возможно? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я говорил ведь! Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я останусь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же было старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться старыми дураками! Как же это он все-таки попал в монастырь? С этого все и началось. Нельзя проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Не слышит. Попробуйте-ка теперь выкрутиться! Фошлеван стал рвать на себе волосы.

Издали послышался скрип. Запирали ворота.

Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном, но вдруг подскочил и отшатнулся, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты и смотрели на него.

Видеть смерть жутко, видеть воскресение почти так же жутко. Фошлеван окаменел; бледный, растерянный, потрясенный всеми этими необычайными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.

– Я уснул, – сказал Жан Вальжан и привстал на своем ложе.

Фошлеван упал на колени.

– Пресвятая дева! Ну и напугали же вы меня!

Затем он поднялся и крикнул:

– Спасибо, дядюшка Мадлен!

Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в чувство.

Радость – отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.

– Так вы не умерли! Ну до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, я сказал себе: «Так! Ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы! Вот счастье-то!

– Мне холодно, – сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти два человека, даже придя в себя, все еще, сами того не понимая, испытывали душевное смятение; в них говорило необыкновенное чувство, порожденное мрачной уединенностью этого места.

– Уйдем скорее отсюда! – воскликнул Фошлеван.

Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.

– Но сначала хлебните, – сказал он.

Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и овладел собой.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.

Через три минуты они выбрались из могилы.

Фошлеван был теперь спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.

Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

– Идем. Я возьму лопату, а вы несите заступ.

Дело шло к ночи.

Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.

– Вы заоченели? – спросил Фошлеван. – Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.

– Пустяки! – ответил Жан Вальжан. – Два-три шага, и я снова научусь ходить.

Они шли теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертых ворот и сторожки, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, сторож дернул за шнур, дверь открылась, и они вышли.

– Как все хорошо устроивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! – сказал Фошлеван.

Они беспрепятственно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.

Улица Вожирар была пустынна.

– Дядюшка Мадлен! – всматриваясь в дома, сказал Фошлеван. – Вы видите лучше моего. Покажите, где номер восемьдесят седьмой?

– Вот как раз и он, – сказал Жан Вальжан.

– На улице никого нет, – продолжал Фошлеван. – Дайте мне заступ и подождите минутку.

Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верх, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и в темноте постучался в дверь мансарды. Чей-то голос сказал:

– Войдите.

То был голос Грибье.

Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все подобные ей убогие жилища, представляла собой лишенную убранства каморку. Ящик для упаковки товара – а может быть, гроб – служил комодом, горшок из-под масла – посудой для воды, соломенный тюфяк – постелью, вместо стульев и стола – плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и дети. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было ясно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, – от кружки до жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.

Фошлеван стремился к развязке, а потому не обратил внимания на печальную сторону своего успеха.

– Я принес ваш заступ и лопату, – сказал он, войдя.

Грибье с изумлением взглянул на него.

– Это вы, поселянин?

– А завтра утром вы получите у сторожа пропуск.

Он положил на пол лопату и заступ.

– Что это значит? – спросил Грибье.

– Это значит, что вы вырнули из кармана пропуск, а когда вы ушли, я нашел его на земле; покойницу я похоронил, могилу засыпал, работу вашу выполнил, привратник вернет вам пропуск, и вы не уплатите пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!

– Благодарю вас, провинциал! – в восторге вскричал Грибье. – В следующий раз за выпивку плачу я!

Глава восьмая.

Удачный допрос

Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал – это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта. Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на Зеленую дорогу, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктощица забрасывала Козетту вопросами, но та вместо ответа смотрела на нее мрачным взглядом. Козетта ничего не выдала из того, что видела и слышала в течение последних двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Лучше всех хранят тайну дети. Но когда по прошествии мучительных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что если б его услышал человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье человека, которого только что извлекли из бездны.

Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним отворились.

Так была разрешена двойная страшная задача: выйти и войти.

Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз напротив ворот. Привратник впустил всех троих, и они дошли до внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.

Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек свечи освещал, вернее, – силился осветить, приемную.

Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Особенно зорким был ее взгляд из-под опущенных век.

Затем она стала его расспрашивать:

– Вы его брат?

– Да, матушка, – ответил Фошлеван.

– Ваше имя?

– Ультим Фошлеван.

У него был брат Ультим, давно умерший.

– Откуда вы родом?

– Из Пикиньи, близ Амьена, – ответил Фошлеван.

– Сколько вам лет?

– Пятьдесят, – ответил Фошлеван.

– Чем вы занимаетесь?

– Я садовник, – ответил Фошлеван.

– Добрый ли вы христианин?

– В нашей семье все добрые христиане, – ответил Фошлеван.

– Это ваша малютка?

– Да, матушка, – ответил Фошлеван.

– Вы ее отец?

– Я ее дед, – ответил Фошлеван.

Мать – изборщица сказала настоятельнице вполголоса:

– Он отвечает разумно.

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Настоятельница внимательно оглядела Козетту и шепнула матери-изборщице:

– Она будет дурнушкой.

Монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:

– Дедушка Фован! Вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два. И правда, на следующий день в саду раздавался звон уже двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушение приподнять кончик покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю – Фован и кто-то еще. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено – монахини сообщали друг другу:

– Это помощник садовника.

А матери-изборщицы прибавляли:

– Это брат дедушки Фована.

Жан Вальжан вступил в должность по всем правилам: у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Звали его Ультим Фошлеван.

Главное, что заставило настоятельница принять его на службу, это ее впечатление от Козетты: «Она будет дурнушкой».

Предсказав это, настоятельница тотчас почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.

Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность, вот почему девушки, сознающие, что они красивы, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда вытекает живой интерес к дурнушкам.

Это происшествие возвеличило старика Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах обители, которая, сохранив благодаря ему гроб матери Распятие под алтарем, обошла кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб – на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была велика. Фошлеван считался теперь лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. Когда монастырь посетил архиепископ, настоятельница рассказала обо всем его высокопреосвященству, как будто бы и каясь, а вместе с тем и хвалясь. Архиепископ, уехав из монастыря, одобрительно шепнул об этом духовнику его высочества де Латиллю, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. Слава Фошлевана дошла до Рима. Мы видели записку папы Льва XII к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию – делла Женга; в ней есть такие строки: «Говорят, что в одном из парижских монастырей есть замечательный садовник и святой человек по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать от холода грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение которого красуется в Illustrated London News⁶⁹ с подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».

Глава девятая.

Жизнь в заточении

Козетта и в монастыре продолжала молчать.

⁶⁹ «Лондонские иллюстрированные новости» (англ.)

Коззета считала себя дочерью Жана Вальжана, что было вполне естественно. Но, ничего не зная, она ничего не могла рассказать, а если б и знала, все равно бы никому не сказала. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, – мы уже об этом говорили. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. С монастырем она освоилась довольно быстро. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».

Как воспитанница монастыря, Козетта обязана была носить форму пансионерки. Жану Вальжану удалось упросить, чтобы ему отдали снятую ею одежду. Это был тот самый траурный наряд, в который он передел ее, когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платье вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в чемоданчик, который умудрился себе раздобыть, и все пересыпал камфорой и благовонными веществами, распространенными в монастырях. Чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него носил с собой. «Отец! Что это за ящик, который так хорошо пахнет?» – как-то спросила его Козетта.

Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.

Имя Ультим у монахинь не привилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован». Если бы эти святые души обладали долей проницательности Жавера, то они бы в конце концов заметили, что всякий раз, когда приходилось выходить за пределы монастыря по делам садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромо́й Фошлеван – старший, а другой никогда не выходил. Потому ли, что взор, устремленный к богу, не умеет шпионить, потому ли, что монахини были заняты главным образом тем, что следили друг за другом, но только они не обращали на это внимания.

Впрочем, хорошо, что Жан Вальжан оставался в тени и нигде не показывался. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.

Монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Эти четыре стены представляли для него вселенную. Здесь он мог видеть небо, – этого было достаточно для душевного спокойствия, – и Козетту – этого было достаточно для его счастья.

Для него вновь началась счастливая жизнь.

Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. В этом домишке, сколоченном из строительных отходов и еще существовавшем в 1845 году, было, как известно, три совершенно пустые, с голыми стенами, комнаты. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное, но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, помимо двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим:

КАТОЛИЧЕСКАЯ

Именем короля Равноценно десяти ливрам.

За предметы, поставляемые армии.

Подлежит оплате по установлении мира.

Серия 3

э 10390

Стоффле

И КОРОЛЕВСКАЯ АРМИЯ

Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого заместил Фошлеван.

Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся снова за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за растениями. Он ими воспользовался. Почти все деревья в саду одичали; он привил их, и они опять стали приносить чудесные плоды.

Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему на час. Сестры были всегда мрачны, а он приветлив, и девочка обожала его. В определенный час она прибегала в сторожку. С ее приходом здесь воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье растет от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.

А Козетта теперь смеялась.

Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное выражение. Смех – это солнце: оно прогоняет с человеческого лица зиму.

Не будучи красивой, Козетта становилась прелестной; голос у нее был по-детски нежный, и она мило болтала.

Когда, по окончании рекреации, Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.

Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, он чувствовал себя недостойным и был полон смирения; но с некоторых пор он начал сравнивать себя с другими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.

На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.

Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в то время, которое можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, – отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззаконием закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их. Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бесконечной винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.

Он вспоминал своих товарищей. Как они были несчастны! Поднимаясь с зарей, они трудились до поздней ночи; им почти не оставалось времени для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; на них были отвратительные красные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особенно тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номером и как бы превращенные в цифры, они жили не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклеянные позором.

Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами. Эти существа тоже были острижены; они жили тоже не поднимая глаз, не повышая голоса; их уделом был не позор, но насмешки; их спины не были избиты палками, зато плечи истерзаны бичеванием. Их имена были тоже утрачены для мира; у них были только строгие прозвища. Они никогда не ели мяса, не пили вина; часто ничего не ели до самого вечера; на них были не красные куртки, а шерстяные черные саваны, слишком тяжелые для лета, слишком легкие для зимы, и они не имели права ничего убавить в своей одежде и ничего к ней прибавить; у них не было даже в запасе, на случай холода, ни холщовой одежды, ни шерстяного верхнего платья, полгода они носили грубые шерстяные сорочки, от которых их лихорадило. Они жили не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец, им не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, они, изнеможенные, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной молельни.

Все эти создания должны были поочередно стоять на коленях двенадцать часов подряд на каменных плитах пола или лежать, распростершись ниц, раскинув руки крестом.

Те существа были мужчины; эти – женщины.

Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были разбойники, фальшивомонетчики, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.

Там – разбой, мошенничество, воровство, насилие, разврат, убийство, все виды кощунства, разнообразие преступлений; здесь же – невинность.

Невинность чистейшая, почти вознесенная над землей в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая и к небу своею святостью.

Там – признания в преступлениях, поверяемые друг другу шепотом; здесь – исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!

Там – миазмы, здесь – благоухание. Там – нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных, здесь – чистое пламя душ, возженное на едином очаге. Там – мрак, здесь – тень, но тень, полная озарений, и озарения, полные лучистого света.

И там и здесь – рабство; но там возможность освобождения, предел, указанный законом, наконец, побег. Здесь – рабство пожизненное; единственная надежда – и лишь в самом далеком будущем – тот брезжащий луч свободы, который люди называют смертью.

К тому рабству люди прикованы цепями; к этому – своей верой.

Что исходит оттуда? Неслыханные проклятия, скрежет зубовой, ненависть, злоба отчаяния, вопль возмущения человеческим обществом, хула на небеса.

Что исходит отсюда? Благословение и любовь.

И вот в этих столь похожих и столь разных местах два вида различных существ были заняты одним и тем же – искуплением.

Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, – искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупление чужих грехов, взятое на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего? Какое искупление?»

А голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия – искупление чужих грехов».

Наше мнение по этому поводу мы оставляем при себе – мы являемся здесь только рассказчиком; мы становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления. Перед ним была высшая ступень самоотверженности, вершина добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние; добровольное рабство, приятие

мученичества, страдание, которого просят души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.

И тогда Жан Вальжан думал о том, что он еще смеет роптать!

Нередко он вставал ночью, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод пробежал по его жилам, когда он вспоминал, что если те, кто были наказаны справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для богохульства и что он, несчастный, тоже когда-то восставал против бога.

Его поражало то, что и подъем по стене, и преодоление ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение – все усилия, предпринятые им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это его судьбы? Он глубоко задумывался над этим, словно внимая тихому, предостерегающему голосу провидения.

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, но он не представлял себе ничего подобного.

Он опять увидел решетки, замки, железные засовы; кого же должны они были стеречь? Ангелов.

Когда-то он видел высокие стены вокруг тигров; теперь он видит их опять, но вокруг агнцев. Это было место искупления, а не наказания; между тем оно было еще суровее, угрюмее, еще беспощаднее, чем то. Девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забранный решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?

Когда он думал об этом, все существо его склонялось перед тайной непостижимо высокого. Во время таких размышлений гордость исчезает. Он рассматривал себя со всех сторон и, сознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение полугода, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта – путем любви, монастырь – путем смирения.

В сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, возле молельни: он стоял на коленях под окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, лицом туда, где, как ему было известно, лежала распростертая в искупительной молитве сестра-монахиня. И, преклонив перед нею колена, молился.

Перед богом он словно не осмеливался преклонить колена.

Все, что окружало его, – мирный сад, благоухающие цветы, дети, их радостный гомон, простые, серьезные женщины, тихая обитель, – медленно овладевало им, и постепенно в его душу проникли тишина монастыря, благоухание цветов, мир сада, простота женщин, радость детей. И он думал, что это два божьих дома, приютивших его в роковые минуты его жизни: первый – когда все двери были для него закрыты и человеческое общество оттолкнуло его; второй – когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь перед ним открывалась каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.

Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.

Прошло много лет: Козетта подросла.

Том II

Перевод: К. Г. Локс Н. Д. Эфрос

Часть III «Мариус»

Книга первая Париж, изучаемый по его атому

Глава первая. Parvulus⁷⁰

У Парижа есть ребенок, а у леса – птица; птица зовется воробьем, ребенок – гаменом. Сочетайте оба эти понятия – печь огненную и утреннюю зарю, дайте обеим этим искрам – Парижу и детству – столкнуться, – возникнет маленькое существо. *Nomuncio*⁷¹, сказал бы Плавт.

Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не каждый день случается поесть, но в театр, если вздумается, этот человечек ходит каждый вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нем одна подтяжка с желтой каемкой; он вечно рыщет, что-то выискивает, кого-то подкарауливает; бездельничает, курит трубку, ругается на чем свет стоит, шляется по кабачкам, знается с ворами, на «ты» с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это потому, что в душе у него жемчужина – невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек еще ребенок, богу угодно, чтобы он оставался невинным. Если бы спросили у огромного города: «Кто же это?» – он ответил бы: «Мое дитя».

Глава вторая. Некоторые отличительные его признаки

Парижский гамен – это карлик при великане. Не будем преувеличивать: у нашего херувима сточных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная; у него иногда бывают башмаки, но в таком случае они без подметок; у него иногда есть дом, и он его любит, так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа; свои метафоры: умереть на его языке называется «сыграть в ящик»; свои ремесла: приводить фиакры, опускать подножки у карет, взимать с публики во время сильных дождей дорожную пошлину за переход с одной улицы на другую, что он называет «сооружать переправы», выкрикивать содержание речей, произносимых представителями власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями; у него свои деньги: подбираемый на улице мелкий медный лом. Эти необычные деньги именуются «пуговицами» и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу. Есть у него также и своя фауна, за ней он прилежно наблюдает по закоулкам: божья коровка, тля «мертвая голова», паук «коси – сено», «черт» – черное насекомое, которое угрожающе

⁷⁰ Дитя (лат.)

⁷¹ Человечек (лат.)

вертит хвостом, вооруженным двумя рожками. У него свое сказочное чудовище; брюхо чудовища покрыто чешуей – но это не ящерица, на спине бородавки – но это не жаба; живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах; оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел; он зовет это чудовище «глухачом». Искать глухачей под камнями – удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие – быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится своими интересными находками. На дровяных складах монастыря урсулинок водятся ухвертки, близ Пантеона – тысяченожки, во рвах Марсова поля – головастики.

«Словечек» у этого ребенка не меньше, чем у Талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но он порядочней его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника диким хохотом. Он легко переходит от высокой комедии к фарсу.

Проходит похоронная процессия. Среди провожающих покойника – доктор. «Гляди-ка! – кричит гамен. – С каких это пор доктора сами доставляют свою работу?»

Другой затесался в толпу. Солидный мужчина с очках, при брелоках, возмущенно оборачивается: «Негодяй! Как ты посмел завладеть талией моей жены?» – «Что вы, сударь! Можете обыскать меня».

Глава третья. Он не лишен привлекательности

По вечерам, располагая несколькими су, которые он всегда находит способ раздобыть, homuncio отправляется в театр. Переступив за волшебный его порог, он преображается. Он был гаменом, он становится «тютю»⁷². Театры представляют собой подобие кораблей, перевернутых трюмами вверх. В эти трюмы и набиваются тютю. Между тютю и гаменом такое же соотношение, как между ночной бабочкой и ее личинкой; то же существо, но только летающее, парящее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его бьющих через край восторгов и радостей, его рукоплесканий, напоминающих хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, грязный, нездоровый, отвратительный, ужасный трюм превратился в парадиз.

Одарите живое существо всем бесполезным и отнимите у него все необходимое – и вы получите гамена.

Гамен не лишен художественного чутья. Однако, к крайнему нашему сожалению, классический стиль не в его вкусе. По природе своей гамен не очень академичен. Так, например, мадмуазель Марс пользовалась у этих юных, буйных театралов популярностью, сдобренной некоторой дозой иронии. Гамен называл ее «мадмуазель Шептунья».

Это существо горланит, насмешничает, зубоскалит, дерется; оно обмотано в тряпки, как грудной младенец, одето в рубище, как философ. Этот оборвыш что-то удит в сточных водах, за чем-то охотится по клоакам; в нечистотах находит предмет веселья; вдохновенно сыплет руганью на всех перекрестках; издевается, свистит, язвит и напевает; равно готов и обласкать и оскорбить; способен умерить торжественность «Аллилуйи» какой-нибудь залихватской «Матантюрь – люретой»; поет на один лад все существующие мелодии, от «упокой господи» до озорных куплетов. Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает; он спартанец даже в мошенничестве, безумец даже в благоразумии, лирик даже в

⁷² Мальчик из рабочей семьи, житель парижских предместий. (Прим. авт.)

сквернословии. С него случилось бы присесть под кустик и на Олимпе; он мог бы вывалиться в навозе, а встать осыпанным звездами. Парижский гамен – это Рабле в миниатюре. Он недоволен своими штанами, если в них нет кармашка для часов. Он редко бывает удивлен, еще реже – испуган. Высмеивает в песенках суеверия, разоблачает всякую ходульность и преувеличение, подтрунивает над таинственным, показывает язык привидениям, не находит прелести в пафосе, смеется над эпической напыщенностью. Отсюда не следует, однако, что он совсем лишен поэтической жилки; вовсе нет! Он просто склонен рассматривать торжественные видения как шуточные фантазмагии. Предстань перед ним Адамастор, гамен, наверное, сказал бы: «Вот так чучело!»

Глава четвертая. Он может быть полезным

Париж начинается зевакой и кончается гаменом – двумя существами, каких неспособен породить никакой другой город; пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием, и неиссякаемая инициатива; Прюдом и Фуйу. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зевака – воплощение монархического начала. Гамен – анархического. Это бледное дитя парижских предместий живет и развивается, «зацветает» и «расцветает» в страданиях, в гуще социальной действительности и человеческих дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя беззаботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь Предрассудком, Злоупотреблением, Подлостью, Угнетением, Насилием, Деспотизмом, Несправедливостью, Фанатизмом, Тиранией, берегитесь гамена, хотя он и глаза не разинув рот.

Этот малыш вырастет.

Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут – и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказано гамену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионийцем или беотийцем? Дайте срок, *curret rota*⁷³, и дух Парижа, этот демон, создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору.

Глава пятая. Границы его владений

Гамен любит город, но, поскольку в гамене живет мудрец, он любит и уединение. *Urbis amator*⁷⁴, как Фуск; *guris amator*⁷⁵, как Гораций.

Задумчиво бродить, то есть прогуливаться прогулки ради, – самое подходящее времяпровождение для философа. В особенности бродить по этому подобию деревни, по этой убудочной, достаточно безобразной, но своеобразной и обладающей двойственным характером местности, что окружает многие большие города и в частности Париж.

⁷³ Вертится колесо (*лат.*)

⁷⁴ Любитель столицы (*лат.*)

⁷⁵ Любитель села (*лат.*)

Наблюдать окраины – все равно что наблюдать амфибию. Конец деревьям – начало крышам, конец траве – начало мостовой, конец полям – начало лавкам, конец мирному житью – начало страстям, конец божественному шепоту – начало людскому говору, – вот что придает окраинам особый интерес.

Вот что заставляет мечтателя совершать свои с виду бесцельные прогулки в эти малопривлекательные окрестности, раз и навсегда заклеенные прохожими эпитетом «печальные».

Пишущий эти строки и сам когда-то любил бродить за парижскими заставами; это оставило неизгладимый след в его памяти. Подстриженный газон, каменистые тропинки, меловая, мергелевая или гипсовая почва, суровое однообразие лежащих под паром или невозделанных полей, огороды с грядками ранних овощей, неожиданно возникающие где-нибудь на заднем плане, смесь дикости с домовитостью, обширные и безлюдные задворки, где полковые барабаны, отбивая громкую дробь, пытаются напомнить о громах сражений, пустыри, превращающиеся по ночам в разбойничьи притоны, неуклюжая мельница с вертящимися на ветру крыльями, подъемные колеса каменоломен, кабачки на углах кладбищ, таинственная прелесть высоких мрачных стен, замыкающих в своих квадратах огромные пустые пространства, залитые солнцем и полные бабочек, – все это привлекало его.

Мало кому известны такие необычные места, как Гласьер, Кюнет, отвратительная, испещренная пулями стена Гренель, Мон-Парнас, Фос-о-Лу, Обье на крутом берегу Марны, Мон – Сури, Томб – Исуар, Пьер-Плат в Шатильоне, со старой истощенной каменоломней, где теперь растут грибы и куда ведет откидной трап из сгнивших досок. Римская Кампанья есть некое обобщенное понятие; парижское предместье является таким же обобщенным понятием. Не видеть ничего, кроме полей, домов и деревьев, в открывающихся нашим взорам картинах – значит скользить по поверхности. Все зримые предметы суть мысли божий. Местность, где равнина сливается с городом, всегда проникнута какой-то скорбной меланхолией. Здесь слышатся и голос природы и голос человека, Здесь все полно своеобразия.

Тем, кому, подобно нам, доводилось бродить по примыкающим к нашим предместьям пустынным окрестностям, которые можно было бы назвать преддвериями Парижа, наверное не раз случалось видеть в самых укромных и неожиданных местах, за каким-нибудь ветхим забором, или в углу у какой-нибудь мрачной стены шумные ватаги дурно пахнущей, грязной, запыленной, оборванной, нечесаной, но в венках из васильков, детворы, играющей в денежки. Все это – дети бедняков, покинувшие свой дом. За чертой города им легче дышится. Предместье – их стихия. Они пропадают здесь, болтаясь без дела. Здесь простодушно исполняют они весь свой репертуар непристойных песен. Это завсегда таи предместья, вернее, тут, вдали от посторонних взоров, в легкой ясности майского или июньского дня, и протекает по-настоящему их жизнь. Вырвавшись на волю, ни перед кем не обязанные держать ответ, свободные, счастливые, они, собравшись в кружок, играют в камушки, загоняя их ударом большого пальца в ямку, и препираются из-за поставленной на кон полушки. Завидя вас, они тотчас же вспоминают, что у них есть ремесло, что им надо зарабатывать хлеб насущный, и предлагают вам купить у них то старый шерстяной чулок, набитый майскими жуками, то пучок сирени. Эти необычные встречи с детьми придают особую и вместе с тем горькую прелесть прогулкам по парижским окрестностям.

Иногда среди мальчиков попадаются и девочки – их сестры, быть может? – почти уже взрослые девушки, худенькие, возбужденные, с загорелыми руками и веснушчатыми лицами, веселые, пугливые, босоногие, с колосьями ржи и маками в волосах. Некоторые из них, забравшись в рожь, едят вишни. По вечерам можно услышать их смех. Группы детей, то ярко освещенные знойными лучами полуденного солнца, то едва различимые в сумерках, надолго завладевают мечтателем, и эти картины примешиваются к его грезам.

Париж – центр, его предместья – окружность; вот, в представлении детей, и весь земной шар. Ничто не заставит их переступить за эти пределы. Им так же не обойтись без парижского воздуха, как рыбе без воды. За два лье от заставы для них начинается пустота; Иври, Жантильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье, Менильмонтан, Шуази – ле – Руа, Билянкур, Медон, Исси, Ванвр, Севр, Пюто, Нельи, Женевилье, Коломб, Роменвиль, Шату, Аньер, Буживаль, Нантер, Энгьен, Наузиле – Сэк, Ножан, Гурне, Дранси, Гонес – этим кончается вселенная.

Глава шестая. Немножко истории

В эпоху, когда происходят описываемые в нашей книге события, кстати сказать, почти нам современную, – на углу каждой улицы не стоял, как ныне, постовой (принесло ли это пользу – об этом здесь не время распространяться), и Париж кишел тогда маленькими бродягами. Из статистических данных явствует, что полицейскими облавами на неотгороженных пустырях, в строящихся зданиях и под сводами мостов ежегодно задерживалось в среднем до двухсот шестидесяти бесприютных детей. В одном из таких стяжавших себе известность гнезд вывелись «ласточки Аркольского моста». Вообще же говоря, это самый грозный из симптомов всех общественных болезней. Все преступления взрослых людей берут свое начало в бродяжничестве детей.

Однако для Парижа надо сделать исключение. Несмотря на вышеприведенную справку, Париж до известной степени имеет на это право. Тогда как во всяком другом большом городе маленького бродягу можно уже заранее считать человеком погибшим, тогда как почти везде ребенок, предоставленный самому себе, как бы уже самой судьбой обречен погрязнуть в пороках нашего общества, отнимающих у него честь и совесть, парижский гамен, такой искушенный и испорченный с виду, остается – мы на этом настаиваем – внутренне почти нетронутым. Это замечательное явление особенно ярко выражено в изумительной честности наших народных революций; как в водах океана – соль, так в воздухе Парижа растворены некие идеи, предохраняющие от порчи. Дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу.

Но, что бы мы ни говорили, сердце болезненно сжимается всякий раз, когда встречаешь этих детей, за которыми, кажется, так и видишь концы оборванных нитей, связывавших их с семьей. При нынешнем столь еще несовершенном состоянии цивилизации существование таких распадающихся семей, которые стараются потихоньку освободиться от лишних ртов, равнодушны к участи собственных детей и выбрасывают свое потомство на улицу, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Отсюда происхождение безродных людей. Это печальное явление стало настолько обыденным, что сложилось даже особое выражение: «быть выкинутым на парижскую мостовую».

Укажем попутно, что старую монархию не беспокоило подобное небрежение к детям. Существование некоторого количества праздношатающихся и бродяг в низших слоях общества входило в интересы высших сфер и было на руку власти имущим. «Вред» распространения образования среди детей простого народа был возведен в догму. «Нам не нужны недоучки» – это стало требованием дня. А детское невежество логически вытекает из детской бесприютности.

Впрочем, по временам монархия испытывала нужду в детях и в таких случаях производила очистку улиц.

При Людовике XIV, чтоб не заходить слишком далеко, – по желанию короля, и желанию весьма разумному, – было решено создать флот. Идея сама по себе хорошая, но посмотрим, какими средствами она осуществлялась. Флот немислим, если наряду с парусными судами, являющимися игрушкой ветра, не Существует судов, свободно передвигающихся в любом

направлении с помощью весел или пара. Место нынешних пароходов в те времена занимали во флоте галеры. Следовательно, нужно было обзавестись галерами. Но галеры не могут обойтись без гребцов. Следовательно, нужно было обзавестись гребцами. Кольбер, при посредстве провинциальных интендантов и парламентов, увеличивал, сколько мог, число каторжников. Судейские весьма услужливо шли ему в этом навстречу. Человек не снял шляпы перед проходившей мимо церковной процессией – гугенотская повадка! – его отправляли на галеры. Попадался мальчишка на улице, и если только оказывалось, что он уже достиг пятнадцатилетнего возраста и у него нет приюта, – его отправляли на галеры. Великое царствование, великий век!

При Людовике XV в Париже наблюдались случаи исчезновения детей. Полиция похищала их в каких-то неведомых, таинственных целях. Люди с ужасом перешептывались и строили чудовищные предположения относительно ярко-алого цвета королевских ванн. Барбье простодушно повествует об этом. Случалось, что полицейские из-за нехватки детей забирали и таких, у которых были родители. Отцы в отчаянии набрасывались на полицейских. Тогда вмешивался в дело парламент и приговаривал к повешенью... Кого? Полицейских? Нет, отцов!

Глава седьмая.

Гамены могли бы образовать индийскую касту

Парижские гамены – это почти что каста. И, надо сказать, не всякому открыт в нее доступ. Слово «гамен» впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа Клод Ге. Разразился скандал. Но слово прижилось.

Основания, на которых зиждется уважение гаменов друг к другу, разнообразны. Мы близко знали одного гамена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что видел, как человек упал с колокольни Собора Парижской Богоматери. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола Дома инвалидов и «стибровать» там малую толику свинца. Третий – потому, что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один – потому, что «знавал» солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа.

Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гамена – глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные: «Господи боже мой! Какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа!» (причем мне произносилось, как мине, а этаж, как етаж).

Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин: «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни; почему ты не позвал доктора?» – «Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать самосильно». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместья нашли полное выражение в нижеследующем: преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни, напутствие духовника. «Он разговаривает с попом! – негодуя восклицает дитя Парижа. – Экий трус!»

Некоторая смелость в вопросах религии придает гамену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим.

Присутствовать при казнях – его долг. Гамены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шуточные прозвища: «Прощай, суп», «Ворчунья», «Голубая (небесная) мамаша», «Последний глоточек» и т. д. и т. д. Чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, виснут на решетках, цепляются за трубы. Гамен – прирожденный

кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтез – самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиканьем. Иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом и глядя, как мужественно умирал страшный Дотен, произнес слова, исполненные предчувствия собственной судьбы: «Я ему завидовал». Никто среди гаменов не слыхал о Вольтере, но зато все отлично знают Папавуана. В этом сонме героев не делают различия между «политиками» и убийцами. Предание о том, кто какой имел вид в свой последний час, сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль – в меховой фуражке, Лувель – в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Лекуфе ссорились между собой. «Будет вам делить вашу корзину!» – крикнул им какой-то гамен. Другой, желая посмотреть, как повезут Дебакера, но из-за малого своего роста ничего не видя в толпе, облюбовывает фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм! – просит гамен и, чтобы задобрить служителя власти, добавляет: – Я не свалюсь». – «А мне-то что, свалишься ты или нет», – отвечает жандарм.

Большое значение придают гамены несчастным случаям. Наивысший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко, «до самой кости», порезаться.

Немалым уважением пользуется у гаменов также кулак. Излюбленная фраза гамена: «Я здорово сильный. Во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза – весьма ценным качеством.

Глава восьмая, в которой идет речь об одной милой шутке последнего короля

С наступлением лета гамен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с угольной баржи или мостков, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил, он бросается вниз головой в Сену, прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но, поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от гамена к гамену. Он скандируется, как строфы Гомера, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопеи элевзинских празднеств, в нем слышится античное «Эвоэ!» Вот этот клич: «Гэй, тютти, ге – эй, не заразись! Фараоны близко, шевелись, собирай свои пожитки, живо, сточной трубы держись!»

Кое-кто из этой мошкеры, как они сами себя называют, умеет читать, кое-кто – писать, но рисовать, с грехом пополам, умеют все. Какими-то таинственными путями взаимного обучения гамен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815 по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848 малевал на всех стенах груши. Раз летним вечером Луи – Филипп, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему луидор, пояснив: «Тут тоже груша». Гамен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может «попов». Как-то на Университетской улице одного из таких шельмецов застали рисуящим нос на воротах дома э 69. «Зачем ты это делаешь?» – спросил его прохожий. «Здесь живет поп», – ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций. Но как бы ни был в га мене силен вольтерьянский дух, он не прочь при случае

поступить в церковный хор, и тогда он добросовестно исполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала, – низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны. Гамен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам. Изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение. Как в открытой книге, читает он в душе полицейских и живо, без запинки отрапортует вам: «Вот этот – ябеда; этот – злюка; этот – задавака; этот – сушая умора (все эти слова: ябеда, злюка, задавака, умора – имеют в его устах особый смысл); а вот тот вообразил себя хозяином Нового моста и не дает публике прогуливаться по карнизам по ту сторону перил; а вот у этого прескверная привычка драть людей за уши», и т. д. и т. д.

Глава девятая. Древний дух Галлии

Что-то родственное с этим ребенком было у Поклена – сына рынка; было оно и у Бомарше. Гаменство – разновидность галльского характера. Примешанное к здравому смыслу, оно придает ему порой крепость, как вино – алкоголь, иногда же является недостатком. Если можно допустить, что Гомер пустословит, то про Вольтера можно сказать, что он гаменствует. Камилл Демулен был жителем предместий. Шампионе, невежливо обращавшийся с чудесами, вырос на парижской мостовой. Еще мальчишкой он «орошал» паперти церковей Сен-Жанде-Бове и Сент-Этьен-дю-Мон. А усвоив привычку бесцеремонно «тыкать» раке святой Женевьевы, он, не задумываясь, отдал команду и фиалу святого Януария.

Парижский гамен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и желудок его всегда не в порядке, но у него прекрасные глаза – потому что он умен. В присутствии самого Иеговы он не постеснялся бы вприпрыжку, на одной ножке, взбираться по ступенькам райской лестницы. Он мастер ножного бокса. Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись, в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости: миг – и сорвиголова становится героем. Подобно маленькому фиванцу, потрясает он львиной шкурой, барабанщик Бара был парижским гаменом. Как конь Священного писания подает голос «Гугу!», так он кричит: «Вперед!», и мальчонка мгновенно вырастает в великана.

Это дитя не только скверны, но и высоких идеалов. Измерьте всю широту размаха от Мольера до Бара.

Итак, делаем вывод: гамен – существо, которое забавляется, потому что оно несчастно.

Глава десятая. Esse paris, esse homo⁷⁶

А теперь сделаем еще один вывод: парижский гамен является ныне тем же, чем был некогда римский graeculus⁷⁷. Это народ-дитя с морщинами старого мира на челе.

Гамен – краса нации и вместе с тем – ее недуг. Недуг, который нужно лечить. Но чем? Учением.

Учение оздоравливает.

⁷⁶ Се Париж, се человек (*лат.*)

⁷⁷ Грек (презрительно) (*лат.*)

Учение просвещает.

Источником всего благородного в сфере социальных отношений является наука, литература, искусство, образование. Воспитывайте же, воспитывайте людей! Дайте им свет знаний, чтобы они могли согреть вас! Рано или поздно великий вопрос всеобщего обучения завоюет признание непреложной истины, и тогда тем, кто будет стоять у власти, придется под давлением французской передовой мысли решать, на ком остановить выбор: на истинном сыне Франции или на гамене Парижа; на ярком пламени, зажженном лучами просвещения, или на болотном огоньке, мерцающем во мраке невежества.

Гамен – олицетворение Парижа, а Париж – олицетворение мира.

Ибо Париж всеобъемлющ. Париж – мозг человечества. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж, кажется, что видишь изнанку всеобщей истории человечества, а в разрывах – небо и звезды. У Парижа есть свой Капитолий – городская ратуша, свой Парфенон – Собор Парижской Богоматери, свой Авентинский холм – Сент-Антуанское предместье, свой Азинарий – Сорбонна, свой Пантеон – тоже Пантеон, своя Священная дорога – бульвар Итальянцев, своя Башня ветров – общественное мнение. И он не сбрасывает с Гемоний – он отдает на посмешище. Его *maïo*⁷⁸ зовется хлыщом, *транстеверинец* – жителем предместья, *hammal*⁷⁹ – крючником, *ладзарони* – мазуриком, *кокней* – фатом. Все, что существует где бы то ни было, есть и в Париже. Рыбная торговка Дюмарсе сумела бы подать реплику эврипидовой зеленщице; дискобол Веян оживает в канатном плясуне Фориозо; воин Ферапонтигон мог бы пройти с гренадером Вадебонкером; антикварий Дамасип, наверно, чувствовал бы себя как дома у парижских торговцев старым хламом; Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро засажен Агорой в тюрьму; если Куртилу принадлежит такое изобретение, как жареный еж, то Гримо де ла Реньеру – такое, как ростбиф в сале; в шарообразном куполе арки Звезды мы видим возрожденной трапедию Плавта; повстречавшийся Апулею пожиратель мечей с афинского портика Пойтиле теперь глотает шпаги на Новом мосту; племянник Рамо и прихлебатель Куркульон составили бы превосходную парочку; д'Эгрфэйль не преминул бы познакомить Эргасила с Камбасересом; четырех римских щеголей – Алкесимарха, Федрома, Диабола и Аргириппа – в наши дни можно видеть возвращающимися из Куртиль в почтовой карете Лабатю; Авл Гелий задерживался перед Конгрионом не дольше, чем Шарль Нодье перед Полишинелем; правда, Мартон нельзя назвать неумолимой, но и Пардалиска не была непреклонной; весельчак Пантолаб и сейчас потешается в английском кафе над гулякой Номентаном; Гермоген стал тенором на Елисейских полях, а плут Фразий, нарядившись Бобешем, рассказывает возле него и собирает пожертвования; назойливый субъект, который останавливает вас в Тюильри, схватив за пуговицу сюртука, заставляет вас через две тысячи лет повторить апострофу Фесприона: *Quis propterantem meprehendit pallio?*⁸⁰; сюренское вино – подделка албанского, а налитый до краев бокал Дезожье ничем не уступает полной чаше Балатрона; в дождливые ночи от Пер-Лашез исходит такое же свечение, как от Эсквилина; купленная на пять лет могила бедняка стоит взятого напрокат гроба рабов.

Попробуйте отыскать что-либо такое, чего бы не было в Париже. Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера; Эргафил воскресает в Калиостро; брамин Вазафанта воплощается в графа Сен-Жермен; чудеса Сен-Медарского кладбища ничуть не менее поразительны, чем чудеса мечети Умумие в Дамаске.

⁷⁸ Щеголь (*исп.*)

⁷⁹ Носильщик (*арабск.*)

⁸⁰ Спешу я. Кто за плащ хватает? (*лат.*) – из комедии Плавта «Эпидик».

У Парижа есть свой Эзоп – Майе, своя Канидия – девица Ленорман. Как некогда Дельфы, и его покой смущают явления светящихся духов, и он занимается верчением столов, как Додона – верчением треножников. Пусть Рим возводил на трон куртизанок, – он возводит на него гризеток; в конце концов если Людовик XV и хуже Клавдия, то г-жа Дюбарри лучше Мессалины. Сочетая греческую ясность с еврейской уязвленностью и гасконским краснобайством, Париж создает небывалый тип человека, который, однако, существовал и с которым нам приходилось сталкиваться. Сделав месиво из Диогена, Иова и Паяца, нарядив призрак в старые номера Конституционалиста, он производит на свет божий Шодрюка Дюкло.

Хотя Плутарх и говорит, что «тирана ничто не смягчит», при Сулле и Домициане Рим был смирен и безропотно разбавлял вино водой. Тибр, если верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска, играл в данном случае роль Леты: *Contra Gracchos Tiberim habemus. Bibere Tiberim, id est seditionem cbluisci*⁸¹, – говорит Вар. Париж выпивает ежедневно миллион литров воды, что не мешает ему, однако, при случае бить в набат и поднимать тревогу.

А при всем том Париж – добрый малый. Он царственно приемлет все и не слишком щепетилен в любовных делах; его Венера – из готтентоток; он готов все простить, только бы посмеяться; физическое уродство его веселит, духовное забавляет, порок развлекает; ежели ты затейник – будь хоть мошенник; его не возмущает даже лицемерие – эта последняя степень цинизма; он достаточно начитан, чтобы не зажимать нос при появлении дона Базилио, а молитва Тартюфа шокирует его не больше, чем Горация «икота» Приапа. Чело Парижа повторяет все черты вселенского лика. Разумеется, бал в саду Мабиль – не полимнийские пляски на Яникулейском холме, но торговка галантереей вразнос выслеживает там лоретку, точь-в-точь как сводня Стафила – девственницу Планесию. Разумеется, застава Боев не Колизей, но и там проявляют кровожадность, как некогда в присутствии Цезаря. Надо думать, что сирийские трактирщицы отличались большей миловидностью, чем тетушка Саге; однако если Вергилий был завсегдатаем римских трактиров, то Давид д'Анже, Бальзак и Шарле сживали за столиками парижских кабачков. Париж царит. Здесь блещут гении и процветают шуты. Здесь на своей колеснице о двенадцати колесах в громах и молниях проносится Адонай, и сюда же въезжает на своей ослице Силен. Силен – читай Рампоно.

Париж – синоним космоса. Париж – это Афины, Рим, Сибарис, Иерусалим, Пантен. Здесь частично представлены все виды культур и все виды варварства. Отнять у Парижа гильотину – значило бы сильно его раздосадовать.

Гревская площадь в небольшой дозе не вредна, Мог ли такой вечный праздник без подобной приправы быть в праздник? Наши законы мудро это предусмотрели, и кровь с ножа гильотины капля по капле стекает на этот нескончаемый карнавал.

Глава одиннадцатая.

Глумясь, властвовать

Границ Парижа не укажешь, их нет. Из всех городов лишь ему удавалось утверждать господство над своими подъяремными, осмеивая их. «Понравиться вам, о афиняне!» – воскликнул Александр. Париж не только создает законы, он создает нечто большее – моду; и еще нечто большее, чем мода, – он создает рутину. Вздумается ему, и он вдруг становится глупым; он разрешает себе иногда такую роскошь, и тогда весь мир глупеет вместе с ним; а потом Париж просыпается, протирает глаза, восклицает: «Ну не дурак ли я!» – и раздражается

⁸¹ «Против Гракхов у нас есть Тибр. Пить из Тибра – значит забывать о мятеже» (лат.)

оглушительным смехом прямо в лицо человечеству. Что за чудо-город! Самым непостижимым образом здесь грандиозное уживается с шутовским, пародия с подлинным величием, одни и те же уста могут нынче трубить в трубу Страшного суда, а завтра в детскую дудочку. У Парижа царственно веселый характер. В его забавах – молнии, его проказы державны. Здесь гримасе случается вызвать бурю. Гул его взрывов и битв докатывается до края вселенной. Его шедевры, диковины, эпопеи, как, впрочем, и весь его вздор, становятся достоянием мира. Его смех, вырываясь, как из жерла вулкана, лавой заливают землю. Его буффонады сыплются искрами. Он навязывает народам и свои нелепости и свои идеалы; высочайшие памятники человеческой культуры покорно сносят его насмешки и отдают ему на забаву свое бессмертие. Он великолепен; у него есть беспримерное 14 июля, принесшее освобождение миру; он зовет все народы произнести клятву в Зале для игры в мяч; его ночь на 4 августа в какие-нибудь три часа свергает тысячелетнюю власть феодализма. Природное здравомыслие он умеет обратить в мускул согласованного действия людской воли. Он множится, возникая во всех формах возвышенного; отблеск его лежит на Вашингтоне, Костюшко, Боливаре, Боццарисе, Риго, Беме, Манине, Лопеце, Джоне Брауне, Гарибальди. Он всюду, где загорается надежда человечества: в 1779 году он в Бостоне, в 1820-на острове Леоне, в 1848-в Пеште, в 1860-в Палермо. Он повелительно шепчет на ухо пароль Свобода и американским аболиционистам, толпящимся на пароме в Харперс – Ферри, и патриотам Анконы, собирающимся в сумерках в Арчи на берегу моря, перед таверной Гоцци. Он родит Канариса, Кирогу, Пизакане; от него берет начало все великое на земле; им вдохновленный Байрон умирает в Миссолонги, а Мазе в Барселоне; под ногами Мирабо – он трибуна, под ногами Робеспьера – кратер вулкана; его книги, его театр, искусство, наука, литература, философия служат учебником, по которому учится все человечество; у него есть Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан – Жак, Вольтер для каждой минуты, а для веков – Мольер; он заставляет говорить на своем языке все народы, и язык этот становится глаголом; он закладывает во все умы идеи прогресса, а выкованные им освободительные теории служат верным оружием для поколений; с 1789 года дух его мыслителей и поэтов почиет на всех героях всех народов. Все это нисколько не мешает ему повесничать; исполинский гений, именуемый Парижем, видоизменяя своей мудростью мир, может в то же время рисовать углем нос Бужинье на стене Тезеева храма и писать на пирамидах: «Кредевилль – вор».

Париж всегда скалит зубы: он либо рычит, либо смеется.

Таков Париж. Дымки над его крышами – идеи, уносимые в мир. Груда камней и грязи, если угодно, но прежде всего и превыше всего – существо, богатое духом. Он не только велик, он необъятен. Вы спросите, почему? Да потому, что он смеет дерзать.

Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс.

Все блистательные победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. Чтобы революция совершилась, недостаточно было Монтескье ее предчувствовать, Дидро проповедовать, Бомарше провозгласить, Кондорсе рассчитать, Аруэ подготовить, Руссо провидеть, – надо было, чтобы Дантон дерзнул.

Смелее! Этот призыв – тот же *Fiat lux*⁸². Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Чудеса храбрости заливают историю ослепительным блеском, и это одни из ярчайших светочей. Заря дерзает, когда занимается. Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться –

⁸² Да будет свет (*лат.*)

вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий. От факела Прометея к носогрейке Камброна змеится все та же грозная молния.

Глава двенадцатая. Будущее, таящееся в народе

Парижское простонародье и в зрелом возрасте остается гаменом. Дать изображение ребенка – значит дать изображение города; вот почему для изучения этого орла мы воспользовались обыкновенным воробышком.

Наилучшие представления о парижском племени, – мы на этом настаиваем, – можно получить в предместьях; тут самая чистая его порода, самое подлинное его лицо; тут весь этот люд трудится и страдает; а в страданиях и в труде и выявляются два истинных человеческих лика. Тут, в несметной толпе никому неведомых людей, кишмя кишат самые необычайные типы, от грузчика с Винной пристани и до живодера с монфоконской свалки. *Fex urbis*⁸³, – восклицает Цицерон; *mob*⁸⁴, – добавляет негодующий Берк; сброд, масса, чернь – эти слова произносятся с легким сердцем. Пусть так! Что за важность? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны. Так что же? Неужели вы бросите их за это на произвол судьбы? Неужели воспользуетесь их несчастьем? Неужели просвещению не дано проникнуть в народную гущу? Так повторим же наш призыв к просвещению? Не устанем твердить: «Просвещения! Просвещения!» Как знать, быть может, эта тьма и рассеется. Разве революции не несут преобразования? Слушайте меня, философы: обучайте, разъясняйте, просвещайте, мыслите вслух, говорите во всеуслышание; бодрые духом, действуйте открыто, при блеске дня, братайтесь с площадями, возвещайте благую весть, щедро оделяйте букварями, провозглашайте права человека, пойте марсельезы, пробуждайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Обратите идеи в вихрь. Толпу можно возвысить. Сумеем же извлечь пользу из той неукротимой бури, какою в иные минуты разражается, бушует и шумит мысль и нравственное чувство людей. Босые ноги, голые руки, лохмотья, невежество, униженность и темнота – все это может быть направлено на завоевание великих идеалов. Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину. Киньте грязный песок из-под ваших ног в горнило, дайте этому песку плавиться и кипеть, и он превратится в дивный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон откроют небесные светила.

Глава тринадцатая. Маленький Гаврош

Примерно восемь или девять лет спустя после событий, рассказанных во второй части настоящей повести, на бульваре Тампль и близ Шато-д'О можно было часто видеть мальчика лет одиннадцати-двенадцати, который был бы очень похож на нарисованный нами портрет гамена, не будь у него так пусто и мрачно на сердце, хотя, как все в его возрасте, он не прочь был и посмеяться. Мальчик был в мужских брюках, но не в отцовских, и в женской кофте, но не в материнской. Чужие люди одели его из милости в лохмотья. А между тем у него были родители. Но отец не желал его знать, а мать не любила. Он принадлежал к тем заслуживающим особого сострадания детям, которые, имея родителей, живут сиротами. Лучше всего он чувствовал себя на улице. Мостовая была для него менее жесткой, чем сердце матери.

⁸³ Подонки столицы (*лат.*)

⁸⁴ Чернь (*англ.*)

Родители пинком ноги выбросили его в жизнь. Он беспрекословно повиновался. Это был шумливый, бойкий, смышленный, задорный мальчик, живой, но болезненного вида, с бледным лицом. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавах, поворовывал, но делал это весело, как кошки и воробьи, смеялся, когда его называли постреленком, и обижался, когда его называли бродяжкой. У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он был жизнерадостен, потому что был свободен.

Когда эти жалкие создания вырастают, они почти неизбежно попадают под жернов существующего общественного порядка и размалываются им. Но пока они дети, пока они малы, они ускользают. Любая норка может укрыть их.

Однако, как ни заброшен был этот ребенок, изредка, раз в два или три месяца, он говорил себе: «Пойду-ка я повидаться с мамой!» И он покидал бульвар, минуя цирк и Сен – Мартенские ворота, спускался на набережную, переходил мосты, добирался до предместий, шел мимо больницы Сальпетриер и приходил – куда? Да прямо к знакомому уже читателю дому под двойным номером 50—52, к лачуге Горбо.

В ту пору лачуга э 50—52, обычно пустовавшая и неизменно украшенная билетиком с надписью: «Сдаются комнаты», оказалась – редкий случай! – заселенной личностями, как это водится в Париже, не поддерживавшими между собой никаких отношений. Все они принадлежали к тому неимущему классу, который начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и, спускаясь от бедняка к бедняку все ниже, до самого дна общества, кончается двумя существами, к которым стекаются одни лишь отбросы материальной культуры: золотарем, возящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим рвань.

«Главная жилища» времен Жана Вальжана уже умерла, ее сменила такая же. Кто-то из философов, – не помню, кто именно, – сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка». Эта новая старуха звалась тетушкой Бюргон; в жизни ее не было ничего примечательного, если не считать династии трех попугаев, последовательно царивших в ее сердце.

Из всех живших в лачуге в самом бедственном положении находилась семья, состоявшая из четырех человек: отца, матери и двух уже довольно взрослых дочерей. Все четверо помещались в общей конуре, в одном из трех чердаков, которые были уже нами описаны. На первый взгляд семья эта ничем особенным, кроме своей крайней бедности, не отличалась. Отец, нанимая комнату, назвался Жондретом. Вскоре после своего водворения, живо напоминавшего, по достопамятному выражению главной жилицы, «въезд пустого места», Жондрет сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, исполняла обязанности привратницы и мела лестницу: «Матушка, как вас там, если случайно будут спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте – это я».

Это и была семья веселого оборвыша. Он приходил сюда, но видел лишь нищету и уныние и – что еще печальнее – не встречал ни единой улыбки: холодный очаг, холодные сердца.

Когда он входил, его спрашивали: «Ты откуда?» Он отвечал: «С улицы». Когда уходил, его спрашивали: «Ты куда?» Он отвечал: «На улицу». Мать попрекала его. «Зачем ты сюда ходишь?»

Этот ребенок, лишенный ласки, был как хилая травка, что вырастает в погребке. Он не страдал от этого и никого в этом не винил. Он по-настоящему и не знал, какими должны быть отец и мать.

Впрочем, мать любила его сестер.

Мы забыли сказать, что на бульваре Тамплъ этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему его называли Гаврошем? Да, вероятно, потому же, почему его отца называли Жондретом.

Инстинктивное стремление порвать родственные узы свойственно, по-видимому, некоторым бедствующим семьям.

Комната в лачуге Горбо, где жили Жондреты, была в самом конце коридора. Каморку рядом занимал небогатый молодой человек, которого звали г-н Мариус.

Расскажем теперь, кто такой г-н Мариус.

Книга вторая
Важный буржуа

Глава первая.
Девяносто лет и тридцать два зуба

Среди давних обитателей улиц Бушера, Нормандской и Сентонж еще и теперь найдутся люди, помнящие и поминающие добрым словом старичка Жильнормана. Старичок этот был стар уже и тогда, когда сами они были молоды. Для всех, кто предается меланхолическому созерцанию смутного роя теней, именуемого прошлым, этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц, прилегающих к Тамплю, которым при Людовике XIV присваивали названия французских провинций совершенно так же, как в наши дни улицам нового квартала Тиволи присваивают названия всех европейских столиц. Явление, кстати сказать, прогрессивное, свидетельствующее о движении вперед.

Господин Жильнорман, в 1831 году еще совсем бодрый, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство единственно по причине своего долголетия, и если в свое время они ничем не выделялись из общей массы, то теперь казались незаурядными, так как ни на кого не походили. Это был очень своеобразный старик – в полном смысле слова человек иного века, с головы до ног настоящий, чуть-чуть надменный буржуа XVIII столетия, носивший свое старинное и почтенное звание буржуа с таким видом, с каким маркизы носят свой титул. Ему уже перевалило за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, хорошо видел, любил выпить, сытно поесть, по сне богатырски храпел. Он сохранил все свои тридцать два зуба. Надевал очки, только когда читал. Был влюбчив, но утверждал, что больше девяти лет тому назад решительно и бесповоротно отказался от женщин. По его словам, он уже не мог нравиться. Однако он прибавлял к этому не «Потому что слишком стар», а «Потому что слишком беден». «Не разорись я... ого – го!» – говорил он. Он и в самом деле располагал не более чем пятнадцатью тысячами ливров годового дохода. Его мечтой было получить наследство, иметь сто тысяч франков ренты и завести любовниц. Как видим, его отнюдь нельзя было причислить к тем немощным восьмидесятилетним старцам, которые, подобно Вольтеру, умирают всю жизнь. И долговечность его не была долговечностью битой посуды. Этот бодрый старик всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человек неглубокий, порывистый и очень вспыльчивый. Из-за любого пустяка он мог разбушеваться, и по большей части – будучи неправым. Если же ему перечили, он замахивался тростью и давал людям таску не хуже, чем в «великий век». У него была незамужняя дочь в возрасте пятидесяти с лишком лет, которую он в сердцах преобильно колотил и рад был бы высечь. Она все еще казалась ему восьмилетней девочкой. Он отпускал увесистые оплеухи своим слугам, приговаривая: «Ну и стервецы!». Одним из излюбленных его ругательств было: «Эх вы, пентюхи, перепентюхи.!» Вместе с тем ему была присуща изумительная невозмутимость; он каждодневно брился у полупомешанного цирюльника, который ненавидел его, ревнуя к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Жильнорман очень высоко ставил свое умение судить обо всем на свете и хвастался своей проницательностью. Вот одна из его острот: «Ну я ли не догадлив? Стоит блохе меня укусить, и я уже догадываюсь, с какой женщины она на меня перескочила». Его речь постоянно пересыпалась словами: «чувствительный человек» и «природа». Впрочем, он не вкладывал в это последнее слово такого широкого смысла, какое ему стали придавать в наше время, однако любил как-то по-своему ввернуть его в свои

шуточки у камелька. «Природа, – говаривал он, – желая наделить цивилизованные страны всем понемножку, ничего для них не жалеет, вплоть до забавных образцов варварства. В Европе существует, но только в малом формате, все, что встречается в Азии и в Африке. Кошка – это домашний тигр, ящерица – карманный крокодил. Танцовщицы из Оперы – те же людоедки, только розовенькие. Они съедают человека не сразу, они гложут его понемножку. А то – о волшебницы! – вдруг возьмут и превратят его в устрицу и проглотят. Карайбы оставляют одни кости, они – одни черепки. Таковы уж наши нравы. Мы не пожираем пищу мигом, а смакуем. Мы не приканчиваем добычу одним ударом, а медленно рвем на части».

Глава вторая. По хозяину и дом

Он жил в квартале Маре на улице Сестер страстей Христовых в доме э 6. Дом был его собственный. Он давно снесен, и теперь на его месте выстроен другой, а при постоянных изменениях, которые претерпевает нумерация домов парижских улиц, изменился, вероятно, и его номер. Жильнорман занимал просторную старинную квартиру во втором этаже, выходившую на улицу и в сады и увешанную до самого потолка огромными коврами, изделиями Гобеленовой и Бовеской мануфактур, изображавшими сцены из пастушеской жизни; сюжеты плафонов и панно повторялись в уменьшенных размерах на обивке кресел. Кровать скрывали большие девятистворчатые ширмы коромандельского лака. Длинные пышные занавеси широкими величественными складками спадали с окон. В сад, расположенный прямо под окнами комнат Жильнормана, попадали через угловую стеклянную дверь, по лестнице в двенадцать-пятнадцать ступеней, по которым наш старичок весьма проворно бегал вверх и вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, у него был еще будуар – предмет его гордости, изысканный уголок, обтянутый великолепными соломенными шпалерами в геральдических лилиях и всевозможных цветах. Шпалеры эти были исполнены в эпоху Людовика XIV каторжниками на галерах, по распоряжению г-на де Вивона, заказавшего их для своей любовницы. Они достались Жильнорману по наследству от двоюродной бабки с материнской стороны – взбалмошной старухи, дожившей до ста лет. Он был дважды женат. Своими манерами он напоминал отчасти придворного, хотя никогда им не был, отчасти судейского, а судейским он мог бы быть. При желании он бывал приветливым и радушным. В юности принадлежал к числу мужчин, которых постоянно обманывают жены и никогда не обманывают любовницы, ибо, будучи пренеприятными мужьями, они являются вместе с тем премилыми любовниками. Он понимал толк в живописи. В его спальне висел чудесный портрет неизвестного, кисти Иорданса, сделанный в широкой манере, как бы небрежно, в действительности же выписанный до мельчайших деталей. Костюм Жильнормана не был не только костюмом эпохи Людовика XV, но и даже Людовика XVI; он одевался как щеголь Директории, – до той поры он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из тонкого сукна, с широкими отворотами, с длинейшими заостренными фалдами и огромными стальными пуговицами, короткие штаны и башмаки с пряжками. Руки он всегда держал в жилетных карманах и с авторитетным видом утверждал, что «французская революция дело рук отъявленных шалопаев».

Глава третья. Лука-разумник

В шестнадцать лет он удостоился чести быть однажды вечером лорнированным в Опере сразу двумя знаменитыми и воспетыми Вольтером, но к тому времени уже перезрелыми красавицами – Камарго и Сале. Оказавшись между двух огней, он храбро ретировался,

направив стопы к маленькой, никому неведомой танцовщице Наанри, которой, как и ему, было шестнадцать лет и в которую он был влюблен. Он сохранил бездну воспоминаний. «Ах, как она была мила, эта Гимар-Гимардини-Гимардинетта, – восклицал он, – когда я ее видел в последний раз в Лоншане, в локонах „неувядаемые чувства“, в бирюзовых побрякушках, в платье цвета новорожденного младенца и с муфточкой „волнение“!» Охотно и с большим увлечением описывал он свой ненлондреновый камзол, который носил в юные годы. «Я был разряжен, как турок из восточного Леванта», – говорил он. Когда ему было двадцать лет, он попался на глаза г-же де Буфле, и она дала ему прозвище «очаровательный безумец». Он возмущался именами современных политических деятелей и людей, стоящих у власти, находя эти имена низкими и буржуазными. Читая газеты, «ведомости, журналы», как он их называл, он едва удерживался от смеха. «Ну и люди, – говорил он, – Корбьер, Гюман, Казимир Перье! И это, изволите ли видеть, министры! Воображаю, как бы выглядело в газете: „Господин Жильнорман, министр! Вот была бы потеха! Впрочем, у таких олухов и это сошло бы!“ Он, не задумываясь, называл все вещи, пристойные, равно как и непристойные, своими именами, нисколько не стесняясь присутствия женщин. Грубости, гривуазности и сальности произносились им спокойным, невозмутимым и, если угодно, не лишенным некоторой изысканности тоном. Такая бесцеремонность в выражениях была принята в его время. Надо сказать, что эпоха перифраз в поэзии являлась вместе с тем эпохой откровенностей в прозе. Крестный отец Жильнормана, предсказывая, что из него выйдет человек не бесталанный, дал ему двойное многозначительное имя: Лука-Разумник.

Глава четвертая. Претендент на столетний возраст

В детстве он не раз удостоивался награды в коллеже своего родного города Мулена и однажды получил ее из рук самого герцога Нивернезского, которого он называл герцогом Неверским. Ни Конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни возвращение Бурбонов – ничто не могло изгладить из его памяти воспоминание об этом событии. В его представлении «герцог Неверский» являлся самой крупной фигурой века. «Что это был за очаровательный вельможа! – рассказывал он. – И как к нему шла голубая орденская лента!» В глазах Жильнормана Екатерина II искупила раздел Польши тем, что приобрела у Бестужева за три тысячи рублей секрет изготовления золотого эликсира. Тут он воодушевлялся – «Золотой эликсир, – восклицал он, – пол-унции желтой бестужевской тинктуры и капель генерала Ламота – стоил в восемнадцатом веке луидор и служил великолепным средством от несчастной любви и панацеей от всех бедствий, насылаемых Венерой! Людовик Пятнадцатый послал двести флаконов этого эликсира папе». Старик был бы разгневан и взбешен, если бы ему сказали, что золотой эликсир есть не что иное, как хлористое железо. Жильнорман боготворил Бурбонов и питал сильнейшее отвращение к 1789 году; он готов был без конца рассказывать о том, как ему удалось спастись при терроре и сколько ума и присутствия духа потребовалось от него, чтобы уберечь свою голову. Если кто-нибудь из молодежи осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в такую ярость, что чуть не терял сознания. Иной раз, намекая на свои девяносто лет, он говорил: «Я льщу себя надеждой, что мне не придется дважды пережить девяносто третий год». А иной раз признавался домашним, что рассчитывает прожить до ста лет.

Глава пятая. Баск и Николетта

У него были свои теории. Вот одно из его рассуждений: «Если мужчина питает большую слабость к прекрасному полу, а сам имеет жену, к которой равнодушен, безобразную, угрюмую, преисполненную сознания своих прав, восседающую на кодексе законов, как на насесте, и при всем том еще ревнивую, у него остается только один способ развязать себе руки и обрести покой: отдать жене на растерзание кошелек. Такая добровольная отставка возвратит ему свободу. Теперь жене будет чем заняться. Она скоро войдет во вкус начнет ворочать деньгами, марать пальцы о медяки, школить арендаторов, муштровывать фермеров, теревить поверенных, вертеть нотариусами, отчитывать письмоводителей, водиться с разными канцелярскими крысами, сутяжничать, сочинять контракты, диктовать договоры, чувствовать себя полновластной хозяйкой, продавать, покупать, вершить делами, командовать, обещать и надувать, сходиться и расходиться, уступать, отступать и переуступать, налаживать, разлаживать, экономить гроши, проматывать сотни; она совершает – это составляет особое и главное ее счастье – глупость за глупостью и таким образом развлекается. Супруг пренебрегает ею, а она находит себе утешение в том, что разоряет его». Жильнорман испытал эту теорию на себе, и с ним произошло все как по – писаному. Вторая его жена столь усердно вела его дела, что когда в один прекрасный день он оказался вдовцом, у него едва набралось около пятнадцати тысяч ливров в год, да и то лишь при помещении почти всего капитала в пожизненную ренту, на три четверти не подлежащую выплате после его смерти. Он, не задумываясь, пошел на эти условия, относясь безразлично к тому, останется ли после него наследство. Впрочем, он имел возможность убедиться, что и с родовым имуществом случаются всякие истории. Оно может, например, сделаться национальным имуществом; он был свидетелем некоего чудесного превращения французского государственного долга, вдруг уменьшившегося на целую треть, и не слишком доверял книге росписей государственных долгов. «Все это – лавочка», – говорил он. Как мы уже указывали, дом на улице Сестер страстей Христовых, в котором он жил, был его собственным. Он всегда держал двух слуг: «человека» и «девушку». Когда к Жильнорману нанимался новый слуга, он считал необходимым окрестить его заново. Мужчинам он давал имена, соответствующие названиям провинций, из которых они были родом: Ним, Контуа, Пуатевен, Пикар. Его последний лакей, страдавший одышкой, толстяк лет пятидесяти пяти, с больными ногами, не мог пробежать и двадцати шагов, но, поскольку он был уроженцем Байоны, Жильнорман именовал его Баском. Все служанки именовались у него Николеттами (даже Маньон, о которой речь будет впереди). Как-то раз к нему пришла наниматься знатная стряпуха, мастерица своего дела, из славной породы поварих. «Сколько вам угодно получать в месяц?» – спросил ее Жильнорман. «Тридцать франков». – «А как вас зовут?» – «Олимпия». – «Ну так вот, ты будешь получать пятьдесят франков, а зваться будешь Николеттой».

Глава шестая, в которой промелькнет Маньон с двумя своими малютками

У Жильнормана горе выражалось в гневе: огорчения приводили его в бешенство. Он был полон предрассудков, в поведении позволял себе любые вольности. Как мы уже отмечали, больше всего старался он показать всем своим внешним видом, черпая в этом глубокое внутреннее удовлетворение, что продолжает оставаться усердным поклонником женщин и прочно пользуется репутацией такового. Он говорил, что это делает ему «великую честь». Но эта «великая честь» преподносила ему подчас самые неожиданные сюрпризы. Однажды ему в продолговатой корзине, напоминавшей корзину для устриц, принесли запеленатого по всем правилам искусства и оравшего благим матом пухленького, недавно появившегося на свет божий мальчугана, которого служанка, прогнанная полгода назад, объявляла его сыном. Жильнорману было в ту пору, ни много ни мало, восемьдесят четыре года. Это вызвало

взрыв возмущения у окружающих: «Кого эта бесстыжая тварь думала обмануть? Кто ей поверит? Какая наглость! Какая гнусная клевета!» Но сам Жильнорман не рассердился. Он поглядел на младенца с ласковой улыбкой старичка, польщенного подобного рода клеветой, и сказал, как бы в сторону: «Ну что? Что тут такого? Что тут такого особенного? Вы рехнулись, мелете вздор, вы невежды! Герцог Ангулемский, побочный сын короля Карла Девятого, женился восьмидесяти пяти лет на пятнадцатилетней пустельге; Виржиналю, маркизу д'Алюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордоского, было восемьдесят три года, когда у него родился сын от горничной президентши Жакен – истинное дитя любви, впоследствии кавалер Мальтийского ордена и государственный советник при шпаге. Один из выдающихся людей нашего века – аббат Табаро – сын восьмидесятисемилетнего старика. Таких случаев сколько угодно. Вспомним, наконец, Библию! А засим объявляю, что сударик этот не мой. Все же позаботиться о нем надо. Его вины тут нет». Этому поступку нельзя отказать в сердечности. Через год та же особа, – звали ее Маньон, – прислала ему второй подарок. Опять мальчика. На этот раз Жильнорман сдался. Он возвратил матери обоих малышей, обязуясь давать на их содержание по восемьдесят франков ежемесячно, при условии, что вышеупомянутая мать не возобновит своих притязаний. «Надеюсь, – добавил он, – что она обеспечит детям хороший уход. Я же стану время от времени навещать их». Так он и делал. У него был когда-то брат священник, занимавший в течение тридцати трех лет должность ректора академии в Пуатье и умерший семидесяти семи лет от роду «Я потерял его, когда он был еще молодым», – говорил Жильнорман. Этот брат, оставивший по себе недолгую память, был человек безобидный, но скупой; как священник, он считал своей обязанностью подавать милостыню нищим, но подавал только изъятые из употребления монеры да стертые су и, таким образом, умудрился по дороге в рай попасть в ад. Что касается Жильнормана-старшего, то он не старался выгадать на милостыне и охотно и щедро подавал ее. Он был доброжелательный, горячий, отзывчивый человек, и будь он богат, его слабостью являлась бы роскошь. Ему хотелось, чтобы все, имеющее к нему отношение, вплоть до мошенничества, было поставлено на широкую ногу. Как-то раз, когда он получал наследство, его обобрал самым грубым и откровенным образом один из поверенных. «Фу, какая топорная работа! – презрительно воскликнул он. – Такое жалкое жульничество вызывает у меня чувство стыда. Все измельчало нынче, даже плуты. Черт побери, можно ли подобным образом обманывать таких людей, как я! Меня ограбили, как в дремучем лесу, но ограбили никуда не годным способом. *Sylvae sint consule dignae!*»⁸⁵ Мы уже сказали, что он был дважды женат. От первого брака у него была дочь, оставшаяся в девицах; от второго – тоже дочь, умершая лет тридцати; то ли по любви, то ли случайно, то ли по какой-либо иной причине она вышла замуж за бывшего рядового, служившего в республиканской и императорской армии, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. «Это позор моей семьи», – говорил старый буржуа. Он беспрестанно нюхал табак и с каким-то особым изяществом приминал тыльной стороной руки свое кружевное жабо. В бога он почти не верил.

Глава седьмая.

Правило: принимай у себя только по вечерам

Вот каков был Лука-Разумник Жильнорман. Он сохранил волосы, – они у него были не седые, а с проседью, – и всегда носил одну и ту же прическу «собачьи уши». В общем, даже при всех своих слабостях, это была личность весьма почтенная. Все в нем носило печать XVIII века, фривольного и величавого.

⁸⁵ Да будут леса достойны консула (лат.)

В первые годы Реставрации Жильнорман, тогда еще молодой, – в 1814 году ему исполнилось только семьдесят четыре года, – жил в Сен-Жерменском предместье, на улице Сервандони, близ церкви Сен-Сюльпис. Он переехал на покой в Маре много времени спустя, после того как ему стукнуло восемьдесят лет.

Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главная из них, которую он никогда не нарушал, состояла в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В пять часов он обедал, и только тут двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен, – говаривал он, – и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе с звездами в небесах». И он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века.

Глава восьмая.

Две, но не пара

Мы уже упоминали о двух дочерях Жильнормана. Между ними было десять лет разницы. В юности они очень мало походили друг на друга и характером и лицом; про них никак нельзя было сказать, что это сестры. Младшую – девушку чудесной души – влекло ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку; уносясь мыслями в лучезарные края, восторженная, невинная, с ранних детских лет, как нареченная невеста, ожидала она героя, смутный образ которого витал пред нею. У старшей также была своя мечта. В голубой дали ей мерещился поставщик, какой-нибудь добродушный, очень богатый толстяк, снабжавший провиантом армию, муж восхитительно глупый, человек – миллион или хотя бы префект; приемы в префектуре, швейцар с цепью на шее в прихожей, торжественные балы, речи в мэрии, она – «супруга г-на префекта» – все это вихрем носилось в ее воображении. Итак, каждая из сестер предавалась в юности своим девичьим грезам. У обеих были крылья, но у одной – ангела, а у другой – гусыни.

Однако ни одно желание на этом свете полностью не осуществляется. Нынче рай на земле невозможен. Младшая вышла замуж за героя своих мечтаний, но вскоре умерла. Старшая замуж не вышла.

К моменту ее появления в нашей повести она была уже старой девой, закоренелой недотрогой, удивительно остроносой и тупоголовой. Характерная подробность: вне узкого семейного круга никто не знал ее имени. Все звали ее «мадмуазель Жильнорман-старшая». По части чопорности мадмуазель Жильнорман-старшая могла бы дать несколько очков вперед любой английской мисс. Ее стыдливость не знала пределов. Над ее жизнью тяготело страшное воспоминание: однажды мужчина увидел ее подвязку.

С годами эта неукротимая стыдливость усилилась. М-ль Жильнорман все казалось, что ее шемизетка недостаточно непроницаема для взоров и недостаточно высоко закрывает шею. Она усеивала бесконечным количеством застёжек и булавок такие места своего туалета, куда никто и не помышлял глядеть. Таковы все недотроги: чем меньше их твердыне угрожает опасность, тем большую они проявляют бдительность.

Однако пусть объяснит, кто может, тайны престарелой невинности: она охотно позволяла целовать себя своему внучатному племяннику, поручику уланского полка Теодюлю.

И все же, несмотря на особую благосклонность к улану, этикетка «недотроги», которую мы на нее повесили, необыкновенно подходила к ней. М – ль Жильнорман представляла собою какое-то сумеречное существо. Быть недотрогой – полудобродетель, полупорок.

Неприступность недотроги соединялась у нее с ханжеством – сочетание очень удачное. Она состояла членом Общества Пресвятой девы, надевала иногда в праздник белое покрывало, бормотала себе под нос какие-то особые молитвы, почитала «святую кровь», поклонялась

«святому сердцу Иисусову», проводила целые часы перед алтарем в стиле иезуитского рококо, в молельне, закрытой для простых верующих, предаваясь созерцанию и возносясь душою ввысь к мраморным облачкам, плывшим меж длинных деревянных лучей, покрытых позолотой.

У нее была приятельница по молельне, такая же старая дева, как она сама, – м-ль Вобуа, круглая дура; сравнивая себя с ней, м-ль Жильнорман не без удовольствия отмечала, что она сама – первейшая умница. Кроме всяких Agnus dei и Ave Maria и разных способов варки варенья, м-ль Вобуа решительно ни о чем не имела понятия. Являясь в своем роде феноменом, она блистала глупостью, как горностаи – белизной, только без единого пятнышка.

Надо сказать, что, состарившись, м – ль Жильнорман скорее выиграла, нежели проиграла. Это судьба всех пассивных натур. Она никогда не была злой, что можно условно считать добротой, а годы сглаживают углы, и вот со временем она мало-помалу смягчилась. Ее томила какая-то смутная печаль, причины которой она не знала. Все ее существо являло признаки оцепенения уже кончившейся жизни, хотя в действительности ее жизнь еще и не начиналась.

Она вела хозяйство отца. Дочь занимала подле г-на Жильнормана такое же место, какое занимала подле его преосвященства отца Бьенвеню его сестра. Семьи, состоящие из старика и старой девы, отнюдь не редкость и всегда являют трогательное зрелище двух слабых созданий, пытающихся найти опору друг в друге.

Кроме старой девы и старика, в доме был еще ребенок, маленький мальчик, всегда трепещущий и безмолвный в присутствии г-на Жильнормана. Г-н Жильнорман говорил с ним строго, а иногда замахивался тростью: «Пожалуйте сюда, сударь! Подойди поближе, бездельник, сорванец! Ну, отвечай же, негодный! Да стой так, чтоб я тебя видел, шельмец!» и т. д. и т. д. Он обожал его.

Это был его внук. Мы еще встретимся с этим ребенком.

Книга третья

Дед и внук

Глава первая.

Старинный салон

Когда Жильнорман жил на улице Сервандони, он был частым гостем самых избранных аристократических салонов. Несмотря на его буржуазное происхождение, Жильнормана принимали всюду. А поскольку он был вдвойне умен, во-первых, своим собственным умом, а во-вторых – умом, который ему приписывали, общества его даже искали, а его самого окружали почетом. Но он бывал только там, где мог задавать тон. Есть люди, готовые любой ценой добиваться влияния, желающие во что бы то ни стало возбуждать к себе интерес; если им не удастся играть роль оракулов, они переходят на роли забавников. Жильнорман не принадлежал к их числу. Он умел пользоваться весом в роялистских салонах, нисколько не в ущерб собственному достоинству. Он всюду слыл за оракула. Ему случалось выходить победителем из споров не только с г-ном Бональдом, но и самим г-ном Бенжи-Пюи-Валле. Около 1817 года он неизменно проводил два вечера в неделю у жившей по соседству, на улице Феру, баронессы де Т., особы достойной и уважаемой, муж которой занимал в царствование Людовика XVI пост французского посла в Берлине. Барон де Т., увлекавшийся животным магнетизмом, экстатическими состояниями и ясновиденьем, умер разоренным в эмиграции, оставив взамен всех богатств переплетенную в красный сафьян золотообрезную

десятитомную рукопись прелюбопытных воспоминаний о Месмере и его чане. Г-жа де Т. из гордости не опубликовала этих воспоминаний и существовала на маленькую ренту, каким-то чудом уцелевшую. Г-жа де Т. держалась вдали от двора, представлявшего собою, по ее словам, чересчур «смешанное общество», и жила в бедности, в благородном и высокомерном уединении. Два раза в неделю у ее вдовьего камелька собирались друзья, – это был роялистский салон самой чистой воды. Здесь пили чай и, в зависимости от того, откуда дул ветер и настраивал ли он на элегический лад или на дифирамбы, то сокрушенно вздыхали, то громко возмущались современными порядками, хартией, бонапартистами, осквернением голубой орденской ленты, жалуемой буржуазии, и «якобинством» Людовика XVIII. Здесь вполголоса делились надеждами, которые подавал брат короля, будущий Карл X. Здесь восторгались уличными песенками, в которых Наполеон назывался Простофилей. Герцогини, изящные и очаровательные светские женщины, восхищались куплетами по адресу «федератов»:

*Эй ты, засунь в штаны рубаху!
Ведь скажут про тебя, дурак,
Что санкюлоты все со страху
Уж поднимают белый флаг!*

Здесь забавлялись каламбурами, невинной игрой слов, казавшейся всем необыкновенно меткой и язвительной. Сочиняли четверостишия или даже двустишия. Так, на умеренный кабинет министра Десоля, в который входили Деказ и Десер, были сочинены стихи:

*Чтоб мизгом укрепить сей шаткий трон,
Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон.*

Или переделывали списки членов палаты пэров, этой «мерзостной якобинской палаты», комбинируя и переставляя фамилии в таком порядке, что получалось смешно. В этом мирке пытались пародировать революцию. Во что бы то ни стало хотели обратить слова ее гнева против нее самой. Распевали, с позволения сказать, собственную *Ca ira*:

*Ах, дела пойдут на лад!
Буонапартистов на фонарь!*

Песни напоминают гильотину. Они равнодушно рубят голову сегодня одному, завтра другому. Для них это только новый вариант.

Во время происходившего как раз в ту пору, в 1816 году, процесса Фюальдеса, здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону, потому что Фюальдес был «буонапартистом». Либералов именовали здесь «братьями и друзьями», – это звучало как наивысшее оскорбление.

Как на иных церковных колокольнях, так и в салоне баронессы де Т. было два флюгера. Одним из них являлся г-н Жильнорман, другим – граф де Ламот-Валуа, о котором не без уважения говорили друг другу на ушко: «Вы знаете? Это тот самый Ламот, что был причастен к делу об ожерелье». Политические партии идут на подобного рода странные амнистии.

Добавим к этому, что в буржуазной среде человек теряет в глазах общества, если он слишком легко сходится с людьми. Здесь требуют осторожности в выборе знакомств; совершенно так же, как от соседства с зябнущими происходит убыль тепла, от близости к лицам, заслуживающим презрение, происходит убыль уважения. В старину высший свет ставил себя над этим законом, как и вообще над всеми законами. Мариньи, брат Помпадур,

был вхож к принцу де Субиз. Несмотря на... Нет, именно поэтому. Дюбарри, выведший в люди небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет – тот же Олимп. Меркурий и принц де Гемене чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богом.

Старый граф де Ламот, которому в 1815 году исполнилось уже семьдесят пять лет, ничем особым не отличался, если не считать молчаливости, привычки говорить нравоучительным тоном, угловатого холодного лица, изысканно учтивых манер, наглухо, до самого шейного платка, застегнутого сюртука и длинных скрещенных ног в обвисших панталонах цвета жженой глины. Одного цвета с панталонами было и его лицо.

С графом де Ламотом «считались» в салоне по причине его «известности» и – как ни странно, но это факт – потому, что он носил имя Валуа.

Что касается г-на Жильнормана, то он пользовался самым искренним уважением. Слово его было законом. Несмотря на легкомыслие, он обладал, нисколько не в ущерб своей веселости, какой-то особой манерой держать себя: внушительной, благородной, добропорядочной и не лишенной некоторой примеси буржуазной спеси. К этому надо добавить его преклонный возраст. Иметь за плечами целый век чего-нибудь да стоит. Годы образуют в конце концов вокруг головы ореол.

К тому же старик славился шуточками, напоминавшими блески старого дворянского остроумия. Вот одна из них. Когда прусский король, восстановив на престоле Людовика XVIII, посетил его под именем графа Рюпена, потомок Людовика XIV оказал ему прием, приличествовавший разве только какому-нибудь маркграфу Бранденбургскому, и проявил по отношению к нему самую утонченную пренебрежительность. Жильнорману это очень понравилось. «Все короли, кроме французского, – сказал он, – захолустные короли».

Однажды кто-то спросил при нем: «К чему приговорили редактора газеты Французский курьер?» – «К пресечению», – последовал ответ. «Пре в данном случае излишне», – заметил Жильнорман. Так создается репутация.

В другой раз, во время Те деум в день годовщины реставрации Бурбонов, увидев проходившего мимо Талейрана, он обронил: «А вот и его превосходительство Зло».

Жильнорман появлялся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой девицы, которой было тогда лишь немного за сорок, а на вид все пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, белокурого, розового, свежего, с веселым, доверчивым взглядом. При появлении в салоне мальчик неизменно слышал вокруг себя шепот: «Какой хорошенький! Какая жалость! Бедное дитя!» Это был тот самый ребенок, о котором мы только что сказали несколько слов. Его называли «бедным» потому, что отцом его был «луарский разбойник».

А луарский разбойник был тем самым вышеупомянутым зятем Жильнормана, которого Жильнорман именовал «позором своей семьи».

Глава вторая.

Один из кровавых призраков того времени

Всякий, кто посетил бы в те годы городок Вернон и кто, гуляя там по прекрасному каменному мосту, которому, несомненно, предстоит вскоре быть замененным каким-нибудь безобразным сплетением из железа и проволоки, взглянул бы через парапет, непременно заметил бы человека лет пятидесяти, в кожаной фуражке, в брюках и куртке из грубого серого сукна, с пришитым к ней желтым лоскутком, бывшим ранее красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, почти совсем седого, с обветренным и почти черным от загара лицом, с широким шрамом, пересекавшим лоб и спускавшимся на щеку, согнувшегося, сгорбленного, до срока состарившегося; целый день человек этот расхаживал с заступом и садовым ножом по одному из находившихся близ моста огороженных участков, словно цепью террас окаймляющих левый берег Сены, – по одному из тех очаровательных,

заросших цветами уголков, которые, будь они побольше, могли бы сойти за сад, а будь поменьше – за букет. Все эти участки одним концом упираются в реку, а другим в дома. Самый маленький из этих уголков и самый убогий из этих домиков занимал около 1817 года вышеупомянутый человек в куртке и деревянных башмаках. Он жил тут одиноко и уединенно, тихо и бедно, в обществе служанки, о которой трудно было сказать – молода она или стара, хороша или дурна собой, крестьянка это или мещанка. Он называл свой квадратик земли садом, и сад этот славился в городе чудесными цветами, которые он там выращивал. Только этим он и занимался.

Трудом, упорством, тщательным уходом и обильной поливкой ему удалось вслед за творцом и самому сотворить несколько сортов тюльпанов и георгин, о чем, по-видимому, позабыла природа. Он был изобретателен и опередил Суланжа Бодена, пустив поросшие вереском грядки под редкие и ценные культуры американского и китайского кустарника. В летнюю пору, с рассветом, он появлялся на дорожках сада и принимался за подрезку, подчистку, прополку, поливку, расхаживая среди цветов с добрым, печальным и кротким видом. Иногда, задумавшись, он часами простаивал неподвижно, то слушая пение птиц или доносившийся из ближнего дома лепет младенца, то разглядывая росинку на травке, игравшую, как драгоценный камень в лучах солнца. Он довольствовался самой скромной пищей, молоко предпочитал вино. Ребенок мог бы командовать им; служанка позволяла себе бранить его. Он был застенчив до дикости, редко выходил из дому и ни с кем, кроме нищих, стучавшихся к нему, да своего духовника, добрейшего старого аббата Мабефа, не виделся. Впрочем, если кто-либо из местных жителей или приезжих, человек совершенно ему неизвестный, которому хотелось поглядеть на тюльпаны и розы, дергал за его звонок, он приветливо открывал двери своего домика. Это и был луарский разбойник.

И вместе с тем каждому, кто вздумал бы почитать воспоминания о военных походах, биографии военных деятелей, Монитор и бюллетени великой армии, должно было броситься в глаза довольно часто встречающееся там имя Жоржа Понмерси. Юношей этот Жорж Понмерси служил рядовым в Сентонжском полку. Наступила революция. Сентонжский полк вошел в состав Рейнской армии, ибо старые, существовавшие при монархии полки сохраняли присвоенные им названия провинций даже после падения монархии и были слиты в бригады лишь в 1794 году. Понмерси сражался под Шпейером, Вормсом, Нейштадтом, Тюркгеймом, Альцеем и Майнцем, – в отряде из двухсот человек, составлявшем арьергард Гушара. Он был в числе двенадцати храбрецов, которые стойко держались за старым Андернахским крепостным валом, сражаясь с корпусом принца Гессенского, и отступили, присоединившись к основным силам, лишь после того как неприятельские пушки разворотили бруствер от гребня до основания, в войсках Клебера он сражался при Маршьенне и у Мон – Палиселя, где был ранен в руку картечью. Затем он отправляется на итальянскую границу; здесь мы находим его среди тридцати гренадеров, защищавших под командором Жубера Тендское ущелье. Жубер был произведен за это дело в генерал-адъютанты, а Пончери – в подпоручики. Осыпавший картечью в битве при Лоди, он стоял подле Бертье и заслужил отзыв Бонапарта: «Наш пострел везде поспел: он и в артиллерии, он и в кавалерии, он и в инфантерии». Понмерси видел, как с поднятой саблей и с криком: «Вперед!» пал в сражении при Нови его бывший командир генерал Жубер. Выполняя боевое поручение, он со своей ротой отплыл на легком паруснике, шедшем из Генуи, в один из маленьких портов побережья, – куда именно, не помню, – и попал в пренеприятное положение, очутившись между семью и восемью английскими кораблями. Капитан, родом генуэзец, хотел сбросить пушки в море, спрятать солдат в межпалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом торгового судна. Но Понмерси велел поднять на флагштоке национальный флаг и смело прошел под пушками английских фрегатов. Это придало ему отваги, и в двадцати милях отсюда он на своем паруснике решился напасть на большой английский транспорт с войсками и захватил его. Транспорт шел в Сицилию и был

до такой степени перегружен людьми и лошадьми, что сидел в воде по самые палубные крепления. В 1805 году Понмерси служил в дивизии Малера, отбившей Гюнцибург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене под градом пуль он вынес на руках смертельно раненного в сражении полковника Мопети, командира 9-го драгунского полка. Он отличился под Аустерлицем во время прославленного перехода колонн под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил батальон 4-го пехотного полка, Понмерси был в числе добившихся реванша. Император пожаловал его крестом. Понмерси был свидетелем пленения Вурмсера в Мантуе, Меласа в Александрии, Макка под Ульмом. Его часть входила в 8-й корпус доблестной армии Мортье, взявшей Гамбург. Затем он перешел в 55-й пехотный полк, преобразованный из прежнего Фландрского полка. Под Эйлау он находился на том самом кладбище, где бесстрашный капитан Луи Гюго, дядя автора этой книги, со своей ротой из восьмидесяти трех человек в течение двух часов сдерживал натиск неприятельской армии. Понмерси был одним из трех ушедших живыми с этого кладбища. Он принимал участие в сражении под Фридландом. Видел Москву, Березину, Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и Гельнгаузенское ущелье; затем Монмирайль, Шато-Тьерри, Краон, берега Марны, берега Эны и страшные лаонские позиции. Под Арне-ле-Дюке, будучи в чине капитана, он зарубил десять казаков и спас, впрочем, не своего генерала, а своего капрала. Он вышел из этого дела израненным: у него извлекли из одной только левой руки двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа он поменялся местом с товарищем и перешел в кавалерию. Он был человеком, как говорили при старом режиме, двойной сноровки, то есть умел в качестве солдата одинаково хорошо управляться как с саблей, так и с ружьем, а в качестве офицера – как с эскадроном, так и с батальоном. Благодаря этому качеству, усовершенствованному выучкой, и возникли такие особые виды войск, как, например, драгуны, являющиеся одновременно и кавалеристами и пехотинцами. Он последовал за Наполеоном на остров Эльбу. Под Ватерлоо он командовал эскадроном кирасир, входившим в бригаду Дюбуа. Это он отнял знамя у Люненбургского батальона. Он бросил знамя к ногам императора. Он был весь залит кровью. Когда он вырывал знамя, его ударили саблей и рассекли ему лицо. Император, довольный, крикнул ему: «Поздравляю тебя полковником, бароном и кавалером ордена Почетного легиона!» – «Благодарю вас, ваше величество, за мою вдову», – ответил Понмерси. Час спустя он упал в овраг на Оэнскую дорогу. А теперь скажите – кто же этот Жорж Понмерси? Да все тот же луарский разбойник. Читатель кое-что о нем знает. После Ватерлоо, как вы помните, Понмерси вытащили из оврага на Оэнской дороге, ему удалось присоединиться к армии, а затем в лазаретном фургоне он добрался до луарского лагеря.

В годы Реставрации он был переведен на половинный оклад, а затем отправлен на жительство – другими словами под надзор – в Вернон. Людовик XVIII, сочтя все, имевшее место в течение Ста дней, недействительным, не признал ни его звания кавалера ордена Почетного легиона, ни его чина полковника, ни его баронского титула. А Понмерси не упускал случая подписаться: «Полковник барон Понмерси». Выходя из дому, он прикреплял к своему старому синему, и к тому же единственному, сюртуку ленточку ордена Почетного легиона. Королевский прокурор велел предупредить его, что возбудит против него судебное преследование за «незаконное ношение этого знака отличия». Выслушав предупреждение, переданное ему через чиновника, Понмерси ответил с горькой усмешкой: «Не знаю, я ли перестал понимать по-французски, вы ли разучились говорить на французском языке, но я решительно ничего не понял». После этого целую неделю он изо дня в день появлялся в городе с орденской ленточкой. Больше его не посмели тревожить. Два-три раза военному министру и начальнику военного округа случилось направлять ему письма с надписью: «Господину майору Понмерси». Он отсылал письма обратно нераспечатанными. Подобным образом поступал в это самое время на острове св. Елены и Наполеон с посланиями Гудсона

Лоу, адресованными «Генералу Бонапарту». Понмерси отвечал – да простят нам это выражение – плевком, как и его император.

Вот так же в Риме среди пленных карфагенских солдат попадались воины, в которых жила частичка души Ганнибала, и они отказывались приветствовать Фламиния.

В одно прекрасное утро, встретив на улице Вернона королевского прокурора, Понмерси подошел к нему и задал вопрос: «Скажите, господин королевский прокурор, разрешается ли мне носить шрам на лице?»

Никаких средств, кроме жалкого половинного оклада эскадронного командира, он не имел. Он нанимал в Верноне самый маленький домишко, какой только можно было сыскать. Он жил один, с его образом жизни мы уже познакомились. При Империи он успел между двумя войнами жениться на девице Жильнорман. Старый буржуа, в глубине души крайне недовольный, дал скрепя сердце согласие на брак, заявив, что и «самые знаменитые семьи бывают подчас вынуждены к этому». В 1815 году г-жа Понмерси, женщина во всех отношениях превосходная, редких душевных качеств и вполне достойная своего мужа, умерла, оставив ребенка. Этот ребенок мог бы скрасить одинокую жизнь полковника. Но дед потребовал внука к себе, заявив, что лишит мальчика наследства, если ему не отдадут его. Отец уступил, блюдя интересы сына, и, потеряв возможность удержать подле себя ребенка, пристрастился к цветам.

Он не занимался политикой, не бунтовал и не принимал участия в заговорах. Его мысли были сосредоточены либо на невинных делах, которыми он занимался теперь, либо на великих делах, которые совершал ранее. Его время делилось между ожиданием цветения гвоздики и воспоминаниями об Аустерлице.

Жильнорман не поддерживал с зятем никаких отношений. В его глазах полковник был «бандитом», а сам он в глазах полковника – «бестолочью». Жильнорман никогда не упоминал о полковнике, если не считать иронических намеков на его «баронство». Они раз навсегда уговорились, что Понмерси не станет делать никаких попыток видаться или говорить с сыном, под угрозой, что мальчика возвратят ему, изгнав и лишив наследства. Понмерси представлялся Жильнорманам зачумленным. Им хотелось воспитать ребенка по-своему. Быть может, полковник и допустил ошибку, приняв такие условия, но он строго соблюдал их, полагая, что поступает правильно и жертвует только собой.

Наследство Жильнормана – отца сулило немного, зато наследство мадмуазель Жильнорман – старшей было весьма значительным. Эта тетушка, оставшаяся в девицах, обладала богатством, полученным с материнской стороны, а сын сестры являлся прямым ее наследником.

Ребенок, которого звали Мариус, знал, что у него есть отец, и только. Никто не говорил с ним об отце. Но в обществе, куда водил его дед, его встречали шушуканьем, намеками, перемигиваниями, и в конце концов это дошло до сознания мальчика; он начал кое-что понимать. Он подвергался длительному воздействию окружающей среды, он, так сказать, впитывал ее в себя, и, естественно, проникся взглядами и идеями, как бы насыщавшими атмосферу, которою он дышал; постепенно он привык думать об отце со стыдом и сердечной болью.

Полковник раз в два-три месяца покидал свой дом, украдкой, как беглый арестант, приезжал в Париж и шел в церковь Сен – Сюльпис к тому часу, когда тетка Жильнорман приводила туда Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, как бы тетка не обернулась, он, схоронившись за колонной, не смея пошевелинуться и вздохнуть, смотрел на сына. Покрытый шрамами воин боялся старой девы.

Отсюда возникла его дружба с вернонским кюре аббатом Мабефом.

Достопочтенный кюре приходился братом церковному старосте церкви Сен-Сюльпис, а тот обратил внимание на мужчину, не отрывавшего глаз от ребенка; староста заметил и шрам на его щеке и крупные слезы на глазах. Мужественный на вид человек, плачущий как женщина,

произвел на него сильное впечатление. Ему запомнилось его лицо. Однажды, приехав в Верной повидаться с братом, он встретил на мосту полковника Понмерси и узнал в нем человека, которого видел в Сен-Сюльпис. Староста рассказал о нем кюре, и под каким-то предлогом они вдвоем нанесли полковнику визит. За первым визитом последовали другие. Полковник, вначале очень несловоохотливый, под конец разговорился. Таким образом кюре и старосте удалось узнать всю историю его жизни и то, как он пожертвовал личным счастьем ради будущего своего ребенка. Это внушило кюре чувство уважения и нежности к полковнику, а тот полюбил кюре. Впрочем, никто не сближается между собою так легко и не достигает такого взаимопонимания, как старый священник и старый солдат, если по счастливой случайности оба они искренни и добры. В сущности эти люди ничем не отличаются друг от друга. Один посвящает себя служению земной отчизне, другой – небесной. Вот и вся разница.

Два раза в год, к 1 января и ко дню св. Георгия, Мариус под диктовку тетки писал отцу официальные поздравительные письма, казавшиеся списанными с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал Жильнорман. А отец отвечал нежными посланиями, которые дед, не читая, засовывал себе в карман.

Глава третья. Requiescant⁸⁶

Салоном г-жи де Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси знание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Окно было тусклое; сквозь него проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот мирок, ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и – что еще менее соответствовало его возрасту – серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными людьми, он глядел вокруг с изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне г-жи де Т. можно было встретить старых знатных почтенных дам, носивших фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся Леви, Камби, произносившуюся Камбиз. Старые лица и библейские имена смешивались в голове мальчика с рассказами из Ветхого завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке, вокруг лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роня торжественные и гневные слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на седеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и волхвы, не живые существа, а призраки.

К этим призракам присоединялись духовные особы – завсегдатаи старинного салона и дворяне: маркиз де Сассене, личный секретарь г-жи де Берри; виконт де Валори, печатавший под псевдонимом Шарля – Антуана написанные одним и тем же размером оды; князь де Бофремон, еще молодой, но уже седеющий, у которого была хорошенькая и остроумная жена, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте рассеивали царивший в салоне мрак; маркиз Кариолис д'Эспинуз, лучший во Франции знаток «меры учтивости»; граф д'Амандр, холостяк с добродушным подбородком, и кавалер де Пор де Ги, столп Луврской библиотеки, именовавшейся «королевским кабинетом». Де Пор де Ги, лысый, раньше времени состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, шестнадцати лет от роду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он – непокорным солдатом. Дело

⁸⁶ Да починют (*лат.*)

происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела гильотинированных днем. Взвалив на спину обезглавленные кровоточащие туловища, они уносили их; на ворота их красных арестантских халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, вечером влажная. В салоне г-жи де Т. можно было услышать много таких страшных рассказов. В проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона. Депутаты из породы «бесподобных», Тибор дю Шалар, Лемаршан де Гомикур и знаменитый шутник «правой» Корне-Денкур, играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Талейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д'Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаспой, заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив векам образец бальи, отомстившего за философа.

Из духовных лиц здесь бывали аббат Гальма, тот самый, которому Лароз, сотрудничавший в газете «Фудр», говорил: «Да кому же теперь меньше пятидесяти? Разве какому-нибудь молокососу-первокурснику!»; аббат Летурнер, королевский проповедник; аббат Фрейсину, в ту пору еще не граф, не епископ, не министр, не пэр, носивший старую сутану, на которой вечно не хватало пуговиц. Сюда приходили аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре, тогдашний папский нунций, высокопреосвященнейший Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал, с длинным меланхолическим носом, и аббат Пальмиэри, носивший звание духовника папы, одного из семи действительных протонотариев святейшего престола, каноника знаменитой Либерийской базилики, ходатая по делам святых – *postulatore di santi*, что указывало на касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец салон посещали два кардинала: де ла Люзерн и де Клермон – Тонер. Кардинал де ла Люзерн был писателем; несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в Консерваторе рядом со статьями Шатобриана. Тулузский архиепископ де Клермон-Тонер в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермон – Тонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью ненависть к Энциклопедии и увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк Клермон-Тонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному Котрету, епископу *in partibus*⁸⁷ Каристскому: «Смотри, аббат, я карамболю». Кардинала де Клермон-Тонера ввел к г-же де Т. его ближайший друг де Роклор, бывший епископ Санлисский и один из сорока бессмертных. В Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное посещение академии. Через стеклянную дверь залы, смежной с библиотекой, где происходили тогда заседания французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего Санлисского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках, обычно стоявшего спиной к двери, – вероятно для того, чтобы лучше был виден его поповский воротничок. Хотя святые отцы являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой строгости на салон г-жи де Т., а пять пэров Франции: маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз д'Эрбувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе тем не менее такое высокое представление о Франции и об ее институте пэрства, что все сводил к последнему. Ему принадлежат слова: «Римские кардиналы-те же пэры Франции; английские лорды – те же

⁸⁷ В иноверческой стране (*лат.*)

пэры Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала всюду, тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа. В нем царил Жильнорман. Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдаёт анархией. Попади сюда Шатобриан, и он бы выглядел здесь «Отцом Дюшеном». Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться.

Современные «благородные» салоны совсем не походят на описываемый нами. Нынешнее Сен – Жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперешние роялисты, не в обиду будь им сказано, – демагоги.

В салоне г-жи де Т., где собиралось избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызвали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди неискушенные легко сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблялся, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже «госпожа полковница». Очаровательная г-жа Леон, вероятно из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврез, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Креки тоже выражала желание, чтобы ее называли «госпожой полковницей».

Этот аристократический кружок придумал в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в третьем лице: «король», избегая титулования «ваше величество», как «оскверненного узурпатором».

Здесь судили обо всем – и о делах и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли не существовавшим время начиная с Кобленца. Здесь считали, что, подобно тому как Людовик XVIII достиг милостью божией двадцать пятой годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей весны.

Тут все было в полной гармонии; тут жизнь чуть теплилась во всем; слова излетали из уст едва уловимым вздохом; газета, отвечавшая вкусам салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они выглядели полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги. Все производило впечатление чего-то отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять, охранение, охранитель – вот примерно весь их лексикон. «Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом», – к этому, в сущности, сводилось все. Взглядам этим почтенных особ было действительно присуще особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфары. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела.

Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги».

Что же собой представляли посетители салона г-жи де Т.? Это были «ультра».

Быть ультра! Быть может, явления, обозначаемые этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его.

Быть «ультра» – это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр, а во имя алтаря – на митру; это значит опрокидывать свой собственный воз, брыкаться в собственной упряжке; это значит возводить хулу на костер за

то, что он недостаточно жарок для еретиков; это значит упрекать идола, что в нем мало идольского; это значит насмехаться от избытка почтительности; это значит винить папу в недостатке папизма, короля – в недостатке роялизма, а ночь – в избытке света; это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны; это значит быть таким горячим защитником, что из защитника превращаешься во врага; так упорно стоять «за», что это превращается в «против».

Непримиримый дух «ультра» характеризует главным образом первую фазу Реставрации. В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820-го вступлением в министерство г-на де Вилель, исполнителя воли «правой». Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время – и веселое и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще завлакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый мирок, новый и старый, смешной и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза; ничто так не напоминает пробуждение от сна, как возвращение на родину. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полным – полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, «бывшими людьми», с изумлением взиравшими на окружающее; славное вельможное дворянство и радовалось и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье оттого, что снова видит родину, но и глубокое отчаяние оттого, что не находит здесь своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать Империи, то есть военную знать; историческая нация перестала понимать смысл истории; потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. Как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго внушал отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. Чувство великого и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скапеном. Этого мира больше нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаемся воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и в самом деле был поглощен потоком. Он исчез в двух революциях. О, как могуч поток освободительных идей! Как стремительно заливает он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти!

Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда Мартенвиль считался мудрее Вольтера.

У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал Ажье. Здесь занимались толкованием сочинений Кольне, публициста и букиниста с набережной Малаке. Наполеон был здесь только «корсиканским чудовищем». Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик королевских войск.

Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость «ультра», у них вызывало смущение. Они были умны; они умели молчать; они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой; успех был им обеспечен. Они несколько злоупотребляли – впрочем, не без пользы для себя – белизной галстуков и строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка, или несчастье, партии доктринеров заключалась в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти.

Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи: «Пощада роялизму! Он оказал ряд услуг. Он восстановил традиции, культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Сам того не желая, он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, Империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж неповинны перед ним? Революция, наследниками которой мы являемся, должна уметь понимать все. Нападать на роялизм – значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление! Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря, своей матери, иначе говоря, себе самой. После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы – к лилии. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с короны Людовика XIV или сдирать щипок с герба Генриха IV? Мы смеемся над Вобланом, стиравшим букву „Н“ с Иенского моста. А что собственно он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буква „Н“, – наши. Это наше наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом?»

Так доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой – их ярость.

Выступлениями «ультра» ознаменован первый период Реставрации; выступление Конгрегации знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла проницательная ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк.

В ходе повествования автор этой книги натолкнулся на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому неведомого общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем, надо признаться, что этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это – Франция минувших дней.

Как все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетюшки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника чистейшей, классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько лет в коллеже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскорбляли игривость и цинизм старика, а об отце мрачно молчал.

В общем это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренный до дикости.

Глава четвертая. Смерть разбойника

Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда Жильнорман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распростившись с Сен-Жерменским предместьем и салоном г-жи де Т., переселился в собственный дом на улице Сестер страстей Христовых в квартале Маре. Он держал привратника, ту самую горничную Николетту, которая сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой, задыхающегося Баска, о котором говорилось выше.

В 1827 году Мариусу исполнилось семнадцать лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руках письмо.

– Мариус! – сказал Жильнорман – Тебе надо завтра ехать в Вернон.

– Зачем? – спросил Мариус.

– Повидать отца.

Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда он встретится с отцом. Трудно представить себе что-нибудь более для него неожиданное, более потрясающее и, надо признаться, более неприятное. Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не столько огорчало его, сколько представлялось тяжкой повинностью.

Неприязнь Мариуса к отцу основывалась не только на мотивах политического характера. Он был убежден, что отец, этот рубака, как в хорошие минуты называл его Жильнорман, не любит сына. В этом не могло быть сомнений, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя, что он нелюбим, Мариус и сам не хотел любить. Так надо, – уверял он себя.

Он был так ошеломлен, что не задал Жильнорману ни одного вопроса. А дед продолжал:

– Он, кажется, болен. Вызывает тебя.

И, помолчав, добавил:

– Поезжай завтра утром. Мне помнится, что с постоялого двора Фонтен карета в Верной отходит в шесть часов и приходит туда вечером. Поезжай с этой каретой. Он пишет, что мешкать нельзя.

Старик скомкал письмо и положил его в карман. Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца утром. В то время с улицы Блуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни Жильнорман, ни Мариус и не подумали справиться об этом.

На другой день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого встречного, где живет «господин Понмерси». В душе он разделял точку зрения Реставрации и не признавал отца ни бароном, ни полковником.

Ему указали дом. Он позвонил. Женщина с лампочкой в руке отворила ему.

– Дома господин Понмерси? – спросил Мариус.

Женщина не отвечала.

– Здесь живет господин Понмерси? – повторил свой вопрос Мариус.

Женщина утвердительно кивнула.

– Можно поговорить с ним?

Женщина отрицательно покачала головой.

– Но я его сын! – настаивал Мариус. – Он ждет меня.

– Он уже не ждет вас, – сказала женщина.

Тут только Мариус заметил, что она плачет.

Она указала ему пальцем на дверь в низкую залу. Он вошел.

В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находились трое мужчин. Один стоял, выпрямившись во весь рост, другой стоял на коленях, третий, в одной рубашке, лежал на полу. Лежавший на полу и был полковник.

Двое других были доктор и священник, читавший молитву.

Три дня назад полковник заболел горячкой. В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал Жильнорману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером, в день приезда Мариуса, полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком: «Мой сын все не едет. Пойду его встречать!» – вскочил с постели. Затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался.

Послали за доктором и священником. Доктор пришел слишком поздно. Священник пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно.

При тусклом огоньке свечи на бледной щеке неподвижно лежавшего полковника можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Слезка означала, что сын опоздал.

Мариус смотрел на этого человека, которого видел в первый и в последний раз, на его благородное мужественное лицо, на его открытые, но ничего не видящие глаза, на его седые волосы, на его сильное тело на котором то тут, то там выступали темные полосы – следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна – следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма на этом лице, которое бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот – его отец, что человек этот умер, но остался холоден. Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника.

А между тем горе, щемящее душу горе царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка; священник молился, прерывая молитвы рыданиями; доктор утирал глаза; даже труп и тот плакал.

Несмотря на свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка молча посматривали на Мариуса, – он был здесь чужим. Мариус, не опечаленный смертью отца, испытывал чувство неловкости и не знал, как себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорбь лишила его сил держать ее.

И тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрения к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца!

Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан рукой полковника:

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы под Ватерлоо.

Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

На обороте полковник приписал:

«В этом же сражении под Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардьё. В последнее время, насколько мне известно, он держал трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шеле или в Монфермейле. Если моему сыну случится встретить Тенардьё, пусть он сделает для него все, что может».

Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти, всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал записку.

Из имущества полковника ничего не сохранилось. Жильнорман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли.

Мариус провел в Верноне двое суток. После похорон он вернулся в Париж и засел за учебники, не вспоминая об отце, словно отец и не жил на свете. Через два дня полковника похоронили, а через три забыли.

Мариус носил на шляпе креп. Вот и все.

Глава пятая.

Чтобы стать революционером, иногда полезно ходить к обедне

У Мариуса осталась от детства привычка к религии. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен – Сюльпис, он прошел в придел Пресвятой девы, куда ребенком водила его тетка. В тот день он был рассеяннее и мечтательнее, чем обычно; остановившись за колонной, он машинально стал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке: «Господин Мабеф, церковный староста». Служба только началась, как вдруг незнакомый старик со словами: «Это мое место, сударь» – подошел к Мариусу.

Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку.

По окончании обедни Мариус в раздумье остановился в нескольких шагах от скамейки.

Старик снова приблизился к нему.

– Извините, сударь, я уже побеспокоил вас и вот беспокою опять, – сказал он. – Но вы, по всей вероятности, сочли меня нехорошим человеком. Мне нужно объясниться с вами.

– Это совершенно излишне, сударь, – ответил Мариус.

– Нет, нет, – возразил старик, – я не хочу, чтобы вы плохо обо мне думали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше. Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте в течение десяти лет я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, исправно приходил сюда раз в два-три месяца. Он приходил, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь его отец. Возможно, он, глупенький, и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга! Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным, и у меня вошло в привычку сидеть именно здесь во время обедни. Я предпочитаю мою скамью скамьям причта, а занимать их мог бы по праву как церковный староста. Я даже знал немного этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетка – словом, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видаться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений. Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры. Господи помилуй! Ведь нельзя же считать человека чудовищем только потому, что он дрался под Ватерлоо! За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника. А теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне, – там у меня брат священник, – звали его не то Понмари... не то Монперси... у него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара саблей.

– Понмерси? – произнес Мариус, бледнея.

– Да, да. Понмерси. А разве вы его знали?

– Это мой отец, сударь, – ответил Мариус.

Престарелый церковный староста всплеснул руками.

– Так вы тот мальчик! – воскликнул он. – Да, конечно, ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной. Ну, бедное мое дитя, вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец!

Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал Жильнорману:

– Мы с друзьями собираемся на охоту. Можно мне съездить на три дня?

– Хоть на четыре! – ответил дед. – Поезжай, развлекись.

И, подмигнув, шепнул дочери:

– Какая-нибудь интрижка!

Глава шестая.

К чему может привести встреча с церковным старостой

Куда ездил Мариус, станет ясно дальше.

Мариус отсутствовал три дня; по возвращении в Париж он отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект Монитера.

Он прочитал от корки до корки весь Монитер, все исторические сочинения о Республике и Империи, Мемориал святой Елены, воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания, – он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней великой армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством

которых служил Жорж Понмерси, в том числе у графа Г. Церковный староста Мабеф, которого он посетил вторично, описал ему образ жизни полковника, не имевшего ничего, кроме пенсии, рассказал ему о его цветах и уединении в Верноне. Так Мариусу удалось узнать до конца этого редкостного, возвышенной и кроткой души человека, это сочетание льва и ягненка, каким был его отец.

Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие его время и мысли, он почти перестал видаться с Жильнорманами. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жильнорман посмеивался: «Эге – ге! Пришла пора девчонок!» Иногда старик прибавлял: «Я-то думал, черт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть».

Это и в самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца.

Во взглядах его также совершался переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемое нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем небесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы.

Прошрое, в которое он заглянул, ошеломило его.

Он был прежде всего ослеплен им.

До тех пор Республика, Империя были для него лишь отвратительными словами. Республика – гильотиной, встающей из полутьмы. Империя – саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды – Мирабо, Верньо, Сен-Жюста, Робеспьера, Камилла Демулена, Дантона и восходящее солнце-Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пятился назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания; Революция, Империя отчетливо предстали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий, вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения: Республика – к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу; Империя – к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за Революцией великий образ народа, за Империей – великий образ Франции. И он признал в душе, что все это прекрасно.

Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом, слишком общем суждении ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что следует ниже, продолжим наш рассказ.

Мариус убедился, что до сих пор он так же плохо понимал свою родину, как и отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза темную завесу. Теперь он прозрел и испытывал два чувства: восхищение и обожание.

Его мучили сожаления и раскаяние, и он с горестной безнадежностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив, если бы он не лишился его, если бы господь по своему милосердию и благодати не позволил отцу умереть, как бы он бросился, как бы кинулся к нему, как бы крикнул: «Отец, я здесь! Это я! У нас с тобой в груди бьется одно сердце! Я твой сын!» Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины! Как любовался бы шрамом на его лице, как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одежам, лобызал бы его стопы! Ах, почему отец скончался так рано, до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына! Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило: «Увы!» Он становился – и теперь уже по-настоящему – все серьезнее и строже, все тверже в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. В

Мариусе происходил процесс внутреннего роста. Он чувствовал, что возмужал благодаря двум сделанным открытиям: он нашел отца и родину.

Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснения тому, что ранее ненавидел; постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение – божественное и человеческое – великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался.

От оправдания отца он, естественно, перешел к оправданию Наполеона.

Надо заметить, что последнее далось ему нелегко.

С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все предрассудки, интересы и инстинкты Реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапарта она превратила в почти сказочное чудовище. Чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, было много ребяческого, партия 1814 года показывала Бонапарта под всевозможными страшными масками, от Тиберия до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все же величественность, и кончая теми, что вызывают смех. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать, лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу «этого человека», как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец.

Однако чтение исторических книг, а в особенности знакомство с историческими событиями по документам и материалам, мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все прозревал и прозревал. На первых порах почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг за шагом, сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма.

Как-то ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простиравшаяся перед ним даль навевала мечты, и они смешивались с его думами. Как дивно твое зрелище, ночь! Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки, раскаленным угольком мерцает Юпитер, в двенадцать раз превышающий по величине земной шар; небо черно, звезды сверкают, мир кажется необъятным.

Он читал бюллетени великой армии – эти героические строфы, написанные на полях битв; имя отца он встречал там время от времени, имя императора – постоянно; вся великая Империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив; минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние: ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой, отдаленный кавалерийский галоп. Он подымал глаза к небу и глядел на сиявшие в бездонной глубине громады созвездий, потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в исступлении, он весь дрожал, он задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руки в окно и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, в беспредельный простор, воскликнул: «Да здравствует император!»

В эту минуту со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, яффский отравитель, тигр, Буонапарте – все это исчезло, уступив место в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недостижимой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются и которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром, мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Разумеется, у него были недостатки, он совершал ошибки, даже преступления, иными словами – был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации; больше того – олицетворением самой Франции; побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено, охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но и диктатора; деспота, выдвинутого Республикой и явившегося завершением Революции. Подобно тому как Иисус был богочеловеком, Наполеон стал для него народочеловеком.

Как всякий неопит, опьяненный новой верой, Мариус стремился приобщиться к ней – и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идее. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается и грубой силой, – иными словами, создает двойной культ: божественного и звериного начала. Он допускал много других ошибок. Он принимал все безоговорочно. В поисках истины можно выйти и на ложную дорогу. Преисполненный безграничного доверия, он соглашался со всем. Осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок.

Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону.

Родные Мариуса и не подозревали о совершавшемся в нем перевороте.

Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось, наконец, окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультраправую оболочку, совлечь одежды аристократа, якобита и роялиста и превратиться в революционера, демократа и почти республиканца, он отправился к граверу на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек, на которых стояло: Барон Мариус Понмерси.

Все это явилось следствием происшедшей в нем перемены, всецело определявшей его тяготением к отцу. Но так как у Мариуса не было знакомых и он не мог оставлять карточки у портье, он положил их в карман.

Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее: чем ближе делался Мариусу отец, чем дороже ему становилась память о нем и все, за что в течение двадцати пяти лет боролся полковник, тем больше внук отдалялся от деда. Нрав Жильнормана, как указывалось выше, давно был не по душе Мариусу. В их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к Жильнорману. Стоило мосту рухнуть, как между ними образовалась пропасть. Помимо этого Мариуса приводила в неопишное негодование

мысль, что именно он, Жильнорман, из-за каких-то глупых соображений безжалостно отнял его у полковника, лишив, таким образом, отца сына, а сына лишив отца.

В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду.

Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось внешне. Мариус становился только все холоднее и холоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылаясь на занятость, на лекции, экзамены, семинары и т. п. А дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил: «Влюблен! В таких делах меня не проведешь».

Время от времени Мариус отлучался из города.

– Да куда же он ездит? – недоумевала тетка. В одну из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермейль и попытался разыскать бывшего ватерлооского сержанта, трактирщика Тенардье. Трактир оказался закрытым. Тенардье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним случилось. Занятый розысками, Мариус четыре дня не был дома.

– Ну, разумеется, куролесит, – заявил дед.

Между тем стали замечать, что на груди, под рубашкой, Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею.

Глава седьмая. Какая-нибудь юбка

Мы уже упоминали о некоем улане.

Это был внучатный племянник Жильнормана с отцовской стороны, проводивший жизнь в гарнизоне, вдали от родных и семейного уюта. Поручик Теодюль Жильнорман отвечал всем требованиям так называемого военного души. Талия у него была, как у «барышни», саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, усы лихо закручивал. В Париж он приезжал очень редко – так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки Жильнорман, отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства. Однажды утром мадмуазель Жильнорман – старшая при всей невозмутимости своего характера вернулась к себе крайне возбужденная. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться сегодня вечером. «Поезжай!» – ответил дед, а про себя, многозначительно подняв брови, буркнул: «Повадился таскаться по ночам». Мадмуазель Жильнорман поднялась в свою комнату крайне заинтригованная, бросив на лестнице в знак негодования: «Это уж чересчур!», а в знак удивления: «Куда же в самом деле он ездит?» Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, не без свидания, не без тайны, и была не прочь сунуть сюда свой оседланный очками нос. Любовный секрет – не менее лакомый кусочек, чем свежеиспеченная сплетня, и святые души не прочь его отведают. В тайниках ханжества всегда найдется запас любопытства к амурным делам.

Итак, она томилась смутным вожделением узнать, что это за романтическое приключение. Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один из распространенных узоров эпохи Империи и Реставрации, с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была скучная, работница угрюмая. Она провела в своем кресле несколько часов, как вдруг дверь отворилась. Мадмуазель Жильнорман подняла нос; перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от радости. Можно быть

старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате улана.

– Ты здесь, Теодюль! – воскликнула она.

– Проездом, тетушка.

– Поцелуй же меня!

– Рад стараться! – отвечал Теодюль и расцеловался с ней.

Тетушка Жильнорман подошла к секретеру и открыла его.

– Ну, уж недельку-то ты у нас погостишь?

– Уезжаю нынче же вечером, тетушка.

– Не может быть!

– Совершенно точно.

– Теодюль, дружок, прошу тебя, останься!

– Сердце говорит «да», а устав – «нет». Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелуне, а нас посылают в Гайон. Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе: «Дай-ка повидаюсь с тетушкой».

– Вот тебе за труды.

Она вложила ему в руку десять луидоров.

– Вы хотите сказать, за удовольствие, дорогая тетушка.

Теодюль опять поцеловал ее, и она испытала приятное ощущение, когда галуны его мундира царапнули ей шею.

– Ты едешь с полком, на коне? – спросила она.

– Нет, тетушка. Мне хотелось во что бы то ни стало повидать вас. Я получил разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду в дилижансе. Да, кстати, у меня к вам вопрос.

– Что такое?

– Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает?

– Откуда ты знаешь? – воскликнула тетушка; ее любопытство было возбуждено.

– По приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собою место в карете.

– И что же?

– Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира.

– Кто же это?

– Мариус Понмерси.

– Дрянной мальчишка! – возмутилась тетка. – Нет, твоему кузену далеко до тебя, он совсем не паинька. Смотрите, что он затеял – ночевать в дилижансе!

– Как и я.

– Но ты это делаешь по обязанности, а он по своему беспутству.

– Бездельник! – бросил Теодюль.

И тут мадмуазель Жильнорман – старшую осенило. Будь она мужчиной, она, наверно, хлопнула бы себя по лбу.

– Твой кузен знает тебя? – живо спросила она.

– Нет. Я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня вниманием.

– Значит, вы поедете вместе?

– Он – на империале, я – внутри кареты.

– Куда идет дилижанс?

– В Андели.

– Значит, Мариус туда и едет?

– Если только, как и я, не выйдет где-нибудь раньше по пути. Я сойду в Верноне, мне надо захватить гайонскую почту. А о маршруте Мариуса не имею ни малейшего представления.

– Мариус! Какое противное имя! И вздумалось же назвать его Мариусом! Вот у тебя, я понимаю, имя – Теодюль!

– Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом, – заметил офицер.

– Слушай, Теодюль!

– Слушаю, тетушка.

– Слушай внимательно!

– С превеликим вниманием.

– Итак, ты слушаешь?

– Да.

– Так вот, Мариус то и дело в отлучке.

– Ай-ай-ай!

– Он куда-то ездит.

– Ого!

– Не ночует дома.

– Эге!

– Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется.

– Какая-нибудь юбка, – проговорил со спокойствием многоопытного человека Теодюль и с затаенной насмешкой, не оставлявшей места сомнениям, добавил: – Девчонка.

– Так оно и есть! – воскликнула тетка; ей показалось, что она слышит самого Жильнормана; для нее слово «девчонка», произнесенное внучатым племянником и почти таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, звучало особенно убедительно.

– Сделай нам одолжение, последи за Мариусом, – продолжала она. – Он тебя не знает, тебе это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся и ее увидеть. Ты нам напишешь. Это позабавит дедушку.

Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган десятью луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами: «К вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил: «Вот я и попал в дуэньи».

Мадмуазель Жильнорман расцеловала его.

– Ты-то, Теодюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинешься дисциплине, ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга, ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью.

Улан скорчил довольную гримасу, словно Картуш, которого похвалили за честность.

Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, не подозревая, что у него есть соглядатай. А соглядатай, наш Аргус, заснул сном праведника и всю ночь напролет прохрапел.

– Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона? – крикнул на рассвете кондуктор.

Поручик Теодюль проснулся.

– Превосходно, – в полусне пробормотал он, – мне здесь выходить.

А когда он окончательно стряхнул с себя сон и память его начала проясняться, ему вспомнилась тетка, десять луидоров и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариуса. Это рассмешило его.

«Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе, – подумал он, застегивая мундир. – Он мог остановиться в Пуасси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Мелане, так и в Манте, если только не сошел раньше в Рольбуазе. А то, добравшись до Паси, мог свернуть налево в Эвре или направо – в Ларош – Гийон. Попробуй-ка, тетенька, угонись за ним! Но что же, черт побери, напишу я милой старушке?»

В эту минуту в окне кареты показались спускавшиеся с императора черные панталоны.

«Уж не Мариус ли это?» – промелькнуло в голове поручика.

Это был действительно Мариус.

У самого дилижанса молоденькая крестьянка, проталкиваясь между лошадьми и почтарами, предлагала пассажирам цветы.

– Купите цветов вашим дамам! – кричала она.

Мариус подошел и выбрал лучшие цветы из ее корзинки.

«Дело принимает любопытный оборот! – подумал Теодюль, выскакивая из кареты. – Но кому, пропади он пропадом, собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет может предназначаться писаной красавице. Я должен на нее поглядеть».

Подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он, теперь уже не по чужой указке, а удовлетворяя свое любопытство, стал следить за Мариусом.

Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего.

«Здорово же он влюблен!» – решил Теодюль.

Мариус направился к церкви.

«Великолепно, – рассуждал сам с собой Теодюль. – Церковь! Очень хорошо. Свидания, заправленные обедней, – чего лучше! Перемигиваться за спиной у боженьки премилое дело».

Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов абсиды.

«Итак, свидание происходит не внутри, а снаружи, – подумал Теодюль. – Ну-ну, поглядим на девчонку».

И он стал на цыпочках пробираться к углу, за который свернул Мариус.

Дойдя до угла, он замер от удивления.

На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус.

Букет свой он растрепал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест, и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя: ПОЛКОВНИК БАРОН ПОНМЕРСИ. Слышались рыдания Мариуса.

Девчонка оказалась могилой.

Глава восьмая. Нашла коса на камень

Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал всякий раз, когда, по выражению Жильнормана, «таскался по ночам».

Поручик Теодюль совершенно растерялся, неожиданно очутившись рядом с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполетах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделанное Теодюлем относительно любовных походов Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне, в силу непонятого стечения обстоятельств, почти тотчас же не получила отклика в Париже.

Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром.

Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилижансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать с часок, он быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, и отправился купаться.

Жильнорман, как все здоровые старики просыпавшийся спозаранку, услышал, что Мариус приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был.

Но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы спуститься вниз, нежели восьмидесятилетнему старцу, чтобы подняться вверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было.

Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка.

– Тем лучше, – сказал Жильнорман и проследовал в гостиную, где уже восседала мадмуазель Жильнорман – старшая, вышивавшая свои экипажные колеса.

Он вошел ликуя.

Держа в одной руке сюртук, а в другой черную нашейную ленточку Мариуса, Жильнорман воскликнул:

– Победа! Теперь мы откроем тайну! Проникнем в святая святых, прощупаем нашего молчальника, узнаем все его шашни! Мы у самых истоков романа. У меня портрет!

Действительно, на ленточке висел футлярчик из черной шагреновой кожи, напоминавший медальон.

Старик взял футляр и некоторое время, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него, бедняги, перед носом, но не для него предназначенный.

– Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Ну что за болваны! Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает! Нынче у молодежи прескверный вкус!

– Давайте посмотрим, отец, – сказала старая дева.

Футлярчик открывался нажатием пружины. Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки.

– От той же к тому же, – с громким хохотом сказал Жильнорман. – Я догадываюсь, что это такое. Любовная записка!

– Ну прочтите же ее! – сказала тетка и надела очки. Затем развернула бумажку и прочла следующее:

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы под Ватерлоо.

Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своею кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнуло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Жильнорман чуть слышно, как бы про себя, прошептал:

– Это почерк рубаки.

Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так и сяк, затем положила обратно в футляр.

В ту же минуту из кармана сюртука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. Мадмуазель Жильнорман подняла его и развернула голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. Мадмуазель Жильнорман протянула одну из них отцу, и тот прочел: Барон Мариус Понмерси.

Старик позвонил. Вошла Николетта. Жильнорман взял ленточку, футляр и сюртук и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал:

– Унесите этот хлам.

Добрый час прошел в глубочайшем молчании. И старик и старая дева сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жильнорман промолвила:

– Очень мило!

Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, завидев его,

тотчас впал в насмешливый, исполненный буржуазного высокомерия тон, в котором было нечто уничижающее.

– Так, так, так! – закричал он. – Оказывается, ты теперь барон. Ну. поздравляю тебя. А что это собственно значит?

– Это значит, – слегка покраснев, ответил Мариус, – что я сын своего отца.

Жильнорман перестал смеяться и резко сказал:

– Твой отец – это я.

– Мой отец, – продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, – был человек скромный, но храбрый, доблестно служивший Республике и Франции, показавший свое величие в величайших исторических событиях, проживший четверть века на бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, в грязи и под дождем, человек, получивший двадцать ранений, захвативший два знамени и умерший забытым, заброшенным, виновным единственно в том, что слишком сильно любил двух неблагодарных – родину и меня!

Это было уж чересчур, Жильнорман не вытерпел. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же действие на лицо старого роялиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного – пунцовым, из пунцового – багровым.

– Мариус! Мерзкий мальчишка! – воскликнул он. – Я не знаю, каков был твой отец! И знать не хочу! Я о нем ничего не знаю и его самого не знаю! Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи! Голодранцы, убийцы, каторжники, воры! Все, говорят тебе! Все без исключения! Все! Запомни, Мариус! А ты такой же барон, как моя туфля! Робеспьеру служили одни грабители! Бу – о – на – парту – одни разбойники! Одни изменники, только и знавшие, что изменять, изменять, изменять! Законному своему королю! Одни трусы, бежавшие от пруссаков и англичан под Ватерлоо! Вот это мне известно. А ежели почтенный ваш родитель, чего я до сих пор не знал, – принадлежит к их числу... Ну что ж, очень жаль, тем хуже для него!

Теперь наступила очередь Маркуса играть роль угля, а Жильнормана – мехов. Мариус весь дрожал; он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают его облатки, или факир, на глазах у которого прохожий плюет на его идола. Может ли он допустить, чтобы такие слова безнаказанно произносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии над отцом надругались, топтали его ногами. И кто? Дед. Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но нельзя оставить неотомщенным отца. С одной стороны – священная могила, с другой – седины. Под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом:

– Долой Бурбонов! И этого жирного борова Людовика Восемнадцатого!

Людовика XVIII уже четыре года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично.

Старик из багрового сразу стал белее собственных волос. Он повернулся к стоявшему на камине бюсту герцога Беррийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем, медленно и молча, дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещащему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держась оробевшей старой овцой, сказал, улыбаясь, почти спокойно:

– Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей.

И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости, страшный, с надувшимися на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул:

– Вон!

Мариус покинул дом деда.

На другой день Жильнорман сказал дочери:

– Посылайте каждые полгода шестьдесят пистолей этому кровопийце и при мне никогда о нем не упоминайте.

Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в течение трех с лишним месяцев обращаться к дочери на «вы».

Мариус удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминания обстоятельство еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются мелочами. И хотя вины от этого не прибавляется, обида возрастает. Торопясь, по приказанию деда, отнести «хлам» Мариуса в его комнату. Николетта, должно быть, обронила на темной лестнице в мансарду медальон из черной шагреновой кожи с запиской полковника. Ни записка, ни медальон так и не нашлись. Мариус был уверен, что «господин Жильнорман» – с этого дня он иначе не называл его – бросил в огонь «завещание отца». Он знал наизусть немногие строки, написанные полковником, – в сущности, ничто не было потеряно. Но самая бумага, почерк являлись для него реликвией, все это составляло частицу его души. Что с ними сделали?

Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и не зная, куда пойдет. При нем было тридцать франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабриолет, взяв его почасно, и отправился в Латинский квартал.

Что станет с Мариусом?

Книга четвертая Друзья азбуки

Глава первая.

Кружок, чуть было не вошедший в историю

В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимся из глубин дыханием 1789 и 1792 годов.

Молодежь, – да простят нам это выражение! – начала линять. Люди менялись почти незаметно для себя, просто в силу движения времени. Стрелка, совершая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы – демократами.

Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячей отливов; отливом свойственно все смешивать; отсюда самые неожиданные сочетания идей; преклонялись и перед Наполеоном и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность роялизма, вольтеррианский роялизм нашел себе не менее странного партнера в бонапартистском либерализме.

Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость. Там увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления; абсолютное, уже в силу своей неумолимости заставляло умы устремляться к лазурным высям и витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра облечется в плоть и кровь.

Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже обнаруживалась склонность к тайне, создававшая угрозу «существующему порядку», подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак. Скрытые помыслы власти, подводившей

подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот.

В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий тугендбунд или итальянский союз карбонариев; но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. В Эксе уже намечалось возникновение Кугурды, в Париже, среди прочих объединений подобного рода, существовало общество «Друзей азбуки».

Что представляли собой эти Друзья азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться. Члены общества объявили себя Друзьями азбуки, подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа⁸⁸. Его хотели поднять. Каламбур, отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике: например *Castratus ad castra*⁸⁹, благодаря которому Нарсес стал командующим армией; например *Barbari et Barberini*⁹⁰, например *Fueros y Fuegos*⁹¹; например *Tu es Petrus et super hanc petram*⁹² и т. д. и т. п.

Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собою тайное общество в зачаточном состоянии, мы бы даже сказали – котерию, будь в возможностях котерий выдвигать героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах: близ Рынка, в кабачке «Коринф», о котором речь будет впереди, и близ Пантеона, на площади Сен – Мишель, в маленьком кафе «Мюзен», ныне снесенном. До первого сборного пункта было недалеко рабочим, до второго – студентам.

Тайные собрания Друзей азбуки происходили в дальней комнате кафе «Мюзен».

В этой зале, достаточно отдаленной от самого кафе, с которым ее соединял длиннейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Грe. Здесь курили, пили, играли в игры, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, а шепотом об иных делах. К стене – этого обстоятельства было вполне достаточно, чтобы заставить насторожиться полицейского агента, – была прибитая старая карта республиканской Франции.

Большинство Друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей – они до некоторой степени принадлежат истории:

Анжольрас, Комбефер, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Баорель, Легль или л'Эгль, Жоли, Грантер.

Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане.

Это был замечательный кружок. Он исчез в безднах, оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, пожалуй, будет нелишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия.

Анжольрас, которого мы называли первым, – а почему именно его, станет ясно впоследствии, – был единственным сыном богатых родителей.

⁸⁸ По-французски слово «азбука» (А Б С) звучит, как *abaisse* – униженный, обездоленный.

⁸⁹ Кастрат у лагерного костра (*лат.*)

⁹⁰ Варвары и Барберини (*лат.*)

⁹¹ *Фуэрос* – особые права некоторых средневековых испанских городов; *фуэгос* – огни (*исп.*)

⁹² ...ты Петр, и на сем камне <Я создам церковь Мою...> (Евангелие от Матфея, XVI, 18). Петр – по-гречески – камень.

Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. По блеску его задумчивых глаз можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил Апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец. Знал до мельчайших подробностей все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, по натуре он был первосвященник и воин. Священнодействуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала – если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пухлой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб. Высокий лоб на лице – то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью и, хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигнув зрелости мужчины, он все еще выглядел ребенком. Ему было двадцать два года, а на вид – семнадцать. Он был строгого поведения и, казалось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна страсть – справедливость и одна мысль – ниспровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте – Сен-Жюстом. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пенья птиц. Обнаженная грудь Эвадней взволновала бы его не более, чем Аристокитона. Для него, как для Гармония, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал глаза перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободы. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затея завести с ним интрижку грозил неминуемый провал. Если гризетка с площади Камбре или с улицы Сен-Жан-де-Бове, приняв его за вырвавшегося на волю школьника и пленившись этим обликом пажа, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развевающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, вздумала бы испробовать над Анжольрасом чары своей красоты, его изумленный и грозный взгляд мгновенно разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Езекииля с галантным Керубино Бомарше. Рядом с Анжольрасом, воплощавшим логику революции, стоял Комбефер, воплощавший ее философию. Разница между логикой и философией революции состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжольраса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее. Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна, – говорил он, – но нужна и цивилизация»; вокруг крутой горы перед ним раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефера отличались известной доступностью и практичностью. Будь Комбефер во главе революции, при нем дышалось бы легче, чем при Анжольрасе. Анжольрас желал осуществить с ее помощью божественное право, Комбефер – естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй – сторонником Кондорсе. Комбефер в большей степени, чем Анжольрас, жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой – мудрого. Анжольрас был мужественнее, Комбефер – человечнее. *Ното et Vir*⁹³, – в этом в сущности и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость Комбефера, равно как и строгость Анжольраса, являлась следствием душевной чистоты. Комбефер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек» и, наверно, охотно называл бы человека, вслед за испанцами,

⁹³ Человек и муж (*лат.*)

Нотъге. Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явления поляризации света, восхищался сообщением Жоффруа Сент – Илера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одна – лицо, другая – мозг, был в курсе всей жизни, не отставал от науки, сопоставлял теории «Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил, надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии, мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, штудировал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты Монитера и размышлял. Он утверждал, что будущность – в руках школьного учителя, и живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи. Но он опасался, как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина не превратили бы в конце концов наши школы в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к „несбыточным мечтаньям“. Он верил в любую фантазию: и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру-обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его не пугали крепости, всюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука в конечном счете должна изменить существующее положение вещей. Анжольрас был вождем, Комбефер – вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим – пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбефер был не способен к борьбе. Нет, он всегда готов был грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы, и так, постепенно, сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дожидаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что Комбеферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года страшили его. Однако еще менее приемлем был для Комбефера застой: он чувствовал в нем гниение и смерть. По существу, он предпочитал пену бурлящей воды миазмам неподвижного болота, поток – клоаке, Ниагарский водопад – Монфоконскому озеру. Словом, он не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем как его мятежные и рыцарски влюбленные в абсолютное друзья преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был коленопреклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте и чтобы ничто не омрачало великого и благородного поступательного движения народов. „Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла“, – неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая руки в огне, обагрят их в крови, то красота прогресса – в сохранении безукоризненной чистоты: и Вашингтон, олицетворяющий прогресс, и Дантон,

воплощающий революцию, отличаются друг от друга, как ангелы с крылами лебедя от ангелов с крылами орла.

Жан Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшейся к серьезному и глубокому побуждению, породившему в нем весьма похвальный интерес к изучению средних веков, он переименовал себя из Жана в Жеана. Жан Прувер был вечно влюблен, посвящал свои досуги возне с цветами, игре на флейте, сочинению стихов; он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково твердо верил и в светлое будущее и в бога и осуждал революцию только за одну павшую по ее вине царственную голову – за голову Андре Шенье. У него был мягкий голос с неожиданными переходами в резкие тона. Он был начитан, как ученый, и мог почти сойти за ориенталиста, но прежде всего он был добр, и потому – это вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собою, – в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский, но пользовался ими лишь затем, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исаию. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Расина, Агриппу д'Обинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками; облака занимали его, пожалуй, не менее житейских дел. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой – к богу, и он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами; заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, формы ассоциаций, производство, распределение – вот что составляло предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник, а по вечерам наблюдал за громадами ночных светил. Как и Анжольрас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, ходил, опустив голову и потупя взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр.

Фейи был рабочим-веерщиком, круглым сиротой. С трудом зарабатывая три франка в день, он имел одну заветную мечту – освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота – стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Фейи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сиротой, Фейи усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не осталось ни одного человека без отчизны. С проникательностью выходца из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь «идеей самосознания наций». Именно затем, чтобы негодовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца, кстати и некстати, говорил о них с тем большей настойчивостью, что он сознавал свое право на это. Захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы – Россией, Венеции – Австрией – все эти акты насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование – лучший вид красноречия; именно такое красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, который предательство лишило независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставшей прототипом и зачином всех ужасных притеснений, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, самое существование которых оказалось вследствие этого, – если можно так выразиться, – под вопросом. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши –

теорема, все современные политические злодеяния – ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать *ne varietur*⁹⁴ раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением прежде, чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815-м делят добычу. Таково было содержание речей Фейи. Этот бедняк-рабочий взял на себя роль заступника справедливости, а она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава так же не может оставаться татарской, как Венеция – немецкой. Бороться за это – напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия – Италией. Протест права против актов насилия не молкнет. Кража целого народа не прощается за давностью. Плоды крупных мошенничеств недолговечны. С нации нельзя спороть метку, как с носового платка.

У Курфейрака был отец, которого все звали господин де Курфейрак. К числу многих неверных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи Реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит вера в частичку «де». Частичка эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен «Минервы» так высоко расценивала это ничтожное «де», что почитала за долг отказываться от него. Г-н де Шовелен стал именоваться г-ном Шовеленом, г-н де Комартен – г-ном Комартемом, г-н де Констан де Ребек – Бенжаменом Констаном, а г-н де Лафайет – г-ном Лафайетом Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком.

На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись ссылкой: Курфейрак – см. Толомьес.

Курфейрак и в самом деле был полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка; двуногое очаровательное создание превращается в буржуа, четвероногое – в кота.

Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва, его передают из рук в руки, *quasi cursores*⁹⁵, почти без изменений. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817-м. Но Курфейрак был честным малым. Несмотря на кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке таился рыцарь.

Если Анжольрас был вождем, Комбефер – вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он – больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством: открытым, приветливым нравом.

Баорель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года, в связи с похоронами юного Лалемана.

Баорель был хороший малый, славившийся дурным поведением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости, и добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений.

Отчаянный буян, иными словами – страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому, в свою очередь, предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить

⁹⁴ Неизменность (*лат.*)

⁹⁵ Как состязающиеся в беге (*лат.*) – Лукреций, О природе вещей.

низвержением правительства, подстрекаемый любопытством поглядеть, что же из этого восполучится. Он одиннадцатый год числился студентом. но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом: «Адвокатом не буду», а гербом – ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот-до пальто в ту пору еще не додумались – и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Красавец старик!», а о декане факультета Дельвенкуре: «Монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, профессора, которых слушал, – сюжетом для карикатур. Он проживал, палец о палец не ударяя, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну. Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому умные».

Человек непостоянный, Баорель слонялся по разным кафе; другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать – только парижанам. А в сущности, Баорель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казался с первого взгляда.

Он служил связующим звеном между Друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более определенную форму.

В нашем конклаве был один лысый молодой человек.

Маркиз д'Аваре, которого Людовик XVIII пожаловал герцогом за то, что он посадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» – спросил король. – «О месте почтмейстера, ваше величество». – «Как вас зовут?» – «Л'Эгль».

Король нахмурился, но, взглянув на подпись под прошением, увидел, что фамилия писалась не л'Эгль, а Легль⁹⁶. Такое отнюдь не бонапартистское правописание тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество! – продолжал проситель. – Мой предок был псарь по прозвищу Легель, от этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно – Легль, а искаженно – л'Эгль». Тут король перестал улыбаться.

Впоследствии, намеренно или по ошибке, он все же вручил просителю бразды правления в почтовой конторе в Мо.

Лысый друг азбуки был сыном этого л'Эгля, или Легля, и подписывался Легль (из Мо).

Товарищи звали его для краткости Боссюэ.

Боссюэ был веселым, но незадачливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать пять лет он успел облысеть. Отец его сумел в конце концов нажить и дом и земельный участок, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и землю и дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял – все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружкой. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему «на голову со всех крыш валится черепица».

Спокойно, как должное, ибо привык к неудачам, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилась веселость. Ему частенько случалось терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда,

⁹⁶ Л'Эгль (l'aigle)-по-французски – орел. Орел был эмблемой в наполеоновском гербе.

он дружески приветствовал ее как старую знакомую и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, Горюшко!»

Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, если приходила охота, производить «безумные траты». В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел «целых сто франков», ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества слова: «Эй ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги!»

Боссюэ не торопился овладеть профессией адвоката. Он изучал юридические науки на манер Баорея. Постоянного жилища у него не было, а подчас не было совсем никакого. Он жил то у одного, то у другого приятеля. Чаще всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Боссюэ.

Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. Он стал не столько врачом, сколько больным. В двадцать три года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а изножьем на север, чтобы, под влиянием магнитных сил земли, кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда шупал себе пульс. Тем не менее это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем, – в итоге получалось эксцентричное, но премилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жолллли». «Смотри, не улети на своих четырех „л“!» – шутил Жан Прувер.⁹⁷

Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служит признаком проницательности.

Всех этих молодых людей, столь не похожих друг на друга, объединяла общая вера в Прогресс; в конечном счете они заслуживали глубокого уважения.

Все они были родными сынами французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося: «Восемьдесят девятый год». Их отцы по плоти могли в прошлом, и даже в настоящем, принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения; молодежи не было никакого дела до неразберихи, царившей до них; в их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга. Организовав братство посвященных, они начали втайне готовить осуществление своих идеалов.

Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантером; он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву R⁹⁸. Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретавших за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так, он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» – наилучшим бильярдом, «Эрмитаж» на бульваре Мен – прекрасными оладьями и приятнейшими девицами, что у тетушки Саге великолепно жарят цыплят, у Кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Боев можно получить недурное белое вино.

⁹⁷ По-французски согласная «л» произносится «эль», так же, как слово «эль» (aile) – крыло. Отсюда каламбур: «Не улети на своих четырех „л“, то есть: „Не улети на своих четырех крыльях“.

⁹⁸ Прописная буква R по-французски – грант эр (grand R).

Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, ко всему прочему был не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию:

«Грантер, – заявила она, – есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантера. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора; всем своим видом он словно говорил: «Захоти я только!» – и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто нарасхват.

Такие слова, как: права народа, права человека, общественный договор, французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс – представлялись Грантеру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете он относился иронически. Любимый афоризм его был: «В жизни достоверно одно – стакан вина». Он глумился над всякой самоотверженностью, кто бы ни являл пример ее: брат или отец, Робеспьер ли младший, или Луазероль. «Да ведь они на своей смерти немало выиграли?» – восклицал он. Распятие на его языке называлось «виселицей, которой здорово повезло». Бабник, игрок, гуляка, вечно пьяный, он напевал себе под нос: «Люблю я красоток, люблю я вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям.

Впрочем, и у этого скептика был предмет фанатического увлечения: не идея, не догма, не наука, не искусство, но человек, а именно – Анжольрас. Грантер восхищался им, любил его, благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул этот во всем сомневающийся анархист? К самому непреклонному из всех. Чем же покорила его Анжольрас? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему так же в порядке вещей, как существование закона взаимодополняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего недостает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик-кумир карлицы. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? Затем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантеру, в котором копошились сомнения, доставляло радость видеть, как в Анжольрасе парит вера. Анжольрас был ему необходим. Он не отдавал себе в этом ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжольраса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей противоположностью. В нравственной своей дряблости, неустойчивости, расхлябанности, болезненности, изломанности он цеплялся за Анжольраса, как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального стержня, Грантер искал опоры в стойкости Анжольраса. Рядом с ним и он становился в некотором роде личностью. К этому необходимо добавить, что сам он представлял собою сочетание двух, казалось бы, несовместимых, элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Явление противоречивое, ибо привязанность – та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, обратной стороной другого. К ним принадлежат Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эвдамидасы, Гефестионы, Пехмейи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-нибудь; их имена – только продолжение чужих имен и пишутся всегда с союзом «и» впереди; у них нет своей жизни, их жизнь-изнанка чужой судьбы. Грантер был один из таких людей. Он представлял собою обратную сторону Анжольраса.

Можно утверждать с известным основанием, что в самих буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите О и П неразрывны; сказать О и П – это все равно что сказать Орест и Пилад.

Грантер, подлинный сателлит Анжольраса, дневал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, только там чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. Для него не было большей радости, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты. А его терпели за покладистость.

Верующий, трезвенник, Анжольрас презирал этого скептика и пьяницу. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантер оставался на положении непризнанного Пилада. Вечно терпя от суровости Анжольраса, грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к Анжольрасу и говорил про него: «Кремень, а не человек!»

Глава вторая.

Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо

Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень и, как увидят читатели, почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе «Мюзен», с томным видом прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес единственный груз – груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен – Мишель. Стоять прислонившись к чему-нибудь – это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели этим не пренебрегают. Легль из Мо раздумывал, без всякой, впрочем, грусти, над маленькой неприятностью, приключившейся с ним два дня назад на юридическом факультете и спутавшей и без того достаточно неясные его планы на будущее.

Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, – обратить на него внимание. Легль из Мо, в полудремотном состоянии рассеянно глядя по сторонам, вдруг заметил двуколку, еле-еле, как бы нерешительно тащившуюся по площади. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Рядом с извозчиком сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришта карточка, а на ней бросались в глаза написанные крупными черными буквами имя и фамилия: Мариус Понмерси.

Это заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и крикнул, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке:

– Господин Мариус Понмерси!

Двуколка остановилась.

Молодой человек, по-видимому тоже пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза.

– Что? – сказал он.

– Вы господин Мариус Понмерси?

– Да, это я.

– Я вас разыскиваю, – объявил Легль из Мо.

– Вот как? – удивился Мариус; это был и в самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. – Я вас не знаю.

– И я вас не знаю, – молвил Легль.

Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. А ему было совсем не до шуток. Он сдвинул брови. Но Легль из Мо невозмутимо продолжал:

– Вас не было позавчера на лекциях.

– Возможно.

– Не возможно, а совершенно точно.

– Вы студент? – спросил Мариус.

– Как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к переключке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Если вы на трехкратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши шестьдесят франков.

Мариус стал слушать внимательнее. А Легль продолжал:

– Переключку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы П. Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Переключка шла неплохо. Весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя: «Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, чинить нынче расправу». Вдруг он вызывает: «Мариус Понмерси!» Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: «Мариус Понмерси!» – и уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе: «Эх! Славного малого хотят вычеркнуть. Пойдите! Кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик. Не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии и всякой прочей премудрости, не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных прогулок, друг-приятель гризеток, волокита, быть может в этот самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть Блондо!» В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от вымарок перо, окидывает хищным взглядом аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси!» – «Здесь!» – ответил я. Потому-то вас и не вычеркнули.

– Позвольте, сударь... – начал было Мариус.

– А вычеркнули меня, – закончил Легль из Мо.

– Я вас не понимаю, – сказал Мариус.

– Дело простое, – принялся объяснять Легль. – Чтобы ответить, я подошел к кафедре, потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, – он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, – перескакивает на букву Л. Л – это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя Легль.

– Л'Эгль... Какое прекрасное имя! – прервал его Мариус.

– Ну так вот. Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает «Легль!» – «Здесь!» – отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит улыбаясь: «Если вы Понмерси, стало быть, не Легль». Фраза, как будто не совсем учтивая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнеся ее, он меня вычеркнул.

– Я глубоко огорчен, сударь! – воскликнул Мариус.

– Прежде всего, – прервал его Легль, – я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного хуже, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. И вот я говорю: *Erudimini qui judicatis terram*⁹⁹. Здесь покоится Блондо, Блондо Носатый, Блондо Nasica, вол дисциплины – *bos disciplinae*, цепной пес списков, гений переключек. Был он прямолинеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь бог вычеркнул его из числа живых, как он меня – из числа студентов.

– Мне очень неприятно... – снова начал было Мариус.

– Да послужит вам это уроком, молодой человек, – сказал Легль из Мо. – Впредь будьте аккуратнее.

– Примите самые искренние мои сожаления.

– Впредь ведите себя так, чтобы ваших близких не вычеркивали из списков.

– Я просто в отчаянии...

Легль расхохотался.

– А я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот. Не нужно будет ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то

⁹⁹ Учитесь, судьи земли (*лат.*)

я добился исключения! И этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему я намерен нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?

– В этом кабриолете, – ответил Мариус.

– Значит, вы богаты, – не моргнув глазом, подхватил Легль. – Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере девять тысяч франков в год.

В этот момент из кафе вышел Курфейрак.

Мариус печально улыбнулся:

– Я нахожусь на этой квартире два часа и не дожусь, когда с нее съеду. Но вот какая история – мне некуда деваться.

– Поедьте ко мне, сударь, – сказал Курфейрак.

– Первенство, собственно говоря, принадлежит мне, – заметил Легль, – но беда в том, что у меня у самого нет дома.

– Замолчи, Боссюэ, – оборвал его Курфейрак.

– Боссюэ? – с недоумением повторил Мариус. – А я полагал, что фамилия ваша Легль.

– Из Мо, – ответил Легль, – иносказательно же – Боссюэ.

Курфейрак сел в кабриолет.

– Гостиница Порт-Сен-Жак! – приказал он извозчику.

В тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак вместе с Курфейраком.

Глава третья. Изумление Мариуса растет

Не прошло и нескольких дней, как Мариус подружился с Курфейраком. Юность-пора стремительных сближений и быстрого зарубцовывания ран. В обществе Курфейрака Мариусу дышалось легко – ощущение, ранее ему неизвестное. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все читается на лице. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимопонимания молодым людям достаточно взглянуть друг на друга.

Тем не менее однажды утром Курфейрак неожиданно спросил Мариуса:

– Кстати, у вас есть какие-нибудь политические убеждения?

– Ну разумеется, – ответил Мариус, слегка обиженный вопросом.

– Кто же вы?

– Демократ-бонапартист.

– Окраска в достаточной мере серая, – заметил Курфейрак.

На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо: «Надо помочь вам вступить в революцию», – и провел Мариуса в комнату Друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив вполголоса: «Ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словом.

Очутившись здесь, Мариус попал в осиное гнездо остроумия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и жалоносной породе. Мариус вел до тех пор уединенный образ жизни, и в силу привычки и по натуре он был склонен к монологам и разговорам с самим собою, и ему было как-то не по себе среди обступившей его молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия и привлекала и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неутомимо ищущими умами, мысли кружились у него в голове. В эти минуты душевного смятения они разбегались, и он с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе, искусстве, истории, религии, знакомился с самыми крайними взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли все это. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел

устойчивое мирозерцание; полный тревоги, не смея и самому себе в том признаться, теперь он начал подозревать, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием мерных толчков умственный горизонт его заколебался. Это было состояние внутренней ломки. Оно причиняло ему почти физические страдания.

Для этих молодых людей, казалось, не существовало «ничего святого». По любому поводу Мариус мог услышать потрясающие речи, смущавшие его еще робкий ум.

Вот на глаза попала театральная афиша с названием трагедии старого, так называемого классического, репертуара.

– Долой трагедию, любезную сердцу буржуа! – кричит Баорель.

Ему возражает Комбефер:

– Ты заблуждаешься, Баорель. Буржуазия любит трагедию, и пускай себе любит, оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет право на существование. Я не разделяю мнения тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право. В самой природе встречаются образцы топорной работы, среди ее творений есть готовые пародии: клюв – не клюв, крылья – не крылья, плавники – не плавники, лапы – не лапы, крик жалобный, но вызывающий смех, – вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов?

В другой раз, при Мариусе, проходившем вместе с Анжольрасом и Курфейраком по улице Жан – Жака Руссо, произошел следующий разговор.

– Обратите внимание, – сказал Курфейрак, беря его под руку, – мы находимся на Штукатурной улице, которая именуется ныне улицей Жан – Жака Руссо по той причине, что лет шестьдесят назад здесь проживала забавная парочка: Жан – Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет детей, а Жан – Жак – подкидышей.

Курфейрака оборвал Анжольрас:

– Не оскверняйте памяти Жан – Жака! Я преклоняюсь пред этим человеком. Пусть он отрекся от своих детей, но он взял себе в сыновья народ.

Никто из молодых людей не употреблял слова «император». Только Жан Прувер иногда говорил «Наполеон», все остальные называли его Бонапартом, а Анжольрас выговаривал Буонапарт.

Все это приводило Мариуса в изумление. То было *initium sapientiae*.¹⁰⁰

Глава четвертая.

Дальняя комната в кафе «Мюзен»

Один разговор между молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус и в который он изредка вставлял слово, произвел на него огромное впечатление.

Дело происходило в дальней комнате кафе «Мюзен». В тот вечер почти все Друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел кенкет. Говорили о том о сем громко, но без особого увлечения. За исключением Анжольраса и Мариуса, которые хранили молчание, каждый разглагольствовал о чем придется. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразбериха. Перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах.

Ни одна женщина не допускалась в заднее помещение кафе, кроме судомойки Луизон, время от времени проходившей туда, где мылась посуда, в «лабораторию» кабачка.

¹⁰⁰ Начало познания (*лат.*)

Грантер, сильно навеселе, забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих.

– Жажда томит меня, о смертные! – орал он. – Мне приснился сон, будто с гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок и будто одна из них – я. Мне хочется выпить. Мне хочется забыться. Жизнь – кто ее только выдумал! – прегнусная штука. И длится она минуту, и цена ей грош. Станешь жить – непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь – сцена с декорациями и почти без реквизита. Счастье – старая рама, выкрашенная с одной стороны. Все суета сует, говорит Екклезиаст. Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете. Нуль, не желая ходить нагишом, рядится в суету. О суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плясуна в учителя танцев, акробата в гимнаста, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатура в архитектора, жокея в спортсмена, мокрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа – это негр в побрякушках, с изнанки глупа – это философ в рубище. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, даже настоящая честь и слава – подделка под золото. Человеческое тщеславие – игрушка для царей. Калигула сделал консулом коня, Карл Второй возвел в рыцарское достоинство жаркое. А после этого в компании консула Incitatus¹⁰¹ и баронета Ростбифа не угодно ли кичиться чинами и орденами! Что же касается душевных качеств человека, то и они немногого стоят. Достаточно послушать панегирики, какие сосед поет соседу. Белое всегда жестоко к белому. Умей лилия говорить, непоздоровилось бы от нее голубке! Ханжа, которая судит о святоше, ядовитее ехидны и гадюки. Жаль, что я невежда, а не то я привел бы вам кучу примеров, но я ничего не знаю. Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил, я проводил его с пользой: картинок не мазал, а таскал яблоки. Что малевать, что воровать – один черт! Это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваши совершенства, достоинства и качества. Любое качество может обернуться недостатком: бережливый – родня скупому, щедрый – брат моту, храбрый – друг бахвала, от смиренных речей всегда отдает лицемерием. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут, он совершил убийство! Вот это и называется добродетелью! Добродетелью – пускай, но и безумством. У этих великих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгилионом, резцу которого принадлежит также фигура амазонки, так называемой Эвкнемозы Прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собою. От Стронгилиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Врут был влюблен в одну, Нерон – в другую. История-это переливание из пустого в порожнее. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва под Маренго – точная копия битвы под Пидной; Толбиак Хлодвиг и Аустерлиц Наполеона похожи как две капли крови. Я не придаю победе никакого значения. Побеждать – глупейшее занятие. Не победить, а убедить – вот что достойно славы. А ну-ка, попробуйте хоть что-нибудь доказать! Но вам достаточно преуспевать и покорять. Какая посредственность, какое ничтожество! Увы, куда ни глянь, всюду тщета и низость. Все подчиняется успеху, даже грамматика. «Si volet usus»¹⁰², говорит Гораций. Вот за что я и презираю род человеческий. А теперь не перейти ли нам от общего к частному? Быть может, вы ждете от меня похвалы народам? С кого же

¹⁰¹ Быстро бегущего (лат.)

¹⁰² Если потребует обычай (лат.)

начать, позвольте спросить? Не угодно ли с Греции? Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона – здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи – и до такой степени низкопоклонствовали перед тиранами, что Анацефор говорил про Пизистрата, будто «на запах его урины слетаются пчелы». В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции был маленький щедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и описанная Плинием. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием «подножку». Вот и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? Франции? За что, не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг – Кроссе ежегодно умирает от голода до ста человек. Вот он каков, Альбион! Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцевавшую в венке из роз и в синих очках. Так скорчим же Англии рожу! Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джон Булю желание похвалить брата Джонатана? Никоим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии *time is money*¹⁰³ и что останется от Англии? Отнимите у Америки *cotton is king*¹⁰⁴, и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии – желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, в том числе крепкая деспотическая власть. Но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм. Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один Павел задушенный, другой – затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Василиев – все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворце русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит предметом удивления для мыслителей. Я имею в виду войну, ибо война, притом война цивилизованная, применяет все виды разбоя, начиная с нападения испанских трабукеров в горных ущельях Жакки и кончая грабежом индейцев – команчей. Бросьте, скажете вы. Европа все-таки лучше Азии! Я не отрицаю, что Азия нелепа. Однако я не вижу особых оснований вам, народы Запада, потешаться над далайламой, – вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ – и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак дофина! Нет, дудки, господа человеки! В Брюсселе больше всего потребляют пива, в Стокгольме – водки, в Мадриде – шоколада, в Амстердаме – можжевельники, в Лондоне – вина, в Константинополе – кофе, в Париже – абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех перещеголял. В Париже и тряпичник живет, как сибарит; Диогену, наверное, доставило бы не меньше удовольствия быть тряпичником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее: кабачки тряпичников называются погребками. Самые знаменитые из них – «Кастрюля» и «Скотобойня». Итак, о трактиры и кабаки, закусовые и питейные, рестораны и харчевни, распивочные и кофейни, караван-сарай халифов и погребки тряпичников! Сим свидетельствую, что я чревоугодник, столуюсь у Ришара, плачу сорок су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них нагую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? Ах, это ты, Луизон? Давай поздороваемся. Так разглагольствовал нахлеставшийся Грантер в углу дальней комнаты кафе «Мюзен», задев проходившую мимо судомойку.

¹⁰³ Время – деньги (англ.)

¹⁰⁴ Хлопок – король (англ.)

Боссюэ протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантер разошелся.

– Лапы прочь, орел из Мо! Твой жест Гиппократ, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Я готов избавить тебя от труда и утомиться. Между прочим, мне очень грустно. Что вам еще сказать? Человек дурен, человек безобразен. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным господь бог опростоволосился. Толпа – богатейший выбор всяческих уродств. Кого ни возьми – дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с «бесчестна». Да, разумеется, я болен сплином, осложненным меланхолией и ностальгией, а в придачу ипохондрией, и я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его, господя бога, к черту!

– Да замолчи же, наконец, ЭР прописное! – прервал его Боссюэ, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова которой гласили:

«...А что до меня, то, будучи еще мало искушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать нижеследующее, а именно: что, согласно нормандскому обычному праву, ежегодно в Михайлов день со всех, без изъятий, землевладельцев взимался в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно с земельных купчих и...»

– «Эхо, жалобных нимф голоса»... – затыкнул Грантер.

По соседству с Грантером за столиком царила почти мертвая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось вполголоса, две склоненные головы касались друг друга.

– Прежде всего надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно придумать сюжет.

– Это верно. Диктуй. Я записываю.

– Господин Доримон.

– Рантье?

– Разумеется.

– Его дочь Целестина...

– ...тина. Дальше?

– Полковник Сенваль.

– Сенваль слишком избито. Лучше Вальсен.

Неподалеку от начинающих водевилистов другая пара, тоже воспользовавшись шумом, вполголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный опытом тридцатилетний старец наставлял восемнадцатилетнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело.

– Будьте осторожны, черт побери! Это лихой дуэлист. Работает чисто. Ловко нападает и не даст противнику слукавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен, удары парирует мастерски, а наносит их математически точно, будь он неладен! И вдобавок левша.

В противоположном от Грантера углу Жоли и Баорель играли в домино и рассуждали о любви.

– Ты счастливчик, – говорил Жоли. – Твоя возлюбленная все время смеется.

– И напрасно, – отвечал Баорель, – это с ее стороны большая оплошность. Возлюбленной вовсе не следует вечно смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния; а если она печальная, становится совестно.

– Неблагодарный! Так приятно, когда женщина смеется! И никогда-то вы не ссоритесь!

– Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заключая наш священный союз, мы определили друг другу границы и никогда их не преступаем. То, что на север, отошло к Во, то, что на юг, – к Жексу. Отсюда нерушимый мир.

- Мир-это спокойно перевариваемое счастье.
- А как твои дела, Жол-л-л-и? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду?
- Да она все дуется на меня, жестоко и упорно.
- Казалось бы, такой тощий возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был бы ее разжалобить.
- Увы!
- На твоём месте я бы с ней распрощался.
- Легко сказать.
- Не труднее чем сделать. Если не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта?
- Да. Ах, дружище Баорель, что это за прелестная девушка, и какая начитанная! Ножка маленькая, ручка маленькая. Всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки – ну просто колдовские. Я от нее без ума.
- В таком случае надо постараться ей понравиться. Надо принарядиться. Купил бы ты себе у Штауба добротные шерстяные панталоны. Это действует.
- Надолго ли? – крикнул Грантер.

В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого, уже в силу своих симпатий к романтизму, естественно, выступал Жан Прувер. Он бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся задор, и он становился насмешлив и лиричен.

– Не будем оскорблять богов, – зывал он. – Быть может, боги еще живы. Мне Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги – это только мечты. Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, в природе по-прежнему находишь все великие мифы языческой древности. Какая-нибудь гора, ну хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость, для меня, как и встарь, – головной убор Кибелы; вы ничем мне не докажете, что Пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, перебирая пальцами дырочки. И я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио.

Наконец, в последнем углу говорили о политике. Бранили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее, Курфейрак яростно нападал. На столе лежал злополучный экземпляр хартии в знаменитом издании Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясая им в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги.

– Во-первых, я вообще против королей, – уверял он. – Уже из соображений экономического порядка я считаю их лишними: король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Вы только послушайте, во что обходятся короли. После смерти Франциска Первого государственный долг Франции достигал тридцати тысяч ливров ренты; после смерти Людовика Четырнадцатого он возрос до двух миллиардов шестисот миллионов, считая стоимость марки в двадцать восемь ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в тысяча семьсот шестидесятом году четырем миллиардам пятистам миллионам, а в наши дни составляло бы двенадцать миллиардов. Во-вторых, не в обиду будь сказано Комбеферу, королевские хартии плохие проводники прогресса. Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся! Нет, нет и нет! Не следует вводить народ в заблуждение. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений. Никаких компромиссов. Никаких всемиростивейших, дарованных народу вольностей. Во всяких таких вольностях наличествует какой-нибудь параграф четырнадцатый. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия – маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Дет! Никаких хартий!

Дело происходило зимой; два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял. Скомкав в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился фразой:

– Метаморфоза совершилась – хартия превращена в пламя.

А над всем этим здесь царило то, что у французов именуется оживлением, у англичан – юмором. Насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь со всех концов комнаты, создавали впечатление веселой перестрелки, которая шла поверх голов присутствующих.

Глава пятая. Расширение кругозора

В столкновении юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра или засверкает молния. Что возникнет спустя мгновенье? Никто не знает. Трогательное может вызвать взрыв смеха, смешное – заставить серьезно задуматься. Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий перспективу, составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель – случайность.

Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь толщу беспорядочных речей споривших между собою Грантера, Баореля, Прувера, Боссюэ, Комбефера и Курфейрака.

Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг, без всякого внешнего повода останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что этого никто не знает и среди шума и гама Боссюэ неожиданно заключил возражение Комбеферу датой:

– Восемнадцатого июня тысяча восемьсот пятнадцатого года, Ватерлоо.

Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол; при слове «Ватерлоо» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими.

– Меня всегда поражало, что это за странная цифра восемнадцать, бог ее знает! (Выражение «черт знает» в ту пору начинало выходить из употребления.) – воскликнул Курфейрак. – Восемнадцать – роковое число для Бонапарта. Поставьте перед цифрой восемнадцать Людовик, а после нее – Брюмер, и вот вам судьба великого человека с одной только существенной черточкой: в данном случае конец наступает на пятки началу.

Тут Анжольрас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил:

– Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?

«Преступление!» – это слово переполнило чашу терпения Мариуса, и без того взволнованного упоминанием о Ватерлоо.

Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу, в отдельной клетке, был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал:

– Это Корсика. Островок, сделавший Францию великой.

По комнате словно пронесся порыв ледяного ветра. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется.

Баорель собирался пустить в ход один из своих излюбленных ораторских приемов для стремительного контрудара Боссюэ. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать. Анжольрас, голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариуса:

– Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корсике. Франция велика потому, что она – Франция. *Quia nominor leo.*¹⁰⁵

Однако Мариус не имел ни малейшего желания отступать. Он обернулся к Анжольрасу и заговорил громким, дрожащим от волнения голосом:

– Боже меня упаси умалять величие Франции! Но сливать воедино Францию и Наполеона вовсе не означает умалять ее. Поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но, должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся, приведем в ясность, с кем мы и кто мы. Кто вы, кто я? Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как Буонапарт с ударением на у, словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел: он произносит – Буонапарте. Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собою совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, он составлял своды законов; подобно Цезарю, предписывал их; в речах его, как у Паскаля, сверкали молнии и, как у Тацита, слышались громы; он и творил и писал историю, его бюллетени-песни Илиады; он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомета; на Востоке он оставлял на своем пути слова, великие, как пирамиды; в Тильзите учил императоров царственности; в Академии наук с успехом возражал Лапласу; в Государственном совете выходил победителем, споря с Мерленом; он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других; с юристами он превращался в законника, со звездочетами – в астронома; подобно Кромвелю, который всегда задувал одну из двух горящих свечей, он, чтобы подешевле купить кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль; он все замечал, все знал, что, однако, не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Но вот испуганная Европа слышит: армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, плавучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны, границы государств меняются на карте, доносится свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте, с огнем в руках и пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два своих крыла: великую армию и старую гвардию, – воистину это архангел войны! Все молчали, Анжольрас потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени принято за знак согласия или за свидетельство того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхания, продолжал с еще большим воодушевлением:

– Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции и если он приобщает свой гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел, делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднить династии, штыками перекраивать Европу, – пусть чувствуют, что когда он угрожает, рука его на эфесе божьего меча! Какой блестящий жребий – следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть народом того, кто, что ни день, дарует вам благовест успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки Дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные, неугасимым пламенем горящие слова: Маренго, Арколь, Аустерлиц, Иена, Ваграм! Кто поминутно зажигает в зените веков созвездия новых побед, уподобляет Французскую империю Римской! Какой блестящий жребий – быть великой нацией, создавшей великую армию и, подобно горе, посылающей орлов своих во все концы вселенной, дать разлететься по всей

¹⁰⁵ Ибо ношу имя льва (лат.)

земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то необыкновенный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды: силой оружия и ослепительным светом! Это ли не прекрасно? И есть ли что-либо прекраснее этого?

– Быть свободным, – промолвил Комбефер.

Теперь Мариус, в свою очередь, потупил голову. Эти простые и сдержанные слова словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, Комбефера уже не было. Удовлетворившись, по-видимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел, и все, за исключением Анжольраса, последовали за ним. Комната опустела. Анжольрас остался наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись с мыслями, Мариус не признал себя побежденным; все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длиннейших силлогизмов, направленных против Анжольраса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был Комбефер, а пел он следующее:

*Когда бы Цезарь дал мне славу,
И трон, и скипетр, и державу,
И мне велел за то предать
Мою возлюбленную мать,
Я Цезарю сказал бы прямо:
«Мне твоего не надо хлама,
Я мать свою люблю, слепец!
Я мать свою люблю!»*

Нежное и вместе с тем суровое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый, высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил:

Я мать свою люблю...

В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжольраса.

– Гражданин! – сказал, обращаясь к нему Анжольрас. – Мать – это Республика.

Глава шестая. Res angusta¹⁰⁶

Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь в нее железом, чтобы бросить семя; она чувствует в этот миг только боль от раны; трепет зарождающейся жизни и радостное ощущение зреющего плода приходят позднее. Мариус был в мрачном настроении. Он так недавно обрел веру! Неужели нужно отречься от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и тем не менее невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной и еще не примкнув к другой, невыносимо тяжело; и лишь человеку-нетопырю милы такие потемки. Мариус принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его. Вопреки желанию

¹⁰⁶ Тяготы жизни (лат.)

оставаться на старых позициях и не трогаться с места, его неудержимо тянуло и влекло вперед, побуждало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. «Куда же это приведет меня?» – задавал он себе вопрос. Прodelав длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся, как бы снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце. Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия: для одного он был слишком вольнодумным, для других – слишком отсталым; он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен».

Охваченный душевной тревогой, Мариус не думал о насущных сторонах жизни. Но действительность не дает себя забыть. Она не преминула напомнить о себе пинком.

Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату Мариуса, заявил:

– Господин Курфейрак поручился за вас.

– Да.

– Но я хотел бы получить деньги.

– Попросите Курфейрака зайти ко мне. Мне надо с ним переговорить, – ответил Мариус.

Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удосужился рассказать, а именно, что теперь он одинок и что родных у него больше нет.

– Как же вы будете жить? – спросил Курфейрак.

– Не знаю, – ответил Мариус.

– Что вы намерены делать?

– Не знаю.

– Деньги у вас есть?

– Пятнадцать франков.

– Не хотите ли занять у меня?

– Ни в коем случае.

– Есть ли у вас платье?

– Да вот же оно!

– А ценные вещи?

– Часы.

– Серебряные?

– Нет, золотые. Вот они.

– У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас редингот и панталоны.

– Превосходно.

– Значит, у вас останется только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук.

– И сапоги.

– В самом деле? Вам не придется ходить босиком? Какая роскошь!

– Больше мне и не требуется.

– У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.

– Очень хорошо.

– Ничего хорошего тут нет. А что вы будете делать потом?

– Я согласен на любой труд, но только на честный.

– Вы знаете английский язык?

– Нет.

– А немецкий?

– Тоже нет.

– Жаль.

– Почему?

– Да потому, что один мой приятель-книготорговец издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или с английского. Платят, правда, маловато, но жить на это все-таки можно.

– Я выучу и английский и немецкий язык.

– А до тех пор?

– До тех пор буду проедать платье и часы.

Позвали торговца платьем. Он купил вещи Мариуса за двадцать франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за сорок пять франков.

– Ну что же, это неплохо, – сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу, – с моими пятнадцатью это составит восемьдесят франков.

– А счет за гостиницу? – напомнил Курфейрак.

– Верно. Я и забыл, – сказал Мариус.

Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал семидесяти франков.

– У меня остается десять франков, – заметил Мариус.

– Черт возьми! – воскликнул Курфейрак. – Вам придется питаться на пять франков, пока вы будете изучать английский язык, и на пять, пока будете изучать немецкий! Нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно – монеты в сто су.

Между тем тетушка Жильнорман, женщина в сущности добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась в конце концов, где живет Мариус. Как-то утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел письмо от нее и запечатанную шкатулку с «шестьюдесятью пистоллями», то есть с шестьюстами франками золотом.

Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором сообщал, что имеет средства к существованию и может сам себя содержать. К тому времени у него осталось всего три франка.

Тетушка не передала деду отказ Мариуса, – она боялась окончательно рассердить старика. Ведь он же приказал при нем «никогда не упоминать» об этом кровопийце!

Не желая залезать в долги, Мариус покинул гостиницу Порт-Сен-Жак.

Книга пятая

Преимущество несчастья

Глава первая.

Мариус в нищете

Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платье-это еще полбеда. Он, как говорится, хлебнул горя. Страшная вещь-нужда; это значит – дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня; это значит, что по целым неделям нечего заработать и от будущего нечего ждать; это значит – сюртук, протертый на локтях, и старая шляпа, возбуждающая у молодых девушек смех; это значит – вернуться домой и увидеть, что дверь на замке, потому что ты не заплатил за квартиру; это значит – наглость портье и кухмистра, усмешечки соседей; это значит – унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что, кроме этого, зачастую и глотать-то нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание своей неуязвимости, потому что необходима любовь, он понимал, что смешон, потому что плохо одет, и презираем всеми, потому что беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордыней, он не раз с краской стыда опускал глаза на свои дырявые сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого

слабые выходят, потеряв честь, а сильные – обрета величие! Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог.

В мелкой борьбе совершается много великих подвигов. В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глас не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность – вот поле битвы, выдвигающее своих героев, безвестных, но иной раз превосходящих доблестью наиболее прославленных.

Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета, почти всегда мачеха, иногда бывает и матерью. Скудость материальных благ родит духовную и умственную мощь; тяжкие испытания вскармливают гордость; несчастья служат здоровой пищей для благородного характера.

В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на лестнице, когда, купив у торговки на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы войти в булочную и купить хлеб, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Часто можно было видеть молодого человека с книгами под мышкой, который, направляясь в мясную лавку на углу, неловко пробирался сквозь толпу отпускавших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестели капельки пота; он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику, спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее шесть или семь су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув под мышку между двух книг, уходил. Это был Мариус. Котлеткой, которую он сам жарил, он питался три дня.

В первый день он съедал мясо, на другой – жир, на третий обгладывал косточку.

Тетушка Жильнорман несколько раз возобновляла попытки переслать ему шестьдесят пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается.

Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор он уже не мог отказаться от черного платья. Зато ему отказалось служить платью. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус оказал дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за тридцать су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький. Но он был зеленого цвета. Мариус выходил из дома только в сумерки. Сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облакался в темноту ночи.

И все же ему удалось получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненное и обогащенное несколькими томами разрозненных романов, заменяло положенную по штату библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака.

Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Жильнорман взял письмо дрожащими руками, прочел и, разорвав на четыре части, бросил в корзину. Два-три дня спустя мадмуазель Жильнорман услышала, что отец, находясь один в комнате, громко разговаривает сам с собой. Это случилось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком, – говорил старик, – ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом».

Глава вторая. Мариус в бедности

Со всем на свете свыкаешься, и с нищетой тоже. Мало-помалу она становится не такой уж невыносимой. Она приобретает в конце концов устоявшийся определенный уклад. Человек

прозябает – иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Понмерси наладилась, и вот каким путем.

Самое худшее для него миновало. Теснина впереди расступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около семисот франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль полезности. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и т. п., что давало ему чистых семьсот франков ежегодно. На них он и жил. И жил сносно. А как именно? Об этом мы сейчас расскажем.

За тридцать франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, торжественно именовавшуюся кабинетом; там было только самое необходимое. Обстановка являлась собственностью Мариуса. Три франка в месяц он платил старухе, главной жилище, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам горячую воду, свежее яйцо и хлебец в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от двух до четырех су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В шесть часов вечера он шел по улице Сен – Жак пообедать у Руссо, против торговца эстампами Басе, на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта па три су. Хлеб стоил три су, и его давали вволю. Вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести г-жа Руссо, он давал су гарсону и получал в награду улыбку г-жи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в шестнадцать су.

Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли: «водяным Руссо».

Итак, при завтраке в четыре су и обеде в шестнадцать, Мариус тратил на еду двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавьте тридцать франков за квартиру и тридцать шесть франков старухе, кое-какие мелкие расходы – и получится, что за четыреста пятьдесят франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему сто франков, белье – пятьдесят, стирка – пятьдесят, а все в совокупности не превышало шестисот пятидесяти франков. У него оставалось еще пятьдесят франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую взаймы; однажды Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус «упразднил».

У Мариуса было два костюма: старый, «на каждый день», и новый – для торжественных случаев. И тот и другой – черного цвета. Сорочек у него было не больше трех: одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Когда старые изнашивались, он покупал новые. И все же сорочки были у него почти всегда рваные, и это вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка.

Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы; их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий. Чего только он не испытал и за что только не брался, избегая лишь одного – брать в долг! Он мог смело сказать, что никогда не был должен ни единого су. Для него всякий долг означал начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина: господская власть распространяется только на ваше физическое я, кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унижить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и часто сидел голодным. Памятуя, что крайности сходятся и упадок материальный, если не принять мер предосторожности, может привести к упадку моральному, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и

поступки, которые при других обстоятельствах он считал бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось потом бить отбой. Строгость лежала на его лице словно румянец; в своей застенчивости он доходил до резкости.

Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку.

Рядом с именем отца в сердце Мариуса запечатлелось другое имя – имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, – этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней: большой алтарь был воздвигнут для отца, малый – для Тенардье.

Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье, с тех пор, как узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. Он прилагал огромные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты. Мариус изъездил окрестности, побывал в Шеле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение трех лет он предпринимал эти поиски, тратя на них все свои скудные сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в постигшей его неудаче, он негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником, и Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так, – думал он, – ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот умирал на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах, а он ничем не был обязан отцу! Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и, в свою очередь, вернуть к жизни? Нет, я найду его!» Чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардье, оказать Тенардье услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю! Вот я! Располагайте мною!» – было самой отрадной, самой высокой мечтой Мариуса.

Глава третья.

Мариус вырос

В ту пору Мариусу исполнилось двадцать лет. Прошло три года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними, – ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было искать ее? Чтобы опять начались столкновения? Кто из них согласился бы пойти на уступки?

Мариус был тверд, как бронза, Жильнорман крепок, как железо.

Нужно сказать, что Мариус не знал, какое сердце у деда. Он вообразил, что Жильнорман никогда его не любил и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бранился, кричал, бушевал и замахивался тростью, в лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных жеронтов. Мариус заблуждался. Есть отцы, которые не любят своих детей, но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души Жильнорман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему, сопровождая обожание туманами и затрещинами; но когда мальчик ушел из его дома, он почувствовал в своем сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его строго исполняется. Первое время он надеялся, что этот буонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот

сентябрист вернется. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца, к величайшему огорчению Жильнормана, не показывался. «Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось», – убеждал себя дед. И тут же задавал себе вопрос: «А случись это сейчас, поступил бы я так же?» Его гордость, не задумываясь, отвечала: «Да», а старая голова безмолвным покачиванием печально отвечала: «Нет». Временами он совсем падал духом: ему не доставало Мариуса. Привязанность нужна старикам, как солнце; это тоже источник тепла. Несмотря на всю его стойкость, в его душе с уходом Мариуса что-то переменялось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению «с этим дрянным мальчишкой», но он страдал. Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в Маре, становился все более и более замкнутым. Он был по-прежнему весел и вспыльчив, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая горе и гнев, а вспышки всегда заканчивались тихим и сумрачным унынием. «Эх, и здоровенную же оплеуху я бы ему отвесил, только бы он вернулся!» – иногда говорил он себе.

Что же касается тетки, то она неспособна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить; Мариус превратился для нее в неясную тень, и в конце концов она стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, которые, конечно, у нее были.

Тайные муки старика Жильнормана усиливались еще и оттого, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печь новейшего изобретения, поглощающую свой дым. Случалось, что иной незадачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал: «Как поживает и что поделывает ваш милый внук?» Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, отвечал: «Барон Понмерси изволит сутяжничать в какой-то дыре».

Но между тем как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило забыть горечь обиды. Он вспоминал теперь о Жильнормане с теплым чувством, однако твердо решил ничего не принимать от человека, «дурно относившегося» к его отцу. Вот какую умеренную форму приняло теперь его бывшее возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать и что страдания его не прекращались. Ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравилась ему. С какой-то радостью он твердил себе, что «все это еще слишком хорошо»; что это искупление; что, не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, к такому отцу! Ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значат его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него это так же мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом, и что именно это, наверное, и означали слова полковника: «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце.

Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком, теперь он стал взрослым мужчиной. Он сознавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что направляет нашу волю к действию, а душу к высоким целям. Бедность обнажает материальную изнанку жизни во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение; следствием этого является неодолимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши сотни столь же блестящих, сколь и грубых, развлечений: скачки, охота, собаки, табак, карты, яства и еще многое другое; все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души, в ущерб возвышенным и благородным ее сторонам. Бедный юноша трудом добывает хлеб насущный, он должен утолить голод, а когда утолит его, то может предаться мечтаниям. Ему доступны бесплатные

зрелища, даруемые богом: он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого страждет, мир творений, в котором он является светочем. И, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений бога. Он мечтает и чувствует себя великим, мечты уносят его все дальше и дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам, для нее закрытым, он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается у него в сердце. Да и бывает ли он несчастен? Нет. Молодого человека нищета не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, алостью губ, белизною зубов, чистотою дыхания всегда составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом, каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание; и пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается мыслями. Закончив дневной урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным восторгам и радостям. Жизненный путь его скорбен, полон препятствий и терний, под ногами у него камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен, и он благословляет бога за то, что тот даровал ему два сокровища, недоступные многим богачам: труд, с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство. Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и успокоился, решив, что бедным быть лучше, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, что он проводил целые дни в раздумье, словно зачарованный, погружившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешал для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше ради духовной пользы. Иначе говоря жертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Он полагал, что ни в чем не нуждается, но не замечал, что понятая таким образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени; удовольствовавшись самым необходимым, он слишком рано вздумал отдыхать.

Совершенно ясно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремоту.

Несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жильнорман, он не только не «сутяжничал», но вовсе не занимался адвокатурой.

Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться состряпчими, торчать в судах, гоняться за практикой — какая тоска! Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в скромной книготорговле обеспечивала ему без большой затраты труда надежный заработок, и его вполне хватало Мариусу.

Один из книготорговцев, на которых он работал, если не ошибаюсь, это был Мажимель, предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованьем полторы тысячи франков в год. Хорошая квартира! Полторы тысячи франков! Это, конечно, недурно. Но лишиться свободы! Превратиться в наемника! В своего рода литературного приказчика! По мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение: выиграть с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это

означало бы променять неприкрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость. Из слепого превратиться в кривого. Он отказался.

Мариус жил уединенно. В силу природной склонности держаться особняком, а также и потому, что его отпугнули, он так и не вошел в кружок, возглавляемый Анжольрасом. Они остались приятелями, были готовы, если бы понадобилось, оказать один другому любую услугу, но и только. У Мариуса было два друга: Курфейрак и Мабеф; один был молод, другой стар. Он больше льнул к старику. Во-первых, ему он был обязан своим душевным переворотом, во-вторых благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял с моих глаз катаракту», говорил Мариус.

И действительно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль.

Правда, Мабеф явился лишь покорным и бесстрастным орудием провидения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно и сам того не подозревая, как освещает комнату свеча, кем-нибудь туда внесенная. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит.

Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то Мабеф был совершенно неспособен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею.

Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с Мабефом, то мы считаем нелишним сказать о нем несколько слов.

Глава четвертая.

Мабеф

В тот день, когда Мабеф сказал Мариусу: «Разумеется, я уважаю политические убеждения», он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него безразличны, он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали его покоя, — он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим фурий «прекрасными, благими, прелестными», Эвменидами. Самому Мабефу политические воззрения заменяла страстная любовь к растениям и еще большая к книгам. Как у всех его современников, у него был ярлычок, оканчивавшийся на *ист*, без которого тогда никто из обходился. Однако Мабеф не был ни роялистом, ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеанистом, ни анархистом, он был букинистом.

Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой «чепухи», как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и т. п., когда на свете существует такое множество мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться, и такое множество всяческих книг, не только *in folio*, но и в одну тридцать вторую долю, которые можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятия ботаникой занимать садоводством. Когда между ним и Понмерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, Мабеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сенжерменские; по-видимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели из набожности, а также потому, что, любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел собрание людей безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы тюльпана, мужчину — сильнее эльзевира. Ему уже давно перевалило за шестьдесят, когда кто-то однажды спросил его: «Разве вы никогда не были женаты? „Не припоминаю“, ответил он. Если ему случалось — а с кем это не случается? — вздыхать иногда: „Ах, будь я богат!“ — то он говорил это не как старик Жильнорман, заглядываясь на красотку, а любясь старинной книгой. У него жила старая экономка. Когда он спал, его скрюченные

ревматизмом пальцы торчали бугорками под складками простыни (следствие хирагры в легкой форме). Он написал и издал книгу Флора окрестностей Котере. Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише которых хранились у него, пользовалось довольно широкой известностью; он сам продавал его. Два-три раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателя. Он выручал около двух тысяч франков в год, чем и ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел, терпеливо отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию редких изданий. Он выходил из дому не иначе как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением четырех комнат в нижнем этаже, которые он снимал вместе с садиком, являлись оправленные в рамки гербарии и гравюры старых мастеров. От одного вида сабли или ружья кровь застыла у него в жилах. Ни разу в жизни он близко не подошел к пушке, даже к той, что у Дома инвалидов. У него была совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, говорил с пикардийским акцентом, смеялся детским смехом, был очень пуглив и всем своим видом напоминал старого барана. У него был брат священник, но, не считая старика Руайоля, хозяина книжной лавки у ворот СенЖак, он ни к кому на свете не питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его было акклиматизировать во Франции индиго.

Образец святой простоты являла собой его служанка. Добрая старушка так и осталась девицей. Кот Султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее с Мизерере Аллегри в исполнении Сикстинской капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас неистраченной нежности. О мужчинах она и не помышляла. Ни за что не решилась бы она изменить своему коту; она была такой же усатой, как он. Единственную ее гордость составляла белизна чепцов. Воскресное послеобеденное время она посвящала пересчитыванию белья в сундуке или раскладыванию на кровати кусков материи, которые покупала себе на платья, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Мабеф прозвал ее «тетушка Плутарх».

Мариус заслужил благосклонность Мабефа, ибо своей молодостью и мягкостью согревал его старость и умел щадить его робкий нрав. Молодость в соединении с мягкостью оказывает на стариков такое же действие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славой, пороховым дымом, бесчисленными походами и переходами и всеми изумительными битвами, участвуя в которых его отец то наносил, то получал страшные сабельные удары, он шел повидать Мабефа, и тот повествовал ему о любви героя к цветам.

Около 1830 года умер его брат священник, и почти тотчас же горизонт для Мабефа омрачился, словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков, в которых заключалось все его состояние как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в делах прежде всего перестают продаваться всякие Флоры. На Флору окрестностей Котере сразу прекратился спрос. Недели шли за неделями, а покупателей у Мабефа не было. Если звонил звонок, Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день Мабеф докинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с СенСюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только три месяца по двум причинам: во-первых, нижний этаж с садом стоил триста франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше двухсот; во-вторых, он оказался тут по соседству с тиром «Фату», откуда беспрестанно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил.

Забрав свою Флору, клише, гербарий, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер, в деревне Аустерлиц; здесь он за пятьдесят

экую в год нанимал нечто вроде хижины в три комнаты, с садом, обнесенным забором, и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для гравюр и гербариев, а покончив с этим занятием, вез остальное время до сумерек копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то задумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал: «Ничего, ничего, у нас есть еще индиго!» Лишь двум посетителям-хозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот Сен-Жак, да Мариусу разрешалось навещать Мабефа в его аустерлицкой хижине; откровенно говоря, это громкое наименование не доставляло ему удовольствия.

Впрочем, как мы уже отмечали, до рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью или, что нередко бывает, обеими одновременно, очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к своей судьбе. Сосредоточенность на одном предмете рождает пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходить на нет, разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение в конце концов наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и несчастьем. Он ставка в ней, а следит за партией с полнейшим безразличием. Вот каким образом, несмотря на сгущавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокою душевную ясность. В его мышлении была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ.

У Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер; самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя, что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей, и вид у них при этом такой, словно они хотят во что бы то ни стало убедить себя в истинности читаемого. С такой именно выразительностью читала тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Мабеф слушал не вслушиваясь.

Тетушка Плутарх дошла до того места, где говорится о красавице и драгунском офицере: «...Красавица рассердилась и сказала: „Буду“. И драгуна...»

Тут тетушка Плутарх остановилась, чтобы протереть очки.

Будду и Дракона, вполголоса повторил Мабеф. Совершенно верно, был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Не одна звезда сгорела от возней этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра. Будда вошел в его пещеру – ему удалось укротить дракона. Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд.

Мабеф погрузился в сладостную задумчивость.

Глава пятая.

Бедность и нищета – добрые соседи

Мариусу нравился этот простодушный старик, засасываемый нуждой и уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения, замечать это. С Курфейраком Мариус встречался, если к тому представлялся случай, общества Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него не часто, не более двух раз в месяц.

Любимое удовольствие Мариуса составляли долгие одинокие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил возле усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом, на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо

водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. И многие находили, что одежда у него какая-то странная, а вид зловещий. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам.

В одну из таких прогулок Мариус набрел на лачугу Горбо и, соблазнившись уединенностью и дешевизной, поселился здесь... Все знали его тут под именем г-на Мариуса.

Старые генералы и старые товарищи отца, познакомившись с Мариусом, стали звать его к себе. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они давали ему возможность поговорить об отце. Он появлялся то у графа Пажоля, то у генерала Белавена и Фририона, то в Доме инвалидов. Здесь занимались музыкой, танцевали. На эти вечера Мариус надевал новый костюм. Но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету, а приходиться в сапогах, которые не блестели, как зеркало, ему не хотелось.

«Уж так созданы люди», не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты чего бы вы подумали? Совести? Нет, сапог!

В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса тоже нашла в них исцеление. Этому способствовала и революция 1830 года, принеся ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив, помимо гнева, все прежние чувства. Воззрений своих он не переменил, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось, сохранились симпатии. Сторонником какой партии был он? Партии человечества. Из всех представителей человечества он отдавал предпочтение французам, из всей нации-народу, а из всего народа женщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставил поэта выше героя, книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного Маренго. И когда вечером, после дня, проведенного в раздумье, он, идя бульварами домой, сквозь ветви деревьев вглядывался в беспредельные небесные пространства, мерцающие безвестные огни, в бездну, мрак, тайну, все человеческое казалось ему ничтожным.

Он думал, и, быть может, справедливо, что открыл настоящий смысл и настоящую философию жизни, и в конце концов сосредоточился только на созерцании неба, доступного взору истины из глубины ее колодца.

Это не мешало ему строить планы на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладая наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало, в мечтах его нет. Мечты, возникающие произвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный духовный облик. Нет ничего более непосредственно исходящего из сокровенных глубин нашей души, чем наши безотчетные и безудержные стремления к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связанных, продуманных, стройных мыслях, виден подлинный характер человека. Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре.

Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастное семейство Жондретов, гонят с квартиры. Мариус, по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи.

– А за что же их гонят? – спросил он.

– За то, что не платят и просрочили уже двойной срок.

– Сколько это составляет?

– Двадцать франков, – ответила старуха.

У Мариуса в ящике стола лежали про запас тридцать франков.

– Вот вам двадцать пять франков, – сказал он старухе. – Заплатите за этих бедных людей, а пять франков отдайте им. Только не говорите, что это от меня.

Глава шестая. Заместитель

Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетюшки Жильнорман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Марксом, теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем.

На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо, лучи Авроры иногда бывают отрадны руинам, она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. «Ничего, что другой, рассуждала она, это все равно что исправленная опечатка в книге „Мариусчитай Теодюль“».

Внучатный племянник почти что внук; за отсутствием адвоката можно обойтись уланом.

Однажды утром, когда Жильнорман был занят чтением не то Ежедневника, не то какой-то другой газеты того же сорта, вошла дочь и сладким голосом, ибо речь шла об ее любимчике сказала:

– Папенька! Нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение.

– Кто такой Теодюль?

– Ваш внучатный племянник.

– А-а! – протянул дед.

Затем он снова принялся читать, выкинув из головы внучатного племянника какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В «листке», который он держал в руках, само собою разумеется – роялистского толка, без всяких околичностей сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно «Завтра, в полдень, на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов». Речь шла об одном из злободневных тогда вопросов об артиллерии национальной гвардии и конфликте между военным министром и «гражданской милицией» из-за установленных во дворе Лувра пушек. Это и должно было служить предметом «обсуждения» на студенческом совещании. Этого было вполне достаточно, чтобы Жильнорман вскипел.

Он вспомнил о Мариусе, который тоже был студентом и который, наверно, вместе с другими отправится в полдень «совещаться» на площадь Пантеона.

За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихонько введенный в комнату мадмуазель Жильнорман. Улан рассудил, что «старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком»

Теодюль, ваш внучатный племянник! громким голосом произнесла мадмуазель Жильнорман, обращаясь к отцу.

И тут же шепнула поручику:

– Смотри, ни в чем ему не перечь.

Затем она удалилась.

Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка», и отвесил какой-то непонятный поклон, машинально, по привычке, начав его по-военному, а закончив по – штатски.

А, это вы! Прекрасно, садитесь, проговорил дед. И тотчас же позабыл об улане.

Теодюль сел, а Жильнорман встал.

Засунув руки в жилетные карманы и сжимая старыми, дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух: Сопливая команда! А туда же собираться! Слыханное ли дело: не где-нибудь, а на площади Пантеона! Несчастные сосунки, вчера только от кормилиц, молоко на губах не обсохло, а туда жесовещаться завтра в полдень! К чему, к чему это приведет? Совершенно ясно только к гибели. Вот куда завели нас эти голоштанники! Гражданская артиллерия! Совещаться о гражданской артиллерии! Выходить на улицу, горланитьполагается ли национальной гвардии палить из пушек или нет! А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства! Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что, кроме беглых да помилованных каторжников, там никого не сыщешь. Республиканец и острожник-два сапога пара. Карно спрашивал: «Куда прикажешь мне идти, изменник?» А Фуше отвечал: «Куда угодно, дурак!» Все они такие, ваши республиканцы.

Совершенно верно, подтвердил Теодюль.

Жильнорман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал.

И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием? Зачем ты покинул мой дом? Чтобы стать республиканцем! Выдумал! Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не нужна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут, он прекрасно знает, что в конце концов народ это только народ, его, понимаешь ли, смешит твоя республика, глупая твоя голова! Что может быть омерзительнее этой придури? Втюриться в Отца Дюшена, строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом девяносто третьего года! Да такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа! И все попадают на эту удочку. Никто не ускользнет. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы, и разума как не бывало!

Девятнадцатый век это яд. Какой-нибудь шельмец-мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорей от стариков родителей наутек. Это по республикански, это романтично. А что это за штука такая романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука? Сплошное дурачество. Год назад все бегали на Эрнани. Скажите на милость, Эрнани! Разные там антитезы, ужасы. И написано даже не по-французски! А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до чего докатились! Вы совершенно правы, дядюшка, сказал Теодюль.

Пушки во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки? не унимался Жильнорман.

Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь! И сам их Бенжамен Констан тоже не велика фигура! А если и попадется среди них не подлец значит, болван! Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят; девчонки, глядя на них, прыскают.

Честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любвебоязнью. Они не только неказисты они еще и глупы; им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье. Сюртуки сидят на них безобразно, в их жилетах щеголять только конюхам, сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи; а каково оперенье таково и пенье. Их словечки разве только на их подметки годятся. И у всех этих безмозглых младенцев есть, изволите ли видеть, свои политические воззрения! Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном, моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами радырадешеньки, если доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезających на тележки! Ах, Мариус! Ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры! Боже милосердный, это называется у них мерами! Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видел хаос, а теперь вижу кутерьму. Школяры, обсуждающие судьбы национальной гвардии! Такого не увидишь даже у краснокожих

оджибвеев и кадодахов! Дикари, разгуливающие нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно волан, и с дубиной в лапах, – и те не такие скоты, как эти бакалавры! Молокососы! Цена-то им грош, а корчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают! Нет, это конец света. Совершенно ясно конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты под арки Одеона. Стоит эго всего одно су, но в придачу надо отдать здравый смысл, рассудок, сердце, душу и ум. Побывают там и вон из семьи. Все газеты чума, даже Белое знамя! Ведь Мортенвиль был в сущности якобинцем. Боже милосердный! Теперь он может быть доволен: он довел своего деда до отчаянья!

Это не подлежит никакому сомнению, согласился Теодюль.

Воспользовавшись тем, что Жильнорман умолк, чтобы перевести дух, улан нравоучительно добавил:

Из газет следовало бы сохранить только Монитор, а из книг Военный ежегодник.

Все они вроде Сийеса! – снова заговорил Жильнорман. – Из цареубийц – в сенаторы! Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, а потом требуют, чтобы их величали сиятельствами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы! Сийес философ! Я горжусь тем, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малаке процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, и в шляпах, как у Генриха Четвертого. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки его величества тигра. Уверяю вас, граждане, что ваш прогресс безумие, ваше человечество мечта, ваша революция преступление, ваша республика уродина, ваша молодая, девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были-журналисты, экономисты, юристы, пусть даже большие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины! Вот что, милые друзья!

Черт побери! воскликнул поручик. Как это верно!

Жильнорман опустил руку, обернулся, посмотрел в упор на улана Теодюля и отрезал: Дурак!

Книга шестая Встреча двух звезд

Глава первая. Прозвище как способ образования фамилии

В ту пору Мариус был красивым юношей среднего роста, с шапкой густых черных волос, с высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного; выражение его лица было горделивое, задумчивое и наивное. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере глубок и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключа он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с его целомудренным лбом. Глаза у него были небольшие, взгляд открытый.

В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки заглядывались на него, когда он проходил, и, затаив в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что на нем обноски, и смеются над ним. На самом деле они смотрели на него потому, что он был красив, и мечтали о нем. Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора ни на одной по той простой причине, что бежал от всех. Вот так он и жил «по-дурацки», как выражался Курфейрак. Не лезь в святоши (они были на «ты»: в юности друзья легко переходят на «ты»), – говорил Курфейрак. Мой тебе совет, дружище: поменьше читай и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутówki не так уж плохи, поверь мне, Мариус! А будешь бегать от них да краснеть отупеешь.

Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат!» Послушав Курфейрака, Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал женщин, и молодых и старых, да и самого Курфейрака.

Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это – женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила его служанка». Другая была девочка; он очень часто видел ее, но не обращал на нее внимания.

Больше года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших рядом, почти всегда на одной и той же скамейке, в самой уединенной части аллеи, выходившей на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею, – а это бывало почти ежедневно, – он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе, но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, на вид новенькие, с иголки, черный галстук и квакерскую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Чистюля-вдовец!» – крикнула однажды, проходя мимо, гризетка. Голова у него была совсем седая. В первый раз, когда Мариус увидел, как девочка, сопровождавшая старика, села подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она показалась ему тринадцатичетырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное, плохо скроенное платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь.

Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он перестал думать о них. А те, должно быть, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали. Девочка весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.

Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут.

Вот как это происходило.

Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к исходному пункту и начинал путь сызнова. Раз шесть мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову поздороваться. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому их заметили студенты, изредка приходившие погулять в аллею Питомника: прилежные – после занятий, иные – после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стремительно ретировался. Он бежал как парфянин, метнув в них прозвище. Только и запомнив, что цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «девицей Черной», а отца – «господином Белым». Никто не знал, как их зовут, и за отсутствием имени вошло в силу прозвище. «А! Господин Белый тут как тут!» – говорили студенты. Мариус тоже стал называть неизвестного г-ном Белым.

Мы последуем их примеру и для удобства будем именовать его г-ном Белым.

Первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку он находил мало приятной.

Глава вторая. **Lux facta est¹⁰⁷**

На второй год, как раз к тому времени, до которого мы дошли в своем повествовании, Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил прогулки в Люксембургский сад и почти полгода не показывался в аллее. Но вот однажды, ясным летним утром, он снова туда отправился. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет хор птиц и в его сердце голубеет лазурь небес, глядевшая сквозь листву деревьев.

Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца, увидел на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ней, он заметил, что старик нисколько не изменился, а девушка показалась ему совсем иной... Высокая, красивая. Создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту их пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка, – пору мимолетную и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб, словно изваянный из мрамора, щеки, словно лепестки розы, легкий румянец, заалевшая белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова – как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры Жана Гужона. И, наконец, довершал обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа, хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям – предмет отчаяния художников и восторга поэтов.

Проходя мимо, Мариус не мог разглядеть ее глаза, все время остававшиеся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость. Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего; трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз.

В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке и он взглянул в девушку, то убедился, что это была она. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, в

¹⁰⁷ И стал свет (лат.)

мгновение ока бутон распускается, и вы видите розу. Вчера это был еще ребенок, сегодня – это существо, которое волнует вас.

Но девочка не только выросла, в ней появилась одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточно полгода, чтобы облечься в красоту. Пришел ее апрель.

Мы наблюдаем иногда, как бедные, скромные люди вдруг, словно после дурного сна, из нищества попадают в роскошь, сорят деньгами, становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги, – вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход.

Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериновое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая девушка. На ней было платье из черного дама, пелеринка из той же материи и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, которыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности. А старик совсем не изменился.

Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже думая о другом.

Он еще несколько раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее.

В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставлял там «отца и дочь», но не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.

Глава третья. Действие весны

Был теплый день; Люксембургский сад заливали свет и тень, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл всю душу природе; он ни о чем не думал, он только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взгляды встретились.

Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего – и было все. Словно неожиданно сверкнула молния.

Девушка опустила глаза, Мариус пошел дальше.

То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка, – то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся.

У каждой девушки бывает день, когда она так смотрит. Горе тому, кто случится поблизости! Этот первый взгляд еще не сознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые невольно расставляет невинность и в которые, сама того не желая и не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины.

Редко случается, чтобы подобный взгляд не поверг в глубокую задумчивость человека, на которого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном, роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, цветок, именуемый любовью.

Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной небрежностью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «на каждый день», иными словами – в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, протертом на локтях.

Глава четвертая. Начало серьезной болезни

На другой день Мариус достал из шкафа новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул – небывалая роскошь! – перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад.

По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, что не замечает его. Курфейрак, вернувшись домой, сказал товарищам: «Я только что встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса в придачу. Наверно, он шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий».

Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал его: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то и толкало его туда и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда.

Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке» г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим».

Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни обычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какая глупая книга – «Руководство к получению степени бакалавра» и какими редкостными кретинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял звон. Приближаясь к скамейке и на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нес, заполняя конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние.

Но, по мере того как он приближался к скамье, шаг его замедлялся. На некотором расстоянии от нее далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца.

Едва ли девушка могла издали разглядеть его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что сидели сзади, вздумалось взглянуть на него.

Он достиг противоположного конца аллеи, затем вернулся и на этот раз осмелел. До скамьи оставалось пройти всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что не может идти

дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону. И все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно государственный муж. Когда он проходил под огнем противника, сердце его заколотилось. На ней было то же платье из дама и та же креповая шляпка, что и накануне. До него донесся чей-то дивный голос – наверное, «ее голос». Она что-то не спеша рассказывала. Она была прехорошенькая. Он чувствовал это, хотя и не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением, – думал он, – если бы узнала, что не кто иной, как я, – подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию Жиль Блаза!»

Он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. На этот раз он был очень бледен. По правде говоря, он испытывал неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему повернуться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться.

Больше не пытаясь подойти к скамейке, он остановился посередине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, сел и принялся посматривать в ту сторону, полагая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой и черным платьем он любовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку.

Через четверть часа он поднялся, намереваясь снова направиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь. Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца «г-н Белый».

Несколько минут стоял он, опустив голову и чертя на песке тростью.

Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой.

В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже поздно, он сказал себе: «Не беда!» и съел кусок хлеба.

Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.

Глава пятая.

Громы небесные раздражаются над головой мамыши Ворчуньи

На другой день мамаша Ворчунья – так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но сорвиголове Курфейраку не было до этого никакого дела, – итак, мамаша Ворчунья с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме.

Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Он сел здесь, как и накануне; издали ему хорошо были видны белая шляпка, черное платье и особенно голубое сияние. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запираТЬ ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и решил, что они прошли через калитку, выходившую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер.

На другой день – это был уже третий по счету – мамашу Ворчунью снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме.

– Три дня подряд! – воскликнула она.

Она пошла было за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости.

«Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля здравого смысла?» – ворчала она.

А Мариус опять пошел в Люксембургский сад.

Девушка и г-н Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним.

Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова.

Девушка была в самом деле изумительно хороша. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.

Глава шестая.

Взят в плен

Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке, с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Г-н Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже, – думал он, – я не успею принять надлежащую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится целую вечность, то казалось, что не прошло и мгновения. «Зачем они пошли этой стороной? – задавал он себе вопрос. – Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближались их мерные, мягкие шаги. Он вообразил, что г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» – думал он. Он опустил голову, а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался с духом подойти к ней, и говорит: «Я пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым бездонным взглядом. Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Прекрасной – той совершенной красотой, и женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте – преклонить колени. Мариус чувствовал себя на вершине блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запыхались сапоги.

Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги.

Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко

сиейлся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен.

Затем он вышел из Люксембургского сада, надеясь, встретить девушку где-нибудь на улице. Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком.

– Пойдем со мной обедать, – предложил он.

Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону.

– А ты читал сегодня газету? – спросил он за десертом Курфейрака. – Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво!

Он был безумно влюблен.

После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр.

– Плачу я, – заявил он.

Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в Адретской гостинице. Мариус смеялся от души.

Вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивавшей через канавку, а замечание Курфейрака «Я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» – привело его в ужас.

На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы поохотаться. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях Кишера. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения.

– А все-таки очень приятно иметь орден! – воскликнул он.

– Это уж смешно! – шепнул Курфейрак Жану Пруверу.

– Нет! – возразил Жан Прувер. – Тут не до смеха.

Действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало сильной страсти.

И все это сделал один только взгляд.

Когда мина заложена, когда все подготовлено к взрыву, то дальше все идет просто. Взгляд – это искра.

Свершилось. Мариус полюбил. Что было ему предначертано?

Женский взгляд напоминает машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд в вас вцепился. Вцепился ли он в вашу мысль, оказавшуюся на его пути, попались ли вы по рассеянности, как и почему это случилось – не важно. Но вы погибли. Вас тянет туда всего. Вас скуют таинственные силы. Соппротивление напрасно. Человеческая помощь бесполезна. От колеса к колесу машина потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой; все муки, все пытки придется вам претерпеть, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины обезображенный стыдом или преображенный любовью.

Глава седьмая.

Приключение с буквой «У» и догадки относительно этой буквы

Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубленно, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений – все подготовило Мариуса к состоянию одержимости, которая именуется страстью. Обожествление отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло в глубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь.

Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», – говорил Курфейрак. А Мариус испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. Сомнений не было – девушка смотрела на него!

Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимания отца». Как истинный макиавеллист, рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по полчаса неподвижно простаивал подле какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, тоже поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве со дня творения и каждой женщине – со дня рождения! Губы ее отвечали одному, глаза – другому.

Надо думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо при появлении Мариуса он часто поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду – вторая ошибка!

Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил – процесс естественный и неизбежный – в фазу ослепления. Любовь его все росла. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье; подлив масла в огонь, оно совсем затуманило ему глаза. Однажды, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без вышивки, но очень белый, тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.».

Мариус ничего не знал о милой девочке, не знал ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Первое, что он узнал о ней, были эти две буквы, и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква „У“, – думал он, – обозначает имя. Наверное, Урсула! Чудесное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть.

– Я чувствую в нем всю ее душу! – восклицал он.

А платок принадлежал старику, который выронил его из кармана.

В дни, следовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это.

– О стыдливость! – говорил себе Мариус.

Глава восьмая.

Даже инвалиды могут быть счастливы

Если мы уже произнесли слово «стыдливость» и если мы не желаем ничего таить, то должны сказать, что, несмотря на свое упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный ветер, колыхавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок.

Вдруг еще более резвый порыв ветра, которому, по всей вероятности, было поручено делать дело весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Феокрита, приподнял ее платье – не менее священное, чем покрывало Изида, платье – почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел в страшное раздражение и ярость. Божественным движением, полным испуга, девушка оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там, – думал он, – мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Вообразить себе только! То, что она натворила, ужасно!» Бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был ветер; но Мариус, в котором зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицемерие очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее.

Когда его «Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла вместе с г-ном Белым мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый, свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?»

Это была их «первая ссора».

Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался в аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами – солдатский орден Людовика Святого; сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был здесь! А вдруг видел!» – повторял он себе. А, чтоб он пропал, этот инвалид!

Время притупляет остроту чувства. Гнев Мариуса на «Урсулу», гнев праведный, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня. Несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.

Глава девятая.

Затмение

Мы видели, как Мариус открыл – или же вообразил, что открыл, – будто «ее» зовут Урсулой.

Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет.

Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиатора. Он допустил и вторую: не оставался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку он решил проводить «Урсулу». Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид.

С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дому.

Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае знал если не фамилию, то ее имя – прелестное, самое подходящее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она.

Однажды вечером, проводив их до дому и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника:

– Скажите, это вернулся жилец второго этажа?

– Нет, – ответил привратник, – это жилец третьего.

Еще один факт установлен. Успех окрылил Мариуса.

– Его квартира выходит на улицу?

– Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу, – объяснил привратник.

– А кто он такой, этот господин? – продолжал Мариус.

– Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным.

– А как его фамилия? – задал новый вопрос Мариус.

Привратник поднял голову.

– Уж не сыщик ли вы будете, сударь? – спросил он.

Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад.

«Превосходно, – думал он. – Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже».

На другой день г-н Белый и его дочь появились в Люксембургском саду ненадолго. Они ушли засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально посмотрел на Мариуса.

На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день.

С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас.

На следующий день в Люксембургском саду – никого Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, любовь – влюбленного.

Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось.

Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило? – подумал он. – Лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажегся, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный.

На следующий день, – теперь он жил ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него уже не существовал, – на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду, но

это его уже не удивило. В семерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен в мрак.

Мариус постучался и вошел в ворота.

– Дома господин, проживающий в третьем этаже? – спросил он привратника.

– Он съехал, – ответил тот.

Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил:

– Когда?

– Вчера.

– А где он теперь живет?

– Не знаю.

– Разве он не оставил своего нового адреса?

– Нет.

Привратник вскинул глаза и узнал Мариуса.

– Ах, это вы? – сказал он. – Стало быть, вы и впрямь шпион?

Книга седьмая Петушиный час

Глава первая. Рудники и рудокопы

Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название третьего или нижнего трюма. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек; иногда это во благо, иногда – во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке Энциклопедия представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира.

Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой. Жан – Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватается за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, – этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суeta. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких коях? Будущее.

Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится губительным. На

известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ.

Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры – быть может, еще не родившихся людей. Люди прошлого – призраки; люди будущего-личинки. Наш мысленный взор еще не ясно различает их. Эмбриональное развитие будущего – одно из видений философа.

Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии – какие небывалые образы!

Сен-Симон. Оуэн, Фурье – они тоже там, в боковых ходах.

Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками, – что не верно, – однако, без сомнения, труд их весьма различен; мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно – бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они отступают в тень, они пренебрегают собой, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, а эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь перед тем, кто отмечен этим знаком – звездным взглядом.

Взгляд, полный мрака, – другой знак.

С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы.

Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет.

Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы называли нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. Inferi.¹⁰⁸

Дальше уже начинается бездна.

Глава вторая.

Самое дно

Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик Сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти.

Свиные существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такие слова, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери – и обе им мачехи – невежество и нищета. У них есть поводырь – их потребности, а взамен всех стремлений – желание насытиться. Они зверски прожорливы, то

¹⁰⁸ Преисподняя (лат.)

есть кровожадны, но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, чудовищное порождение, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томиться голодом, томиться жаждой – вот отправная точка; стать Князем тьмы – вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Ласнеры.

Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя – Прогресс.

Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости.

Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла.

Это подземелье залегает глубже других и враждебно другим. Здесь господствует беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф – эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат – аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все.

Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество.

У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами – улучшая существующую действительность или вглядываясь в то, что есть абсолютом, – стремятся философия и прогресс. Разружьте нору Невежества, и вы уничтожите крота – Преступление.

Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность – это Мрак. Человечество – это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех – по крайней мере здесь, на земле – одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же брэнная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человечества и становится Злом.

Глава третья.

Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас

С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас.

Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание – как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами Геркулес Фарнезский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу. Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду – и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина, – вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая зря. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к

убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом.

Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглуту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен – Мигиэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, а также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб – один франк пятьдесят сантимов; два зуба – два франка; три зуба – два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что случилось с его женой и детьми, он понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовые платки. Редкое исключение в темном мире, его окружающем: Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в фургоне, ему попалась заметка в Вестнике, что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот кому счастье! – воскликнул он. – Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!» Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Это его собственное выражение.

Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет. «Меня зовут Никак», – говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревоушателем. Бабет говаривал: «Звенигрош – это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя, – Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос, – он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо, – его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли.

Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет, у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на любое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», наложила печать проклятия на его душу и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А настоящее щегольство – это прежде всего праздность; но праздность бедняка – путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести было уже несколько трупов. Немало прохожих лежало,

раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шепотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице, – таков был этот модник подземного мира.

Глава четвертая. Состав шайки

Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, древа, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа в маскарade, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за толпу.

Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютившийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества.

Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления.

Достаточно было представить четверем негодьям план, а постановку они брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело подвернулось выгодное. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих вертепах.

Они собирались обычно с наступлением ночи – это был час их пробуждения – на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить. «Петушиный час» – под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все больше забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» – спросил председатель. Ласнер дал ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час».

Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно точное представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды Петушиный час, – эти имена сохранились в особых списках:

Крючок, он же Весенний, он же Гнус.

Брюжон (существовала целая династия Брюжонов, мы еще вернемся к ним).

Башка, шоссе́нный рабочий; он уже встречался в нашем рассказе.

Вдова.

Финистер.

Гомер Огю, негр.

Дай – срок.

Депеша.

Фаунтлерой, он же Цветочница.

Бахвал, отбывшей срок каторжник.

Шлагбаум, он же господин Дюпон.

Южный вал.

Дроздище.

Карманьольщик.

Процентщик, он же Бизарро.

Кружевник.

Вверх – тормашки.

Пол – лиарда, он же Два миллиарда.

И т. д., и т. д.

Мы опускаем другие, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо.

Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации.

Эти существа, неохотно показывавшиеся в своем настоящем виде, нельзя было встретить на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю.

Что случилось с этими людьми? Они существуют и сейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них – *Ambubaiarum collegia, pharmacopolae mendici, mimae*¹⁰⁹. И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они беспрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже.

Пусть особи истребляются – род остается.

Им присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, все они блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чувствуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо отслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пауки.

Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, а сгустками тумана, принявшими человеческие формы, можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, что они неотделимы от нее, что у них нет иной души, кроме души мрака, и что только на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни, они оторвались от тьмы.

Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Поток света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье!

Книга восьмая Коварный бедняк

Глава первая.

Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречает мужчину в фуражке

¹⁰⁹ Флейтщицы, нищие мимы, шуты, лекаря площадные (*лат.*) – стих из «Сатир» Горация.

Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной мыслью – как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, строивший планы за планами, не молодая голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний; он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило; необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло. Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?»

Он осыпал себя упреками. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил глупо. Это моя вина...» и т. д. Курфейрак, которого Мариус по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который – что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера – кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Сходим-ка в Шомьер».

Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантеру повести себя на бал в Со, надеясь – придет же такая фантазия! – встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» – бурчал Грантер. Мариус оставил друзей на балу и пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника.

Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался в отчаянии, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла.

В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих сединок, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это значило? Какова цель этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным: как знать, не напал ли он, наконец, на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно – человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности, – говорил он себе, – это просто сходство».

Глава вторая. Находка

Мариус по-прежнему жил в лачуге Гербо. Никто не привлекал там его внимания. Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж. Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое Сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на двестише, ставшее классическим:

*Пусть светит солнце, пусть сияет, —
Медведь в берлогу уползает.*

А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо – увы, таково несовершенство самой идеальной любви! – пришлось опять начать обедать. Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой мамаша Ворчунья мела пол, произнося одновременно нижеследующий знаменательный монолог:

– Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь задаром!

Мариус медленно шел по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понутив голову.

Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях – одну высокую и худую, другую поменьше; тяжело дыша, они пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге; девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, нечаянно задели его. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала:

– Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали.

– Я их заметила, – сказала другая. – И как припущу! Как припущу!

Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать.

Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса; мелькнув белым пятном, их фигуры спустя мгновение исчезли.

Мариус приостановился.

Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног пакетик сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги.

«Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», – подумал Мариус.

Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать.

По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака.

«Бедные матери! – подумал он. – Еще печальнее, чем видеть смерть своих детей, видеть их на дурном пути».

Потом тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести

месяцах любви и счастья на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада.

«Как мрачна стала моя жизнь! — говорил он себе. — Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде „то были ангелы, а теперь ведьмы“».

Глава третья. Четырехликий

Вечером, раздеваясь перед сном, мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем забыл о нем. Он решил, что его надо вскрыть, — возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и уж во всяком случае найдутся необходимые указания для возвращения свертка лицу, его потерявшему.

Мариус развернул конверт.

Он был не запечатан и содержал четыре письма, которые также были не запечатаны.

На письмах были проставлены адреса.

От всех четырех разило дешевым табаком.

Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме э...»

Мариус подумал, что из письма он может почерпнуть нужные ему сведения, а раз оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его.

Оно содержало следующее:

«Милостивая государыня!

Добрадетель милосердия и сострадания есть та добрадетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу легитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайне тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь несчастной нации. Наша просьба не останется щетной, а наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание.

Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть.

Милостивая государыня,

Дон Альварес, испанский капитан кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающийся на родину, но не имеющий средств продолжать путь».

Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, в надежде найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом э 9».

Вот что прочел Мариус в этом письме:

«Милостивая государыня!

К Вам обращается несчастная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни,

нахожусь в ужасной нищете.

Уповая на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением

тетушка Бализар».

Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно оказалось просительным, и в нем можно было прочесть следующее:

«Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О-Фер.

Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ошасливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия – Овернь в эпоху Империи. Слог прост, лаконичен и имеет несомненные достоинства. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитается в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке.

Главной моей задачей является угадать все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадать моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняет положение при каждом дуновении ветра.

Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствие зависти и себелюбия привилигированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка.

Ваша заслуженная репутация пресвященного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушает мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедственное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находится под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем. Если Вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихотварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихотварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены.

Мое нижайшее почтение господину и госпоже Пабуржо.

Жошфло, литиратор.

P.S. Хотя бы 40 су.

Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить...»

Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адресовано оно было: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Вот каково содержание этого немногословного письма:

«Благодетель!

Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину

бедствинного положения, а я представлю Вам свои документы.

При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сальные душевные движения.

Вы человек сострадательный, Вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного облигчить ее могут заставить, как это ни мучительно, обращаться за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим.

В ожидании Вашего посещения или вспомоществования, если Вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим,

муж доподлинно великадушный, нижайшим и покорнейшим слугой

П. Фабанту, драматический актер».

Когда Мариус прочитал эти четыре письма, его недоумение не рассеялось.

Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса.

Далее, все письма исходили как будто от четырех разных лиц – дон Аальвареса, тетушки Бализар, поэта Жанфлю и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком.

Какое же иное заключение напрашивалось, как не то, что все они исходят от одного лица?

В довершение – и это делало догадку еще более вероятной – все четыре были написаны на грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел один и тот же табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки: литератор Жанфлю грешил ими ничуть не менее испанского капитана.

Трудиться над разгадкой тайны было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его.

Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, которых Мариус встретил на бульваре. Скорее всего, это были просто ненужные бумаги.

Мариус вложил их в конверт, бросил пакет в угол и лег спать.

Около семи часов утра, не успев подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь.

У него не было никакого ценного имущества; лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, он запирался на ключ. Даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут», – говорила мамаша Ворчунья. «А что у меня красть?» – отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамы Ворчуньи, у него украли пару старых сапог.

В дверь снова постучали и опять так же тихо.

– Войдите, – сказал Мариус.

Дверь отворилась.

– Что вам угодно, мамаша Ворчунья? – спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе.

– Извините, сударь, – ответил чей-то незнакомый голос.

Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков.

Мариус живо обернулся и увидел девушку.

Глава четвертая.

Роза в нищете

В полуотворенной двери стояла совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в рубашке и юбке, которые были надеты прямо на голое тело, озябшее и дрожавшее от холода; с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, землистого цвета тело, красные руки, приоткрытый рот, в котором уже не хватало зубов, бескровные губы, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение несформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи: сочетание пятидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает ужас, то вызывает слезы.

Мариус встал и, остолбенев, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне.

Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродлива. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькая. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами.

Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его.

– Что вам угодно, сударыня? – спросил он девушку.

– У меня письмо для вас, господин Мариус, – ответила она тем же голосом пьяного каторжника.

Она назвала Мариуса по имени; таким образом, у него не оставалось сомнений, что нужен ей именно он. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут?

Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно, с развязностью, от которой сжималось сердце, и принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги, худые колени. Ее всю трясло от холода.

Она протянула Мариусу письмо.

Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла.

Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:

«Молодой человек, любезный мой сосед!

Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, лгая себе надеждой, что ваше великодушное сердце разжалобится вследствие этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую толику от щедрот своих.

Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого.

Жондрет.

Р. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус».

Письмо это пролило свет на загадочный случай, занимавший Мариуса со вчерашнего вечера; оно сыграло роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось.

Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, тот же правописание, та же бумага, тот же табачный запах.

Здесь было пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей – и один отправитель. У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту – у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только самого Жондрета действительно звали Жондретом.

Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как уже было сказано, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих жалких соседей. Его мысли были далеко, а куда обращены мысли – туда обращен и взгляд. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета, – а это, несомненно, были они, – он не узнал их, и вошедшая девушка с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше.

Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в попрошайку-профессионала и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма разным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. По тому, как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ – ни девочек, ни девушек, ни женщин, – двух порожденных нищетой уродов, порочных и в то же время невинных. То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распутившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса.

Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть не до пояса. Она передвигала стулья, переставляла на комод принадлежности туалета, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам.

– Смотри-ка, да тут зеркало! – вдруг воскликнула она.

И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за наглостью ощущались натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд.

Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвившаяся и порхавшая по комнате девушка, которая своими движениями напоминала птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей.

Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей.

Она подошла к столу.

– Ах, книги! – сказала она.

В ее тусклых глазах блеснул огонек.

– Я тоже умею читать, – добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, – стремление, не чуждое ни одному человеческому существу.

Она схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла:

– «...Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный на равнине Ватерлоо...»

Она остановилась.

– А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших! Ватерлоо – там дрались с англичанами.

Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула:

– И писать я тоже умею!

Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила:

– Хотите посмотреть? Я напишу что-нибудь. – И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли».

– Ошибок нет, – бросив перо, заявила она. – Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы...

Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорби:

– Э-эх!

И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки:

*Голодно, папаша,
В доме хлеба нету.
Холодно, мамаша,
Мы совсем раздеты.
Дрожи,
Жанетта,
Рыдай,
Жанетта!*

Едва закончив куплет, она снова заговорила:

– Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет.

Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала:

– А знаете, господин Мариус, вы красавчик!

И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться. Она подошла и положила ему руку на плечо.

– Вы не обращаете на меня никакого внимания, – продолжала она, – а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к старику Мабефу, который там живет. А растрепанные волосы вам очень идут.

Она старалась придать своему голосу самое нежное выражение, но, кроме хрипа, у нее ничего не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш.

Мариус тихонько отодвинулся.

– У меня тут пакет, – сказал он своим обычным холодным тоном. – Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его.

И он протянул ей конверт с четырьмя письмами.

Девушка захлопала в ладоши.

– И где мы только его не искали! – воскликнула она.

Затем схватила пакет и развернула его, приговаривая:

– Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, то уже ничего не нашли. Мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, совсем без надобности, ну мы и сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш! Вот они, мои голубчики! А как вы догадались, что они мои? Впрочем, понятно – по почерку! Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой тьме! Я спросила сестру: «Это кто – мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина».

Она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

– Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне! Очень кстати. Пойду снесу – может, даст на завтрак.

И снова засмеявшись, пояснила:

– Знаете, что это будет значить, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед – и все в один присест! Так-то! Черт побери! А если вам этого мало, так и подышайте, собаки! Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной.

Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел.

А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса:

– Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, прижмемся, бывало, друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночью в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни Собора Богоматери, мерещится, будто белые стены – это река, и говоришь себе: «Гляди-ка, там вода!» Звезды, как плоски на иллюминации, – кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь – слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то неведь что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь!

И она окинула его блуждающим взглядом.

Хорошенько обыскав карманы, Мариус наскреб пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне, во всяком случае, хватит, – подумал он, – а завтра будет видно». Оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке.

Девушка схватила монету.

– Здорово! Вот нам и засветило солнышко! – воскликнула она.

И словно это солнышко обладало свойством растоплять лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила:

– Пять франков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малек! Как тут не втюриться! Браво, блатари! Двое суток лопай, жри, – жареного, пареного! Ешь, пей, сколько влезет!

Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив:

– До свидания, сударь! Все равно. Пойду к своему старикашке.

Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча:

– Какая вкусная! Какая жесткая! Все зубы сломаешь!

Потом ушла.

Глава пятая.
Потайное оконце, указанное провидением

В течение пяти лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И в самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел, – надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел, – надо видеть в нищете ребенка.

Дойдя до последней крайности, мужчина, не разбираясь, хватается за самые крайние средства. Горе беззащитным существам, его окружающим! У него нет ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри – светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых – женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор. Тут возможны всякие ужасы. Перегородки, отделяющие отчаяние от порока или преступления, слишком хрупки.

Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость-эта эпидерма души, – все безжалостно попирается в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки – все они в этом смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине теснятся они в конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы.

Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.

Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи.

Мариус готов был винить себя в том, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв, – каждый на его месте повиновался бы такому порыву, но от него, Мариуса, требовалось большее. Ведь только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В их речах звучал стон, но до него это не доходило. Его мысли были поглощены иным: грезами, несбыточными мечтами, недостижимой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья, потому что они вышли из того же народа, что и он, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых, даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впад в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом – роковым словом «отверженные». Кого же в этом винить? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение?

Читая себе эту мораль, – а ему, как всякому честному человеку, случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал, – Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Надо было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше этого не заметить. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны, выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса, все грубое ее устройство было на виду. Не отдавая себе в этом отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку, мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которою было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится», – подумал Мариус.

Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.

Глава шестая. Хищник в своем логове

В городах, как и в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно – иначе говоря, безобразно, а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво – иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов.

Именно вертеп и увидел Мариус.

Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, битые склянки, две неописуемо грязные постели по углам – вот и вся мебель, четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца – вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены – все в струпьях и рубцах, как лицо, обезображенное ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись начерченные углем непристойные рисунки.

В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, а тут не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по почерневшей известке. На этой неровной, густо покрытой вьевшейся пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье, впрочем, в комнате был камин, потому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головы.

Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что он был огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и человекообразные чудовища.

Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса.

В углу, недалеко от отверстия, в которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а под гравюрой крупными буквами было написано «СОН». Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях; женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка, в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон, опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную надписью:

Моренго
Аустерлис
Иена
Ваграм
Элоу

Под гравюрой на полу была прислонена к стене широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она доходила на перевернутую картину, на подрамник с мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся повесить опять.

За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом; на вид – отъявленный негодяй.

Лафатер, увидев такое лицо, определял бы его как помесь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, удваивали уродство этого лица, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника придавали крючкотвору нечто страшное.

У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы.

Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был.

Он что-то писал, вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус.

На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, напечатанное крупными прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ и ДАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕ-ДЮМИНИЛЯ, 1814 г.».

Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетели его слова:

– Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез!

Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, неудачников – чего с ними церемониться! – закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее сгнили! Пока дойдешь туда к ним, сто раз увязнешь.

Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил:

– Так бы и перегрыз всем горло!

У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой на вид можно было дать и сорок и сто лет.

Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хотя женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала толстые, лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями.

Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, вероятно, продолжение романа.

На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно бледную долговязую девочку, – она сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала. Это, конечно, была младшая сестра приходившей к нему девушки.

На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре: «А я как припущу! Как припущу!»

Она принадлежала к той хилой породе, которая долго отстаёт в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. Именно нищета – рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, в шестнадцать – двадцатилетними. Сегодня – девочка, завтра – женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею.

Сейчас это создание казалось еще ребенком.

Ничто в комнате не указывало на занятие каким-либо трудом: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся подозрительный железный лом. Здесь царила угрюмая лень – спутница отчаяния и предвестница смерти.

Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь.

Чердак, подвал, подземелье где копошатся бедняки, те, что находятся у подножия социальной пирамиды, – это еще не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, бросает к этим вратам своим самую беспросветную нужду.

Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера.

Старик проворчал, не переставая писать:

– Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!

Этот вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох.

– Успокойся, дружок! – промолвила она. – Не огорчайся, душенька! Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек.

В бедности люди жмутся другу к другу, точно от холода, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что эта женщина когда-то любила мужа, проявляя всю заложенную в ней способность любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как это часто случается, пережили чувство. Уста говорили «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало.

Старик снова принялся писать.

Глава седьмая. Стратегия и тактика

С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, как вдруг внимание его привлек шум; это удержало его.

Дверь чердака внезапно распахнулась.

На пороге появилась старшая дочь.

Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел, она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе больше сострадания, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла,

хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующе и радостно крикнула:

– Идет!

Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась.

– Кто идет? – спросил отец.

– Тот господин.

– Филантроп?

– Да.

– Из церкви святого Иакова?

– Да.

– Тот самый старик?

– Да.

– И он придет?

– Сейчас. Следом за мной.

– Ты уверена?

– Уверена.

– В самом деле придет?

– Едет в наемной карете.

– В карете! Да это настоящий Ротшильд!.

Отец встал.

– Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше?

Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо, последняя? Только бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?

– Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина, – ответила дочка. – Слушай: вхожу я в церковь; благодетель на своем обычном месте; отвешиваю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» «Я провожу вас, сударь», – говорю я. А он: «Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна кое-что купить, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я даю ему адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба кончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно не забыла сказать, что наша дверь последняя, в конце коридора, направо.

– Откуда же ты взяла, что он придет?

– Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом.

– А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр?

– Да ведь я же заметила номер!

– Ну-ка, скажи, какой?

– Четыреста сорок.

– Так. Ты, девка, не дура.

Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила:

– Может быть, и не дура, но только я не надена больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны, – во-первых, в них простудиться можно, а потом грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу: чав, чав, чав! Уж лучше буду босиком ходить.

– Верно, – ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочери, – но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К господам богу вход босиком воспрещен, – добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: – Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?

– За мной по пятам едет, – сказала она.

Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием.

– Слышишь, жена? – крикнул он. – Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь.

Мать, опешив, не двигалась с места.

Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни.

Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал:

– Тащи-ка солому из стула!

Дочь не поняла.

Схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь.

– На дворе холодно? – спросил он у дочери, вытаскивая ногу из пробитого сиденья.

– Очень холодно. Снег валит.

Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал:

– Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!

Девочка, дрожа, прыгнула с кровати.

– Выбивай стекло! – повторил он.

Она застыла в изумлении.

– Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! – снова крикнул отец.

Девочка с пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло со звоном разлетелось на мелкие осколки. – Хорошо, – сказал отец.

Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака.

Ни дать ни взять полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой.

Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле:

– Что это ты задумал, голубчик?

– Ложись в постель! – последовал ответ.

Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно повалилась на кровать.

В углу послышался плач.

– Что там еще? – закричал отец.

Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда она забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери.

Тут настал черед матери. Она вскочила с криком:

– Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась.

– Тем лучше, это было мною предусмотрено, – сказал муж.

– То есть как тем лучше? – завопила женщина.

– Молчать! Я отменяю свободу слова, – объявил отец.

Оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточившую руку девочки.

Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку.

– Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше.

Ледяной ветер свистел в окне и врвался в комнату. С улицы проникал туман и расползался по всему жилищу; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно укутывают комнату в белесую вату. В разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце Сретенья, и в самом деле наступил.

Старик огляделся, словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой залитые водой головни, чтобы их совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал:

– Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа.

**Глава восьмая.
Луч света в притоне**

Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала:

– Пощупай, как я озябла!

– Подумаешь! Я озяб еще больше, – ответил отец.

Мать запальчиво крикнула:

– Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого!

– Заткнись! – сказал муж.

Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала.

Наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая всхлипывала; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, тихонько приговаривала:

– Ну, перестань, мое сокровище, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца.

– Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! – крикнул отец и обратился к старшей: –

Дьявольщина, его все нет! А вдруг он не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно.

– И дочурку поранил! – прошептала мать.

– Известно ли вам, – продолжал отец, – что на нашем чертовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передумал бы всех богачей! Всех богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унижить нас! Одарить нас одеждой! По-ихнему, эти обноски, которые не стоят и четырех су, – одежда! Одарить хлебом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но денег-то они как раз и не дают! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и хорошенько встряхнуть! Все бы перебилось, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, так-то лучше! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая образина...

Тут в дверь тихонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул:

– Входите, сударь! Окажите честь войти, глубокочтимый благодетель, а также ваша прелестная барышня.

На пороге появился мужчина зрелого возраста и молодая девушка.

Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык.

То была Она.

Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл короткого слова «Она».

Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно застлавшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вотпоявилось вновь.

Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса!

Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после долгих поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу.

Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела; фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожек. Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый. Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток.

Старшая девица Жондрет спряталась за дверь и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико.

Глава девятая. Жондрет чуть не плачет

В конуре было темно, и всякий входивший сюда с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребке. Оба посетителя подвигались нерешительно, еле различая смутные очертания фигур, а обитатели чердака, привыкшие к сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их ясно.

Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал:

– Сударь! Здесь, в свертке, вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла.

– Посланец божий, благодетель наш! – воскликнул Жондрет, кланяясь до земли.

Пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал:

– Ну? Что я говорил? Обноски! А денежки где? Все господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?

– Фабанту, – отвечала дочь.

– Драматический актер, великолепно. Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника:

– Я вижу, что вы в плачевном положении, господин...

– Фабанту, – быстро подсказал Жондрет.

– Господин Фабанту, да, так... Вспомнил.

– Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры.

Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа».

– Я ученик Тальма, сударь! – воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра и самоуничижение нищего с проезжей дороги. – Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой: нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую погоду! Супруга в постели! Больна!

– Бедняжка! – сказал г-н Белый.

– И дочурка поранилась, – добавил Жондрет.

Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать.

– Плачь! Реви! – сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика.

Девочка громко заплакала.

Прелестная девушка, которую Мариус звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами:

– Бедная детка!

– Взгляните, милая барышня, – продолжал Жондрет, – у нее рука в крови! Несчастный случай, – попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять руку!

– Неужели? – встревоженно спросил старик.

Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать сильнее.

– Увы, это так, благодетель! – ответил папаша.

Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить.

Воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и шепнул ей:

– Вглядись-ка в него получше!

Затем он обернулся к г-ну Белому, и опять полились его плаксивые жалобы:

– Подумайте, сударь, вся моя одежда – женина рубашка! Да к тому же рваная! В самые холода. Не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадмуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я делил с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь! Я готов пасть на колени перед монетой в десять су!

Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно видит вас... Я воспитываю дочек в благочестии, сударь. Мне не хотелось, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Только попробуйте послушаться! Со мной шутки плохи! Я не перестану им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом. Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, черт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков.

Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квартала: еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два.

Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил их на стол.

Жондрет буркнул на ухо старшей дочери:

– Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты!

В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула.

– Господин Фабанту! – сказал он – У меня только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны уплатить вечером?..

В глазах Жондрета промелькнуло странное выражение. Он поспешил ответить:

– Да, глубокоуважаемый покровитель. В восемь часов я должен быть у домохозяина.

– Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков.

– Благодетель! – в восторге завопил Жондрет.

И чуть слышно добавил:

Всмотрись в него хорошенько, жена!

Господин Белый снова взял под руку прелестную девушку и направился к двери.

– До вечера, друзья мои! – сказал он.

– В шесть часов? – переспросил Жондрет.

– Ровно в шесть.

Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук.

– Сударь! Вы забыли ваш редингот, – сказала она.

Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами.

Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь:

– Я не забыл, я нарочно оставил его.

– О мой покровитель! – воскликнул Жондрет. – Мой высокочтимый благодетель, я не могу сдерживать слезы. Позвольте, я провожу вас до фиакра.

– Если вы хотите выйти, то наденьте сюртук, – сказал г-н Белый. – На дворе очень холодно.

Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро надел на себя коричневый редингот.

Они вышли втроем. Жондрет впереди, за ним посетители.

Глава десятая.

Такса наемного кабриолета: два франка в час

Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила за порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен.

Пока девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с поранившейся девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он был в этом не вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалобными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, что в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он нашел это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб.

Когда она вышла, его охватило одно желание – следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока он не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, – Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать... Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.

В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж.

Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он снова увидел экипаж, быстро ехавший по улице Муфтар; экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Напрасно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут – чудесная, неслыханная случайность! – Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать за фиакром. Это был верный, реальный и безопасный выход.

Мариус знаком остановил экипаж.

– Почасно! – крикнул он.

Мариус был без галстука, в старом сюртуке, на котором не хватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана.

Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы.

– Что такое? – спросил Мариус.

– Плата вперед, – сказал кучер.

Мариус вспомнил, что у него было всего шестнадцать су.

– Сколько? – спросил он.

– Сорок су.

– Уплачу по приезде.

Вместо ответа кучер засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь.

Мариус растерянно смотрел вслед удалявшемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им поутру несчастной дочери Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он вновь связал бы черною нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою каморку в полном отчаянии.

Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только получше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал.

В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное; спят они обычно днем, следовательно, дают все основания думать, что работают ночью.

Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падавшего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней.

Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, похож на человека, у которого была кличка Крючок, он же Весенний, он же Гнус; на него как-то указал ему Курфейрак; в квартале он пользовался репутацией опасного ночного гуляки. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. В описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Бандиты и грабители помнят его и сейчас. В конце последнего царствования он создал целую школу. В сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы Форс. В этой тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году тридцать два

заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было прочесть над плитой, закрывавшей отверстие сточной трубы, его имя: Крючок. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще в серьезных делах не участвовал.

Глава одиннадцатая.
Нищета предлагает услуги горю

Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, как вдруг заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку, – ведь именно к ней и перешли его пять франков, – но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители; очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.

Однако она не закрылась плотно; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука.

– Что такое? Кто там? – спросил он и увидел дочь Жондрета.

– Это вы? – почти грубо продолжал Мариус. – Опять вы? Что вам от меня нужно?

Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре, – Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь.

– Отвечайте же! – воскликнул Мариус. – Что вам от меня нужно!

Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, засветился огонек, и сказала:

– Господин Мариус! У вас такой печальный вид! Что с вами?

– Со мной?

– Да, с вами.

– Ничего.

– Что-то все-таки есть!

– Нет.

– А я говорю – есть.

– Оставьте меня в покое.

Мариус снова толкнул дверь, но девушка продолжала придерживать ее.

– Слушайте, это вы зря, – сказала она. – Вы небогаты, а какой были добрый утром! Ну станьте опять таким! Вы мне дали на пропитанье. Скажите же: что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчились. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но все-таки я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу! Понадобится отнести письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, – посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить, я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось.

Распоряжайтесь мной.

У Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет!

Он приблизился к дочери Жондрета.

– Послушай... – сказал он.

Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули:

– Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится.

– Хорошо, – продолжал он. – Ведь это ты привела сюда старика с дочкой...

– Да.

– Ты знаешь их адрес?

– Нет.

– Узнай мне его.

Угрюмый взгляд девушки, ставший радостным, теперь снова стал мрачным.

– Только это вам и надо? – спросила она.

– Да.

– Вы с ними знакомы?

– Нет.

– Иначе говоря, – живо перебила его девушка, – вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться.

Это «с нею» вместо «с ними» было произнесено значительно и с горечью.

– Ну как? Сумеешь? – спросил Мариус.

– Я добуду вам адрес красивой барышни.

Тон, каким были произнесены слова: «красивой барышни», почему-то опять покорибл Мариуса. Он сказал:

– В конце концов не важно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих.

Она пристально посмотрела на него.

– Что вы мне за это дадите?

– Все, что пожелаешь.

– Все, что пожелаю?

– Да.

– Вы получите адрес.

Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь.

Мариус остался один.

Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот все время ускользавших мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от несчастной девушки, луч надежды, блеснувший в минуту беспредельного отчаяния, – вот что проносилось в его мозгу.

Вдруг его задумчивость была грубо прервана.

Громкий и резкий голос Жондрета произнес крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова:

– Говорят тебе, я уверен! Я его узнал.

О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли!

Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели, наконец, он узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо!

Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у потайного окошечка в переборке.

И снова увидел внутренность логова Жондрета.

Глава двенадцатая.

На что была истрачена пятифранковая монета г-на Белого

С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что жена и дочки успели вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати.

Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати,

стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное.

Наконец жена, видимо, потрясенная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести:

– Неужели правда? Ты уверен?

– Конечно, уверен! Прошло восемь лет. И все-таки я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?

– Нет.

– Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел, – некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются, – ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался! Теперь держись!

Он остановился, крикнул дочерям:

– Эй, вы, убирайтесь отсюда! – И, обращаясь к жене, добавил: – Чудно, что тебе не бросилось в глаза.

Дочери покорно встали.

– С больной рукой!.. – пробормотала мать.

– Воздух ей на пользу, – отрезал Жондрет. – Убирайтесь.

Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли.

В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и многозначительным тоном сказал:

– Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне понадобятся.

Это заставило Мариуса удвоить внимание.

Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки.

Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул:

– Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица...

– Ну? Что такое? – подхватила жена. – Что девица?

У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.

Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и громко закончил:

– Это она!

– Вот эта? – спросила жена.

– Вот эта! – подтвердил муж.

Трудно передать выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова: «вот эта».

Удивление, ярость, ненависть, злоба – все слилось и смешалось в зловещей интонации.

Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным.

– Быть не может! – закричала она. – И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки – словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Дама, да и только! Да нет же, ты ошибся. Во-первых, та была уродина, а эта недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она!

– А я тебе говорю – она. Сама увидишь.

При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла широкое кирпично-красное лицо и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. Это была свинья с глазами тигрицы.

– Вот как, – прошипела она. – Значит, эта расфуфыренная барышня, которая так жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила!

Затоптала бы!

Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу.

После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки.

– А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?

– Ну что? – спросила она.

– Да то, что я теперь богач, – ответил он отрывисто и тихо.

Жена устремила на него взгляд, казалось, говоривший: «Уж не спятил ли ты?»

Жондрет продолжал:

– Проклятие! Довольно я хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надо мной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, предвечный бог! Я желаю есть вдоволь, пить вдоволь! Жрать! Дрыхнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед, – мой, вот что! Пока не издох! Я желаю немножко пожить миллионером!

Он прошелся по своей конуре и прибавил:

– Не хуже иных прочих.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросила жена.

Он потрянул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал:

– Что я хочу сказать? Слушай!

– Тсс... – заворчала тетка Жондрет. – Потихе! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать.

– Вот еще! Кому слушать-то? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он поймет, эта глупая башка? А потом, я тебе говорю, что он ушел.

Тем не менее Жондрет инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов.

Вот что слышал Мариус:

– Понимаешь, он попался, богатеи! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, мерзавец! Чего только я ему не наплел? Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать.

Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед раньше одиннадцати не возвращается. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он с нами расквитается.

– А вдруг не расквитается? – спросила жена.

Жондрет сделал угрожающий жест.

– Тогда мы расквитаемся с ним.

И засмеялся.

Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробегала по телу.

Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом.

– Ну, я ухожу, – сказал он. – Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом.

Засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул:

– А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня – ни за что бы не пришел! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя бородка! Миленькая моя романтическая бородка!

И он опять засмеялся.

Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба.

– Собачья погода! – сказал он и, запахнув редингот, добавил: – Эта шкура немного широковата. Ну ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит! Нахлобучив фуражку, он вышел.

Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль.

– Совсем забыл, – сказал он. – Приготовь жаровню с угольями.

Он кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп».

– Жаровню с углем? – переспросила жена.

– Да.

– Сколько мер угля купить?

– Две с верхом.

– Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду.

– К черту обед!

– Почему?

– Не вздумай растратить всю монету, все сто су.

– Почему?

– Потому что мне тоже нужно кое-что купить.

– Что же?

– Да так, кое-что.

– Сколько тебе на это потребуется?

– Где тут у нас ближняя скобяная лавка?

– На улице Муфтар.

– Ах, да, на углу, знаю!

– Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на покупки?

– Пятьдесят су, а может, и все три франка.

– Не много остается на обед.

– Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее.

– Как знаешь, мое сокровище.

Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, что его шаги, быстро удалявшиеся по коридору, мало-помалу затихли на лестнице.

На Сен-Медарской колокольне пробило час.

Глава тринадцатая.

Solus cum sola. In loco remoto, non cogitabuntur orare «pater noster»¹¹⁰

Несмотря на то, что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышлениям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться, но оставила нетронутой способность негодовать; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьбы; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; его глазам предстало гнездо чудовищ.

¹¹⁰ Если двое встречается с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать «Отче наш» (лат.)

«Надо уничтожить этих негодяев», – подумал он.

Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если не считать того, что Жондрет их, оказывается, знал. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, он уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка, – непонятная, но ужасная ловушка; что над ними обоими нависла огромная опасность: над девушкой – возможно, над стариком – несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками.

Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе.

Он осторожно, бесшумно спустился с комода.

Полный страха перед тем, что готовилось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит.

Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хочет спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов.

Оставалось одно.

Он надел сюртук, еще вполне приличный, повязал шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху.

Вдобавок тетка Жондрет продолжала гроыхать железом.

Выйдя из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице.

Пройдя половину улицы, он увидел отгораживавшую пустырь низкую стену, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг совсем рядом он услышал голоса. Он оглянулся. Улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса.

Ему пришлось в голову заглянуть за ограду.

Сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин.

Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, другой – лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, непокрытую голову его собеседника запустил снег.

Наклонившись над стеной, Мариус мог слышать их беседу.

Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородачу:

– Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет.

– Так ли? – усомнился бородач.

– Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть, – ну, по десять, не больше! – возразил лохматый.

– Уж это-то наверняка. Тут не отвертишься, – стуча зубами от холода, нерешительно заметил бородач в греческом колпаке.

– А я тебе говорю, что промашки не будет, – настаивал лохматый. – Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове.

Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гете.

Мариус пошел дальше.

Ему казалось, что непонятная речь субъектов, подозрительно расположившихся в укромном местечке за стеной, прямо на снегу, возможно, имеет некоторое отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое дело.

Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава.

Ему сказали, что на улице Понтуаэ, в доме э 14.

Мариус пошел туда.

Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся.

Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром Белого и ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.

Глава четырнадцатая.

Полицейский дает адвокату два карманных пистолета

Подойдя к дому э 14 на улице Понтуаэ, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава.

– Господин полицейский пристав сейчас в отъезде, – сказал один из писарей. – но его заменяет надзиратель. Может быть, вы поговорите с ним? У вас спешное дело?

– Да, – ответил Мариус.

Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал.

С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком.

– Что вам угодно? – обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь».

– Вы – господин полицейский пристав?

– Его нет. Я его заменяю.

– Я по весьма секретному делу.

– Говорите.

– И весьма срочному.

– Говорите скорее.

Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что человека, которого он, Мариус, знает лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Понмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности, «хозяева застав», в том числе Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, потому что даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме э 50/52.

Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил:

– Комната в конце коридора?

– Совершенно верно, – подтвердил Мариус и добавил: – Разве вы знаете этот дом?

Надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу:

– По-видимому, так.

Он продолжал цедить сквозь зубы, обращаясь не столько к Мариусу, сколько к собственному галстуку:

– Тут без Петушиного часа не обошлось. Его слова поразили Мариуса.

– Петушиный час... – повторил он. – В самом деле, я слышал эти слова.

Он рассказал надзирателю о диалоге между лохмачом и бородачом, на снегу, за стеной на Малой Банкирской улице.

Надзиратель пробурчал:

– Лохматый – должно быть, Брюжон, а бородатый – Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда.

Он снова опустил глаза и предался размышлениям.

– Ну, а насчет папаши Бесфамильного, – присовокупил он, – я тоже догадываюсь... Так и есть, я подпалил каррик!.. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят-пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо. Он взглянул на Мариуса:

– Вы видели только бородача и лохмача?

– И Крючка.

– А этакого молоденького франтика?

– Нет.

– А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада?

– Нет.

– А этакого пройдоху, с виду старого паяца?

– Нет.

– Ну, а четвертый – тот вообще невидимка, даже для своих помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили.

– Действительно, не заметил. А что это за люди? – спросил Мариус.

– Впрочем, это совсем не их час... – вместо ответа сказал надзиратель.

Он помолчал, потом заговорил снова:

– Пятьдесят – пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются тем, что отменят водевиль. Это народ скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится. Я хочу услышать, как они поют, и заставлю их поплясать.

Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор:

– Вы боитесь?

– Кого?

– Этих людей?

– Не больше, чем вас, – мрачно отрезал Мариус, заметив наконец, что сыщик ни разу не назвал его сударем.

Надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какой-то нравоучительной торжественностью:

– Вы говорите, как человек смелый и честный. Мужество не страшится зрелища преступления, честность не страшится властей.

– Все это хорошо, но что вы думаете предпринять? – прервал его Мариус.

Надзиратель ограничился таким ответом:

– У всех жильцов дома пятьдесят – пятьдесят два есть ключи от наружных дверей; ими пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ?

– Да, – ответил Мариус.

– Он при вас?

– Да.

– Дайте его мне, – сказал надзиратель.

Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил:

– Послушайтесь меня, приходите с охраной.

Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсказавшего ему рифму, и, запустив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика, вытащил оттуда два стальных пистолета, из тех, что называются карманными пистолетами. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами:

– Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда решите, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок – все равно куда. Главное – не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы – адвокат, вы понимаете, как это важно.

Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука.

– Очень топорщится, сразу заметно. Лучше суньте их в жилетные карманы, – сказал надзиратель.

Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы.

– А теперь, – продолжал надзиратель, – нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь?

– К шести, – ответил Мариус.

– Время у меня есть, – сказал надзиратель, – а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел.

– Будьте покойны, – ответил Мариус.

Когда он взялся за ручку двери, собираясь выйти, надзиратель крикнул:

– Кстати, если я вам понадобится раньше, приходите сюда или пришлите кого-нибудь. Спросите полицейского надзирателя Жавера.

Глава пятнадцатая. Жондрет делает закупки

Немного погодя, часов около трех, Курфейрак и Боссюэ шли по улице Муфтар. Снег падал все гуще и засыпал все кругом.

– Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек, – начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса, – тот шел к заставе, и вид у него был какой-то странный.

– Смотри-ка! Мариус! – воскликнул Боссюэ.

– Вижу, – сказал Курфейрак. – Только не стоит с ним заговаривать.

– Почему?

– Он занят.

– Чем?

– Разве ты не видишь, какое у него выражение лица?

– Какое?

– Да такое, будто он кого-то выслеживает.

– Верно, – согласился Боссюэ.

– А какие у него глаза! – заметил Курфейрак. – Ты только взгляни на него.

– Какого же черта он выслеживает?

– Какой-нибудь помпончик-бутончик. Он влюблен.

– Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика, – заметил Боссюэ. – Словом, ни одной девицы.

Курфейрак посмотрел в сторону Мариуса.

– Мариус выслеживает мужчину! – воскликнул он.

В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; видели они только его спину, но сбоку можно было различить его седоватую бороду.

На нем был новый, длинный, не по его росту, редингот и ужасные рваные брюки, побуревшие от грязи.

Боссюз расхохотался.

– Это еще что за тип, а?

– Поэт, – заявил Курфейрак, – безусловно поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют в штанах торговцев кроличьими шкурками и в рединготах пэров Франции.

– Давай посмотрим, куда направятся Мариус и этот человек, – предложил Боссюз. – Выследим их, идет?

– О Боссюз! – воскликнул Курфейрак. – Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел!

Они повернули обратно.

И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить.

Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку.

Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, что он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что в ту пору помещалась на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он вышел из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое тут же спрятал под своим рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жантильи, он свернул влево и немного погодя был уже на Малой Банкирской улице.

День склонялся к вечеру, снег, на минуту прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, дойдя до низкой стены, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся.

Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов.

Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к тому же время близилось к вечеру; по вечерам мамаша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запираť входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал ключ надзирателю, следовательно, надо было поторапливаться.

Наступил вечер, почти совсем стемнело; на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка – то была луна.

Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер.

Мариус быстрым шагом направился к дому 50/52. Когда он пришел, дверь оказалась открытой. Он на цыпочках поднялся по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки; все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, слабо освещенные угасавшим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть – он боялся, как бы его не увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.

в которой читатель услышит песенку на английский мотив, модную в 1832 году

Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах, – так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны приближалось злодейство, с другой – надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при внезапном столкновении с событием, из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день – лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара.

Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, сливаясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату сумеречной мглой.

У Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым.

Было ясно, что этот луч – не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха, – там царила леденящая душу, глухая тишина; и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп.

Мариус тихонько снял ботинки и сунул их под кровать.

Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула дверь, и Мариус услышал грузные шаги, протопавшие по лестнице и пробежавшие по коридору; со стуком приподнялась щеколда: это вернулся Жондрет.

Сразу послышались голоса. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка.

– Вот и я, – сказал Жондрет.

– Добрый вечер, папочка! – завизжали дочки.

– Ну как? – спросила жена.

– Помаленьку, – отвечал Жондрет, – но я прозяб, как собака, ноги окоченели. Ага, ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие.

– Я готова, могу идти.

– Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Вес сделаешь, как надо?

– Будь спокоен.

– Дело в том.. – сказал Жондрет. И не закончил фразу.

Мариусу было слышно, что он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности – купленное им долото.

– Кстати, вы уже поели? – спросил Жондрет.

– Да, – ответила жена. – У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла, – спасибо, огонь еще был.

– Отлично, – сказал Жондрет. – Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше! И, понизив голос, добавил:

– Мышеловка открыта. Коты начеку.

И еще тише:

– Сунь-ка это в огонь.

Мариусу было слышно, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом.

– Дверные петли смазала, чтобы не скрипели? – спросил Жондрет.

– Да, – ответила жена.

– Который теперь час?

– Скоро шесть. Недавно пробило половину шестого на Сен-Медаре.

– Черт возьми! – воскликнул Жондрет. – Девчонкам пора идти караулить. Эй вы, идите-ка сюда, слушайте!

Они зашушукались.

Потом снова послышался громкий голос Жондрета:

– Бюргонша ушла?

– Да, – ответила жена.

– Ты уверена, что у соседа никого нет?

– Он с утра не возвращался. Ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает.

– Ты в этом уверена?

– Уверена.

– Все равно, – сказал Жондрет, – невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда.

Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать.

Едва успел он свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях просочился свет.

– Па-ап, его нет! – раздалось в коридоре.

Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета.

– Ты входила в комнату? – спросил отец.

– Нет, – ответила дочь, – но раз ключ в дверях, значит, он ушел.

– А все-таки войди! – крикнул отец.

Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую девицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее.

Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неопишуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг передвигаемых железных предметов.

Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом:

*Семь или восемь дней пылал огонь сердечный,
И, право, стоило, чтоб он и впредь не гас!
Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной!
Но счастье лишь блеснет и покидает нас.*

Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания. Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила:

– Надел Париж белую рубаху и стал уродиной!

Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль.

– Ну что же ты? – крикнул отец. – Куда запропастилась?

– Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью, – отвечала она, взбивая волосы. – Никого.

– Дуреха! – заревел отец. – Сейчас же сюда! Нечего время терять.

– Иду! Иду! Им вечно некогда! – сказала она и стала напевать:

*Вы бросили меня, ушли дорогой славы,
Но сердцем горестным везде я там, где вы...*

Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь.

А через минуту Мариус слышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам:

– Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой – угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери у вас.

Старшая проворчала:

– Попробуй покарауль босиком на снегу!

– Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! – сказал отец.

Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли.

В доме остались Мариус, чета Жондретов и, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустовавшей каморки.

Глава семнадцатая.

На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса

Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение с проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке. Он заглянул внутрь.

Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище. Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев, – той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно, положенных здесь неспроста – одна была похожа на связку веревок, другая на кучу железного лома. Человек, не посвященный в то, что здесь замышлялось, мог бы предположить и самое худшее и самое безобидное. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца.

От углей шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к жаровне, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем.

Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха.

Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылавшее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем, даже когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны.

Ветер, врываясь через разбитое окно, рассеивал чад и помогал скрывать присутствие жаровни.

Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о жилище Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там.

Толща стен и множество необитаемых помещений отделяли эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами.

Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом.

Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, живо напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки – те самые, которыми утром побрезговала ее дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага! Ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!» А на Жондрете был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный Белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэта.

Вдруг Жондрет возвысил голос:

– Постой! Дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подымет, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустишься бегом, рассчитайся с кучером и отошли его.

– А деньги где? – спросила жена.

Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков.

– Это еще откуда? – воскликнула она.

– Тот лобанчик, что дал утром сосед, – с важным видом ответил Жондрет и прибавил: – Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула.

– Зачем?

– Чтобы было на чем сидеть.

У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет:

– Ладно! Пойду приволоку их от соседа.

Она быстро отворила дверь и вышла в коридор.

Мариусу не хватило времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться.

– Возьми свечу! – крикнул Жондрет вдогонку.

– Не надо, – сказала она, – только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло.

Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь запахнулась. Он застыл, пригвожденный к месту неожиданностью и страхом.

Тетка Жондрет вошла в комнату.

Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно.

Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью.

Она вернулась в свою конуру.

– Вот тебе стулья.

– А вот и фонарь, – сказал муж. – Спускайся, живо!

Она быстрым шагом вышла из комнаты, и Жондрет остался один.

Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял за бесформенную кучу хлама, оказалось отлично сложенной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями.

Ни лестницы, ни похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного дома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета; очевидно, он принес их днем, когда Мариус уходил.

«Это кузнечные инструменты», – подумал Мариус.

Если бы Мариус лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за орудия кузнеца особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты – два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь».

Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, комната освещалась только свечой; от самого маленького черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в жутком и зловещем покое. В воздухе висело ожидание чего-то страшного.

Жондрет дал своей трубке погаснуть – верный признак озабоченности – и снова сел за стол. Пламя свечи освещало острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и взмахивал правой рукой, как бы возражая на последние доводы грозного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик.

Мариус нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок.

Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск.

Жондрет вздрогнул и привстал.

– Кто там? – крикнул он.

Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушался, затем проговорил смеясь:

– Ну и болван же я! Это трещит перегородка.

Мариус зажал пистолет в руке.

Глава восемнадцатая.

Два стула Мариуса ставятся один против другого

Внезапно стекла задребезжали от унылого далекого звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.

Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда послышался шестой, он снял пальцами нагар со свечи.

Затем принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» – пробормотал он, возвращаясь на свое место.

Не успел он сесть, как дверь отворилась.

Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабясь отвратительной льстивой улыбкой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря.

– Милости просим, сударь! – сказала она.

– Милости просим, благодетель вы наш! – вскочив, подхватил Жондрет.

Появился Белый.

Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение.

Он положил на стол четыре золотых.

– Господин Фабанту! – заговорил он. – Вот вам на квартиру и на неотложные расходы. А дальше будет видно.

– Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! – вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал:

– Отошли фиакр.

Покуда ее муж кланялся и пододвигал стул Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись, она шепнула ему на ухо:

– Отослала!

Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал, как подкатил фиакр и как он отъехал.

Белый сел.

Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него.

Чтобы лучше представить себе то, что сейчас произойдет, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белевшие в лунном свете, словно огромные саваны, огоньки уличных фонарей, бросавшие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; глухое безлюдье, быть может, на четверть мили вокруг; дом Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака, а в этой развалине, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе – двух человек, сидевших за одним столом: Белого, сохранявшего невозмутимый вид, и ухмылявшегося страшного Жондрета, в углу старую волчицу Жондрет, а за перегородкой – невидимого Мариуса, не упускавшего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке.

Мариус не испытывал страха; им владело лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодяя, как только сочту нужным», – думал он. Он знал, что полиция близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника.

Помимо всего прочего, он надеялся, что трагическое столкновение Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.

Глава девятнадцатая. Остерегайтесь темных углов

Окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, Белый спросил:

– Как себя чувствует бедное раненое дитя?

– Плохо, – отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой, – очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся.

– А госпоже Фабанту как будто лучше? – продолжал Белый, рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя у двери, словно она уже сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом.

– Она смертельно больна, – заявил Жондрет – Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это не женщина, а бык.

Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили:

– Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!

– Жондрет? – удивился г-н Белый. – Я полагал, что вас зовут Фабанту?

– Фабанту, а по сцене – Жондрет, – нашелся муж. – Псевдоним артиста.

Взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил Белый, и снова затянул слащавым, воркующим голосом:

– Мы с моей милой женушкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь! Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров – честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы у них был кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! У нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной-единственной вещи, кроме картины; но как

ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо!

Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой торопливостью, что не соответствовало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа двери. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная, зиявшая прорехами, широкие плисовые штаны и грубые носки; он был без рубашки, с голой шеей, голыми татуированными руками; лицо у него было вымазано сажей. Скрестив руки, он молча сидел на ближайшей кровати за теткой Жондрет, так что его почти не было видно.

Повинуясь внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, Белый посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет.

– Ага, понимаю! – с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе пуговицы – Вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет!

– Что это за человек? – спросил Белый.

– Это? – протянул Жондрет. – Это так, сосед. Не обращайтесь на него внимания.

Вид у соседа был странный. Но в предместье Сен-Марсо расположено несколько химических заводов. У рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность Белого говорила о полном доверии, в нем не чувствовалось и тени страха.

– Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту?

– Я говорил, мой дорогой покровитель, – подхватил Жондрет, облокотясь на стол и вперив в Белого неподвижный и ласковый взгляд, слегка напоминавший взгляд удава, – я говорил, что у меня продается картина.

Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели, за теткой Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо.

Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, Белый заметил и его.

– Не беспокойтесь, – продолжал Жондрет, – это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина... Вот, сударь, извольте поглядеть.

Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу упоминавшаяся нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как Жондрет загораживал ее; он разглядел только грубую мазню, нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было намалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра.

– Что это такое? – спросил Белый.

Жондрет воскликнул с восторгом:

– Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить.

Было ли это случайно, или потому, что он начал испытывать беспокойство, но только г-н Белый перевел взгляд с картины в глубину комнаты. Там уже оказалось четыре человека – трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо – с голыми руками, неподвижные, с выпачканными лицами. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик, его седые волосы над черным лицом производили жуткое впечатление. Двое других казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все были разуты – кто в носках, кто босиком.

Жондрет заметил, что Белый не спускает глаз с этих людей.

– Это друзья. Живут по соседству, – сказал он. – Они все чумазые, потому что копаются в саже. Эти ребята-трубочисты. Не стоит обращать на них внимания, благодетель, лучше

купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам ее отдам недорого. Во сколько вы ее оцените?

– Но ведь это вывеска с кабачка, ей цена не больше трех франков, – проговорил г-н Белый, пристально, с настороженным видом, глядя в глаза Жондрета.

– При вас ли бумажник? – вкрадчивым голосом спросил Жондрет. – С меня довольно будет тысячи экю.

Белый встал во весь рост, прислонился к стене и пробежал глазами по комнате. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа между ним и дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жондрет снова жалобно заскулил, обводя всех блуждающим взглядом, так что Белому могло показаться, будто от нищеты у этого человека помутился рассудок.

– Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель, – продолжал ныть Жондрет, – я пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только: ведь я мечтал обучить дочек картонажному искусству, оклеиванию коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посуда с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще – для дерева, пожиже – для бумаги или для материи, нужен резак для заготовки картона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток – заколачивать скрепки, кисти и всякая чертовщина. И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть надо четырнадцать часов. Каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смачивать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разодевать клей. Проклятая работа! И за все – четыре су в день! Разве на это проживешь? Причитая, Жондрет не глядел на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза Белого были устремлены на Жондрета, глаза Жондрета – на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Белый как будто спрашивал себя: «Не умалишенный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!»

Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительный блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу Белому и крикнул громовым голосом:

– Все это вздор, не в этом дело! Вы меня узнаете?

Глава двадцатая.

Западня

Дверь внезапно распахнулась, и вошли трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную палку, окованную железом; другой, рослый детина, держал за топориче, обухом вниз, топор, какой употребляют для боя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно, украденный в тюрьме от какой-нибудь двери.

Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с палкой тотчас завязался быстрый диалог.

– Все готово? – спросил Жондрет.

– Все, – отвечал тот.

– А где Монпарнас?

– Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой.

– С которой?

– Со старшей.

– Фиакр стоит внизу?

– Стоит.

– А повозка запряжена?

– Да.

– А пару заложили хорошую?

– Отличную.

– Дожидаются, где я велел?

– Да.

– Ну хорошо, – сказал Жондрет.

Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривался вокруг, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь в каждого из окружавших его людей. Ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя за столом, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся добродушным стариком, вдруг превратился в богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой.

Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины – нам не чужой. Мариус испытывал гордость за незнакомца.

Между тем трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал: «Это трубочисты», вытащили из кучи громадные ножницы для резки металла, тяжелый лом, молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него.

Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора.

Жондрет, закончив разговор с человеком, вооруженным палкой, снова обратился к Белому и повторил свой вопрос, сопровождая его коротким, негромким, зловещим смешком.

– Итак, вы меня не узнаете?

– Нет, – ответил Белый, глядя ему прямо в глаза.

Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу Белого, который при этом движении не пошевелинулся, свои тяжелые хищные челюсти и, застыв в позе дикого зверя, готовящегося растерзать жертву, крикнул:

– Я не Фабанту, не Жондрет, я – Тенардьё! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите?

Тенардьё! Теперь вы узнаете меня?

Легкая краска залила лицо Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил негромким, недрогнувшим голосом:

– И теперь не узнаю.

Мариус не расслышал ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен, поражен. Он задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардьё», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, уже готовая дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардьё!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выпустили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим Белого, но потряс Мариуса. Имя Тенардьё, по-видимому, незнакомое Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно для него означало. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки священного завета, гласившего: «Человек по имени Тенардьё спас мне жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!»

Имя это, как, вероятно, помнит читатель, было одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардьё, тот самый

монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление, – какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющее убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью – как бы заплатить отцовский долг. И вот, в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве под Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любит, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти, – казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой – так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кошунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу этих людей, которые, ничего не подозревая, суеились перед ним. Если он выстрелит, то спасет Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли властным воспоминаниям, важнейшим обязательствам перед самим собой, священному долгу, святым письмам? Изменить заветам отца или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что он слышит голос «своей Урсулы», умолявшей за отца, и голос полковника, препоручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а между тем сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание.

Между тем Тенардье, – впредь мы уже не будем называть его иначе, – в каком-то иступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию. Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену.

Затем он с угрожающим видом повернулся к Белому и зарычал:

– Проигрались, промотались, проторговались! В лоск!

И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый:

– Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий миллионщик! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой дочку Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас бил желтый редингот? Скажете – нет? И не у вас был в руках сверток с тряпьем, точь-в-точь как нынче утром, когда вы явились сюда? Нет, ты только послушай, жена! Видно, такая уж у него блажь – таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками!

Какой благодетель нашелся! Не чулочная ли у вас торговля, господин миллионщик? Вы раздаете, стало быть, товары из своей лавки беднякам, святоша?! Шут гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю вас! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда это проходит даром – забираться в приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким платьем и нищенским видом, с каким гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом страшать в лесу. Вам не удастся, разорив людей, отделаться от них рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей!

Он на минуту остановился и что-то забормотал про себя. Его гнев напоминал бурное течение Роны, вдруг исчезающее в расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул:

– Да при этом еще корчить праведника!

И снова обратился к Белому:

– Когда-то вы надо мной насмеялись, пропади вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, которая жила у меня, а она была, наверное, из богатой семьи. Я уже успел нажать на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого кабака, на котором, черта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну да не об том речь. Признайтесь: я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка? В лесу у вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, как погляжу на него! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадмуазель Марс, – подумайте только, с самой мадмуазель Шептуньей! – будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошелиться! Уши развесил, слушая мою чепуху! Умора! А я думал про себя: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!»

Тенардьё умолк. Он задыхался. Его щуплая, узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого, подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило, – счастье, с каким карлик попирает бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного, полумертвого быка, уже неспособного защищаться, но еще способного страдать.

Белый не прерывал Тенардьё. Когда же тот умолк, он сказал:

– Я вас не понимаю. Вы ошибаетесь. Я человек бедный. Какой я миллионер? Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого.

– Ага! – захрипел Тенардьё. – Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я?

– Извините, сударь, – ответил Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычайно внушительно, – я вижу, что вы бандит.

Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы? Чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардьё соскочила с постели, а он схватил стул, словно намереваясь изломать его в щепки.

– Эй ты, не суйся! – крикнул он жене и, повернувшись к Белому, разразился длинной тирадой:

– Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас называете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша, – значит, бандит! Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было. Конечно, я бандит! Зато у вас у всех ноги в тепле, на вас сапожки от Сакосского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, едите трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат – сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне, смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». А вы изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедим, проглотим, голубчиков! Знайте, господин миллионер: я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы – еще неизвестно, кто вы такой!

Тут Тенардьё подошел к людям, стоявшим у двери, и, дрожа от гнева, добавил:

– Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним сапожник!

Обернувшись к Белому, он с еще большим бешенством продолжал:

– Запомните, господин филантроп, что я не подозрительная личность, не безродный. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался под Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него был чертовски слаб, и я не расслышал. Я разобрал только мерси. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить мой ратный подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысячи чертей! А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, давайте покончим. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите, – погибли, провались я на этом месте!

Мариус справился со своим волнением, он слышал слова Тенардьё. Последние сомнения рассеялись. Перед ним был тот самый Тенардьё, о котором упоминалось в завещании.

Мариус задрожал, услышав упрек в неблагодарности, брошенный его отцу, – ведь он роковым образом едва не заслужил этот упрек. Его тревога росла. Но в речах Тенардьё, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, во вспышках его разнуждавшейся подлой натуры, в смеси бахвальства и униженности, гордости и низости, злобы и тупости, в хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в бесстыдной наготе уродливой души, во взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, – во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда.

Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардьё предлагал Белому купить у него, было просто вывеской его трактира, им же самим, как мы помним, намалеванной, – единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения.

Тенардьё теперь уже не загораживал Мариусу поле зрения, и Мариус мог рассмотреть картину. Эта пачкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Это были Тенардьё и Понмерси, спаситель-сержант и спасаемый полковник. Мариус смотрел, будто опьяненный: картина оживляла перед ним отца; он видел не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо,

образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на мрачном холсте, пугал его; ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него.

Между тем Тенардьё, отдышавшись и уставив на Белого налитые кровью глаза, негромко и отрывисто спросил:

– Желаете что-нибудь сказать перед последним угощением?

Белый молчал. В наступившей тишине кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора полную зловещего смысла остроту:

– Кому наколоть дров? Я готов!

То была шутка человека с топором.

И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалось широкое, обросшее щетиной, ослабленное лицо землистого цвета.

Это был человек с топором.

– Ты зачем скинул маску? – в бешенстве заорал на него Тенардьё.

– Чтобы посмеяться, – ответил тот.

Уже несколько минут Белый внимательно следил за каждым движением Тенардьё, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, в полной уверенности, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардьё только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к Белому.

Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком – стол и, прежде чем Тенардьё успел повернуться, с изумительным проворством, одним прыжком очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было для него делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, но шесть крепких ручищ схватили его и рывком втащили в логово. Это сделали три ринувшиеся на него «трубочиста». Тетка Тенардьё тут же вцепилась ему в волосы.

На шум из коридора сбежались другие бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки, вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним. Один из «трубочистов», на размаляванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой Белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавший палицу.

Этого Мариус уже не мог выдержать. «Прости меня, отец!» – мысленно прошептал он и нащупал пальцем курок. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардьё:

– Не троньте его!

Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардьё скорее успокаивающе, нежели раздражающе. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих пор, в упоении победой над поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый.

– Не троньте его! – повторил он. Сам того не подозревая, он оказался в выигрыше, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса, – обстановка изменилась, и Мариус решил, что можно повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать погибнуть «отцу Урсулы» или погубить человека, спасшего полковника?

Между тем завязалась жестокая схватка. Ударом кулака в грудь Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели словно под жерновами. Но четверо схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули к повергнутым «трубочистам». Одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и

задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, Белый исчез под омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей сворой ищеек и догов. Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они и оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардье не выпускала из рук его волос.

– Тебе нечего в это путаться! – прикрикнул на нее Тенардье. – Еще шаль порвешь.

Она повиновалась с рычанием, как волчица волку.

– Обыскать его, ребята! – приказал Тенардье.

Белый решил, по-видимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного кошелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось. Тенардье положил платок к себе в карман.

– Неужели нет бумажки? – спросил он.

– Ни бумажки, ни часов, – ответил кто-то из «трубочистов».

– Неважно, – пробормотал голосом чревоуещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. – Что и говорить, неподатливый старик!

Тенардье подошел к дверям, взял связку веревок, лежавшую в углу, и бросил бандитам.

– Привяжите его к изножию кровати, – приказал он и, заметив неподвижно лежавшего посреди комнаты старика, сбитого ударом Белого, спросил: – Что, Башка помер?

– Нет, пьян, – ответил Гнус.

– Оттащите его в угол, – распорядился Тенардье.

Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома.

– Зачем ты привел столько народу, Бабет? – тихо спросил Тенардье человека с палкой. – Этого не требовалось.

– Не отвяжешься от них, – ответил тот. – Все захотели участвовать. Времена плохие. Нет никаких дел.

Кровать, на которую бросили Белого, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его и крепко привязали к той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину.

Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической, подозрительной метаморфозой, испытывая чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам.

– Сударь... – начал было Тенардье, но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускаявшим Белого, знак удалиться.

– Отойдите. Дайте мне поговорить с господином, – сказал он.

Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил:

– Сударь! Зря вы вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги сломать. А теперь, если вы ничего не имеете против, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули.

Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время Белый произнес несколько слов, не повышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил полное, поразительное молчание. Тенардье продолжал:

– Да разве бы я нашел неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например:

«Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадешь в общество

людей, не внушающих особого доверия. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещенье. Итак, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный: кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и с юстицией. Значит, вы, как я уже давно заподозрил, кое-что скрываете. Мы тоже скрываем – стало быть, можно договориться.

Тенардьё не сводил глаз с Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в глубину души пленника. Тем не менее речь его, несмотря на оттенок скрытой, сдержанной наглости, была осторожна и почти изысканна; этого негодяя, за минуту до того представлявшего собой обыкновенного разбойника, теперь можно было принять за человека, который «готовился в священники».

Молчание пленника, его необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, упорство, с каким он подавлял в себе первое движение души – в минуту опасности позвать на помощь, все это было неприятно Мариусу и вызывало у него мучительное чувство недоумения.

Вполне обоснованные замечания Тенардьё сгустили таинственный мрак, окутывавший строгую необычную фигуру человека, которого Курфейрак прозвал г-ном Белым. Связанный веревками, окруженный палачами, находясь наполовину в могиле и с каждым мгновением все глубже туда опускаясь, испытываемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардьё, человек этот оставался невозмутимым, и Мариус не мог не любоваться его лицом, хранившим выражение гордой печали.

То была душа, недоступная страху, не знающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз.

Тенардьё непринужденно поднялся с места, подошел к камину и, отодвинув ширмы, прислонил их к стоящей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами.

Затем Тенардьё снова подсел к Белому.

– Итак, пойдем дальше, – сказал он. – Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы миллионщик, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять, не обирала ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех людей, которые злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте: я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков. Белый не проронил ни слова. Тенардьё продолжал:

– Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестны размеры вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч

франков – вот моя цена. Это сущий пустяк. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас пальцем не тронет. Вы можете возразить: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков!» О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого не требуется. Я прошу вас только об одном: не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую.

Тут Тенардье прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню:

– Предупреждаю: никаких отговорок насчет неграмотности я и слушать не хочу.

Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке.

Тенардье придвинул стол вплотную к Белому и вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа.

Лист он положил перед Белым.

– Пишите, – сказал он.

Тут, наконец, заговорил пленник:

– Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан.

– Совершенно верно, вы правы. Извините! – произнес Тенардье.

Обратившись к Крючку, прозываемому также Весенним, а также Гнусом, приказал:

– Развяжите господину правую руку. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказание Тенардье. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардье обмакнул перо в чернила и протянул Белому.

– Советую хорошенько запомнить, сударь, – сказал он, – что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила не вырвет вас отсюда и что мы будем огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать.

– Что же я должен писать? – спросил пленник.

– Я продиктую.

Белый взял перо.

Тенардье стал диктовать:

– «Дочь моя...»

Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардье.

– Напишите: «Дорогая дочь моя», – продолжал Тенардье. Белый повиновался.

– «...приезжай немедленно...»

Он приостановился:

– Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?

– Кому? – спросил Белый.

– Ну девочке, Жаворонку, черт побери!

– Я не понимаю, что вы хотите сказать... – ответил Белый без малейших признаков волнения.

– Пишите, пишите, – оборвал его Тенардье и опять принялся диктовать:

– «Приезжай немедленно. Ты мне очень нужна. Особе, которая передаст тебе эту записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая».

Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардье не успокоился:

– Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать.

Белый зачеркнул эти три слова.

– А теперь, – продолжал Тенардье, – подпишитесь. Как вас зовут?

Пленник положил перо и спросил:

– Кому предназначается это письмо?

– Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Я же вам сказал.

Тенардые явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя значило бы раскрыть им все «дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать.

– Подпишитесь. Как вас зовут? – повторил он.

– Урбен Фабр, – сказал пленник.

Тенардые кощачьим движением запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече.

– У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.».

Пленник поставил подпись.

– Одной рукой письма не сложить, – сказал Тенардые. – Давайте я сложу. Пишите адрес: «Мадмуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, близ церкви Сен-Жак-дю-О-Па, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами.

Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал: «Мадмуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д'Анфер, э 17».

Тенардые с лихорадочной поспешностью схватил письмо.

– Жена! – позвал он.

Жена подбежала.

– Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Поезжай и живо назад.

Обратившись к человеку с топором, он распорядился:

– А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Ты хорошо помнишь, где поставил повозку?

– Помню, – ответил тот.

Поставив топор в угол, он последовал за теткой Тенардые.

Не успели они выйти, как Тенардые, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор:

– Главное, не потеряй письмо! Не забудь, что везешь двести тысяч франков.

– Не беспокойся. Оно у меня за пазухой, – отвечал сиплый голое супруги.

Не прошло и минуты, как послышалось шелканье кнута оно становилось все тише и вскоре совсем замерло.

– Отлично, – пробормотал Тенардые. – Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется.

Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы грязных сапог.

– Ноги у меня совсем заоченели, – сказал он.

Теперь, кроме Тенардые и пленника, в труппе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардые грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут назад логово Тенардые.

Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени.

Слышалось только мирное посапывание спавшего в углу пьяного старика.

Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардые называл еще «Жаворонком»?

Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил просто: «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Нашли объяснения буквы «У» и «Ф»: они означали «Урбен Фабр», и Урсула перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее обстоятельство особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то страшные чары приковали его к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять решение.

«Во всяком случае, – думал он, – если Жаворонок – это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардье должна привезти ее сюда. А тогда, если понадобится, я не пощажу ни своей жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не остановлюсь.

Так прошло около получаса. Тенардье, казалось, был поглощен мрачными мыслями.

Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий, приглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник.

– Господин Фабр! – вдруг обратился к пленнику Тенардье. – Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу.

Эта короткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился.

– Потерпите немного, – продолжал Тенардье. – Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жаворонок – на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке, поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все.

Пленник не проронил ни слова. Тенардье после небольшой паузы продолжал:

– Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, если вы сами этого не захотите. Я вам для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело.

Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардье снова заговорил:

– Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет.

Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он уже не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их кровавый смысл: «Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка».

Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой.

Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его.

Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона.

Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину.

Связанный пленник пошевелился.

– А вот и хозяйка, – сказал Тенардье.

Не успел он договорить, как в комнату ворвалась тетка Тенардье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом, и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила:

– Фальшивый адрес!

Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор.

– Фальшивый адрес? – переспросил Тенардье.

– Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает!

Тетка Тенардье остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила:

– Эх ты, господин Тенардье! Ведь старик-то тебя околпачил! Ты слишком добр! На твоём месте я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться – живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись до меня, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать – никого! Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали!

Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонек, – та, имя которой он теперь не сумел бы уже назвать, – была спасена.

Между тем как жена продолжала иступленно вопить, Тенардье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню.

Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил:

– Фальшивый адрес? На что же ты, собственно говоря, надеялся?

– Выиграть время! – крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник был привязан к кровати только за одну ногу.

Прежде чем кто-либо из семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился, Тенардье, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом.

Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в доме Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была обнаружена монета в два су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака, – одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, как метафоры воровского аргю в поэзии. На каторге существуют свои Бенвенуто Челлини, совершенно так же, как в языке – Вийоны.

Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью ножичка или старого долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезки, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета завинчивается и развинчивается; это – коробочка. В нее прячут часовую

пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним су. Нет, он обладает свободой. Вот такую монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при обыске в логове Тенардьё. Была обнаружена и стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки. Этим объясняются легкий шум и едва уловимые движения, которые заметил Мариус.

Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге.

Между тем бандиты опомнились от испуга.

– Не беспокойся, – обращаясь к Тенардьё, сказал Гнус, – одна нога у него привязана, и ему не уйти. Могу ручаться. Эту лапу я сам ему затынул.

Но тут возвысил голос пленник:

– Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать то, чего я не хочу говорить и чего не хочу писать, то...

Он засучил рукав на левой руке и прибавил:

– Вот, смотрите!

С этими словами он вытянул правую руку и приложил к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку.

Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице этого удивительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардьё беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание.

У сильных, благородных натур, когда они становятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира.

– Несчастные! – сказал он. – Я не боюсь вас, и вы меня не бойтесь.

Резким движением вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, остававшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас.

– Делайте со мной, что угодно, – продолжал пленник.

Теперь он был безоружен.

– Держите его! – крикнул Тенардьё.

Два бандита схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом чревоушателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении размозжить ему череп ключом.

В ту же минуту внизу за перегородкой, в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса:

– Остается одно.

– Укокошить?

– Вот именно.

Это совещались супруги Тенардьё.

Тенардьё медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож.

Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла борьба голосов, причиняя ему

смертельную муку. Он все лелеял надежду, что найдет средство примирить два долга, но так и не нашел. Между тем опасность приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардьё, с ножом в руках, о чем-то думал, стоя в нескольких шагах от пленника.

Мариус растерянно водил глазами, – к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние.

Внезапно он вздрогнул.

Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую еще нынче утром вывела крупными буквами старшая дочь Тенардьё:

Легавые пришли.

Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустил на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардьё.

И как раз вовремя. Тенардьё, поборов последние страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику.

– Что-то упало! – крикнула тетка Тенардьё.

– Что такое? – спросил Тенардьё.

Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она протянула его мужу.

– Как он сюда попал? – удивился Тенардьё.

– А как еще, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, – объяснила жена.

– Я видел, как он влетел, – заявил Гнус.

Тенардьё поспешно развернул листок и поднес его к свече.

– Почерк Эпонины. Проклятие!

Он сделал знак жене и, когда та подскочила, показал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом отдал распоряжение:

– Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!

– Не свернув ему шею? – спросила тетка Тенардьё.

– Теперь некогда этим заниматься.

– А как будем уходить? – задал вопрос Гнус.

– Через окно, – ответил Тенардьё. – Раз Понина бросила камень в окно – значит, дом с этой стороны не оцеплен.

Человек в маске, говоривший голосом чревоушателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками.

Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился.

Как только лестница была прилажена, Тенардьё крикнул:

– Хозяйка, идем!

И бросился к окошку.

Но едва он занес ногу, как Гнус схватил его за шиворот.

– Нет, шалишь, старый плут! После нас!

– После нас! – зарычали бандиты.

– Перестаньте дурачиться! – принялся увещевать их Тенардьё. – Мы теряем время. Фараоны у нас за горбом.

– Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать, – предложил один из бандитов.
– Да что вы, рехнулись? Спятили? – завопил Тенардье. – Видали олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или, может, напишем наши имена? Сложим записочки в шапку?
– Не пригодится ли вам моя шляпа? – крикнул с порога чей-то голос.
Все обернулись. Это был Жавер.
Он, улыбаясь, протягивал свою шляпу бандитам.

Глава двадцать первая.
Всегда надо начинать с ареста пострадавших

Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на заставе Гобеленов, против дома Горбо, по ту сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым было поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» только Азельму. Эпонины на месте не оказалось, она исчезла, и он не успел ее задержать. Покончив с этим, Жавер уже не выходил из засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение, он узнал кое-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела.

Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери.

Жавер подросел как раз вовремя.

Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с палкой, остальные – кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардье – сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям.

Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость под мышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед.

– Стой, ни с места! – крикнул он. – Через окно не лазить. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему.

Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардье, шепнув ему на ухо:

– Это – Жавер. Ты как хочешь, а я в него стрелять не могу.

– Плевать я на него хотел, – ответил Тенардье.

– Ну что ж, стреляй.

Тенардье взял пистолет и прицелился в Жавера.

Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардье, пристально взглянул на него и сказал:

– Не стреляй. Все равно даст осечку.

Тенардье спустил курок. Пистолет дал осечку.

– Я ведь тебе говорил, – заметил Жавер.

Гнус бросил к ногам Жавера палку.

– Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь.

– А вы? – обратился Жавер к остальным бандитам.

– Мы тоже, – последовал ответ.

– Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил – надо по-хорошему, – спокойно добавил Жавер.

– Я прошу одного, – снова заговорил Гнус, – пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке.

– Хорошо, – ответил Жавер.

Тут он обернулся и крикнул в дверь:

– Войдите!

Постовые, с саблями наголо, и полицейские, вооруженные кастетами и короткими дубинками, ввалились в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардье, освещенном только свечой, стало совсем темно.

– Всем наручники! – распорядился Жавер.

– А ну, подойдите! – раздался вдруг чей-то, не мужской, но и не женский, голос.

Это рычала тетка Тенардье, загородившаяся в углу у окна.

Полицейские и постовые отступили.

Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес.

– Берегитесь! – крикнула она.

Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела.

Тетка Тенардье взглянула на бандитов, давших себя связать, и хриплым, гортанным голосом пробормотала:

– У-у, трусы!

Жавер усмехнулся и пошел прямо в опустевшую часть комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардье.

– Не подходи! Не то расшибу! – завопила она.

– Экий гренадер! – сказал Жавер. – Ну, мамаша, хоть у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, как у женщины.

И он продолжал идти вперед.

Растрепанная, страшная тетка Тенардье расставила ноги, откинулась назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер пригнулся. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью, теперь почти пустое, помещение и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера.

В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардье. Одна из огромных его ручищ опустила на плечо супруги, другая на голову супруга.

– Наручники! – крикнул он.

Полицейские гурьбой бросились к нему, и приказание Жавера было исполнено.

Это сломило тетку Тенардье. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула:

– Дочки, мои дочки!

– Они за решеткой, – объявил Жавер.

Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу.

– Уже успели управиться, Жондрет? – пробормотал он спросонья.

– Да, – ответил Жавер.

Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения, трое сохраняли свою черную размазку, трое других – маски.

– Масок не снимать, – распорядился Жавер. Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих II, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил:

– Здорово, Гнус! Здорово, Башка! Здорово, Два Миллиарда!

Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором:

– – Здорово Живоглот!

Человека с палкой:

– Здорово, Бабет!

А чревовещателя:

– Здравия желаю, Звенигрош!

Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни слова и стоял опутив голову.

– Отвяжите господина, и не уходить! – приказал он.

Потом он с важным видом сел за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу.

Написав первые строчки, состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза.

– Подведите господина, который был связан этими господами.

Полицейские огляделись.

– В чем дело? Где же он? – спросил Жавер.

Но пленник бандитов, – г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка, – исчез.

Дверь охранялась, а про окно забыли. Почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и, пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно.

Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно.

Веревочная лестница еще покачивалась.

– Экая чертовщина! – процедил сквозь зубы Жавер – Видно, этот был почище всех.

Глава двадцать вторая.

Малыш, плакавший во второй части нашей книги

На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик шел по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный, худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны; он шел, распевая во все горло.

На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил.

– Вот тебе раз! – крикнул он. – А я-то думал, что это большущая-пребольшущая собака! Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно точно можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕБОЛЬШУЩАЯ собака!

Взбешенная старуха выпрямилась.

– У, висельник! – заворчала она. – Мне бы прежнюю силу, я бы такого пинка тебе дала!

Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии.

– Куси, куси! – поддразнил он. – Ну если так, то я, пожалуй, не ошибся.

Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, видна была только голова.

Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил:

– Красота ваша не в моем вкусе, сударыня.

И пошел дальше, распевая:

*Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок,*

Пропев эти три стиха, он замолк. Он подошел к дому э 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары свидетельствовали не столько о силе его детских ног, сколько о тяжести мужских сапог, в которые он был обут.

Следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, бежала та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы.

– Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери! Разносят дом! – орала она. Удары не прекращались.

– Да разве нынешние постройки на это рассчитаны? – надрывалась старуха и вдруг неожиданно смолкла. Она узнала гамена.

– Да ведь это же наш дьяволенок!

– А! Да ведь это же наша бабка! – сказал мальчик. – Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков.

Старуха скорчила гримасу, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты, но отразившую разнородные чувства: то была великолепная импровизация злобы при поддержке уродства и дряхлости.

– Никого нет, бесстыжая твоя рожа, – сказала старуха.

– Вот тебе раз! – воскликнул мальчик. – А где же отец?

– В тюрьме Форс.

– Смотри-ка! А мать?

– В Сен – Лазаре.

– Так, так! А сестры?

– В Мадлонет.

Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул:

– Э-эх!

Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге, услышала, как он запел чистым детским голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожавшие на зимнем ветру:

*Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок,
Взобравшись на ходули.
Кто проходил внизу,
Платил ему два су.*

Часть IV

«Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени»

Книга первая

Несколько страниц истории

Глава первая.

Хорошо скроено

Два года, 1831 и 1832, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет – как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслонившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то проглядывают, то скрываются за грозowymi облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.

Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.

Попытаемся это сделать.

Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо – усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, она была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного – мира; у всех одно притязание – умалиться. Это означает – жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди, – нет, покорно благодарим, навидались мы их, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй – с Робеспьером, третий – с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.

Нередко и сама власть является фракцией.

Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, – это старые партии.

По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение! Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным свершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и даже обгаренная кровью, она выживает. Революция – не случайность, а необходимость.

Революция – это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.

Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения – отличные метательные снаряды. Они умело поражали революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, – за недостатком логики; они нападали на революцию в ее королевском обличьи. Они ей кричали: «Революция! А зачем же у тебя король?» Старые партии – это слепцы, которые хорошо целятся.

Республиканцы кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.

Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками и с вечным правом.

Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир – значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир – разорительная политика

цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повод. Подгоняемая во Франции прогрессом, она в свою очередь подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.

А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда – все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.

Вне политических партий в собственном смысле сотого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению соответствовало брожение философское.

Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.

Мыслители размышляли, в то время как почва – то есть народ, – изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в неярко выраженном эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые – в одиночестве, другие – объединившись в дружные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.

Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи. Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.

Человеческое благополучие – вот что хотели они добыть из недр общества.

Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли почти на высоту религии. В цивилизации, такой, какою она создается, – отчасти богом и, гораздо больше, людьми, – интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, по закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.

Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием – социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы из нее забил живой родник человеческого счастья.

Их труды охватывали все, от смертной казни до вопроса о войне. К правам человека, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не исчерпываем здесь, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.

Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.

Первая проблема создать материальные богатства.

Вторая проблема распределить их.

Первая проблема включает вопрос о труде.

Вторая-вопрос о плате за труд.

В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.

Во второй – о распределении жизненных благ.

Следствием правильного применения производительных сил является мощь общества.

Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.

Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства – справедливость.

Из соединения этих двух начал – мощи общества вовне и личного благоденствия внутри – рождается социальное процветание.

Социальное процветание означает – счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.

Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое одностороннее решение роковым образом приводит ее к двум крайностям чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага – одним, все лишения – другим, то есть народу, причем привилегии, льготы, монополии, власть феодалов являются порождением самого труда. Положение ложное и опасное, ибо могущество общества зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства – на страданиях отдельной личности. Это – дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.

Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязаниях на правильности решениях. Уничтожить богатство – не значит его распределить.

Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них одно.

Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или как Англия, – материальным могуществом; вы будете несправедливым богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам возможность погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет возможность падать и погибать всякому себялюбиву, всему, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.

Само собой разумеется, что под Венецией, Англией мы подразумеваем не народ, а определенный общественный строй – олигархии, стоящие над нациями, а не самые нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ – бессмертна. Отметив это, пойдем дальше.

Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно работе, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая работу рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умеете создавать богатство и умеете его распределять; тогда вы будете обладать материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.

Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготавливал в умах.

Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!

Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного деятеля необходимость считаться с философами, только еще намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком резко противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятель прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравнивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение

отречения в будущем, рожденное неосознанной покорностью высшему, неоспоримому праву, личная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу – все это поглощало Луи-Филиппа почти мучительно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.

У него было тревожное ощущение, что почва под ним колыхнется, однако она еще была твердой, так как Франция оставалась Францией более чем когда-либо.

Темные, сгрудившиеся тучи облегали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями, – тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание – столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В атмосфере тревоги, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому дотоле неведомый, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты облака. Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном обличье явил себя 1832 год. Народ в нищете, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж – Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных – Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловеющий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, устремленные на Францию враждебные взгляды всей Европы, Англия – эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что накренилось, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской Богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства – одна в городе мысли, другая в городе труда; в Париже война гражданская, в Лионе – война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени, багровый свет извергающегося вулкана на челе народа, пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера – все это прибавляло к слитному гулу идей сумятицу событий.

Глава пятая.

Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые

К концу апреля все усложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, – признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.

Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.

Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными – как ни странно применение двух этих эпитетов к кабачкам.

Там просто и открыто выражали недоверие правительству. Обсуждалось во всеуслышание: драться или сохранять спокойствие. Кое-где в комнатах за кабачком с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность

врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: Ты дал согласие! Ты поклялся! Иногда поднимались на второй этаж, и там, в запертой комнате, происходили сцены, напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.

В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени.

Там слышались такие слова: «Мне неизвестны имена вождей. Мы узнаем о назначенном дне только за два часа. Один рабочий сказал: Нас триста человек, дадим каждый по десять су – вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули. Другой сказал: Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не пройдет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрал двадцать пять тысяч человек, можно вступить в бой. Третий заявил: Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны. Время от времени появлялись люди „хорошо одетые, по виду буржуа“, „сеяли смуту“ и, держась „распорядителями“, пожимали руки самым главным, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: Заговор созрел. Все готово. „Об этом твердили все, кто был там“, – как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке кто-то из рабочих крикнул: У нас нет оружия! Его приятель, неумышленно пародируя обращение Бонапарта к Итальянской армии, ответил: Оружие есть у солдат! „Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, – прибавляет один из рапортов, – то там они ее не сообщали друг другу“. Непонятно, что еще они могли скрывать после того, что ими было сказано.

Нередко такие собрания принимали регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходили все, кто хотел и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены энтузиазмом, другие – потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.

Стали известны и другие красноречивые факты.

Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: Должок мой, дядюшка, уплатит революция.

У кабатчика, что напротив улицы Щарон, намечали революционных уполномоченных.

Избирательные записки собирали в фуражки.

Рабочие сходились на улице Котт, у фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там был набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговицы с рапир сняли. Один рабочий сказал: Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей. Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.

Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными.

Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: Уже давно всю делают патроны. На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: Борто, виноторговец.

Однажды на рынке Лемуар, возле лавочки, торговавшей настойками, какой-то бородач, взобравшись на тумбу, громко читал с итальянским акцентом необычное рукописное послание, казалось исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были записаны: «Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы...». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «...Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «Выбор возможен один: действие или

противодействие, революция или контрреволюция. В наше время больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа – вот в чем вопрос. Другого не существует». «В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.

Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно своей дерзостью. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы св. Маргариты, вскричал: Я бабувист! Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.

Этот человек говорил:

– Долой собственность! Левая оппозиция – это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы – мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!

– Молчать, гражданин шпик! – крикнул ему рабочий.

Этот окрик положил конец его речи.

Бывали и таинственные случаи.

Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», и тот его спросил: «Куда идешь, гражданин?» «Я не имею чести вас знать, сударь», – ответил рабочий. «Зато я тебя хорошо знаю, – сказал тот и прибавил: – Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай: если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобой следят. – Он пожал рабочему руку и, сказав: – Мы скоро увидимся», – ушел.

Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.

– Постарайся получить поскорей, – говорил ткач краснодеревцу.

– Почему?

– Да придется пострелять.

Двое оборванцев обменялись следующими примечательными словами, отдававшими жакерией:

– Кто нами правит?

– Господин Филипп.

– Нет, буржуазия.

Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Жаки – это бедняки. Право на стороне тех, кто голоден.

Слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».

Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву на круглой площади возле Тронной заставы, удалось расслышать: «Будет сделано все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».

Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.

«Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее вожаки всегда были в тени и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательной сдержанности следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.

– Кто ваш руководитель? – спросили его.

– Я не знал да и не разузнавал, кто он. Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.

Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строившегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было разобрать такие строки:

«...Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ...»

И в приписке:

«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер э 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».

Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что намного дальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа:

[К|Ц|Д|Р|Выучите этот листок наизусть. Потом разорвите. Посвященные пусть сделают так же, после того как вы передадите им приказания.

Привет и братство.

Л.

ю ог а* фе

Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв – это были квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики, а буквы ю ог а* фе означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся примечательными указаниями: «К – Банерель, 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц – Бубьер. 1 пистолет, 40 патронов; Д – Роле. 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р – Тейсье. 1 сабля, 1 патронташ. Точен; Террор, 8 ружей. Храбрец» и т. д.

Наконец тот же плотник нашел внутри той же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво, был начертан следующий загадочный список:

Единство. Вланшар. Арбр-Сек, 6.

Барра. Суаз. Счетная палата.

Костюшко. Обри-Мясник?

Ж. Ж. Р.

Кай Гракх.

Право осмотра. Дюфон. Фур.

Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.

Вашингтон. Зяблик, 1 пиет. 86 патр.

Марсельеза.

Главенст. народа. Мишель, Кенкампуа, Сабля.

Гош.

Марсо. Платон. Арбр-Сек.

Варшава. Тилли, продавец газеты Поппюлер.

Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, понял ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло после того, как эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.

Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться дела.

На улице Попенкур, при обыске у старьевщика, в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, сложенных пополам и вчетверо; под этими листами были спрятаны

двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:

Селитра 12 унций
Сера 2 унции
Уголь 2 с половиной унции
Вода 2 унции

Протокол обыска гласил, что от ящика сильно пахло порохом.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных Лотьер, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь!», и жестяную коробку с патронами.

Один рабочий, выпивая с приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать: тот обнаружил у него под курткой пистолет.

На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и чугунный котелок со следами расплавленного свинца внутри.

Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоявшим у постели; в руке у него были патроны, изготовлением которых он занимался.

Во время обеденного перерыва на заводах и фабриках заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал порошу на полку. После этого они расстались.

Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.

Однажды правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделью спустя были розданы еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало. «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».

Брожение происходило открыто и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все приметы этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?»

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?»

Другой лавочник говорил: «Скоро начнется, я знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед – маленький пистолет, за который он хотел получить семь франков.

Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не составлял исключения. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и вместе с тем тайного, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так Плювиоз, год 40-й республиканской эры, – общество, которому

было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям многозначительные названия:

Пики.

Набат.

Сигнальная пушка.

Фригийский колпак.

21 января.

Нищие.

Бродяги.

Робеспьер.

Нивелир.

Настанет день.

Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался Галльский союз и Организационный комитет городских самоуправлений. Так образовались союзы: Свобода печати, Свобода личности. Народное образование. Борьба с косвенными налогами. Затем Общество рабочих – поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью – сержант, двадцатью – младший лейтенант, четырьмя десятками – лейтенант; здесь знали друг друга не больше чем пять человек. Это выдумка, в которой осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоявший во главе центральный комитет имел две руки – Общество действия и Армию Бастилии. Легитимистский Союз рыцарей верности ссорил эти республиканские объединения. Он был разоблачен и изгнан.

Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были общества Прав человека. Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдных» на улице Матюрен-Сен-Жак служили местом собрания студентов.

Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды – в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько допускали обстоятельства, были открытыми; об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? – На улице Мира – У кого? – На улице. – Какие секции были там? – Одна. – Какая? – Секция Манюэль. – Кто был ее руководителем? – Я. – Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? – Из центрального комитета».

Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком. Таково было положение дел.

И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.

Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работающее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард таилась ужасающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редкого ума. А именно нищета и ум представляют собой особенно грозное сочетание крайностей.

У предместья Сент-Антуав были и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда – и причина и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, когда на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли. Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, известны в истории. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвышавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из ее глубин священные дуновения, – на те таверны, где столы были подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет сивиллиным вином.

Сент-Антуанское предместье – это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: *Ingens*.¹¹¹

В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорили в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.

Дикарей... Поясним это выражение. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидającego революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, заботы общества для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации. Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Скрытые под маской тьмы, они требовали света.

Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, – мы это признаем, – но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они с кротким видом высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво

¹¹¹ Могучий (*лат.*)

прославляя меч, костер и эшафот. Если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами, проповедующими цивилизацию, и людьми цивилизованными, проповедующими варварство, – мы выбрали бы первых.

Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропой.

Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути – в этом вся политика бога.

Глава шестая.

Анжольрас и его помощники

Незадолго до этого Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.

Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен».

Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:

– Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройти по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, доведем сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взгляни на политехников. Сегодня среда – у них день отдыха. Фейи! Вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все клокочет. Баорель посетит Эстрападу. Прувер! Масоны охлаждаются. Ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Я же займусь Кугурдой.

– Значит, все в порядке, – сказал Курфейрак.

– Нет.

– Что же еще?

– Очень важное дело.

– Какое? – спросил Курфейрак.

– Менская застава, – ответил Анжольрас.

Он помедлил, как бы раздумывая, потом заговорил снова:

– У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Необходимо поговорить с ними немного, но твердо. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.

– А я? – сказал Грантер. – Я-то ведь здесь!

– Ты?

– Я.

– Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!

– Почему же нет?

– Да разве ты на что-нибудь годишься?

– Но я некоторым образом стремлюсь к этому.

– Ты ни во что не веришь.

– Я верю в тебя.

– Грантер! Хочешь оказать мне услугу?

– Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.

– Хорошо. В таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай абсент.

– Анжольрас! Ты неблагодарен.

– И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты на это способен?

– Я способен пойти по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать по Старому Тюильри, проскочить бульвар, наконец, идя по Менскому шоссе, пройти заставу и попасть прямо к Ришфе. Я на это способен. И мои сапоги тоже способны.

– Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?

– Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты».

– Что же ты им скажешь?

– Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.

– Ты?!

– Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен Общественный договор, я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И, по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.

– Будь посерьезнее, – сказал Анжольрас.

– Уж куда серьезнее! – ответил Грантер.

Анжольрас подумал немного и вскинул голову с видом человека, который принял решение:

– Грантер! – сказал он значительно, – Я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.

Грантер жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.

– Красный, – сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.

Энергичным жестом он прижал обе руки к пунцовым отворотам жилета.

Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:

– Не беспокойся.

Затем решительно нахлобучил шляпу и удалился. Четверть часа спустя дальняя комната в кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись по своим делам. Анжольрас, взявший на себя Кугурду, вышел последним.

Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, многочисленных по эту сторону Сены.

Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развиваются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Вот где причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась длинная пороховая дорожка – его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи – этого гражданина мира, с пылом

Курфейрака, смехом Баорея, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, – все вместе производило что-то вроде потрескивания, всюду и одновременно сопровождающееся электрическими искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантере. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по дороге, – сказал он себе. – Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим, что делает Грантер и чего он успел добиться».

На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он с такой силой распахнул дверь, что она хлопнула его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.

Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантер, споривший со своим противником.

Грантер сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору. Вот что услышал Анжольрас:

– Два раза шесть.

– Четверка.

– Свинья! У меня таких нет.

– Ты пропал. Двойка.

– Шесть.

– Три.

– Очко!

– Мне ходить.

– Четыре очка.

– Неважно.

– Тебе ходить.

– Я здорово промазал.

– Ты пошел правильно.

– Пятнадцать.

– И еще семь.

– Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!

– Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.

– Та же двойка.

– Очко!

– Очко? Так вот тебе пятерка.

– У меня нет.

– Ты же ее как будто выставил?

– Да.

– Пустышка.

– Ну и везет тебе! Да... Везет! (Длительное раздумье.) Двушка.

– Очко!

– Проехал. Не надоело еще?

– Кончил!

– Ну и черт с тобой!

Книга вторая Эпонина

Глава первая. Жаворонково поле

Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, о которой он предупредил Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус тоже ускользнул из дома. Было девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим», он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно предоставляли убежище восстанию. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».

На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в дом Горбо, заплатил за квартиру и все, что с него причиталось, тетушке Ворчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего нового адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Ворчунью, ответившую ему: «Съехал!»

Тетушка Ворчунья была убеждена, что Мариус являлся сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы мог подумать! – восклицала она, болтая с соседними привратницами. – Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девица!»

У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое – испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличий, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе – его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.

Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к току времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.

Прошел месяц, другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.

У Мариуса денег больше не было, и он брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» – раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» – спрашивал себя Тенардье.

Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, – неведомые ему существа, составлявшие весь смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: она не Урсула – «Жаворонок» – прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый одно и то же лицо. Значит, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был он или не был отцом девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда,

ничуть не умаляло ангельского очарования девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно пламя, которое сжигает нас, вместе с тем просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Он не говорил себе «Не пойти ли туда-то? Не попробовать ли это? Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь обрисована несколькими словами: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.

В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыхание. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.

Мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокою, и порождает в нем легкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но одна лишь мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспримет, и убеждает себя, что, в общем, это одно и то же. Заблуждение!

Мышление – работа ума, мечтательность – его сладострастие. Заменить мысль мечтой – значит принять яд за пищу.

Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. Он выходил из дому только чтобы побродить и помечтать. Ленивые попытки жить! Пучина, бурлящая и затягивающая. По мере того как деятельность умерялась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабovolен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость губительна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и не работающий погибает. Средства иссякают, потребности возрастают.

Это роковой склон, на который вступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям – самоубийству или преступлению.

Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.

Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.

Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, кого он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте – то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он видел, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, он чувствовал, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!»

Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит

его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые знакомые всякому любящему сердцу часы имея основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом прибавлял: «И мои думы, быть может, находят ее».

Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней».

Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он утратил способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более чем когда-либо отличался проницательностью и справедливостью суждений, Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он воспринимал все верно, но с какой-то нескрываемой им удрученностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недостижимой высоте.

При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало; каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастья! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, тот не видел ничего истинного и ничего не знает.

Душа любящая и страдающая – возвышенна.

Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу казалось, что темное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край бездонной пропасти.

– Как! – повторял он. – И я ее перед этим не увижу?

Если двинуться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и некоторое время идти вдоль прежнего внутреннего бульвара с левой его стороны, то дойдешь до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя до речки Гобеленов, вы видите нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров представляет собой единственное место, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.

Все там исполнено прелести, источник которой неведом: зеленый лужок, над которым протянуты веревки, где сушится на ветру разное тряпье; старая, окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами; полуразрушенные изгороди; вода, поблескивающая между тополями; женщины, смех, голоса; на горизонте – Пантеон, дерево возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине – строгие четырехугольные башни Собора Богоматери.

Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще чем раз в четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик. Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость – прохожий. Мариус, пораженный диким очарованием местности, спросил его:

– Как называется это место?

Прохожий ответил:

– Жаворонково поле.

И прибавил:

– Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври.

После слова «Жаворонково» Мариус ничего больше не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение – для этого довольно какого-нибудь одного слова. Мысль сразу сосредоточивается на одном образе и неспособна ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» – название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах! – сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном таинственным беседам с самим собой. – Так это ее поле! Здесь я узнаю, где она живет».

Это было бессмысленно, но непреодолимо.

И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле.

Глава вторая.

Зародыши преступления в тюремном гнездилище

Успех Жавера в доме Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности. Прежде всего – а это было главной заботой Жавера – ему не удалось сделать пленника бандитов своим пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.

Ускользнул от Жавера и Монпарнас.

Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонию, стоявшую на карауле под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шиндерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. А Эпонию Жавер снова «сцапал». Но это было для него слабым утешением. Эпонию присоединилась к Азельме в Мадлонет. Наконец во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось; агенты и сержанты «ничего не понимали»; он словно превратился в пар, он выскользнул из наручников, он просочился сквозь щели кареты – а щели в ней были – и убежал; когда подъехали к тюрьме, то могли только сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не был ли этот человек причастен к двойной загадке – беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как преступления, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на злодеяние, а задними на власть? Жавер не признавал этих сочетаний и возмущался бы при мысли о подобной сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться и очень хорошим агентом. Иметь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, – это выгодно для бандитов и удобно для полиции. Такие двуликие мошенники существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был скорее раздражен, чем удивлен.

Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, наверное струсившего», то для Жавера, забывшего его имя, он большого интереса не представлял. Кроме того, он – адвокат, значит разыщется. Но только ли он адвокат?

Следствие началось.

Судебный следователь решил одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.

Имя Брюжона – одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именovala Сен-Бернарским двором, а воры –

Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и подымающаяся вровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых, заржавленных железных ворот, ведущих в бывшую часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, а под ним надпись: Брюжон, 1811.

Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года. Последний, которого мы видели мельком в засаде у Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.

Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление – отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.

Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. Он целыми часами, как идиот, простаивал во дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, созерцая гнусный преискуртант тюремной лавчонки, начинавшийся: «Чеснок – 62 сантима» и кончавшийся: «Сигара – 5 сантимов», или весь тряся, стучал зубами я, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.

Вдруг во второй половине февраля 1832 года стало известно, что Брюжон, эта рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су, – сумма непомерная, обратившая внимание начальника тюремной стражи.

Узнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон – десять су, другое в Валь-де-Грас – пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу – двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу.

А близ Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бисарро, Бахвала – каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции.

Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение о каком-то злодейском умысле. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона пресечены.

Приблизительно через неделю после того, как были приняты эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, – таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается жетон, – через глазок в дверях спальни увидел Брюжона: тот, сидя на койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.

Достоверно одно: на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлеманя в Львиный ров был переброшен «почтальон».

Заклученные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию.

Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых

заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.

На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.

«Почтальон» заключал в себе свернутую бумажку, содержащую всего две строки:

– «Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой».

Это и писал Брюжон ночью.

Обманув бдительность надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардые в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет.

Как раз в это время, за недостатком улик против дочерей Тенардые, Эпонина и Азельма были освобождены.

Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей осветить дельце.

Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, а Маньон передала его любовнице Бабета в Салпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает нечего делать.

Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке в дозорных тюрьмы Форс – один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» – спросил Брюжон. «Сухарь», – ответил Бабет.

Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.

Однако это привело к некоторым последствиям, правда, не входившим в планы Брюжона.

Читатель узнает о них в свое время.

Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.

Глава третья. Видение папаши Мабефа

Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить Мабефа.

В то время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливых, спускался туда и Мабеф.

«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Мабефу удалось вырастить лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак парой яиц, причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. Часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно делал, что не посещал его. Но когда Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в разговор – они только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет. Были приятелями, а стали друг для друга прохожими.

Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежды. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений создам новый успех моей „Флоре“ и куплю, – уж я-то знаю где! – Искусство навигации Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, изданное в 1559 году». А пока же он проводил целые дни возле грядки с индиго, вечером возвращался к себе, поливал садик и читал книги. Ему было без малого восемьдесят лет.

Однажды вечером ему представилось странное видение.

Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.

Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим садком, а верхнее – кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.

Мабеф, надев очки, стал перелистывать и просматривать две книги, очень его волновавшие и даже, что еще удивительнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Врожденная робость способствовала его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра О личинах демонов, вторая, in quarto, О воверских бесах и бьеврских кобольдах Мотор де ла Рюбодьера. Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его в старину посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные тона небо, а землю – в темные. Читая, Мабеф поглядывал поверх книги на растения, в частности – на великолепный рододендрон, служивший ему утешением. Вот уже четыре дня стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли согнулись, бутоны поникли, листья повисли, – все нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Папаша Мабеф принадлежал к числу людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над грядкой индиго и выбился из сил; все же он встал, положил книги на скамью и неверными шагами, сторбившись, пошел к колодцу; но, ухватившись за цепь, он не мог даже дернуть ее, чтобы снять с крюка. Он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу.

В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль души скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.

«Все небо в звездах! – думал старик. – Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!»

И снова опустил голову.

Затем, опять взглянув на небо, прошептал:

– Хоть бы одна росинка! Хоть бы капля жалости!

Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колодце и не мог.

И тут он услышал голос:

– Папаша Мабеф! Хотите, я полью сад?

Послышался треск, словно через изгородь пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка и остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.

Прежде чем папаша Мабеф, которого, как мы уже отмечали, легко можно было привести в смущение и напугать, нашел в себе силы произнести что-то членораздельное, девушка, чьи движения в темноте приобрели странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодец ведро и, вытащив его, наполнила лейку, а затем старик увидел, как это босоное, одетое в драную юбочку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя

жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.

Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.

Когда она в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, бегала по аллеям, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.

Как только она кончила свое дело, Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.

– Да благословит вас господь! – сказал он. – Вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.

– Ну нет, – ответила она, – я дьявол, а впрочем, мне все равно.

Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:

– Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!

– Кое-что вы можете сделать, – ответила она.

– Что же?

– Сказать мне, где живет господин Мариус.

Старик сначала не понял.

– Какой господин Мариус?

Его тусклый взгляд, казалось, всматривался во что-то исчезнувшее.

– Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас.

Мабеф усиленно рылся в памяти.

– А, да!.. – вскричал он. – Понимаю. Стойте! Господин Мариус... барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет... или, вернее, он там больше не живет... Ах нет, не знаю!

Он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона.

– Подождите, – продолжал он, – я вспомнил. Он очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его часто можно встретить.

Когда Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.

Само собою разумеется, он был слегка напуган.

«Право, – подумал он, – если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».

Через час, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он пробормотал:

– В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд?

Глава четвертая.

Видение Мариуса

Спустя несколько дней после того как «дух» посетил папашу Мабефа, однажды утром, в понедельник, – день, когда Мариус обычно брал взаймы у Курфейрака сто су для Тенардье, – Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «прогуляться», в надежде, что после прогулки работа у него будет спориться.

Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол, на котором лежала книга и лист бумаги, намереваясь состряпать какой-нибудь перевод, – как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор – контрверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался перевести хотя бы одну и не мог; он видел звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал. «Надо пройтись. Это меня оживит», – говорил он себе.

И шел на Жаворонково поле.

А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклее становились Савиньи и Ганс.

Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.

Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Крульбарб.

В это утро он покинул седьмое дерево и сел на парапет набережной речки Гобеленов.

Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распутившуюся, блестящую листву.

Он думал о «ней». Постепенно его думы, обернувшись упреками, перекинулись на него самого; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.

Однако сквозь всепоглощающую меланхолию, сквозь грустную сосредоточенность, сквозь поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию, — у него даже не было сил отчаиваться, — Мариус все же воспринимал явления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны — шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой — шум работы. Эти веселые звуки навевали на него глубокую задумчивость, и в этой задумчивости начали вырисовываться связные мысли.

Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос: — А вот и он!

Он поднял голову и узнал несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром, — старшую дочь Тенардье, Эпонины; теперь ему было известно ее имя. Странно! Она совсем обнищала, но похорошела, — прежде она казалась неспособной на такого рода перемену. Она прошла двойной путь: к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на две месяца старше: дыры стали шире, рубище еще отвратительнее. У нее был все тот же хриплый голос, все тот же морщинистый, загорелый лоб, все тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее лице еще сильнее чем прежде проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.

В волосах у нее запутались соломинки и сенинги, но по иной причине, чем у Офелии она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.

И несмотря ни на что, она была хороша. О юность! Какая звезда сияет в тебе!

Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился проблеск радости и некое подобие улыбки.

Некоторое время она молчала, словно не в силах была заговорить.

— Все-таки я вас нашла! — сказала опта наконец. — Папаша Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не подхожу. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых полтора месяца! Значит, теперь вы там не живете?

— Нет, — ответил Мариус.

— А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты! Вы, значит, переехали? Послушайте! Почему у вас такая старая шляпа? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, папаша Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше — не помню как. Но ведь вы не барон? Бароны — они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают Ежедневник, по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы теперь живете?

Мариус не отвечал.

— Ах! — продолжала она, — у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.

Она прибавила с печальным выражением лица:

– Вы как будто не рады меня видеть?

Мариус молчал; она тоже помолчала, потом вскрикнула:

– А все-таки, если я захочу, вы будете очень рады!

– Как? – спросил Мариус, Что вы хотите этим сказать?

– Прежде вы говорили мне «ты!» – заметила она.

– Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?

Она закусила губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась.

– Ну, все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу...

– Да, да! Говори же!

Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:

– Я знаю адрес.

Мариус побледнел. Вся кровь прихлынула ему к сердцу.

– Какой адрес?

– Адрес, который вы у меня просили!

И прибавила как бы с усилием:

– Адрес... Ну, вы ведь сами знаете...

– Да, – пролепетал Мариус.

– Той барышни!

Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.

Мариус вскочил с паркета и вне себя схватил ее за руку.

– О, так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?

– Пойдемте со мной, – молвила она. – Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.

Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не упоенного, охваченного восторгом Мариуса:

– О, как вы рады!

Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонию за руку.

– Поклянись мне в одном!

– Поклясться? Что это значит? А, вы хотите, чтобы я поклялась вам?

Она засмеялась.

– Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу!

Ошеломленная, она обернулась к нему.

– Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?

– Обещай мне сделать, о чем я тебя прошу!

Она, казалось, не слышала.

– Как это мило! Вы назвали меня Эпониной!

Мариус взял ее за обе руки.

– Ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!

– Моему отцу? – переспросила она. – Ах да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке.

Очень он мне нужен, отец!

– Да, но ты мне не обещаешь! – вскричал Мариус.

– Ну, пустите же меня! – рассмеявшись, сказала она. – Как вы меня трясете! Хорошо!

Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?

– И никому?

– Никому.

– А теперь, – сказал Мариус. – проводи меня.

– Сейчас?

– Сейчас.

– Идем. О, как он рад! – вздохнула она.

Сделав несколько шагов, она остановилась.

– Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите сзади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.

Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.

Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему, она проговорила:

– Кстати, вы ведь обещали мне кое-что?

Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардьё. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.

Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала:

– Не нужны мне ваши деньги.

Книга третья Дом на улице Плюме

Глава первая. Таинственный дом

В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, – в то время знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали, – построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Бломе, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».

Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходившей на улицу. Сад занимал почти арпан, – только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине – низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля через потайную калитку позади него можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством, как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.

Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки, то не мог бы догадаться, что идти на Вавилонскую улицу – значит отправиться на улицу Бломе. Благодаря предусмотрительно прикупленным земельным участкам, изобретательный судья мог проложить потайной ход у себя, на своей земле, не опасаясь надзора. Позднее он распродавал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и владельцы участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, и даже не

подозревали о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия всласть посплетничали о господине председателе.

Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто – рокайль внутри, рококо снаружи, – окруженный тройной цветущей изгородью, имел вид довольно скромный, немного кокетливый и отчасти торжественный, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.

Этот дом и проход, ныне исчезнувшие, еще существовали пятнадцать лет назад. В 93-м году какой-то медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, то его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее, неразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.

К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и что даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками – признак того, что там живет женщина.

В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два потайных выхода этого коридора. В доме, как мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, брусочки в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал сюда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.

Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка – Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика – три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще скорее узнал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардьё. Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось? Ничего не случилось.

Как помнит читатель, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверное, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что – о прекрасная надежда! – они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы без его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусственно взрастить в нем призвание, – значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и

пожалев о том, что она – монахиня? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь. Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Препятствий не было. Пять лет жизни, проведенных в четырех стенах со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его теперь узнает? Кроме того, если предположить худшее, опасность существовала для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотнительным и принять меры предосторожности.

К этому времени воспитание Козетты было почти закончено.

Остановившись на определенном решении, он стал ждать случая, и случай не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.

Жан Вальжан попросил аудиенции у досточтимой настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он покорно просит досточтимую настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает обители за пять лет, проведенных Козеттой под ее кровом. Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.

Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого был всегда при нем. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.

Заметим, что отныне он не расставался с чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан неразлучным, добавляя: «Я ревную к нему». Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю в большой тревоге.

Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультима Фошлевана.

В это же время он снял две квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей опасности, – словом, чтобы не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он чудом спасся от Жавера. Это были убогие, бедные квартирки в двух кварталах, весьма отдаленных один от другого, – одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.

Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен, он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, проводил там месяц, полтора. Он пользовался услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого есть пристанище и в городе. У этого в высшей степени добродетельного человека было целых три жилища в Париже – так он боялся попасться полиции.

Глава вторая.

Жан Вальжан – национальный гвардеец

Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свою жизнь следующим образом:

Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с коврами, обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи

Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к древностям легкую, изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжкый шкаф, книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминавшем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашенный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу – его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка – барышня». – «А вы, су-сударь?» – спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше чем хозяин: я – отец!»

В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье – к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал подавание, в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для хранения дров и вина пользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов нежной страсти» не было любви без грота.

К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет. Но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений от национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в то время, распространились и на монастырь Малый Пикпюс – на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии. Три-четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и – надо заметить, весьма охотно – нес караульную службу, то было законное переодевание, которое связывало его с другими людьми, вместе с тем давая ему возможность держаться особняком. Жану Вальжану минуло шестьдесят лет – в этом возрасте человек имеет право на освобождение от военной службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал все и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походив на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, – в этом заключалось все его честолубие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешне он хотел быть похожим на буржуа.

Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дому вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, – а это

бывало обычно вечером, – то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову – картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было – предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного, и почти не замечала странностей отца. Тусен уважала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Чудак!» Она возразила: «Не чудак, а святой».

Ни Жан Вдльжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, – разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.

Но здесь, возможно, он заблуждался.

Глава третья. *Foliis ac frondibus*¹¹²

Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.

Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько растений, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь, – всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, – это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкой. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего в жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки – все смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность, в проникновенном и тесном объятии, славилась и свершала под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, святое таинство братства, – символ братства человеческого. Этот сад был уже не садом, – он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.

В флореале эта огромная заросль, вольная за решеткой и в четырех стенах, с жаром принималась за незримое дело вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти как животное, которое вдыхает веяние космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; развеивая по ветру свою чудесную зеленую гриву, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было отраднo смотреть, как хлопьями кружился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов ласково сообщал что-то душе, и то,

¹¹² Среди листьев и ветвей (*лат.*)

что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный, тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; чувствовалась священная близость дерева и птицы – днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.

Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода, сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному плотному ковру желтых листьев; но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался он в любое время года – весной, зимой, летом, осенью, – от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога. И старая заржавевшая решетка, казалось, говорила «Этот сад – мой».

Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах – великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом – купол Дома инвалидов, недалеко – Палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, – улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, неизвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось в четырех стенах неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь то муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.

В природе нет ничего незначительного; кто наделен даром глубокого проникновения в нее, тот знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.

Алгебра приложима к облакам; изучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ – явление значительное; малое велико, великое мало; все уравнивается необходимостью – видение, устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворение усложняется – от образования метеора и от удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит и к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Где кончается телескоп, там начинается микроскоп. У кого из них поле зрения больше? Выбирайте. Плесень – плеяда цветов; туманность – муравейник звезд. Та же тесная близость, еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других и в конечном – счете приводят мир материальный и мир духовный – к одной и той же ясности. Явления природы

беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистории возникновения, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения, – здесь зарождающая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная всюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, именуемой «я»; сводя все к душе – атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя – кто знает? быть может, по одному и тому же закону, – передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой – мошка, а последнее колесо – зодиак.

Глава четвертая. После одной решетки другая

Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак – сгущаясь то здесь, то там, он ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью садовника, – один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой – продолжателем искусства Ленотра, – исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных походов; природа снова завладела им, наполнила тенью и приутожила для любви.

Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.

Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей только исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она производила впечатление скорее дурнушки, чем красавицы; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой, – словом, это был подросток.

Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и, в особенности, благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но в общем она не знала ничего, а в этом таится и очарование и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, – впоследствии в ней возникают миражи, слишком резкие; слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму следует мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям. Только материнский инстинкт, – это изумительное прирожденное чувство, в котором слиты девические воспоминания и женский опыт, – знает, как, каким образом надо создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят матери.

У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».

Что же касается Жана Вальжана, то хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, старик ничего в этом не смыслил.

Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!

Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, утратив возможность излиться, и замыкается, утратив возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, – сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь – это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.

Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что и в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но отгораживавшая сад от улицы.

Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще ребенком. Жан Вальжан предоставил этот запущенный сад в ее распоряжение. «Делай здесь все, что хочешь», – сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, перевернула камни, она искала «зверушек»; она играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради звезд, которые она увидит сквозь ветви над головой.

И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всей душой, с наивной дочерней страстью, и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал читать, и из него вышел хороший рассказчик; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; у него был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала его с мечтательным блуждающим взором.

Этот простой человек насыщал мысль Козетты так же, как этот дикий сад – ее взор. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибежала к отцу и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.

Козетта обожала доброго старика. Она ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, а каморку с соломенными стульями – большой гостиной, обтянутой коврами, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что она ему докучает, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному».

Козетта отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу.

– Отец! Мне очень холодно у вас. Почему вы не постелите ковер и не поставите печку?

– Милое дитя! На свете столько людей лучше меня, а у них нет даже крыши над головой.

– Почему же, в таком случае, у меня тепло и есть все, что нужно?

– Потому что ты женщина и ребенок.

– Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?

– Некоторые мужчины.

– Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить. Потом она ему говорила:

– Отец! Почему вы едите такой гадкий хлеб?

– Потому, доченька...

– Ах так? Ну и я буду есть такой же.

Чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жану Вальжану приходилось есть белый.

Козетта смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардые остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Когда ей рисовалось ее детство, она видела вокруг себя лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.

Когда он сидел подле нее, она прижималась щечкой к его седым волосам и, молча роняя слезу, думала: «Быть может, это моя мать!»

Материнство – понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки, воспитывавшейся в монастыре, в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда она спрашивала об этом Жана Вальжана, он молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчива, и его улыбка сменилась слезой.

Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.

Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь доверить ее имя чужой памяти со всеми ее неожиданностями?

Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но когда она превратилась в девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на это права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине, молчание угнетало его, и ему чудилось, будто во мраке он различает что-то, похожее на палец, приложенный к устам. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы веруем в смерть и не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.

Как-то Козетта сказала ему:

– Отец! Сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.

– Да, мученичеством, – ответил Жан Вальжан.

Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.

Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его утопает в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый неземной радостью, он с восторгом твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он уверял себя, что недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье,

и в глубине души благодарил бога за то, что его, отверженного, так горячо полюбило это невинное существо.

Глава пятая.

Роза замечает, что она стала орудием войны

Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. Кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? – думала она. – Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» Она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду, как мадмуазель такая-то?»

На следующий день она уже сознательно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? – подумала она. – Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиной.

Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или исполняла какую-нибудь другую работу, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.

В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то сзади нее сказал: «Красивая! Только плохо одета».

«Это не про меня, – подумала она. – Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериновом платье.

Наконец однажды днем, когда она была в саду, она услышала, как старая Тусен сказала: «А вы, замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Козетта не слышала, что ответил отец; слова Тусен были для нее откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу – уже три месяца как она не смотрелась в него – и вскрикнула. Она была ослеплена собой.

Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и со своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то особенное сияние зажглось в ее голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет, но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней, – сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.

А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.

С некоторых пор он с ужасом глядел на красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него.

Козетта была хороша задолго до того, как она это заметила. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим девушку неожиданным светом. Он воспринял это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-

либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора, – этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и вымаливал у провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного; любви Козетты!

Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда? Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили – «Хочешь быть счастливее?» – он бы ответил. «Нет». Если бы бог его спросил; «Хочешь райского блаженства?» – он бы отвечал! – «Я прогадал бы на этом».

Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не очень хорошо понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.

Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним, все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.

Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станет со мной?»

В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.

Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.

На следующий же день после того, как Козетта воскликнула – «Конечно, я хороша!» – она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красивая, только плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые, взойдя, заполняют всю жизнь женщины, – зерно кокетства. Второе зерно – любовь.

Как только она поверила в свою красоту, в ней проснулась ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериновому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу, – тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.

Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа, – а это немало, – но и одной из самых «хорошо одетых», что гораздо важнее. Ей хотелось встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.

Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее – ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.

Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.

Выйдя из дому в первый раз в черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила: – Ну, как вы меня находите, отец?

Жан Вальжан ответил тоном, в котором сквозила горькая нотка зависти:

– Восхитительной!

На прогулке он держался, как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:

– Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?

Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.

– Костюм для ряженого! – воскликнула она. – На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!

Жан Вальжан глубоко вздохнул.

С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец! Мне так хорошо здесь с вами!» – теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?

Еще он заметил, что Козетта уже не так любит дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой. Жан Вальжан, замкнувшись в себе, не показывался в саду. Он не покидал двора, словно сторожевой пес. Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке и сама того не подозревая, ключи от рая. Но, утратив прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью. Именно в это время Мариус, после полугодового перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.

Глава шестая. Битва начинается

Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым, таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака – грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.

В романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов люди перестали в нее верить. Теперь нужна смелость для того, чтобы сказать, что он и она полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И, однако, именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой.

В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.

Это было такое же зло и такое же благо.

Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядя в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.

Все же она не могла не признать, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он совсем не глуп, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.

В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и наконец сказали друг другу неясные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. В глубокой задумчивости вернулась она в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала о молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание несколько не льстит ей. Скорее она сердилась на красивого гордеца. Что-то протестующее шевельнулось в ней. Ей казалось, что она наконец отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.

Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.

Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека – робость, у молодой девушки – смелость. Это удивительно и в то же время очень просто. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.

В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта – с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.

Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.

Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова в земном его значении. В тетрадах светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображения старших пансионерок: «Ах, как приятна морковь!» или «Жалость – не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?

Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено, она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?»

Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности – другой такой же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, – словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перемешивались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все

окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный: ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недостижимое.

Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.

Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!»

Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.

Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и неведающей о своей любви. Сверх всего – кокетливой в силу своей невинности.

Глава седьмая.

За одной печалью печаль еще большая

При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, словно чувствуя, что в то время как нечто создается, нечто другое разрушается. Мариус, предупрежденный той же матерью-природой, – и в этом мудрость божественного закона, – делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Иногда Жан Вальжан его замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в старом фраке, теперь всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.

Козетта не давала поводов для подозрений. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.

Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.

Он не говорил с Козеттой о незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека внезапно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей:

– Как важничает этот молодой человек!

Годом раньше Козетта, с безразличием девочки, ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:

– Кто? Ах, этот молодой человек!

Можно было подумать, что она видит его первый раз в жизни.

«Как я глуп! – подумал Жан Вальжан. – Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».

О простота старцев! О мудрость детей!

Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадает ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святой простоте, свойственной его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнута в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».

И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло вот-вот наступить. Не начинается ли все с равнодушия?

Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. «Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула:

– Уже?

Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и опасаясь возбудить подозрение Козетты; но в эти столь сладкие для влюбленных часы, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он не считал себя способным на какое-либо недоброе чувство, однако порой при виде Мариуса ему казалось, что он снова становится диким, свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему чудилось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы.

«Как! Он здесь, этот малый? Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: „Гм, почему бы и нет?“ Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести?»

«Да, – продолжал думать Жан Вальжан, – это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет стоять на коленях, выстрадать все, что только можно выстрадать, состариться, никогда не быть молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, – а это справедливо, это хорошо, я за это заплатил, я это заслужил, – чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!»

И тогда его глаза загорались необыкновенным зловещим светом. Это был уже не человек, вззирающий на другого человека; это был не враг, вззирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.

Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он заговорил с привратником. Тот заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» – осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделью спустя Жан Вальжаи переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.

Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась ответов: она уже достигла возраста, когда бояться быть понятыми и выдать себя. Жану Вальжану были неведомы такого рода тревоги, он не знал, что только они таят в себе очарование, и только их ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. Это свидетельствовало о неопытности в борьбе обеих сторон.

Однажды, желая испытать ее, он спросил:

– Хочешь пойти в Люксембургский сад?

Луч света озарил бледное личико Козетты.

– Да, – ответила она.

Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать.

Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.

На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:

– Хочешь пойти в Люксембургский сад?

– Нет, – печально и кротко ответила она.

Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда Жан Вальжан не ложился спать; он просиживал целые ночи около своего жалкого ложа, обхватив руками голову и спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?»; он старался понять, о чем она думает.

О, какие скорбные взоры обращал он в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир – бедная жертва преданности, ею же повергнутая в прах! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!»

Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней у него всегда было ясное и доброе лицо. Обращение его с нею было еще белее нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.

Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно, не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на прогулки, женское чутье невинтно прошептало ей, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молча принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала стеснение в груди; оно не проходило, а усиливалось с каждым днем. Она уже не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она пребывала угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.

Впрочем, она тоже ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.

Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он спрашивал ее:

– Что с тобой?

Она отвечала:

– Ничего.

И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:

– А вы, отец? Что с вами?

– Со мною? Ничего, – говорил он.

Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь.

Глава восьмая. Кандальники

Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе свет. В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке что-то детское. Им владело непреодолимое чувство; ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время старческие, в силу их наивности, навели его на другие: он поверил, и не без основания, в действие мишуры на воображение молодых девушек. Как-то он увидел на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, – то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.

А тут еще неожиданное потрясение!

В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца, – тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее!

Утренняя прогулка для любящего одиночество – все равно, что ночная прогулка, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынные, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала рано. Эти утренние путешествия готовились накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета – то были ее скромные утехы. Такие невинные чудачества нравятся юности. Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности, мало посещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена вблизи парижских застав тянулись унылые, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее – свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, снимала шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость: девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.

Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок. Однажды, октябрьским утром, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет – восхитительный и суровый час. Мерцавшие в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, побелевшее небо, вздрагивающие стебельки, таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на огромной высоте, и казалось, будто этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворяет беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила за ее куполом, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.

Всюду были мир и тишина; на дороге ни души; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, шедших на работу.

Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот дровяного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть мысли, которые можно было бы назвать вертикальными, – они заводят в такую глубь, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которые она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.

Вдруг она воскликнула:

– Отец! Оттуда кто-то едет.

Жан Вальжан поднял голову.

Она была права.

Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы, и ее перерезает под прямым углом бульвар. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался трудно объяснимый в такое время шум и виднелась неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.

Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, и в то же время это было что-то вздыбленное и колышущееся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно были видны лошади, колеса, слышались крики, хлопали бичи. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали громче, все это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.

Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что.

По дороге цепочкой тянулись семь повозок. Первые шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги или, вернее, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные цугом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей было еще невозможно, но их

присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, – так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало: то была цепь; на шеях что-то поблескивало: то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояло два человека с ружьями; каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунов, жаровен и цепей, и лежали, вытянувшись во весь рост, связанные люди, с виду больные. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.

Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шли в два ряда гнусного вида конвойные в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, – настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властью палачей. Тот, кто, по видимому, был их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, ступенчатые сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы, с саблями наголо.

Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только еще съезжала с бульвара.

По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В ближних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на зрелище.

Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. А в остальном их одежда являла собой причуды нищеты. Она была отвратительно несуразна; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и, рядом с блузой, черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, на других – плетушки; виднелись волосатые груди; сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него: это был хлеб. Глаза у всех были сухие, потухшие или светившиеся недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза заливались смехом ребяташки.

Эта вереница повозок, какова она ни была, наводила на мрачные мысли. Можно было ожидать что не сегодня-завтра разразится ливень, потом еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему

будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных, под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.

Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно мешки с мусором.

Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно – то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рот трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря, наводя черные тени, подчеркивала жалкие профили; все были изуродованы нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывавшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попури из пользовавшейся в то время известностью Весталки Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.

В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных; там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и потому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, в прошлом, быть может, невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравниватель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, и разумение, перешедшее в отчаяние. Тут не из кого было выбирать: эти люди представляли собой как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега – свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; на одной скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была нема, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.

Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице Апокалипсиса, а, что еще страшнее, на позорных тюремных повозках. Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти и приговаривала: «Это тебе урок, негодник!» Пение и брань все усиливались; наконец тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому знаку ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, и это удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.

Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть, – и не мог двинуть пальцем. Иногда увиденное овладевает вами и как бы вцепляется в вас. Он застыл,

пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это зловещее преследование, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу, – обычное движение, тех, к кому внезапно возвращается память, – он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.

Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:

– Отец! Что такое в этих повозках?

Жан Вальжан ответил:

– Каторжники.

– Куда же они едут?

– На каторгу.

В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, – то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их в состояние отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.

Козетта дрожала с головы до ног.

– Отец! И все это – люди? – снова спросила она.

– Некоторые из них, – ответил несчастный.

Это был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Мен, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.

Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленный. Такая встреча равносильна удару; она оставляет по себе грозную память.

Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она задавала еще вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала:

– О господи! Мне кажется, если бы я встретила с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!

К счастью, на следующий день после этой трагической встречи, в Париже, по случаю какого-то официального торжества, состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация всюду. Жан Вальжан, изменив своим привычкам, повел Козетту на праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся в Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.

Парад, бывший приправой к празднеству, естественно вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, испытывая нечто похожее на чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народным гуляньем»; Жан Вальжан имел право думать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.

Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли в сад – это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюаре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит – не любит»; да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку – значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заморожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем девушку. Рядом, в кустах, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила: – Отец, а что это такое – каторга?

Книга четвертая

Помощь снизу может быть помощью свыше

Глава первая.

Рана снаружи, исцеление внутри

Так, день за днем, омрачалась их жизнь.

У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, – оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от былой задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось помочь многим страдальцам, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета.

На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, воспалившейся, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал. «Позови ветеринара».

Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. Глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!»

Пока отец был болен, Козетта покинула особняк: она снова полюбила флигелек и дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты – все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я все это выдумал. Я старый сумасброд».

Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардые в конуре Жондрета почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к

этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, – думал он, – и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!»

Об отвратительном видении на Менской заставе Козетта больше не заговаривала.

В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого, она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.

Наступила весна; сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся». – «Хорошо, отец», – сказала Козетта. Исполняя его желание, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.

Его рана дала другое направление мыслям обоих.

Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не заметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель-этот рассвет лета, свежий, как заря, веселый, как детство, иногда плаксивый, как новорожденный. Природа в этом месяце полна пленительного мерцающего света, льющего с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов в человеческое сердце.

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали.

Весной в опечаленной душе становится светлее, как в ясный полдень в подвале. Да Козетта особенно и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.

Жан Вальжан с радостью убеждался, что она снова становится свежей и румяной.

– О целебная рана! – тихонько повторял он.

И он был благодарен Тенардье.

Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.

Но было бы заблуждением думать, что можно без всяких приключений гулять одному вечерами по малонаселенным окраинам Парижа.

Глава вторая.

Тетушка Плутарх без труда объясняет некое явление

Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка; ему показалось, что это деревня Аустерлиц.

Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, а в этом саду – довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко – это ужин; яблоко – это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. За садом была пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.

Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? – раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош

собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.

В двух шагах от него, по ту сторону изгороди, как раз против места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.

– Господин Мабеф! – сказала старуха.

«Мабеф! – подумал Гаврош. – Вот потеха!»

Старик не шевельнулся. Старуха повторила:

– Господин Мабеф!

Старик, не поднимая глаз, наконец отозвался:

– Что скажете, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх! – подумал Гаврош. – Да это прямо умора!»

Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.

– Хозяин недоволен.

– Почему?

– Мы должны за девять месяцев.

– Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.

– Он говорит, что выставит нас.

– Что ж, я пойду.

– Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас нет дров.

– Зато есть солнце.

– Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину.

– Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Это для меня слишком тяжелая пища.

– Что же подавать на обед?

– Хлеб.

– Булочник требует по счету и говорит, что раз нет денег, не будет и хлеба.

– Хорошо!.

– Что же вы будете есть?

– У нас есть яблоки.

– Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.

– У меня их нет.

Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Почти совсем стемнело.

Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней – таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.

«Смотри-ка, – воскликнул про себя Гаврош, – да тут настоящая спальня!» Забравшись поглубже, он свернулся в комочек. Спиной он почти касался скамьи дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.

Вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.

Сон кошки – сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.

Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.

Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой – на некотором расстоянии сзади.

– А вон и еще двое, – пробормотал Гаврош.

Первый силуэт напоминал старого, согбенного, задумчивого буржуа, одетого более чем просто, вышедшего побродить вечерком под звездным небом и ступавшего медленно, по-стариковски.

Другой был тонкий, стройный, подтянутый. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство; вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозила сила и изящество, а под шляпой, в сумерках, можно было различить бледный юношеский профиль и розу во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.

Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.

Гаврош уставился на них.

Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то виды на другого. Гаврош мог наблюдать, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием. Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте – это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.

Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.

Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное.

Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, стиснул руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из прохожих лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом такой страшной силы, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.

«Ай да старик!» – подумал Гаврош и, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.

Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»

Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:

– Вставай.

Монпарнас поднялся, но старик все еще держал его. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.

Гаврош смотрел во все глаза и слушал во все уши. Он забавлялся от души.

Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел разговор, приобретающий в ночной тьме трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал:

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?

– Ну, это скучно.

– Чем же ты занимаешься?

– Бездельничаю.

– Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

– Вором.

Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.

Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.

Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука.

– Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь влачить самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Ты видел одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться – она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу, как он весь будет втянут в нее.

Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг – ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа-закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Раз ты не хочешь быть тружеником, то станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; раз ты не хочешь быть его другом, то будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости? Ты будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы – какое наслаждение! Варка на свободе под ветром, – ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал выючным животным в адской запряжке! Ничего не делать – это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. Что для других будет легким, как перышко, то для тебя будет каменной глыбой. Вещи, самые простые, покажутся тебе непреодолимой крутизной. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать – какая тяжелая работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь пройти или там – станет для тебя трудно разрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово – он на улице. Для тебя же выйти из дому – значит пробуровать стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь веревку, потом вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, – и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься – упасть. Упасть, как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымоходе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя утонуть. Я уж не говорю о дырах, которые нужно прикрывать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в тифяке. Допустим, перед тобой замок; у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной, диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, – ведь за тобой будут следить, – это просто монета в два

су, для тебя – ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку, спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоём окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпенья, что ты получишь в награду, если обнаружат твоё изобретение? Карцер. Вот твоё будущее. Лень, праздность – да ведь это омут! Ничего не делать – печальное решение, знаешь ли ты это? Жить за счёт общества? Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведёт прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль – хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть чёрный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твоё тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьёшь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползёшь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как зверь. И тебя поймают. И ты проведёшь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы собаки, будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, невластное дитя, ведь ты ещё так молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя ещё жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого чёрного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни – на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину – получишь удар палкой. Ты войдёшь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдёшь пятидесятилетним стариком! Ты войдёшь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдёшь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подаёт тебе дурной совет! Воровство – самая тяжёлая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд – лень. Быть мошенником не легко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.

Отпустив Монпарнаса, старик положил ему в руку кошелек. Монпарнас взвесил его на руке и, с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман сюртука.

Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.

– Дуралей! – пробормотал Монпарнас.

Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.

Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезает в сумерках. Эти минуты созерцания были для него розовыми.

В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.

Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что папаша Мабеф, по-видимому, задремавший, всё ещё сидит на скамье. Мальчишка вылез из кустов и тихонько пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его чёрного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел папаша Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.

Кошелек упал на ногу папаши Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом – шесть золотых монет.

Господин Мабеф в полной растерянности отнес находку своей домоправительнице.

– Это упало с неба, – сказала тетушка Плутарх.

Книга пятая

Конец которой не похож на начало

Глава первая.

Уединенность в сочетании с казармой

Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, незаметно для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную, девственную душу нечто походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.

Однажды она вдруг вспомнила Мариуса: «Как странно! – сказала она себе. – Я больше о нем не думаю».

На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девичьими щечками, с саблей на боку, нафабранными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. У него были белокурые волосы, голубые глаза навывкате, красивое круглое лицо с пустыми глазами и нахальным выражением – полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.

На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.

Была ли это простая случайность, но только теперь она видела его почти каждый день.

Приятеля офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо, почти всегда обретается довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец-лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман.

– Послушай, – говорили они ему, – тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!

– Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! – отвечал улан.

Это было как раз в то время, когда Мариус был уже близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя.

Кто был бы в этом виноват? Никто.

Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта – к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают.

Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстро-летное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе, подлинное неравенство в браке – это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться

мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что доступно только его жене, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям, – настоящей кабацкой стойкой.

Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь, нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой глубине и темное на дне? Образ красивого офицера отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глубине, какое-то воспоминание? В самой глубине? Быть может, Козетта и не знала об этом. Вдруг произошел странный случай.

Глава вторая. Страхи Козетты

В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хотя и редко. Уезжал он на день, на два. Куда? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз она провожала его в фиакре до глухого переулочка, на углу которого можно было прочесть: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не было денег.

Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня». Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе. «В лесу заблудились охотники!» – хор из Эврианты, быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась. Внезапно в саду послышались шаги.

Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.

Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и припала к ней ухом. Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.

Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. На небе сияла полная луна. Было светло, как днем.

В саду никого не оказалось.

Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, – пустынно, как всегда.

Козетта подумала, что ошиблась; очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным, мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, – хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать.

Козетта была не из робких. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюбимость и смелость.

На другой день вечером, но раньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. От неясных мыслей, кружившихся у нее в голове, ее отвлекал шум, подобный вчерашнему; ей начинало казаться, что она ясно слышит, как кто-то ходит в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих одна другую, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.

Она вышла из «зарослей»; ей оставалось лишь пересечь зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна отбросила ее – тень на эту лужайку.

Козетта остановилась в испуге.

Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей страх и ужас, – тень в круглой шляпе.

Казалось, это была тень человека, стоявшего у самых зарослей, в двух-трех шагах от Козетты.

Она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевелинуться, ни повернуть голову.

Наконец собралась с духом и оглянулась.

Никого не было.

Она посмотрела на землю. Тень исчезла. Она вернулась в заросли, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.

Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли это быть? Два дня подряд!

Одна галлюцинация – это еще куда ни шло, но две? Особенно тревожило ее то, что тень безусловно не была привидением. Привидения не носят круглых шляп.

На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей послышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты глупышка».

Но Жан Вальжан задумался:

– Тут что-нибудь есть, – сказал он.

Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.

Ночью она проснулась, на этот раз она ясно слышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду был человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.

Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!»

Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующих. Козетта видела его в щель ставни.

На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее.

– Козетта!

Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно. Отец стоял внизу, на лужайке.

– Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, – сказал он. – Смотри! Вот твой призрак в круглой шляпе.

Он показал ей лежавшую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.

Козетта рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над зловещим садом, который посещали призраки печных труб.

К Жану Вальжану вернулось его спокойствие, а Козетта не задумалась над тем, могла ли печная труба отбрасывать тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, – Козетта была в этом уверена.

Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.

Но через несколько дней случилось новое происшествие.

Глава третья.

Обогащенная комментариями Тусен

В саду, возле решетки, выходящей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба; тем не менее, при желании, прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.

Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею, – та непреодолимая печаль, которую приносит ветер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.

Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в вечерней тьме?

Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя:

«Чтобы ходить по саду в это время, нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».

Она снова направилась к скамье.

Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, конечно, не было за несколько мгновений до этого.

Козетта смотрела на камень и спрашивала себя, что это может значить. Внезапно у нее возникла мысль, испугавшая ее, – мысль, что камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.

– Отец вернулся? – спросила она Тусен.

– Нет еще, барышня.

(Мы уже говорили, что Тусен заикается. Да будет нам позволено больше на это не указывать. Нам претит изображение природного недостатка.)

Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.

– Тусен! – продолжала Козетта. – Хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?

– О, будьте спокойны, барышня!

Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо это знала, все же не могла не прибавить:

– Ведь здесь так пустынно вокруг!

– Вот уж правда, барышня, – подхватила Тусен. – Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но вы не бойтесь, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Подумать только! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут: «Молчи!» – и начнут полосовать тебе горло. И не так боишься смерти, все умирают, тут уж ничего не поделаешь, все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди хватают тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!

– Полно! – сказала Козетта. – Заприте все хорошенько.

Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении на прошлой неделе, даже не посмела сказать: «Ступайте, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, похожий на огромную пещеристую гору.

Утром, когда взошло солнце, – а стоит солнцу взойти, как рассеиваются все ночные страхи и нам остается только посмеяться над ними, и чем сильнее страхи, тем радостней смех, – и Козетта проснулась, все ее ужасы показали ей кошмарным сном. «Что это мне привиделось? – сказала она себе. – Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.

«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, – решила она. – Мне приснился этот камень, как и все остальное»

Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и вся покрылась холодным потом. Камень был там.

Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.

«Какой вздор! – сказала она себе. – Ну-ка посмотрим, что тут такое!»

Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.

Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и не заклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.

Козетта вскрыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.

Она вынула из конверта тетрадку, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как показалось Козетте, и очень мелким почерком.

Козетта стала искать имя – его не было; подпись – ее не было. Кому это адресовано?

Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти непреодолимых чар; она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, что здесь написано. Вот что она прочла:

Глава четвертая. Сердце под камнем

Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество – это и есть любовь.

Любовь – это приветствие, которое ангелы шлют звездам.

Как печальна душа, когда она опечалена любовью!

Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое заполняет собою весь мир! Как это верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, – а ведь это очевидно, – вселенную для души, а душу для любви.

Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.

Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо, значит проникнуть в его душу.

Иные мысли – те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, – на коленях.

Разлученные возлюбленные обманывают разлуку множеством химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они изобретают таинственные средства общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Что же тут такого? Все

творения божий созданы для того, чтобы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания.

О весна! Ты – письмо, которое я ей пишу.

Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить – вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.

В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она – божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее глубины небес.

О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.

Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, – вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить самую силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог-это полнота неба; любовь – это полнота человеческого существа.

Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна – женщина!

У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся. И тогда – смерть. Умереть из-за отсутствия любви – ужасно. Это смерть от удушья.

Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!

В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.

То, что начинается любовь, может быть завершено только богом.

Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого. Если вы камень – будьте магнитом; если вы растение – будьте мимозой; если вы человек – будьте любовью.

Любовь ничем не удовлетворяется. Человек обрел счастье, – он хочет рая; он обрел рай, – он хочет неба.

О любящие друг друга, все это включает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней.

Любовь обладает тем же, что и небо, – созерцанием, и большим, чем небо, – наслаждением. – Бывает ли она еще в Люксембургском саду? – Нет, сударь. – Она ходит в эту церковь, не правда ли? – Она больше туда не ходит. – Она по-прежнему живет в этом доме? – Она переехала. – Где же она теперь живет? – Она не сказала.

Как безотрадно не знать адреса своей души!

Любви свойственна ребячливость, другим страстям – мелочность. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка!

Как странно! Знаете? Я – во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.

О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться ее пальцев – этого мне было бы достаточно на целую вечность!

Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильнее. Умирать от любви – значит жить ею.

Любите. Непостижимое мерцающее звездами преобразование соединено с этой мукой. В агонии есть упоение.

О радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.

Любовь – божественное вдыхание воздуха рая.

Чуткие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приуготовление к неведомой судьбе. Эта судьба – истинная судьба – открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.

Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи – в его душу.

Как хорошо быть любимым! И еще лучше – любить! Силою страсти сердце становится героическим. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.

Не найдись на свете хоть один любящий, солнце погасло бы.

Глава пятая.

Козетта после письма

Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер, – это было время его обычного появления, – победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла, что он отвратителен.

Она снова углубилась в чтение. Почерк показался Козетте восхитительным; записи были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо-черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернил, – следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без отбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда – о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Рукопись в пятнадцать страниц внезапно и ласково открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей пригоршню лучей. Она почувствовала в этих строках страстную, пылкую, великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг.

Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся

вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный. Казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.

Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?

Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.

Он!

Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но – она ясно это видела – он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! – говорила она. – Как мне знакомо все это! Я уже раньше все прочитала в его глазах».

Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и безобразным. Офицер счел долгом улыбнуться. Она отвернулась, устыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.

Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить ее наизусть и пометчать. Перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.

Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.

Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. От ее лица то и дело отливала краска, по телу пробегала дрожь. Временами ей казалось, что она бредит; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее сейчас, он содрогнулся бы, глядя на непостижимую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, – думала она, – это наверное он! Это он написал для меня»

И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.

О превращения любви! О мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.

Глава шестая.

Старики существуют, чтобы вовремя уходить из дому

Вечером, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько ниже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи, и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это было ничуть не неприлично и в то же время очень красиво. Она сама не знала, для чего так принарядилась. Собиралась ли она выйти из дому? Нет.

Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.

В сумерки она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходявшей окнами на дворик. Она бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев. Так она дошла до скамьи.

Камень по-прежнему лежал на ней.

Она села и положила нежную белую руку на камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.

Вдруг ею овладело то непреодолимое чувство., которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.

Она повернула голову и встала.

Это был он.

Он стоял с непокрытой головой. Он был бледен и худ. В темноте едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.

Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.

Его шляпа лежала неподалеку на траве.

Козетта, – близкая к обмороку, не вскрикнула. Она медленно отступала, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.

Отступая, Козетта почувствовала за собой дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.

И тут она услышала его голос, каким он никогда ни с кем не говорил, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:

– Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Вы прочли то, что я положил на скамью? Вы узнаете меня? Не бойтесь.

Помните тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени! Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиатора. А день, когда вы прошли мимо? Это было шестнадцатого июня и второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрашивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видела вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, – видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? А потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не слышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы – мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали? Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Выть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?

– Матушка! – промолвила она и, словно умирая, начала медленно склоняться долу.

Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, хотя сам шатался. Голова у него была, как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет церковный обряд и что он совершает святотатство. И все же он не испытывал вожделения к пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.

Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:

– Так вы меня любите?

Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:

– Молчи! Ты сам знаешь!

И спрятала покрасневшее лицо на груди у гордого, упоенного счастьем юноши.

Он опустил на скамью, она села возле него. Слов больше не было. В небе зажигались звезды.

Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зыбкой вершине холма загорается заря?

Один поцелуй – это было все.

Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.

Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.

Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!

Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.

Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.

Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видаться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка – душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.

Когда они сказали все, она положила голову ему на плечо и спросила:

– Как вас зовут?

– Мариус. А вас?

– Козетта.

Книга шестая Маленький Гаврош

Глава первая. Злая шалость ветра

С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардье обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.

Тетка Тенардье отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.

Отделалась – подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла

Мот-Гуданкур, Тенардье была матерью только для дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ – «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», – говорила мамаша.

Объясним, каким образом супругам Тенардье удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.

Маньон – о ней речь шла выше – была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, чтобы доброй славой перебить исходивший от нее дурной запах. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдвухвания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день – одного утром, другого вечером – своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени «г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались, – того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперс В Париже, при переезде с одной улицы на другую, тождественность личности самой себе исчезает.

Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» – твердила ему Маньон.

Тенардье, для которого перевоплощения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва успели заметить, что у них два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа, как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются формами мрака, едва различимыми на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.

Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству. «А что если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье: то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?»

Маньон была модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с претензиями на роскошь, проживала опытная воровка – офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся

доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс».

Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, они находились почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.

Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручая ей ежемесячную мзду в десять франков: «Хорошо, если б отец дал им образование».

И вдруг эти дети, до сих пор опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.

Арест целой шайки злодеев, что имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обыски и тюремное заключение – настоящее бедствие для этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формацией; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире.

Катастрофа с Тенардье вызвала катастрофу с Маньон.

Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший мастерскую напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, э 8». «Вы больше здесь не живете, – сказал им башмачник. – Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».

Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указывать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченевшие пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время близилось к ночи, ребенок не мог ее найти.

Они пустились блуждать по улицам наугад.

Глава вторая, в которой маленький Гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона

Весною в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачающие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года – время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии страшная эпидемия, – ветры были жестокими и пронизывающими как никогда.

Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.

С точки зрения метеорологической, особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И той весной разражались частые грозы с громом и молнией.

Однажды вечером, когда ветер дул с такой силой, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и

дрожащий от холода в своих лохмотьях, замирая от восхищения, стоял перед парикмахерской близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную, неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флер-д'оранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом деле он наблюдал за парикмахерской, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».

Созерцая невесту и поглядывая на кусок мыла, он бормотал:

– Во вторник... Нет, не во вторник... Разве во вторник?... А может, и во вторник... Да, во вторник.

К чему относился этот монолог, так и осталось невыясненным.

Если он имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сегодня была пятница.

Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной цирюльне, время от времени искоса поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.

Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба меньше его, довольно чисто одетые, один лет семи, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и, войдя в цирюльню, попросили чего-то, может быть, милостыни, жалобным шепотом, больше похожим на стону чем на мольбу. Они говорили оба одновременно, в разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их да улицу и запер дверь.

– Только холоду зря напустили! – проворчал он.

Дети, плача, пошли дальше. Тем временем надвинулась туча, заморосил дождь. Гаврош догнал их и спросил:

– Что с вами стряслось, птенцы?

– Мы не знаем, где нам спать, – ответил старший.

– Только-то? – удивился Гаврош. – Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Глупыши!

Сохраняя вид слегка насмешливого превосходства, он принял снисходительно мягкий тон растроганного начальника:

– Пошли за мной, малявки.

– Хорошо, сударь, – сказал старший.

Двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.

Гаврош пошел по улице Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.

На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на цирюльню.

– Экий бесчувственный! Настоящая вобла! – бросил он – Верно, англичанишка какой-нибудь.

Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом, из чего явствовало, что она относится к этой компании неуважительно.

– Здравствуйте, мамзель Для-всех! – приветствовал ее Гаврош.

Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:

– Я ошибся насчет той скотины: это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!

Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:

– Сударыня! Вы всегда выезжаете на собственной лошади?

И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.

– Шалопай! – крикнул взбешенный прохожий.

Гаврош высунул нос из своей шали.

– На кого изволите жаловаться?

– На тебя, – ответил прохожий.

– Контора закрыта, – выпалил Гаврош. – Я больше не принимаю жалоб.

Идя дальше, он заметил под воротами закоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она выросла из своих нарядов. Рост может сыграть злую шутку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.

– Бедняжка! – сказал Гаврош. – У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На, держи!

Размотав на шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.

Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.

– Бр-р-р! – застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.

При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильнее обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.

– Ах так? – воскликнул Гаврош. – Это еще что такое? Опять полил? Господи боже! Если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!

И он опять зашагал.

– Ну ничего, – прибавил он, взглянув на нищенку, съживившуюся под шалью, – у нее надежная шкурка. – И, взглянув на тучу, крикнул!

– Вот тебя и провели!

Дети старались поспевать за ним.

Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, – это была булочная, ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, – Гаврош обернулся:

– Да, вот что, малыши, вы обедали?

– Мы с утра ничего не ели, сударь, – ответил старший.

– Значит, у вас нет ни отца, ни матери? – с величественным видом спросил Гаврош.

– Извините, сударь, у нас есть и папа и мама, только мы не знаем, где они.

– Иной раз это лучше, чем знать, – заметил Гаврош – он был мыслителем.

– Вот уже два часа как мы идем, – продолжал старший, – мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.

– Знаю, – сказал Гаврош. – Собаки подобрали, они все пожирают.

И, помолчав, прибавил:

– Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Заблудиться, когда ты уже в летах! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь. Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья – что может быть проще?

Старший мальчуган, к которому почти вернулась свойственная детству беззаботность, воскликнул:

– Смешно! Ведь мама-то говорила, что в вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой...

– Для порки, – закончил Гаврош.

– Моя мама, – начал снова старший, – настоящая дама, она живет с мамзель Мисс...

– Фу-ты-ну-ты – ножки-гнуты, – подхватил Гаврош.

Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.

Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.

– Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.

Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул:

– Продавец, на пять сантимов хлеба!

«Продавец», оказавшийся самым хозяином, взялся за нож и хлеб.

– Три куса, продавец! – крикнул Гаврош.

И прибавил с достоинством:

– Нас трое.

Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодуя крикнул булочнику прямо в лицо:

– Этшкое?

Тех из наших читателей, которые вообразили бы, что это русское или польское слово, или же воинственный клич, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу: «Это что такое?» Булочник это прекрасно понял и ответил:

– Как что? Это хлеб, очень даже хороший, хлеб второго сорта.

– Вы хотите сказать – железняк? – возразил Гаврош спокойно и холодно – негодуя. – Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.

Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.

– Эй вы, хлебопек! – сказал он. – Что это вы вздумали снимать с нас мерку?

Если бы их всех троих поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.

Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:

– Лопайте.

Мальчики с недоумением посмотрели на него.

Гаврош рассмеялся:

– А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли. – И, прибавив: – Ешьте, – он протянул каждому из них по куску хлеба.

Решив, что старший более достоин беседовать с ним, а потому заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он сказал, сунув ему самый большой кусок:

– Залепи-ка это себе в дуло.

Один кусок был меньше других; он взял его себе.

Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.

– Выйдем на улицу, – сказал Гаврош.

Они снова пошли по направлению к Бастилии.

Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.

– Ну не глупыши? – говорил Гаврош.

Потом задумчиво бормотал:

– Будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.

Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая, зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:

– А, это ты, Гаврош?

– А, это ты, Монпарнас? – ответил Гаврош.

К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переделался и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.

– Вот так штука! – продолжал Гаврош. – Твоя хламида такого же цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки – точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!

– Тише! – одернул его Монпарнас. – Не ори так громко!

И оттащил Гавроша от освещенной витрины.

Двое малышей, держась за руки, машинально пошли за ними.

Когда они оказались под черным сводом ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:

– Знаешь, куда я иду?

– В монастырь Вознесение-Поневоле¹¹³, – ответил Гаврош.

– Шутник! Я хочу разыскать Бабета, – продолжал Монпарнас.

– Ах, ее зовут Бабетой! – ухмыльнулся Гаврош.

Монпарнас понизил голос:

– Не она, а он.

– Ах, так это ты насчет Бабета?

– Да, насчет Бабета.

– Я думал, он попал в конверт.

– Он его распечатал, – ответил Монпарнас и поспешил рассказать мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».

Гаврош подивился его ловкости.

– Ну и мастак! – сказал он.

Монпарнас сообщил подробности побега, а в заключение сказал:

– Ты не думай, это еще не все!

Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.

– Ого! – сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. – Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.

Монпарнас подмигнул.

– Черт возьми! – воскликнул Гаврош. – Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?

– Как знать, – с равнодушным видом ответил Монпарнас, – булавка никогда не помешает.

– Что же ты думаешь делать сегодня ночью?

Монпарнас снова напустил на себя важность и процедил сквозь зубы:

– Так, кое-что.

Затем, переменив разговор, воскликнул:

– Да, кстати!

– Ну?

– На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя шарю рукой в кармане, а там – ничего.

– Кроме проповеди, – добавил Гаврош.

¹¹³ Эшафот. (Прим. авт.)

– Ну, а ты, – продолжал Монпарнас, – куда идешь?

Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:

– Иду укладывать спать этих ребят.

– Где же ты их уложишь?

– У себя.

– Где это у тебя?

– У себя.

– Значит, у тебя есть квартира?

– Есть.

– Где же это?

– В слоне, – ответил Гаврош.

Монпарнаса трудно было чем-нибудь удивить, но тут он невольно воскликнул:

– В слоне?

– Ну да, в слоне! – подтвердил Гаврош. – Што – туткоо?

Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» означает: «Что ж тут такого?»

Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл.

По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.

– А в самом деле! – сказал он. – Слон так слон. А что, там удобно?

– Очень удобно, – ответил Гаврош. – Там, правда, отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.

– Как же ты тудаходишь?

– Так и вхожу.

– Значит, там есть лазейка? – спросил Монпарнас.

– Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.

– И ты взбираешься наверх? Так, понимаю.

– Простой фокус. Раз, два – и готово, тебя уже нет.

Помолчав, Гаврош добавил:

– Для этих малышей у меня найдется лестница.

Монпарнас расхохотался:

– Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?

– Это мне один цирюльник подарил на память, – не задумываясь, ответил Гаврош. Вдруг Монпарнас задумался.

– Ты узнал меня слишком легко, – пробормотал он.

Вынув из кармана две маленькие штучки, попросту – две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменялся.

– Это тебе к лицу, – сказал Гаврош, – сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Ходи так всегда.

Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник.

– Без шуток, – сказал Монпарнас, – как ты меня находишь?

Голос тоже у него был теперь совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.

– Покажи-ка нам Пет-р-рушку! – воскликнул Гаврош.

Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.

К сожалению, Монпарнас был озабочен.

Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:

– Слушай, парень, следи глазом: ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, – так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не масленица.

Эта странная фраза произвела на мальчика должное впечатление. Он живо обернулся, внимательно оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось:

– Вон оно что!

Но он сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:

– Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае, если я тебе понадобится ночью, можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.

– Ладно, – молвил Монпарнас.

Они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, Гаврош – к Бастилии.

Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого в свою очередь тащил Гаврош, несколько раз обернулся, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».

Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звуко сочетание диг, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог диг не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой дог, мой даг и мой диг – выражение на аргю тюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.

Лет двадцать тому назад, в юго-восточном углу площади Бастилия, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».

Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, а небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам, ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал – неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах рядом с невидимым призраком Бастилии.

Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвы. «Эдилы», как выражаются на изящном аргю салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный – безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груды мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.

Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь-это стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.

Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но несомненно величественный и отмеченный печатью великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же, как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; люди начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.

Как бы там ни было, возвращаясь к площади Бастилии, мы можем сказать одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное. Печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска, был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и длинным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.

К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».

Да будет нам дозволено прервать здесь наш рассказ и напомнить, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение памятника.

Отметив этот факт, продолжаем.

Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:

– Птенцы, не бойтесь!

Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.

У забора лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош с неожиданной силой поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру.

– Взбирайтесь и входите, – сказал он.

Мальчики испуганно переглянулись.

– Вы боитесь, малыши! – вскричал Гаврош и прибавил. – Сейчас увидите.

Он обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.

– Ну вот, – крикнул он, – лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! – крикнул он старшему. – Я подам тебе руку.

Дети подталкивали друг друга. Гаврош внушал им не только страх, но и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелел. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его одного между лап огромного зверя, хотел разреваться, но не посмел.

Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования-ученика или погонщик – мула:

– Не трусь!

– Так, правильно!

– Лезь же, лезь!

– Ставь ногу сюда!

– Руку туда!

– Смелей!

Когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.

– Попался! – сказал Гаврош.

Малыш проскочил в трещину.

– Теперь, – сказал Гаврош, – подожди меня. Сударь! Потрудитесь присесть.

Выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:

– Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе! В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так, что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:

– Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!

После этого взрыва веселья он прибавил:

– Ну, карапузы, вы у меня дома!

Гаврош на самом деле был у себя дома.

О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим – над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжащими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку. Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.

– Начнем вот с чего, – сказал Гаврош, – скажем привратнику, что нас нет дома. Нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.

Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети слышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.

Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.

Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку или еще точнее, что должен был испытать Иона в чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям в углах можно было заметить большие, казавшиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.

Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.

Младший прижался к старшему и сказал вполголоса.

– Тут темно.

Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.

– Что вы мне голову морочите? – воскликнул он. – Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки! Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу. Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости» к отеческой «мягкости» и обратился к младшему:

– Дуралей! – сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном. – Это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь не дует; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми!

Дети смелее начали осматривать помещение, но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.

– Живо! – крикнул он и подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать «глубиной комнаты».

Там находилась его постель.

Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.

Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом – довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.

Три довольно длинные жерди, воткнутые – две спереди, одна сзади – в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах.

Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.

Эта сетка и служила пологом.

Гаврош отодвинул в сторону камни, придерживавшие ее спереди, и два ее полотнища, прилежавшие одно к другому, раздвинулись.

– Ну, малыши, на четвереньки! – скомандовал Гаврош.

Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.

Все трое растянулись на циновке.

Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».

– Теперь, – сказал он, – дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.

– А это что такое, сударь? – спросил старший, показывая на сетку.

– Это от крыс, – важно ответил Гаврош. – Дрыхните!

Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение младенцам:

– Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.

Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего.

– Как хорошо! Как тепло! – пролепетал тот.

Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.

– Это тоже из Ботанического сада, – сказал он. – У обезьян забрал.

Указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, он сообщил:

– А это было у жирафа.

И, помолчав, продолжал:

– Все это принадлежало зверям. Я у них отобрал. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».

Снова помолчав, он заметил:

– Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.

Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но вместе с тем изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.

– Сударь! – робко сказал старший. – А разве вы не боитесь полицейских?

– Малыш! Говорят не «полицейские», а «фараоны»! – вот все, что ответил ему Гаврош.

Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:

– Ну как? Хорошо тут?

– Очень! – ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.

Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.

– Кстати, – снова заговорил Гаврош, – почему это вы давеча плакали?

И, показав на младшего, продолжал:

– Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь – это совсем глупо; точь-в-точь теленок.

– Ну да! – ответил тот. – Ведь у нас не было квартиры, и некуда было деваться.

– Птенцы! – заметил Гаврош. – Говорят не «квартира», а «домовуха».

– А потом мы боялись остаться ночью одни.

– Говорят не «ночь», а «потьмуха».

– Благодарю вас, сударь, – ответил мальчуган.

– Послушай, – снова заговорил Гаврош, – никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду о вас заботиться. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем посмотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл. Мы были тогда малышами как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. Затем мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем посмотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Маре. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово развлечься! В это время на палец Гавроша упала капля смолы; это вернуло его к действительности.

– А, черт! – воскликнул он. – Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.

– А потом, – робко вставил старший, осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, – уголек может упасть на солому, надо быть осторожнее, чтобы не сжечь дом.

– Говорят не «сжечь дом», а «подсушить мельницу», – поправил Гаврош.

Погода становилась все хуже. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.

– Обставили мы тебя, дождик! – сказал Гаврош – Забавно слушать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брызжит, старая водоноска.

Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загредел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что едва не слетела сетка, но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:

– Спокойно, ребята! Не толкайте наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Bravo, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю. После этого он привел в порядок сетку, подтолкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:

– Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать – это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?

– Да, – прошептал старший, – мне хорошо. Под головой словно пух.

– Говорят не «голова», а «сорбонна»! – крикнул Гаврош.

Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:

– Дрыхните!

И погасил фитилек.

Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.

Пятилетний малыш, услышав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрях», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:

– Сударь!

– Что? – спросил уже засыпавший Гаврош.

– А это что такое?

– Это крысы, – ответил Гаврош.

И снова опустил голову на циновку.

Действительно, крысы, сотнями обитавшие в остве слона, – они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, – держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались на самую верхушку и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.

Между тем мальчуган не засыпал.

– Сударь! – снова заговорил он.

– Ну?

– А что такое – крысы?

– Это мыши.

Объяснение Гавроша успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:

– Сударь!

– Ну?

– Почему у вас нет кошки?

– У меня была кошка, – ответил Гаврош, – я ее сюда принес, но они ее съели.

Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.

– Сударь!

– Ну?

– А кого же это съели?

– Кошку.

– А кто съел кошку?

– Крысы.

– Мыши?

– Да, крысы.

Ребенок, удивившись, что здешние мыши едят кошек, продолжал:

– Сударь! Значит, такие мыши и нас могут съесть?

– Понятно! – ответил Гаврош.

Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:

– Не бойся! Они до нас не доберутся. И, кроме того, я здесь! На, держи мою руку. Молчи и дрыхни!

Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и успокоился. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда

через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, – трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего не слышали.

Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем налетал порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и в поисках ночных бродяг молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей бесприютных спящих детишек.

Чтобы понять все нижеследующее, не лишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.

На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, перебежал площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное представление о котором может дать следующее начертание:

– Кирикикиу!

На второй крик из брюха слона ответил звонкий, веселый детский голос:

– Здесь!

Почти тут же доска, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.

Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Спросишь господина Гавроша».

Услышав крик, он вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, открыл люк и спустился вниз.

Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас сказал кратко:

– Ты нам нужен. Поди, помоги нам.

Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.

– Ладно, – сказал он.

Оба пошли по направлению к Сент-Антуанской улице, откуда появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную вереницу тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.

Сидевшие в тележках между грудями овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.

Глава третья. Перипетии побега

Вот что случилось в ту ночь в тюрьме Форс.

Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардье, хотя последний и сидел в одиночке, уговорились о побеге. Бабет «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем снаружи.

Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, тщательно обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного

окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как явствует из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.

Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе – гвоздь; Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу.

Брюжон, о котором пора уже составить себе полное представление, несмотря на тщедушный вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смывленный, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был рожден его волей, улыбка – натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».

Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами – мосты и ступени на пути к свободе.

Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных преступников», как принято выражаться.

Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу.

Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.

Тенардье находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе». Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, – сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегал дорожка дозорных тюрьмы Форс.

Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося за Беркеном.

Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, – то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба, – то была труба, проходившая через общие камеры.

«Вольный воздух», чердак Нового здания, представлял собой нечто вроде огромного сарая, разделенного на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми

листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если войти туда с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа – четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, – из железных брусьев.

Тенардь сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Дери, а шайка «усыпителей» прославила.

Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всеми правдами и неправдами.

Итак, в ту ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, поэтому не было слышно стука.

Ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной камерке с окошечком против камеры, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкая.

– Хороша потьмуха для вылета! – заметил Брюжон.

Пропась, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивает в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки наверху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.

Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.

Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.

Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать того, что кожа у них на ладонях была содрана.

В эту ночь Тенардь был предупрежден, – каким образом, выяснить не удалось, – и не спал. Около часа пополуночи, хотя ночь и была темным-темна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца, против его камеры, промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардь узнал его и понял. Большого ему не требовалось.

Тенардь, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, – в те времена так полагалось, – входил в камеру, клал возле его койки

двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Сторож с догами наведывался также два раза ночью.

Тенардьё добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, которым он загонял в одну из щелей в стене хлебный мякиш – чтобы, мол, «крысы его самого не сожрали». Так как Тенардьё был под непрерывным наблюдением, то эту железку сочли не опасной. Однако позднее вспомнили, что один из сторожей сказал: «Лучше оставить ему какую-нибудь деревяшку».

В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, кроме того, что «пехтура» – часовый – совсем еще молокосос и что у него «глуповатый вид». Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардьё. Самого Тенардьё в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею – другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере обнаружили еще полупустую бутылку с остатком одурманивающего снадобья, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез. В ту минуту, когда было сделано это открытие, Тенардьё считали вне пределов досягаемости. На самом деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.

Добравшись до крыши Нового здания, Тенардьё нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту.

Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас направо вы увидите грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся до сего времени; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червяками перекалиной, напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в былые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.

Площадку, образовавшуюся среди улицы на месте развалившегося дома, в одном месте перегораживал забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами. За ним притаилась хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.

На самом верху этой развалины и очутился Тенардьё в три часа утра с минутами.

Как он сюда добрался? Этого никто не мог ни объяснить, ни понять. Молнии должны были и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но гребень стены представлял собой неровную зубчатую линию. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардьё, остается загадочным. Одним ли способом, другим ли – все равно бегство казалось невозможным. Но воспламененный той

страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого так и не узнали.

Не всегда можно понять, каким чудом осуществляется побег. Повторяем: человек, спасающийся бегством, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указывает путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам, об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: „Пусть умирает он“?»

Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в клочья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во весь рост, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.

Взятая им с собой веревка была слишком коротка.

Он лежал здесь бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа, – время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, на страшной глубине, мокрую мостовую, – желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.

Он спрашивал себя: удалось ли бежать трем его соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку по улице Сент-Антуан.

Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток, шум переполоха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел; из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая на крышах. Наконец Тенардье увидел в сторона Бастилии белесый отсвет, зловеще высветливший край неба.

Он лежал, вытянувшись на стене шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».

Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Не лишним будет заметить что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует, что он погиб.

Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды эти люди говорили на арго. Первый сказал тихо, но отчетливо.

– Шлепаем дальше, чего нам тутто маячить?

Второй отвечал:

– Этот дождь заплует самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыплемся туткайль.

Эти два слова тутто и туткайль, обозначающие тут – первое на арго застав, второе – Тампля, были лучами света для Тенардье. По тутто он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по туткайль – Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тамплъ.

Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.

Тем временем в разговор вмешался третий.

– Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?

По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который был до того благовоспитан, что не пользовался ни одним из этих наречий, хотя понимал все.

Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот.

Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:

– Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтивать. Он штукарить не умеет, куда ему!

Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывести шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться, – тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень! Бабет, все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглому, новому, красочному и смелому арго Брюжона так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, сказал:

– Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже насадка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас – ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца.

– Друзей в беде не оставляют, – проворчал Монпарнас.

– Я тебе звоню, что у него боль, – ответил Брюжон. – Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. И уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот.

Монпарнас сопротивлялся слабо: действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, – был такой ливень, что все улицы опустели, – пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревога, поднявшаяся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх, – все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился до некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.

Он не осмеливался их позвать – если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжащий луч надежды: он вытащил из кармана

конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду.

Веревка упала к их ногам.

– Удавка! – сказал Бабет.

– Мой шнурочек! – подтвердил Брюжон.

– Трактирщик здесь, – заключил Монпарнас.

Они подняли глаза, Тенардьё приподнял голову над стеной.

– Живо! – сказал Монпарнас. – Другой конец веревки у тебя, Брюжон?

– Да.

– Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.

Тенардьё отважился подать голос:

– Я промерз до костей.

– Согреешься.

– Я не могу шевельнуться.

– Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.

– У меня окоченели руки.

– Привяжи только веревку к стене.

– Я не могу.

– Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, – сказал Монпарнас.

– На третий этаж! – заметил Брюжон.

Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардьё. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, впоследствии обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкая.

– Можно взобраться по ней, – сказал Монпарнас.

– По этой трубе? – вскричал Бабет. – Мужчине – никогда. Здесь нужен малек.

– Нужен малыш, – подтвердил Брюжон.

– Где бы найти ребятенка? – спросил Живоглот.

– Подождите, – сказал Монпарнас. – Я придумал.

Он приоткрыл калитку, удостоверился, что на улице никого нет, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.

Прошло минут семь, восемь – восемь тысяч веков для Тенардьё; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка наконец снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему пустынна.

Гаврош вошел и спокойно оглядел эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.

– Малыш! Мужчина ты или нет? – обратился к нему Живоглот.

Гаврош пожал плечами.

– Такой малыш, как я, – мужчина, а такие мужчины, как вы, – мелюзга, – ответил он.

– Как у малька здорово звякает звонок! – вскричал Бабет.

– Пантенский малыш – не мокрая мышь, – добавил Брюжон.

– Ну? Что же вам нужно? – спросил Гаврош.

– Вскрабкаться по этой трубе, – ответил Монпарнас.

– С этой удавкой, – заметил Бабет.

– И прикрутить шнурок, – продолжал Брюжон.

– К верху стены, – вставил Бабет.

– К перекладине в стекляшке, – прибавил Брюжон.

– А дальше? – спросил Гаврош.

– Все, – заключил Живоглот.

Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает: «Только-то?»

– Там наверху человек, надо его спасти, – сказал Монпарнас.

– Согласен? – спросил Брюжон.

– Дурачок! – ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.

Живоглот подхватил Гавроша, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардьё, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие щеки, заострившийся хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.

– Смотри-ка, – сказал он, – да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!

Взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.

Мгновенье спустя Тенардьё был на улице.

Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, ни усталости, ни холода, ни страха как не бывало; все то ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный, дикий ум пробудился и, почуяв свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.

Вот каковы были первые слова этого человека:

– Кого мы теперь будем есть?

Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть – это пожирать.

– Надо смываться, – сказал Брюжон. – Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме: улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.

– Отлично! Почему же нет? – спросил Тенардьё.

– Твоя дочка Эпониная ходила туда, – ответил Бабет.

– И принесла сухарь Маньон, – прибавил Живоглот. – Там делать нечего.

– Дочка не дура, – заметил Тенардьё. – А все-таки надо посмотреть.

– Да, да, – сказал Брюжон, – надо посмотреть.

Никто уже не обращал внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:

– Ну, все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать ребят.

И он ушел.

Пять человек вышли один за другим из ограды.

Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардьё в сторону.

– Ты разглядел этого малька?

– Какого малька?

– Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?

– Не очень.

– Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.

– Ты так думаешь? – спросил Тенардьё.

Книга седьмая Арго

Глава первая. Происхождение

Pigritia¹¹⁴ – страшное слово.

Оно породило целый мир – la regre, читайте: воровство, и целый ад – la regrenne, читайте: голод.

Таким образом, лень – это мать.

У нее сын – воровство, и дочь – голод.

Где мы теперь? В сфере арго.

Что же такое арго? Это и национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами – народа и языка.

Когда тридцать четыре года назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в оно из своих произведений¹¹⁵, написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Не может быть! Но ведь арго ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д.

Мы никогда не понимали возражений такого рода.

Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой – неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смертной казни», снова раздались вопли. Повторяли: «Зачем оскорбляют наш слух писатели этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!»

Кто же это отрицает? Конечно, это так.

Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна считается предосудительным? Мы всегда считали это проявлением мужества, во всяком случае, делом полезным и достойным сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг.

Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути?

Останавливаться – это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.

Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность животрепещущим это презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, – все это задача и не привлекательная и не легкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую, взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует, чтобы ее вновь погрузили во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое – на потухший, залитый кровью глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.

¹¹⁴ Лень (*лат.*)

¹¹⁵ «Последний день приговоренного к смерти». (*Прим. авт.*)

Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от аргю, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо аргю, – да будет известно тем, кто этого не знает, – явление литературное и вместе с тем следствие определенного общественного строя. Что же такое аргю в собственном смысле? Аргю-это язык нищеты. Здесь нас могут прервать; могут дать более широкое толкование приведенному факту, что иногда является средством уменьшить его значительность; нам могут сказать, что все ремесла, все профессии – к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления – имеют свое аргю. Торговец, который говорит: Монпелье наличный, Марсель хорошего качества; биржевой маклер, говорящий: играю на повышение, страховая премия, текущий счет; игрок, который говорит: хожу по всем, пика бита; пристав на Нормандских островах, говорящий: съемщик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика; водевилист, заявляющий, пьесу освистали; актер, сказавший: я провалился; философ, который сказал: тройственность явления; охотник, говорящий: красная дичь, столовая дичь; френолог, сказавший: дружелюбие, воинолюбие, тайнолюбие; пехотинец, именующий ружье кларнетом; кавалерист, который называет своего коня индюшонком; учитель фехтования, говорящий: терция, кварта, выпад; типограф, сказавший: набор на шпонах, – все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на аргю. Живописец, который говорит: мой мазилка, нотариус, который говорит: мой попрыгун, парикмахер, который говорит: мой подручный, сапожник, который говорит: мой подпомощник, говорят на аргю. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат аргю: у матроса – штирборт и бакборт, у театрального декоратора – двор и сад, у причетника – апостольская и евангельская. Есть аргю модниц, как было аргю жеманниц. Особняк Рамбулье кое-где граничит с Двором чудес. Есть аргю герцогинь – свидетельством этого является фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».

Дипломатические шифры также составлены на аргю: папская канцелярия, употребляющая цифру «26» вместо «Рим», grkztntgzyal вместо отправка и abfxustgrnogrktutu XI вместо герцог Моденский, говорит на аргю. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: oporonach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorutn, postmegorum, говорили на аргю. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жженка, бастер, кусковой, пиленный, изъясняется на аргю. Известное направление в критике, двадцать лет назад утверждавшее: Половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров, говорило на аргю. Поэт и художник, которые совершенно верно определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на аргю. Академик-классик, называющий цветы Флорой, плоды Помоной, море Нептуном, любовь огнем в крови, красоту прелестями, лошадь скакуном, белую или трехцветную кокарду розой Беллоны, треуголку треугольником Марса, – этот академик-классик говорит на аргю. У алгебры, медицины, ботаники свое аргю. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, живописный, достигающий совершенства, язык, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпере, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора,

со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек, – это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты – то же, что лев перед шакалом.

Все это так. Но что бы ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Мы же сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова сочетаются, существующее с незапамятных времен и представлявшее собой целое царство, есть, повторяем, не что иное, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучия и господствующих прав, – в борьбу страшную, где, применяя то хитрость, то насилие, немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь глубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы – арго.

Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, – это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Умышленно или неумышленно Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский – в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая необходимость в арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?»

На все это мы ответим одно. Если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения – это язык, на котором говорила нищета.

Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета. И затем, – мы на этом настаиваем, – изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, – это не та работа, где можно выбирать. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного – поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодательные собрания, крупных общественных деятелей, революции – все, что совершается при свете дня вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь – он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому неведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное, подземные толчки, отразившие закон, тайное перерождение душ, едва различимое содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных – все эти призраки, бродящие во тьме. Ему надлежит нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости, до самых непроницаемых казематов, где вперемешку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто является жертвою зла, и тот, кто его творит. Разве у историков сердец и душ меньше обязанностей, чем у историков внешних событий? Разве Данте нужно было сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья

цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный крик, если не знаешь скрытой в нем пещеры?

Из вышесказанного могут заключить, что между двумя категориями историков есть большое различие; на наш взгляд, его не существует. Нельзя быть хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза, открытой, если ты вместе с тем не являешься историком скрытой жизни его недр; нельзя быть хорошим историком внутреннего бытия, если ты не сумеешь стать каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана ею. Это два порядка разных явлений, соответствующих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое загадочное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и потому настоящий историк должен вмешиваться во все.

Человек – это не круг с одним центром, это эллипс с двумя средоточиями. События – одно из них, идеи – другое.

Арго – не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Так он становится страшен.

Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов выйти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес, – костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он заgrimирован своими костюмерами – всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается – двойственное движение пресмыкающегося. Он может сыграть любую роль: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.

Если подойти к дверям общества с той стороны, где обретаются честные люди, то можно услышать разговор тех, кто за дверями. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хотя и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это-арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, что слышишь говорящих гидр.

Это – непонятное в сокрытом мглоу. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкой. Глубокую тьму источает несчастье, еще более глубокую – преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах.

Страшен этот язык-жаба; он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, – в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.

Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы с вами? Что такое я, обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?

Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.

Вы тот, кто зовется счастливецом? Нет, вы каждый день грустите. Каждому дню – своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим – несчастье друга; потом дурная погода, потом разбитая

или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иногда вас беспокоит положение государственных дел. Все это не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то над ними ночь, беспросветная ночь.

Незрелые умы пользуются выражением: счастливы и несчастны. В этом мире, по-видимому, являющемся преддверием иного, нет счастливых.

Правильное разделение людей таково: сияющие светом и пребывающие во мраке.

Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных – такова цель. Вот почему мы кричим – «Обучения! Знания!» Научить читать – это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.

Впрочем, сказать: «свет» не всегда значит сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя – враг крыльев. Пылать, не прекращая полета, – это и есть чудо гения.

Когда вы познаете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Сияющие светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке.

Глава вторая.

Корни

Арго – язык пребывающих во мраке.

Это загадочное наречие, позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто еще дымятся. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-осторожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.

Но несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали, и которое именуется литературой. У арго – можете с этим соглашаться или не соглашаться – есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.

Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:

*Mais ou sont les neiges d'antan?*¹¹⁶

написана на арго. Antan – ante annum – слово из арго Двора чудес, обозначающее прошедший год и, в более широком смысле, когда-то Тридцать лет назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: Les dabs d'antan trimaient siemprie pour la pierre du coesre. Иными словами – Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию. Для этого «короля» каторга и была «коронацией».

¹¹⁶ Но где снега минувших лет? (франц.)

Слово *descarade*, означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и оно достойно его. Это слово, будто высекающее искры, передано мастерской ономастической в изумительном стихе Лафонтена:

*Six forts chevaux tiraient un coche.*¹¹⁷

С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование может быть любопытней и плодотворней, чем в области аргю. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от аргю. Но перед теми, кто изучает язык как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, аргю возникает напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в аргю под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский – этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в трех его разновидностях – романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, – латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая, причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных и возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.

Не угодно ли испанского? Древнее готское аргю кишит испанизмами. Вот *boffette* – пощечина, происшедшее от *bofetón*; *vantane* – окно (позднее – *vanterne*), от *veniana*; *gat* – кошка, от *gato*; *acite* – масло, от *aceyte*. Не угодно ли итальянского? Вот *spade* – шпага, происшедшее от *spada*; *carvel* – судно, от *caravella*. Не угодно ли английского? Вот *bichot* – епископ, происшедшее от *bishop*; *raille* – шпион, от *rascal*, *rascalion* – негодяй; *pilche* – футляр, от *pitcher* – ножны. Не угодно ли немецкого? Вот *caleur* – слуга, от *Kellner*; *hers* – хозяин, от *Herzog* – герцог. Не угодно ли латинского? Вот *frangir* – ломать, от *frangere*; *affurer* – воровать, от *fur*; *cadene* – цепь, от *catena*. Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти: это слово *magnus* – великий; Шотландия сделала из него *мас*, обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор – великий Фарлан, великий Каллюмор¹¹⁸, аргю сделало из него *meck*, а позднее *meg*, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот *gahisto* – дьявол, от *gaiztoa* – злой; *sorgabon* – доброй ночи, от *gabon* – добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот *blavin* – носовой платок, от *blavet* – брызжащая вода; *menesse* – женщина (в дурном смысле), от *meines* – полный камней; *barant* – ручей, от *baranton* – фонтан; *goffeur* – слесарь, от *goff* – кузнец; *guedouze* – смерть, от *guenn-du*, белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Аргю называет экую мальтийка, в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.

Кроме филологической основы, на которую мы только что указали, у аргю имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, разумом человека.

Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка – то, что можно было бы назвать его строительным гранитом.

¹¹⁷ Шесть крепких лошадей тащили экипаж (франц.)

¹¹⁸ Однако следует заметить, что *мас* – по-кельтски обозначает сын. (Прим. авт.)

Арго кишит словами такого рода, словами стихийными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, – словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач – кат; лес – оксым; страх, бегство – плет; лакеи – лакуза; генерал, префект, министр – ковруг; дьявол – дедер. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают и обнаруживают. Некоторые, например дедер, гротескны и страшны и производят на вас впечатление гримасы циклопа.

Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора-загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиома более метафорического, чем арго. Отвинтить орех – свернуть шею, хрястать – есть; венчаться – быть судимым; крыса – тот, кто ворует хлеб; алебардит – идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя сомкнутому строю наклоненных пик ландскнехтов и умещающая в одном слове народную метонимию: дождит алебардами.

Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком, первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть дедером и становится пекарем, – тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля, Еврипиду после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантазмагии. Потьмушники мозгуют стырить клятuru под месяцем (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видеть видишь, но что это такое – не ведаешь.

В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него на удачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко, с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго, оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов – прямого словотворчества и метафоры: Кэб брешет, сдается, пантенова тарактелка дыбает по оксиму – собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. Фраер – балбень, фраерша – клевая, а баруля фартовая – хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаше всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание айль, орг, ерг или юш. Так: Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг? – находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, удовлетворяет ли его сумма, предложенная за побег. Окончание мар стали прибавлять сравнительно недавно.

Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, стараясь скрыть свою сущность, оно, только-только почувствовав, что оно разгадано, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания, здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь; это безвестная, проворная, никогда не прекращающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык – за десять столетий. Таким образом larton, хлеб, становится lartif; gail, лошадь, – gaye; fertanche, солома, – fertille; momignard, малыш, – momacqe; fiques, одежда, – frusques; chique, церковь, – ergugeoir; colabre, шея, – colas. Дьявол сначала хаушень, потом дедер, потом пекарь, священник – скребок, потом кабан; кинжал – двадцать два, потом перо, потом булавка; полицейские – кочерги, потом жеребцы, потом рыжие, потом продавцы силков, потом легавые, потом фараоны; палач – дядя, потом Шарло, потом кат, потом костыльщик. В XVII веке бить – угощать табаком, а в XIX – натабачить. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша Ласнеру показался бы китайской

грамотой. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.

Однако время от времени, именно вследствие этого движения, старое аргю возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тамплль сохраняла аргю XVII века; Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил аргю Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на анш старых подданных этого царства. Ты пьеанш? (ты пьешь?) Он верианш (он верит). Но вечное движение не перестает оставаться его законом.

Если философу удастся удержать на мгновение «тот беспрестанно улетающий язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Нет исследования более действенного, плодотворного и поучительного. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах аргю, которые не содержали бы наглядного урока. У этих людей бить – значит прикидываться; они бьют болезнь – прикидываются больными: их сила – хитрость. Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь – потьмуха; человек – темник. Человек – производное от ночи.

Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу; о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек – больной; человек осужденный – мертвый.

Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу чистая. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удастся перепилить кандалы, первая его мысль – о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу скрипка. Имя – это сердцевина; многозначительное уподобление! У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных деяниях он называет сорбонной, другую, которой он платится, отрубком. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце – ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом gueux – нищий, то он готов на преступление, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями – нуждой и злобой; поэтому аргю не говорит gueux, оно говорит reguise – наостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется хворостье. Наконец, каким же словом злодей называет тюрьму? Академия. Целая исправительная система может родиться из одного слова.

У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, – вы. я, любой прохожий: pantre. (Pan – все люди.)

Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях lirlonfa?¹¹⁹ Так вот, послушайте.

В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом – десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плиты пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки на некотором расстоянии одна от другой свешивались цепи длиной в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на

¹¹⁹ Lirlonfa – свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни.

галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, на дрожащих, подкашивающихся ногах, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и, просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них уже не просыпались. Чтобы поесть, они, при помощи ступни одной ноги, поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах, при приближении галеры, сначала слышали песню, а уж потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: Только рифмы меня и поддерживали. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: Тималумизен, тимуламизон. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна песенка – нежная:

*Шуткайль театр
Малютки стрелка.¹²⁰*

Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца – любовь.

В этом мире темных дел один хранит тайну другого. Тайна – общая собственность. Тайна для этих отверженных – связь, являющаяся основой их союза. Открыть тайну – значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести, на энергичном языке арго, обозначает съесть кусок. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.

Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: засветить тридцать шесть свечей. Здесь арго вмешивается и добавляет: свеча – это камуфля. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним – камуфлет. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, арго поднялось из пещеры до академии. Пулайе сказал: Я зажигаю мою камуфлю, а Вольтер писал: Ланглевель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов.

Раскопки в арго – это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклеянных проклятием.

Арго – это слово, ставшее каторжником.

Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.

О бедная мысль отверженных!

¹²⁰ Купидона (Прим. авт.)

Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее удел – вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, пасть, изрыгающую пену, змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна оставаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое как будто уже учуяло ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?

Глава третья. Арго плачущее и арго смеющееся

Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века назад, так и арго современное, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль нищих Двора чудес, которые употребляли для игры особые колоды карт; некоторые из этих карт дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками – род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игровых картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, отмечена печатью бессилия и подавленности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется бедным вором, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: «Je n'entiaive que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses momes et ses momignards et les locher criblant sans etre atige luimeme».¹²¹ Отверженный, всякий раз, когда у него есть время подумать, осознает, как он ничтожен перед лицом закона и незначителен перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.

В середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, заправки воров приобрели, так сказать, дерзкие, разудалые ухватки. Жалобный припев малюре заменился ларифла. В XVIII веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская, загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный, подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:

*Мирлябаби, сюрлабабо,
Мирлитон рибон рибет.
Сюрлябаби, мирлябабо,*

¹²¹ Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. (Прим авт.)

Мирлитон рибон рибо.

Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребке или в лесной глуши. Это серьезный симптом. В XVIII веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, точно совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потомков отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это признак того, что они теряют сознание своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей неведомую им самим поддержку. Это признак того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец это признак, – если только не возникнет какой-нибудь помехи, – близкого и пышного их расцвета.

Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? XVIII век? Его философию? Конечно, нет. Дело XVIII века – доброе и полезное дело. Энциклопедисты с Дидро во главе, физиократы с Тюрго во главе, философы с Вольтером во главе, утописты с Руссо во главе, – это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету, – их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро – к прекрасному, Тюрго – к полезному, Вольтер – к истинному, Руссо – к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты – ядовитая поросль, присосавшаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной леснице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывавшую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, опекавшихся одним принцем, – забавная подробность! – числятся в Тайной библиотеке. Эти важные, но неизвестные факты остались незамеченными на поверхности. Порою именно самая тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон прорыл тогда в народных толщах самую губительную для здоровья галерею.

Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии большие опустошения, чем где бы то ни было. В Германии, в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойник», воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, на поверхности благовидные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева. В то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя, – в одном и в другом случае глаза у них закрыты, – ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!

Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные жакериями, рядом с которыми чисто политические волнения – детская игра. Это уже не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.

Жакерии – это вулканические толчки в недрах народа.

Именно такой опасности, быть может, неизбежной для Европы конца XVIII века, поставила предел французская революция – этот огромный акт человеческой честности.

Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.

Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ.

Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу – право.

XIX век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция – это прививка против жакерии.

Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бактерий феодализма и монархии. Нет больше средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда земля разверзалась, когда свод пещер рушился – и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.

Революционное чувство – чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон – это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует, тот царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вожделений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза.

Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс – это «Смерть вора!» Прогресс – честный малый; идеал и абсолюты не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ.

Добродетель придала блеск оборванцам. В одном из этих фургонов, ящиков, едва закрытых и даже полуоткрытых, среди сотен сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.

Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище больше не устрашает. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.

Глава четвертая.

Два долга: бодрствовать и надеяться

Но рассеялась ли при этом всякая социальная опасность? Конечно, нет. Жакерия не существует. Общество может быть спокойно, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как ему следует дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.

Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.

Будем же повторять неустанно: прежде всего нужно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать им дышать свежим воздухом, просвещать их, любить, расширять их

горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но не праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатство, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы – для всех способностей и училища – для всех умов; увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение, – одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность – пусть человеколюбивые души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость – пусть эгоистичные сердца об этом знают.

Однако – это только начало. Задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом. Мы не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.

Если природа называется провидением, общество должно называться предвидением.

Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание – это напутствие, мысль – первая необходимость, истина – пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеет же и желудки и умы, лишенные пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.

Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря подъему общего уровня.

Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.

Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошное шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец – завоеватель. Оно идет со своим воинством – суевериями, со своей шпагой – деспотизмом, со своим знаменем – невежеством; оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у дверей. Не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал.

Мы верим – чего же нам опасаться?

Идеи не текут вспять, так же как и реки.

Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к тяжелой болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: умереть.

Мы же хотим, чтобы тело умерло как можно позже, а душа – никогда.

Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия – явление, предопределенное небом.

Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она не очень пугается тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку

Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.

А пока – никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчлняет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.

Мы видели не раз, когда рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей история полна крушений народов и государств; в один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган, и уносит с собой все-обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут – значит дали течь, нам больше нечего сказать; и мы растерянно смотрим, как в глубине моря, которое именуется «прошлым», за огромными волнами-веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли – Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там – мрак, а здесь – ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы применяем зонд, и когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарств. Наша цивилизация, работа двадцати веков, и чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение – это уже много; дать ей свет-это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть сведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя – выслушать легкие и сердце цивилизации.

Повторяем: такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц – суровый антракт в скорбной драме. Под бременностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны-кратеры и лишай-серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает лаву; болезни народа не убивают человека.

И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки.

Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов – предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных – вождение, зависть, ненависть при виде наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.

Следует ли еще устремлять взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.

**Книга восьмая
Чары и печали**

**Глава первая.
Яркий свет**

Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обительницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного – к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео; Ромео пришлось перелезть через стену, а Мариусу – лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно зуб старика. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие.

Обычно на улице почти никого не было; к тому же Мариус появлялся в саду ночью, и ему не грозила опасность, что его увидят.

Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека бессовестного и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины – уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души! Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь – жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму.

По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную.

Пока длился май 1832 года, каждую ночь в запущенном скромном саду, под сенью чащи, что ни день все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, упоенные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, чтобы уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду – чистоту Козетты. Козетта чувствовала опору-честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты. Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном сиянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау.

В этот час любви, когда чувственность умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски чистый Мариус был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды лунной

ночью Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону.

Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга. Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная, могучая растительность, опьяненная, полная соков, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья. Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным!

Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, – тупица и дурной человек.

Крзетта говорила Мариусу:

– Знаешь?..

(При всем том, несмотря на божественную их невинность, сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».)

– Знаешь? Меня зовут Эфрази.

– Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта!

– Нет. Козетта – довольно противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя Эфрази Тебе разве не нравится это имя Эфрази?

– Нравится, но Козетта – вовсе не противное имя.

– Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?

– Н... да.

– В таком случае, мне тоже. Правда, это красиво – Козетта... Зови меня Козеттой.

Ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских куш.

В другой раз она пристально взглянула не него и воскликнула:

– Вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо ученее меня, но я померяюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!»

Мариусу, в его неземном упоении, казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой.

Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала:

– Не кашляйте. Я не хочу, чтобы кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать?

Все это было божественно.

Как-то Мариус сказал Козетте:

– Представь себе: одно время я думал, что тебя зовут Урсулой.

Они смеялись над этим весь вечер.

В другой раз он вдруг воскликнул:

– А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида!

Но он сразу оборвал себя. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, а это было невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом беспредельная невинная любовь.

Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки,

садиться рядом, плечом к плечу, на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцание спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди вдыхать запах цветка, – и так всегда, бесконечно. Высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных.

Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухода. «Говорить комплименты» той, которую любишь, – это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент-это нечто похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные, мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорят в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смесь сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу.

– О, как ты прекрасна! – шептал Мариус. – Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается – какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу – в телескоп.

– Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра, – говорила Козетта.

Ответы и вопросы чередовались в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки.

Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины.

Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монашеская прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинаясь кроткому инстинкту сердца, вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова нежные и вместе с тем глубокие. Нежность и глубина – в этом вся женщина; в этом все небо. Среди этого полного счастья у них каждый миг наворачивались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви – умиленность, иногда почти мучительная.

А наряду с этим, – подобные противоречия всего лишь игра света и теней в любви, – они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на мальчишек. И все же, неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей.

Они боготворили друг друга.

Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримасы уголками губ, сплетают пальцы, говоря друг другу «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.

Глава вторая. Упоение полным счастьем

Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сообщения имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, что он живет писанием статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Еще он сказал, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус – барон? Она не поняла. Она не знала, что это значит. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем.

Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно забыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут сомнамбулы, которых называют влюбленными.

Кто не испытал всего этого? Увы! Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше?

Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь – пламенное забвение всего остального. Потребуйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем: о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» – ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение – к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не было. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достиглирая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже не помним. Розовая дымка застилает все.

Так и жили эти два существа на недостижимых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение;

уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи – вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унести в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность.

Они дремали наяву в этом баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом!

Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрывать глаза – это лучший способ видеть душу.

Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание: они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь.

Глава третья. Первые тени

Жан Вальжан ничего не подозревал.

Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу, нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она счастлива. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа, услышав, как Козетта открывает застекленную дверь. Разумеется, днем Мариуса здесь никогда не видели. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Только раз, утром, он сказал Козетте: «У тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус, в порыве восторга, обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене.

Старуха Тусен, рано кончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне; она тоже ни о чем не догадывалась.

Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не слышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветки деревьев. Если бы в эти мгновенья молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили – так глубоко грезы одного погружались в грезы другого.

Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковы. Такая любовь-это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев.

Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна.

Обычно он удалялся около полуночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говорил Баорелю: – Можешь себе представить? Мариус является домой в час ночи.

– Что ж такого? – отвечал Баорель. – В тихом омуте черти водятся.

Иногда Курфейрак, приняв серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу: – Молодой человек! Вы сбились с пути истинного.

Курфейрак, человек деловой, неблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; неземные страсти были ему непонятны, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности.

Однажды утром он обратился к нему со следующим увещанием:

– Дорогой мой! Ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну будь же добрым малым, скажи, как ее зовут? Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из грех священных слогов, составлявших волшебное имя – Козетта. Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость.

В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство.

Поссориться и говорить друг другу «вы» только для того, чтобы с большим наслаждением сказать потом «ты»;

Долго рассказывать друг другу, со всеми подробностями, о людях, до которых им не было никакого дела, – лишнее доказательство того, что в восхитительной опере, которая зовется любовью, либретто почти ничего не значит;

Для Мариуса – слушать, как Козетта говорит о нарядах;

Для Козетты – слушать, как Мариус говорит о политике;

Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице;

Смотреть на звезду в небесах или на светляка в траве;

Вместе молчать – наслаждение еще большее, чем беседовать;

И т. д., и т. д.

Между тем надвигалась гроза.

Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по обыкновению, он шел, опустив голову; собираясь свернуть на улицу Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него:

– Добрый вечер, господин Мариус!

Он поднял голову и узнал Эпонию.

Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча.

Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она ведет его, – мы это уже установили, – к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине.

Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эту девушку зовут Эпониной Тенардь, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, – то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой готовностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви.

– Ах, это вы, Эпонина? – ответил он с некоторым замешательством.

– Почему вы говорите мне «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное?

– Нет, – ответил он.

Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине.

Он молча смотрел на нее.

– Скажите же... – начала она и запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому беззаботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла.

– Ну!.. – снова начала она.

Потом опять замолчала, потупив глаза.

– Покойной ночи, господин Мариус! – вдруг резко сказала она и ушла.

Глава четвертая.

Кэб по английски-то, что катится. А на арго-то, что лает

На следующий день (это было 3 июня, а 3 июня 1832 года – дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в то время грозowymi тучами над горизонтом Парижа) Мариус с наступлением темноты шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонию. Два дня подряд-это уже слишком. Он свернул с бульвара, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца.

Вот почему Эпонию шла за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не пытаясь пойти к нему навстречу, и лишь накануне она попыталась с ним заговорить.

Итак, Эпонию пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад.

«Смотри-ка! – сказала она себе. – Идет к ней в дом!»

Она подошла к решетке, пощупала прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус.

– Ну нет, черта с два! – сердито пробормотала она. И уселась на цоколе, рядом с прутком, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где разглядеть Эпонию было невозможно.

Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями.

Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздавший буржуа, торопившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой угрожающий голос.

– Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер!

Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаг.

Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор.

Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных; спустя минуту здесь сошлись все шестеро.

Эти люди начали тихо переговариваться.

– Туткайль! – сказал один из них.

– Есть ли кэб в саду? – спросил другой.

– Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать.

– Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку?

– Есть.

– Решетка старая, – добавил пятый, говоривший голосом чревоушателя.

– Тем лучше, – сказал второй. – Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделить.

Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпониная час назад, пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Так он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Только он собрался схватить этот прут, как чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес:

– Здесь есть кэб.

И тут он увидел стоявшую перед ним бледную девушку.

Он испытал потрясение, которое вызывает неожиданность. Он словно весь ошетинился; нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя; один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал заикаясь:

– Это еще что за потаскуха?

– Ваша дочь.

Действительно, это была Эпониная, а говорила она с Тенардые.

При появлении Эпонины Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночи.

В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой».

– Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли? – приглушенным голосом воскликнул Тенардые. – Пришла мешать нам работать?

Эпониная расхохоталась и бросилась ему на шею.

– Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле?

Тенардые попытался высвободиться из объятий Эпонины и прорычал:

– Отлично. Поцеловала – и довольно. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай.

Но Эпониная не отпускала его – и удвоила свою нежность:

– Папочка! Как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться.

Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите, что с маменькой?

– Она здорова, – ответил Тенардые. – Впрочем, не знаю, говорят тебе, пусти меня и проваливай.

– Ни за что не уйду, – жеманничала Эпониная с видом балованного ребенка. – Вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать.

И тут она снова обняла отца за шею.

– Ах, черт, как это глупо! – не выдержал Бабет.

– Мы теряем время! – крикнул Живоглот. – Того и гляди появятся легавые.

Голос чревоушателя продекламировал двустилишие:

*Для поцелуев – свой черед,
У нас теперь не Новый год.*

Эпониная повернулась к пяти бандитам.

– А, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет! Здравствуйте, господин Звенигрош! Вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?

– Не беспокойся, все тебя узнали! – проворчал Тенардые. – Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое.

– В этот час курам спать, а лисицам гулять, – сказал Монпарнас.

– Нам надо тутго поработать, понятно? – прибавил Бабет.

Эпониная схватила за руку Монпарнаса.

– Берегись! Обрежешься, – у меня перо в руке, – предупредил тот.

– Монпарнас, миленький, – кротко молвила Эпонина, – люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот! Ведь это мне поручили выяснить дело.

Примечательно, что Эпонина не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен.

Своей маленькой, слабой, костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала:

– Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме.

– Там одни женщины, – сказал Живоглот.

– Нет. Все выехали.

– А свечи остались! – заметил Бабет.

И показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки.

Эпонина сделала последнюю попытку.

– Ну и что ж! – сказала она. – Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су.

– Пошла к черту! – вскричал Тенардьё. – Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть: рыжики, беляки или медный звон.

Он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед.

– Господин Монпарнас, дружок, – сказала Эпонина, – вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!

– Берегись, напорешься на нож! – ответил Монпарнас.

Тенардьё свойственным ему решительным тоном заявил:

– Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело.

Эпонина отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась.

– Значит, вы хотите войти в этот дом? – спросила она.

– Только сунуть нос! – ухмыляясь, заметил чревоушитель.

Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала:

– Ну, а я не хочу.

Они остолбенели от изумления. Чревоушитель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова:

– Друзья! Слушайте меня внимательно. Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в сад, если дотронетесь до решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых.

– С нее станется, – тихо сказал Тенардьё Брюжону и чревоушителю.

Она тряхнула головой и прибавила:

– Начиная с моего папеньки!

Тенардьё подошел к ней.

– Подальше от меня, старикан! – предупредила она.

Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил:

– Сука!

Она засмеялась злобным смехом.

– Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте.

Говорят вам: вы – не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам уже объяснила: кэб – это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой, вы мне надоели! Проваливайте, куда хотите, а сюда не являйтесь, я запрещаю вам! Вы меня

ножом, а я вас туфлей, мне все равно. Ну-ка попробуйте, подойдите! Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам; вид ее был ужасен.

– Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем – мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться – чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так что ли? А я не таковская, ничего не боюсь!

Эпонина устала на Тенардьё.

– Даже вас, папаша! – сказала она и, обведя бандитов горящими глазами призрака, продолжала:

– Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебязьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак!

Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыханье с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди.

– Стоит мне только крикнуть, – продолжала она, – сюда прибегут, и – хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ.

Тенардьё двинулся к ней.

– Не подходить! – крикнула она.

Он остановился и кротко сказал ей:

– Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка! Значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?

– Вы мне надоели, – ответила Эпонина.

– Нужно ведь нам, как-никак, жить, есть...

– Подышайте.

Она уселась на цоколь решетки и запела:

*М ручка так нежна,
М ножка так стройна,
А время пропадает...*

Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное.

Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и расвирепевшие.

А она спокойно и сурово глядела на них.

– Что-то ей засело в башку, – сказал Бабет. – Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины, на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное.

– Ладно, вы все ступайте туда! – вскричал Монпарнас. – Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется...

При свете фонаря блеснул открытый нож, вытасченный из рукава.

Тенардьё не говорил ни слова, и, видимо, был готов на все.

Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал.

Он задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается; всем было известно, что только из удалства он ограбил полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни и поэтому пользовался большим авторитетом.

– А ты что скажешь, Брюжон? – спросил Бабет.

Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, решил подать голос:

– Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда.

Они ушли.

По дороге Монпарнас пробормотал:

– Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил.

– А я нет, – сказал Бабет. – Дамочек я не трогаю.

На углу они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами:

– Где будем ночевать сегодня?

– Под Пантенем.

– Тенардье! При тебе ключи от решетки?

– А то у кого же!

Эпонина, не спускавшая с них глаз, видела, как они пошли той же дорогой, по которой пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Она проводила их до бульвара. Там шесть человек разошлись в разные стороны и потонули во мраке, словно растворились в нем.

Глава пятая. Что таится в ночи

После того как бандиты ушли, улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные деревья, кустарник, вересковые заросли, переплет ветвей, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; вещам неведомым нам, живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая, ошетилившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, источник и цель которых – чрево, с беспокойством принимают, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван, – оно возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и – чудится им – живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, испытывают смутный страх перед необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги; свирепое боится зловещего; волки пятаются перед оборотнем.

Глава шестая. Мариус возвращается к действительности и дает Козетте свой адрес

В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел рядом с Козеттой.

Никогда еще небо не было таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала.

Ее глаза покраснели.

То было первое облако над восхитительной мечтой.

– Что с тобой? – это были первые слова Мариуса.

– Сейчас... – начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: – Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать.

Мариус задрожал.

В конце жизни «умереть» – значит расстаться; в начале ее «расстаться» – значит умереть.

В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет», – прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм – всего-навсего кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, которую он ощущал, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились каждую ночь видеть друг друга во сне – и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавички, ботинки – все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил себе, – то был глухой, неясный лепет пробивающейся чувственности, – что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать свою. «Это моя» – «Нет, это моя». – «Уверю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я». – «То, что ты принимаешь за себя, – я». Мариус был частью Козетты, Козетта – частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это упоение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта – не твоя!»

Мариус пробудился. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к жизни.

Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала, что его рука стала холодной как лед. И теперь уже она спросила его:

– Что с тобой?

Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала:

– Я не понимаю, что ты говоришь.

Она повторила:

– Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию.

– Но ведь это чудовищно! – воскликнул Мариус.

Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, ни один поступок

Бузириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там какие-то дела.

– Когда же ты уезжаешь? – упавшим голосом спросил он.

– Он не сказал когда.

– А когда же ты вернешься?

– Он не сказал когда.

Мариус встал и холодно спросил:

– Козетта, вы поедете?

Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тески, и растерянно проговорила:

– Куда?

– В Англию. Вы поедете?

– Почему ты говоришь мне «вы»?

– Я спрашиваю вас, поедете ли вы?

– Но что же мне делать, скажи? – ответила она, умоляюще сложив руки.

– Значит, вы едете?

– А если отец поедет?

– Значит, вы едете?

Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее.

– Хорошо, – сказал Мариус. – Тогда и я уеду куда-нибудь.

Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте.

– Что ты хочешь сказать? – прошептала она.

Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу.

– Ничего, – ответил он.

Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему.

Улыбка любимой женщины сияет и во тьме.

– Какие мы глупые! Мариус, я придумала!

– Что?

– Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду.

Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю.

– Уехать с вами! – крикнул он Козетте. – Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа, на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги промокают; уже полтора месяца как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт!

Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя, как жесткая кора царапает ему лицо, не чувствуя лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния.

Долго стоял он так. Такое горе – бездна, порождающая желание остаться в ней навеки.

Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный.

То рыдала Козетта.

Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестное раздумье Мариуса.

Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ступни, выступавшей из-под платья.

Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня.

– Не плачь, – сказал он.

– Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне! – прошептала она.

– Ты любишь меня? – спросил он.

Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы:

– Я обожаю тебя!

Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал:

– Не плачь. Ну ради меня, не плачь!

– А ты? Ты любишь меня? – спросила она.

Он взял ее за руку.

– Козетта! Я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь давать слово. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру.

В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать.

– Теперь слушай, – сказал он. – Не жди меня завтра.

– Почему?

– Жди послезавтра.

– Почему?

– Потом поймешь.

– Целый день не видеть тебя! Это невозможно.

– Пожертвую одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь.

– Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером, – вполголоса, как бы про себя, прибавил Мариус.

– О ком ты говоришь? – спросила Козетта.

– Я? Я ничего не сказал.

– На что же ты надеешься?

– Подожди до послезавтра.

– Ты этого хочешь?

– Да.

Она обхватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать выше, попыталась просесть в его глазах то, что составляло его надежду.

– Я вот о чем думаю, – снова заговорил Мариус. Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать.

Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены: Стекольная улица, э 16.

Козетта опять посмотрела ему прямо в глаза.

– Скажи мне, Мариус, что ты задумал? Ты о чем-то, думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь!

– О чем я думаю? Вот о чем: чтобы бог хотел нас разлучить – этого не может быть. Жди меня послезавтра.

– Что же я буду делать до тех пор? – спросила Козетта. – Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливы мужчины! А я останусь одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи.

– Я попытаюсь кое-что предпринять.

– А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из Эврианты, то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ждать тебя ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Ты слышишь? Ровно в девять часов я буду в саду.

– Я тоже.

Безотчетно, движимые одной мыслью, увлекаемые электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби упоенные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды.

Когда Мариус ушел, улица была пустынна. Эпониная шла следом за бандитами до самого бульвара.

Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль, – мысль, которую, увы! он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.

Глава седьмая.

Старое сердце и юное сердце друг против друга

Дедушке Жильнорману пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер страстей господних, э 6, в своем старом доме. Как помнит читатель, это был человек старого закала, которые ждут смерти, держась прямо, которых и время лет не сгибает и даже печаль не клонит долу.

И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал тростью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение полугода он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно прочел он в Монитере следующее словосочетание: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец несомненно впал в уныние. Он не уступил, не сдался, – это было не свойственно ни его физической, ни нравственной природе, – он испытывал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, – другими словами этого не выразить – ждал Мариуса, убежденный, что «скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ждать, то... Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает, если чувства искренни и естественны, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному исчезнувшему внуку. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего прочего Жильнорман чувствовал, или убедил себя, что ему, деду нельзя делать первый шаг. «Лучше околеть», – говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе с глубоким умилением и немим отчаяньем старика, уходящего во тьму.

У него начали выпадать зубы, и от этого он еще сильнее затосковал.

Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса.

В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, видимо желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он все время смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал:

– По-моему, он похож на нее.

– На сестру? – спросила девица Жильнорман. – Ну, конечно!

– И на него тоже, – прибавил старик.

Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить:

– Отец! Неужели вы все еще сердитесь?..

Она запнулась.

– На кого? – спросил он.

– На бедного Мариуса.

Он поднял свою старую голову, стукнул костлявым морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул:

– Вы говорите: «бедный Мариус»! Этот господин-шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка!

И отвернулся, чтобы дочь не заметила слез на его глазах.

Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери:

– Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить.

Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса».

«После той глупости» означало: с тех пор, как она вышла замуж за полковника.

Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Жильнорман не согласился на подставное лицо. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя и понял, что тут пахнет наследством, не выдержал тяжелой повинности – нравиться. Старик наскучил улану, улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был малый, вне всякого сомнения, веселый, но не в меру болтливый; легкомысленный, но пошловатый; любивший хорошо пожить, но плохо воспитанный; у него были любовницы, это правда, и он много о них говорил, – это тоже правда, – но говорил дурно. Все его качества были с изъязном. Жильнорману надоело слушать рассказы о его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. К довершению всего, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это делало его уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери:

– Довольно с меня этого Теодюля. Принимай его сама, если хочешь. В мирное время я не чувствую особого пристрастия к военным. Я предпочитаю саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на поле битвы не так противен, как стукотня ножен по мостовой. Кроме того, пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, как баба, носить корсет под кирасой – это уж совсем смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе. Напрасно дочь твердила ему: «Но ведь это ваш внучатый племянник».

Жильнорман, ощущавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей.

Так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль заставил его еще больше жалеть о Мариусе.

Однажды вечером, – это было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, – он отпустил дочь, и она занялась шитьем в соседней комнате. Он сидел в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как одевались щеголи во времена его молодости, и был похож на старинный портрет Гара. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда

он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну.

«Халат слишком старит», – говорил он.

Жильнорман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. В нем закипал гнев, и в конце концов его озлобленная нежность переходила в негодование. Он дошел до такого состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. Он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже возвратился бы, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «этого господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться.

«Неужели, – говорил он себе, и это был его горестный ежедневный припев, – неужели он не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил:

– Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса?

Старик выпрямился в кресле, мертвенно бледный, похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь:

– Как? Господина Мариуса?

– Не знаю, – ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина, – сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел молодой человек, доложите, что это господин Мариус».

Жильнорман пробормотал еле слышно:

– Проси.

Он сидел в той же позе, голова его тряслась, взор был устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус.

Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти.

Его почти нищенская одежда была не видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо.

Старик Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, это был он, это был Мариус! Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, подобрал его в себя одним взглядом. Он нашел, что Мариус красивый, благородный, изящный, взрослый, сложившийся мужчина, умеющий себя держать, обаятельный. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и, в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жесткость. Он резко спросил:

– Что вам нужно?

– Сударь... – смущенно заговорил Мариус.

Жильнорману хотелось, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом и самим собой. Жильнорман чувствовал, что он резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им.

– Зачем же вы все-таки пришли? – с угрюмым видом перебил он Мариуса.

Это «все-таки» обозначало: «Если вы пришли не за тем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придавала сходство с мрамором.

– Сударь...

Старик опять сурово прервал его:

– Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?

Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрогнул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил:

– Нет, сударь!

– В таком случае, – с мучительной и гневной скорбью вскричал старик, – чего же вы от меня хотите?

Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом:

– Сударь! Сжальтесь надо мной.

Эти слова вывели Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Он встал; он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом.

– Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина, вы богаты единственным настоящим богатством, какое только существует, а я – всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц – Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди – настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны.

Старик снова спросил серьезно и сердито:

– Так чего же вы от меня хотите?

– Сударь, – ответил Мариус, – я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кой о чем, после этого я сейчас же уйду.

– Вы глупец! – воскликнул старик. – Кто вам велит уходить?

Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца. Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею! Жильнорман чувствовал, что Мариус может сейчас уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его росла, но так как она тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал:

– Как! Вы пренебрегли мной, вашим дедом, вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда, вы огорчили вашу тетушку, вы сделали это, – догадаться нетрудно, – потому что гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, изображать из себя щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали о себе вестей, наделали долгов, даже не попросив меня заплатить их, вы стали буяном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне?

Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности заградил Мариусу уста.

Жильнорман скрестил руки свойственным ему властным жестом и с горечью обратился к Мариусу:

– Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите.

– Сударь! – заговорил наконец Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть. – Я пришел попросить у вас позволения жениться.

Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь.

– Попросите сюда мою дочь.

Минуту спустя дверь снова приоткрылась, мадмуазель Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника; Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал:

– Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте.

Отрывистый и хриплый голос старика свидетельствовал об особой силе его гнева. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса, – она словно не узнавала его, – и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана.

Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился целой речью:

– Жениться? В двадцать один год! И все у вас улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примирять одно с другим. Республика – недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко, на улице Сент-Антуан, напротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «Двадцать восьмого июля тысяча восемьсот тридцатого года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Могу ли я позволить себе нескромность и спросить, на ком?

Он остановился, но, прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил:

– Ага, значит, у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом?

– Ничего, – ответил Мариус с твердой и почти свирепой решимостью.

– Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю?

Мариус ничего не ответил. Жильнорман продолжал:

– А, понимаю. Значит, девушка богата?

– Не богаче меня.

– Что? Бесприданница?

– Да.

– Есть надежды на будущее?

– Не думаю.

– Совсем нищая. А кто такой ее отец?

– Не знаю.

– Как ее зовут?

– Мадмуазель Фошлеван.

– Фош... как?

– Фошлеван.

– Пффф! – фыркнул старик.

– Сударь! – вскричал Мариус.

Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой:

– Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров в год. Баронессе

Понмерси придется самой ходить к зеленщице и покупать па два су петрушки.

– Сударь! – заговорил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда. – Умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться!

Старик рассмеялся злобным, скрипучим смехом, прерываемым кашлем.

– Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого набитого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы тогда и без него! Ну да все равно, я ему скажу: „Старый осел! Счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадмуазель – все равно какой, дочерью – все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне наплевать на мою карьеру, на мое будущее, на мою молодость, на мою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!“ И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Кашлеван, Пеклеван... Нет, сударь, никогда, никогда!

– Отец!

– Никогда!

По тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда утрачена. Он медленно направился к выходу, понунив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, какая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, втащил обратно и втолкнул в кресло.

– Ну, рассказывай!

Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса.

Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо Жильнормана выражало грубое, не находившее себе выражения в слове добродушие. Предок уступил место деду.

– Ну полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Черт побери, до чего глупы эти юнцы!

– Отец... – снова начал Мариус.

Все лицо старика озарилось каким-то необыкновенным сиянием.

– Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад!

В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола; жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что Жильнорман взирал на него с изумлением.

– Итак, отец... – начал Мариус.

– Так вот оно что! – прервал его Жильнорман. – У тебя правда нет ни гроша? Ты одет, как воришка.

Он порылся в ящике, вынул кошелек и положил на стол.

– Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу.

– Отец! – продолжал Мариус. – Дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду – она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, – не знаю сам, как это случилось, – влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижу с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только: они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, ну я и подумал: «Пойду к бабушке и скажу ему все». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, утоплюсь. Я непременно должен жениться на ней, а то я сойду с ума. Вот вам вся правда: кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов.

Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением, медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табака на колени.

– Улица Плюме? Ты говоришь, улица Плюме? Погоди-ка! Нет ли там казармы? Ну да, это та самая.

Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Черт возьми, да, на улице Плюме. На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельган-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, беды в этом нет. Да и не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус! Я считаю, что если молодой человек влюблен, то это похвально. Так и надо в твоём возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Я должен отдать себе справедливость: из всех санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь?

Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой.

Старик захохотал, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, лукаво пожимая плечами:

– Дурачок! Сделай ее своей любовницей.

Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Памелы, казармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантазмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред кончился словами, которые Мариус понял и которые представляли собой смертельное оскорбление для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги.

Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым, уверенным шагом направился к дверям.

Затем обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил:

– Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте.

Жильнорман, окаменев от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести слово, дверь закрылась и Мариус исчез.

Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как пораженный громом не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала ему горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил:

– Помогите! Помогите!

Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом:

– Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже не вернется!

Он бросился к окну, выходявшему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса, – Баск и Николетта удерживали его сзади, – и стал кричать:

– Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!

Но Мариус не мог слышать его; в это мгновение он уже сворачивал на улицу Сен-Луи.

Девяностолетний старик, с выражением тягчайшей муки, несколько раз поднял руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.

Книга девятая Куда они идут?

Глава первая. Жан Вальжан

В тот же день, в четыре часа Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться, или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах, картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. Сейчас, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье; Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардье бродит здесь неспроста. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардье здесь – значит все опасности налицо. Кроме того, в Париже чувствовал себя беспокойно всякий, кто имел основания что-либо скрывать: политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Море, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе Марсова поля, он глубоко задумался – его обуревали мысли о Тенардье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта.

Он был очень озабочен всем этим.

Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился сейчас, усиливал его тревогу. Утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты были еще закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-видимому, гвоздем:

Стекольная улица, э 16.

Это было сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это значит? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад стал доступен и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз полошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он ничего не сказал Козетте о строчке, нацарапанной на стене, – он боялся ее испугать.

Внезапно его тревожные размышления были прерваны – он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился за его спиной на откосе. Он хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул и прочел написанное карандашом, большими буквами, слово:

Переезжайте

Жан Вальжан вскочил – на откосе уже никого не было. Осмотревшись, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах, – перешагнув парапет, он соскользнул в ров Марсова поля.

Жаль Вальжан в глубоком раздумье отправился домой.

Глава вторая. Мариус

Мариус ушел от Жильнормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в полном отчаянии.

Впрочем, – те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это, – улан, пустельга-офицер, двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения – те же морщины. В ранней юности их не бывает. Что потрясает Отелло, то не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам – обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. На дворе уже было утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и собирались уходить.

Курфейрак спросил его:

– Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?

Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски.

Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову.

Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда в голове у него словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все еще вчера. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше – тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из задумчивости и спрашивал себя «Не дерутся ли там?»

С наступлением темноты, ровно в девять часов, Мариус, как обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал лишь глубокую, невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, столь властны над ним и столь восхитительны, что, посетив его, они заполняют все его сердце. Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросли и прошел к углублению возле крыльца «Она ждет меня здесь», – подумал он. Козетты и там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад, – в саду никого. Он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал, еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это были пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» – крикнул он. «Козетта!» – повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду; никого в доме.

Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий – обнесли гроб вокруг Вандомской колонны, бросили камни в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, сорвали галльского петуха с народного знамени и втоптали в грязь, у ворот Сен-Мартен полицейского ударили саблей, офицер 12-го легкого кавалерийского полка громко провозгласил: «Я республиканец», Политехническая школа вырвалась из своего вынужденного заточения и появилась здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» – отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.

Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой? Он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, этот самый с рыжей бородкой появился в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.

Колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, – он прощался с Ламарком. Это была умильная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили – с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громкие крики: Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу! Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета – по Морландской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.

Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской

набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча, с мрачно выжидающим видом, двигались шагом. В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, другие – что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно одно: внезапно раздались три выстрела; первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым – глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третьим задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!...» – и тут же, со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая перед собой все.

Этим все сказано: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны долетает до четырех сторон Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

Глава третья. Мабеф

Кошелек Жана Вальжана не принес пользы Мабефу.

По своей благородной, но наивной строгости, Мабеф не принял подарка звезд; он не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, а Мабефа он не выручил.

Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору.

Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его Флоры. Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением клише он не мог пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры Флоры и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как неполноценные. У него ничего больше не осталось от труда всей его жизни. Он проедал деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил сад и оставил его невозделанным. Уже давно он отказался от яиц и куска мяса. Он заменил их хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чего мог обойтись, из постельного белья, лишнюю одежду, одеяла, затем гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, Исторические и библейские четверостишия, издание 1560 года, Свод библии Пьера де Бесса, Жемчужины. Маргариты

Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, об обязанностях и достоинстве посла сьера де Вилье-Хотмана, Раввинский стихослов 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец, экземпляр Диогена Лаэртца, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, XIII века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи XII столетия из Неаполитанской библиотеки. Мабеф не разжигал камина в спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий это наиболее леденящее. Однако папаша Мабеф не утратил своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги; он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэртца. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, уцелел только его книжный шкаф со стеклянными дверцами.

Однажды тетушка Плутарх сказала ему:

– Мне не на что приготовить обед. То, что она называла обедом, состояло из хлеба и нескольких картофелин.

– А в долг? – спросил Мабеф.

– Вы отлично знаете, что в долг мне не дают.

Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассматривал свои книги, словно отец, вынужденный отдать на заклатие одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул под мышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал:

– Вот вам на обед.

Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось тенью, и тень эта уже не исчезала.

Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать книги, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека перешла к ним. Иногда он говорил: «Мне ведь восемьдесят лет», словно у него была тайная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малаке, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Гре. «Я должен пять су», – сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он не обедал.

Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель Общества навестил его, обещал поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! – воскликнул министр. – Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день Мабеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены», – сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти, спросила кого-то: «Кто этот старик?» Он вернулся домой пешком, в полночь, под проливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра.

Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэртца. Он достаточно хорошо знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Так прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, больная чувствовала себя хуже, нужна была сиделка. Мабеф открыл шкаф – там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэртций.

Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому; это было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату.

На следующий день с рассветом он сел в саду на опрокинутую тумбу; через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел все утро, опустив голову и тупо глядя на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы.

Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил:

– Что это такое?

Садовник совершенно спокойно ответил:

– Бунт.

– Какой бунт?

– Такой. Дерутся.

– Почему дерутся?

– А бог их знает! – сказал садовник.

– Где же это? – спросил Мабеф.

– Где-то возле Арсенала.

Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее под мышку, не нашел и, сказав: «Ах да, я и забыл!», вышел из дому с растерянным видом.

Глава четвертая. Волнения былых времен

Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там – внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, мигом исчезают выставки товаров; потом слышатся одиночные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, началась потеха!»

Не прошло и четверти часа, как в двадцати местах Парижа почти одновременно произошло следующее:

На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуте спустя вышли оттуда, неся горизонтально трехцветное, обернутое крепом знамя, предшествоваемые тремя вооруженными людьми, – один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.

На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, зычным голосом предлагал прохожим патроны.

На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя; на нем белыми буквами начертаны были слова: Республика или смерть! На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились люди со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слово секция и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и с чуть заметной промежуточной белой полоской.

На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников, – одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-Конт, третью на улице Тампль. В течение нескольких минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей, – почти все двустольные, – шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Один брал ружье, другой – штык; таким образом можно было вооружить больше народа.

Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое – патроны, мой муж потом сказал мне». Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла ятаганы и турецкое оружие.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.

И всюду – на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков – запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций читали прокламации и кричали «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребках, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады. Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствовавших мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: Оружие сдано. Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья или сабли и говорили: Завтра пошлите за ними в мэрию. На улицах разоружали часовых-одинок и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.

В квартале Сен-Жак студенты роями вылетали из меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдных» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснотен, чтобы построить баррикады, разобрали лесной склад. Только в одном месте – на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран – жители оказали сопротивление и разрушили баррикаду. И только в одном месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, которую начали возводить на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли ключья на своих штыках.

То, что мы рассказываем здесь медленно и в определенной последовательности, происходило сразу во всем городе, в невероятной суматохе; это было как бы множество молний и один раскат грома.

Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был знаменитый дом э 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, с другой – баррикадой на улице Мобюз, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом: одна – с улицы Монторгейль на Большую Бродяжную, другая – с улицы Жофруа-Ланжевен на Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах

Парижа, в Маре, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной – на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой – возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры. У баррикад на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто был начальником над баррикадой, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, – сказал он, – на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты.

Мятеж действовал по всем законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. У человека, убитого на улице Понсо, как установили, обыскав его, был план Парижа.

В действительности мятежом правила какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Маре, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д'О, все улицы возле рынков; на левом берегу – казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Третий Парижа была в руках повстанцев.

Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, обыски, быстрый захват оружейных лавок свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.

К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска – другой, противоположный. Перестрелка шла от решетки к решетке. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса провел он в этом затруднительном положении. Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа барабанщику нанесли удар кинжалом. Другой барабанщик, на Лебязьей улице, был окружен тридцатью молодыми людьми; они прорвали барабан и отобрали у него саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт были убиты, один за другим, три офицера. Многие муниципальные гвардейцы, раненные на Ломбардской улице, отступили.

Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с надписью: Республиканская революция. э 127. Была ли это революция на самом деле? Восстание превратило центр Парижа в недоступную, в извилинах его улиц, огромную цитадель.

Здесь находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались – это и доказывало, что вопрос решался именно здесь.

В некоторых полках солдаты колебались, и от этого неизвестность исхода представлялась еще ужаснее. Солдаты вспоминали народное ликование, с которым был встречен в июне 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в

больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками, – Бюжо под началом Лобо. Многочисленные отряды, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествоваемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали. Правительство, располагавшее целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, послышался набат в монастыре Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, помнивший Аустерлиц, смотрел на вещи мрачно.

Старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и сведений о руководстве только знанием тактики – этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.

Второпях прибежали национальные гвардейцы предместья. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.

В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полнейшее спокойствие.

Глава пятая. Своеобразие Парижа

Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем, – ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышится барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник говорит:

– Кажется, заварилась каша на улице Сен-Мартен.

Или:

– В предместье Сент-Антуан.

Часто он беззаботно прибавляет:

– Где-то в той стороне.

Позже, когда уже можно различить мрачную, душераздирающую трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:

– Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!

Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки проворно закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.

Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.

Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то

жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.

Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; в других столицах ее не обнаружишь. Для этого необходимы два условия – величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: Сначала раздобудьте полк; что Лафайет болен, но тем не менее заявил: Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь, или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят по направлению к центру восстания: первая – от Бастилии, вторая – от ворот Сен-Мартен, третья – от Гревской площади, четвертая – от рынков; что, возможно, впрочем, поиска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было ясно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке неведомое чудовище.

Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В Консьержери, в длинном подземелье, именовавшемся «Парижской улицей», на охапках соломы валялись арестованные; лионец Лагранж мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под копошившимися на ней людьми напоминало шум ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Всюду чувствовались тревога и какой-то несвойственный Парижу трепет.

В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство; только и слышалось: «Боже мой, его еще нет!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому, неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего – к исступленному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» По мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

Книга десятая
5 июня 1832 года

Глава первая. Внешняя сторона вопроса

Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносающегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются на пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой.

Куда?

На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других.

Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушные в сочетании с ослеплением, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, тщеславие, считающее себя обойденным судьбой, недовольство, несбыточные мечты, честолубие, окруженное непреодолимыми преградами, тщеславие, обвиняющее судьбу в крушении своих надежд, наконец, в самом низу, чернь, воспламеняющаяся грязь – таковы составные элементы мятежа.

Самое великое и самое ничтожное; существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, праздношатающиеся, темные личности, бродяги предместий, все, кто ночует в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безымянные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые, – все они принадлежат мятежу.

Всякий, кто носит в душе тайный бунт против государства, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь.

Мятеж – это своего рода смерч, при известной температуре внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчит, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, ствол дерева и соломинку.

Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга.

Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика – в генерала.

Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то, с точки зрения власти, мятеж в небольшой дозе не вреден. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания.

Мятеж тридцать лет назад рассматривался еще и с других точек зрения.

Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом».

Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерное доброжелательство; являясь смешением порицания и прощения, она воображает себя мудростью, на самом деле часто оказываясь всего лишь педантизмом. Целая политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы – между горячей и холодной. Школа

эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полужнания бранит народные волнения.

Если послушать эту школу, то окажется, что: «Мятежи, усложнившие переворот 1830 года, лишили в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю революцию, вначале отмеченную единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые изъяны; мятеж обнаружил их. Появились основания для того, чтобы утверждать: „Ага! Наступил перелом“. После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу.

Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх, во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Вычислено, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй – сорок, третий – шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов, – иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей.

Конечно, с точки зрения исторической, мятеж по-своему прекрасен; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом – сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее яркие особенности парижского характера: великодушие, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие в возрасте, – это одна и та же раса, это те же стойкие, умирающие в возрасте двадцати лет за идею и в сорок лет – за семью. Армия, которую всегда огорчает гражданская война, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали мужество буржуазии.

Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих: «Что же, мы все это предвидели! Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, и Францию, несомненно ослабевшую. Прибавьте – потому что следует сказать обо всем – кровопролития, слишком часто позорящие победу расвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге – мятежи были губительны».

Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется весьма охотно.

А мы – мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за ту же

цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые только кажутся доводами, а на самом деле представляют собой только слова. Предмет наших размышлений – мятеж, исследуем же его сущность. В вышеизложенном доктринерском выражении речь идет только о следствии, мы же ищем причины. Мы уточняем.

Глава вторая. Суть вопроса

Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух видов гнева: один – неправый, другой – правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда кучке людей удается захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить его взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одно и то же оружие, наведенное на толпу, виновно 10 августа и право 14 вандемьера. С виду схоже, по существу различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт – истинное. То, что всеобщее голосование создало, сознавая свою свободу и верховенство, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации; инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельсов, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием. Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней, – это мятеж. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона – это мятеж; Париж против Бастилии – это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба – это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое расширение владений света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Что, например, может представиться более невероятным, чем длительное и кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»? Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!». Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы г-жи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки – вот мятеж. Вандея – это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества – нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание-это движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять – это насилие над человеческим родом. Восстание-это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же

мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI – это восстание; Гебер против Дантона – это мятеж.

Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутому выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением.

Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание – вулкан, а мятеж – горящая солома.

Бунт, как мы уже отмечали, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк – мятежник; Камилл Демулен – правитель.

Порою восстание – это возрождение.

Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования – явление совершенно новое, и четыре предшествовавшие ему века характеризовались попранием прав и страданиями народа, и все же каждая историческая эпоха несла с собой свою, возможную для нее, форму протеста. При цезарях не было восстаний, зато был Ювенал.

*Encit indignatio*¹²² заступает место Гракхов.

При цезарях был сиенский изгнанник; кроме него, был еще человек, написавший *Анналы*.

Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса; он тоже обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск *Апокалипсиса*.

Иоанн на своей скале – это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший *Анналы*, – латинянин; скажем точнее: римлянин.

Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу. Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, – слово страшное. Когда молчание навязано народу властелином, писатель удваивает, утраивает силу своего пера. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном. Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острые *цицероновского* периода, едва ощутимое для *Верреса*, совсем затупилось бы о *Калигулу*. Меньше размаха в строении фразы – больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью.

Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии.

Заметим мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит – два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик, бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии, – вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается особая чуткость божественного правосудия, которое не решилось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства.

¹²² Стих, порожденный возмущением (*лат.*) . Ювенал, Сатира, I.

Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры – Тацит и Ювенал – с еще большею пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить.

Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов – дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелкие, совесть немошна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммодe, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду.

Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится беспспорной, приходит ее истолкователь.

Но и Ювенал и Тацит, точно так же как Исая в библейские времена, как Данте в средние века, – это человек; мятеж и восстание – народ, иногда неправый, иногда правый.

Чаще всего мятеж является следствием причин материального порядка; восстание – всегда явление нравственного порядка. Мятеж – это Мазаньелло, восстание – это Спартак.

Восстание в дружбе с разумом, мятеж – с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. Когда народ голодает, у мятежа, – в Бюзансе, например, – реальный, волнующий, справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, исступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ-цель хорошая, истреблять его – плохой для этого способ.

Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается со смуты. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания – мятеж, точно так же, как исток реки – горный поток. И обычно оно впадает в океан – Революцию. Впрочем, иногда, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном, триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте.

Все это в прошлом, будущее-иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн, – как уличных войн, так и войн на границах государства, – вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра – это мир.

Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же, он плохо разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тявканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисовывается в полутьме, приняв львиный облик.

Тогда буржуа кричит: «Да здравствует народ!»

Так чем же является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание? Восстание.

Может статья, в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, не забывая о различии между его формой – мятежом и его сущностью – восстанием.

Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взмолванное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит в состояние спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев.

Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который остался в памяти парижан как эпоха мятежей, без сомнения представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века.

Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу.

События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой, драматической действительности, которой историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут, – мы на этом настаиваем, – именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Мелкие подробности, как мы, кажется, уже говорили, – это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далах истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует такого рода подробностями. Судебные следствия, хотя и по иным причинам, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что неведомо никому, – факты, которые повлекли за собой забвение одних и смерть других. Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже назавтра; но мы можем дать клятву: мы сами видели то, о чем собираемся рассказать. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный, – дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы приподнимем, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.

Глава третья.

Погребение – повод к возрождению

Весной 1832 года, несмотря на то, что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июле 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка. Ламарк был человек действия и доброй славы. И при Империи и при Реставрации он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и его предшественник Фуа, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой – за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя *in petto*¹²³ одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года он воспринял как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему

¹²³ душе (*итал.*)

поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со словом армия на устах. Ламарк со словом отечество.

Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство – как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло.

Накануне и в самый день 5 июня – день, назначенный для погребения генерала Ламарка, – Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив загнутую часть и заточив обломок. Другой, горя желанием «идти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Плотник Ломбье встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» – «Да видишь ли, у меня нет оружия». – «Ну так что же?» – «Вот я и иду на стройку за своим циркулем» – «А на что он тебе?» – «Не знаю», – ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Ну-ка, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал – «У тебя есть работа?» – «Нет». – «Поди к Фиспьеру – это между Монрейльской и Шаронской заставами, – там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «мчались как на почтовых», то есть бегали всюду, чтобы собрать свой народ У Бартеlemi, возле Тронной заставы, и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» – «Под блузой». – «А ты?» – «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Неистойвой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал больше недели, – хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время с ним спорить». Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос «Чего же ты хочешь?» – отвечал «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто. Итак, 5 июня, в день, то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа, с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал траурный кортеж. Гроб генерала Ламарка сопровождали два батальона, с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку, и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное, – члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей, знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, длинные трехцветные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивавшие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли по двое, по трое, крича, размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, где шумной толпой, где стройной колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей, какой-то человек, вооруженный двумя отчетливо проступавшими под одеждой пистолетами, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на деревьях, на балконах, в окнах, на крышах, всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; у всех глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела.

Правительство тоже наблюдало. Наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкетонами, четыре эскадрона карабинеров на конях, с трубачами

вперед; в Латинском квартале и в Ботаническом саду – муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице, на Винном рынке – эскадрон драгун; на Гревской площади – половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину – на площади Бастилии, 6-й драгунский – у Целестинцев; двор Лувра запрудил артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и тридцать тысяч в пригороде.

В процессии передавались слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочла его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. Выражение лица у большинства людей, шедших с непокрытыми головами, было восторженное и вместе с тем подавленное. Среди народа, находившегося во власти необузданных, но благородных страстей, виднелись физиономии настоящих злодеев, виднелись мерзкие рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда вся муть поднимается со дна на поверхность. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции.

Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий – обнесли гроб вокруг Вандомской колонны, бросили камни в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, сорвали галльского петуха с народного знамени и втоптали в грязь, у ворот Сен-Мартен полицейского ударили саблей, офицер 12-го легкого кавалерийского полка громко провозгласил: «Я республиканец», Политехническая школа вырвалась из своего вынужденного заточения и появилась здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» – отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.

Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой? Он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, этот самый с рыжей бородкой появился в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.

Колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг.

Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, – он прощался с Ламарком. Это была умильная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили – с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громкие крики: Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу! Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета – по Морландской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.

Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча, с мрачно выжидающим видом, двигались шагом. В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, другие – что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно одно: внезапно раздались три выстрела; первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым – глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» – и тут же, со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая перед собой все.

Этим все сказано: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны долетает до четырех сторон Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

Глава четвертая. Волнения былых времен

Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там – внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, мигом исчезают выставки товаров; потом слышатся одиночные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, началась потеха!»

Не прошло и четверти часа, как в двадцати местах Парижа почти одновременно произошло следующее:

На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда, неся горизонтально трехцветное, обернутое крепом знамя, предшествоваемые тремя вооруженными людьми, – один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.

На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, зычным голосом предлагал прохожим патроны.

На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя; на нем белыми буквами начертаны были слова: Республика или смерть! На улицах Постников,

Часовой, Монторгейль, Мандар появились люди со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слово секция и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и с чуть заметной промежуточной белой полоской.

На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников, – одну на улице Бобур, вторую на улице Мишел-Конт, третью на улице Тамплъ. В течение нескольких минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей, – почти все двустольные, – шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Один брал ружье, другой – штык; таким образом можно было вооружить больше народа.

Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое – патроны, мой муж потом сказал мне». Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла ятаганы и турецкое оружие.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.

И всюду – на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков – запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций читали прокламации и кричали «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребках, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады. Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствовавших мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: Оружие сдано.

Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья или сабли и говорили: Завтра пошлите за ними в мэрию. На улицах разоружали часовых-одинок и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.

В квартале Сен-Жак студенты роями вылетали из меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдных» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснонен, чтобы построить баррикады, разобрали лесной склад. Только в одном месте – на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран – жители оказали сопротивление и разрушили баррикаду. И только в одном месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, которую начали возводить на улице Тамплъ, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках.

То, что мы рассказываем здесь медленно и в определенной последовательности, происходило сразу во всем городе, в невероятной суматохе; это было как бы множество молний и один раскат грома.

Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был знаменитый дом э 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, с другой – баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом: одна – с улицы Монторгейль на Большую Бродяжную, другая – с улицы Жофруа-Ланжевен на Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Маре, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной – на улице Менильмонтан, где

виднелись ворота, сорванные с петель, и другой – возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры. У баррикад на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто был начальником над баррикадой, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, – сказал он, – на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты.

Мятеж действовал по всем законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. У человека, убитого на улице Понсо, как установили, обыскав его, был план Парижа.

В действительности мятежом правила какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Маре, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д'О, все улицы возле рынков; на левом берегу – казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Третий Парижа была в руках повстанцев.

Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, обыски, быстрый захват оружейных лавок свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.

К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска – другой, противоположный. Перестрелка шла от решетки к решетке. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса провел он в этом затруднительном положении. Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа барабанщику нанесли удар кинжалом. Другой барабанщик, на Лебязьей улице, был окружен тридцатью молодыми людьми; они прорвали барабан и отобрали у него саблю. Третий был убит на улице Грень-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт были убиты, один за другим, три офицера. Многие муниципальные гвардейцы, раненные на Ломбардской улице, отступили.

Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с надписью: Республиканская революция. э 127. Была ли это революция на самом деле? Восстание превратило центр Парижа в недоступную, в извилинах его улиц, огромную цитадель.

Здесь находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались – это и доказывало, что вопрос решался именно здесь.

В некоторых полках солдаты колебались, и от этого неизвестность исхода представлялась еще ужаснее. Солдаты вспоминали народное ликование, с которым был встречен в июне 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками, – Бюжо под началом

Лобо. Многочисленные отряды, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествоваемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали. Правительство, располагавшее целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, слышался набат в монастыре Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, помнивший Аустерлиц, смотрел на вещи мрачно.

Старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и сведений о руководстве только знанием тактики – этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.

Второпях прибежали национальные гвардейцы предместья. Батальон 12-го легкого полка прибыл па рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.

В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полнейшее спокойствие.

Глава пятая. Своеобразие Парижа

Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем, – ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышится барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник говорит:

– Кажется, заварилась каша на улице Сен-Мартен.

Или:

– В предместье Сент-Антуан.

Часто он беззаботно прибавляет:

– Где-то в той стороне.

Позже, когда уже можно различить мрачную, душераздирающую трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:

– Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!

Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки проворно закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.

Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.

Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.

Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; в других столицах ее не обнаружишь. Для этого необходимы два условия – величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: Сначала раздобудьте полк; что Лафайет болен, но тем не менее заявил: Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь, или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят по направлению к центру восстания: первая – от Бастилии, вторая – от ворот Сен-Мартен, третья – от Гревской площади, четвертая – от рынков; что, возможно, впрочем, поиска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было ясно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке неведомое чудовище.

Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В Консьержери, в длинном подземелье, именовавшемся «Парижской улицей», на охапках соломы валялись арестованные; лионец Лагранж мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под копошившимися на ней людьми напоминало шум ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Всюду чувствовались тревога и какой-то несвойственный Парижу трепет.

В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство; только и слышалось: «Боже мой, его еще нет!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому, неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего – к исступленному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» По мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

Книга одиннадцатая Атом братается с ураганом

Глава первая.

О корнях поэзии Гавроша. Влияние на его поэзию одного академика

В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, спасаться, – одни, призывая к сопротивлению, другие, поблещив от страха. Огромная река людей, затоплявшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговли всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как тебя? Я забираю твою машинку!» – убежал с пистолетом.

Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, увидела мальчика, который шел ей навстречу, размахивая пистолетом и напевая:

*Днем видно все, зато ночами
Мы ни черта не видим с вами!
Любой забористый стишок,
Для буржуа – что вилы в бок,
Эй, қолғақи! Господь-свидетель,
Вы позабыли добродетель.*

То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну.

На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки.

Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, он сам. Гаврош хорошо знал народные песенки и присоединял их к своему щебету. Проказливый гном, уличный мальчишка, он создавал попури из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.

Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для братьев. Братья вечером, отец утром – вот какова была его ночь.

Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешил вернуться к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, а затем ушел, доверив их доброй матушке-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого.

Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес речь. «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю.

Ребята! Если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Мальчики, подобранные полицейским сержантом и отведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромном городе-этой китайской головоломке, не возвратились. На дне нашего общества полно таких потерянных следов. Гаврош больше не видел ребят. С той ночи прошло месяца три. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, черт возьми, девались мои ребята?»

Итак, он пришел, с пистолетом в руке, на Капустный мост. Он заметил, что на этой улице оставалась открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало особого внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть еще разок

яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ни единого су, закричал: «Караул!»

Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!

Однако это не помешало Гаврошу продолжить свой путь.

Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.

Немного дальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевков философской желчи:

– До чего они жирные, эти самые рантье! Откормленные. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут – сколько влезет в брюхо.

Глава вторая. Гаврош в походе

Размахивать среди улицы пистолетом без собачки – занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:

– Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете! Друзья мои! Я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья кровь поля зальет! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма!

В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше.

На улице Торињи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Маре, представляло резкий контраст с сильнейшим возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже – квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету – в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье.

Но кумушки с улицы Торињи – три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком – занимались только своими обычными делами.

Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости – одряхления, немощи, нужды и печали. Тряпичница была женщина смиренная. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница кланяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают ее привратницы, скоромной или постной, – по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна. Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:

– А ваша кошка все такая же злюка?

– Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки – вот кто может на них пожаловаться.

– Да и люди тоже.

– Однако кошачьи блохи не переходят на людей.

– Это пустяки, вот собаки – те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля?

– А мне больше нравился герцог Бордоский.

– А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.

– Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!

– И не говорите, мясники – это просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.

Тут вмешалась тряпичница.

– Да, сударыни, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают.

– Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.

– Что правда, то правда, – угодливо согласилась тряпичница, – у меня все-таки есть профессия.

После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:

– Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (по-видимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам в комнате. Тряпки убираю в корзину, огрызки – в лохань, простые лоскутья – в шкаф, шерстяные – в комод, бумагу – в угол под окном, съедобное – в миску, осколки стаканов – в камин, стоптанные башмаки – за двери, кости – под кровать.

Гаврош, остановившись сзади, слушал.

– Старушки! По какому это случаю вы завели разговор о политике? – спросил он.

Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него.

– Еще один злодей тут как тут!

– Что это он держит в своей культике? Пистолет?

– Скажите на милость, этаким негодник!

– Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!

Гаврош, исполненный презрения, вместо возмездия ограничился тем, что всей пятерней сделал им нос.

– Ах ты, бездельник босопятый! – крикнула тряпичница.

Мамаша Патагон яростно всплеснула руками:

– Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бородашкой, он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, – уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в... в... – ну там, где этот теленок! – в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодьями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж, наверное, увижу на гильотине!

– Ты сопишь, старушенция, – заметил Гаврош. – Высморкай получше свой хобот.

И пошел дальше.

Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и произнес следующий монолог:

– Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.

Внезапно он услышал сзади крик; погнавшаяся за ним привратница Патагон издала угрозу ему кулаком и крикнула:

– Ублюдок несчастный!

– Плевать мне на это с высокого дерева, – ответил Гаврош.

Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он кликнул клич:

– Вперед, на бой!

Но его вдруг охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаюсь его растрогать.

– Я иду биться, – сказал он, – а ты вот не бьешь!

Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробежал тощий пуделек, Гаврош разжалобился.

– Бедненький мой тяв-тяв! – сказал он ему. – Ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу.

Затем он направился к Орм-Сен-Жерве.

Глава третья.

Справедливое негодование парикмахера

Почтенный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во времена Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он приукрасил бы его и назвал: «Диалог бритвы и сабли».

– А как император держался на лошади? – спросил парикмахер.

– Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.

– А хорошие у него были кони? Должно быть, прекрасные?

– В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. Это была белая рысистая кобыла. У нее были широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.

– Славная лошадка, – заметил парикмахер.

– Да, это была верховая лошадь его величества.

Парикмахер почувствовал, что после таких торжественных слов надо помолчать; потом заговорил снова:

– Император был ранен только раз, ведь правда, сударь?

Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который при этом присутствовал:

– В пятку. Под Ратисбоном. Я никогда не видел, чтобы он был так хорошо одет, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.

– А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?

– Я? – спросил солдат. – Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем – пулю в правую руку, другую – в левую ляжку под Иеной, под Фридландом – удар штыком, вот сюда, под Москвой – не то семь, не то восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец... Ах да, еще в битве под Ватерлоо меня ударило картечью в бедро. Вот и все.

– Как прекрасно умереть на поле боя! – с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. – Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, постепенно, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот ядро!

– У вас губа не дура, – заметил солдат.

Только успел он это сказать, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной. Парикмахер побледнел как полотно.

– О боже! – воскликнул он. – Это то самое!

– Что?

– Ядро.

– Вот оно, – сказал солдат и поднял что то, катившееся по полу. То был булыжник.

Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убежавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо парикмахерской, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать брадобрея по-своему и швырнул камнем в окно.

– Понимаете, – прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, – они делают пакости лишь бы напакостить! Кто его обидел, этого мальчишку?

Глава четвертая. Ребенка удивляет старик

Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскали их и вступили в их отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбефера – ружье национальной гвардии с номером легиона, а за поясом – два пистолета, высывавшихся из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера – старый кавалерийский мушкетон, у Баореля – карабин, Курфейрак размахивал тростью, из которой он вытащил клинок Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди и кричал – «Да здравствует Польша!»

Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним.

– Куда мы идем?

– Иди с нами, – ответил Курфейрак. Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежников, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел запас слов, способных сокрушить все что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего. Потеряв голову от страха, прохожий крикнул:

– Красные пришли!

– Красные, красные! – подхватил Баорель. – Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, красная шапочка не внушает мне ужаса. Поверьте мне, буржуа: предоставим бояться красного только рогатому скоту.

Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства – разрешение есть яйца, это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве».

– Паства! – воскликнул Баорель. – Это вежливая форма слова «стадо».

И сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю.

– Ты неправ, Баорель, – заметил Анжольрас. – Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный.

– У каждого своя манера, – возразил Баорель. – Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. Ты вот весь пылаешь, хоть с виду и холоден, ну, а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег. А послание я разорвал, клянусь Геркулесом, только чтобы войти во вкус!

Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он почувствовал уважение. И он спросил его:

– Что это значит – «Геркулес»?

– По-латыни это значит: черт меня побери, – ответил Баорель.

Тут он увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому, одного из Друзей азбуки, и крикнул ему:

– Живо патронов! Para bellum!¹²⁴

– Красивый мужчина! Это верно, – сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь.

Их сопровождала шумная толпа – студенты, художники, молодые люди, члены Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В толпе шел старик, с виду очень дряхлый. Оружия у него не было, но он старался не отставать, хотя, видимо, был погружен в свои мысли.

Гаврош заметил его.

– Этшкое? – спросил он.

– Так, старичок.

То был Мабеф.

Глава пятая.

Старик

Расскажем о том, что произошло.

Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, как вдруг драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер были среди тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика.

Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. Хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке.

Курфейрак узнал папашу Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы, старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог:

– Господин Мабеф! Идите домой.

– Почему?

– Начинается суматоха.

– Отлично.

– Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабеф.

– Отлично.

– Палить из пушек.

– Отлично. А куда вы все идете?

– Мы идем свергать правительство.

– Отлично.

И он пошел с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки – он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо – как у спящего.

– Что за странный старикан! – перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый царевбийца.

¹²⁴ bellum – готовься к войне (лат.). Произношение belium (лат.) – война – сходно с bel homme (франц.) – красивый мужчина.

Все это скопище вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел:

*Вот луна поднялась в небеса
— Не пора ли? Ложится роса, —
Молвил Жан несговорчивой Жанне.
Пу, ту, ту
На Шату.
Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.
Чтобы клюкнуть, — не смейтесь, друзья! —
Встали до свету два воробья
И росы наклались в тимьяне.
Зи, за, зи
На Пасси.
Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.
Точно пьяницы, в дым напилась,
Точно два петуха подрались. —
Тигр от смеха упал на поляне.
Дон, дон, дон
На Медон.
Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.
Чертыхались на все голоса.
— Не пора ли? Ложится роса, —
Молвил Жан несговорчивой Жанне.
Тен, тен, тен
На Пантен.
Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.*

Они направлялись к Сен-Мерри.

Глава шестая. Новобранцы

Толпа увеличивалась с каждым мгновением. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его вызывающую, грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и не обратил никакого внимания на этого человека.

Свернув на Стекольную улицу, толпа прошла мимо подъезда Курфейрака.

— Это очень кстати, — сказал Курфейрак, — я забыл дома кошелек и потерял шляпу.

Он оставил толпу и, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Он взял старую шляпу и кошелек и захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница:

— Господин де Курфейрак!

— Привратница! Как вас зовут? — вместо ответа спросил Курфейрак.

Привратница опешила.

— Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен.

— Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите, в чем дело? Что такое?

— Здесь кто-то вас спрашивает.

– Кто такой?

– Не знаю.

– Где он?

– У меня, в привратничкой.

– К черту! – крикнул Курфейрак.

– Но он уже больше часа вас ждет, – заметила привратница.

В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский.

– Можно видеть господина Мариуса?

– Его нет.

– Вечером он вернется?

– Не знаю, – ответил Курфейрак и прибавил: – А я не вернусь.

Молодой человек пристально взглянул на него и спросил:

– Почему?

– Потому.

– Куда же вы идете?

– А тебе какое дело?

– Можно мне понести ваш ящик?

– Я иду на баррикаду.

– Можно мне пойти с вами?

– Как хочешь! – ответил Курфейрак. – Улица свободна, мостовые – для всех.

И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними.

Толпа никогда не идет туда, куда хочет. Мы уже говорили, что ее как бы несет ветер. Она миновала Сен-Мерри и оказалась, сама хорошенько не зная, каким образом, на улице Сен-Дени.

Книга двенадцатая

«Коринф»

Глава первая.

История «Коринфа» со времени его основания

Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона I с надписью:

НАПОЛЕОН ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН

Однако они не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет назад.

Здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок «Коринф».

Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, ныне покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света.

Да будет нам позволено прибегнуть для ясности к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сен-Эсташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, приняв за вершину улицу Сен-Дени, а за основание – рынок, вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шанврери, а поперечина – улицу Малую Бродяжную. Старая улица Мондетур перерезала все три линии буквы N под самыми неожиданными углами. Таким образом, путанный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туаэ, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени – с одной стороны, и улицами Лебязьей и Проповедников-с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, разной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке.

Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных улочках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмизэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной между фасадами домов тянулись подпиравшие их балки. Улица была узкая, а сточная канава – широкая; прохожие брели по мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погребца, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто все это стерла. Название Мондетур¹²⁵ точно соответствует своенравию улицы. Еще выразительнее говорит об этом название улицы Пируэт, находящейся поблизости от улицы Мондетур.

Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой улочки он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог предположить, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, через которые он мог выбраться наружу. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим – с улицами Лебязьей и Малой Бродяжной. В глубине этого подобия тупика, на углу правого прохода, стоял дом ниже остальных, мысом выдававшийся на улицу.

В этом-то трехэтажном доме обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шумным весельем то самое место, которому старик Теофиль посвятил двестише:

*Ттам качается страшный скелет —
Тто повесился бедный влюбленный.*

Место для заведения было подходящее; заведение переходило от отца к сыну.

Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, покрашенный в розовый цвет¹²⁶. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабатчик изменил

¹²⁵ Мондетур – в буквальном переводе с французского значит – гора-извилина.

¹²⁶ aux Roses (горшок роз) произносится так же, как Poteau rose (розовый столб)

вывеску и велел под кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова – это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже не знал предания и приказал выкрасить столб в синий цвет.

Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня – вот что представлял собой кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, вернее по лесенке, скрытой за незаметной дверью в большой зале второго этажа. Под крышей находились две каморки – приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой.

Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, но вышел из него повар; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно – фаршированных карпов, которых он называл *carpes au gras*¹²⁷. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоздями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись:

Carpes ho gras.

Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву *s*, которой кончалось первое слово, и *g*, которой начиналось третье, после чего осталось:

Carpe ho ras.

При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубокомысленным советом.

Оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая лишь затмить Карема, он сравнялся с Горацием¹²⁸. Поразительно также, что изречение означало еще: «Зайдите в мой кабачок».

Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринг Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, уже не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто.

Как мы уже упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантер. Он зашел туда, привлеченный надписью *Carpe horas*, и возвратился ради *carpes au gras*. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили, – здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк.

Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-вояка – забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застрашать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И, тем не менее, мы настаиваем на том, что здесь всякого ожидал радушный прием. Чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой для молодых людей, приглашавших туда друг друга так: «Ну-ка пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать!» Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг раздражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности, это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего

¹²⁷ Скоромными карпами (*франц.*)

¹²⁸ *Carpe horas* (*лат.*) – лови часы – напоминает известную строчку Горация *Carpe diem* – лови день.

удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает чихание.

Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание.

В 1830 году Гюшлу умер. Вместе с ним исчезла тайна приготовления «скоромных карпов».

Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшалась, она стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф», – «из жалости», как говорил Боссюэ. Тетушка Гюшлу была грузновата, страдала одышкой и любила предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Эти воспоминания благодаря ее произношению были свободны от слащавости. Она умела приправить остреньким свои размышления о весенней поре ее жизни, когда она жила в деревне. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярышника, и ничего мне на свете не нужно», – рассказывала тетушка Гюшлу.

Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; здесь же стоял и старый, хромо́й бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа.

Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было четверостишие в честь хозяйки Гюшлу:

*В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она.
В ее ноздре волосатой бородавка большая видна.
Ее встречая, дрожишь: вот-вот на тебя чихнет,
И нос ее крючковатый провалится в черный рот.*

Это было написано углем на стене.

Госпожа Гюшлу, очень похожая на свой портрет, написанный поэтом, с утра до вечера невозмутимо ходила мимо этих стихов. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами¹²⁹ помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатическим бледным лицом, с синево́й под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, если можно так выразиться – пораженная хронической усталостью, вставала первая, ложилась последняя, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной, усталой, сонной улыбкой.

У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака:

*Коли можешь – угости,
Коли смеешь – сам поешь.*

¹²⁹ Matelote (матлот) – рыбное блюдо; gibelotte (жиблот) – фрикасе из кролика.

Глава вторая. Чем кончилась веселая попойка

Легль из Мо, как известно, обретался главным образом у Жоли. Он находил жилье, так же, как птица – на любой ветке. Друзья жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общее, даже отчасти Мюдикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был одет хорошо.

Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа».

Они поднялись на второй этаж.

Их встретили Матлота и Жиблота.

– Устриц, сыру и ветчины, – приказал Легль.

Они сели за стол.

В кабачке, кроме них, никого больше не было.

Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол.

Только они принялись за устриц, как чья-то голова просунулась в люк и чей-то голос произнес:

– Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел.

То был Грантер.

Он взял табурет и сел за стол.

Жиблота, увидев Грантера, поставила на стол две бутылки вина.

Итого – три.

– Ты разве собираешься выпить обе бутылки? – спросил Грантера Легль.

– Тут все люди с умом, один ты недоумок, – ответил Грантер. – Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину?

Друзья начали с еды, Грантер – с вина. Пол бутылки было живо опорожнено.

– Дыра у тебя в желудке, что ли? – спросил Легль.

– Дыра у тебя на локте, – отрезал Грантер и, допив стакан, прибавил:

– Да, да, Легль, орел надгробных речей, сюртук-то у тебя старехонек.

– Надеюсь, – сказал Легль. – Мы живем дружно – мой сюртук и я. Он принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье – это старый друг.

– Вод это правда! – вступив в разговор, воскликнул Жоли. – Сдарый сюрдук – все равно, что сдарый друг.

– Особенно в устах человека с насморком, – согласился Грантер.

– Ты с бульвара, Грантер? – спросил Легль.

– Нет.

– А мы с Жоли видели начало шествия.

– Чудесное зрелище! – заметил Жоли.

– А как спокойно на этой улице! – воскликнул Легль. – Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список и аббат Лебеф тоже. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поля, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами... Их расплодилось видимо-невидимо.

– Не будем говорить о монахах, – прервал Грантер, – от этого хочется чесаться. Тут его вдруг как прорвало:

– Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек – двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она, презренное существо, была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика и молодого щеголя; кошки охотятся и за мышами и за птицами. Не прошло и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде. Она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Утром я встретил жертву развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт-символ любви, лавр-символ войны, оливу, эту глупышку, – символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу – эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите – право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума – наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум». Тогда Бренн взял Рим. После этого он воскликнул: *Vae victis!*¹³⁰ Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже подирает!

Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантер выпил – ни он, ни его друзья как будто и не заметили этого, – и продолжал разглагольствовать:

– Бренн, завладевающий Римом, – орел; банкир, завладевающий гризеткой, – орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис, – не важно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклеывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господ бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Революция, живо! У господ бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, не прибегая к запасным средствам и экстраординарным мизансценам. То, что иные прочие называют прогрессом, приводится в движение двумя двигателями: людьми и событиями. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно: среди людей должны быть гении, а меж событий – революции. Чрезвычайные события – это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает на стене небесного свода блуждающее светило. Появляется какая-то чудная

¹³⁰ Горе побежденным! (лат.)

звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог – кометой. Трах! – и вот северное сияние, вот – революция, вот – великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки – Наполеон, наверху афиши – комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная неожиданными, сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Тут все в беспорядке – и светила и пьеса. Бог мой! Это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, как будто бы свидетельствуют о великолепии, но означают скудость. Друзья! Провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция – что этим доказывается? Что господь ишсяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это укрепляет в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скарעדности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя, что наша человеческая доля, даже доля королевская протерта до самой веревочной основы, чему свидетель – повесившийся принц Конде; видя, что зима – не что иное, как прореха в зените, откуда дует ветер, видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов; видя капли росы – этот поддельный жемчуг; видя иней этот стеклярус; видя разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я начинаю думать, что бог не богат. Правда, у него есть видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите: сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет вкривь и вкось. Вселенная только дразнит. Все равно, как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешильца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дочерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинца германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему так плохо относятся к туркам; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство – единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар – невероятная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут бить друг другу морды, резать друг друга, и когда же? – в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что

заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают! После этого прилива красноречия Грантер стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля.

– Кстати, о революции, – сказал Жоли, – виддо Бариус влюблед по-датстоящему.

– А в кого, не знаешь? – спросил Легль.

– Дет.

– Нет?

– Я же тебе говорю – дет!

– Любовные истории Мариуса! – воскликнул Грантер. – Мне все известно заранее. Мариус – туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт – значит безумец. Timbroeus Apollo.¹³¹ Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, – должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю себе их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд.

Грантер уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный.

Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо.

– Не вы ли господин Боссюэ? – спросил он.

– Это мое уменьшительное имя, – ответил Легль. – Что тебе надо?

– Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» – «Да, – говорю я, – на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и скажешь ему от моего имени: „Азбука“. Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су.

– Жоли! Дай мне займы десять су. – сказал Легль: потом повернулся к Грантеру: – Грантер! Дай мне займы десять су.

Так составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику.

– Благодарю вас, сударь, – сказал тот.

– Как тебя зовут? – спросил Легль.

– Наве. Я приятель Гавроша.

– Оставайся с нами, – сказал Легль.

– Позавтракай с нами, – сказал Грантер.

– Не могу, – ответил мальчик, – я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!»

Отставив ногу как можно дальше назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился.

Когда мальчик ушел, взял слово Грантер:

– Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен – нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар – котелком, гамен-булочник – колпачником, гамен-лакей – грумом, гамен-моряк – юнгой, гамен-солдат – барабанщиком, гамен-живописец – мазилкой, гамен-лавочник – мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец – пажом, гамен-король – дофином, гамен-бог – младенцем.

¹³¹ Тимбрейский Аполлон (лат.)

Легль между тем размышлял; потом сказал вполголоса:

– «Азбука», иначе говоря – «Похороны Ламарка».

– А высокий блондин – это Анжольрас, уведомивший тебя, – установил Грантер.

– Пойдем? – спросил Боссюэ.

– Да улице дождь, – заметил Жоли. – Я поклялся идти в огонь, до де в воду. Я де хочу простудиться.

– Я остаюсь здесь, – сказал Грантер. – Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам.

– Короче, мы остаемся, – заключил Легль. – Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа.

– А, батеж! Я за дего! – воскликнул Жоли.

Легль потер себе руки и сказал:

– Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу под мышками.

– Для меня она почти безразлична, ваша революция, – сказал Грантер. – Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укрощенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двойко: поднять скипетр против народа, а зонт – против дождя.

В зале стало темно, тяжелые тучи заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошли «смотреть на события».

– Полдень сейчас или полночь? – вскричал Боссюэ. – Ничего не видно. Жиблота, огня!

Грантер мрачно продолжал пить.

– Анжольрас презирает меня, – бормотал он. – Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантер пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я бы с ним пошел. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны.

Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантер остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи: одна – в медном позеленевшем подсвечнике, другая – в горлышке треснувшего графина. Грантер пробудил у Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантеру вновь обрести веселое расположение духа.

После полудня Грантер бросил пить вино – этот жалкий источник грез. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Опьянению сопутствует черная и белая магия; вино всего лишь белая магия. Грантер был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка – это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров – пива, водки и абсента – ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа-этот небесный мотылек – тонет в нем, и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает неясные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры – Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей.

Грантер еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, а Боссюэ и Жоли тоже весело чокались с ним. Грантер подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. С важным видом опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и, обращаясь к толстухе Матлоте, произносил торжественную тираду:

– Да откроются ворота дворца! Да будут все академиками и да получают право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем!

Повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил:

– О женщина античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя! А Жоли кричал:

– Батлота и Жиблота, де давайте больше пить Градтеру. Од истратил субасшедшие дедьги. Од с утра уже прожрал с чудовищдой расточительдостью два фрадка девядосто пять садтибов!

А Грантер все вопил:

– Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей?

Упившийся Боссюэ сохранял обычное спокойствие.

Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей.

Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики – «К оружию!»

Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетом, Комбефера с ружьем, Баореля с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними.

Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул:

– Курфейрак, Курфейрак! Ого-го!

Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ.

– Строить баррикаду, – ответил Курфейрак.

– Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь!

– Правильно, Орел, – ответил Курфейрак.

И по знаку Курфейрака вся ватага устремилаься на улицу Шанврери.

Глава третья.

На Грантера начинает опускаться ночь

Место действительно было указано превосходное: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала.

При вторжении этого скопища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, с первого этажа до самой крыши. Перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа.

– Боже мой! Боже мой! – вздыхала тетушка Гюшлу.

Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку.

Жоли, высунувшись в окно, кричал:

– Курфейрак! Почему ты без зодтика? Ты простудишься!

В течение нескольких минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски торговца известью Ансо; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погребца, и все пустые бочки вдовы

Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. Балки, подпиравшие соседний дом, были положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая.

Матлота и Жиблота присоединились к работающим. Жиблота таскала для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, – словно во сне.

В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми.

Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде.

– Омнибусы, – сказал он, – не проходят перед «Коринфом». Non licet omnibus adire Corinthum.¹³²

Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный набор, довершил заграждение улицы.

Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже.

Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо выла. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки.

– Светопреставление, – бормотала она.

Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной, морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантеру:

– Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб – то бескодечно изыскаддым.

Но Грантер продолжал покорять высоты дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся на второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна.

– Матлота безобразна! – кричал он. – Матлота – идеал безобразия. Матлота – химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотой. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу – старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи! Мы свалим правительство, – это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой марганиновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа! Отец презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я, Грантер, – добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки – поцелуя любовника!

– Замолчи, пивная бочка! – сказал Курфейрак.

¹³² Не всем дано достигнуть Коринфа (лат.) – античная поговорка.

– Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! – с важностью ответил Грантер.

Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем.

– Грантер! – крикнул он. – Пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду.

Эти гневные слова произвели на Грантера необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал:

– Позволь мне поспать здесь.

– Ступай для этого в другое место! – крикнул Анжольрас.

Но Грантер, не сводя с него нежного и мутного взгляда, проговорил:

– Позволь мне тут поспать, пока я не умру.

Анжольрас презрительно взглянул на него.

– Грантер! Ты неспособен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать.

– Вот ты увидишь, – серьезно сказал Грантер.

Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которому его резко и безжалостно подтолкнул Анжольрас.

Глава четвертая. Попытка утешить тетушку Гюшлу

Баорель, в восторге от баррикады, кричал:

– Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!

Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:

– Тетушка Гюшлу! Вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота вытряхнула постельный коврик в окно?

– Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафа.

Подумайте, какая гнусность!

– Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас.

Но тетушка Гюшлу, кажется, не очень ясно понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения «Отец! – сказала она – Ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» – «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене».

Дождь прекратился. Желаящие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок порошу, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два-три карнавальных факела и плетенку с площадками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоявший против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах – Мондетур, Лебяжьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.

Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала

улицу Шанврери, а другая – улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих; тридцать были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника.

Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе, с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Один кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупья и патронташ национальной гвардии, на крышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. И при этом какая разница в возрасте, какие разные лица у бледных подростков, у загорелых портовых рабочих! Все торопились и, помогая друг другу, говорили о надежде на успех, о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что поднимется весь Париж. То были страшные слова, к которым примешивалось сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали, как кого зовут. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых. На кухне развели огонь, в формочке для отливки пуль плавил жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсулы и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившись от страха: одна – отупев, другая – избегавшись, третья – проснувшись, рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев, – трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.

Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.

Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу наладить дело. Он сновал взад и вперед, поднимался, спускался, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, – его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, – его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он никому не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку, – настоящая муха, суевившаяся возле исполинской колесницы Революции.

Его маленькие руки действовали без усталости, а маленькое горло неустанно исторгало крики: – Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада – это крошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь!

Один из работавших воскликнул:

– Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?

– Подумаешь, сам богатырь! – отпарировал Гаврош. – Застекленная дверь на баррикаде – превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано доньшек от бутылок? Стеклопанельная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду! Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!

Гавроша бесил его пистолет без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал:

– Ружье, дайте ружье! Почему мне не дают ружья?

– Ружье, тебе? – удивился Комбефер.

– Вот те на! – возмутился Гаврош. – А почему бы нет? Было ведь у меня ружье в тысяча восемьсот тридцать году, когда поспорили с Карлом Десятым.

Анжольрас пожал плечами.

– Когда ружьем хватит для мужчин, тогда их дадут детям.

Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:

– Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое.

– Мальчишка! – крикнул Анжольрас.

– Молокосос! – не остался в долгу Гаврош.

Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, отвлек его внимание.

Гаврош крикнул:

– Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки-родины? Неужели нет желания ей помочь?

Щеголь поспешил скрыться.

Глава пятая.

Подготовка

Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», достигала уровня второго этажа, заблуждались. Она была не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли исчезать за нею или показываться над заграждением и даже взбираться на верхушку при помощи четырех рядов камней, положенных один на другой и образовавших с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ошетилилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной.

Между стеной дома и самым далеким от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы в нее мог пройти человек, – таким образом, выход был возможен. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой.

Малая баррикада Мондетур, скрытая за кабачком, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу

Проповедников выход к Центральному рынку, без сомнения, желая сохранить возможность общаться с внешним миром и не очень боясь нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы Проповедников.

Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом траншеи», а также узкой щели, оставленной на улице Шанврери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток

шагов в двадцать, таким образом баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами.

Вся работа была произведена без помехи, меньше чем за час; перед горсточкой этих смельчаков ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду.

Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был набит патронами. Даже самые храбрые, когда они увидели патроны, вздрогнули, и на мгновение воцарилась тишина.

Курфейрак раздавал их улыбаясь.

Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготавливать новые патроны, забивая в них отлитые пули. Бочонок пороха стоял в стороне на столе у дверей, и его не тронули, оставив про запас.

Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратись в конце концов в однообразный шум, уже не привлекали внимания. Этот шум то удалялся, то приближался с заунывными раскатами.

Все не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых: одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной.

А когда баррикады были построены, места определены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда, одни на этих страшных безлюдных улицах, одни, среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось признаков жизни, окутанные сгущавшимися сумерками, оторванные от всего мира, в этом мраке и тишине, в которой чудилось приближение чего-то трагического и ужасного, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.

Глава шестая.

В ожидании

Что делали они в часы ожидания?

Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории.

Пока мужчины изготавливали патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные, с оружием в руках, наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэ, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскивали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи.

Какие стихи? Вот они:

*Ты помнишь ту пленительную пору,
Когда қлоқочет молодостью қровь
И жизнь идет не под гору, а в гору, —
Қостюм поношен, но свежа любовь.
Мы не могли начислить даже сорок,
Қ твоим годам прибавив возраст мой
А қақ нам был приют укромный дорог,*

Где и зима казалась нам весной!
Наш Манюэль тогда был на вершине,
Париж святое правил торжество,
Фуа гремел, и я храню доныне
Булавку из корсажа твоего.
Ты всех пленяла Адвокат без дела,
Тебя водил я в Тирадо на обед
И даже роза в цветниках бледнела,
Завистливо косясь тебе вослед.
Цветы шептались «Боже, как прелестна!
Какой румянец! А волос волна!
Иль это ангел низошел небесный,
Иль воплотилась в девушку весна?»
И мы, бывало, под руку гуляем,
И нам в лицо глядят с улыбкой все,
Как бы дивясь, что рядом с юным маем
Апрель явился в праздничной красе.
Все было нам так сладостно, так ново!
Любовь! любовь! Запретный плод и цвет!
Бывало, молвить не успею слово,
Уже мне сердцем ты даешь ответ.
В Сорбонне был приют мой безмятежный,
Где о тебе всечасно я мечтал,
Где пленным сердцем карту Страсти нежной
Я перенес в студенческий квартал.
И каждый день заря нас пробуждала
В душистом нашем, свежем уголке.
Надев чулки, ты ножками болтала,
Звезда любви — на нищем чердаке!
В те дни я был поклонником Платона,
Мальбранш и Ламенне владели мной.
Ты, приходя с букетом, как Мадонна,
Сияла мне небесной красотой.
О наш чердак! Мы, как жрецы, умели
Друг другу в жертву приносить сердца!
Как, по утрам, в сорочке встав с постели,
Ты в зеркальце гляделась без конца!
Забуду ли те клятвы, те объятья,
Восходом озаренный небосклон,
Цветы и ленты, газовое платье,
Речей любви пленительный жаргон!
Считали садом мы горшок с тюльпаном,
Окну служила юбка вместо штор,
Но я простым довольствуясь стаканом,
Тебе японский подносил фарфор.
И смехом все трагедии кончались:
Рукав сожженный иль пропавший плед!
Однажды мы с Шекспиром распрощались,
Продев портрет чтоб раздобыть обед.
И каждый день мы новым счастьем пьяны,
И поцелуям новый счет я вел.

*Смесь, уничтожали мы каштаны,
Огромный Данте заменял нам стол.
Когда впервые, уловив мгновенье,
Твоей поцелуй ответный я сорвал,
И, покрасневшись, ты ушла в смятение, —
Как побледнев, я небо призывал!
Ты помнишь эти радости печали,
Разорванных крысынок лоскуты,
Ты помнишь все, чем жили, чем дышали,
Весь этот мир, все счастье — помнишь ты?*

Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий — все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Прувером, который, — мы о нем упоминали, — был чувствительным поэтом. Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой — один из тех восковых факелов, которые на масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья.

Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем.

Этот свет придавал багрецу знамени зловещий кровавый отблеск.

Глава седьмая.

Человек, завербованный на Щепной улице

Наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч.

Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем, — тот занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах.

В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами.

Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и сел за наименее освещенный стол. При распределении оружия ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством «занятных» вещей, не замечал этого человека.

Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально взглянул на него, потом, когда человек сел, мальчишка опять вскочил. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него па цыпочках, как это делают, когда бояться кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали

издавна известные гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не... Нет, не он! Конечно, он! Да нет же!» и т. д. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу-свидетельство того, что он пустил в ход всю свою пронизательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, поражен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош сделал важное открытие.

В самый разгар его усиленных размышлений к нему подошел Анжольрас.

– Ты маленький, – сказал Анжольрас, – тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит.

Гаврош выпрямился.

– Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим...

Подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы:

– Вы хорошо видите этого верзилу?

– Ну и что же?

– Это сыщик.

– Ты уверен?

– Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом.

Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика, незаметно встали за столом, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него.

Анжольрас подошел к нему и спросил:

– Кто вы такой?

При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. – Пристально взглянув в ясные глаза Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно себе представить, и с высокомерным видом ответил:

– Я вижу, что... Ну да!

– Вы сыщик?

– Я представитель власти.

– Ваше имя?

– Жавер.

Анжольрас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан.

У него нашли круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции, с оттиснутой вокруг надписью «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой – «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, Пятидесяти двух лет» и с подписью тогдашнего префекта полиции Жиске.

Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами.

Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции:

«Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться путем особого розыска, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста».

Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоявшему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку.

Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал:

– Вот мышь и поймала кота.

Рабочие действовали так проворно, что когда о поимке сыщика узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу.

Жавер, стоявший у столба и так опутанный веревками, что не мог пошевелинуться, поднял голову с неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека.

– Это сыщик, – сказал Анжольрас.

И, обернувшись к Жаверу, добавил:

– Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята.

Жавер с высокомерным видом спросил:

– Почему же не сейчас?

– Мы бережем порох.

– В таком случае прикончите меня ударом ножа.

– Шпион! – сказал красавец Анжольрас – Мы судьи, а не убийцы.

Затем он позвал Гавроша:

– Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал.

– Иду! – крикнул Гаврош.

Уже на пороге он сказал:

– Кстати, вы мне отдадите его ружье!

И прибавил:

– Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет.

Мальчик с сияющим лицом отдал честь по-военному и юркнул в проход большой баррикады.

Глава восьмая.

Несколько вопросительных знаков по поводу некоего Кабюка, который, быть может, и не звался Кабюком

Наше трагическое повествование не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и правдивой выразительности великие часы рождения революции, часы наивысшего общественного напряжения, сопровождавшегося мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического, чудовищного ужаса случай, происшедший тотчас после ухода Гавроша.

Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, где не спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжольрасом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика; он размахивал руками, кричал и был похож на человека, который хватил лишнего. Этот человек, которого звали или который назвался Кабюком, совершенно неизвестный тем, кто утверждал, будто знает его, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за

столом; этот стол они вытащили из кабачка. Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал:

– Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда – черта с два! – никто не пройдет по улице!

– Да, но дом заперт, – возразил один из его собутыльников.

– А мы постучимся.

– Не откроют.

– Высадим дверь!

Кабюк бежит к двери, возле которой висит увесистый молоток, и стучится. Ему не открывают. Он стучит еще раз. Никто не отвечает. Третий раз. В ответ ни звука.

– Есть тут кто-нибудь? – кричит Кабюк.

Никаких признаков жизни.

Тогда он хватается ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, – настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась.

Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника.

Кабюк перестал стучать.

– Что вам угодно, господа? – спросил привратник.

– Отворяй! – потребовал Кабюк.

– Это невозможно, господа.

– Отворяй сейчас же!

– Нельзя, господа!

Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел.

– Ты отворишь? Да или нет?

– Нет, господа!

– Ты говоришь – нет?

– Я говорю, – нет, милостивые...

Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронзив шейную вену. Старик свалился без единого стога. Свеча упала и потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дыма, поднимавшегося к крыше.

– Так! – сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую.

Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос:

– На колени!

Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет.

Он пришел на звук выстрела.

Левой рукой он сгреб в кулак ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка.

– На колени! – повторил он.

Властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, его схватила рука, обладавшая сверхчеловеческой силой.

Бледный, с голой шеей и разметавающимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении древнего мира, должно было быть у правосудия.

Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль; то, что им предстояло увидеть, было так страшно, что никто из них не мог вымолвить ни слова.

Поверженный Кабюк не пытался отбиваться и дрожал всем телом. Анжольрас отпустил его и вынул часы.

– Соберись с духом, – сказал он. – Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута.

– Пощадите! – пролепетал убийца и, опустив голову, пробормотал несколько бранных слов.

Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман.

Потом, схватив за волосы Кабюка, который, корчась и воя, жался к его коленям, приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из отважных людей, спокойно отправившихся на рискованное и страшное предприятие, отвернулись.

Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом.

Потом толкнул ногою труп и сказал:

– Выбросьте это вон.

Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних произвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили через малую баррикаду на улицу Мондетур.

Анжольрас стоял задумавшись. Выражение мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли.

– Граждане! – сказал Анжольрас. – То, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, – ужасно. Он убил – вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь – большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод клеветать на нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил.

Слушавшие содрогнулись.

– Мы разделим твою участь, – крикнул Комбефер.

– Пусть так, – ответил Анжольрас. – Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость – чудовище старого мира; там необходимость называлась Роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и Рок исчезает перед лицом Братства. Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь! За тобой – будущее! Смерть! Я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу. Граждане! В будущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Не будет больше ни Сатаны, ни Михаила Архангела. В будущем никто не станет убивать, земля будет сиять, род человеческий – любить. Граждане! Он придет, этот день, когда все будет являть собой согласие, гармонию, свет, радость и жизнь, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть. Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружающих говорить вполголоса.

Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, и твердого, как скала.

Скажем тут же, что после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году.

Добавим также, что если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа, казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец – тьмою. Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса. Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.

Книга тринадцатая **Мариус скрывается во мраке**

Глава первая. **От улицы Плюме до квартала Сен Дени**

Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай, он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянья, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал себе. «Пойдем!».

Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после двух месяцев упоения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел одного – скорее покончить с жизнью.

Он пошел быстрым шагом. У него были пистолеты Жавера, – он был вооружен.

Молодой человек, которого он увидел мельком, скрылся из виду где-то на повороте.

Мариус, перейдя с улицы Плюме на бульвар, прошел эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины что-то покупали в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, в английской кондитерской – пирожки. Несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис».

Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы переговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия.

Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того, как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое гудение.

По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» – неподвижные, мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды.

У въезда на улицу Прувер толпа не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из сгрудившихся людей, которые тихонько переговаривались. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп, – всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук

закипающих страстей. Хотя никто словно бы не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. За этой толщей на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убежавшие вдаль и меркнувшие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустыни. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия.

Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетизи и направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей не было.

Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдие, молчание, ночь; непонятный, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно, что войти в погреб.

Он продвигался вперед.

Вот он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это? Мужчина?

Женщина? Было ли их несколько? Он не мог бы на это ответить. Тень мелькнула и исчезла.

Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начата и покинута баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по ту сторону заграждения. Он шел у самых тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади, – те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад по улицам и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которым в такой же мере понятны действия человека, в какой человеку – пути провидения.

Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья. Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. А потом уже ничего больше не происходило.

Весь его путь походил на спуск по черным ступеням.

И все же Мариус шел вперед.

Глава вторая.

Париж – глазами совы

Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину.

Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна – это исчезновение всякого света,

всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал всюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех средств, какими она располагает, – вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни обитатель. Вот почему все замерло там. В домах царили страх, печаль и оцепенение; на улицах – священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные, причудливые линии, очертания странных сооружений: то были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и еще несколько громадных зданий, которые человек создает в виде гигантов, а ночь превращает в призраки.

Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горели редкие фонари, воздушный наблюдатель мог бы различить металлическое поблескивание сабель и штыков, глухой грохот артиллерии и движение молчаливых батальонов, усиливавшееся с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших. Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком.

Мраком первобытным, полным ловушек, чреватых неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым углом – невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Этого никто не мог бы сказать. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. И для тех и для других это было одинаково необходимо. Отныне оставался один исход – выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые – ужасом.

Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться значило умереть, но никто не думал бежать.

Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание переросло в революцию или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все должно было решиться, отсюда нарастающая тревога вокруг этого молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздиравший сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалобно сетующего со мгле. Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули

весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой.

Пока битва, еще всецело политическая битва, готовилась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы – во имя принципов, а средний класс – во имя корысти, приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга во прах, пока все торопили и призывали последний и решительный час, – вдали и вне рокового квартала, в бездонных глубинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотанье сурового голоса народа.

Голоса, устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предостерегает мудрых, который одновременно звучит снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый.

Глава третья. Последний рубеж

Мариус дошел до Центрального рынка.

Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, ледяной покой гробницы иззошел от земли и распростерся под небом.

Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны церкви Сент-Эташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы

Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондетур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок Мондетур.

Немного дальше от черного угла этого переулочка и улицы Шанврери, отбрасывавшего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, с трудом различил кабачок, а за ним мигавшую плошку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось тушах в десяти от него. То была внутренняя часть баррикады.

Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя.

Мариусу оставалось сделать всего один шаг.

Несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце.

Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы, – ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, – и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой португеей, с густой, свисавшей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давившей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях и который после двадцати лет великих войн вернулся со шрамами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный и чистый, как дитя, сделав для Франции все, а против нее, – ничего.

Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он тоже должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям,

подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы – улица, а эта война – война гражданская.

Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться.

И тут он содрогнулся.

Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и которую ему было так жаль. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину, что она, эта шпага, вернувшись с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти па улицу Шанврери и, после подвигов, свершенных вместе с отцом, свершать вместе с сыном иной подвиг не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, взяв ее с изголовья умершего отца, он осмелился бы принести ее с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла! Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть отданной в лом, чем обагрять кровью грудь отечества.

Мариус горько заплакал.

Все это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес! Ради чего и зачем теперь жить? И потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя:

«Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я уйду!»

Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоящую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову!

Оправдать свою трусость патриотизмом! Это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!»

Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову.

Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то непонятной внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них у него был теперь готов ответ.

Поразмыслим – отчего отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание дышит таким же благородством, как исполняемый долг? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унижительным завязывающееся сражение? Это не Монмираиль, не Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне?

Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людьми – не война между братьями? Война определяется ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн гражданских; есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое всечеловеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, – будь она гражданской или против иноземцев, – равно несправедлива, и имя ей – преступление. При священном условии справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана, – который из них более велик? Один – защитник, другой – освободитель. Можно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестия на Брута, Марсея, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? А что же тут такого? Ведь такова война Амбиорикса, Артивелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде против Франции, Марникс против Испании, Пелагий против мавров; все – против внешнего врага. Так вот, монархия-это и есть внешний враг; угнетение – внешний враг; «священное право» – внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. Скованный Прометей начинает, Аристокитон заканчивает. Энциклопедия просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила – Фразибул; после Дидро – Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения, нужно колоть им глаза правдой, бросать в них грозный свет полными пригоршнями. Нужно, чтобы они сами были ослеплены идеей собственного спасения; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее темное торжество ночи во всем его великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы считаете, что Луи-Филипп – тиран? Такой же, как Людовик XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины – не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено; Людовик XVI воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, потому что он Бурбон; оба в известной мере олицетворяют захват права, и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, должно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную справедливость, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество вровень с правом, – какое дело может быть более правым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны создают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий,

несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно обрушить эту чудовищную громаду. Победить под Аустерлицем – великий подвиг; взять Бастилию – величайший.

Нет человека, который не знал бы по опыту, что душа – и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, – обладает странной способностью рассуждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное горе любви, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика; нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. В таком состоянии находился Мариус.

Одолеваемый этими мыслями, изнеможенный, то полный решимости, то колеблющийся, трепещущий перед тем, на что он решался, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не уходившие с постов люди, и в их голосах чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал не то зрителя, не то наблюдателя, как-то особенно внимательного. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груди булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Нельзя себе представить более необычное зрелище, чем это озаряемое колышущимся зловещим пламенем, словно из любопытства наклонившееся над улицей иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо, вставшие дыбом волосы, открытые, остекленевшие глаза и разинутый рот. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась длинная кровавая дорожка и обрывалась на втором этаже.

Книга четырнадцатая Величие отчаяния

Глава первая. Знамя. Действие первое

Пока никто еще не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять. Анжольрас и Комбефер сели с карабинами в руках у прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы глухой, отдаленный шум шагов.

Внезапно в этой жуткой тишине раздался звонкий, молодой, веселый голос, казалось, доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:

*Друг Бюго, не спишь ли?
Я от слез опух
Ты жандармов вышли
Поддержать мой дух
В голубой шинели,
Кивер на боку
Пули засвистели!
Ку-кукуруку!*

Они сжали друг другу руки.

– Это Гаврош, – сказал Анжольрас.

– Он нас предупреждает, – добавил Комбефер.

Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:

– Где мое ружье? Они идут! Электрический ток пробежал по всей баррикаде, послышался шорох – это руки нащупывали ружья.

– Хочешь взять мой карабин? – спросил мальчика Анжольрас.

– Я хочу большое ружье, – ответил Гаврош и взял ружье Жавера.

Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один – стоявший на посту в конце улицы, другой – дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте, – очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.

Пролет улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить бульжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане.

Каждый занял свой боевой пост.

Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицел, стояли в окнах обеих этажей «Коринфа».

Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, непрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела. Опять наступило молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, – казалось, заговорила сама тьма, – крикнул:

– Кто идет?

В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.

– Французская революция! – взволнованно и гордо ответил Анжольрас.

– Огонь! – скомандовал голос.

Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.

Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было ясно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.

– Товарищи! – крикнул Курфейрак. – Не будем зря тратить порох. Подождем, пока они не продвинулись.

– И, прежде всего, поднимем снова знамя! – добавил Анжольрас.

Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов; отряд перезаряжал ружья.

– У кого из вас хватит отваги? – продолжал Анжольрас. – Кто водрузит знамя над баррикадой?

Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять взята на прицел, – попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил!

– Никто не возьмется?

Глава вторая. Знамя. Действие второе

С тех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на Мабефа. Однако Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся за стойкой. Там он как бы погрузился в себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждали об опасности и предлагали удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, губы его шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столу Жавера, караулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его, он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» – старик появился на пороге кабачка.

Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики:

– Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!

Может быть, Мабеф этого не слышал.

Он направился прямо к Анжольрасу, – повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом, – вырвал знамя у Анжольраса, – тот попятился и окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец с трясущейся головой начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде; никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это было столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали:

– Шапки долой!

То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, лицо старика, огромный облысевший, морщинистый лоб, впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов. Казалось, призрак Деяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках.

Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груде обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный, непостижимый вид.

Стало так тихо, как бывает только при лицезрении чуда.

Старик взмахнул красным знаменем и крикнул:

– Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть! Слуха осажденных достигла скороговорка, произнесенная тихим голосом, похожая на шепот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, это полицейский пристав с другого конца улицы предъявлял именем закона требование «разойтись».

Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?», крикнул:

– Разойдитесь!

Мабеф, мертвенно бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил:

– Да здравствует Республика!

– Огонь! – скомандовал голос.

Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду.

У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки.

Ручейки крови побежали из-под него. Старое, бледное, печальное лицо было обращено к небу.

Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к труп.

– Что за люди эти царевубийцы! – воскликнул Анжольрас.

Курфейрак прошептал ему на ухо:

– Скажу только тебе – я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего царевубийца! Я был с ним знаком. Его звали папаша Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо.

– Голова скудоумного, а сердце Брута, – заметил Анжольрас и возвысил голос:

– Граждане! Старики подают пример молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славою умер! А теперь укроем в доме этот труп. Пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой!

Гул грозных и решительных голосов, выражавший согласие, последовал за этими словами.

Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, все такой же строгий, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и осторожно дотрагиваясь до мертвеца, словно боясь причинить ему боль, снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал:

– Отныне вот наше знамя.

Глава третья.

Лучше, если бы Гаврош согласился взять карабин Анжольраса

Папашу Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них мертвое тело и, обнажив головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли в нижнюю залу и положили на большой стол. Эти люди, всецело поглощенные своим важным и священным делом, уже не думали о грозившей им опасности.

Когда труп проносили мимо по-прежнему невозмутимого Жавера, Анжольрас сказал шпиону:

– Скоро и тебя!

В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался на дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас же крикнул:

– Берегись!

Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни – перелезая через омнибус, другие – воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, а тот отступал, но не бежал.

Мгновение было решительное. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается вровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята.

Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор. Вторым заколол Баореля штыком. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, с решительным видом нацелился в гиганта и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык.

Прежде чем штык коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую.

Это стрелял Мариус, только что появившийся не баррикаде.

Глава четвертая. Бочонок с порохом

Скрываясь за углом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Надвигавшаяся опасность, смерть Мабефа – эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, – все это рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака.

Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в кучу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями на изготовку. Они занимали уже более двух третей заграждения, но за него не прыгали, точно боясь ловушки. Они смотрели вниз, в темноту, словно в львиную пещеру. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица.

У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом.

Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться.

Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука охватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности.

Мариус, входивший в нижнюю валу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, проносится, мелькает перед ним, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь смутно чувствует, что этот вихрь увлекает его в еще более глубокий мрак и что вокруг него все в тумане.

Повстанцы, захваченные врасплох, но не уstraшенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул:

– Подождите! Не стреляйте наугад!

Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друг друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в том числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, отошли к домам, поднимавшимся за кабачком, и гордо стали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады.

Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, – чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, взмахнул шпагой и крикнул: – Сдавайтесь!

– Огонь! – ответил Анжольрас.

Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму.

Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стелаясь, ползли раненые и умирающие. Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья.

Внезапно послышался громовой голос:

– Прочь, или я взорву баррикаду!

Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос.

Мариус, войдя в нижнюю залу, взял бочонок с порохом, затем, воспользовавшись дымом и мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, – все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться. И теперь все – национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груди, где виднелся разбитый бочонок с порохом.

– Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду! – грозно воскликнул он.

Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой.

– Взорвешь баррикаду? – крикнул сержант. – Значит, и себя вместе с ней!

– И себя вместе с ней! – ответил Мариус.

И приблизил факел к бочонку с порохом.

Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было паническое бегство. Баррикада была освобождена.

Глава пятая. Конец стихам Жана Прувера

Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею.

– Ты здесь?

– Какое счастье! – воскликнул Комбефер.

– Ты пришел кстати! – заметил Боссюэ.

– Без тебя меня бы уже не было на свете! – вставил Курфейрак.

– Без вас меня бы ухлопали! – прибавил Гаврош.

– Кто тут начальник? – спросил Мариус.

– Ты, – ответил Анжольрас.

Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли превратились в вихрь. Ему казалось, что этот вихрь, заключенный в нем самом, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отделился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, баррикада, Мабеф, умерший за Республику, он сам во главе повстанцев – все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все происходившее вокруг стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не постиг, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что нужно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним разворачивалась драма его собственной жизни. В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьбы. Мариус даже не заметил его. Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на неприступный редут, быть может, ожидая приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; студенты медицинского факультета перевязывали раненых. Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал папаша Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На тюфяки положили раненых, что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то никто не знал, что с ними случилось. Потом их нашли в погребе. Горестное событие омрачило радость освобождения баррикады. Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных – Жана Прувера. Поискали среди раненых – его не было. Поискали среди убитых – его не было. Очевидно, он попал в плен. Комбефер сказал Анжольрасу:

– Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?

– Да, – ответил Анжольрас, – но меньше, чем жизнь Жана Прувера.

Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера.

– Отлично, – произнес Комбефер, – я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентаря предложить им обмен пленными.

– Слушай? – положив руку на плечо Комбефера, сказал Анжольрас.

В конце улицы раздалось многозначительное бряцание оружия.

Послышался звонкий голос:

– Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!

То был голос Прувера.

Мелькнула молния, и грянул залп.

Снова наступила тишина.

– Они его убили! – воскликнул Комбефер.

Анжольрас взглянул на Жавера и сказал:

– Твои же друзья тебя расстреляли.

Глава шестая.

Томительная смерть после томительной жизни

Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может, опасаясь засады или боясь углубляться далеко в извилистые улицы. Вот почему все внимание повстанцев было

направлено на большую баррикаду, которая была в большей степени под угрозой и где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда! Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, на улице Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей было совершенно спокойно.

Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо окликнул его:

– Господин Мариус!

Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа назад сквозь решетку на улице Плюме. Но теперь этот голос казался лишь вздохом.

Он оглянулся и никого не заметил.

Мариус решил, что ослышался, что у него разыгралось воображение от тех необыкновенных событий, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, намереваясь выйти из того закоулка, где находилась баррикада.

– Господин Мариус! – повторил голос.

На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел.

– Я здесь, у ваших ног, – произнес голос.

Он нагнулся и увидел во мраке очертания живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему.

Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное поднятое к нему лицо и услышал слова:

– Вы меня не узнаете?

– Нет.

– Эпонина.

Мариус нагнулся. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье.

– Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?

– Я умираю, – ответила она.

Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись.

– Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли?

Он попытался подsunуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли.

При этом он задел ее кисть.

Эпонина слабо вскрикнула.

– Я сделал вам больно? – спросил Мариус.

– Чуть-чуть.

– Но я дотронулся только до вашей руки.

Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие.

– Что с вашей рукой? – спросил он.

– Она пробита!

– Пробита?

– Да.

– Чем?

– Пулей.

– Каким образом?

– Вы видели наведенное на вас ружье?

– Да, и руку, закрывшую дуло.

– Это была моя рука.

Мариус содрогнулся.

– Какое безумие! Бедное дитя! Но это еще счастье! Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают.

– Пуля прострелила руку, но вышла через спину, – прошептала Эпонина. – Не стоит брать меня отсюда! Я вам сейчас скажу, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень.

Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала:

– О, как хорошо! Как приятно! Вот уже и не больно!

Помолчав, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса:

– Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите в тот сад, – это глупо, потому что я сама показала вам дом, а, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы...

Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо, промелькнувшие в ее головке, снова заговорила с той улыбкой, от которой сжимается сердце:

– Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что, – продолжала она, – вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Чудно! А это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, меня не видели, не подобрали. Я ждала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь не богаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло. Помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут.

У нее было безумное и серьезное выражение лица, раздиравшее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Говоря, она прижимала к ней простреленную руку, – в том месте, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой.

Мариус с глубоким состраданием смотрел на несчастную девушку.

– Ох! – внезапно простонала она. – Опять! Я задыхаюсь!

Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой.

В этот момент на баррикаде раздался пронзительный петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал песенку, которая в то время пользовалась большой известностью:

*Увидев Лафайета,
Жандарм не взвидел света;
Бежим! Бежим! Бежим!*

Эпонина приподнялась, прислушалась, потом прошептала:

– Это он.

И, повернувшись к Мариусу, добавила:

– Там мой брат. Он меня не должен видеть. Он будет меня ругать.

– Ваш брат? – спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец. – Кто ваш брат?

– Этот мальчик.

– Тот, который поет?

– Да.

Мариус хотел встать.

– Не уходите! – сказала она. – Теперь уж недолго ждать!

Она приподнялась, но ее голос все-таки был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпониная приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и сказала с каким-то странным выражением:

– Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили послать его по почте. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас. Но, быть может, вы за это будете сердиться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо.

Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, – казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус нащупал там какую-то бумагу.

– Возьмите, – сказала она.

Мариус взял письмо.

Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой.

– Теперь обещайте мне за мой труд...

Она запнулась.

– Что? – спросил Мариус.

– Обещайте мне!

– Обещаю.

– Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую.

Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпониная не шевелилась. Внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему с нежностью, исходившей, казалось, уже из другого мира:

– А знаете, господин Мариус, мне думается, я была немножко влюблена в вас.

Она еще раз попыталась улыбнуться и умерла.

Глава седьмая.

Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояние

Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвом лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой.

Не без внутреннего трепета взял он письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается что-то важное. Ему не терпелось прочитать его. Так уж устроено мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он осторожно опустил Эпониину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать письмо возле умершей.

Он подошел к свече в нижней зале. Это была записочка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес писала женская рука:

«Господину Мариусу Понмерси, кв г-на Курфейрака, Стекольная улица, э 16».

Он сломал печать и прочел:

«Мой любимый! Увы! Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, э 7. Через неделю мы будем в Англии.

Козетта, 4 июня».

Отношения между Мариусом и Козеттой были таковы, что он даже не знал почерка Козетты.

То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпониная. После вечера 3 июня она приняла решение: во-первых, расстроить замыслы отца и бандитов, связанные с домом на улице Плюме, а во-вторых, разлучить Мариуса с Козеттой. Она отдала свои лохмотья первому встречному молодому шалопаю, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это от нее Жан Вальжан получил на Марсовом поле серьезное предупреждение: Переезжайте. Вернувшись домой, Жан Вальжан сказал Козетте: «Сегодня вечером мы переезжаем на улицу Вооруженного человека, вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, тут же написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, не привыкшая к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Охваченная тревогой, Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпониину, бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо и сказала: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпониная положила письмо в карман. Пятого июня утром она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его», – это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака – опять-таки чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой, и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфейраком и увидела, где строится баррикада. Мариус ничего не подозревал, – письмо Эпониной носила с собой. Убежденная, что когда стемнеет, Мариус, как всегда, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с призывом, в надежде, что этот призыв приведет его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что она там совершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!»

Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть – лучший исход. И тут он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти, послав ей последнее прощанье, и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардье.

При нем был тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки:

«Наш брак невозможен. Я просил позволения моего деда, он отказал; у меня нет средств, у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя! Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе».

Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес: «Мадмуазель Козетте Фошлеван, кв. г-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, э7».

Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, э 6, в Маре».

Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. Тотчас появилась веселая, выражающая преданность рожица мальчугана.

– Хочешь сделать кое-что для меня?

– Все что угодно, – ответил Гаврош. – Господи боже мой! Да без вас, ей-ей, мне была бы уже крышка!

– Видишь это письмо?

– Вижу.

– Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош озабоченно почесал у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадмуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.

– Ну хорошо, но... за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет! – возразил маленький герой.

– По всем признакам, баррикаду атакуют не раньше чем на рассвете, и возьмут не раньше, чем завтра к полудню.

Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением.

– Послушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? – спросил Гаврош.

– Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах выставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же.

Гаврош не нашелся, что ответить и стоял в нерешительности, с грустным видом почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо.

– Ладно! – сказал он и пустился бегом по Мондетуру.

Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел, что ему возразить.

«Еще нет и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и вовремя вернуться».

Книга пятнадцатая

Улица вооруженного человека

Глава первая.

Бювар-болтун

Что значит бурление целого города в сравнении с душевной бурей? Человек еще бездоннее, чем народ. Жан Вальжан был во власти сильнейшего возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрагался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать то же, что и в Париже: «Две силы, дух света и дух тьмы, схватились на мосту над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?»

4 июля вечером Жан Вальжан вместе с Козеттой и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы.

Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз, с тех пор как они стали жить вдвоем, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли одно другому. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: переезжайте, брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить.

Они прибыли на улицу Вооруженного человека, не сказав друг другу ни слова; каждого одолевали свои заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты; Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана.

Жан Вальжан взял с собой Туеен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала, что такое любопытство. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодились; свое дело сполняю, детальное меня не касается».

Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики – это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали.

Тусен с большим трудом добились позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар.

Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан решил выехать с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно. Спать легли молча.

Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В этом жилище имела вся необходимая домашняя утварь.

Люди отдаются покою так же самозабвенно, как и беспокойству, – такова человеческая природа. Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного человека, как его тревога утихла и постепенно рассеялась. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой среди шумного города, сумрачной среди бела дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. Улица словно погрузилась в омут забвения. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы здесь отыскать?

Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели.

Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалось прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана.

Козетта велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера.

К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством новой квартиры, подала на стол холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отвесть.

Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности.

Во время этого скромного обеда Тусен несколько раз, заикаясь, говорила Жану Вальжану: – Сударь! Крик-шум кругом, в Париже дерутся.

Но, поглощенный мыслями об устройстве своих дел, Жан Вальжан не обратил внимания на эти слова. По правде сказать, он их не понял.

Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, чувствуя, как к нему возвращается доброе расположение духа.

Но вместе с тем его мыслями вновь завладела Козетта, единственная его забота. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, – все это пройдет через день или два – он думал о будущем и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую – все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени.

Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, – эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит она принадлежит ему; то был оптический обман, а ведь все знают, что это такое. Мысленно он устраивал со всеми удобствами отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье. Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное.

Напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и отлично разобрал четыре строки:

«Мой любимый! Увы! Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, э 7. Через неделю мы будем в Англии.

Козетта. 4 июня.»

Жан Вальжан остановился, ничего не понимая.

Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, забыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки отпечатались на пропускной бумаге бювара.

Зеркало отражало написанное.

Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением: строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой на» стоящий смысл, перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу.

Это было просто и оглушительно.

Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было.

Мало-помалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал себе: «это отсюда». С

лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре: опрокинутые отпечатки букв образовывали причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. И тут он подумал – «Но ведь это ничего не значит, здесь ничего не написано», – и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий.

Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало – повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это был не мираж. Повторившееся явление – уже реальность; это было очевидно, это было письмо, верно восстановленное зеркалом. Он все понял.

Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок мутился. Он сказал себе, что все это правда, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. И тут он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо!

Как это было ни странно и ни печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану, раньше чем вручить Мариусу.

До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стойким; можно было подумать, что он, подобно мученику, отрешился от себя. Казалось, что его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, неодолима. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул в глубь его души, то вынужден был бы признать, что она ослабевает. Из всех мук, которые он перенес во время долгой пытки, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы! Величайшее испытание, вернее, единственное испытание – это утрата любимого существа.

Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец, но мы уже отмечали, что его сиротская жизнь включила в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа – это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому любовь к женщине, наиболее стойкое из всех чувств, смутное, слепое, чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Это был скорее инстинкт, чем чувство, скорее влечение, чем инстинкт, неосязаемое и невидимое, но реальное. И в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, спрятанной и нетронутой в недрах горы. Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак был невозможен между ними, даже брак духовный, и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех сменяющих друг друга оттенков зелени – светло-зеленых и темно-зеленых, – какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, которым пошло на шестой десяток. В итоге, – как мы уже не раз упоминали, все это сочетание чувств, все это целое, равнодействующей которого являлась

высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась мать; отец любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем.

И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде; когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я – только отец, я больше не существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!» – скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, – и вот итог! Как же так?

Оказывается, он – ничто? Как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, «я» зарычалось в безднах души этого человека.

Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине; не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, – такой мрачной печалью веяло от него.

Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало – страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи.

Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть – все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине.

Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце.

Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния – это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. Первые же догадки навели его на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца: ведь это подлость – строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит!

Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, – этот юноша и что он – источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастья обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак – Ненависть. Великая скорбь подавляет. Она отнимает волю к жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже – зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биения сердца, полного чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль – впереди, когда вы полны жизненной силы,

даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака!

Пока он размышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее:

– Где это происходит? Вы не знаете?

Озадаченная Тусен спросила:

– Что вам угодно?

– Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся?

– Ах да! – ответила Тусен. – В стороне Сен-Мерри.

Нам свойственны бессознательные поступки, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице.

С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался.

Наступила ночь.

Глава вторая.

Гаврош – враг освещения

Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы на это ответить.

Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома э 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот неподвижно, словно превратившийся в ледяную статую призрака. Одно из свойств отчаяния – замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Покрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; набат – дело рук человеческих, время – дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, затем снова – еще более оглушительный; вероятно, началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этих залпах, ярость которых, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь.

Он возобновил мрачную беседу с самим собою.

Вдруг он поднял глаза, – по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и, при свете фонаря, у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, молодое и веселое лицо.

На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош.

Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал.

Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания.

Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием:

– Черт побери!

Потом снова начал смотреть вверх.

Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком.

– Малыш! – сказал он. – Что тебе надо?

– Мне надо поесть, – откровенно признался Гаврош и прибавил; – Сами вы малыш.

Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету.

Но Гаврош, принадлежащий к породе трясогузок, быстро перескакивая с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь.

– Смотрите! – сказал он. – У вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило!

Он бросил камнем в фонарь. Стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие в своих укрытиях в доме напротив, запричитали: «Вот и начинается девяносто третий год!»

Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно.

– Так, так, старушка-улица, – одобрил Гаврош, – надевай свой ночной колпак – И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил:

– Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду – вот было бы славно! Жан Вальжан подошел к Гаврошу.

– Бедняжка! Он хочет есть, – пробормотал он и сунул ему в руку пятифранковую монету. Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко.

– Поглядим-ка на этого тигра! – сказал он.

Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и с величественным видом сказал:

– Буржуа! Я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает.

– У тебя есть мать? – спросил Жан Вальжан.

– Уж скорей, чем у вас, – не задумываясь, ответил Гаврош.

– Тогда возьми эти деньги для матери, – сказал Жан Вальжан.

Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие.

– Вправду? – спросил он. – Это не для того, чтобы я не бил фонари?

– Бей, сколько хочешь.

– Вы славный малый, – заметил Гаврош и опустил пятифранковую монету в карман.

Доверие его возросло, и он спросил:

– Вы живете на этой улице?

– Да, а что?

– Можете мне показать дом номер семь?

– Зачем тебе дом номер семь?

Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием:

– Да так!

У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятый тревогой, свойственны такие озарения.

– Может быть, ты принес мне письмо, которого я жду? – спросил он.

– Вам? – сказал Гаврош. – Вы не женщина.

– Письмо адресовано мадмуазель Козетте, не так ли?

– Козетте? – проворчал Гаврош. – Как будто там так и написано. Смешное имя!

– Ну так вот, я-то и должен передать ей письмо, – объявил Жан Вальжан. – Давай его сюда.

– В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?

– Конечно, знаю.

Гаврош сунул руку в другой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу. Затем он взял под козырек.

– Почет депеше, – сказал он. – Она от временного правительства.

– Давай, – сказал Жан Вальжан.

Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой.

– Не думайте, что это любовная цидулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам.

– Давай.

– Право, вы, кажется, славный малый, – продолжал Гаврош.

– Давай скорей.

– Нат.

Он вручил бумажку Жану Вальжану.

– И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется.

Гаврош был весьма доволен своей остротой.

– Куда отнести ответ? – спросил Жан Вальжан. – К Сен-Мерри?

– Ну и ошибетесь немножко! – воскликнул Гаврош. – Как говорится, пирожок – не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин!

С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут треск разбитого стекла и удар фонаря о мостовую вдруг снова не разбудили негодующих обывателей. Это орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.

Глава третья. Пока Козетта и Тусен спят...

Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса.

Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада несколько спичек, прежде чем он зажег одну, – так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать.

Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно, лишь самое существенное; оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова:

«...Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя...»

Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с

изумлением пьяного; ему представилось великолепное зрелище-смерть ненавистного существа.

В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в лихорадочном своем возбуждении, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете, но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим – он между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, будущее открывалось перед ним вновь. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено совершиться, – думал он. – Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!»

Сказав себе это, он помрачнел.

Затем спустился вниз и разбудил привратника.

Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка.

Глава четвертая. Излишний пыл Гавроша

Тем временем с Гаврошем произошло приключение.

Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел уместным затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. И он пошел вдоль заснувших или напуганных домов, оделяя каждый зажигательным куплетом:

*Злословил дрозд в тени дубравы:
«Недавно с девушкой одной
Какой-то русский под сосной...»
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Дружок Тьеро, ну что за нравы, —
Ты, что ни день, всегда с другой!
К чему калейдоскоп такой?
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Подчас любовь страшней отравы!
За горло нежной взял рукой,
Шерял я разум и покой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
О, где минувших дней забавы!
Лизон играть хотела мной,*

*Раз, два... и обожглась игрой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Когда Сюжетта – боже правый! —
Метнет, бывало взгляд живой,
Я весь дрожу, я сам не свой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Я перелистываю главы:
Мадлен со мной в тиши ночной,
И что мне черти с сатаной!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Но как причудницы лукавы!
Приманят ножки наготой —
И упорхнут... Адель, постой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Бледнели звезды в блеске славы,
Когда с кадрили, ангел мой,
Со мною Стелла шла домой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?*

Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест-точка опоры для припева. Он корчил страшные рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно рваное белье, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты. Внезапно он остановился.

– Прервем романс, – сказал он.

Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря – некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо – спавшим на ней овернцем.

Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съжившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли.

Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу.

Это был возчик, крепко выпивший и крепко спавший.

«Вот на что годятся летние ночи, – подумал Гаврош. – Овернец засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии».

Его осенила блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады».

Овернец храпел.

Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой.

Тележка была свободна.

Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил с собой все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, изъятый у какого-то плотника.

Он написал:

«Французская республика. Тележка получена».

И подписался:

«Гаврош»

Потом засунул записку в карман плисового жилета продолжавшего храпеть овернца, взялся обеими руками за оглобли и, празднуя победу, пустился во всю прыть с грохочущей тележкой в сторону Центрального рынка. Это было опасно. Возле Королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев предместья. Встревоженный отряд зашевелился, на походных койках поднимались головы. Два битых фонаря, песенка, распеваемая во все горло, – этого было слишком много для улиц-трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уличный мальчишка уже с час бесновался в этой мирной округе подобно забившейся в бутылку мухе. Сержант околотка прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный.

Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения сержанта и вынудил его произвести расследование.

– Их тут целая шайка! – воскликнул он. – Пойдем посмотрим, только тихонько.

Было ясно, что гидра анархии вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале.

Сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни.

У самого поворота с улицы Вьейль-Одриет Гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем.

Гаврош опять остановился.

– Смотри-ка, – удивился Гаврош, – он тут как тут. Добрый вечер, господин общественный порядок!

Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго.

– Ты куда идешь, оборванец? – крикнул сержант.

– Гражданин! – сказал Гаврош. – Я вас еще не назвал буржуа. Почему же вы меня оскорбляете?

– Ты куда идешь, шалопай?

– Сударь, может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания, – ответил Гаврош.

– Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?

– У вас очень милая манера выражаться. Право, вам не дашь ваших лет. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков.

– Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит!

– Какие скверные слова! – заметил Гаврош. – В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот.

Сержант выставил штык.

– Да скажешь ты, наконец, куда идешь, злодей?

– Господин генерал, – ответил Гаврош, – я ищу доктора для моей супруги, она рождает.

– К оружию! – крикнул сержант.

Спасти при помощи того, что вам угрожало гибелью, – верх искусства сильных людей;

Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить.

В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный из всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в брюхо, кувырком полетел в канаву, а его ружье выстрелило в воздух.

На крик сержанта высыпали солдаты; каждый выстрелил по разу наугад, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять.

Эта пальба продолжалась добрых четверть часа; пули нанесли смертельные раны нескольким оконным стеклам.

Тем временем Гаврош, со всех ног бросившийся назад, остановился улич за шесть от места происшествия и, запыхавшись, уселся на тумбу, на углу улицы Красных сирот.

Он прислушался.

Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Этот выразительнейший жест, в который парижские гамены вложили всю французскую иронию, оказался, по-видимому, живучим и держится уже с полвека.

Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью.

«Так, – подумал он, – я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюку. Только бы вовремя вернуться на баррикаду!»

Он пошел дальше.

«Ах да, на чем же это я остановился?» – постарался припомнить он на бегу.

И снова запел свою песенку, ныряя из улицы в улицу. И в темноте, постепенно затихая, звучало:

*Скосило время нас, как травы,
Но тверд иных бастилий строй.
Друзья, долой режим гнилой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Сразимся в кегли для забавы!
Где шар? Один удар лихой —
И трон Бурбонов стал трухой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Бледнея, в Лувре ждут расправы.
Народ, монархию долой!
Мети железною метлой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?
Решетки не задержат лавы!
Ах, Карл Десятый, срам какой,
Летит за дверь – и в грязь башкой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?*

Вооруженное выступление караула оказалось небезрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом, как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка.

Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, это одно из самых страшных воспоминаний старых буржуа Маре, и запечатлелось оно в их памяти следующим образом: «Ночная атака на караульное помещение Королевской типографии».

Часть V
«Жан Вальжан»

Книга первая
Война в четырех стенах

Глава первая.
Харибда предместья Сент-Антуан и Сцилла предместья Тампль

Две наиболее замечательные баррикады, которые может отметить исследователь социальных бурь, не принадлежат к тому времени, когда происходят события этой книги. Обе эти баррикады, бывшие каждая в своем роде символом грозной эпохи, выросли из земли во время рокового июньского восстания 1848 года – величайшей из всех уличных войн, какие только видела история.

Случается иногда, что чернь, великая бунтовщица, восстает даже против высоких принципов, против свободы, равенства и братства, против избирательного права, против верховной власти народа, восстает из бездны своего отчаяния, своих бедствий, разочарований, тревог, лишений, смрада, невежества, темноты; случается, что толпа объявляет войну народу.

Оборванцы нападают на общественное право, охлократия ополчается против демоса. Это мрачные дни, ибо даже в таком безумии всегда есть известная доля справедливости, такая дуэль похожа на самоубийство, а слова якобы оскорбительные – оборванцы, чернь, охлократия, простонародье – доказывают, увы, скорее вину тех, кто господствует, чем тех, кто страдает: скорее вину привилегированных, чем вину обездоленных.

Что до меня, я произношу эти слова с болью и уважением, ибо если философия углубится в события, которым эти слова соответствуют, она нередко найдет там великое наряду с ничтожным. В Афинах была охлократия, гезы создали Голландию, плебеи много раз спасали Рим, а чернь следовала за Иисусом.

Кто из мыслителей порою не задумывался над величиим социального дна!

Именно об этой черни, о всех этих бедняках, бродягах, отверженных, из которых вышли апостолы и мученики, думал, вероятно, блаженный Иероним, когда произнес свое загадочное изречение: *Fex urbis, lex orbis*¹³³

Возмущение толпы, страдающей и обливающейся кровью, ее бессмысленный бунт против жизненно необходимых для нее же принципов, ее беззакония ведут к государственному перевороту и должны быть подавлены. Честный человек идет на это и, именно из любви к толпе, вступает с ней в борьбу. Но как он сочувствует ей, хотя и выступает против! Как уважает ее, хотя и дает ей отпор! Это один из редких случаев, когда, поступая справедливо, мы испытываем смущение и словно не решаемся довести дело до конца; мы упорствуем – это необходимо, но удовлетворенная совесть печальна; мы выполняем свой долг, а сердце щемит в груди.

Поспешим оговориться, – июнь 1848 года был событием исключительным, почти не поддающимся классификации в философии истории. Все слова, сказанные выше, надо взять обратно, когда речь идет об этом неслыханном мятеже, в котором сказалась священная ярость тружеников, взывающих о своих правах. Пришлось подавить мятеж, того требовал долг, так как мятеж угрожал Республике. Но что же в сущности представлял собою июнь 1848 года? Восстание народа против самого себя.

¹³³ Скверна Рима – закон мира (*лат.*)

То, что относится к основному сюжету, нельзя считать отступлением; поэтому да будет нам дозволено ненадолго остановить внимание читателя на двух единственных в своем роде баррикадах, только что упомянутых нами и особенно характерных для восстания.

Одна заграждала заставу предместья Сент-Антуан, другая защищала подступы к предместью Тампль; те, кому довелось увидеть эти выросшие под ясным голубым июньским небом грозные творения гражданской войны, никогда их не забудут.

Сент-Антуанская баррикада была чудовищных размеров – высотой с трехэтажный дом и шириной в семьсот футов. Она загоразживала от угла до угла широкое устье предместья, то есть сразу три улицы; изрытая, иссеченная, зубчатая, изрубленная, с громадным проломом, как бы образующим бойницу, подпираемая грудями камней, превращенными в бастiony, там и сям выдаваясь вперед неровными выступами, надежно прикрывая свой тыл двумя высокими мысами домов предместья, она вздымалась, как гигантская плотина, в глубине грозной площади, некогда видевшей 14 июля. Девятнадцать баррикад громоздились уступами, уходя в глубь улиц, позади этой баррикады-прародительницы. Достаточно было увидеть ее издали, чтобы почувствовать мучительные страдания городских окраин, достигшие того предела, когда отчаянье превращается в катастрофу. Из чего была построена баррикада? Как говорили одни, из развалин трех шестиэтажных домов, нарочно для этого разрушенных. По словам других, ее сотворило чудо народного гнева. Эти развалины наводили уныние, как все порожденное ненавистью. Можно было спросить: кто это построил? Можно было спросить также: кто это разрушил? То было создано вдохновенным порывом клокочущей ярости. Стой! вот дверь! вот решетка! вот навес! вот рама! сломанная жаровня! треснувший горшок! Давай все, швыряй все! Толкай, тащи, выворачивай, выламывай, сшибай, разрушай все! В одну кучу дружно валили булыжники, щебень, бревна, железные брусья, тряпье, битое стекло, ободранные стулья, капустные кочерыжки, лохмотья, мусор, проклятья. Это было величественно и ничтожно. Пародия на первозданный хаос, созданная в спешке и суматохе. Громады и атомы вперемешку; кусок стены рядом с дырявой миской – грозное братство всевозможных обломков; Сизиф бросил сюда свою каменную глыбу, а Иов – свою черепицу. Все в целом внушало ужас. Это был Акрополь голытьбы. По всему скату торчали опрокинутые тележки; огромная повозка, перевернутая колесами вверх, казалась шрамом на этом мятежном лике; распряженный омнибус, который со смехом втащили на руках на самую верхушку, как будто строители варварского сооружения хотели соединить трагическое с забавным, вытягивал свое дышло навстречу неведомым небесным коням. Эта гигантская насыпь, намытая волнами мятежа, вызывала в памяти нагромождение Оссы на Пелион во всех революциях: 93-й год на 89-й, 9 термидора на 10 августа, 18 брюмера на 21 января, вандемьер на прериаль, 1848-й год на 1830-й. Площадь того стоила, и баррикада имела право возникнуть на том самом месте, где исчезла Бастилия. Если бы океан строил плотины, он воздвиг бы именно такую. Ярость прилива наложила печать на эту бесформенную запруду. Какого прилива? Толпы. Казалось, вы видите окаменелый вопль. Казалось, вы слышите, как жужжат над баррикадой, словно над ульем, огромные невиданные пчелы бурного прогресса. Не то непроходимая чаща. Не то пьяная оргия. Не то крепость. Чудилось, будто безумие создало это взмахом крыла. Было что-то омерзительное в этом укреплении и нечто олимпийское в этом хаосе. Там и сям в невероятном сумбуре торчали стропила крыш, оклеенные обоями углы мансард, оконные рамы с целыми стеклами, стоящие среди щебня в ожидании пушечного выстрела, сорванные с кровель трубы, шкафы, столы, скамейки, в бессмысленном, вопиющем беспорядке, всевозможный убогий скраб, отвергнутый даже нищим и носящий отпечаток ярости и разрушения. Можно было бы сказать, что это лохмотья народа: лохмотья из дерева, из железа, меди, камня, и что предместье Сент-Антуан вышвырнуло все это за дверь могучим взмахом метлы, создав баррикаду из своей нищеты. Обрубки, напоминавшие плаху, разорванные цепи, брусья с перекладиной в виде виселиц, колеса, валяющиеся среди щебня, населяли это жилище

анархии мрачными видениями всех древних пыток, каким некогда подвергался народ. Сент-Антуанская баррикада обращала в оружие все; все, чем гражданская война может запустить в голову обществу, вылетало оттуда; то было не сражение, а припадок бешенства. Карабины, которые защищали этот редут, и несколько мушкетонов палили осколками, костяшками, пуговицами, даже колесиками из-под ночных столиков – весьма опасными снарядами, так как они были из меди. Баррикада бесновалась. Она оглашала небо неистовыми воплями; время от времени, как бы дразня осаждавших, она покрывалась бушующей толпой, морем горячих голов; она вся кишела людьми, щетинилась колючим гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков; огромное красное знамя плескалось по ветру. С баррикады доносились команда, боевые песни, дробь барабанов, женский плач и хриплый смех умиравших с голоду. Она была чудовищна и полна жизни, она вспыхивала искрами, как спина электрического ската. Дух революции клубился облаком над этой вершиной, откуда гремел глас народа, подобный гласу божию; от этой гигантской груды мусора исходило странное величие. То была куча отбросов, и то был Синай.

Как мы говорили выше, баррикада сражалась во имя Революции. С кем? С самой Революцией. Эта баррикада, порождение беспорядка, смятения, случайности, недоразумения, неведения, восстала против Учредительного собрания, верховной власти народа, всеобщего избирательного права, против нации, против Республики Карманьола вызвала на бой Марсельезу.

Вызов безрассудный, но героический, ибо этот старый пригород сам был героем. Предмесье и его редут защищали друг друга. Предмесье опиралось на редут, редут прислонялся к предмесью. Громадная баррикада высилась, как скала, о которую разбивалась стратегия генералов, прославленных в африканских походах. Все ее впадины, наросты, шишки, горбы казались в клубах дыма ее гримасами, озорной усмешкой. Картечь застревала в ее бесформенной массе, снаряды вязли, поглощались, исчезали, ядра только дырявили дыры; какой смысл бомбардировать хаос? И войска, привыкшие к самым страшным картинам войны, с тревогой глядели на этот редут-чудовище, щетинистый, как вепрь, и огромный, как гора.

Если бы кто отважился заглянуть в четверти мили оттуда за острый выступ, образуемый витриной магазина Далемань, на углу улицы Тамплъ, выходившей на бульвар близ Шато-д'О, то увидел бы вдалеке, по ту сторону канала, на верхнем конце улицы, поднимающейся лесенкой по предмесью Бельвиль, какую-то странную стену в два этажа высотой. Она соединяла прямой чертой дома правой стороны с левой, как будто улица сама отвела назад свою самую высокую стену, чтобы выставить надежный заслон. Это была стена из тесаного камня. Прямая, гладкая, холодная, крутая, она была выверена наугольником, выложена по шнурку, проверена по отвесу. Разумеется, ее не цементировали, но, как в иных римских стенах, это не нарушало строгой ее архитектуры. По высоте можно было догадаться о ее прочности. Карниз был математически точно параллелен основанию. На серой поверхности, через известные промежутки, виднелись едва заметные отверстия бойниц, подобные черным линиям. Бойницы были расположены на равных расстояниях друг от друга. Улица была пустыня; все окна и двери заперты, а в глубине возвышалась застава – неподвижная и безмолвная стена, превращавшая улицу в тупик. На стене никого не было видно, ничего не было слышно: ни крика, ни шума, ни дыхания. Она казалась гробницей.

Ослепительное июньское солнце заливало светом это грозное сооружение.

То была баррикада предмесья Тамплъ.

Подойдя и увидев ее, даже самые смелые призадумывались, пораженные загадочным видением. Все здесь было строго, прямолинейно, тщательно прилажено, плотно пригнано, симметрично и зловеще. Здесь наука сочеталась с магией. Казалось, создателем такой баррикады мог быть геометр или призрак. Глядя на нее, невольно понижали голос.

Время от времени, лишь только солдат, офицер или представитель власти решался пересечь пустынную улицу, раздавался тонкий свистящий звук, и прохожий падал раненный или убитый. Если же ему удавалось перебежать, пуля вонзалась в закрытую ставню, застревала между кирпичами или в стенной штукатурке. А иногда вылетала и картечь. Бойцы баррикады соорудили из двух обломков чугунных газовых труб, заткнутых с одного конца паклей и глиной, две небольшие пушки. Пороха не тратили зря: почти каждый выстрел попадал в цель. Здесь и там валялись трупы, лужи крови стояли на мостовой. Мне запомнился белый мотылек, порхавший посреди улицы. Лето остается летом.

Все подворотни окрестных домов были забиты ранеными.

Каждый чувствовал себя под прицелом невидимого врага и понимал, что улица пристрелена во всю длину.

Солдаты, построенные для атаки у Тампльской заставы, за горбатым мостом канала, хмуро и сосредоточенно разглядывали этот мрачный редут, неподвижный, бесстрастный, рассылающий смерть. Некоторые добирались ползком до середины выгнутого дугой моста, стараясь не выставлять кивера.

Бравый полковник Монтейнар любовался баррикадой не без внутреннего трепета.

– А как построено! – сказал он, обращаясь к одному из депутатов. – Ни один камень не выдается. Точно из фарфора!

В этот миг пуля пробила орден на его груди, и он упал.

– Труссы! – кричали солдаты. – Да покажитесь же! Дайте на вас посмотреть! Они не смеют! Они прячутся!

Баррикада предместья Тампль, которую защищали восемьдесят человек против десяти тысяч, продержались три дня. На четвертый, как в битве при Зааче и при Константине, атакующие ворвались в дома, прошли по крышам, и баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти «трусов» и не подумал бежать, все были убиты, кроме начальника Бартелеми, о котором мы скажем позже.

Баррикада Сент-Антуан поражала раскатами громов, баррикада Тампль – молчанием. Между двумя редутами была та же разница, как между страшным и зловещим. Одна казалась мордой зверя, другая – маской.

Если в грандиозном и мрачном июньском восстании сочетались гнев и загадка, то за первой баррикадой чудился дракон, за второй – сфинкс.

Две эти крепости были созданы двумя людьми. по имени Курне и Бартелеми. Курне воздвиг баррикаду Сент-Антуан, Бартелеми – баррикаду Тампль. Каждая отражала черты того, кто ее построил.

Курне был человек высокого роста, широкоплечий, полнокровный, с могучими кулаками, смелым сердцем, чистой душой, с открытым и грозным взглядом. Отважный, решительный, вспыльчивый, буйный, он был самым добродушным из людей и самым опасным из бойцов. Война, борьба, схватка были его родной стихией и радовали его. Он служил когда-то офицером флота; по его движениям и голосу можно было угадать, что он сын океана, порождение бури; он врывался в битву, как ураган. У Курне было нечто общее с Дантоном, кроме гениальности, как у Дантона было нечто общее с Геркулесом, кроме божественного происхождения.

Худенький, невзрачный, бледный, молчаливый Бартелеми напоминал гамена, но с трагической судьбой; получив как-то пощечину от полицейского, он его выследил, подстерег, убил и, семнадцати лет от роду, был сослан на каторгу. Выйдя оттуда, он построил баррикаду.

Волею рока, в Лондоне, где позже оба они жили в изгнании, Бартелеми убил Курне.

Злосчастная дуэль! Некоторое время спустя, впутанный в одну из тех загадочных историй, где замешана страсть, в одну из тех катастроф, где французское правосудие видит смягчающие обстоятельства, а английское правосудие – только убийство, Бартелеми был

повешен. Наш общественный строй так мрачен, что этот несчастный, который несомненно был одарен незаурядным, а может быть, и выдающимся умом, в силу материальных лишений и низкого морального уровня, начал каторгой во Франции и кончил виселицей в Англии. Во всех случаях Бартеlemi водружал одно только знамя – черное.

Глава вторая. Что делать в бездне, если не беседовать?

Шестнадцать лет – немалый срок для тайной подготовки к восстанию, и июнь 1848 года научился многому в сравнении с июнем 1832 года. Поэтому баррикада на улице Шанврери была только наброском, только зародышем по сравнению с двумя гигантскими баррикадами, описанными выше; но для своего времени она была страшна.

Под наблюдением Анжольраса повстанцы работали всю ночь. Мариус ни в чем не принимал участия. Баррикада не только была восстановлена, но и достроена. Ее подняли на два фута выше. Железные брусья, воткнутые в мостовую, напоминали пики, взятые наперевес. Всевозможный хлам, собранный отовсюду и наваленный с внешней стороны баррикады, довершал ее хаотический вид. Искусно построенный редут представлял собой изнутри гладкую стену, а снаружи непроходимую чашу.

Лестницу из булыжников починили, так что на баррикаду можно было всходить, как на крепостную стену.

Всюду навели порядок: очистили от мусора нижнюю залу, обратили кухню в перевязочную, перебинтовали раненых, собрали рассыпанный на полу и по столам порох, отлили пули, набили патроны, нащипали корпии, раздали валявшееся на земле оружие, прибрали редут внутри, вытащили обломки, вынесли трупы.

Убитых сложили грудой на улице Мондетур, которая все еще была в руках повстанцев. Мостовая на этом месте долго оставалась красной от крови. В числе мертвых были четыре национальных гвардейца пригородных войск. Их мундиры Анжольрас велел сохранить. Анжольрас посоветовал всем заснуть часа на два. Совет Анжольраса был равносильен приказу. Однако ему последовали лишь трое или четверо. Фейи употребил эти два часа, чтобы изобразить на стене против кабачка надпись:

ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАРОДЫ!

Эти три слова, вырезанные на камне гвоздем, еще можно было прочесть в 1848 году.

Три женщины воспользовались ночной передышкой и куда-то исчезли: вероятно, им удалось скрыться где-нибудь в соседнем доме. Повстанцы облегченно вздохнули.

Большинство раненых еще могли и хотели участвовать в бою. В кухне, которая стала перевязочной, на тюфяках и соломенных подстилках лежало пятеро тяжело раненных, в том числе два солдата муниципальной гвардии. Солдат перевязали в первую очередь.

В нижней зале остался только Мабеф, накрытый черным покрывалом, и Жавер, привязанный к столбу.

– Здесь будет мертвецкая, – сказал Анжольрас.

В комнате, едва освещенной свечой, в самой глубине, где за столом, наподобие перекладкины, виднелся стол с покойником, смутно вырисовывались очертания громадного креста, образуемого стоящим во весь рост Жавером и лежащим Мабефом.

Дышло омнибуса, хотя и обломанное при обстреле, еще достаточно хорошо держалось, и на нем укрепили знамя.

Анжольрас, отличавшийся свойством настоящего командира – всегда претворять слово в дело – привязал к этому древку пробитую пулями и залитую кровью одежду убитого старика.

Накормить людей было уже нечем. Не осталось ни хлеба, ни мяса. За шестнадцать часов, проведенных на баррикаде, пятьдесят человек уничтожили скудные запасы кабачка. Рано или поздно любая сражающаяся баррикада неизбежно становится плотом «Медузы». Пришлось примириться с голодом. Наступили первые часы того спартански сурового дня 6 июня, когда Жанн, которого обступили повстанцы на баррикаде Сен-Мерри, с криками: «Хлеба! Дайте есть!» – отвечал! «К чему? Теперь три часа. В четыре мы будем убиты». Так как есть было нечего, Анжольрас не разрешил и пить. Он запретил вино и разделил водку на порции.

В погребке было обнаружено пятнадцать полных, плотно закупоренных бутылок Анжольрас и Комбефер обследовали их. Поднявшись наверх, Комбефер заявил:

– Это из старых запасов дядюшки Гюшлу, он начал с бакалейной торговли.

– Вино, должно быть, отменное, – заметил Боссюз, – хорошо, что Грантер спит. Будь он на ногах, попробуй-ка уберечь от него бутылки.

Несмотря на ропот, Анжольрас наложил запрет на эти пятнадцать бутылок и, чтобы никто не посягнул на них, велел положить их под стол, на котором покоился старый Мабеф.

Около двух часов ночи сделали перекличку. На баррикаде еще оставалось тридцать семь человек.

Светало. Только что потушили факел, воткнутый на старое место, в щель между булыжниками. Баррикада, походившая внутри на небольшой огороженный дворик посреди улицы, была погружена в темноту, а сверху, в неверных предрассветных сумерках, напоминала палубу разбитого корабля. Бойцы баррикады, бродившие взад и вперед, казались зыбкими тенями. Над этим зловещим гнездом мрака вырастали сизые очертания молчаливых домов, в вышине смутно белели трубы. Небо приняло нежный неопределенный оттенок, не то белый, не то голубой. В вышине с радостным щебетаньем носились птицы. На крыше высокого дома, обращенного на восток и служившего опорой баррикаде, появился розовый отблеск. В слуховом оконце третьего этажа утренний ветер шевелил седые волосы на голове убитого человека.

– Я рад, что потушили факел, – сказал Курфейрак, обращаясь к Фейи, – меня раздражал этот огонь, трепещущий на ветру, будто от страха. Пламя факела подобно мудрости трусов: оно плохо освещает, потому что дрожит.

Заря пробуждает умы, как пробуждает птиц: все заговорили.

Увидев кошку, пробиравшуюся по желобу на крыше, Жоли нашел повод для философских размышлений.

– Что такое кошка? – воскликнул он. – Это поправка. Господь бог, сотворив мышь, сказал: «Стойка, я сделал глупость». И сотворил кошку. Кошка – это исправленная опечатка мыши. Мышь, потом кошка-это проверенный и исправленный пробный оттиск творения.

Комбефер, окруженный студентами и рабочими, говорил о погибших, о Жане Прувере, о Баореле, о Мабефе, даже о Кабюке и о суровой печали Анжольраса. Он сказал:

– Гармодий и Аристокитон, Брут, Хереас, Стефанус, Кромвель, Шарлотта Корде, Занд – все они, нанеся удар, испытали сердечную муку. Сердце наше столь чувствительно, а жизнь человеческая столь загадочна, что даже при политическом убийстве, при убийстве освободительном, когда оно совершено, раскаянье в убийстве человека сильнее, чем радость служения человечеству.

И минуту спустя – так причудливы повороты мысли в беседе – от стихов Жана Прувера Комбефер уже перешел к сравнению переводчиков «Георгик»: Ро – с Курнано, Курнана – с Делилем, отмечая отдельные отрывки, переведенные Мальфилатром, в особенности чудесные строки о смерти Цезаря; при упоминании о Цезаре разговор снова вернулся к Бруту.

– Убийство Цезаря справедливо, – сказал Комбефер. – Цицерон был суров к Цезарю, и был прав. Такая суровость – не злостная хула. Когда Зоил оскорбляет Гомера, Мевий оскорбляет

Вергилия, Визе – Мольера, Поп – Шекспира, Фрерон – Вольтера, тут действует древний закон зависти и ненависти: гении всегда подвергаются преследованию, великих людей всегда так или иначе травят. Но Зоил одно, а Цицерон другое. Цицерон карает мыслью так же, как Брут карает мечом. Лично я порицаю этот вид правосудия, но в древности его допускали. Цезарь, который переступил Рубикон, раздавал от своего имени высшие должности, на что имел право лишь народ, и не вставал с места при появлении сената, поступал, по словам Евтропия, как царь, даже больше – как тиран: *regia ac paene tyrannica*¹³⁴. Он был великий человек; тем хуже, или, вернее, лучше: тем убедительнее пример. Его двадцать три раны трогают меня куда меньше, чем плевков на челе Иисуса Христа. Цезаря закололи сенаторы, Христа били по щекам рабы. По степени оскорбления узнают бога. Боссюэ, стоя на груди камней с карабином в руках и возвышаясь над всеми, восклицал: – О Кидатеней, о Миррин, о Пробалинф, о прекрасный Эантид! Кто дарует мне счастье произносить стихи Гомера, подобно греку из Лаврия или из Эдаптеона!

Глава третья. Чем светлее, тем мрачнее

Анжольрас отправился на разведку. Он вышел незаметно через переулок Мондетур, проскользнув вдоль стен.

Повстанцы, надо сказать, были полны надежд. Удачно отразив ночную атаку, они заранее относились с пренебрежением к новой атаке на рассвете. Они ждали ее посмеиваясь. Все так же верили в успех, как и в правоту своего дела. Кроме того, к ним, бесспорно, должны прийти подкрепления. На это они твердо рассчитывали. С тою легкой уверенностью в победе, которая составляет одно из преимуществ французского воина, они разделяли наступающий день на три фазы: в шесть утра «соответствующим образом подготовленный» полк перейдет на их сторону, в полдень – восстание всего Парижа, на закате – революция. Они слышали набатный колокол Сен-Мерри, не замолкавший ни на минуту со вчерашнего дня; это доказывало, что вторая баррикада, большая баррикада Жанна, все еще держалась. Все эти чаянья и слухи передавались от группы к группе веселым и грозным шепотом, напоминавшим воинственное жужжанье пчелиного улья.

Появился Анжольрас. Он возвратился из своей отважной разведки в угрюмой окрестной тьме. С минуту он молча прислушивался к оживленному говору, скрестив руки на груди. Потом, свежий и румяный в лучах разгоравшегося рассвета, он сказал:

– Вся армия Парижа в боевой готовности. Треть этой армии угрожает нашей баррикаде. Кроме того, там национальная гвардия. Я разглядел кивера пятого линейного и значки шестого легиона. Через час нас атакуют. Что касается народа, он бунтовал вчера, а нынче утром не тронется с места. Ждать нам нечего, надеяться не на что. Ни на одно предместье, ни на один полк. Нас покинули все.

Эти слова прервали гул голосов и произвели такое же впечатление, как первые капли дождя на пчелиный рой перед началом грозы. Все онемели. На миг наступила невыразимая тишина; казалось, слышался полет смерти.

Но этот миг был краток.

Из дальней группы, стоявшей в самом темном углу, чей-то голос крикнул Анжольрасу:

– Будь что будет! Подыдем баррикаду на двадцать футов выше и останемся здесь все до одного. Граждане, поклянемся клятвой мертвецов! Докажем, что если народ предает республиканцев, то республиканцы не предадут народ!

¹³⁴ По-царски и почти тиранически (*лат.*)

Слова эти рассеяли гнетущий туман личных тревог и страхов и были встречены восторженными криками.

Никто так и не узнал имени человека, произнесшего эти слова. То был безвестный рабочий, никому неведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах, при зарождении нового общественного строя, чтобы в нужную минуту властным голосом произнести решающее слово и вновь кануть во мрак, воплотив в себе на краткий миг, при блеске молнии, дух народа и божества.

Это непреклонное решение было настолько в духе 6 июня 1832 года, что почти одновременно на баррикаде Сен-Мерри прозвучал возглас, который вошел в историю и упоминался на судебном процессе: «Придут к нам на помощь или не придут, не все ли равно! Погибнем здесь все до последнего!»

Очевидно, обе баррикады, хотя и разобщенные внешне, были объединены духовно.

Глава четвертая. Пятью меньше, одним больше

После того как выступил незнакомец, провозгласивший «клятву мертвецов», и выразил в этой формуле общее душевное состояние, из всех уст вырвался радостный и грозный крик, зловеющий по смыслу, но звучащий торжеством.

– Да здравствует смерть! Останемся здесь все до одного!

– Почему же все? – спросил Анжольрас.

– Все! Все!

Анжольрас возразил:

– Позиция у нас выгодная, баррикада превосходная. Вполне достаточно тридцати человек. Зачем же приносить в жертву сорок?

– Потому что никто не захочет уйти, – отвечали ему.

– Граждане! – крикнул Анжольрас, и голос его задрожал от гнева. – Республика не настолько богата людьми, чтобы губить их понапрасну. Такое тщеславие – просто мотовство. Если некоторым из вас долг повелевает уйти, они обязаны исполнить его, как всякий другой долг. Анжольрас, воплощенный принцип, признанный вождем, пользовался среди своих единомышленников безграничной властью. Но как ни велика была сила его влияния, поднялся ропот.

Командир до мозга костей, Анжольрас, услышав ропот, стал настаивать. Он заявил властным тоном:

– Пусть те, кого пугает, что нас останется только тридцать, скажут об этом.

Ропот усилился.

– Легко сказать: «Уйдите»! – послышался голос из рядов. – Ведь баррикада оцеплена.

– Только не со стороны рынка, – возразил Анжольрас. – Улица Мондетур свободна, и улицей Проповедников можно добраться до рынка Инносан.

– Вот там-то и схватят, – раздался другой голос. – Как раз напорешься на караульный отряд национальных гвардейцев или гвардейцев предместья. Они-то уж заметят человека в блузе и фуражке. «Эй, откуда ты? Уж не с баррикады ли? – и поглядят на руки. – Ага, от тебя пахнет порохом. К расстрелу!»

Вместо ответа Анжольрас тронул за плечо Комбефера, и оба вошли в нижнюю залу.

Минуту спустя они вернулись. Анжольрас держал на вытянутых руках четыре мундира, сохраненных по его приказанию. Комбефер шел за ним, неся амуницию и кивера.

– В таком мундире, – сказал Анжольрас, – легко затеряться в рядах и скрыться. Во всяком случае, на четверых здесь хватит.

Он бросил мундиры на землю.

Это не поколебало стоической решимости его слушателей. Тогда заговорил Комбефер.

– Полноте! – сказал он. – Будьте сострадательны. Знаете, о чем идет речь? О женщинах. Скажите, есть у вас жены? Да или нет? Есть дети? Да или нет? Есть матери, качающие колыбель и окруженные кучей малышей? Кто никогда не видел грудь кормилицы, подымите руку. Ах, вы хотите быть убитыми! Поверьте, я сам хочу того же, но не желаю видеть вокруг себя тени женщин, ломающих руки. Умирайте, если хотите, но не губите других. Самоубийство, которое здесь произойдет, возвышенно, но ведь самоубийство – действие, строго ограниченное, не выходящее за известные пределы. Как только оно коснется ваших близких, это уже убийство. Вспомните о белокурых детских головках, вспомните о седых стариках. Слушайте: Анжольрас рассказал мне сейчас, что видел на углу Лебязьей улицы освещенное свечой узкое оконце пятого этажа и на стекле дрожащую тень старушки, которая, верно, всю ночь не смыкала глаз и кого-то ждала. Быть может, это мать одного из вас. Так вот, пусть он уйдет, пусть поспешит сказать матери: «Матушка, вот и я!» Ему нечего беспокоиться, мы завершим дело и без него. Тот, кто содержит близких своим трудом, не имеет права жертвовать собой. Это значит бросить семью на произвол судьбы. А те, у кого остались дочери, у кого остались сестры? О них вы подумали? Вы идете на смерть, вас убьют – прекрасно! А завтра? Ужасно, когда девушке нечего есть! Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. Прелестные создания, ласковые и нежные с цветком в волосах! Они поют, болтают, озаряют ваш дом невинностью и свежим благоуханием, они доказывают своей девственной чистотой на земле существование ангелов на небесах! Подумайте о Жанне, о Лизе, о Мими: эти пленительные благородные существа, гордость и благословение вашей семьи, ведь они – о боже! – они будут голодать! Что тут скрывать? Есть рынок, где торгуют человеческим телом; и если они сойдут туда, разве ваши тени, витающие вокруг, удержат их своими бесплотными руками? Вспомните об улице, о тротуарах, заполненных прохожими, о магазинах, перед которыми слоняются по грязи полураздетые женщины. Эти женщины тоже были когда-то невинными. Вспомните о ваших сестрах, у многих из вас они есть. Нищета, проституция, полиция, больница Сен-Лазар – вот что суждено этим нежным красавицам, хрупким чудесным созданиям, стыдливым, грациозным и прелестным, свежим, как майская сирень. Ах вот как, вы пошли на смерть? Вас уже нет на свете! Отлично, нечего сказать! Вы стремитесь спасти народ от королевской власти, а дочерей своих бросаете в полицейский участок. Полноте, друзья, будьте милосердны. Бедные, бедные женщины, мы так мало о них думаем! Мы полагаемся на то, что женщины не так образованы, как мы, им мешают читать, мешают мыслить, запрещают заниматься политикой; но разве можно запретить им пойти нынче вечером в морг и опознать ваши трупы? Слушайте, вы, у кого осталась семья: не упрямитесь, пожмите нам руки и уходите, мы и одни здесь справимся. Я прекрасно понимаю: чтобы уйти, нужно мужество; это трудно. Но чем труднее, тем больше заслуга. Вы говорите: у меня ружье, я на баррикаде, будь что будет, я остаюсь. Будь что будет – не слишком ли сгоряча это сказано? Друзья мои, наступит завтрашний день; вы не доживете до завтра, но семьи ваши доживут, и сколько страданий их ожидает! Представьте себе славного здорового ребенка с румяными, как яблоко, щеками; он болтает, щебечет, тараторит, смеется, он так вкусно пахнет, когда его целуешь. Знаете ли вы, что с ним станет, когда его покинут? Я видел одного, совсем крошечного, вот такого роста. Его отец умер. Бедные люди приютили его из милости, но им самим не хватало хлеба. Ребенок всегда был голоден. Стояла зима. Он не плакал. Он все бродил около печки, в которой никогда не было огня, а труба у нее была обмазана желтой глиной. Он отковыривал пальчиками куски глины и ел ее. У него было хриплое дыхание, бледное личико, слабые ножки, вздутый живот. Он ничего не говорил и не отвечал на вопросы. Он умер. А умирать его принесли в больницу Некер, где я его и видел. Я проходил там как интерн врачебную практику. Так вот, если есть среди вас отцы, которые любят гулять по воскресеньям, держа ручку ребенка в своей большой сильной руке, пусть каждый отец представит себе, что это его ребенок. Я помню этого несчастного малыша, я как сейчас

вижу его голое тельце на анатомическом столе; ребра выступали под кожей, словно могилки под кладбищенской травой. В желудке у него нашли какую-то грязь, в зубах застряла зола. Давайте же заглянем к себе в сердце, спросим совета у совести. Как установлено статистикой, смертность среди осиротевших детей достигает пятидесяти пяти процентов. Повторяю: речь идет о женщинах, о матерях, о девушках, речь идет о малышах. Кто говорит о вас самих? Мы знаем, кто вы такие, знаем, что все вы храбрецы, черт возьми! Прекрасно знаем, что вы с радостью, с гордостью готовы отдать жизнь за великое дело, что вы чувствуете себя призванными умереть с пользой и славой, что всякий из вас дорожит своей долей в общем торжестве. В добрый час! Но вы же не одни на свете. Есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не будьте эгоистами!

Все насупились.

Какие удивительные противоречия вскрываются в человеческом сердце в такие мгновения! Комбефер, произносивший эти слова, вовсе не был сиротой. Он помнил о чужих матерях и забыл о своей. Он шел на смерть. Он-то и был «эгоистом».

Изнуренный голодом и лихорадкой, Мариус, потеряв одну за другой все свои надежды, пережив самое страшное из крушений – упадок духа, истерзанный бурными волнениями и чувствуя близость конца, все больше впадал в странное оцепенение, которое предшествует роковому часу добровольной смерти.

Физиолог мог бы изучать на нем нарастающие симптомы того болезненного самоуглубления, изученного и классифицированного наукой, которое так же относится к страданию, как страсть – к наслаждению. У отчаянья также есть свои минуты экстаза. Мариус переживал такую минуту. Ему казалось, что он вне всякого происходящего; как мы уже говорили, он видел все как бы издалека, воспринимал целое, но не различал подробностей. Люди двигались словно за огненной завесой, голоса доносились откуда-то из бездны.

Однако речь Комбефера растрогала всех. Было в этой сцене что-то острое и мучительное, что пронзило его и пробудило из забытья. Им владела одна мысль – умереть, и он не желал ничем отвлекаться, однако в своем зловещем полусне подумал, что, губя себя, не запрещается спасать других.

Он возвысил голос.

– Анжольрас и Комбефер правы, – сказал он, – не нужно бесцельных жертв. Я согласен с ними; но надо спешить. То что сказал Комбефер, неопровержимо. У кого из вас есть семьи, матери, сестры, жены, дети, пусть выйдут вперед.

Никто не тронулся с места.

– Кто женат, кто опора семьи, выходите вперед! – повторил Мариус.

Его влияние было велико. Вождем баррикады, правда, считался Анжольрас, но Мариус был ее спасителем.

– Я приказываю! – крикнул Анжольрас.

– Я вас прошу, – сказал Мариус.

Тогда храбрецы, потрясенные речью Комбефера, поколебленные приказом Анжольраса, тронутые просьбой Мариуса, начали указывать друг на друга.

– Это верно, – говорил молодой пожилому, – ты отец семейства, уходи.

– Уж лучше ты, – отвечал тот, – у тебя две сестры на руках.

Разгорелся неслыханный спор. Каждый противился тому, чтобы его вытащили из могилы.

– Торопитесь, – сказал Комбефер, – через четверть часа будет поздно.

– Граждане! – настаивал Анжольрас. – У нас здесь республика, все решается голосованием. Выбирайте сами, кто должен уйти.

Ему повиновались. Несколько минут спустя пять человек были выбраны единогласно и вышли из рядов.

– Их пятеро! – воскликнул Мариус.

Мундиров было только четыре.

– Ну что же, одному придется остаться, – ответили пятеро.

И снова каждый стремился остаться и убеждал других уйти. Борьба великодушия возобновилась.

– У тебя любящая жена.

– У тебя старая мать.

– А у тебя ни отца, ни матери. Что станет с твоими тремя братишками?

– У тебя пятеро детей.

– Ты должен жить, в семнадцать лет слишком рано умирать.

На великих революционных баррикадах соревновались в героизме. Невероятное здесь становилось обычным. Никто из этих людей не удивлялся друг другу.

– Скорее, скорее! – твердил Курфейрак.

Из толпы закричали Мариусу:

– Назначьте вы, кому остаться!

– Верно, – сказали все пятеро, – выбирайте. Мы подчинимся.

Мариус не думал, что еще способен испытать подобное волнение. Однако при мысли, что он должен выбрать и послать человека на смерть, вся кровь прилила ему к сердцу. Он бы побледнел еще больше, если бы это было возможно.

Он подошел к пятерым; они улыбались ему, глаза их горели тем же священным пламенем, каким светились в глубокой древности глаза защитников Фермопил, и каждый кричал:

– Меня, меня, меня!

Мариус растерянно пересчитал их; по-прежнему их было пятеро. Затем перевел глаза на четыре мундира.

В этот миг на четыре мундира, как будто с неба, упал пятый.

Пятый человек был спасен.

Мариус поднял глаза и узнал Фошлевана.

Жан Вальжан только что появился на баррикаде.

Не то разведав об этом пути, не то по внутреннему чутью, не то просто случайно, но он проник туда со стороны улицы Мондетур. Благодаря форме национальной гвардии он прошел благополучно.

Дозор, выставленный мятежниками на улице Мондетур, не стал поднимать тревогу из-за одного национального гвардейца. Решив, что это, вероятно, кто-нибудь из пополнения или, в худшем случае, пленный, его пропустили. Момент был слишком опасен, караульные не могли отвлечься от своих обязанностей и покинуть наблюдательный пост.

Появления Жана Вальжана на редуте никто не заметил, так как все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Но Жан Вальжан видел и слышал все: он молча снял с себя мундир и бросил его поверх прочих.

Трудно описать всеобщее волнение.

– Кто этот человек? – спросил Боссюэ.

– Тот, кто спасает других, – ответил Комбефер.

– Я знаю его, – многозначительно прибавил Мариус.

Его поручительства было достаточно.

Анжольрас обратился к Жану Вальжану:

– Добро пожаловать, гражданин!

И добавил:

– Вы знаете, что нам придется умереть?

Вместо ответа Жан Вальжан стал помогать спасенному им повстанцу надеть мундир.

Глава пятая.

Какой горизонт открывается с высоты баррикады

Душевное состояние всех в роковой этот час, в этом месте, откуда не было исхода, нашло свое высшее выражение в глубокой печали Анжольраса.

Анжольрас казался воплощением революции, но была в нем некоторая узость, насколько это возможно для абсолютного, он слишком походил на Сен-Жюста и недостаточно на Анахарсиса Клотца. Однако в обществе Друзей азбуки его ум в конце концов воспринял идеи Комбефера, с некоторых пор, высвобождаясь мало-помалу из тесных рамок догматичности и поддаваясь расширяющему кругозор влиянию прогресса, он пришел к мысли, что великолепным завершением эволюции явится преобразование Великой французской республики в огромную всемирную республику. Если же говорить о методах действия, то в данных обстоятельствах он стоял за насилие против насилия. В этом он не изменился и остался верен той грозной эпической школе, которая определяется словами: Девяносто третий год.

Анжольрас стоял на каменных ступенях, опершись на ствол своего карабина. Он был погружен в раздумье, он вздрагивал, словно на него налетали порывы ветра; там, где веет смерть, порою веет и пророческий дух. Глаза его, выражавшие глубокую сосредоточенность, излучали мерцающий свет. Вдруг он поднял голову, и его светлые кудри откинулись назад, окружая ее сияющим ореолом, словно волосы ангела, летящего на звездной колеснице ночи, словно разметающаяся львиная грива.

– Граждане, вы представляете себе будущее? – воскликнул Анжольрас – Улицы городов, затопленные светом, зеленые ветви у порога домов, братство народов! Люди справедливы, старики благословляют детей, прошедшее в согласии с настоящим; мыслителям – полная свобода, верующим – полное равенство, вместо религии – небеса. Первосвященник – сам бог, вместо алтаря – совесть человека; нет больше ненависти на свете, в школах и мастерских – братство, наградой и наказанием служит гласность; труд для всех, право для всех, мир надо всеми; нет больше кровопролития, нет больше войн, матери счастливы! Покорить материю – первый шаг; осуществить идеал – шаг второй. Подумайте, сколь многого уже достиг прогресс! Некогда первобытные племена взирали в ужасе на гидру, вздымающую океанские воды, на дракона, изрыгающего огонь, на страшного владыку воздуха грифона с крыльями орла и когтями тигра, – на чудовищных тварей, которые превосходили человека могуществом. Однако человек расставил западни, священные западни мысли, и в конце концов изловил чудовищ. Мы укротили гидру, и она зовется пароходом; мы приручили дракона, и он зовется локомотивом; мы вот-вот укротим грифона, мы уже поймали его, и он называется воздушным шаром. В тот день, когда завершится этот Прометеев подвиг, когда воля человека окончательно обуздает трехликую Химеру древности – гидру, дракона и грифона, человек станет властелином воды, огня и воздуха, он будет тем же для остальных одушевленных существ, чем древние боги были некогда для него. Итак, смелее вперед! Граждане, куда мы идем? К государству, которым руководит наука, к силе реальности, которая станет единственной общественной силой, к естественному закону, содержащему в себе самое право признания и осуждения и утверждающему себя своей очевидностью, к восходу истины, подобному восходу зари. Мы идем к единению народов, мы идем к единению человечества. Не будет ложных истин, не останется паразитов. Реальность, управляемая истиной, – вот наша цель. Цивилизация будет заседать в сердце Европы, а позднее – в центре материка, в великом парламенте разума. Нечто подобное бывало и прежде. Собрания амфикионов происходили дважды в год: первый раз в Дельфах, обиталище богов, другой раз в Фермопилах, усыпальнице героев. Будут амфикионы Европы, будут амфикионы земного шара. Франция носит в своем чреве это величественное будущее. Вот чем беременно девятнадцатое столетие; Франция достойна завершить то, что зачато Грецией. Слушай меня, Фейи, честный рабочий, сын народа, сын народов. Я уважаю тебя! Ты прозреваешь грядущее, ты прав. У тебя нет ни отца, ни матери, Фейи, и ты избрал

вместо матери человечество, вместо отца – право. Тебе суждено здесь умереть, то есть восторжествовать. Граждане, что бы с нами ни случилось, ждет ли нас поражение или победа, – все равно, мы творим революцию. Подобно тому как пожары озаряют весь город, революции озаряют все человечество. Во имя чего мы творим революцию, спросите вы? Я только что сказал: во имя Истины. С точки зрения политической, существует один лишь принцип: верховная власть человека над самим собой. Моя власть над моим «я» называется Свободой. Там, где объединяются две такие верховные власти или более, возникает государство. Однако в этом союзе нет самоотречения Тут верховная» власть, добровольно уступает известную долю самой себя, чтобы образовать общественное право. Доля эта одинакова для всех. Равноценность уступок, которые каждый делает обществу, называется Равенством. Общественное право – не что иное, как защита всеми прав каждого в отдельности. Такая защита всеми прав каждого называется Братством. Точка пересечения всех этих видов верховной власти, собранных вместе, называется Обществом. Так как пересечение есть соединение, то такая точка есть узел. Отсюда возникает то, что называют социальными связями. Иные именуют это общественным договором, что, собственно, то же самое: этимологически слово «договор». Контракт, восходит к понятию *contrato* – связывать. Условимся, как понимать равенство. Если свобода – вершина, то равенство-основание. Но равенство, граждане, вовсе не стрижка под одну гребенку всего, что способно расти и развиваться, не сборище высоких трав и низкорослых дубов, не соседство зависти и недоброжелательства, которые взаимно обеспокоивают друг друга; в социальном отношении – это открытая дорога для всех способностей, в политическом – равноправие всех голосов при голосовании, в религиозном – свобода совести для каждого. У равенства есть могучее орудие – бесплатное обязательное обучение. Право на грамоту – вот с чего надо начать. Начальная школа обязательна для всех, средняя школа доступна всем – вот основной закон. Следствием одинакового образования будет общественное равенство. Да, просвещение! Свет! Свет! Все исходит из света и к нему возвращается. Граждане! Девятнадцатый век велик, но двадцатый будет счастливым веком. Не будет ничего общего с прошлым. Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций, перерыва в развитии цивилизации, зависящего от брака в королевской семье, от рождения наследника в династии тиранов; не будет раздела народов конгрессом, расчленения, вызванного крушением династии, борьбы двух религий, столкнувшихся лбами, будто два адских козла на мостике бесконечности. Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни войн, ни случайного разбоя в чаще происшествий. Я мог бы сказать, пожалуй: не будет и самих происшествий. Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое; между душой и небесными светилами установится гармония; дух будет тяготеть к истине, как планеты, вращаясь, тяготеют к солнцу. Друзья! Мы живем в мрачную годину, и я говорю с вами в мрачный час, но этой страшной ценой мы платим за будущее. Революция-это наш выкуп. Человечество будет освобождено, возвеличено и утешено! Мы заверяем его в том с нашей баррикады. Откуда может раздаться голос любви, если не с высот самопожертвования? Братья! Вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она воздвигнута из великих иней и великих страданий. Здесь несчастье соединяется с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей: «Я умру с тобой, а ты возродишься со мною». Из слияния всех скорбей рождается вера. Страдания несут сюда свои предсмертные муки, а идеи – свое бессмертие. Эта агония и это бессмертие, соединившись, станут нашей смертью. Братья! Кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари. Анжольрас закончил свою речь – вернее, прервал ее; его губы беззвучно шевелились, как будто он продолжал говорить сам с собой. Все смотрели на него, затаив дыхание, словно

стараясь расслышать его слова. Рукоплесканий не было, но долго еще переговаривались шепотом. Слово подобно дуновению ветра; вызываемое им волнение умов похоже на волнение листвы под ветром.

Глава шестая.

Мариус угрюм, Жавер лаконичен

Поговорим о том, что происходило в душе Мариуса.

Припомним его состояние. Как мы недавно отметили, все представлялось ему неясным видением. Он смутно воспринимал окружающее. Над Мариусом словно нависла тень громадных зловещих крыльев, распростертых над умирающими. Ему чудилось, будто он сошел в могилу, он чувствовал себя как бы по ту сторону бытия и видел лица живых глазами мертвеца.

Как очутился здесь Фошлеван? Зачем он пришел? Что ему здесь делать? Мариус не задавался такими вопросами. К тому же отчаянию свойственно вселять в нас уверенность, что другие также им охвачены, поэтому Мариусу казалось естественным, что все идет на смерть.

Сердце его сжималось только при мысли о Козетте.

Впрочем, Фошлеван не говорил с ним, не смотрел па него и даже как будто не слышал слов Мариуса: «Я знаю его».

Такое поведение Фошлевана успокаивало Мариуса, мы сказали бы даже – радовало, если бы это слово подходило к его состоянию. Ему всегда представлялось немислимым заговорить с этим загадочным человеком, подозрительным и вместе с тем внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не встречался с ним, что еще больше осложняло дело для такой робкой и скрытной натуры, как Мариус.

Пятеро избранных ушли с баррикады и направились по переулку Мондетур; с виду они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них плакал, уходя. На прощание они обнялись с теми, кто оставался.

Когда ушли пятеро возвращенных к жизни, Анжольрас вспомнил о приговоренном к смерти. Он вошел в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял задумавшись.

– Тебе ничего не нужно? – спросил Анжольрас.

– Когда вы убьете меня? – спросил Жавер.

– Подождешь. Теперь у нас все патроны на счету.

– Тогда дайте мне пить, – сказал Жавер.

Анжольрас подал ему стакан и, так как Жавер был связан, помог напиться.

– Это все? – снова спросил Анжольрас.

– Я устал стоять у столба, – отвечал Жавер. – Не очень-то вежливо с вашей стороны оставить меня так на всю ночь. Связывайте меня как угодно, но почему не положить меня на стол, как вот этого?

Кивком головы он указал на труп Мабефа.

Припомним, что в глубине залы стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и готовили патроны. Теперь, когда патроны были набиты и весь порох истрачен, стол освободился.

По приказу Анжольраса четыре повстанца отвязали Жавера от столба. Пока его развязывали, пятый держал штык у его груди. Руки его оставили скрученными за спиной, а ноги спутали тонким, но прочным ремнем, позволившим делать шаги в пятнадцать дюймов, – так поступают с теми, кого отправляют на эшафот; затем Жавера подвели к столу в глубине залы и уложили на нем, крепко перехватив веревкой поперек тела.

Хотя такая система пут исключала всякую возможность бегства, но для пущей безопасности его связали еще способом, называемым в тюрьмах «мартингалом», то есть укрепили на шее

веревку, которая, спускаясь от затылка, раздваивается у пояса и, пройдя между ног, скручивает кисти рук.

Пока Жавера связывали, какой-то человек, стоя в дверях, смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от него, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Он даже не вздрогнул, – он закрыл глаза с высокомерным видом и промолвил:

– Этого следовало ожидать.

Глава седьмая. Положение осложняется

Становилось все светлее. Но ни одно окно не отворилось, ни одна дверь не приоткрывалась, это была заря, но не пробуждение. Солдат, занимавших конец улицы Шанврери, против баррикады, отвели назад; мостовая казалась безлюдной – она простиралась перед прохожими в зловещем покое. Улица Сен-Дени была безмолвна, словно аллея сфинксов в Фивах. На перекрестках, белевших в лучах зари, не было ни души. Нет ничего мрачнее пустынных улиц при утреннем свете.

Ничего не было видно, но что-то доносилось до слуха. Где-то неподалеку происходило таинственное движение. Все говорило о том, что близилась решительная минута. Как и накануне вечером, дозорных отозвали, на этот раз всех до одного.

Баррикада была укреплена сильнее, чем при первой атаке. После ухода пяти повстанцев ее надстроили еще выше.

Опасаясь неожиданного нападения с тыла, Анжольрас, по совету дозорных, обследовавших район рынка, принял важное решение он велел загородить узкий проход переулка Мондетур, который до сих пор оставался свободным. Для этого разобрали мостовую еще вдоль нескольких домов. Таким образом, баррикада, перегородившая три улицы каменной стеной – спереди улицу Шанврери, слева Лебяжью и Малую Бродяжную, справа улицу Мондетур, – стала почти неприступной; правда, защитники ее оказались наглухо запертыми. У нее было три фронта, но не осталось ни одного выхода.

– Не то крепость, не то мышеловка, – сказал, смеясь, Курфейрак.

У входа в кабачок Анжольрас велел сложить в кучу штук тридцать оставшихся булыжников, «вывороченных зря», как выразился Боссюэ.

В той стороне, откуда ждали нападения, стояла такая глубокая тишина, что Анжольрас приказал всем занять боевые посты.

Каждому выдали порцию водки.

Нет ничего необычайнее баррикады, которая готовится выдержать атаку. Каждый устраивается поудобнее, точно на спектакле. Кто прислонится к стене, кто облокотится, кто обопрется плечом. Некоторые сооружают себе скамью из булыжников. Здесь мешает угол стены – от него отходят подальше; там выступ – надо укрыться под его защиту. Левши в большой цене: они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются так, чтобы вести бой сидя. Всем хочется найти положение, в котором удобно убивать и покойно умирать. Во время роковой июньской битвы 1848 года один повстанец, одаренный необычайной меткостью и стрелявший с площадки на крыше, велел принести себе туда вольтеровское кресло; там его и поразил залп картечи.

Как только командир приказал готовиться к бою, беспорядочная суeta на баррикаде тотчас прекратилась: перестали перекидываться словами, собираться в кружки, перешептываться по углам, разбиваться на группы. Все, что бродило в мыслях, сосредоточилось на одном и превратилось в ожидание атаки. Баррикада перед нападением – воплощенный хаос; в грозный час – воплощенная дисциплина. Опасность порождает порядок.

Лишь только Анжольрас взял свой дуствольный карабин и занял выбранный им пост перед отверстием в виде бойницы, все замолчали. Вдоль стены, сложенной из булыжников, раздалось легкое сухое потрескивание. Это заряжали ружья.

Несмотря ни на что, все держались более гордо и более уверенно, чем когда-либо: предельное самоотвержение есть самоутверждение; надежды ни у кого не оставалось, но оставалось отчаяние. Отчаяние – последнее оружие, иногда приводящее к победе, как сказал Вергилий. Крайняя решимость идет на крайние средства. Порою броситься в пучину смерти – это способ избежать гибели, и крышка гроба становится тогда якорем спасения.

Как и накануне вечером, внимание всех было обращено, вернее – приковано, к перекрестку улицы, уже освещенной зарей и ясно различимой.

Ждать пришлось недолго. Со стороны Сен-Ле явственно послышалось какое-то движение, непохожее на шум вчерашней атаки. Лязг цепей, беспокойная тряска движущейся громады, звяканье меди, какой-то торжественный грохот – все возвещало приближение грозной железной машины. Сотрясилось самое нутро старых тихих улиц, проложенных и застроенных для мирного плодотворного общения людских интересов и идей, – улиц, не приспособленных для чудовищных перекатов военной колесницы.

Бойцы напряженно вглядывались вдаль.

И вот показалась пушка.

Артиллеристы катили орудие, приготовленное для стрельбы и снятое с передка; двое поддерживали лафет, четверо толкали колеса, другие везли позади зарядный ящик. Видно было, как дымится зажженный фитиль.

– Огонь! – скомандовал Анжольрас.

С баррикады дали залп, раздался ужасающий грохот; туча дыма скрыла и заволокла людей и орудие; через несколько секунд облако рассеялось, и пушка с людьми показалась снова.

Канониры устанавливали орудие против баррикады, медленно, аккуратно, не торопясь. Ни один из них не был ранен. Затем наводчик налег на казенную часть, чтобы поднять прицел, и начал наводить пушку с серьезностью астронома, направляющего подзорную трубу.

– Bravo, артиллеристы! – вскричал Боссюэ.

Баррикада разразилась рукоплесканиями.

Минуту спустя, прочно утвердившись на самой середине улицы, оседлав канаву, орудие приготовилось к бою. Оно разевало на баррикаду свою страшную пасть.

– А ну, валяй! – проговорил Курфейрак. – Вот так зверюга! Сперва в щелчки, а потом в кулаки. Армия протягивает к нам свою лапищу. Баррикаду здорово потряхнет. Ружьем нащупывают, пушкой бьют.

– Это восьмидюймовое орудие нового образца, из бронзы, – добавил Комбефер. – Такие орудия при малейшем нарушении пропорции – на сто частей меди десять частей олова – могут взорваться. Излишек олова делает их ломкими. В стволе могут образоваться пустоты и раковины. Чтобы избежать этой опасности и увеличить заряд, пожалуй, следовало бы вернуться к набивке обручей, как в четырнадцатом веке, и насадить на дуло, от казенной части до цапфы, ряд стальных колец. А до тех пор стараются чем могут помочь горю: с помощью трещотки удается определить, где появились трещины и раковины в стволе орудия. Но есть лучший способ: это движущаяся искра Грибоваля.

– В шестнадцатом веке пушки были нарезные, – заметил Боссюэ.

– Да, – подтвердил Комбефер, – это увеличивает силу удара, но уменьшает его точность.

Кроме того, при стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет нужного угла, парабола ее чрезмерно увеличивается, снаряд летит недостаточно прямо и не в состоянии поразить то, что встретит на своем пути. А в сражении это тем важнее, чем ближе неприятель и чем чаще должна стрелять пушка. Этот недостаток натяжения кривой снаряда в нарезных пушках шестнадцатого века зависел от слабости заряда, а слабые заряды в подобных орудиях отвечали требованиям баллистики и способствовали сохранности

лафетов. В общем такой деспот, как пушка, не волен делать все, что захочет; ее сила, в сущности, большая слабость. Скорость пушечного ядра только шестьсот миль в час, тогда как скорость света – семьдесят тысяч миль в секунду. Таково превосходство Иисуса Христа над Наполеоном.

– Зарядите ружья, – приказал Анжольрас.

Способна ли баррикада выдержать пушечное ядро? Пробьет ли ее залпом? Вот в чем вопрос. Пока повстанцы перезаряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку.

– Защитники редута застыли в тревожном ожидании.

Грянул выстрел, раздался грохот.

– Есть! – крикнул веселый голос.

И в ту же секунду как ядро попало в баррикаду, внутрь ее скатился Гаврош.

Он пробрался с Лебяжьей улицы и легко перелез через добавочную баррикаду, отгородившую запутанные переулки Малой Бродяжной.

Гаврош произвел куда большее впечатление на баррикаде, чем ядро.

Оно застряло в грудe хлама, разбив всего-навсего одно из колес омнибуса и доконав старые сломанные роспуски Ансо. Увидев это, вся баррикада разразилась хохотом.

– Валяйте дальше! – крикнул артиллеристам Боссюэ.

Глава восьмая.

Артиллеристы дают понять, что с ними шутки плохи

Гавроша обступили.

Но он не успел ничего рассказать. Мариус, весь дрожа, отвел его в сторону.

– Зачем ты сюда пришел?

– Вот те на! – воскликнул мальчик. – А вы-то сами?

И он смерил Мариуса спокойным, дерзким взглядом. Его глаза сияли гордостью.

Мариус продолжал строгим тоном:

– Кто тебе велел возвращаться? Передал ты по крайней мере письмо по адресу?

По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принужден был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно, человек был без шляпы, но это не меняет дела. Словом, в душе он поругивал себя и боялся упреков Мариуса. Чтобы выйти из положения, он избрал самый простой способ – начал бессовестно врать.

– Гражданин! Я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснется.

Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель – проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Ему пришлось удовольствоваться половиной задуманного.

Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на Фошлевана, он спросил:

– Ты знаешь этого человека?

– Нет, – ответил Гаврош.

Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только ночью.

Смутные болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения Фошлевана? Может быть, Фошлеван республиканец. Тогда его участие в этом бою вполне понятно.

Между тем Гаврош, удрав на другой конец баррикады, кричал:

– Где мое ружье?

Курфейрак приказал отдать ему оружие.

Гаврош предупредил «товарищей», как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дорожки держал под наблюдением линейный батальон, составив ружья в козлы на Малой Бродяжной; с противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы.

Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил:

– А теперь всыпьте им как следует.

Между тем Анжольрас, стоя у бойницы, с напряженным вниманием следил за противником. Осаждавшие, видимо, не очень довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли. Подошел пехотный отряд и занял конец улицы, позади орудия. Солдаты разобрали мостовую и соорудили из булыжников, прямо против баррикады, небольшую низкую стену, нечто вроде защитного вала, дюймов восемнадцати высотой. За левым углом вала виднелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сен-Дени.

Анжольрасу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, и он увидел, как наводчик перевел прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднес к запалу.

– Нагните головы, прижмитесь к стене! – крикнул Анжольрас. – Станьте на колени вдоль баррикады!

Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении Гавроша, стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжольраса, раздался выстрел и страшное шипение картечи. Это был оглушительный залп.

Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих.

Было ясно, что если так будет продолжаться, баррикада не устоит: пули пробивали ее.

Послышались тревожные возгласы.

– Попробуем помешать второму выстрелу! – сказал Анжольрас.

Опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел.

Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением, характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить в конце концов самую войну.

Комбефер, стоя рядом с Анжольрасом, глядел на юношу.

– Как жаль! – сказал он. – До чего отвратительна эта бойня! Право, когда не будет королей, не будет и войн. Ты целишься в сержанта, Анжольрас, и даже не глядишь на него. Подумай: быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный, ведь молодые артиллеристы – народ образованный; у него отец, мать, семья, он, вероятно, влюблен, ему самое большее двадцать пять лет, он мог бы быть твоим братом.

– Он и есть мой брат, – произнес Анжольрас.

– Ну да, и мой тоже, – продолжал Комбефер. – Послушай, давай пощадим его!

– Оставь. Так надо.

По бледной, как мрамор, щеке Анжольраса медленно скатилась слеза.

В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперед и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем повалился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, что по спине его, между лопатками, течет струя крови. Пуля пробила ему грудь навывлет. Он был мертв.

Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгадала несколько минут.

Глава девятая.

На что могут пригодиться старый талант браконьера и меткость в стрельбе,

повлиявшие на приговор 1796 года

На баррикаде стали совещаться. Скоро снова начнут палить из пушки. Под картечью им не протянуть и четверти часа. Необходимо было ослабить силу удара.

Анжольрас отдал приказание:

– Вон туда надо положить тюфяк.

– У нас нет лишних, – возразил Комбефер, – на них лежат раненые.

Жан Вальжан, сидевший на тумбе поодаль, на углу кабачка, поставив ружье между колен, до этой минуты не принимал никакого участия в происходящем. Казалось, он не слышал, как бойцы ворчали вокруг него:

– Экая досада! Ружье пропадает зря.

Услыхав приказ Анжольраса, он поднялся.

Припомним, что, как только на улице Шанврери появились повстанцы, какая-то старуха, предвидя стрельбу, загородила свое окно тюфяком. Это было чердачное окошко на крыше шестиэтажного дома, стоявшего немного в стороне от баррикады. Тюфяк, растянутый поперек окна, снизу подпирали два шеста для сушки белья, а сверху его удерживали две веревки, привязанные к гвоздям, вбитым в оконные наличники. Эти веревки, тонкие, как волосы, ясно выделялись на фоне неба.

– Дайте мне кто-нибудь двуствольный карабин! – сказал Жан Вальжан.

Анжольрас, только что перезарядивший ружье, протянул ему свое.

Жан Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил.

Одна из веревок, поддерживавших тюфяк, оборвалась.

Тюфяк держался теперь только на одной.

Жан Вальжан выпустил второй заряд. Вторая веревка хлестнула по окошку мансарды.

Тюфяк скользнул меж шестами и упал на мостовую.

Баррикада заплодировала.

Все кричали в один голос:

– Вот и тюфяк!

– Так-то так, – заметил Комбефер, – но кто пойдет за ним?

В самом деле, тюфяк упал впереди баррикады, между нападавшими и осажденными. Мало того, несколько минут назад солдаты, взбешенные гибелью сержанта-наводчика, залегли за устроенным ими валом из булыжников и открыли огонь по баррикаде, чтобы заменить пушку, поневоле молчавшую в ожидании пополнения оружейного расчета. Повстанцы не отвечали на пальбу, чтобы не тратить боевых припасов. Для баррикады ружья были не страшны, но улица, засыпаемая пулями, грозила гибелью.

Жан Вальжан пролез через оставленную в баррикаде брешь, вышел на улицу, под градом пуль добрался до тюфяка, поднял его, взвалил на спину и вернулся на баррикаду.

Он загородил тюфяком опасный пролом и так приладил его к стене, что артиллеристы не могли его видеть.

Покончив с этим, стали ждать залпа.

И вот он раздался.

Пушка с ревом изрыгнула картечь. Но рикошета не получилось. Картечь застряла в тюфяке.

Задуманный эффект удался. Баррикада была надежно защищена.

– Гражданин! – обратился Анжольрас к Жану Вальжану. – Республика благодарит вас.

Боссюэ хохотал от восторга. Он восклицал:

– Просто неприлично, что тюфяк обладает таким могуществом. Жалкая подстилка торжествует над громовержцем! Все равно, слава тюфяку, победившему пушку!

Глава десятая.

Заря

В эту самую минуту Козетта проснулась.

У нее была узкая, чистенькая, скромная комнатка с высоким окном, выходившим на задний двор, на восток.

Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Накануне она нигде не была и уже ушла в свою спальню, когда Тусен сказала:

– В городе что-то неладно.

Козетта спала недолго, но крепко. Ей снились приятные сны, может быть, потому, что ее постелька была совсем белая. Ей пригрезился кто-то похожий на Мариуса, весь сияющий. Солнце светило ей прямо в глаза, когда она проснулась, и ей почудилось сначала, будто сон продолжается.

Сон навевал ей радостные мысли. Козетта совершенно успокоилась. Как незадолго перед тем Жан Вальжан, она отогнала все тревоги; ей не хотелось верить в несчастье. Она надеялась всем сердцем, сама не зная почему. Затем у нее вдруг сжалось сердце. Она не видела Мариуса уже целых три дня. Но она убедила себя, что он наверное получил ее письмо и знает теперь, где она; он ведь так умен, он придумает способ с ней повидаться. И непременно придет сегодня, может быть, даже утром. Было уже совсем светло, но лучи солнца падали отвесно; еще рано, однако пора вставать, чтобы успеть встретить Мариуса. Она чувствовала, что не может жить без Мариуса и что одного этого довольно, чтобы Мариус пришел. Никаких возражений не допускалось. Ведь это было бесспорно. И то уже нестерпимо, что ей пришлось страдать целых три дня. Три дня не видеть Мариуса – как только господь бог допустил это! Теперь все жестокие шутки судьбы, все испытания позади. Мариус придет и принесет добрые вести. Такова юность: она быстро осушает слезы, она считает страдание ненужным и не приемлет его. Юность-улыбка будущего, обращенная к неведомому, то есть к самому себе. Быть счастливой – естественно для юности, самое дыхание ее как будто напоено надеждой.

К тому же Козетта никак не могла припомнить, что говорил ей Мариус о возможном своем отсутствии – самое большее на один день – и чем он объяснял его. Все мы замечали, как ловко прячется монета, если ее уронишь на землю, с каким искусством превращается она в невидимку. Бывает, что и мысли проделывают с нами такую же штуку: они забиваются куда-то в уголок мозга – и кончено, они потеряны, припомнить их невозможно. Козетта подсадовала на бесплодные усилия своей памяти. Она сказала себе, что очень совестно и нехорошо с ее стороны позабыть, что ей сказал Мариус.

Она встала с постели и совершила двойное омовение – души и тела, молитву и умывание.

Можно лишь в крайнем случае ввести читателя в спальню новобрачных, но никак не в девичью спальню. Даже стихи редко на это осмеливаются, а прозе вход туда запрещен. Это чашечка нераспустившегося цветка, белизна во мраке, бутон нераскрывшейся лилии, куда не должен заглядывать человек, пока в нее не заглянуло солнце. Женщина, еще не расцветшая, священна. Полураскрытая девичья постель, прелестная нагота, боящаяся самой себя, белая ножка, прячущаяся в туфле, грудь, которую прикрывают перед зеркалом, словно у зеркала есть глаза, сорочка, которую поспешно натягивают на обнаженное плечо, если скрипнет стул или проедет мимо коляска, завязанные ленты, застегнутые крючки, затянутые шнурки, смущение, легкая дрожь от холода и стыдливости, изящная робость движений, трепет испуга там, где нечего бояться, последовательные смены одежд, очаровательных, как предрабасветные облака, – рассказывать об этом не подобает, упоминать об этом – и то уже дерзость.

Человек должен взирать на пробуждение девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особое уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки – все это грубо в сравнении с

целомудрием, которое даже не ведает, что оно целомудренно. Молодая девушка – это неясная греза, но еще не воплощение любви. Ее альков скрыт в темной глубине идеала. Нескромный взор – грубое оскорбление для этого смутного полумрака. Здесь даже созерцать – значит осквернять.

Поэтому мы не будем описывать милой утренней суетни Козетты.

В одной восточной сказке говорится, что бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее, когда она распустилась, и она застыдилась и заалела. Мы из тех, кто смущается перед молодыми девушками и цветами, мы преклоняемся перед ними.

Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что было очень просто в те времена, когда женщины не взбивали еще кудрей, подсовывая снизу подушечки и валики, и не носили накладных буклей. Потом она растворила окно и осмотрелась, в надежде разглядеть хоть часть улицы, угол дома, кусочек мостовой, чтобы не пропустить появления Мариуса. Но из окна ничего нельзя было увидеть. Внутренний дворик окружали довольно высокие стены, а в просветах меж ними виднелись какие-то сады. Козетта нашла, что сады отвратительны: первый раз в жизни цветы показались ей безобразными. Любопытный кусочек канавы на перекрестке понравился бы ей гораздо больше. Она стала смотреть в небо, словно думая, что Мариус может явиться и оттуда.

Вдруг она расплакалась. Это было вызвано не переменчивостью ее настроений, но упадком духа от несбывшихся надежд. Она смутно почувствовала что-то страшное. Вести и впрямь иногда доносятся по воздуху. Она говорила себе, что не уверена ни в чем, что потерять друг друга из виду – значит погибнуть, и мысль, что Мариус мог бы явиться ей с неба, показалась ей уже не радостной, а зловещей.

Потом набежавшие тучки рассеялись, вернулись покой и надежда, и невольная улыбка, полная веры в бога, вновь появилась на ее устах.

В доме все еще спали. Здесь царила безмятежная тишина. Ни одна ставня не отворялась. Каморка привратника была заперта, Тусен еще не вставала, и Козетта решила, что и отец ее, конечно, спит. Видно много пришлось ей выстрадать и страдать еще до сих пор, если она пришла к мысли, что отец ее жесток; но она полагалась на Мариуса. Затмение такого светила казалось ей совершенно невозможным. Время от времени она слышала вдалеке какие-то глухие удары и говорила себе: «Как странно, что в такой ранний час хлопают воротами!» То были пушечные залпы, громившие баррикаду.

Под окном Козетты, на несколько футов ниже, на старом почерневшем карнизе прилепилось гнездо стрижа; край гнезда слегка выдавался за карниз, и сверху можно было заглянуть в этот маленький рай. Мать сидела в гнезде, распутив крылья всею над птенцами, отец порхал вокруг, принося в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце золотило это счастливое семейство, здесь царил в веселье и торжестве великий закон размножения, в сиянии утра расцветала нежная тайна. С солнцем в волосах, с мечтами в душе, освещенная зарей и светившаяся любовью, Козетта невольно наклонилась и, едва осмеливаясь признаться, что думает о Мариусе, залюбовалась птичьим семейством, самцом и самочкой, матерью и птенцами, охваченная тем глубоким волнением, какое вызывает в чистой девушке вид гнезда.

Глава одиннадцатая.

Ружье, которое бьет без промаха, но никого не убивает

Осаждавшие продолжали вести огонь. Ружейные выстрелы чередовались с картечью, правда, не производя особых повреждений. Пострадала только верхняя часть фасада «Коринфа»; окна второго этажа и мансарды под крышей, пробитые пулями и картечью, постепенно разрушались. Бойцам, занимавшим этот пост, пришлось его покинуть. Впрочем, в том и состоит тактика штурма баррикад: стрелять как можно дольше, чтобы истощить боевые

запасы повстанцев, если те по неосторожности вздумают отвечать. Как только по более слабому ответному огню станет заметно, что патроны и порох на исходе, дают приказ идти на приступ. Анжольрас не попался в эту ловушку: баррикада не отвечала.

При каждом залпе Гаврош оттопыривал щеку языком в знак глубочайшего презрения.

– Ладно, – говорил он, – рвите тряпье, нам как раз нужна корпия.

Курфейрак громко требовал объяснений, почему картечь не попадает в цель, и кричал пушке:

– Эй, тетушка, ты что-то заболталась!

В бою стараются интриговать друг друга, как на балу. Вероятно, молчание редута начало беспокоить осаждавших и заставило их опасаться какой-нибудь неожиданности; необходимо было заглянуть через груды булыжников и разведать, что творится за этой бесстрастной стеной, которая стояла под огнем, не отвечая на него. Вдруг повстанцы увидели на крыше соседнего дома блиставшую на солнце каску. Прислонясь к высокой печной трубе, там стоял пожарный, неподвижно, словно на часах. Взгляд его был устремлен вниз, внутрь баррикады.

– Этот соглядатай нам вовсе ни к чему, – сказал Анжольрас.

Жан Вальжан вернул карабин Анжольрасу, но у него оставалось ружье.

Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и в ту же секунду сбитая пулей каска со звоном полетела на мостовую. Испуганный солдат скрылся.

На его посту появился другой наблюдатель. Это уже был офицер. Жан Вальжан, перезарядив ружье, прицелился во вновь пришедшего и отправил каску офицера вдогонку за солдатской каской. Офицер не стал упорствовать и мгновенно ретировался. На этот раз намек был принят к сведению. Больше никто не появлялся на крыше; слежка за баррикадой прекратилась.

– Почему вы не убили его? – спросил Боссюэ у Жана Вальжана.

Жан Вальжан не ответил.

Глава двенадцатая. Беспорядок на службе порядка

– Он не ответил на мой вопрос, – шепнул Боссюэ на ухо Комбеферу.

– Этот человек расточает благодеяния при помощи ружейных выстрелов, – ответил Комбефер.

Те, кто хоть немного помнит эти давно прошедшие события, знают, что национальная гвардия предместий храбро боролась с восстаниями. Особенно яростной и упорной она показала себя в июньские дни 1832 года. Какой-нибудь безобидный кабатчик из «Плясуна», «Добродетели» или «Канавки», чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир. В ту эпоху, буржуазную и вместе с тем героическую, рыцари идеи стояли лицом к лицу с паладинами наживы. Прозаичность побуждений нисколько не умаляла храбрости поступков. Убыль золотых запасов заставляла банкиров распевать «Марсельезу». Буржуа мужественно проливали кровь ради прилавка и со спартанским энтузиазмом защищали свою лавчонку – этот микрокосм родины.

В сущности это было очень серьезно. В борьбу вступали новые социальные силы в ожидании того дня, когда наступит равновесие.

Другим характерным признаком того времени было сочетание анархии с «правительственностью» (варварское наименование партии благонамеренных). Стояли за порядок, но без дисциплины. То барабан внезапно бил сбор по прихоти полковника национальной гвардии; то капитан шел в огонь по вдохновению, а национальный гвардеец дрался «за идею» на свой страх и риск. В опасные минуты, в решительные дни действовали не столько по приказам командиров, сколько по внушению инстинкта. В армии, которая

защищала правопорядок, встречались настоящие смельчаки, разившие мечом, вроде Фаннико, или пером, как Анри Фонфред.

Цивилизация, к несчастью, представленная в ту эпоху скорее объединением интересов, чем союзом принципов, была, или считала себя, в опасности; она взывала о помощи, и каждый, воображая себя ее оплотом, охранял ее, защищал и выручал, как умел; первый встречный брал на себя задачу спасения общества.

Усердие становилось иногда гибельным. Какой-нибудь взвод национальных гвардейцев своей властью учреждал военный совет и в пять минут выносил и приводил в исполнение приговор над пленным повстанцем. Жан Прувер пал жертвой именно такого суда. Это был свирепый закон Линча, который ни одна партия не имеет права ставить в упрек другой, так как он одинаково применяется и в республиканской Америке и в монархической Европе. Но суду Линча легко было впасть в ошибку. Как-то в дни восстания, на Королевской площади, национальные гвардейцы погнались было со штыками наперевес за молодым поэтом Поль-Эме Гранье, и он спасся только потому, что спрятался в подворотне дома э 6. Ему кричали: «Вот еще один сен-симонист!», его чуть не убили. На самом же деле он нес под мышкой томик мемуаров герцога Сен-Симона. Какой-то национальный гвардеец прочел на обложке слово «Сен-Симон» и завопил: «Смерть ему!»

6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев предместья под командой вышеупомянутого капитана Фаннико по собственной прихоти и капризу обрек себя на уничтожение на улице Шанврери. Этот факт, как он ни странен, был установлен судебным следствием, назначенным после восстания 1832 года. Капитан Фаннико, нечто вроде кондотьера порядка, нетерпеливый и дерзкий буржуа, из тех, кого мы только что охарактеризовали, фанатичный и своенравный приверженец «правительственности», не мог устоять перед искушением открыть огонь до назначенного срока – он домогался чести овладеть баррикадой в одиночку, то есть силами одного своего отряда. Взбешенный появлением на баррикаде красного флага, а вслед за ним старого сюртука, принятого им за черный флаг, он начал громко ругать генералов и корпусных командиров, которые изволят где-то там совещаться, не видя, что настал час решительной атаки, и, как выразился один из них, «предоставляют восстанию вариться в собственном соку». Сам же он находил, что баррикада вполне созрела для атаки и, как всякий зрелый плод, должна пасть; поэтому он отважился на штурм.

Его люди были такие же смельчаки, как он сам, – «бесноватые», как сказал один свидетель. Рота его, та самая, что расстреляла поэта Жана Прувера, была головным отрядом батальона, построенного на углу улицы. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, капитан повел своих солдат в атаку на баррикаду. Это нападение, в котором было больше пыла, чем военного искусства, дорого обошлось отряду Фаннико. Не успели они пробежать и половины расстояния до баррикады, как их встретили дружным залпом. Четверо смельчаков, бежавших впереди, были убиты выстрелами в упор у самого подножия редута, и отважная кучка национальных гвардейцев, людей храбрых, но без всякой военной выдержки, после некоторого колебания принуждена была отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута замешательства дала повстанцам время перезарядить ружья, и нападавших настиг новый смертоносный залп прежде, чем они успели отойти за угол улицы, служивший им прикрытием. На миг отряд оказался между двух огней и попал под картечь своего же артиллерийского орудия, которое, не получив приказа, продолжало стрельбу. Бесстрашный и безрассудный Фаннико стал одной из жертв этой картечи. Он был убит пушкой, то есть самым правопорядком.

Эта атака, скорее отчаянная, чем опасная, возмутила Анжольраса.

– Глупцы! – воскликнул он. – Они губят своих людей, и мы только попусту тратим снаряды. Анжольрас говорил, как истый командир восстания, да он и был таковым. Отряды повстанцев и карательные отряды сражаются неравным оружием. Повстанцы, быстро

истощая свои запасы, не могут тратить лишние снаряды и жертвовать лишними людьми. Им нечем заменить ни пустой патронной сумки, ни убитого человека. Каратели, напротив, располагая армией, не дорожат людьми и, располагая Венсенским арсеналом, не жалеют патронов. У карателей столько же полков, сколько бойцов на баррикаде, и столько же арсеналов, сколько на баррикаде патронташей. Вот почему эта неравная борьба одного против ста всегда кончается разгромом баррикад, если только внезапно не вспыхнет революция и не бросит на чашу весов свой пылающий меч архангела. Бывает и так. Тогда все приходит в движение, улицы бурлят, народные баррикады растут, как грибы. Париж содрогается до самых глубин, ощущается присутствие *guid divinum*¹³⁵, веет духом 10 августа, веет духом 29 июля, вспыхивает дивное зарево, грубая сила пятится, как зверь с разинутой пастью, – и перед войском, разъяренным львом, спокойно, с величием пророка, встает Франция.

Глава тринадцатая. Проблески надежды гаснут

В хаосе чувств и страстей, волновавших защитников баррикады, было всего понемногу: смелость, молодость, гордость, энтузиазм, идеалы, убежденность, горячность, азарт, – а главное, лучи надежды.

Один из таких проблесков, одна из таких вспышек смутной надежды внезапно озарила, в самый неожиданный миг, баррикаду Шанврери.

– Слушайте! – крикнул вдруг Анжольрас, не покидавший своего наблюдательного поста. – Кажется, Париж просыпается.

И действительно: утром 6 июня, в течение часа или двух, могло казаться, что мятеж разрастается. Упорный звон набата Сен-Мерри раздул кое-где тлеющий огонь. На улице Пуарье, на улице Гравилье выросли баррикады. У Сен-Мартенских ворот какой-то юноша с карабином напал в одиночку на целый эскадрон кавалерии. Открыто, прямо посреди бульвара, он встал на одно колено, вскинул ружье, выстрелом убил эскадронного командира и, обернувшись к толпе, воскликнул:

– Вот и еще одним врагом меньше!

Его зарубили саблями. На улице Сен-Дени какая-то женщина стреляла в муниципальных гвардейцев из окна. Видно было, как при каждом выстреле вздрагивают планки жалюзи. На улице Виноградных лоз задержали подростка лет четырнадцати с полными карманами патронов. На многие посты произвели нападения. На углу улицы Бертен-Пуаре полк кирасир, во главе с генералом Кавеньяком де Барань, неожиданно подвергся ожесточенному обстрелу. На улице Планш-Мибре в войска швыряли с крыш битой посудой и кухонной утварью, – это был дурной знак. Когда маршалу Сульту доложили об этом, старый наполеоновский воин призадумался, вспомнив слова Сюше при Сарагосе: «Когда старухи начнут выливать нам на головы ночные горшки, мы пропали».

Эти грозные симптомы, появившиеся в то время, когда считалось, что бунт уже подавлен, нараставший гнев толпы, искры, вспыхивавшие в глубоких залежах горючего, которые называют предместьями Парижа, – все это сильно встревожило военачальников. Они спешили потушить очаги пожара. До тех пор, пока не были подавлены отдельные вспышки, отложили штурм баррикад Мобюз, Шанврери и Сен-Мерри, чтобы потом бросить против них все силы и покончить с ними одним ударом. На улицы, охваченные восстанием, были направлены колонны войск; они разгоняли толпу на широких проспектах и обыскивали переулки, направо, налево, то осторожно и медленно, то стремительным маршем. Отряды

¹³⁵ Чего то божественного (*лат.*)

вышибали двери в домах, откуда стреляли; в то же время кавалерийские разъезды рассеивали сборища на бульварах. Эти меры вызвали громкий ропот и беспорядочный гул, обычный при столкновениях народа с войсками. Именно этот шум и слышал Анжольрас в промежутках между канонадой и ружейной перестрелкой. Кроме того, он видел, как на конце улицы проносили раненых на носилках, и говорил Курфейраку:

– Эти раненые не с нашей стороны.

Однако надежда длилась недолго, луч ее быстро померк. Меньше чем в полчаса все, что витало в воздухе, рассеялось; сверкнула молния, но грозы не последовало, и повстанцы вновь почувствовали, как опускается над ними свинцовый свод, которым придавило их равнодушие народа, покинувшего смельчаков на произвол судьбы.

Всеобщее восстание, как будто намечавшееся, заглохло; отныне внимание военного министра и стратегия генералов могли сосредоточиться на трех или четырех баррикадах, которые еще держались.

Солнце поднималось все выше.

Один из повстанцев обратился к Анжольрасу:

– Мы голодны. Неужто мы так и умрем, не поевши?

Анжольрас, все еще стоя у своей бойницы и не спуская глаз с конца улицы, утвердительно кивнул головой.

Глава четырнадцатая, из которой читатель узнает имя возлюбленной Анжольраса

Сидя на камне рядом с Анжольрасом, Курфейрак продолжал издеваться над пушкой, и всякий раз, как проносилось с отвратительным шипением темное облако пуль, именуемое картечью, он встречал его взрывом насмешек.

– Ты совсем осипла, бедная старушенция, мне тебя жалко. Зря ты надсаживаешься. Разве это гром? Это просто кашель.

Все вокруг хохотали.

Курфейрак и Боссюэ, отвага и жизнерадостность которых росли вместе с опасностью, заменяли, по примеру г-жи Скаррон, пищу шутками, а вместо вина угощали всех весельем.

– Я восторгаюсь Анжольрасом, – говорил Боссюэ. – Его невозмутимая отвага восхищает меня. Он живет одиноко и потому, вероятно, всегда немного печален; его величие обрекает его на вдовство. У нас, грешных, почти у всех есть любовницы; они сводят нас с ума и превращают в храбрецов. Когда ты влюблен, как тигр, нетрудно драться, как лев. Это лучший способ отомстить нашим милым гризеткам за все их проделки. Роланд погиб, чтобы насолить Анжелике. Всеми героическими подвигами мы обязаны женщинам. Мужчина без женщины – что пистолет без курка; только женщина приводит его в действие. А вот у Анжольраса нет возлюбленной. Он ни в кого не влюблен и тем не менее бесстрашен. Быть холодным, как лед, и пылким, как огонь, – это просто неслыханно.

Анжольрас, казалось, не слушал Боссюэ, но если бы кто стоял рядом с ним, тот уловил бы, как он прошептал:

– Patria.¹³⁶

Боссюэ продолжал шутить, как вдруг Курфейрак воскликнул:

– А вот еще одна!

И с важностью дворецкого, докладывающего о прибытии гостя, прибавил:

– Ее превосходительство Восьмидюймовка.

В самом деле, на сцене появилось новое действующее лицо – второе пушечное жерло.

¹³⁶ Родина (лат.)

Артиллеристы, поспешно сняв с передков второе орудие, установили его рядом с первым. Это приближало развязку.

Несколько минут спустя оба орудия, быстро заряженные, открыли стрельбу по редуту прямой наводкой; взводы пехоты и гвардейцев предместья поддерживали огонь артиллерии ружейными выстрелами.

Где-то неподалеку также слышалась орудийная пальба. Пока обе пушки с остервенением били по редуту улицы Шанврери, два других огненных жерла, нацеленных с улицы Сен-Дени и с улицы Обри-ле-Буше, решетки баррикады Сен-Мерри. Четыре орудия перекликались, словно злое эхо.

Лай этих злобных псов войны звучал согласно.

Одна из пушек, стрелявших по баррикаде улицы Шанврери, палила картечью, другая ядрами. Пушка, стрелявшая ядрами, была приподнята, и ее прицел наведен с тем расчетом, чтобы ядро било по самому краю острого гребня баррикады, разрушало его и засыпало повстанцев осколками камней, точно картечью.

Такой способ стрельбы преследовал цель согнать бойцов со стены и принудить их укрыться внутри; словом, это предвещало штурм.

Как только удастся ядрами прогнать бойцов баррикады с гребня стены и картечью – от окон кабачка, колонны осаждающих немедленно хлынут на улицу, уже не боясь, что их увидят и обстреляют, с ходу пойдут на приступ, как вчера вечером, и – кто знает? – быть может, захватив повстанцев врасплох, овладеют редутом.

– Нужно во что бы то ни стало обезвредить эти пушки, – сказал Анжольрас и громко скомандовал: – Огонь по артиллеристам!

Все были наготове. Баррикада, так долго молчавшая, разразилась бешеным огнем, один за другим раздались шесть или семь залпов, звучащих яростью и торжеством; улицу заволокло густым дымом, и вскоре сквозь этот туман, пронизанный огнем, можно было разглядеть, что две трети артиллеристов полегли под колесами пушек. Те, кто выстоял, продолжали заряжать орудия с тем же суровым спокойствием, однако выстрелы стали реже.

– Здорово! – сказал Боссюэ Анжольрасу. – Это успех.

Анжольрас ответил, покачав головой:

– Еще четверть часа такого успеха, и на баррикаде не останется даже десяти патронов. Должно быть, Гаврош слышал эти слова.

Глава пятнадцатая.

Вылазка Гавроша

Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады, на улице, под самыми пулями, какую-то тень. Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и как ни в чем не бывало принялся опустошать патронташи национальных гвардейцев, убитых у подножия редута.

– Что ты там делаешь? – крикнул Курфейрак.

Гаврош задрал нос кверху.

– Наполняю свою корзинку, гражданин.

– Да ты не видишь картечи, что ли?

– Эка невидаль! – отвечал Гаврош. – Дождик идет. Ну и что ж?

– Назад! – крикнул Курфейрак.

– Сию минуту, – ответил Гаврош и одним прыжком очутился посреди улицы.

Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил множество трупов.

Не менее двадцати убитых лежало на мостовой вдоль всей улицы. Это означало двадцать патронташей для Гавроша и немалый запас патронов – для баррикады.

Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облако в ущелье меж двух отвесных гор, тот может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотненную двумя темными рядами высоких домов. Она медленно вздымалась, все постепенно заволакивалось мутью, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся с трудом различали друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой.

Мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная командирами, которые руководили штурмом баррикады, оказалась на руку и Гаврошу.

Под покровом дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он пробрался довольно далеко, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок.

Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзинку в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял патронташи с проворством мартышки, щелкающей орехи.

С баррикады, от которой он отошел не так уж далеко, его не решались громко окликнуть, боясь привлечь к нему внимание врагов.

На одном из убитых, в мундире капрала, Гаврош нашел пороховницу.

– Пригодится вина напиться, – сказал он, пряча ее в карман.

Продвигаясь вперед, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залегшие в засаде за бруствером из булыжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на углу улицы, сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане.

В ту минуту, как Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля.

– Какого черта! – фыркнул Гаврош – Они убивают моих покойников.

Вторая пуля высекала искру на мостовой, рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку.

Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предместья.

Тогда он встал во весь рост и, подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами, глядя в упор на стрелявших в него национальных гвардейцев, запел:

*Все обитатели Хантера
Уроды по вине Вольтера.
Все старожилы Палессо
Болваны по вине Руссо.*

Затем подобрал корзинку, уложил в нее рассыпанные патроны, не потеряв ни одного, и, двигаясь навстречу пулям, пошел опустошать следующую патронную сумку. Мимо пролетела четвертая пуля. Гаврош распевал:

*Не удалась моя карьера,
И это по вине Вольтера
Судьбы сломалось колесо,
И в этом виноват Руссо.*

Пятой пуле удалось только вдохновить его на третий куплет:

*Я не беру с ханжей примера,
И это по вине Вольтера.
А бедность мною, как в серсо,
Играет по вине Руссо.*

Так продолжалось довольно долго.

Это было страшное и трогательное зрелище. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал врагов. Казалось, он веселился от души. Воробей задирает охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картечь, показывал ей нос и в то же время не переставал искать патроны, опустошать сумки и наполнять корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него, а он – он распевал песенки. Казалось, это не ребенок, не человек, а гном. Сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью; всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком по носу.

Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош вдруг пошатнулся и упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос; но в этом пигмее таился Антей; коснуться мостовой для гамена значит то же, что для великана коснуться земли; не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки вверх, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и закричал:

*Я птичка малого размера,
И это по вине Вольтера.
Но могут на меня лассо
Накинуть по вине...*

Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Маленький мальчик с великой душой умер.

Глава шестнадцатая. Как брат может стать отцом

В это самое время по Люксембургскому саду – ведь мы ничего не должны упускать из виду в этой драме – шли двое детей, держась за руки. Одному можно было дать лет семь, другому лет пять. Промокнув под дождем, они брели по солнечной стороне аллеи, старший вел младшего; бледные, одетые в лохмотья, они напоминали серых птичек.

– Мне ужасно хочется есть, – говорил младший.

Старший с покровительственным видом вел брата левой рукой, а в правой держал прутик. Они были совсем одни в саду. Здесь было пусто, так как полиция по случаю восстания распорядилась запереть садовые ворота. Отряды войск, стоявшие здесь бивуаком, ушли сражаться.

Как попали сюда эти ребята? Быть может, они убежали из незапертой караульной будки, быть может, удрали из какого-нибудь уличного балагана, который находился поблизости – у Адской заставы, или на площади перед Обсерваторией, или на соседнем перекрестке, где возвышается фронто́н с надписью – *Invenerunt parvulum pannis involutum*¹³⁷, а может быть, накануне вечером, при закрытии парка, они обманули бдительность сторожей и спрятались на ночь в одном из павильонов для чтения газет. Как бы то ни было, они бродили, где вздумается, и, казалось, пользовались полной свободой. Если ребенок бродит, где

¹³⁷ Младенца, завернутого в пеленки (лат.)

вздумается, и пользуется полной свободой, – значит, он заблудился. Бедные малыши и в самом деле заблудились.

Это были те самые дети, о которых, как припомнит читатель, так заботился Гаврош: сыновья Тенардье, подброшенные Жильнорману и проживавшие у Маньон, которые теперь, словно опавшие листья, оторвались от всех этих сломанных веток и катились по земле, гонимые ветром.

Их одежда, такая опрятная при заботливой Маньон, старавшейся угодить Жильнорману, обратилась в рубище.

Отныне эти существа переходили в рубрику «покинутых детей», которых статистика учитывает, а полиция подбирает, теряет и вновь находит на парижской мостовой.

Лишь в такой тревожный день бедняжки и могли забраться в сад – если бы сторожа их заметили, они прогнали бы этих оборвышей. Маленьких нищих не пускают в общественные парки; между тем следовало бы подумать, что они, как и прочие дети, имеют право любоваться цветами.

Эти двое проникли сюда через запертые решетки. Они нарушили правила. Они прокрались в сад и остались там. Запертые ворота не дают сторожам права отлучиться, надзор якобы продолжается, но ослаблен; сторожа, захваченные общим волнением и больше заинтересованные тем, что происходило на улице, чем в саду, уже не наблюдали за ним и проглядели двух маленьких преступников.

Накануне шел дождь, да и утром слегка накрапывало. Но июньские ливни не идут в счет. Спустя час после грозы едва можно заметить, что этот ясный чудесный день был залит слезами. Летом земля высыхает от слез так же быстро, как щечка ребенка.

Во время летнего солнцестояния яркий полуденный свет словно пронзает вас насквозь. Он завладевает всем. Он приникает и льнет к земле, как будто сосет ее. Можно подумать, что солнце мучит жажда. Оно осушает ливень, как стакан воды, и выпивает дождь одним глотком. Еще утром везде струились ручьи, после полудня все покрыто пылью.

Нет ничего пленительнее зелени, омытой дождем и осушенной лучами солнца; это свежесть, пронизанная теплом. Сады и луга, где корни утопают в воде, а цветы – в солнечных лучах, курятся, словно сосуды с благовониями, и источают все ароматы земли. Все смеется, поет и тянется вам навстречу. Вы испытываете сладостное опьянение. Весна – преддверие рая; солнце помогает человеку терпеть и ждать.

Некоторые люди и не требуют большего; есть смертные, которые говорят, любуясь небесной лазурью: «Вот все, что нам нужно!» Есть мечтатели, погруженные в мир чудес, в обожание природы, безразличные к добру и злу, созерцатели вселенной, равнодушные к человеку, которые не понимают, зачем беспокоиться о каких-то там голодных, о жаждущих, о наготе бедняка в зимнюю стужу, об искривленном болезнью детском позвоночнике, об одре больного, о чердаке, о тюремной камере, о лохмотьях девушки, дрожащей от холода, – зачем расстраивать себя, когда можно мечтать, лежа под деревьями? Эти уравновешенные бесстрастные души не знают жалости и всем довольны. Как ни странно, им достаточно бесконечности. Великое стремление человека к конечному, которым можно овладеть, неведомо им. Конечное, предполагающее прогресс, благородный труд, не занимает их мыслей. Все, что возникает из сочетания человеческого и божественного, бесконечного и конечного, ускользает от них. Лишь бы им стоять лицом к лицу с беспредельностью – и они блаженствуют. Они не знают радости, им ведом лишь восторг. Созерцание – вот их жизнь. История человечества для них всего лишь одна из страниц книги мироздания. Она не вмещает Целого; великое Целое остается вовне, – стоит ли заниматься такой мелочью, как человек? Человек страдает, что ж из этого? А вы поглядите, как восходит Альдебаран! У матери нет больше молока, новорожденный умирает, какое мне дело? Полюбуйтесь лучше, какую изумительную розетку образует под микроскопом кружок сосновой заболони! Разве может сравниться с этим самое тонкое кружево? Такие мыслители забывают о любви. Зодиак

настолько поглощает их внимание, что мешает им видеть плачущего ребенка. Божество помрачает в них душу. Это племя отвлеченных умов, и великих и ничтожных. Таким был Гораций, таким был Гете, может быть, даже Лафонтен; это великолепные эгоисты, равнодушные зрители людских страданий. Они не замечают Нерона, если погода хороша; солнце затмевает для них костер, даже в зрелище смертной казни они ищут световых эффектов; они не слышат ни криков, ни рыданий, ни предсмертного хрипа, ни набата, они все находят прекрасным, если на дворе май, всем довольны, если над их головой плывут пурпурные и золотистые облака, они твердо решили быть счастливыми, пока не погаснет сияние звезд и не умолкнут птицы.

Это злополучные счастливыцы. Они не подозревают, что достойны сострадания, а между тем это так. Кто не плачет, тот ничего не видит. Они вызывают удивление и жалость, как вызвало бы жалость и удивление некое существо, сочетающее в себе ночь и день, безглазое, но со звездой посреди лба.

По мнению некоторых мыслителей, в бесстрастии и заключается высшая философия. Пусть так, но в их превосходстве таится тяжкий недуг. Можно быть бессмертным и вместе с тем хромым; тому примеру Вулкан. Можно подняться выше человека и опуститься ниже его. Природе свойственно безграничное несовершенство. Кто знает, не слепо ли само солнце? Но как же быть тогда, кому верить? *Solem quis dicere falsum audeat?*¹³⁸. Неужели гении, богочеловеки, люди – светила, могут заблуждаться? Значит, и то, что вверху, надо всем, на предельной высоте, в зените, то, что посылает земле столько света, может видеть плохо, видеть мало, не видеть вовсе? Разве это не должно привести в отчаяние? Нет, не должно. Но что же выше солнца? Божество.

6 июня 1832 года, в одиннадцать часов утра, опустевший и уединенный Люксембургский сад был восхитителен. Залитые ярким светом, рассаженные в шахматном порядке деревья обменивались с цветами упоительным благоуханием и ослепительными красками. Опьянев от полуденного солнца, тянулись друг к другу ветки, словно искали объятий. В кленовой листве слышалось щебетанье пеночек, ликовали воробьи, дятлы лазали по стволам каштанов, постукивая клювами по трещинам коры. На длинных цветочных грядках царили горделивые лилии; нет аромата божественнее, чем аромат белизны. Разносился пряный запах гвоздики. Старые вороны времен Марии Медичи любезничали на верхушках густых деревьев. Солнце золотило и зажигало пурпуром тюльпаны – языки пламени, обращенные в цветы. Вокруг куртин с тюльпанами, словно искры от огненных цветов, кружились пчелы. Все было полно отрады и веселья, даже нависшие тучки; в этой угрозе нового дождя, столь желанного для ландышей и жимолости, не было ничего страшного; низко летающие ласточки были милыми его предвестницами. Всякому, кто находился в саду, дышалось привольно; жизнь благоухала; вся природа источала кротость, участие, готовность помочь, отеческую заботу, ласку, свежесть зари. Мысли, внушенные небом, были нежны, как детская ручка, когда ее целуешь.

Белые нагие статуи под деревьями были одеты тенью, пронизанной светом; солнце словно истерзало в клочья одеяния этих богинь; с их торсов свисали лохмотья лучей. Земля вокруг большого бассейна уже высохла настолько, что казалась выжженной. Слабый ветерок вздымал кое-где легкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, уцелевших с прошлой осени, весело гонялись друг за другом, как бы играя.

В изобилии света таилось что-то успокоительное. Все было полно жизни, благоухания, тепла, испарений; под покровом природы вы угадывали бездонный животворный родник; в дуновениях, напоенных любовью, в игре отблесков и отсветов, в неслыханной щедрости лучей, в нескончаемом потоке струящегося золота вы чувствовали расточительность

¹³⁸ Кто осмелиться назвать солнце лживым? (*lat.*) – Вергилий. «Георгики».

неистощего и прозревали за этим великолепием, словно за огненной завесой, небесного миллионера, бога.

Песок впитал всю грязь до последнего пятнышка, дождь не оставил ни одной пылинки.

Цветы только что умылись; все оттенки бархата, шелка, лазури, золота, выходящие из земли под видом цветов, были безупречны. Эта роскошь сияла чистотой. В саду царила великая тишина умиротворенной природы. Небесная тишина, созвучная тысячам мелодий, воркованию птиц, жужжанию пчелиных роев, дуновениям ветерка. Все гармонии весенней поры сливались в пленительном хоре; голоса весны и лета стройно вступали и умолкали; когда отцветала сирень, распускался жасмин; иные цветы запоздали, иные насекомые появились слишком рано; авангарды красных июньских бабочек братались с арьергардами белых бабочек мая. Платаны обновляли кору. От легкого ветра шелестели роскошные кроны каштанов. Это было великолепное зрелище. Ветеран из соседней казармы, любовавшийся садом через решетку, говорил: «Вот и весна встала под ружье, да еще в полной парадной форме».

Вся природа пировала, все живое было приглашено к столу; в установленный час на небе была разостлана огромная голубая скатерть, а на земле громадная зеленая скатерть; солнце светило *a giorno*¹³⁹. Бог угощал всю вселенную. Всякое создание получало свой корм, свою пищу. Дикая голуби – конопляное семя, зяблики – просо, щеглы – курослеп, малиновки – червей, пчелы – цветы, мухи – инфузорий, дубоносы – мух. Правда, они пожирали друг друга, в чем и заключается великая тайна добра и зла, но ни одна тварь не оставалась голодной.

Двое покинутых малышей очутились возле большого бассейна, немного оробев от всего этого блеска, поспешили спрятаться, повинаясь инстинкту слабого и бедного перед всяким великолепием, даже неодушевленным; они укрылись за дощатым домиком для лебедей. Время от времени, когда поднимался ветер, откуда-то смутно доносились крики, гул голосов, треск ружейной пальбы, тяжкое уханье пушечных выстрелов. Над крышами со стороны рынка тянулся дым. Вдалеке, как будто призывая на помощь, звонил колокол. Дети, казалось, не замечали этого шума. Младший то и дело тихонько повторял: «Есть хочется».

Почти в ту же минуту, что и дети, к бассейну приблизилась другая пара. Какой-то толстяк лет пятидесяти вел за руку толстячка лет шести. Вероятно, отец с сыном. Шестилетний карапуз держал в руке большую сдобную булку.

В те годы многие домовладельцы со смежных улиц – Принцессы и Адской – имели ключи от Люксембургского сада, и в часы, когда ворота были заперты, пользовались этой льготой, впоследствии отмененной. Отец с сыном, по всей вероятности, жили в одном из таких домов. Двое маленьких оборвышей заметили приближение «важного господина» и постарались получше спрятаться.

Это был какой-то буржуа. Быть может, тот самый, который здесь, у большого бассейна, как слышал однажды Мариус в своем любовном бреде, советовал сыну «избегать крайностей». У него был благовоспитанный чванный вид и большой рот, вечно раздвинутый в улыбку, потому что не мог закрыться. Такая застывшая улыбка, вызванная слишком развитой челюстью, на которую словно не хватило кожи, обнажает только зубы, а не душу. Ребенок, зажавший в руке надкусанную плюшку, был пухлый, откормленный. Он был наряжен национальным гвардейцем – по случаю мятежа, а папаша оставался в гражданском платье – из осторожности.

Оба остановились у бассейна, где плескались двое лебедей. Буржуа, казалось, питал к лебедям особое пристрастие. Он был похож на них – он тоже ходил вперевалку.

¹³⁹ Ярко (*итал.*)

Лебеди плавали, – в этом и проявляется их высокое искусство; они были восхитительны. Если бы двое маленьких нищих прислушались и если бы доросли до понимания подобных истин, они могли бы запомнить поучения рассудительного буржуа. Отец говорил сыну: – Мудрец довольствуется малым. Бери пример с меня, сынок. Я не люблю роскоши. Я никогда не украшал своего платья ни золотом, ни дорогими побрякушками: я предоставляю этот фальшивый блеск людям низкого умственного уровня.

Неясные крики, доносившиеся со стороны рынка, вдруг усилились; им вторили удары колокола и гул толпы.

– Что это такое? – спросил мальчик.

– Это сатурналии, – отвечал отец.

Тут он заметил двух маленьких оборванцев, укрывшихся за зеленым домиком для лебедей.

– Ну вот, начинается! – проворчал он и, помолчав, добавил:

– Анархия проникла даже в сад.

Сын между тем откусил кусочек плюшки, выплюнул и заревел.

– О чем ты плачешь? – спросил отец.

– Мне больше не хочется есть, – ответил ребенок.

Отец еще шире оскалил зубы:

– Вовсе не надо быть голодным, чтобы скушать булочку.

– Мне надоела булка. Она черствая.

– Ты больше не хочешь?

– Не хочу.

Отец показал ему на лебедей.

– Брось ее этим перепончатопалым.

Ребенок заколебался. Если не хочется булочки, это еще не резон отдавать ее другим.

– Будь же гуманным. Надо жалеть животных.

Взяв у сына плюшку, он бросил ее в бассейн.

Плюшка упала довольно близко от берега.

Лебеди плавали далеко, на середине бассейна, и искали в воде добычу. Поглощенные этим, они не замечали ни буржуа, ни сдобной булки.

Видя, что плюшка вот-вот потонет, и беспокоясь, что даром пропадает добро, буржуа принялся отчаянно жестикулировать, чем привлек в конце концов внимание лебедей.

Они заметили, что на поверхности воды что-то плавает, повернулись другим бортом, точно корабли, и медленно направились к плюшке с безмятежным и величавым видом, который так подходит к белоснежному оперению этих птиц.

– Увидали морские сигналы и поплыли на всех парусах, – сказал буржуа, очень довольный собой.

В эту минуту отдаленный городской шум внезапно усилился. На этот раз он стал угрожающим. Случается, что порыв ветра доносит звуки особенно явственно. Ветер донес дробь барабана, вопли, ружейные залпы, которым угрюмо вторили набатный колокол и пушки. Тут же появилась темная туча, неожиданно закрывшая солнце.

Лебеди еще не успели доплыть до плюшки.

– Пойдем домой, – сказал отец, – там атакуют Тюильри.

Он схватил сына за руку.

– От Тюильри до Люксембурга, – продолжал он, – расстояние не больше, чем от короля до пэра; это недалеко. Скоро выстрелы посыплются градом.

Он взглянул на небо.

– А может, и туча разразится градом; само небо вмешалось в борьбу, младшая ветвь

Бурбонов обречена на гибель. Идем скорей.

– Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть булочку, – захныкал ребенок.

– Нет, – возразил отец – это было бы неблагоприятно.

И он увел маленького буржуа.

Неохотно покидая лебедей, сын оглядывался на бассейн до тех пор, пока не скрылся за поворотом аллеи, обсаженной деревьями.

Между тем двое маленьких бродяг одновременно с лебедями приблизились к плюшке, которая колыхалась на воде. Младший смотрел на булочку, старший следил за удаляющимся буржуа.

Отец с сыном вступили в лабиринт аллей, ведущих к большой лестнице в роще, возле улицы Принцессы.

Как только они скрылись из виду, старший быстро лег животом на закругленный край бассейна, уцепившись за него левой рукой, свесился над водой и, рискуя упасть, потянулся правой рукой с прутиком за булкой. Увидев неприятеля, лебеди поплыли быстрее, разрезая грудью воду, что оказалось на руку маленькому ловцу; вода под лебедями всколыхнулась, и одна из мягких концентрических волн подтолкнула плюшку прямо к прутику. Не успели птицы подплыть, как прут дотянулся до булки. Мальчик хлестнул прутиком, распугал лебедей, зацепил плюшку, схватил ее и встал. Плюшка размокла, но дети были голодны и хотели пить. Старший разделил булку на две части, побольше и поменьше, сам взял меньшую, протянул большую братишке и сказал:

– На, залепи себе в дуло.

Глава семнадцатая.

Mortuus pater filium moriturum expectat¹⁴⁰

Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу Комбефер бросился за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами.

Мариус принес ребенка.

«Увы! – думал он. – Я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца: я возвращаю ему долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым».

Когда Мариус взошел в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка.

Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша, но он даже не заметил этого.

Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб.

Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее хватило и на старика и на ребенка.

Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки.

На каждого пришлось по пятнадцати зарядов.

Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой.

– Вот чудак! – шепнул Комбефер Анжольрасу. – Быть на баррикаде и не сражаться!

– Это не мешает ему защищать баррикаду, – возразил Анжольрас.

– Среди героев тоже попадаются оригиналы, – заметил Комбефер.

– Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф, – прибавил Курфейрак, услышав их разговор.

Надо заметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников.

Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, тот не может себе представить, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед,

¹⁴⁰ Умерший отец ждет идущего на смерть сына (лат.)

беседуют, шутят. Один мой знакомый слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем: редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытания были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положения стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того как горизонт омрачался, ореол героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый Анжольрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота.

Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых; Боссюэ и Фейи набивали патроны из пороховницы, снятой Гаврошем с убитого капрала, и Боссюэ говорил Фейи: «Скоро нам придется нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак, с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжольраса, весь свой арсенал – трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнура большую соломенную шляпу тетюшки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар», – пояснял он. Юноши из Кугурд-Экса весело болтали, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые корки. А Мариус был озадачен тем, что скажет ему отец, встретясь с ним в ином мире.

Глава восемнадцатая. Хищник становится жертвой

Остановимся на одном психологическом явлении, возникающем на баррикадах. Не следует упускать ничего, что характерно для этой необычайной уличной войны.

Несмотря на удивительное спокойствие повстанцев, которое мы только что отметили, баррикада кажется призрачным видением тем, кто находится внутри.

В гражданской войне есть нечто апокалиптическое; густой туман неведомого заволакивает яростные вспышки пламени; народные восстания загадочны, как сфинкс; тому, кто сражался на баррикаде, она вспоминается, точно сон.

Мы показали на примере Мариуса, что переживают люди в такие часы, и мы увидим последствия подобного состояния, – это ярче и вместе с тем бледнее, чем действительность. Уйдя с баррикады, человек не помнит того, что он там видел. Он был страшен, сам того не сознавая. Вокруг него сражались идеи в человеческом облике, его голову озаряло сияние будущего. Там недвижно лежали трупы и стояли во весь рост призраки. Часы тянулись бесконечно долго и казались часами вечности. Он как будто пережил смерть. Мимо него скользили тени. Что это было? Там он видел руки, обгаренные кровью, там стоял оглушительный грохот и вместе с тем жуткая тишина; там были раскрытые рты, что-то кричавшие, и раскрытые рты, умолкшие навсегда; его окружало облако дыма или, быть может, ночная тьма. Ему мерещилось, что он коснулся зловещей влаги, просочившейся из неведомых глубин; он разглядывал какие-то красные пятна на пальцах. Больше он ничего не помнил.

Вернемся на улицу Шанврери.

В промежутке между двумя залпами послышался отдаленный бой часов.

– Полдень! – сказал Комбефер.

Часы не успели пробить двенадцать ударов, как Анжольрас выпрямился во весь рост наверху баррикады и крикнул громовым голосом:

– Тащите булыжники в дом! Завалите подоконники вниз и на чердаке! Половине людей – готовиться к бою, остальным – носить камни! Нельзя терять ни минуты.

В конце улицы показался взвод саперов-пожарников, в боевом порядке, с топорами на плечах.

Это мог быть только головной отряд колонны. Какой колонны? Наверное, штурмовой, так как за саперами, посланными разрушить баррикаду, обычно следуют солдаты, которые должны взять ее приступом.

Очевидно, приближалось мгновение, когда им «затянут петлю на шее», как выразился в 1822 году Клермон-Тоннер.

Приказ Анжольраса был выполнен с точностью и быстротой, свойственной бойцам на кораблях и баррикадах – двух позициях, откуда отступление невозможно. Меньше чем в минуту две трети камней, сложенных грудой по распоряжению Анжольраса перед входом в «Коринф», были перенесены во второй этаж и на чердак, и не истекла еще вторая минута, как этими камнями, искусно прилаженными один к другому, были заделаны до половины высоты окна второго этажа и слуховые оконца. По указанию главного строителя Фейи между камнями были оставлены промежутки для ружейных стволов. Укрепить окна удалось тем легче, что картечь стихла. Оба орудия стреляли теперь ядрами по самому центру баррикады, чтобы сделать в ней пробоину или, если удастся, прелом для атаки.

Когда было готово ограждение из булыжников для обороны последнего оплота, Анжольрас велел перенести во второй этаж бутылки из-под стола, на котором лежал Мабеф.

– Кто же их выпьет? – спросил Боссюэ.

– Враги, – ответил Анжольрас.

Повстанцы забаррикадировали нижнее окно, держа наготове железные брусья, которыми закладывали на ночь дверь кабачка изнутри.

Теперь это была настоящая крепость. Баррикада служила ей валом, кабачок-бастием.

Оставшимися булыжниками завалили единственную брешь в баррикаде.

Защитники баррикады всегда принуждены беречь боевые припасы, и противнику это известно, поэтому осаждающие проводят все приготовления с раздражающей медлительностью, выступают раньше времени за линию огня осажденных, впрочем, больше для виду, чем на самом деле, и устраиваются поудобнее. Подготовка к атаке производится всегда неторопливо и методично, после чего вдруг разражается гроза.

Эта медлительность позволила Анжольрасу все проверить и, где возможно, улучшить. Он решил, что, уж если таким людям суждено умереть, их смерть должна стать непревзойденным примером мужества.

Он сказал Мариусу:

– Мы оба здесь командиры. Я пойду в дом отдать последние распоряжения. А ты оставайся снаружи и наблюдай.

Мариус занял наблюдательный пост на гребне баррикады.

Анжольрас велел заколотить дверь кухни, как мы помним, обращенной в лазарет.

– Чтобы в раненых не попали осколки, – пояснил он.

Он отдавал распоряжения в нижней зале отрывисто, но совершенно спокойно; Фейи выслушивал и отвечал ему от имени всех.

– Держите наготове топоры во втором этаже, чтобы обрубить лестницу. Топоры есть?

– Есть, – отвечал Фейи.

– Сколько штук?

– Два топора и колун.

– Хорошо. У нас в строю двадцать шесть бойцов. Сколько ружей?

– Тридцать четыре.

– Значит, восемь лишних. Держите их под рукой и зарядите, как и прочие. Пристегните сабли и заложите за пояс пистолеты. Двадцать человек на баррикаду. Шестеро – на чердак и к окнам второго этажа; стрелять в нападающих сквозь бойницы между камней. Никому без

дела не сидеть. Как только барабаны начнут бить атаку, вы, все двадцать, бегите на баррикаду. Те, что прибегут первыми, займут лучшие места.

Расставив всех на посты, он повернулся к Жаверу и сказал:

– Я о тебе не забыл.

И, положив на стол пистолет, добавил:

– Кто выйдет отсюда последним, разmozжит голову шпиону.

– Здесь? – спросил чей-то голос.

– Нет, его труп недостоин лежать рядом с нашими. Можно перебраться на улицу Мондетур через малую баррикаду. В ней только четыре фута высоты. Шпион крепко связан. Отведите его туда и пристрелите.

Один человек в эту минуту казался еще более бесстрастным, чем Анжольрас: то был Жавер.

В эту минуту появился Жан Вальжан.

Он стоял в группе повстанцев. Тут он выступил вперед и обратился к Анжольрасу:

– Вы командир?

– Да.

– Вы благодарили меня недавно.

– Да, от имени Республики. Баррикаду спасли два человека: Мариус Понмерси и вы.

– Считаете ли вы, что я заслужил награду?

– Разумеется.

– Так вот, я прошу награды.

– Какой?

– Я хочу сам пустить пулю в лоб этому человеку.

Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и произнес, едва заметно пожав плечами:

– Это справедливо.

Анжольрас, перезарядив свой карабин, обвел всех взглядом:

– Возражений нет?

И повернулся к Жану Вальжану:

– Забирайте шпиона.

Жан Вальжан присел на край стола, где лежал Жавер, тем самым как бы заявив на него свои права. Он схватил пистолет и, судя по слабому треску, зарядил его.

Почти в ту же секунду раздался рожок горниста.

– К оружию! – крикнул Мариус с вершины баррикады.

Жавер засмеялся свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на повстанцев, сказал:

– А ведь вам придется не лучше моего.

– Все на баррикаду! – скомандовал Анжольрас.

Повстанцы в беспорядке бросились к выходу и, выбегая, получили прямо в спину злобное напутствие Жавера:

– До скорого свиданья!

Глава девятнадцатая.

Жан Вальжан мстит

Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал стягивавшую пленника поперек туловища веревку, узел который находился под столом. После этого он знаком велел ему встать.

Жавер повиновался с той особенной презрительной усмешкой, в которой выражается все превосходство власти, даже если она в оковах.

Жан Вальжан взял Жавера за мартингал, точно выючное животное за повод, и, медленно ведя его за собой, так как Жавер, спутанный порогами, мог делать только маленькие шаги, вывел из кабачка.

Жан Вальжан шел, зажав в руке пистолет.

Так они прошли площадку внутри баррикады, имевшую форму трапеции. Повстанцы, поглощенные ожиданием неминуемой атаки, стояли к ним спиной.

Один лишь Мариус, стоявший в стороне, в левом углу укрепления, заметил, как они проходили. Эти две фигуры – палача и осужденного – он увидел в озарении того же мертвенного света, который заливал его душу.

Жан Вальжан, хотя это было и нелегко, заставил связанного Жавера, ни на минуту не выпуская его из рук, перелезть через низенький вал в Мондетур.

Перебравшись через заграждение, они очутились одни на пустынной улице. Никто не мог их видеть. От повстанцев их скрывал угловой дом. В нескольких шагах лежала страшная груда трупов, вынесенных с баррикады.

Среди мертвых тел выделялось синеватое лицо, обрамленное распущенными волосами, простреленная рука и полуобнаженная женская грудь. Это была Эпонина.

Жавер, искоса взглянув на мертвую женщину, заметил вполголоса, с полнейшим спокойствием:

– Мне кажется, я знаю эту девку.

Затем он повернулся к Жану Вальжану.

Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера пристальный взгляд, говоривший без слов: «Это я, Жавер».

– Твоя взяла, – ответил Жавер.

Жан Вальжан вытащил из жилетного кармана складной нож и раскрыл его.

– Ага, перо! – воскликнул Жавер. – Правильно. Тебе это больше подходит.

Жан Вальжан разрезал мартингал на шее Жавера, разрезал веревки на кистях рук, затем, нагнувшись, перерезал ему путы на ногах и, выпрямившись, сказал:

– Вы свободны.

Жавера трудно было удивить. Однако, при всем его самообладании, он был потрясен. Он застыл на месте от удивления.

Жан Вальжан продолжал:

– Я не думаю, что выйду отсюда живым, но, если случайно мне удалось бы спастись, запомните: я живу под именем Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.

Жавер оскалился, как тигр, и, скривив рот, процедил сквозь зубы:

– Берегись.

– Уходите, – сказал Жан Вальжан.

Жавер переспросил:

– Ты сказал: Фошлеван, улица Вооруженного человека?

– Номер семь.

– Номер семь, – вполголоса повторил Жавер.

Он снова застегнул сюртук, распрямил плечи по-военному, сделал пол-оборота, скрестил руки и, подперев одной из них подбородок, зашагал в сторону рынка. Жан Вальжан провожал его взглядом. Пройдя несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану:

– Надоели вы мне до смерти! Лучше убейте меня!

Сам того не замечая, Жавер перестал говорить Жану Вальжану «ты».

– Уходите! – крикнул тот.

Жавер удалялся медленным шагом. Минуту спустя он завернул за угол улицы Проповедников.

Как только Жавер скрылся из виду, Жан Вальжан выстрелил в воздух.

Затем он возвратился на баррикаду и сказал:

– Дело сделано.

А в его отсутствие произошло следующее.

Мариус, занятый больше тем, что делалось на улице, чем в доме, не удосужился до тех пор поглядеть на шпиона, лежавшего связанным в темном углу нижней залы.

Увидев его при дневном свете, когда он перелезал через баррикаду, идя на расстрел, Мариус узнал его. Внезапно в его мозгу мелькнуло воспоминание. Он припомнил, как встретился с полицейским надзирателем на улице Понтуаэ и как тот дал ему два пистолета, те самые, чтогодились ему здесь, на баррикаде: он припомнил не только лицо, но и имя.

Однако это воспоминание было туманное и смутное, как и все его мысли. То была не уверенность, а скорее вопрос, который он задавал себе: «Не тот ли это полицейский надзиратель, который называл себя Жавером?»

Быть может, он еще успеет вступить за этого человека? Но надо сначала удостовериться, действительно ли это тот самый Жавер.

Мариус окликнул Анжольраса, занявшего пост на противоположном конце баррикады:

– Анжольрас!

– Что?

– Как зовут того человека?

– Какого?

– Полицейского агента Ты знаешь его имя?

– Конечно. Он нам сказал.

– Как же его зовут?

– Жавер.

Мариус вздрогнул.

В этот миг послышался выстрел.

Появился Жан Вальжан и крикнул:

– Дело сделано.

Смертный холод сковал сердце Мариуса.

Глава двадцатая.

Мертвые правы, и живые не виноваты

На баррикаде наступала агония.

Все объединилось, чтобы оттенить трагическое величие этих последних минут. Множество таинственных звуков, носившихся в воздухе, дыхание невидимых вооруженных толп, двигавшихся по городу, прерывистый галоп конницы, тяжелый грохот артиллерии, перекрестная ружейная и орудийная пальба в лабиринте парижских улиц, пороховой дым, поднимавшийся над крышами золотыми клубами, неясные и гневные крики, доносившиеся откуда-то издалека, грозные зарницы со всех сторон, звон набата Сен-Мерри, заунывный, как рыдание, мягкая летняя пора, великолепие неба, пронизанного солнечным сиянием и полного облаков, чудная погода и устрашающее безмолвие домов.

Со вчерашнего дня два ряда домов по улице Шанврери обратились в две стены – в две неприступные стены: двери были заперты, окна захлопнуты, ставни затворены.

В те времена, столь отличные от наших, в час, когда народ решал покончить с отжившим старым порядком, с дарованной хартией или с устаревшими законами, когда воздух был насыщен гневом, когда город сам разрушал свои мостовые, когда восстанию сочувствовала буржуазия, – тогда горожане, охваченные мятежным духом, становились как бы союзниками повстанцев, дом брался с выросшей словно из-под земли крепостью и служил ей опорой.

Но если время еще не назревало, если восстание не получало одобрения народа, если он отрекался от него, то бунтовщики обречены были на гибель. Город вокруг них обращался в

пустыню, все души ожесточались, все убежища запирались, и улицы открывали путь войскам, помогая овладеть баррикадой.

Нельзя насильно заставить народ шагать быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто пытается понукать его! Народ не терпит принуждения. Тогда он бросает восставших на произвол судьбы. Мятежники попадают в положение зачумленных. Дом становился неприступной кручей, дверь – преградой, фасад – глухой стеной. Стена эта все видит, все слышит, но не хочет прийти на помощь. Она могла бы приотвориться и спасти вас. Но нет! Эта стена – судьба. Она глядит на вас и выносит вам приговор. Какой угрюмый вид у запертых домов! Они кажутся нежилыми, хотя на самом деле продолжают жить. Жизнь как будто замерла, но течет там своим чередом. Никто не выходил оттуда целые сутки, хотя все налицо. Внутри такой скалы ходят, разговаривают, ложатся спать, встают, сидят в кругу семьи, едят и пьют, дрожат от страха – это ужасно! Только страх может извинить неумолимую жестокость; смятение, растерянность – смягчающие обстоятельства. Порою – даже и такие случаи бывают – страх становится одержимостью; испуг может обратиться в ярость, осторожность – в бешенство; вот откуда взялось полное глубокого смысла выражение: «Бешеные из умеренных». Случается, что вспышки панического ужаса порождают злобу, подобную темному облаку дыма. «Чего еще надо этим смутьянам? Вечно они бунтуют. Только сбивают с пути мирных горожан. Довольно с нас этих революций! Зачем их принесло сюда? Пусть проваливаются! Поделом им. Сами виноваты. Пускай получают по заслугам. Нам-то какое дело! Всю нашу бедную улицу изрешетили пулями. Это шайка негодяев. Главное, не отворяйте дверей!» И дом преобразается в гробницу. Повстанец мучается в агонии перед запертой дверью; вот его настигает картечь, вот над ним заносят обнаженные сабли. Он знает, что, сколько ни кричи, – помощь не придет, хотя его и слышат. Там есть стены, которые могли бы укрыть его, там есть люди, которые могли бы спасти его, – и у этих стен есть уши, но у людей сердца из камня.

Кто тут виноват?

Никто, и каждый из нас.

Виновно то злосчастное время, в какое мы живем.

Утопия всегда действует на свой страх и риск, выливаясь в восстание, обращаясь из борьбы идей в борьбу вооруженную, из Минервы – в Палладу. Если утопия, потеряв терпение, становится мятежом, она знает, что ее ждет; почти всегда она приходит преждевременно. Тогда она смиряется и взамен триумфа стоически приемлет катастрофу. Она служит тем, кто отвергает ее, не жалуясь и даже оправдывая их; благородство ее в том, что она согласна быть всеми покинутой. Она непреклонна перед лицом опасности и снисходительна к неблагодарным.

Впрочем, неблагодарность ли это?

С точки зрения человечества – да.

С точки зрения отдельной личности – нет.

Прогресс – это форма человеческого существования. Прогрессом зовется жизнь человечества в целом; прогрессом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед; это великое земное странствие человека к небесному и божественному. У него бывают остановки в пути, где он собирает отставших; бывают привалы, где он размышляет, созерцая некую чудесную землю Ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои просторы; бывают ночи, когда он спит; и нет для мыслителя более мучительной тревоги, чем видеть душу человечества, окутанную мраком, чем ощупью искать во тьме уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его.

«Уж не умер ли бог?» – сказал однажды пишущему эти строки Жерар де Нерваль, путая прогресс с богом и принимая перерыв в движении за смерть высшего существа.

Те, что отчаиваются, неправы. Прогресс неизменно пробуждается; в сущности, он и во сне продолжал свой путь, так как вырос за это время. Увидев его снова, вы убедитесь, что он

стал выше ростом. Пребывать в покое так же невозможно для прогресса, как для потока; не ставьте ему преград, не бросайте каменных глыб в его русло; препятствия заставляют воду пениться, а человечество бурлить. Вот причина волнений и смут. Но после каждого восстания оказывается, что вы продвинулись вперед. Пока не будет установлен порядок, – а порядок не что иное, как всеобщий мир, – пока не воцарятся на земле гармония и единение, до тех пор этапами прогресса будут служить революции.

Что же такое прогресс? Мы уже сказали. Непрерывно развивающаяся жизнь народов. Однако случается иногда, что преходящая жизнь отдельных личностей сопротивляется вечной жизни человеческого рода.

Признаемся откровенно – у каждого есть свои личные интересы, и вовсе не преступно отстаивать и защищать их; настоящему отпущена вполне законная доля эгоизма; преходящая жизнь имеет свои права и не обязана непрестанно жертвовать собою ради будущего.

Нынешнее поколение, свершающее свой земной путь, не обязано сокращать его ради будущих, в сущности подобных ему самому поколений, чей черед придет позже. «Я существую, – шепчет некто, именуемый Все. – Я молод и влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, я преуспеваю, мои дела идут прекрасно, мои дома сдаются внаем, у меня есть сбережения, я счастлив, у меня жена и дети, я люблю их, я хочу жить, оставьте меня в покое». Вот почему благородные передовые отряды человечества встречают в известные периоды такое глубокое равнодушие.

К тому же надо признать, что, начиная войну, утопия сходит со своих лучезарных высот. Истина грядущего дня, вступая в борьбу, заимствует методы у вчерашней лжи. Она, наше будущее, поступает не лучше прошедшего. Чистая идея становится насилием. Она омрачает героизм этим насилием, за которое, по справедливости, должна отвечать; насилием грубым и неразборчивым в средствах, противоречащим нравственным правилам, за что она неизбежно несет кару. Утопия-восстание сражается, пользуясь древним военным кодексом; она расстреливает шпионов, казнит предателей, уничтожает живых людей и бросает их в неведомую тьму. Она прибегает к помощи смерти – это тяжкий проступок. Можно подумать, будто утопия не верит больше в сияние истины, в ее несокрушимую и нетленную силу. Она разит мечом. Но меч опасен. Всякий клинок – оружие обоюдоострое. Кто ранит другого, будет ранен и сам.

Сделав эту оговорку со всей необходимой суровостью, мы не можем, однако, не восхищаться славными борцами за будущее, жрецами утопии, все равно – достигнут они своей цели или нет. Они достойны преклонения, даже когда их дело срывается, и, может быть, именно в неудачах особенно сказывается их величие. Победа, если она содействует прогрессу, заслуживает всенародных рукоплесканий, но героическое поражение должно растрогать сердца. Победа блистательна, поражение величественно. Мы предпочитаем мученичество успеху, для нас Джон Браун выше Вашингтона, а Пизакане выше Гарибальди.

Надо же, чтобы хоть кто-нибудь держал сторону побежденных.

Люди несправедливы к великим разведчикам будущего, когда они терпят крушение.

Революционеров обвиняют в том, что они сеют ужас. Всякая баррикада кажется покушением на общество. Революционерам вменяют в вину их теории, не доверяют их целям, опасаются каких-то задних мыслей, подвергают сомнению их честность. Их обвиняют в том, что против существующего социального строя они поднимают, нагромождают и воздвигают горы нужды, скорби, несправедливости, жалоб, отчаянья, извлекаются с самого дна человеческого общества черные глыбы мрака, чтобы взобраться на их вершину и вступить в бой. Им кричат: «Вы разворотили мостовую ада!» Они могли бы ответить: «Вот почему наша баррикада вымощена благими намерениями».

Бесспорно, самое лучшее – мирно разрешать проблемы. Что ни говори, когда смотришь на булыжник, вспоминаешь медведя из басни, а такая добрая воля больше всего тревожит общество. Но ведь спасение общества в его собственных руках; так пусть же оно само и

проявит добрую волю. Тогда отпадет необходимость в крутых мерах. Изучить зло беспристрастно, определить его, а затем исцелиться. Вот к чему мы призываем общество. Как бы там ни было, все, кто, устремив взгляд на Францию, сражаются во всех концах вселенной за великое дело, опираясь на непреклонную логику идеала, полны величия, даже поверженные, в особенности поверженные; они бескорыстно жертвуют жизнью за прогресс, они выполняют волю провидения, они делают священное дело. В назначенный срок, по ходу действия божественной драмы, они сходят в могилу с бесстрашием актера, подавшего очередную реплику. Они обрекают себя на безнадежную борьбу, на стоическую гибель ради блистательного расцвета и неудержимого распространения во всем мире великого народного движения, которое началось 14 июля 1789 года. Эти солдаты – священнослужители. Французская революция-деяние божества.

Впрочем, существует одно важное различие, и его необходимо добавить к другим, уже отмеченным в прежних главах: бывают вооруженные восстания, одобренные и поддержанные народом, – их зовут революцией, и восстания отвергнутые – их зовут мятежом.

Вспыхнувшее восстание-это идея, которая держит ответ перед народом. Если народ кладет черный шар, значит, идея бесплодна, восстание обречено на неудачу.

Народы не вступают в борьбу по первому зову, всякий раз, как того желает утопия. Нации не могут вечно и непрестанно проявлять душевную силу героев и мучеников.

Народ рассудителен. Восстание ему неуютно о рiогi; во-первых, потому, что часто приводит к катастрофе, во-вторых, потому, что всегда исходит из отвлеченной теории.

То и прекрасно, что именно ради идеала, ради одного лишь идеала жертвуют собой те, кто идет на жертву. Восстание порождается энтузиазмом. Энтузиазм может прийти в ярость – тогда он берется за оружие. Но всякое восстание, взяв на прицел правительство или государственный строй, метит выше. Так, например, вожди восстания 1832 года, и, в частности юные энтузиасты с улицы Шанврери, сражались – мы на этом настаиваем – не против Луи-Филиппа как такового. В откровенной беседе большинство из них признавало достоинства этого умеренного короля, представлявшего не то монархию, не то революцию. Никто не питал к нему ненависти. Но они восставали против младшей ветви помазанников божьих в лице Луи-Филиппа, как прежде восставали против старшей ветви в лице Карла X, свергая монархию во Франции, они стремились ниспровергнуть во всем мире противозаконную власть человека над человеком и привилегий над правом. Сегодня Париж без короля – завтра мир без деспотов. Примерно так они рассуждали. Цель их была, конечно, отдаленной, неясной, может быть, и недостижимой для них, но великой.

Таков порядок вещей. Люди жертвуют собой во имя призрачной мечты, которая оказывается почти всегда иллюзией, но иллюзией, подкрепленной самой твердой уверенностью, какая только доступна человеку. Повстанец видит мятеж в поэтическом озарении. Он идет навстречу своей трагической участи, опьяненный грезами о будущем. Кто знает? Быть может, они добьются своего. Правда, их слишком мало, против них целая армия. Но они защищают право, естественный закон, верховную власть каждого над самим собой, от которой невозможно отречься добровольно, справедливость, истину и готовы умереть за это, если понадобится, как триста древних спартанцев. Они помнят не о Дон Кихоте, но о Леониде. И они идут вперед и, раз вступив на этот путь, не отступают, а стремятся все дальше, очертя голову, видя впереди неслыханную победу, завершение революции, прогресс, увенчанный свободой, возвеличение человечества, всеобщее освобождение или, в худшем случае, Фермопилы.

Такие схватки за дело прогресса часто терпят неудачу, и мы уже объяснили почему.

Паладину трудно увлечь за собой неподатливую толпу. Тяжеловесная, несметная, ненадежная именно в силу своей неповоротливости, она боится риска, а достижение идеала всегда сопряжено с риском.

Не надо еще забывать, что здесь замешаны личные интересы, которые плохо вяжутся с идеалами и чувствами. Желудок подчас парализует сердце.

Величие и красота Франции именно в том, что она меньше зависит от брюха, чем другие народы; она охотно стягивает пояс потуже. Она первая пробуждается и последняя засыпает. Она стремится вперед. Она ищет новых путей.

Это объясняется ее художественной натурой.

Идеал не что иное, как кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота-вершина истины. Народы-художники всегда вместе с тем и народы-преемники. Любить красоту значит стремиться к свету. Именно поэтому светоч Европы, то есть цивилизацию, несла вначале Греция, Греция передала его Италии, а та вручила его Франции. Великие народы-просветители! *Vitai lampada tradunt.*¹⁴¹

Удивительное дело: поэзия народа – необходимое звено его развития. Степень цивилизации измеряется силой воображения. Однако народ-просветитель непременно должен оставаться мужественным народом. Коринф, но не Сибарис. Кто поддается изнеженности, тот вырождается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом: надо быть художником. Не нужно стремиться к изысканности, нужно стремиться к совершенству. При этом условии вы даруете человечеству образец идеала.

У современного идеала свой тип в искусстве и свой метод в науке. Только с помощью науки можно воплотить возвышенную мечту поэтов: красоту общественного строя. Эдем будет восстановлен при помощи А+В. На той ступени, какой достигла цивилизация, точность – необходимый элемент прекрасного; научная мысль не только помогает художественному чутью, но и дополняет его; мечта должна уметь вычислять. Искусству-завоевателю должна служить опорой наука, как боевой конь. Очень важно, чтобы эта опора была надежной. Современный разум-это гений Греции, колесницей которому служит гений Индии; Александр, восседающий на слоне.

Нации, застывшие в мертвых догмах или развращенные корыстью, непригодны к тому, чтобы двигать вперед цивилизацию. Преклонение перед золотым или иным кумиром ведет к атрофии живых мускулов и действенной воли. Увлечение религией или торговлей омрачает славу народа, понижает духовный уровень, ограничивая его горизонт, и лишает присущей народам-миссионерам способности, божественной и человеческой одновременно, прозревать великую цель. У Вавилона нет идеала, у Карфагена нет идеала. Афины и Рим сохранили и пронесли сквозь кромешную тьму веков светоч цивилизации.

Народ Франции обладает теми же свойствами, что народы Греции и Италии. Франция-афинянка по красоте и римлянка по величию. Кроме того, у нее доброе сердце. Она все готова отдать. Она чаще, чем другие народы, способна на преданность и самопожертвование. Правда, она изменчива и непостоянна – в этом и состоит основная опасность для тех, кто мчится бегом, когда она хочет идти, или идет, когда ей вздумалось остановиться. У Франции бывают приступы грубого материализма, ее высокий разум по временам засоряют идеи, которые недостойны французского величия и годятся разве для какого-нибудь штата Миссури или Южной Каролины. Что поделаешь? Великанше угодно притворяться карлицей; у огромной Франции бывают мелочные капризы. Вот и все.

Тут нечего возразить. Народы, как и светила, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся, лишь бы затмение не превратилось в вечную ночь. Заря и возрождение – синонимы. Новый восход светила соответствует неизменному обновлению человеческого «я».

Установим факты беспристрастно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании являются для самопожертвования приемлемым и предвиденным концом. Настоящее имя

¹⁴¹ Передают светильники жизни (*лам.*) . – Лукреций, кн. II.

самопожертвования – бескорыстие. Пусть всеми покинутые остаются покинутыми, пусть изгнанники идут в изгнание, ограничимся тем, что обратимся с мольбой к великим народам – не слишком далеко отступать, когда они отступают. Под предлогом возврата к здравому смыслу не следует опускаться слишком низко.

Существуют, бесспорно, и материя, и насущные нужды, и личные интересы, и желудок, но нельзя допустить, чтобы требования желудка становились единственным законом. У преходящей жизни есть права, мы их признаем, но есть свои права и у жизни вечной. Можно подняться на большую высоту, а затем вдруг упасть. В истории такие случаи бывают, к сожалению, часто. Великая, прославленная нация, приблизившаяся к идеалу, вдруг начинает копать в грязи и находит в этом вкус; если ее спросят, по какой причине она покидает Сократа ради Фальстафа, она отвечает: «Потому что я люблю государственных мужей».

Еще одно слово, прежде чем вернуться к сражению на баррикаде.

Битвы, вроде той, о которой мы здесь повествуем, не что иное, как иступленный порыв к идеалу. Прогресс в оковах подвержен болезням и страдает трагическими припадками эпилепсии. Мы не могли миновать на своем пути исконную болезнь прогресса – междоусобную войну. Здесь один из роковых этапов, и акт и антракт нашей драмы, главным действующим лицом которой является человек, проклятый обществом, и истинное название которой: «Прогресс».

Прогресс! В этом возгласе, который часто вырывается у нас, воплощены все наши чаяния. И так как заключенной в них идее в дальнейшем развитии этой драмы предстоит пережить еще немало испытаний, да будет нам позволено здесь, если не приподнять над ней покрывало, то хотя бы показать сквозь завесу яркое ее сияние.

Книга, лежащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в частности, – каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы, – путь от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от ада к небесам, от небытия к богу. Исходная точка – материя, конечный пункт – душа. В начале чудовище, в конце – ангел.

Глава двадцать первая.

Герои

Вдруг барабан забил атаку.

Штурм разразился, как ураган. Накануне, во мраке ночи, противник подползал к баррикаде бесшумно, как удав. Теперь же, среди бела дня, нападение врасплох на открытом пространстве было невозможно, потому что живые силы атакующих оказались на виду; раздался рев пушки, и войско ринулось на приступ. В яростном стремительном порыве мощная колонна регулярной пехоты, подкреплённая через равные промежутки национальной и муниципальной гвардией в пешем строю, опираясь на шумные, хотя невидимые толпы, выступила на улицу беглым шагом с барабанным боем, при звуках трубы, с саперами во главе, и, держа штыки наперевес, не сгибаясь под градом пуль, пошла прямо на баррикаду, с силой медного тарана, бьющего в стену.

Стена выдержала.

Повстанцы открыли бешеный огонь. Весь гребень осажденной баррикады засверкал вспышками выстрелов. Штурм был настолько яростным, что на минуту вся баррикада оказалась наводненной атакующими. Но, стряхнув с себя солдат, как лев стряхивает собак, и лишь на миг покрывшись нападающими, словно скала морской пеной, она восстала вновь, такая же крутая, черная и грозная.

Колонна, вынужденная отступить, осталась на улице в сомкнутом строю, страшная даже на открытой позиции, и ответила на огонь редута ожесточенной ружейной стрельбой. Те, кому

приходилось видеть фейерверк, припомнят огненные снопы скрещенных молний, называемые букетом. Пусть они представят себе такой букет не в вертикальном, а в горизонтальном положении, мечущий пули, дробь и картечь с концов своих огненных стрел и сеющий смерть гроздьями громовержущих молний. Баррикада попала под этот град. Обе стороны горели одинаковой решимостью. Храбрецы доходили до дикого безрассудства, до какого-то свирепого героизма, готовые пожертвовать жизнью. В ту эпоху солдаты национальной гвардии дрались, как зуавы. Войска стремились кончить битву, повстанцы – продолжать ее. Затягивать агонию в расцвете юности и здоровья – это уже не бесстрашие, а безумство. Для каждого участника схватки смертный час длился бесконечно. Вся улица покрылась трупами.

На одном конце баррикады находился Анжольрас, на другом – Мариус. Анжольрас, державший в голове весь план обороны, берег себя и стоял в укрытии; три солдата, один за другим, упали мертвыми под его бойницей, – они так и не заметили его. Мариус сражался без прикрытия. Он стоял, как живая мишень, возвышаясь над стеной редута больше чем по пояс. Нет более буйного расточителя, чем скряга, если ему вздумается кутнуть, и никто так не страшен в сражении, как мечтатель. Мариус был грозен и задумчив. Все представлялось ему словно во сне. Он казался призраком с ружьем в руках.

Патроны у осажденных подходили к концу, но их шутки были неистощимы. В смертном вихре, закружившем их, они продолжали смеяться.

Курфейрак стоял с непокрытой головой.

– Куда же ты девал свою шляпу? – спросил Боссюэ.

– В конце концов они ухитрились сбить ее пушечными ядрами, – отвечал Курфейрак.

Насмешки чередовались с презрением.

– Кто может понять этих людей? – с горечью восклицал Фейи, перечисляя имена известных и даже знаменитых лиц, в том числе кое-кого из старой армии. – Они обещали примкнуть к нам, обязались нам помочь, поклялись в этом честью, они наши командиры – и они же нас предали!

Комбефер ответил с горькой усмешкой:

– Некоторые люди соблюдают правила чести, как астрономы наблюдают звезды: только издалека.

Баррикада была так густо засыпана разорванными гильзами от патронов, что казалось, будто выпал снег.

У осаждавших было численное превосходство, у повстанцев – позиционное преимущество. Они расположились на вершине стены и в упор расстреливали солдат – те, спотыкаясь среди раненых и убитых, застревали на крутом ее откосе. Баррикада, построенная подобным образом и отлично укрепленная подпорами изнутри, действительно представляла одну из тех позиций, откуда горстка людей может держать под угрозой целое войско. Тем не менее атакующая колонна, непрерывно пополняясь и увеличиваясь под градом пуль, неотвратимо приближалась; мало-помалу, шаг за шагом, медленно, но неуклонно, армия зажимала баррикаду в тиски.

Атаки следовали одна за другой. Опасность возрастала. И вот на этой груде камней, на улице Шанврери, разразилась битва, достойная стен Трои. Изможденные, оборванные, изнуренные люди, которые больше суток ничего не ели и не смыкали глаз, которые могли выпустить всего лишь несколько зарядов и напрасно ощупывали пустые карманы, ища патронов, почти все раненные, кто в голову, кто в руку, забинтованные порыжелыми и почерневшими тряпками, в изодранной, залитой кровью одежде, вооруженные негодными ружьями и старыми зазубренными саблями, преобразились в Титанов. Баррикаду атаковали раз десять, одолевали ее высоту, проникали внутрь, но так и не могли взять.

Чтобы составить представление об этой борьбе, вообразите пылающий костер из этих охваченных яростью сердец и посмотрите на разбушевавшийся пожар. То было не сражение,

а жерло раскаленной печи, уста извергали пламя, лица искажались гневом. Казалось, то были уже не люди; бойцы пламенели яростью, страшно было смотреть на этих саламандр войны, метавшихся взад и вперед в багровом дыму. Мы отказываемся от описания всех сцен этой грандиозной битвы и в целом и в их последовательности. Одной лишь эпоее дозволено заполнить двенадцать тысяч стихов изображением битвы.

Это напоминало ад брахманизма, самую ужасную из семнадцати бездн преисподней, именуемую в Ведах «Лесом мечей».

Дрались врукопашную, грудь с грудью, пистолетами, саблями, кулаками, стреляли издали и в упор, сверху, снизу, со всех сторон, с крыш домов, из окон кабачка, из отдушин подвала, куда забрались некоторые из повстанцев. Они сражались один против шестидесяти.

Полуразрушенный фасад «Коринфа» был страшен. Татуированное картечью окно, с выбитыми стеклами и рамами, превратилось в бесформенную дыру, кое-как заваленную булыжниками. Боссюэ был убит, Фейи убит; Курфейрак убит; Жоли убит; Комбефер, пораженный в грудь тремя штыковыми ударами в тот миг, когда он наклонился, чтобы поднять раненого солдата, успел только взглянуть на небо и испустил дух.

Мариус все еще сражался, но был несколько раз ранен, большей частью – в голову, и все лицо его было залито кровью, словно завешено красным платком.

Один лишь Анжольрас оставался невредимым. Когда ему не хватало оружия, он, не глядя, протягивал руку вправо или влево, и кто-нибудь из повстанцев подавал ему первый попавшийся клинок. Теперь у него остались обломки от четырех шпаг; у Франциска I в битве при Мариньяне было шпагой меньше.

Гомер говорит: «Диомед убил Аксила, сына Тевфрания, обитавшего в счастливой Аризбе; Эвриал, сын Мекистея, лишил жизни Дреса, Офелтия, Эсепе и Педаса, зачатого наядой Абарбареей от беспорочного Буколиона; Уллис поразил Пидита Перкосийского; Антилох – Аблера, Полипет – Астиала, Полидамант – Ота Килленейского, Тевкр – Аретаона; Мегантий гибнет от копья Эврипила. Царь героев Агамемнон повергает во прах Элата, уроженца высоко стоящего города, омываемого звонкоструйной рекой Сатиноном». В наших старинных эпических поэмах вооруженный огненной секирой Эспландиан нападает на великана маркиза Свантибора, и тот, защищаясь, швыряет в рыцаря башни, вырванные им из земли. На наших древних фресках изображены два герцога, Бретонский и Бурбонский, на конях, в боевых доспехах, в шлемах и с гербами на щитах; они мчатся друг на друга с бердышами в руке, опустив железные забрала, в железных сапогах, в железных перчатках, один в горностаевой мантии, другой в лазурном плаще; Бретонский герцог – с изображением льва между двух зубцов короны, герцог Бурбонский – с огромной лилией перед забралом. Но чтобы блистать великолепием, вовсе не надо носить герцогский шишак, как Ивон, или держать в руке живое пламя, как Эспландиан, или, подобно Филесу, отцу Полидаманта, привезти из Эпира прекрасные боевые доспехи, дар Япета, владыки мужей; достаточно отдать жизнь за свои убеждения или за верность присяге. Вот простоватый солдатик, вчерашний крестьянин из Боса или из Лимузена, с тесаком на боку, который оплачивается возле нянек с детьми в Люксембургском саду, вот бледный молодой студент, склонившийся над анатомическим препаратом или над книгой, белокурый юнец, бреющий бородку ножницами, – возьмите их обоих, вдохните в них чувство долга, поставьте друг против друга на перекрестке Бушра или в тупике Планш-Мибре, заставьте одного сражаться за свое знамя, а другого за свой идеал, и пусть оба воображают, что они сражаются за родину. Начнется грандиозная битва, и тени, отброшенные пехотинцем и студентиком-медиком во время поединка на великую эпическую арену, где борется человечество, сравняются с тенью Мегариона, царя Ликий, родины тигров, сдавившего в железном объятии могучего Аякса богоравного.

Глава двадцать вторая.

Шаг за шагом

Когда не осталось в живых никого из вожаков, кроме Анжольраса и Мариуса на противоположных концах баррикады, центр ее, так долго державшийся благодаря Курфейраку, Жоли, Боссюэ, Фейи и Комбеферу, наконец дрогнул. Пушка, не проломив бреша, годной для прохода, выбила в середине редута широкий полукруглый выем; разрушенный ядрами гребень стены в этом месте обвалился, и из обломков, грудой сыпавшихся внутрь и наружу, образовалось как бы два откоса по обе стороны заграждения, внутренней и внешней. Внешний откос представлял собою наклонную плоскость, удобную для нападения.

Тут осаждавшие предприняли решительную атаку, и эта атака удалась. Сомкнутым строем, ошестинясь штыками, пехота беглым шагом неудержимо бросилась вперед, и на вершине укрепления в пороховом дыму показался мощный авангард штурмовой колонны. На этот раз все было кончено. Защищавшая центр группа повстанцев отступила в беспорядке.

И тогда в них внезапно проснулась смутная жажда жизни. Очутившись под прицелом этого леса ружей, они не захотели умирать. Пришла та минута, когда начинает глухо рычать инстинкт самосохранения, когда в человеке пробуждается зверь. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, служившему опорой баррикаде. В этом доме они могли бы найти спасение. Но дом был заперт наглухо и как бы замурован сверху донизу. Прежде чем отряд пехоты проник внутрь редута, дверь дома успела бы открыться и мгновенно затвориться; эта вдруг приоткрывшаяся и тотчас захлопнутая дверь для отчаявшихся людей означала бы жизнь. За домом был выход на улицу, возможность бегства, простор. Они стучали в дверь ружейными прикладами и ногами, зывали о помощи, кричали, умоляли, простирали руки. Никто им не отпер. Голова мертвеца смотрела на них из слухового оконца третьего этажа. Но Анжольрас и Мариус с кучкой человек в восемь бросились к ним на помощь. «Ни шагу дальше!» – крикнул Анжольрас солдатам; когда какой-то офицер послушался его, он убил офицера. Он стоял во внутреннем дворике редута, у стены «Коринфа», со шпагой в одной руке, с карабином в другой, отворив дверь кабачка и загораживая ее от атакующих. Тем, кто пал духом, он крикнул: «Осталась только одна дверь на волю, вот эта!» И, заслоня товарищей своим телом, один против целого батальона, он прикрывал их отход. Все бросились в дверь. Орудия своим карабином, как палкой, применяя прием, называемый на языке фехтовальщиков «мельницей», Анжольрас отбил от штыков, направленных в него со всех сторон, и вошел в дверь последним; тут наступила страшная минута, когда солдаты пытались ворваться, а повстанцы старались запереть дверь. Дверь захлопнулась с такой силой, входя в дверную раму, что к ней прилипли отрезанные и раздавленные пальцы какого-то солдата, вцепившегося в наличник.

Мариус остался снаружи. Выстрелом ему раздробило ключицу; он почувствовал, что теряет сознание и падает. В этот миг, уже закрыв глаза, он ощутил, как его схватила чья-то могучая рука, и в его угасающем сознании, сливаясь с последним воспоминанием о Козетте, промелькнула мысль: «Я в плену. Меня расстреляют».

Не видя Мариуса среди бойцов, укрывшихся в кабачке, Анжольрас предположил то же самое. Но в такое мгновение каждый успевает подумать только о собственной судьбе.

Анжольрас наложил засов, опустил задвижку, защелкнул замок и, дважды повернув ключ, запер дверь, в то время как снаружи в нее неистово колотили прикладами и топорами солдаты и саперы. Атакующие столпились теперь перед этой дверью. Начинался штурм кабачка.

Солдаты остервенели.

Их привела в ярость гибель сержанта артиллерии, а кроме того, – еще более роковое обстоятельство, – за несколько часов до атаки среди них пустили слух, что повстанцы истязают пленных и что в кабачке находится обезглавленный труп солдата. Подобные

опасные измышления обычно сопутствуют междоусобным войнам, и позднее такого рода клевета вызвала катастрофу на улице Транснотен.

Когда дверь была забаррикадирована, Анжольрас сказал товарищам:

– Мы должны дорого продать свою жизнь!

Затем подошел к столу, на котором покоились Мабеф и Гаврош. Под черным покрывалом угадывались два неподвижных окоченелых тела, большое и маленькое, два лица смутно обрисовывались под холодными складками савана. Со стола свешивалась рука, высунувшаяся из-под покрывала. То была рука старика.

Анжольрас нагнулся и поцеловал его благородную руку с тем почтением, с каким накануне целовал его в лоб.

Эти два поцелуя были единственными в жизни Анжольраса.

Сократим наш рассказ. Баррикада защищалась, словно ворота древних Фив; кабачок боролся, точно дом в Сарагосе. Оборонялись с угрюмым упорством. Никакой пощады. Никаких переговоров. Люди согласны умереть, только бы убивать. Когда Сюше говорит:

«Сдавайтесь!» – Палафокс отвечает: «Нет! Палили из пушек, перейдем на ножи». При штурме кабачка Гюшлу можно было увидеть все: булыжники, которые градом сыпались на осаждавших из окон и с крыши и доводили солдат до неистовства, нанося им страшные увечья; выстрелы из подвалов и чердаков, ярость атаки, отчаянье сопротивления, и наконец, – когда удалось вышибить дверь, – бешеную, исступленную резню. Ворвавшись в кабачок, спотыкаясь о разбросанные по полу филенки выломанной двери, атакующие не нашли там ни одного бойца. Посреди нижней залы валялась винтовая лестница, обрубленная топором, да несколько раненых при последнем издыхании, все, кто не был убит, поднялись на второй этаж и открыли ожесточенный огонь из люка в потолке, откуда прежде спускалась лестница. На это ушли их последние патроны. Когда все было израсходовано, когда у этих обреченных, но все еще опасных противников не осталось ни пуль, ни пороха, каждый из них вооружился двумя бутылками из запаса, сохраненного, как мы помним, Анжольрасом, и принялся отбиваться от осаждавших этими грозными и хрупкими булавами. В бутылках была азотная кислота. Мы рассказываем мрачные подробности этой бойни, нигде ничего не утаивая. Увы, осаждаемые сражаются всем, что есть под рукой! Греческий огонь не обесчестил Архимеда, кипящая смола не обесчестила Баярда. На войне все страшно, тут не из чего выбирать. Выстрелы атакующих, при всем неудобстве целиться снизу вверх, были убийственны. Края люка вскоре покрылись мертвыми головами, из которых сочились длинные струйки красной дымящейся крови. В воздухе стоял невообразимый грохот; густой, обжигающий дым заволакивал мглой кровавую битву. Не хватает слов, чтобы описать весь ужас этой минуты. Участники адской схватки потеряли человеческий образ. То уже не гиганты бились с великанами: картина напоминала скорее Мильтона и Данте, чем Гомера. Нападали дьяволы, защищались призраки.

Это был героизм, принявший чудовищный облик.

Глава двадцать третья. Голодный Орест и пьяный Пилад

Наконец при помощи остатков лестницы, влезая друг другу на плечи, карабкаясь по стенам, цепляясь за перекрытия, рубя саблями у самого края люка последних, кто еще сопротивлялся, десятка два атакующих – солдаты, вперемешку с национальными и муниципальными гвардейцами, почти все изуродованные при этом опасном штурме ранами в лицо, ослепленные кровью, разъяренные, озверелые, – пробились в залу второго этажа. Лишь один человек еще стоял на ногах – Анжольрас. У него уже не было ни патронов, ни сабли, в руках он держал только ствол от карабина, – приклад он разбил о головы солдат. Загородясь от нападающих бильярдным столом, он отступил в угол залы. И даже теперь

гордый его взгляд, высоко поднятая голова и рука, сжимавшая обломок оружия, внушали такой страх, что вокруг него образовалась пустота. Послышались крики:

– Вот их вожак! Он-то и убил артиллериста! Он сам забрался туда, тем лучше для нас! Пусть там и остается. Расстреляем его на месте.

– Стреляйте, – сказал Анжольрас.

Отбросив обломок карабина, скрестив руки, он подставил грудь пулям.

Отвага перед лицом смерти всегда покоряет людей. Как только Анжольрас скрестил руки на груди, готовый принять смерть, в зале стих оглушительный гул схватки, и хаос внезапно сменился торжественной мертвой тишиной. Казалось, грозное величие безоружного и неподвижного Анжольраса укротило шум, казалось, этот юноша, единственный, кто не был ни разу ранен, надменный, прекрасный, залитый кровью, невозмутимый, словно он был уверен в своей неуязвимости, одним лишь властным, спокойным взглядом внушал уважение этой свирепой толпе, готовой убить его. Гордая осанка придавала его красоте в эту минуту особый, ослепительный блеск; по истечении страшных суток он оставался все таким же румяным и свежим, как будто его не брала ни пуля, ни усталость. Вероятно, именно про него говорил впоследствии кто-то из свидетелей, выступая перед военным судом: «Там был один бунтовщик, которого, я слышал, называли Аполлоном». Один из национальных гвардейцев, целившихся в Анжольраса, опустил ружье и сказал:

– Мне кажется, будто я стреляю в цветок.

Двенадцать солдат построились взводом в другом углу залы против Анжольраса, и молча вскинули ружья.

Послышалась команда сержанта:

– На прицел!

Вдруг вмешался офицер:

– Погодите.

И обратился к Анжольрасу:

– Завязать вам глаза?

– Нет.

– Это вы убили сержанта артиллерии?

– Да.

В это время проснулся Грантер.

Мы помним, что Грантер со вчерашнего вечера спал, сидя в верхней зале кабачка и уронив голову на стол.

Он в полном смысле олицетворял собой старинное выражение: мертвецки пьяный.

Чудовищная смесь полынной настойки, портера и спирта погрузила его в летаргический сон. Его стол был так мал, что не годился для баррикады, и его не трогали. Он сидел все в той же позе, навалившись на стол, положив голову на руки, среди стаканов, кружек и бутылок. Он спал беспробудным сном, точно медведь в спячке или насосавшаяся пиявка. Ничто на него не действовало – ни стрельба, ни ядра, ни картечь, залетающая в окна залы, ни оглушительный грохот штурма. Лишь время от времени его храп вторил пушечной пальбе. Казалось, он ждал, что шальная пуля избавит его от необходимости просыпаться. Вокруг него лежало много трупов, и он ничем не отличался на первый взгляд от тех, кто уснул навеки.

Шум не пробуждает пьяницу; его будит тишина. На эту странность не раз обращали внимание. Все рушилось кругом, а он еще глубже погружался в оцепенение; грохот ублаживал его. Но неожиданное безмолвие, воцарившееся вокруг Анжольраса, послужило толчком, который пробудил Грантера от тяжелого сна. Так бывает, когда кони вдруг остановятся на всем скаку. Уснувшие в коляске тотчас же просыпаются. Грантер вскочил, как встрепанный, потянулся, протер глаза, зевнул, огляделся и все понял.

Внезапное отрезвление напоминает разорвавшуюся завесу. Вы видите сразу, с первого взгляда, все, что за нею скрывалось. Все тут же воскресает в памяти, и пьяница, не знавший, что произошло за минувшие сутки, не успеет очнуться, как уже во всем разобрался. Мысли его приобретают необычайную ясность, пьяное забытие рассеивается, как туман, затемнявший рассудок, и уступает место ясному и четкому восприятию действительности. Солдаты, устремив все внимание на Анжольраса, даже не заметили Грантера, забравшегося в угол за бильярд, и сержант уже готовился повторить приказ: «На прицел», как вдруг рядом чей-то могучий голос воскликнул:

– Да здравствует Республика! Я с ними заодно!

Грантер встал.

Яркое зарево битвы, которую он пропустил и в которой не участвовал, горело в сверкающем взгляде пьяницы; он как будто преобразился.

– Да здравствует Республика! – крикнул он снова, прошел по зале уверенным шагом и стал рядом с Анжольрасом, прямо против ружейных стволов.

– Прикончите нас обоих разом, – сказал он и, обернувшись к Анжольрасу, тихо спросил:

– Ты позволишь?

Анжольрас с улыбкой пожал ему руку.

Улыбка еще не сбежала с его губ, как грянул залп.

Пронзенный навылет восемью пулями, Анжольрас продолжал стоять, прислонясь к стене, словно пригвожденный к ней пулями. Только голова его поникла на грудь.

Грантер, убитый наповал, рухнул к его ногам.

Несколько минут спустя солдаты уже выбивали из верхнего этажа последних укрывшихся там повстанцев. Они перестреливались сквозь деревянные решетчатые двери чердака. Бой шел под самой крышей. Из окон выкидывали тела прямо на мостовую, в некоторых еще теплилась жизнь. Двух пехотинцев, которые пытались поднять сломанный омнибус, подстрелили с чердака из карабина. А оттуда сбросили какого-то блузника, проколотого штыком в живот, и он хрипел, корчась на мостовой. Солдат и повстанец, вцепившись один в другого, вместе скользили по скату черепичной крыши, упрямо не выпуская друг друга, и вместе катились вниз, не размыкая свирепого объятия. Такая же борьба велась в подвалах. Выстрелы, топот, дикие вопли. Потом наступила тишина. Баррикада была взята.

Солдаты принялись обыскивать окрестные дома и вылавливать беглецов.

Глава двадцать четвертая.

Пленник

Мариус действительно был пленником. Пленником Жана Вальжана.

Сильная рука, которая подхватила его сзади, когда он падал, теряя сознание, была рука Жана Вальжана.

Жан Вальжан не принимал участия в битве, но и не уклонялся от опасности. Не будь его, некому было бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные часы. Благодаря ему, вездесущему среди побоища, как провидение, все, кто падал, были подняты, перенесены в нижнюю залу и перевязаны. В промежутках он заделывал бреши в стене баррикады. Но его рука не поднималась для удара, нападения или даже самозащиты. Он молча спасал других. При этом он отделался всего несколькими царапинами. Пули как будто избегали его. Если предположить, что его привела в этот склеп жажда самоубийства, то цели он не достиг.

Однако маловероятно, чтобы он задумал самоубийство, противное законам религии.

Жан Вальжан, казалось, не замечал Мариуса в густом дыму сражения; на самом же деле он не спускал с него глаз. Когда выстрел сбил Мариуса с ног, Жан Вальжан бросился к нему с быстротой молнии, схватил его, как тигр хватает добычу, и унес.

В этот миг, в вихре атаки, всеобщее внимание было настолько приковано к Анжольрасу и к двери кабачка, что никто не заметил, как Жан Вальжан, неся на руках бесчувственного Мариуса, прошел по развороченной мостовой дворик баррикады и скрылся за углом дома, где помещался «Коринф».

Читатель помнит этот угол, образующий как бы выступ на повороте улицы; он защищал от пуль, от картечи, а также от любопытных взглядов площадку в несколько квадратных метров. Так иногда среди пожара одна какая-нибудь комната остается невредимой, и даже в самых бурных морях, за высоким мысом или в бухте между рифами можно найти тихую заводь. В этом-то закоулке дворика баррикады, в форме трапеции, и умерла Эпонина. Здесь Жан Вальжан остановился, опустил Мариуса на землю и, прислонясь к стене, огляделся кругом.

Положение было отчаянное.

На время, минуты на две, на три, стена могла послужить прикрытием, но как вырваться из этого побоища? Ему припомнился тревожный момент, пережитый им восемь лет назад на улице Полонсо, и способ, каким ему удалось скрыться оттуда; тогда это было трудно, теперь – невозможно. Перед ним возвышался угрюмый, наглухо запертый шестиэтажный дом, где, казалось, не было других обитателей, кроме мертвеца, склонившегося головой на подоконник. Справа от него находилась низенькая баррикада, замыкавшая Малую Бродяжную улицу; преодолеть это препятствие ничего не стоило, но над гребнем ее щетинились ряды штыков. Там укрылась линейная пехота, стоявшая в засаде по ту сторону редута. Перелезая через баррикаду, он непременно попал бы под обстрел целого взвода и, высунув голову из-за стены, стал бы мишенью для залпа шестидесяти ружей. Налево от него шел бой. За углом подстерегала смерть.

Что делать?

Одной только птице удалось бы спастись.

Надо было немедленно принять решение. Изыскать способ, найти выход. В нескольких шагах от него шло сражение; по счастью, вся ярость атакующих сосредоточилась на одной цели: двери кабачка; но если какому-нибудь солдату, одному-единственному, вздумалось бы завернуть за угол или напасть с фланга, все было бы кончено.

Жан Вальжан взглянул на высокий дом перед собой, на баррикаду направо, затем с отчаяньем, как человек в последней крайности, впился глазами в землю, точно хотел просверлить ее взглядом.

Чем пристальнее он смотрел, тем яснее у его ног начало вырисовываться и принимать очертания нечто едва уловимое сквозь туман смертной муки, словно взгляду дана власть воплощать желаемое. В нескольких шагах, у подножия невысокой баррикады, которую осаждали и стерегли снаружи неумолимые враги, он заметил плоскую железную решетку вровень с землей, наполовину скрытую под грудой булыжников. Эта решетка из толстых поперечных брусьев занимала пространство около двух квадратных футов. Укреплявшая ее рамка булыжников была разворочена, и решетка словно отделилась от мостовой. Сквозь прутья виднелось темное отверстие, что то вроде каминного дымохода или круглого водоема. Жан Вальжан бросился к решетке. Воспоминание о его прежнем искусстве устраивать побеги вдруг молнией озарило его мозг. Он расшвырял камни, откинул решетку, взвалил на плечи неподвижного, как труп, Мариуса, спустился с ношей на спине, упираясь локтями и коленями, в этот, к счастью, неглубокий колодец, захлопнул над головой тяжелую железную заслонку, которую снова засыпали сдвинутые им камни, и, наконец, стал ногами на вымощенное плитами дно на глубине трех метров под землей, – все это было проделано им как в бреду, с силой титана и быстротой орла, и на все хватило нескольких минут.

Жан Вальжан с бездыханным Мариусом на руках очутился в каком-то длинном подземном коридоре.

Здесь был глубокий покой, мертвая тишина, тьма.

Им вновь овладело чувство, испытанное в тот далекий час, когда он прямо с улицы попал за ограду монастыря. Только на этот раз он нес на руках не Козетту, он нес Мариуса. До него едва доносился теперь смутным гулом, где-то над головой, грозный грохот штурма кабачка.

Книга вторая Утроба Левиафана

Глава первая. Земля, истощенная морем

Париж ежегодно швыряет в воду двадцать пять миллионов. И это отнюдь не метафора. Когда, каким образом? Днем и ночью. С какой целью? Вез всякой цели. По какой причине? Без всякой причины. Для чего? Просто так. Каким путем? Через кишечный тракт.

Что же такое кишечник Парижа? Это его сточные трубы.

Двадцать пять миллионов – еще самая умеренная из цифр, полученных специалистами в результате вычислений.

Наука, долго бродившая ощупью, установила теперь, что наиболее действенным и полезным удобрением являются человеческие фекалии. К стыду нашему, китайцы знали об этом задолго до нас. По словам Экеберга, ни один китайский крестьянин не возвращается из города без бамбукового коромысла с двумя полными ведрами так называемых нечистот. Благодаря удобрению фекалиями земля в Китае так же тучна, как и во времена Авраама. Китайский маис приносит урожай сам сто двадцать. Никакое гуано не сравнится по плодородию своему с отбросами столицы. Большой город – превосходная навозная куча. Отходы города для удобрения полей принесли бы несомненную пользу. Пусть наше золото – навоз, зато наш навоз – чистое золото.

Что же делают с этим навозом? Его сметают в пропасть.

С одной стороны, затрачивая большие средства, снаряжают целые караваны судов на южный полюс за пометом пингвинов и буревестников, с другой топят в море несметные богатства, находящиеся тут же под рукой. Если вернуть земле, вместо того чтобы бросать в воду, запас удобрений, производимый человеком и животными, можно было бы прокормить весь мир. Кучи нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, трясущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой, – знаете, что это такое? Это цветущий луг, это зеленая мурава, богородицына травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычание тучных коров по вечерам, это душистое сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь. Таков таинственный творческий процесс – превращение на земле, преображение на небесах.

Верните это обратно в великое горнило: оно оплатит вам вашим благодеянием. От питания полей зависит пища человека.

В вашей воле бросить на ветер богатство да еще счесть меня чудаком в придачу. Но это будет верхом невежества с вашей стороны.

Статистика установила, что одна только Франция выбрасывает ежегодно в Атлантический океан через устья своих рек не менее полумиллиарда франков. Заметьте, что при помощи этих пятисот миллионов можно было бы покрыть четвертую часть государственных расходов. Но человек настолько туп, что предпочитает избавиться от этих пятисот миллионов и швыряет их в канаву. Ведь это уплывает народное достояние, то сочась капля за каплей, то вырываясь потоками, то слабой струей водостоков – в реки, то мощным

извержением рек – в океан. Каждая отрыжка наших клоак стоит нам тысячу франков. Отсюда два следствия: истощенная земля и зараженная вода. Нивы угрожают голодом, река – болезнями.

Установлено, например, что Темза с давних пор отравляет Лондон.

А в Париже пришлось в последние годы перенести большую часть выводных отверстий клоаки вниз по реке, за самый последний мост.

Между тем, чтобы провести в наши города чистые воды полей и оросить наши поля городской водой, богатой удобрениями, было бы вполне достаточно установки двойных труб, установки, снабженной клапанами и водоотводными шлюзами, всасывающими и нагнетающими воду, – этой элементарной системы дренажа, простой, как человеческие легкие, и уже широко распространенной во многих округах Англии; таким легким способом обмена, самым удобным на свете, мы сохранили бы пятьсот миллионов, брошенных на ветер. Но мы об этом и не думаем.

Нынешним способом, стремясь сделать добро, приносят вред. Намерение благое, но результат плачевный. Хотят очистить город, а жители чахнут. Устройство водостоков основано на недоразумении. Когда дренаж, имеющий двойное назначение – возвращать то, что он берет, заменит, наконец, повсюду сточные трубы, только промывающие и истощающие почву, – тогда на основе новой социальной экономики урожай увеличится вдесятеро и с нищетой будет значительно легче бороться. Добавьте к этому уничтожение сорняков, и проблема окажется разрешенной.

А пока что народные богатства уходят в реку. Происходит непрерывная утечка. Утечка – вот самое подходящее слово. Европа разоряется путем истощения.

Что касается Франции, то мы только что привели цифры. А так как в Париже сосредоточена двадцать пятая часть всего населения Франции, и к тому же парижское гуано – самое ценное, то мы даже преуменьшим цифру, исчисляя в двадцать пять миллионов долю потерь Парижа в том полумиллиарде, от которого ежегодно отрекается Франция. Истраченные на помощь бедноте и на благоустройство города, эти двадцать пять миллионов удвоили бы блеск и величие Парижа. Однако город спускает их в сточные канавы. Можно сказать поэтому, что баснословная расточительность Парижа, его блестящие празднества, его кумир Божон, разгульные оргии, струящееся потоками золото, его пышность, роскошь, величие – это и есть его клоака.

Таким образом, по вине недальновидной экономической политики народное достояние просто бросают в воду, где, подхваченное течением, оно поглощается пучиной. В интересах общественного блага здесь пригодились бы сетки Сен-Клу.

С точки зрения экономики, можно сделать вывод, что Париж – дырявое решето. Париж – образцовый город, глава благоустроенных столиц, пример для подражания всем народам, метрополия идей, священная родина дерзаний, стремлений и опытов, центр и обиталище великих умов, город-нация, улей будущего, чудесное сочетание Вавилона и Коринфа; однако Париж в том отношении, в каком мы только что его показали, заставил бы пожать плечами любого крестьянина из Фо-Кьяна.

Попробуйте подражать Парижу – и вы разоритесь.

Но в этом безрассудном, дрящемся с незапамятных времен мотовстве Париж сам оказывается подражателем.

Такая поразительная глупость не нова, это вовсе не ошибка юности. Древние народы поступали так же, как и мы. «Клоака Рима, – по словам Либиха, – поглотила все благосостояния римских крестьян». После того как римские водостоки разорили окрестные деревни, Рим обесплодил Италию, а бросив Италию в свои клоаки, он отправил туда Сицилию, затем Сардинию, потом Африку. Сточные трубы Рима пожрали мир. Клоака разинула ненасытную пасть на город и на вселенную. Urbi et orbi. Вечный город, бездонная клоака.

В этом отношении, как и в остальных, Рим подал пример.

Париж следует этому примеру с нелепым упорством, свойственным великим городам, средоточиям духовной жизни.

Для осуществления упомянутого процесса под Парижем существует второй Париж-Париж водостоков, со своими улицами, перекрестками, площадями, тупиками, магистралями и даже своим уличным движением – потоками грязи вместо людского потока.

Никому не следует льстить, даже великому народу; там, где есть все, наряду с величием имеется и позор; Париж заключает в себе Афины – город просвещения; Тир-город могущества, Спарту-город доблести, Ниневию – город чудес, но он впитал в себя также и Лютецию – город грязи.

Впрочем, на этом также лежит отпечаток его могущества; в грандиозных подземных трущобах Парижа, как и в других его памятниках, воплощается тот странный идеал, какой в истории человечества воплощают собою люди, подобные Макиавелли, Бэкону и Мирабо, – величие гнусности.

Подземелье Парижа, если бы взгляд мог проникнуть сквозь толщу его поверхности, представились бы нам в виде колоссального звездчатого коралла. В морской губке гораздо меньше отверстий и разветвлений, чем в той земляной глыбе шести миль в окружности, на которой покоится великий древний город. Не говоря уже о катакомбах, образующих особое подземелье, не говоря о запутанных тенетах газопроводов, не считая широко развитой системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам, – водостоки сами по себе образуют под обоими берегами Сены причудливую, скрытую во мраке сеть; путеводной нитью в этом лабиринте служит уклон почвы.

Здесь, во мгле и сырости, водятся крысы, которые кажутся как бы порождением этого второго Парижа.

Глава вторая. Древняя история клоаки

Если вообразить, что Париж снимается, как крышка, то подземная сеть сточных труб по обеим сторонам реки покажется нам с высоты птичьего полета чем-то вроде толстого сука, как бы привитого к реке. Окружной канал на правом берегу будет стволом этого сука, боковые отводы – ветвями, а тупики – побегами.

Это сравнение передает лишь общий вид и далеко не точно, так как прямой угол, обычный для подобных подземных разветвлений, редко встречается в растительном мире.

Вы получите более правильное представление об этом необычном геометральном плане, если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне затейливые письмена некоего восточного алфавита, связанные одно с другим в кажущемся беспорядке, то углами, то концами, словно наугад.

Подземелья и сточные ямы играли важную роль в средние века в Византии и на древнем Востоке. Там зарождалась чума, там умирали деспоты. Народы смотрели с каким-то священным ужасом на это скопище гнили, на эту чудовищную обитель смерти. Кишащая червями сточная яма Бенареса вызывает такое же головокружение, как львиный ров Вавилона. Теглат-Фаласар, как повествуют книги раввинов, клялся свалками Ниневи. Из клоаки Мюнстера вызывал Иоганн Лейденский свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный хоросанский пророк Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кекшебе.

В истории клоак рождается история человечества. Гемонии раскрыли тайны Рима. Водостоки Парижа были страшны в старину. Они служили могилой, и они служили убежищем. Преступление, вольнодумство, бунт, свобода совести, мысль, грабеж, все, что преследуют или преследовали некогда человеческие законы, пряталось в этой дыре: шайки

майотенов в XIV веке, уличные грабители в XV, гугеноты в XVI, иллиминаты Морена в XVII, банды поджаривателей в XIX. Сто лет назад оттуда выходил ночной убийца, туда прятался от погони вор; в лесу были пещеры, в Париже – водостоки. Нищая братия, галльское подобие *ricareria*¹⁴², свирепая и хитрая, считала водостоки филиалом Двора чудес и по вечерам спускалась в отверстие сточного колодца на улице Мобюэ, как в собственную спальню.

Вполне естественно, что те, кто обычно промышлял в глухом тупике Карманников или на улице Головорезов, искали ночного убежища под мостиком Зеленой дороги или в закоулке Гюрпуа. Там вас окружает целый рой воспоминаний. В этих бесконечных коридорах появляются всевозможные призраки, повсюду слякоть и зловоние; там и сям встречаются отдушины, сквозь которые некогда Вийон из недр водостока беседовал с Рабле, стоявшим наверху.

Клоака старого Парижа была местом встреч всех неудач и всех дерзаний. Политическая экономия видит в ней свалку отходов, социология видит в ней осадочный пласт.

Клоака – это совесть города. Все стекается сюда, всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или по крайней мере свой окончательный вид. Куча отходов имеет то достоинство, что не лжет. Здесь нашла пристанище полная откровенность. Здесь валяется маска Базилио, но вы видите ее картон и тесемки, ее лицо и изнанку, откровенно вымазанные в грязи. К ней присоединился фальшивый нос Скапена. Весь мерзкий хлам цивилизации, выброшенный за ненадобностью, падает в эту бездну правды, куда обрушивается огромный социальный оползень. Все поглощается ею и раскладывается напоказ. Эта беспорядочная свалка становится исповедальней. Тут невозможна обманчивая личина, тут смываются все прикрасы, тут гнусность сбрасывает свой покров, тут полная нагота, разоблачение всех иллюзий, тут нет ничего, кроме подлинных вещей, являющих зловещий вид разрушения и конца. Бытие и смерть. Здесь донышко бутылки изобличает пьяницу, ручка корзины судачит о прислуге, там набалдашник от сломанной трости, некогда кичившийся литературными вкусами, снова становится простым набалдашником, королевский лик на монете в одно су откровенно покрывается медной ржавчиной, плевок Кайафы сливается с блевотиной Фальстафа, золотая монета из игорного дома натывается на гвоздь с обрывком веревки самоубийцы, посинелый недоносок валяется, обернутый в юбку с блестками, в которой потаскуха плясала на балу в Опере на прошлой масленице, судейский берет вязнет в грязи рядом с полуистлевшим подолом шлюхи. Это больше чем братство, это – панибратство. Все, что подкрашивалось, здесь умывается грязью. Последняя завеса сорвана. Клоака – циник. Она говорит все.

Эта откровенная гнусность нравится нам, она облегчает душу. После того как на земле нам пришлось столько времени терпеливо смотреть, какой важный вид напускают на себя государственные соображения, нерушимость клятвы, политическая мудрость, человеческое правосудие, профессиональная честность, чопорность высокопоставленных особ, неподкупность чиновников, нам доставляет утешение спуститься в клоаку и увидеть обыкновенную грязь, которая там вполне уместна.

К тому же оно и поучительно. Как мы уже говорили, вся история проходит через клоаку. Кровь Варфоломеевской ночи сочится туда капля за каплей сквозь камни мостовой. Все массовые убийства, всякая политическая и религиозная резня – все стекает в это подземелье цивилизации, сбрасывая туда трупы. В воображении мечтателя все убийцы, известные в истории, стоят там на коленях в отвратительном полумраке, подвязав обрывки савана вместо передника, и уныло смыывают следы своих деяний. Там и Людовик XI с Тристаном, Франциск

¹⁴² Жулье (*исп.*)

И с Дюпра, Карл IX со своей матерью, Ришелье с Людовиком XIII, там и Лувуа, и Летелье, Гебер и Майяр, – все они стараются соскоблить с камней пятна и уничтожить улики своих преступлений. Вы слышите под сводами шум метлы этих призраков. Вы вдыхаете неопишное зловоние социальных катастроф. Вы видите багровые отблески по углам. Там течет та ужасная вода, в которой омывали окровавленные руки.

Исследователю социальных явлений необходимо войти под эти темные своды. Это часть его лаборатории. Философия – микроскоп мысли. Все стремится избежать ее внимания, но ничто от нее не ускользает. Всякие уловки бесполезны. Что вы обнаруживаете, увертываясь от нее? Собственный позор. Философия своим неподкупным взглядом преследует зло и не позволяет ему исчезнуть бесследно. По вещам, обезличенным из-за распада или как бы истаявшим от разрушения, она угадывает все. Она восстанавливает пурпурное одеяние по обрывку лохмотьев и женщину по ее тряпкам. По клоаке она судит о городе, по грязи судит о нравах. По черепку она воспроизводит амфору или кувшин. По отпечатку ногтя на пергаменте она устанавливает разницу между евреями Юденгассе и евреями гетто. По тому, что осталось, она определяет то, что было – добро, зло, ложь, истину, кровавое пятно во дворце, чернильную кляксу в притоне, каплю свечного сала в лупанарии, преодоленные испытания, призываемые искушения, блевотину оргии, пороки опустившегося человека, печать бесчестия на душах, склонных к грубой чувственности, и на одежде римского носильщика она узнает след от локтя Мессалины.

Глава третья.

Брюнзо

В средние века о парижских водостоках ходили легенды. В XVI веке Генрих II предпринял их исследование, но оно ни к чему не привело. Всего сто лет назад, по свидетельству Мерсье, клоака еще была предоставлена самой себе и растекалась, как хотела.

Таков был старый Париж, раздираемый смутами, сомнениями и метаниями. Долгое время он вел себя довольно глупо. Позднее 89-й год показал, как город может вдруг взяться за ум. Но в доброе старое время столице не хватало рассудка, она не умела вести дела как в материальном, так и в моральном отношении и выметала мусор несколько не лучше, чем злоупотребления. Все служило препятствием, все представлялось неразрешимой задачей. Клоака, например, не подчинялась никаким путеводителям. Установить направление в этой свалке отбросов было так же трудно, как разобраться в переулках самого города; на земле – непостижимое, под землей – непроходимое; вверху – смешение языков, внизу – путаница подземелий; под Вавилонским столпотворением лабиринт Дедала.

По временам сточные воды Парижа имели дерзость выступать из берегов, как будто этот непризнанный Нил вдруг приходил в ярость. Тогда происходило нечто омерзительное – наводнение города нечистотами. Время от времени желудок цивилизации начинал плохо переваривать, содержимое клоаки подступало к горлу Парижа, город мучился отрыжкой своих отбросов. Тут ощущалось сходство с угрызениями совести, что было бесполезно; это были предостережения, встречаемые, впрочем, с большим недовольством. Город возмущался наглостью своих помойных ям и не верил, что грязь снова вылезет наружу. Гнать ее беспощадно!

Наводнение 1802 года – одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших восьмидесятилетнего возраста. Грязь разлилась крест-накрест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV; она затопила улицу Сент-Оноре из двух водосточных воронок на Елисейских полях, улицу Сен-Флорантен из воронки на Сен-Флорантен; улицу Пьер-а-Пуассон из стока на улице Колокольного звона, улицу Попенкур из отверстия под мостиком Зеленой дороги, Горчичную улицу из клоаки на улице Лапп; она заполнила сточный желоб Елисейских полей до уровня тридцати пяти сантиметров. В южных кварталах

через водоотвод Сены, гнавший ее в обратном направлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшоды и улицу Марэ, здесь растеклась на сто девять метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин, выказав тем самым уже в XVIII веке больше уважения к поэту, чем к королю. Наводнение достигло наивысшего уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывавших водосточные трубы, а наибольшего протяжения – на улице Сен-Сабен, где она разлилась на двести тридцать восемь метров в длину.

В начале нынешнего века клоака Парижа все еще оставалась таинственным местом. Грязь нигде особенно не восхваляли, но здесь ее дурная слава вызывала ужас. Париж знал кое-что о мрачном подземелье, которое под ним таилось. Его сравнивали с чудовищным болотом древних Фив, где кишели сколопендры пятнадцати футов длиной и где мог бы окунуться бегемот. Грубые сапоги чистильщиков сточных труб никогда не отваживались ступить дальше определенных границ. Недалеко было еще то время, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сент-Фуа брался с маркизом де Креки, выгружались просто-напросто в сточные канавы. Очистку труб возлагали на ливни, которые скорее засоряли их, чем промывали. Рим еще окружал свою клоаку известной поэтичностью и называл ее Гемониями; Париж поносил свою и обзывал ее Вонючей дырой. Она внушала ужас и науке и суеверию. Гигиена относилась к Вонючей дыре с таким же отвращением, как и народные предания. Призрак Черного Монаха впервые появился под сводами зловонного стока Муфтар; трупы мармузетов сбрасывали в сточную яму Бочарной улицы; эпидемию злокачественной лихорадки 1685 года Фагон приписывал водостоку Марэ, широкая воронка которого продолжала зиять вплоть до 1833 года на улице Сен-Луи, почти напротив вывески «Галантного вестника». Про отдушину водостока на Камнедробильной улице ходила слава, что оттуда распространялась чумная зараза, загороженная железной решеткой с острыми концами, торчащими как ряд клыков, она словно разевала на этой роковой улице пасть дракона, изрыгающего на людей адский смрад. Народная фантазия связывала мрачную парижскую клоаку со зловещими видениями преисподней. У клоаки нет дна. Клоака – бездонный адский колодец. Полиции в голову не приходило обследовать эти пораженные проказой недра. Кто осмелился бы измерить неведомое, исследовать глубины мрака, отправиться на разведку в бездну? Это внушало ужас. Тем не менее нашелся человек, который вызвался это сделать. У клоаки появился свой Христофор Колумб.

Как-то раз в 1805 году, во время одного из редких наездов императора в Париж, министр внутренних дел, не то Декле, но то Крете, явился на утренний прием повелителя. На площади Карусели слышалось бряцанье волочащихся по земле сабель легендарных солдат великой Республики и великой Империи; у дверей Наполеона толпились герои Рейна, Эско, Адидже и Нила; доблестные соратники Жубера, Десе, Марсо, Гоша, Клебера; воздухоплаватели Флерюса, гренадеры Майнца, понтонеры Генуи, гусары, на которых смотрели пирамиды, артиллеристы, осыпанные осколками ядер Жюно, кирасиры, взявшие приступом флот, стоявший на якоре в заливе Зюдерзее. Одни из них сопровождали Наполеона на Лодийский мост; другие следовали за Мюратом в траншеи Мантуи; третьи обгоняли Ланна по дороге на Монтебелло. Вся армия того времени, представленная здесь отрядом, там взводом собралась во дворе Тюильри, охраняя покой императора: это происходило в ту блистательную эпоху великой армии, когда позади было Маренго, а впереди – Аустерлиц.

– Государь! – сказал Наполеону министр внутренних дел. – Вчера я видел самого бесстрашного человека во владениях вашего величества.

– Кто же это? – резко спросил император. – И что он сделал?

– Он кое-что задумал, государь.

– Что именно?

– Осмотреть водостоки Парижа.

Глава четвертая.

Подробности, доселе неизвестные

Осмотр состоялся. Это был тяжелый поход; ночной бой с заразой и удушливыми испарениями. И вместе с тем путешествие, богатое открытиями. Один из участников разведки, толковый рабочий, в ту пору – юноша, рассказывал еще несколько лет назад кое-какие любопытные подробности, которые Брюнзо в донесении префекту полиции считал уместным опустить, как недостойные административного стиля. Способы обеззараживания были в те времена весьма примитивны. Едва успел Брюнзо миновать первые разветвления, сети подземных каналов, как восемь из двадцати его рабочих отказались идти дальше. Предприятие было с южное, осмотр влек за собой и очистку; приходилось и расчищать и производить измерения, отмечать отверстия стоков, считать решетки и смотровые колодцы, устанавливая места разветвлений, указывать точки присоединения новых каналов, обозначать на плане очертания подземных водоемов, измерять глубину мелких притоков главного канала, высчитывать высоту каждого бокового канала до замка свода и его ширину как у начала закругления свода, так и у основания стен, наконец определять уровень притока воды, откуда бы она ни поступала в главный водосток – из боковых ли каналов, или с поверхности земли. Продвигаться вперед было тяжело. Нередко спущенные вниз лестницы погружались в топкий ил на глубину трех футов. Фонари едва мерцали в ядовитых испарениях. То и дело приходилось уносить потерявших сознание рабочих. В некоторых местах неожиданно открывались пропасти. Грунт там расселся, каменный настил дна обрушился, водосток обратился в бездонный колодец, ноге не на что было опереться; кто-то из спутников Брюнзо вдруг провалился, его вытащили с большим трудом. В местах, достаточно обезвреженных, по совету химика Фуркруа, зажигали, от перехода к переходу, большие клетки с просмоленной паклей. Местами стены были покрыты безобразными грибами, похожими на опухоли; даже камни казались больными в этом месте, где нечем было дышать.

Брюнзо в своих изысканиях обследовал всю клоаку от верховья до устья. В месте, где Большой Ворчун разделяется на два водостока, он разобрал на каменном выступе дату «1550»: этот камень указывал границу, где остановился Филибер Делорм, которому Генрих II поручил произвести осмотр подземных свалок Парижа. То была печать XVI века на клоаке; работу XVII века Брюнзо узнал в кладке водостока Понсо и водостока Старой Тампльской улицы, крытых сводами между 1600 и 1650 годами, а работу XVIII – в западной секции канала-коллектора, проложенной и покрытой сводом в 1770 году. Оба эти свода, в особенности менее древний, построенный в 1740 году, гораздо сильнее потрескались и обвалились, чем каменная кладка окружного водостока, проложенного в 1412 году. Это был год, когда ручей родниковой воды из Менильмонтана возвели в достоинство Главной клоаки Парижа, – так мог бы повыситься в чине простой крестьянин, став камердинером короля, или, скажем, Жан-дурак, превратившись в Левеля.

В нескольких местах, в особенности под Дворцом правосудия, было обнаружено нечто вроде старинных темниц, вырытых в самом водостоке. Это были *in pace*! В одной из таких келий висел железный ошейник. Все они были тотчас же замурованы. Среди находок попадались и очень странные, в том числе скелет орангутанга, убежавшего в 1800 году из Зоологического сада; он-то и был, вероятно, тем пресловутым чертом, которого многие видели на улице Бернардинцев в последнем году XIX столетия. Бедняга черт кончил тем, что утопился в клоаке.

Под длинным сводчатым коридором, примыкавшим к Арш-Марион, была найдена прекрасно сохранившаяся корзина тряпичника, вызвавшая удивление знатоков. В топкой грязи, которую рабочие отважно принялись ворошить, всюду попадалось множество ценных

вещей, золотых и серебряных украшений, драгоценных камней и монет. Если какому-нибудь великану вздумалось бы пропустить эту клоаку, в его сите оказались бы сокровища многих веков. В месте слияния стоков с Тампльской улицы и улицы Сент-Авуа была подобрана любопытная медная медаль гугенотов с изображением на одной стороне свиньи в кардинальской шапке, а на другой – волка в папской тиаре.

Самая поразительная находка была сделана у входа в Главную клоаку. В прежние времена вход был загорожен решеткой. Ныне сохранились лишь крюки, на которых она держалась. На одном из крюков, вероятно занесенный потоком, висел, зацепившись за него, безобразный, испачканный кровью, истлевший лоскут. Брюнзо поднес фонарь, чтобы рассмотреть эту тряпку. Она оказалась из тончайшего батиста, и на одном уголке, изодранном меньше других, можно было различить вышитую геральдическую корону над следующими шестью буквами: ЛОБЕСП... Корона была короной маркиза, а шесть букв означали Лобеспин.

Оказалось, что у них перед глазами находился лоскут от савана Марата. В юности у Марата бывали любовные приключения. Они относились к тому времени, когда он служил при дворе графа д'Артуа в качестве лекаря при конюшнях. От любовной связи с одной знатной дамой у него осталась эта простыня, то ли случайно забытая, то ли подаренная на память. Это было единственное тонкое белье, которое нашлось в доме Марата после его смерти, и его похоронили в этой простыне. Старухи завернули сурового Друга народа в пелены сладострастия, превратив их в погребальные. Брюнзо прошел мимо. Изорванный лоскут оставили на месте, не тронув его. Из презрения или в знак уважения? Марат заслужил и того и другого. Впрочем, печать судьбы была здесь слишком явственна, чтобы осмелиться на нее посягнуть. К тому же могильные останки подобает оставлять в том месте, какое они сами себе избрали. Все же это была необычайная реликвия. На ней спала маркиза, в ней истлел Марат; она прошла через Пантеон, чтобы достаться крысам клоаки. Обрывок альковной ткани, которую с таким веселым изяществом изобразил бы некогда Ватто, кончил тем, что стал достойным пристального взгляда Данте.

Тщательный осмотр всех подземных свалок нечистот Парижа продолжался целых семь лет, с 1805 по 1812 год. Продвигаясь вперед, Брюнзо вместе с тем намечал, производил и завершал важные земляные работы: в 1808 году он понизил дно водостока Понсо, в 1809, прокладывая всюду новые линии, продолжил сточный канал под улицей Сен-Дени, вплоть до фонтана Инносан; в 1810 он прорыл водосток под улицами Фруаманто и Сальпетриер; в 1811 – под Новой Мало-Августинской улицей, улицей Майль, улицей Эшарп, под Королевской площадью; в 1812 – под улицей Мира и Шоссе д'Антен. Вдобавок он руководил дезинфекцией и очисткой всей сети. На втором году работ Брюнзо взял себе в помощники своего зятя Нарго.

Вот каким образом в начале нынешнего столетия общество выгребало свое двойное дно и приводило в порядок свои клоаки. Так или иначе, но грязь была вычищена.

Извилистая, растрескавшаяся, развороченная, облупившаяся, изрытая ямами, вся в причудливых поворотах, с беспорядочными подъемами и спусками, зловонная, дикая, угрюмая, затопленная мраком, со шрамами на каменных плитах дна и с рубцами на стенах, страшная – такова была, если оглянуться в прошлое, древняя клоака Парижа. Развилки во все стороны, перекрестки коридоров, разветвления – то в виде гусиных лапок, то звездообразные – словно в подкопах, тупики, похожие на отросток слепой кишки, пропитанные селитрой своды, смрадные отстойники, мокрые лишай на стенах, капли, падающие с потолка, крошечная тьма. Ничто не могло сравниться по ужасу с этим древним склепом-очистителем, с этим пищеварительным трактом Вавилона, пещерой, ямой, пересеченной улицами, бездной, необъятной кротовой норой, где вам чудится, будто во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот – прошедшее.

Такова, повторяем, была клоака былых времен.

Глава пятая. Прогресс в настоящем

В наше время клоака опрятна, строга, выпрямлена, благопристойна. Она почти олицетворяет идеал, обозначаемый в Англии словом «респектабельный». У нее приличный вид, она сероватого цвета, вытянута в струнку и, если можно так выразиться, одета с иголочки. Она похожа на человека, который из купцов вдруг вышел в тайные советники. Там почти совсем светло. Там даже грязь держится чинно. На первый взгляд клоаку легко принять за один из подземных ходов, столь распространенных встарь и столь удобных для бегства монархов и принцев в доброе старое время, «когда народ так обожал своих государей». Нынешняя клоака, пожалуй, даже красива: там царит чистота стиля. Классический прямолинейный александрийский стиль, изгнанный из поэзии и как будто нашедший прибежище в архитектуре, замечен там в каждом камне длинного, мрачного, белесоватого свода; каждый сточный канал кажется аркадой – архитектура улицы Риволи наложила отпечаток даже на недра клоаки. К тому же если геометрические линии где-нибудь и уместны, то именно в каналах, выводящих нечистоты большого города. Там все должно быть подчинено соображениям кратчайшего расстояния. Клоака наших дней приобрела официальный вид. Даже в полицейских отчетах, где она зачастую упоминается, о ней говорится с оттенком уважения. Административный язык применяет к ней выражения возвышенные и благопристойные. То, что называлось когда-то кишкой, именуется галереей, что называлось дырой, зовется смотровым колодцем. Вийон не узнал бы своего бывшего ночного пристанища. Правда, эта запутанная сеть подземелий по-прежнему и более чем когда-либо заселена грызунами, кишачими там с незапамятных времен, и теперь еще иной раз почтенная усатая крыса, отважившись высунуть голову в отдушину клоаки, разглядывает парижан; но даже эти гады мало-помалу становятся ручными, настолько они довольны своим подземным дворцом. Клоака совершенно потеряла первобытный дикий облик былых времен. Дождь, некогда загрязнявший водостоки, теперь промывает их. Не слишком доверяйте им, однако. Не забывайте о вредных испарениях. Клоака скорее ханжа, чем праведник. Напрасно стараются префектура полиции и санитарные комиссии. Вопреки всем ухищрениям ассенизации, клоака издает какой-то подозрительный запах, точно Тартюф после исповеди. Как бы то ни было, выметая сор, клоака оказывает услугу цивилизации, а так как с этой точки зрения совесть Тартюфа – большой прогресс в сравнении с Авгиевыми конюшнями, то нельзя не признать, что клоака Парижа, несомненно, усовершенствовалась. Это больше чем прогресс: это превращение древней клоаки в клоаку нашего времени. В ее истории произошел переворот. Кто же произвел этот переворот? Человек, которого все позабыли и которого мы только что назвали: Брюнзо.

Глава шестая. Прогресс в будущем

Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. За десять веков вплоть до наших дней не удалось закончить эту работу, так же как не удалось достроить Париж. В самом деле, – ведь на клоаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, клоака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь двадцать три тысячи триста метров – так обстояло дело в Париже к 1 января 1806 года. Начиная с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон – цифры и

эти крайне любопытны – провел четыре тысячи восемьсот четыре метра водосточных труб; Людовик XVIII – пять тысяч семьсот девять; Карл X – десять тысяч восемьсот тридцать шесть; Луи-Филипп – восемьдесят девять тысяч двадцать; республика 1848 года – двадцать три тысячи триста восемьдесят один; нынешнее правительство – семьдесят тысяч пятьсот. В итоге до настоящего времени проложено двести двадцать шесть тысяч шестьсот десять метров, другими словами, шестьдесят миль сточных труб – так необъятна утроба Парижа. Невидимая ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся; гигантское невидимое сооружение.

Итак, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше чем вдесятеро против того, каким он был в начале столетия. Трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести клоаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства, – а в последнее десятилетие XVIII века и революционная мэрия, – с большим трудом завершили бурение тех пяти миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности: одни были связаны с особенностями грунта, другие – со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле, до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, именуемая Парижем; только человек задумает каким-либо образом углубиться и проникнуть в эти наносные пласты, перед ним тотчас же возникают бесчисленные, скрытые в земле препятствия. То это жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, прозванный на профессиональном языке «горчицей». Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих, иногда осыпь рухляка пробивает себе дорогу и обрушивается вниз с яростью водопада, дробя, как стекло, массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны; пришлось посылать на поиски водолаза, – тот обнаружил трещину в устье канала и с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам Сены, так и довольно далеко от реки, например в Бельвиле, под Большой улицей и пассажем Люньер, встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удущье, оползни, погребаяющие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которой рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. Он прорыл подземный ход Клиши с лотками для приема вод главного трубопровода Урк, производя работы в траншее на глубине десяти метров; борясь с оползнями при помощи котлованов, зачастую в гнилых грунтах, и подпорных стоек, он покрыл сводом русло Бьевры от Госпитального бульвара до самой Сены; для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в девять гектаров у заставы Мучеников он проложил длинную линию водостоков от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение четырех месяцев, днем и ночью, на глубине одиннадцати метров; после того как – вещь до сей поры неслыханная! – он соорудил без открытых траншей, на глубине шести метров под землей, водосток улицы Бардю-Бек, – он умер. Вслед за ним, покрыв сводом три тысячи метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Лурсин, спустив через боковой канал под Самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток Податной улицы и улицы Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-

Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назаретской Богоматери, – умер инженер Дюло. У нас не публикуют сообщений о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений.

В 1832 году парижская клоака сильно отличалась от нынешней. Брюнзо дал делу первый толчок, но надо было появиться холере, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водостоков, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это ни удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жижи, пролежала еще по улице Гурд под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на двести шестьдесят шесть тысяч восемьдесят франков шесть сантимов, чтобы прикрыть этот срам. Три сточных колодца на улицах Битвы, Кюветной и Сен-Мандэ, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками с их очистными разветвлениями, сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем вдесятеро.

Тридцать лет назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака почти всюду еще сохраняла свой прежний вид. На многих улицах, на месте нынешних выпуклых мостовых, были тогда вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестка, часто попадались широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решеткам было присвоено выразительное название *clissis*¹⁴³. Еще в 1832 году на множестве улиц – как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назаретской Богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Олений мост, Маре, в предместье Сен-Мартен, на улице Богоматери-победительницы, в предместье Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон – старая средневековая клоака цинично разевала свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем и кое-где с наглым бесстыдством огороженные кругом тумбами. Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленной в мае 1663 года цифры: пяти тысяч трехсот двадцати восьми туаэ. На 1 января 1832 года, после Брюнзо, они достигли сорока тысяч трехсот метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем семьсот пятьдесят метров сточных труб; с тех пор каждый год сооружали от восьми до десяти тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором, на бетонном основании. Считая по двести франков на метр, шестьдесят миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в сорок восемь миллионов.

Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены. Париж лежит меж двумя слоями: пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованная бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска, радиусом в двадцать пять миль; туда просачивается множество рек и ручьев; из стакана воды, взятой в колодце Гренель, вы пьете воду Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эны, Шера, Вьены и Луары. Водная пелена целебна, она образуется сначала в небе, потом в недрах земли; воздушная пелена вредоносна, она впитывает гнилые испарения. Все миазмы клоаки смешиваются с воздухом, которым дышит

¹⁴³ Ловушки (*лат.*)

город; потому-то у него такое нездоровое дыхание. Воздух, взятый на пробу над навозной кучей, – это доказано наукой, – гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, научным и техническим усовершенствованиям водная пелена поможет очистить пелену воздушную, – иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унавоживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. Теперь же болезни Парижа распространяются на пятьдесят миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса.

Мы могли бы сказать, что вот уже десять веков клоака – это дурная болезнь Парижа. Сточные воды – отравы в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет. Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только за большие деньги каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров; землекоп лишь после долгих колебаний решался погрузить туда свою лестницу; поговорка гласила: «В сточную яму сойти, что в могилу войти». Как мы уже говорили, зловещие, вселявшие ужас легенды окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток геологических эр и революционных переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопы и кончая лоскутом от савана Марата.

Книга третья

Грязь, побежденная силой духа

Глава первая.

Клоака и ее неожиданности

В этой самой парижской клоаке и очутился Жан Вальжан.

Еще одна черта между Парижем и морем. Там человек может исчезнуть бесследно, словно пловец в океанских глубинах.

Переход был ошеломляющим. В самом центре города Жан Вальжан скрылся из города и в мгновение ока, лишь приподняв и захлопнув крышку, перешел от дневного света к непроглядному мраку, от полудня к полуночи, от шума к тишине, от вихря и грома к покою гробницы и, благодаря еще более чудесному повороту судьбы, чем на улице Полонсо, – от неминуемой гибели к полной безопасности.

Вдруг провалиться в подземелье, исчезнуть в каменном тайнике Парижа, сменить улицу, где повсюду рыскала смерть, на склеп, где теплилась жизнь, – это была необыкновенная минута. Некоторое время он стоял, словно оглушенный, и с изумлением прислушивался. Под его ногами внезапно разверзлась спасительная западня. Небесное милосердие укрыло его, так сказать, обманным путем. Благословенная ловушка, уготованная провидением!

Между тем раненый оставался недвижим, и Жан Вальжан не знал, живого или мертвеца унес он с собой в эту могилу.

Первым его ощущением была полная слепота. Он вдруг перестал видеть. Ему показалось также, что он сразу оглох. Он ничего не слышал. Яростный смерч побоища, бушевавший в нескольких футах над его головой, доносился до него сквозь отделявшую его толщу земли глухо и неясно, как смутный гул. Он ощущал под ногами твердую почву – вот и все, но этого было достаточно. Он протянул одну руку, затем другую, с обеих сторон наткнулся на стену и понял, что находится в узком коридоре, он поскользнулся и понял, что каменный пол залит

водой. Он осторожно ступил вперед одной ногой, опасаясь какого-нибудь провала, колодца, бездонной ямы, и убедился, что каменный настил тянется дальше. На него пахло зловонием, и он догадался, где он.

Через несколько секунд слепота прошла. Сквозь отдушину смотрового колодца, куда он спустился, проникало немного света, и его глаза скоро привыкли к этим сумеркам. Он начинал различать кое-что вокруг. Подземный ход, где он похоронил себя, – никаким словом не обрисуешь лучше его положения, – был замурован позади и оказался одним из тупиков, называемых на профессиональном языке «тупиковой веткой». Впереди ему преграждала путь другая стена – стена ночного мрака. Луч, падавший из отдушины, угасал в десяти-двенадцати шагах от Жана Вальжана, озаряя тусклым белесоватым светом всего лишь несколько метров мокрой стены водостока. Дальше стояла сплошная тьма; вступить в нее казалось страшным, чудилось, что она поглотит вас навеки. Однако пробиться сквозь эту стену мрака было возможно и даже необходимо. Мало того, надо было спешить. Жану Вальжану пришло в голову, что если он заметил решетку под булыжниками, ее могли заметить и солдаты и что все зависело от случайности. Солдаты тоже могут спуститься в колодец и обыскать его. Нельзя терять ни минуты. Опустив было Мариуса наземь, он снова поднял его, взвалил себе на плечи и пустился в путь. Он смело шагнул в темноту.

На самом деле они были совсем не так близки к спасению, как думал Жан Вальжан. Их подстерегали опасности другого рода и, быть может, не меньшие. Вместо пылающего вихря битвы – пещера, полная миазмов и ловушек, вместо хаоса – клоака. Из одного круга ада Жан Вальжан попал в другой.

Пройдя полсотни шагов, он принужден был остановиться. Перед ним возник вопрос. Подземный коридор упирался в другой, пересекавший его поперек. Отсюда расходились два пути. Который же избрать? Свернуть налево или направо? Как разобраться в черном лабиринте? У этого лабиринта, как мы отметили выше, была одна путеводная нить – его естественный уклон. Следовать уклону, значило спускаться к реке.

Жан Вальжан понял это сразу.

Он решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка, что, выбрав левый путь и следуя под уклон, он может меньше чем в четверть часа добраться до одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами Менял и Новым, иными словами, он рискует очутиться среди бела дня в самом многолюдном районе Парижа. Возможно также, что этот путь приведет его к смотровому колодцу на каком-нибудь перекрестке. Он представил себе испуг прохожих при виде двух окровавленных людей, выходящих прямо из земли у них под ногами. Прибегут полицейские, вооруженная стража из ближайшей караульной. И их схватят прежде, чем они успеют выбраться на поверхность. Лучше уж углубиться в дебри лабиринта, довериться темноте, а в остальном положиться на волю providения.

Он начал подниматься вверх, направо.

Как только он повернул за угол галереи, слабый отдаленный свет из отдушины исчез, над ним опустилась завеса тьмы, и он опять ослеп. Это не мешало ему продвигаться вперед так быстро, как только он мог. Руки Мариуса были перекинuty вперед, по обеим сторонам его шеи, а ноги висели за спиной. Одной рукой он сжимал руки юноши, а другой ощупывал стену. Щека Мариуса касалась его щеки и прилипала к ней, так как была вся в крови. Он чувствовал, как текли по нему и пропитывали его одежду теплые струйки крови, бежавшие из ран Мариуса. Однако влажная теплота у самого уха, которой веяло от уст раненого, указывала, что Мариус дышит и, следовательно, еще жив. Коридор, куда свернул Жан Вальжан, был шире предыдущего. Идти становилось довольно тяжело. Оставшаяся от вчерашнего ливня вода образовала ручеек, бежавший посреди водостока, так что Жан Вальжан принужден был держаться стены, чтобы не ступать по воде. Угрюмо брел он вперед. Он походил на те порожденные ночью существа, что движутся ощупью, затерянные в подземных шахтах мрака.

Между тем мало-помалу, потому ли, что из дальних отдушин пробивался в Густую мглу слабый мерцающий свет, потому ли, что глаза Жана Вальжана привыкли к темноте, зрение отчасти вернулось к нему, и он начал смутно различать то стену, которую задевал плечом, то свод, под которым проходил. Зрачок расширяется в темноте и в конце концов видит в ней свет подобно тому, как душа вырастает в страданиях и познает в них бога.

Выбирать дорогу становилось все труднее. Направление сточных труб как бы отражает направление улиц, над ними расположенных. Париж того времени насчитывал две тысячи двести улиц. Попробуйте представить себе под ними темную чашу переплетенных ветвей, называемую клоакой. Существовавшая в те годы сеть водостоков, если вытянуть ее в длину, достигла бы одиннадцати миль. Мы уже говорили, что благодаря подземным работам последнего тридцатилетия теперь эта сеть – не менее шестидесяти миль длиной.

Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так. Под улицей Сен-Дени залегает древний каменный водосток времен Людовика XIII, который ведет прямо к каналу-коллектору, называемому Главной клоакой, с единственным поворотом направо, на уровне прежнего Двора чудес, и единственным разветвлением под улицей Сен-Мартен, где пересекаются крест-накрест четыре линии стоков. Что же касается трубы Малой Бродяжной, со входным отверстием возле кабачка «Коринф», то она никогда не сообщалась с подземельем улицы Сен-Дени, а впадала в клоаку Монмартра; там-то и очутился Жан Вальжан. Здесь было очень легко заблудиться: клоака Монмартра – одно из самых сложных переплетений старой сети. По счастью, Жан Вальжан прошел стороной водостоки рынков, напоминавшие своими очертаниями на плане целый лес перепутанных корабельных снастей; однако ему предстояло еще немало опасностей, немало уличных перекрестков, – ведь под землей те же улицы, – выроставших перед ним во мгле вопросительным знаком. Во-первых, налево лежала обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка, простирающая свою хаотическую путаницу стоков в виде букв Т и Z под Почтовым управлением и под ротондой Хлебного рынка до самой Сены, где она заканчивается в форме буквы Y. Во-вторых, направо – изогнутый туннель Часовой улицы с тремя тупиками, похожими на когти. В-третьих, опять-таки налево, – ответвление под улицей Майль, которое, почти сразу расходясь какой-то развилиной, спускаясь зигзагами, впадает в большое подземелье-отстойник под Лувром, изрезанное и разветвленное во всех направлениях. Наконец, за последним поворотом направо – глухой тупик улицы Постников, не считая мелких закоулков, то и дело попадающихся на пути к окружному каналу, который один только и мог привести его к выходу в какое-либо отдаленное и, стало быть, безопасное место.

Если бы Жан Вальжан имел хоть малейшее понятие обо всем этом, он сразу догадался бы, проведя рукой по стене, что он отнюдь не в подземной галерее улицы Сен-Дени. Вместо старого, тесаного камня, вместо древней архитектуры, сохранившей даже в клоаке горделивое величие, с полом и стенами крепчайшей продольной кладки из гранита, цементированного известковым раствором, ценой в восемьсот ливров за одну туазу, он нащупал бы современную дешевку, экономный строительный материал буржуа, короче говоря, «труху», то есть ноздреватый известняк на гидравлическом растворе, на бетонном основании, ценой всего двести франков за метр. Но Жан Вальжан ничего этого не знал. Он шел прямо вперед, с тревогой в душе, ничего не видя, ничего не зная, положившись на случай, иначе говоря, вверив свою судьбу провидению.

Мало-помалу им овладевал ужас. Нависший над ним мрак проникал ему в душу. Он брел наугад среди неведомого. Сеть клоаки вероломна, она полна головокружительных переплетений. Горе тому, кто попал в эту преисподнюю Парижа. Жану Вальжану приходилось отыскивать и даже изобретать дорогу, не видя ее. В этой неизвестности каждый шаг, на который он отваживался, мог стать его последним шагом. Как ему выбраться отсюда? Найдет ли он выход и успеет ли найти его вовремя? Позволит ли эта гигантская

подземная губка, вся в каменных ячейках, проникнуть в себя и пробиться наружу? Не подстерегает ли его во тьме какая-нибудь неожиданность, какое-нибудь непреодолимое препятствие? Неужели Мариусу грозит смерть от потери крови, а ему от голода? Неужели им обоим суждено погибнуть здесь, и от них останутся только два скелета где-нибудь в закоулке, среди вечной ночи? Кто знает! Он задавал себе эти вопросы и не находил ответа. Утроба Парижа – бездонная пропасть. Подобно древнему пророку, он находился во чреве чудовища.

И вдруг его поразила одна странность. Шагая напрямик, все вперед и вперед, он внезапно почувствовал, что больше не поднимается; течением ручья его било по ногам сзади, вместо того чтобы заливать носки его башмаков. Теперь водосток спускался под гору. Почему? Неужели он выйдет сейчас к берегам Сены? Это грозило большой опасностью, но возвращаться назад было еще опаснее. Он продолжал идти вперед.

Однако путь его вел совсем не к Сене. С двускатного бугра правобережного Парижа сточные воды сбрасываются по обоим его уклонам – в Сену и в Главную клоаку. Гребень этого бугра, служащего водоразделом, изгибается самым прихотливым образом. Высшая точка, откуда разбегаются водостоки, находится в клоаке Сент-Авуа, за улицей Мишель-ле-Конт, в клоаке Лувра, около бульваров, и в клоаке Монмартра, возле Центрального рынка. Эту высшую точку гребня и миновал Жан Вальжан. Он спускался теперь к окружному каналу; сам того не подозревая, он был на правильном пути.

Достигнув поворота, он всякий раз ощупывал углы, и если обнаруживал, что новый проход уже прежнего коридора, он не сворачивал туда, а продолжал идти прямо, справедливо полагая, что каждый узкий ход неминуемо заведет его в тупик и только отдалит от цели, то есть от выхода на свет. Таким образом, ему четыре раза удалось избежать западни, расставленной для него во тьме в виде четырех перечисленных нами лабиринтов.

И вдруг он почувствовал, что уже миновал кварталы Парижа, где все замерло от страха перед восстанием, где баррикады преградили уличное движение, и что он вступает под улицы обычного, живого Парижа. Над его головой раздавался немолчный гул, как бы отдаленные раскаты грома. Это катились колеса экипажей.

По его расчету, он шел уже около получаса, но даже и не думал об отдыхе; он только переменил руку, которой поддерживал Мариуса. Мрак все сгущался, но именно это и успокаивало его.

Внезапно прямо перед ним легла его тень. Она вырисовывалась на каменных плитах пола; слабый, едва различимый багровый отблеск, слегка окрасивший камень у него под ногами и своды над головой, дрожал справа и слева по осклизлым стенам туннеля. Он в изумлении обернулся.

Позади него, в конце коридора, на огромном, как ему казалось, расстоянии, пронизывая густую мглу, пылала зловещая звезда, точно устремленный на него глаз.

Это было полицейское око – мрачное светило подземных трущоб.

За этой звездой колыхались восемь или десять черных теней, длинных, зыбких, угрожающих.

Глава вторая.

Пояснение

Днем 6 июня в водостоках было приказано произвести облаву. Из опасения, как бы клоака не послужила убежищем для побежденных, префекту полиции Жиске поручили обыскать Париж подземный; пока генерал Бюжо очищал Париж наземный; эта двойная согласованная операция требовала двойной стратегии от государственной власти, представленной наверху войсками, внизу – полицией. Три отряда агентов и рабочих клоаки обследовали вдоль и

поперек подземную свалку Парижа, один – вдоль правого берега Сены, другой – вдоль левого, третий – в центральной части города.

Полицейских вооружили карабинами, дубинками, саблями и кинжалами.

Луч света, направленный в этот миг на Жана Вальжана, исходил из фонаря полицейского дозора, проверявшего правый берег.

Дозор только что обошел кривую галерею с тремя тупиками, расположенную под Часовой улицей. Пока они обшаривали с фонарем все закоулки этих тупиков, Жан Вальжан набрел на вход в галерею, обнаружил, что она гораздо уже главного коридора, и не свернул в нее. Он прошел мимо. На обратном пути из галереи под Часовой улицей полицейским почудился звук шагов, удалявшихся в сторону окружного канала Это и были шаги Жана Вальжана. Сержант, начальник дозора, поднял фонарь, и весь отряд начал всматриваться в туман, в направлении, откуда слышался шум.

Для Жана Вальжана это была невыразимо страшная минута.

По счастью, он хорошо видел фонарь, а фонарь освещал его плохо. Фонарь был светом, Жан Вальжан – тенью. Он был очень далеко, он сливался с окружающей мглой. Он прижался к стене и застыл на месте.

Впрочем, он не вполне отдавал себе отчет в том, что за тени движутся там, позади. От бессонницы, голода, волнения он был как в бреду. Ему мерещилось пламя и вокруг пламени какие то привидения. Что это было? Он не понимал.

Когда Жан Вальжан остановился, шум затих.

Дозорные прислушивались, но ничего не слышали, всматривались, но ничего не видели. Они стали совещаться.

В ту пору в водостоке Монмартра на этом месте находился так называемый «служебный перекресток», уничтоженный впоследствии из за небольшого озера: туда стекали потоки дождевой воды, скопившейся там во время сильных ливней. Весь отряд мог разместиться на этой площадке.

Жан Вальжан увидел, что призраки собрались в круг. Их головы, напоминавшие бульдожьи морды, придвинулись ближе друг к другу. Призраки, как видно, шептались.

Наконец совещание сторожевых псов закончилось, они решили, что ошиблись, что шум только почудился им, что там ни души и нет смысла идти по окружному каналу, – это будет напрасная трата времени, напротив, надо спешить в сторону Сен-Мерри, если их помощь понадобится, если вдастся выследить какого-нибудь «смутьяна», то именно в этом квартале. Время от времени партии прибывают новые подметки к изношенным бранным кличкам своих противников. В 1832 году слово «смутьян» заменило затертое уже слово «якобинец», а прозвище «демагог», тогда еще неупотребительное, превосходно сослужило службу впоследствии.

Сержант скомандовал свернуть налево, вниз к Сене. Если бы им пришло в голову разделить на две группы и пойти по двум направлениям, то Жан Вальжан был бы неминуемо схвачен. Его судьба висела на волоске. Однако вполне вероятно, что, предвидя возможность стычек и большую численность повстанцев, префектура полиции в своих инструкциях запретила дозорам разбиваться на группы. Итак, дозор пустился в путь, оставив Жана Вальжана у себя в тылу. Из всего происшедшего до Жана Вальжана дошло лишь то, что фонарь, круто повернув в сторону, вдруг померк.

Для очистки своей полицейской совести сержант перед уходом разрядил карабин в сторону, оставленную без проверки, то есть туда, где находился Жан Вальжан. Грохот выстрела многократным эхом раскатился по галереям казалось, забурчала вся эта необъятная утроба. Кусок штукатурки обвалился в ручей и расплескал воду в нескольких шагах от Жана Вальжана, он понял, что пуля ударила в свод над его головой. Мерные, неторопливые шаги еще некоторое время гулко раздавались на каменных плитах и, постепенно удаляясь, затихли, группа черных теней углубилась во тьму, мерцающий свет фонаря, колеблясь и

дрожа, отбрасывал на своды красноватый полукруг, который все уменьшался и наконец совсем погас. Снова наступила глубокая тишина, снова спустилась непроницаемая тьма, снова воцарилась слепая и глухая ночь. А Жан Вальжан долго еще стоял, прислонясь к стене, не смея пошевелиться, настороженный, с расширенными зрачками, глядя, как исчезал вдалеке этот патруль привидений.

Глава третья. Человек, которого выслеживают

Надо отдать справедливость полиции того времени: даже в самой сложной политической обстановке она неуклонно исполняла свои обязанности надзора и слежки. В ее глазах восстание вовсе не давало повода предоставить преступникам свободу действий и бросить общество на произвол судьбы только потому, что правительство находится в опасности. Повседневная работа полиции шла своим чередом наряду с особыми заданиями, не нарушая своего хода. В самый разгар развернувшихся политических событий, последствия которых трудно было предугадать, но которые могли привести к революции, полицейский агент, не отвлекаясь ни восстанием, ни баррикадами, продолжал вести слежку.

Нечто в этом роде и происходило 6 июня после полудня возле откоса набережной на правом берегу Сены, неподалеку от моста Инвалидов.

В наши дни там уже нет берегового откоса. Вид местности сильно изменился.

Два человека шли вдоль откоса, поодаль один от другого, как будто избегая и вместе с тем украдкой наблюдая друг за другом. Тот, кто шел впереди, старался скрыться, а идущий сзади старался нагнать его.

Это напоминало шахматную партию, которую игроки ведут молча и на далеком расстоянии.

Казалось, ни один из них не спешил: оба шли медленно, точно каждый опасался, что, заторопившись, вынудит другого прибавить шагу.

Можно было подумать, будто хищник преследует добычу, ловко скрывая свои намерения.

Но добыча не вдавалась в обман и держалась настороже.

Необходимое соотношение сил между загнанной кунницей и гончей собакой здесь было соблюдено. Тот, кто убегал, был тщедушен и жалок с виду, тот, кто преследовал, – высокий, здоровый мужчина, – был силен и, должно быть, жесток в схватке.

Первый, чувствуя себя слабее, очевидно, старался уйти от второго, но убегал в бессильной ярости; наблюдая за ним, вы могли бы заметить в его взгляде и мрачную злобу затравленного зверя, и угрозу, и страх.

Берег был безлюден: не попадалось ни прохожих, ни лодочников, ни грузчиков на пришвартованных к причалу баржах.

Обоих пешеходов можно было разглядеть как следует только с самой набережной, и всякому, кто следил бы за ними на таком расстоянии, первый показался бы обтрепанным, подозрительным оборванцем, испуганным и дрожащим от холода в дырявой блузе, а второй – почтенным должностным лицом в наглухо застегнутом форменном сюртуке.

Читатель, может быть, и узнал бы этих двух людей, если бы увидел их поближе.

Какова была цель второго?

По всей вероятности, одеть первого потеплее.

Когда человек в казенном мундире преследует человека в лохмотьях, обычно он стремится и его тоже облачить в казенную одежду. Весь вопрос в цвете. Быть одетым в синее – почетно, быть одетым в красное – позорно.

Существует пурпур общественного дна.

Именно от такой неприятности и от пурпура такого рода, вероятно, и стремился ускользнуть первый прохожий.

То, что второй позволял ему идти вперед и до сих пор не схватил, объяснялось, по всей видимости, надеждой выследить какое-нибудь важное свидание или накрыть целую шайку сообщников. Такая щекотливая работа и называется слежкой.

Эту догадку подтверждает то, что человек в застегнутом сюртуке, заметив с берега порожний экипаж, проезжавший наверху по набережной, подал знак извозчику, извозчик, очевидно, сразу сообразил, с кем имеет дело, круто повернул и поехал шагом по набережной, следом за двумя пешеходами. Подозрительный оборванец, шедший впереди, не заметил этого.

Фиакр катился под деревьями Елисейских полей. Над парашютом мелькали голова и плечи извозчика с кнутом в руке.

В секретном предписании полицейским агентам имеется следующий параграф: «Всегда иметь под рукой наемный экипаж на всякий случай».

Два человека, маневрируя каждый по всем правилам стратегии, приблизились к пологому скату набережной, по которому в те времена извозчики, ехавшие из Пасси, могли спускаться к реке и поить лошадей. Впоследствии этот удобный спуск был уничтожен ради симметрии, пусть лошадидохнут от жажды, зато пейзаж улаждает взоры.

Возможно, что человек в блузе собирался подняться вверх по скату и скрыться в Елисейских полях, где, правда, много деревьев, но зато немало и полицейских, и где преследователь мог рассчитывать на подмогу.

Набережная здесь отстоит совсем недалеко от знаменитого дома, перевезенного в 1824 году из Море в Париж полковником Браком, – так называемого дома Франциска I. А там и караульня рядом.

К большому удивлению преследователя, его поднадзорный и не подумал свернуть к откосу. Он по-прежнему шел вперед вдоль набережной.

Его положение явно становилось отчаянным.

Что ему оставалось делать? Только броситься в Сену.

Здесь он упустил последнюю возможность подняться на набережную: дальше не было ни спуска, ни лестницы. Совсем близко виднелся поворот, образуемый изгибом Сены возле Иенского моста, где берег, постепенно суживаясь, обращался в тоненькую полоску земли и терялся под водой. Там он неизбежно окажется зажатым со всех сторон: справа ему отрезает путь отвесная стена, слева и спереди – река, с тыла – представитель власти.

Правда, конец береговой косы загораживала от глаз куча щебня, шести или семи футов в высоту, оставшаяся от какого-то снесенного строения. Но неужели бедняга рассчитывал укрыться за кучей мусора, которую так легко обойти кругом? Такая попытка была бы ребячеством. Вряд ли он надеялся на это. Наивность преступников не простирается до таких пределов.

Груда щебня, образуя на берегу нечто вроде пригорка, тянулась высоким мысом до самой стены набережной.

Преследуемый достиг этого холмика и, обогнув его, скрылся из глаз преследователя.

Потеряв его из виду и думая, что его не замечают, преследователь решил отбросить всякое притворство и ускорил шаг. В одну минуту он добежал до кучи щебня и обошел ее кругом. Тут он в изумлении остановился. Человека, за которым он охотился, не оказалось.

Оборванец исчез бесследно.

Берег тянулся за грудой щебня не далее как на тридцать шагов, а затем уходил в воду, плескавшуюся о стену набережной.

Беглец не мог броситься в реку, не мог перелезть через стену незамеченным. Куда же он девался?

Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца береговой косы и остановился в раздумье, стиснув кулаки и внимательно осматриваясь кругом. Внезапно он хлопнул себя по лбу. В том месте, где кончалась береговая коса и начиналась вода, он вдруг заметил под каменным

сводом широкую и низкую железную решетку на трех массивных петлях, с тяжелым замком. Эта решетка, нечто вроде двери, пробитой в подножии стены набережной, выходила частью на реку, частью на берег. Из-под решетки вытекал мутный ручей. Ручей впадал в Сену. За толстыми ржавыми прутьями можно было различить что-то вроде темного сводчатого коридора.

Человек скрестил руки и устремил на решетку негодующий взгляд.

Ничего не добившись взглядом, он принялся толкать и трясти ее, но она держалась крепко.

Вполне возможно, что ее недавно отворяли, хотя казалось странным, чтобы такая ржавая решетка не издала никакого скрипа, во всяком случае, несомненно, что ее опять заперли.

Стало быть, тот, перед кем отворилась дверь, имел при себе не отмычку, а настоящий ключ.

Очевидность этого факта сразу предстала перед человеком, который пытался расшатать решетку. Он с возмущением воскликнул:

– Это уж чересчур! У него казенный ключ!

Затем он сразу успокоился и выразил нахлынувшие на него мысли в целом залпе односложных восклицаний, звучавших почти насмешливо:

– Так, так, так!

После этого, неизвестно на что рассчитывая-то ли увидеть, как человек выйдет обратно, то ли, как туда войдут другие, – он с терпением ищейки притаился в засаде за кучей щебня.

Извозчик, следивший за всеми его движениями, тоже остановился наверху, у парапета набережной. Предвидя долгую стоянку, кучер слез и подвязал под морды лошадей мешки с овсом, слегка намоченные снизу, – мешки, хорошо знакомые парижанам, которым, заметим в скобках, правительство частенько затыкает рот таким же способом. Редкие прохожие на Иенском мосту оборачивались на мгновение, чтобы взглянуть на эти две неподвижные фигуры – человека на берегу и фиакр на набережной.

Глава четвертая. Он тоже несет свой крест

Жан Вальжан снова пустился в путь и больше уже не останавливался.

Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Высота сводов то и дело менялась; в среднем она достигала приблизительно пяти футов шести дюймов и была рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан был принужден идти согнувшись, чтобы не ушибить Мариуса о камни свода; каждую минуту ему приходилось то нагибаться, то выпрямляться и все время ощупывать стену. Мокрые камни и скользкие плиты служили плохой точкой опоры как для ног, так и для рук. Он брел, спотыкаясь, в мерзких нечистотах города. Бледные отсветы дня, проникавшие сюда сквозь редкие отдушины, были такие тусклые, что солнечный луч казался лунным. Все остальное было туман, миазмы, темень, ночь. Жана Вальжана мучили голод и жажда, особенно жажда; между тем здесь, точно в море, его окружала вода, а пить было нельзя. Даже его сила, необычайная, как мы знаем, и почти не ослабевшая с годами благодаря строгой и воздержанной жизни, начинала сдавать. Им овладевала усталость, и по мере того как уходили силы, возрастала тяжесть его ноши. Тело Мариуса, быть может бездыханное, повисло на нем со всей тяжестью мертвого груза. Жан Вальжан старался держать его так, чтобы не давить ему на грудь и не стеснять дыхания. Он чувствовал, как у него под ногами проворно шмыгают крысы. Одна из них чуть не укусила его с перепугу. Изредка через входные отверстия сточных труб до него долетало дуновение свежего воздуха, и ему становилось легче.

Было, вероятно, часа три пополудни, когда он дошел до окружного канала.

Прежде всего Жана Вальжана удивил неожиданный простор. Он вдруг очутился в большой галерее, где мог вытянуть обе руки, не натыкаясь на стены, и где его голова не задевала

свода. Главный водосток действительно имеет восемь футов в ширину и семь футов в высоту.

В том месте, где в Главный водосток впадает водосток Монмартра, скрещиваются еще две подземные галереи: Провансальской улицы и Скотобойной. Всякий менее опытный человек растерялся бы здесь, на перекрестке четырех дорог. Жан Вальжан выбрал самый широкий путь, то есть окружной канал. Но тут снова возникал вопрос: спускаться вниз или подниматься в гору? Он подумал, что обстоятельства вынуждают его спешить и что теперь следует во что бы то ни стало дойти до Сены. Другими словами, спускаться вниз. Он повернул налево.

И хорошо сделал. Было бы заблуждением думать, будто окружной канал имеет два выхода, один на Берси, другой на Пасси, и будто, оправдывая свое название, он окружает подземный Париж на правом берегу реки. Главный водосток, представлявший собою, как мы помним, заключенный в трубу ручей Менильмонтан, если подниматься вверх по течению, приведет к тупику, то есть к самому своему истоку – роднику у подошвы холма Менильмонтан. Он не сообщается непосредственно с боковым каналом, который вбирает сточные воды Парижа, начиная с квартала Попенкур, и впадает в Сену через трубы Амло, несколько выше старого острова Лувье. Этот боковой канал, дополняющий канал-коллектор, отделен от него, как раз под улицей Менильмонтан, каменным валом, служащим водоразделом верховья и низовья. Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся бы во мраке на глухую стену. И это был бы конец.

В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер страстей господних, не задерживаясь у подземной развилины под перекрестком Бушра и следуя дальше коридором Сен-Луи, затем, свернув налево, проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьян, он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков, напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до выхода на Сену, возле Арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все разветвления и все отверстия громадного звездчатого коралла парижской клоаки. Между тем, повторяем, он совершенно не разбирался в этой ужасной сети дорог, по которой плутал, и если бы спросить его, где он находится, он ответил бы: «В недрах ночи».

Внутреннее чутье не обмануло его. Спуск действительно означал возможность спасения. Справа от него остались два коридора, которые расходятся кривыми когтями под улицами Лафит и Сен-Жорж, а также длинный раздвоенный канал под Шоссе д'Антен.

Миновав небольшой боковой проход – вероятно, ответвление под улицей Мадлен, – он остановился передохнуть. Он страшно устал. Сквозь довольно широкую отдушину, – по-видимому, смотровой колодец улицы Анжу, – пробивался дневной свет. Жан Вальжан нежным, осторожным движением, словно брат – раненого брата, опустил Мариуса на приступок у стены. Окровавленное лицо Мариуса, озаренное бледным светом, проникавшим через отдушину, казалось лицом мертвеца на дне могилы. Глаза его были закрыты, волосы прилипли к вискам красными склеенными прядями, безжизненные, застывшие руки висели, как плети, в углах губ запеклась кровь. В узле галстука виднелся сгусток крови, складки рубашки запали в открытые раны, сукно сюртука бередило свежие порезы на теле.

Осторожно раздвинув кончиками пальцев края одежды, Жан Вальжан приложил руку к его груди; сердце еще билось. Жан Вальжан разорвал свою рубашку, постарался как можно лучше перевязать раны и остановил кровотечение; затем, склонившись в полусвете над бесчувственным и почти бездыханным Мариусом, он устремил на него взгляд, полный смертельной ненависти.

Перевязывая Мариуса, он нашел в его карманах две вещи: забытый со вчерашнего дня кусок хлеба и записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой странице он нашел написанные почерком Мариуса три строчки, о которых помнит читатель:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело деду моему, г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, э 6, в Маре».

Жан Вальжан прочел эти три строчки при свете, проникавшем из отдушины, на миг замер, потом задумчиво проговорил вполголоса: «Улица Сестер страстей господних, э 6, г-н Жильнорман». Потом он вложил записную книжку обратно в карман Мариуса. Он поел, и силы возвратились к нему; снова взвалив Мариуса на спину, он заботливо уложил его голову на своем правом плече и стал спускаться по водостоку.

Главный водосток, проложенный в лощине по руслу Менильмонтана, простирается в длину почти на две мили. Дно его на значительном протяжении вымощено камнем.

У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю его подземное странствие, – он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой район города он пересекал или какое расстояние преодолел. Лишь по световым пятнам, которые встречались время от времени на его пути и становились все бледнее, он мог судить, что солнце уже не освещает мостовой и что день склоняется к вечеру. А по шуму колес над головой, который из непрерывного перешел в прерывистый и, наконец, почти затих, он заключил, что уже вышел за пределы центральных кварталов и приближается к пустынным окраинам, возле внешних бульваров или отдаленной набережной. Где меньше домов и улиц, там меньше и отдушин в клоаке. Вокруг Жана Вальжана сгушалась тьма. Это не мешало ему идти вперед, пробиваясь ощупью во мраке.

Внезапно его охватил ужас.

Глава пятая.

Песок коварен, как женщина: чем он приманчивей, тем опасней

Он почувствовал, что входит в воду и что под ногами его уже не каменные плиты, а вязкий ил.

На побережье Бретани или Шотландии случается иногда, что какой-нибудь путник или рыбак, отойдя во время отлива по песчаной отмели далеко от берега, вдруг замечает, что уже несколько минут ступает с трудом. Земля под его ногами словно превращается в смолу, подошвы прилипают к ней; это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, но при каждом шаге, едва переставишь ногу, след заполняется водой. А между тем пейзаж не меняется: бесконечно тянется берег, он ровен, однообразен, песок всюду кажется одинаковым, ничто не отличает твердой почвы от зыбкой, буйный рой водяных блох по-прежнему весело скачет у ног прохожего. Человек продолжает свой путь, идет вперед, направляется к суше, старается держаться ближе к береговому откосу. Он ничуть не встревожен. О чем ему беспокоиться? Только с каждым шагом тяжесть в ногах почему-то возрастает. Вдруг он чувствует, что вязнет. Он увяз на два или три дюйма. Положительно, он сбился с дороги, он останавливается, чтобы определить направление. И тут он смотрит себе на ноги. Ног не видно. Их покрывает песок. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться, поворачивает назад – и увязает еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток, он вырывается и бросается влево, песок доходит до икр; он кидается вправо, песок достигает колен. И тут, к невыразимому своему ужасу, он понимает, что попал в зыбучие пески, что под его ногами та страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он швыряет прочь свою ношу, если она у него есть, он освобождается от груза, словно корабль, терпящий бедствие, поздно: он провалился выше колен.

Он зовет на помощь, размахивает шапкой или платком, песок засасывает его все глубже и глубже, если берег безлюден, если жилье далеко, если песчаная отмель пользуется дурной

славой, если не сыщется поблизости какого-нибудь смельчака – кончено его засосал песок. Он обречен на ужасную медленную смерть, неминуемую, беспощадную, которую нельзя ни отсрочить, ни ускорить, которая длится часами, нескончаемо долго, она настигает вас здоровым, свободным, полным сил, хватает вас за ноги и при каждом вашем крике, при каждой попытке вырваться тащит все глубже, словно желая наказать за сопротивление еще более мучительным объятием, она медленно увлекает человека в землю, дав ему время налюбоваться горизонтом, деревьями, зелеными полями, дымом хижин в долине, парусами кораблей в море, порхающими и поющими кругом птицами, солнцем, небесами. Зыбучие пески – это могила, смытая морским приливом и поднимающаяся из недр земли за живой добычей. Каждый миг – безжалостный могильщик. Несчастный пытается сесть, лечь, ползти, но всякое движение хоронит его все глубже, он выпрямляется – и погружается еще больше, он чувствует, что тонет, он кричит, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, впадает в отчаянье. Вот уже песок ему по пояс, на поверхности только грудь и голова. Он простирает руки, испускает яростные вопли, вонзает ногти в песок, пытаясь ухватиться за сыпучий прах, опирается на локти, чтобы вырваться из этого мягкого футляра, иступленно рыдает; песок поднимается все выше. Песок доходит до плеч, до подбородка; теперь видно только лицо. Рот еще кричит, песок заполняет рот; настает молчание. Глаза еще смотрят, песок засыпает глаза, наступает мрак. Постепенно исчезает лоб, только пряди волос развеваются над песком: высывается рука, пробивая песчаную гладь, судорожно двигается, сжимается и пропадает. Зловещее исчезновение человека...

Иногда пески засасывают всадника вместе с лошастью, иногда возницу вместе с повозкой; трясина поглощает все. Потонуть в ней совсем не то, что потонуть в море. Здесь затопляет человека земля. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она простирается перед вами, точно равнина, и разверзается под ногами, точно вода. Пучине свойственно подобное коварство.

Несчастный случай, всегда возможный на некоторых морских побережьях, лет тридцать назад мог произойти и в парижской клоаке.

До 1833 года, когда наконец были начаты важные усовершенствования, в подземной сточной сети Парижа нередко происходили внезапные обвалы.

Кое-где в подпочву, особенно в рыхлые породы, просачивалась вода; тогда настил, будь он мощный камнем, как в старинных водостоках, или бетонный на известковом растворе, как в новых галереях, потеряв опору, начинал прогибаться. Прогиб такого настила вел к трещине, а трещина – к обвалу. Настил обрушивался на значительном протяжении. Эта расселина, эта щель, открывавшая пучину грязи, на профессиональном языке называлась провалом, а самая грязь – пlyingуном. Что такое пlyingуны? Это зыбучие пески морского побережья, оказавшиеся под землей; это песчаный грунт горы Сен-Мишель, перенесенный в клоаку. Разжиженная почва кажется расплавленной; в жидкой среде все ее частицы находятся во взвешенном состоянии; это уже не земля и не вода. Иногда топь достигает значительной глубины. Нет ничего опаснее встречи с нею. Если там больше воды, вам грозит мгновенная смерть – вас затопит; если больше земли, вам грозит медленная смерть – вас засосет.

Представляете ли вы себе такую смерть? Она страшна на морском берегу, какова же она в клоаке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, чистого горизонта, шума волн, вольных облаков, изливающих животворный дождь, вместо белеющих вдалеке лодок, вместо не угасающей до последней минуты надежды, надежды на случайного прохожего, на возможное спасение, взамен всего этого – глухая тишина, слепой мрак, черные своды, готовая зияющая могила, смерть в трясине под толщей земли! Медленная гибель от недостатка воздуха среди мерзких отбросов, каменный мешок, где в грязной жиже раскрывает когти удушье и хватает за горло, предсмертный хрип среди зловония, тина вместо песка, сероводород вместо ветра, нечистоты вместо океана! Звать на помощь,

скрипеть зубами, корчиться, биться и погибать, когда над самой вашей головой шумит огромный город и ничего о вас не знает!

Невыразимо страшно так умереть! Смерть искупает иногда свою жестокость неким грозным величием. На костре или при кораблекрушении можно проявить доблесть, в пламени или в морской пене сохранить достоинство: такая гибель преображает человека. Здесь же этого нет. Тут смерть нечистоплотна. Здесь испустить дух унизительно. Даже предсмертные видения, проносящиеся мимо, и те внушают отвращение. Грязь – синоним позора. Тут все ничтожно, гнусно, презренно. Утонуть в бочке с мальвазией, подобно Кларенсу, – еще куда ни шло; но захлебнуться в выгребной яме, как д'Эскубло, – ужасно. Барахтаться там омерзительно: там бьются в предсмертных судорогах, увязая в грязи. Там такой мрак, что можно счесть его адом, такая тина, что можно принять ее за болото; умирающий не знает, станет он бесплотным призраком или обратится в жабу.

Могила всюду мрачна; здесь же она безобразна.

Глубина плывунов изменялась так же, как их протяженность и плотность, в зависимости от состояния подпочвы. Иногда провал достигал глубины трех-четырех футов, порою – восьми или десяти, иногда же в нем не могли найти дна. В одном месте ил казался почти твердым, в другом – почти жидким. В плавуне Люньер человек тонул бы в течение целого дня, тогда как топь Фелипо поглотила бы его за пять минут. Трясина выдерживает человека дольше или меньше, в зависимости от своей плотности. Ребенок может спастись там, где провалится взрослый. Первое условие спасения – это избавиться от всякого груза. Сбросить с себя мешок с инструментами, или корзинку, или творило с известкой – вот с чего начинал рабочий в клоаке, когда чувствовал, что почва под ним начинает оседать.

Провал могли вызвать разные причины: рыхлость грунта, случайный оползень на недоступной исследованию глубине, бурные летние ливни, непрерывные зимние осадки, осенние морозящие дожди. Иногда тяжесть окружающих домов, построенных на мергелевой или песчаной почве, прогибала своды подземных галерей и заставляла их покоситься, а порой, не выдержав давления, трескался и раскалывался фундамент. Лет сто назад осевшее здание Пантеона завалило часть подземелий в горе Сент-Женевьев. Когда под тяжестью домов происходил обвал в клоаке, это разрушение иной раз оставляло след наверху в виде рассевшихся булыжников мостовой, ощерившихся, точно зубья пилы; такая щель вилась по всей линии треснувшего свода, и тогда, видя повреждение, можно было принять срочные меры. Нередко, однако, внутреннее повреждение не обозначалось на поверхности никакими рубцами. В таких случаях несдобровать было рабочим клоаки! Войдя без предосторожности в обвалившийся водосток, они легко могли погибнуть. В старинных реестрах упоминается немало рабочих, погребенных таким образом в плывунах. Там перечислено много имен; среди прочих имя некоего Блеза Путрена, провалившегося при обвале водостока под улицей Заговенья; Блез Путрен приходился братом последнему могильщику кладбища, так называемого Костехранилища Инносан, Никола Путрену, который работал там вплоть до 1785 года, когда это кладбище перестало существовать.

В те же реестры попал и упомянутый нами юный, прелестный виконт д'Эскубло, один из героев осады Лериды, которые шли на приступ в шелковых чулках, с оркестром скрипачей во главе. Застигнутый ночью у своей кухни, герцогини де Сурди, д'Эскубло утонул в трясине Ботрельи, куда он укрылся, чтобы спастись от герцога. Когда г-же де Сурди сообщили о его гибели, она потребовала флакон с солями и так долго нюхала его, что забыла о слезах. В подобных случаях никакая любовь не устоит, клоака потушит ее. Геро откажется обмыть труп Леандра, Фисба заткнет нос при виде Пирама и скажет: «Фи!»

Глава шестая.

Провал

Перед Жаном Вальжаном был провал.

Подобного рода разрушения в то время часто происходили в подпочве Елисейских полей, где грунт неудобен для гидравлических работ и недостаточно прочен для подземных сооружений из-за необычайной плавучести. Этот грунт превосходит плавучестью даже рыхлые пески квартала Сен-Жорж, где с ними удалось справиться лишь при помощи бетонного фундамента, даже пропитанные газом глинистые пласты квартала Мучеников, настолько разжиженные, что подземную галерею под улицей Мучеников пришлось заключить в чугунную трубу. Когда в 1836 году под предместьем Сент-Оноре разрушили для перестройки древний каменный водосток, куда сейчас углубился Жан Вальжан, то зыбучие пески – основная подпочва Елисейских полей до самой Сены – оказались столь серьезным препятствием, что работы затянулись почти на полгода, к величайшему огорчению прибрежных жителей, в особенности владельцев особняков и роскошных карет. Земляные работы были там не только трудными: они были опасными. Правда, надо принять во внимание, что в том году дожди лили непрерывно четыре с половиной месяца и Сена три раза выступала из берегов.

Провал, который встретился на пути Жана Вальжана, был вызван вчерашним ливнем. Из-за оседания каменного настила, плохо укрепленного на песчаной подпочве, там образовалось большое скопление дождевых вод. Вода просочилась под настил, после чего произошел обвал. Прогнувшийся фундамент опустился в трясину. На каком протяжении? Установить невозможно. Мрак в этом месте был непрогляднее, чем где бы то ни было. Это был омут грязи в пещере ночи.

Жан Вальжан почувствовал, что мостовая ускользает у него из-под ног. Он ступил в яму. На поверхности была вода, на дне – тина. Все равно надо было пройти. Возвращаться назад невыносимо. Мариус, казалось, был при последнем издыхании, и сам он изнемогал. Да и куда ему идти? Жан Вальжан двинулся вперед. К тому же на первых порах яма показалась ему неглубокой. Но чем дальше он продвигался, тем глубже увязали ноги. Вскоре тина дошла ему до икр, а вода выше колен. Он шагал, поднимая Мариуса обеими руками как можно выше над водой. Тина доходила ему теперь уже до колен, а вода до пояса. Он уже не мог вернуться назад. Его затягивало все глубже и глубже. Ил, достаточно плотный, чтобы выдержать тяжесть одного человека, не мог, очевидно, выдержать двоих. Мариусу и Жану Вальжану удалось бы выбраться только поодиночке. Но Жан Вальжан продолжал идти вперед, неся на себе умирающего, а может быть, – кто знает? – мертвеца.

Вода доходила ему до подмышек, он чувствовал, что тонет; он – едва-едва передвигал ноги в этой глубокой тине. Толща грязи, служившая опорой, была в то же время и препятствием. Он по-прежнему приподнимал Мариуса над поверхностью и с нечеловеческим напряжением сил двигался вперед, погружаясь все глубже. Над водой оставалась только голова и две руки, державшие Мариуса. Где-то на старинной картине всемирного потопа изображена мать, которая вот так поднимает над головой своего ребенка.

Он погрузился еще глубже, он запрокинул голову, чтобы не захлебнуться, тот, кто увидел бы это лицо во тьме, принял бы его за маску, всплывшую над водой. Жан Вальжан смутно различал над собой свесившуюся голову и посинелое лицо Мариуса. Он сделал последнее отчаянное усилие и шагнул вперед; вдруг нога его наткнулась на что-то твердое, нашла точку опоры. Еще миг, и было бы поздно!

Он выпрямился, в каком-то исступлении рванулся вперед и словно прирос к этой точке опоры. Она показалась ему первой ступенькой лестницы, ведущей к жизни.

Опора, обретенная им в трясине в последний предсмертный миг, оказалась началом каменного настила, который не обрушился, а только осел и прогнулся под водой, подобно доске. Хорошо выложенный настил в таких случаях выгибается дугой и держится прочно. Эта часть мощеного дна водостока, наполовину затопленная, но устойчивая, представляла

собою своего рода лестницу, и, попав на эту лестницу, человек был спасен. Жан Вальжан поднялся по наклонной плоскости и достиг другого края провала.

Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Приняв это за указание свыше, он так и остался коленопреклоненным, от всей души вознося безмолвную молитву богу.

Потом он встал, весь дрожа, заоченев от холода, задыхаясь от смрада, сгибаясь под тяжестью раненого, которого тащил на себе, с него струились потоки грязи, но душа была полна неизъяснимым светом.

Глава седьмая.

Порою терпят крушение там, где надеются пристать к берегу

И он снова пустился в путь.

Но, если в трясине он не лишился жизни, то, казалось, лишился там всех своих сил.

Напряжение последних минут доконало его. Усталость дошла до такого предела, что через каждые три-четыре шага он принужден был делать передышку и прислоняться к стене.

Однажды, когда ему пришлось присесть на выступ у стены, чтобы переложить Мариуса поудобнее, он почувствовал, что не может подняться. Но если телесные его силы иссякли, то воля не была сломлена. И он встал.

Он пошел вперед с отчаянием, почти бегом, сделал так шагов сто, не поднимая головы, не переводя духа, и вдруг стукнулся о стену. Он достиг угла, где водосток сворачивает в сторону, и так как он шел с низко опущенной головой, то на повороте наткнулся на стену. Он поднял глаза и вдруг, в конце подземелья, где-то впереди, далеко-далеко – увидел свет. На этот раз свет не казался угрожающим, это был приветливый белый свет. Дневной свет.

Жан Вальжан видел впереди дверь на волю.

Если бы среди адского пекла душа грешника увидела вдруг выход из геенны огненной, она испытала бы то же, что испытал Жан Вальжан. В безумном порыве, на своих искалеченных, обгорелых крыльях она устремилась бы к лучезарным вратам. Жан Вальжан уже не чувствовал усталости, не ощущал тяжести Мариуса, стальные мышцы его снова напряглись. Он уже не шел, а бежал. И все яснее и яснее впереди обозначался просвет. Это была полукруглая арка, расположенная ниже постепенно опускавшегося свода и более узкая, чем галерея, суживавшаяся по мере того, как понижался свод. Конец туннеля напоминал собою внутренность воронки, с узким, неудобным выходом, вроде калитки смиренного дома, подходящей для тюрьмы, но никак не для клоаки; впоследствии эта несообразность была исправлена.

Жан Вальжан подошел к отверстию.

Здесь он остановился.

Это действительно был выход, но выйти было невозможно.

Арка была забрана толстой решеткой, а на решетке, которая, по всей видимости, редко поворачивалась на проржавленных петлях и плотно прилегала к каменному наличнику, висел массивный замок, красный от ржавчины и похожий на громадный кирпич. Была видна замочная скважина и тяжелый замочный язык, глубоко задвинутый в железную скобу. Замок, по-видимому, был заперт на два поворота и казался крепким тюремным замком, на какие не скупился в те времена старый Париж.

По ту сторону решетки – свежий воздух, река, дневной свет, береговая коса, узкая, но не настолько, чтобы нельзя было пройти по ней, отдаленные набережные Парижа – этой бездны, где так легко скрыться, широкий горизонт, свобода. Направо, вниз по реке, виднелся Иенский мост, налево, вверх по течению, – мост Инвалидов – самое подходящее место, чтобы дожидаться темноты и незаметно ускользнуть. Это был один из самых безлюдных уголков Парижа, набережная против Большого Камня. Сквозь железные прутья решетки влетали и вылетали мухи.

Было, вероятно, около половины девятого вечера. Начинало смеркаться.

Жан Вальжан положил Мариуса у стены, на сухую часть каменного пола, и, подойдя к решетке, судорожно впился в прутья обеими руками; толчок был бешеный, результата никакого. Решетка не дрогнула. Жан Вальжан рванул каждый прут по очереди, надеясь, что удастся выломать наименее прочный и, орудуя им как рычагом, приподнять дверь или сбить замок. Ни один прут не подался. Даже у тигра зубы в деснах не сидят так прочно. Ни рычага, ничего тяжелого под рукой. Препятствие было непреодолимо. Отворить дверь невозможно. Неужели их ждал тут конец? Что делать? Как быть? Вернуться назад, начать сызнова страшное путешествие, уже раз им проделанное, он был не в силах. К тому же, как снова перебраться через топь, откуда они выбрались чудом? Да и помимо топи, разве не было там полицейского патруля, от которого, конечно, не удалось бы скрыться во второй раз? Куда же идти? Какое направление избрать? Спускаться по уклону вовсе не значило дойти до цели. Даже если найдется другой выход, он тоже окажется замурованным или загороженным решеткой. Очевидно, все выходы запирались таким образом. Решетка, через которую они проникли, лишь случайно оказалась неисправной, остальные колодцы клоаки были надежно закрыты. Они спаслись лишь для того, чтобы попасть в темницу.

Это был конец. Все, что совершил Жан Вальжан, оказалось бесполезным. Силы иссякли, надежды рухнули.

Оба запутались в необъятной темной паутине смерти, и Жан Вальжан чувствовал, как, раскачивая черные нити, ползет к ним во мраке чудовищный паук.

Он повернулся спиной к решетке и опустился, вернее, рухнул, на каменные плиты, возле все еще неподвижного Мариуса; голова его склонилась к коленям. Выхода нет! Это была последняя капля в чаше отчаяния.

О чем думал Жан Вальжан в смертельной тоске? Не о себе и не о Мариусе. Он думал о Козетте.

Глава восьмая.

Лоскут от разорванного сюртука

Вдруг чья-то рука, тронув его за плечо, вывела из забытья, и чей-то голос проговорил шепотом:

– Добычу пополам!

Что это? Здесь кто-то есть. Ничто так не напоминает бреда, как отчаяние. Жан Вальжан подумал, что бредит. Он не слышал шагов. Что же это такое? Он поднял глаза.

Перед ним стоял человек.

Человек был одет в блузу; он стоял босиком, держа башмаки в левой руке; очевидно, он снял их, чтобы неслышно подкрасться к Жану Вальжану.

Как ни неожиданна была встреча, Жан Вальжан не сомневался ни минуты; он сразу узнал человека. Это был Тенардье.

Жан Вальжан привык к опасностям и умел быстро отражать внезапное нападение; даже захваченный врасплох, он сразу овладел собой. Притом, его положение не могло стать хуже, чем было: отчаяние, достигшее крайних пределов, уже ничем нельзя усугубить, и даже сам Тенардье неспособен был сгустить мрак этой ночи.

С минуту оба выжидали.

Приложив правую ладонь козырьком ко лбу, Тенардье нахмурил брови и прищурился, слегка сжав губы, стараясь хорошенько разглядеть незнакомца. Ему это не удалось. Жан Вальжан, как мы уже сказали, сидел спиной к свету и вдобавок был так обезображен, так залит кровью и запачкан грязью, что даже в яркий день его невозможно было бы узнать. Напротив, освещенный спереди, со стороны решетки, белесоватым, но, при всей его мертвенности, отчетливым светом подземелья, Тенардье, согласно избитому, но меткому выражению,

«сразу бросился в глаза» Жану Вальжану. Этого неравенства условий оказалось достаточно, чтобы Жан Вальжан получил некоторое преимущество в той таинственной дуэли, какая должна была завязаться между двумя людьми в разных положениях.

Жан Вальжан выступал на поединке с закрытым лицом, а Тенардьё – без маски.

Жан Вальжан сразу понял, что Тенардьё не узнал его.

Несколько мгновений они разглядывали друг друга в полусвете, как бы примеряясь один к другому, Первым нарушил молчание Тенардьё:

– Как ты думаешь выбраться отсюда?

Жан Вальжан не ответил.

Тенардьё продолжал:

– Отмычка здесь не поможет. А выйти тебе отсюда надо.

– Это верно, – сказал Жан Вальжан.

– Так вот, добычу пополам.

– Что ты хочешь сказать?

– Ты пришил человека. Дело твоё. Но ключ-то у меня.

Тенардьё указал пальцем на Мариуса.

– Я тебя не знаю, – продолжал он, – но хочу тебе помочь. Ты, я вижу, свой парень.

Жан Вальжан начал догадываться: Тенардьё принимал его за убийцу.

Тенардьё заговорил снова:

– Слушай, приятель. Коли ты прикончил молодца, так уж, верно, обшарил его карманы.

Давай мне половину. А я отомкну тебе дверь.

Вытащив наполовину из-под дырявой блузы тяжелый ключ, он добавил:

– Хочешь поглядеть, каков из себя ключ от воли? Вот он, полюбуйся.

Жан Вальжан был до такой степени ошарашен, что не верил собственным глазам. Неужели само провидение явилось ему в столь отвратительном обличье, неужели светлый ангел вырос из-под земли под видом Тенардьё?

Тенардьё засунул руку за пазуху, вытащил из объемистого внутреннего кармана веревку и протянул Жану Вальжану.

– Держи-ка, – сказал он, – вот тебе еще веревка в придачу.

– Зачем мне веревка?

– Надо бы еще и камень, да их много снаружи. Там целая куча щебня.

– Зачем мне камень?

– Вот болван! Придется же бросить в реку эту падаль, стало быть, нужны и веревка и камень.

А то всплывет наверх.

Жан Вальжан взял веревку. В иные минуты человек машинально соглашается на все.

Тенардьё прищелкнул пальцами, как будто его поразила внезапная мысль:

– Скажи-ка, приятель, как это ты ухитрился выбраться из трясины? Я не мог на это решиться... Фу, как от тебя воняет!

Помолчав, он заговорил снова:

– Я задаю тебе вопросы, ты не отвечаешь – дело твоё! Готовишься к допросу у следователя?

Поганая минутка! Конечно, коли вовсе не говорить, не рискуешь проговориться. А все-таки, хоть я тебя не вижу и по имени не знаю, мне все ясно – кто ты и чего тебе надо. Видали мы таких. Ты легонько подшиб этого молодца, а теперь хочешь его сплавить. Тебе нужна река, – чтобы концы в воду. Вот я и помогу тебе выпутаться. Выручить славного малого из беды – это по мне.

Хваля Жана Вальжана за молчание, он тем не менее явно старался вызвать его на разговор.

Он хватил его по плечу, пытаясь разглядеть лицо сбоку, и воскликнул, не особенно, впрочем, повышая голос:

– Кстати, насчет трясины. Экий болван! Почему ты не сбросил его туда?

Жан Вальжан хранил молчание.

Тенардьё, жестом положительного, солидного человека подтянув к самому кадыку тряпку, заменявшую ему галстук, продолжал:

– А, пожалуй, ты поступил неглупо. Завтра рабочие пришли бы затыкать дыру и уж, верно, нашли бы там этого подкидыша. А тогда шаг за шагом, потихоньку-полегоньку напали бы на твой след и добрались до тебя самого. Ага, скажут, кто-то ходил по клоаке! Кто такой?

Откуда он вышел? Не видал ли кто, когда он выходил? Легавым ума не занимать стать.

Водосток – доносчик, непременно выдаст. Ведь такая находка тут – редкость: в клоаку мало кто заходит по делу, а река – для всех. Река – что могила. Ну, пускай через месяц выудят утопленника из сеток Сен-Клу. А на черта он годится? Падашь, и больше ничего. Кто убил человека? Париж. Суд даже и следствия не начнет. Ты ловкий пройдоха.

Чем больше болтал Тенардьё, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тенардьё снова тряхнул его за плечо.

– А теперь давай по рукам. Поделится. Я показал тебе ключ, покажи свои деньги.

Вид у Тенардьё был беспокойный, дикий, недоверчивый, угрожающий и вместе с тем дружелюбный.

Странное дело, в повадках Тенардьё чувствовалось что-то неестественное, ему словно было не по себе; хоть он и не напускал на себя таинственности, однако говорил тихо и время от времени, приложив палец к губам, шептал: «Тсс!» Трудно было угадать почему. Кроме них двоих, тут никого не было. Жану Вальжану пришло в голову, что где-нибудь неподалеку, в закоулке, скрываются другие бродяги и у Тенардьё нет особой охоты делиться с ними добычей.

Тенардьё опять заговорил:

– Давай кончать. Сколько ты наскреб в ширманах у этого разини?

Жан Вальжан порылся у себя в карманах.

Как мы помним, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. В тяжелой, полной опасностей жизни, на которую он был обречен, это стало для него законом. На сей раз, однако, он был застигнут врасплох. Накануне вечером, находясь в подавленном, мрачном состоянии, он забыл, переодеваясь в мундир национальной гвардии, захватить с собой бумажник. Только в жилетном кармане у него нашлось несколько монет. Он вывернул пропитанные грязью карманы и выложил на выступ стены один золотой, две пятифранковых монеты и пять или шесть медяков по два су.

Тенардьё выпятил нижнюю губу, выразительно покрутив головой.

– Да ты же его придушил задаром! – сказал он. С полной бесцеремонностью он принялся обшаривать карманы Жана Вальжана и карманы Мариуса. Жан Вальжан не мешал ему, стараясь, однако, не поворачиваться лицом к свету. Ощупывая одежду Мариуса, Тенардьё, с ловкостью опытного карманника, ухитрился оторвать лоскут от его сюртука и незаметно спрятать за пазуху, вероятно рассчитывая, что этот кусок материи может когда-нибудь ему пригодиться, чтобы опознать убитого или выследить убийцу. Но, кроме упомянутых тридцати франков, он не нашел ничего.

– Что верно, то верно, – пробормотал он, – один на другом верхом, и у обоих ни шиша. И, позабыв свое условие «добычу пополам», забрал все.

Глядя на медяки, он было заколебался, но, подумав, тоже сгреб их в ладонь, ворча:

– Все равно! Можно сказать, без пользы пришил человека.

После этого он опять вытащил из-под блузы ключ.

– А теперь, приятель, выходи. Здесь, как на ярмарке, плату берут при выходе. Заплатил – убирайся вон.

Может ли быть, чтобы, выручив незнакомца при помощи ключа и выпустив на волю вместо себя другого, он руководился чистым и бескорыстным намерением спасти убийцу? В этом мы позволим себе усомниться.

Тенардые помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, затем на цыпочках подкрался к решетке и, подав Жану Вальжану знак следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и застыл на мгновение, как бы выжидая; наконец, осмотревшись по сторонам, вложил ключ в замок. Язычок замка скользнул в сторону, и дверь отворилась. Не было слышно ни скрипа, ни стука. Все произошло в полной тишине. Было ясно, что решетка и дверные петли заботливо смазывались маслом и отворялись гораздо чаще, чем можно было подумать. Эта тишина казалась зловещей; за ней чудились тайные появления и исчезновения, молчаливый приход и уход людей ночного промысла, волчий неслышный шаг преступления. Клоака, очевидно, укрывала какую-то таинственную шайку. Безмолвная решетка была их сообщницей.

Тенардые приотворил дверцу ровно на столько, чтобы пропустить Жана Вальжана, запер решетку, дважды повернул ключ в замке и скрылся во мгле. Будто прошел на бархатных лапах тигр. Минуту спустя это провидение в отвратительном обличье сгнуло среди непроницаемой тьмы.

Жан Вальжан очутился на воле.

Глава девятая.

Человек, знающий толк в таких делах, принимает Мариуса за мертвеца

Жан Вальжан опустил Мариуса на берег.

Они были на воле!

Миазмы, темнота, ужас остались позади. Он свободно дышал здоровым, чистым, целебным воздухом, который хлынул на него живительным потоком. Кругом стояла тишина, отрадная тишина ясного безоблачного вечера. Сгущались сумерки, надвигалась ночь, великая избавительница, верная подруга всем, кому нужен покров мрака, чтобы отогнать мучительную тревогу. С неба нисходило бесконечное успокоение. Легкий плеск реки у ног напоминал звук поцелуя. С высоких вязов Елисейских полей доносились диалоги птичьих семейств, перекликавшихся перед сном. Кое-где на светло-голубом небосклоне выступили звезды; бледные, словно в грезах, они мерцали в беспредельной глубине едва заметными искорками. Вечер изливал на Жана Вальжана все очарование бесконечности.

Стоял тот неуловимый и дивный час, который нельзя назвать ни днем, ни ночью. Было уже достаточно темно, чтобы потеряться на расстоянии, и еще достаточно светло, чтобы узнать друг друга вблизи.

Жан Вальжан на несколько секунд поддался неотразимому обаянию этого ласкового и торжественного покоя; бывают минуты забытья, когда страдания и тревоги перестают терзать несчастного; мысль затуманивается, благодатный мир, словно ночь, обволакивает мечтателя, и душа в лучистых сумерках, подобно небу, тоже озаряется звездами. Жан Вальжан невольно отдался созерцанию этой необъятной светящейся мглы над головой, задумавшись, он погрузился в торжественную тишину вечного неба, словно в очистительную купель самозабвения и молитвы. Потом, спохватившись, словно вспомнив о долге, он нагнулся над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, брызнул ему несколько капель в лицо. Веки Мариуса не разомкнулись, но полуоткрытый рот еще дышал.

Жан Вальжан собирался зачерпнуть еще воды, но вдруг почувствовал какое-то неясное беспокойство, — так бывает, когда кто-то не замеченный вами стоит у вас за спиной.

Нам уже приходилось прежде описывать это ощущение, знакомое всякому человеку.

Он обернулся.

Как и в прошлый раз, кто-то действительно был за его спиной.

Человек высокого роста, в длинном сюртуке, скрестив руки и зажав в правом кулаке дубинку со свинцовым набалдашником, стоял в нескольких шагах позади Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом.

Сгустившийся сумрак придавал ему облик привидения. Человека суеверного испугала бы темнота, человека разумного – дубинка.

Жан Вальжан узнал Жавера.

Читатель, разумеется, уже догадался, что преследователем Тенардье был не кто иной, как Жавер. Неожиданно выйдя целым и невредимым с баррикады, Жавер тут же отправился в полицейскую префектуру, во время короткой аудиенции доложил обо всем префекту и тотчас вернулся к исполнению своих обязанностей, в которые входило, как мы помним из найденного при нем листка, особое наблюдение за правым берегом Сены, вдоль Елисейских полей, привлекавшим с некоторых пор внимание полиции. Там он заметил Тенардье и пошел за ним следом. Остальное мы уже знаем.

Нам понятно также, что решетка, столь предупредительно отворенная перед Жаном Вальжаном, была хитрой уловкой со стороны Тенардье. Тенардье чуял, что Жавер все еще здесь; человек, которого преследуют, наделен безошибочным нюхом; необходимо было бросить кость этой ищейке. Убийца! Какая находка! Это был жертвенный дар, на который всякий польстится. Выпуская на волю Жана Вальжана вместо себя, Тенардье науськивал полицейского на новую добычу, сбивал его со следа, отвлекая внимание на более крупного зверя, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда лестно для шпиона, а сам, заработав вдобавок тридцать франков, твердо рассчитывал ускользнуть при помощи этого маневра.

Жан Вальжан попал из огня да в полымя. Перенести две такие встречи одну за другой, попасть от Тенардье к Жаверу – было тяжким ударом.

Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы говорили, стал на себя непохож. Не меняя позы и лишь крепче сжав неуловимым движением дубинку в руке, он спросил отрывисто и спокойно:

– Кто вы такой?

– Я.

– Кто это вы?

– Жан Вальжан.

Жавер взял дубинку в зубы, наклонился, слегка присев, положил свои могучие руки на плечи Жану Вальжану, сдавив их, словно тисками, взгляделся и узнал его. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был страшен.

Жан Вальжан словно не почувствовал хватки Жавера; так лев не обратил бы внимания на когти рыси.

– Инспектор Жавер! – сказал он. – Я в вашей власти. К тому же с нынешнего утра я считаю себя вашим пленником. Я не для того дал вам свой адрес, чтобы скрываться от вас. Берите меня. Прошу вас об одном...

Жавер, казалось, не слышал его слов. Он впился в Жана Вальжана своим пронзительным взглядом. Сжатые челюсти и поджатые губы служили признаком свирепого раздумья.

Наконец, он отпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, снова взял в руки дубинку и, точно в забытьи, скорее пробормотал, чем проговорил:

– Что вы здесь делаете? И кто этот человек?

Он продолжал обращаться на «вы» к Жану Вальжану.

Жан Вальжан ответил, и звук его голоса как будто пробудил Жавера:

– О нем-то я как раз и хотел говорить с вами. Поступайте со мною, как вам угодно, но помогите мне сначала доставить его домой. Только об этом я и прошу.

Лицо Жавера скривилось, как бывало всякий раз, когда он боялся, что его сочтут способным на уступку. Однако он не отказал.

Он опять нагнулся, вытащил из кармана платок и, намочив его в воде, вытер окровавленный лоб Мариуса.

– Этот человек был на баррикаде, – сказал он вполголоса, как бы про себя. – Это тот, кого называли Мариусом.

Первоклассный шпион все подсмотрел, все подслушал, все расслышал и все запомнил, ожидая смерти, он выслеживал даже в агонии и, стоя одной ногой в могиле, продолжал брать все на заметку. Он схватил руку Мариуса, нащупывая пульс.

– Он ранен, – сказал Жан Вальжан.

– Он умер, – сказал Жавер.

Жан Вальжан возразил:

– Нет. Пока еще жив.

– Значит, вы принесли его сюда с баррикады? – спросил Жавер.

Видно, он был сильно озабочен, раз не стал допрашивать о подозрительном бегстве через подземелье клоаки и даже не заметил, что Жан Вальжан обошел молчанием его вопрос.

Да и Жана Вальжана занимала, казалось, одна-единственная мысль. Он снова заговорил:

– Он живет в Маре, на улице Сестер страстей господних, у своего деда... Я забыл его имя.

Жан Вальжан пошарил в карманах Мариуса, вынул его записную книжку, раскрыл исписанную карандашом страницу и протянул Жаверу.

В вечернем небе брезжило еще достаточно света, и можно было читать. К тому же глаза Жавера фосфоресцировали, как глаза хищных ночных птиц. Он разобрал написанные Мариусом строчки и проворчал сквозь зубы:

– Жильнорман, улица Сестер страстей господних, номер шесть.

Потом крикнул:

– Извозчик!

Читатель помнит о фиакре, стоявшем в ожидании на всякий случай.

Записную книжку Мариуса Жавер оставил у себя.

Минуту спустя карета съехала на берег по спуску к водопою, Мариуса перенесли на заднее сиденье, а Жавер уселся рядом с Жаном Вальжаном на передней скамейке.

Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатил вдоль набережной по направлению к Бастилии.

Свернув с набережной, они поехали по улицам. Извозчик, возвышаясь на козлах черным силуэтом, подхлестывал тощих лошадей. В карете царило ледяное молчание. В углу экипажа неподвижное тело Мариуса с поникшей головой, с безжизненно висевшими руками и вытянутыми ногами как будто ждало, чтобы его положили в гроб; Жан Вальжан казался сотканным из мрака, а Жавер – изваянным из камня. В этой темной карете, которая, словно неверной вспышкой молнии, по временам озарялась внутри мертвенным, синеватым светом уличного фонаря, случай зловеще свел и сопоставил три воплощения трагической неподвижности – труп, призрак, статую.

Глава десятая.

Возвращение блудного сына

При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови.

Уже совсем стемнело, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Сестер страстей господних.

Жавер вышел из кареты первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованый молоток, украшенный по старинной моде изображением столкнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери, зевая, выглянул заспанный привратник со свечой в руке.

Весь дом спал. В Маре ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, искал спасения в сне; так дети в страхе перед букой поспешно прячут голову под одеяло.

Жан Вальжан с помощью кучера вынес Мариуса из кареты; Жан Вальжан держал его под мышки, а извозчик за ноги.

Неся его таким образом, Жан Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил.

Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугою бунтовщика:

– Живет тут кто-нибудь по фамилии Жильнорман?

– Живет. Что вам угодно?

– Мы привезли его сына.

– Сына? – тупо переспросил привратник.

– Он умер.

Показавшийся за спиной Жавера оборванный и грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, подал ему знак, что это неправда.

Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана.

Жавер продолжал:

– Он пошел на баррикаду – и вот, доигрался.

– На баррикаду?! – вскричал привратник.

– Его там убили. Поди разбуди отца.

Привратник не трогался с места.

– Ступай же! – повторил Жавер и добавил:

– Завтра тут будут похороны.

Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям, с этого начинаются бдительность и надзор; любой случайности было отведено определенное место; возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или порознь, глядя по обстоятельствам; на улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны.

Привратник начал с того, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту, Николетта разбудила тетюшку Жильнорман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше.

Мариуса внесли во второй этаж, впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей Жильнормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в бельевых шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам.

Привратник глядел им вслед с тем же сонным испуганным видом, с каким встретил их появление.

Они снова сели в экипаж, а извозчик взобрался на козлы.

– Надзиратель Жавер! – сказал Жан Вальжан. – Окажите мне еще одну милость.

– Какую? – сурово спросил Жавер.

– Позвольте мне зайти на минуту домой. А там делайте со мной, что хотите.

Жавер помолчал, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты.

– Извозчик! – сказал он. – На улицу Вооруженного человека, номер семь.

Глава одиннадцатая. Потрясение незыблемых основ

За все время пути они больше не раскрывали рта.

Что хотел сделать Жан Вальжан? Довести до конца начатое дело: предупредить Козетту, сообщить ей, где находится Мариус, дать ей, быть может, другие полезные указания, сделать, если успеет, последние распоряжения. Что же до него, до его собственной судьбы, то все было кончено, он попал в руки Жавера и не сопротивлялся. Другой человек в таком положении подумал бы, вероятно, о веревке, полученной от Тенардье, и о перекладинах решетки в первой же тюремной камере, куда он попадет; но со времени встречи с епископом всякое покушение, даже на собственную жизнь, представлялось Жану Вальжану несовместимым с религией.

Самоубийство, это таинственное насилие над неведомым, быть может, в какой-то мере убивающее душу, казалось ему невозможным.

В самом начале улицы Вооруженного человека фиакр остановился, так как она была слишком узка для проезда экипажей. Жавер и Жан Вальжан сошли на мостовую.

Извозчик смиренно просил «господина инспектора» обратить внимание, что утрехтский бархат внутри кареты весь в пятнах от крови убитого и от грязной одежды убийцы. Только это и дошло до него. Он добавил, что следовало бы возместить убытки. Тут же, вытащив из кармана свою контрольную книжку, он просил «господина инспектора» сделать ему милость и написать там «какую ни на есть аттестацию, хоть самую пустячную».

Жавер оттолкнул книжку, которую протягивал ему извозчик, и спросил:

– Сколько тебе следует, считая за проезд и простой?

– Теперь уже четверть восьмого, – отвечал кучер, – да и бархат мой был новехонький.

Восемьдесят франков, господин инспектор.

Жавер вынул из кармана четыре наполеондора и отпустил фиакр.

Жан Вальжан подумал, что Жавер собирается пешком отвести его на караульный пост улицы Белых мантий или Архива, находившихся совсем рядом.

Они пошли по улице. Она, как всегда, была безлюдна. Жавер следовал за Жаном Вальжаном.

Они поравнялись с домом номер 7. Жан Вальжан постучался. Дверь отворилась.

– Хорошо, – сказал Жавер. – Входите.

Он прибавил с каким-то странным выражением, точно делал над собой усилие, произнося эти слова:

– Я подожду вас здесь.

Жан Вальжан взглянул на него. Подобный образ действия был необычен для Жавера. Однако презрительное доверие, оказываемое ему Жавером, доверие кошки, которая отпускает мышь ровно настолько, что бы затем вонзить в нее когти, не могло особенно удивить его, ибо он сам решил отдаться в руки правосудия и на этом все покончить. Он толкнул дверь, вошел в дом, окликнул заспанного привратника, – тот дернул шнурок, не вставая с постели. Потом поднялся по лестнице.

Дойдя до второго этажа, он остановился. На всяком крестном пути есть свои передышки.

Подъемное окно на площадке было открыто. Как во многих старинных домах, лестница была светлая, окно выходило на улицу. От уличного фонаря, стоявшего как раз напротив, на лестничные ступеньки падали лучи, что избавляло от расходов на освещение.

Жан Вальжан, то ли чтобы подышать свежим воздухом, то ли безотчетно, высунул голову в окно. Он выглянул на улицу. Она была совсем коротенькая, и фонарь освещал ее всю. Жан Вальжан остолбенел от изумления: на улице никого не было.

Жавер ушел.

Глава двенадцатая.

Дед

Баск и привратник перенесли в гостиную диван на котором Мариус по-прежнему лежал без движения. Послали за доктором, и он тут же явился. Встала и тетушка Жильнорман.

Испуганная тетушка ходила взад и вперед, ломая руки, и только бормотала: «Боже милостивый, что же это такое?» Иногда она прибавляла: «Все будет перепачкано кровью!» Когда первое потрясение улеглось она оказалась способной философски осмыслить создавшееся положение, что выразилось в следующем возгласе: «Так и должно было кончиться!» Правда, она не дошла до формулы: «Я давно это предсказывала!», обычно изрекаемой в подобных случаях.

По приказанию врача, рядом с диваном поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, удостоверившись, что пульс бьется, на груди нет ни одной глубокой раны и кровь, запекаясь в углах рта, течет из носовой полости, велел положить его на койку плашмя, без подушки, – голову на одном уровне с туловищем, даже чуть ниже, – и обнажить грудь, чтобы облегчить дыхание. Девица Жильнорман, увидев, что Мариуса раздевают, поспешно удалилась к себе в комнату и там принялась усердно молиться, перебирая четки.

У Мариуса не обнаружилось особых внутренних повреждений, скользнув по записной книжке, пуля отклонилась в сторону и прошла вдоль ребер, образовав рваную рану, ужасную с виду, но неглубокую и потому не опасную. Долгое подземное путешествие довершило вывих перебитой ключицы, и лишь это повреждение оказалось серьезным. Руки были изрублены сабельными ударами, ни один шрам не обезобразил лица, но голова была вся словно исполосована. Какие последствия повлекут эти ранения в голову? Затронули они только кожный покров? Или повредили череп? Пока еще определить было невозможно.

Опасным симптомом являлось то, что они вызвали обморок, а от подобных обмороков не всегда приходят в чувство. Кроме того, раненый обессилел от потери крови. Нижняя половина тела не пострадала, так как Мариус был до пояса защищен баррикадой.

Баск и Николетта разрывали белье и готовили бинты; Николетта сшивала их, Баск скатывал. Корпии под рукой не было, и доктор останавливал кровотечение, затыкая раны тампонами из ваты. Возле кровати на столе, где был разложен целый набор хирургических инструментов, горели три свечи. Врач обмыл лицо и волосы Мариуса холодной водой. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Полное ведро в один миг окрасилось кровью.

Доктор был погружен в печальные размышления. По временам он отрицательно покачивал головой, словно отвечая на вопросы, которые сам себе задавал. Дурной знак для больного – эти таинственные диалоги врача с самим собой!

В ту минуту, когда доктор обтирал лицо раненого, осторожно касаясь пальцами все еще закрытых век, в глубине гостиной запахнулась дверь и появилась высокая белая фигура. Это был дед.

Последние два дня мятеж сильно волновал, возмущал и тревожил Жильнормана. Прошлую ночь он не смыкал глаз, и весь день его лихорадило. Вечером он улегся спать очень рано, приказав накрепко запереть весь дом, и от усталости наконец задремал.

Сон у стариков чуткий; спальня Жильнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все предосторожности, шум разбудил его. Удивленный светом, проникавшим сквозь дверную щель, он встал с постели и ощупью добрался до двери.

Он остановился на пороге в изумлении, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, слегка вытянув трясущуюся голову; на нем был белый облегавший тело халат, прямой и гладкий, точно саван; казалось, это призрак заглядывает в могилу.

Он увидел ярко освещенную кровать и распростертого на ней окровавленного молодого человека, бледного, как воск, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и бескровными губами, обнаженного по пояс, в багровых ранах, неподвижного.

Старик задрожал всем телом; глаза его с желтыми от старости белками затуманились и остекленели, лицо осунулось, покрылось землистыми тенями, руки безжизненно повисли, точно в них сломалась пружина, раздвинутые пальцы старческих рук судорожно вздрагивали, колени подогнулись, запахнувшийся халат открыл худые голые ноги, заросшие седыми волосами; он прошептал:

– Мариус!

– Сударь! – сказал Баск. – Господина Мариуса только что принесли. Он пошел на баррикаду, и там...

– Он убит! – воскликнул старик страшным голосом. – Ах, разбойник!

И вдруг, словно после загробного преображения, этот столетний старец выпрямился во весь рост, как юноша.

– Сударь! – сказал он. – Вы врач. Скажите мне только одно: он умер, не правда ли?

Доктор, встревоженный до последней степени, хранил молчание.

Заломив руки, Жильнорман разразился горьким смехом:

– Он умер! Он умер! Он дал себя убить на баррикаде! Из ненависти ко мне! Он сделал это мне назло! О кровопийца! Вот каким он вернулся ко мне! Горе мне, он умер!

Он подошел к окну, распахнул его настежь, как будто ему не хватало воздуха, и, стоя лицом к лицу с тьмой, заговорил в ночь, оглашая воплями спящую улицу:

– Исколот, изрублен, зарезан, искромсан, загублен, рассечен на куски! Посмотрите на него – каков негодяй! Он прекрасно знал, что я жду его, что я велел приготовить для него комнату, что я повесил у изголовья постели его детский портрет! Он отлично знал, что ему стоило только вернуться, что я призывал его долгие годы, что целыми вечерами я просиживал у камелька, сложив руки на коленях дурак дураком, не зная, чем себя занять! Ты отлично понимал, что тебе стоит только вернуться и сказать: «Вот и я!» – и ты станешь полным хозяином, и я буду повиноваться тебе, и ты будешь делать все что вздумается с твоим старым растяпой-дедом! Ты это знал и все-таки решил: «Нет, он роялист, я не пойду к нему!» И ты побежал на баррикаду и дал убить себя из одного окаянства, назло, чтобы отомстить за мои слова о его светлости герцоге Беррийском! Это подло. Ложитесь после этого в постель и попробуйте спать спокойно! Он умер. Вот оно, мое пробуждение.

Доктор начал тревожиться уже за обоих; покинув на минуту Мариуса, он подошел к Жильнорману и взял его за руку. Старик обернулся, посмотрел на него расширенными, налившимися кровью глазами и медленно произнес:

– Благодарю вас, сударь. Я спокоен, я мужчина, я видел кончину Людовика Шестнадцатого и умею переносить испытания. Но вот что ужасно – это мысль, что все зло от ваших газет.

Пускай у вас будут писаки, краснобаи, адвокаты, ораторы, трибуны, словопрения, прогресс, просвещение, права человека, свобода печати, но вот в каком виде принесут домой ваших детей! Ах, Мариус, это чудовищно! Убит! Умер раньше меня! На баррикаде! Ах, бандит!

Доктор! Вы, кажется, живете в нашем квартале? Я хорошо вас знаю. Я часто вижу из окна, как вы проезжаете мимо в кабриолете. Я вам все скажу. Вы напрасно думаете, что я сержусь. На мертвых не сердятся. Это было бы нелепо. Но ведь я вырастил этого ребенка. Я был уже стар, когда он был еще малюткой. Он играл в парке Тюильри с лопаткой и тележкой, и, чтобы сторожа не ворчали, я терпеливо заравнивал тростью все ямки в песке от его лопаточки. И вот однажды он крикнул: «Долой Людовика Восемнадцатого!» – и ушел из дому. Это не моя вина. Он был такой розовый, такой белокурый. Мать его умерла. Вы заметили, что маленькие дети все белокурые? Отчего это? Он сын одного из тех луарских разбойников, но ведь дети не отвечают за преступления отцов. Я помню его, когда он был вот такого роста. Ему никак не удавалось выговорить букву д. Он щебетал так нежно и так непонятно, точно птенчик. Помню, как однажды, возле статуи Геркулеса Фарнезского, все обступили этого ребенка, любуясь и восхищаясь им, до того он был хорош! Только на картинах увидишь такие очаровательные головки. Напрасно я говорил сердитым голосом, грозил ему тростью, – он отлично понимал, что это не всерьез. Когда по утрам он вбегал ко мне в спальню, я ворчал, но мне казалось, что взошло солнце. Невозможно устоять против таких малышей. Они завладевают нами, держат и не выпускают. По правде сказать, не было ничего на свете прелестней этого ребенка. После этого чего стоят все ваши Лафайеты,

Бенжамены Константы, Тиркюи де Корсели, все те, кто отнял его у меня? Это им даром не пройдет!

Он приблизился к мертвенно бледному, безжизненному Мариусу, возле которого хлопотал врач, и заломил руки. Бескровные губы его шевелились как бы произвольно, из них вырывались, словно слабые вздохи среди предсмертного хрипа, почти неуловимые, бессвязные слова:

– Ах, бессердечный! Ах, якобинец! Злодей! Разбойник!

Умиравший еле слышным голосом упрекал мертвеца.

Внутренние потрясения неизбежно должны излиться в словах, и речь деда мало-помалу снова стала связной, но ему не хватало сил: голос звучал так глухо и слабо, как будто доносился с другого края пропасти.

– Мне все равно, я и сам скоро умру. Подумать только, разве сыщется в Париже такая чудачка, которая была бы не рада составить счастье этого негодника! Бессовестный! Вместо того чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, он пошел драться и дал изрешетить себя пулями, как дурак! И было бы за что! За республику! Вместо того чтобы танцевать на балу в Шомьер, как надлежит молодым людям! Ведь ему только двадцать лет! Республика! Что за чертова чепуха! Бедные матери! Рожайте после этого красивых мальчиков! И вот он умер. Значит, из наших ворот выйдут одна за другой две похоронные процессии. Итак, ты отколол такую штуку ради прекрасных глаз генерала Ламарка? Чем ты ему обязан, генералу Ламарку? Этому рубাকে, этому болтуну? Пошел на смерть ради покойника! Есть от чего с ума сойти! Поймите! Двадцать лет от роду! И даже не оглянулся на то, что осталось позади! И вот бедному старику придется умирать в одиночестве. Подыхай в своем углу, старый филин! Ну что ж, пожалуй, так лучше, именно этого я и хотел, это убьет меня сразу. Я слишком стар, мне сто лет, мне сто тысяч лет, мне уж давным-давно пора умереть. Этот удар доконает меня. Значит, все кончено. Слава богу! Зачем давать ему нюхать нашатырь и пить всякую дрянь? Вы напрасно теряете время, безмозглый вы лекарь! Будет вам, он же умер, умер по-настоящему. Уж я-то понимаю в этом толк, я тоже мертвец. Он довел дело до конца. Подлое, жалкое, гнусное время! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, системах, ваших главарях, оракулах, врачах, негодях-писателях, прощелыгах-философах, о ваших революциях, которые за все шестьдесят лет только распугали ворон в Тюильри! И если ты настолько безжалостен, что погубил себя ради этого, то и поделом, я и горевать о тебе не стану. Слышишь ли ты, убийца?

В эту минуту веки Мариуса медленно раскрылись, и его взгляд, еще затуманенный забытьем, с удивлением обратился на Жильнормана.

– Мариус! – вскричал старик. – Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив, благодарю тебя!

И он упал без чувств.

Книга четвертая Жавер сбился с пути

Медленным шагом Жавер удалился с улицы Вооруженного человека.

Впервые в жизни он шел опустив голову, и также впервые в жизни – заложив руки за спину.

До этого дня из двух поз Наполеона Жавер заимствовал только ту, что выражает уверенность, – руки, скрещенные на груди, поза, выражающая нерешительность – руки за спиной, – была ему незнакома. Но теперь произошел перелом, в его медлительной, угрюмой походке ощущалась душевная тревога.

Он углубился во тьму уснувших улиц.

Однако его путь лежал в определенном направлении.

Свернув кратчайшей дорогой к Сене, он вышел на набережную Вязов, пошел вдоль берега, миновал Гревскую площадь и остановился на углу моста Богоматери, не доходя караульного поста на площади Шатле. В этом месте огороженная мостами Богоматери и Менял, а с боков набережными Сыромятной и Цветочной, Сена образует нечто вроде квадратного озера с быстриной посредине.

Лодочники избегают этого участка Сены. Ничего нет опаснее ее быстрины, которая в те времена еще была зажата здесь с боков и гневно бурлила между сваями мельницы, выстроенной на мосту и впоследствии разрушенной. Два моста, расположенные на таком близком расстоянии, еще увеличивают опасность, так как вода со страшной силой устремляется под их арки. Она катится туда широкими бурными потоками, клокочет и вздымается, волны яростно набрасываются на мостовые быки, словно стараясь вырвать их с корнем мощными водяными канатами. Упавший туда человек уже не всплывет на поверхность, даже лучшие пловцы здесь тонут.

Жавер облокотился на парапет, подперев обеими руками подбородок, и задумался, машинально запустив пальцы в свои густые бакенбарды.

В его душе произошел перелом, переворот, катастрофа, ему было о чем подумать.

Вот уже несколько часов, как он не узнавал сам себя. Он был в смятении; ум его, столь ясный в своей слепоте, потерял присущую ему прозрачность; чистый кристалл замутился. Жавер чувствовал, что понятие долга раздвоилось в его сознании, и не мог скрыть этого от себя. Когда он так неожиданно встретил на берегу Сены Жана Вальжана, в нем проснулся инстинкт волка, наконец-то схватившего добычу, и вместе с тем инстинкт собаки, которая вновь нашла своего хозяина.

Он видел перед собою два пути, одинаково прямых, но их было два; это ужасало его, так как всю жизнь он следовал только по одной прямой линии. И, что особенно мучительно, оба пути были противоположны. Каждая из этих прямых линий исключала другую. Которая же из двух правильна?

Положение его было невыразимо трудным.

Быть обязанным жизнью преступнику, признать этот долг и возратить его; наперекор себе самому сравняться с закоренелым злодеем, отплатить ему услугой за услугу; дойти до того, чтобы сказать себе: «Уходи!», а ему: «Ты свободен!»; пожертвовать долгом, этой общей для всех обязанностью, ради побуждений личных, и вместе с тем чувствовать за личными побуждениями некий столь же общеобязательный, а может быть, и высший закон; предать общество, чтобы остаться верным своей совести! Надо же, чтобы все эти нелепости произошли на самом деле и свалились именно на него! Вот что его доконало.

Случилось нечто неслыханное, удивившее его: Жан Вальжан его пощадил; но случилось и другое, что окончательно его сразило: он сам пощадил Жана Вальжана.

До чего же он дошел? Он старался понять и не узнавал себя.

Что же делать? Выдать Жана Вальжана было дурно; оставить Жана Вальжана на свободе тоже было преступно. В первом случае представитель власти падал ниже последнего каторжника; во втором — колодник возвышался над законом и попирали его ногами. В обоих случаях обесчещенным оказывался он, Жавер. Что бы он ни решил, исход один — конец. В судьбе человека встречаются отвесные кручи, откуда не спастись, откуда вся жизнь кажется глубокой пропастью. Жавер стоял на краю такого обрыва.

Особенно угнетала его необходимость размышлять. Жестокая борьба противоречивых чувств принуждала его к этому. Мыслить было для него непривычно и необыкновенно мучительно.

В мыслях всегда кроется известная доля тайной крамолы, и его раздражало, что он не уберется от этого.

Любая мысль, выходящая за пределы узкого круга его обязанностей, при всех обстоятельствах представилась бы ему бесполезной и утомительной; но думать о событиях

истекшего дня казалось ему пыткой. Однако, после стольких потрясений, необходимо было заглянуть в свою совесть и отдать себе отчет о самом себе.

Он ужасался тому, что сделал. Он, Жавер, вопреки всем полицейским правилам, всем политическим и юридическим установлениям, всему кодексу законов, счел возможным отпустить преступника на свободу; так ему заблагорассудилось; он подменил своими личными интересами интересы общества. Неслыханно! Всякий раз, возвращаясь к этому не имеющему названия поступку, он содрогался с головы до ног. На что решиться? Ему оставалось одно – не теряя времени, вернуться на улицу Вооруженного человека и взять под стражу Жана Вальжана. Конечно, следовало поступить только так. Но он не мог.

Что-то преграждало ему путь в ту сторону.

Но что же? Что именно? Разве существует на свете что-нибудь, кроме судов, судебных приставов, полиции и властей? Жавер был потрясен.

Каторжник, личность которого неприкосновенна! Арестант, неуловимый для полиции! И все это по вине Жавера!

Разве не ужасно, что Жавер и Жан Вальжан, два человека, целиком принадлежащие закону и созданные один, чтобы карать, другой, чтобы терпеть кару, вдруг оба дошли до того, что попрали закон?

Как же так? Неужели могут произойти столь чудовищные вещи, и никто не будет наказан? Неужели Жан Вальжан оказался сильнее установленного порядка и останется на свободе, а он, Жавер, будет по-прежнему получать жалованье от казны?

Его раздумье становилось все более мрачным.

Он мог бы, помимо всего прочего, упрекнуть себя еще и за бунтовщика, которого доставил на улицу Сестер страстей господних, но он даже не думал о нем. Мелкий проступок затмевала более тяжкая вина. Кроме того, бунтовщик, несомненно, был мертв, а со смертью, согласно закону, прекращается и преследование.

Жан Вальжан – вот тяжкий груз, давивший на его совесть.

Жан Вальжан сбивал его с толку. Все правила, служившие ему опорой на протяжении всей жизни, рушились перед лицом этого человека. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Другие поступки Жана Вальжана, которые прежде он считал лживыми и безрассудными, теперь являлись ему в истинном свете. За Жаном Вальжаном вставал образ Мадлена, и два эти лица, наплывая друг на друга, сливались в одно, светлое и благородное. Жавер чувствовал, как в душу его закрадывается нечто недопустимое – преклонение перед каторжником. Уважение к острожнику, мыслимо ли это? Он дрожал от волнения, но не мог справиться с собой. Как он ни противился этому, ему приходилось признать в глубине души нравственное превосходство отверженного. Это было нестерпимо. Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает человека, который оскорбил его, – преступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что подобное диво существует на свете.

Дальше так продолжаться не могло.

Правда, – и мы на этом наслаиваем, – Жавер не без борьбы отдался во власть чудовищу, нечестивому ангелу, презренному герою, который вызывал в нем почти в равной мере и негодование и восхищение. Когда он ехал в карете один на один с Жаном Вальжаном, сколько раз в нем возмущался и рычал тигр законности! Сколько раз его одолевало желание броситься на Жана Вальжана, схватить его и растерзать, иными словами, арестовать! В самом деле, что могло быть проще? Крикнуть, поравнявшись с первым же караульным постом «Вот беглый каторжник, укрывающийся от правосудия!» Позвать жандармов и заявить: «Берите его!» Потом уйти, оставить им проклятого злодея и больше ничего не знать,

ни во что не вмешиваться. Ведь этот человек – пожизненный пленник закона; пусть закон и распоряжается им, как пожелает. Что может быть справедливее? Все это Жавер говорил себе; более того, он хотел действовать, хотел схватить свою жертву, но и тогда и теперь был не в силах это сделать; всякий раз, как его рука судорожно протягивалась к вороту Жана Вальжана, она падала, словно была налита свинцом, а в глубине его сознания звучал голос, странный голос, кричавший ему: «Хорошо! Предай своего спасителя. А затем, как Понтий Пилат, вели принести сосуд с водой и умой свои когти».

Потом его мысли обращались на него самого, и рядом с величавым образом Жана Вальжана он видел себя, Жавера, жалким и униженным.

Его благодетелем был каторжник!

В сущности с какой стати он разрешил этому человеку подарить ему жизнь? Он имел право бить убитым на баррикаде. Ему следовало воспользоваться этим правом. Он должен был позвать других повстанцев на помощь и насильно заставить их расстрелять себя. Так было бы лучше.

Мучительнее всего была утрата веры в себя. Он потерял почву под ногами. От жезла закона в его руке остались одни лишь обломки. Неведомые раньше сомнения одолевали его. В нем происходил нравственный перелом, некое откровение, глубоко отличное от того правосознания, какое до сей поры служило единственным мерилom его поступков.

Остаться в рамках прежней честности казалось ему недостаточным. Целый рой неожиданных событий обступил его и поработил. Новый мир открылся его душе; благодеяние, принятое и вознагражденное, самоотверженность, милосердие, терпимость, победа сострадания над суровостью, доброжелательство, отмена приговора, пощада осужденному, слезы в очах правосудия, некая непостижимая божественная справедливость, противоположная справедливости человеческой. Он видел во мраке грозный восход неведомого солнца; оно ужасало и ослепляло его, Филин был вынужден смотреть глазами орла.

Он говорил себе: значит, правда, что бывают исключения, что власть может заблуждаться, что перед некоторыми явлениями правило становится в тупик, что не все уместается в своде законов, что приходится покоряться непредвиденному, что добродетель каторжника может расставить сети для добродетели чиновника, что чудовищное может обернуться божественным, что жизнь таит в себе подобные западни, и думал с отчаянием, что он и сам был захвачен врасплох.

Он вынужден был признать, что добро существует. Каторжник оказался добрым. И сам он – неслыханное дело! – только что проявил доброту. Значит, он обесчестил себя.

Он считал себя подлецом. Он внушал ужас самому себе.

Идеал для Жавера заключался не в том, чтобы быть человеческим, великодушным, возвышенным, а в том, чтобы быть безупречным. И вот он совершил проступок.

Как он дошел до этого? Как все это случилось? Он и сам не мог бы сказать. Он сжимал голову обеими руками, но сколько ни думал, ничего не мог объяснить.

Разумеется, он все время намеревался передать Жана Вальжана в руки правосудия, чьим пленником был Жан Вальжан и чьим рабом был он, Жавер. Пока Жан Вальжан находился в его власти, он ни разу не признался себе, что втайне решил отпустить его. Словно без его ведома, рука его сама собой разжалась и выпустила пленника.

Множество жгучих, мучительных загадок предстало перед ним. Он задавал себе вопросы и отвечал на них, но ответы пугали его. Он спрашивал себя: «Когда я попался в лапы этому каторжнику, безумцу, которого я безжалостно преследовал, и он мог отомстить мне и даже должен был отомстить, не только из злопамятства, но и ради собственной безопасности, – что же он сделал, даровав мне жизнь и пощадив меня? Исполнил свой долг? Нет. Нечто большее. А я, когда тоже пощадил его, – что я сделал? Выполнил свой долг? Нет. Нечто большее. Следовательно, существует нечто большее, чем выполнение долга?» Здесь он

терялся, душевное его равновесие нарушалось; одна чаша весов падала в пропасть, другая взлетала к небу, и та, что была наверху, устрасала Жавера не меньше, чем та, что была внизу. Он отнюдь не был ни вольтерьянцем, ни философом, ни неверующим – напротив, он чувствовал инстинктивное почтение к официальной религии, однако рассматривал ее как возвышенный, но несущественный элемент социального целого; установленный порядок был его единственным догматом и вполне его удовлетворял; с тех пор как он стал зрелым человеком и чиновником, он обратил почти все свое религиозное чувство на полицию и служил сыщиком, – мы говорим это без малейшей насмешки, с полной серьезностью, – служил сыщиком, как служат священником. Он знал своего начальника, г-на Жиске, и до сей поры ни разу не подумал о другом начальнике – о господе боге.

Внезапно почувствовав этого нового хозяина, бога, он пришел в замешательство.

Неожиданно оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя с таким властелином; ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначального остается один выход – подать в отставку.

Но как просить бога об отставке?

Что бы там ни было, Жавер возвращался к факту, заслонявшему для него все остальное, – он только что совершил тяжкое преступление. Он не задержал закоренелого злодея, беглого каторжника. Он выпустил острожника на волю. Он украл у представителей закона человека, принадлежавшего им по праву. Он действительно совершил это. Он перестал понимать, он не узнавал себя. Причины такого поступка ускользали от него, от одной мысли у него кружилась голова. До этой минуты он жил слепой верой, порождающей суровую честность. Теперь он потерял веру, а с нею и честность. Все, чему он поклонялся, разлетелось в прах. Ненавистные истины преследовали его неотвязно. Отныне надо стать другим человеком. Он испытывал странные муки, словно с его сознания внезапно сняли катаракту. Он прозрел и увидел то, чего видеть не желал. Он чувствовал себя опустошенным, бесполезным, вырванным из прошлого, уволенным с должности, уничтоженным. В нем умер представителе власти. Его жизнь потеряла всякий смысл.

Какое ужасное состояние – быть растроганным!

Быть гранитом и усомниться! Быть изваянием кары, отлитым из одного куска по установленному законом образцу, и вдруг ощутить в бронзовой груди что-то непокорное и безрассудное, почти похожее на сердце! Дойти до того, чтобы отплатить добром за добро, хотя всю жизнь он внушал себе, что подобное добро есть зло! Быть сторожевым псом – и ластиться к чужому! Быть льдом – и растаять! Быть клещами – и обратиться в живую руку! Почувствовать вдруг, как пальцы разжимаются! Выпустить пойманную добычу – какое страшное падение!

Человек-снаряд вдруг сбился с пути и летит вспять!

Приходилось признаться самому себе в том, что непогрешимость не безгрешна, что в догмат может вкрасться ошибка, что в своде законов сказано не все, общественный строй несовершенен, власть подвержена колебаниям, нерушимое может разрушиться, судья такие же люди, как все, закон может обмануться, трибуналы могут ошибиться! На громадном синем стекле небесной тверди зияла трещина.

То, что происходило в душе Жавера, в его прямолинейной совести, можно было сравнить с крушением в Фампу; душа его словно сошла с рельсов, честность, неудержимо мчавшаяся по прямому пути, оказалась разбитой вдребезги, столкнувшись с богом. Казалось невероятным, чтобы машинист общественного порядка, кочегар власти, оседлавший слепого железного коня, способного мчаться лишь в одном направлении, мог быть выбит из седла лучом света! Чтобы неизменное, прямое, точное, геометрически правильное, покорное, безукоризненное могло изменить себе! Неужели и для локомотива существует путь в Дамаск?

Бог в человеке, его истинная совесть, которая отвергает совесть ложную, запрещает искре гаснуть, повелевает лучу помнить о солнце, приказывает душе отличать настоящую истину от столкнувшейся с нею мнимой истины, – этот родник человечности, неумолчный голос сердца, это изумительное чудо, быть может, самое прекрасное из наших внутренних сокровищ, – понимал ли его Жавер? Постигал ли его Жавер? Отдавал ли себе отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что череп его готов расколоться под гнетом непостижимой непреложности.

Он не обратился к богу, увидев чудо, – он стал его жертвой. Он покорился с отчаянием. Он видел во всем этом лишь невозможность жить. Ему казалось, что дыхание его стеснено навеки.

Чувствовать над собой неведомое было для него непривычно.

Все, что до той поры стояло выше его, представлялось его взору гладкой поверхностью, простой, ровной, прозрачной; в ней не было ничего непонятного, ничего темного; ничего, кроме точного, упорядоченного, согласованного, ясного, отчетливого, определенного, ограниченного, законченного; все было предусмотрено; власть расстилалась перед ним ровной плоскостью, без круч и обрывов; она не вызывала головокружения. Жаверу случалось видеть неведомое только внизу, на дне. Беззаконное, непредвиденное, беспорядочное, провал в хаос, падение в пропасть – все это было уделом низших слоев, бунтовщиков, злодеев, отверженных. Теперь же, упав навзничь, Жавер вдруг пришел в ужас от небывалого зрелища: бездна разверзлась над ним, в вышине.

Что же это такое? Все перевернулось вверх дном; он был окончательно сбит с толку. На что положиться? Все, во что он верил, рушилось!

Что случилось? Какой-то отверженный с великодушным сердцем сумел найти в общественном строе уязвимое место? Как же так? Честный служитель закона принужден выбирать между двумя преступлениями: отпустить человека – преступление, арестовать его – тоже преступление! Значит, в уставе, данном государством чиновнику, не все предусмотрено? Значит, на путях долга могут встретиться тупики? Что же это такое? Неужели так и должно быть? Неужели прежний бандит, согбенный под тяжестью обвинений, мог расправить плечи, неужели правда на его стороне? Можно ли этому поверить? Неужели бывают случаи, когда закон, бормоча извинения, должен отступить перед преступником?

Да, такое чудо произошло! И Жавер его видел! И Жавер осязал его! Он не только не мог отрицать его, но сам в нем участвовал. Оно было реальностью. Ужасно, что факты могли дойти до такого уродства.

Если бы факты выполняли свое назначение, они служили бы лишь подтверждением закону; ведь факты посылаются богом. Неужто в наше время и анархия нисходит свыше?

Так в тоске, в тревожном недоумении, в искаженных образах меркло все, что могло бы облегчить и улучшить его состояние; общество, человечество, вселенная представлялись его глазам в простых и страшных очертаниях. Стало быть, система наказаний, вынесенное решение, непререкаемая сила закона, приговор верховного суда, магистратура, правительство, следствие и карательные меры, официальная мудрость, непогрешимость закона, основы власти, все догматы, на которых зиждется политическая и гражданская безопасность, верховная власть, правосудие, логика закона, устой общества, общепризнанные истины – все это только мусор, груда обломков, хаос! И сам он, Жавер, – блюститель порядка, неподкупный слуга полиции, провидение в образе ищейки на страже общества, – испепелен и повержен наземь. А над этими развалинами возвышается человек в арестантском колпаке, с сиянием вокруг чела. Вот до какого потрясения основ он дошел; вот какое страшное видение угнетало его душу.

Можно ли это вынести? Нет.

Если все это так, он в отчаянном положении. Остается два выхода. Один – вернуться немедленно к Жану Вальжану и заточить беглого каторжника в тюрьму. Другой выход... Жавер сошел с моста и твердым шагом, на этот раз с высоко поднятой головой, направился к полицейскому посту под фонарем, на углу площади Шатле.

Подойдя, он увидел в окно дежурного сержанта и вошел внутрь. Полицейские узнают друг друга сразу, хотя бы по манере толкнуть дверь в караульное помещение. Жавер назвал себя, показал сержанту свой билет и уселся за столом, где горела свеча. На столе стояла свинцовая чернильница, лежали перья и бумага на случай протоколов или для письменных распоряжений ночным караулам.

Такой стол, с неизменным соломенным стулом возле него, по заведенному обычаю есть на всех полицейских постах; его непременно украшает блюдо самшитового дерева, полное опилок, и картонная коробочка с красными облатками для запечатывания писем; этот стол – низшая ступень канцелярского стиля. Именно отсюда и идут официальные донесения.

Жавер взял перо и листок бумаги и принялся писать. Вот что он написал:

«Несколько заметок для пользы полицейской службы.

Во-первых: я прошу господина префекта прочесть то, что следует ниже.

Во-вторых: арестанты после допроса разуваются и стоят на полу босиком, пока их обыскивают. Многие, вернувшись в тюрьму, начинают кашлять. Это влечет за собой расходы на лечение.

В-третьих наблюдение, со сменой агентов на отдельных участках, поставлено хорошо; но в особо важных случаях следовало бы, чтобы по крайней мере два агента не теряли друг друга из виду; если один из них почему-либо ослабит бдительность, другой следит за ним и заступает его место.

В-четвертых: непонятно, почему в тюрьме Мадлонет особым распоряжением запрещено заключенным иметь стулья, даже за плату.

В-пятых: в тюрьме Мадлонет закусовая отгорожена только двумя перекладинами, что позволяет арестантам хватать за руки буфетчицу.

В-шестых: арестанты, именуемые «выкликалами» и вызывающие других арестантов в приемную, требуют по два су с заключенного, чтобы выкрикивать их имена поотчетливее. Это грабеж.

В-седьмых: в ткацкой мастерской за каждую спущенную нитку вычитают по десять су с заключенного, что является злоупотреблением со стороны подрядчика, так как холст от этого нисколько не хуже.

В-восьмых: недопустимо, что посетители тюрьмы Форс, направляясь в приемную приюта св. Марии Египетской, проходят через двор малолетних преступников.

В-девятых: замечено, что жандармы каждый день рассказывают во дворе префектуры о допросах обвиняемых. Жандарм должен быть безупречным, и ему не подобает разбалтывать то, что он слышал в кабинете следователя, – это важный проступок.

В-десятых: госпожа Анри – честная женщина и содержит свою закусную очень чисто; но женщине не годится быть привратницей возле одиночных камер. Это недостойно тюрьмы Консьержери, как образцового учреждения».

Жавер вывел эти строки обычным своим ровным и аккуратным почерком, не пропустив ни одной запятой и громко скрипя пером по бумаге. Внизу, под последней строкой, он подписал:

«Инспектор 1-го класса Жавер.

Полицейский пост на площади Шатле.

7 июня 1832 года, около часу пополудни».

Жавер посушил свежие чернила на бумаге, сложил ее в виде письма, запечатал, надписал на обороте: «Донесение для администрации», положил на стол и вышел из комнаты.

Застекленная, забранная решеткой дверь захлопнулась за ним.

Он снова пересек по диагонали площадь Шатле, достиг набережной и, возвратившись с точностью автомата на то самое место, какое покинул четверть часа назад, облокотился на ту же плиту парапета и приняв ту самую позу. Могло показаться, что он и не трогался с места. Было совсем темно. Наступил тот час мертвой тишины, какой бывает после полуночи. Завеса облаков скрывала звезды. Небо застилала густая зловещая мгла. Ни один огонек не светился в домах квартала Сите; прохожих не было, все ближние улицы и набережные опустели; Собор Парижской Богоматери и башни Дворца правосудия казались очертаниями самой ночи. Фонарь освещал края перил красноватым светом. Силуэты мостов изгибались вдали один за другим, расплываясь в тумане. Река вздулась от дождей.

Место, где облокотился па перила Жавер, как помнит читатель, находилось над самой быстринной Сены, как раз над опасной спиралью водоворота, которая скручивалась и раскручивалась, точно бесконечный винт.

Жавер наклонил голову и заглянул вниз. В черную воду. Ничего нельзя было различить. Вода бурлила, но реки не было видно. По временам в головокружительной глубине вспыхивал, извиваясь, блуждающий огонек, так как даже в самую темную ночь вода обладает способностью ловить свет неизвестно откуда и отражать его искрящимися змейками. Но огонек потухал, и все снова тонуло во мгле. Будто там разверзалась сама бесконечность. Внизу была не вода, а бездна. Отвесная темная стена набережной, сливаясь с туманом и пропадая во тьме, круто обрывалась в эту бесконечность.

Ничего не было видно, но тянуло холодом воды и слабым запахом сырых камней. В глубине слышалось грозное дыхание бездны. Вздувшаяся река, которую скорее можно было угадать, чем увидеть, угрюмый рокот волн, унылая громада мостовых арок, манящая глубь черной пустоты – весь этот мрак наводил ужас.

Несколько мгновений Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в отверстые врата ночи; он вглядывался в невидимое пристально, с упорным вниманием. Шумела вода. Вдруг он снял шляпу и положил ее на перила. Минуту спустя высокая черная тень, которую запоздалый прохожий мог бы издали принять за привидение, поднялась во весь рост на парапете, наклонилась над Сеной, затем выпрямилась и упала во тьму; раздался глухой всплеск, и одна только ночь видела, как билась в судорогах эта темная фигура, исчезая под водой.

Книга пятая

Дед и внук

Глава первая.

Читатель снова видит дерево с цинковым кольцом

Некоторое время спустя после описанных нами событий почтенному Башке пришлось испытать сильное волнение.

Башка – тот самый шоссейный рабочий из Монфермейля, который нам уже встречался в наиболее мрачных главах этой повести.

Как помнит читатель, Башка занимался разнообразными делами, в том числе и темными. Он разбивал камни и грабил путешественников на большой дороге. Этого камнебойца и вора обурежала одна мечта: он бредил сокровищами, зарытыми в Монфермейльском лесу. Он надеялся в один прекрасный день где-нибудь под деревом найти в земле клад, а в ожидании этого не прочь был пошарить в карманах прохожих.

Однако теперь он держался осторожно. Ему только недавно удалось выйти сухим из воды. Как мы знаем, он был захвачен вместе с другими бандитами в лачуге Жондрета. Иногда порок может пригодиться. Башку спасло то, что он был пьяницей. Никто так и не мог разобраться, грабитель он или ограбленный. Ввиду вполне доказанной его невменяемости в

вечер грабежа дело было прекращено, и его отпустили. Он опять вырвался на волю. Возвратившись на тот же дорожный участок между Ганьи и Ланьи, он снова принялся бить щепень для казны под наблюдением начальства, понурый, озабоченный, слегка охладев к воровскому ремеслу, которое едва его не сгубило, но зато еще более пристрастившись к вину, которое вызволило его из беды.

Что же так сильно взволновало Башку после его возвращения под дерновую кровлю своей землянки? А вот что.

Однажды утром, незадолго до рассвета, выйдя, как обычно, на место работы, возможно, служившее ему и местом засады, Башка заметил в зарослях человека, который, хотя был виден только со спины, показался ему, несмотря на расстояние и предрассветный сумрак, не совсем незнакомым. Башка, правда,пил горькую, однако обладал точной и ясной памятью – необходимым защитным оружием всякого, кто не очень-то ладит с правопорядком.

– Где, черт возьми, я видел этого старикана? – спрашивал он себя.

И ничего не мог ответить, кроме того, что фигура эта напоминала кого-то, кто оставил неясный след в его памяти.

Башка, оставив в стороне сходство, которое ему никак не удавалось установить, принялся соображать и сопоставлять. Человек этот явно нездешний. Он откуда-то прибыл. Очевидно, пешком. Ни один дилижанс не проезжает через Монфермейль в такие часы. Значит, он шел целую ночь. Откуда он явился? Не издалека, так как у него не было с собой ни котомки, ни узла. Наверно, из Парижа. Почему он забрался в лес? Да еще в такую раннюю пору? Чего ему тут нужно?

Башка подумал о кладе. Порывшись в памяти, он смутно припомнил, что много лет назад его охватило такое же беспокойство при виде одного человека. А вдруг это тот же самый!

Раздумывая таким образом, он опустил голову под грузом размышлений, что было естественно, но не слишком предусмотрительно. Когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец исчез в чаще, в предрассветном тумане.

– Черт меня подери, если я его провороню! – воскликнул Башка – Уж я разыщу молельню этого ханжи. Неспроста он вышел на прогулку ни свет ни заря, у ж я-то дознаюсь, в чем тут загвоздка. В моем лесу не бывало еще тайны, которой бы я не распутал.

Башка схватил свою острую кирку.

– Пригодится и в земле поковырять и человека ковырнуть, – проворчал он.

Словно связав нить с нитью, он, стараясь как можно лучше угадать предполагаемый путь незнакомца, начал пробираться сквозь заросли.

Не успел он сделать и сотни шагов, как разговарившийся рассвет пришел ему на помощь. Там и сям виднелись отпечатки подошв на песке, примятая трава, растоптанный вереск, согнутые молодые ветки кустарника, распрямлявшиеся с медлительной грацией красавицы, которая потягивается, просыпаясь, – все это были верные приметы. Он долго шел по следу, потом потерял его. Время уходило. Он углубился в лес и вышел на пригорок. Охотник, проходивший на заре по дальней тропинке, насвистывая песенку Гильери, навел его на мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои годы, он был очень ловок. Поблизости стоял высокий бук, достойный Титира и Башки. Башка вскарабкался на дерево, как только мог выше.

Это была превосходная мысль. Оглядывая лесную глушь, в той стороне, где деревья превращаются в непроходимую чащу, Башка вдруг опять увидел человека.

Едва он успел его заметить, как снова потерял из виду.

Незнакомец вышел, или, вернее, проскользнул, на довольно отдаленную прогалину, скрытую густыми деревьями, которую Башка очень хорошо знал, так как приметил там, возле большой кучи известняка, большое каштановое дерево с цинковым кольцом на пораженном стволе, прибитым гвоздями прямо к коре. Это та самая полянка, что в старину называли «прогалиной Бларю». Груда камней, неизвестно для чего предназначенная и лежавшая там

еще лет тридцать назад, верно, и теперь на том же месте. Ничто не может сравниться по долговечности с кучей камней, кроме разве деревянного забора. Возникают они на время – лучший предлог, чтобы остаться надолго!

Обрадованный Башка поспешно слез с дерева, вернее – скатился. Логово было открыто, оставалось изловить зверя. Вероятно, там же был и пресловутый клад, о котором он так долго мечтал.

Добраться до полянки было вовсе нелегким делом. По протоптанным стежкам, которые извивались, делая тысячу досадных поворотов, пришлось бы идти добрых четверть часа. Если же продираться напрямик сквозь густые заросли, на редкость колючие и цепкие в этих местах, надо было потратить целых полчаса. Вот чего Башка не сумел сообразить. Он доверился прямой линии – это вполне допустимый обман зрения, однако он губит многих людей. Чаща, как ни была она непроходима, показалась ему верной дорогой.

– Махнем по волчьему проспекту Риволи, – сказал он себе.

Привыкнув ходить окольными путями, Башка на сей раз ошибся, пойдя напрямик.

Он решительно ринулся в драку с кустарником.

Ему пришлось схватиться с диким терновником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом, с сердитой ежевикой. Он был весь исцарапан.

На дне овражка оказалась вода, которую пришлось переходить вброд.

Наконец, минут через сорок он добрался до прогалины Бларю, весь в поту, мокрый, запыхавшийся, исцарапанный, рассвирепевший.

На прогалине никого не было.

Башка бросился к груде камней. Она лежала на прежнем месте. Никто ее не уносил.

А человек исчез в лесу. Он сбежал. Куда? В какую сторону? В какой чаще он скрылся?

Угадать было невозможно.

Но вот что поразило его в самое сердце: за кучей камней, у подножия дерева с цинковым кольцом, он увидел свежевырытую землю, забытый или брошенный заступ и глубокую яму. Яма была пуста.

– Ограбили! – закричал Башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому.

Глава вторая.

После войны гражданской Мариус готовится к войне домашней

Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. Несколько недель у него продолжалась лихорадка с бредом и довольно серьезные мозговые явления, вызванные скорее сотрясением от ран в голову, чем самими ранами.

Ночи напролет он твердил имя Козетты с мрачной настойчивостью горячечного больного, со зловещим упорством умирающего. Некоторые раны угрожали серьезной опасностью, ибо нагноение широкой раны легко может распространиться и под влиянием известных атмосферных условий привести к смертельному исходу. Поэтому малейшая перемена погоды, грозы беспокоили доктора. «Главное, чтобы раненый ни в коем случае не волновался», – повторял он. перевязки были сложным и трудным делом – в то время еще не изобрели способа скреплять липким пластырем повязки и бинты. Николетта изорвала на корпию целую простыню «шириной с потолок», как она выражалась. И лишь с большим трудом, при помощи примочек из хлористого раствора и прижигания ляписом, удалось справиться с гангреной. Пока Мариусу угрожала опасность, убитый горем Жильнорман не отходил от изголовья внука и, подобно Мариусу, был ни жив ни мертв.

Каждый день, а то и по два раза в день почтенный седой господин, очень прилично одетый, по описанию привратника, приходил справляться о самочувствии раненого и оставлял толстый пакет корпии для перевязок.

Наконец 7 сентября, день в день, ровно через четыре месяца после той ужасной ночи, когда умирающего принесли в дом деда, врач объявил, что теперь ручается за его жизнь. Началось выздоровление. Однако Мариусу предстояло еще месяца два провести полулежа на кушетке из-за осложнений, вызванных переломом ключицы. В подобных случаях обычно остается последняя рана, которая не хочет заживать, что бесконечно затягивает перевязки, к великому огорчению больного.

Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли Мариуса от преследования. Во Франции всякий гнев, даже гнев народный, остывает по прошествии полугода. При тогдашнем настроении умов участие в мятежах было явлением до такой степени распространенным, что на это поневоле приходилось закрывать глаза.

Добавим, что беспримерный приказ префекта Жиске, предписывавший врачам выдавать раненых полиции, возмутил не только общественное мнение, но даже самого короля, и для раненых это всеобщее негодование послужило лучшей защитой и охраной; за исключением тех, кто был захвачен на поле боя, военные трибуналы не осмелились никого привлекать к ответственности. Поэтому Мариуса оставили в покое.

Жильнорман прошел все стадии отчаяния, а затем бурной радости. Его с большим трудом отговорили проводить возле раненого ночи напролет; он велел поставить свое большое кресло рядом с постелью Мариуса; он требовал, чтобы дочь употребила на компрессы и бинты самое лучшее белье, какое было в доме. Мадмуазель Жильнорман, как особа рассудительная и умудренная годами, нашла способ припрятать тонкое белье, оставив старика в убеждении, что его приказание исполнено. Жильнорман и слышать не хотел, будто грубый холст пригоднее для корпии, чем батист, и изношенное полотно лучше нового. Он неизменно присутствовал при перевязках, во время которых девица Жильнорман стыдливо удалялась «Ай! Ай!» – вскрикивал он, когда при нем отрезали ножницами омертвелую ткань. Трогательно было видеть, как он протягивал раненому чашку с лекарственным питьем своей дрожащей старческой рукой. Он забрасывал доктора вопросами, не замечая, что постоянно задает одни и те же.

В тот день, когда врач объявил, что Мариус вне опасности, старик совсем обезумел от счастья. На радостях он подарил привратнику три луидора. Вечером в своей спальне он протанцевал гавот, прищелкивая пальцами вместо кастаньет и напевая песенку:

*Жанна родом из Бордо,
Всех пастушек там гнездо.
Если Жанну видел раз, Ты увяз.
Плут Амур в нее вселился,
В глазках Жанны притаился,
Там раскинул сеть хитрец
Для сердец.
Как Диану, я пою
Жанну резвую мою.
С Жанной век свой коротать —
Благодать.*

После этого Жильнорман преклонил колени на скамеечке, и Баску, который следил за ним через полуоткрытую дверь, слышалось, будто он молится.

До этих пор он совсем не верил в бога.

При каждом новом признаке выздоровления, все более и более несомненного, старец становился все сумасброднее. Он совершал множество беспричинных поступков, ища выхода для своей бурной радости, бегал вверх и вниз по лестницам, сам не зная, зачем. Одна из соседок, правда, прехорошенькая, как-то утром была совершенно поражена, получив

огромный букет цветов, его прислал Жильнорман. Муж устроил ей сцену ревности. Жильнорман даже порывался сажать к себе на колени Николетту. Он называл Мариуса «господином бароном». Он кричал: «Да здравствует республика!»

Каждую минуту он приставал к доктору с вопросом: «Не правда ли, опасность миновала?» Он смотрел на Мариуса с нежностью бабушки. Он боялся дохнуть, когда Мариуса кормили. Он не помнил себя, не считался с собой. Хозяином дома был Мариус; радость старика была похожа на самоотречение, он стал внуком своего внука.

При всем сумасбродстве, это было самое благонравное дитя на свете. Боясь утомить или наскучить выздоравливающему, он становился позади него и молча ему улыбался. Он был доволен, весел, счастлив, обворожителен, он помолодел. Седые волосы придавали его сияющему лицу кроткое величие. Когда радость озаряет лицо, изборожденное морщинами, она достойна преклонения. В улыбке старости есть отсвет утренней зари.

А Мариус, не противясь перевязкам, рассеянно принимал заботы о себе и был поглощен одной лишь мыслью – о Козетте.

С тех пор как бред и лихорадка прекратились, он больше не произносил ее имени, и могло показаться, будто он перестал о ней думать. На самом же деле он молчал именно потому, что душа его была с нею.

Он не знал, что случилось с Козеттой; все происшедшее на улице Шанврери представлялось ему, как в тумане; в его памяти всплывали неясные тени – Эпонины, Гаврош, Мабеф, семья Тенардые, все его товарищи; окутанные зловещим дымом баррикады; странное появление Фошлевана в этой кровавой сече казалось ему загадкой, промелькнувшей сквозь бурю; не понимал он также, почему сам остался в живых, не знал, кто спас его и каким образом, и ничего не мог добиться от окружающих; ему сообщили только, что ночью его привезли в карете на улицу Сестер страстей господних; прошедшее, настоящее, будущее – все превратилось в смутное, туманное воспоминание, но среди этой мглы была одна незыблемая точка, четкий и определенный план, нечто твердое, как гранит, одно решение, одно желание – найти Козетту. Мысль о жизни и мысль о Козетте были неотделимы в его сознании. Он положил в своем сердце, что не примет одну без другой, и от всякого, кто пытался бы заставить его жить, – будь то его дед, судьба или самый ад, – он бесповоротно решил требовать возвращения потерянного рая.

Препятствий он от себя не скрывал.

Отметим одно обстоятельство: заботы и ласки деда несколько не смягчили Мариуса и даже мало растрогали. Во-первых, он знал далеко не все; кроме того, в своем болезненном, быть может еще лихорадочном, состоянии, он не доверял этим нежностям, как чему-то странному и новому, имеющему цель подкупить его. Он держался холодно. Дед понапрасну расточал ему жалкие старческие улыбки. Мариус внушал себе, что все идет мирно только до поры до времени, пока он молчит и подчиняется; но стоит ему заговорить о Козетте, как дед покажет свое настоящее лицо и сбросит маску. Тогда разразится жестокая буря; снова встанет вопрос о ее семье, о неравенстве общественного положения, посыплется целый град насмешек и упреков, «Фошлеван», «Кашлеван», богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущность. Яростное сопротивление, и в итоге – отказ. Мариус заранее готовился к отпору. И затем, по мере того как жизнь возвращалась к нему, в его памяти всплывали прежние обиды, раскрывались старые раны, вспоминалось прошлое, и между внуком и дедом снова становился полковник Понмерси; Мариус говорил себе, что нечего ждать истинной доброты от человека, который был так жесток и несправедлив к его отцу. И вместе с выздоровлением в нем росла неприязнь к деду. Старик терпел это с кроткой покорностью.

Жильнорман отметил про себя, что Мариус, с тех пор как его принесли к нему в дом и он пришел в сознание, еще ни разу не назвал его отцом. Правда, он не именовал его и «сударь», но строил фразы таким образом, что ухитрялся избегать всякого обращения.

Явно назревал кризис.

Как обычно бывает в таких случаях, прежде чем вступить в бой, Мариус испытал себя в мелких стычках. На войне это называется разведкой. Однажды утром Жильнорману, по поводу попавшейся ему под руку газеты, вздумалось отозваться с пренебрежением о Конвенте и изречь роялистскую сентенцию насчет Дантона, Сен-Жюста и Робеспьера.

– Люди девяносто третьего года были титанами, – сурово отрезал Мариус.

Старик умолк и до самого вечера не проронил ни слова.

Мариус помнил сурового деда своих детских лет, и он счел это молчание за глубокий сдержанный гнев и, предвидя ожесточенную борьбу, тем упорнее начал мысленно готовиться к предстоящему сражению.

Он твердо решил, что в случае отказа сорвет все повязки, снова сломает ключицу, разбередит не зажившие раны и откажется от пищи. Раны были его оружием. Завоевать Козетту или умереть.

Он стал выжидать благоприятной минуты с угрюмым терпением больного.

Эта минута наступила.

Глава третья. Мариус идет на приступ

Однажды Жильнорман, пока его дочь приводила в порядок склянки и пузырьки на мраморной доске комода, наклонился к Мариусу и сказал самым ласковым своим тоном:

– Знаешь, мой мальчик, на твоем месте я больше налегал бы теперь на мясо, чем на рыбу.

Жареная камбала отличная еда при начале выздоровления, но, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлета.

Силы Мариуса почти совсем восстановились; он собрался с духом, сел на своем ложе, оперся стиснутыми кулаками на постель, взглянул деду прямо в глаза и заявил с угрожающим видом:

– По этому поводу я должен вам кое-что сказать.

– Что такое?

– Дело в том, что я намерен жениться.

– Это уже предусмотрено, – отвечал дедушка, разражаясь хохотом.

– Как предусмотрено?

– Так, предусмотрено. Девчурка будет твоей.

Мариус задрожал от радости.

Жильнорман продолжал:

– Ну да, бери ее, свою прелестную милую девочку. Она приходит каждый день под видом старого господина справляться о твоём здоровье. С тех пор как тебя ранили, она только и делает, что плачет и щиплет корпию. Я наводил справки. Она живет на улице Вооруженного человека, номер семь. Ага, вот мы и договорились! Ты хочешь жениться на ней? Отлично, женись. Попался, голубчик! Ты задумал целый заговор, ты говорил себе: «Я все объявлю напрямик деду, этой мумии времен Регентства и Директории, этому бывшему красавцу, этому Доранту, обратившемуся в Жеронта; и у него были когда-то свои интрижки и страстишки, свои гризетки, свои Козетты; и он пощеголял в свое время, и он парил в небесах, и он вкусил от плодов весны; хочет не хочет, а придется ему вспомнить об этом. Увидим тогда. Дадим бой!» Ах, ты решил взять быка за рога! Хорошо же. Я предлагаю тебе котлетку, а ты отвечаешь: «Да, кстати, я хочу жениться». Ну и переход! Ага, ты ожидал перепалки? Ты и не знал, что я старый плут. Что ты на это скажешь? Тебе досадно. Ты никак не ожидал, что дедушка еще легкомысленнее тебя. Твоя блестящая, заранее заготовленная речь пропала даром, господин адвокат, как обидно! Тем лучше, бесись на здоровье. Я делаю все по-твоему, и это затыкает тебе рот, глупец. Послушай. Я наводил справки, ведь я тоже себе на уме; она очаровательна, она благодетельна, про улана – все враки; она нащипала целую

кучу корпии, это настоящее сокровище, и она обожает тебя. Если бы ты умер, нас хоронили бы всех троих, ее гроб несли бы вслед за моим. С тех пор как тебе стало лучше, мне даже приходила мысль попросту пристроить ее у твоего изголовья; но ведь только в романах девиц так вот, без церемоний, приводят к постели раненых красавцев, которые им нравятся. В жизни так не бывает. Что бы сказала твоя тетушка? Ты ведь почти все время лежал совсем голый, дружище. Спроси у Николетты, она не оставляла тебя ни на минуту, можно ли было пускать сюда женщин? Да и что сказал бы доктор? Красивая девица – уж никак не лекарство от лихорадки. Ладно, все равно не будем больше говорить об этом: все сказано, сделано, кончено, бери ее. Вот какой я изверг! Я чувствовал, видишь ли, что ты меня невзлюбил, и я сказал себе: «Что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина полюбила меня снова?» И подумал: «Стой-ка, у меня ведь есть под рукой крошка Козетта, подарю-ка ему ее, авось он полюбит меня тогда или хоть скажет, в чем я провинился». Ах, ты решил, что старик будет рвать и метать, бесноваться, топтать ногами, замахиваться палкой на эту алую зарю? Ничуть не бывало. Козетта – согласен; любовь – пожалуйста! Ничего лучшего мне не надо. Женитесь, сударь, сделайте милость. Будь счастлив, милое мое дитя!

С этими словами старик расплакался.

Обхватив голову Мариуса, он прижал ее обеими руками к своей старческой груди, и оба зарыдали. В этом находит иногда свое выражение высшее счастье.

– Отец! – воскликнул Мариус.

– Ага, значит, ты любишь меня! – прошептал старик.

Это были незабываемые мгновения. Оба задыхались от слез и не могли говорить.

– Ну вот, – пролепетал, наконец, дедушка, – разродился-таки! Сказал мне: «отец»!

Мариус высвободил свою голову из объятий деда и тихонько спросил:

– Отец! Но ведь теперь я совсем здоров, теперь мне можно с ней повидаться?

– Это тоже предусмотрено, ты увидишь ее завтра.

– Отец!

– Ну что?

– Почему не сегодня?

– Ну что же, ничего не имею против. Пускай сегодня! Три раза подряд ты называл меня отцом, это ведь чего-нибудь да стоит. Сейчас я распоряжусь. Тебе ее приведут. Все предусмотрено, говорят тебе. Вся эта история уже была когда-то воспета в стихах. В развязке элегии Больной юноша Андре Шенье, того Андре Шенье, которого зарезали эти разбойники... то есть эти титаны девяносто третьего года.

Жпльнорману показалось, будто Мариус слегка нахмурился, хотя, по правде сказать, Мариус, витая в облаках, совсем не слушал его и думал гораздо больше о Козетте, чем о девяносто третьем годе. Трепеща от страха, что так некстати упомянул Андре Шенье, дедушка тотчас спохватился:

– Зарезали – не то слово. Дело в том, что великие гении революции, которые, бесспорно, никакие не злодеи, а, честное слово, – истинные герои... нашли, что Андре Шенье немного мешает им, и решили его гильотин... Вернее сказать, эти великие люди в интересах общественного блага седьмого термидора предложили Андре Шенье отправиться ко всем... Поперхнувшись собственными словами, Жильнорман запнулся, не умея ни закончить фразы, ни взять ее обратно, и, пока его дочь поправляла за спиной Мариуса подушки, растерянный, взволнованный старик выбежал из спальни со всей быстротой, на какую был способен в свои годы, захлопнул за собою дверь и весь красный, взбешенный, задыхающийся, с выпученными глазами, налетел прямо на Баска, который мирно чистил сапоги в прихожей. Он схватил Баска за шиворот и яростно крикнул ему в лицо:

– Тысяча чертей! Эти разбойники уколошили его?

– Кого, сударь?

– Андре Шенье.

– Так точно, сударь, – ответил перепуганный Баск.

Глава четвертая.

Мадмуазель Жильнорман примиряется с тем, что Фошлеван вошел с пакетом под мышкой

Козетта и Мариус, наконец, свиделись.

Какова была эта встреча, мы не в силах описать. Есть многое, чего не стоит и пытаться изобразить, в том числе солнце.

В ту минуту, когда вошла Козетта, в спальне Мариуса собралось все семейство, включая Баска с Николеттой.

Она появилась на пороге; казалось, ее окружало сияние.

Как раз в это время дедушка собирался сморкаться, он замер, уткнув нос в платок и глядя на Козетту исподлобья.

– Обворожительно! – воскликнул он.

И оглушительно высморкался.

Козетта была полна восхищения, упоения, трепета, блаженства. Она оробела, как только можно оробеть от счастья. Она что-то лепетала, то бледнея, то краснея, готова была броситься в объятия Мариуса и не решалась. Она стыдилась выразить свою любовь при всех. Мы безжалостны к влюбленным мы торчим рядом, когда им больше всего хочется остаться наедине. Ведь в сущности им никого не нужно.

Вместе с Козеттой, держась позади нее, в комнату вошел серьезный седовласый господин, улыбавшийся какой-то странной, горькой улыбкой. То был «господин Фошлеван»; то был Жан Вальжан.

Он был «очень прилично одет», как и говорил привратник, – во все черное, во все новое, с белым галстуком на шее.

Привратнику и в голову бы не пришло опознать в этом почтенном буржуа, вероятно нотариусе, страшного носильщика трупов, который в ночь на 7 июня появился перед его дверью оборванный, черный, ужасный, дикий, с лицом, испачканным кровью и грязью, поддерживая бездыханного Мариуса; тем не менее что-то пробудило его профессиональный нюх. Увидев Фошлевана с Козеттой, привратник не мог удержаться, чтобы тихонько не поделиться с женой: «Не знаю почему, мне все мерещится, будто я где-то уже видел это лицо».

В спальне Мариуса Фошлеван стоял в сторонке, у двери. Он держал под мышкой пакет, похожий на том в восьмую долю листа, обернутый в бумагу. Обертка была зеленоватого цвета – казалось, она была покрыта плесенью.

– Этот господин всегда таскает книги под мышкой? – шепотом спросила у Николетты девица Жильнорман, которая терпеть не могла книг.

– Что ж тут такого? – возразил Жильнорман тоже шепотом. – Это ученый. Ну и что же? Чем он виноват? Господин Булар, которого я знавал, тоже никогда не выходил из дому без книги и вечно прижимал к сердцу какой-нибудь фолиант.

Приветствуя гостя, он проговорил уже громко:

– Господин Кашлеван...

Старик Жильнорман сделал это не нарочно – просто ему была свойственна аристократическая манера путать фамилии.

– Господин Кашлеван! Имею честь просить у вас руки мадмуазель для моего внука, барона Мариуса Понмерси.

«Господин Кашлеван» поклонился.

– По рукам, – заключил дед.

Повернувшись к Мариусу и Козетте, он воздел обе руки для благословения и воскликнул:
– Отныне можете обожать друг друга!

Они не заставили повторять себе это дважды. Пеняйте на себя! Началось воркованье. Они разговаривали вполголоса – Мариус, полулежа на своей кушетке, Козетта, стоя около него.
«О, господи! – шептала Козетта. – Наконец-то я вас вижу! Это ты! Это вы! Подумать только, пойти туда сражаться! Зачем? Это ужасно. Целых четыре месяца я умирала со страху. Как жестоко было с вашей стороны пойти в бой! Что я вам сделала? Я прощаю вам, но больше так не поступайте. Когда пришли, чтобы пригласить нас сюда, я опять чуть не умерла, только уже от радости. Я так тосковала! Я даже не успела приодеться; должно быть, у меня ужасный вид. Что скажут ваши родные, увидев мой смятый воротничок? Да говорите же! Все время говорю только я одна. Мы по-прежнему живем на улице Вооруженного человека. С вашим плечом, кажется, было ужас что такое? Мне говорили, что в рану можно было засунуть целый кулак. А потом, кажется, вам резали тело ножницами. Как страшно! Я так плакала, я все глаза выплакала! Даже смешно, что можно столько вынести. У вашего дедушки очень доброе лицо. Не двигайтесь так, не опирайтесь на локоть, осторожнее, вам будет больно. О, как я счастлива! Наконец-то кончились наши страдания. Я стала совсем дурочкой. Я хотела столько вам сказать и все перезабыла. Вы меня любите? По-прежнему? Мы живем на улице Вооруженного человека. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Взгляните, сударь; я натерла мозоль на пальце, это по вашей вине».

– Ангел! – прошептал Мариус.

«Ангел» – единственное слово, которое не может поблекнуть. Никакое другое слово не выдержало бы тех безжалостных повторений, к каким прибегают влюбленные.

Затем, смущенные присутствием посторонних, они замолкли и, не произнося больше ни слова, тихонько пожимали друг другу руки.

Повернувшись ко всем находившимся в комнате, Жильнорман крикнул:

– Да говорите же громче, эй вы, публика! Шумите, изображайте гром за сценой. Ну, погалдите немножко, черт возьми, дайте же детям поболтать всласть!

Подойдя к Мариусу с Козеттой, он сказал им тихонько:

– Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь.

Тетушка Жильнорман растерянно взидала на этот луч света, внезапно вторгшийся в ее тусклый старушечий мирок. В удивлении ее не было ничего враждебного, ничего общего с негодующим, завистливым взглядом совы, устремленным на двух голубков. То был глуповатый взор бедной пятидесятисемилетней старой девы: неудавшаяся жизнь созерцала торжествующий расцвет любви.

– Девица Жильнорман старшая! – сказал ей отец. – Я давно тебе предсказывал, что ты до этого доживешь.

Он помолчал с минуту и добавил:

– Любуйся теперь чужим счастьем.

Потом повернулся к Козетте:

– До чего же она красива! До чего хороша! Настоящий Грез! И все это достанется тебе одному, повеса! Ах, мошенник, ты дешево отделался от меня, тебе повезло! Будь я на пятнадцать лет моложе, мы бились бы с тобой на шпагах, и неизвестно, кому бы она еще досталась. Слушайте, я просто влюблен в вас, мадмуазель! В этом нет ничего удивительного. Ваше право пленять сердца. Ах, какая прелестная, чудная, веселая свадьба у нас будет! Наш приход – это церковь святого Дионисия, но я выхлопочу вам разрешение венчаться в приходе святого Павла. Там церковь лучше. Ее построили иезуиты. Она гораздо наряднее. Это против фонтана кардинала Бирага. Лучший образец архитектуры иезуитов находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам непременно нужно туда съездить, когда вы обвенчаетесь. Туда стоит прокатиться. Я всецело на вашей стороне, мадмуазель, я хочу, чтобы девушки выходили замуж, для того они и созданы. Пусть все юные девы идут по стопам праматери

Евы – вот мое пожелание. Остаться в девицах весьма похвально, но тоскливо! В Библии сказано: «Размножайтесь». Чтобы спасти народы – нужна Жанна д'Арк, но чтобы плодить народы – нужна матушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы! Право, не понимаю, зачем оставаться в девках? Я знаю, у них отдельные молельни в церквях и они вступают в общину Пресвятой Девы; но, черт побери, все-таки красивый муж, славный парень, а через год толстенький белокурый малыш с аппетитными складочками на пухлых ножках, который весело сосет грудь, теребит ее своими розовыми лапками и улыбается, как светлая заря, – это гораздо лучше, чем торчать у вечерни со свечой и распевать *Turtis eburnea*.¹⁴⁴ Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и зачастил с быстротой развертывающейся пружины:

*Твоих мечтаний круг я замыкаю так;
Ах, и ты! Поистине ты скоро вступишь в брак!*

- Да, кстати!
- Что, отец?
- У тебя был, кажется, закадычный друг?
- Да, Курфейрак.
- Что с ним случилось?
- Он умер.
- Это хорошо.

Он уселся рядом с влюбленными, усадил Козетту и соединил их руки в своих морщинистых старческих руках.

– Она восхитительна, прелестна. Она просто совершенство, эта самая Козетта! Настоящий ребенок и настоящая знатная дама. Жаль, что она будет всего только баронессой, это недостойно ее – она рождена маркизой. Одни ресницы чего стоят! Дети мои, зарубите себе на носу, что вы на правильном пути. Любите друг друга. Глупейте от любви. Любовь-это глупость человеческая и мудрость божия. Обожайте друг друга. Но только экая беда! – добавил он, вдруг помрачнев. – Я вот о чем думаю. Ведь большая часть моего состояния в ренте; пока я жив, на нас хватит, но после моей смерти, лет эдак через двадцать, у вас не будет ни гроша, бедные детки. Вашим прелестным беленьким зубкам, госпожа баронесса, придется оказать честь сухой корочке.

В эту минуту раздался чей-то спокойный, серьезный голос:

– У мадмуазель Эфрази Фошлеван имеется шестьсот тысяч франков.

Это был голос Жана Вальжана.

До сих пор он не произнес ни слова; никто, казалось, даже не замечал его присутствия, и он стоял молча и неподвижно, держась поодаль от всех этих счастливых людей.

– Кто такая мадмуазель Эфрази? – спросил озадаченный дед.

– Это я, – сказала Козетта.

– Шестьсот тысяч франков? – переспросил Жильнорман.

– На четырнадцать или пятнадцать тысяч меньше, быть может, – уточнил Жан Вальжан.

Он выложил на стол пакет, который тетушка Жильнорман приняла было за книгу.

Жан Вальжан собственноручно вскрыл пакет. Это была пачка банковых билетов. Их просмотрели и пересчитали. Там было пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят восемь по пятьсот. Итого пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

– Ай да книга! – воскликнул Жильнорман.

– Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! – прошептала тетушка.

¹⁴⁴ Башня слоновой кости (лат.)

– Это улаживает многие затруднения, не так ли, мадмуазель Жильнорман старшая? – заговорил дед. – Этот чертов плут Мариус изловил на древе мечтаний пташку-миллионершу! Вот и верьте после этого бескорыстной любви молодых людей! Студенты находят возлюбленных с приданым в шестьсот тысяч франков. Керубино загребает деньги не хуже Ротшильда.

– Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! – бормотала вполголоса мадмуазель Жильнорман. – Пятьсот восемьдесят четыре! Почти что шестьсот тысяч! Каково? А Мариус и Козетта глядели друг на друга; они почти не обратили внимания на такую мелочь.

Глава пятая.

Лучше поместить капитал в лесу, чем у нотариуса

Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться в пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шанматье, за несколько дней удалось добраться до Парижа и вовремя вынуть из банкирского дома Лафита капитал, нажитый им под именем господина Мадлена в Монрейле Приморском, и что затем, боясь быть пойманным – а это действительно и случилось вскоре, – он спрятал и закопал эти деньги в Монфермейльском лесу, на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма – шестьсот тридцать тысяч франков, целиком в банковых билетах, – была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке; однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище – подсвечники епископа. Как мы помним, он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монрейля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил Башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в только ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними; его-то и видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство заступ. На самом деле сумма составляла пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот франков. Жан Вальжан отложил пятьсот франков для себя. «Там видно будет», – подумал он. Разница между этой суммой и шестьюстами тридцатью тысячами франков, вынутыми из банка Лафит, объяснялась расходами за десять лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только пять тысяч франков.

Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели к великому восхищению Тусен.

Заметим кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем, – и он нашел тому подтверждение в газете «Монитор», опубликовавшей это происшествие, – что полицейский инспектор по имени Жавер был найден утонувшим под плотом прачек между мостами Менял и Новым и что записка, которую оставил этот человек, до тех пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийство. «В самом деле, – подумал Жан Вальжан, – если, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он был уже не в своем уме».

Глава шестая.

Оба старика, каждый на свой лад, прилагают все старания, чтобы Козетта была счастлива

Все было приготовлено для свадьбы. По мнению врача, с которым посоветовались, она могла состояться в феврале. Стоял декабрь. Протекло несколько восхитительных недель безмятежного счастья.

Дедушка был едва ли не самым счастливым из всех. Целые часы он проводил, любуясь Козеттой.

– Очаровательница! Красотка! – восклицал он. – Такая нежная, такая кроткая! Клянусь честью, это самая прелестная девушка, какую я видел в жизни. В этой благоуханной фиалочке таятся все женские добродетели. Это сама Грация, право! С таким созданием надо жить по-княжески. Мариус, мой мальчик, ты барон, ты богат, умоляю тебя: брось сутяжничать!

Козетта и Мариус вдруг попали из могилы прямо в рай. Переход был слишком внезапным и потряс бы их, если бы они не были опьянены счастьем.

– Ты что-нибудь понимаешь? – спрашивал Мариус у Козетты.

– Нет, – отвечала Козетта. – Но мне кажется, что сам господь смотрит на нас с высоты.

Жан Вальжан все сделал, все уладил, обо всем условился, устранил все препятствия. Он торопился навстречу счастью Козетты с тем же нетерпением и, казалось, с тою же радостью, как сама Козетта.

Как бывший мэр, он сумел разрешить один щекотливый вопрос, тайна которого была известна ему одному, – вопрос о гражданском состоянии Козетты. Открыть правду о ее происхождении? Как знать! Это могло бы расстроить свадьбу. Он избавил Козетту от всех трудностей. Он изобрел ей родню из покойников – верный способ избежать разоблачений. Козетта оказалась последним отпрыском угасшего рода; Козетта не его дочь, а дочь другого Фошлевана, его брата. Оба Фошлевана служили садовниками в монастыре Малый Пикпюс. Съездили в этот монастырь; оттуда были получены наилучшие сведения и множество самых лестных рекомендаций. Добрые монахины, мало смыслившие и не склонные разбираться в вопросах отцовства, не подозревали обмана; они никогда толком не знали, кому именно из двух Фошлеванов приходилась дочерью маленькая Козетта. Они подтвердили, очень охотно, все, что от них требовалось. Был составлен нотариальный акт. Козетта стала законно называться мадмуазель Эфрази Фошлеван. Она была объявлена круглой сиротой. Жан Вальжан устроил так, что под именем Фошлевана стал опекуном Козетты, а Жильнорман был назначен ее вторым опекуном.

Что касается пятисот восьмидесяти четырех тысяч франков, они были якобы отказаны Козетте по завещанию лицом, которое пожелало остаться неизвестным. Первоначально наследство составляло пятьсот девяносто четыре тысячи франков; но десять тысяч франков были истрачены на воспитание мадмуазель Эфрази, из коих пять тысяч франков уплачены в упомянутый монастырь. Это наследство, врученное третьему лицу, должно было быть передано Козетте по достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. Все в целом было, как мы видим, вполне приемлемо, в особенности учитывая приложение в виде полумиллиона с лишком. Правда, здесь были кое-какие странности, но на них никто не обратил внимания; одному из заинтересованных лиц застилала глаза любовь, другим – шестьсот тысяч франков.

Козетта узнала, что она не родная дочь старику, которого так долго называла отцом. Это только родственник, а настоящий ее отец-другой Фошлеван. В другое время это открытие причинило бы ей глубокое горе, но в те несказанно счастливые минуты оно лишь ненадолго, мимолетной тенью омрачило ее душу; вокруг было столько радости, что это облачко скоро рассеялось. У нее был Мариус. Приходит юноша, и старика забывают, – такова жизнь. Кроме того, Козетта привыкла с давних лет к окружавшим ее загадкам, всякое существо, чье детство окутано тайной, всегда в известной мере готово к разочарованиям.

Однако она по-прежнему называла Жана Вальжана отцом. Козетта, на седьмом небе от счастья, была в восторге от старика Жильнормана. Тот осыпал ее подарками и мадригалами. Пока Жан Вальжан старался создать Козетте прочное общественное положение и закрепить за ней ее состояние, Жильнорман хлопотал об ее свадебной корзинке. Ничто так не забавляло старика, как одарять ее щедрой рукой. Он подарил Козетте платье из бельгийского гипюра, доставшееся ему еще от его бабки. «Моды возрождаются, – говорил он, – теперь все помешаны на старинных вещах, я вижу на старости лет, что молодые дамы одеваются так же, как одевались старушки во времена моего детства».

Он опустошал почтенные толстобокие комоды лакированного коромандельского дерева, которые не отпирались много лет. «Ну-ка, поисповедуем этих вдовушек, – приговаривал он, – посмотрим, что у них в брюхе». Он с треском выдвигал пузатые ящики, набитые нарядами всех его жен, всех его любовниц и бабушек. Китайские шелка, штофы, камка, цветной муар, платья из тяжелого сверкающего турецкого шелка, индийские платки, вышитые золотом, не тускнеющим от стирки, штуки шерстяной ткани, одинаковые и с лица и с изнанки, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые уборы, бонбоньерки слоновой кости, украшенные изображением батальных сцен тончайшей работы, наряды, ленты – всем этим он задаривал Козетту. Восхищенная Козетта, упоенная любовью к Мариусу, растроганная и смущенная щедростью старика Жильнормана, грезилась о безграничном счастье среди бархата и атласа. Козетте чудилось, что свадебную корзинку подносят ей серафимы. Душа ее воспаряла в небеса на крыльях из тончайших кружев. Как мы сказали, блаженство влюбленных могло сравниться только с ликованием деда. Казалось, на улице Сестер страстей господних неумолчно гремят трубы.

Каждое утро дедушка подносил Козетте старинные безделушки. Всевозможные украшения сыпались на нее, как из рога изобилия.

Однажды Мариус, который и в эти счастливые дни охотно вел серьезные беседы, сказал по какому-то поводу:

– Деятели революции исполнены такого величия, что даже в наши дни от них исходит обаяние древности, как от Катона или Фокиона; они приводят на память мемуары античных времен.

– Мемуары антич... Муар-антик! – воскликнул дедушка. – Вот спасибо, Мариус, надоумил; это как раз то, что мне нужно.

Наутро к свадебным подаркам Козетты прибавилось роскошное муаровое платье цвета чайной розы.

Дед извлекал из своих тряпок целую философию.

– Любовь – само собой, но нужно еще что-то. Для счастья нужно и бесполезное. Просто счастье – это лишь самое необходимое. Сдобрите же его излишним не скупясь. С милым рай и во дворце. Мне нужно ее сердце и Лувр вдобавок. Ее сердце и фонтаны Версаля. Дайте мне мою пастушку, но, если можно, обратите ее в герцогиню. Приведите ко мне Филиду в васильковом венке и с рентой в сто тысяч франков в придачу. Предложите мне пастушеский шалаш с мраморной колоннадой до горизонта. Я согласен на шалаш, я не прочь и от роскошных палат из мрамора и золота. Счастье всухомятку похоже на черствый хлеб. Он годится на закуску, а не на обед. Я жажду избытка, жажду бесполезного, безрассудного, чрезмерного, всего, что ни на что не нужно. Помнится, мне довелось видеть на Страсбургском соборе башенные часы вышиной с трехэтажный дом, которые отбивали время, вернее удастаивали обозначать время, но, казалось, были созданными совсем не для этого; отзвонив полдень или полночь, полдень – час солнца, полночь – час любви, или любой другой час суток на выбор, они показывали вам месяц и звезды, море и сушу, рыб и птиц, Феба и Фебу и уйму разных разностей, которые появлялись из ниши: тут были и двенадцать апостолов, и император Карл Пятый, и Эпонины, и Сабин, а сверх всего прочего целая орава золоченых человечков, игравших на трубах. А чудесный перезвон, которым они то и дело

оглашали воздух неизвестно по какому поводу? Можно ли сравнить с ними жалкий голый циферблат, который просто-напросто отсчитывает минуты? Я стою за огромные страсбургские часы, я предпочитаю их швейцарским часикам.

Жильнорман особенно любил разглагольствовать по поводу самой свадьбы, и в его славословиях возникали, словно в зеркале, все тени восемнадцатого века вперемешку.

– Вы и понятия не имеете об искусстве устраивать празднества! – восклицал он. – Теперь и повеселиться-то не умеют в день торжества. Ваш девятнадцатый век какой-то дохлый. Ему недостает размаха. Ему недоступна роскошь, недоступно благородство. Он все стрижет под гребенку. Ваше любезное третье сословие безвкусно, бесцветно, безуханно, безобразно. Вот они, мечты ваших буржуазок, когда они, по их выражению, «пристраиваются»: хорошенький будуар, заново обставленный, палисандровая мебель и коленкор. Смотрите, смотрите!

Достопочтенный Скарред женится на девице Сквалыге. Блеск и треск! К свечке прилепили настоящую золотую монету! Вот так эпоха! Я охотно удрал бы от нее к сарматам. Ах, уже в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году я предсказывал, что все погубло, в тот самый день, как увидел, что герцог Роган, принц Леонский, герцог Шабо, герцог Монбазон, маркиз Субиз, виконт Туарский, пэр Франции ехали на скачки в Лоншан в двуколке! И это принесло плоды. В нынешнем веке люди ведут крупные дела, играют на бирже, наживают деньги – и все до одного скряги. Они холят и лелеют себя, наводят на себя блеск: они одеты с иголки, вымыты, выстираны, выскоблены, выбриты, причесаны, вылощены, прилизаны, навощены, начищены, безукоризненны, отполированы, как камешек, этикие разумники, этикие чистюли, и в то же время, – ей-же-ей! – в душе у них такой навоз, такая клоака, что от них шарахнется любая коровница, сморкающаяся в руку. «Нечистоплотная опрятность» – вот какой девиз я жалую вашей эпохе. Не сердись, Мариус, позволь мне отвести душу; как видишь, о народе я не сказал ничего дурного, хоть и сыт им по горло, но разреши мне задать трепку буржуазии. Я и сам из этой породы. Кого люблю, того и бью. Засим скажем прямо хоть нынче и женятся, а сыграть свадьбу не умеют. Право же, я грущу о добрых старых нравах! Я грущу обо всем. Где прежнее изящество, рыцарство, милое, учтивое обхождение, всем доступная, веселящая душу роскошь, где музыка – непременно участница всякой свадьбы: оркестр у знати, трескотня барабанов у народа, – танцы, веселые лица за столом, изысканные мадригалы, песенки, потешные огни, громкий смех, дым коромыслом, пышные банты из лент? Я грущу о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной сродни поясу Венеры. Из-за чего разыгралась Троянская война? Из-за подвязки Елены, черт побери! Почему идет бой, почему Диомед богоравный раскокал на голове Мерионея громадный медный шлем о десяти остриях, почему Ахилл и Гектор протыкают друг друга ударами копья? Потому что Елена дала свою подвязку Парису. Гомер бы создал целую Илиаду из подвязки Козетты. Он воспел бы в поэме старого болтуна вроде меня и назвал бы его Нестором. Друзья мои! В старое время, в наше доброе старое время люди женились с толком: сначала заключали контракт по всей форме, потом закатывали пир на весь мир. Как только удалялся Кюжас, на сцену выступал Камачо. Какого черта! Желудок, славная скотина, требует своего, он тоже хочет покутить на свадьбе! Пировали на славу, и у каждого за столом была прелестная соседка, без всяких там шемизеток, с едва прикрытой грудью! Эх, как громко смеялись, как веселились в старину! Молодежь казалась букетом цветов, каждый юноша украшал себя веткой сирени или пучком роз; будь он даже храбрым воякой, он все равно глядел пастушком, и если, скажем, это был драгунский капитан, он ухитрялся носить имя Флориан. Всем хотелось быть красивыми. Наряжались в вышитое платье, в яркие материи. Буржуа походил на цветок, маркиз – на драгоценный камень. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Молодые люди были щегольски одеты, блестящи, вылощены, ослепительны, воздушны, грациозны, кокетливы – и это не мешало им носить шпагу на боку. Настоящие колибри с коготками и клювом. То была эпоха Галантной Индии. Одной чертой нашего времени было изящество, другой – великолепие, ну и забавлялись же мы, разрази меня бог! Зато нынче вы чопорны до

невозможности. Буржуа скуп, буржуазка жеманна. Экий злосчастный век! Сейчас изгнали бы самих Граций за то, что они слишком декольтированы Увы! Теперь скрывают красоту, словно уродство. После революции все обзавелись панталончиками, даже танцовщицы; любая уличная плясунья корчит недотрогу; ваши танцы скучны, как проповеди. Вы желаете быть величественными. Вам было бы не по себе, если бы ваш подбородок не утопал в галстук. Двадцатилетний молокосос, который женится, мечтает, женясь, походить на Руайе-Коллара. А знаете, к чему приводит вас такого рода величие? К ничтожеству. Запомните: радость не только радостное, но и великое чувство. Да веселитесь же, если вы влюблены, черт вас дери! Коли жениться, так уж жениться, очертя голову, в упоении счастьем, с треском и блеском! Храните серьезность в церкви – согласен. Но как только месса кончилась, пусть все летит к чертям! Надо закружить новобрачную в волшебном вихре. Свадьба должна быть царственной и сказочной. Пусть тянется свадебный поезд от Реймского собора до пагоды Шантлу. Мне противны будничные свадьбы. Клянусь дьяволом, вознеситесь на Олимп, ну хоть на один день! Будьте как боги. Ах, вы могли бы быть сильфами, гениями Игр и Смеха, аргираспидами, а вы просто сопляки! Друзья мои! Каждый новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Воспользуйтесь этой единственной в жизни минутой, чтобы унести на седьмое небо вместе с лебедями и орлами, хотя бы наутро вам пришлось шлепнуться в мещанское лягушечье болото. Не скарעדничайте на празднике Гименея, не подрезайте его роскошных крыльев, не крохоборствуйте в этот лучезарный день. Расходы на свадьбу-это ведь не расходы на хозяйство. Эх, если бы я мог устроить все по своему вкусу, как бы это было изысканно!.. Среди деревьев звенели бы скрипки. Лазурь и серебро – вот моя программа. Я созвал бы на праздник сельские божества, я кликнул бы дриад и нереид. Свадьба Амфитриты, розовая дымка, изящно причесанные обнаженные нимфы, ученый академик, подносящий богине четверостишие, морские чудовища, впряженные в колесницу.

*Питон, трубя в тромбон, на раковине мчался,
И каждый был пленен, и каждый восхищался!*

Вот это празднество! Ай да программа, или я ни черта не понимаю, провалиться мне на этом месте!

Пока дед, изливаясь в лирическом вдохновении, заслушивался сам себя, Козетта и Мариус упивались счастьем, любуясь друг другом без помехи.

Тетушка Жильнорман наблюдала все это с присущим ей невозмутимым спокойствием. За последние пять-шесть месяцев на ее долю пришлось немало волнений: Мариус вернулся, Мариуса принесли окровавленным, Мариуса принесли с баррикады, Мариус умер, нет, жив, Мариус примирился с дедом, Мариус помолвлен, Мариус женится на бесприданнице, Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков dokonали ее. После этого к ней вернулось вялое безразличие времен ее первого причастия. Она аккуратно посещала богослужения, перебирала четки, шептала Ave в одном углу дома, в то время как в другом углу шептали I love you¹⁴⁵, и Мариус с Козеттой казались ей какими-то смутными тенями. На самом деле тенью была она сама.

Существует особый род бездеятельного аскетизма, когда, за исключением землетрясений и прочих катастроф, душа, застывшая и оцепенелая, чуждая всему, что можно назвать жизнедеятельностью, не воспринимает никаких впечатлений, ни радостных, ни горестных. «Такое благочестие, – говаривал дочери старик Жильнорман, – все равно что насморк. Ты не чувствуешь запаха жизни. Ни ее зловония, ни аромата».

¹⁴⁵ Люблю тебя (англ.)

Впрочем, шестьсот тысяч франков положили конец давнишним колебаниям старой девы. Отец ее так мало привык с нею считаться, что даже не посоветовался с ней, давая согласие на брак Мариуса. По своему обыкновению он весь отдался порыву и, став из деспота рабом, руководствовался одной мыслью: угодить Мариусу. И он даже не вспомнил о существовании тетки, о том, что у нее может быть свое мнение; несмотря на всю свою овечью покорность, она была этим задета. Внешне равнодушная, но возмущенная в глубине души, она сказала себе: «Отец решает вопрос о браке без меня; ну что ж, зато я разрешу вопрос о наследстве без него». В самом деле, она была богата, а отец нет. И свое решение на этот счет хранила про себя. Вполне возможно, что если бы жених и невеста были бедны, она так и оставила бы их в бедности. Мой любезный племянник изволит жениться на нищей – тем хуже для него! Пусть остается нищим. Но полмиллиона Козетты понравились тетке и изменили ее позицию по отношению к влюбленной паре. Шестьсот тысяч франков бесспорно заслуживают уважения, и ей стало ясно, что она должна оставить свое состояние молодым людям именно потому, что они в нем больше не нуждались.

Было решено, что юная чета поселится у деда. Жильнорман непременно хотел уступить им свою спальню, лучшую комнату в доме. «Я стану от этого моложе, – заявил он. – Это мое давнишнее намерение. Я всегда мечтал сыграть свадьбу в моей комнате». Он убрал спальню множеством старинных изящных безделушек. Он велел расписать потолок и обить стены изумительной материей, штуку которой давно хранил у себя и считал утрехтской, с бархатистыми первоцветами по золотому атласному полю. «Этой самой материей, – говорил он, – была задрапирована кровать герцогини Анвильской во дворце Ларош-Гийон». На камине он поставил статуэтку саксонского фарфора – женскую фигурку, прикрывающую муфтой свою наготу.

Библиотека Жильнормана была обращена в приемный кабинет, необходимый Мариусу; чтобы вступить в адвокатское сословие, требовался, как мы помним, приемный кабинет.

Глава седьмая.

Обрывки страшных снов впережку со счастливой явью

Влюбленные встречались ежедневно. Козетта приходила в сопровождении Фошлевана. «Где это видано, – ворчала девица Жильнорман, – чтобы нареченная сама являлась в дом жениха и сама напрашивалась на ухаживание?» Но обычай этот, вызванный медленным выздоровлением Мариуса, укоренился еще и потому, что кресла в доме на улице Сестер страстей господних были гораздо удобнее для бесед с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Вооруженного человека. Мариус и Фошлеван виделись, но не разговаривали. Казалось, так было между ними условлено. Каждая девушка нуждается в провожатом. Козетта не могла бы приходить без Фошлевана. Для Мариуса присутствие Фошлевана было необходимым условием свиданий с Козеттой. И он мирился с ним. Рассуждая об улучшении жизни всего человечества и затрагивая в разговоре, слегка и в общих чертах, политические вопросы, им случалось перекинуться несколькими словами, помимо обычных «да» и «нет». Однажды по поводу народного образования, которое Мариус мыслил бесплатным и обязательным, широко распространенным, щедро предоставленным всем, как воздух и солнце, словом, доступным для всего народа, они сошлись во мнениях и почти разговорились. Мариус заметил при этом, что Фошлеван выражает свои мысли хорошо и даже высоким слогом. Однако чего-то ему не хватало. В чем-то Фошлеван стоял ниже светского человека, а в чем-то выше.

В глубине души Мариус обращался с немymi вопросами к Фошлевану, который был к нему достаточно благожелателен, но холоден. Порою он сомневался, не изменяет ли ему память. В его воспоминаниях образовался провал, темное пятно, пропасть, вырытая четырехмесячной агонией. Много кануло туда безвозвратно. Доходило до того, что он спрашивал себя,

действительно ли он видел Фошлевана, такого серьезного и спокойного человека, на баррикаде.

Это была, впрочем, не единственная загадка, которую видения прошлого, появляясь и исчезая, оставили в его памяти. Он не был избавлен от тех навязчивых воспоминаний, которые принуждают нас, даже среди счастья и благополучия, с тоской оглядываться назад. Тот, кто никогда не обращает взора к исчезнувшим картинам минувшего, неспособен ни мыслить, ни любить. По временам Мариус закрывал лицо руками, и смутные тревожные призраки былого прорезали сумеречный туман, окутавший его мозг. Он снова видел, как падает мертвым Мабеф, он слышал, как распевает Гаврош под градом картечи, он ощущал на губах смертный холод лба Эпонины. Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер, Комбефер, Боссюэ, Грантер, все его друзья вставали перед ним, как живые, а затем исчезали. Только ли сон все эти дорогие его сердцу существа, страдающие, мужественные, трогательные или трагические? Или они существовали в действительности? Прошлое заволокло дымом мятежа. Тяжкие потрясения вызывают тяжелые сны. Он спрашивал себя, проверял себя; голова его кружилась от сознания, что эти жизни угасли бесследно. Где же они? Правда ли, что все это умерло? Обвал все увлек за собой в черную тьму, кроме него одного. Все, казалось, исчезло, словно за театральным занавесом. Порою над жизнью опускаются подобные завесы. И бог переходит к следующему акту.

Да и сам он, Мариус, остался ли прежним? Он, бедняк, стал богатым; он, одинокий, обрел семью; он, отчаявшийся во всем, женится на Козетте. Ему казалось, что он прошел через могилу, опустился туда осужденным, а вышел на свет оправданным. Другие остались там, в глубине могилы. В иные минуты тени прошлого, возвращаясь и оживая, обступали его и омрачали его дух; тогда он думал о Козетте и снова успокаивался; только это великое счастье и могло изгладить следы катастрофы.

Фошлеван занимал какое-то место в ряду этих погибших. Мариус не решался верить, что Фошлеван с баррикады был тем же Фошлеваном из плоти и крови, который так степенно сидел рядом с Козеттой. Тот был, вероятно, одним из кошмарных образов, возникавших и таявших в часы бреда. Помимо всего, оба они были необщительны по природе; поэтому Мариус не мог прямо задать Фошлевану такой вопрос. Ему и в голову это не приходило. Мы уже отмечали эту черту его характера.

Два человека, связанные общей тайной, которые, как бы по молчаливому согласию, не перемолвятся о ней ни словом, далеко не такая редкость, как может показаться.

Только однажды Мариус решился сделать попытку. Он навел разговор на улицу Шанврери и, повернувшись к Фошлевану, спросил:

– Ведь вы хорошо знаете эту улицу?

– Какую?

– Улицу Шанврери.

– Понятия не имею, – отвечал Фошлеван самым естественным тоном.

Ответ, который относился, собственно, к названию улицы, а не к самой улице, показался Мариусу более убедительным, чем был на самом деле.

«Положительно мне это приснилось, – подумал он. – У меня была галлюцинация. Это просто кто-нибудь похожий на него. Фошлевана там не было.

Глава восьмая.

Два человека, которых невозможно разыскать

Как ни сильны были любовные чары, они не могли изгладить из мыслей Мариуса все его заботы.

Пока шли приготовления к свадьбе, он в ожидании назначенного срока предпринял трудные и тщательные розыски, посвященные прошлому.

Он обязан был двойной признательностью прежде всего – за отца, затем – за самого себя. Был где-то Тенардьё; был где-то незнакомец, который принес его, Мариуса, в дом Жильнормана.

Мариусу во что бы то ни стало надо было найти этих двух человек. Он не допускал мысли, что, наслаждаясь счастьем, может забыть о них, и боялся, как бы этот неоплаченный долг чести не омрачил его жизни, ныне такой лучезарной. Он не мог откладывать платеж по этим давним обязательствам и, прежде чем вступить в радостное будущее, хотел расквитаться с прошедшим.

Пускай Тенардьё был негодяем, это нисколько не умаляло того факта, что он спас полковника Понмерси. Тенардьё мог быть бандитом в глазах всего света, но не в глазах Мариуса.

Не зная о том, что произошло в действительности на поле битвы под Ватерлоо, Мариус не подозревал, какие странные обстоятельства связывали с Тенардьё его отца, который был обязан мародеру жизнью, но не благодарностью.

Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардьё. Казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Тенардьё умерла в тюрьме во время следствия. Сам Тенардьё и его дочь Азельма, последние, кто остался от злополучной семьи, снова канули во тьму. Пучина социального Неведомого беззвучно сомкнулась над этими существами. Не осталось на поверхности ни зыби, ни ряби, ни темных концентрических кругов, которые указывали бы, что туда что-то упало и что надо опустить туда лот.

Жена Тенардьё умерла. Башка был признан непричастным к делу, Звенигрош исчез, главные обвиняемые бежали из тюрьмы, и громкий судебный процесс о засаде в лачуге Горбо почти ни к чему не привел. Дело так и осталось довольно темным. Суд присяжных вынужден был удовольствоваться двумя второстепенными обвиняемыми: один из них был Крючок, он же Весенний, он же Гнус, другой – Пол-Лиарда, он же Два-Миллиарда; обоих приговорили к десяти годам галер. Их скрывшиеся сообщники были заочно присуждены к пожизненным каторжным работам. Тенардьё, как зачинщику и вожаку, был вынесен, также заочно, смертный приговор. Приговор – вот единственное, что оставалось от Тенардьё и бросало зловещий свет на это исчезнувшее имя, подобно свече, горящей у гроба.

Осуждение, заставляя Тенардьё из страха быть пойманным отступать все дальше на самое дно, еще сильнее сгущало мрак, который окутывал этого человека.

Розыски второго незнакомца, того, что спас Мариуса, дали сперва кое-какие результаты, но затем зашли в тупик. Удалось найти фиакр, который привез Мариуса вечером 6 июня на улицу Сестер страстей господних. Извозчик показал, что 6 июня по приказу полицейского агента он «проторчал» с трех часов пополудни дотемна на набережной Елисейских полей, над отверстием Главного водостока; что часам к девяти вечера решетка клоаки, выходящая на берег реки, отворилась; оттуда показался человек; он нес на плечах другого, по всей видимости мертвого; полицейский, который караулил это место, арестовал живого и захватил мертвеца; по приказу агента он, извозчик, погрузил «всю эту публику» в свой фиакр; они направились сперва на улицу Сестер страстей господних и высадили там покойника, этот покойник и есть господин Мариус, и он, извозчик, узнает его, хотя «нынче, спору нет, барин живехонек»; после этого седоки снова влезли в карету, а он погнал лошадей дальше; немного не доезжая ворот Архива, они велели ему остановиться; там, прямо на улице, с ним расплатились и ушли, и полицейский увел с собой второго человека; а больше он, извозчик, знать ничего не знает, к тому же ночь была очень темная.

Сам Мариус, как мы уже говорили, ничего не мог восстановить в памяти. Он помнит только, что сильная рука подхватила его сзади в ту минуту, как он падал навзничь на баррикаде; после этого все угасло в его сознании. Он пришел в себя только в доме Жильнормана.

Он терялся в догадках.

Не мог же он сомневаться в своем собственном тождестве! Как могло случиться, однако, что, упав без чувств на улице Шанврери, он был подобран полицейским на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Кто-то, очевидно, донес его от квартала Центрального рынка до самых Елисейских полей. Каким путем? Через водосток. Неслыханное самопожертвование!

Кто это был? Кто же он?

Тот, кого разыскивал Мариус.

От этого человека, от его спасителя, не осталось ровно ничего – ни следа, ни малейших примет.

Хотя Мариус вынужден был действовать здесь особенно осторожно, все же он дошел в своих поисках вплоть до полицейской префектуры. Но там, как и всюду, наведенные справки не привели к прояснению. Префектура знала еще меньше, чем извозчик. Ни о каком аресте, произведенном 6 июня у решетки Главного водостока, сведений не поступало; не было никакого полицейского донесения об этом факте, – в префектуре склонны были считать это басней. Авторство басни приписывали извозчику. Чтобы получить на водку, извозчик способен на все, даже на игру воображения. Однако факт был неоспорим, и, повторяем, Мариус не мог в нем сомневаться, иначе как усомнившись в своем собственном тождестве. Все казалось загадочным в этой странной истории.

Куда делся неизвестный, тот таинственный человек, который вышел, по словам кучера, открыв решетку Главного водостока, неся на спине бездыханного Мариуса, и был арестован караулившим его полицейским на месте преступления, когда он спасал бунтовщика? И что случилось с самим полицейским? Почему он молчал? Может быть, незнакомцу удалось бежать? Или он подкупил полицейского? Почему этот человек не давал ничего знать о себе Мариусу, который был ему всем обязан? Его бескорыстие казалось не менее поразительным, чем его самоотверженность. Почему он не появлялся? Пусть он не нуждается в вознаграждении, но кто же отвергнет признательность? Не умер ли он? Что это за человек? Каков он с виду? Никто не мог сказать точно. Извозчик говорил: «Ночь была темная». А перепуганные Баск и Николетта только и смотрели, что на своего молодого барина, залитого кровью. Один лишь привратник, вышедший со свечой в ту трагическую минуту, заметил этого человека, и вот что он сказал: «Страшно было глядеть на него».

В надежде, что это поможет при поисках, Мариус велел сохранить окровавленную одежду, в которой его привезли к деду. Осматривая сюртук, кто-то заметил, что одна пола была как-то странно разорвана. В ней недоставало куска.

Однажды вечером в присутствии Козетты и Жана Вальжана Мариус рассказывал об этом странном происшествии, о бесчисленных наведенных им справках и о бесплодности своих усилий. Каменное лицо «господина Фошлевана» вывело его из терпения. И с горячностью, в которой чувствовался сдерживаемый гнев, он воскликнул:

– О да, кто бы он ни был, это человек высокого благородства! Вы знаете, что он сделал! Он явился мне на помощь, словно архангел с неба. Ему пришлось броситься в самую гущу битвы, унести меня, открыть вход в водосток, втащить меня туда и нести на себе! Ему пришлось пройти более полутора лье по ужасным подземным коридорам, согнувшись, сгорбившись, во тьме, в трясине клоаки, больше полутора лье с мертвецом на спине! И с какой целью? С единственной целью спасти мертвеца. Этим мертвецом был я. Он говорил себе: «Здесь, может быть, еще теплится огонек жизни; я рискну своею собственной жизнью ради этой слабой искорки». И он рисковал жизнью не один раз, а двадцать раз! И каждый шаг грозил ему гибелью. Доказательством служит то, что при выходе из клоаки он был арестован. Вы знаете, что тот человек действительно все это сделал? И притом, не ожидая никакого вознаграждения. Кем я был? Повстанцем. Кем я был? Побежденным. О, если бы шестьсот тысяч франков Козетты принадлежали мне...

– Они ваши, – перебил его Жан Вальжан.

– Так вот, – продолжал Мариус, – я отдал бы их все, чтобы разыскать этого человека!

Жан Вальжан не промолвил ни слова.

**Книга шестая
Бессонная ночь**

**Глава первая.
16 февраля 1833 года**

Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года была благословенной ночью. Над ее мраком сияло небо рая. То была брачная ночь Мариуса и Козетты. День прошел восхитительно.

Это был не тот лазурный праздник, о каком мечтал дедушка, не волшебная феерия с херувимами и купидонами, порхающими вперемежку над головами новобрачных, не свадебный пир, достойный быть запечатленным во фресках над карнизом двери, но все же это был радостный и пленительный день.

Свадебные обычаи 1833 года отличались от нынешних. В то время французы еще не заимствовали у Англии последней утонченной моды похищать свою жену, бежать с ней, едва выйдя из церкви, прятаться, как бы стыдясь своего счастья, и сочетать уловки скрывающегося банкрота с восторгами Песни песней. В наше время считается почему-то целомудренным, изысканным и благопристойным в часы райского блаженства трястись по ухабам в почтовой карете, прерывать таинство щелканьем кнута, нанимать для брачного ложа кровать в трактире и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в ночь, самое священное воспоминание своей жизни наряду с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса.

Во второй половине XIX века нам уже недостаточно мэра с шарфом, священника с епитрахилью, закона и бога, нам необходим еще кучер из Лонжюмо, его синяя куртка с красными отворотами и пуговицами в виде бубенчиков, бляха на рукаве, кожаные зеленые штаны, его покрикивание на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивые галуны, лоснящаяся шляпа, пыльные космы, огромный кнут и ботфорты. Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков в память о Черчилле, будущем герцоге Мальборо, Мальбруке тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не считаются еще у нас непременно условием свадебного празднества, но наберитесь терпения, хороший тон продолжает распространяться, скоро мы дойдем и до этого. В 1833 году, как и сто лет назад, не было в обычае венчаться галопом.

В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание – праздник семейный и общественный, что патриархальный пир несколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастья никакого вреда, что это добропорядочно и достойно; слияние двух судеб, дающее начало семье, должно произойти под домашним кровом, без свидетелей, в тиши супружеской спальни.

Словом, люди имели бесстыдство жениться дома.

Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме Жильнормана. Как ни естественно и обычно такое событие, как брак, все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлопотами. Со всем этим удалось управиться только к 16 февраля.

Между тем случилось так – мы отмечаем это обстоятельство просто из пристрастия к точности, – что 16-е число пришлось на последний день масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом у тетушки Жильнорман.

– Прощеный день, тем лучше! – воскликнул дед – Ведь есть даже поговорка:

*На масленице брак затей —
Послушных народишь детей.*

Станем выше предрассудков Назначим на шестнадцатое! Разве ты согласен отложить, Мариус?

– Разумеется, нет, – отвечал влюбленный.

– Стало быть, повенчаемся! – заключил дед.

Итак, свадьба состоялась 16-го, несмотря на уличное гулянье. В этот день шел дождь, но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных, – он виден им одним даже тогда, когда прочие смертные прячутся под зонтом.

Накануне Жан Вальжан в присутствии Жильнормана передал Мариусу пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

Брачный договор предполагал общность имущества, и потому не требовалось никаких формальностей.

Тусен с этого дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив Тусен в наследство, возвела ее в ранг горничной.

А для Жана Вальжана в доме Жильнорманов была выделена и обставлена прекрасная комната; Козетта с такой ласковой настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас!», что он почти обещал переселиться.

Незадолго до свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность: он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного; он никому не позволил ухаживать за собой – ни перевязать, ни осмотреть свою рану, даже Козетте. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему что-либо подписывать. Жильнорман, в качестве второго опекуна, исполнил за него эту обязанность. Мы не поведем читателей ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко; обычно к любовной драме теряют интерес, как только на сцене появляется букет новобрачной. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать, не замеченное никем из свадебного кортежа, случившееся на пути от улицы Сестер страстей господних к церкви св. Павла.

В те дни заново мостили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от Королевского парка, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви св. Павла прямым путем. Приходилось изменить маршрут; проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, наверно, будет большое скопление экипажей. «Почему?» – спросил Жильнорман. «Из-за ряженных». «Чудесно, – заявил дед, – поедем по бульвару! Наши молодые люди женятся, они вступают в серьезную эпоху жизни. Пусть напоследок полюбуются на маскарад».

Поехали бульваром. В первой свадебной карете сидели Козетта с тетушкой Жильнорман и Жильнорман с Жаном Вальжаном. Мариус, по обычаю, еще различенный с невестой, ехал в следующей. Свадебный поезд, свернув с улицы Сестер страстей господних, включился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен.

Ряженные наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, арлекины и шуты не унывали. Зимой 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перерядился в Венецию. Теперь уже не увидишь такой масленицы. Вся жизнь превратилась в карнавал, потому-то и нет больше настоящих карнавалов.

Боковые аллеи были переполнены прохожими, окна – любопытными. На площадках, галереях, крышах театров теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день скачек в Лоншане, церемониальный марш всевозможных

экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, одновременно и зритель и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, двигавшиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремившихся одни вверх, другие вниз – одни к Шоссе д'Антен, другие к Сент-Антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи пэров Франции и иностранных послов занимали середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности Масленичного Быка, пользовались тем же преимуществом» Среди всенародного парижского веселья проследовала, щелкая кнутом, и Англия, с оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура, осыпаемая язвительными насмешками толпы.

В двойной цепи экипажей, вдоль которой, точно овчарки, скакали конные стражники, из дверей солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высывались свежие личики ряженных детей, семилетних Пьерро, шестилетних Пьеретт, очаровательных малышей, гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем ликовании, преисполненных сознания важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники.

Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался; достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось.

Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив Капустного моста произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток, с другой стороны бульвара, направлявшийся к улице Мадлен. Свадебная карета очутилась как раз напротив коляски с ряжеными.

Такие коляски, или, лучше сказать, повозки с масками, знакомы парижанам. Если бы во вторник на масленой или в четверг в середине поста их не оказалось, в этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки: «Тут что-то нечисто. Верно, ожидается смена министерства». Целая орава Кассандр, Арлекинов, Коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с Геркулесами, рыночные торговки, от ругани которых заткнул бы уши сам Рабле, как некогда опускал глаза Аристофан при виде менад, парики из пакли, розовые трико, франтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой, задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лица в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах с кучером в цветочном венке, – вот что такое повозка с ряжеными.

Греции нужна повозка Феспида. Франции нужен фургон Ваде.

Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, озорная гримаса античной красоты, все более искажаясь и грубея, обратилась в масленичное гулянье. А вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную грудь в божественной своей полунагоде, у нас, под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться в конце концов карнавальная харей.

Обычай возить ряженных по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходно-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено «двадцать су турецкой чеканки на три машкерадных рыдвана для простонародья». В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек двадцать. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые сидят верхом на

экипажных фонарях. Едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин. Эти живые пирамиды из беснующихся горлающих людей видны издали над колышавшимся морем голов. Битком набитые повозки возвышаются среди общей толчеи, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки Коле, Панара и Пирона, приправленные уличным жаргоном. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади – дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гогочут, корчатся от хохота; там грохочет веселье, искрятся насмешки, пышет румянцем благодущие; две клячи тащат этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз; это триумфальная колесница Смеха.

Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле, смех звучит здесь подозрительно. У него своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся.

Такие разудалые коляски, в глубине которых чудятся бог весть какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая власть. Вы живо ощущаете таинственную связь между уличными агентами и уличными девками.

Разумеется, весьма прискорбно, что мерзость, выставляемая напоказ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестия и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служба проституции пьедесталом, забавляет улицу площадной руганью, что улице любо глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел, в мишуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем, в лентах и в цветах, осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех – соучастник всеобщего падения нравов. Иные непристойные увеселения разлагают народ и превращают его в чернь, а черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть Роклор, а у народа Паяц. Париж – город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей – когда у него есть властители – только одного: «Размалюйте мне грязь». Рим отличался теми же вкусами. Рим любил Нерона. А Нерон был великий скоморох.

Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных повозок, тащившая безобразную ораву замаскированных женщин и мужчин, застряла по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженные в коляске увидели на той стороне бульвара, как раз напротив, карету с невестой.

– Гляди-ка, – воскликнула одна из масок, – свадьба!

– Похороны, а не свадьба, – возразила другая маска – Вот у нас так настоящая свадьба.

Не имея возможности на столь далеком расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись.

Впрочем, спустя минуту у всех ряженных, набившихся в коляску, оказалось дела по горло, так как толпа принялась задирать их и зубоскалить, выражая этим, как принято на карнавале, свое одобрение: обе маски, завязавшие разговор, принуждены были наравне с товарищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами.

Тем временем двое других ряженных из той же коляски – старообразный испанец с непомерно длинным носом и громадными черными усами и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске – тоже заметили свадебный поезд и, пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу.

Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряжеными вымокла под дождем; февральский ветер неласков; сильно декольтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла.

Вот их диалог:

– Слушай-ка!

– Что, папаша?

– Видишь того старика?

– Какого старика?

– Вон там, в передней свадебной тарахтелке, с нашей стороны.

– У кого рука болтается на черной тряпке?

– Да.

– Вижу, ну и что?

– Мне сдается, я его знаю.

– Ну и ладно!

– Провалиться мне на месте, пускай у меня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плясуна.

– Нынче весь Париж плясун.

– Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься?

– Нет.

– А жениха?

– В этой тарахтелке нет жениха.

– Да ну?

– Разве только второй старикан.

– Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту.

– Не могу.

– Ладно, все равно, а я знаю этого старика с обмотанной клешней, разрази меня гром!

– А на кой тебе его знать?

– Мало ли что! Пригодится.

– Ну, а мне наплевать на стариков.

– Я его знаю!

– Ну и знай себе на здоровье.

– Какого дьявола он попал на свадьбу?

– Да мы-то ведь попали?

– Откуда едет эта свадьба?

– А я почему знаю?

– Слушай-ка!

– Ну?

– Тебе бы надо обделать одно дельце.

– Чего еще?

– Соскочи на мостовую да последи за свадьбой.

– Это зачем?

– Разнюхай, куда они едут и что это за птицы. Ну, прыгай живее, беги, дочка, ты у меня шустрая.

– Я не могу сойти с коляски.

– Почему?

– Меня наняли.

– Тьфу пропасть!

– Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде.

– Что правда, то правда!

– Сойди я с коляски, меня первый же легавый застучает. Сам знаешь.

– Как не знать!
– На сегодня меня сторговали фараоны.
– Мне нет дела, кто тебя сторговал. Меня бесит этот старик.
– Тебя бесят старики? Полно, ты же не девчонка!
– Он едет в первой коляске.
– Ну и что же?
– В тарахтелке невесты.
– А дальше?
– Стало быть, это отец.
– А мне плевать!
– Говорят тебе, это отец.
– Отец так отец, эка невидаль!
– Слушай.
– Чего еще?
– Я могу выходить только в маске. Так я хорошо укрыт, никто не знает, что я здесь. Но завтра уже не будет масок. Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна.
– Не так чтобы очень.
– Все же больше, чем я.
– Ладно, ну а дальше?
– Постарайся узнать, куда поехала свадьба.
– Куда она поехала?
– Да.
– Я и так знаю.
– Куда же она едет?
– На улицу Синий циферблат.
– Во-первых, она вовсе не в той стороне.
– Ну тогда к Винной пристани.
– А может, и еще куда?
– Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят.
– Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут.
– Да ты обалдел? Вот умора! Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на масленой. Ищи иголку в сене. Да разве это мыслимо?
– Мало ли что! Надо постараться. Слышишь, Азельма?
В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду «тарахтелку» с новобрачной.

Глава вторая.

У Жана Вальжана рука все еще на перевязи

Осуществить свою мечту! Кому дано такое счастье? Должно быть, в небесах намечают и избирают достойных; мы все, без нашего ведома, в числе кандидатов; ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранных.

В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала Тусен с помощью Николетты.

Поверх чехла из белой тафты на ней было платье бельгийского гипюра, фата из английских кружев, жемчужное ожерелье, венки из померанцевых цветов; все было белое, и в этой

белизне она блистала, как заря. От нее исходило тонкое очарование, окружавшее ее сияющим ореолом; чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню. Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены; кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы – рубцы от ран, полученных на баррикаде.

Дед, более чем когда-либо воплощая в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную.

Жан Вальжан, весь в черном, следовал за ними и улыбался.

– Ах, господин Фошлеван! – говорил дед. – Не правда ли, какой чудесный день? Я голосую за отмену всех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми! Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес. Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Центр управления всеми людскими бедствиями находится в преисподней, иными словами, в Тюильрийской резиденции самого Сатаны. Скажите на милость, я заговорил, как заправский демагог! Что ж, у меня нет больше политических убеждений; пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни – вот все, чего я хочу.

Когда по выполнении всех церемоний, – произнес перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного «дыма», – новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемые швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть, меж двумя рядами умиленных зрителей, к церковным дверям, распахнутым настежь, и направились к карете, даже тут Козетта не поверила, что все это наяву. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо; она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету, Мариус рядом с Козеттой; Жильнорман и Жан Вальжан поместились против них. Тетушка Жильнорман отступила на задний план и ехала в следующей карете.

– Ну вот, дети мои, – говорил дед, – теперь вы – господин барон и госпожа баронесса и у вас тридцать тысяч франков ренты.

Наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голоском:

– Значит, это правда? Я ношу твое имя. Я – госпожа Ты.

Юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратное мгновение: они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как сказано в стихах Жана Прувера, обоим вместе не было и сорока лет. То был чистейший союз: эти двое детей напоминали две лилии. Они не видели, а созерцали друг друга. Мариус представлялся Козетте в нимбе, Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты – в неясной дымке, для Мариуса – в блеске и пламени, брезжило нечто идеальное, нечто реальное, место свидания грез и поцелуя – брачное ложе.

Они с умилением вспоминали о прежних муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа и что их горести были лишь служанками, которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько, – как это хорошо! Былое горе окружало их счастье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса.

Эти юные души были в одинаковом упоении, с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом: «Мы наведем наш садик на улице Плюме». Складки платья Козетты лежали на коленях Мариуса.

Этот день – неизъяснимое сплетение мечты и реальности, обладания и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство – в сиянии полдня мечтать о полуночи! Блаженство двух сердец передавалось толпе и вызывало у прохожих радостное умиление.

Люди останавливались на Сент-Антуанской улице, против церкви св. Павла, чтобы сквозь стекла экипажа полюбоваться померанцевыми цветами, трепетавшими на головке Козетты. Наконец они вернулись к себе, на улицу Сестер. Рука об руку с Козеттой, торжествующий и счастливый Мариус взобрал по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Нищие, столпившиеся у дверей, деля меж собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь; после ладана – аромат роз. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине, в их сердцах пребывал бог, будущее представлялось им небесным сводом, полным звезд, они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, розовевшие сквозь кружева корсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос.

На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жильнорман; все теснились вокруг Козетты, наперебой осыпая ее любезностями; каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой баронессой.

Офицер Теодюль Жильнорман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчанье кузена Понмерси. Козетта не узнала его. Да и он, избалованный успехом у женщин, помнил Козетту не больше, чем любую другую. «Как я был прав, что не поверил этой сплетне про улана!» – сказал себе старик Жильнорман. Никогда еще Козетта не была так нежна с Жаном Вальжаном. Подобно дедушке Жильнорману, который изливал свою радость в афоризмах и изречениях, она источала любовь и ласку, как благоухание. Счастливый желает счастья всему миру.

В ее голосе звучали для Жана Вальжана давние детские интонации. Ее улыбка ласкала его. Свадебный стол был накрыт в столовой.

Яркое освещение – необходимая приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по душе счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их, тьма – никогда. Если нет солнца, надо создать его.

Столовая весело играла огнями. Посредине, над столом, покрытым ослепительно белой скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей; на столе – жирандоли, по стенам – трехсвечные и пятисвечные бра; стекло, хрусталь, бокалы, всевозможная посуда, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро – все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами – там, где не было огней, пестрели цветы.

Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Гайдна.

Жан Вальжан сидел в гостиной, у самой двери, так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта, словно по наитию, подбежала к нему, расправила обеими руками подвенечное платье и, сделав глубокий реверанс, спросила с шаловливой нежностью:

– Отец! Вы рады?

– Да, – отвечал Жан Вальжан, – я рад.

– Если так, то улыбнитесь.

Жан Вальжан улыбнулся.

Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан.

Вслед за Жильнорманом, который вел под руку Козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку.

По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла: одно – для Жильнормана, другое – для Жана Вальжана. Жильнорман занял свое место. Второе кресло осталось пустым.

Все искали глазами «господина Фошлевана».

Его не было.

Господин Жильнорман обратился к Баску:

– Ты не знаешь, где господин Фошлеван?

– Так точно, знаю, сударь, – отвечал Баск – Господин Фошлеван велел мне передать вашей милости, что у него разболелась рука и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром. Он сию минуту вышел.

Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало Фошлевана, зато Жильнорман был налицо, и дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, г-ну Фошлевану нездоровится и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Всех успокоило такое объяснение. Да и что значил один темный уголок в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же Жильнормана осенила блестящая мысль:

– Черт возьми, зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус. Твоя тетушка разрешит, хоть и имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно и очень мило. Счастливец рядом со счастливцей.

Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана, рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная уходом Жана Вальжана, в конце концов оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса.

Лишь только кресло было занято, все позабыли о Фошлеване; его отсутствия уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и веселился, позабыв обо всем. За десертом Жильнорман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил тост за здоровье молодых.

– Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! – воскликнул он. – Утром вы слушали священника, вечером вам придется выслушать старого деда. Внимание! Я хочу дать вам совет: обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели – будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат: «Будьте умеренны в удовольствиях». А я говорю: «Дайте себе волю, бросьте поводья!» Влюбляйтесь, как черти. Будьте безумцами. Философы порют чушь. Я бы заткнул им всю их философию обратно в глотку. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алой зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Эстелла, ты слишком прелестна; берегись, Неморин, ты чересчур красив! Что за чепуха! Разве можно знать меру восторгам, очарованиям, ласкам? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? «Будьте умеренны в удовольствиях». Благодарю покорно! Долой философов! Ликовать – вот в чем мудрость. Ликуйте же, возликуем же! Счастливы ли мы оттого, что добры, или добры оттого, что счастливы? Почему знаменитый брильянт называется Санси – потому ли, что принадлежал Арле де Санси, или потому, что

весит сто шесть каратов?¹⁴⁶ Почему я знаю? Жизнь полным – полна таких проблем; самое важное – владеть Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукаво. Будем слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», тот говорит «женщина». Вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте, – это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты. И ведь по собственной охоте, плут эдакий! О женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого восьмьдесят девятого года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Людовика Великого, и революция все их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку; с ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров. Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного пачулями! Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка попытайтесь. Почему он так прочен? Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из девятнадцатого века? Ну что ж, а мы из восемнадцатого! И мы были не глупее вас. Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец бурре – качучей. Чтобы там ни случилось, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас – ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй – это заколдованный круг, откуда, держу пари, не выбраться никому из вас; я, например, охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядясь в волны, подобно женщине, подымается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны, Селимена океана? Океан – это суровый Альцест. Ну что же, пусть он брюзжит, сколько хочет, – когда восходит Венера, ему волей-неволей приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется. Все мы таковы. Гнев, буря, гром и молния, брызги пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти – падайте ниц! Полгода назад Мариус сражался; теперь он женится. И хорошо делает. Да, Мариус, да, Козетта; вы правы. Смело живите друг для друга, целуйтесь, милуйтесь, пускай все лопнут от зависти, глядя на вас, боготворите друг друга. Подбирайте клювом все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь. Любить, быть любимым, – ей-ей, это не диво, когда вы молоды! Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал, и мою душу заливал лунный свет. Любовь – это младенец, которому от роду шесть тысяч лет. Любовь имеет полное право на длинную седую бороду. Мафусаил – молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже шестьдесят веков мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека; человек еще лукавее – он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая. Друзья мои! Это старая история, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею. Будьте Дафнисом и Хлоей, пока не придет пора стать Филемоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта! Пусть улыбка мужа станет для вас ясным днем. Мариус! Пусть слезы жены станут для тебя ненастьем. И пусть никогда в вашей жизни не будет непогоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет – любовь, увенчанную браком; вам достался главный выигрыш, берегите же его, как зеницу ока, запирайте его на ключ, не транжирьте его, обожайте друг друга и – пошлите к черту все остальное! Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить бога – любить свою

¹⁴⁶ Игра слов: centsix (сан си) – сто шесть.

жену! Я люблю тебя – вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих Четвертый сочетает святость с обжорством и пьянством. «Свято-пьяное-брюхо!» Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха Четвертого я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, если верить людям; но как это ни удивительно, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастье этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что бог сотворил нас для чего-нибудь другого; обожать, ухаживать, ворковать голубком, петь петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охорашиваться перед своей женкой, гордиться, ликовать, распускать хвост – вот цель жизни. Угодно вам или нет, а вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину, сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, право, не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна; тогда я просил бы всемогущего бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми он нас дразнит: и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика.

Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему пиршеству; каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много смеялись; это была благонравная свадьба. На нее смело можно было пригласить Доброе старое время. Впрочем, оно и так присутствовало здесь в лице Жильнормана.

После шума наступила тишина.

Новобрачные скрылись.

Вскоре после полуночи дом Жильнормана обратился в храм.

Здесь мы остановимся. У порога брачной ночи стоит ангел; он улыбается, приложив палец к губам.

Душа предается размышлениям перед святилищем, где совершается торжественное таинство любви.

Над этой обителью должно появляться сияние. Сокрытое в ней счастье должно проникать сквозь камни стен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь – это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины; единое, тройственное, совершенное существо, человеческое триединство выходит из этого горна. Рождение единой души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник – это жрец; непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачное ложе во тьме – как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым чертогом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине, прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сливаются в животворящем лобзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах.

Только такое блаженство истинно. Нет других радостей, кроме этих. Любовь – вот единственное счастье на земле. Все остальное – юдоль слез.

Любить, испытать любовь – этого достаточно. Не требуйте большего. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь – это свершение.

Глава третья. Неразлучный

Куда исчез Жан Вальжан?

Вскоре после того как он, по ласковому настоянию Козетты, заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него внимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, куда он вошел восемь месяцев тому назад, весь черный от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов; на диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный Баск, во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках, украшал каждое блюдо, перед тем как нести к столу, венками из роз, Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом.

Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушивался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую, уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и среди всего этого веселого гула – нежный радостный голосок Козетты.

Покинув улицу Сестер страстей господних, он вернулся к себе, на улицу Вооруженного человека.

Он шел туда окольным путем, через Сен-Луи, через Ниву св. Екатерины и Белых мантий; ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно, вот уже три месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную Старую Тампльскую улицу, он провожал Козетту с улицы Вооруженного человека на улицу Сестер страстей господних. Этой дорогой ходила Козетта, другого пути он не хотел для себя.

Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу и поднялся к себе. Квартира опустела. Не было даже Тусен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простынь. Тиковая подушка, без наволочки и кружев, лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не накрытого тюфяка, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены; оставалась лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Тусен все было снято. Только одна кровать была застлана и, казалось, ждала кого-то: кровать Жана Вальжана.

Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты. Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол.

Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она не болела. Он подошел к кровати, и глаза его, случайно или намеренно, остановились на «неразлучном», давно вызывавшем ревность Козетты, – на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. Четвертого июня, переехав на улицу Вооруженного человека, он поставил его на столик у изголовья кровати. Поспешно подойдя к нему, он нащупал в кармане ключ и отпер сундук.

Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетты, в которых десять лет назад она уходила из Монфермейля: сначала черное платьице, черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришлось бы впору Козетте, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, вязаную юбку, фартук с кармашками и шерстяные чулки. Чулки, еще хранившие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все это было черного цвета. Он сам принес для нее в

Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой, в декабре месяце, в жестокую стужу; Козетта озябла и вся дрожала, едва прикрытая лохмотьями, ее бедные ножки в деревянных башмаках посинели от холода. Жан Вальжан заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур, а главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермейльский лес; они прошли по лесу вместе, Козетта и он; он вспомнил зимнюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца, – все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды: косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом с платьем и разглядывал их. Она была тогда вот такого роста, она прижимала к груди свою большую куклу, она спрятала дареную золотую монету в карман этого самого фартучка, она смеялась; они шли вдвоем, держась за руки; кроме него, у нее не было никого на свете.

И вдруг его седая голова склонилась на постель, старое мужественное сердце дрогнуло, он зарылся лицом в платье Козетты, и если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы безутешные рыдания.

Глава четвертая. Immortale jecur¹⁴⁷

Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на разных этапах, возобновилась. Иаков сражался с ангелом всего одну ночь. Увы! Сколько раз видели мы, как Жан Вальжан, во мраке, один на один против своей совести изнемогал в отчаянной борьбе!

Неслыханное единоборство! В иные минуты у него скользила нога, в иные под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала наземь! Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь! Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде! Сколько раз неумолимый свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым! Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз влачился во прахе, сам поверженный ею наземь. Сколько раз, после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над ухом голос разгневанной совести: «Это нечестный прием, негодяй!» Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга! То было сопротивление богу! То был предсмертный пот! Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило! Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни! Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И, побежденный, он признавал себя победителем. Свалив его с ног, растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная, говорила: «Теперь иди с миром!»

Но увы! Какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы!

Жан Вальжан чувствовал, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой.

Перед ним вставал мучительный вопрос.

Превратности судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой; они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены; там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан Вальжан стоял теперь на самом опасном из таких перекрестков.

¹⁴⁷ Бессмертная печень (*лат.*) – печень скованного Прометея, которую терзал орел и которая вновь срасталась.

Он стоял у последнего рубежа, у пересечения путей добра и зла. Его глазам открывалось роковое перепутье. И вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги: одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать? На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое.

Жану Вальжану снова предстоял выбор между страшной гаванью и манящей ловушкой. Значит, это правда: исцелить душу можно, изменить судьбу – никогда. Как ужасна неотвратимость судьбы!

Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем:

Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился; он сам добровольно пронзил себе сердце этим счастьем и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его, еще дымящимся кровью, из своей груди.

У Козетты был Мариус, Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним.

Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им, как своею собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому. Но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? Останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор? Или спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда как имеющий на это право и осмелится ли сесть, не снимая маски, у их светлого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня мирной гостиной Жильнормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом, не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть к их счастливой доле, свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливых зловещую, немую роль судьбы?

Надо привыкнуть к злему року, к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной наготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком: «Как ты поступишь?» – спрашивает сфинкс.

Такой привычкой к испытаниям Жан Вальжан обладал. Он смотрел сфинксу прямо в глаза. Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку.

Козетта, это прелестное существо, была спасательным кругом для потерпевшего крушение. Что делать? Ухватиться за него или выпустить из рук?

Ухватившись, он избежал бы гибели, он всплыл бы из пучины наверх, к солнцу, с его одежды и с волос стекла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жить. Выпустить из рук?

Тогда – бездна.

Так в страданиях и муках держал он совет со своей совестью. Вернее сказать, боролся с собой; он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения.

Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это облегчало его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря, гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к Аррасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое; он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий.

Он чувствовал, что дошел до предела.

Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, в отчаянии сдавая позиции,

отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода, – какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена!

Мы чувствуем, что нам отрезала отступление священная тень!

Нечто невидимое, но неумолимое – какое наваждение!

Итак, совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она – божество. Мы бросаем в этот колодезь труды целой жизни, швыряем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу, родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье. Еще, еще, еще! Выливайте сосуд! Наклоняйте урну! В конце концов мы кидаем туда свое сердце. Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка.

Разве не простительно отказаться наконец от жертв? Разве неисчерпаемое может предъявлять права? Разве неизбывное бремя не превышает сил человеческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана Вальжана, если они скажут «Довольно!»?

Податливость материи ограничена трением; неужели покорность души не имеет границ?

Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения?

Сделать первый шаг ничего не стоит; труден последний шаг. Что значило дело Шанматье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой? Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней – уйти в небытие?

Первая ступень, ведущая вниз, – какая туманная мгла! Вторая ступень – какой черный мрак! Как не отпрянуть назад?

Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту; он восходит на трон каленого железа, он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию, – и неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть и он не отречется от мученического венца?

Наконец Жан Вальжан дошел до полного изнеможения.

Он обсудил, обдумал, он все взвесил на таинственных весах света и тени.

Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель? В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом – самого себя.

На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть на ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из бездн склонил голову?

Мучительное раздумье продолжалось всю ночь.

Он оставался до утра в том же положении, на коленях, уронив голову на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, – увы, раздавленный, быть может! – судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, ооченевший, не подымая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это застывшее тело, можно было принять его за мертвого; по временам он судорожно вздрагивал и, припав к платьям Козетты, начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив.

Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было? Тот, кто не дремлет во мраке.

Книга седьмая
Последний глоток из чаши страдания

Глава первая. Седьмой круг и восьмое небо

День после свадьбы овая тишиной. Люди уважают покой упоенных друг другом счастливых, так же как позднее их пробуждение. Шумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже за полдень, когда Баск, утром 17 февраля, с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что «убирался в своей прихожей», вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали, и эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел г-на Фошлеван. Он проводил его в гостиную, где еще царил беспорядок и все было вверх дном; она казалась полем битвы вчерашнего пиршества и веселья.

– Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно, – заметил Баск.

– Ваш хозяин уже встал? – спросил Жан Вальжан.

– Как ваша рука, сударь? – вместо ответа спросил Баск.

– Лучше. Ваш хозяин встал?

– Который? Старый или молодой?

– Господин Понмерси.

– Господин барон? – переспросил Баск, приосанившись.

Титул барона имеет особенный вес в глазах слуг. От него словно что-то перепадает и им; философ сказал бы: «Лучи его славы», и это им лестно. Заметим мимоходом, что Мариус, воинствующий республиканец, как он это доказал на деле, теперь против своей воли стал бароном. Этот титул послужил причиной небольшой революции в доме. Именно Жильнорман настаивал теперь на титуле, и не кто иной, как Мариус, отказывался от него. Но полковник Понмерси написал: «Мой сын наследует мой титул». И Мариус повиновался. Кроме того, Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, была в восторге от того, что стала баронессой.

– Господин барон? – повторил Баск – Я сейчас посмотрю. Я скажу, что господин Фошлеван желает видеть его.

– Нет, не говорите ему, что это я. Скажите, что кто-то хочет поговорить с ним с глазу на глаз, но не называйте имени.

– А! – протянул Баск.

– Я хочу сделать ему сюрприз.

– А! – повторил Баск, произнеся это второе «а!» так, словно объяснял самому себе первое.

Он вышел.

Жан Вальжан остался один.

В гостиной, как мы сказали, был страшный беспорядок. Казалось, если внимательно прислушаться, еще можно было уловить смутный шум свадебного праздника. На паркете валялось множество цветов, выпавших из гирлянд и дамских причесок. Догоревшие почти до конца свечи разукрасили сталактитами оплывшего воска подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. По углам, сдвинутые в кружок, три-четыре кресла словно продолжали непринужденную беседу. Все здесь дышало весельем. В отшумевшем празднике еще сохраняется какое-то очарование. Здесь гостило счастье. Стулья, разбросанные как попало, увядающие цветы, угасшие огни – все говорило о радости. Солнце заступило место люстры и заливало гостиную веселым светом.

Прошло несколько минут. Жан Вальжан стоял неподвижно на том же месте, где его оставил Баск. Он был очень бледен. Его потускневшие глаза так глубоко запали от бессонницы, что почти исчезали в орбитах. Складки измятого черного сюртука указывали на то, что его не снимали на ночь. Локти побелели от пушка, который оставляет на сукне прикосновение

полотна. Жан Вальжан смотрел на лежавший у его ног переплет окна – на тень, отброшенную солнцем.

У дверей послышался шум; он поднял глаза.

Вошел гордый, улыбающийся Мариус, с радостным лицом, озаренным сиянием, с торжествующим взором. Он тоже не спал эту ночь.

– Ах, это вы, отец! – воскликнул он, увидев Жана Вальжана. – А дурачина Баск напустил на себя такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Сейчас только половина первого. Козетта спит.

Слово «отец», обращенное Мариусом к г-ну Фошлевану, обозначало высочайшее блаженство. Между ними, как известно, всегда стояла стеной какая-то холодность и принужденность; этот лед надо было или сломать, или растопить. Мариус был до такой степени опьянен счастьем, что стена между ними рухнула сама собой, лед растаял, и г-н Фошлеван стал ему таким же отцом, как Козетте.

Он снова заговорил; слова хлынули потоком из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости.

– Как я рад вас видеть! Если бы вы знали, как нам недоставало вас вчера! Добрый день, отец! Как ваша рука? Лучше, не правда ли?

Удовлетворившись своим благоприятным ответом на свой же вопрос, он продолжал:

– Как много мы с Козеттой о вас говорили! Козетта так любит вас! Не забудьте, что вам приготовлена комната. Мы больше знать не хотим об улице Вооруженного человека. Мы и слышать о ней не желаем. Как могли вы поселиться на этой улице? Она такая неприветливая, некрасивая, холодная, она вредна для здоровья, вся загорожена, туда и не пройдешь.

Переезжайте к нам. Сегодня же! Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она намерена командовать всеми нами, предупреждаю вас. Вы уже видели вашу комнату, она почти рядом с нашей, и ее окна выходят в сад; дверной замок там починили, постель приготовили, вам остается только перебраться. Козетта поставила возле вашей кровати большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, и приказала этому креслу: «Раскрой ему объятия». В чащу акаций, против ваших окон, каждую весну прилетает соловей. Через два месяца вы его услышите. Его гнездышко будет налево от вас, а наше – направо. Ночью будет петь соловей, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит прямо на юг. Козетта расставит в ней ваши книги, путешествия капитана Кука и путешествия Ванкувера, все ваши вещи. Есть у вас, кажется, сундучок, которым вы особенно дорожите, я наметил там для него почетное место. Вы покорили моего деда, вы очень ему подходите. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Если умеете, вы доставите деду огромное удовольствие. Вы будете гулять с Козеттой в дни моих судебных заседаний, будете водить ее под руку, как в былое время в Люксембургском саду, помните? Мы твердо решили быть очень счастливыми. И вы тоже, отец, будете счастливы нашим счастьем. Да ведь вы позавтракаете с нами сегодня?

– Сударь, – сказал Жан Вальжан. – Мне надо вам что-то сообщить. Я – бывший каторжник. Для звуков существует предел резкости, за которым их не воспринимает не только слух, но и разум. Эти слова: «Я – бывший каторжник», слетевшие с губ г-на Фошлевана и коснувшиеся уха Мариуса, выходили за границы возможного. Мариус не расслышал их. Ему показалось, будто ему что-то сказали, но что именно – он не понял. Он был в сильнейшем недоумении. Тут только он увидел, что говоривший с ним человек был страшен. Поглощенный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его ужасающей бледности.

Жан Вальжан снял черную повязку с правого локтя, размотал полотняный лоскут, обернутый вокруг руки, высвободил большой палец и показал его Мариусу.

– С моей рукой ничего не случилось, – сказал он.

Мариус взглянул на его палец.

– И никогда не случалось, – добавил Жан Вальжан.

Действительно, на пальце не было ни малейшей царапины.

Жан Вальжан продолжал:

– Мне не следовало присутствовать на вашей свадьбе. Я постарался избежать этого. Я выдумал эту рану, чтобы не совершить подлог, чтобы не дать повода объявить недействительным свадебный контракт, чтобы его не подписывать.

– Что это значит? – запинаясь, спросил Мариус.

– Это значит, – ответил Жан Вальжан, – что я был на каторге.

– Я схожу с ума! – в испуге вскричал Мариус.

– Господин Понмерси! – сказал Жан Вальжан. – Я провел на каторге девятнадцать лет. За воровство. Затем я был приговорен к ней пожизненно. За повторное воровство. В настоящее время я скрываюсь от полиции.

Напрасно Мариус старался отступить перед действительностью, не поверить факту, воспротивиться очевидности, – он вынужден был сложить оружие. Он начал понимать, и, как всегда бывает в подобных случаях, он понял и то, чего сказано не было. Он вздрогнул от внезапно озарившей его страшной догадки; его мозг пронзила мысль, заставившая его содрогнуться. Он словно проник взором в будущее и узрел там свою безотрадную участь.

– Говорите все! Говорите правду! – крикнул он – Вы отец Козетты?

И, полный невыразимого ужаса, отшатнулся.

Жан Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось, стал выше на голову.

– Вы должны мне поверить сударь. И хотя нашу клятву – клятву таких, как я, – правосудие не признает...

Он помолчал, потом заговорил медленно с какою-то властной мрачной силой подчеркивая каждый слог:

– ...Вы мне поверите. Я не отец Козетты! Видит бог, нет! Господин Понмерси! Я крестьянин из Фавероля. Я зарабатывал на жизнь подрезкой деревьев. Меня зовут не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я для Козетты – никто. Успокойтесь.

– Кто мне это докажет? – пробормотал Мариус.

– Я. Мое слово.

Мариус взглянул на этого человека. Человек был мрачен и спокоен. Подобное спокойствие несовместимо с ложью. То, что обратилось в лед, – правдиво. В этом могильном холоде чувствовалась истина.

– Я вам верю, – сказал Мариус.

Жан Вальжан наклонил голову, как бы принимая это к сведению, и продолжал:

– Что я для Козетты? Случайный прохожий. Десять лет назад я не знал, что она живет на свете. Я люблю ее, это верно. Как не любить дитя, которое знал с малых его лет, в годы, когда сам уже был стариком? Когда стар, чувствуешь себя дедушкой всех малышей. Мне думается, вы можете допустить, что есть и у меня что-то похожее на сердце. Она была сироткой. Без отца, без матери. Она нуждалась во мне. Вот почему я полюбил ее. Маленькие дети так беспомощны, что первый встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем. И я взял на себя эту обязанность по отношению к Козетте. Не думаю, чтобы такую малость можно было назвать добрым делом, но если это правда доброе дело, – ну что ж, считайте что я его совершил. Отметьте это как смягчающее обстоятельство. Сегодня Козетта уходит из моей жизни; наши пути разошлись. Отныне я бессилен что-либо для нее сделать. Она – баронесса Понмерси. У нее теперь другой ангел-хранитель. И Козетта выиграла от этой перемены. Все к лучшему. А эти шестьсот тысяч франков, – хоть вы не говорите о них, но я предвижу ваш вопрос, – были мне отданы только на хранение. Каким образом очутились они в моих руках, спросите вы? Не все ли равно! Я отдаю то, что было мне поручено сохранить. Больше вам не о чем меня спрашивать. Я выполнил свой долг до конца, открыв вам мое настоящее имя. Но это уже касается меня одного. Мне очень важно, чтобы вы знали, кто я такой.

И тут Жан Вальжан взглянул прямо в лицо Ма-риусу.

Чувства, испытываемые Мариусом, были смутны и беспорядочны. Удары судьбы, подобно порывам ветра, вздымающим водяные валы, вызывают в нашей душе бурю.

У каждого из нас бывают минуты глубокой тревоги, когда нами владеет полная растерянность; мы говорим первое, что приходит на ум, и часто совсем не то, что нужно сказать. Существуют внезапные откровения, невыносимые для человека, одурманивающие, словно отравленное вино. Мариус так был ошеломлен, что стал упрекать Жана Вальжана, точно был раздосадован его признанием.

– Не понимаю, – воскликнул он, – зачем вы мне говорите все это? Кто вас принуждает? Вы могли бы хранить вашу тайну. Вас никто не выдает, не преследует, не травит. Чтобы добровольно сделать такое признание, у вас должна быть причина. Говорите все до конца. Здесь что-то кроется. С какой целью вы разоблачаете себя? Для чего? Зачем?

– Зачем? – проговорил Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно обращался к самому себе, а не к Мариусу. – В самом деле, по какой причине каторжнику вздумалось вдруг сказать: «Я каторжник»? Так и быть, отвечу. Да, причина есть, и причина странная. Я сделал это из честности. Послушайте, вот в чем несчастье: я на прочном поводу у своей совести. Когда человек стар, эти узы особенно крепки. Все живое вокруг разрушается, а они не поддаются. Если бы я мог разорвать их, уничтожить, развязать этот узел или разрезать его и уйти далеко-далеко, я был бы спасен, мне оставалось бы только уехать, – в любом дилижансе с улицы Блуа; вы счастливы, и я могу уйти. Но я пытался оборвать эти узы, я тянул изо всех сил; они держались крепко, они не подавались, вместе с ними я вырвал бы свое сердце. Тогда я сказал себе: «Я не могу жить в ином месте. Я должен остаться здесь». Вы правы, конечно. Да, я глупец. Почему бы мне не остаться просто так, без объяснений? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме, госпожа Покмерси очень меня любит, она даже сказала креслу: «Раскрой ему объятия», ваш дед охотно примет меня, мое общество подходит ему, мы будем жить все вместе, обедать вместе, я буду водить под руку Козетту... госпожу Понмерси, – простите, я оговорился по привычке, – мы будем жить под одной кровлей, сидеть за одним столом, под одной лампой греться у камина зимой, гулять вместе летом. Это такая радость, такое счастье, выше этого ничего нет на земле. Мы жили бы семьей. Одной семьей!

При этих словах Жан Вальжан стал страшен. Скрестив на груди руки, он устремил глаза вниз с таким видом, словно желал вырыть у своих ног бездну; голос его стал вдруг громовым.

– Одной семьей! – вскричал он. – Нет! У меня нет семьи. Я не принадлежу и к вашей. Ни к одной человеческой семье. В домах, где живут люди, близкие меж собой, я лишний. На свете есть семьи, но не для меня. Я отверженный, я выброшен за борт. Были у меня отец и мать? Я начинаю в этом сомневаться. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все было кончено. Я видел, что она счастлива, что она с человеком, которого любит, что есть при них добрый дед, есть дом, полный радости, приют двух ангелов, что все хорошо. И я сказал себе: «Не смей входить туда». Я мог солгать, это верно, я мог обмануть всех вас и остаться господином Фошлеваном. Пока это нужно было для нее, я лгал; но сейчас, ради самого себя, я не имею права лгать. Правда, мне достаточно было лишь промолчать, и все шло бы по-прежнему. Вы спрашиваете, что же принуждает меня говорить? Сущая безделица – моя совесть. Ведь промолчать было бы так просто! Я всю ночь старался убедить себя в этом; вы требуете от меня исповеди, и вы имеете на это право, настолько необычно то, что я сказал вам сейчас; ну да, я всю ночь приводил себе всякие доводы, самые веские доводы; поистине я сделал все, что было в моих силах. Но вот чего я преодолеть не мог: я не сумел разорвать ту нить, которая держит мое сердце привязанным, прикованным, припаянным к Козетте, и я не мог заглушить голос того, кто тихо беседует со мною, когда я один. Вот почему сегодня утром я пришел к вам сознаться во всем. Во всем или почти во всем. О том, что касается только меня, говорить не стоит: это я оставляю про себя. Основное вы знаете. Так вот, я взял

свою тайну и принес ее вам. Я вскрыл ее на ваших глазах. Нелегко было принять это решение. Я боролся всю ночь. Вы думаете, я не убеждал себя, что здесь положение другое, чем в деле Шанматье, что теперь, скрывая свое имя, я никому не приношу зла, что имя Фошлевана дано было мне самим Фошлеваном в благодарность за оказанную услугу и я вполне мог бы оставить его за собой, что я буду счастлив в комнатке, которую вы мне предлагаете, что я никого не стесню, что буду жить в своем уголке и что хотя Козетта и принадлежит вам, мне все же будет утешением жить в одном доме с нею? У каждого из нас была бы своя доля счастья. По-прежнему называться господином Фошлеваном – и все было бы в порядке. Все, но не моя душа. Отовсюду на меня изливалась бы радость, а в глубине моей души царила бы черная ночь. Недостаточно быть счастливым, надо быть в мире с самим собой. Теперь вообразите, что я остался господином Фошлеваном, то есть скрыл истинное свое лицо; рядом с вашим расцветшим счастьем я хранил бы тайну, среди бела дня носил бы в себе тьму; не предупреждая вас, я просто-напросто привел бы каторгу к вашему очагу и уселся за ваш стол с мыслью, что, знай вы, кто я такой, вы прогнали бы меня прочь; я позволил бы прислуживать себе вашим людям, которые, знай они все, вскрикнули бы: «Какой ужас!» Мне случалось бы коснуться вас локтем, что по праву должно вызвать у вас брезгливость, я воровал бы ваши рукопожатия! В вашем доме пришлось бы делить уважение между почтенными сединами и сединами опозоренными; в часы, когда все сердца, казалось бы, открыты друг для друга, в часы сердечной близости, когда мы будем вместе все четверо, – ваш дед, вы, Козетта и я, – здесь бы присутствовал неизвестный! И единственной моей заботой в этой жизни бок о бок с вами было бы не открывать моей тайны, не давать сдвинуться крышке этого страшного колодца. Так я, мертвец, навязал бы себя вам, живым. А ее, Козетту, приковал бы к себе навеки. Вы, она и я представляли бы собою три головы под зеленым колпаком каторжника! И вы не содрогаетесь? Сейчас я только несчастнейший из людей, а тогда был бы самым гнусным из них. И это преступление я совершал бы каждый день! И эту ложь я повторял бы каждый день! И этой черной маской скрывал бы мое лицо каждый день! И я делал бы вас участниками моего позора каждый день! Непрестанно! Вас, моих любимых, вас, моих детей, моих невинных ангелов! Молчать легко? Таиться просто? Нет, не просто. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, мой обман, низость, трусость, вероломство, преступление я испил бы каплю за каплей, я выплюнул бы их и снова пил, кончал бы в полночь и вновь начинал в полдень, и я лгал бы, говоря: «С добрым утром», и говоря: «Спокойной ночи», и этой ложью я накрывался бы вместо одеяла, ложась спать, и ел бы с нею свой хлеб, и смотрел бы Козетте в лицо, и отвечал бы дьявольской улыбкой на улыбку ангела, – я был бы презренным негодяем! И ради чего? Чтобы быть счастливым. Мне быть счастливым! Разве я имею на это право? Я выброшен из жизни, сударь!

Жан Вальжан остановился. Мариус молчал. Подобные излияния, где мысли дышат сердечной мукой, прервать невозможно. Жан Вальжан снова понизил голос, но он звучал теперь уже не глухо, а зловеще:

– Вы спрашиваете, зачем я говорю? Меня никто не выдает, не преследует, не травит, сказали вы. Напротив! Меня выдают, меня преследуют, меня травят! Кто? Я сам. Я сам преграждаю себе дорогу, я сам тащу себя, толкаю, арестую, казню. А когда попадешь самому себе в руки, из них нелегко вырваться.

Тут Жан Вальжан схватил себя за воротник.

– Поглядите на этот кулак, – сказал он. – Не находите ли вы, что он держит за ворот так крепко, как будто впился в него навеки? Ну вот, у совести такая же мертвая хватка. Если желаете быть счастливым, сударь, никогда не пытайтесь уразуметь, что такое долг, ибо стоит лишь понять это, как он становится неумолимым. Он словно карает вас за то, что вы постигли его. Но нет, он же и вознаграждает вас, ибо в аду, куда он вас ввергает, вы чувствуете рядом с собою бога. Пока не истерзаешь всю свою душу, не будешь в мире с самим собой.

С мучительным, скорбным выражением он продолжал:

– Господин Понмерси! Хотя это и противоречит здравому смыслу, но я – честный человек. Именно потому, что я падаю в ваших глазах, я возвышаюсь в своих собственных. Это случилось уже со мною однажды, но тогда мне не было так больно; тогда это были пустяки. Да, я честный человек. Я не был бы им, если бы по моей вине вы продолжали меня уважать; теперь же, когда вы презираете меня, я остаюсь честным. Надо мной тяготеет рок: я могу пользоваться лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяготит, а для того, чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие меня презирали. Тогда я держу голову высоко. Я – каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично знаю, что это кажется не очень правдоподобным. Но что поделать, если это так? Я заключил с собою договор, и я выполню его. Есть встречи, которые ко многому обязывают, есть случайности, которые призывают нас к исполнению долга. Видите ли, господин Понмерси, мне многое пришлось испытать в жизни.

Жан Вальжан помолчал и, с усилием проглотив слюну, словно в ней оставался горький привкус, заговорил снова:

– Если человек отмечен клеймом позора, он не вправе принуждать других делить его с ним без их ведома, он не вправе заражать их чумой, он не вправе незаметно увлекать их в пропасть, куда упал сам, накидывать на них свою арестантскую куртку, омрачать счастье ближнего своим несчастьем. Приблизиться к тем, кто цветет здоровьем, коснуться их во мраке тайной своей язвой – это гнусно. Пусть Фошлеван ссудил меня своим именем, я не имею права им воспользоваться; он мог мне его дать, но я не смею носить его. Имя – это человеческое «я». Видите ли, сударь, хоть я и крестьянин, я о многом размышлял, кое-что читал; как видите, я умею выражать свои мысли. Я отдаю себе отчет во всем. Я сам воспитал себя. Так вот, похитить имя и укрыться под ним – бесчестно. Ведь буквы алфавита могут быть присвоены таким же мошенническим способом, как кошелек или часы. Быть подложной подписью из плоти и крови, быть отмычкой к дверям честных людей, обманом войти в их жизнь, не смотреть прямо в лицо, вечно отводить глаза в сторону, чувствовать себя подлецом, нет, нет, нет, нет! Лучше страдать, истекать кровью, рыдать, раздирать лицо ногтями, по ночам не находить покоя, в смертельной тоске терзать свое тело и душу! Вот почему я рассказал вам все. Добровольно, как выразились вы. Он тяжело вздохнул.

– Когда-то, чтобы жить, я украл хлеб; теперь, чтобы жить, я не желаю красть имя.

– Чтобы жить? – прервал Мариус. – Вам не нужно это имя, чтобы жить.

– Ах, я знаю, что говорю! – сказал Жан Вальжан, медленно покачивая головой.

Наступила тишина. Оба молчали, погружившись в глубокое, тяжелое раздумье. Мариус сидел у стола, подперев голову рукой и приложив согнутый палец к уголку рта. Жан Вальжан ходил по комнате. Он задержался перед зеркалом, потом, как бы отвечая на собственное безмолвное возражение, сказал, вперив в зеркало невидящий взгляд:

– Зато теперь я облегчил свое сердце!

Он опять стал ходить и направился в другой конец комнаты. В ту минуту, как он поворачивал обратно, он заметил, что Мариус провожает его взглядом.

– Я немного волочу ногу. Теперь вам понятно почему, – произнес он с каким-то особенным выражением и продолжал:

– А теперь, сударь, вообразите себе вот что: я ничего не сказал, я остался господином Фошлеваном, я занял место среди вас, стал своим, живу в моей комнате, выхожу к завтраку в домашних туфлях, вечером мы втроем идем в театр, я провожаю госпожу Понмерси в Тюильри или в сквер на Королевской площади, мы постоянно вместе, вы считаете меня человеком вашего круга. В один прекрасный день мы беседуем, мы смеемся, я здесь, вы – вон там, и вдруг вы слышите голос, громко произносящий «Жан Вальжан!» И вот тянется из мрака страшная рука, рука полиции, и внезапно срывает с меня маску.

Он замолчал Мариус, вздрогнув от ужаса, поднялся с места. Жан Вальжан спросил:

– Что вы на это скажете?

Ответом было молчание Мариуса.

Жан Вальжан продолжал:

– Как видите, я прав, что решил открыться. Послушайте, будьте счастливы, возноситесь в небеса, будьте ангелом-хранителем для другого ангела, купайтесь в лучах солнца и довольствуйтесь этим. Что вам до того, каким именно способом бедный грешник вскрывает себе грудь, чтобы выполнить свой долг? Перед вами несчастный человек, сударь.

Мариус медленно подошел к Жану Вальжану и протянул ему руку. Но Мариусу пришлось самому взять его руку, – она не поднялась ему навстречу. Жан Вальжан не противился, и Мариусу показалось, что он пожал каменную руку.

– У моего деда есть друзья, – сказал Мариус, – я добьюсь для вас помилования.

– Поздно, – возразил Жан Вальжан. – Меня считают умершим, этого достаточно. Мертвецы не подвластны полицейскому надзору. Им предоставляют мирно гнить в могиле. Смерть – это то же, что помилование.

Высвободив свою руку из пальцев Мариуса, он присовокупил с каким-то непоколебимым достоинством:

– К тому же и у меня есть друг, к чьей помощи я прибегаю, – это выполнение долга. И лишь в одном помиловании я нуждаюсь – в том, какое может даровать мне моя совесть.

Тут в другом конце гостиной тихонько приотворилась дверь, и между ее полуоткрытых створок показалась головка Козетты. Видно было только ее милое лицо; волосы ее рассыпались в очаровательном беспорядке, веки слегка припухли от сна. Словно птичка, высунувшая голову из гнезда, она окинула взглядом мужа, потом Жана Вальжана и крикнула, смеясь, – казалось, роза расцвела улыбкой:

– Держу пари, что вы говорите о политике. Как глупо этим заниматься, вместо того чтобы быть со мной!

Жан Вальжан вздрогнул.

– Козетта!... – пролепетал Мариус. И замолк.

Могло показаться, что оба они в чем-то виноваты.

Козетта, сияя от удовольствия, продолжала глядеть на обоих. В глазах ее словно играли отсветы рая.

– Я поймала вас на месте преступления, – заявила Козетта. – Я только что слышала за дверью, как мой отец Фошлеван говорил: «Совесть... Выполнить свой долг», – это о политике, ведь так? Я не хочу. Нельзя говорить о политике сразу, на другой же день. Это нехорошо.

– Ты ошибаешься, Козетта. – возразил Мариус. – У нас деловой разговор. Мы говорим о том, как выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков...

– Не в этом дело, – перебила его Козетта. – Я пришла. Хотят меня здесь видеть?

Решительно шагнув вперед, она вошла в гостиную. На ней был широкий белый пеньюар с длинными рукавами, спадавший множеством складок от шеи до пят. На золотых небесах старинных средневековых картин можно увидеть эти восхитительные хламиды, окутывающие ангелов.

Она оглядела себя с головы до ног в большом зеркале и воскликнула в порыве невыразимого восторга:

– Жили на свете король и королева! О, как я рада!

Она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану.

– Ну вот, – сказала она, – теперь я пристроюсь возле вас в кресле, завтрак через полчаса, вы будете разговаривать, о чем хотите; я знаю, мужчинам надо поговорить, и я буду сидеть смирно.

Мариус взял ее за руку и сказал голосом влюбленного:

– У нас деловой разговор.

– Знаете, – снова заговорила Козетта, – я растворила окно, сейчас в наш сад налетела туча смешных крикунов. Не карнавальных, а просто воробьев. Сегодня покаянная среда, а у них все еще масленица.

– Малютка Козетта! Мы говорим о делах, оставь нас ненадолго. Мы говорим о цифрах. Тебе это наскучит.

– Ты сегодня надел прелестный галстук, Мариус. Вы большой франт, милостивый государь. Нет, мне не будет скучно.

– Уверяю тебя, что ты соскучишься.

– Нет Потому что это вы. Я не пойму вас, но я буду вас слушать. Когда слышишь любимые голоса, нет нужды понимать слова. Быть здесь, с вами, – мне больше ничего не надо. Я остаюсь, вот и все.

– Козетта, любимая моя, это невозможно.

– Невозможно?

– Да.

– Ну что ж, – сказала Козетта. – А я было хотела рассказать вам, что дедушка еще спит, что тетушка ушла к обеду, что в комнате отца моего Фошлевана дымит камин, что Николетта позвала трубочиста, что Тусен и Николетта уже успели повздорить, что Николетта насмеяется над заиканьем Тусен. А теперь вы ничего не узнаете. Вот как, это невозможно? Ну погодите, придет и мой черед, вот увидите, сударь, я тоже скажу: «Это невозможно». Кто тогда останется с носом? Мариус, миленький, прошу тебя, позволь мне посидеть с вами!

– Клянусь тебе, нам надо поговорить без посторонних.

– А разве я посторонняя?

Жан Вальжан не произносил ни слова. Козетта обернулась к нему:

– А вы, отец? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня поцеловали. А потом, на что это похоже, – не говорить ни слова, вместо того чтобы вступить за меня! За что бог наградил меня таким отцом! Вы отлично видите, как я несчастна в семейной жизни. Мой муж меня бьет. Говорят вам, поцелуйте меня сию же минуту!

Жан Вальжан приблизился к ней.

Козетта обернулась к Мариусу:

– А вам гримаса, – вот, получайте.

Потом подставила лоб Жану Вальжану.

Он сделал шаг ей навстречу.

Козетта отшатнулась:

– Как вы бледны, отец! У вас так сильно болит рука?

– Она прошла, – ответил Жан Вальжан.

– Вы плохо спали?

– Нет.

– Вам грустно?

– Нет.

– Тогда поцелуйте меня. Если вы здоровы, если вы спали хорошо, если вы довольны, я не буду вас бранить.

И она снова подставила ему лоб.

Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее сиявшем небесной чистотой челе.

– Улыбнитесь!

Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака.

– А теперь защитите меня от моего мужа.

– Козетта!.. – начал Мариус.

– Выбраните его, отец. Скажите ему, что мне необходимо остаться. Можно отлично разговаривать и при мне. Вы, видно, считаете меня совсем дурочкой. Разве то, что вы говорите, так уж необыкновенно? Дела, поместить деньги в банке, – подумаешь какая

важность! Мужчины вечно напускают на себя таинственность по пустякам. Я хочу остаться. Я сегодня очень хорошенькая. Посмотри на меня, Мариус.

Она повела плечами и, очаровательно надув губки, подняла глаза на Мариуса. Словно молния сверкнула между этими двумя существами. То, что здесь присутствовало третье лицо, не имело значения.

– Люблю тебя! – сказал Мариус.

– Обожаю тебя! – сказала Козетта.

Повинуясь неодолимой силе, они упали друг к другу в объятия.

– А теперь, – снова заговорила Козетта, с забавные, торжествующим видом оправляя складки своего пеньюара, – я остаюсь.

– Нет, нельзя, – сказал Мариус умоляющим тоном. – Нам надо кое-что закончить.

– Опять нет?

Мариус постарался придать голосу строгое выражение:

– Уверяю тебя, Козетта, что это невозможно.

– А, вы заговорили голосом властелина, сударь? Хорошо же. Мы уйдем. А вы, отец, так и не заступились за меня. Господин супруг, господин отец, вы – тираны. Сейчас я все расскажу дедушке. Если вы думаете, что я вернусь и стану просить, унижаться, вы ошибаетесь. Я горда. Теперь я подожду, пока вы сами придете. Вы увидите, как вам будет скучно без меня. Я ухожу, так вам и надо.

И она вышла из комнаты.

Через секунду дверь снова отворилась, снова меж двух створок показалось ее свежее, румяное личико, и она крикнула:

– Я очень сердита!

Дверь затворилась, и вновь наступил мрак.

Словно заблудившийся солнечный луч неожиданно прорезал тьму и скрылся.

Мариус проверил, плотно ли затворена дверь.

– Бедная Козетта! – прошептал он. – Когда она узнает...

При этих словах Жан Вальжан задрожал. Устремив на Мариуса растерянный взгляд, он заговорил:

– Козетта! Да, правда, вы все скажете Козетте. Это справедливо. Ах, я не подумал об этом!

На одно у человека хватает сил, на другое нет. Сударь! Заклинаю вас, молю вас, сударь, поклянитесь мне всем святым, что не скажете ей ничего. Разве не достаточно того, что вы сами знаете все? Я мог бы никем не принуждаемый, по собственной воле сказать об этом кому угодно, целой вселенной, мне это безразлично. Но она, она не должна знать ничего. Это ужаснет ее. Каторжник, подумайте! Пришлось бы объяснить ей, сказать: «Это человек, который был на галерах». Она видела однажды, как проходила партия каторжников. Боже мой, боже!

Он тяжело опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не слышно было ни звука, но плечи его вздрагивали, и видно было, что он плакал. Безмолвные слезы – страшные слезы.

Сильные рыдания вызывают у человека удушье. По телу Жана Вальжана словно пробежала судорога, он откинулся на спинку кресла, как бы для того, чтобы перевести дыхание, руки его повисли, и Мариус увидел его залитое слезами лицо, услышал шепот, такой тихий, что казалось, он исходил из бездонной глубины:

– О, если б умереть!

– Успокойтесь, – сказал Мариус, – я буду свято хранить вашу тайну.

Мариус, возможно, был не так уж растроган. Ему трудно было за этот час свыкнуться с ужасной новостью, постепенно поверить в эту истину, видеть, как мало-помалу каторжник заслоняет от него г-на Фошлевана, и наконец прийти к сознанию пропасти, которая внезапно разверзлась между ним и этим человеком. Но он добавил:

– Я должен сказать хотя бы несколько слов по поводу вверенного вам имущества, которое вы так честно и в такой неприкосновенности возвратили. Это свидетельствует о вашей высокой порядочности. Было бы вполне справедливо, чтобы за это вы получили вознаграждение. Назначьте сами нужную сумму, она будет вам выплачена. Не бойтесь, что она покажется слишком высокой.

– Благодарю вас, сударь, – кротко промолвил Жан Вальжан.

Он задумался на мгновение, машинально поглаживая кончиком указательного пальца ноготь большого, затем, повысив голос, произнес:

– Все почти сказано. Остается последнее...

– Что именно?

Жаном Вальжаном, казалось, овладела величайшая нерешительность. Беззвучно, почти не дыша, он сказал, вернее пролепетал:

– Теперь, когда вам известно все, не считаете ли вы, сударь, – вы, муж Козетты – что я больше не должен ее видеть?

– Я считаю, что так было бы лучше, – холодно ответил Мариус.

– Я не увижу ее больше, – прошептал Жан Вальжан и направился к выходу.

Он тронул дверную ручку, она повернулась, дверь полуоткрылась. Жан Вальжан распахнул ее шире, чтобы пройти, постоял неподвижно с минуту, потом снова затворил дверь и обернулся к Мариусу.

Лицо его уже не было бледным, оно приняло свинцовый оттенок. Глаза были сухи, и в них пылал какой-то скорбный огонь. Голос его стал до странности спокоен.

– Если вы позволите, сударь, я буду навещать ее. Уверю вас, мне это необходимо. Если бы для меня не было так важно видеть Козетту, я не сделал бы вам того признания, которое вы слышали, я просто уехал бы. Но я хотел остаться там, где Козетта, хотел ее видеть, вот почему я должен был честно вам все рассказать. Вы следите за моей мыслью? Это ведь так понятно! Видите ли, уже девять лет, как она со мною. Сначала мы жили в той лачуге на бульваре, потом в монастыре, потом возле Люксембургского сада. Там, где вы увидели ее впервые. Помните ее синюю бархатную шляпку? Затем мы переехали в квартал Инвалидов, на улицу Плюме, у нас был сад за решеткой. Я жил на заднем двореке, откуда мне слышно было ее фортепьяно. Вот и вся моя жизнь. Мы никогда не разлучались. Это длилось девять лет и несколько месяцев. Я заменял ей отца, она была мое дитя. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но уйти сейчас, не видеть ее больше, не говорить с нею больше, лишиться всего – это было бы слишком тяжело. Если вы не найдете в том ничего дурного, я буду приходить иногда к Козетте. Я не приходил бы часто. Не оставался бы надолго. Вы распорядились бы, чтобы меня принимали в маленькой нижней зале. В первом этаже. Я входил бы, конечно, с черного крыльца, которым ходят ваши слуги, хотя боюсь, это вызвало бы толки. Лучше, пожалуй, проходить через парадное. Право же, сударь, мне очень хотелось бы время от времени видеться с Козеттой. Так редко, как только вы пожелаете. Вообразите себя на моем месте, – кроме нее, у меня ничего нет в жизни. А потом, надо быть осторожным. Если бы я перестал приходить совсем, это произвело бы дурное впечатление, это сочли бы странным. Вот что: я мог бы, например, приходить по вечерам, когда совсем стемнеет.

– Вы будете приходить каждый вечер, – сказал Мариус, и Козетта будет вас ждать.

– Вы очень добры, сударь, – проговорил Жан Вальжан.

Мариус поклонился Жану Вальжану, счастливцев проводил несчастного до дверей, и эти два человека расстались.

Глава вторая.

Какие неясности могут таиться в разоблачении

Мариус был потрясен.

Странное чувство отчуждения, какое он всегда испытывал к человеку, возле которого он видел Козетту, отныне стало ему понятным. В этой личности было нечто загадочное, о чем давно предупреждал его инстинкт. Загадка эта была последней ступенью позора – каторгой. Господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном.

Открыть внезапно такую тайну в самом расцвете своего счастья – все равно, что обнаружить скорпиона в гнезде горлицы.

Было ли счастье Мариуса и Козетты обречено отныне на такое соседство? Считать ли это свершившимся фактом? Был ли обязан Мариус, вступив в брак, признать этого человека? Неужели тут ничего нельзя поделать?

Неужели он связал свою жизнь с каторжником?

Пусть венок, сплетенный из света и веселья, венчает голову счастливец, пусть наслаждается он великим, блаженнейшим часом своей жизни – разделенной любовью, такой удар заставил бы содрогнуться даже архангела, погруженного в экстаз, даже героя в ореоле его славы. Как всегда бывает при подобных превращениях, Мариус стал раздумывать – не следует ли ему упрекнуть себя самого? Не изменило ли ему внутреннее чутье? Не проявил ли он невольного легкомыслия? До некоторой степени, пожалуй. Не пустился ли он слишком опрометчиво в это любовное приключение, закончившееся браком с Козеттой, даже не наведя справок о ее родных? Именно таким путем, заставляя нас последовательно уяснять наши поступки, жизнь мало-помалу умудряет нас. Он видел теперь склонную к мечтательности и фантазиям сторону своего характера, подобную скрытому от глаз облаку, которое у многих натур, при пароксизмах страсти и боли, меняет температуру души, сгущается и, заполняя человека целиком, помрачает его сознание. Мы не раз уже указывали на эту характерную особенность личности Мариуса. Он вспоминал, что на улице Плуме, в течение упоительных шести или семи недель, опьяненный любовью, он даже ни разу не говорил Козетте о драме в доме Горбо и о странном поведении потерпевшего, который упорно молчал во время борьбы и тотчас бежал по ее окончании. Как случилось, что он ничего не рассказал Козетте? Это ведь произошло так недавно и было так ужасно! Как случилось, что он даже не упомянул о семье Тенардье, в особенности в тот день, когда встретил Эпонину? Сейчас он с трудом мог объяснить себе свое тогдашнее молчание. Тем не менее он отдавал себе в этом отчет. Он вспоминал себя, свое безумие, свое опьянение Козеттой, всепоглощающую любовь – это вознесение влюбленных на высоты идеала; и, быть может, как неприметную крупицу рассудка в том бурном и восхитительном порыве души, он припоминал также смутную, затаенную мысль скрыть и изгладить из памяти опасное приключение, которого он боялся касаться, в котором не желал играть никакой роли, от которого бежал и в котором не мог стать ни рассказчиком, ни свидетелем, не будучи в то же время обвинителем. К тому же эти несколько недель промелькнули, словно молния; не хватало времени ни на что другое, как только любить друг друга. Наконец, если бы даже, все взвесив, все пересмотрев, все обсудив, он и рассказал Козетте о засаде в доме Горбо, если бы и назвал Тенардье, – какое это могло иметь значение? Даже если бы он открыл, что Жан Вальжан – каторжник, изменило бы это что-нибудь в нем, в Мариусе? Изменило бы это что-нибудь в Козетте? Разве он отступился бы от нее? Разве перестал бы обожать? Разве отказался бы взять ее в жены? Нет. Изменило бы это хоть сколько-нибудь то, что совершилось? Нет. Значит, не о чем жалеть, не в чем упрекать себя. Все было хорошо. Есть еще бог в небесах и для этих безумцев, которые зовутся влюбленными. Слепой Мариус следовал тем же путем, который избрал бы зрячим. Любовь завязала ему глаза, чтобы повести его – куда? В рай.

Но этот рай отныне омрачало соседство с адом.

Давнее нерасположение Мариуса к Фошлевану, превратившемуся в Жана Вальжана, сменилось теперь ужасом.

Заметим, однако, что в этом ужасе была доля жалости и даже некоторого восхищения. Этот вор, закоренелый злодей, вернул отданную ему на хранение сумму. И какую! Шестьсот тысяч франков. Он один знал тайну этих денег. Он мог все оставить себе и, однако, все возвратил.

Кроме того, он сам выдал свое истинное общественное положение. Ничто его к тому не принуждало. Если и открылось, кто он такой, то лишь благодаря ему самому. Его признание означало нечто большее, чем готовность к унижению, — оно означало готовность к опасности. Для осужденного маска — это не маска, а прибежище. Он отказался от этого прибежища. Чужое имя для него — безопасность; он отверг это чужое имя. Он, каторжник, мог навсегда укрыться в достойной семье, и он устоял перед искушением. По какой же причине? Этого требовала его совесть. Он сам объяснил это с неотразимой убедительностью. Словом, каков бы ни был этот Жан Вальжан, неоспоримо одно — в нем пробуждалась совесть. В нем начиналось некое таинственное возрождение; по всей видимости, душевная тревога издавна владела этим человеком. Подобное стремление к добру и справедливости несвойственно натурам заурядным. Пробуждение совести — признак величия души.

Жан Вальжан говорил искренне. Судя хотя бы по той боли, какую причиняла ему эта искренность, видимая, осязаемая, неопровержимая, подлинная, она делала ненужными иные доказательства и придавала значительность словам этого человека. Отношение к нему Мариуса странным образом изменилось. Какое чувство внушал к себе господин Фошлеван? Недоверие. Что вызывал в нем Жан Вальжан? Доверие.

Мысленно оценивая поступки Жана Вальжана, Мариус устанавливал актив и пассив и старался свести баланс. Но вокруг него и в нем самом словно бушевала буря. Пытаясь составить себе ясное представление об этом человеке, вызывая образ Жана Вальжана из самых глубин своей памяти, он то терял, то вновь обретал его в каком-то роковом тумане. Честно возвращенная сумма денег, которую доверили ему, правдивость признания — все это хорошо. Это напоминало просвет в туче, но потом тучи снова сгущались.

Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но и они говорили о тайне.

Что же, собственно, происходило на чердаке Жондрета? Почему при появлении полиции этот человек, вместо того, чтобы обратиться к ней за помощью, исчез? Теперь ответ стал ясен для Мариуса. Потому, что человек этот бежал из места заключения и скрывался от полиции.

Другой вопрос: почему этот человек появился на баррикаде? Сейчас перед Мариусом, в его смятенной душе, вновь отчетливо всплыло это воспоминание, подобно симпатическим чернилам, которые выступают под действием огня. Этот человек был на баррикаде. Но он не сражался. Зачем же он туда пришел? Перед этим вопросом вставал призрак и отвечал на него: то был Жавер. Мариус теперь ясно вспоминал злое появление Жана Вальжана, увлекавшего за собой с баррикады связанного Жавера, и ему еще слышался страшный звук пистолетного выстрела, донесшийся из-за угла Мондетур. Между шпионом и каторжником, надо полагать, существовала давнишняя вражда. Они мешали друг другу. Жан Вальжан явился на баррикаду, чтобы отомстить. И пришел позднее других. По-видимому, он знал, что Жавер был захвачен в плен. Корсиканская вендетта, проникнув в низшие слои общества, стала там законом; она так вошла в обычай, что не удивляет даже тех, кто наполовину обратился к добру; эти натуры таковы, что злодея, вступившего на путь раскаяния, может смутить мысль о воровстве, но не мысль о мести. Жан Вальжан убил Жавера. По крайней мере это казалось Мариусу бесспорным.

Наконец, последний вопрос. Но на него ответа не было. И этот вопрос терзал Мариуса, словно раскаленные клещи. Как могло случиться, чтобы жизнь Жана Вальжана так долго шла бок о бок с жизнью Козетты? Что означала темная игра провидения, столкнувшего ребенка с этим человеком? Значит, и там, наверху, существуют оковы, значит, и богу бывает угодно сковать одной цепью ангела с демоном? Значит, грех и невинность могут оказаться

товарищами по камере на таинственной каторге бедствий? И в этом шествии осужденных судьба человеческая может заставить идти рядом два существа: одно-ясное и чистое, другое – страшное; одно – озаренное сиянием утра, другое – навеки опаленное молнией божьего гнева. Кто мог предопределить столь необъяснимый союз? Каким образом, каким чудом могла слиться судьба небесного юного создания с судьбой закоренелого грешника? Кто мог соединить ягненка с волком и – что еще непостижимее – привязать волка к ягненку? Волк любил ягненка, свирепое существо боготворило существо слабое, целых девять лет исчадие ада служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее девственный расцвет – ее порыв навстречу жизни и познанию преданно охранялись этим чудовищем. Здесь вопросы как бы распадались на бесчисленные загадки, в глубине одной пропасти разверзалась другая, и Мариус, думая о Жане Вальжане, испытывал головокружение. Кто же был этот человек-бездна?

Древние символы Книги бытия вечны: человеческое общество, такое, как оно есть, пока оно не обратится к свету, всегда порождало и будет порождать два типа людей: человека возвышенного и человека низкого; того, кто исповедует добро, – Авеля, и того, кто исповедует зло, – Каина. Кто же был этот Каин с нежным сердцем? Этот разбойник, который, как перед святыней, преклонялся перед девственницей, охранял ее, растил, оберегал, укреплял в добродетели и, будучи сам порочен, окружал ее ореолом непорочности? Что же это за грешник, который благоговел перед невинностью и ничем ее не запятнал? Кто же был этот Жан Вальжан, воспитавший Козетту? Что представлял собою этот выходец из мрака, поглощенный одной-единственной заботой – предохранить от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды?

Это было тайной Жана Вальжана; это было и божьей тайной.

Мариус отступал перед этой двойной тайной. Одна из них до известной степени успокаивала его относительно другой. Во всем этом столь же явно, как и Жан Вальжан, присутствовал бог. Пути господни неисповедимы. Бог пользуется тем средством, каким пожелает. Он не обязан давать отчет человеку. Ведомо ли нам, как господь вершит свои деяния? Жану Вальжану стоило больших трудов воспитать Козетту. До некоторой степени он был создателем ее души. Это неоспоримо. Ну и что же? Работник был ужасающе безобразен, но работа оказалась восхитительной. Бог волен творить чудеса, как хочет. Он создал очаровательную Козетту, а воспитателем приставил к ней Жана Вальжана. Ему угодно было избрать себе странного помощника. Какой счет мы можем предъявить ему? Разве впервые навоз помогает весне взрастить розу?

Мариус сам отвечал на свои вопросы и убеждал себя, что ответы правильны. Допрашивать Жана Вальжана по поводу всех указанных нами сомнений он не осмеливался, сам себе в том не сознаваясь. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой. Козетта сияла невинностью. Этого было ему довольно. В каких еще расследованиях он нуждался? Его возлюбленная была светом. Нуждается ли свет в разъяснении? У него было все; чего еще мог он желать? Все – разве этого недостаточно? Что ему до личных дел Жана Вальжана! Наклоняясь мысленно над роковой тенью, он цеплялся за торжественное заявление, сделанное этим отверженным: «Я – никто для Козетты. Десять лет назад я не знал о ее существовании».

Жан Вальжан был случайным прохожим. Он сам так сказал. Ну вот он и прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Отныне оставался Мариус, чтобы заступить место провидения Козетты. В лазурной вышине Козетта разыскала существо себе подобное, возлюбленного, мужа, посланного небом супруга. Улетая ввысь, Козетта, окрыленная и преображенная, подобно бабочке, вышедшей из куколки, оставляла на земле свою пустую и отвратительную оболочку – Жана Вальжана.

Какие бы мысли ни кружились в голове Мариуса, он снова и снова испытывал ужас перед Жаном Вальжаном. Ужас священный, быть может, ибо, как мы только что отметили, он

чувствовал *quid divinum*¹⁴⁸ в этом человеке. Но, какие бы усилия он над собой ни делал, какие бы смягчающие обстоятельства ни отыскивал, неизбежно приходилось возвращаться к одному: это был каторжник, иначе говоря, существо, которое даже не имело места на общественной лестнице, ибо оно опустилось ниже последней ее ступеньки. За самым последним из людей идет каторжник. Каторжник, в сущности, не принадлежит к числу живых. Закон лишил его всего человеческого – всего, что только он в силах отнять у человека. Хотя Мариус и был демократом, тем не менее в вопросах, касающихся судопроизводства, он все еще стоял за систему беспощадной кары и всех, кого карал закон, осуждал с точки зрения этого закона. Заметим, что духовное развитие Мариуса еще не было завершено. Он еще не умел отличить то, что начертано человеком, от того, что начертано богом, отличить закон от права. Он еще не обдумал и не взвесил присвоенного себе человеком права распоряжаться тем, что невосвратимо и непоправимо. Его не возмущало слово *vindicta*¹⁴⁹. Он считал справедливым, чтобы посягательства на писанный закон имели следствием пожизненное наказание, и признавал проклятие общества как способ воздействия, найденный цивилизацией. Он еще стоял на этой ступени, но с тем, чтобы позже неминуемо подняться выше, так как по натуре был добр и бессознательно вступил уже на путь прогресса.

В свете таких идей Жан Вальжан казался ему существом уродливым и отталкивающим. Это был отверженный. Беглый каторжник. Последнее слово звучало в его ушах трубным гласом правосудия, и после долгого размышления над Жаном Вальжаном он кончил тем, что отвратился от него *Vade retro*.¹⁵⁰

Следует отметить и даже подчеркнуть, что, расспрашивая Жана Вальжана, – а ведь тот даже сказал ему «Вы исповедуете меня», – Мариус, однако, не задал ему двух-трех вопросов, имевших решающее значение. И не потому, чтобы они не вставали перед ним, – он их боялся. Чердак Жондрета? Баррикада? Жавер? Кто знает, к чему привели бы эти разоблачения? Жан Вальжан был, по-видимому, не способен отступить, и, кто знает, не захотелось ли бы самому Мариусу, толкнувшему его на признание, остановить его? Не случилось ли нам всем, мучаясь страшными подозрениями, задать вопрос и тут же заткнуть уши, чтобы не слышать ответа? Тем, кто любит, особенно свойственно подобное малодушие. Неблагоразумно исследовать до дна обстоятельства, таящие угрозу против нас самих да еще связанные роковым образом с тем, что неотторжимо от нашей жизни. Кто знает, какой ужасный свет могли пролить на все безрассудные признания Жана Вальжана, кто знает, не может ли дотянуться этот омерзительный луч и до Козетты? Кто знает, не останется ли на челе ангела мерцающий отсвет адского пламени? Самая короткая вспышка молнии сопровождается громовым ударом. Воля рока такова, что даже сама невинность обречена нести па себе клеймо греха, став жертвой таинственного закона отражения. Случается, что на самых чистых созданиях навеки остается след отвратительного соседства. Прав был Мариус или не прав, но он этого боялся. Он и так узнал слишком много. Ему хотелось не столько все понять, сколько все забыть. Полный смятения, он словно спешил унести Козетту в своих объятиях, отвращая взгляд от Жана Вальжана.

Тот человек был сродни ночи, ночи одушевленной и страшной. Как отважиться углубиться в нее? Нет ничего ужаснее, чем допрашивать тьму. Кто знает, что она ответит? Заря могла стать омраченной навеки.

¹⁴⁸ Нечто божественное (*лат.*)

¹⁴⁹ Кара (*лат.*)

¹⁵⁰ Изыди (Сатана) (*лат.*)

В таком душевном состоянии Мариус не мог не тревожиться о том, что этот человек и дальше будет иметь какое-то отношение к Козетте. Он почти упрекал себя за то, что отступил, что не задал тех роковых вопросов, за которыми могло последовать неумолимое, бесповоротное решение. Он считал, что был слишком добр, слишком мягок и, скажем прямо, слишком слаб. Эта слабость толкнула его на неосторожную уступку. Он позволил себе растрогаться. И напрасно. Он должен был просто-напросто оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был искупительной жертвой; следовало принести эту жертву и избавить свой дом от этого человека. Мариус досадовал на себя, он роптал на внезапно налетевший вихрь, который оглушил, ослепил и увлек его. Он был недоволен собой.

Что теперь будет? Мысль о том, что Жан Вальжан станет навещать Козетту, вызывала в нем глубочайшее отвращение. Зачем ему этот человек? Что делать? Здесь он становился в тупик, он не хотел доискиваться, не хотел углубляться, не хотел разбираться в самом себе. Он обещал, – он позволил себе увлечься до такой степени, что дал обещание, и Жан Вальжан это обещание получил, а слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику, следует держать. Тем не менее он обязан был прежде всего подумать о Козетте. Словом, непобедимое отвращение вытесняло в нем все другие чувства.

Мариус перебирал в уме этот клубок путаных мыслей, бросаясь от одной к другой и терзаясь всеми вместе. Его охватила глубокая тревога. Скрыть эту тревогу от Козетты было нелегко, но любовь – великий талант, и Мариус справился с собой.

Не обнаруживая истинной своей цели, он задал несколько вопросов ни о чем не подозревавшей Козетте, невинной, как белая голубка; слушая рассказы о ее детстве и юности, он все больше убеждался, что отношение каторжника к Козетте было исполнено такой доброты, заботы и достоинства, на какие только способен человек. То, что Мариус чувствовал и предполагал, оказалось правдой. Зловещий чертополох любил и оберегал чистую лилию.

Книга восьмая Сумерки сгущаются

Глава первая. Комната в нижнем этаже

На другой день, с наступлением сумерек, Жан Вальжан постучался в ворота дома Жильнормана. Его встретил Баск. Баск находился во дворе в назначенное время, словно выполняя чье-то распоряжение. Бывает иногда, что слуге говорят: «Посторожи, когда придет господин такой-то».

Не дожидаясь, чтобы Жан Вальжан подошел ближе, Баск обратился к нему первый:

– Господин барон поручил мне спросить у вашей милости, угодно ли вам подняться наверх или остаться внизу.

– Я останусь внизу, – отвечал Жан Вальжан.

Баск, храня безукоризненно почтительный вид, растворил двери залы в нижнем этаже и сказал:

– Пойду доложить молодой хозяйке.

Комната, куда вошел Жан Вальжан, была сводчатая, сырая, с красным кафельным полом, служившая по мере надобности кладовой; она выходила на улицу и слабо освещалась единственным окном с железной решеткой.

Это помещение было не из тех, куда часто заглядывают метелка, веник и щетка. Пыль лежала здесь нетронутой. Борьбы с пауками тут давно не вели. Пышная, черная, украшенная

мертвыми мухами паутина огромным веером раскинулась по одной из створок окна. Единственным убранством этой небольшой низкой комнаты служили пустые бутылки, наваленные грудой в углу. Окрашенная желтой охрой штукатурка облупилась со стен широкими пластами. В глубине был камин с узенькой каминной доской, крашенный под черное дерево. В камине горел огонь; это означало, что тут заранее рассчитывали на ответ Жана Вальжана: «Я останусь внизу».

У камина стояли два кресла. Между креслами был постелен вместо ковра потертый половик, в котором осталось больше веревок, чем шерсти.

Комната освещалась огнем камина и тусклым светом из окна.

Жан Вальжан был утомлен. Уже несколько дней он не ел и не спал. Он тяжело опустился в кресло.

Баск вернулся, поставил на камин зажженную свечу и вышел. Жан Вальжан забылся, склонив голову на грудь, и не заметил ни Баска, ни свечи.

Вдруг он выпрямился, как будто его внезапно разбудили. За его спиной стояла Козетта.

Он не видел, но почувствовал, как она вошла.

Он обернулся, посмотрел на нее. Она была обворожительна. Но его глубокий взгляд искал в ней не красоту ее, а душу.

– Ну, отец, – вскричала Козетта, – я знала, что вы странный человек, но такой причуды уж никак не ожидала! Что за дикая фантазия! Мариус сказал, будто вы сами захотели, чтобы я принимала вас здесь.

– Да, сам.

– Я так и знала. Ну, теперь держитесь! Предупреждаю, что сейчас устрою вам сцену. Начнем с самого начала. Поцелуйте меня, отец.

И она подставила ему щеку.

Жан Вальжан был неподвижен.

– Вы даже не шевельнулись. Запомним это. Вы ведете себя, как виноватый. Но все равно, я прощаю вам. Иисус Христос сказал: «Подставьте другую щеку». Вот она.

И она подставила другую.

Жан Вальжан не тронулся с места. Казалось, ноги его были пригвождены к полу.

– Дело становится серьезным, – сказала Козетта. – В чем я провинилась? Объявляю, что я с вами в ссоре. Вы должны заслужить прощение. Вы пообедайте с нами.

– Я уже обедал.

– Это неправда. Я попрошу господина Жильнормана пожуричь вас хорошенько. Деды созданы для того, чтобы допекать отцов. Ну! Идемте со мной в гостиную. Сию же минуту.

– Это невозможно.

Тут Козетта слегка растерялась. Она перестала приказывать и перешла к расспросам.

– Но почему же? И зачем вы выбрали для нашей встречи самую ужасную комнату во всем доме? Здесь отвратительно.

– Ты ведь знаешь...

Жан Вальжан поправился:

– Вы ведь знаете, баронесса, что я чужак, у меня свои прихоти.

Козетта всплеснула ручками:

– Баронесса?.. Вы?.. Вот новости! Что все это значит?

Жан Вальжан посмотрел на нее с той душераздирающей, вымученной улыбкой, которая иногда появлялась у него на губах.

– Вы сами пожелали быть баронессой. И стали ею.

– Но не для вас же, отец.

– Не называйте меня больше отцом.

– Что?

– Зовите меня господин Жан. Просто Жан, если хотите.

– Вы мне больше не отец? Я больше не Козетта? Господин Жан? Да что же это такое? Но ведь это настоящий переворот! Что случилось? Посмотрите мне в лицо. И вы не хотите с нами жить! Вы отказываетесь от своей комнаты! Что я вам сделала? Что я вам сделала? Значит, что-нибудь произошло?

– Ничего.

– Тогда в чем же дело?

– Все осталось по-прежнему.

– Почему вы меняете имя?

– Вы ведь тоже переменили свое.

Он снова улыбнулся той же улыбкой и прибавил:

– Раз вы стали госпожой Понмерси, почему бы мне не стать господином Жаном?

– Решительно ничего не понимаю. Все это нелепо. Погодите, я еще спрошу у мужа разрешения называть вас господином Жаном. Надеюсь, он не согласится. Вы меня страшно огорчаете. Можно иметь причуды, но нельзя так обижать свою маленькую Козетту. Это очень нехорошо. Вы не смеее быть злым, ведь вы такой добрый.

Он не отвечал.

Она живо схватила его за обе руки и, подняв их к своему лицу, в неудержимом порыве прижала их к шее под подбородком, с выражением глубочайшей нежности.

– О, – проговорила она, – будьте добрым, как прежде!

И продолжала:

– Вот что я называю быть добрым: быть милым, переехать к нам – здесь тоже есть птички, как на улице Плюме, – жить с нами вместе, бросить эту ужасную дыру на улице Вооруженного человека; не загадывать нам головоломки, быть, как все, обедать с нами, завтракать с нами, словом, быть моим дорогим отцом.

Он высвободил свои руки.

– Вам не нужен отец, у вас теперь есть муж.

Козетта вспыхнула:

– Мне не нужен отец? Когда слышишь такую бессмыслицу, право, не знаешь, что и сказать.

– Если бы тут была Тусен, – продолжал Жан Вальжан, как человек, ищущий опоры в авторитетах и цепляющийся за любую веточку, – она первая подтвердила бы, что такой уж у меня нрав. В этом нет ничего нового. Я всегда любил свой темный угол.

– Но здесь же холодно. Здесь плохо видно. И что за гадкая выдумка называться господином Жаном! Я не желаю, чтобы вы говорили мне «вы»!

– Нынче, по дороге сюда, – перевел разговор Жан Вальжан, – я видел на улице Сен-Луи одну вещицу. У столяра-краснодеревщика. Будь я хорошенькой женщиной, я бы это приобрел.

Очень милый туалет в современном вкусе. У вас это называется, кажется, розовым деревом. С инкрустацией. С довольно большим зеркалом. И с ящичками. Очень красивая вещица.

– У! Противный медведь! – проговорила Козетта и с очаровательной гримаской фыркнула на Жана Вальжана сквозь сжатые зубки. То была сама Грация, изображавшая сердитую кошечку.

– Я просто взбешена, – заявила она. – Со вчерашнего дня все вы меня изводите. Я очень сердита. Я ничего не понимаю. Вы не защищаете меня от Мариуса. Мариус не хочет поддержать меня против вас. Я совсем одна. Я так славно убрала вашу комнату! Если бы я могла достать луну с неба, я бы там ее повесила. И что же? Что теперь прикажете делать с этой комнатой? Мой жилец оставляет меня с носом. Я заказываю Николетте превкусный обед. «Ваш обед никому не нужен, сударыня!» И мой отец Фошлеван требует ни с того ни с сего, чтобы я называла его господином Жаном и принимала его в старом, дрянном, безобразном, затхлом погребе, где стены обросли бородой, где вместо хрусталя валяются пустые бутылки, а вместо занавесок – паутина! Вы человек с причудами, согласна, все это в вашем духе, но надо же дать передышку людям после свадьбы. Вы не имели права сразу же

браться за прежние чудачества. Неужели вам так хорошо на этой отвратительной улице Вооруженного человека? А я была там очень несчастна. Что я вам сделала? Вы ужасно меня огорчаете! Фи!

Вдруг, пристально взглянув на Жана Вальжага, она уже серьезно спросила:

– Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива?

Наивность, сама того не зная, бывает порою очень проницательна. Этот вопрос, такой простой для Козетты, имел для Жана Вальжана глубокий смысл. Козетта хотела царапнуть его, а ранила до крови.

Жан Вальжан побледнел. С минуту он ничего не отвечал, потом с неизъяснимым выражением, словно обращаясь к самому себе, прошептал:

– Ее счастье – вот что было целью моей жизни. Теперь господь может отпустить меня с миром. Козетта, ты счастлива; мое время истекло.

– Ах! Вы сказали мне «ты»! – воскликнула Козетта и кинулась ему на шею.

Жан Вальжан, забывшись, порывисто прижал ее к груди. Он почти поверил, что снова вернул ее себе.

– Спасибо, отец! – шепнула Козетта.

Поддавшись этому порыву, Жан Вальжан испытывал мучительное чувство. Он тихонько высвободился из объятий Козетты и взялся за шляпу.

– Что такое? – спросила Козетта.

– Я ухожу, сударыня, вас ждут, – ответил Жан Вальжан и, стоя уже в дверях, прибавил:

– Я назвал вас на «ты». Скажите вашему мужу, что больше этого не случится. Простите меня.

Жан Вальжан вышел, оставив Козетту ошеломленной этим загадочным прощанием.

Глава вторая.

Еще несколько шагов назад

Жан Вальжан пришел на следующий день, в тот же час.

Козетта уже не задавала ему вопросов, не удивлялась, не жаловалась на холод, не приглашала больше в гостиную; она избегала называть его и отцом и господином Жаном. Она позволяла говорить себе «вы». Позволяла называть себя сударыней. В ней только убавилось веселости. Ее можно было бы счесть грустной, если б она способна была грустить. Должно быть, у нее с Мариусом произошел один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что вздумается, ничего не объясняет и все же умеет успокоить любимую женщину. Любопытство влюбленных не простирается за пределы их любви.

Нижнюю залу более или менее привели в порядок. Баск убрал бутылки, а Николетта смела паутину.

Во все последующие дни Жан Вальжан являлся неизменно в тот же час. Он приходил ежедневно, не имея сил принудить себя понять слова Мариуса иначе, как буквально. Мариус устраивался так, чтобы уходить из дому в те часы, когда приходил Жан Вальжан. Домашние скоро привыкли к новым порядкам, которые завел г-н Фошлеван. Тусен помогла этому.

«Хозяин всегда был таким», – твердила она. Дед вынес следующий приговор: «Он просто оригинал». Этим все было сказано. По правде говоря, в девяносто лет уже тяжелы новые связи; все кажется лишним бременем, новый знакомец только стесняет, для него нет уже места в привычном укладе жизни. Звался ли он Фошлеваном или Кашлеваном – для старика Жильнормана было облегчением избавиться от «этого господина». Он пояснил: «Все эти оригиналы одинаковы. Они способны на любые чудачества. Так просто, без всяких причин. Маркиз де Канабль был еще хуже. Он купил дворец, а жил на чердаке. Напускают же на себя люди такую блажь!»

Никто не подозревал мрачной подоплеки этой «блажи». Кто же, впрочем, мог бы угадать причину? В Индии встречаются такие болота: вода в них кажется необычной, непонятной: вдруг она всколыхнется без ветра, вдруг забуллит там, где должна быть спокойной. Мы замечаем на поверхности странную зыбь и не видим змеи, которая ползет по дну.

Так и у многих людей есть тайное чудовище, скрытая мука, которую они вскармливают, дракон, который терзает их, отчаяние, которое не дает им покоя всю ночь. Такие люди на вид ничем не отличаются от других: они ходят, двигаются. Никто не знает, что страшный разрушительный недуг живет в этих несчастных и как червь гложет их, причиняя тяжкие муки. Никто не знает, что любой из них – омут. Стоячий, глубокий омут. Время от времени на поверхности начинается волнение, ни для кого не понятное. Пробегает загадочная рябь, исчезает, появляется снова: всплывает пузырь и лопається. Это почти ничего, и вместе с тем жутко. Это дыхание неведомого зверя.

Иные странные привычки – являться в часы, когда другие уходят, держаться в тени, когда другие выставляют себя напоказ, носить всегда плащ защитной окраски, избирать пустынные аллеи, предпочитать безлюдные улицы, не вмешиваться в разговор, избегать толпы и многолюдных праздников, казаться человеком с достатком и жить в бедности, носить, при всем своем богатстве, в кармане ключ от своего жилища и оставлять свечу у привратника, входить со двора, подниматься по черной лестнице, – все эти небольшие странности, эти волны, пузыри, мимолетная рябь на поверхности исходят нередко из глубин отчаяния.

Так прошло некоторое время. Козетту мало-помалу захватила новая жизнь: новые знакомства, визиты, домашние заботы, развлечения – все это были важные дела. Развлечения Козетты стоили недорого: они заключались в одном – быть с Мариусом. Выходить вместе с ним, сидеть с ним дома, – в этом состояло главное содержание ее жизни. Для них было вечно новой радостью гулять под руку, среди бела дня, по людной улице, не прячась, перед всем народом, вдвоем и наедине среди толпы. У Козетты бывали и огорчения: Тусен не поладила с Николеттой, и, так как обе старые девы не могли ужиться вместе, Тусен пришлось уйти. Дед чувствовал себя прекрасно. Мариус время от времени защищал какое-нибудь дело в суде; тетка Жильнорман продолжала мирно влачить свое унылое существование бок о бок с молодой четой, что ее вполне удовлетворяло. Жан Вальжан приходил каждый день. Замена обращения на «ты» официальным «вы», «сударыня», «господин Жан» – все это изменило его отношения с Козеттой. Старания, приложенные им, чтобы отучить ее от себя, увенчались успехом. Она становилась все более веселой и все менее ласковой с ним. Однако она все еще очень любила его, и он это чувствовал. Как-то раз она вдруг сказала: «Вы были мне отцом, и вы уже больше не отец; были мне дядей, и больше уже не дядя, были господином Фошлеваном и стали просто Жаном. Кто же вы такой? Не нравится мне все это. Если бы я не знала, какой вы добрый, я боялась бы вас».

Он по-прежнему оставался на улице Вооруженного человека, не решаясь покинуть квартал, где когда-то жила Козетта.

На первых порах он проводил с Козеттой лишь несколько минут, потом уходил.

Но постепенно он затягивал свои визиты. Казалось, он находил себе оправдание в том, что дни становились длиннее; он являлся раньше и уходил позже.

Однажды Козетта, обмолвившись, сказала ему «отец». Луч радости озарил старое угрюмое лицо Жана Вальжана. Он поправил ее: «Говорите: Жан». – «Да, правда, – отвечала она, рассмеявшись, – господин Жан!» – «Вот так», – сказал он и отвернулся, чтобы незаметно вытереть слезы.

Глава третья. **Они вспоминают сад на улице Плюме**

Больше это не повторялось. То был последний луч света; все угасло окончательно. Не было прежней близости, не было поцелуя при встрече, никогда уж не звучало полное нежности слово «отец!». По собственному настоянию и при собственном содействии Жан Вальжан постепенно лишился всех своих радостей; его постигло то несчастье, что он потерял Козетту в один день, а потом ему пришлось сызнова терять ее постепенно.

Глаза привыкают в конце концов к тусклому свету подземелья. Видеть Козетту хотя бы раз в день казалось ему уже достаточным. Вся его жизнь сосредоточилась на этих часах. Он садился возле нее, глядел на нее молча или же говорил с ней о былых годах, о ее детстве, о монастыре, о ее прежних подружках.

Однажды после полудня – это был один из первых апрельских дней, уже весенний, но еще прохладный, в час, когда солнце весело сияло, когда сады за окнами Мариуса и Козетты трепетали, пробуждаясь ото сна, когда вот-вот должен был распуститься боярышник, когда желтофиоли раскидывались нарядным узором по старым стенам, цветочки львиного зева розовели в расщелинах камней, в траве пробивались прелестные лютики и маргаритки, в небе начинали порхать первенцы весны – белые бабочки, а ветер, бессменный музыкант на свадебном торжестве природы, запевал в ветвях деревьев первые ноты великой утренней симфонии, которую древние поэты называли возрождением весны, – Мариус сказал Козетте: – Помнишь, мы условились, что сходим навестить наш сад на улице Плюме. Пойдем туда. Не надо быть неблагодарными.

И они умчались, точно две ласточки, навстречу весне. Сад на улице Плюме казался им утренней зарей. В их жизни уже было какое-то прошлое, нечто вроде ранней весны их любви. Дом на улице Плюме, взятый в аренду, все еще принадлежал Козетте. Они посетила этот сад и этот дом. Они отдались минувшему, они забыли о настоящем. Вечером в урочный час Жан Вальжан явился на улицу Сестер страстей господних.

– Госпожа баронесса вышли с господином бароном и еще не возвращались, – сказал ему Баск.

Жан Вальжан молча сел и прождал целый час. Козетта так и не вернулась. Он поник головой и ушел.

Козетта была в таком упоении от прогулки по «их саду» и так была рада «прожить целый день в минувшем», что на следующий вечер ни о чем другом не говорила. Она даже не вспомнила, что не видала накануне Жана Вальжана.

– Как вы добрались туда? – спросил ее Жан Вальжан.

– Пешком.

– А как вернулись?

– В наемной карете.

С некоторых пор Жан Вальжан замечал, что юная чета ведет очень скромный образ жизни. Это огорчало его. Мариус соблюдал строгую экономию, и Жан Вальжан видел в этом особый скрытый смысл. Он осмелился задать вопрос:

– Почему у вас нет собственного экипажа? Красивая двухместная карета стоила бы вам всего-навсего пятьсот франков в месяц. Ведь вы богаты.

– Не знаю, – отвечала Козетта.

– Вот и Тусен тоже, – продолжал Жан Вальжан. – Она ушла. А на ее место никого не наняли. Отчего?

– Нам достаточно Николетты.

– Но вам, баронесса, нужна камеристка.

– А разве у меня нет Мариуса?

– Вам бы следовало иметь собственный дом, завести отдельную прислугу, иметь карету, ложу в театре. Нет ничего такого, что было бы слишком хорошо для вас. Почему вы не пользуетесь своим богатством? Богатство много прибавляет к счастью.

Козетта ничего не ответила.

Посещения Жана Вальжана отнюдь не становились короче. Напротив. Когда сердце скользит вниз, трудно остановиться на склоне.

Если Жану Вальжану хотелось затянуть свидание и заставить Козетту забыть о времени, он принимался расточать похвалы Мариусу: он находил его красивым, благородным, смелым, умным, красноречивым, добрым. Козетта поддакивала ему. Жан Вальжан начинал сизнова. Оба они были неистощимы. Тема «Мариус» казалась неисчерпаемой; в шести буквах его имени заключались целые тома. Таким способом Жану Вальжану удавалось посидеть подольше. Видеть Козетту, забывать обо всем возле нее было так отрадno! Это словно врачевало его рану. Нередко случалось, что Баск раза по два являлся доложить:

– Господин Жильнорман велел напомнить баронессе, что кушать подано.

В такие дни Жан Вальжан возвращался домой в глубокой задумчивости.

Была ли доля правды в том сравнении с куколкой бабочки, которое пришло в голову Мариуса? Не был ли действительно Жан Вальжан коконом, который упрямо продолжал навещать вылетевшую из него бабочку?

Однажды он задержался еще дольше обыкновенного. На следующий день он заметил, что в камине не развели огня. «Вот как! – подумал он. – Огня нет». И успокоил себя таким объяснением: «Вполне понятно. Холода кончились».

– Бог ты мой, как здесь холодно! – воскликнула Козетта входя.

– Да нет, нисколько, – возразил Жан Вальжан.

– Значит, это вы запретили Баску развести огонь?

– Да. Ведь уже май на дворе.

– Но печи топят до июня! А этот погреб надо отапливать круглый год.

– Я подумал, что не к чему разжигать камин.

– Это опять одна из ваших выдумок! – возмутилась Козетта.

На другой день камин затопили. Но оба кресла были переставлены в другой конец залы, к самым дверям.

«Что это означает?» – подумал Жан Вальжан.

Он пошел за креслами и передвинул их на обычное место у камина.

Зажженный огонь успокоил его. Он затянул беседу еще дольше обыкновенного. Когда он поднялся, собираясь уходить, Козетта проговорила:

– Вчера мой муж сказал мне одну странную вещь.

– Что такое?

– Он сказал: «Козетта! У нас тридцать тысяч ренты. Двадцать семь принадлежит тебе и три я получаю от деда». Я ответила: «Это составляет тридцать». А он говорит: «Хватило бы у тебя мужества жить только на три тысячи?» «Конечно, – сказала я, – пускай и вовсе без ренты, лишь бы с тобой». И потом спросила: «Зачем ты мне это говоришь?» А он ответил: «На всякий случай».

Жан Вальжан не проронил ни слова. Козетта, вероятно, ждала от него каких-нибудь объяснений, но он выслушал ее в угрюмом молчании. Он возвратился на улицу Вооруженного человека в такой глубокой задумчивости, что ошибся дверью и, вместо того чтобы взойти к себе, попал в соседний дом. Только поднявшись почти до третьего этажа, он обнаружил свою ошибку и спустился вниз.

Его обуревали мучительные мысли. Было ясно, что Мариус сомневался в происхождении шестисот тысяч франков, опасаясь, не исходят ли они из какого-нибудь нечистого источника. Как знать, может быть он даже открыл, что деньги принадлежат Жану Вальжану, и колебался принять это подозрительное состояние, брезговал вступить во владение им, предпочитая жить с Козеттой в бедности, чем пользоваться этим темным наследством?

Жан Вальжан начинал смутно чувствовать, что его выживают из дому.

На следующий день, при входе в залу нижнего этажа, он вздрогнул от неожиданности.

Кресла исчезли. В комнате не было даже стула.

– Вот как! – вскричала Козетта входя. – Кресел нет! Куда же девались кресла?

– Их больше нет, – отвечал Жан Вальжан.

– Ну это уж чересчур!

Жан Вальжан пробормотал:

– Это я велел Баску убрать их.

– Но почему же?

– Сегодня я останусь всего на несколько минут.

– Прийти ненадолго – не значит все время стоять.

– Баску как будто понадобились кресла для гостиной.

– Зачем?

– Вероятно, вы ждете вечером гостей.

– Мы никого не ждем.

Жан Вальжан не мог вымолвить ни слова.

Козетта пожала плечами.

– Велеть вынести кресла! Прошлый раз вы велели погасить огонь. До чего же вы странный!

– Прощайте! – прошептал Жан Вальжан.

Он не сказал: «Прощай, Козетта», но и не в силах был сказать: «Прощайте, сударыня».

Он вышел подавленный.

На этот раз он понял.

На другой день он не явился. Козетта вспомнила о нем только вечером.

– Что это? – сказала она. – Господин Жан не пришел сегодня?

Сердце у нее сжалось, но это было мимолетно, так как Мариус отвлек ее поцелуем.

Жан Вальжан не пришел и наавтра.

Козетта не обратила на это внимания, провела вечер как обычно, спала хорошо и подумала о нем, только проснувшись. Она была так счастлива! Она тотчас послала Николетту к г-ну Жану справиться, не заболел ли он и почему не приходил накануне. Николетта принесла ответ от г-на Жана. Он не болен. Он просто был занят. Он скоро придет. При первой возможности. Впрочем, он собирается совершить небольшое путешествие. Г-жа Понмерси, вероятно, помнит, что он уезжал ненадолго время от времени. Пусть о нем не беспокоятся. Пусть о нем не думают.

Явившись к г-ну Жану, Николетта в точности передала ему слова своей госпожи: «Барыня посылает узнать, почему господин Жан не пришел накануне». – «Я не приходил целых два дня», – кротко поправил ее Жан Вальжан.

Николетта пропустила мимо ушей это замечание и ничего не сказала Козетте.

Глава четвертая. Притяжение и отталкивание

В конце весны и в начале лета 1833 года редкие прохожие квартала Маре, лавочники и ротозеи, слонявшиеся у ворот, заметили какого-то старика в черном, чисто одетого, который каждый день в тот же час, с наступлением сумерек выходил с улицы Вооруженного человека со стороны Сент-Круа-де-ла-Бретонри, миновав улицу Белых мантий, пересекал Ниву св. Екатерины и, выйдя на улицу Эшарп, поворачивал налево, на улицу Сен-Луи. Здесь он замедлял шаги и брел, вытянув голову, ничего не видя и не слыша, устремив взгляд в одну точку, которая казалась ему путеводной звездой и была не чем иным, как поворотом на улицу Сестер страстей господних. Чем ближе он подходил к этому углу, тем живее становился его взгляд; зрачки загорались радостью, будто озаренные внутренним светом, выражение лица становилось умиленным и растроганным, губы беззвучно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым; он улыбался жалкой, бледной улыбкой и двигался вперед так медленно, как только мог. Казалось, он стремился к некоей цели и вместе с тем

боялся минуты, когда окажется слишком близко к ней. Когда до улицы, которая чем-то влекла его, оставалось всего несколько домов, он замедлял шаг до такой степени, что могло показаться, будто он стоит на месте. Качающаяся голова и пристальный взгляд вызывали представление о стрелке компаса, ищущей полюс. Как ни медлил он и как ни оттягивал своего приближения к цели, но волей-неволей все же достигал ее: он доходил до улицы Сестер страстей господних, здесь он останавливался, весь дрожа, с какой-то непонятной робостью высовывал голову из-за угла последнего дома и смотрел на улицу; и было в его трагическом взгляде что-то похожее на тоску по недостижимому, на ответ потерянного рая. И тут крупные слезы, скопившиеся в уголках глаз, катились по его щекам, иногда задерживаясь у рта. Старик чувствовал их горький вкус. Он стоял несколько минут, словно окаменев; затем уходил домой тем же путем и тем же шагом, и, по мере того как он удалялся, взор его угасал.

Мало-помалу старик перестал доходить до угла улицы Сестер страстей господних; он останавливался на полдороге, на улице Сен-Луи: иногда немного дальше, иногда чуть-чуть ближе. Как-то раз он остался на углу Нивы св. Екатерины и посмотрел издали на перекресток улицы Сестер страстей господних. Потом, молча покачав головой, как бы отказываясь от чего-то, повернул обратно.

Вскоре он перестал доходить даже до улицы Сен-Луи. Он достигал поворота на Мошеную улицу, качал головой и возвращался; некоторое время спустя он не шел дальше улицы Трех флагов; потом не выходил уже и за пределы улицы Белых мантий. Он напоминал маятник давно заведенных часов, колебания которого делаются все короче перед тем, как остановиться.

Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, шел тем же путем, но не доходил до конца и, может быть, сам того не сознавая, сокращал его все больше и больше. Лицо его выражало одну-единственную мысль: «К чему?» Зрачки потухли и уже не загорались. Слезы иссякли, глубоко запавшие глаза были сухи. Голова старика все еще тянулась вперед, подбородок по временам начинал дрожать; жалко было смотреть на его худую, морщинистую шею. Порою, в ненастную погоду, он держал под мышкой зонтик, но не раскрывал его. Кумушки говорили: «Он не в своем уме». Ребятишки бежали следом и смеялись над ним.

Книга девятая

Непроглядный мрак, ослепительная заря

Глава первая.

Будьте милосердны к несчастным, будьте снисходительны к счастливым!

Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья, – этой ложной жизненной цели, – о цели истинной – долге!

Заметим, однако, что было бы несправедливо осуждать Мариуса.

Мы уже говорили, что до своего брака Мариус не задавал вопросов г-ну Фошлевану, а после брака опасался расспрашивать Жана Вальжана. Он сожалел о своем обещании, которое позволил вырвать у себя так опрометчиво. Он не раз говорил себе, что напрасно сделал эту уступку. Однако он ограничился тем, что мало-помалу старался отдалить Жана Вальжана от дома и по возможности изгладить его образ из памяти Козетты. Он как бы становился всегда между Козеттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что, перестав видеть старика, она

отвыкнет и думать о нем. Это было уже больше чем исчезновение из памяти, – это было полное ее затмение.

Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Он полагал, что, без излишней жестокости, но и не проявляя слабости, надо удалить Жана Вальжана; на это у него были серьезные причины, о которых читатель уже знает, а кроме них, и другие, о которых он узнает позже. Ведя один судебный процесс, он случайно столкнулся со старым служащим дома Лафит и получил от него некие таинственные сведения, хотя и не искал их. В сущности, он не мог пополнить их уже из одного уважения к тайне, которую дал слово хранить, а также из сочувствия к опасному положению Жана Вальжана. В настоящее время он считал, что должен выполнить весьма важную обязанность, а именно: вернуть шестьсот тысяч франков неизвестному владельцу, которого разыскивал со всею возможной осторожностью. Трогать же эти деньги он пока воздерживался.

Козетта не подозревала ни об одной из этих тайн. Но и ее обвинять было бы жестоко. Между нею и Мариусом существовал могучий магнетический ток, заставлявший ее невольно, почти бессознательно, поступать во всем согласно желанию Мариуса. В том, что относилось к «господину Жану», она чувствовала волю Мариуса и подчинялась ей. Муж ничего не должен был говорить Козетте: она испытывала смутное, но осязаемое воздействие его скрытых намерений и слепо им повиновалась. Не вспоминать о том, что вычеркивал из ее памяти Мариус, – в этом сейчас и выражалось ее повиновение. Это не стоило ей никаких усилий. Без ее ведома и без ее вины, душа ее слилась с душой мужа, и все то, на что Мариус набрасывал мысленно покров забвения, тускло и в памяти Козетты.

Не будем все же преувеличивать: в отношении Жана Вальжана это равнодушие, это исчезновение из памяти было лишь кажущимся. Козетта скорее была легкомысленна, чем забывчива. В сущности, она горячо любила того, кого так долго называла отцом. Но еще нежнее любила она мужа. Вот что нарушало равновесие ее сердца, клонившегося в одну сторону.

Случалось иногда, что Козетта заговаривала о Жане Вальжане и удивлялась его отсутствию. «Я думаю, его нет в Париже, – успокаивал ее Мариус. – Ведь он сам сказал, что должен куда-то поехать». «Это правда, – думала Козетта. – У него всегда была привычка вдруг пропадать. Но не так надолго». Два-три раза она посылала Николетту на улицу Вооруженного человека узнать, не вернулся ли г-н Жан из поездки. Жан Вальжан просил отвечать, что еще не вернулся.

Козетта успокаивалась на этом, так как единственным человеком, без кого она в этом мире обойтись не могла, был Мариус.

Заметим к тому же, что Мариус и Козетта сами были в отсутствии некоторое время. Они ездили в Вернон, Мариус возил Козетту на могилу своего отца.

Мало-помалу он отвлек мысли Козетты от Жана Вальжана. И Козетта не сопротивлялась этому.

В конце концов то, что нередко слишком сурово именуется неблагодарностью детей, не всегда в такой степени достойно порицания, как полагают. Это неблагодарность природы.

Природа, как говорили мы в другом месте, «смотрит вперед». Она делит живые существа на приходящие и уходящие. Уходящие обращены к мраку, вновь прибывающие – к свету.

Отсюда отчуждение, роковое для стариков и естественное для молодых. Это отчуждение, вначале неощутимое, медленно усиливается, как при всяком росте. Ветви, оставаясь на стволе, удаляются от него. И это не их вина. Молодость спешит туда, где радость, где праздник, к ярким огням, к любви. Старость идет к концу жизни. Они не теряют друг друга из виду, но объятия их разомкнулись. Молодые проникаются равнодушием жизни, старики – равнодушием могилы. Не станем обвинять бедных детей.

Глава вторая.

Последние вспышки светильника, в котором иссякло масло

Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с 5 на 6 июня его застал Гаврош погруженным в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание маятника. Наутро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели.

Привратница, которая готовила ему скудный его завтрак, – немного капусты или несколько картофелин, приправленных салом, – заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула:

– Да вы не ели вчера, голубчик!

– Я поел, – возразил Жан Вальжан.

– Тарелка-то ведь полна!

– Взгляните на кружку с водой. Она пуста.

– Это значит, что вы пили, но не ели.

– Что же делать, если мне хотелось только воды? – сказал Жан Вальжан.

– Это называется жаждой, а если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой.

– Я поем завтра.

– А может, в Троицын день? Почему же не сегодня? Разве говорят: «Я поем завтра»?

Подумать только, оставить моюстряпню нетронутой! Такая вкусная лапша!

Жан Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково:

– Обещаю вам попробовать.

– Я сердита на вас, – молвила привратница.

Кроме этой доброй женщины. Жан Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном из таких домов жил Жан Вальжан.

В то время когда он еще выходил из дому, он купил за несколько су у торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой!

Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал постели.

– Старичок, что наверху, больше не встает, ничего не ест, он долго не протянет, – говорила привратница своему мужу. – Верно, у него кручина какая-нибудь. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж.

Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства:

– Коли он богат, пускай позовет врача. Коли беден, пусть так обойдется. Коли не позовет врача, то помрет.

– А если позовет?

– Тоже помрет, – изрек муж.

Привратница принялась ржавым ножом выскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар».

– Экая жалость! Такой славный старичок! Беленький, как цыпленок, – бормотала она, выдергивая траву.

В конце улицы она вдруг заметила врача, пользовавшего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному.

– Это на третьем этаже, – сказала она. – Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери, старичок не встает с постели.

Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним. Когда он спустился вниз, привратница начала допрос:

– Ну как, доктор?

– Ваш больной очень плох.

– А что у него?

– Все и ничего. Этот человек тоскует. По всей видимости, он потерял дорогое существо. От этого умирают.

– Что ж он вам сказал?

– Он сказал, что чувствует себя хорошо.

– Вы еще придете, доктор?

– Приду, – сказал врач, – но надо, чтобы к нему пришел не я, а кто-то другой.

Глава третья.

Перо кажется слишком тяжелым тому, кто поднимал телегу Фошлевана

Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте; он тронул свое запястье и не нащупал пульса; дыхание было неровное, прерывистое; он чувствовал себя слабее, чем когда-либо. Чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался; продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот. С тех пор как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую, чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах.

Он открыл сундучок и вынул из него детское приданое Козетты.

Он разложил его на постели.

На камине, на обычном месте, стояли подсвечники епископа. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Свечи, зажженные среди бела дня, можно иногда видеть в домах, где есть покойник.

Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются; то были последние, еще доступные ему движения; то угасала жизнь, иссякая капля за каплей, в последних тяжких усилиях.

Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для – Мариуса, – здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. На вид ему было восемьдесят лет; до женитьбы Мариуса ему давали не больше пятидесяти; один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела землистый оттенок, углы рта опустились, как на масках, высекавшихся в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии – жертву несправедливого рока.

Он дошел до такого состояния, до той последней степени изнеможения, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает; в душе как бы образуется сгусток отчаяния.

Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу.

И тут он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его ко рту и отпил глоток.

Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платье, на все свои бесценные сокровища.

Он мог любоваться так часами, которые казались ему минутами. Вдруг он вздрогнул, почувствовав, как его охватывает холод; облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо.

Пером и чернилами давно никто не пользовался, кончик пера погнулся, а чернила высохли; он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды; при этом он

несколько раз останавливался и присаживался, писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он отирал со лба пот.

Рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они:

«Козетта! Благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти; хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно он прав.

Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Понмерси!

Всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта! Здесь найдут это письмо, и вот что я хочу тебе сказать, ты узнаешь все цифры, если у меня хватит сил их вспомнить; слушай внимательно, эти деньги действительно твои. Вот в чем дело: белый гагат привозят из Норвегии, черный гагат привозят из Англии, черный стеклярус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготавливать искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и спиртовая лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажи и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из камеди и скипидара. Это намного лучше и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным – для золотых. Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат...»

Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяния рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался.

«О! – вскричал он мысленно (это была жалоба, услышанная только богом). – Все кончено! Я больше не увижу ее. Это улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь. Я уйду в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг услышать ее голос, коснуться ее платья, поглядеть на нее, на моего ангела, и потом умереть! Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее! Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше!»

В эту минуту в дверь постучались.

Глава четвертая.

Ушат грязи, который мог лишь обелить

В этот самый день, точнее в этот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела. Баск вручил ему письмо и сказал:

– Господин, который принес это письмо, ожидает в передней.

Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду.

Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий, сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода.

Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел.

«Господину барону Понмерси. Собственный дом». Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке молнии. И одна из таких догадок осенила Мариуса.

Обоняние, этот таинственный помощник памяти, оживило в нем целый мир. Конечно, это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но, главное – это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондрета. Итак – странный каприз судьбы! – один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он потратил столько усилий, сам давался ему в руки.

Нетерпеливо распечатав конверт, он прочел:

«Господин барон,

Если бы Всевышний Бог одарил меня талантами, я мог бы стать бароном Тенар, членом академии, но я не барон. Я только его однофамилец, и я буду щаслив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение. Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я предоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прагнать из вашего уважаемого семейства эту личность, которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса высокого происхождения. Святая святых добродетели не может долгие сожительствовать с приступлением, иначе она падет.

Я ажидаю в пнредней приказаний господина барона.

С почтением».

Письмо было подписано «Тенар».

Подпись была не вымышленной. Только несколько укороченной.

Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография помогали разоблачению.

Авторство устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло.

Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось радостью. Только бы найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц, – того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось желать.

Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь.

– Попросите войти, – сказал Мариус.

Баск доложил:

– Господин Тенар.

В комнату вошел человек.

Новая неожиданность для Мариуса: вошедший был ему совершенно незнаком.

У этого человека, впрочем тоже пожилого, был толстый нос, утонувший в галстуке подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые, приглаженные, с проседью волосы, закрывавшие лоб до самых бровей, подобно парикю кучера из аристократического английского дома. Он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме; целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина.

Но особенно бросалось в глаза, что костюм этого человека, слишком просторный, хотя и тщательно застегнутый, был явно с чужого плеча. Здесь необходимо краткое отступление.

В те времена в Париже, в старом, мрачном доме на улице Ботрельи, возле Арсенала, проживал один оборотистый еврей, промышлявший тем, что придавал любому прохвосту вид порядочного человека; ненадолго, само собою разумеется, – в противном случае это оказалось бы стеснительным для негодяя. Превращение производилось тут же, на день или на два, за тридцать су в день, при помощи костюма, который соответствовал, насколько возможно, благопристойности, предписываемой обществом. Человек, дававший напрокат одежду, звался «Менялой»; этим именем окрестили его парижские жулики – его настоящего имени никто не знал. В его распоряжении была обширная гардеробная. Старье, в которое он обряжал людей, было подобрано на все вкусы. Оно отражало разные профессии и социальные категории; на каждом гвозде его кладовой висело, поношенное и измятое, чье-нибудь общественное положение. Здесь мантия судьи, там ряса священника, тут сюртук

банкира, в уголке – мундир отставного военного, дальше – костюм писателя или крупного государственного деятеля. Этот старьевщик был костюмером бесконечной драмы, разыгрываемой в Париже силами воровской братии. Его конура служила кулисами, откуда выходило на сцену воровство и куда скрывалось мошенничество. Оборванный плут, зайдя в эту гардеробную, выкладывал тридцать су, выбирал себе для роли, какую намеревался в тот день сыграть, подходящий костюм и спускался с лестницы уже не громиллой, а мирным буржуа. Наутро эти обноски честно приносились обратно; Меняла оказывал полное доверие ворами и никогда не бывал обворован. Эти одеяния имели одно только неудобство: они «плохо сидели», так как были сшиты не на тех, кто их носил. Они оказывались тесными для одних, болтались на других и никому не приходились впору. Любой мазурик, ростом выше или ниже среднего, чувствовал себя неудобно в костюмах Менялы. Они не годились ни для слишком толстых, ни для слишком тощих. Меняла имел в виду лишь среднего роста и объема людей. Он снял мерку с первого забредшего к нему оборванца, ни тучного, ни худого, ни высокого, ни маленького. Отсюда необходимость приспособливаться, временами трудная, с которой клиенты Менялы справлялись, как умели. Тем хуже для исключений из нормы! Одевание государственного деятеля, например, – черное снизу доверху, и следовательно, вполне пристойное, – было бы чересчур широко для Питта и чересчур узко для Кастельсикала. Костюм «государственного деятеля» описывался в каталоге Менялы следующим образом; приводим это место: «Черный суконный сюртук, черные шерстяные панталоны, шелковый жилет, сапоги и белье». Сбоку, на полях каталога, надпись: «Бывший посол» и записка, которую мы также приводим: «В отдельной картонке аккуратно расчесанный парик, зеленые очки, брелоки и две трубочки из птичьего пера длиной в дюйм, обернутые ватой». Все это предназначалось для государственного мужа, бывшего посланника. Костюм этот, можно сказать, держался на честном слове; швы побелели, на одном локте виднелось что-то вроде прорехи; вдобавок спереди на сюртуке не хватало пуговицы. Впрочем, последнее обстоятельство не имело особого значения, так как рука государственного мужа, которой полагается быть заложеной за борт сюртука, могла служить прикрытием недостающей пуговице.

Если бы Мариус был знаком с тайными заведениями Парижа, он тотчас бы узнал на посетителя, которого впустил к нему Баск, платье «государственного деятеля», позаимствованное в притоне Менялы.

Разочарование Мариса при виде человека, обманувшего его ожидания, перешло в неприязнь к нему. Внимательно оглядев с головы до ног посетителя, пока тот отвешивал ему преувеличенно низкий поклон, Мариус сухо спросил:

– Что вам угодно?

Человек отвечал с любезной гримасой, о которой могла бы дать кое-какое представление лишь ласковая улыбка крокодила:

– Мне кажется просто невероятным, что я до сих пор не имел чести видеть господина барона в свете. Я уверен, что встречал вас несколько лет тому назад в доме княгини Багратион и в салоне виконта Дамбре, пэра Франции.

Притвориться, что узнаешь человека, которого вовсе не знаешь, – излюбленный прием мошенников.

Мариус внимательно прислушивался к речи этого человека, следил за его произношением, за мимикой. Разочарование возрастало: у посетителя был гнусавый голос, несколько не похожий на тот резкий, жесткий голос, который он ожидал услышать. Он был совершенно сбит с толку.

– Я не знаком ни с госпожой Багратион, ни с господином Дамбре, – сказал он. – Ни разу в жизни я не бывал ни в одном из этих домов.

Ответ был груб, однако незнакомец продолжал тем же вкрадчивым тоном:

– В таком случае, сударь, я, должно быть, видел вас у Шатобриана. Я с ним близко знаком. Он очень мил и частенько говорит мне: «Тенар, дружище... не пропустить ли нам по стаканчику?»

Выражение лица Мариуса становилось все более суровым.

– Никогда не имел чести быть принятым у господина Шатобриана. Ближе к делу. Что вам угодно?

На строгий тон Мариуса незнакомец ответил еще более низким поклоном.

– Господин барон! Соблаговолите меня выслушать. В Америке, неподалеку от Панамы, есть селение Жуайя. Это селение состоит из одного-единственного дома. Большого квадратного трехэтажного дома из обожженных солнцем кирпичей. Каждая сторона квадрата равна в длину пятистам футам, каждый этаж отступает от нижнего на двенадцать футов в глубину, образуя перед собой площадку, которая идет вокруг всего здания; в центре его – внутренний двор, где хранятся продовольствие и боевые припасы. Окон нет – только бойницы, дверей нет – только лестницы; для подъема на первую площадку – приставная лестница, то же и с первой на вторую и со второй на третью; чтобы спуститься во внутренний двор – лестницы; вместо дверей в комнатах – люки, вместо обыкновенных лестниц – приставные. Ночью люки запирают, лестницы убирают, в бойницах прилаживают пищали и мушкеты. Войти внутрь никакой возможности; днем это дом, ночью – крепость; а всего там восемьсот жителей; вот какво это селение. А зачем столько предосторожностей? Потому, что это опасное место: там полно людоедов. А зачем в таком случае ехать туда? Потому что это чудесный край: там много золота.

– К чему вы клоните? – прервал его Мариус, разочарование которого сменилось нетерпением.

– Вот к чему, господин барон. Я бывший дипломат, я устал от жизни. Старая цивилизация набила мне оскомину. Я хочу пожить среди дикарей.

– Дальше что?

– Господин барон! Миром управляет эгоизм. Батрачка, работающая на чужом поле, обернется поглазеть на проезжий дилижанс, а крестьянка, работающая на своем поле, не обернется. Собака бедняка лает на богача, собака богача лает на бедняка. Всяк за себя. Выгода – вот конечная цель людей. Золото – вот магнит.

– Дальше что? Договаривайте.

– Я хотел бы обосноваться в Жуайе. Нас трое. При мне моя супруга и моя дочь, весьма красивая девица. Это путешествие долгое и дорого стоит. Мне нужно немного денег.

– Какое мне до этого дело? – спросил Мариус.

Незнакомец вытянул шею над галстуком, точно ястреб, и возразил с удвоенной любезностью:

– Разве господин барон не прочел моего письма?

Это предположение было недалеко от истины. Действительно, смысл письма лишь слегка коснулся сознания Мариуса. Он не столько читал его, сколько разглядывал почерк. Он почти не помнил, о чем там шла речь. Минуту назад у него родилась новая догадка. В словах посетителя он отметил следующую подробность: «моя супруга и моя дочь». Он устремил на незнакомца проницательный взгляд, которому позавидовал бы любой судебный следователь. Он словно прощупывал этого человека.

– Говорите яснее, – сказал он.

Незнакомец, заложив пальцы в жилетные карманы, поднял голову, не разгибая, однако, спины и тоже сверля Мариуса взглядом сквозь зеленые очки.

– Хорошо, господин барон. Я выражусь яснее. Я хочу продать вам одну тайну.

– Тайну?

– Да.

– Она касается меня?

– Да, отчасти.

– Что это за тайна?

Слушая этого человека, Мариус все внимательнее к нему приглядывался.

– Вступление я сделаю бесплатно, – сказал неизвестный. – Оно вас заинтересует, вот увидите.

– Говорите.

– Господин барон! У вас в доме живет вор и убийца.

Мариус вздрогнул.

– В моем доме? Нет, – сказал он.

Незнакомец, слегка почистив локтем свою шляпу, продолжал невозмутимо:

– Убийца и вор. Прошу заметить, господин барон, я не говорю здесь про старые, минувшие, забытые грехи, искупленные перед законом давностью лет, а перед богом – раскаянием. Я говорю о преступлениях совсем недавних, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Продолжаю. Этот человек вкрался в ваше доверие, почти втерся в вашу семью под чужим именем. Сейчас я скажу вам его настоящее имя. И скажу совершенно бесплатно.

– Я слушаю.

– Его зовут Жан Вальжан.

– Я это знаю.

– Я скажу вам, и тоже бесплатно, кто он такой.

– Говорите.

– Он беглый каторжник.

– Я это знаю.

– Вы это знаете лишь с той минуты, как я имел честь вам это сообщить.

– Нет. Я знал об этом раньше.

Холодный тон Мариуса, дважды произнесенное «я это знаю», суровый лаконизм его ответов всколыхнули в незнакомце глухой гнев. Он украдкой метнул в Мариуса бешеный взгляд, но тут же притушил его. Как ни молниеносен был этот взгляд, он не ускользнул от Мариуса; такой взгляд, однажды увидев, невозможно забыть. Подобное пламя может разгореться лишь в низких душах; им вспыхивают зрачки – эти оконца мысли; даже очки ничего не скроют, – попробуйте загородить стеклом преисподнюю.

Неизвестный возразил, улыбаясь:

– Не смею противоречить, господин барон. Во всяком случае, вам должно быть ясно, что я хорошо осведомлен. А то, что я хочу сообщить вам теперь, известно лишь мне одному. Это касается состояния госпожи баронессы. Это жуткая тайна. Она продается. Я ее предлагаю вам первому. Очень дешево. За двадцать тысяч франков.

– Мне известна эта тайна так же, как и другие, – сказал Мариус.

Незнакомец почувствовал, что должен немного сбавить цену.

– Господин барон! Выложите десять тысяч франков, и я ее открою.

– Повторяю, вам нечего мне сообщить. Я знаю, что вы хотите сказать.

В глазах человека снова загорелся огонь. Он вскричал:

– Но надо же мне пообедать нынче! Это жуткая тайна, уверяю вас. Господин барон! Я скажу. Я уже говорю. Дайте мне двадцать франков.

Мариус пристально посмотрел на него.

– Я знаю вашу «жуткую» тайну так же, как знал имя Жана Вальжана, как знаю и ваше имя.

– Мое имя?

– Да.

– Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать свою фамилию и назвать ее. Я Тенар.

– ...дье.

– Как?

– Тенардье.

– Это кто такой?

В минуту опасности дикобраз топорщит свои иглы, жук-скарабей притворяется мертвым, старая гвардия строится в каре, а этот человек разразился смехом.

Вслед за тем он счистил щелчком пылинку с рукава своего сюртука.

Мариус продолжал:

– Вы также рабочий Жондрет, комический актер Фабанту, поэт Жанфло, испанец дон Альварес и, наконец, тетушка Бализар.

– Тетушка? Что такое?

– И у вас была харчевня в Монфермейле.

– Харчевня? Никогда.

– Я говорю вам, что вы Тенардье.

– Я это отрицаю.

– И что вы негодай. Берите! Вынув из кармана банковый билет, Мариус швырнул его в лицо незнакомцу.

– Благодарю! Извините! Пятьсот франков! Господин барон!

Пораженный, продолжая кланяться, незнакомец подхватил билет и осмотрел его.

– Пятьсот франков! – повторил он, не веря своим глазам, и, заикаясь, пробормотал: – Солидный куш!

– Ладно, была не была! – воскликнул он внезапно. – Ну-ка, вздохнем посвободней.

С проворством обезьяны откинув волосы со лба, сорвав очки, вытащив из носа и тут же упрятав куда-то две трубочки из перьев, о которых мы упоминали, – читатель уже ознакомился с ними на другой странице нашей книги, – этот человек снял с себя личину так же просто, как снимают шляпу.

Глаза его заблестели, шишковатый, изрытый отвратительными морщинами лоб разгладился, нос вытянулся и стал острым, как клюв; снова выступил свирепый, хитрый профиль хищника.

– Господин барон весьма проницателен. – Я Тенардье, – сказал он резким, без малейшего следа гнусавости голосом и выпрямил свою сгорбленную спину.

Тенардье, – ибо, конечно, это был он, – не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришел удивить, а был удивлен сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, несколько не уменьшило его растерянности.

Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой великодушный, который, зная имена людей, – даже все их клички, – вместе с тем щедро открывает им свой кошелек, изобличает мошенников, как судья, и платит им, как простофиля?

Читатель помнит, что хотя Тенардье и был одно время соседом Мариуса, однако никогда его не видел, что нередко случается в Париже; он только слышал краем уха, что дочери упоминали об очень бедном молодом человеке, по имени Мариус, жившем в их доме. Он написал ему известное читателю письмо, не зная его в лицо. В мыслях Тенардье не могло возникнуть никакой связи между Мариусом и г-ном бароном Понмерси.

Что же до имени Понмерси, то на поле битвы под Ватерлоо он расслышал лишь два его последних слога – «мерси», к которым всегда испытывал законное презрение, как к ничего не стоящей благодарности.

Впрочем, при помощи своей дочери Азельмы, следившей по его приказу за новобрачными со дня свадьбы, и путем расследований, произведенных им самим, ему удалось кое-что разузнать; оставаясь в тени, он добился того, что распутал немало таинственных нитей.

Благодаря своей ловкости он открыл, или попросту, идя от заключения к заключению, догадался, кто был человек, встреченный им однажды в Главном водостоке. От человека он без труда добрался до имени. Он узнал, что баронесса Понмерси и есть Козетта. Но здесь он решил действовать осмотрительно. Кто такая Козетта? В точности он и сам не знал. Он предполагал, конечно, что она незаконнорожденная, – история Фантины всегда казалась ему подозрительной. Но какая ему корысть говорить об этом? Чтобы ему уплатили за молчание? Он полагал, что мог продать кое-что получше. Вдобавок, судя по всему, явиться к барону Понмерси, не имея доказательств, с разоблачением, вроде: «Ваша жена незаконнорожденная», значило бы лишь нарваться на удар сапогом в зад.

С точки зрения Тенардье, разговор его с Мариусом еще и не начинался. Правда, ему приходилось отступать, менять стратегию, оставлять позиции, перемещать фронт, однако ничто существенное еще не было выдано, а пятьсот франков уже лежали в кармане. Кроме того, он собирался сообщить нечто совершенно бесспорное и чувствовал свою силу даже перед этим бароном Понмерси, так хорошо осведомленным и так хорошо вооруженным. Для натур, подобных Тенардье, всякий разговор – сражение. Какую выбрать позицию в том бою, который он решился завязать? Он не знал, с кем говорит, но знал, о чем говорит.

Молниеносно произвел он этот внутренний смотр своим силам и после слов «Я Тенардье» выжидающе замолчал.

Мариус стоял в раздумье. Итак, он нашел наконец Тенардье. Человек, которого он так страстно желал отыскать, был здесь. Он может, следовательно, выполнить наказ полковника Понмерси. Его унижало сознание, что герой был чем-то обязан бандиту и что вексель, переданный отцом ему, Мариусу, из глубины могилы, до сих пор еще не погашен. При его сложном и противоречивом отношении к Тенардье ему представлялось также, что тем самым он оплатит за отца, имевшего несчастье быть спасенным таким мерзавцем. Как бы там ни было, он чувствовал удовлетворение. Наконец-то он мог освободить тень полковника от столь недостойного кредитора; ему казалось, будто он выводит из долговой тюрьмы память о своем отце.

Кроме этой обязанности, на нем лежала и другая: пролить свет, если удастся, на источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Возможно, Тенардье было что-нибудь известно об этом. Узнать, что именно он разведдал, могло оказаться полезным. С этого и начал Мариус.

Тенардье упрятал «солидный куш» в свой жилетный карман и впери в Мариуса ласковый, почти нежный взгляд.

– Тенардье! Я сказал вам ваше имя. Теперь насчет тайны, которую вы собирались мне сообщить. Хотите, я скажу вам ее? У меня тоже есть сведения. Вы сейчас убедитесь, что я знаю больше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор потому, что ограбил богатого фабриканта, господина Мадлена, совершенно его разорив. Убийца потому, что убил полицейского агента Жавера.

– Что-то не пойму, господин барон, – сказал Тенардье.

– Сейчас поймете. Слушайте. В округе Па-де-Кале около тысяча восемьсот двадцать второго года жил человек, который в прошлом был не в ладах с правосудием и который, под именем господина Мадлена, исправился и восстановил свое доброе имя. Человек этот стал в полном смысле слова праведником. Основав промышленное заведение, фабрику мелких изделий из черного стекла, он поднял благосостояние целого города. Он и сам приобрел состояние, но уже потом и, так сказать, случайно. Он был благодетелем и кормильцем бедноты. Он основывал больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, оказывал помощь вдовам, усыновлял сирот; он стал как бы опекуном этого города. Он отказался от ордена Почетного легиона; его избрали мэром. Один отбывший срок каторжник знал о совершенном некогда преступлении этого человека. Он донес на него и, добившись его ареста, воспользовался этим, чтобы самому отправиться в Париж и получить в

банкирском доме Лафита – я знаю это со слов кассира – по чеку с подложной подписью сумму, превышающую полмиллиона франков, которая принадлежала господину Мадлену. Каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Теперь насчет второго дела. О нем вы тоже не сообщите мне ничего нового. Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера; убил его выстрелом из пистолета. Я сам при этом присутствовал.

Тенардье бросил на Мариуса торжествующий взгляд; он был уверен, что вновь держит в руках исход битвы и в один миг может отвоевать утраченные позиции. Однако тут же угодливо улыбнулся: низшему надлежит сохранять смирение даже одержав победу, и Тенардье ограничился тем, что сказал Мариусу:

– Вы на ложном пути, господин барон.

Он подчеркнул эту фразу, выразительно побренчав связкой брелоков.

– Как? – возразил Мариус. – Вы станете это оспаривать? Но это факты.

– Это чистая фантазия. Доверие, которым почтил меня господин барон, обязывает меня сказать ему это. Истина и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Господин барон! Жан Вальжан вовсе не обкрадывал господина Мадлена, и Жан Вальжан вовсе не убивал Жавера.

– Вот это, я понимаю, открытие! Как же так?

– Я могу привести два довода.

– Какие же? Говорите!

– Вот вам первый: он не обокрал господина Мадлена, потому что сам Жан Вальжан и есть господин Мадлен.

– Что за вздор вы мелете?

– А вот и второй: он не убивал Жавера, потому что убил Жавера сам Жавер.

– Что вы хотите сказать?

– Что Жавер покончил самоубийством.

– Докажите! Докажите! – сие себя вскричал Мариус.

Тенардье, скандируя фразу на манер античного александрийского стиха, продолжал:

– Жавер – агент – полиции – найден – утонувшим – под – баркой – у – моста – Менял.

– Докажите же!

Тенардье вынул из бокового кармана широкий конверт из серой бумаги, где лежали сложенные листки самого разного формата.

– Вот мои документы, – сказал он гордо и продолжал: – Господин барон! В ваших интересах я постарался разузнать о Жане Вальжане все досконально. Я утверждаю, что Жан Вальжан и Мадлен – одно и то же лицо, и я утверждаю, что Жавера никто не убивал, кроме самого Жавера. А раз утверждаю, значит имею доказательства. И доказательства не рукописные, так как письмо не внушает доверия, его можно легко подделать – мои доказательства напечатаны.

С этими словами Тенардье извлек из конверта два пожелтевших номера газеты, выцветших и пропахших табаком.

Одна из этих газет, протертая на сгибах и распавшаяся на квадратные обрывки, казалась более старой, чем другая.

– Два дела, два доказательства, – заметил Тенардье и протянул Мариусу обе развернутые газеты.

Читателю знакомы эти газеты. Одна, более давняя, номер Белого знамени от 25 июля 1823 года, выдержки из которой можно прочесть во второй части этого романа, устанавливала тождество господина Мадлена и Жана Вальжана. Другая, Монитор от 15 июня 1832 года, удостоверяла самоубийство Жавера, присовокупляя, что, как явствует из устного доклада, сделанного Жавером префекту, он, будучи захвачен в плен на баррикаде, на улице Шанврери, был обязан своим спасением великодушию одного из мятежников, который, взяв его на прицел, выстрелил в воздух, вместо того чтобы пустить ему пулю в лоб.

Мариус прочел. Перед ним были точные даты, неоспоримые, неопровержимые доказательства. Не могли же два номера газеты быть напечатаны нарочно, для подтверждения рассказней Тенардье! Заметка, опубликованная в Монитере, являлась официальным сообщением полицейской префектуры. У Мариуса не осталось сомнений. Сведения кассира оказались неверными, а сам он был введен в заблуждение. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выступил из мрака. Мариус не мог сдержать радостный крик:

– Но, значит, этот несчастный – превосходный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежит ему! Это Мадлен – провидение целого края! Это Жан Вальжан – спаситель Жавера! Это герой! Это святой!

– Он не святой и не герой. Он убийца и вор, – сказал Тенардье и тоном человека, который начинает чувствовать свой вес, прибавил: – Спокойствие!

Мариус снова услышал эти слова: «вор, убийца», с которыми, казалось, было уже покончено: его как будто окатили ледяной водой.

– Опять! – воскликнул он.

– Да, опять, – сказал Тенардье. – Жан Вальжан не обокрал Мадлена, но он вор, не убил Жавера, но он убийца.

– Вы говорите о той ничтожной краже, совершенной сорок лет назад, которая искуплена, как явствует из ваших же газет, целой жизнью, полной раскаяния, самоотвержения и добродетели?

– Я говорю об убийстве и воровстве, господин барон. И, повторяю, говорю о совсем недавних событиях. То, что я хочу вам открыть, никому еще не известно. Это нигде не напечатано. Быть может, здесь-то вы и найдете источник богатств, которые Жан Вальжан ловко подсунул госпоже баронессе. Я говорю «ловко», потому что втереться при помощи такого подношения в почтенное семейство, делить с ним довольство, утаить тем самым свое преступление, пользоваться плодами кражи, скрыть свое имя и приобрести себе родню, – это, что ни говори, ловкая штука.

– Я мог бы прервать вас здесь, – заметил Мариус, – однако продолжайте.

– Господин барон! Я выложу все и предоставлю вам вознаградить меня, как подскажет ваше великодушие. Эту тайну надо ценить на вес золота. «Почему же ты не обратился к Жану Вальжану?» – спросите вы. Да по самой простой причине: я знаю, что он отказался от всего и отказался в вашу пользу. Я нахожу, что это хитро придумано. Но больше у него нет ни гроша, он мне вывернет пустые карманы. А так как мне нужны деньги для поездки в Жуайю, я предпочитаю обратиться к вам: у вас есть все, у него ничего нет. Я немного устал, разрешите мне сесть.

Мариус сел сам и подал ему знак сесть.

Тенардье, опустившись на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт и пробормотал, постукивая пальцем по Белому знамени:

– Не так-то легко было заполнить эту бумажонку.

Потом, заложив ногу за ногу и откинувшись на спинку стула, – поза, свойственная людям, уверенным в себе, – он с важностью начал, подчеркивая отдельные слова:

– Господин барон! Шестого июня тысяча восемьсот тридцать второго года, примерно год назад, в самый день мятежа, один человек находился в Главном водостоке парижской клоаки, с той стороны, где водосток выходит на Сену, между мостом Инвалидов и Иенским мостом.

Мариус внезапно придвинул свой стул ближе к Тенардье. Тот заметил это движение и продолжал с медлительностью оратора, который овладел вниманием слушателя и чувствует, как трепещет сердце противника под ударами его слов:

– Человек этот, вынужденный скрываться по причинам, впрочем, совершенно чуждым политике, избрал клоаку своим жилищем и имел от нее ключ. Повторяю: это случилось

шестого июня, вероятно, около восьми часов вечера. Человек услышал шум в водостое. Очень удивленный, он прижался к стене и стал прислушиваться. Это были шаги; кто-то пробирался в темноте, кто-то шел в его сторону. Странное дело! В водостое, кроме него, оказался еще один человек. Решетка выходного отверстия находилась неподалеку. Слабый свет, проникавший через нее, позволил ему узнать этого человека и увидеть, что он что-то нес на спине и шел согнувшись. Тот, кто шел согнувшись, был беглый каторжник, а то, что он тащил на плечах, был труп. Убийца, захваченный с поличным, если здесь имело место убийство. Ну, а насчет ограбления, то это само собой разумеется. Задаром человека не убивают. Каторжник собирался бросить труп в реку. И вот что стоит отметить: чтобы добраться до выходной решетки, каторжник, пройдя через всю клоаку, не мог миновать ужасную трясины, куда, казалось бы, мог сбросить труп. Чистильщики клоаки на другой же день нашли бы убитого, а это не входило в расчет убийцы. Он предпочел перейти через топь со своей тяжелой ношей, хотя это стоило ему, должно быть, страшных усилий; большего риска для жизни невозможно себе представить. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым.

Мариус придвинул стул еще ближе, Тенардьё воспользовался этим, чтобы перевести дух. Затем продолжал:

– Господин барон! Клоака – не Марсово поле. Там всего в обрез, даже места. Если двое попадают туда, они неизбежно должны встретиться. Так оно и произошло. Старожил этих мест и прохожий, к крайнему своему неудовольствию, должны были столкнуться. Прохожий сказал старожилу: «Ты видишь, что у меня на спине, мне надо отсюда выйти; у тебя есть ключ, дай его мне». Этот каторжник – человек непомерной силы. Отказывать ему нечего было и думать. Тем не менее обладатель ключа вступил с ним в переговоры, единственно затем, чтобы выиграть время. Он оглядел мертвеца, но мог определить только, что тот молод, хорошо одет, с виду богат и весь залит кровью. Во время разговора он ухитрился незаметно для убийцы оторвать сзади лоскут от платья убитого. Вещественное доказательство, знаете ли, – средство напасть на след и заставить преступника сознаться в преступлении. Это вещественное доказательство человек спрятал в карман. Затем он отпер решетку, выпустил прохожего с его ношей за спиной, снова запер решетку и скрылся, вовсе не желая быть замешанным в это происшествие и в особенности не желая оказаться свидетелем того, как убийца будет бросать убитого в реку. Понятно вам теперь? Тот, кто нес труп, был Жан Вальжан; хозяин ключа беседует с вами в эту минуту; а лоскут от платья... Не закончив фразу, Тенардьё достал из кармана и поднял до уровня глаз зажатый между большими и указательными пальцами изорванный, весь в темных пятнах, обрывок черного сукна.

Устремив глаза на этот лоскут, с трудом переводя дыхание, бледный как смерть, Мариус поднялся и, не произнося ни слова, не спуская глаз с этой тряпки, отступил к стене; протянув назад правую руку, он стал шарить по стене возле камина, нащупывая ключ в замочной скважине стенного шкафа. Он нашел ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку; его растерянный взгляд не отрывался от лоскута в руках Тенардьё.

Между тем Тенардьё продолжал:

– Господин барон! У меня есть веское основание думать, что убитый молодой человек был богатым иностранцем, который имел при себе громадную сумму денег, и что Жан Вальжан заманил его в ловушку.

– Этот молодой человек был я, а вот и сюртук! – вскричал Мариус, бросив на пол старый окровавленный черный сюртук.

Выхватив из рук Тенардьё лоскут, он нагнулся и приложил к оборванной поле сюртука кусок сукна. Тот кусок пришелся к месту, и теперь пола казалась целой.

Тенардьё остолбенел от неожиданности. Он успел только подумать: «Эх, сорвалось!»

Мариус выпрямился, весь дрожа, охваченный и отчаяньем и радостью.

Он порывлся у себя в кармане, в бешенстве шагнул к Тенардье и поднес к самому его лицу кулак с зажатými в нем пятисотфранковыми и тысячефранковыми билетами.

– Вы подлец! Вы лгун, клеветник, злодей! Вы хотели обвинить этого человека, но вы его оправдали; хотели его погубить, но добились только того, что его возвеличили. Это вы вор! И это вы убийца! Я вас видел, Тенардье-Жондрет, в том самом логове на Госпитальном бульваре. Я знаю достаточно, чтобы упечь вас на каторгу, а если бы пожелал, то и дальше. Нате, вот вам тысяча, мерзавец вы этакий!

Он швырнул Тенардье тысячефранковый билет.

– А, Жондрет-Тенардье, подлый плут! Пусть это послужит вам уроком, продавец чужих секретов, торговец тайнами, гробокопатель, презренный негодяй? Берите еще пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает Ватерлоо.

– Ватерлоо? – проворчал пораженный Тенардье, распахивая по карманам билеты в пятьсот и тысячу франков.

– Да, бандит! Вы спасли там жизнь полковнику...

– Генералу, – поправил Тенардье, вздернув голову.

– Полковнику! – запальчиво крикнул Мариус. – За генерала я не дал бы вам ни гроша. И вы еще посмели прийти сюда бесчестить других? Нет преступления, какого бы вы не совершили. Уходите прочь! Скройтесь с моих глаз! И будьте счастливы – вот все, чего я вам желаю. А, изверг! Вот вам еще три тысячи франков. Держите. Завтра же вы уедете в Америку, вдвоем с вашей дочерью, так как жена ваша умерла, бессовестный враль! Я прослежу за вашим отъездом, разбойник, и перед тем, как вы уедете, отсчитаю вам еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь, пусть вас повесят где-нибудь в другом месте!

– Господин барон! – сказал Жондрет, поклонившись до земли. – Я век буду вам благодарен.

Он вышел, ничего не соображая, изумленный и восхищенный, раздавленный отрядным грузом свалившегося на него богатства и этой неожиданно разразившейся грозой, осыпавшей его банковыми билетами.

Правда, он был повержен, но вместе с тем ликовал; было бы досадно, если бы при нем оказался громоотвод против подобных гроз.

Покончим тут же с этим человеком. Через два дня после описанных здесь событий он, с помощью Мариуса, выехал под чужим именем в Америку вместе с дочерью Азельмой, увозя в кармане переводной вексель на двадцать тысяч франков, адресованный банкирскому дому в Нью-Йорке. Подлость этого неудавшегося буржуа Тенардье была неизлечимой; в Америке, как и в Европе, он остался верен себе. Дурному человеку достаточно иметь касательство к добродетели, чтобы все погубить, обратив добро во зло. На деньги Мариуса Тенардье стал работоторговцем.

Не успел Тенардье выйти из дому, как Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта.

– Козетта! Козетта! – закричал он. – Идем, идем скорее! Едем. Баск, фиакр! Идем, Козетта.

Ах, боже мой! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Накинь свою шаль.

Козетта подумала, что он сошел с ума, но повиновалась.

Он задыхался, он прижимал руки к сердцу, чтобы сдержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами, он обнимал Козетту.

– Ах, Козетта! Какой я негодяй! – твердил он.

Мариус потерял голову. Он начинал прозревать в Жане Вальжане человека возвышенной души. Перед ним предстал образ беспримерной добродетели, образ высокий и кроткий, смиренный при всем его величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим чудесным превращением. Он не давал себе полного отчета в своих чувствах – он знал только, что увидел нечто великое.

Спустя минуту фиакр был у дверей. Мариус помог сесть Козетте и быстро сел сам.

– Живей! – сказал он кучеру. – Улица Вооруженного человека, дом семь.

Фиакр покатился.

– Ах, какое счастье! – воскликнула Козетта. – Улица Вооруженного человека. Я не смела тебе о ней говорить. Мы едем к господину Жану.

– К твоему отцу! Он теперь больше чем когда-либо твой отец, Козетта! Козетта, я догадываюсь. Ты говорила, что так и не получила моего письма, посланного с Гаврошем. Должно быть, оно попало ему в руки, Козетта, и он пошел на баррикаду, чтобы меня спасти. Его призвание – быть ангелом-хранителем, поэтому он спасал и других; он спас Жавера. Он извлек меня из пропасти, чтобы отдать тебе. Он нес меня на спине по этому ужасному водостоку. Ах, я неблагодарное чудовище! Козетта! Он был твоим провидением, а потом стал моим. Вообрази только, что там, в клоаке, была страшная трясина, где можно было сто раз утонуть. Слышишь, Козетта? Утонуть в грязи! И он перенес меня через нее. Я был в обмороке, я ничего не видел, не слышал, ничего не знал о том, что приключилось со мною. Мы его сейчас увезем, заберем с собой, и, хочет не хочет, больше он с нами не разлучится. Только бы он был дома! Только бы нам застать его! Я буду молиться на него до конца моих дней. Да, Козетта, видишь ли, все именно так и было. Это ему передал Гаврош мое письмо. Теперь все объяснилось. Понимаешь?

Козетта ничего не понимала.

– Ты прав, – сказала она.

Экипаж катился вперед.

Глава пятая.

Ночь, за которой брезжит день

Услышав стук в дверь, Жан Вальжан обернулся.

– Войдите, – сказал он слабым голосом.

Дверь распахнулась. На пороге появились Козетта и Мариус.

Козетта бросилась в комнату.

Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери.

– Козетта! – произнес Жан Вальжан и, протянув ей навстречу дрожащие руки, выпрямился в кресле, взволнованный, мертвенно-бледный, с выражением беспредельной радости во взоре. Задыхаясь от волнения, Козетта припала к груди Жана Вальжана.

– Отец! – сказала она.

Жан Вальжан, потрясенный, невнятно повторял:

– Козетта! Она! Вы, сударыня! Это ты! О господи! – И, ощутив объятия Козетты, вскричал: – Это ты! Ты здесь! Значит, ты меня прощаешь!

Мариус, полузакрыв глаза, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и прошептал, подавляя рыдания:

– Отец мой!

– И вы, и вы тоже прощаете меня! – сказал Жан Вальжан.

Мариус не мог вымолвить ни слова.

– Благодарю вас, – добавил Жан Вальжан.

Козетта сорвала с себя шаль и бросила на кровать шляпку.

– Мне это мешает, – сказала она.

Усевшись на колени к старику, она осторожно откинула его седые волосы и поцеловала в лоб.

Жан Вальжан, совершенно растерянный, не сопротивлялся.

Понимая лишь очень смутно, что происходит, Козетта усилила свои ласки, как бы желая уплатить долг Мариуса.

Жан Вальжан шептал:

– Как человек глуп! Ведь я воображал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе: «Все кончено. Вот ее детское

платьице, а я, несчастный, никогда уже не увижу Козетту». Я говорил это в ту самую минуту, когда вы поднимались по лестнице. Ну не глупец ли я был? Вот как слепы люди! Они не принимают в расчет милосердия божьего. А милосердный господь говорит: «Ты думаешь, что все тебя покинули, бедняга? Да не будет так! Я знаю, что тут есть бедный старик, которому нужен ангел-утешитель». И ангел приходит, и человек узнает свою Козетту. Он снова видит свою маленькую Козетту! Ах, как я был несчастен!

Он замолк на мгновение, потом продолжал:

– Мне, право же, необходимо было видеть Козетту время от времени, хотя бы на миг. Видите ли, сердцу тоже надо поглотить косточку. И вместе с тем я чувствовал, что я лишний. Я убеждал себя: «Ты им не нужен, оставайся в своем углу, ты не имеешь права надоедать им вечно». Слава богу, я снова вижу ее! Знаешь, Козетта, у тебя очень красивый муж. Что за славный вышитый воротничок на тебе, носи его на здоровье! Мне нравится этот рисунок. Это твой муж выбирал, правда? Но тебе нужны кашемировые шали. Господин Понмерси! Позвольте мне говорить ей «ты». Это ненадолго.

А Козетта журила его:

– Как дурно с вашей стороны, что вы нас покинули! Куда же вы уезжали? Почему так надолго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех-четырех дней. Я посылала Николетту, а ей всегда отвечали: «Его нет». Когда вы вернулись? Почему не известили нас? А знаете, вы ведь очень изменились. Как вам не стыдно, отец! Вы были больны, а мы и не знали! Посмотри, Мариус, тронь его руку, какая она холодная!

– Итак, вы пришли! Значит, вы меня прощаете, господин Понмерси? – повторил Жан Вальжан.

При этих словах, сказанных Жаном Вальжаном уже во второй раз, все, что переполняло сердце Мариуса, вырвалось наружу, и он вскричал:

– Слышишь, Козетта? Он опять о том же, он все просит у меня прощения! А знаешь, чем он виноват передо мной, Козетта? Он спас мне жизнь. Он сделал больше: дал мне тебя. А после того как он спас меня и дал мне тебя, знаешь, что он сделал с самим собой? Он принес себя в жертву. Вот что это за человек. И мне, неблагодарному, мне, забывчивому, мне, бессердечному, мне, виноватому, он говорит: «Благодарю вас». Козетта! Провести всю мою жизнь у ног этого человека, и то было бы мало. Все, и баррикаду, и водосток, эту огненную печь, эту клоаку, – через все он прошел ради меня, ради тебя, Козетта! Он пронес меня сквозь тысячу смертей, оберегая меня от них и подставляя им свою грудь. Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого, – все в нем! Козетта, он ангел!

– Тише, тише! – прошептал Жан Вальжан. – К чему говорить об этом?

– Ну, а вы! – вскричал Мариус гневно и вместе с тем почтительно. – Почему вы ничего не говорили? В этом и ваша вина. Вы спасаете людям жизнь и скрываете это от них. Более того, под предлогом разоблачения вы клевете сами на себя. Это ужасно!

– Я сказал правду, – заметил Жан Вальжан.

– Нет, – возразил Мариус, – правда – это правда до конца, а вы всего не сказали. Вы были господином Мадленом, почему вы не сказали этого? Вы спасли Жавера, почему вы не сказали этого? Я вам обязан жизнью, почему вы не сказали этого?

– Потому что я думал, как и вы. Я находил, что вы правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали насчет клоаки, вы заставили бы меня остаться с вами. Значит, я должен был молчать. Если бы я сказал, это стеснило бы всех.

– Чем стеснило? Кого стеснило? – возмутился Мариус. – Не воображаете ли вы, что останетесь здесь? Мы вас увозим. О боже! Подумать только, что обо всем я узнал случайно! Мы вас увозим. Вы и мы – одно целое, неразделимое. Вы ее отец, и мой также. Ни единого дня вы не останетесь больше в этом ужасном доме. И не думайте, будто завтра вы еще будете здесь.

– Завтра, – сказал Жан Вальжан, – меня не будет здесь, но не будет и у вас.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Мариус. – Ну нет, мы не разрешим вам уехать. Вы не расстанетесь с нами больше. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим.

– На этот раз уж мы не шутим, – добавила Козетта. – У нас внизу экипаж. Я вас похищаю. И если понадобится, применю силу.

Смеясь, она сделала вид, будто поднимает старика.

– Ваша комната все еще ожидает вас, – продолжала она. – Если бы вы знали, как красиво сейчас в саду! Азалии так чудесно цветут! Все аллеи посыпаны речным песком, и в нем попадаются лиловые ракушки. Вы отведаете моей клубники. Я сама ее поливаю. И чтобы не было больше ни «сударыни», ни «господина Жана»! Мы живем в Республике, все говорят друг другу «ты», правда, Мариус? Политическая программа изменилась. Какое горе у меня стряслось, отец, если бы вы знали! В трещине, на стене, свил себе гнездышко реполов, а противная кошка съела его. Бедная моя хорошенькая птичка! Она высовывала головку из гнезда и глядела на меня. Я так плакала о ней! Я просто убила бы эту кошку! Но сейчас никто больше не плачет. Все смеются, все счастливы. Вы поедете с нами. Как будет доволен дедушка! Мы отведем вам особую грядку в саду, вы возделаете ее, и тогда посмотрим, будет ли ваша клубника вкуснее моей. Я обещаю делать все, что вы хотите, только и вы должны меня слушаться.

Жан Вальжан слушал ее и не слышал. Он слушал музыку ее голоса, но не понимал смысла ее слов; крупные слезы – таинственные жемчужины души – медленно наворачивались на его глаза. Он прошептал:

– Вот доказательство, что господь милосерд: она здесь.

– Отец! – сказала Козетта.

Жан Вальжан продолжал:

– Правда, как было бы прекрасно жить вместе! На деревьях там полно птиц. Я гулял бы с Козеттой. Так радостно быть среди живых, здороваться друг с другом, перекликаться в саду. Быть вместе с самого утра. Каждый бы возделывал свой уголок в саду. Она угощала бы меня клубникой, я давал бы ей срывать розы. Это было бы восхитительно. Только...

Он остановился и тихо сказал:

– Как жаль!

Жан Вальжан удержал слезу и улыбнулся.

Козетта сжала руки старика в своих руках.

– Боже мой! – воскликнула она. – Ваши руки стали еще холоднее! Вы нездоровы? Вам больно?

– Я? Нет, – ответил Жан Вальжан, – мне очень хорошо. Только...

Он замолчал.

– Только что?

– Я сейчас умру.

Козетта и Мариус содрогнулись.

– Умрете? – вскричал Мариус.

– Да, но это ничего не значит, – сказал Жан Вальжан.

Он вздохнул, улыбнулся и заговорил снова:

– Козетта! Ты мне рассказывала, продолжай, говори еще. Стало быть, маленькая птичка умерла. Говори, я хочу слышать твой голос!

Мариус глядел на старика, словно окаменев.

Козетта испустила душераздирающий вопль:

– Отец! Отец мой! Вы будете жить! Вы должны жить! Я хочу, чтобы вы жили, слышите?

Жан Вальжан, подняв голову, с обожанием глядел на Козетту.

– О да, запрети мне умирать! Кто знает? Быть может, я послушаюсь тебя. Я уже умирал, когда вы пришли. Это меня остановило, мне показалось, что я оживаю.

– Вы полны жизни и сил! – воскликнул Мариус. – Неужели вы думаете, что люди умирают вот так, сразу? У вас было горе, оно прошло, все миновало. Это я должен просить у вас прощенья, и я прошу его на коленях! Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас берем с собой. У нас обоих будет отныне одна мысль – о вашем счастье!

– Ну вот, видите, – сказала Козетта вся в слезах, – Мариус тоже говорит, что вы не умрете. Жан Вальжан улыбался.

– Если вы и возьмете меня к себе, господин Понмерси, разве я перестану быть тем, что я есть? Нет. Господь рассудил так же, как я и вы, а он не меняет решений; надо, чтобы я ушел. Смерть – прекрасный выход из положения. Бог лучше нас знает, что нам надобно. Пусть господин Понмерси будет счастлив с Козеттой, пусть молодость соединится с ясным утром, пусть радуют вас, дети мои, сирень и соловьи, пусть жизнь ваша будет залита солнцем, как цветущий луг, пусть все блаженство небес снизойдет в ваши души. а я ни на что больше не нужен, я умру; так надо, и это хорошо. Поймите, будем благоразумны, ничего нельзя поделаться, я чувствую, что все кончено. Час назад у меня был обморок. А сегодня ночью я выпил весь этот кувшин воды. Какой добрый у тебя муж, Козетта! Тебе с ним гораздо лучше, чем со мной.

У дверей послышались шаги. Вошел доктор.

– Здравствуйте и прощайте, доктор! – сказал Жан Вальжан. – Вот мои бедные дети.

Мариус подошел к врачу. Он обратился к нему с одним словом: «Сударь...», но в тоне, каким оно было произнесено, заключался безмолвный вопрос.

На этот вопрос доктор ответил выразительным взглядом.

– Если нам что-либо не по душе, – молвил Жан Вальжан, – это еще не дает права роптать на бога.

Наступило молчание. У всех сжалось сердце.

Жан Вальжан обернулся к Козетте. Он вглядывался в нее так напряженно, словно хотел унести ее образ в вечность. В темной глубине, куда он уже спустился, ему все еще доступно было чувство восхищения Козеттой. На бледном его челе словно лежало светлое отражение ее нежного личика. И у могилы есть свои радости.

Доктор пощупал ему пульс.

– А, так это по вас он тосковал! – проговорил он, глядя на Козетту и Мариуса. И, наклонившись к уху Мариуса, тихо добавил: – Слишком поздно.

Жан Вальжан, на миг оторвавшись от Козетты, окинул ясным взглядом Мариуса и доктора. Из уст его чуть слышно излетели слова:

– Умереть – это ничего; ужасно – не жить.

Вдруг он встал. Такой прилив сил нередко бывает признаком начавшейся агонии.

Уверенным шагом он подошел к стене, отстранив Мариуса и врача, желавших ему помочь, снял со стены маленькое медное распятие и, легко передвигаясь, точно здоровый человек, снова сел в кресло, положил распятие на стол и внятно произнес:

– Вот великий страдалец!

Потом плечи его опустились, голова склонилась, словно в забытии, а сложенные на коленях руки стали царапать ногтями материю.

Козетта, поддерживая его за плечи, плакала, пыталась говорить с ним, но не могла. Среди скорбных рыданий можно было уловить лишь отдельные слова:

– Отец! Не покидайте нас! Неужели мы нашли вас только для того, чтобы снова потерять? Агония как бы ведет умирающего извилистой тропой: вперед, назад, то ближе к могиле, то обратно к жизни. Он движется навстречу смерти точно ощупью.

Жан Вальжан оправился после этого полузабытья, встряхнул головой, точно сбрасывая нависшие над ним тени, к нему почти вернулось ясное сознание. Приподняв край рукава Козетты, он поцеловал его.

– Он оживает! Доктор, он оживает! – вскричал Мариус.

– Вы оба так добры! – сказал Жан Вальжан. – Я скажу вам, что меня огорчало. Меня огорчало то, господин Понмерси, что вы не захотели трогать эти деньги. Они правда принадлежат вашей жене. Я сейчас объясню вам все, дети мои, именно потому я так рад вас видеть. Черный гагат привозят из Англии, белый гагат – из Норвегии. Об этом сказано в той вон бумаге, вы ее прочтете. Я придумал заменить на браслетах кованые застёжки литыми. Это красивее, лучше и дешевле. Вы понимаете, как много денег можно на этом заработать? Стало быть, богатство Козетты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны.

В приоткрытую дверь заглянула привратница. Хотя врач и велел ей уйти, но не мог помешать заботливой старухе крикнуть умирающему перед уходом:

– Не позвать ли священника?

– У меня он есть, – ответил Жан Вальжан и поднял палец, словно указывая на кого-то над своей головой, видимого только ему одному.

Быть может, и в самом деле епископ присутствовал при этом расставании с жизнью.

Козетта осторожно подложила ему за спину подушку.

Жан Вальжан заговорил снова:

– Господин Понмерси! Заклинаю вас, не тревожьтесь. Эти шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Козетте. Если бы вы отказались от них, вся моя жизнь пропала бы даром! Мы достигли большого совершенства в этих стеклянных изделиях. Они могли соперничать с так называемыми «берлинскими драгоценностями». Ну можно ли равнять их с черным немецким стеклярусом? Целый гросс нашего, содержащий двенадцать дюжин отличных граненых бусин, стоит всего три франка.

Когда умирает дорогое нам существо, мы пристально смотрим на него, стараясь как бы приковать, как бы удержать его взглядом. Козетта и Мариус, взявшись за руки, стояли перед Жаном Вальжаном, онемев от горя, дрожащие, охваченные отчаянием.

Жан Вальжан слабел с каждой минутой. Он угасал, он клонился все ниже к закату. Дыхание стало неровным и прерывалось хрипом. Ему было трудно пошевелить рукой, ноги оцепенели. Но по мере того как росли слабость и бессилие, все яснее и отчетливее проступало на его челе величие души. Отблеск нездешнего мира уже мерцал в его глазах. Улыбающееся лицо бледнело все больше. В нем замерла жизнь, но засветился некий свет. Дыхание слабело, взгляд становился глубже. Это был мертвец, за спиной которого угадывались крылья.

Он знаком подозвал Козетту, потом Мариуса. Наступали, видимо, последние минуты его жизни, и он заговорил слабым голосом, словно доносящимся издалека, – казалось, между ними воздвиглась стена.

– Подойди, подойдите оба. Я очень вас люблю. Хорошо так умирать! Ты тоже любишь меня, моя Козетта. Я знал, что ты всегда была привязана к твоему старику. Какая ты милая, положила мне за спину подушку! Ведь ты поплачешь обо мне немножко? Только не слишком долго. Я не хочу, чтобы ты горевала по-настоящему. Вам надо побольше развлекаться, дети мои. Я позабыл вам сказать, что на пряжках без шпеньков можно было больше заработать, чем на всем остальном. Гросс, двенадцать дюжин пряжек, обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Право же, это было выгодное дело. Поэтому вас не должны удивлять эти шестьсот тысяч франков, господин Понмерси. Это честно нажитые деньги. Вы можете со спокойной совестью пользоваться богатством. Вам надо завести карету, брать иногда ложу в театр, тебе нужны красивые бальные наряды, моя Козетта, вы должны угощать вкусными обедами ваших друзей и жить счастливо. Я сейчас писал об этом Козетте. Она найдет мое письмо. Ей я завещаю и два подсвечника, что на камине. Они серебряные, но для меня они из чистого золота, из брильянтов; простые свечи, вставленные в них, превращаются в алтарные. Не знаю, доволен ли мною там, наверху, тот, кто подарил мне их. Я сделал все, что мог. Дети мои! Не забудьте, что я бедняк, похороните меня где-

нибудь в сторонке и положите на могилу камень, чтобы обозначить место. Такова моя последняя воля. Не надо никакого имени на камне. Если Козетте захочется иногда навестить меня, мне будет приятно. Это и к вам относится, господин Понмерси. Должен признаться, что я не всегда вас любил; простите меня за это. Теперь же она и вы для меня – одно. Я очень благодарен вам. Я чувствую, что вы дадите счастье Козетте. Если бы вы знали, господин Понмерси, как радовали меня ее милые румяные щечки! Я огорчился, когда она становилась хоть чуточку бледнее. В ящике комода лежит пятисотфранковый билет. Я его не трогал. Это для бедных. Козетта! Видишь свое платье вон там, на постели? Ты узнаешь его? А с тех пор прошло только десять лет. Как быстро летит время! Мы были так счастливы! Все кончено. Не плачьте, дети, я уйду не так уж далеко, я вас увижу оттуда. А ночью, вы только взгляните в темноту – и вы увидите, как я вам улыбаюсь. Козетта! А ты помнишь Монфермейль? Тебя послали в лес, и ты очень боялась; помнишь, как я поднял за дужку ведро с водой? Тогда я в первый раз дотронулся до бедной твоей ручонки. Она была такая холодная! Ах, барышня, какие красные ручки были у вас тогда и какие беленькие теперь! А большая кукла! Помнишь ее? Ты назвала ее Катериной. Ты так жалела, что не могла взять ее с собой в монастырь! Как часто ты смешила меня, милый мой ангел! После дождя ты пускала по воде соломинки и смотрела, как они уплывают. Однажды я подарил тебе ракетку из ивовых прутьев и волан с желтыми, синими и зелеными перышками. Ты, верно, позабыла это. Маленькой ты была такая резвушка! Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. И все это кануло в прошлое. И лес, где я проходил со своей девочкой, и деревья, под которыми мы гуляли, и монастырь, где мы скрывались, и игры, и веселый детский смех – все стало тенью. А я воображал, что все это принадлежит мне. Вот в чем моя глупость. Тенардые были злые люди. Надо им простить, Козетта! Пришло время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали Фантина. Запомни это имя: Фантина. Становись на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала. Она горячо любила тебя. Она была настолько же несчастна, насколько ты счастлива. Так положил господь бог. Он там, в вышине, среди светил, он всех нас видит и знает, что творит. Так вот, дети мои, я уйду. Любите друг друга всегда. Любить друг друга – нет ничего на свете выше этого. Думайте иногда о бедном старике, который умер здесь. Козетта! Полно! Я не виноват, что все это время не видел тебя, это разбивало мне сердце; я доходил только до угла улицы, люди, должно быть, считали меня чудачком, я был похож на помешанного, один раз я даже вышел из дому без шапки. Дети мои! У меня темнеет в глазах, мне надо было еще многое сказать вам, но все равно. Вспоминайте обо мне иногда. Да будет на вас благословение божие! Не знаю, что со мной, я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дорогие, любимые, дайте возложить руки на ваши головы.

Козетта и Мариус, полные отчаяния, задыхаясь от слез, опустили на колени и припали к его рукам. Но эти святые руки уже похолодели.

Он откинулся, его озарял свет двух подсвечников; бледное лицо глядело в небо, он не мешал Козетте и Мариусу покрывать его руки поцелуями; он был мертв.

Беззвездной, непроницаемо темной была ночь. Наверное, рядом, во мраке, стоял ангел с широко распростертыми крыльями, готовый принять отлетевшую душу.

Глава шестая.

Трава скрывает, дождь смывает

На кладбище Пер-Лашез, неподалеку от общей могилы, в стороне от нарядного квартала этого города усыпальниц, вдалеке от причудливых надгробных памятников, выставяющих перед лицом вечности отвратительные моды смерти, в уединенном уголке, у подножия старой стены, под высоким тисом, обвитым выюнком, среди сорных трав и мхов лежит камень. Камень этот не меньше других поражен проказой времени: он покрыт плесенью,

лишайми и птичьим пометом. Он позеленел от дождя и почернел от воздуха. Возле него нет ни одной тропинки; в эту сторону заходить не любят, – трава здесь высока и можно промочить ноги. Лишь только проглянет солнце, сюда сползаются ящерицы. Кругом шелестят стебли дикого овса. Весной на дереве распевают малиновки.

Это совсем голый камень. Его высекли таким, какой нужен для могилы, и позаботились лишь о том, чтобы он был достаточной длины и ширины и мог покрыть человека.

На камне не вырезано имени.

Только много лет назад чья-то рука написала на нем четыре строчки, которые с каждым днем становилось все труднее разобрать из-за дождя и пыли и которые теперь, вероятно, уже стерлись:

*Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним,
Он жил. Но, ангелом покинутый своим,
Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед,
Как наступает ночь, едва лишь день уйдет.*

1862 г.